

«НЕТ ВОЙНЕ»

Роман
Алтухов

Льва
Николаевича
Толстого

Том
2



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ



ЯСНАЯ ПОЛЯНА

ОГОНЬ ПРИШЕЛ Я НИЗВЕСТИ НА ЗЕМЛЮ, И КАК ЖЕЛАЛ БЫ, ЧТОБЫ ОН УЖЕ ВОЗГОРЕЛСЯ!

Роман Алтұхов

«ЖЕТ ВОЙНЕ!»

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА
ТОЛСТОГО

Издание Первое, с ошибками и неполное

Том Второй



Ясная Поляна
2023

УДК 821.161.1(031)
ББК 83.3 (2Рос=Рус)1—8
А34

А34 **Алтухов Р.** «Нет войне!» Льва Николаевича Толстого»
Монография. В двух томах. Москва: АСТ – Тула: ИД «Ясная
Поляна», 2023. Том второй. – 814 с., илл.

Исследуется эволюция воззрений Толстого-писателя и мыслителя на этику, психологию и общественные практики войны, на военное «сословие», военный патриотизм. Автор особенно подчёркивает коренное отличие этического или христианского религиозного неприятия Л. Н. Толстым войны — в сравнении с взглядами и практиками пацифизма, к исповедникам которого писателя часто причисляют.

Второй том посвящён антивоенным сочинениям и общественным практикам Л. Н. Толстого в 1890 – 1900-х годах.

*Публикуется в авторской редакции.
Перепечатка допускается безвозмездно (даром).
Все права беззащитны.*



ТОМ ВТОРОЙ



АНТИВОЕННОЕ БЛАГОВЕСТИЕ МИРУ

Мне в руки дан рупор,
и я обязан владеть им, пользоваться им.

(Лев Николаевич Толстой)

Глава Пятая. УЧИТЕЛЬ ДРОЖЖИН (1893 - 1895 гг.)

...Меня неотступно после смерти Дрожжина нудит мысль последовать его примеру и сделать то, что он. Будем желать этого не переставая, готовиться, не забывать, не ослабевать и, может быть, и нам придётся так же ярко сгореть, как он, а не придётся — сотлеем всё тем же огнём.

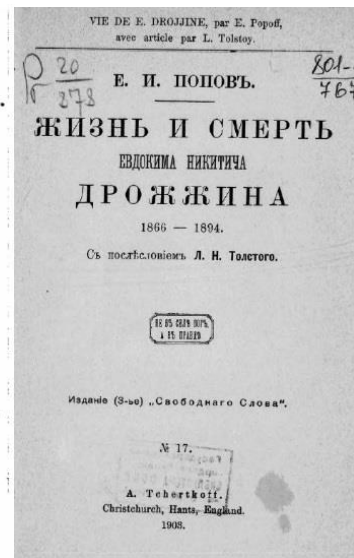
(Л. Н. Толстой)

4 марта 1895 г. Толстым было закончено Предисловие к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина». *Евгений Иванович Попов* (1864 – 1938) был одним из единомышленников Льва Николаевича во Христе. По поручению Льва Николаевича Толстого, для публикации в бесцензурных изданиях за рубежом, он



Евгений Иванович Попов

написал хорошую книгу об отказнике, замученном тётей «родиной» до смерти — Евдокиме Никитиче Дрожжине.



Заграничные (бесцензурные) издания книги Евгения Попова.
Раннее берлинское изд. 1895 г. и два издания (2-е и 3-е) В.Г. Черткова в Англии:
1898 и 1903 гг.

От главного персонажа книги, в отличие от автора и от инициаторов её писания и издания, не осталось никакого изображения. Только светлая память. *Евдоким Никитич Дрожжин* (1866 – 1894) был крестьянином, уроженцем деревни Толстый Луг Суджанского уезда, Курской губернии. Характер у молодого человека был бунтарский, что проявилось особенно в годы учения в Белгороде, в учительской семинарии: «Он не мог выносить начальнического обращения с собою кого бы то ни было, и в подобных случаях приходил в раздражение и чем-нибудь выражал свою непокорность». При этом единственным его подлинным другом — на всю недолгую жизнь — сделался простой крестьянин из соседней с Толстым лугом деревни, Николай Трофимович Изюмченко, с которым Дрожжин познакомился в 1885 г., во время каникул. Прочие же «друзья» не сделали ему добра, затянув на сходки некоего пропагандёра-социалиста. Из-за участия Дрожжина в этих сходках, а более всего — в отместку за живой, непокорный характер семинарское начальство не допустило его весной 1886 г. до выпускных экзаменов. Только через год Дрожжин сумел сдать независимый экзамен на звание народного учителя и получил место в глухой деревушке Черничина. Попытки его «поделиться» там с учащимися некоторыми глупостями и гадостями, узнанными на «революционных» сходках, предсказуемо привели к доносу местного попа в адрес инспектора народных училищ. С издевательской характеристикой инспектор перевёл Дрожжина на работу в другое село (*Попов Е.И. Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина. – 2-е изд. Purleigh, Essex, England. 1898. С. 6 – 13*).

Видимо, на почве естественной для неиспорченного русского человека неприязни к попу-доносчику духовный поиск привёл Дрожжина летом 1889 г. к роковому в его судьбе знакомству — с «аристократом в толстовстве», уже знакомом нашему читателю, князем Дмитрием Александровичем Хилковым, к этому времени вышедшем в отставку и поселившимся в имении Павловка в Сумском уезде Харьковской губернии. В 1885 году, под влиянием проповеди сектантов «штундистов», он продал землю в триста восемьдесят десятин (415 га) по низкой цене крестьянам, а сам, оставив себе надел в семь десятин (7,6 га), стал жить личным земледельческим трудом. В 1887 году Хилков вступил в переписку с Львом Толстым и стал его духовным единомышленником во Христе и учеником. Его дом превратился в центр собраний сектантов, то есть людей, не равнодушных к живой вере и к исканию истины.

Дальше в судьбе Евдокима Никитича всё было очень традиционно: «Сближение с Хилковым и с его, часто гостившими у него, единомышленниками, знакомство с религиозно-нравственными сочинениями Л. Н. Толстого совершили в это время в душе Дрожжина тот внутренний переворот, который имел своим последствием всё то, что случилось с ним. [...] Вместо обеспеченного положения сельского учителя, пользующегося исключительным положением среди народа, он стал мечтать о простой крестьянской трудовой жизни, в которой бы можно было, не отнимая ничего у народа, служить ему своею жизнью. Вместо деятельности революционера — насильнической и потаённой, он стал искать деятельности христианской — терпения, прощения, миролюбия. Употребление вина, распущенная жизнь, ругательства были оставлены, началась борьба с курением табаку, раздражительностью и другими слабостями» *(Там же. С. 13)*.

Самым «страшным», конечно, было то, что этой же праведной христианской жизни осенью 1889 г. Дрожжин попытался учить и детишек села Князева, куда был отправлен к службе. Начальство, настроенное доносами на противостояние «революционеру» — конечно, опешило: придраться было, казалось, не к чему, так как Дрожжин учил теперь разумной и доброй христианской жизни, а не лжи социалистов. Так «добрая» тётя родина Россия подарила Дрожжину нечаянно целый год нормальной человеческой жизни: общение с любящими и благодарными детьми, с их родителями крестьянами, тоже потянувшимися, подальше от лживых попов, в вере живой и к религиозной Божьей правде-Истине, с девушкой (имени биограф не называет), с друзьями и родными в летние каникулы 1890 года...

Но тут подвёл Евдокима Никитича друг Изюмченко, ступавший буквально по тем же «граблям», от которых уже делалось больно

Дрожжину. Изюмченка осенью 1889 г. забрили в солдаты. Жил он в Курске, где, для самоутверждения среди сверстников, стал пропагандировать завлекательное «революционерство», узнанное им прежде из рассказов Дрожжина. В начале лета младшему братишке Изюмченки Семёну, наслышанному об успехах пропаганды старшего брата, тоже захотелось попроповедовать чего-нибудь такого, запретного и «революционного». Тот стал выпрашивать у Евдокима Никитича «настоящую» революционную литературу. Но у того, бывшего уже «толстовцем», конечно же её не оказалось... кроме единственной завалявшейся брошюры — популярной и жестоко-запретной «Легенды о четырёх братьях». И Дрожжин совершил ошибку: отдал книжицу ребёнку. Стёпке немедленно захотелось похвастаться в училище со старшим, 16-тилетним, мальчиком. У того загорелись глаза, он отобрал у Стёпки «революцию» и решил переписать для себя. (Для взрослых за такое переписывание следовала уголовная статья по Уложению тех лет, чего оба мальчика не знали.) За этим занятием его и застал всегда и везде в казённых школах России имеющийся пай-мальчик — любимец учителей и, по совместительству, осведомитель начальства...

Стёпки старший приятель был, без дальнейших последствий, из училища исключён — мужественно не выдав товарища и предоставив имперским полицаям самостоятельно «выйти» на Изюмченко-младшего.

А дальше — всё ещё досадно-нелепее...

Год 1890-й был в Российской Империи годом Великого Запрета: на публикацию скандальнейшей толстовской «Крейцеровой сонаты». В юных, неумных и горячих головах, помимо страстного желания добыть для прочтения «запретный плод», возникли, под влиянием слухов, едва ли не порнографические вольные осмысления повести. Возмущённая молодая учительница К., знакомая Евдокима Никитича, наслушавшись всякого, отругала Толстого и его повесть в письме к Дрожжину — и тот, зная не больше её, конечно, вступил в диспут... забыв, что в России переписку читают не одни прямые её участники.

На Дрожжина обратили неблагосклонное внимание в «органах»; впрочем и тогда, конечно, не тронули бы, но... Он сам, вдруг спохватившись, выдал себя, написав Стёпке Изюмченко, за которым уже следили, письмо с предупреждением: мол, брошюру могут отобрать «с последствиями», и её лучше уничтожить. Письмо, конечно, тоже прочли полицаяи... Ранним утром 28 сентября, во главе с ротмистром Деболи, они ворвались — *весьма* традиционный в России метод! — в дом насмерть перепуганной матери Дрожжина в селе Толстый Луг.

Погромив и перерыв всю хату... конечно, не сыскали ничего «крамольного». Им, однако, помог местночтимый поп, не любивший «слишком умного» Дрожжина. Он предоставил в распоряжение полицаев собственноручно составленный донос о «вольных трактовках» сельским учителем евангельских текстов. Это было правдой... Итого: статьи 252 и 318 в действующем Уложении. Дрожжин был отправлен в тюрьму в Курске: в камеру одиночную, но просторную, сухую, светлую, из которой он через низкое окно мог свободно выходить погулять по городу и вдоволь общался с роднёй. Между тем полицаи искали на него в Толстом Луге и Князеве компромат, и — таки нашли: брошюру «какого-то» Эпиктета, совершенно подозрительного («заумного» для полицаев) содержания. (Это было издание толстовского народно-просветительского книгоиздательства «Посредник»).

Результата было два: первый тот, что сельчане, прежде недолюбливавшие «умника» Дрожжина — теперь расположились всем сердцем в его пользу. Второй же тот, что в апреле 1891 г. ротмистр Деболи, получив за Эпиктета нагоняй «сверху», сам повинился перед Дрожжиным, что дело его было искусственно «раздуто», и пообещал «скорое» освобождение. Но так как речь до того уже шла об освобождении под залог, ротмистру хотелось заполучить денежки... Лишь прикарманив с трудом собранные отцом Дрожжина 400 руб. залога, в июне 1891 г. Деболи исполнил обещание (*Там же. С. 14 – 24*).

Всё это было бы только смешно, но... Учительская карьера была для Дрожжина закрыта, и он подлежал теперь призыву на военную службу. Лев Николаевич в таких случаях рекомендовал в письмах молодым призывникам *идти служить*, если нет мужества и совершенной, необходимой духовной потребности поступить по христианской совести. Но Дрожжин *по характеру* не мог смириться с идеей мелочного, хоть на один день, подчинения муштре и глупейшим, чем сам он, мелким военным начальникам. И тут ему опять «помог» Изюмченко-старший, такой же духовный бунтарь. Дрожжин со скуки писал ему из тюрьмы в казарму часто, и в числе прочего, конечно — о религии и о Толстом. В результате, после очередной ссоры с ротным командиром (из-за чтения книг) Изюмченко сбежал в «самоволку», дезертировал — сперва к только что вышедшему из тюрьмы Дрожжину, а после, от палева подалее — на хутор князя Хилкова. Но там наиболее радикальные толстовцы убедили Изюмченку не прятаться от ареста у Хилкова (как, между прочим, делали сами), а вернуться в часть, чтобы заявить свой отказ от службы и принять добровольно «благие страдания» от гауптвахты и штраф-

ного батальона. Тот так и поступил... и Евдоким, которому предстоял в августе 1891-го призыв, решил идти тем же путём: «лобового» отказа и мученичества (*Там же. С. 25*).



Д. А. Хилков

Во всём этом тоже трудно усмотреть что-либо, кроме молодой дури. Но тогдашняя имперская Россия (как и её политические наследницы, вплоть до наших дней) была подозрительна и деструктивно-неуклюжа в своей тупой жестокости... в особенности в случаях, мало отмеченных в ту эпоху в юридических анналах. Империя в те годы просто *не знала*, что делать с духовными, *по вере*, отказниками от военной службы: нельзя было заставить служить, но нельзя было и отпустить, чтобы не создать прецедент для массовых отказов.

Именно общавшиеся с Дрожжиным друзья и духовные единомышленники Льва Николаевича Толстого могли рассказать ему историю с первым из «толстовствующих» отказников, Алексеем Залюбовским, настроив на такой же — тяжёлый, но приемлемый — исход. И, конечно же, не учли, что как *личные отношения* супругов Толстых изменились после публикации «Крейцеровой сонаты» не в лучшую сторону, и муж больше не мог надеяться на специфические «парламентаристские» таланты жены в переговорах об отказниках, так и *отношения* с тётёй «родиной», с *империей* у самого Толстого крепко с

середины 1880-х испортились... По этим причинам, у Евдокима Дрожжина, попади он в дисциплинарный, могло не оказаться такого влиятельного и умнейшего ходатая, какой стала в 1885-м Соня Толстая для юноши-дворянина Залюбовского — из любви, однако, не к Залюбовскому, а к супругу.

Так или иначе, Дрожжина ошибочно, как оказалось, настроили на то, чтобы он, как Залюбовский, не принимал присяги: такие отказники приговаривались, как Залюбовский, к ссылке в Восточную Сибирь и нестроевой службе. Так уже отбыл ссылку хорошо знакомый толстовцам отказник Любич и был «очень доволен». У Дрожжина, оставленного без учительского места, сохранялось звание народного учителя, дававшее не только «привилегию» свободы от телесного наказания в ходе отбывания дисциплинарного и ссылки, но и перспективы вернуться к профессии после окончания её срока:

«...Ещё будучи учителем и постоянно терпя стеснения от начальства, он хотел перевестись на должность учителя в Уссурийский край, думая, что там можно пользоваться большей свободой в действиях, и уже наводил справки о формальностях перевода туда» (Попов Е.И. Указ. соч. С. 32).

И несчастный Дрожжин захлопнул за собой ловушку — отказавшись от присяги. Е. И. Попов поясняет в книге:

«Мечтая о ссылке на Амур и готовясь к ней, Дрожжин, очевидно, думал, что есть специальный закон относительно отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям; на самом же деле, такого закона не было. Во всех этих случаях отказов от присяги и ношения оружия ближайшие власти относились к отказывающимся различно и неопределённо, и или отпускали их под каким-либо благовидным предлогом, или, содержа их под секретом, подвергали различным, назначаемым высшими властями, наказаниям. Но есть одна общая черта, присущая всем начальникам, к которым попадались эти всегда секретные дела, — это желание отделаться от такого странного и беспокойного человека, желание удалить его от себя, снять с своей совести ответственность за те страдания, которым будет неизбежно подвергнут этот смиренный, безобидный человек, виноватый только в том, что он считает для себя обязательным исполнение самых низших требований христианства — неубивания своих братьев» (Там же. С. 32 – 33).

Но с понятливостью и совестью сперва тюремщиков в харьковской тюрьме, а позднее, и в особенности, офицера в Воронежском дисциплинарном батальоне, куда он был отправлен 26 сентября 1892 г. и где пробыл долгих и мучительных 14 месяцев,

Дрожжину не повезло. Как минимум двое из начальников, полковник Алексей Васильевич Буров, возглавлявший батальон, и поручик Николай Сергеевич Астафьев, командир 5-й роты, задались целью успеть, до отправки Дрожжина в Окружной военный суд и решения о ссылке, *любой ценой* сломить непокорного «солдата» — юридически солдатом не бывшего, так как присяги Дрожжин так и не принял. Они не сумели принудить его к занятиям с другими штрафованными: помешала сама система дисбата, по которой продолжающий «не покорствоваться» арестант переправлялся в отдельный карцер и в общих занятиях не участвовал. Но Бурову необходимо было встречаться с Дрожжиным и при посещении карцера, и при прогулках арестанта. Тот же, за более чем год смертного карцера, не только не был сломлен, но, уже чувствуя начинающееся заболевание, продолжал отказывать Бурову и другим офицерам в отдании чести:

«Дисциплина с её грубостью, которую он начал на себе испытывать, попав в военную среду в качестве низшего чина, возбудила в нём два совершенно противоположные друг другу чувства, которые он не успел ещё разделить рассудком: одно — оскорблённое самолюбие, которое вообще было развито у Дрожжина и составляло его порок и источник страданий; другое же чувство — совершенно законное — сознание своего человеческого достоинства, попираемого грубой, неразумной силой, и нежелание подчиниться этой силе, действующей во имя каких-то непризнаваемых им прав и законов, нежелание признавать её власть над собой. [...] Он чутьём пришёл к [...] признанию необходимости одновременно и непротивления властям, и неподчинения им» (Там же. С. 35).

Это был психологически верный ход: офицерье, обслуживающее дисбат, было настолько деморализовано, что на втором году пребывания в нём Евдокима Дрожжина уже *пряталось* от него, не желая встретиться — и быть «униженным» неотдачею им чести. И это в страшном Воронежском дисбате, который один из его узников назвал позднее «лобным местом», то есть местом казни, убийства (<http://www.antimilitary.narod.ru/antology/droszhin/disbat.htm>).

От Дрожжина отступились все его мучители, не исключая жесточайшего Алексея Букова, которого, по сведениям Е. И. Попова, боялась мучимая им жена и ненавидели дети (Там же. С. 62 – 63). Все... *кроме* поручика Астафьева, отличившегося исключительными, по сей день, увы, столь полезнейшими в казармах и тюрьмах России, садистскими наклонностями. Единственно он продолжал, напротив, пытаться «дисциплинировать» уже больного туберкулёзом, истощённого и полуживого Евдокима Дрожжина. Возможностей же у него

было для того немеряно: Буров *трижды* отправлял Евдокима Никитича на военный суд — для добавления «солдату», не бывшему по закону солдатом, дисциплинарного срока за неповиновение начальству. При этом Дрожжина приходилось волочь или нести до самого суда и обратно, ибо он по-христиански справедливо полагал, что «глупо идти добровольно на суд, если его не признаёшь. Если мы, уклоняясь от судов, и подаём повод отдельным лицам увеличивать против нас греховные меры, то, с другой стороны, не поддерживаем общественного мнения, что суд есть торжественный акт» (*Там же. С. 36*).

Впрочем, и Буров вносил свою палаческую лепту в погубление Евдокима Дрожжина: именно его распоряжением мученика почти непрерывно держали в карцере и лишали горячей пищи — несмотря на развивающийся туберкулёз.

Но Евдоким Никитич как будто и не помышлял не то, что о капитуляции, но хотя бы о каких-то уступках своим палачам. Вот ещё некоторые наблюдения и размышления народного учителя и Христова праведника, сделанные в «дисбатовский» его период и взятые в книгу биографом его Поповым из письма его к Н. Т. Изюмченко:

«Человек по существу своему должен быть разумным, свободным и безгрешным. То есть он тогда только человек, когда стремится к человеческим идеалам. Это одинаково подтверждается и наукой, и религией: разумом он отличается от животных и властвует над природой. Поэтому он свободен от подчинения существам физической природы и подчиняется только тому, что выше его самого: совести, Богу. Будучи свободен, имея Божий дар — совесть, человек этим самым так высок, что уподобляется Творцу и имеет в себе зачаток Его святого духа.

Существует мнение, что разум, свобода и совесть не есть высшие дары, а более низшие, даже настолько низкие, что служат только средством для физической жизни человечества. Про эти дары говорят, что они культивируются сообразно развитию вообще, и так как условие развития есть борьба человека не только с природой, но и с человеком, то проявление их и видели во все времена в непрерывной вражде народов. Всё это, действительно, было и есть, и быть не могло иначе. Но нехорошо то, что это дало повод думать и уверять других, что так и должно быть.

Всем очевидно, что мир лежит во зле. Но почему же ни в один момент истории человечество не переставало чтить Бога и добродетель? Почему каждый из нас, будучи в известной мере хорошим или дурным, в душе предпочитает хорошее и, в противность дурному,

старается даже и показать его людям? Возьмите, для примера, отъявленного негодяя, и тот не похвалится тем, что, по его убеждению, скверно, и, наоборот, не прочь похвастаться такими добродетелями, каких ему и не снилось совершать. Из этого ясно, что не всё то, что есть, есть то, что должно быть; и, во-вторых, побуждение отличать добро от зла и стремиться к добру составляет неотъемлемое достоинство человека. (Всякий, имеющий это побуждение, верит в Бога).

Впрочем, это убеждение, будь оно и не моим одним, никого не обязывает выражать его, потому что всякое обязательство лишает человека свободы и т. д. Но всё-таки не лишне разбудить то чувство, которое в дремлющем состоянии приводит к ошибкам. Совесть, этот высший судья, всегда заявляет свои права, наказывая за ошибки раскаянием.

[...] Что такое солдат? В военном учебнике есть ответ: слуга государя и отечества. И это для меня совершенно непонятно. Ещё будет непонятнее, если прибавить, что он в то же время и человек. Несколько лет тому назад я как будто бы понимал, что означает слово „слуга" и т. д., но и тогда слуги, рабы представлялись мне ниже, чем должны бы быть (вероятно, вследствие логической ассоциации контраста, ибо господин раба представлялся не выше, чем должен бы быть), и вообще несчастными, вызывавшими к себе жалость. Теперь я слово „слуга" понимаю так: он служит людям, помогает им жить, как было во времена рабства или крепостничества, т. е. главная обязанность их состоит в том, чтобы питать и покоить господ. Это ещё я понимаю; но никак не могу понять, как солдат может служить государю, не видя его, и служить отечеству которое даже представить себе не в состоянии. Солдат видит, что служит своим ближайшим начальникам.

Ещё мне приходилось слышать от образованных военных, каков должен быть идеальный солдат. Такой, который слепо исполняет волю начальника и никогда не рассуждает: так или не так, хорошо ли или нехорошо то будет. Это ещё раз подтверждает, что солдаты суть машина, рычаг от которой находится в руках начальников, но менее всего человек.

Меня как-то раз начальство назвало *сумасшедшим* на том основании, что я составляю исключение из миллионов, которые уважают службу. Ещё офицер назвал *дураком* за то, что не слушаюсь начальства.

Слова первого заслуживают того, чтобы на них остановиться. Правда ли, например, что миллионы „уважают"? Начать хоть с низших. Солдат служит по грубому принуждению, освящённому зако-

ном. Офицер служит по принуждению более тонкому, удостоверившись предварительно в своей непригодности к более разумной службе и часто оставаясь довольным собой за мундир и 50 руб. жалованья. Высшие лица военного звания, производя свой род от таких предков, которые более всего пользовались славой и властью, соблазненные уже одним этим, не желают умалять эту славу, тяготеют к Петербургу и часто сами достигают высшего положения, богатеют и блестят...

Таким образом, все, от солдата до генерала, служат поневоле, и, может быть, самое незначительное меньшинство по убеждению. И, несмотря на это, военное начальство, служа своим похотям, уверяет, что оно служит государю, отечеству и защищает... веру.

Последняя выдумка так незамысловата и ей так все мало верят, что скоро перестанут печатать, а говорить даже и перестали.

Конечно, будущего знать нельзя, хотя и история прямо подсказывает это. Я только припомню то, что с течением времени воинственный дух падает: все племена в кочевой период своего развития любили войну более всего в жизни, весь мужской и даже отчасти женский пол были искусными головорезами. С оседлостью же народ не только неохотно идёт в сражение, но даже по объявлении всеобщей воинской повинности начинает смотреть на это, как на насилие, и оплакивает новобранца с причитаниями. Взамен старых идеалов счастья, выражавшихся в торжестве победителя, возвращавшегося с золотом, оружием, пленниками и воспеваемого за это, как героя, теперь стали иные идеалы, идеалы семейной жизни и труда.

Ко всему этому я мог бы обратить внимание на учение Христа, но слова его для меня так святы, что считаю грехом применять их там, где ложь так очевидна, что разоблачение её достигается при помощи обыкновенных человеческих усилий.

И вот, мне, глубоко убеждённому во всём сказанном, предлагают стать солдатом, и даже не предлагают, а просто арестовывают и именуют солдатом. Хотя я много ожидал, однако многое показалось мне диким, а многого и совсем не предвидел; например, я радикально изменил мнение об офицерах. Может быть, это оттого, что во всё время я более всего терпел от ихней грубости и несправедливости, — не знаю, но знаю только и убеждён, что эта золотая молодёжь есть самый вредный элемент в государстве (как в семье). Их отношения укрепили во мне решимость и сделали из меня бесповоротного врага всякой военщины. Не стану приводить бесчисленные и все, похожие друг на друга примеры их безобразий.

Чаще всего приходилось слышать слово „заставят”. Это слово наиглупейшее, противнейшее и злокачественнейшее из всего русского

словаря. Слово это меня всегда возмущало, потому что я нисколько не верил этому, а доказать не мог, потому что всех других обстоятельства действительно заставляют, в ходячем смысле этого слова. Не знаю, имелось ли в виду заставить меня или нет, но я перетерпел всё то, что должен бы был перетерпеть в том случае, если бы меня решились *заставить*» (Там же. С. 82 – 86).

* * * * *

Наконец срок Дрожжина в дисциплинарном батальоне был продлён до... 1903 года. И это при том, что более двух лет мало кому в пыточных условиях Воронежского дисциплинарного удавалось выжить без болезни или увечья (Там же. С. 92). Дрожжина, как бывшего учителя, хотя бы не избивали и не секли розгами. Другим, за ту же провинность, суд назначал не карцер и не дополнительные годы дисбата, а *сотни* ударов розгой (обычно 200 или 300). Секли в ту эпоху ещё *умеючи*, и с 200 ударов даже более крепкие (каким поначалу был и Дрожжин) либо делались калеками, либо погибали. От 300 же ударов «только самые крепкие натуры оставались в живых» (Там же. С. 64 – 65).

В этом, однако, садисты в погонах не отступали от российских законов: Дрожжина не секли. Находились иные, подлейшие, методы влияния... Дождавшись очередной встречи с Дрожжиным и очередной *неотдачи* ему чести, Астафьев, холодной осенью уже 1893 г., заметив, что несчастный учитель уже очень болен и падает в карцере с табурета, «ходатайствовал» об отобрании у больного из карцера единственного тюфяка (унизительно именовавшегося в этом заведении «подстилкой»). Так как койка в дневное время укреплялась на стене, больному, теряя сознание, приходилось ложиться на пол — теперь без всякой «подстилки». Невольное лежание на холодном полу вызвало тяжёлое воспаление лёгких... и вот тогда-то полуживого Дрожжина отправили — но уже не на Окружной суд, а на медкомиссию. Та безусловно и единогласно (как будто по чьей-то команде) выключила его из военной службы. Но решения суда: тюрьма? ссылка? свобода? — нужно было ещё дождаться: разумеется, в гражданской тюрьме.

И вот тут, как будто «нечаянно», Дрожжина добились:

«5-го января <1894 г.> дежурным офицером по батальону был капитан Астафьев, тот самый Астафьев, благодаря которому у Дрожжина была отнята в карцере подстилка и ему пришлось валяться на полу. Теперь Астафьеву пришлось отправлять умирающего

Дрожжина в тюрьму, куда отправляют из батальона всех безнадежно больных, большею частью для того, чтобы они там умирали. [...] День был сильно морозный и ветренный. Отправляемых одели в тулупы, валенки и тёплые шапки и под охраной конвойных повезли к воинскому начальнику.

Управление воинского начальника находится в Воронеже, верстах в четырёх от батальона. У воинского начальника совершили формальность перечисления арестантов из военного ведомства в гражданское. Затем их обоих повезли в Губернское правление. Здесь конвойные сдали их в руки полиции. Всю тёплую одежду, данную им в батальоне, с них сняли...» (Там же. С. 118).

В этой подробности особенно узнаётся «Россия — щедрая душа», гадина во все времена равнодушно и безжалостно жестокая к слабым, к беззащитным перед ней. Как и в последующей детали, когда Дрожжина с другими арестантами «по-быстрому» прогнали по морозцу три версты... лишь для того, чтобы у «полицейской части» тюремного замка «традиционно» ни к чему не готовая охрана, а следом и застигнутое врасплох тюремное начальство задержали арестантов перед входом — для уяснения и выяснения... Наконец, пропустили, но отнюдь не к лучшей жизни:

«Дрожжин препровождался в тюрьму как очень важный политический преступник, и потому, по приезде туда, его заперли в отдельную камеру при больнице. К вечеру у него сделался сильный жар и кашель. Одиночная палата, где помещался Дрожжин, была сырая и холодная...» (Там же. С. 119).

Многочисленные подробности мучений Дрожжина, собранные Поповым в книге, которые мы уже не будем здесь пересказывать, — свидетельства актуальных по сей день, ни в какое "прошлое", увы, не отошедших, стилия и методов взаимоотношения России и её правительства, а в особенности любых местных начальничков, шишек на ровном месте, с «простым» народом: неуважение, обманы, мелочные унижения, навязывания, принуждение к повиновению, насилие «в законе» и, гораздо большее и жесточайшее, циничнейшее насилие *под прикрытием* закона и в обстановке безнаказанности мучителей и беззащитности жертвы... Повторимся. С Евдокимом Никитичем Дрожжиным, строптивым интеллектуалом из народа, высказавшим христианские и антивоенные убеждения, *просто не знали, что делать*: всё имперское законодательство и вся репрессивная махина Империи 1890-х были архаично сориентированы на невежественного и послушного раба, бездумно верящего в патрио-

тическую и религиозную ложь и повинующегося попам и начальству. Возможность отказа от присяги, от военных учений принудительно призванного в солдаты «презренного мужика» и даже «бывшего учителяшки» — просто не была «запрограммирована».

Отсюда — вся затяжная по времени и неуклюжая ожесточённость, годы издевательств в «штрафниках» (при том, что Дрожжин не присягал и формально не мог даже считаться солдатом), и отсюда — длительный тюремный срок, к которому приговорили уже больного туберкулёзом лёгких Дрожжина, и который он наверняка бы не перенёс. Отсюда — рискнём предположить — и тёмное дело со «случайным» раздеванием Дрожжина и оставлением его полицейскими без тёплой одежды на морозе: чтобы убить наверняка, и не исключено, что по чьему-то тайному распоряжению... в условиях, когда, уже в начале 1894 года, стараниями Л. Н. Толстого и В. Г. Черткова, дело Дрожжина стало уже публичным, вызвав резонанс за границей, а в России — всеобщие симпатии к мученику, вплоть до придворных сфер.

Втихаря, где-то в «высоких» военно-министерских кабинетах, было решено *Дрожжина убить*. И осуществлено это было тоже «традиционным» в Империи методом (заимствованным позднее палачами большевизма и фашизма и сохранившимся до наших дней): замораживанием ослабленного, больного человека без одежды на улице.

Несчастный, запуганный Попов, подвергшийся летом 1894 г., когда писал о Дрожжине книгу, налёту полиции и обыску, сообщает об этом убийстве в Предисловии к книге кратко и изящно, ничем не намекая на то, о чём говорилось между приближёнными Толстого устно, шёпотом:

«...Когда у него от непрерывных страданий и лишений развилась чахотка и он был признан негодным к военной службе, его решили перевести в гражданскую тюрьму, где он должен был отсиживать ещё 9 лет заключения. Но при доставлении его из батальона в тюрьму в сильный морозный день полицейские служители по небрежности своей повезли его без тёплой одежды, долго стояли на улице у полицейского дома и поэтому так простудили его, что у него сделалось воспаление легких, от которого он и умер через 22 дня» (*Там же. С. 3 – 4*).

Всё списано на ошибки и «небрежность» мелкой мундированной сволочи... Проклятая, проклятая, проклятая гадина по имени «государство Российское» по сей день *умеет* не только замечать следы собственных преступлений, но и затыкать рты живым свидетелям!

Владимир Григорьевич Чертков, ближайший друг А. Н. Толстого, так же навещал Дрожжина в тюрьме и добился допуска к нему полноценного, платного врача «с воли» — но и тот уже ничем не мог помочь Дрожжину... и ушёл, крепко озадаченный и сконфуженный попыткой «жалостливой» беседы с умирающим о его страданиях в дисциплинарном батальоне:

«— Вам там очень тяжело было?»

— Нет, мне там было хорошо, - ответил Евдоким Никитич тихим нежным голосом.

— Как же хорошо, когда человек лишён наибольшего блага — свободы?»

— Нет, я был свободен.

— Как свободен? — переспросил доктор.

— Я думал, что хотел, — сказал Евдоким Никитич» (*Там же. С. 126*).

Прекрасен и эпизод с тюремным фельдшером, который единственным «лечением» мог предложить Дрожжину... тюремного же *попа* для исповеди. Мученик Христов, собрав остатки сил, спровадил обоих: «Я те дам священника. Я сам себе священник» (*Там же. С. 122*).

Запоздало, лишь 12 января 1894 г., пришло и решение о пересмотре дела в суде — бывшее откликом на письмо В. Г. Черткова царю, о котором мы подробнее скажем ниже. Дрожжин уже не чаял дожить до нового суда, да и в целом не связывал с пересмотром дела никаких надежд. В одной из последних записей его «тюремного дневника» читаем:

«...Надо мной учинили суд. Суд этот более чем странен. Непринятием присяги и отказом исполнить малейшее приказание военного начальства я показал полнейшее отклонение от военной службы вообще, но меня судили только за неисполнение приказа и так, как и тех солдат, которые в течении нескольких лет службы всегда были послушны, а потом почему-либо один раз ослушались. О присяге же даже как будто забыли. Из этого ясно, что в нашем писанном законе моё преступление является не предусмотренным, а так как преступление весьма очевидно, то суд действует „применительно". Но вот меня ещё судили и также несерьёзно. Наконец, будут судить окружным судом, который, я это предвижу, отличится не хуже полковых. Конечно мне дадут наказание самое строгое, но дело в том, что это произойдёт от совершенной новизны дела, и потому, не умея обойтись с ним по закону, и машинально судьбы будут озабочены одним: как бы не оказаться снисходительными» (*Там же. С. 132*).

Дрожжин не дожид до этого очередного акта его медленного убийства. 25 января присланному Чертковым доктору удалось в последний раз поговорить с больным:

«Он застал его в очень плохом состоянии. Евдоким Никитич сидел скорчившись, дыхание стеснённое, со свистом, губы, концы пальцев — синие. В разговоре он сказал доктору: „Жил я хотя не долго, но умираю с сознанием, что поступил по своим убеждениям, согласно с своей совестью. Конечно, об этом лучше могут судить другие. Может быть... нет, я думаю, что я прав“, — сказал он утвердительно» *(Там же. С. 127).*

А в ночь с 26 на 27 января 1894 г. два других отказника, Судаков и Середа, ухаживавшие за умиравшим в общей камере Евдокимом Никитичем, стали свидетелями его кончины:

«...Отсидев свой срок до полночи, в четыре часа утра Середа разбудил его со словами: „Судаков, Дрожжин помирает“. Судаков вскочил. Они подошли к койке, на которой сидел Евдоким Никитич. Он стал чуть слышным голосом просить, чтобы они положили его, что ему так трудно. Они, боясь, чтобы он не умер тотчас же, если ляжет, уговаривали не ложиться. Но он жалобным голосом сказал: „Что же, вы мне и помочь не хотите?“ Они его положили. Он полежал тихо немного времени, потом стал махать руками, подзывая Судакова. Судаков подошёл. Евдоким Никитич хотел что-то говорить, но уже не мог. Потом у него на глазах показались слёзы, он вздохнул раза два, потянулся и умер» *(Там же. С. 128).*

* * * * *

Остановимся теперь подробнее на позиции по делу Дрожжина Льва Николаевича Толстого и ближайшего друга его, «толстовца № 1» Владимира Григорьевича Черткова — в эти годы уже не простого помощника и единомышленника, а человека, активно влиявшего на мысли и поступки Толстого.

Первые сведения о подвиге Дрожжина Лев Николаевич получил из январского, 1892 года, письма «князя-толстовца» Д. А. Хилкова. Конечно, эти сведения, при всей суровости условий, в которых в дисциплинарном батальоне был помещён Евдоким Никитич, не могли произвести первоначально на Толстого большого впечатления — на фоне наблюдаемых им месяцами страданий голодавших в России в то время крестьян, для которых Толстой с членами семьи и друзьями собирал тогда еду и деньги и открывал столовые, и на фоне поведения самого кн. Хилкова, приговорённого в то же время к ссылке за

христианские проповеди среди крестьян и пример собственной доброй жизни для них. Да и Хилков вряд ли в своих письмах (одно из которых не сохранилось, а второе не опубликовано) отзывался о Дрожжине особенно лестно. Не забудем, что в его судьбе, как и в судьбе друга его, Н. Т. Изюмченко, «князь-толстовец» со товарищи сыграл довольно мутную роль — подбив пропагандой обоих молодых людей на роль мучеников. Судя по одному из ранних отрывков, цитируемых Е. И. Поповым, оказавшись в неволе, Дрожжин, как некогда и сам Иисус, пережил «момент слабости», сомнений в правильности совершившегося — не столько с ним, сколько с его единственным на тот момент настоящим другом:



В. Г. Чертков в 1890 г. Худ. М. В. Нестеров.

«Припоминаю слова Хилкова и мои, с одной стороны, и М. с другой и нахожу что М. была права говоря: Зачем Изюмченку добровольно возвращаться в Курск с тем, чтобы подставить своё тело под удары? Я не проповедую избегания наказаний, но говорю против проповеди подставления тела под розги. Раз Изюмченко ушёл, ему должно заканчивать побег. Я старался опровергнуть её и, как сейчас помню, был блистательно разбит» (Цит. по: Попов Е.И. Указ. соч. С. 129).

Очевидно, столь же «блистательно» выставил Дрожжина в дурном свете юродивый князюшка перед Толстым — ибо тот 31 января отвечая Хилкову из Бегичевки («штаба» благотворительной помощи крестьянам), пропел о Дрожжине явно с хилковского голоса:

«Помогай вам Бог <в связи с предстоящей ссылкой. – Р. А.>. Трудно, как бедному Дрожжину. Я говорю: «бедному», потому что он сердится и ненавидит, страдает и ненавидит. Это очень тяжело» (66, 147).

Любопытно, что одновременно с посылкой Толстому писем Дрожжина в начале 1892 г. князь — быть может, и безо всякой задней мысли — наводит Льва Николаевича на разговор о *буддизме*, который известен отношением к страданию как к имманентной данности бытия и поисками «просветления» как пути выхода из страданий. Под влиянием размышлений о буддизме, об иллюзорности бытия, Толстой снова упрекает Дрожжина в недостаточном умиротворении и смирении в страданиях: «Ужасно жаль его. Думается, что ему бы надо быть радостнее» (Там же. С. 157).

Но на следующий год Толстому *придётся* начать уважать народного учителя, а не унижать жалостью... Летом этого же года в дело Дрожжина «впрягся» уже не князюшка, а *генерал от толстовства* — так издавна учёные толстоведы именуют В. Г. Черткова. Тот навёстил Евдокима Дрожжина в карцере дисбата 9 июля 1893 г. и беседовал с ним наедине целый час — как уверяет Попов, только «благодаря счастливой случайности» (Попов Е.И. Указ соч. С. 94).

«От этого посещения, — уверяет Чертков, — я вынес глубоко поучительное впечатление. Я думал, что мне придётся его утешать и ободрять, но что сам я увижу грустное и мучительное зрелище. Ожидания эти не оправдались. Он, правда, был очень обрадован и тронут моим неожиданным для него посещением, и мы, раньше знавшие друг друга только понаслышке, бросились в объятия, как родные братья после долгой разлуки. Но в духовном отношении я ничего не мог дать, потому что он ни в чём не нуждался от меня. Он в своём заточении был независимее меня, пользовавшегося свободой» (Там же. С. 96).

Помимо решения ходатайствовать за полюбившегося ему страдальца, Чертков своим визитом облегчил его участь: «Начальство увидало, что судьба его известна посторонним, что за его жизнью следят, интересуются им, и к нему стали менее жестоки: разрешили чтение книг, переписку. Кроме того, Черткову удалось установить переписку с Дрожжиным, минуя руки начальства, которая не прекращалась во всё время пребывания его в батальоне» (Там же).

Конечно, Владимир Григорьевич передал свои лестные впечатления от Дрожжина Льву Николаевичу — а доверял тот ему куда больше, чем Хилкову! От Черткова Толстой узнал и о состоявшемся ещё в сентябре 1892 г. переводе Дрожжина из тюрьмы в Харькове в Воронежский дисциплинарный, и о явленных им там уме и мужестве, «спокойствии и твёрдости» (66, 375). К 1893 г. относятся ряд писем Л. Н. Толстого, помимо Черткова, другим толстовцам (М. В. Алёхину, М. А. Новосёлову, Б. Н. Леонтьеву), в которых он с глубокой почтительностью характеризует поведение Дрожжина.

Особняком стоит переписка этого года Толстого с В. Г. Чертковым, в связи с его деятельностью помощи Дрожжину. В июле 1893-го, ещё находясь в Бегичевке по делам закрытия спасавших в голодные месяцы крестьян столовых, Лев Николаевич получил от Черткова письмо с подробностями об условиях содержания Е. Н. Дрожжина и своих планах помощи ему:

«Держат Дрожжина так строго, что он почти из камеры не выходит. Доступ к нему невозможен. Он приговорён к 6 л. дисциплинарного батальона, но там больше 2-х не сохраняют здоровья; следовательно, это равносильно медленной казни. Я решился сделать всё, что могу, для облегчения его участи. Хочу написать о нем записку и попросить Воронцова показать ее государю. Для получения самых точных сведений завтра [...] в Воронеже наведу справки. Врач дисциплинарного батальона, оказывается, мой старый знакомый. <Вероятно, этим врачом был Сергей Михайлович Клобуцкий (1846 – ?), статский советник. См. Рос. медицинский список, 1902 г. С. 159. Он числится в списках офицерского состава Батальона на 1899 год. См.: [www.ria1914.info/index.php/Воронежский дисциплинарный батальон](http://www.ria1914.info/index.php/Воронежский_дисциплинарный_батальон) – Р. А.> Когда окончу свою записку, то пришлю вам для просмотра. Хочу написать, как можно короче, яснее и убедительнее, главным образом ходатайствую об этом частном случае, но попутно касаясь жестокости таких преследований вообще» (Цит. по: 87, 212).

Об этом письме Черткова Толстой писал С. А. Толстой в письме от 15 июля: «Поразительно письмо Попова и Черткова о Дрожжине. Не будет таких людей, никогда узел не развяжется, а когда есть эти люди, становится страшно, особенно за мучителей» (84, 190).

Конечно, как и самого Черткова, Дрожжина в «чертковской сервировке» Толстой идеализировал. Это проявилось, например, в том, что, начав было в октябре 1893 г. писать Евдокиму Никитичу письмо, Толстой, по признанию в письме Черткову, вдруг раздумал писать его — дабы «не повредить» чем-нибудь святому настроению мученика и праведника (87, 227).

Чертков между тем начал составлять (не ранее 8 сентября, точная дата не установлена) самое значительное в судьбе не одного Дрожжина, а всех тогдашних отказников, письмо — царю. Ниже мы приводим частично его текст по публикации в томе писем Л. Н. Толстого. Изложив в начале письма сущность дела Дрожжина и сообщив о мучительных наказаниях, которым Дрожжин подвергался в то время в Воронежском дисциплинарном батальоне, Владимир Григорьевич просил не только облегчить его положение, но и обратить внимание на несправедливость и жестокость мер, которые применяются в России по отношению к людям, отказывающимся от военной службы по религиозным убеждениям:

«Не только несправедливо, но и в высшей степени жестоко помещать в военные исправительные учреждения и военные тюрьмы людей, не могущих по чистой совести исполнять военные обязанности. Это жестоко потому, что в сущности такую меру этим людям предлагается на выбор только один из двух исходов: или, пожертвовав своей совестью, стать обманщиками; или же, жертвуя своею жизнью, быть мучениками за то, что они не согласны стать обманщиками. Мера эта, сверх того, и не благоразумна с правительственной точки зрения. Как секретно ни содержали бы таких людей за стенами военных тюрем и карцеров, существование их всё же останется известным их страже и её начальству, т. е. целому кругу людей, в которых человеческая душа никогда не бывает вполне заглушена. А между тем каждый, в ком ещё хоть сколько-нибудь сохранилась простая человечность, не может не испытывать самого глубокого сострадания к человеку, хотя бы и заблуждающемуся, но живо губимому единственно из-за его несогласия изменить требованиям своей совести. Всякое мученичество, хотя бы и из ошибочных побуждений, в настоящее время внушает свидетелям его неотразимое уважение к мужеству и самоотречению мученика, и невольное внутреннее осуждение того начала, вследствие которого подобные мучения становятся необходимыми. Таким путём незаметно, но неизбежно изнутри, в самом корне подтачивается та самая преданность к государственному началу, ради поддержания которой и предпринимаются подобные меры.

Такое положение дела, разумеется, не может быть желательным для правительства и вероятно существует единственно вследствие невыясненности ещё наиболее целесообразного со стороны правительства отношения к подобным до сих пор лишь изредка встречающимся случаям. А между тем удовлетворительное для всех разреше-

ние этого вопроса, казалось бы, самое лёгкое и простое. С точки зрения справедливости человек не может считаться виновным в том, что он родился в таком, а не другом месте. И если, возмужав, он убеждается в том, что не может по совести исполнять государственные требования, господствующие там, где он родился, то, казалось бы, самая простая справедливость требует того, чтобы такому человеку была предоставлена возможность удалиться из пределов своей родины. Если правительству не желательно, чтобы примеру людей, не могущих по своим религиозным убеждениям поступать в военную службу, следовали такие, которые, единственно ради личной своей выгоды, хотели бы уклониться от этой службы, то совершенно достаточно для этой цели, лишив отказывающихся от воинской повинности решительно всех гражданских прав, предоставить им на выбор: или выехать из пределов государства, или же быть переселёнными в такую местность России, в которой их влияние сочтётся наименее опасным. Всякому человеку мучительно тяжело быть изгнанным из своей родины, и потому такая мера оказалась бы более, чем достаточной, для устранения малейшей привлекательности для кого бы то ни было отказа от военной службы. Если же было бы признано необходимым подвергать таких людей тюремному заключению, то по крайней мере следовало бы заключать их в *гражданские* тюрьмы, в которых срок заключения не мог бы постепенно увеличиваться; но отнюдь не в *военные* учреждения, где, в силу неизбежных недоразумений, заключение даже на самый короткий срок легко может обратиться в пожизненное одиночное заключение» (Цит. по: 87, 222 – 223).

Письмо своё к царю Чертков подписал оригинально: «В. И. В., покорный подданный». Почему «покорный», Чертков особо пояснил в письме 5 ноября 1893 г. хорошо понявшему его в этом моменте Толстому:

«Подписать «*верноподданный*» и «*имею счастье*» я не в силах, так как это слишком диаметрально противоположно тому, что я чувствую. Но я подпишусь так: «вашего императорского величества покорный подданный», что будет и правда, и вполне почтительно в особенности после предшествующих слов об уважении и доверии к его личности» (Там же. С. 231).

Без сомнения, «толстовец № 1» был хорошим учеником «друга и учителя» из Ясной Поляны. И ученик оказался успешнее своего учителя: по личным воспоминаниям старца В. Г. Черткова, записанным уже в 1930-е годы подготовителями Полного собрания сочинений Л. Н.

Толстого, выше процитированное письмо было с пониманием встречено и с толковыми комментариями прочитано Александру III умным балтийским немцем — и таким же, как Чертков, ловким, хитрым и прагматичным до мозга костей — начальником «Канцелярии по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых» генералом Отто фон Рихтером (Otto Demetrius Karl Peter von Richter; 1830—1908). И, с таким содержанием и в такой подаче, оно встретило благоприятное отношение и способствовало замене для отказывающихся по религиозным убеждениям от военной службы заключения в дисциплинарном батальоне ссылкой в Восточную Сибирь на срок нахождения на военной службе и в запасе армии (*Там же. С. 223*).

К несчастью, Евдокима Никитича Дрожжина все принятые меры уже не успевали спасти.

Первоначальный вариант этого письма, с пометками Толстого, который Толстой имеет в виду в комментируемом письме, в архиве Черткова не разыскан. С вкрадчивостью хитрого лиса «послушный ученик» поверг его — уже 12 октября, что говорит о длительности не одной эпистолярной, но всей, к подаче письма, подготовительной работы — к очам Льва Николаевича. В письме-сопроводилке (которое уцелело) Чертков писал:

«Посылаю вам, дорогой Лев Николаевич, с этою же почтою заказным на Тулу черновое моего письма о Дрожжине. Раньше чем списать его набело и отослать, мне очень хотелось бы знать ваше мнение о нём, так как вы со стороны можете лучше судить о впечатлении, которое оно производит. Пожалуйста отметьте в нём неудовлетворительные места, если таковые окажутся; и вообще, если по вашему что не так, то скажите. Хотелось бы по возможности скорее отправить это письмо, так как если оно будет иметь какое-нибудь влияние, то желательно, чтобы это влияние сказалось раньше окончания нынешнего набора, в течение которого какой-нибудь неизвестный нам брат наш может оказаться в таком же положении, как Дрожжин» (*Там же. С. 229*).

В эти же дни Чертков переправляет Толстому письма Е. Н. Дрожжина и записки Н. Т. Изюмченко об условиях их пребывания в Воронежском дисциплинарном батальоне. Вероятно, уже тогда Толстой обдумывал свои формы отклика на то, что он оттуда узнал. Примечательно, что в то время он как раз работал над статьёй «Религия и нравственность» (той самой, в которой изложил своё учение о Трёх Религиозных Жизнепониманиях), а также, параллельно, над статьёй «Христианство и патриотизм» и (немного ранее) над трактатом «Царство Божие внутри вас», в которых получила развитие тема

несовместимости исповедуемого в России *на словах* христианства с реальной *милитаризацией* политической жизни и общественных дискурсов и, конечно, с *призывной армией*, с обязательной службой в войске.

Черновое письмо к царю было возвращено Толстым, и Чертков было переписал его набело, когда узнал через Толстого о драматических событиях — изъятии 21 октября 1893 г. детей у «еретиков», мужа и жены Хилковых. Мать князя, Ю. П. Хилкова, через Победоносцева добилась у имп. Александра III «повеления» передать ей детей сына для «воспитания в православном духе». Впоследствии В. Г. Чертков соберёт об этом, тоже вполне «типовом», преступлении российского режима обличительный материал и опубликует за границей... тогда же, в ноябре 1893-го, он решил ещё раз отредактировать своё письмо царю о Дрожжине, убрав выражения о «доверии» (см. 87, 244). Толстой не мог контролировать своего подлайного писорчука, а сам Чертков, кажется, *не спешил*, как бы уже приговорив Дрожжина к смерти — в пользу собственных амбиций...

Этот момент тем досадней, что внимание Толстого, кроме текущих работ, переключилось на событие с детьми Хилковых. За Дрожжина, ещё живого, он, как ни желал, больше не успел вступить ни чем и никак. О Хилковых же, по примеру ближайшего друга, он подготовит особенное письмо царю (см.: 67, 4 – 9), но... совершенно «провальное» по результатам.

Наконец, Дрожжин погибает. Кажется, первым оповестил о его смерти Черткова и Толстого Е. И. Попов, тут же «застолбивший» себе место биографа (или агиографа?) Евдокима Никитича:

«Дрожжин умер. Нам здесь всем кажется, что следует, как можно скорей, издать его дневники, письма, его биографию, из которой бы ясно было значение его жизни, подвига, смерти. [...] Книга эта была бы разъяснением значения его поступка, а его жизнь была бы прекрасной иллюстрацией к ней, указывающей то, что следует делать, или, по крайней мере, к чему должно готовиться всякому искреннему человеку. [...] Я писал об этом Льву Николаевичу и жду от него ответа или совета» (Цит. по: 87, 256).

Желая угодить «другу и учителю Льву Николаевичу», Чертков, затычка в каждую бочку, сперва набивался к Попову в соавторы задуманной книги, но охладел к ней из-за отговаривания его от писания самим Толстым, а уж после полицейского налёта и ареста рукописей Попова летом 1894 г. совершенно потерял к «опасной» биографии всякий интерес.

В письме от 7 февраля Е. И. Попову Толстой по поводу задуманного Поповым писания биографии народного учителя высказывается, конечно, положительно. А 8 февраля Толстой упоминает, уже как об известном факте, о смерти Е. Н. Дрожжина в письмах ряду лиц.

Из письма В. Г. Черткову:

«Как много важных значительных для нас событий: насилие над детьми Хилкова, смерть Дрожжина. Непременно надо написать его житие. [...] Пусть Евгений Иванович пишет, так как он вызывается» (87, 254).

Тема *духовного значения* смерти Дрожжина, казнённого Россией посредством создания пыточных условий (на которые она так истинно щедра во все времена, дрянная душонка!) продолжается Толстым в письме этого же дня толстовцу-пахарю Б. Н. Леонтьеву:

«Смерть Дрожжина очень поразила меня. Что-то очень значительное совершается вокруг нас. Такое моё чувство. И смерть Дрожжина особенно усилила во мне сознание важности переживаемой минуты. Всякая минута всегда важна, но не всегда сознаёшь это, как я сознаю теперь. Мысль, выраженная вами о том, чтобы составить биографию Дрожжина, пришла всем нам...» (67, 35).

Наконец, весьма интересен, и, что особо ценно, практичен и здрав ответ Василию Кондратьеву, рабочему-печатнику из г. Николаева Херсонской губ., поведавшему Толстому в письме от 31 января 1894 г. о готовящемся призыве на военную службу и желании отказаться:

«Вы, вероятно, уже знаете <откуда?? – Р. А.> о судьбе сельского учителя крестьянина Дрожжина, который года два тому назад отказался, будучи призван к военной службе, от присяги и ношения оружия и был за то приговорён в дисциплинарный батальон в Воронеже, где его замучили, так что он на днях умер от чахотки. Совет мой во всех такого рода делах такой: не загадывать вперёд, не возбуждать в себе желание отказаться; напротив, возбуждайте в себе желание покориться, что для вас вполне естественно, так как своим отказом вы повергнете в отчаяние своих близких, любящих вас; откажитесь же только в том случае, если вы будете не в силах поступить иначе. При этом, главное, постарайтесь отрешиться от мнения людей, чтобы оно не влияло на вас, а поступайте так, как бы вы поступили перед Богом, если бы никто никогда не узнал про то, что вы сделали» (67, 35).

Смерть Дрожжина, кажется, вернула к нему запоздалое внимание Л. Н. Толстого. Теперь, в феврале и весной 1894 г., она стоит для него по значительности на равных с отображением детей у сектантов

Хилковых, что видно, например, из письма молодому Ивану Алексеевичу Бунину, в то время, по горячности юности, возжелавшему последовать Христу и Льву:

«Смерть Дрожжина и отнятие детей Хилкова суть два важные события, которые призывают всех нас к большей нравственной требовательности к самим себе и к всё большему и большему освобождению себя от всякой солидарности с той силой, которая творит такие дела» (67, 48).

Это, наверное, лучшая формулировка Толстым христианского значения мученичества и гибели народного учителя. Но важное, не столь «корпоративное», даже отчасти интимно-личное, прибавление к сказанному мы находим в письме Толстого от 6 марта 1894 г. толстовцу М. В. Алёхину:

«Вы спрашиваете — понимаю ли я вас? Совершенно. С радостью чувствую, как одним пульсом с вами бьётся моё духовное сердце. Так же, как и вас, меня неотступно после смерти Дрожжина нудит мысль последовать его примеру и сделать то, что он. Будем желать этого не переставая, готовиться, не забывать, не ослабевать и, может быть, и нам придётся так же ярко сгореть, как он, а не придётся — сотлеем всё тем же огнём» (67, 72 – 73).

Толстого, как известно, «не трогали» волей самого императора Александра III, «карая» его при этом самым изгальённо-обдуманым, типично российским, сволочным и антихристовым образом: зло преследуя и без того немногих его искренних учеников. Поэтому желание «присоединиться» к мученикам Толстой высказывал уже и в эти годы, и будет высказывать позднее, в 1900-е.

Вероятно, пища Алёхину цитированные нами строки, Толстой вспоминал и имел в виду строки куда более знаменитые, обожаемого им Ф. И. Тютчева, сполна выражающие его многолетнее настроение:

Как над горячею золой
Дымится свиток и стораает,
И огонь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает —

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днём уходит дымом,
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом!..

О Небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле —

И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!

«Просиял — и погас» — так кратко мог бы выразиться Толстой о судьбе Дрожжина, в отличие от Черткова, завидной ему *искренне*, до всей глубины благородного сердца.

Из письма Б. Н. Леонтьеву, 9 марта 1894 г.:

«Тут совершается то, что говорил Христос про себя и что верно и относительно учеников его. Чем выше духом и жизнью поднимется кто-нибудь из них, тем сильнее он привлечёт к себе и к тому, во имя чего он поднялся, всех остальных. И это сделал с особенною силою Дрожжин» (67, 75).

Особняком в «дрожжинской» переписке Л. Н. Толстого этих дней стоит своеобразный его ранний подступ к обличающему зло казённых смертных расправ памфлету 1908 г. «Не могу молчать». Это письмо одному из двоих мучителей и убийц Евдокима Дрожжина, начальнику (с 1892 г.) Воронежского дисциплинарного батальона Алексею Васильевичу Бурову. Сохранился только черновик письма, датированный приблизительно 23 – 25 февраля 1894 г. По некоторым сведениям, Толстой не отредактировал и не отправил адресату это письмо (87, 259; *комм. с. 262*). Так или иначе, но, по причине значимости в нашей теме, мы приводим здесь полный его текст.

«Милостивый государь,

Вам, вероятно, известно уже, что мучимый в продолжение 2-х лет в том ужасном заведении, которого вы состоите начальником, Дрожжин умер от этих мучений. Причиной его страданий и смерти многие, но преимущественно вы, так как от вас исходили приказания о его мучениях. Знаю, как целым рядом обманов и заблуждений люди, находящиеся в одном положении с вами, приводятся незаметно к совершению самых ужасных злодейств, с убеждением, что они делают хотя тяжёлое, но необходимое и потому полезное дело, поэтому не упрекаю и не осуждаю вас. Я не имею на это никакого права, так как, вероятно, совершал и совершаю, не видя их значения, такие же, как и те ваши поступки, которые были причиной смерти Дрожжина, но пишу, потому что считаю это своею обязанностью перед Богом. Будучи случайно поставлен в такие условия, в которых мне со стороны видно всё значение совершившегося дела,

я считаю своею братскою обязанностью перед вами указать вам на значение вашей деятельности.

Поступок, совершённый вами (и поступков таких, сколько мне известно, совершено вами сотни, и такие дела постоянно совершаются в вашем ужасном заведении), поступок ваш по отношению к Дрожжину один из самых ужасных грехов, которые только могут совершать люди. — Вы в страшных физических страданиях убили не только невинного, но святого человека, страдавшего за истину, за учение того, кого ваши же начальники и вы сами признаёте Богом. Вы думаете в своей душе и скажете, вероятно, что, делая то, что вы делали, вы исполняли закон службы и присяги, приказания высшего начальства, государя, которому вы не могли не повиноваться. Вы скажете это, но в глубине души, перед Богом, вы знаете, что это неправда. Есть закон выше всех законов гражданских и военных, закон, незнанием которого действительно никто не может отговариваться, и есть начальство гораздо более высшее, чем все императоры в мире и от власти которого и обязанности повиноваться которому мы никогда не можем освободиться. И по этому закону вы не могли участвовать, а тем более руководить истязаниями и убийством невинного человека, поставленного виновным только за то, что он не хотел убивать и готовиться к убийству. Истязая и убивая этого человека, вы поступали прямо противно воли известного вам закона и против высшего начальства. И это вы в глубине души знали.

Простите меня, пожалуйста, если письмо это огорчит вас. Я повторяю, что в мыслях не имею осуждать вас, а пишу только потому, что боюсь — молчание будет нарушением того самого высшего закона, которому мы все одинаково подлежим. Если я ясно и несомненно вижу ваше ужасное заблуждение, позволяющее вам продолжать служить вообще в военной службе и в особенности в том зверском учреждении, в котором вы состоите начальником, то я не имею права молчать об этом перед вами и другими людьми, находящимися в таком же заблуждении, как и вы. От вас зависит сказать себе: с какого права он лезет учить меня, в таком духе осветить и продолжать свою вредную деятельность или подавить в себе то неприятное чувство, которое вызовет в вас это письмо, подумать перед Богом, заглянуть в свою совесть и бросить то ужасное дело, которым вы заняты, каких бы это ни стоило вам лишений.

Братски любящий. Л. Т.» (67, 53-54).

Как видим, манифест христианского обличителя присутствует и в этом частном письме Л. Н. Толстого, писанном более чем за десятилетие до манифеста «Не могу молчать». И не важно, если даже письмо не отправилось к адресату и не задело его совести: оно сохраняет свою содержательную актуальность и по отношению к сотням и тысячам позднейших палачей при казённой, военной или полицейской, должности (сталинских, гитлеровских, путинских... всё сорта одного говна!), прикрывающих ею свои личные ущербность и садизм.

Сказанное можно отнести и к Предисловию к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина», над которым Толстой работал с конца января по начало марта 1895 г. — уже имея на руках многострадальную рукопись книги Попова, которую ему пришлось писать фактически дважды: до обыска 18 июня 1894 г. и после него, частично восстанавливая отнятое по памяти, частично же — по копиям, спрятанным в тайниках «не ленившимися на переписывание толстовцами» (*Опунская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 124*).

Позднее Толстой решил публиковать этот текст как Послесловие — по совету В. Г. Черткова в письме от 20 марта 1895 г.:

«...Ваше предисловие к этой жизни не есть предисловие, а *послесловие*. Это, во-первых, фактически верно, так как оно в вас было вызвано жизнью Дрожжина и после неё. А во-вторых, в интересах убедительности для читателя оно гораздо уместнее именно как послесловие, ибо для того, чтобы понять и перечувствовать то, что вы пишете под впечатлением Дрожжина, так же ясно и сильно, как вы это понимали и чувствовали, необходимо сначала самому быть под впечатлением Дрожжина, что для читателя достижимо только путем прочтения сначала его жизни, а потом вашего послесловия» (*Цит. по: 87, 324*).

Мы тоже следуем разумному совету Владимира Григорьевича, помещая текст Послесловия Льва Николаевича Толстого к книге о Евдокиме Никитиче Дрожжине — в заключение к данной главе нашей книги. Разумеется, не целиком, а в рамках иллюстраций нашего краткого анализа. Для нас особенно интересен этот текст тем, что его, как и ряд позднейших публицистических работ Льва Николаевича, направленных на обличение мирской лжи и утверждение христианской истины, представители различных политических лагерей и связанные с ними пишущие критики, подкупаемые эмоциональностью толстовских текстов, полюбили считать манифестацией «со-

циального обличения», идейной поддержкой либеральной и радикальной оппозиции в России. Консерваторы ненавидели за это Толстого, радикалы, до и после большевицкого переворота — славословили, либеральная сволочь — считала *вроде как* своим, но ставя (как и безбожники социалисты) «барьер невосприятости» по отношению к основе всех подобных публицистических писаний Толстого-христианина — к религиозной проповеди. Тем важнее нам сосредоточить внимание *нашего* читателя именно на этой идейной основе христианских писаний Льва Николаевича против войн, военщины, казарменной жестокости и смертных казней — как открытых убийств, совершавшихся Россией, так и завуалированных, особенно подлых, совершаемых по сей день.

В начале Послесловия Толстой, как и в недавно оконченом им трактате «Царство Божие внутри вас...», подчёркивает всю несуразицу, нелепость «обязательной» военной службы в христианской стране: обязательства для массы *якобы* последователей Христа Иисуса связывать себя с системой, созданной для организованных преступлений российского правительства, для военных убийств, учиться убийствам, повиноваться начальственным приказам, требующим убивать... Снова, как и в статье «Николай Палкин», Толстой критикует лживые переосмысления и восстанавливает первоначальный христианский смысл евангельской притчи об отдаче «кесарю кесарева, а Божьего — только Богу». Отдавать же «Богу богово» в отношениях с разбойничьим гнездом «государства Российского» — означает ничем, ни словом ни поступком, не участвовать в его безбожных и преступных делах, не искать в службе этой машине смерти личных денежных или статусных выгод. А для этого — возвысить в себе высшую, духовную, природу, подлинно человеческое, и помогать только ему, а не зверино-атавистическому: «отдаваться своей природе, быть добрым и правдивым перед Богом и собою» (39, 86). Кто не лукавит перед собой, ища приложения собственным гнусным влечениям корысти, честолюбия или властолюбия, а в перспективе — лёгкости и приятности жизни для своего животного, эгоистического «я», тот не выберет должности полицая, шпиона, палача, военного, сборщика налогов и под.

Людям легче было обманывать себя, оправдывая своё участие во власти, повиновение ей, в традиционалистских обществах, с их массой невежественных или полуневежественных людей, суеверно наделявших политических, военных и «духовных» (попы) вожаков теми или иными идеальными качествами. Но в обществах современных, обществах неотделимой от массового просвещения машинной

эры, конца XIX столетия (а тем более нашей эры информационной — конца XX и XXI столетий!) «повиновение власти — не из страха, но по совести — стало невозможно потому, что вследствие всеобщего распространения просвещения власть, как нечто достойное уважения, высокое и, главное, нечто определённое и цельное, совершенно уничтожилась», и все люди, кроме изнасиловавших сами свой же мозг казённой или поповской ложью, понимают, что правители и их прислужники суть «не только не особенные, святые, великие, мудрые люди, занятые благом своих народов, но, напротив, большею частью очень дурно воспитанные, невежественные, тщеславные, порочные, часто очень глупые и злые люди, всегда развращённые роскошью и лестью, занятые вовсе не благом своих подданных, а своими личными интересами, а, главное, неустанной заботой о том, чтобы поддержать свою шатающуюся, только хитростью и обманом поддерживаемую власть» (Там же. С. 89 – 90).

В тексте толстовского «Послесловия...» нет ни ненависти к кому-то лично, ни того задорного «обличения церкви и государства», которое стремятся увидеть поклонники меча и силы, верящие в то, что Иисус стегал кнутом в храме скотину и людей без разбору, а перед арестом — желал от учеников защиты посредством меча и насилия. Гнев Толстого здесь, как и в иных публицистических работах, адресован не на лиц (даже таких непривлекательных, как Буров) и не на сами общественные институты, а на *ложь* и *зло*, связанные с их (и лиц, и институтов) общественным бытием. Практически до самого последнего своего публицистического текста (статьи 1910 г. «О социализме») Лев Николаевич подчёркивал *неважность* для людей христианского понимания жизни того, сохранится ли тот или другой из общественных институтов: если ложь вытесняется Божьей правдой-Истиной, то и старое устройство жизни крупных общностей людей может замениться только *лучшим*, более близким к этой Истине. Ложный, насильнический мировой строй враждующих государств — мирным безгосударственным сожительство и самоуправлением общинников. Церкви разделявших, ссоривших веками людей *анти-религий* — единой Церковью Христа первоначального и единой религией Истины, при которой само слово «религия» будет соответствовать своим этимологическим истокам. И так далее... И неважно, *так* ли точно будет: для христианина важно удержать слияние своей воли с волей Бога, а значит — не обдумывать вперёд последствий, а делать для Бога, в Его воле: дорога всегда явится под стопой идущего.

В воле Бога, а не человеческой... Вот почему неправы те, кто при жизни Толстого винил *его*, что он «создаёт мучеников», таких, как

Залюбовский или Дрожжин. Человек христианского жизнепонимания не творит кумира и из того, от кого познал Божью Истину — будь то Христос или Лев Толстой. Он следует не авторитетному слову, распоряжению вожака (как делают адепты церквей и сект *антирелигии*), а именно воле Бога, выразившейся в этом слове учения, проповеди. Воля же Бога не может быть различна или быть злом. Зло — в самообманах и своеволии людей, поклоняющихся Богу и даже учителям Божьей Истины (как Иисус), но *не слушающихся их*, губя на таком пути жизни и других, и себя, свою душу:

«...Если мы даже сумеем поставить разумных и добрых людей во главу других, то не перестанут ли эти разумные и добрые люди быть таковыми, если они будут насиловать и казнить неразумных и недобрых? И самое главное: вы говорите, что для того, чтобы помешать некоторым ворам, грабителям и убийцам насиловать и убивать людей, вы учредите суды, полицию, войско, которые будут постоянно насиловать и убивать людей, обязанность которых будет состоять только в этом, и в эти учреждения привлечёте всех людей. Но ведь таким образом вы наверное заменяете небольшое и предполагаемое зло большим, всеобщим и уже наверно совершающимся злом. Для того, чтобы противостоять некоторым воображаемым вами убийцам, вы заставляете всех наверное быть убийцами. И потому я повторяю, что для осуществления братского общежития людей не нужно никаких особенных усилий, ни умственных, ни телесных, а нужно только быть тем, чем нас сделал Бог: разумными и добрыми существами и поступать сообразно этим свойствам» (*Там же. С. 95*).

А вот как в «Послесловии...» Толстого к книге Е. И. Попова выразилось всё то же его откровение о Трёх Жизнепониманиях:

«Было время, когда человечество жило, как дикие звери, и каждый брал себе в жизни всё, что мог, отнимая у другого то, что ему хотелось, избивая и убивая своих ближних. Потом пришло время, когда люди сложились в общества, государства, и стали устраиваться народами, защищаясь от других народов. Люди стали менее звероподобны, но всё-таки считали не только возможным, но необходимым и потому достойным убивать своих врагов внутренних и внешних. Теперь же приходит время и пришло уже, когда люди, по словам Христа, вступают в новое состояние братства всех людей, в то новое состояние, давно уже предсказанное пророками, когда все люди будут научены Богом, разучатся воевать, перекуют мечи на орала и копья на серпы, и наступит царство Божие, царство единения и мира. Состояние это было предсказано пророками, но учение Христа указало, как и чем оно может осуществиться, а именно братским единением, одним из первых проявлений которого должно

быть уничтожение насилия. И необходимость уничтожения насилия уже сознаётся людьми, и потому состояние это наступит так же неизбежно, как прежде после дикого состояния наступило состояние государственное.

Человечество в наше время находится в муках родов этого устанавливающегося царства божия, и муки эти неизбежно кончатся родами. Но наступление этой новой жизни не делается само собой, наступление это зависит от нас. Мы должны сделать его. Царство Божие внутри нас» *(Там же. С. 94)*.

Возвещение Царства Божия на Земле, как на Небе — подлинный мотив публицистических писаний Толстого-христианина, которым люди различных политических, научных или религиозных сбродов, выставившие против Божьей правды-Истины удобный «барьер невосприятости», приписывают значение антиправительственной, революционной или какой-то иной оппозиционной, либо же, например, «пацифистской» пропаганды.

Вообще подвиг Дрожжина настроил Толстого очень серьёзно, строго к себе и к своему слову — что выразилось в «Послесловии...» во всём, включая особенную проповедь необходимой строгости каждого к тому, как он влияет словом на общественное мнение, в особенности же — на сознание тех, кто берётся участвовать в мире в деле Божиим, приближении Царства Его:

«Все люди, которые двигают вперёд человечество и первые и одинокие выступают на тот путь, по которому скоро пойдут все, выступают на этот путь не легко и всегда со страданием и внутренней борьбой. Внутренний голос влечёт по новому пути, все привязанности, предания, слабости, всё тянет назад. И в эти минуты неустойчивого равновесия всякое слово поддержки или, напротив, задержки имеет огромное значение. Самого сильного человека перетянет ребёнок, когда этот человек напрягает все свои силы, чтобы сдвинуть непосильную тяжесть.

...Как бы далеко ни стояли от событий, мы участвуем в них нашим мнением и суждением. И неосторожное, легкомысленно сказанное слово может быть источником величайших страданий для самых лучших людей мира. Нельзя быть достаточно внимательным в употреблении этого орудия: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» *(Там же. С. 97)*.

Кто же выпутает себя из паутины мирской словесной лжи, оправдывающей существующее устройство жизни — сумеет выпутать себя и из участия в том зле, которое оправдывает и освящает мирская ложь:

«...Я говорю про участников этих угнетений, начиная от государя, министров, судей, прокуроров, до сторожей и тюремщиков, мучащих этих мучеников. Ведь все вы, участники этих мучительств, знаете, что человек этот, которого вы мучите, не только не злодей, но исключительно добрый человек, что мучится он за то, что хочет всеми силами души быть хорошим; знаете, просто, что он молод, что у него есть друзья, мать, что он любит вас и прощает вам. И его-то вы будете сажать в карцер, раздевать, морить холодом, не давать пить, есть, спать, лишать его общения с близкими, с друзьями?..

Как же вам, императору, подписавшему такой приказ, министру, прокурору, начальнику тюрьмы, тюремщику, сесть обедать, зная, что он лежит на холодном полу и, измучившись, плачет о вашей злобе; как вам приласкать своего ребёнка; как вам подумать о Боге, о смерти, которая вас приведёт к нему?

Ведь сколько вы ни притворяйтесь исполнителями каких-то неизменных законов, вы просто люди, и добрые люди, и вас жалко, и вам жалко, и только в этой жалости и любви друг к другу и жизнь наша.

Вы говорите: нужда заставляет вас служить в этой должности. Ведь вы знаете, что это неправда. Вы знаете, что нужды нет, что нужда — слово условное, что то, что для вас нужда, для другого роскошь; вы знаете, что вы можете найти другую службу, такую, в которой вам не придётся мучить людей, да ещё каких людей. Ведь как мучили пророков, потом Христа, потом его учеников, так всегда мучили и мучают тех, которые, любя их, ведут людей вперёд к их благу. Так как бы не быть вам участниками этих мучений?

Ужасно замучить невинную птичку, животное. Насколько же ужаснее замучить юношу, доброго, чистого, любящего людей и желающего им блага. Ужасно быть участником в этом деле. И, главное, быть участником напрасно — погубить его тело, себя, свою душу, и вместе с тем не только не остановить совершающегося дела установления царства Божия, но, напротив, против воли своей содействовать торжеству его.

Оно приходит и пришло уже» *(Там же. С. 98).*

Этим провозвещением заканчивает Толстой своё «Послесловие» к многострадальной книге о житии и об убиении народного учителя Дрожжина. В дальнейшем Л. Н. Толстой упоминал Дрожжина в таких своих антивоенных статьях, как «Две войны» (1898), «Одумайтесь!» (1904), «Закон насилия и закон любви» (1908) и др., признавая его одним из самых святых, чистых и правдивых людей, какие бывают в жизни, в ряду великих человеческих героев и мучеников за Истину (см.: 31, 99 – 100; 36, 128 – 129; 37, 187; 39, 102). Отрывок из

книги Попова Лев Николаевич включил в свой «Круг чтения» (42, 404 – 405).

Закончим на этом и мы, оставив *современных* служителей смерти наедине со своими разумом и совестью, для осмысления прочитанного — в особенности в странах таких, как нынешняя страна палач и военный агрессор, государство-террорист, гнусная фашистская Россия.

Прибавление.

**Иван Иванович Горбунов-Посадов.
ПАМЯТИ НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ
ЄВДОКИМА НИКИТИЧА ДРОЖЖИНА,
ЗАМУЧЕННОГО В 1895 ГОДУ**

На далёком острожном кладбище
В безымянной могиле глухой
Спит, замученный властью кровавой,
Человечества светлый герой.

Меж убийц и воров он схоронен,
В безымянной могиле зарыт.
Но душа его светлой звездой
Над могильною тьмою горит.

Он был призван. Но твёрдо он власти,
Весь пылая душевным огнём,
Заявил: "Я не буду убийцей.
Я не стану солдатом-рабом!

Никогда не прольют эти руки
Человеческой крови родной.
Никогда в эти руки оружие
Не вложить вам кровавой рукой.

И ничем вы не сломите духа
Исповедника братства людей —
Всею силой, всей пыткой и мукой

Ваших тюрем, штыков и цепей!"

Где великим убийцам народы
Лижут ноги, как светлым богам,
Там героев любви и свободы
На убой предают палачам.

И с тех пор его жизнь стала мукой,
Бесконечным распятием одним.
Он был бит, и поруган, и заперт
За решёткой по тюрьмам глухим.

И, средь ада военных острогов.
Средь солдатских засеченных тел.
Средь солдатских затравленных жизней,
Он, как факел пылавший, сгорел.

И в недуге был брошен смертельном,
Он, страдалец за свет и любовь,
На камнях, как собака, темничных,
И из горла текла его кровь.

Эта кровь, за любовь пролитая,
За великое братство людей,
Из далекой острожной могилы
Светит силой нам дивной своей.

И зовёт эта сила страданья,
Сила жертвы великой его
Человечество вольной душою
Цепи рабства порвать своего.

О, не даром страдал он. Настанет
Час сознанья, и сломят штыки
Миллионы очнувшихся братьев
По лицу всей свободной земли.

И исчезнет солдатская доля
И позорное званье солдат —
Этих диких убийц поневоле.
Человек станет друг лишь и брат.

И когда ночь безумья и рабства
Дрогнет в мире, тонущем в крови,
Перед тенью апостола братства
Мир преклонит колени свои.

А пока, на острожном кладбище,
В безымянной могиле немой
Спит, народу слепому неведом,
Человечества лучший герой.

(Горбунов-Посадов И.И. Песни братства и свободы. Том 1. 1882 – 1913. http://az.lib.ru/g/gorbunowposadow_i_i/text_0020.shtml)

ЗДЕСЬ КОНЕЦ ПЯТОЙ ГЛАВЫ



Глава Шестая.
ОТ ТРАКТАТА «ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»
ДО РОМАНА «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Христианин не участвует в деятельности правительства и не подчиняется ему, не платит подати, не участвует в управлении, в судах, в государственной религии, в войске не потому, что он хочет разрушить что-либо и установить какой-либо новый порядок, а только потому, что он следует тому, что ему повелено от Того, Кто послал его в жизнь, твёрдо веруя в то, что ничего кроме блага себе и всему миру от этого следования быть не может.

(Лев Николаевич Толстой)

Тысячелетия уже идёт эта борьба между законами Божьими и человеческими, между любовью и ненавистью, и безостановочно, с каждым веком, с каждым годом, каждым днём и часом, свет побеждает тьму и люди всё более и более приближаются к идеалу, указанному всеми пророками, Христом и нашим сердцем, и исход борьбы несомненен.

(Лев Николаевич Толстой)

6. 1. «ХРИСТИАНСТВО И ПАТРИОТИЗМ»
(окт. 1893 – март 1894)

Самая дешёвая гордость — это гордость национальная. Она обнаруживает в заражённом ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться; ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него ещё многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами,

тот, постоянно наблюдая свой народ,
прежде всего подметит его недостатки.
Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться,
хватается за единственно возможное и гордится народностью,
к которой он принадлежит; он готов с чувством умиления
защищать все её недостатки и глупости.

(Артур Шопенгауэр «Афоризмы житейской мудрости»)

*"Мир оставляю вам, мир мой даю вам:
да не смущается сердце ваше и да не устрашается",*
— сказал Христос.

И мир этот действительно уже есть среди нас,
и от нас зависит приобрести его.

(«Христианство и патриотизм»)

«Франко-русские празднества, происходившие в октябре месяце
прошлого года во Франции, вызвали во мне, вероятно так же как и
во многих людях, сначала чувство комизма, потом недоумения, по-
том негодования, которые я и хотел выразить в короткой журналь-
ной статье...» (39, 27) — с этих слов начинается осенью 1893 г. Лев
Николаевич Толстой новую свою публицистическую работу, сразу
определяя для читателя степень своей близости к его, читателя, либо
патриотическим, либо всё же более адекватным и разумным, убеж-
дениям.

Действительно, статья «Христианство и патриотизм» была написана
под впечатлением от франко-русских демонстраций, проходивших
в октябре 1893 г. по случаю заключения франко-русского союза и
прибытия в Тулон эскадры русских военных кораблей.

Сохранилось письмо религиозного единомышленника и помощника
(в частности, переписчика) Е. И. Попова к Т. Л. Толстой от 5 сен-
тября 1893 г., где он сообщает, что Толстой, привыкший в предыду-
щие годы, работая над «Царствием Божиим», к огромной творческой
загрузке, теперь «в писании своём разбросался» сразу на несколько
работ, среди которых — «Тулон» (*Цит. по: Гусев Н.Н. Летопись жизни
и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891 – 1910. М., 1960. С.
106*). Таково было «рабочее» заглавие новой антивоенной статьи.

Толстой приступил к работе над статьёй по свежим впечатлениям
от газетных известий, 8 октября 1893 г. Первую редакцию статьи,
подписанную этим числом, Толстой, начал непосредственно с изло-
жения одной из опубликованных в газетах телеграмм из Парижа от

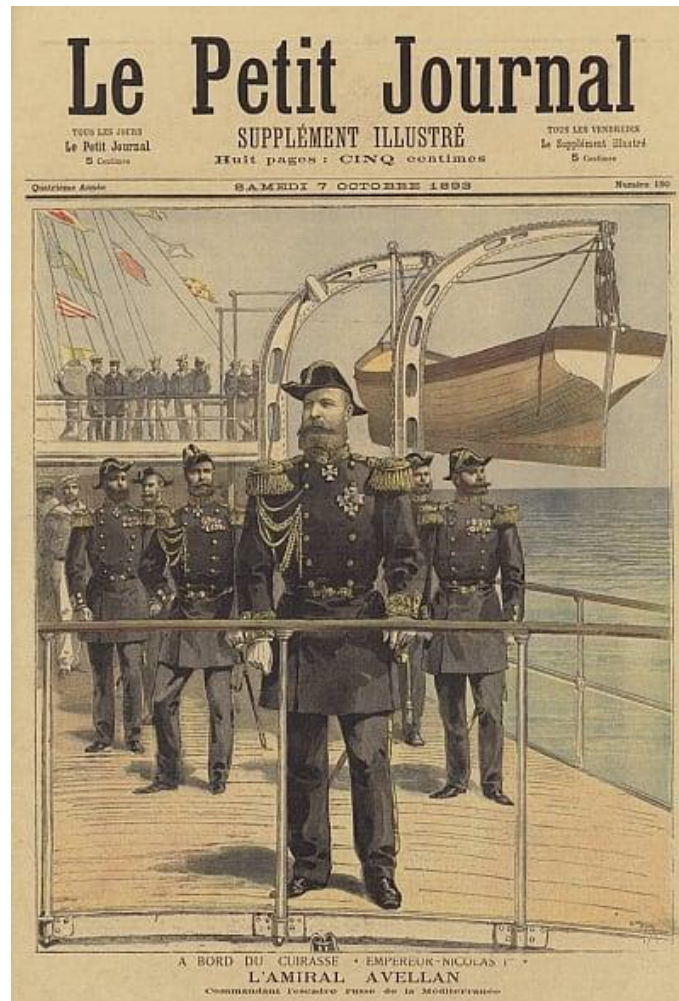
5 октября с описанием торжеств по случаю заключения союза. И вдруг, в черновом варианте — здесь же, в начале статьи, Толстой прибегает к сравнению воистину безжалостному к участникам военно-патриотического психоза. Он сравнивает сведения из телеграмм с содержанием прочитанной им незадолго до того статьи «учёного психиатра» (И. А. Сикорского) о психопатической эпидемии малёванщины, напечатанной в «Киевских университетских известиях». Сравнивая эту эпидемию с эпидемией, «появившейся в Париже», Толстой находит вторую несравненно опаснее первой, потому что последствиями её будут «неисчислимы бедствия». Если распространителями эпидемии малёванщины являются совсем ничтожные и безвредные люди, то распространители парижской эпидемии — могущественные люди, «обладающие и властью и громадными средствами». Эти люди, как пишет Толстой в первой черновой рукописи, «не их Паскали, Руссо, Дидероты, Вольтеры... а самые пошлые и жалкие представители правительственного патриотизма» (Цит. по: 39, 229).

Начав обработку статьи, Толстой постепенно расширил первую часть, посвящённую описанию празднеств в Тулоне и Париже, введя в неё в качестве иллюстраций ряд цитат из газет наподобие «Сельского вестника», и отодвинул изложение статьи Сикорского. В окончательном печатном тексте этой статье посвящена глава III.

Вся статья была начата в резко обличительных тонах, описание торжеств даётся в столь саркастическом тоне, что местами мы как будто слышим живой голос автора, с насмешкой акцентуирующего внимание нас, «слушателей», на особенно досадно-лживых, но и смехотворных местах газетных очерков. Вот, для примера, позорящая род людской цитата одного из корреспондентов «Нового времени», живая иллюстрация лёгкости *ментального и психического заражения человека*, сродни тому, которое и приводит к войнам:

«Правду говорят — событие всемирное, изумительное, трогательное до слёз, поднимающее душу, заставляющее её трепетать *той любовью, которая видит в людях братьев и которая ненавидит кровь и насильственные присоединения, отторжение родных детей от любимой матери*. Я в каком-то чадю в течение нескольких часов. [...] Где я? что такое случилось? какая волшебная струя соединила всё это в одно чувство, в один разум? Разве не чувствуется тут присутствие Бога любви и братства, присутствие чего-то высшего, идеального, сходящего на людей только в высокие минуты? [...] Это лучше восторга. Живописнее, глубже, радостнее, разнообразнее. [...] Тут слова ничего не скажут. Во время молебна, когда певчие пели в церкви "Спаси, Господи, люди твоя", в открытые двери врывались

торжественные звуки "Марсельезы" духового оркестра, который играл на улице. Что-то изумительное по впечатлению, непередаваемое» (Там же. С. 30).



Адмирал **Фёдор Карлович Авелан**
на борту броненосца "Император Николай I".
С гравюры Henry Meyer. Октябрь 1893 г.

О том же эмоциональном заражении толпы излился журналюжный писорчук из «Сельского вестника» — но, кстати сказать, сдержанней, более как наблюдатель массового психоза:

«При встрече судов русских и французских те и другие, кроме пушечных выстрелов, приветствовали друг друга горячими, восторженными криками "ура", "да здравствует Россия", "да здравствует Франция!"

К этому присоединились хоры музыки (бывшие на многих частных пароходах), исполнявшие гимны — русский "Боже, царя храни" и французский "Марсельезу"; публика на частных судах махала шляпами, флагами, платками и букетами цветов; на многих барках были одни крестьяне и крестьянки со своими детьми, и у всех в руках

были букеты цветов, и даже ребята, махая букетами, кричали что было мочи: "вив ля Рюсси". Наши моряки, видя такой восторг народный, не могли удержаться от слёз.

[...] Согласно морскому уставу, адмирал <Фёдор Карлович> Авелан с офицерами своего штаба высадился на берег, чтобы приветствовать местных властей. На пристани русских моряков встретили французский главный морской штаб и старшие офицеры тулонского порта. Последовали общие дружеские рукопожатия при громе пушек и звоне колоколов. Хор морской музыки исполнил гимн "Боже, царя храни", покрытый громовыми кликами публики: "да здравствует царь!", "да здравствует Россия!" Эти клики слились в один могучий гул, покрывший и музыку и пушечную пальбу.

Очевидцы сообщают, что в эту минуту восторг несметной массы народа достиг высочайшей степени и словами невозможно передать...» и так далее, в том же духе (39, 28 – 29).

Из официальных газет можно было почерпнуть сведения о съеденных на празднестве кушаньях и произнесённых речах: «такая-то "вудка", такое-то Bourgogne vieux, Grand Moet... В английской газете было перечисление всех тех пьяных напитков, которые были поглощены во время этих празднеств. Количество это так огромно, что едва ли все пьяницы России и Франции могли бы выпить столько в такое короткое время» (Там же. С. 31 – 32).

Л. Н. Толстой, к тому времени уже автор великолепной статьи «Первая ступень» (1891), осудившей обжорство, ряда статей о пьянстве и знаменитого «Согласия против пьянства» (1887), с сарказмом подчёркивает, что меню было явно разнообразнее речей:

«Речи состояли неизменно из одних и тех же слов в различных сочетаниях и перемещениях. Смысл этих слов был всегда один и тот же: мы нежно любим друг друга, мы в восторге, что мы вдруг так нежно полюбили друг друга. Цель наша не война и не *revanche* и не возвращение отнятых провинций, а цель наша только *мир*, благодеяние *мира*, обеспечение *мира*, спокойствие *мира* и *мир* Европы. Да здравствует русский император и императрица, мы любим их и любим *мир*. Да здравствует президент республики и его супруга, мы тоже любим их и любим *мир*. Да здравствует Франция, Россия, их флот и их армия. Мы любим и армию, и *мир*, и начальника эскадры. Речи большей частью заканчивались, как в куплетах словами: Тулон, Кронштадт или Кронштадт, Тулон. И наименование этих мест, где было так много съедено разных кушаний и выпито разного вина, произносились как слова, напоминающие самые высокие, доблестные поступки представителей обоих народов, такие слова, после произнесения которых уже говорить нечего, потому что

всё понятно. Мы любим друг друга и любим *мир*, Кронштадт, Тулон! Что ещё можно прибавить к этому?! особенно под звуки торжественной музыки, играющей одновременно два гимна: один — прославляющий царя и просящий у Бога для него всяких благ, другой — проклинающий всех царей и обещающий им всем погибель» (Там же. С. 32).

К такой же акцентуации слова *мир*, подчёркивающей неискренность, выморочность и отчасти лживость самого вербального и ситуативного контекста его употребления, прибёг Толстой, как может помнить читатель, в трактате «Царство Божие внутри вас», не менее иронически характеризуя болтовню пацифистов на Конгрессе мира в Лондоне:

«Конгресс выразил твёрдую и непоколебимую веру в окончательное торжество *мира* и тех принципов, которые отстаивались на этих собраниях» (28, 112).

Материальным символом глупости и фальши пьяного действия стала «соха из алюминия, покрытая цветами», преподнесённая Авелану в качестве подарка от французской стороны (39, 33).

А где царит раздроченная правительствами и военщиной дурость пьяная и военно-патриотическая — туда, как дурная кровь к опухоли, приливает за мирскими наградами и услужливое духовенство. Неизмеримо более счастливая, чем Россия, Франция, к тому времени уже давным-давно передувившая избыток попов кишками не менее избыточных и вредных для развития страны королей и феодалов, вдруг, ни с того ни с сего, стала массово набожной:

«Едва ли со времен Конкордата <Конкордат Наполеона с папой Пием VII, 15 июля 1801 г., определивший новое положение католической церкви во Франции. — Р. А.> было совершено столько общественных молитв, сколько в это короткое время. Все французы стали вдруг необыкновенно набожны и заботливо развешивали в комнатах русских моряков те самые образа, которые они только недавно так же старательно, как вредное орудие суеверия, выносили из своих школ, и не переставая молились. Кардиналы и епископы везде предписывали молитвы и сами молились самыми странными молитвами, Так, епископ в Тулоне, при спуске броненосца "Жоригибери", молился Богу мира, давая чувствовать при этом однако, что если что, то он может обратиться и к богу войны» (Там же).

«...Мы твёрдо уповаем, что "Жоригибери" пойдёт на врага рука об руку с могучими судами, экипажи коих вступили ныне в столь близкое братское единение с нашими» (Там же). Сие высрал из башки отнюдь не начальник эскадры, а всё тот же «христианнейший» епископ на торжестве *спуска*.

Газеты и телеграф делали своё дело, и психоз «дружбы наций» распространился по миру: «Французские женщины приветствовали русских женщин. Русские женщины выражали свою благодарность французским женщинам. [...] Русские дети писали приветственные стихи французским детям, французские дети отвечали стихами и прозой; русский министр просвещения свидетельствовал министру французского просвещения о чувствах внезапной любви к французам всех подведомственных ему русских детей, учёных и писателей; члены общества покровительства животным свидетельствовали свою горячую привязанность французам...» и т. д. (*Там же. С. 33 – 34*).

Как и в теперешней 2023 года, фашиствующей, путинской России, в России царской (и, вероятно, во Франции тоже) звучали в этом общем дурдоме одиночные протестующие голоса — тем более значительные и ценные для Толстого. Толстой приводит текст открытого письма московских студентов, переданной ему частным порядком, а до того боязливо не принятой в печать *ни одной* российской газетой:

«Открытое письмо к французским студентам.

Недавно кучка московских студентов юристов, с инспекцией во главе, взяла на себя смелость говорить от лица всего московского студенчества по поводу тулонских празднеств.

Мы, представители союза землячеств, самым решительным образом протестуем как против самозванства этой кучки, так и по существу против происшедшего между нею и французскими студентами обмена приветствий. Мы тоже смотрим с горячей любовью и глубоким уважением на Францию, но смотрим так на неё потому, что видим в ней великую нацию, которая прежде постоянно являлась для всего мира глашатаем и провозвестником великих идеалов свободы, равенства и братства, которая была первою и в деле отважных попыток воплощения в жизнь этих великих идеалов. и лучшая часть русской молодёжи всегда была готова приветствовать Францию как передового воина за лучшее будущее человечества. Но мы не считаем такие празднества, как кронштадтские и тулонские, подходящим поводом для подобных приветствий.

Напротив, эти празднества знаменуют собой печальное, но, надемся, кратковременное явление, — измену Франции своей прежней великой исторической роли: страна, призывавшая когда-то весь мир разбить оковы деспотизма и предлагавшая свою братскую помощь всякому народу, восставшему за своё освобождение, теперь воскуряет фимиамы перед русским правительством, которое систе-

матично тормозит нормальный, органический и живой рост народной жизни и беспощадно подавляет, не останавливаясь ни перед чем, все стремления русского общества к свету, к свободе и к самостоятельности. Тулонские манифестации — есть один из актов той драмы, которую представляет созданный Наполеоном III и Бисмарком антагонизм между двумя великими нациями — Францией и Германией. Этот антагонизм держит всю Европу под ружьём и делает вершителем политических судеб мира русский абсолютизм, всегда бывший опорой произвола и деспотизма против свободы, эксплуататоров против эксплуатируемых. Чувство боли за свою страну, сожаление о слепоте значительной части французского общества — вот какие чувства вызывают в нас эти празднества. Мы вполне убеждены, что молодое поколение Франции не увлекается национальным шовинизмом и, готовое бороться за тот лучший социальный строй, к которому идёт человечество, сумеет отдать себе отчёт в настоящих событиях и отнестись к ним надлежащим образом; мы надеемся, что наш горячий протест найдёт себе сочувственный отклик в сердцах французской молодёжи.

Союзный совет 24-х объединённых московских землячеств» (39, 34 – 35).

Но «ветхий Адам» верен сам себе во всякой стране и всяком поколении, и этот «занудный» тихий голос разума не был услышан, кроме Толстого, тогда практически никем.

На апофеозе празднеств сумасшествие проявило себя открыто:

«...Задавлено было до смерти несколько десятков людей, и никто не находил нужным упоминать об этом. [...] Появлялись случаи и ясно выраженного бешенства. Так одна женщина, одевшись в платье из цветов французско-русского флагов, дождалась моряков, воскликнула "Vive la Russie!" и с моста прыгнула в реку и потонула. [...] Казавшийся совершенно здоровым русский матрос, после двухнедельного созерцания всего совершавшегося вокруг него, — в середине дня спрыгнул с корабля в море и поплыл, крича: "виф ля Франс!" Когда его вытащили и спросили, зачем это он сделал, он отвечал, что дал зарок в честь Франции оплыть кругом корабля» (Там же. С. 35, 36).

«Женщины вообще в этих торжествах играли выдающуюся роль и даже руководили мужчинами» — отмечает автор «Крейцеровой сонаты»: «Кроме бросания цветов и разных ленточек и поднесения подарков и адресов, французские женщины на улицах бросались на русских моряков и целовали их, некоторые для чего-то подносили им детей, предлагая целовать их; когда русские моряки исполняли

это желание, то все присутствующие приходили в восторг и плакали» *(Там же)*.

Наконец, и сам Лев Николаевич, начитавшись эмоциональных описаний в прессе, «вдруг неожиданно почувствовал сообщившееся чувство, подобное умилению, даже готовность к слезам, так что должен был сделать усилие, чтобы побороть это чувство» *(Там же)*.

Так действует на человека психическое заражение, собирающее жертв своих не только в войско, но и в секты. И Толстой прибегает в Третьей главе статьи к упомянутому уже сравнению франко-русского психоза с описанной выдающимся психиатром Иваном Алексеевичем Сикорским (1842 – 1919) психопатической эпидемией, наблюдавшейся им среди сектантов «малеванцев»:

«Сходство между тою и другою болезнью полное. То же необыкновенное благодушие, переходящее в беспричинную и радостную экзальтацию, та же сентиментальность, утрированная учтивость, говорливость, те же беспрестанные слёзы умиления, приходящие и проходящие без причины, то же праздничное настроение, то же гуляние и посещение друг друга, то же наряжание себя в самые нарядные платья, то же пристрастие к сладкой еде, те же бессмысленные речи, та же праздность, то же пение и музыка, то же руководство женщин и [...] те различные ненатуральные позы, которые принимают люди во время торжественных встреч, приёмов и произнесения речей во время обедов» *(Там же. С. 37 – 38)*.

А различие в том, что ложь официальных особ, в которую они, видимо, уверовали сами, шовинистический дурман, привели к мас-срвой «психопатической эпидемии», охватившей не десятки человек, как «малеванцы», а сотни тысяч рядовых участников торжеств и манифестаций. Самое страшное, подчёркивал писатель, то, что среди помешанных есть люди, имеющие деньги и власть для распространения своего помешательства по миру *(Там же. С. 38 – 39)*.

Вся болтовня военщины, попов и журналюг о мире, по убеждению Толстого, подобна хитрости сумасшедшего, замышляющего свою злейшую выходку *(Там же. С. 29)*.

Или ребёнка:

«Так дети иногда так рады, что они скрыли свою шалость, что самая радость эта выдаёт их» *(Там же. С. 41)*.

Между тем, продолжает Толстой уже в Пятой главе, самый союз с Россией, что понятно поодиночке, в спокойной обстановке, очень многим, означает подготовку реваншистской Франции к войне. Военные приготовления идут, деньги на вооружения и пропаганду, начиная с обмана детей специально созданными для того учебниками, тратятся миллиардами, и миллионы людей уже находятся под

ружьём и в России, и во Франции. Так действует на сознание масс сочетание принуждения и лжи — намеренно состряпанной, системной и навязчивой:

«...Ничем не оправдываемая, злая ложь. Ложь — эта внезапно возникшая, исключительная любовь русских к французам и французам к русским; и ложь — наша подразумеваемая под этим нелюбовь к немцам, недоверие к ним. И ещё большая ложь — то, что цель всех этих неприличных и безумных оргий есть будто бы соблюдение европейского мира.

[...] Нам говорят, что Германия имеет замыслы против России, что тройственный союз <военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году. — Р. А.> угрожает миру Европы и нам и что наш союз с Францией уравнивает силы и потому обеспечивает мир. Но ведь [...] для того, чтобы это было так, [...] нужно, чтобы силы были математически равны. Если же перевес теперь на стороне франко-русского союза, то опасность всё та же. Ещё большая: потому что, если было опасно, что Вильгельм, стоящий во главе европейского союза, нарушит мир, то гораздо более опасно, что Франция, та, которая не может помириться с потерей своих провинций, сделает это. Ведь Тройственный союз назывался лигой мира, для нас же он был лигой войны. Точно так же и теперь франко-русский союз не может не представляться иначе, чем он и есть на самом деле — лигой войны.

[...] *Дьявол — человекоубийца и отец лжи.* И ложь всегда ведёт к человекоубийству. И в этом случае очевиднее, чем когда-нибудь» (Там же. С. 44 – 45).

Такой же ложью и игрой (вспоминает в Шестой главе Толстой времена писания им «Анны Карениной») была «внезапная любовь» в России к «братьям славянам», «тогда как немцы, французы, англичане всегда были и продолжают быть нам несравненно ближе и роднее, чем какие-то черногорцы, сербы, болгары. И начались такие же восторги, приёмы и торжества, раздувавшиеся Аксаковыми и Катковыми...». И так же, промеж речей и жрания, «умалчивали о главном, о замыслах против Турции». Наконец, кончилось тем, что Александр II, действительно не желавший войны, не мог не согласиться на неё» (Там же. С. 45 – 46).

По глубокому убеждению Толстого, и эта, с Францией, игра в мир и любовь рано или поздно окончится новым правительственным призывом к войне:

«Божьей милостью, мы, самодержавнейший, великий государь всея России, царь польский, великий князь финляндский и проч. и проч., объявляем всем нашим верным подданным, что для блага

этих, вверенных нам Богом, любезных наших подданных, мы сочли своей обязанностью перед Богом послать их на убийство. С нами Бог” и т. п.» *(Там же. С. 46).*

И тогда только, лишь этот решающий их судьбы призыв, разоблачит для обманутых простецов весь фатальный для них обман:

«Обманутый этот, всё тот же вечно обманутый, глупый рабочий народ, тот самый, который своими мозолистыми руками строил все эти и корабли, и крепости, и арсеналы, и казармы, и пушки, и пароходы, и пристани, и молы, и все эти дворцы, залы и эстрады, и триумфальные арки, и набирал и печатал все эти газеты и книжки, и добыл и привёз всех тех фазанов и ортоланов, и устриц, и вина, которые едят и пьют все эти им же вскормленные, воспитанные и содержимые люди, которые, обманывая его, готовят ему самые страшные бедствия; всё тот же добрый, глупый народ, который, оскаливая свои здоровые белые зубы, зевал, по-детски наивно радуясь на всяких наряженных адмиралов и президентов, на развевающие над ними флаги и на фейерверки, гремящую музыку, и который не успеет оглянуться, как уже не будет ни адмиралов, ни президентов, ни флагов, ни музыки, а будет только мокрое пустынное поле, холод, голод, тоска, спереди убивающий неприятель, сзади неотпускающее начальство, кровь, раны, страдания, гниющие трупы и бессмысленная, напрасная смерть.

А люди, такие же, как те, которые теперь празднуют на празднествах в Тулоне и Париже, будут сидеть после доброго обеда, с недопитыми стаканами доброго вина, с сигарою в зубах, в тёмной суконной палатке и булавками отмечать по карте те места, где надо оставить ещё столько-то и столько-то составленного из этого народа пушечного мяса для завладения тем-то и тем-то укреплением и для приобретения такой или другой ленточки или чина *(Там же. С. 41 – 44).*

И следом, завершая Шестую главу, Толстой, вновь прибегая к гениальному соединению художественного и публицистического начал, набрасывает поистине жуткую (но и пророческую!) картину:

«Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство. И начнётся опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма, к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получают двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно, засуетятся военные началь-

ства, получающие двойное жалованье и рационы, и надеющиеся получить за убийство людей высокоценимые ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звёзды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперёд записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья.

И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жён, матерей, детей — люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем, людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного» *(Там же. С. 46 – 47).*

Миллионы, каждый против своей разумной воли, будут втянуты скопом в новую бойню ради сомнительных, а то и вымышленных, военных задач своего лживого и халтурного правительства:

«И когда, наберётся столько больных, раненых и убитых, что некому будет уже подбирать их, и когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно делается даже и начальству, тогда остановятся на время, кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами куда попало больных, а убитых зароят, посыпав их извёсткой, и опять поведут всю толпу обманутых ещё дальше, и будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли всё это, или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что им было нужно» *(Там же. С. 47).*

А духовный итог один, и он-то — самый страшный итог всякой войны: «...Опять одичают, остервенеют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их» *(Там же).*

Люди, помогающие властям, делятся, как пишет об этом Лев Николаевич, на бессознательных и сознательных распространителей заразы лжепатриотизма *(Там же. С. 67).* Занятые повседневным нелёгким трудом, многие люди истинного народа просто не приучены к анализу обрушивающегося на них информационного потока и, не поспевая или не умея проанализировать, безропотно поддаются обману. На тех же, кто дерзает думать сам, хорошо действуют «гипнозизация», завуалированные угрозы и откровенный подкуп — обещания карьеры, власти, материальных приобретений: они с успехом

рекрутируются в ряды сознательных идеологов и исполнителей воли правительств *(Там же. С. 68)*.

Уступившие же такому воздействию для заглушения голоса совести внушают себе и «коллегам» идею полезности для народа распространения среди него патриотизма. Восторг и уважение одурённой толпы делают их только агрессивнее и наглее *(Там же. С. 69 – 70)*.

Об одном из сознательных слуг милитаристского и реваншистского обмана, писателе Поле Деруледе, о визите его летом 1886 года в Ясную Поляну, Толстой вспоминает, не называя его имени, в статье на материале личной встречи с ним в июле 1886 г., когда Дерулед побывал в Ясной Поляне.

Дерулед воевал в Франко-прусской войне, побывал в немецком плену и поклялся агитировать за реванш, пока не добьётся желаемого, войны Франции с Германией. Толстой занимался делом, возился на покосе с мужиками, а в обед пришёл домой — и застал там этого свежего, лощёного болтуна, «первую ласточку тулонской весны» *(39, 49)*.

Здесь надо сказать, что, не разделяя с мужем его евангельской веры, а кроме того боясь для себя и семьи каких-то последствий от распространения нецензурных, «ругающих» правительство и церковь, писаний Л. Н. Толстого, супруга писателя, Софья Андреевна, вместе с тем вполне симпатизировала, с сугубо светских позиций, европейским гуманизму и пацифизму и, конечно, не могла поддержать Поля Деруледа. Вот почему в Восьмой главе статьи «Христианство и патриотизм», описывая уважительный, но холодный приём в яснополянском доме французского агитатора, Толстой прибегает к местоимению «мы»:

«На доводы его о том, что Франция не может успокоиться до тех пор, пока не вернёт отнятых провинций, мы отвечали, что [...] если revanche французов теперь будет удачная, немцам надо будет опять оплачивать, и так без конца.

На доводы его, что французы обязаны спасти оторванных от себя братьев, мы отвечали, что положение жителей, большинства жителей, рабочих жителей Эльзас-Лотарингии под властью Германии едва ли в чём-нибудь стало хуже того, в котором они были под властью Франции, и что из-за того, что некоторым эльзасцам приятнее числиться за Францией, чем за Германией, и из-за того, что ему, нашему гостю, желательно восстановить славу французского оружия, никак не стоит не только начинать тех страшных бедствий, которые произойдут от войны, но нельзя пожертвовать даже и одной человеческой жизнью» *(Там же. С. 49)*.

Так что точка зрения «национально-патриотическая» — мёртвая, и мертвящая, и вредная ложь, в чём был и остался убеждён Толстой. С точки же зрения прагматически-государственной, отторжение земель создаёт экономию на расходах, которые эти земли могли бы требовать. Наконец, с христианской точки зрения «мы ни в каком случае не можем допустить войны, так как война требует убийства людей, а христианство не только запрещает всякое убийство, но требует благотворения всем людям, считая всех братьями без различия народностей» (Там же. С. 49 – 50).

И Толстой в этой беседе скажет то, что утверждал со времён трактата «В чём моя вера?» и что позднее повторит в ряде своих публицистических выступлений: христианство и государство несовместимы, надо выбирать одно *или* другое. Люди, подобные Деруледу, вольны, конечно, выбрать государство, отказавшись от христианства:

«До тех же пор, пока не будет уничтожено христианство, привлекать людей к войне можно будет только хитростью и обманом, как это и делается теперь. Мы же видим эту хитрость и обман и потому не можем поддаться им» (Там же. С. 50).

Удовлетворив гостя приёмом и кушаньями, но отнюдь не согласием с его аргументами, Толстой после обеда отправился назад, к мужикам на покос. Дерулед увязался за ним, быть может, вправду «надеясь найти в народе больше сочувствия своим мыслям» (Там же).



Л.Н. Толстой и крестьянин П. Власов на косьбе.
Ясная Поляна. Фотография Адамсона. 1890 г.

«Жертвой» своей агитации политик и писатель выбрал мужика, распорядителя трудом крестьянок (сбор скошенного сена считался у крестьян лёгким трудом — «для баб»), Прокофия Власова.

Неудачно — для себя — выбрал... *Прокофий Власиевич Власов* (1839 – 1912) был учеником Льва Николаевича в его школе и остался добрым другом, безмерно преданным учителю всю жизнь.

Власов был человеком деликатным в отношениях с людьми, оптимистом, нравственно здоровым человеком. Рассуждал обстоятельно и трезво, за что Лев Николаевич полюбил его ещё школьником, был справедлив и добр, отзывчив на чужую беду; стойко переносил бесконечные удары судьбы. Конечно же, в условиях России жизнь у такого человека выдалась нелёгкая: трижды горел, лет 15 кормил слепого отца, рано похоронил двух жён, и, наконец, уже в 1900-х сына-кормильца поганая тётя «родина» отобрала в солдаты... В рассказе Льва Николаевича Толстого о проводах новобранцев в октябре 1909 г. «Песни на деревне» показан убитый горем Прокофий, у которого взяли единственного кормильца. По воспоминаниям крестьянки Аксиньи Шураевой, Толстой с Прокофием провожал несчастного в слезах, «и так и шёл с Прокофием вместе, не переставая плакать до самого конца деревни»

(<http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/vospominaniya/shuraeva-aksinya-vospominaniya-o-tolstom.htm>).

Отец после этого быстро превратился в больного и нищего старика — которому помогал, чем мог, старик учитель, Лев Николаевич. И именно с Прокофием Власевичем Толстой о чём-то долго шептался в роковую осень 1910 года, перед уходом из Ясной Поляны.

После смерти Толстого этот одинокий, сторбленный старик благоговейно сторожил могилу, поливая слезами, до самой своей смерти.

Итак, Дерулед присунулся было к «простонародью» со снисходительным, как раз для простецов «селян», объяснением смысла и значения военного союза России и Франции, изложив «свой план воздействия на немцев, состоящий в том, чтобы с двух сторон сжать находящегося в середине между русскими и французами немца. француз в лицах представил это Прокофию, своими белыми пальцами прикасаясь с обеих сторон к потной посконной рубахе Прокофия» (39, 50).

Ответ крестьянина мог бы составить честь знаменитому персонажу едва лишь появившегося в те годы на свет Ярослава Гашека и достойно обескуражил француза:

«— Что же, как мы его с обеих сторон зажмём, — сказал он, отвечая шуткой, как он думал, на шутку, — ему и податься некуда будет, надо ему тоже простор дать» (*Там же*).

Узнав, по какому «делу» заявился ко Льву-учителю месье Дерулед, «Прокофий, очевидно, остался вполне недоволен и, обратившись к бабам, сидевшим у копны, строгим голосом, невольно выразившим чувства, вызванные в нём этим разговором, крикнул на них, чтобы они заходили сгребать в копны недогребённое сено.

— Ну, вы, вороны, задремали. Заходи. Пора тут немца жать. Вон ещё покос не убрали, а похоже, что с середины жать пойдут, — сказал он» (*Там же. С. 51*).

Французу же он попросил учителя перевести следующее:

«— Приходи лучше с нами работать, да и немца присылай. А отработаемся — гулять будем. И немца возьмём. Такие же люди» (*Там же*).

«Такие же люди» — это краткая, и на «мужицком», простеческом уровне формула христианского отношения уровня малой общности: «я и другой», «я и другие», априори отказывающаяся от конфликтной составляющей отношений. Толстой демонстрирует, что эта повседневная, бытовая «мудрость» крестьянина и христианина может актуализироваться и на уровне взаимоотношений крупных общностей — и, при должном старании людей о последовании Христу, сделает не только нелепыми, но и невозможными любые войны.

Проваливший сполна свою «дипломатическую миссию к русскому народу» Поль Дерулед только и мог воскликнуть на это: «Oh, le brave homme!» [*фр. О, славный человек!*] (*Там же*). И, как помнит наш читатель, в тот же день отвалил от Ясной Поляны. Оставив Льву Николаевичу несколько всё же приятных о себе воспоминаний, совершенно иначе, в негативном ключе, представленным им в статье «Христианство и патриотизм», в сопряжении с известиями об истерии тулонских торжеств:

«Вид этих двух столь противоположных друг другу людей — сияющего свежестью, бодростью, элегантностью, хорошо упитанного француза в цилиндре и длинном, тогда самом модном пальто, своими нерабочими белыми руками энергически показывающего в лицах, как надо сжать немца, — и вид шершавого, с трухой в волосах, высохшего от работы, загорелого, всегда усталого и, несмотря на свою огромную грыжу, всегда работающего Прокофия с своими распухшими от работы пальцами, в его спущенных домашних портках, разбитых лаптях, шагающего с огромной навилиной сена на плече той не ленивой, но экономной на движения походкой, которой движется всегда рабочий человек, — вид этих двух столь противоположных друг другу людей очень многое уяснил мне тогда и живо вспомнился мне теперь, после тулоно-парижских празднеств. Один из них олицетворял собой всех тех вскормленных и обеспеченных

трудами народа людей, которые употребляют потом этот народ как пушечное мясо; Прокофий же — то самое пушечное мясо, которое вскармливает и обеспечивает тех людей, которые им распоряжаются» (Там же. С. 51 – 52).

Дерулед не мог не узнать себя в самодовольной фигуре «сияющего свежестью, элегантностью, хорошо упитанного француза», живого олицетворения процветающего буржуа. Мало лестный для его самолюбия эпизод он, по всей видимости, решил предать полному забвению и, насколько нам известно, нигде не упомянул о своём визите в Ясную Поляну.

Повествование о визите Поля Деруледи в главах Восьмой и Девятой — своеобразная логическая и тематическая «ось» толстовской статьи — талантливой даже по своей компоновке. Второе её «крыло», с Десятой по заключительную, Восемнадцатую, главу, в свою очередь, делится на две тематические части: первая — обличение Толстым христианином лжи патриотизма, паразитирующей на безверии и самообманах толпы нашего лжехристианского мира, и вторая, логически вытекающая из первой — тема победы над этой ложью утверждением истины всяким человеком, познавшим её. Эта тема, в связи с концепцией разных жизнепониманий, хорошо известна нашему читателю по трактату Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас», о котором уже шла речь.

В главе Десятой опровергается лживое смешение чувства естественного, расположения человека к тому родному краю, той самой «малой родине», которой от людей нужна не кровь, а только мирный труд и гармонические отношения с природой и друг с другом, и эмоций по отношению к воображаемым фикциям нации и государства — фантомам отнюдь ещё не массового, во времена Толстого, сознания. Их «реальность» легко опровергало поведение трудового и православного крестьянского населения, хоть бы в той же России, для которого не только не существовало государства и нации, но даже любимый родной край многие из них готовы были променять на края, где плодороднее земля и подалее все выблядки и выблевки казённой тёти «родины»: военщина, полицейщина, чиновная, а в особенности поповская и учёная, самая продажная и брехливая, интеллигентская сволочь. По существу, это, в зачаточном состоянии, тот единый Божий народ, духовно и экономически свободный и соединённый одним религиозным пониманием жизни, который в родной еврейской ойкумене мечтал видеть Спаситель, мессия Иисус, а по всей Земле — великий яснополянец:

«...Русский рабочий человек — сто миллионов русского народа, несмотря на ту незаслуженную репутацию, которую ему сделали, народа особенно преданного своей вере, царю и отечеству, есть народ самый свободный от обмана патриотизма и от преданности вере, царю и отечеству. Веры своей, той православной, государственной, которой он будто бы так предан, он большей частью не знает, а как только узнаёт, бросает её и становится рационалистом, т. е. принимает такую веру, на которую нападать и которую защищать нельзя; к царю своему, несмотря на непрестанные, усиленные внушения в этом направлении, он относится, как ко всем насильственным властям, если не с осуждением, то с совершенным равнодушием; отечества же своего, если не разумеет под этим свою деревню, волость, он или совершенно не знает, или, если знает, то не делает между ним и другими государствами никакого различия. Так что, как прежде русские переселенцы шли в Австрию, в Турцию, так и теперь они селятся совершенно безразлично в России, вне России, в Турции или в Китае» (39, 54).

А это уже из Одиннадцатой главы, в продолжение темы:

«Говорят о любви русского народа к своей вере, царю и отечеству, а между тем не найдётся в России ни одного общества крестьян, которое бы на минуту задумалось о том, что ему выбрать из двух предстоящих мест поселения: одно в России с русским батюшкой-царём, как это пишется в книжках, и святой верой православной в своём обожаемом отечестве, но с меньшей и худшей землёй, или без батюшки белого царя и без православной веры где-либо вне России, в Пруссии, Китае, Турции, Австрии, но с несколько большими и лучшими угодиями, что мы и видели прежде и видим и теперь. Для всякого русского крестьянина вопрос о том, под чьим они будут правительством (так как он знает, что, под чьим бы он ни был, одинаково будут обирать его), имеет несравненно меньше значения, чем вопрос — не скажу уже: хороша ли вода, но — мягка ли глина и хорошо ли родится капуста». Так же, по наблюдению Толстого, ведут себя и европейские народы, головы которых ещё не засраты влиянием распространяемой правительствами идеологии патриотизма (Там же. С. 55).

В доказательство же миролюбия и нравственности таких, лишь ограбляемых распространителями патриотизма, честных тружеников Толстой приводит разговор одного из своих давних и близких друзей с сельским старостой по поводу возможного восстания поляков (которое и произошло вскоре после разговора, в 1863 – 1864 годах) на оккупированных Россией польских областях бывшей Речи Посполитой.

Современный исследователь С. А. Фролова предполагает, что под литерой Д., которой обозначил Толстой в статье фамилию приятеля, «скрывается» *Дмитрий Алексеевич Дьяков* (1823 – 1891), друг юности Льва Николаевича, владетель имения Черемошня в Новосильском уезде Тульской губернии (ныне это Мценский район Орловской обл.) (Фролова С. А. *Дмитрий Алексеевич Дьяков // Л. Н. Толстой. Энциклопедия. М., 2009. С. 264*).



Дмитрий Алексеевич Дьяков.
Акварель неизвестного художника, 1840-е гг.

Это тот самый прекрасный Димочка Дьяков, который, по признанию Льва Николаевича в Дневнике от 29 ноября 1851 года, вызывал в нём, вместе с рядом других красивых мужчин, понятное и естественное гомосексуальное половое влечение и желание плотской интимной связи: «...Я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие...». Среди других любовников названы Сабуров, виолончелист Зыбин, Оболенский, Блюмсфельд, Иславин..., но Толстой тут же признаётся: «Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова» (46, 237 – 238). Их соединение, к несчастью, оказалось невозможным в России, одержимой суевериями патриархальности и гомофобии, но самая тёплая

дружба, с периодическими взаимно радостными свиданиями, продолжалась до смерти Дьякова в 1891 г.

Франция тогда, в начале 1860-х, вмешалась в дела России с поляками, поддержав их естественное желание освободиться от России, в связи с чем предполагалась новая война с нею России. Приятель Толстого — безусловный франкофил, и уж, во всяком случае, как все умнейшие люди России, «русский европеец» — до известий о войне рассказывал мужику-старосте хорошие, правильные вещи «о преимуществах французского государственного порядка перед нашим», но, начитавшись отечественных газет, вдруг, как одурманенный, заговорил о «revanche французам... за Севастополь», о том, что, если государь объявит войну, «он пойдёт на службу и будет воевать с Францией» (*Там же. С. 54*). Но староста возьми, да и прерви бред хозяина простейшим вопросом: «Зачем же нам воевать?». Приятель Толстого не нашёл ничего лучшего, как брякнуть стереотипное: «Да как же позволить Франции распоряжаться у нас?» На что староста со святою простотою, без раздумий, парировал: «Да ведь вы сами говорите, что у них лучше нашего устроено. Пускай бы они так у нас устроили» (*Там же. С. 54 – 55*).

И человек сразу пришёл в себя... По собственным воспоминаниям, доверенным Толстому, приятель его «решительно не знал, что ответить, и только засмеялся, как смеются люди, проснувшись от обманчивого сна» (*Там же. С. 55*).

Очнулся от обмана один — можно очунать и других, и очнуть, наконец, всех. К этому решению и подводит Толстой читателя в главах статьи, посвящённых разоблачению обмана патриотизма.

Патриотизм, служащий оправданием военного насилия — не естественное явление, заключает Толстой в Двенадцатой главе своего сочинения, и именно поэтому множественными способами насаждается, навязывается массовому сознанию, как навязывается всякая ментальная отравка, всякий культурный эрзац, то есть ценности и смыслы, не помогающие человечеству в движении к Богу а, напротив, вредящие и этому главному смыслу жизни, и всякому общему делу:

«То, что называется патриотизмом в наше время, есть только, с одной стороны, известное настроение, постоянно производимое и поддерживаемое в народах школой, религией, подкупной прессой в нужном для правительства направлении, с другой — временное, производимое исключительными средствами правящими классами, возбуждение низших по нравственному и умственному даже уровню людей народа, которое выдаётся потом за постоянное выражение воли всего народа. Патриотизм угнетённых народностей не

составляет из этого исключения» (*Там же. С. 60*). Разница между сортами говна лишь в том, что патриотизм угнетённых прививается народу, конечно же, не угнетающим правительством, а теми, кого обобщённо именует Толстой «высшими классами» — всё той же городской чистенькой, бездельной сволочью, зачинателями восстаний и революционных переворотов. Всё бы хорошо, но сволочь эта потом, победив прежних угнетателей кровью распропагандированных ими простецов, сама делается новой общественной элитой, новыми угнетателями, желающими кормиться интеллигентским легкотрудничеством, как писательство, а то и вовсе «бюджетным» паразитизмом от чужих трудов.

В главе Тринадцатой Лев Николаевич ловко развенчивает тезис о том, что патриотизм «воспитывается» правительствами на благо самих «воспитанников». Опровергается это простыми доказательствами того, что для жертв патриотической обработки мозгов патриотизм был и остаётся отнюдь не благом:

«Очень может быть, что чувство это очень желательно и полезно для правительств и для цельности государства, но нельзя не видеть, что чувство это вовсе не высокое, а, напротив, очень глупое и очень безнравственное; глупое потому, что если каждое государство будет считать себя лучше всех других, то очевидно, что все они будут неправы, и безнравственно потому, что оно неизбежно влечёт всякого человека, испытывающего его, к тому, чтобы приобрести выгоды для своего государства и народа в ущерб другим государствам и народам, — влечение прямо противоположное основному, признаваемому всеми нравственному закону: не делать другому и другим, чего бы мы не хотели, чтобы нам делали.

[...] ...Как мы ни старались в продолжение 1800 лет скрыть смысл христианства, оно всё-таки проточилось в нашу жизнь и до такой степени руководит ею, что люди, самые грубые и глупые, не могут уже не видеть теперь совершенной несовместимости патриотизма с теми нравственными правилами, которыми они живут» (*Там же. С. 61, 63*).

И даже элитарная, паразитная, «обеспеченная» через ограбление народных трудов, общественная сволочь и дрянь не может, не выключив совершенно разума и совести, с комфортом повторять увещания пропаганды о патриотической ненависти к неким внешним врагам, «потому что очень часто все главные интересы их жизни, иногда семейные — он женат на женщине другого народа; экономические — капиталы его за границей; духовные, научные или художественные — все не в своём отечестве, а вне его, в том государстве,

к которому возбуждается его патриотическая ненависть» (*Там же. С. 63*).

В этом плане пропагандоны путинской фашиствующей России в наши дни, развлекающиеся на «вражеском» Западе и туда же отправляющие учиться и лечиться свою родню — конечно же, исключительно, даже чуждо для ещё религиозной, совестливой толстовской эпохи, бесстыжи и нравственно тупы.

Четырнадцатая глава открывается очень глубоким суждением, подводящим, что традиционно для Толстого выводы вышесказанному. Как религии низшего, нежели выраженное в христианстве, общественно-государственного жизнепонимания, такие как иудейство, ислам или церковное, извращённое христианство были нужны для социальной консолидации в крупных, военизированных государственных образованиях, противостоящих враждебному окружению, так и имманентный таким образованиям патриотизм, дитя невежества, ненависти и страхов людских, так же «был нужен для образования объединённых из разных народностей и защищённых от варваров сильных государств». Но с победой над этим, родственным безверию, архаизмом, с открытием нового жизнепонимания миллионам просвещённых людей мира, то есть, к концу XIX столетия, уже для значительной части человечества «патриотизм стал уже не только не нужен, но стал единственным препятствием для того единения между народами, к которому они готовы по своему христианскому сознанию» (39, 63).

Патриотизм в новое время удерживается халтурными правительствами ради собственных выгод, как «жестокое предание», необходимое властным элитам для оправдания самого их существования через 1800 лет после Христа: «потому что если не единственное, то главное оправдание существования правительств в том, чтобы умиротворять народы, улаживать их враждебные отношения. И вот правительства вызывают эти враждебные отношения под видом патриотизма и потом делают вид, что умиротворяют народы между собой. Вроде того, как цыган, который, насыпав своей лошади перца под хвост, нахлестав её в стойле, выводит её, повиснув на поводу, и притворяется, что он насилу может удержать разгорячившуюся лошадь» (*Там же. С. 63 – 64*). С этой целью и вызывается ими в подданных искусственная вражда с соседями. «Самый ребяческий приём самонаказания, только бы поставить на своём и насолить противнику» — так именует Толстой таможенную войну России с Германией (*Там же. С. 64*). Но этим деструктивным инфантилизмом страдает и по сей день, 28 января 2023 года, Россия под властью вора и палача Путина, пополнив русский язык даже своеобразным

обобщающим насмешливым эвфемизмом — «бомбить Воронеж» (или, на языке классики толстовского века — «высечь самих себя», но так, чтобы быть уверенным, что и у «другого», у чужака, у «немца», хоть самую малость, жопа заболела).

Следует заключение Льва Николаевича к всему сказанному, довольно популярное даже у тех читателей, кто никогда не прочитывал статьи «Патриотизм и правительство» в полном объёме:

«Правительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения других народов и от внутренних врагов и что единственное средство спасения от этой опасности состоит в рабском повиновении народов правительствам. Так это с полной очевидностью видно во время революций и диктатур и так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет своё существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не было, то было бы хуже. Уверив народы, что они в опасности, правительства подчиняют себе их. Когда же народы подчинятся правительствам, правительства эти заставляют народы нападать на другие народы. И, таким образом, для народов подтверждаются уверения правительств об опасности от нападения со стороны других народов.

Divide et impera (Разделяй и властвуй.).

Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм.

«Патриотизм есть рабство» (39, 65).

Доведя изложение до этого места, множество даже самых серьёзных исследователей, анализирующих статью, скурвливаются, прибегая к довольно однотипному «уточнению» Толстого, подобному тому, какое мы находим у Л. Д. Опульской в «Материалах к биографии» Толстого 1998 года:

«Конечно, речь тут идёт не о любви к своей родине, нации, её характеру, языку и пр., но о чувстве, которое Толстой назвал «правительственным патриотизмом», умело организуемым, а мы теперь — шовинизмом, то есть о предпочтении своей нации или группы наций — остальным» (*Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. М., 1998. С. 70*).

Материал для опровержения такого «уточнения» содержится в самой фразочке Л. Д. Опульской. В статье Толстого достаточно подробно описаны примеры свободы не только отдельных личностей, но и крупных общностей, каково было в России крестьянство, от любого патриотизма — не только от «предпочтения», но от самого понятия *нации*. Сам этот термин чужд христианскому пониманию жизни. Уж как-то так сложилось, что для оперирующих им пропагандистов и их жертв и родиной оказываются не природа, культура и язык, а — пресловутое «национальное» или даже «многонациональное» государство. В новейшее время, в мире, где Бог для многих умер, явились такие ублюдки, как «арийская нация», «советский народ», «многонациональная общность» в Российской Федерации... И это через 2000 лет после Христа — навсегда забравшего *своих* у «народнического», языческого разделения — соединив в Истине Отца, в общинах и в Церкви!

Нет, не «шовинист», а именно человек, не освободивший себя живою верой от атавизмов «своих» стада и территории, вкупе с невежеством и страхами, соблазнами, как похоть или зависть — то есть от всего того, на чём паразитируют правительственные обманщики, распространители заразы патриотизма — безусловно в рабстве! Кроме того, рабство это держится и на удобопреклонности людей и целых народов к грехам господства и повиновения, так же коренящейся в первобытной природе человека как животного: на вере в возможность «добра с кулаками» и суеверной убеждённости в благе и необходимости власти над народами тех, кто грозит кулачьем на более дальнее расстояние, даже всему миру... Все эти грехи побеждаются чудом Христовой веры, которая может утвердиться в людях только обличением их самообманов и утверждением Божьей правды-Истины.

Вот почему глава Пятнадцатая метко задевает тех, кто думает, что их скромное положенье на той или иной бюджетной подачке: на зарплате государственного брехуши-учителя, вековечного исполнителя идеологического госзаказа, на окладе сотрудника музея, научного бюджетного заведения, на военной пенсии и проч. — «ничего не меняет» в общем строе жизни и не связано с палачеством «родной» их кормилицы, казённой тётки «родины». В «Царствии Божиим» эта тема присутствует, но упор делается на самый подлый, корыстный, и, конечно, фундаментальный (сесть на шею настоящим тружеников!) из интересов всей этой услужливой и угодливой дряни. Но в этой, позднейшей статье Толстой ниспровергает и некоторые сопут-

ствующие вавилоны мотиваций и самооправданий в бюджетных головках. По существу, это возвращение к теме «Чингис-Хана с телеграфами», но с учётом той новейшей специфики, при которой слугами зла, прислужниками Чингис-Хана стремятся стать не одни элиты прежнего, сословно-классового, общества, но и самолюбивые, самоуверенные выскочки «из низов», всё так же гнусно, но при этом искренне *идейно*, продающие государству свои таланты и знания:

«За 100 лет тому назад безграмотный народ, не имевший никакого понятия о том, из кого состоит его правительство, и о том, какие народы окружают его, слепо повиновался тем местным чиновникам и дворянам, у которых он находился в рабстве. И достаточно было правительству держать подкупам и наградами в своей власти этих чиновников и дворян, чтобы народ покорно исполнял то, что от него требовалось. Теперь же [...] благодаря распространению печати, грамотности и лёгкости сообщений, правительства, везде имея своих агентов, через указы, церковные проповеди, школы, газеты внушают народу самые дикие и превратные понятия об его выгодах, об отношениях народов между собой, об их свойствах и намерениях, и народ, настолько задавленный трудом, что не имеет ни времени, ни возможности понять значение и проверить справедливость тех понятий, которые внушаются ему, и тех требований, которые во имя его блага предъявляются ему, безропотно покорятся им.

Люди же из народа, освобождающиеся от неустанный труда и образовывающиеся и потому, казалось бы, могущие понять обман, производимый над ними, [...] почти без исключения тотчас переходят на сторону правительств и, поступая в выгодные и хорошо оплачиваемые должности учителей, священников, офицеров, чиновников, становятся участниками распространения того обмана, который губит их собратий. Как будто в дверях образования стоят тенёта, в которые неизбежно попадают все те, которые теми или другими способами выходят из массы поглощённого трудом народа.

Сначала, когда поймёшь всю жестокость этого обмана, невольно поднимается негодование против тех, которые из-за своих личных, корыстолюбивых, тщеславных выгод, производят этот жестокий, губящий не только тело, но и душу людей, обман, хочется обличить этих жестоких обманщиков. Но дело в том, что обманывающие обманывают не потому, что они хотят обманывать, но потому, что они почти не могут поступать иначе. И обманывают они не макиавеллически, не с сознанием производимого ими обмана, но большей частью с наивной уверенностью, что они делают что-то доброе и возвышенное, в чём их постоянно поддерживает сочувствие и одобрение всех окружающих их.

[...] Толпа видит, например, что ставятся триумфальные арки, люди наряжаются в короны, мундиры, ризы, сжигаются фейерверки, палят из пушек, звонят в колокола, ходят с музыкой полки, летают бумаги, и телеграммы, и курьеры с места на место, и странно наряженные люди непрерывно, озабоченно переезжают с места на место, что-то говорят и пишут и т.п., и толпа, не будучи в состоянии проверить, что всё это делается (как оно есть в действительности) без малейшей надобности, приписывает всему этому особенное, таинственное для себя и важное значение, и криками восторга или молчаливым уважением встречает все эти проявления. А между тем эти выражения иногда восторга и всегда уважения толпы ещё более усиливают уверенность тех людей, которые производят все эти глупости» (Там же. С. 68 – 70).

Остальные, с Шестнадцатой по Восемнадцатую, главы этой пространной, но и великолепной толстовской статьи в значительной мере повторяют сказанное им в «Царствии Божиим» — в отношении общественного мнения, его *охристианения*, в немалой степени под влиянием открывшегося противоречия сознания и жизни, а также влияния на это качественное преобразование бесстрашного, даже одиночками, исповедания, в словах и поступках, открывшейся уже передовым людям истины актуального, спасительного религиозного понимания жизни:

«Отпала бы раздуваемая правительствами ненависть и вражда государств к государствам и народностей к народностям, отпали бы восхваления военных подвигов, т. е. убийства, отпали бы, главное, уважение к властям, отдачи им своих трудов и подчинение им, для которых помимо патриотизма нет никаких оснований.

А только бы сделалось это, и мгновенно вся та огромная масса слабых, всегда извне руководимых людей, мгновенно перевалит на сторону нового общественного мнения. И новое общественное мнение станет царствующим на место старого.

Пускай обладают правительства школой, церковью, печатью, миллиардами людей и миллионами дисциплинированных, обращённых в машины людей, — вся эта кажущаяся страшной организация грубой силы ничто перед сознанием истины, возникающим в душе знающего силу истины одного человека, и от этого человека сообщится другому, третьему, как одна свеча зажигает бесконечное количество других. Стоит только загореться этому свету, и, как воск от лица огня, распадётся, растает вся эта кажущаяся столь могущественной организация.

Только бы люди понимали ту страшную власть, которая дана им в слове, выражающем истину. Только бы не продавали люди своё

старшинство за чечевичную похлёбку. Только бы пользовались люди этой своей властью, и не только не посмели бы властители, как теперь, угрожать людям всеобщей бойней, в которую они по своему произволу ввергнут или не ввергнут людей, не смели бы на глазах мирных жителей делать своих смотров и манёвров дисциплинированным убийцам, не смели бы правительства для своих расчётов, для выгод своих пособников устраивать и расстраивать таможенные договоры, не смели бы собирать с народа и те миллионы рублей, которые они раздают своим пособникам и на которые приготавливаются к убийству.

Итак, изменение не только возможно, но невозможно, чтобы оно не сделалось, так же невозможно, как невозможно, чтобы не сошло и не развалилось отжившее, мёртвое дерево и не выросло молодое.

"Мир оставляю вам, мир мой даю вам: да не смущается сердце ваше и да не устрашается", — сказал Христос. И мир этот действительно уже есть среди нас, и от нас зависит приобрести его.

Только бы не смущалось сердце отдельных людей теми соблазнами, которыми ежечасно соблазняют их, и не устрашалось бы теми воображаемыми страхами, которыми пугают их. Только бы знали люди, в чём их могущественная, всепобеждающая сила, и мир, которого всегда желали люди, который приобретается свободным исповеданием истины каждым отдельным человеком, уже давно наступил бы среди нас» (*Там же. С. 79 – 80*).

Анализируя это заключение статьи, в сопоставлении с трактатом «Царство Божие внутри нас», Лидия Дмитриевна Опульская оставила историографам образец исследовательского недоразумения. В уже упоминавшейся нами книге 1998 г. она пишет:

«В конце статьи найдена новая идея, ранее с такой силой и основательностью никогда не формулированная Толстым: о роли и силе общественного мнения. Начался этот разговор ещё в книге «Царство Божие внутри вас» (гл. X и XI), однако заключительная, XII-я глава трактата была построена как призыв к уму и совести отдельного человека, с постоянным обращением «ты», «ты». Теперь Толстой уповаёт на *новое общественное мнение*, на убеждения и поступки многих людей, к каким бы сословиям, нациям они ни принадлежали, и от перемен в общественном мнении ждёт появления новых форм жизни» (*Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Мат-лы к биографии. М., 1998. С. 70 – 71*). Духовное «революционерство» передовых людей, чьё сознание уже пробуждено к христианскому религиозному пониманию жизни — как будто ускользает из внимания исследователя. А между тем, мы помним, что на таких людей, равно и на тех, кто, быть может, прочтя его книгу, пополнит их число, Толстой и

уповал, как на духовных «прогрессоров», движителей общественного мнения, и к ним обращался в трактате. К ним относится и образ пчелиного улья, в котором пчёлы вылетают за своим делом по внутреннему влечению, не дожидаясь других. Ничего не меняется и в статье «Христианство и патриотизм», к идейному и образному строю которого, без сомнения, относится вот это размышление Толстого в Дневнике 5 октября 1893 г.:

«Говорят, одна ласточка не делает весны; но неужели от того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться? Так дожидаться надо тогда и всякой почке и травке, и весны не будет» (52, 102). <Но птичку всё-таки жалко, Лев Николаевич! – Р. А.>

В записной книжке Толстого 1893 г. — более краткое, но то же суждение о ласточке, а вместе с ним это:

«Каждый поступок ничто, в сравнении с бесконечностью пространства и времени, а вместе с тем действие его бесконечно в пространстве и времени» (Там же. С. 248).

И ещё, в тот же день в Дневнике:

«Когда колешь жёсткую плаху, первый удар отскакивает, как от стали, и думаешь, что ничего не сделал и напрасно бить. И беда, если заробеешь. Но бей ещё, и скоро услышишь глухие удары. Это значит, что тронулось. И ещё несколько ударов, и плаха расколется. В таком положении мир по отношению к христианской истине. А как я помню то время, когда удары отскакивали, и я думал, что это безнадёжно. То же и с людьми. Надо, как тот человек, который стал вычерпывать море. Если он отдаст свою жизнь на дело, то, какое бы ни было дело, оно сделается, а тем более дело Божье» (Там же. С. 101).

Прелестное суждение о ласточке, лишь по случайности не появилось в статье, но зато позднее, в 1900-х, вошло в «Круг чтения» и другие сборники мудрой мысли, которым Лев Николаевич придавал исключительное значение.

Как видим, в статье «Христианство и патриотизм», как прежде в книге «Царство Божие внутри вас», Толстой актуализирует ряд библейских, евангельских образов и прибегает к скрытому, но легко опознающемуся цитированию. Образ наступающего «конца века сего», вероятно, самый значительный: он войдёт ещё в целый ряд писаний Толстого, включая одноимённую статью «Конец века» 1905 г. На его смысл, а равно и на значение статьи, над которой работал, Толстой указывает в письме к Н. Н. Ге 24 декабря 1893 г.:

«Мне всё кажется, что время конца *века сего* близится и наступает новый; в связи с тем, что и мой век здесь кончается и наступает новый, всё хочется поторопить это наступление, сделать, по крайней мере, всё от меня зависящее для этого наступления. И всем нам, всем людям на земле только это и есть настоящее дело» (66, 452).

Снова, как ранее в «Царстве Божиим», появляется у Толстого и метафора *весны* — обновления жизни:

«И потому переход людей от прежнего, отжитого общественного мнения к новому неизбежно должен совершиться. Переход этот так же неизбежен, как отпадение весной последних сухих листьев и развертывание молодых и надувшихся почек» (39, 73). «Только бы люди понимали ту страшную власть, которая дана им в слове, выражающем истину» (Там же. С. 79). Образ весны, возрождения будет повторяться во всех работах Льва Николаевича 1890-х годов, пока не воплотится, наконец, со всею художественной силой в романе «Воскресение».

* * * * *

Толстой знал, что напечатать такую статью по тогдашним цензурным условиям в России, конечно же, будет невозможно. Более того, изначально, в марте 1894 г. закончив статью, он решил, судя по записи в Дневнике под 23 марта, не отправлять её к переводчикам — то есть, задержать печатание — испытав при этом нравственное облегчение (52, 112).

Лишь спустя месяц возникло новое решение: «Тулон решил послать переводчикам. Все одобряют» (52, 115). Французский перевод Жюля Легра был опубликован в мае 1894 г. («Journal des Débats»), английский В. Г. Черткова в июне того же года («Daily Chronicle»), немецкий В. Е. Генкеля в августе (изд. Г. Мюллера).

О немецкой публикации Толстой сообщил бывшей у него в начале октября 1893 г. писательнице Л. И. Веселитской, которая в свою очередь по приезде в Петербург передала об этом Н. С. Лескову. Лесков живо откликнулся на это сообщение и в письме от 16 октября писал Толстому: «“Океан глупости” [так Лесков назвал франко-русские торжества], говорят, вывел Вас из терпения, и Вы хотите противопоставить этому отрезвление в немецком издании. Правда ли это? “Океан глупости” противен чрезвычайно, но благоразумно ли ставить свою ладонь против обезумевшего быка? Я ничего опасного не чувствовал в “Царстве Божиим” и теперь уверен, что сочинение это не может вызвать никаких нежелательных последствий; но писать протест и помещать его в немецком издании — это значит сделать

вызов, и не одному лицу, а всей орде... Я не отрицаю пользы и славы такого поступка, но я думаю, что тут есть опасность, которой, может быть, следует пренебречь, но которую непременно надо считать вероятною, и даже почти неизбежною. [...] А ожидать, по-моему, следует того, что всякое мстительство Вам может быть произведено не только в согласии с "обществом", но, так сказать, как бы в удовлетворение его желаний... К тому, что в "Царстве Божием", прежние читатели Ваши были подготовлены и освоены сочинениями, которые выходили ранее; но удар, направляемый в нынешнюю мету, произведёт совсем новое и сильное впечатление. [...] В каком фасоне это будет написано и в какое немецкое издание будет направлено? И почему именно в немецкое, а не в английское? Немецкое приводит целую ассоциацию идей, которые совсем неудобны у нас теперь...» (Лесков Н.С. *Собрание сочинений: В 11 т. Т. 11. М., 1958. С. 561 – 562*).

20 октября Толстой ответил Н. С. Лескову: «Вы правы, что если посылать, то в английские газеты. Я так и сделаю, если пошлю, и в английские и в немецкие. Говорю: если пошлю, потому что всё не кончил ещё. Я не умею написать сразу, а всё поправляю. Теперь и опоздал. И сам не знаю, что сделаю... если следует послать, то это напишется хорошо. До сих пор этого нет, поэтому ещё медлю» (66, 405 – 406). А 22 октября Лев Николаевич писал дочери Татьяне: «Мама подала очень хорошую мысль послать Тулон, если посылать, к Сутнер» (66, 408).

«Сутнер» — это, конечно, та самая Берта фон Зуттнер, о которой мы рассказали читателю выше — немецкая писательница, пацифистка, издательница журнала «Die Waffen nieder» («Долой оружие»).

Толстой хотел прислушаться к советам и Лескова, и жены — чтобы избежать на родине скандала с политизированной «окраской». Но, как видим, в итоге живая вера (доверие Богу) и независимость характера взяли верх!

Между тем в те дни Толстой ещё продолжал работать над статьёй, расширяя и дополняя её новыми материалами. Например, 29 октября И. И. Горбунов-Посадов прислал Толстому вырезку из газеты «Русские ведомости» (1893, № 291 от 22 октября) со статьёй «Русская эскадра в Тулоне (От нашего корреспондента)», прося обратить внимание на приведённую в статье речь тулонского епископа при спуске броненосца «Жоригибери». 31 октября Толстой, сообщая дочери Татьяне Львовне о получении от Горбунова этой вырезки, писал, что она ему «пригодилась» (66, 416). Речь тулонского епископа, как мы видели, была почти целиком помещена в гл. II статьи.

По-видимому, к началу ноября 1893 г. статья в черновом виде была закончена. 30 октября Толстой писал Д. А. Хилкову: «Написал статью Протест против франко-русских празднеств... Эту статью пошлю в английские газеты» (66, 415); и в тот же день сообщил В. Г. Черткову: «Я кончил, кажется, о религии [статью «Религия и нравственность»] и теперь хочу кончить о франко-русских празднествах и пошлю в «Daily Chronicle» и к Suttner в её журнал «Die Waffen nieder» (87, 232).

Этой редакцией статьи Лев Николаевич остался недоволен. Работа продолжалась интенсивно весь ноябрь, и 1 декабря Толстой подписал статью, что обычно означало окончание какой-то редакции статьи. 3 декабря он сообщил Г. А. Русанову: «Теперь пишу о Тулоне, гипнотизации патриотизма, кажется, кончил» (66, 436); однако М. Л. Толстая в тот же день уведомила В. Г. Черткова: «Тулон всё это время усиленно работает. Сегодня отец подписался под ним и говорит, что кончил, но я не верю, так как он давно уже говорит это, и сейчас буду очищать ему для его работы завтра» (87, 237).

Так это в действительности и было. И декабрь 1893 г., и январь, и почти весь февраль 1894 г. Толстой продолжает исправлять статью и уже ни разу не упоминает об окончании её. Лишь 17 марта 1894 г., после внесения всех исправлений, Толстой подписал рукопись № 37 и пометил: «Совсем, совсем, совсем кончено».

В России статья сразу оказалась под жесточайшим цензурным запретом и распространялась в подпольных гектографированных изданиях. Кроме того, печатные экземпляры ввозились контрабандно из-за границы. Особенно большое распространение статья получила в прибалтийских губерниях и Польше. 31 мая 1901 г. лифляндское жандармское управление в связи с этим запросило письмом за № 1753 Главное управление по делам печати, что делать с этими изданиями. 18 июня 1901 г. Главное управление известило, что ввоз означенных изданий запрещён, и предложило «неукоснительно следить о прекращении всякого доступа им из-за границы» (*Архив Петербургского цензурного комитета*, дело 78, ч. IV. - По кн.: *Апостолов Н. Н. Лев Толстой и русское самодержавие. М.-Л., 1930. С. 121 – 122*).

Впервые в России статья в числе других запрещённых статей Толстого («Не убий», «Письмо к либералам», «Письмо к фельдфебелю» и пр.) была напечатана лишь в революционном 1906 г. отдельной брошюрой в изд. «Обновление». Издатель Н. Е. Фельтен был привлечён за эти публикации к судебной ответственности.

В 1911 г. статья была включена С. А. Толстой в т. XVIII Собрания сочинений Л. Н. Толстого с большими цензурными искажениями и пропусками. И в той же редакции в 1913 г. была напечатана в т.

XVIII Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого под ред. П. И. Бирюкова, издание товарищества И. Д. Сытина. Фактически первая бесцензурная и точная публикация статьи состоялась лишь в Полном (юбилейном) собрании сочинений Л.Н. Толстого в 90 тт., в томе 29-м.

Российская дурацкая «традиция», заведённая ещё с времени запрета «Исповеди» и «В чём моя вера?», не изменила Толстому и в этот раз: «запретный плод» привлёк к себе, вероятно, больше внимания, нежели в ситуации бесцензурной публикации. Читателю не трудно будет угадать, что основная масса ругателей выполнила осторожно предсказанное Толстому другом-писателем Н. С. Лесковым, поспешив зачислить яснополянца в «прихвостни» немецких, английских или каких-то иных врагов России. Среди более интеллектуальной критики интересен отзыв знаменитого журналиста, писателя, публициста, издателя и театрального критика *Алексея Сергеевича Суворина* (1834 – 1912), «отыскавшего» в статье «Христианство и патриотизм» признаки своеобразного и, конечно же, трагического, «раздвоения души» великого писателя:

«Нападая на патриотизм, Толстой как бы мстит себе за “Войну и мир”»: этот роман вечно останется не только великим произведением, но и свидетельством о патриотических чувствах самого Толстого, и эти благородные чувства ещё долго будет внушать этот роман своим читателям. Брошюру же автора его о патриотизме все забудут» (*Суворин А.С. В ожидании века XX-го / Цит. по: Титов К. В. Суворин Алексей Сергеевич // Л.Н. Толстой. Энциклопедия. М., 2009. С. 649*).

По счастью, как мы знаем, случилось не совсем так, и христианские антивоенные писания Льва Николаевича не забыты совершенно, несмотря на десятки лет их замалчивания в СССР и на спекуляции выкормышей и воспитанников, «духовных» наследников этого атеистического и преступного государства, таких, как Пётр Олегович Толстой (р. 1969), позорящий славное имя праправнук писателя, видный член партии жуликов и воров «Единая Россия», занимающийся ныне, в 2022 – 2023 гг., в фашиствующей путинской России, поддержкой лживой пропаганды и прочей деятельностью, оправдывающей и освящающей военные и обыкновенные уголовные преступления России в Украине.

В качестве образца положительного, сочувствующего и одновременно, что особенно ценно, *понимающего* отзыва приведём диалог Л. Н. Толстого со своим давним и преданным и приятелем, читателем, и критиком *Владимиром Васильевичем Стасовым* (1824 –

1906). В. В. Стасов, прочитав «Христианство и патриотизм» в французском журнале, не соглашался с тем, что русские никогда не испытывали чувства особой приязни к французам, оспаривал толстовские мысли о внутреннем пробуждении людей, как главной надежде, но критическим пафосом статьи восторгался: «Да это — продолжение той XII-й главы <трактата «Царство Божие внутри вас»>, те же слова и мысли великого реформатора, и моей радости не было ни конца, ни меры» (*Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878 – 1906. Л., 1929. С. 139. [Письмо к Толстому 26 августа 1894 г.]*). Н. Н. Страхову Стасов 9 сентября 1894 г. написал: «На днях читал «Patriotisme» того же, «Льва». Это одного калибра (особливо с X главы) с XII главой его «Царства Божия», т. е. гениально и поразительно до невозможности!!... Ведь я считаю «Царство Божие» и «Patriotisme» — первыми книгами всего XIX века, наравне с Герценом!!» (*Русская литература. 1960. № 4. С. 182. [Публикация Р. Заборовской.]*). Стасову Толстой ответил: «Вы так неумеренно хвалите меня за Тулон, что я мог бы возгордиться, если бы я не получал постоянно ругательных за него и за «Царство Божие» статей и писем. Вчера вместе с вашим письмом пришла целая французская книга «L'anarchie passive, par Marie de Manasséine» <Вышедшая в Париже книга М. М. Манасеиной «Пассивная анархия и граф Лев Толстой (Царство Божие внутри вас)». – Р. А.>. Вероятно, она либералка с оттенком революционерства. И меня всегда радует вид горящих шапок как на консерваторах православных, так и на вольнодумных либералах» (67, 216).

Приведём образец и диалога с зарубежными читателями. Пространственный ответ Толстого Ч. Н. Фойстеру (Ch. N. Foyster), в письме 17 – 26 октября — как раз такой “поджог шапки” на ложном, хотя и неглупом, союзнике. Ч. Н. Фойстер обратился к Толстому с письмом из Лондона от 9 сентября н. ст. 1894 г., в котором писал, что прочитанная им в газете «Daily Chronicle» статья Толстого «Христианство и патриотизм» вызвала в нем «настоящий энтузиазм», и он старается следовать выраженным в ней мыслям, но не понимает только того, как можно обойтись без правительства, и потому просит Толстого объяснить ему этот пункт своего учения. Письмо не было отправлено адресату, а было переработано в статью под названием «Об отношении к государству» и послано для напечатания в лондонскую газету. Его интереснейшим текстом мы завершаем первую часть большой Главы об антивоенной публицистике Л. Н. Толстого 1890-х гг.

«Милостивый государь,

Вы пишете мне, что, прочтя мою статью: Христианство и Патр[иотизм], вы совершенно согласились с первой частью статьи, в которой излагалось всё то зло, которое происходит от патриотизма и войн, но что вы не согласны с моими доводами о том, что для избавления себя от этих зол люди не должны участвовать в правительствах. И на вопрос этот отвечаете признанием того, что часто приходится слышать в разговорах и читать, ч[то] это невозможно. По вашему мнению, нужно не отказываться от участия в правительстве, а, напротив, участвовать в нём, избирать таких представителей, к[оторые] были бы друзьями народа и врагами всякой несправедливости и войны. Тогда, по вашему мнению, зло существующего порядка искоренится и люди, жизнь людей станет лучше. Но как же быть без правительств? спрашиваете вы. На этот вопрос я не берусь отвечать вам.

Всё это очень хорошо, говорят мне. Деспотизм, насилие правительств, войны и вооружение всей Европы действительно ужасны, и вы правы, осуждая всё это. Но как можно быть без правительств? Чем заменить их? How can we do without government? Имеем ли мы, ограниченные умом и знанием люди, право, только потому, что нам это кажется лучше, уничтожать то, чем много веков жили наши предки, чем живём мы и благодаря чему мы достигли современной цивилизации и её благ, и, не имея ничего определённого, которое мы могли бы поставить на месте уничтоженного, рисковать всеми теми бедствиями и ужасами, которые постигнут нас при уничтожении правительств?

Ответ на вопрос, так поставленный, слишком ясен. Но дело в том, что вопрос поставлен неправильно. Перед людьми, исповедующими христианство, как жизненную веру, — вопрос стоит совсем не в той форме. Христианское учение в его истинном смысле никогда не предлагает ничего разрушать и не предлагает никакого нового своего устройства, которое будто бы должно заменить прежнее. Христианское учение тем отличается от всех других и религиозных и общественных учений, что оно даёт благо людям не посредством общих законов для жизни всех людей, но уяснением каждому отдельному человеку смысла его жизни: того, в чём заключается зло его жизни и в чём его истинное благо. И этот смысл жизни, открываемый христианским учением человеку, до такой степени ясен, убедителен и несомненен, что раз человек понял его и потому познал то, в чём зло и в чём благо его жизни, он уже никак не может сознательно делать то, в чём он видит зло своей жизни, и не делать того, в чём он видит истинное благо её. Не может воздержаться от этого точно

так же, как не может растение не стремиться к свету или вода к низу.

Единственный смысл, который может иметь твоя жизнь в этом мире, состоит в том, чтобы исполнять то, что от тебя требует тот, кто послал тебя в эту жизнь, тот, от кого ты пришёл и к кому придёшь, выходя из этой жизни. Зло твоей жизни состоит в отступлении от требований того, кто послал тебя, благо — в наиточнейшем исполнении этих требований. Требует же от тебя тот, кто послал тебя в этот мир, того самого, чего желает твоё сердце, что указывает тебе твой разум, чему учили люди и величайшие мудрецы человечества, чего требует от тебя тот учитель, которого, если не ты, то большинство твоих соотечественников признают Богом. И требование это не туманно и неопределённо, а очень ясно и точно и просто. «Если ты не можешь делать другому того, чего хочешь, чтоб тебе делали, то по крайней мере не делай другому, чего ты не хочешь, чтобы тебе делали: не хочешь, чтобы тебя заставляли работать на фабрике или в рудниках 10 часов сряду, не хочешь, чтобы дети твои были голодные, холодные, невежественные, не хочешь, чтоб у тебя отняли землю, на которой ты мог бы кормиться, не хочешь, чтобы тебя заперли в тюрьму, вешали за то, что ты по страсти, соблазну или невежеству совершил дурной поступок, не хочешь, чтоб тебя ранили, убивали на войне, — не делай этого другим. Всё это так просто, ясно и несомненно, что не понять этого нельзя; но кроме того, для того чтобы люди не могли придумать такие отговорки, по которым можно было бы не всегда исполнять эти требования, над людьми повешен ещё на волоске Дамоклов меч, т. е. смерть, которая всякую минуту может постигнуть каждого человека и, если смерть есть полное уничтожение, лишить его возможности поправить сделанную ошибку, если же смерть есть возвращение к Богу, то заставить его возвратиться к Богу, не исполнив того несомненного закона, который он дал нам, посылая нас в жизнь. Всё это так ясно и просто и неопровержимо, что каждый ребёнок поймёт и никакой мудрец не опровергнет.

Представим себе, что работник приставлен хозяином к понятной ему работе и любимому им делу. Кроме того, работник знает, что он весь находится во власти хозяина, всякую минуту хозяин может его взять и призвать к другому делу. И вдруг к этому работнику приходят люди, которые, он знает, находятся в той же зависимости от хозяина, как и он, и которым поручено такое же дело, и люди эти требуют от него, чтобы он делал прямо обратное тому, что ему несомненно и ясно, без всяких исключений, предписано хозяином, и уверяют его, что, если он не сделает этого, произойдут ужасные беды, и

что, исполняя волю хозяина, он поступает легкомысленно, неразумно, жестоко и безбожно.

Но это сравнение далеко не выражает того, что должен испытывать христианин, к которому обращаются с требованием участия в угнетении, отнятии земли, казнях, войнах и т. п., с которыми обращается к нам государственная власть, потому что, как ни внушительны могли быть для работника приказания хозяина, они никогда не сравнятся с тем несомненным знанием каждого, неизвращённого ложными учениями человека о том, что он не может и не должен участвовать в насилиях, поборах, казнях, убийствах своего ближнего: это говорит ему и разум, и сердце, и всё существо его.

Так что вопрос для христианина не в том, как его неумышленно, а иногда и умышленно ставят противники христианства: имеет ли человек право разрушить существующий порядок и заменить его новым, — христианин и не думает об общем порядке, предоставляя ведение этого порядка Богу, твёрдо уверенный в том, что Бог вложил в наш разум и сердце свой закон не для беспорядка, а для порядка, и что от следования открытому мне несомненно закону Бога ничего худого выдти не может, — вопрос не в замене одного порядка другим, а в том, следует ли человеку, пришедшему от Бога и всякую минуту могущему возвратиться к нему, повиноваться вложенному в его сердце и разуме закону Бога, или следует повиноваться закону людскому, прямо противоположному закону Бога? И на этот вопрос может быть только один ответ. Люди боятся, что разрушится существующий порядок. Но до тех пор, пока только некоторые люди следуют закону Бога, большинство же держится существующего порядка, то большинство это всегда подавит то меньшинство, которое противодействует существующему порядку, как это и было до сих пор, и существующий порядок не разрушится, и бояться за него нечего — пострадают только люди, противящиеся этому порядку, порядок же будет продолжаться. Если же при этом разрушается существующий порядок, не доказывает ли это только то, что порядок этот ложный, противен воле Бога и потому подлежит уничтожению. Если же все люди, как сказано у пророка, будут научены Богом и потому будут следовать закону его, то существующий порядок разрушится и наступит новый, лучший порядок, при котором копья перекуют на серпы и мечи на орала. Несогласие между волею Бога и существующим порядком доказывает только то, что между волею Бога и существующим порядком полное несогласие и происходит борьба. Тысячелетия уже идёт эта борьба между законами Божьими и человеческими, между любовью и ненавистью, и безостановочно, с каждым веком, с каждым годом, каждым днём и часом, свет побеждает тьму

и люди всё более и более приближаются к идеалу, указанному всеми пророками, Христом и нашим сердцем, и исход борьбы несомненен.

Но как ни очевидно в наше время приближение торжества истины, не внешние цели руководят деятельностью христианина: христианин не участвует в деятельности правительства и не подчиняется ему, не платит подати, не участвует в управлении, в судах, в государственной религии, в войске не потому, что он хочет разрушить что-либо и установить какой-либо новый порядок, а только п[отому], ч[то] он следует тому, что ему повелено от Того, кто послал его в жизнь, твёрдо веруя в то, что [ничего] кроме блага себе и всему миру от этого следования быть не может.

Л. Т.» (67, 256 – 260).

6. 2. ЗНАКОМСТВА, ВСТРЕЧИ, ПЕРЕПИСКИ В ИХ ВЛИЯНИИ НА РАЗВИТИЕ АНТИВОЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ И АНТИВОЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО в 1894 – 1896 гг.

Идёт борьба между слабыми десятками людей
и миллионами сильных;
но на стороне слабых Бог,
и потому знаю, что они победят.

(Лев Николаевич Толстой)

Год 1893-й прошёл для Толстого под знаком «великих завершений»: завершалась Бегичевская эпопея помощи бедствующим в неурожайные годы крестьянам; завершилась писанием и книга «Царство Божие внутри вас». Году же следующему, 1894-му, в фундаментальной научной Биографии Льва Николаевича Толстого её автор, Л. Д. Опульская посвящает главу с характерным именованием: «Статья “Неделание” и многообразная деятельность 1894 года». В этой разнообразной деятельности нашлось, конечно же, место знакомствам, писаниям, высказываниям, связанным с антивоенной позицией Льва Николаевича.

Толстой весь год много читает — однако новинки литературы в основном не приветственны ему, и последним значительным литературным открытием остаётся для него «Дневник» умершего более де-

сяти лет до того Анри Амиеля, который он с неослабным удовольствием перечитывает в июле. Принимает славный яснополянец и массу гостей — но большинство, как и прежде, разочаровывают его. Уже с немалым скепсисом встречает он около 12 мая в Ясной Поляне очередного обожателя, американца *Эрнеста Ховарда Кросби* (1856 - 1907), и неожиданно обретает в нём многолетнего друга и помощника — в частности, в популяризации в Американских Штатах экономической теории Генри Джорджа, которой, через десятилетие после писания трактата «Так что же нам делать?» (в ходе работы над которым он и познакомился с утопическими построениями Джорджа) Толстой снова забил тогда себе голову.

Кстати сказать, Кросби был в то время уже толстовцем, и тоже своего рода отказником: уверовав в Истину христианского учения, он отказался от государственной службы и карьеры, от многих мирских



Эрнест Ховард Кросби.
Фото 1904 г.

благ, и на этой почве, как и сам Лев Николаевич, разошёлся во взглядах с семьёй.

21 августа 1894 г. состоялось ещё одно эпохальное знакомство. Доктор словак *Душан Петрович Маковицкий* (1866 – 1921) страстно по-

любил сначала Истину христианского учения, открывшуюся ему через духовные писания Льва Николаевича, а после первой встречи в Ясной Поляне, состоявшейся 21 августа 1894 года — и его самого. В качестве домашнего доктора ему суждено будет пробыть с Толстым с осени 1904 года до последних мгновений его земного бытия. «Погостил он тогда недолго и уехал 27-го августа, — вспоминает в “Моей жизни” С. А. Толстая, — Не думали мы, что так долго потом проживём с ним» (Толстая С.А. *Моя жизнь: В 2-х кн. М., 2014. Кн. 2. С. 367*).



Душан Петрович Маковицкий

Ниже мы приводим несколько «исторических» писем и фрагментов переписки, значительных, как вехи эволюции христианского мирозерцания Льва Николаевича Толстого, к различным авторам.

**6. 2. 1. «Существующий строй жизни подлежит разрушению...»
Письмо Э. Шмитту 26 февраля 1895 г.**

Одним из полезнейших Толстому «знакомцев по переписке» делается в 1894 году *Эуген Генрих Шмитт* (Schmitt Eugen Heinrich; 1851 – 1916) — писатель, публицист, журналист из Австро-Венгрии, венгерского происхождения, представитель т. н. *религиозного анархизма*, основатель союза «Religion des Geistes» («Религия духа»). В 1894 – 1895 гг. Шмитт издавал в Будапеште журнал с таким же названием. Шмитт никогда не встречался с Толстым, но долгие годы

(1894 – 1910) состоял с ним в переписке, присылал номера своего журнала, которые Толстой прочитывал с «величайшим интересом и удовольствием» (68, 114). Особенно понравилась ему статья об анархизме «Anarchie». В ней автор излагал идеал такого строя, при котором будет уничтожен всякий эгоизм, а вместе с ним и всякое принуждение — государство и закон.

Дневники и письма Толстого содержат многочисленные отзывы о венгерском публицисте. Известно более 30 писем писателя, адресованных ему. Письма Шмитта, его статьи и книги радовали Толстого, так как в них он находил созвучие своим идеям. Уже в 1909 году он высоко оценит сочинение Шмитта «Religionslehre für die Jugend» («Религиозное учение для юношества»), которое представляет собой переложение Евангелия, адресованное молодому поколению. Идея подобного произведения была близка устремлениям самого Льва Николаевича, составившего за год перед этим свою версию Евангелия для детей. Толстому нравились в писаниях Шмитта «искренность и огненность» (68, 190). Он назвал прекрасной брошюру «Mammon und Belial» («Маммон и Велиал»), в которой венгерский анархист отрицал присягу и богатство, подчинение гос. власти.

В 1895 г. Толстой-публицист продолжает энергичную деятельность в защиту преследуемых христиан, отказывающихся по религиозным убеждениям от военной службы. Он организует широкую публикацию материалов, статей, книг, ибо, как он пишет Э. Шмитту в середине сентября 1895 г., убеждён, что «наше единственное и могущественнейшее оружие — это слово, т. е. ясно и сильно выраженная истина» (68, 179). Понимая огромное значение деятельности и своих единомышленников-журналистов, обсуждает способы и формы подачи публикуемых материалов и их распространения.

Толстой отвечает на присланный Шмиттом «Проект манифеста “Ко всем благородно мыслящим людям”» с выражением протеста против преследования доктора Альберта Шкарвана за отказ от воинской повинности.

Толстой писал: «Идея манифеста хороша, но форма мне не очень понравилась. Он должен быть проще и понятнее для литературно необразованных людей.

Также и ваше намерение собирать подписи под манифестом считаю нецелесообразным. [...] Число подписей лиц, настроение и взгляды которых нам не известны, не имеет никакого значения. Напишите ваш манифест так сильно и убедительно, как вы только можете, и опубликуйте его. Это единственное и лучшее, что мы можем сделать» (Там же).

Толстой сообщает, что подобный манифест или воззвание написал его друг Е. И. Попов – «Открытое письмо к обществу по поводу правительственных гонений на лиц, отказавшихся от воинской повинности», что вскоре появится книга о преследовании христиан. «Сейчас от одного из моих друзей, съездившего на Кавказ, чтобы обстоятельно ознакомиться с положением дела, мною получена ещё одна рукопись о преследовании духоборов, и я пишу к этой статье предисловие. Эту статью мне очень бы хотелось поместить в самых распространённых немецких газетах. Как это сделать?» – спрашивает Толстой и предлагает: «Для вашего журнала, я думаю, было бы хорошо дать перевести предисловие к одной появившейся в Берлине книге “Жизнь и смерть Дрожжина”, и у вас напечатать. Книгу с предисловием <Предисловие Л. Н. Толстого к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина. 1866 – 1894». Берлин, 1895. – Ред.> вы можете выписать из Берлина или от нашего друга и друга Шкарвана — д-ра Душана Маковицкого, в Жилине» (Там же).

Толстой, как видим, создаёт себе команду международной поддержки — убедившись в мощи и огромнейшей полезности мировой поддержки сперва в деле кормления голодавших крестьян в начале 1890-х.

В одном из писем Эугену Шмитту Толстой анализирует публикации его журнала; даёт не только свою оценку им, но и очень важные для журналиста (и деликатные) советы.

«Я получил ваше письмо и номер 5 вашего журнала и прочитал вашу статью об Эгиди <Статья Шмитта «Zum Staatschristentum Egidy's» («О государственном христианстве Эгиди») // Religion des Geistes. 1895. № 5. – Ред.>. Как и все другие ваши писания, эта статья мне в целом очень понравилась. Вообще мне нравится в ваших писаниях ваша искренность (sincerite) и огненность (не знаю, можно ли так сказать по-немецки), но упоминание, которое вы при этом делаете о вашем мировоззрении, я не мог одобрить.

Никогда нельзя правильно оценить важность своих собственных мыслей. Это надо предоставить другим. Кроме того, ваше мировоззрение не ваше, а христианское, которое следует из Евангелия, если читать его без предвзятого намерения. Ваша заслуга заключается только в том, что вы осветили это мировоззрение с новых сторон. Простите, милый друг, что я позволяю себе сделать вам эти замечания. Делаю это потому, что люблю вас и высоко ценю вашу деятельность и многого от вас ожидаю.

Надеюсь, что мой друг Маковицкий уже послал вам предисловие, которое, если хотите, можете напечатать в вашем журнале. Теперь

посылаю вам ещё одну корреспонденцию, написанную одним из моих друзей, о преследовании духоборов, с маленькой моей статьёй об этих событиях. Корреспонденция слишком длинна для помещения в вашем журнале, но если она вам понравится, сделайте из неё извлечение и напечатайте с моей статьёй в виде послесловия.

Я очень желал бы, чтобы эта корреспонденция с моим коротким письмом или с послесловием появилась в наиболее распространённых немецких, австрийских и русских газетах» (69, 144 – 145).

Подробнее о деятельности Льва Николаевича с помощниками по эвакуации из России членов преследуемой правительством секты духоборов мы, по значительности темы, поговорим в особенной Главе.

6. 2. 2. Письма Берте фон Зуттнер о конгрессах мира

К 1895 – 1896 гг. относится продолжение эпистолярного общения Льва Николаевича с Бертой фон Зуттнер. Будучи, как может помнить читатель, дважды мысленно послана Львом Николаевичем нахуй, она прекратила на время письма к кумиру, но, конечно, продолжала пристально следить за всем тем в его деятельности, что было ей близко. Публикацию статьи «Христианство и патриотизм» неугомимая пацифистка встретила с восторгом. В своём журнале «Die Waffen nieder!» она оценивает эту публикацию, как «событие», а о тексте статьи говорит, что он «захватывает дух», «потрясает»: «То, что говорится у Толстого о франко-русских торжествах, не что иное, как беспощадное срывание масок (ein schonungsloses Maskenherunterreiffen)» (Цит. по: Травушкин Н. С. Берта Зуттнер – корреспондент Льва Толстого // Русская литература. 1972. № 2. С. 146). Рискаю и в третий раз быть посланной нахуй, фрау Берта, в конце концов, решается 8 декабря 1895 г. написать «единомышленнику» письмецо с новостями её «движения» и, конечно же, непременно лестью:

«Я не перестаю следить за проявлениями вашего духа и счастлива наслаждаться теми могучими писаниями, которыми вы наносите удары по нашему общему врагу — войне» (Там же. С. 147). В письме Зуттнер также сообщала Толстому о предстоящем 18 декабря годовом собрании основанного ею Общества друзей мира и «заклинала» его прислать на это собрание телеграмму.

Несмотря на откровенные примазывание и лесть, Толстой ответил Зуттнер 19 декабря кратким, вежливым письмом (см. 68, 285).

В следующем письме Берты Зуттнер, от 19 июля 1896 года, как и в прежних, содержалась информация о деятельности сторонников

мира и просьбы прислать хотя бы несколько слов для оглашения на встречах пацифистов, для публикации в их печатном органе. Толстой поручил на этот раз ответить настойчивой адресатке своему не менее фанатичному, чем фрау Берта, и трудолюбивому помощнику и другу, Владимиру Григорьевичу Черткову. Текст ответа неизвестен.

Через полтора года, 20 января (2 февраля) 1898 г. Берта фон Зуттнер обратилась к отче Льву всё с прежним, сугубо пацифистским: «Дорогой и уважаемый учитель. У пацифистов, организованных во всех странах, годовая праздник. Как рабочие празднуют 1 мая, так мы празднуем 22 февраля. Во всех городах будут происходить собрания и обмен мнениями. Я была бы счастлива при этом случае иметь возможность прочитывать на собраниях и сообщить в журнале несколько строк Толстого. Убедительно прошу вас оказать, мне эту милость» (Цит. по: Чистякова М. Толстой и европейские конгрессы мира // Литературное наследство. Том 37 – 38. М., 1939. С. 605 – 606).

Просьба такая старцу и христианину могла бы показаться примерно тем же, чем взрослому домохозяину показала бы просьба малых детей выдать им, ради Рождества, из укладки или чердака старые маскарадные костюмы — похватать перед старшими, *поиграть*. Если бы не тематика всех таких сборищ-игрищ... И в этот раз, настроившись серьёзно, Толстой и ответил максимально серьёзно и значительно, письмом, датируемым приблизительно: не ранее 24 января и не позднее 6 февраля — на основании даты письма Зуттнер, на которое отвечает Толстой, и даты пацифистского международного дня 9 (22) февраля, к которому назначался ответ Толстого.

Февральский ответ Толстого не дошёл до нас полностью. В собрании сочинений писателя он печатается по сокращённой публикации в газете «Неделя» (№ 16 от 19 апреля, стр. 525), а та в свою очередь перепечатала его из корреспонденции, помещённой в «Санкт-Петербургских ведомостях» 8 (20) апреля 1898 года. В заметке рассказывается о Гамбургском конгрессе мира 1897 года, в котором Берта Зуттнер, конечно, участвовала. Здесь же хорошо осведомлённый корреспондент сообщает:

«Баронесса Сутнер прислала Л. Н. Толстому свою последнюю книгу „Schach der Qual“ и получила от него письмо, в котором, поблагодарив за присылку, граф говорит...» Далее приводится отрывок из письма русского писателя с проповедью религиозно-нравственного очищения людей как условия уничтожения войн и милитаризма:

«Одно только я хотел бы сообщить друзьям мира, следовательно нашим друзьям, что единственное средство достигнуть цели, которую мы преследуем, состоит в том, чтобы не принимать никакого участия, даже самого отдалённого, во всём, имеющем какое бы то ни было отношение к войне, и что самое действительное средство продолжать настоящий порядок вещей состоит в компромиссах с своей совестью и в уверенности, что наши речи и наши писания могут произвести какое-либо действие, если наши поступки им не соответствуют. Освобождение людей от военного рабства не может исходить ни от коронованных особ, ни от писателей, а от духовенства, которое должно привести всю жизнь в соответствие со своей совестью. Но это будет только тогда, когда люди сознают своё человеческое достоинство, что возможно только при верном понимании религиозной жизни. Militarизм — только симптом болезни. Если болезнь (отсутствие религии или ложная религия) исчезнет, вместе с другим злом исчезнет и милитаризм» (71, 272).

Письмо значительно указанием на признание Толстым значения в будущем обновлённой, возрождённой к первоистокам, ко Христу Церкви и её духовенства — которое может показаться странным части читателей, привыкших понимать Толстого как «отрицателя» церковности, якобы, в её истоках. Но такое понимание неверно.

По существу, благожелательное «мы» Толстого — и здесь, и в прочих обращениях Толстого к либералам и пацифистам — указывает никак не на желательность или иллюзию Толстого сближения с ними, а только на значительность тех общественных проблем, которые они поднимали в медийном и других публичных пространствах. Не отвечать, не высказать своего мнения в ответ на прямую просьбу, с обещанием всегда полезной огласки, Толстой, конечно же, не мог.

Не дожидаясь ответа, 2 (14) февраля 1898 года Берта фон Зуттнер, действительно, отправила русскому писателю ещё и свою новую книгу «Страданиям — шах» («Schach der Qual»). Как отмечает Н. С. Травушкин, «всё произведение написано под несомненным влиянием этического учения Толстого» (*Травушкин Н. С. Указ. соч. С. 148*).

В сопроводительном к книге письме Берта фон Зуттнер просила обратить внимание на отмеченные места. Книга эта сохранилась в Яснополянской библиотеке, на шмуцтителе её надпись: «Величайшему из величайших всех времён — Толстому — преподносит автор. Харманнсдорф, 1898», а на стр. 12 красным карандашом отчёркнуто для Льва Николаевича наивно-хвалебное суждение, в котором говорится, что «Толстой подарил миру “Царство Божие внутри вас”,

книгу, которая должна была бы переделать мир, но царство сатаны всё ещё процветает» *(Там же)*.

По мнению Н. С. Травушкина, в не дошедшей до нас части этого письма содержится оценка присланного Бертой Зутнер романа «Schach der Qual». Исследователь обратил внимание, что «на рекламных страницах в конце книг Б. Зутнер среди отзывов о её произведениях не однажды печатались неизвестные у нас строки Толстого: “Я прочитал книгу с удовольствием и пользой; это очень убедительная (suggestives) книга, она содержит много прекрасных мыслей”» *(Травушкин Н. С. Указ. соч. С. 148)*.

В этом ещё более, чем «Долой оружие», до смешного бездарном романе Берта фон Зуттнер сделала, однако, Толстому ценный подарок: рассказала читателям о страданиях в России сектантов-духоборов, отказывающихся носить оружие и идти по призыву в военную службу, сосланных властями на Кавказ. Одна из глав, повествующих об этом, называется «Толстой обвиняет» («Tolstois Klageruf»). Писательница целиком солидаризируется с великим яснополянцем: нельзя пренебречь его призывом, надо спешить туда, где страдают, где нуждаются в помощи. Главный персонаж книги, князь Роланд, спешит на помощь духоборам, едет в Россию, где сталкивается с бессердечием правительства *(Там же. С. 149)*.

Наконец, на цитированное выше письмо Толстого Берта Зуттнер ответила Толстому письмом от 27 февраля:

«Дорогой и почитаемый учитель.

Горячо благодарю вас за ваше драгоценное письмо, которым вы меня почтили. Урок, содержащийся в нём, принесёт плоды. Ужасное дело удушения правосудия к вящей славе божества “Милитаризм”, которое происходит сейчас во Франции, ещё раз доказывает, насколько вы правы, бичуя этот так называемый “патриотизм”, во имя которого совершаются и оправдываются все насилия, вся ложь и все убийства» *(Цит. по: Чистякова М. Толстой и европейские конгрессы мира // Литературное наследство. М., 1939. Т. 37 – 38. С. 606)*.

Убогая лесть... Однако поборница всеобщего мира в своём письме тут же сделала ещё большую ошибку: не утерпела, чтобы не задеть ненавистную Францию, намекая, по-видимому, на разбивавшееся в то время дело Дрейфуса и усматривая именно во Франции главный очаг всех ужасов милитаризма. Толстой, как мы помним, не позднее чем с начала 1870-х гг. Франции симпатизировал, хотя, действительно, не оправдывал милитаристских и реваншистских настроений, бытовавших в этой стране, равно как гонки вооружений и обязательной военной службы ни в одной из европейских стран.

6. 2. 3. Письмо М. Э. Здзеховскому
(о «польском вопросе» и патриотизме). 1895

Знакомство и общение, в том числе личное, Толстого с поляком Мараном Эдмундовичем Здзеховским, знаменует появление в «антивоинной» эпопее Льва Николаевича Толстого одной из самых непростых для анализа его мировоззрения проблем. В предшествующих главах нашей книги мы проследили достаточно специфику его формирования. С одной стороны, Толстой с юных лет безусловно одобряет «молодечество», храбрость и самопожертвование. В зрелые годы, с рубежа 1870 – 1880-х гг. — писателем одобряется жертвование собой не столько солдат и офицеров, сколько революционеров. Кроме того, для сознания Толстого безусловны ценности свободы и человеческого достоинства, по отношению к которым уже молодой Лев воспринимал имперскую тётю «родину», пресловутое «отечество» как несчастную страну деспотизма, бесправия и «власти тьмы». С симпатиями в отношении героев «революционной» оппозиции это имеет связь — хотя не ту именно, о которой можно подумать прежде всего: всегда, когда дело до Толстого, речь следует вести об одобрении моральных достоинств и выдержки конкретных личностей, но не их заблуждений о действительности в обществах «революционных» методов борьбы.

Приведём кстати довольно известный отрывок из письма молодого Л. Н. Толстого к троюродной тётке Александре Андреевне Толстой, от 18 августа 1857 г.:

«В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни. Я знаю, что вы не одобрите этого, но что ж делать — большой друг Платон, но ещё больший друг правда, говорит пословица. Ежели бы вы видели, как я в одну неделю, как барыня на улице палкой била свою девку, как становой велел мне сказать, чтобы я прислал ему воз сена, иначе он не даст законного билета моему человеку, как в моих глазах чиновник избил до полусмерти 70-тилетнего больного старика за то, что чиновник зацепил за него, как мой бурмистр, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что кроме побой послал его босого по жневью стеречь стадо, и радовался, что у садовника все

ноги были в ранах, — вот, ежели бы это всё видели и пропасть другого, тогда бы вы поверили мне, что в России жизнь постоянный, вечный труд и борьба с своими чувствами. Благо, что есть спасенье — мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей. Здесь никто, ни становой, ни бурмистр мне не мешают, сижу один, ветер воеет, грязь, холод, а я скверно, тупыми пальцами разыгрываю Бетховена и проливаю слёзы умиления, или читаю Илиаду, или сам выдумываю людей, женщин, живу с ними, мараю бумагу, или думаю, как теперь, о людях, которых люблю» (60, 222).

Но, повторим: в то же время, такое неприятие насилия государственного и симпатии к борцам с ним, включая народы, борющиеся за отделение от России, от Империи и от поганого, хотя ещё только становящегося во всём своём поганстве, «русского мира» — не означало симпатии к *методам* борцов, именно насилию или подготовке к нему, которые, например, для поляков были ключевыми. Недаром в истории XX столетия наиболее близкими политическими движениями за свободу, за равенство прав, считается ненасильственная *сатьяграха* Мохандаса Карамчанда (Махатмы) Ганди, считавшего себя учеником Толстого, в рамках более широкого движения освобождения Индии от британского колониализма, и, немногим позднее — движение Мартина Лютера Кинга в США, заимствовавшее (быть может, продуманно) у «толстовства», то есть от чистых, евангельских истоков идущего неприятия насилий и лжи, главное: религиозные этические основания для непростого воздержания борцов за права чернокожих от ответного насилия.

Беда тех современников великого яснополянца, кто, до самой его кончины и позднее, искал в нём единомышленника для того, чтобы его громким именем поддержать готовящееся насилие (под именем ли революции или *национального восстания* — не важно!) в том, что означенный в письме 1857 г. *эстетический* барьер от ударов по чувствам, от картин окружающей действительности — Толстой уже к концу 1880-х в основном «разобрал по брёвнышку», сублимировав в образах своего художественного творчества. *Христианскому* же его неприятию ужасов и мерзостей повседневной жизни тогдашней буржуазно-капиталистической России имманентны были любовь и сочувствие отнюдь не к городской интеллигентской сволочи, среди которой и гуляли ветерочки заранее оправданных антиправительственных мятежей, даже не к друзьям — или среди творческих горожан, или в своём сословии — как было в том же 1857-м, а к *наиболее страдающим* людям, как правило, из народа. Не этический ретретизм, не бегство *от* страдающих, а путь *к* ним.

Кстати же. Удивительным образом строки из письма Льва Николаевича августа 1857 г. А. А. Толстой некоторые современные уже нам авторы преподносят как свидетельство «русофобии» молодого Льва Толстого — сближающей его с «разрушителями России». Обычно с этой целью к приведённому нами отрывку добавляют обманом слова: «Противна Россия. Просто её не люблю» — которые в Дневнике Толстого от 6 и 8 августа 1857 г., на который ссылаются подтасовщики, действительно есть, но связаны именно с впечатлениями от нравов, от "власти тьмы" в государстве Российском (см.: 47, 150), и которых в письме нет совершенно (пример такой лживой публикации в интернете: http://buggybugler.info/articles/lev_tolstoj_o_rossii-3.html). Дело в том, что Толстой протестовал исключительно с гуманистических позиций — против жестокости и неустроенности жизни родины (т.е. *родного края* — в семантических категориях эпохи), не заявляя о “нелюбви” к России как таковой и в целом.

Молодой духовный воин, Толстой в критической картине, приведённой в письме 1857 г., гуманистически сближается с позицией старшего собрата, чтимого им всегда воина и патриота России, поэта Дениса Давыдова, выразившейся в сатире ещё 1836 г. «Современная песня» — на “букашек”, городских и усадебных «просвещённых» паразитов на народной шее:

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы:

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Деспотизма супостат,
Равенства оратор, –
Вздурся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.

Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,

Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафайёт,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладёт
Вместе с свекловицей...

И так далее. Но критика Толстого 1880 – 1890-х гг., Толстого-христианина показалась для фарисейской “общественности” буржуазной России много болезненней, нежели в 1830-х критика Дениса Давыдова — оставшаяся на уровне социальной и политической сатиры (ведущей свою традицию ещё из языческого мира, из Античности) и гуманистических деклараций.

Фарисейство, лицемерие — вот «фундамент» пресловутых «освободительных движений», который был очевиден христианскому сознанию Толстого, и в особенности — при взгляде из деревни. Выблядки усадебного «Брута», дворянчика – крепостника, вырастая на лоночке природы, в холе и сытости с трудов порабощённого народа, где-нибудь на возрасте студенчества выдумывали, в потайном «кружке», фронду ради «народной свободы». Вместо того, чтобы *просто* не обременять народ изначально: не рожаться в дворянском, крепостническом семействе, не лезть вон из брюшка своей мамки! Отдалённые потомки и «духовные» поганые наследники этих выблядков и выщенок — теперешняя, с московской да питерской прописочкой, зажиточная сволота, всё так же корчащая из себя «оппозицию» и заступников «народа».

Толстой видел это массовое фарисейство «умеренных», сволочи либеральной. Именно потому ему, как воину, воспитаннику на героической и патриотической литературе, симпатичнее оказались те, кто жертвовал собой лично — не исключая «революционных» террористов. Однако коренные причины такой симпатии, связанные с дворянским воспитанием, с представлениями о чести, о ценности свободы — позорно сокрыты даже для многих исследователей нашего времени, XXI столетия, берущихся писать о Толстом. Непонятны они были и самим современникам Толстого, обижавшимся или разочаровывавшимся на его отповеди к ним: например, финнам или полякам, борющимся за свободу от России, равно и революционерам в России либо эмигрантам — по этой самой причине не оставлявших

в 1880 – 1900-е гг. попыток заручиться громким, влиятельным толстовским словом, личной поддержкой писателя и публициста.

Помимо переписки с Здзеховским, ниже мы рассмотрим ещё несколько эпизодов диалога Толстого с теми, кто лично объявляли войну имперской России либо поддерживали таковых.

Теперь — о персоналии адресата.



Мариан Эдмундович Здзеховский

Мариан Эдмундович Здзеховский (Marian Zdziechowski; 1861 – 1938) — профессор Краковского университета; посетитель, корреспондент и адресат Толстого. Писатель был знаком с его работами о религиозных идеалах польского общества.

Имя Толстого с юных лет вошло в жизнь Здзеховского; позднее он писал: «Первый раз я читал “Войну и мир”, будучи учеником 7 класса гимназии. Один образ особенно поразил моё воображение и, войдя в душу, остался в ней, неразрывно связавшись с теми её настроениями и побуждениями, которыми я более всего дорожу; это образ раненного под Аустерлицем кн. Андрея Болконского, когда, лёжа на поле сражения и не видя того, что происходит вокруг, он смотрит в небо, “неизмеримо высокое небо с тихо ползущими по нём серыми облаками”, и чувствует, “как всё пусто, всё обман, кроме этого бес-

конечного неба; ничего, ничего нет, кроме него...». В 1883 году, продолжал Здзеховский, «я прочёл “Исповедь” жадно, но не нашёл в ней желанного удовлетворения. Л. Н. смело устремлялся в новый мир, оставляя за собой развалины церковного христианства, между тем как для меня понятия религии и церкви были неразделимы. Привязанность к римско-католической вере, к её обрядам и таинствам слишком глубоко внедрилась в мою душу, чтобы я был в состоянии от неё отрешиться; я искал синтеза католицизма с лучшими стремлениями века [...]. Но это вовсе не ослабило моего влечения к Л. Н. Толстому; [...] я в нём чтит учителя, которого в эпоху торжества материалистического эгоизма в философии и в жизни Провидение призвало для того, чтобы обнажить суету чувственности и безобразия греха» (*Здзеховский М. Голос из Польши // Международный толстовский альманах: О Толстом. М., 1909. С. 64 – 65*).

В 1895 г. Здзеховский написал «очерк, в котором, изложив ход польской политической мысли с 1831 г., старался указать на её глубоко христианскую подкладку». Вот преамбула статьи:

«Размышляя о несчастной судьбе родины и о средствах к её спасению, лучшие люди польского народа стремились с замечательной последовательностью согласовать с учением Христа итоги своих размышлений. Они считали долгом освободить их от примеси человеческих страстей, и поднять таким путём до значения религиозных заповедей. Отсюда нравственная возвышенность их идеалов. Их политическая оболочка неотделима от религиозной сердцевины. Отсюда невозможность говорить о политических идеалах польского общества иначе, как в совокупности с его религиозными стремлениями» (*Северный вестник. 1895. № 7. [Июль]. СПб., 1895. С. 36*).

Статья странна своей тенденцией немножко — скрещенья свинтуса с бульдожкой: католическую религию (априори полагаемую её адептом Здзеховским «истинным христианством») соединить с не то, что человеческим, а даже и *слишком* человеческим: идеей национальности, свободы, «прав» и даже мессианизма поляков. Например, в поэме Адама Мицкевича (Adam Bernard Mickiewicz; 1798 – 1855) «Конрад Валленрод», что для Здзеховского особенно дорого, в классическом выборе между религиозной совестью и патриотизмом побеждает последний: потому что Мицкевич уже в 1820-м, после Венского конгресса, но задолго до «освободительных» кровопролитий 1830-х, а тем более 1860-х гг. «признавал положение своей родины настолько безвыходным, что спасать её оказывалось возможным не иначе, как прибегая к чрезвычайным средствам, против которых возмущалось нравственное чувство». Эти средства были неприемлемы для Валленрода как христианина. Но соблазнительны, как для

поляка... «Зародыши будущего мессианизма таились в неизмеримых глубинах страстной любви к отечеству, которой дышал Валленрод. [...] Такое понимание вело прямым путём к мечте о божественном призвании польского народа, которую поэты и мыслители стали пытаться обосновать исторически и философски» (*Там же. С. 37 – 38*). Окончательно концепция мессианизма, религиозного избранничества польского народа, сложилась в сочинениях другого кумира Здзеховского — мистика Андрея Товянского (Andrzej Towiański; 1799 – 1878): «его учение пролило благодатный свет в чуткие души, искавшие примирения христианской любви к ближнему с патриотизмом» (*Там же. С. 43*). Здзеховский с отрадой видит в мазохистских фантазированиях Товянского сближение с учением возлюбленной им католической церкви: «Поляки — говоря мистическим слогом Товянского — не умели подчиниться сладкому игу Христа, поэтому Господь испытует их, наказав более тяжёлым, земным, материальным игом, от которого они освободятся именно силою духовного ига Христа. Иными словами, поляки, вместо того, чтобы мечтать о политической свободе, должны всеми силами стремиться к свободе нравственной. [...] ...В виду ниспосланной Богом на Польшу страшной кары, первым признаком покаяния должно быть христианское отношение к орудиям этой кары» (*Там же. С. 42 – 43*). Но Здзеховский признаёт, что «христианский и аскетический идеал, который Товянский пытался применить к политическим стремлениям поляков, не мог иметь успеха среди массы общества», тогда как идеи мессианизма и политической борьбы находили отклик. Отрезвление пришло лишь «после 63 года», то есть трагического по последствиям восстания против Российской Империи (*Там же. С. 44*). У одного из популярных мыслителей этого периода, графа Ежи (Юрия) Мошинского (Moszyński; 1847 – 1924), Здзеховский находит признаки сближения и с христианским проповеданием Толстого:

«Кто смотрит на политическую независимость, как на возвышеннейшую из народных стремлений, тот противоречит Божьей воле, обязывающей нас считать всякое политическое устройство только средством к труду, одеждой, которая изветшает, а не высочайшей целью» (*Там же. С. 49*). И ещё: «...Осудив не только козни и заговоры, что уже было сделано мессианистами, не только восстания [...], но даже самую мысль о чисто политической борьбе, Мошинский тем страстнее верует в “польскую жизнь”, т. е. в неистощимые духовные силы польского народа. Эти силы и следует развивать, чтобы польская жизнь оказала благотворное и сильное влияние на те народы, в

сообществе которых Бог заставил поляков трудиться над бессмертным делом водворения христианской правды на земле, — делом, составляющим обязанность каждого народа» (Там же. С. 54).



Граф Ежи Мошинский

По существу, «миролюбивый» посыл Мошинского верен и благ, и действительно сближает польского мыслителя, патриота и ревностного католика Ежи Мошинского с Толстым. Поляки имеют право заявить миру о своём существовании, но не внешней силой, которой они бесповоротно лишились (забрал Господь!), а своими духовными качествами; они обязаны развивать свою духовную индивидуальность, чтобы этим принести пользу всему человечеству. Пойди поляки к своему освобождению не через восстания, а через культурное и духовное развитие, обновление (как сумели, скажем, чехи) — желаемый результат был бы достигнут куда меньшей кровью. Но куда-то «теряют» оба, и Здзеховский тоже — понятие основанной Христом Церкви, в которой (а не «в сообществе народов») должны соединяться последователи Христа так, чтобы не было «ни иудея, ни елина»: не делясь, как древние язычники, ни языки (народы) и сброды, на однопартийцев и «врагов» твоей политической игры.

По цензурным соображениям эта странная статья была напечатана в сокращённом виде в июльской книжке «Северного вестника» под псевдонимом «М. Урсин». Желая опубликовать её за границей полностью, но справедливо считая своё имя недостаточно известным,

чтобы рассчитывать на успех издания, Здзеховский 12 августа 1895 г. обратился к Толстому с письмом, в котором просил его «о помощи в виде краткого предисловия, хотя бы в полемическом тоне», против его взглядов. Эти взгляды по поводу прочитанной им статьи Толстого «Христианство и патриотизм» он излагал в том же письме. На письмо Здзеховского Толстой ответил 10 сентября 1895 г. Здесь он горячо размышляет о «польском вопросе», о патриотизме угнетаемых и угнетателей, и пытается убедить своего собеседника в том, что всякий «патриотизм есть свойство недоброе».

В письме Толстой, по его словам, «вновь обдумывает» и высказывает свои мысли о патриотизме — конечно же, с благодарностью адресату за такую возможность.

Письмо Толстого было напечатано М. Э. Здзеховским в вышедшей (под его псевдонимом *М. Урсин*) брошюре «Религиозно-политические идеалы польского общества» (Лейпциг, 1896), а кроме того напечатано в польских газетах и перепечатано в различных изданиях.

28 августа 1896 г. М. Э. Здзеховский лично посетил Ясную Поляну. 2 июня 1899 г. он послал письмо с описанием празднования 100-летней годовщины Пушкина в Кракове. Толстой ответил письмом 26 июня 1899 г.: «Мои отношения с вами мне очень памятливы и оставили во мне самые хорошие воспоминания. Вашей статьёй и разговорами вы помогли мне сознательно сблизиться душевно с поляками — то, к чему я всегда чувствовал несознательное влечение» (72, 152).

Понятно, что такие попытки польских «друзей» политизировать христианское неприятие Толстым патриотизма были обречены на провал. Итогом «духовного сближения», устанавливающим, вместе с тем, и его границы, можно считать, помимо вежливого ответа Здзеховскому, появившуюся через несколько лет, в революционном 1905 году, повесть Толстого «Божеское и человеческое», безусловно осудившую насильственные методы борьбы поляков с Россией и выставившую, контрастом с этими мирскими «героями», образ христиански пробудившегося, обречённого в миру на гибель человека — безусловно, ещё одной Птицы Небесной. Современный исследователь Е. Ю. Полтавец пишет в этой связи:

«В творчестве Л. Н. Толстого есть два деифицированных (обожествлённых) персонажа, причём оба — князь Андрей, герой «Войны и мира», и Анатолий Светлогуб, герой «Божеского и человеческого», — умирают, как мученики, за веру. С точки зрения христианской ортодоксии их, пожалуй, можно было бы назвать лишь страстотерпцами [...], но суть не в этом. Для Толстого как автора Болконский и Светлогуб не только герои, пришедшие к индивидуальной святости,

но и образы сотериального значения. Причём по своей, так сказать, формальной профессиональной принадлежности эти персонажи отстоят от автора, адепта идей ненасилия, дальше, чем кто бы то ни было. Андрей Болконский — профессиональный военный, Анатолий Светлогуб — профессиональный революционер, террорист. Конечно, ни тот, ни другой не повинны ни в малейшем насилии: наполеоновские и другие войны князь Андрей проходит, не участвуя не только в убийстве противника, но и в военном противостоянии (даже во время Бородинского сражения его полк стоит в резерве), а Светлогуб не успевает осуществить никакие террористические действия. Толстого интересует не “житие великого грешника”, а возвышение человеческого духа над обыденным сознанием» (*Полтавец Е.Ю. «Божеское» и «человеческое» в танатопэтике Л. Н. Толстого: Андрей Болконский и Анатолий Светлогуб // Материалы Толстовских чтений 2014 г. в Государственном музее Л. Н. Толстого / отв. ред. Л. В. Гладкова; сост. Л. Г. Гладких, Ю. В. Прокопчук. — М., 2015. С. 156 – 164*).

Итак, образом князя Болконского Лев Николаевич Толстой указал юному Мариану Здзеховскому *настоящий путь*. Тоже требующий и самопожертвования, даже отращения от своей личности, и мужества, и стойкости... но не требующего крови, убийства других, разрушения жизни. Не пошёл Мариан Здзеховский этим путём. Пеняй, Мариан, на себя...

В завершение темы приводим ниже, с незначительными сокращениями, сперва письмо Мариана Эдмундовича Здзеховского, на которое отвечает Толстой, а затем и самый ответ Льва Николаевича.

«Глубоко чтимый Лев Николаевич!

На днях вышла моя брошюра, о польском патриотизме с Вашим письмом, помещённым мною в предисловии к ней. Вскоре я Вам её вышлю [...].

Лев Николаевич! Вы были так добры в отношении ко мне, что я не в состоянии воздержаться себя от желания высказать Вам откровенно те мысли, которые Ваши сочинения возбуждали во мне и которым Ваше последнее письмо о патриотизме дало особенно сильный толчок. Конечно, не скажу ничего нового, и Вы вероятно не один раз слышали возражения подобные моим — всё же, смею думать: они Вас несколько интересуют, так как происходят не от холодного

критика с окончательно установленным мировоззрением, но от человека ищущего истины, на которого Ваши слова производили сильное, нередко потрясающее впечатление.

С юных лет я тяготился своей материальной обеспеченностью, заключавшейся в том, что мои родители были в состоянии издерживать на моё воспитание 600 – 800 руб. в год. Это чувство развивалось во мне и усиливалось под впечатлением того, что и в гимназии, и в университете я был обыкновенно окружён товарищами, которые были гораздо беднее меня и часто нуждались даже в необходимом. Я чувствовал себя как бы виновным перед ними и ещё в настоящее время я испытываю это тяжёлое настроение каждый раз, когда имею дело с бедными. Благодаря тому я живо интересовался вопросами нравственности, читал Евангелие и сильнее всего волновался советом Христа раздать нищим имущество и словами Его о богаче, которому войти в Царство Небесное труднее, чем верблюду пройти через... В сопоставлении с учением Христа учение мира казалось мне постыдным фарисейством. Я сочувствовал социалистическому учению, иначе, даже увлекался им, но слабо, так как материализм последователей этого учения производил отталкивающее впечатление на моё религиозное чувство, которое выражалось у меня главным образом в сильном стремлении утвердить себя в католицизме: в религии мой ум страстно требовал строгой определённости; меня мучили сомнения, но я с ними боролся, напрягая все умственные силы к тому, чтобы доставить победу католическому чувству.

Я уже кончал университет в то время, когда Вы издавали Вашу «Исповедь»; с тех пор я внимательно следил за Вашими сочинениями. Всё, что Вы писали об учении мира, потрясало меня до глубины; в Ваших словах я находил свои собственные чувства, выраженные с той пламенной силой, которой мне не доставало. Но Ваше учение удовлетворяло меня не во всём, оно требовало и слишком много и слишком мало: не имея силы радикально переменить свой образ жизни, с другой же стороны довольствоваться только сознанием того, что я дурно живу (Царство Божие в вас) я находил слишком малым, тем более, что это сознание мучило меня с самых юных лет.

Но главным образом меня приводило в недоумение то, что Вы мирили две, по-моему мнению, совершенно противоположные вещи: глубокое знание человеческой души, и именно мрака её, и веру в торжество светлых сил в человеке; ведь эта вера довела Вас до проповеди анархизма, хотя это анархизм христианский, совершенно отличный от динамитного анархизма. — Мне же коренная испорченность человеческой природы (грех первородный) казалась всегда истиной очевидной, не требующей доказательств:

«Je ne connais pas la conscience d'un scelerat, mais je connais celle d'un honnête homme et c'est quelque nature d'affreux». (de Maistre) < «Я не знаю сознания злодея, но знаю сознание честного человека, и это нечто отвратительное по природе» (де Местр). — *Ред.*>

«L'humanité est une immense assemblée de pécheurs; quiconque se regarde s'épouvante de ce qu'il voit étrecule devant l'objet qui se montre. Plus l'homme connaît l'homme, plus l'abîme grandit à ses yeux. C'est un spectacle effrayant que de regarder n'importe où car partout où l'homme a passé, il a laissé sa marque et la marque est épouvantable». (Ernst Hello) <«Человечество — бескрайнее собрание грешников, и всякий, кто на него смотрит, ужасается тому, что видит, и отшатывается от выказывающего себя предмета. Чем больше человек знает человека, тем большая пропасть разверзается перед его глазами. Куда ни помотришь — ужасающее зрелище, ибо человек повсюду, где проходит, оставляет свою печать и печать эта ужасающа» (Эрнст Элло). *Эрнст Элло (1828 – 1885) — французский религиозный философ, последователь Жозефа де Местра.* — *Ред.*>

Одним словом, гармонии в душе моей не было: я исполнял обряды католической церкви, но многое в католицизме возмущало меня; для успокоения совести я принимал участие в благотворительных обществах в лучшем их виде (Conferences de St. Vincent de Paul), но не только не удовлетворялся этим, но нередко напротив, когда мне, человеку, одетому в тёплое пальто, приходилось проповедовать нравственность беднякам, я этим мучился как ханжеством.

В литературной деятельности я последовательно изобличал материализм во многих его проявлениях и, не поступая в ряды клерикалов, я, однако, высказывал своё сочувствие католической церкви и сотрудничал в журналах с католическим направлением. Итоги своих размышлений я сформулировал следующим образом: люди злы по природе и, следовательно, лишены возможности пользоваться благами свободы; для порядка необходима власть; две силы борются между собой за обладание миром — Церковь и Государство; из двух зол надо выбирать меньшее, в данном случае — Церковь. Конечно, я этого публично не высказывал, находя неуместным, даже безнравственным, чтобы защитник Церкви выражался о ней таким образом.

Этот взгляд на Церковь я основывал на внешней, весьма часто эгоистической деятельности официальной церкви, т. е. пап и епископов, но я понимал, что это не давало мне права осуждать Церковь вообще, так как во всяком случае Церковь представляла в сравнении с Государством высший, хотя и неудовлетворительно исполняемый принцип отрешения от плоти во имя духа — затем она обладала

и обладает тем, что названо в Катехизисе внутренней святостью, т. е. силой производить святых. Святые же, особенно святые Зап[адной] Церкви, по моему глубокому убеждению, представляют высший идеал достижимый для человека, идеал совершенства. Это факелы человечества и это не вылитые по одному типу отшельники как на Востоке, но люди живые, непохожие один на другого, олицетворяющие самые разнообразные стороны человеческого духа в их лучшем проявлении, — правда, их всех соединяет одна общая черта, это *folie de l'amour* [фр. увлечённость любовью] как выразился Lacordaire <Жан-Батист-Анри (Генри) Лакордер (*Jean-Baptiste-Henri Lacordaire, 1802 – 1861*), французский проповедник, журналист, политик и религиозный проповедник. — *Ред.*>, но несмотря на это в их душевном складе более разнообразия, чем в представляемых романистами характерах последователей мира; жизнью своей и подвигами святые искупают грехи как официальной церкви, так вообще всех живущих в мире католиков. Мне кажется, что Св. Франциск и нищенствующие ордена, которые он основал, представляют цвет католицизма и отраднейшее явление в истории мира и эти ордена выдают до сих пор людей, поражающих своей возвышенностью. Например можно нередко встретить даже в аристократических гостиных Кракова старика во францисканской рясе из грубого серого сукна, из которого выдвигаются мужицкие сермяги; это брат Альберт Хмельёвский, в мире он был художником живописцем, но он ушёл от мира, чтобы проповедовать Евангелие бездомным бродягам, пьяницам, ворам и вообще людям сошедшим до последней ступени нищеты и разврата, он почувствовал к ним влечение как художник, ибо люди эти, по его выражению, “это художественные натуры неспособные к солидной жизни”; он устроил в Кракове и Львове ночлежные приюты; можно в них проночевать и уйти, можно и остаться, но с условием участия в общей работе; и очень многие остаются и с их помощью брат Альберт устроил фабрику какой-то особого рода им изобретённой мебели; работе этой учит он сам вместе с другими братьями, и там же он ночует; таким образом слова любви царят теперь в заведении, в котором прежде действовали только палки полицейских чинов.

Между тем, страдая над своей виновностью в отношении к человечеству, я забывал о своей личной жизни, о обязанностях в отношении к людям, с которыми я находился в постоянном общении. И только недавно неожиданное обстоятельство открыло передо мною бездну моего эгоизма. Внезапная смерть человека искренно меня любившего, к которому однако я всю жизнь относился несправедливо, пробудила во мне горестное сознание моей виновности перед

ним и мне удалось вникнуть в глубину совести и первый раз увидеть ясно всё то зло, которое я в своей частной жизни сеял вокруг себя, предаваясь при этом возвышенным размышлениям об осчастливении человечества. Случайно в то же время я познакомился с сочинениями писателя, о котором я до тех пор ничего не знал. Это Ernest Hello (ум[ер] в 1885 г.). Он первый католический писатель, произведший на меня глубокое впечатление. Совершенно свободный от слащавой елейности свойственной большинству католических писателей, он вознёсся на высочайшие вершины религиозного созерцания и, проникнутый живым чувством бесконечности и Бога, он тем сильнее возненавидел мир и вооружился против учения мира с силой и воодушевлением напоминающими Ваши сочинения. Ненависть к греху, жажда идеала, экстаз души, сокрушённой сознанием своего ничтожества перед Богом, страстная и пламенная вера в Церковь, как единую силу водворяющую правду на земле — вот пафос (говоря языком Белинского) его религиозного творчества; творчеством же можно смело назвать его литературную деятельность, представляющую как бы ряд вдохновений свыше. Его сочинения утверждают меня теперь в католицизме. Конечно, они меня не успокоили, меня всё терзает тяжёлое чувство противоречия между моей жизнью и тем высоким идеалом, которого красоты я чувствую, не будучи в силах воплотить его в своей душе. Но меня утешает то, что я член Церкви, т.е. Всемирного Собрания (Katholikos Ecclesia), которое, воздвигнув идеал отрешения от плоти, т.е. от эгоизма, т.е. от мира, шествует к нему и исполняет его в лице своих лучших сынов и при том не лишает участия в таинствах тех, которые живя в мире, подвержены постоянным падениям под ударами власти греха.

Простите мне, глубокочтимый Лев Николаевич, моё дерзкое и глупое желание говорить пред Вами о себе, но поверьте мне, что ободрённый Вашей добротой, я не в силах был превозмочь это желание: я хотел высказаться перед Учителем, сильно и благотворно повлиявшим на моё духовное развитие, — и я хотел выразить то обаяние, которое всегда производили на меня святые (внутренняя святость Церкви), многое в Церкви возмущало меня, но никакие сомнения не поколебали того убеждения, что только на почве Церкви могут расти и развиваться великие и святые души, составляющие лучшее украшение человечества.

Примите уверение в благоговении и глубокой преданности

Мариан Здзеховский (см. *Новая Польша*. 2003. № 7 – 8).

Ответ А. Н. Толстого:

«10 сентября 1895 г. Ясная Поляна

Мариан Эдмундович,

Письмо ваше я получил и поспешил прочесть статью вашу в «Северном Вестнике». Очень благодарен за то, что вы указали мне на неё. Статья прекрасная, и я узнал из неё много для себя нового и радостного. Я знал про Мицкевича и Товянского. Но я приписывал их религиозное настроение исключительным свойствам этих двух одиночных людей. Из вашей же статьи я узнал, что они были только родоначальниками вызванного патриотизмом, глубоко трогательного по своей возвышенности и искренности, истинно христианского движения, продолжающегося до сих пор.

< *Зачёркнуто в первой редакции:* что это было и есть глубоко трогательное религиозное течение, приведшее этих людей к тому самому отрицанию патриотизма или, скорее, поглощению патриотизма христианством, с которым вы выражаете своё несогласие по поводу моей статьи Патриотизм и Христианство. – *Ред.* >

Статья моя «Патриотизм и христианство» вызвала очень много возражений. Возражали мне и философы, и публицисты, и русские, и французские, и немецкие, и австрийские; возражаете и вы; и все возражения, так же как и ваше, сводятся к тому, что мои осуждения патриотизма справедливы по отношению к *дурному* патриотизму, но не имеют никакого основания, если относятся к *хорошему* и полезному патриотизму; о том же, в чём состоит этот хороший и полезный патриотизм и чем он отличается от дурного, — никто до сих пор не потрудился объяснить.

Вы пишете в вашем письме, что, «кроме завоевательного, человеконенавистнического патриотизма могущественных народов, существует ещё совершенно противоположный патриотизм народов порабождённых, стремящихся единственно к защите родной веры и языка от врагов». И этим положением угнетённости определяете хороший патриотизм.

< *Зачёркнуто в первой редакции:* Мне кажется, что, говоря это, вы противоречите той мысли вашей статьи, что польские мыслители всегда старались, как вы выражаетесь, всегда согласовать национальные идеалы с законом Христа. Если закон Христа становится законом жизни, а не пустым словом, то он неизбежно поглощает и растворяет в себе всякий патриотизм. Насилия, совершаемые над польскими панами и народом, возмущают меня, наверно, не менее,

чем кого бы то ни было — поляка патриота, и точно так же возмущают меня насилия над евреями и финляндцами и остзейцами. Одно, что, мне кажется, может и должен испытывать поляк при насилиях, совершаемых над ним, это сознание того, что его патриотизм такой же. — *Ред.*>

Но угнетённость или могущество народов не делает различия в сущности того, что называется патриотизмом. Огонь будет всё такой же жгучий и опасный огонь, будет ли он пылать костром или теплиться спичкой.

Под патриотизмом разумеется обыкновенно предпочтительная перед другими народами любовь к своему народу, точно так же как под эгоизмом разумеется предпочтительная любовь перед другими людьми к одной своей личности. И трудно представить себе, каким образом такая предпочтительность одного народа перед другим может считаться добрым и потому желательным свойством. Если вы скажете, что патриотизм извинительнее в угнетаемом, чем в угнетателе, так же как извинительнее проявление эгоизма в человеке, которого душат, чем в человеке, никем не тревожимом, то нельзя будет не согласиться с вами, но изменить своего свойства патриотизм не может от того, что он будет проявляем угнетаемым или угнетателем. И свойство это: предпочтение одного народа перед всеми другими, так же как и эгоизм, никак не может быть доброе.

Но мало того, что патриотизм есть свойство недоброе, оно есть и неразумное учение. Под словом патриотизм подразумевается ведь не только непосредственная, невольная любовь к своему народу и предпочтение его перед другими, но ещё и учение о том, что такая любовь и предпочтение хороши и полезны. И это-то учение особенно неразумно среди христианских народов. Неразумно оно не только потому, что оно противоречит и основному смыслу учения Христа, но ещё и потому, что христианство, достигая своим путём всего того, к чему стремится патриотизм, делает патриотизм излишним и ненужным и мешающим, как лампа при дневном свете.

Человек, верующий, как Красинский, <Сигизмунд Красинский (1812 – 1859), польский поэт, автор «Небожественной комедии», «Иридиона» и др., испытавший на себе, так же как и Мицкевич, сильное влияние идей Товянского. — *Ред.*> в то, что *«церковь Божья — не то или другое место, не тот или другой обряд, но вся планета и все, какие только могут существовать отношения личностей и народов между собой»*, — не может уже быть патриотом, потому что он во имя христианства совершит все те дела, которые может требовать от него патриотизм. Патриотизм требует, например, от своего ученика жертвы своей жизнью для блага своих единокровцев,

христианство же требует такой же жертвы для блага всех людей, и потому тем более и естественнее такая жертва для людей своего народа.

Вы пишете о тех страшных насилиях, которые совершаются дикими, глупыми и жестокими русскими властями над верою и языком поляков, и выставляете это как бы поводом для патриотической деятельности. Но я не вижу этого. Для того, чтобы быть возмущённым этими насилиями, а всеми силами противодействовать им, не нужно быть ни поляком, ни патриотом, нужно только быть христианином.

В данном случае, например, я, не будучи поляком, поспорю с каждым поляком в степени отвращения, негодования к тем диким и глупым мерам русских правительственных лиц, которые употребляются против веры и языка поляков; поспорю и в желании противодействовать этим мерам, и не потому, что я люблю католичество больше, чем другие веры, или польский язык больше, чем другие языки, а потому, что я стараюсь быть христианином. И потому, для того чтобы ничего подобного не было ни в Польше, ни в Эльзасе, ни в Чехии, нужно не распространение патриотизма, а распространение истинного христианства.

Можно сказать, что мы не хотим знать христианства, и тогда возможно восхвалять патриотизм; но как скоро мы признали христианство, или хоть вытекающее из него сознание равенства людей и уважение к человеческому достоинству, то никакому патриотизму уже нет места. Меня удивляет при этом, главное, то, каким образом защитники патриотизма угнетённых народов (каким бы усовершенствованным и утончённым они его ни представляли) не видят того, как вреден патриотизм именно для их целей.

Во имя чего совершались и совершаются все насилия над языком и верою в Польше, Остзейском краю, в Эльзасе, Чехии, над евреями в России — везде, где совершались и совершаются такие насилия? Только во имя того самого патриотизма, который вы защищаете.

<Зачёркнуто в третьей редакции: Француз говорит: вы насилуете эльзасца, делая из него немца, а немец говорит: вы насильно сделали его французом, и потому я освобождаю его. То же в нашей Польше и в деле унии. — Ред.>

Спросите у наших диких руссификаторов Польши, Остзейского края, у гонителей евреев, зачем они делают то, что делают? Они скажут вам, что это делается для защиты родной веры и языка, скажут, что если они не будут делать то, что делают, то пострадают родная вера и язык. Русские ополячатся, онемчатся, обьевреятся.

Если бы не было учения о том, что патриотизм есть нечто хорошее, никогда не нашлось бы людей столь гнусных, которые в конце XIX века решились бы делать те мерзости, которые они делают теперь.

Теперь же учёные — у нас самый дикий гонитель веры бывший профессор — имеют точку опоры в патриотизме. <Толстой имеет здесь в виду обер-прокурора синода К. П. Победоносцева, который в 1860 – 1865 гг. занимал кафедру гражданского права в Московском университете. – *Ред.*> Они знают историю, знают про все бесполезные ужасы гонений языка и веры; но благодаря учению патриотизма у них есть оправдание. Патриотизм даёт им точку опоры, христианство же вынимает у них её из-под ног. И потому народам покорённым, страдающим от угнетения, надо уничтожать патриотизм, разрушать теоретические основы его, осмеивать его, а не восхвалять.

Защищая патриотизм, говорят ещё об индивидуальности народностей, о том, что патриотизм имеет целью спасти индивидуальность народа; индивидуальность же народов предполагается необходимым условием прогресса.

Но во-1-х, кто сказал, что индивидуальность есть необходимое условие прогресса? Это ничем не доказано, и мы не имеем права принимать это произвольное положение за аксиому.

Во-2-х, если даже и допустить, что это так, то и тогда средство для народа проявить свою индивидуальность никак не будет состоять в том, чтобы стараться проявить её, а в том, напротив, чтобы, забыв о своей индивидуальности, всеми своими силами делать то, к чему народ чувствует себя наиболее способным и потому призванным, точно так же, как отдельный человек проявит свою индивидуальность не тогда, когда он будет заботиться о ней, а тогда, когда он, забыв о ней, будет по мере своих сил и способностей делать то, к чему его влечёт его природа (*).

(*) Это всё равно, что забота о том, чтобы люди, работающие для содержания своей общины, работали бы разнообразную работу и в различных местах. Пусть только каждый делает по мере своих сил и способностей самое нужное для общины, и делает из всех своих сил, и они все будут невольно работать различное разными орудиями и в разных местах. (*Сноска Толстого.*)

Один из самых обыкновенных софизмов, употребляемых для защиты безнравственного, состоит в том, чтобы нарочно смешивать то, что есть, с тем, что должно быть, и, начав говорить об одном, подставлять другое. И этот самый софизм употребляется чаще всего и по отношению к патриотизму. Есть то, что всякому поляку ближе

и дорожке — поляк, немцу — немец, еврею — еврей, русскому — русский. Есть даже и то, что вследствие исторических причин и дурного воспитания люди одного народа испытывают бессознательное отвращение и недоброжелательство к людям другого народа. Всё это есть, но признание того, что это есть, так же как и признание того, что каждый человек любит свою особу больше других людей, никак не может доказывать, что это должно быть. Напротив: всё дело всего человечества и всякого отдельного человека состоит только в том, чтобы подавлять эти предпочтения и недоброжелательства, бороться с ними и сознательно поступать по отношению к другим народам и людям других народов совершенно так же, как поступаешь по отношению к своему народу и своим соотечественникам.

<Зачёркнуто в четвёртой редакции: Потому что в том, чтобы делать из того, что есть, то, что должно быть, состоит единственный смысл и задача человеческой жизни. – Ред.>

Заботиться о патриотизме, как о чувстве, которое желательно воспитать в каждом человеке, совершенно излишне. Бог или природа уже без нас так позаботились об этом чувстве, что оно присуще всякому человеку и народу, так что нам нечего заботиться о воспитании его в себе и других. Заботиться нам надо не о патриотизме, а о том, чтобы, внося в жизнь тот свет, который есть в нас, изменять её и приближать к тому идеалу, который стоит перед нами. Идеал же, стоящий в наше время перед каждым человеком, просвещённым истинным светом Христа, состоит не в восстановлении Польши, Богемии, Ирландии, Армении и не в сохранении единства и величия России, Англии, Германии, Австрии, а, напротив, в уничтожении этого единства и величия России, Англии, Германии и других, в уничтожении этих насильнических, антихристианских соединений, называемых государствами и стоящих на пути всякого истинного прогресса и порождающих страдания угнетённых и покорённых народов, — всё то зло, от которого страдает современное человечество.

<Зачёркнуто в четвёртой редакции: Для освобождения от угнетения покорённых народов нужно не восстановление государственного устройства этих народов, а, напротив, уничтожение государственного устройства тех народов, которые поработают их. – Ред.>

Уничтожение же это возможно только истинным просвещением: признанием того, что мы прежде, чем русские, поляки, немцы — люди, ученики одного учителя <т. е. Христа. – Р. А.>, сыны одного Отца, братья между собою. И это понимали и понимают лучшие представители польского народа, как вы это прекрасно рассказали в своей статье. И это же с каждым днём понимает всё большее и

большее количество людей во всём мире. Так что дни государственного насилия уже сочтены, и освобождение не только покорённых народов, но и задавленных рабочих, уже близко, если мы только сами не будем отдалять времени этого освобождения тем, что будем делом и словом участвовать в насильнических делах правительств. Признание же патриотизма, какого бы то ни было, добрым свойством и возбуждение к нему народа есть одно из главных препятствий для достижения стоящих перед нами идеалов.

Очень благодарю вас ещё раз за ваше хорошее письмо, за прекрасную статью и за случай, который вы мне этим подали ещё раз проверить, обдумать и высказать мои мысли о патриотизме.

Примите уверение моего уважения

Л. Толстой.

10 сент. 1895» (68, 165 – 170).

Значительные комментарии, полагаем, здесь не требуются. Как ни умён поляк Здзеховский, а перед лицом фундаментальных экзистенциальных страхов человечества, начиная со Смерти — “припал”, как принято выражаться, к унавоженному тысячью поколений “лону” того же самого, с первобытной древности, вертепа обрядоверия и идолопоклонства, которое суеверные адепты принятых в вертепе лжей отождествляют с религией и с основанной Христом Церковью и столь же ложно считают необходимым основанием для духовного подвижничества монахов и «святых». Но от мирской жизни в монастырь не уйти — уж слишком сладко намазано... А в миру принято чтить «добро с кулаками»: оборонительное, устроительное и т. п. насилие, включая военное. И делиться на воюющие, часто ненавидящие друг друга сброды (народы, «нации») — тем самым уже вглухую и вглупую отделяя себя от Христа и его единой Церкви. Но в статье его, вполне патриотической, и даже, как мы показали, опирающейся на патриотизм и мессианство предтеч, начиная с Мицкевича — ко всей этой патриотике, как к хвостик хемуля, прикрепляются милые бантики христианства... Хочется Здзеховскому, как в русском народе говорится — «и рыбку сладку съесть, и на хуй жопкой сесть». И патриотизм, и христианство. А Толстой такого ох, как не любил!.. Буквально в следующем эпизоде Шестой главы нашей книги читатель узнает, сколь честно и неумолимо (как раз под влиянием таких адресатов и собеседников, как Мариан Здзеховский) Толстой указывает на стоящий перед нашим лжехристианским миром выбор: христианство и мир *или* патриотизм и войны, подавления восстаний и под.

В качестве же эпилога ко всей истории прилагаем свидетельство публициста, драматурга и театрального критика *Николая Осиповича Рахшанина* (псевдоним – Н. Рок; 1858 – 1903), в начале 1896 г. опубликовавшего, не первое уже, своё интервью с Толстым в издании «Новости и Биржевая газета». Речь о скандале, тоже уже не первом, который подняла консервативная газета «Московские ведомости», вокруг намеренно ложно трактуемых газетой общественно-политических выступлений Толстого:

«Разговор [...] коснулся, между прочим, недавно помещённой в "Московских Ведомостях" корреспонденции из Варшавы, в которой говорится об одном письме Льва Николаевича.

— Я не читал ещё этой статьи — мне лишь говорили о ней... Помещена она, кажется, была в номере от второго января. Говорят, что в ней обвиняют меня чуть ли не в государственной измене!.. — Лев Николаевич рассмеялся, и глаза его заблестели. — Это, разумеется, только смешно, и мне не раз уже случалось выносить на своих плечах подобные, ни с чем не сообразные обвинения...

Лев Николаевич пожал плечами и махнул рукой.

Лицо его теперь не носило следов оживления. Глаза точно потухли. Он показался мне утомлённым» (*Рахшанин Н. Беседа с графом Л. Н. Толстым. (Впечатления.) // Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1987. С. 94 – 95).*

Первая «атака» клеветы, которую, вероятно, вспомнил в этой ситуации Толстой, политический донос и травля были предприняты «Московскими ведомостями» ещё в 1891 – 1892 гг. в связи с его заграничной публикацией статьи с правдивыми сведениями о голоде в России. Тогда, между прочим, Толстой проявил себя и как безупречный патриот — воин с бедствием, затронувшим миллионы людей. И, в любом случае — и в деле помощи народу, и в осуждении патриотизма оставался христианином, на непонимании которого в нашем лжехристианском мире и паразитировали фельетонисты консервативных «Московских ведомостей».

6. 2. 4.

Эталонный отказник Пётр Васильевич Ольховик

После действительно страшной истории, в предыдущей главе, с предельно мученичеством и гибелью народного учителя Евдокима Никитича Дрожжина, мы рады предложить читателю уже не трагедию, а

простую драму, и даже с хорошим концом — историю отказа и мучительств ещё двух духовных, во Христе, единомышленников Льва Николаевича Толстого. Историю довольно известную не только в то время, когда свежи были в обществе и воспоминания о гибели Дрожжина, но и в наши дни — например, читателям толстовского свода мудрых мыслей «Круг чтения» и поздней публицистики.

Да, это история отказа от военной службы Ольховика и Середы. И мы не напрасно именовали этот отказ «эталонным»: он таков и по личностям обоих отказников, расположившим к себе даже многих из тех, кого тётя «родина» назначила принуждать и мучить таких, как они, и по безусловности, «чистоте» влияния на этих отказников именно христианской проповеди Льва Николаевича, и по обстоятельствам отказа, не связанным ни с особенным мучительством и гибелью духовных львят Льва Николаевича, ни, напротив, с слишком быстрым (для того, чтобы вся история была показательной, эталонной) избавлением. Наконец, главные, достаточные для нашей темы факты без труда доступны в источниках, опубликованных усилиями Льва Николаевича и его помощников. А среди них — воспоминания и личные письма Ольховика и Середы, оказавшихся, как и бедолага Дрожжин, отнюдь не косноязычными или малограмотными новобранцами, вполне обыкновенными для той эпохи.

Однако, начнём, блюдя порядок, с начала...

Пётр Васильевич Ольховик (1875 – ?) – крестьянин Сульского уезда Харьковской губ. (Толстой в переписке ошибочно называет Курскую), который в 1895 г. отказался от воинской службы и присяги. Несмотря на отказ делаться солдатом, он именно как нарушитель воинской дисциплины, как непокорный солдат был арестован и отправлен из Одессы пароходом во Владивосток для зачисления в полк. В виду отказа брать в руки оружие, Пётр Васильевич был предан суду и 1 июля присуждён к заключению в Иркутской дисциплинарной роте, с последующей ссылкой в Сибирь.

Подробности своего отказа Пётр Васильевич хорошо изложил в кратких воспоминаниях и ряде личных писем — источниках, стараниями сподвижников Льва Николаевича сразу же опубликованных и, вероятно, уже при публикации в бесцензурном издании В. Г. Черткова, за границей (Письма Петра Васильевича Ольховика. Изд. В. Черткова, № 5, Лондон, 1897) прошедших дополнительную литературную обработку, сгладившую до минимума особенности языка и стиля автора — судя по тому, что в «Круге чтения» текст приводится в больших сокращениях, но уже без обыкновенных для Толстого, до неузнаваемости, переделок.

По малости брошюрки с воспоминаниями и письмами П. В. Ольховика, мы приводим ниже большую часть её текста. Поклонникам «Круга чтения» некоторая часть его будет *очень* знакомой, но, по специфике темы нашей книги, мы взяли на себя дополнить рассказ многим из числа того, что Лев Николаевич с сожалением должен был изъять из рукописей «Круга чтения».

ПИСЬМА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА ОЛЬХОВИКА

1.

1895 года, октября 15 дня, я был призван в городе Белополье (Харьковской губернии, Сумского уезда) к отбыванию воинской повинности. Когда пришла очередь мне тянуть жеребий, я отказался и сказал, что я жеребья тянуть не буду. Чиновники все посмотрели на меня, потом поговорили друг с другом и спросили меня, почему я не буду тянуть?

Я отвечал, что это потому, что я ни присягать, ни ружья брать не буду.

Они сказали, что это дело будет после, а жеребий тянуть надо.

Я опять отказался. Тогда они велели тянуть старосте жеребий. Староста вытянул, — оказался № 674. Записали.

[...] Я вышел из присутствия, пошёл на квартиру, побыл ещё два дня, пока пришла очередь идти в приём. Я подумал: не идти, силой поведут, разденут, разозлятся, и будет хуже.

Когда смерили рост, меня похвалили за хорошее сложение тела и записали в гвардию.

Воинский начальник пошёл туда, где записывают, и сказал: смотри, если что, без зачёта отдадим.

Стали презывать и ставить всех в ряды, а меня поставили отдельно. Вышел воинский начальник и велел весть в церковь. Поставили опять в ряды, а меня впереди. Пришёл поп, принёс лист, на котором была списана присяга. Велел поднять руки. Все подняли, я не поднял.

Воинский подошёл и сказал: нужно поднять руку. Я отказался. Он сказал: нужно присягать. Я тоже отказался. Он грозил Сибирью, но я сказал, что лучше идти в Сибирь, и я пойду, но присягать не буду. Он разодрал отпускной билет, и меня опять повели в присутствие.

Вечером велели идти домой. Я пошёл, зашёл на квартиру; но тут староста побоялся, чтобы я не убежал куда-нибудь, арестовал меня

и повели меня на Речки (в слободу), а потом по волостям на Сумы, к воинскому начальнику.

2.

Сумы.

В Сумы меня привели 21 октября. Когда привели меня в канцелярию к воинскому начальнику, там были какие-то люди молодые. Спросили: зачем пришли? Сотский подал пакет. Один взял, прочитал, потом сказал: погодите, сейчас придёт. Потом обращается ко мне и говорит: значит ты не присягал?

— Да, говорю, не присягал.

Другой подходит: так и не присягал? Плохо, говорит, тебе будет, — замучают.

Я сказал: сам знаю, что плохо.

— Что же, говорит, не боишься?

Я сказал: плотская смерть для меня не страшна.

Входит делопроизводитель. Ему говорят: вот человек — не присягал.

Он говорит: вот дурак, — пропадёт. Потом подходит ко мне и говорит: разве можно не присягать? ведь это дело законное, нельзя нарушать закона.

Я на это ничего не ответил. Он ушёл.

Входит воинский начальник, вызывает меня в канцелярию и спрашивает: кто тебя всему этому научил, что ты не хочешь присягать?

Я ответил: сам научился, читая Евангелие.

Он говорит: не думаю, чтобы ты сам понял так Евангелие, ведь там всё непонятно: чтобы понимать, для этого надо много учиться.

На это я сказал, что Христос учил не мудрости, потому что самые простые неграмотные люди и те понимали его учение.

— А с каких пор ты начал понимать Евангелие?

Я сказал: с тех пор как начал читать — ещё в школе, с тех пор перестал клясться.

Он спросил: а какой же ты веры?

Я сказал: веры Христа.

Он говорит: да ведь и я веры Христа, а всё-таки этого не делаю.

Я помолчал. Потом он спросил: а какого ты вероисповедания?

Я сказал: христианин.

Он спрашивает: православного?

Я отвечаю: нет, не православного.

— А почему же ты не православный?

— Потому что я не признаю православных обрядов.

Он опять говорит: а какой же ты христианин, когда не православный?

Я сказал: христианин веры Христа.

Тут стоял делопроизводитель. Он обратился ко мне и сказал: клясться грех в неправде.

А я на это сказал, что правда и без клятвы хороша.

Воинский на него глянул и сказал: нет, это не то.

Потом обратился и сказал: вас наверно научил этому князь Хилков?

Я сказал, что князя Хилкова я не видел, но знаю, где он жил, и я от него не учился.

Он спрашивает: далеко ли от вас он жил?

Я сказал: вёрст двенадцать.

Он опять сказал: всё-таки кто-нибудь да навёл вас на это, сами вы бы ничего не узнали.

Я сказал: читая Евангелие, мы сами всё это узнали.

Он опять спросил: так значит присягать не будешь?

Я сказал, что не буду.

Тогда он сказал солдату, чтобы отправил меня в команду. С солдатом мы пошли в кухню, там один солдат обедал. Я попросил обедать.

Он сказал: милости просим; насыпал ещё борщу, а потом каши. Пообедали.

После обеда начали спрашивать меня, почему не присягал?

Я сказал: потому что в Евангелии сказано: не клянись вовсе.

Они удивились; потом спросили: да разве это есть в Евангелии? А ну найди.

Я нашёл, прочитал, они послушали.

— Хотя и есть, а всё-таки нельзя не присягать, потому что замучат.

Я сказал на это: кто погубит земную жизнь, тот наследует жизнь вечную, а кто сбережёт земную жизнь, тот потеряет жизнь вечную.

Они посмотрели на меня и сказали: смотри-ка, мужик, хохол, а какой разумный. Ты всё говоришь правильно, а присягать надо, а то убьют или замучат. Нам тебя жаль, хороший ты парень. Ты этим, говорят, ничего не оставишь доброго, если не присягнёшь, а если присягнёшь, то лучше сделаешь: выслужишься, пойдёшь домой и опять будешь так жить» (*Письма Петра Васильевича Ольховика. Лондон, 1897. С. 3 – 6*).

Очень похоже на аргументы о необходимости «прежде дослужить», которые были адресованы в том же 1895 году, в далёкой Австро-Венгрии, доктору Альберту Шкарвану. Его, впрочем, высокообразованного гражданина, отнюдь не «мужицкого» социального статуса, соблазняли возможностью общественного лицемерного, пацифистского активизма — но в почётной военной отставке!

В казарме после того повторились те же уговоры Ольховика покориться общему порядку. Но двое верующих, тоже читавших Евангелия солдат (сами, впрочем, подчинившиеся присяге и прочему) неожиданно поддержали отказника:

«Говорят они мне часто: смотри, Пётр, не унывай, не робей, пускай и на самый расстрел ведут, то не бойся, терпи всё. Это ты задумал великое дело.

Я им отвечаю: да, надо всё терпеть за учение Христа, всякие гонения, лишения и страдания и даже самую смерть.

И много, много разговоров здесь бывает, и все жалеют меня и говорят: жаль мне тебя, Пётр, замучают, — хорош парень.

Я думаю, что уже приближается Царствие Божие на землю, потому что видно перемену людей.

Здесь мне хорошо, утром чай дают, в обед борщ и каша, вечером кандер. <Жидкая пшённая похлёбка. – Р. А.> Сплю на кровати, мягко и тёпло. Духом бодр и телом здоров» (Там же. С. 6 – 7).

Снова, как и в случае с писаниями доктора Шкарвана, остаётся порадоваться тем относительно «вегетарианским» временам, в которые эти, безусловно искренние, ребята совершали свои отречения от солдатчины. Трудно представить такую лояльность к отказникам от службы со стороны большевиков в период Гражданской войны или режима Сталина. В наши дни, дни преступной и позорной, страшной войны фашиствующей России с маленькой, юной, набирающей силы европейской Украиной — людей, отказывающихся, по принудительной мобилизации, от участия в преступлениях рашистского режима, держат в подвалах без пищи и воды, без связи с родными и адвокатами, запугивают, избивают — вплоть до жесточайших убийств.

Имперская тётя «родина», как и прежде, в страшной истории с Евдокимом Дрожжиным, не знала, что делать с Петром Ольховиком. Вопреки тому, что Пётр Васильевич не принимал присяги, не касался оружия, а вместо военной солдатской формы, ему всё-таки выданной, продолжал носить свою «гражданскую» свитку, его отправили для прохождения службы, на которую он ни словом не соглашался, в третью роту 122-го Тамбовского полка, дислоцировавшегося в Харькове. Там ему предстояло ждать весны, отправки на Амур. Скоро, в письме родным от 26 ноября 1895 года, Пётр Васильевич сообщил, что уже переведён в полковую гауптвахту:

«Причина этому следующая. 20 числа меня поставили в ряд с другими молодыми солдатами и рассказали нам солдатские правила.

Я им сказал, что я ничего этого не буду делать. Они спросили: почему?

Я сказал: потому что, как христианин, не буду носить оружия и защищаться от врагов, потому что Христос велел любить и врагов.

Унтер-офицер сказал: хорошо, я доложу ротному командиру.

22 ноября пришёл ротный командир и полуротный. Позвали меня в ротную канцелярию, которая в этой же казарме.

Когда я вошёл, ротный командир [...] обратился ко мне с криком и спросил: ты почему заниматься не хочешь?

Я сказал: потому что я оружия не буду носить, поэтому и заниматься не буду.

— А оружие почему ты не будешь носить?

Я сказал: оружия не буду носить потому, что я христианин, а по учению Христа надо и врагов любить, а не бить, поэтому оно и не нужно для меня.

Он опять сказал: да разве только ты один христианин? ведь мы же все христиане, а этого не делаем.

Я сказал: про других я ничего не знаю, знаю только про себя, что Христос говорил делать то, что я делаю.

Он опять сказал: если ты не будешь заниматься, то я тебя сгною в нарах.

На это я сказал: что хотите, то и делайте со мной, а служить я не буду.

Он обратился к полуротному командиру: что с ним делать?

Тот сказал: надо к священнику, пусть приведёт к православию, а так с ним ничего не сделаешь.

После этого ротный сказал: ступай. Я пошёл, а он фельдфебелю говорит: заниматься нужно с ним получше, пороть как пса, тогда он и будет заниматься» *(Там же. С. 8)*.

За этой беседой последовали вторая и третья, уже с угрозами порки розгами, а следом, конечно же, и прямое принуждение — которое, однако, не получается назвать уж очень жестоким:

«...Ефрейтор сказал: иди за мною. Я пошёл за ним в другой конец казармы; потом говорит: стой; и когда я стал и оглянулся назад, то увидел я, что за мной ведут ещё солдата, поставили вблизи от меня и велют мне поставить ноги вместе.

Я сказал: для меня так стоять удобнее.

Унтер-офицер взял меня за плечи и начал толкать своими ногами об мои ноги и говорил: поставь ноги так, чтобы каблуки были вместе, а носки врозь; но я этого не делал, как велели, и сказал: что хотите, делайте со мной, но я заниматься не буду.

Тут стояли ротный командир и полуротный и смотрели, как толкал меня унтер-офицер.

Я повернулся к ним и сказал: вот как делают христиане, насилием хотят заставить.

Ротный сказал: я тебя, ебать твою мамку, ещё розгами буду заставлять...

[...] Вечером меня унтер-офицер водил к полковому попу. Поп признал меня неисправимым.

Поп спрашивал, какого я вероисповедания? Я сказал: христианин.

Он спросил: православный? Я сказал: нет не православный.

Он опять спросил: а какой же? Я сказал: христианин веры Христа.

Он сказал: да такой веры нет, христиан есть много, и все они имеют название: то православные, то лютеране, то католики; есть христиане духоборы, молокане и много других, и вот ты скажи нам, какую ты религию исповедуешь?

Я сказал: я никакой религии не признаю, кроме учения Христа.

Он опять спросил: а на чём же ты основываешь свою веру? Я сказал: на любви Отца небесного.

Потом он сказал: вот в России есть две секты, которые не хотят служить, одна взята из неметчины, а другая русская: это — толстовщина. Так вот, скажи нам: к какой из них ты принадлежишь?

Я сказал: я не сектант, а христианин, потому и не могу принадлежать к секте.

И так после всех этих разговоров офицер записал, что я ничего не признаю из православия.

От попа он повёл меня на гауптвахту, где я и сейчас нахожусь арестован. Карцер просторный, светлый и тёплый, лампа горит целую ночь, дверь заперта, и стоит солдат с ружьём и смотрит в дыру, прорезанную в двери, через каждые пять минут. К ветру водят два солдата с ружьями утром и вечером. Обедать дают борщ и кашу, а в ужине суп.

Здесь я буду находиться до распоряжения командира полка. Наверное будут судить и накажут; но я в этом нисколько не смущаюсь. Апостол Пётр говорит об этом: „и кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь." (I пос. Петр. гл. 3, ст: 13 – 14.) „Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь." (I пос. Петр. гл. 4, ст. 14, 15, 16).

В карцер ко мне входят каждый день офицеры, спрашивают: за что арестован? Я им отвечаю: служить не желаю.

Спрашивают: почему? Я отвечаю им: хочу выполнить заповедь Христа о любви к врагам. [...]

С тем прощайте, остаюсь жив, здоров. Душевное состояние хорошее. Письма мои, как только буду писать, будут все прочитаны каким-нибудь офицером. Писать без ведома начальства нельзя» (Там же. С. 7 – 10).

Вегетарианские, сравнительно, времена... Времена ещё верующих людей, включая офицеров — с внутренним, у многих, нравственным табу на подлость, жестокость... В коммуняцком Совке-СССР или те-перешнем выблядке, поганом «наследии» этого Совка, путинской гадине эРэФии, Ольховик, вполне вероятно, был бы заперт в сумасшедший дом или просто какой-нибудь подвал, и при этом многажды избит, оскорблён, а при худшем стечении обстоятельств — и убит.

Только 7 февраля уже следующего, 1896-го, года Петра Ольховика отправили на врачебную комиссию, 11 февраля, отбиравшую годных ехать на Амур. Отделаться бы от него тогда тёте родине... и самого не мучать. Но нет, падла тётенька вела до конца свою дрянную игру:

«Смотрели меня, признали годным. Генерал говорит офицерам: какие убеждения находит этот молокосос, что отказывается от службы? Какие-нибудь миллионы служат, а он один отказывается, его выпороть хорошо розгами, тогда он оставит свои убеждения!

А полковник сказал на это: сначала нужно посмотреть на его кротость и поведение, а тогда видны будут и убеждения, он не может изменить того, во что верит. [...]

<Редкий и для современной нам России случай адекватного отношения к убеждениям и самой личности отказника! – Р. А.>

...Генерал всё гомонил и не хотел согласиться с полковником.

Доктора тоже говорили: поедем на Амур, там хорошо служить. Я сказал: везде хорошо.

И так долго меня крутили во время смотра и угрожали сечь на пароходе, на что я согласился. Еду в своей одежде, а казённую все-таки представляют до места. [...] Еду без конвойных и даже без присмотра. [...] Ехать придётся водой полтора месяца, если погода хорошая будет, а если плохая, то больше.

Прощайте, живите с Богом, любите друг друга» (Там же. С. 11 – 12).

7.

Из письма о Петре Васильевиче Ольховике одного из его друзей.

[...] От солдат на гауптвахте, от фельдфебеля и от начальства я узнал о нём много хорошего. Самое хорошее было то, что он как-то никого не раздражал ни солдат, ни начальства, и умел соединять в себе стойкость с мягкостью. Солдаты относятся к нему весьма сочувственно, начальство же поражается его стойкостью.

За неделю до отправки его пробовали ещё раз заставить учиться, но безуспешно. Он решительно заявил командиру, что „переменять свои слова не станет“ и прибавил: „Вы ведите своё дело, а я своё буду вести“.

По словам солдат, он всё время на гауптвахте был бодр и весел. Но находясь постоянно взаперти, он изменился на вид: из цветущего юноши стал желтоватым.

Перед самой же отправкой, передавал фельдфебель, он был скучный. [...] Из Одессы он будет отправлен во Владивосток и в Хабаровск в полное распоряжение Амурского генерал-губернатора и воинского начальства. Словом, он в том же неопределённом положении.

М<итрофан> Д<удченко>» (Там же. С. 12 – 13).

Далее — ещё более светлые, радостные, несмотря на моменты жестокости, грубости начальства, истинно христианские страницы воспоминаний самого Петра Васильевича Ольховика. Приводим, с сокращениями, для начала уже другой источник: письмо П. В. Ольховика к брату, домой, написанное «по пути во Владивосток» и датированное 7 апреля 1896 г. (получено было 26 июня). В числе прочего, Ольховик сообщает брату:

«На пароходе я нашёл в себе новые силы духа; тут нашёлся человек, единомыслящий, с которым я делюсь тем, что для меня дорого и свято» (Там же. С. 13).

По пути Ольховик был одарен Свыше едва ли не самым ценным в человечестве даром: в лице солдата по фамилии Середа он обрёл сразу и преданного друга, и глубоко верующего ученика.

Кирилл Середа (1875 – ?) - крестьянин Сумского уезда Харьковской губ., призванный на военную службу в 1895 г. Иначе сказать, его положение было хуже, чем у Ольховика. И влияние последнего на солдата здесь несомненно: Середа ведь не пошёл на отказ до присяги — сделался солдатом, то есть военным рабом тётки «родины», которая

за отказ от службы вольна была измучить и даже «нечаянно», как Евдокима Дрожжина, умертвить его — и, кстати, с большим формально-юридическим правом, нежели Дрожжина, который, как мы помним, тоже не принимал присягу. Как солдат, судя по сведениям в письме Ольховика, он некоторое время колебался, продолжая соблюдать православную обрядность.

Кирилл Середа, как будет ясно из нижеизложенного, готовил свой отказ от службы ранее того времени, когда появляется в воспоминаниях Петра Ольховика, и *отчасти* даже независимо, размышляя над Евангелиями, и наконец мог уже, цитируя их, рассуждать о религии.

Встречающееся у комментаторов указание на то, Середа как солдат исполнял при Ольховике функции конвойного, по всей видимости, неверны: выше в своём письме домой Пётр Васильевич упоминает, что был отправлен на пароходе «без конвойных и даже без примотра». Справедливо, однако, что во время долгого пути на пароходе из Одессы во Владивосток Кирилл Середа, как солдат на службе, должен был сторониться арестанта Ольховика, но специфика атмосферы длительного путешествия из назначенных падлой тётенькой, то бишь «родиной», Россией, Ольховику врагов — быстро сделала молодых ребят, полудетей как умишком, так и годами, собеседниками, спорщиками, и почти друзьями. А Кирилла Середу — учеником Петра Ольховика в познании истинных смыслов и значения учения Христа.

Вот что об этом рассказывает, в том же письме к брату, сам Пётр Васильевич Ольховик:

«1 апреля пришёл ко мне солдат из третьего трюма во второй, родом он из Киева, грамотный.

Сначала он спросил меня: „можно ли спросить тебя кое о чём?“ Я сказал: а собственно о чём? [...] <О том, что> ты отказываешься от службы и не признаёшь себя православным, — мы говели, а ты не говел?

Он начал спрашивать, а я отвечать. Разговор продолжался долго.

В наш разговор вмешался Кирилл Середа. Он раскрыл Евангелие и начал читать 5-ю главу Матвея. Прочитавши, начал говорить: вот Христос запрещает клятву, суды и войну, а у нас всё это делается и считается за законное дело.

Тут стояли, столпившись кучей, солдаты и заметили, что у Середы нет на шее креста. Его спросили: а где твой крест?

Он говорит: в сундуке.

Они опять спрашивали: почему же ты его не носишь на шее?

Он говорит: потому что я люблю Христа, а потому и не могу носить того орудия, на котором распят Христос.

Потом вошли два ефрейтора, стали говорить с Середой. Они сказали ему: почему же ты говел недавно, а теперь сбросил крест?

Он отвечал так: потому что я тогда был тёмный, не видел света, а теперь начал читать Евангелие и узнал, что всё это не нужно делать по-христиански.

Они опять спросили: значит и ты служить не будешь, как и Ольховик?

Он сказал, что не будет.

Они спросили: почему? Он сказал: потому что я христианин, а христиане не должны вооружаться против людей.

Узнал об этом дежурный, вошёл в трюм и начал кричать: где здесь тот, который говорит, что нет Бога и начальства на свете?

Все молчали. Он обратился ко мне и говорит: это ты тут распространяешь?

Я сказал, что я ничего не говорил об этом, что нет Бога и начальства на свете.

Он спросил: кто тут ещё другой такой?

Ему показали на Середу.

Он начал кричать с ругательствами: это ты, сукин сын, дурак, тут нашёлся такой разумный, узнал как много: нельзя носить крестов и не признавать начальства? Вот я доложу об этом ротному, он тебя, дурака, в кандалы отдаст.

Середа отвечал на это так: меня это не стесняет, что вы доложите ротному, потому что я делаю это не в тайне, а явно, а хотя вы и не доложите, то после сам он узнает, — в кандалы тоже я готов за учение Христа.

Дежурный вышел из трюма и пошёл доложить фельдфебелю.

Фельдфебель позвал к себе Середу и спросил: это ты, Середа, отвергаешь крест?

Он сказал: я.

Фельдфебель опять спросил: а как же ты его признаёшь?

Он опять сказал: за орудие пытки и казни.

Тогда тут же стоявший ефрейтор спросил Середу, показывая на фельдфебеля: а это кто? Он сказал: человек.

Тогда ефрейтор говорит: а по воинской дисциплине как его назвать?

Середа сказал: я воинской дисциплины не признаю.

Они спросили: почему?

Он сказал: потому что она не имеет ничего общего с учением Христа.

Потом фельдфебель начал ругаться и стал говорить: значит ты не признаёшь начальства?

Он сказал: „тот власть от Бога, кто слуга всем.“

После этого фельдфебель велел дежурному поставить Середу вверху на скарде (около трубы). Тот поставил. А солдаты указывали пальцем и смеялись над ним. Стоял он часа два, а потом пустили и сейчас же опять потребовали.

Другой раз расспрашивал фельдфебель тихо, поил чаем.

На другой день фельдфебель приходил к нам в трюм. Мы лежали вместе. Он когда вошёл, то сказал: вы оба вместе? Мне он ничего не говорил, а с Середой долго разговаривал и советовал Середе не читать Евангелие, а какие-нибудь другие книги.

После этого пришёл к Середе один матрос и говорит: у тебя, говорят, есть какая-то книга? Он говорит: есть Библия. (Он купил Библию ещё в Порт-Саиде и читал её всё время.) Матрос попросил почитать. Середка вынес на палубу, присели и начал матрос читать.

Прочитавши немного он говорит: да, книга хорошая. А потом рассмотрел и говорит: да она не пропущенная цензурой? <Издание Лондонского библейского общества. – Р. А.> Потом начал советовать Середке, чтобы спалил или выбросил за борт Библию, а то, говорит, её у тебя отберут, и ты можешь попасть под суд.

Середка сказал, что палить и закидать не будет, а если отберут, то пусть, — пропал рубль.

[...] Потом другой матрос и фельдфебель начали говорить, что вот есть люди много учёные, а этого не выдумывают.

Я им ответил, что Христос, когда ходил и учил, то его учение понимали самые простые, неграмотные люди, а учёные — ненавидели и гнали.

Потом ещё рассказал им из Павлова учения, что „Бог избрал безумное мира, чтобы посрамить мудрых и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное“. И ещё я много говорил им из Евангелия. Они очень интересовались и говорили: вот видно, что работает головой, — его убеждений нельзя изменить никаким наказанием, а Середку если выпороть, то он всё это бросит. Потом Середку позвали на другую палубу, говорили, чтобы не читал Евангелия, а какие-нибудь священные книги: а то, говорят, тебя Ольховик научает, ты читаешь Евангелие и тебе кажется, что оно так и должно быть.

Он отвечал, что других нельзя слушать, а нужно самому хорошо подумать.

Потом фельдфебель отнёс Библию ротному и рассказал, что Середка выбросил крест и ничего не признаёт.

Поздно вечером вошли в трюм ротный и фельдфебель, позвали Середу.

Ротный начал кричать на него: ты что тут, болван, начал говорить, что нет начальства?

Он ответил: зачем нет начальства, начальство есть, но между истинными христианами не должно быть.

Ротный сказал: поставь ноги вместе. Он поставил.

— Я тебя за это в кандалы отдам.

Он отвечал: что хотите, делайте.

Ротный опять сказал: ты знаешь, что за это под суд пойдёшь?

Середа говорит: для меня всё равно, куда хотите, отдавайте.

Ротный начал бить Середу книжкой по щекам, растрепал книжку. <Имеется в виду служебное пособие командира с программой обучения солдат. — Р. А.> Потом обратился к фельдфебелю с словами: поставить его, дурака, пусть стоит всю ночь, я его, болвана, буду держать в вонючем месте, пока до места доедем.

Фельдфебель стоит, приложивши руку к голове, повторяя: слушаю, ваше благородие.

При выходе ротный сказал: вместо того, чтобы быть хорошим и честным солдатом, делается с жиру каким-нибудь арестантом.

Мне же ничего не говорили.

Середу поставили вверху возле трубы. К нему приходил туда священник три раза. Первый раз, когда пришёл, то сказал: это ты не хочешь признавать начальства?

Он на это начал говорить так: а вот в Евангелии сказано, что цари земные господствуют над народами, и вельможи их властвуют над ними; но между вами, моими учениками, да не будет так, а кто хочет быть большим, будь как меньший, и начальствующей — как служащий.

И не успел ещё Середа договорить, как вдруг священник начал на него грозиться: ты с кем разговариваешь? Замолчи!

Он замолчал и не стал отвечать ни на какие вопросы. Священник покричал, покричал и ушёл.

Когда пришёл в другой раз, [...] начал говорить, что если не вооружаться, то не будет у нас ничего, другие государства придут и начнут нас бить и грабить, не оставят нам ничего.

Он на это отвечал: христианам нужно переносить всё, потому что Христос сказал: „любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.“

Поп ушёл опять, походил и опять пришёл и начал говорить: покайся, тебе ничего не будет, а если не покаешься, то плохо будет.

Середа ответил: за учение Христа я на всё готов, да на это сам Христос сказал: „верующие в меня гонимы будут”.

Священник сказал: это сказано о неверующих, что они гнать будут христиан, а мы сами христиане.

Середа на это сказал: христианам не следует гнать друг друга. И ещё много говорил священник и ушёл.

Потом подошли матросы и фельдфебель, начали опять говорить: покайся, тебе ничего не будет, а если не покаешься, тебе в три раза будет больше, чем Ольховику, потому что ты уже присягал и служил хоть немного.

Он отвечал: о наказании нечего и думать, если делать дело Божие» *(Там же. С. 13 – 18).*

Немало для «Круга чтения» заимствовал Толстой и из следующего опубликованного письма к родителям Петра Васильевича Ольховика, уже из Владивостока, от 8 июля 1896 г.:

«1 июля меня судили бригадным судом, — осудили на три года в дисциплинарный батальон, с переводом в разряд штрафованных, — поэтому отсюда отправят меня в Иркутск, так как дисциплинарный батальон находится в Иркутске.

Разом со мной судили и Кирилла Середу, — осудили так же, как и меня. Находимся ещё до сих пор на гауптвахте, — отправлять неизвестно когда будут. [...] Больше месяца нас выводили на прогулку — каждый день на два часа. Во время прогулки разговаривать нам запрещали.

Судили нас не за отказ от военной службы, а за умышленное неповиновение начальству.

На вопрос председателя: признаёшь ли ты себя виновным в неповиновении начальнику? я отвечал: смотря в каком деле.

Он сказал: да вот в обстоятельстве требования от тебя начальником сделать повороты из пешего строя.

Я сказал на это: в этом я не признаю себя виновным, так как я этого не мог делать, потому что я этому не учился, да и учиться не стал бы, потому что по учению Христа нельзя учиться военному делу.

Середа сказал, что он перед военным законом виноват, но перед законом Христа не виноват.

Над нами офицер производил два раза дознание: он спрашивал меня [...], знаком ли я с Толстым?

Я сказал, что не знаком.

Он спросил: а знает ли он о тебе?

Я сказал: может быть, и знает.

Тогда он спросил: откуда он может узнать о тебе?

Я сказал, что через друзей.

Тогда он сказал: вот он просил одного офицера, который имеет переписку с ним, чтобы он похлопотал о том, нельзя ли устроить так, чтобы назначить тебя куда-нибудь не в строевую должность. И это, говорит, можно бы было сделать, если бы ты вёл себя иначе.

Среду тоже спрашивал о том, что говорили на пароходе, давно ли знакомы...

[...] <Среда теперь> сидит один в карцере. На пароходе он всё время читал Евангелие и говорил мне: я читаю и не могу никак начитаться, потому что оно даёт мне много радости и спокойствия, — недаром сказал Христос: „прийдите ко Мне все труждающиеся и обременённые и Я успокою вас”. С Божией помощью и я когда-нибудь приду к Нему, — Он и меня успокоит. Я, смотря на его решительность и стойкость, почувствовал себя веселее и бодрее» (*Там же. С. 19 – 20*).

В повествовании П. В. Ольховика упоминается какое-то письмо Л. Н. Толстого, прошение к знакомому офицеру об облегчении его участи. Трудно сказать, что это, в первой половине 1896 года, могло быть за письмо. В списке неизвестных текстом, затерявшихся писем Л. Н. Толстого в его Полном собрании сочинений — на 1896 год имеется целых 26 пунктов, но и такие списки давным-давно признаны специалистами неполными. В нашем распоряжении есть лишь письмо Толстого во Владивосток от 16 февраля 1896 г. к подполковнику Ивану Романовичу Баженову (1855 – 1926), судье Временного военно-морского суда Владивостокского порта. В письме Толстой сообщал Баженову, что «в Владивосток отправляется крестьянин Курской губернии Пётр Васильевич Ольховик, призванный в нынешний набор к исполнению воинской повинности и отказавшийся как от присяги, так и от ношения оружия, на основании своих христианских убеждений» (69, 39 – 40). Толстой просил «помочь ему, утешить его, облегчить его участь, когда он прибудет в Владивосток»: «не для меня, не для него, не для себя даже, а для Бога» (*Там же. С. 40*).

Ответного письма Баженова не имеется. Комментатор Полного собрания сочинений предполагает, что письмо Толстого не застало адресата на месте службы: якобы именно весной 1896 г. Баженов вышел в отставку (*Там же*). Это не вполне точно: Баженов получил отставку как «полковник по адмиралтейству» (т. е. с повышением в звании) официально лишь 25 ноября 1896 г., так что в феврале этого года он ещё вполне мог быть при должности и отреагировать на письмо Льва Николаевича. Косвенным доказательством получения

Толстым ответа (к сожалению, вероятно, не сохранившегося) от Ивана Романовича может служить такое упоминание Толстым о переписке с Баженовым в одном из писем к В. Г. Черткову, от 17 мая 1897 г.: «Теперь вспоминаю письмо Баженова и копию с следствия об Ольховике и Середе. Ещё письма духоборов посылаю вам» (88, 27). О письме Баженова, ответе его Толстому, с приложенной к нему копией следственного дела отказников, упоминается как об одном из реально существовавших документов!

К личным воспоминаниям и письмам П. В. Ольховика в опубликованном сборнике прилагается следующая выписка из военно-судного дела «Бригадного суда 1-ой Восточно – Сибирской артиллерийской бригады о молодых солдатах Петре Ольховике и Кирилле Середе» (мы сохранили все особенности орфографии документа, не препятствующие пониманию):

«Поводом к начатию дела послужил рапорт командира 1-й Мартирной батареи, которым доносилось:

„Прибывшие 15-го апреля <1896 г.> в составе партии на укомплектование вверенной мне батареи молодые солдаты: Пётр Ольховик и Кирилл Середя, уроженцы Харьковской губернии Сумского уезда, будучи в числе прочих молодых солдат поставлены в строй, ослушались приказания заведывающих обучением новобранцев капитана П. и подпоручика Т. стать в строй и исполнять команды. Когда те же требования им были подтверждены мною, то Середя, хотя весьма неохотно и небрежно, но всё же исполнял команды, Ольховик же заявил, что ни в каком случае не станет в строй, а что работы, какие прикажут, исполнять будет, основывая мотивы своего отказа на текстах Библии и Евангелия. По расспросам оказалось, что Ольховик ещё не принимал присяги, Середя присягу принял на пароходе. Находя присутствие Ольховика и Середы среди прочих низших чинов батареи крайне вредным, я вместе с сим подверг их предварительному аресту при бригадной гауптвахте, впредь до особого распоряжения Вашего Превосходительства." (Рап. от 17 Апреля 1896 г.)

Рапорт подписан командиром батареи, подполковником Д.

На основании этого рапорта было произведено дознание. (Следует изложение дознания, содержание которого есть повторение вышесказанного.)

„При сем названные новобранцы основывали свой отказ на тексте Библии и Св. Евангелия, в коих, по их словам, запрещается кому бы то ни было учить других, кроме И. Христа, и употреблять оружие

против своих ближних. [...] Вместе с тем я отнёсся к местному благочинному, прося его обратить их, путём убеждения, на путь истинный, что и было священником М. исполнено, но безуспешно."

Капитан 1-ой мартирной батареи П. показал: „На второй день по прибытии новобранцев в Батарюю, мною было приказано выстроить их в одну шеренгу для узнания степени их подготовки. При команде: „на право" два молодых солдата, Ольховик и Середа, не повернулись, говоря, что не желают обучаться военному делу. Ольховик прибавил, что он за это уже сидел 2½ месяца в карцере. Подойдя к Середе, я приказал ему повернуться. Он повернулся, но сказал: а всё-таки обучаться не буду. Ольховик же и личных приказаний моих не исполнял. О всём этом мною было доложено командиру батареи”.

Дознание производил Подпоручик П.

На основании произведённого выше дознания, всё дело о молодых солдатах Ольховике и Середе было направлено к военному следователю по Никольскому участку для производства следствия... Военный следователь, не усматривая в поступках этих нижних чинов нарушения ст. 196 Ул<ожения> о нак<азаниях> <уголовных> и исп<равительных>, дела к своему производству не принял. Почему, для установления виновности Ольховика в нарушении ст. 196 Ул. о нак., дело было передано подпоручику П. для производства дополнительного дознания, при надписи такого содержания: „Препровождая настоящую переписку командиру 2-й батареи, предлагаю Его Высокоблагородию поручить подпоручику П. в произведённом им дознании выяснитъ допросом молодого солдата Середы кем и когда именно этот последний был убеждён сделаться „христианином", т. е. отпасть от православия...”.

Дополнительное дознание:

Молодой солдат Кирилл Середа показал: „Веру Христа я принял на пароходе по собственному убеждению и по Евангелию. Раньше я был тёмный человек. В Харькове и в Одессе же я подучился грамоте от солдат 9-ой роты 122 пехотн<ого> Тамбовского полка, где нам раздавали книжки. Раньше я был малограмотным и потому читать Евангелия не мог. В Порт-Саиде я купил Библию, а в Библии было и Евангелие. О прочитанном я разговаривал и с Ольховиком в числе прочих новобранцев. Сперва я читал Ветхий Завет, а потом и Новый. Когда Ольховик отказывался от разных повинностей, то его ответы запади мне в голову. Когда же я читал Евангелие, то нашёл, что он прав. Тогда я усумнился в Евангелии, п<отому> ч<то> оно было без цензуры, а купил другое у молодого солдата Яковенко, под цен-

зурой св. Синода, и разницы никакой в Евангелии не оказалось. Тогда я стал отказываться от всего, от чего отказывался и Ольховик, потому что он всё делал по Евангелию. Когда я стал делать то же, что делал Ольховик, то нас хотели разлучить, а когда заметили, что я к нему не подхожу, то оставили на своих местах. Когда я читал Евангелие, то молодые солдаты говорили, чтобы я не читал, а то сойду с ума, но я имел непреодолимое желание читать Евангелие. Раз ротный командир стал меня срамить и говорить, что из меня мог выйти хороший солдат, а я отступил от православия. На вопросы, какие он мне задавал, я ему отвечал. Тогда он стал меня ругать и даже матерными словами. Тогда я ему сказал: „Вот у вас, православных, первейшему человеку разве подобает ругаться дьявольскими словами?" Тогда ротный командир выхватил переплетённую программу нашего обучения и бил меня по щекам. Я молчал. Тогда ротный командир поставил меня стоять на спардеке <Место наказания на военных кораблях. – Р. А.>, где я и простоял с вечера и до 12 ч. ночи. Туда три раза приходил священник разговаривать со мной и задавал разные вопросы. Я сказал священнику, что если я какой ответ Вам не ясно дал, то я покажу в Евангелии. Тогда священник сказал, что он позовёт меня читать Евангелие и будет его мне объяснять. Но меня к священнику не позвали, и я с ним Евангелия не читал. Библию у меня отнял фельдфебель и за мою веру поставил меня на 3 часа. В мортирной батарее у нас отобрали все книги для подписи командиром батареи и до сей поры мне Евангелия не вернули. Ольховик говорил мне, что ему в Одессе говорил священник: „Пусть поможет тебе Бог в том деле, которое ты задумал выполнить." Когда я жил в деревне Максимовщине, всего в 3 верстах от с. Речек, и мне было лет 17 – 18, я слышал, что вся семья Ольховика не ходит в церковь, но отличается хорошими делами. [...]

Молодой солдат Пётр Ольховик показал: „С Середой на пароходе в числе прочих я разговаривал о разных вещах, а об вере разговаривал уже после Порт-Саида, когда все говели, а я отказался. Тогда Середя спросил меня, почему я не хочу говеть; я ему ответил, что я не православный, а веры Христа, а что 4 года тому назад я был православным. Он просил меня рассказать ему, какая это вера, когда и как я перешёл в неё. Я рассказал ему одновременно всё с самого начала, а именно вот что: я учился в сельской школе в с. Речки три года, отчего я хорошо грамотный. В школе священник говорил, что самая лучшая вера — православная. Я этому радовался и в этом не сомневался. Но лет 17-ти я как-то прочитал один рассказ о еврее и православном. Они жили рядом и дети их были так дружны, что не

только играли, но и спали вместе. Но вот стали они учиться в школах и узнали, что вера каждого из них — самая лучшая. Из-за этого они стали браниться, драться и дружба их перешла во вражду. Тогда я стал раздумывать о вере и углубился в чтение Евангелия и заметил, что православные отступают от учения Христа. В это время мой брат познакомился с князем Хилковым, который жил вполне по Евангелию и часто спорил со священниками, за что, должно быть, и был сослан на Кавказ. Брат мой тоже углубился в это время в Евангелие. Лет 18-ти я отказался от православия и стал стараться жить по Евангелию. В это время я познакомился с М<итрофаном> Д<удченко>, который меня поддерживал в моих верованиях. Д<удченко> этот учился в гимназии, но не захотел держать экзаменов и вернулся к крестьянству. Он сослан в Полтаву....

Когда меня взяли в солдаты, я отказывался от военного обучения, не стал принимать присягу, т. к. это противно моей вере; за что меня из м. Белополя отправили к воинскому начальнику в г. Сумы, где я сидел в карцере 1 месяц. В Харькове нас стали обучать. Я учиться не стал и за это сидел под арестом 2½ месяца. Затем нас отправили в Одессу, куда приехал мой брат и поддерживал меня в моих убеждениях. На пароходе о вере я старался не говорить ни с кем. Когда Середа читал Евангелие и, чего не понимал, спрашивал меня, я ему объяснял. Я никогда не хотел склонять его к моей вере, но он мне сам говорил, что радуется, что узнал правую по Евангелию веру и никогда не изменит ей”.

Дознание производил годпоручик П.

На основании вышеприведённого дознания, Ольховик и Середа приказом по 1 Восточной сибирской Артиллерийской бригаде были преданы Бригадному суду за нарушение 105 ст. XXII кн. Св<ода> в<оенных> п<остановлений> 1869 г. На суде Ольховик и Середа виновными себя не признали. Ольховик показал: „Я не исполнил приказаний офицера, п<отому> ч<то> не умел делать повороты, но если бы я их и умел делать, то не стал бы исполнять, т. к. вера моя не позволяет мне обучаться военному делу, и я сознательно не желаю оному учиться. Пётр Ольховик”.

То же самое показал и Середа.

В 12 час. дня 1-го июля 1896 года председателем суда был прочитан краткий приговор, по которому Ольховик и Середа признаны виновными: I) в неоказании должного уважения начальнику при исполнении последним обязанностей службы и II) в умышленном неисполнении приказаний начальника, т. е. в неповиновении: ст. 105-й часть II ст. 96 XXII кн. Св. в. п. 1869 года изд. 2-е, а потому суд

постановил: по лишении некоторых преимуществ по службе Ольховика и Середу отдать в дисциплинарный батальон на 3 года с переводом в разряд штрафованных, с последствиями, указанными в ст. 52 XXII кн. Того же свода Военных Постановлений» (*Письма Петра Васильевича Ольховика. Лондон, 1897. С. 21 – 24*).

О восприятии отказов Ольховика, Середы и других единоверцев Толстым в этот год свидетельствует такой отрывок из его письма к Тимофею Бондареву, от 12 ноября 1896 г.:

«Начинают люди понимать этот обман и отказываться от солдатства, когда их вербуют, и вот правительства, видя в этих отказах свою беду, страшно мучают этих людей. Такие отказы происходят теперь везде: и в Австрии — там каждый год отказываются десятки и сотни людей из славян и венгров, по вере христиан, называемых назаренами, и их держат в тюрьмах по 10 лет; недавно отказался такой один человек в Голландии (посылаю об нём статью) и его послали в тюрьму. Но самое страшное то, что делается у нас на Кавказе. Там более 200 человек сидят по тюрьмам за отказ служить, 30 человек сидят в дисциплинарном батальоне. Одного засекали насмерть и семьи их выслали из места жительства и разорили, и они, более 2000 душ, бедствуют и мрут по татарским деревням, куда их выслали. Ещё два человека: Ольховик и Серёда, харьковские крестьяне, за отказ от солдатства сидят теперь в Иркутском дисциплинарном батальоне.

Идёт борьба между слабыми десятками людей и миллионами сильных; но на стороне слабых Бог, и потому знаю, что они победят. А всё-таки страшно и больно за них и за то, что страдают они, а не я» (69, 204).

Быть может, самый значительный в нашей теме документ из времени, когда Ольховик и Серёда уже были на пути в Иркутск для отбытия своего наказания в Иркутской дисциплинарной роте (Толстой ошибочно именуёт её батальоном) — письмо Льва Николаевича Толстого к начальнику этой дисциплинарной роты, датированное 22 октября 1896 года. Начальником был подполковник Георгий Фёдорович Козьмин (1851 – ?), отличавшийся гуманным, мягким отношением к арестантам. Ревизор роты, помощник главного военного прокурора генерал-майор П. Ф. Лузанов отмечал в отчёте по проверке роты в 1899 г.:

«Подполковник Козьмин относится к службе с полным усердием и любовью, но обращает более внимания на хозяйственную часть, находящуюся в прекрасном состоянии, а не на дело исправления арестантов, вследствие чего многие существенные постановления

Положения о дисциплинарных частях или не применяются вовсе, или же применяются не надлежащим образом. Так, например, [...] сокращение срока пребывания в дисциплинарной части, допускаемое § 44-м для заключённых, отличающихся особенно хорошим поведением, обратилось в милость ко всем заключённым, ибо в Иркутской роте с сокращением срока выпускаются поголовно все заключённые» (*Цит. по: Авилов Р.С. Иркутская дисциплинарная рота в 1899 г. // Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 1. С. 167*). Формальностью были и строевые занятия штрафovaných, для которых в роте, как оказалось при проверке... даже не было выделено помещения! Зато, например, хорошо организовано было дело мелких сторонних заработков заключённых, которые при завершении штрафного срока могли получить 50 % от заработанного на руки. На казённый же счёт арестанты, именно нижних чинов, довольно хорошо питались: «Они получали два раза в день горячую пищу: на обед суп или щи с ½ фунтом мяса и кашу (ячневую, гречневую или просяную), на ужин производилась отдельная варка — гречневая или ячневая крупа с картофелем и салом. Два раза в день нижние чины получали чай с чёрным хлебом, но без сахара; в праздничные дни — сахар и булку, причём чай получали по желанию без ограничений». (*Там же. С. 165 – 167*).

Всего этого, и даже имени начальника роты, Толстой, конечно же, не знал и не мог справиться в интернете. Писал он, с доброй надеждою, наугад — по человечески — и, как мы теперь знаем, не прогадал:

«Милостивый государь,

Не зная Вашего имени и отчества, не зная даже Вашей фамилии, не могу обратиться к Вам иначе, как этой холодной и несколько неприятной, отдаляющей людей друг от друга формулой: Милостивый Государь, а между тем я обращаюсь к Вам по делу самому задушевному и желал бы обойти все те внешние формы, которые разделяют людей, а напротив, вызвать в Вас к себе, если не братское отношение, которое свойственно людям иметь друг к другу, то по крайней мере уничтожить всё предвзятое, которое может быть вызвано в Вас моим именем. Я желал бы, чтобы Вы отнеслись ко мне и к моей просьбе, как к человеку, о котором Вы ничего не знаете ни хорошего, ни дурного, и обращение которого к Вам Вы готовы выслушать с доброжелательным вниманием.

Дело, о котором я хочу просить Вас — в следующем:

В Ваш дисциплинарный батальон поступили, или должны в скором времени поступить, два человека, присуждённые бригадным Владивостокским судом к трём годам заключения. Один из них — крестьянин Пётр Ольховик, отказавшийся исполнять военную службу, потому что он считает её противною закону Бога, другой — Кирилл Середа, рядовой, сблизившийся с Ольховиком на пароходе и, узнав от него причину его ссылки, пришедший к тем же убеждениям, как и Ольховик, и отказавшийся от продолжения службы. Я очень хорошо понимаю, что правительство, не выработав ещё соответственного особенностям таких случаев закона, не может поступать иначе, как так, как оно поступило, хотя я и знаю, что в последнее время высшее правительство, внимание которого было обращено на жестокость и несправедливость наказания таких людей наравне с прочими военными чинами, озабочено тем, чтобы найти более справедливые и мягкие средства противодействия таким отказам. Я знаю также очень хорошо, что Вы, занимая Ваш пост и не разделяя убеждения Ольховика и Середы, не можете поступать иначе, как строго исполняя то, что Вам предписывает закон; но всё-таки я прошу Вас, как христианина и доброго человека, пожалеть этих людей, виновных только в том, что они исполняют то, что они считают законом Божиим, предпочтительно перед законом человеческим. Не скрою от Вас того, что я лично верю не только в то, что люди эти делают то, что должно, но что, и очень скоро, все люди поймут, что эти люди делали великое и святое дело. Но очень может быть, что такое мнение Вам кажется безумием, и Вы твёрдо уверены в противном. Я не позволю себе убеждать Вас, зная, что люди серьёзные и Вашего возраста приходят к известным убеждениям не с чужих слов, а своей внутренней работой мысли. Одно, о чём я умоляю вас, как христианина, доброго человека и брата моего, и Ольховика, и Середы — как человека, ходящего под одним с нами Богом и имеющего прийти после смерти туда же, куда пойдём и все мы, умоляю Вас не скрывать от себя того, чем отличаются эти люди (Ольх[овик] и Сер[еда]), от других преступников, не требовать от них исполнения того, от чего они отказались раз навсегда, не искушать их, вводя их этим в новые и новые преступления и накладывая на них новые и новые наказания, как поступали с несчастным, возбудившим всеобщее сочувствие и в высших сферах, *Дрожжиным*, до смерти замученным в Воронежском дисциплинарном батальоне. Не отступая от закона и от добросовестного исполнения своих обязанностей, Вы можете сделать заключение этих людей адом и погубить их, можете и смягчить

в значительной степени их страдания. Об этом я умоляю Вас, надеюсь, что Вы найдёте эту просьбу излишней и что ваше внутреннее чувство, прежде меня, уже склонит Вас к тому же.

Судя по тому месту, которое Вы занимаете, я полагаю, что Ваши взгляды на жизнь и на обязанности человека совершенно противоположны моим. Не могу скрыть от вас, что я считаю Вашу обязанность несовместимую с христианством и желаю Вам, как я желаю всякому человеку, освобождение от участия в таких делах. Но, зная все свои грехи и прежние и теперешние и все свои слабости и дела, сделанные мною, я не только не позволяю себе осуждать вас за Вашу должность, но питаю к Вам, как ко всякому брату по Христу, совершенное уважение и любовь.

Адрес: Льву Николаевичу Толстому. Москва, Хамовники.
Очень буду благодарен Вам, если Вы ответите мне

Лев Толстой.

Москва, Хамовнический пер. № 21» (69, 184 – 185).

Письмо осталось без ответа, но хлопоты Толстого, как он сам был уверен, сыграли свою роль. Позднее, в письме к П. А. Буланже от 29 марта 1898 г. он сообщал: «...начальник дисциплинарного батальона в Иркутске прямо сказал Ольховику и Середе, что моё ходатайство о них спасло их от телесного наказания и уменьшило их срок содержания» (71, 342). Бог знает, от кого Толстой получил эти известия: Козьмин и так избегал всяких муштры и наказаний, и сократить срок содержания стремился каждому из штрафованных — подставляя себя под гнев высшего начальства.

Опять же, напрашиваются сопоставления с веком XX-м, когда, после захвата власти большевиками влиятельнейшим в революционных кругах старым приятелям-толстовцам, Черткову и Бонч-Бруевичу, приходилось, несмотря на всё к ним доверие красной революционаристской сволочи, с немалым трудом «отмаливать» духовных львят Льва Николаевича от безусловно страшнейших испытаний.

Впрочем, всякие испытания — испытания и всякие мытарства мучительны. Судя по следующему из опубликованных писем П. В. Ольховика родителям, от 1 сентября 1896 г., написанном на пароходе на реке Амур, эту же осень, после осуждения в дисциплинарную роту, жизнь мучеников во Христе, действительно, сделалась тяжелее

— но не столько от приложенного к ним наказания, сколько от повседневной неустроенной жизни, тяготы которой несли с ними и не осуждённые, обыкновенные солдаты и офицеры, послушливые военные рабы тёти родины. А сам Пётр Васильевич, справляясь с тяготами путевой, извечной непутёвой российской повседневности, тянулся сердцем не только к родственно близким, переживавшим о нём людям, но и к единоверцам, как бывшим рядом, так и тем, о которых узнавал с тем же радостным трепетом, что и Лев Николаевич Толстой:

«...Вы сильно опечалились. Но печалиться не о чем; стоит только припомнить слова Христа: „Вы печальны будете, но печаль ваша в радость вам будет.“ После того, как я расстался с вами и своими друзьями, и когда меня перевезли на другой бок земного шара, я думал, что я здесь буду жить одиноким, но мне Бог даровал друга, с которым я прожил уже полгода — мне показалось, как один месяц. Я очень рад такому великому дару Божьему.

Когда мы сидели в Никольском на гауптвахте, нам рассказывал один новобранец, который сидел за побег, что когда они обучались в Казани, то один новобранец из Пермской губ. не захотел заниматься (обучаться военному делу), за что сидел на гауптвахте до отправки на Амур, а при отправке не взял казённой одежды. Другой новобранец приходил мыть пол и тот говорил, что с ними ехал новобранец, который не занимался в Казани, а в Одессе и Владивостоке не становился в строй и с офицерами разговаривал, как с товарищами. Офицера приказывали не пускать к нему новобранцев. Больше от этих новобранцев мы ничего не могли узнать о нём, так как их привезли в Никольское, а он оставался ещё во Владивостоке. Когда мы сидели в Благовещенской тюрьме, то один солдат говорил нам, что во 2-м батальоне один новобранец не хотел заниматься с ружьём, и его командир взял в писаря, и мы думаем, что это он.

В эту тюрьму привели при нас старика из России, бежавшего из каторги. Он рассказывал, что в их партии вели солдата, который служил в Оренбургской губ. за то, что не захотел присягать Николаю Александровичу, и его за это перевели дослужить на Амур...

Теперь мы идём в Иркутск, в дисциплинарный батальон. Уже пошел другой месяц, как поехали из Никольского. До Иркутска придётся ещё идти месяца три. Теперь едем на пароходе по реке Амуру в село Сретенск. Из Сретенска пойдём пешком. От Сретенска до Иркутска больше 2000 вёрст. Может быть на пароходе придётся ещё переехать Забайкал, если успеем дойти, пока не замёрзнет... Нам теперь выдают кормовых по 15 коп. в сутки. Раньше мы думали, что дорогой придётся поголодать, и не за что будет послать письма, потому что

хлеб здесь от 6 до 8 коп. фунт, а денег с собой не дали. Но всё это вышло не так. Нас конвоиры стали пускать нагружать дрова на пароходе, когда он пристаёт к станции; за сажень платят по 50 коп. и мы за два часа выносим по 3 и по 4 саж.; хлеба тоже пришлось купить дёшево в Благовещенской тюрьме у арестантов по 2 коп. фунт, из которого насушили сумку сухарей.

Дорогой купили два Евангелия, а те, что были в батарее, начальство не хотело отдать, чтобы не читали дорогой...

Если будете писать друзьям, то скажите, пусть пишут мне в Иркутск, я очень рад буду получить от них письмо. От вас я не получал, или вы и не писали, а может не дошли. От друзей тоже не получал. Я рад, что гонят ближе к родине, — скорей письма можно получать. Напишите мне о моих друзьях: кого куда привела судьба? Пишите так, чтобы начальство допустило. Пишите обо всём подробно: как хлеба? dokonчили ли вы избу?

Шлю вам свой душевный привет. Остаюсь с истинной любовью ваш Пётр.

Передайте мой привет всем моим друзьям и знакомым. Одежда ещё вся целая...» (*Письма Петра Васильевича Ольховика. Указ. изд. С. 27 – 29*).

Из этих, от первого лица, жизнеописаний «эталонного отказника» не хочется вырывать цитат: именно во всех своих подробностях, от духовных до бытовых, они создают картину, достойную художественной интерпретации: поучительной книги или киноленты. Наскученным приведёнными документами читателям мы советуем пролистать данную часть Шестой Главы нашей книги к последним абзацам, а для прочих — приведём ещё всего лишь два письма Петра Васильевича, дополняющих картину его мытарств истинно драматическими подробностями.

Из письма Петра Васильевича к родителям, от 20 ноября 1896 г:

«Вам уже известно, что я иду в Иркутск в дисциплинарный батальон вместе с Кириллом Середой за наше дело. Теперь мы идём пешком через Забайкальскую область этапным порядком в партии, которая состоит из числа 45 арестантов. В день проходим по станку — от этапа до этапа. Станки бывают от 25 и до 40 вёрст. Через два дня бывает дневка, а в некоторых местах живём по неделе — ожидаем партий, которых гонят в каторгу и на поселение. Одних из них оставляют по Зайбайкальской области, других по Амуру, третьих гонят на остров Сахалин. Все они в кандалах, — у каторжан головы с правого бока бриты, а которые идут на поселение с лишением всех

прав состояния, — у тех головы бриты с левого бока. В этих партиях идут жёны и дети, есть старики до 75 лет, закованные в кандалы...

...Бедные они люди. Зачем они теряют человеческое достоинство и затемняют человеческий разум? Продают всё, что есть: покупают водки, напиваются, теряют совесть, начинают играть в карты и проигрывают что только есть, не думая о том, что придётся после голодом жить, так как им выдают кормовых по 10 копеек в сутки, а хлеб здесь по 4 и 5 копеек фунт. Во время картёжной игры заводят ссоры и доходят до драки и бою. Услыша это, солдаты из караульного помещения прибегают с ружьями и начинают их бить прикладами и надевают наручники. Люди думают, что их можно исправить наказанием, т. е. тюрьмами и каторгой. Нет. Не исправить их этим. В таком положении они хуже портятся; всякий недавно попавшийся арестант сначала ведёт себя скромно, смиренно и боязливо: каждому уступает, занимает последнее место где-нибудь в уголке или под нарами, а когда поживёт да познакомится с жизнью развратных арестантов, становится и сам таким же. [...]

Все солдаты [...], не замечают за собой ничего, а делают как обычное дело: веселы, разговаривают, смеются и гордятся тем, что им в руки дано оружие и власть владеть этим оружием. Как жалко смотреть на такое положение людей, разумных существ Божиих.

Часто является мысль: зачем люди мучат друг друга? На эту мысль ответ такой: потому что нет между людьми любви Христовой; если бы имели между собой любовь Христову, то не было бы никогда насилий между людьми, разумными тварями Бога.

С нами в партии из Нерчинска в Читу шёл отбывший срок в каторге за политическое преступление один нижегородский дворянин, довольно учёный, окончивший курс в университете. Видно, что человек сочувствующий и стремящийся к достижению высшего блага. Он прибыл в Нерчинскую пересыльную тюрьму после нас. Узнав о нас от других арестантов, которые шли с нами, стал нас расспрашивать о нашем отказе от военной службы. Мы рассказали.

После нашего рассказа, он подружился с нами, всякий раз приглашал нас к себе пить чай и старался всегда поговорить с нами. Много рассказывал и расспрашивал... Он остался на время в Чите. К нему товарищ приходил в пересыльную тюрьму. Их смотритель сводил за воротами. Он рассказывал товарищу про нас. Слышал это и смотритель, заинтересовался и расспрашивал его про нас. Товарищ его хотел тоже повидаться с нами, но не пришлось.

Ему товарищ прислал гостинца: булок, рыбы, колбасы, голландского сыру, варенья и конфект. Всем этим он нас угощал весь вечер и на

другой день утром перед нашим выходом. На дорогу он дал нам все, что осталось от гостинца, и 4 рубля денег.

Теперь я познакомился с Сибирью и Амуром. Хочу и вам описать. Вся местность здесь горная и лесистая. Грунт земли почти скрозь каменистый. Есть много земли удобной для хлебопашества, которая лежит не распахана. Крестьянство здешнее далеко отстало от русского. Всё у них делается небрежно и неосторожно. Всё поразбросано. Уход за скотом плохой. Нет никаких тёплых сараев, хотя и есть из чего построить. Обрывают брёвнами загон, да так и мучится по загонам скот, перенося голод и непогоду. Корм бросают под ноги. Всё это у них делается потому, что они разбаловались по тюрьмам да по приискам, добывая золото, где зарабатывают большие деньги, которые тотчас же прогуливают. Работнику здесь жить легче, чем в России, потому что здесь труд ценится дороже.

[...] Одежду я до сих пор ношу домашнюю, всё ещё целая. Сапоги тоже ещё хорошие, пропали было подметки и подковы, и я подбил новые. Теперь нам выдают кормовых по 12 коп. в сутки, раньше выдавали по 15 коп. Между арестантами мы живём богато. Они у нас занимают хлеба, соли, картошки, чаю, сахару, крупы, денег, иголок, ниток, ножниц, шильев, чернила, бумагу, словом всего, что нужно в походе.

[...] Если нас будут сечь в дисциплинарном батальоне и не будут позволять писать в письмах о том, что секут, то для того, чтобы вы знали, что секут, я буду писать чёрточки в уголке. Каждая чёрточка будет означать 10 ударов.

Сомнений нет ни в чём. Теперь я узнал, что мысли двоятся, пока войдёшь в положение; а когда войдёшь в положение, то нет ничего страшного, и мысль всегда живая. Теперь я так много увидел перемен и событий в жизни, что и описать всего нельзя.

Прощайте, остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Упадков духа не бывает: всегда чувствую себя весело и бодро. Желаю вам любви и мира.

Любящий вас ваш Пётр.

P. S. Ссылки в Сибирь не бойтесь: в Сибири лучше жить. Мне рассказывали солдаты из Томской губернии, что земля там не разделена, пашут кто сколько хочет; сено тоже косят, кто сколько хочет. Для скота вольно. Там скота много разводят. Хлеб родит хорош, сеют больше пшеницу. Там всё дёшево. В Тобольской губернии тоже говорят хорошо.

И, в завершение, приводим письмо Петра Васильевича к брату и единомышленнику — от 3 апреля 1897 года, из тюрьмы в Иркутске. Ответ на ранее полученное из дома письмо:

«Дорогой мой брат!

Письмо твоё я получил, и содержание его мне очень понравилось. Как хорошо ты говоришь о том, как мы должны относиться к каждому отдельному человеку, т. е. „искать в нём то, что составляет его человеческое достоинство, и на этой почве поддерживать с ним отношения”.

Мне приходилось много раз вызывать в людях чувства, которые составляют человеческое достоинство. В своём положении приходилось мне встречаться с людьми добрыми и злыми, и эти злые люди, встретившись со мной первый раз, кричали на меня, ругались и грозили наказанием. Но когда я стану им говорить, что по-человечески так поступать неразумно, — тогда они начинают относиться ко мне иначе.

Спрашиваешь о том, как мне живётся на новом месте? — Жизнь моя, можно сказать, кочующая. Не успеешь освоиться на одном месте, а тут посылают в другое. Осенью находился в дороге. Зимовал в Верхнеудинском тюремном замке, а весной опять стал переходить с места на место. 1-го марта вышел из Верхнеудинска, а в Иркутск прибыл 19 марта.

Сначала повели в дисциплинарную роту. Там я, по прибытии, заявил начальнику роты, что учиться военному делу не буду. Ему раньше было известно из бумаг, что со мной разом осуждён и Кирилл за одно дело, и он вызвал нас из партии солдат, прибывших разом с нами. Повёл нас в другое помещение и там по одному вызвал в канцелярию и советовал нам оставить свои убеждения. На что мы сказали, что ни под каким видом не можем оставить. Он советовал и угрожал: всё не помогло. Тогда он отправил нас в одиночные заключения, где мы сидели 10 суток. Туда приходил к нам один раз священник и посещало начальство. Со мной говорили меньше, чем с Кириллом. На него больше настаивали за то, что он сначала учился, а потом отказался.

Начальник роты говорил ему так: пусть тот закоренённый, а ты недавно стал такого мнения. Он тебя научил, а ты послушался, — ты лучше послушай меня. Я тебе говорю не как начальник, а как брат по Христу и советую тебе оставить свои убеждения, а делать то, что тебе будут приказывать.

Он отвечал так: слушать и делать я могу только то, что согласно с моей совестью и непротивно учению Христа.

После тихого совета начальник переходил к грозному требованию, но всё это не подействовало нисколько. Кирилл остался твёрд и спокоен при своём убеждении....

После обеда нас повели сначала к воинскому начальнику, а потом отправили в полицейское управление, где мы были двое суток. Оттуда перевели в тюремный замок, где и теперь находимся в том отделении, где пересыльные содержатся. Долго ли придётся здесь сидеть, этого не знаем. Узнавши, напишу. Пишите в тюремный замок, может быть здесь придётся долго сидеть. Спрашиваешь: не нужно ли денег? — Не нужно, у нас есть ещё 27 рублей. Расход наш небольшой, хватит на долго.

Тягости и скуки не бывает никогда, всегда легко и весело; только когда вспоминаю о домашних и друзьях, то является чувство жалости и мысль говорит: придётся ли когда-нибудь увидаться?

Всем друзьям шлю свой сердечный привет. Кирилл посылает тебе поклон и жалеет, что не познакомился, будучи дома.

Любящий тебя Пётр» (Там же. С. 36 – 37).

Такова, по документальным известиям, эпопея отказничества от военного рабства у тётки «родины» Петра Ольховика, им самим очень хорошо рассказанная. Чем не приключенческий роман в письмах или не основа для сценария кинофильма, и с непростым сюжетом?

Близкие друзья и единоверцы — Чертков, Бирюков, Трегубов — не только обратили внимание Льва Николаевича на Ольховика и Середу, но и передавали ему копии писем Ольховика, скоро (хотя и ограниченно) ставших достоянием общественности. Вмешательство Толстого и заграничная публикация вышеприведённых эпистолярных документов означали для обоих — облегчение участи, спасение.

И в годы мытарств святой двоицы, и после оставления их тёткой родиной в покое, Толстой не забывал счастливо отмучившихся отказников. Например, в статье «Две войны» Толстой писал: «Середа, поняв то, что сказал Ольховик о грехе военной службы, пришёл к начальству и сказал, как говорили это древние мученики: “Не хочу быть с мучителями, присоедините меня к мученикам”, и его стали мучить, послали в дисциплинарный батальон, а потом в Якутскую область» (31, 100). О поступке Середы Толстой писал и в статье «Одумайтесь!», уже в 1904 году — в виде пространных эпиграфов к Главе

IX статьи. И следом, рассказав кратко о поступках Ольховика, Середы и Дрожжина, третьим эпитафией — слова ап. Павла из послания к Эфесеянам:

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противустать в день злый и, всё преодолевши, устоять.

И так станьте, препоясавшие чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности» (36, 129).

Наконец, имя Середы упомянуто и в статье «Закон насилия и закон любви» 1909 года — «духовном завещании» Толстого-христианина — в числе мучеников за веру:

«...В самое последнее время всё больше и больше молодых людей отказываются от военной службы и предпочитают все жестокие мучительства, которым их подвергают, отречению от закона Бога, как они понимают его.

Мне случайно известны несколько десятков человек в России, отчасти выстрадавших тяжёлые мучительства за веру, отчасти теперь ещё сидящих по тюрьмам. Вот имена некоторых из пострадавших: Залюбовский <не забыл о нём за столько лет! – Р. А.>, Любич, Мокеев, Дрожжин, Изюмченко, Ольховик, Серeda, Фарафонов, Егоров, Ганжа, Акулов, Чага, Шевчук, Буров, Гончаренко, Захаров, Тригубов, Волков, Кошевой; из сидящих теперь по тюрьмам мне известны: Иконников, Куртыш, Варнавский, Орлов, Мокрый, Молосай, Кудрин, Панчиков, Сиксне, Дерябин, Калачёв, Баннов, Маркин.

Знаю про таких же людей в Австрии, Венгрии, Сербии, Болгарии. В Болгарии их особенно много. Мало этого: отказы эти в последнее время стали происходить, и на тех же основаниях, и в магометанском мире: в Персии среди бабидов, в России в секте Божьего полка, основанной в самое последнее время в Казани Ваисовым» (37, 187).

Писатель использовал в этих статьях, как и в «Круге чтения», книжечку «Письма Петра Васильевича Ольховика...». Он продолжал следить за судьбой Ольховика, осуждённого на 18 лет ссылки в Якутию. В письме к крестьянину-баптисту Сидору Осиповичу Красовскому от 25 февраля 1898 года он сообщает о судьбе обоих по выходе из дисциплинарной роты (несмотря на неповиновение — досрочном, слава доброму Козьмину!): «Про Середу и Ольховика я знаю, что они сосланы в Якутскую область на Алдан, на реке Ноторе, где они соединились с Егоровым, Псковской губ., который за христианский

отказ также сослан, и с духоборами, 34 человека, которые сосланы за то же исповедание Христова закона» (71, 291).

В 1905 г. Ольховик счастливо бежал с места ссылки и эвакуировался из России в свободный мир — в Америку, к духоборам... Биографические сведения о судьбе Кирилла Середы после отбытия им наказания, к сожалению, затерялись во времени.

6. 3. «ПАТРИОТИЗМ ИЛИ МИР?» (1895 – 1896 гг.)

На вопрос одного царька: сколько и как прибавить войска, чтобы победить один южный не покорявшийся ему народец, — Конфуций отвечал: «уничтожь всё твоё войско, употреби то, что ты тратишь теперь на войско, на просвещение своего народа и на улучшение земледелия, и южный народец прогонит своего царька и без войны покорится твоей власти».

К началу 90-х годов имя Л. Н. Толстого приобретает мировое значение и славу, не только как имя гениального художника, но и как «учителя жизни». Его публицистические выступления по вопросам религии и морали, с острой, с религиозных позиций, критикой современных ему социальных отношений, науки, искусства, получают широкий политический резонанс в Европе и вызывают новое оживление интереса к личности русского писателя.

В 1890-е годы произведения Толстого усиленно переводятся на все европейские языки. Толстого приглашают к сотрудничеству в периодической европейской прессе, резко увеличивается количество писем к нему из-за границы, среди которых значительное число составляют письма-запросы, связанные с различными событиями социальной и политической жизни. И Толстой, всё более и более отходя от художественного творчества, включается в шумный поток международной жизни, горячо отзываясь на текущие политические события. Можно констатировать, что в начале 1890-х в публицистическом творчестве Льва Николаевича появился, а к середине десятилетия вполне утвердился новый жанр: своего рода «открытые

письма», в виде полноценных статей, вызванные запросами к нему представителей организаций, прессы и частных лиц.

Основной проблемой, волновавшей европейское общество конца 1890-х годов, напуганное новым призраком войны со всеми её губительными последствиями, была проблема всеобщего мира. Эта проблема вызывала в Толстом живой интерес, определявший всю его прежнюю художественную и публицистическую деятельность. С другой стороны, вместе с текстами трактата «Царство Божие внутри вас», переведённого на основные европейские языки, другими книгами писателя и публициста, а также публикуемыми, с разрешения автора и без оного, письмами его разным лицам за рубежом, авторитетность толстовского мнения по военно-политическим известиям и проблематике антивоенного движения шагнула далеко за российские границы, вызывая Толстого на повседневный *эпистолярный диалог с Россией и миром*.

Именно к такому жанру следует отнести статью Л. Н. Толстого «Патриотизм или мир?». Она была написана в ответ на несохранившееся письмо от 24 декабря н. с. 1895 г. английского журналиста Джона Мансона, в котором Мансон просил Толстого высказаться по поводу происшедшего тогда столкновения между Северо-Американскими Соединёнными Штатами и Англией из-за границ Венесуэлы.

Это типичный случай, когда правительства использовали внушённый с детства своим военным рабам (солдатам) патриотизм для совершения того, что является истинной сущностью всякого правительства: захвата и грабежа того, что им не принадлежит. В Венесуэле, в районе границы с Британской Гвианой, были открыты богатейшие месторождения нефти и золота. Пограничные стычки англичан с венесуэльцами в январе 1895 года обратили на себя внимание Соединённых Штатов. В июне президент Кливленд напомнил лорду Солсбери, английскому премьеру, о так называемой доктрине Монро, запрещавшей европейским державам силовые захваты территорий на американском континенте. Лорд опротестовал эту трактовку доктрины Монро. Тогда, уже в декабре 1895 г., Кливленд представил ноту Солсбери на рассмотрение американского конгресса — но одновременно со своим посланием конгрессу, в котором настаивал, что американская нация неизбежно потеряет «национальную честь и самоуважение, под охраной которой только мыслимы народная безопасность и величие», если конгресс не ассигнует немедленно ста миллионов долларов на военную операцию.

Народ — не английский лорд. Трудовые и военные рабы Англии и Америки покорно ожидали войны... И лишь паника на английской

и американской биржах и последовавшее за нею лобби со стороны заинтересованных спекулянтов заставило правительства пойти на мирное урегулирование венесуэльской «проблемы».

Важно заметить, что статья была полностью написана Львом Николаевичем уже к 5 января 1896 года, но опубликована — имея в виду её актуальность в отношении политических событий, на которые она служила откликом — непоправимо поздно: только 17 марта 1896 года (в газете «Daily Chronicle»). Причина задержки — стычка! Только уже не между Англией и Америкой, а между английскими издателями. Статью караулил, прежде всего, «прямой заказчик», Джон Мансон. Но Лев Николаевич не переводил её на английский язык сам, а поручил это дело ближайшему и доверенному другу, замечательному Владимиру Григорьевичу Черткову. Чертков, в свою очередь, первоначально, осваиваясь в деле, взял себе «местного» английского помощника, журналиста, идейно близкого к Толстому, — писателя и *издателя* Джона Колеманна Кенворти (*John Kolemann Kenworthy, 1861 – 1948*). Кенворти до своего толстовства был пастором сектантской же Братской церкви в Лондоне и поклонником социальных теорий Джона Рёскина. Но на момент знакомства с Чертковым у него было издательское дело, частью которого была, оформленная единственным письменным разрешением из рук Л. Н. Толстого, практика перевода и издания его сочинений — включая новейшие. При этом Кенворти, британец до мозга костей, был трудолюбив (родом он был из бедной семьи моряка в Ливерпуле), умён, но предан «общему делу» и наивен ко всем спецификам подлого «русского мира». Идеальная жертва для Черткова и подобных ему... Впрочем, трагическая судьба пастора Джона — не тема этой нашей книги.

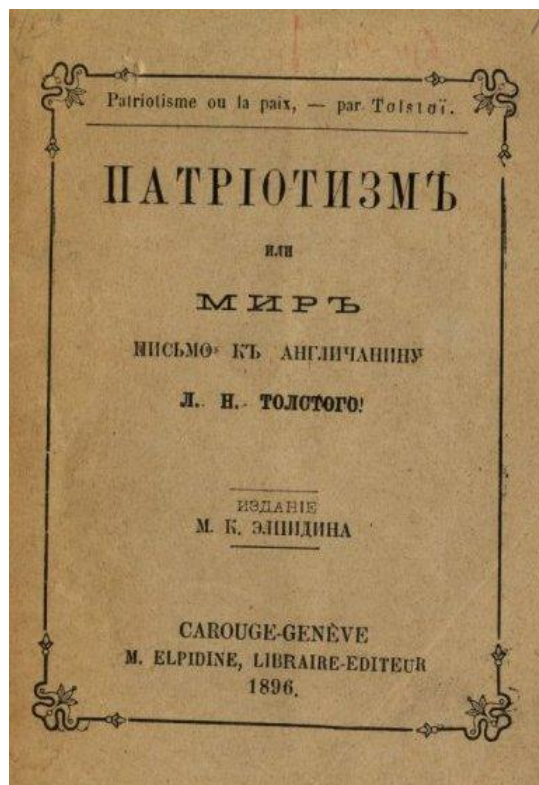
Ознакомившись со статьёй, Кенворти решил опубликовать её сам, от своего имени. Мансон в ответ, конечно же, сослался на то, что статья-таки является ответом Толстого *ему*. Но Мансон, в отличие от Кенворти, не был близок Льву Николаевичу идейно, и Толстой в конфликте принял сперва сторону Черткова и Кенворти. Всё же Мансон своё право первенства отстоял, но время для *актуальной* публикации было упущено. Впрочем, для публицистики Л. Н. Толстого эти проволочки не катастрофичны: их главное идейное содержание не устареет, быть может, ещё *века!*

Судьба статьи в России была не легче: из-за цензурных условий первая русскоязычная публикация её состоялась только за границей, в женевском издании Н. К. Элпидина, под заглавием «Патриотизм или мир? Письмо к англичанину Л. Н. Толстого».

* * * * *

Основная идея статьи Л. Н. Толстого «Патриотизм или мир?» — необходимость для каждого человека и человечества в целом сделать выбор: *или* свободное, как сейчас, отдавание себя атавистическим влечениям агрессии, стяжания, насилия и войны и рационализация этих вполне иррациональных влечений военно-патриотическим суеверием, *или* — мирная жизнь, развитие, но без патриотизма, вооружений и войск, без разделения на враждующие стаи, метящие и обороняющие свои государственные, родовые, племенные, хозяйственные и прочие территории. Жизнь спонтанно-чувственных полуживотных, вразумлённых Богом, но часто не умеющих, окромя как себе же во зло, употребить свой разум, *или* — жизнь истинных сынов единого Отца Бога, живущих в Его воле, по Его закону, единому для всех разумных существ в мироздании. (А воля Его — единение и благо всего живущего и мыслящего, исполнение всеми разумными существами закона деятельной и созидающей любви.)

Надо *выбирать!*



Обложка бесцензурного издания «Патриотизм или мир?»
М. К. Элпидиным. 1896

Но современный человек часто подобен избалованному ребёнку, у которого няня спрашивает: что ему хочется, идти на прогулку или

дома остаться играть, и он отвечает: «И ехать кататься и дома играть» (90, 45).

Ему хочется две несовместимые вещи:

1) ложный, внушаемый правительствами детям через обманщиков-воспитателей и обманутых ранее (выращенных в обмане) родителей, казённый военно-государственный патриотизм, паразитирующий на бессознательных, низших, атавистических, грубо-звериных, не человеческих качествах человеческой природы,

Или:

2) мир, мирная братская трудовая жизнь, даже просто — выживание человечества...

Но люди хотят — "того и другого!": и жить, и патриотизм...

И последствия своих слабости и невежества: неумения жить разумно, не поддаваясь атавистическим влечениям животности и не рационализируя их стереотипными самообманами, — прикрывают внешней бравадой и агрессией, системами насилия и лжи, служащей его оправданию.

А не миновать-таки — *придётся* делать выбор!

Потому что, констатирует Толстой, «причины, которые привели к столкновению между Англией и Америкой, остались те же», государства эти не примирились, а как будто «разбежались для того, чтобы лучше прыгнуть, с большим остервенением броситься друг на друга», а если и не эти двое сгрызутся, то «неизбежно завтра, послезавтра явятся другие столкновения между Англией и Америкой, и Англией и Германией, и Англией и Россией, и Англией и Турцией во всех возможных перемещениях, как они и возникают ежедневно, и какое-нибудь из них неизбежно приведёт к войне» (Там же. С. 46).

А ещё потому, что, в то время как эгоизм частных лиц казнится и законом, и общественным мнением, «иное с государствами: все они вооружены, власти над ними нет никакой, кроме комических попыток поймать птицу, посыпав ей соли на хвост, попыток учреждения международных конгрессов» (Там же. С. 47).

Узнаваемое сравнение! Здесь, конечно, Толстой вспомнил то же приятное и смешное пацифистское чтиво, материалы которого привёл и иронически, местами и едко, прокомментировал в великом слове «Царство Божие внутри вас». Но эта книга, как мы помним, выражает надежды на «охристианивающееся» общественное мнение. В связи с этим весьма значительно прибавление Толстого, указывающее на несвободу и этого общественного регулятора:

«Общественное мнение, которое карает всякое насилие частного человека, восхваляет, возводит в добродетель патриотизма всякое

присвоение чужого для увеличения могущества своего отечества» *(Там же)*.

И халтурные (не умеющие без драки) правительства гнусно паразитируют на таком, ими же, их пропагандой извращённом общественном мнении, и военные кампании к концу XIX столетия истязают Землю уже почти без перерыва:

«За какое хотите время откройте газеты и всегда, всякую минуту вы увидите чёрную точку, причину возможной войны: то это будет Корея, то Памиры, то Африканские земли, то Абиссиния, то Армения, то Турция, то Венецуэла, то Трансвааль. Разбойничья работа ни на минуту не прекращается, и то здесь, то там не переставая идёт маленькая война, как перестрелка в цепи, и настоящая, большая война всякую минуту может и должна начаться» *(Там же)*.

При этом люди не желают «свой» патриотизм признавать вредным пережитком стайно-территориальной, зоологической первобытности (то есть актуальной ещё до Творения Божьего, до начатой на Земле Богом Эволюции от животного к человеку). Между тем патриотизм «мирных» стран, «не завоевательный, а удержательный», как выражается Толстой, так же обеспечен вооружённым войском: потому что «нет такой страны, которая основалась бы не завоеванием, а удержать завоёванное нельзя иными средствами, как только теми же, которыми что-либо завоёвывается, то есть насилем, убийством» *(Там же. С. 48)*. Худший же из патриотизмов — «восстановительный», патриотизм «армян, поляков, чехов, ирландцев» и других покорённых народов, мечтающих о «суверенитете» *(Там же)*.

Общий вывод публициста таков:

«Патриотизм не может быть хороший» Для него нету того даже оправдания, которое имеется для первобытного человеческого эгоизма: «Отчего люди не говорят, что эгоизм может быть хороший, хотя это скорее можно бы было утверждать, потому что эгоизм есть естественное чувство, с которым человек рождается, патриотизм же чувство неестественное, искусственно привитое ему» *(Там же)*.

Великий яснополянец сетует на тот «барьер невосприятости», который люди, одержимые древним обманом, ставят на пути к ним его слова: при всякой попытке его указать на несовместимость идей «родины», «нации» и сопутствующих им, в частности военных, с учением Христа ему пеняли на то, что высказанные им мысли «суть утопические выражения мистицизма, анархизма и космополитизма»: «...Как будто это слово “космополитизм” бесповоротно опровергало все мои доводы» *(90, 49)*.

«...И большинство людей, с детства обманутое и *заражённое патриотизмом*, принимает это высокомерное молчание за самый убедительный довод и продолжает коснеть в своём невежестве» (*Там же. С. 50. Выделение наше. – Р. А.*).

Обратим внимание на весьма точное указание Толстым на материальное действие слова на электрику и биохимию человеческого мозга и всего организма: речь даже не о «гипнотизации» (тоже излюбленное Толстым определение), а именно о *заражении*, либо *отравлении* человека: ибо патриотическое «воспитывающее» влияние чаще всего производится уже над ребёнком, либо навязчивым внушением тех, кто даёт человеческому детёнышу укрытие и корм, то есть «авторитетов» безусловных, либо в ситуации массированного воздействия обманщиков на все чувства беспомощной жертвы.

Остановить эту махину лжи — затруднительно даже для прежних её жертв, очистивших сознание от обмана, привитого к низшим, животным инстинктам «своих» стаи и территории. А уж элитам общества, мнимым радателям о мире и благе — сие и невыгодно. Остаётся лицемерно играть с прежними и новыми жертвами:

«Вся наша жизнь с исповеданием христианства, учения смирения и любви, соединённая с жизнью вооружённого разбойничьего стана, не может быть ни чем иным, как сплошным, ужасным лицемерием. Оно очень удобно — исповедывать такое учение, в котором: на одном конце христианская святость и потому непогрешимость, а другом — языческий меч и виселица, так что, когда можно импонировать и обманывать святостью, пускается в ход святость, когда же обман не удаётся, пускается в ход меч и виселица» (*Там же*).

Но, как и в трактате «Царство Божие внутри вас», как и в позднейшей публицистике, Толстой выражает уверенность, что христианское понимание жизни уже в достаточно значительной степени актуализировано в массовом сознании и жёстко ставит для всех нас вопрос: «*каким образом может тот патриотизм, от которого происходят неисчислимы как физические, так и нравственные страдания людей, — быть нужным и быть добродетелью?*» (*Там же. Выделение автора. – Р. А.*). Честный ответ себе, каждым человеком, на этот вопрос, развенчивает обман и даёт уже всю силу над волею и разумом человека Истине Бога и Христа, возвращённой миру Львом Николаевичем Толстым:

«Если христианство истина и мы хотим жить в мире, то не только нельзя сочувствовать могуществу своего отечества, но надо радоваться ослаблению его и содействовать этому. Надо радоваться, когда от России отделяется Польша, Остзейский край, Финляндия, Армения... И так и воспитывать молодые поколения» (*Там же. С. 51*).

Чтобы уже юному человеку были стыдны любые проявления атактичного, животного имперства в своей психике, в помыслах и поступках, и не вызывали доверия любые восхваления народа или, упаси Боже, «нации».

За почти десятилетие до статьи «Конец века», где, под впечатлением от русско-японской войны, эта тема будет раскрыта Толстым скрупулёзнейше, публицист предсказывает поражение России и всего лжехристианского мира от «страшных бойцов Дальнего Востока», из Китая и Японии, которым липовые «христиане», при контакте цивилизаций, явили только дурной пример «патриотизма и войны» (*Там же. С. 51 – 52*).

Пропагандируя «неизбежную» войну с Востоком, германский император и прусский король Вильгельм II (1859 – 1941) намалевал аллегорическую картину, на которой архангел Михаил указывает правительствам европейских народов, вооружённых мечами, на сидящих вдали Будду и Конфуция, грядущих военных «врагов». Но Толстой в насмешку даёт иное толкование этого полотна:

«Архангел Михаил указывает всем правительствам Европы, изображённым в виде увешанных оружием разбойников, то, что погубит и уничтожит их, а именно: кротость Будды и разумность Конфуция» (*Там же. С. 52*). И кстати приводит любимую свою конфуцианскую притчу:

«На вопрос одного царька: сколько и как прибавить войска, чтобы победить один южный не покорявшийся ему народец, — Конфуций отвечал: “уничтожь всё твоё войско, употреби то, что ты тратишь теперь на войско, на просвещение своего народа и на улучшение земледелия, и южный народец прогонит своего царька и без войны покорится твоей власти”» (*Там же*).

Мы видим справедливость пророчества Льва Николаевича: не только цивилизации Дальнего Востока, но и мир Ислама в веках XX, XXI-м могут по заслугам, жесточайше отомстить двухтысячелетним лицемерам «христианского мира» за разращение дурными примерами патриотизма и насилия, а заодно — за века порабощения миллионов людей других, слабейших в сопротивлении, народов: они, как и предсказывал Л. Н. Толстой в далёком 1896 году, «будучи бесстрашны, ловки, сильны и многочисленны, неизбежно очень скоро сделают из стран Европы [...] то, что страны Европы делают из Африки» (*Там же*).

И потому, завершает Толстой статью, снова, как будто напрямую, обращаясь и к нам, к наследникам духовных сокровищ его живого слова, его христианского проповедания, «спасение Европы и вообще

христианского мира не в том, чтобы, как разбойники, обвешавшись мечами, как их изобразил Вильгельм, бросаться убивать своих братьев за морем, а, напротив, в том, чтобы отказаться от пережитка варварских времён — патриотизма и, отказавшись от него, снять оружие и показать восточным народам не пример дикого патриотизма и зверства, а пример братской жизни, которой мы научены Христом» (*Там же. С. 53*).

6. 4. «К ИТАЛЬЯНЦАМ» (1896)

...Да идите вы,
безжалостные и безбожные цари,
микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы,
редакторы, аферисты, и как там вас называют,
идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдём.
Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить,
кормить вас же, дармоедов.

(Лев Николаевич Толстой)

Будя по единственной дневниковой записи Толстого об этой работе, 6 марта 1896 года, она была задумана им как обращение, адресованное к народу Италии.

Поводом для написания статьи явилась итало-абиссинская война 1895 – 1896 годов, за ходом которой Толстой внимательно следил, закончившаяся, конечно же, разгромом итальянских войск и победой Абиссинии (Эфиопии).

Италия, опоздавшая к разделу мира, рассчитывала захватить сохранявшую независимость Эфиопию и сделать её основой своих колониальных владений. Древняя же, прекрасная страна Эфиопия была разобщена, армия вооружена луками, в лучшем же случае — чудовищно устарелыми кремнёвыми ружьями. Поэтому итальянцы невысоко оценивали противника и представляли себе эту войну лёгкой военной прогулкой (точно как и путинские мародёры, вторгшиеся в Украину в феврале 2022-го!). Но за многовековую историю Эфиопия не теряла своих государственных традиций, и колонизаторы внезапно для себя столкнулись с гораздо более организованной и, главное, *мотивированной к защите родины*, армией.

В 1893 г. Эфиопия установила дружественные отношения с Российской империей, прорвав тем самым дипломатическую блокаду, устанавливавшуюся навязанным эфиопам Уччальским договором 1893 г. Россия оказала помощь в модернизации Абиссинии, в вооружениях, боеприпасах. В страну отправились тысячи русских добровольцев.

1 марта 1896 г. уже довольно хорошо вооружённые войска нгусэ нэгэста («царя царей») Абиссинии разгромили под Адуа итальянскую армию, руководимую генералом Орестом Баратьери. Оставшиеся в живых итальянские солдаты и офицеры в панике бежали с поля сражения, разнообразно и бодро подгоняемые по пути местным населением. Катастрофа, постигшая итальянскую армию под Адуа, послужила причиной падения правительства Франческо Криспи и отказа Италии на многие годы от своих захватнических планов по отношению к Абиссинии. Вообще Первая Абиссинская война 1895 – 1896 гг. стала одним из редких случаев успешного вооружённого африканского сопротивления европейским колонизаторам в XIX веке, в результате которого независимость Эфиопии была признана сначала Италией, а затем и другими европейскими державами. А итальянцы, пообсиравшись ещё так же в войнах XX столетия — наконец, забыли об имперском прошлом своих земель и мирно пополнили в наши дни дружную семью народов благородной евро-атлантической цивилизационной общности.

Без сомнения, патриотизм, против которого выступает Толстой в статье, сыграл в исходе войны свою роль. Опять же, налицо тот случай, когда архаическое и недоброе, восходящее к зоологической первобытности и дурно культивируемое обманщиками при власти, свойство людей помогло победе, пусть и не безусловного, но добра — над уже определёнными, безусловными, злом и агрессивной глупостью. Ход и результаты войны во многом сходны с предстоящим позорным разгромом путинской России в её полномасштабной агрессии 2022 – 2023 гг. по отношению к Украине.

* * * * *

При жизни Л. Н. Толстой не окончил и не публиковал эту статью. Первая публикация «К итальянцам» состоялась в 1935 году, в газете "Известия" за 4 октября. Конечно же, это была пропагандистская со стороны большевиков, конъюнктурная публикация, с обязательными указаниями на «обличение империализма» Толстым и на «слабость», с цитатой из Ульянова (Ленина), его позиции «непротивления»

(Лев Толстой об Итало-Абиссинской войне 1894 — 1896 гг. // Известия. 1935. — 4 октября. — № 232 (5785). С. 2.) Она была связана с начатой в 1935 году фашистским режимом Бенито Муссолини второй войной с Эфиопией. Мечта патристической Л. Н. Толстым паникующей интеллигентской сволочи, Лига наций, членами которой были тогда и Италия, и Эфиопия, показала в ситуации фашистской агрессии свою несостоятельность в «мирном улаживании» конфликтов. Оккупанты захватили Эфиопию, но к концу 1941 г., то есть ещё за полтора года до краха режима Муссолини, были выбиты из неё британскими войсками.

ИЗВЕСТИЯ
Цена номера — 10 коп.
ГОД ИЗДАНИЯ 18-й
№ 232 (5785)
ПЯТНИЦА
4 ОКТЯБРЯ 1935 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Наступление итальянских войск.
Итальянцы бомбардируют Адуэ. 1700 человек убито.
С. ДИЯРИ. Мечта режиссера (3 стр.).
А. ЗОРИЧ. Геральдическая (4 стр.).
А. ИМАЛЬ МИРАМОВ. Восточная жемчужина (4 стр.).
Проф. С. СОВЕТОВ. О школьной гигиене (4 стр.).
Ботаника. Мечта режиссера (3 стр.).
А. ШЕДЛИН. Восточная жемчужина (4 стр.).
И. ЗИСЛЕР. Мечта режиссера (4 стр.).

ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!
На ИТАЛИЙСКИХ войсках...
Центральный Комитет Союза Советских Социалистических Республик.

НАСТУПЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК
СОЗЫВ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ
ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ В АДУЭ ПОГИБЛО 1700 ЧЕЛОВЕК

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОБ ИТАЛО-АБИССИНСКОЙ ВОЙНЕ 1894—1896 ГГ.
Война между Италией и Абиссинией, начавшаяся в 1894 г., закончилась страшным икроуничтожением итальянской армии 1 марта 1896 г. при Адуэ...
Лев Толстой об этой войне...
Война между Италией и Абиссинией, начавшаяся в 1894 г., закончилась страшным икроуничтожением итальянской армии 1 марта 1896 г. при Адуэ...
Лев Толстой об этой войне...

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Последние изложения Г. В. Аля
Французская печать о санциях
Зеленый Сидик



Война между Италией и Абиссинией, начавшаяся в 1894 г., закончилась страшным икроуничтожением итальянской армии 1 марта 1896 г. при Адуэ...
Лев Толстой об этой войне...
Война между Италией и Абиссинией, начавшаяся в 1894 г., закончилась страшным икроуничтожением итальянской армии 1 марта 1896 г. при Адуэ...
Лев Толстой об этой войне...

Номер газ. «Известия» от 4 октября 1935 г. с текстом первой публикации статьи Л. Н. Толстого «К итальянцам»

Большевицкая сволочь, выпускавшая с 1928 г., по «заветам» всё того же своего лидера Ульянова (Ленина), Полне собрание сочинений Льва Николаевича, долгое время не решалась поместить эту

вещь даже туда. Том 31 – й, где, по хронологии, должна была поместиться, без цензурных изъятий, статья «К итальянцам», был напечатан «для специалистов», для закрытых библиотек и хранилищ, в 1954 году тиражом в 5 000 экземпляров.

Причина затаённого страха издателей проста: основным пафосом этой статьи Льва Николаевича было отнюдь не «обличение империализма» или «военщины», а — обличение проистекающего от отсутствия религиозной веры самообмана т. н. «мирных, трудящихся» людей и народов, состоящего в вере в военное и революционное насилие как способ обеспечения этой желанной им мирной трудовой жизни, в «великие державы», империи, которым потребны колонии, в «сильную» правительственную власть как гарант стабильности такой жизни.

Толстой призывал итальянцев к обратному: осознать, что рост военного могущества держав чреват обращением этой убийственной мощи как раз против таких наивных обывателей: не только от враждующих иноземцев, но и от «своего» правительства, всегда следующего не общенародным интересам, но интересам элитарного в волчьем, эксплуататорском и насильническом обществе меньшинства. Уже поэтому «великие державы» надлежит *разрушать*, и именно начиная со «своей» (или соседей), но не насилием и не убийством, а — религиозным христианским преображением сознания.

«Неужели никогда не опомнятся народы от того ужасного обмана, в котором их поддерживают для своих выгод правительства и правящие классы? — ставит в статье вопрос писатель. — Неужели нужны ещё ужасные братоубийственные войны, к которым готовят теперь правительства и правящие классы все европейские и американские народы? Ведь придёт же время, и очень скоро, когда после ужасных бедствий и кровопролитий, изнурённые, искалеченные, измученные народы скажут своим правителям: да убирайтесь вы к дьяволу или к богу, к тому, от кого вы пришли, и сами наряжайтесь в свои дурацкие мундиры, деритесь, взрывайте друг друга, как хотите, и делите на карте Европу и Азию, Африку и Америку, но оставьте нас, тех, которые работали на этой земле и кормили вас, в покое» (31, 194 – 195).

Для сравнения, немного забегаая вперёд, приведём здесь отрывок из позднейшей, и знаменитой, статьи Льва Николаевича по поводу событий русско-японской войны — «Одумайтесь!» (1904 – 1905):

«Да когда же это кончится? И когда же, наконец, обманутые люди опомнятся и скажут: “да идите вы, безжалостные и безбожные цари, микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты, и как там вас называют, идите вы под ядра и пули, а мы

не хотим и не пойдём. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кормить вас же, дармоедов» (36, 143).

В этих словах Толстого отчётливо выражена его позиция писателя и публициста, призывающего народы мира «опомниться» и не допустить братоубийственных войн. По Толстому, «стыдно не бежать с поля сражения», а идти в солдатчину, «в самое ужасное рабство, военное» (Там же. С. 196).

Люди, отмечает Толстой, бессознательно попадают в тенёта обманов, оттого и служат «добровольно» преступному делу войны лично или посредством денег. Важнейший из обманов, «самый употребительный» в традиционных обществах и самый древний — религиозный: «духовенство всех народов поощряет войну, благословляет её, приводит к присяге солдат на Евангелии, на том самом Евангелии, которое велит любить и подставлять щёку». На втором месте — «страшный обман патриотизма», превосходства и «прав» одной из «наций» в ущерб таким же общностям, проживающим на территориях других государств. Как правило, внушается детям и малодумающим людям — особенно в ситуации затруднений для размышления, «в толпе». Третий обман — актуализация правительственной пропагандой в массовом сознании «образа врага» и связанных с ним ненависти и страхов; состоит в том, чтобы «внушать людям, что им грозят величайшие опасности от соседних, имеющих коварные против них замыслы народов, тех самых народов, которым со стороны их правительств внушается то же самое по отношению других народов». Обман четвёртый, по свидетельству Толстого, самый распространённый в его время: «состоит в том, чтобы поставить людей в такое положение, чтобы существующее воинственное устройство, основанное на войске, было выгодно для них так, чтобы люди сами придумывали доводы в пользу существующего порядка. В этом обмане находится большинство всех людей, не живущих прямо работой, но пользующихся работой других людей» (Там же. С. 196 – 197).

Здесь стоит добавить, что враг рода людского, самообман, с той поры значительно изоцирился в таком порабощении людей. «Жить прямо работой» для Толстого — значит жить на земле, в стороне от городских соблазнов, земледельческим трудом. В России 2022 – 2023 гг. большинство живёт в «оазисах» крупных городов, либо, как минимум, зависит от них, и, по всем опросам, поддерживает военные преступления путинского режима в Украине. Но если бы опросы провели не среди обитателей и рабов городской цивилизации, а людей обеспеченных и свободных, не связывающих себя даже границами государств, часть из которых давным-давно живёт за пределами крупных городов, а некоторые, по влечению разума и сердца,

занимаются работами в поле, саду или огороде — ответы и результаты были бы совершенно иными!

Наконец, называет Толстой и пятый, вытекающий из названных выше — то есть самый страшный, самый *вяжущий* людей по рукам и ногам, системно и технологично (технологии информационные действуют в этом отношении не хуже верёвок) поработавший их обман:

«...Тот самый, который выдуман и поддерживаем этими самыми <людьми>, находящими свою выгоду в существующем порядке вещей, состоит в том, чтобы, признавая неправильность, жестокость, бессмысленность существующего порядка вещей, предлагать всякие отдалённые способы уничтожения этого зла, кроме первого и самого простейшего, состоящего в том, чтобы не участвовать в том, что считаешь злом, — не давать деньги на войну, если считаешь её злом, не участвовать в организации войска, не служить в нём» (*Там же. С. 197*).

Это самообман всей той сволоты в путинской России, которая в 2022-м году вождеюще ринулась, по зову своего кремлёвского фюрера, на разорение Украины, на мародёрства и убийства, а в последующие за крахом путинизма годы будет желать себе льгот и общественного уважения, либо уж, как минимум, находить оправдания в духе того, что, мол, ей, сволоте, «выбирать не приходилось»!

А выбор, на самом-то деле, есть у человека всегда. Космос нигде не заколочен досками... Отдельным личностям и народам надо очень далеко зайти по пути самопорабощения, поддерживая то или иное зло лжехристианского мира, чтобы оказаться в фатальном, безальтернативном состоянии. Влечёт же их в это состояние религиозное безверие и детища его: страхи, ненависть, корысть...

«Разговорами, газетами, книгами, брошюрами, театральными представлениями» люди-обманщики прикрывают личный свой интерес, в прошлом либо настоящем. Любые возражения с позиций христианского религиозного понимания жизни обличают их, и оттого они, не возражая Богу и Христу (проповедникам Истины) по существу — чаще всего реагируют посредством выделения контрпродуктивных эмоций: облака ненависти, в котором растворены частицы обмана, привитого им либо принятого ими на веру и постепенно материализовавшегося в биохимии их мозга, в нервной системе, в жидкостях и мягких тканях тела...

Те, кто поддаются от них эмоциональному заражению, в особенности в среде семейной, или иных замкнутых пространствах, в особенности в местах недобровольного пребывания (семья и школа для детей, сумасшедший дом, тюрьма, казарма и под.) становятся часто

их единомышленниками, быстро забывая, «что власть в руках правительств, и правительства допускают разговоры, газеты, книги, театральные представления, которые не могут повредить ему»:

«Правительства никогда не ошибаются в том, что для них вредно, не ошибаются, как не ошибается животное, защищая свою жизнь. Что вредно, они тотчас же прекращают штрафом, судом, высылкой, казнью, а что безвредно, они тому покровительствуют, зная, что ничто твёрже не обеспечивается нашим правительством, как либеральная болтовня в палатах, газетах и собраниях. Вот от этих-то всех обманов надо освободиться и прямо взглянуть правде в лицо и, поняв правду, поступить согласно с нею» *(Там же. С. 198)*.

И далее Толстой отвечает прямо на главное сомнение патриотично заражённых, любящих Италию, которая с той поры, по их наивности или продажности, злонамеренности, уже пережила свой фашистский период, а равно и любящих Россию, переживающую таковой период в наши дни:

«Но если итальянцы поступят так, то Италия не будет великая держава.

Да, Италия не будет более великая держава, если большинство итальянцев откажется от военной службы. Но дело в том, что задача человечества состоит теперь не в том, чтобы образовать великие державы, а в том, чтобы уничтожить великие державы, те самые, от которых происходят все бедствия народов, а соединить все народы в одну семью без разделения на державы и вражды, вытекающей из такого деления.

Если итальянцы, большинство, [...] откажутся повиноваться и уйдут из армии, то правда, что итальянцы перестанут быть великой державой, но станут великим народом, стоящим, как они всегда стояли, впереди цивилизации. Сама судьба призывает теперь итальянцев к тому, чтобы сделать первый шаг на ту высшую ступень цивилизации, перед которой вот уже сколько веков топчутся христианские народы, не решаясь подняться на неё» *(Там же)*.

Конечно, обращение Льва Николаевича, даже будучи широко опубликовано, не вызвало бы такого шага достаточно крупной, мировоззренчески «рыхлой» и информационно не объединённой в ту эпоху общности. Толстой не мог не понимать этого — быть может, вспомнив, пища вышеприведённые строки, что и сам в 1854 – 1855 гг. возмущался не войной, как таковой, с религиозных позиций, а — с позиций гуманистических и радеющих за «державу» — нищетой и беспорядком солдат, воровством офицеров, телесными наказаниями, дурными вооружением и управлением войсками, и всем тем, что

сделалось “слагаемыми” российского поражения в Крымской войне. Таков был протест и итальянцев: о том, что *не победили*, опозорились, а не по поводу несоответствия военных действий христианским идеалам! Что же касается победителей, древней христианской общности в Африке, они, как в наши дни украинцы, были правы не перед Христовой, недостижимой в условиях гибельных, условиях выживания, но перед древнейшей, *ветхозаветной библейской* Божьей правдой: той, которая в поединке Давида с Голиафом отдала победу смиренному и праведному любимцу, избраннику Бога.

Христианская традиция рассматривает битву Давида с Голиафом как символ победы Божьего царя над врагами Бога и как прообраз будущей победы Иисуса над повреждением ветхого человека грехом и Церкви над Сатаной. В наши дни церковь российского православия открыто поддерживает запрещённые ещё Ветхим Заветом, ещё Моисеевым законом для евреев, совершенно недопустимые для учеников Христа, убийства людей в Украине, равно как жестокость по отношению к слабым, к неудобным в России: начиная с женщин и детей в семьях и кончая оппозиционными воро-палаческому режиму В. В. Путина политическими персонами. Поэтому даже эта, выражающая еврейское, дохристианское непонимание легенда в наши дни обращается против агрессоров из болот Московии — в поддержку поставленного в условия выживания, убиваемого озверелыми негодьями народа Украины.

Божий мир един, одно хозяйство, предоставленное Отцом всем Его детям — всехняя учебная и творческая Мастерская. Условие продуктивного сотворчества в ней — повиновение Хозяину, дисциплина и согласие. Условия согласия — вера живая, руководящая помыслами и поступкам человека, Церковь и общинность. Путь же к такому самоуправлению и согласию — тот демократический, пока в государственных рамках, строй, которого стараются держаться наиболее прогрессивные страны и народы. Таким образом, и Абиссиния (Эфиопия) перед милитаристской Италией 1890-х и 1930-х, и ориентирующаяся на европейские демократические ценности Украина 2020-х перед воровским паханатом с самоназванием Российская Федерация, безотносительно к разному отношению к вере в этих странах — так же правы и благословенны Богом, как благословен был маленький еврейский пастух Давид.



И. Е. Репин. Давид и Голиаф. 1915 г.

Сказанное не отменяет христианского идеала, заявленного уже в «Войне и мире», в той сцене (Т. 3, ч. 1, гл. XVIII), где Наташу Ростову смутили моления в церкви о победе оружием над Наполеоном — уподобленной в состряпанной угодливым Синодом молитве победе Давида над Голиафом. И через много лет, в письме к переводчику (впоследствии так же биографу и помощнику в деле переселения из России духоборов) Эйльмеру Мооду от 27 января 1900 г. Толстой убежденно аттестует себя как противника «добра с кулаками» (камнями, пулями и проч.):

«Я не могу сочувствовать никаким военным подвигам, хотя бы это был Давид против десятка Голиафов, а сочувствую только тем людям, которые уничтожают причины: престиж золота, богатства, престиж военной славы и главную причину всего зла — престиж патриотизма и ложных религий, оправдывающих братоубийство» (72, 289 – 290).

* * * * *

Итак, заявленные Львом Николаевичем христианские идеалы не могли быть расслышаны в 1896-м ни одной из сторон — как не слышит их, к несчастью, и современный мир, секуляризованный и склонный к скептицизму и атеизму. Вероятно, именно понимая эти

особенности состояния сознания *большинства* из тех, к кому адресовался, Лев Николаевич Толстой отказался от публикации за границей статьи, нелегальное распространение которой в России могло бы вызвать лишь преследования полицией и напрасные страдания его христианских единоверцев и помощников.

* * * * *

Помимо вышеупомянутой публикации в 1935 году в большевицких «Известиях», её идейное содержание — и духовное наследие Льва Николаевича в целом — находили в ту эпоху великих насилий и более соответствующее мировоззрению Льва-учителя применение. *Почти в один день* с публикацией «коммунистов», прочитанной миллионами, но лживой, служившей выставлению сталинского Совка-СССР «мирной» овечкой, хотя и с волчьей шкурой («бронепоезд на запасном пути»), 6 октября 1935 г. было написано в СССР нигде не опубликованное и чудом дошедшее до нашего времени письмо к *Бенито Муссолини* (1883 – 1945). Автором его был один из чудесных лвьят Льва Николаевича — *Митрофан Семёнович Дудченко* (1867 – 1946), общинник и создатель толстовских общин-коммун с 1889 г., а в то время хуторянин Сумского уезда Харьковской губ. (с 1932 г. – Харьковская обл.), занимавшийся земледелием. В 1926 – 1930 гг. Дудченко переписывался с Роменом Ролланом, получил 5 писем [хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (Москва)]. Переписывался также с Максимом Горьким, Стефаном Цвейгом, с руководителем национально-освободительного движения в Индии Махатмой Ганди и, конечно, с рядом старых друзей толстовцев, включая жившего тогда в Праге (Чехия) последнего секретаря Толстого *Валентина Фёдоровича Булгакова* (1886 – 1966). В конце 1920-х гг. Валентин Булгаков стал членом «Интернационала противников войны» и приобрёл множество связей с деятелями антивоенного и ненасильственного протеста, переписывался с Роменом Ролланом, Альбертом Эйнштейном, Николаем Рерихом, Стефаном Цвейгом и др.

В октябре 1935 года Митрофан Семёнович отправил старому другу и духовному собрату-единоверцу во Христе письмо, приложением к которому было другое послание, датированное 6 октября, к Бенито Муссолини, на французском языке (в надежде, что не прочтут коммунистские перлюстраторы), которое Дудченко просил, сделав нужный перевод, через влиятельных лиц, довести до «его светлости» (РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 644;

цит. по: <https://pandia.ru/text/77/497/5379.php>).

Вот полный текст приложенного письма (пропущенное в публикации слово восстановлено по смыслу. – Р. А.):



Митрофан Семёнович Дудченко

«Уважаемый брат.

С этим открытым письмом к вам обращается один из горячих сторонников мира, часто выступавший с протестом против насилия и убийства — житель Украины, около 50 лет занимающийся земледелием и в то же время являющийся активным членом Интернационала противников войны.

Я обращаюсь к вам не для того, чтобы осудить Вас, как одного из вдохновителей и виновников тех бессмысленных массовых убийств, происходящих сейчас в Абиссинии, а для того лишь, чтобы не остаться равнодушным к тому ужасному делу, называемому войной, которое как пожар готово вспыхнуть и среди всех других непрерывно вооружающихся народов.

И мне хочется прежде всего спросить Вас как человека, которому не чуждо всё человеческое: — Для чего нужно Вам всё то, что вы делаете? — Для чего нужна Вам кровь Ваших братьев, сестёр и их детей, проливаемая при столь постыдных условиях, — при условиях, когда итальянцы, называя себя цивилизованными и вооружённые по последнему слову продажной науки нападают на сравнительно безоружных людей — абиссинцев, которым приходится рассчитывать лишь на свою храбрость, свою самоотверженность?

Если вы не под влиянием пустого тщеславия, а искренно думаете таким образом служить своему народу, то ведь Вы должны же знать, что истинное добро для всякого человека есть то, что становится добром и для всех людей и *не может быть того, чтобы счастье какого-либо народа было бы построено на несчастьи других народов*. В этих словах для всякого просвещённого человека заключается такая же непреложная истина, как истинно то, что *нужно с другими поступать так, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди...*

Какими же великими [злодеями] оказываются те, которые наперекор естественному в человеке чувству доброжелательности воспитывают в людях такие страсти, возбуждаемые войной, как международная ненависть, жажда победы или мщенья и пр. — страсти, превращающие высшие общественные инстинкты в низменное безрассудное самолюбие, называемое патриотизмом.

И таким виновником, несущим на себе тяжкую ответственность за преступление многих являетесь Вы в большей мере, чем кто-либо другой...

Мне неизвестно, какого жизнепонимания держитесь Вы, но я несколько не сомневаюсь, что Вы не социалист, по сколько Вы отрицаете на деле братство всех людей и народов, и не считаетесь с тем, что рабочие то и крестьяне (— этот предмет особого почитания среди социалистов), составляя собой ряды армии, преимущественно и страдают от войны.

Нечего уж говорить о том, что Вы и не христианин. Ибо Христианство кладёт конец тому неустройству жизни, при котором народы принадлежат одному или многим господам, как стада принадлежат своему хозяину. Оно учит тому, что будучи равны перед Богом, люди свободны друг перед другом, что никто не может сам по себе иметь власти над своими братьями и что власть не может быть правом, а в общественном устройстве она есть только должность, служение...

Итак, в настоящем смысле этих слов Вы не социалист и не христианин. — Так кто же вы? — Пусть совесть Ваша подскажет Вам свой искренний ответ.

Практически же, как представитель власти, Вы являетесь типичным сообщником известного круга тех правительственных воротил, которые в перегонку военизируют каждый свой народ, якобы для оберегания его от неприятелей, а на самом деле — для более прочного удержания власти над ним.

Знайτε же, что такого рода Ваша заботливость об интересах народа уже не нужна людям. Она слишком дорого обходится и в материальном, а особенно в нравственном отношении. А помимо того люди всех обществ в мире, не смотря на свою сравнительную дикость, достигли уже того уровня, при котором всякие свои конфликты они научились разрешать судебным порядком, а не при помощи кровопусканий.

Отчего бы таким же способом не разрешать им и своих международных конфликтов??.

Но к сожалению подобным Вам управителям трудно стать на этот мирный путь. С ног до головы вооружённые, — прежде всего для защиты своей власти и привилегированного положения как своего так и всего господствующего класса в каждой стране они тянут под гору, (а может быть в пропасть) тот с тяжелой нагрузкой воз милитаризма, который, толкая их, не позволяет им ни на минуту остановиться и одуматься.

Аппетиты же и буржуазные потребности этих, строго говоря, всегда тиранических организаций склонны так бесконечно расширяться, что они неизбежно входят в столкновения с другими, такого же рода иноземными организациями.

И настоящий выход из такого кошмарного положения — только в том, чтобы во имя требований правды и своего человеческого достоинства отказываться от всяких видов насилия, отказываясь в то же время и от тех благоприобретённых привычек к роскоши, которые больше всего побуждают людей к насилию над братьями своими.

Нечего говорить о том, что тот же путь чистоплотной жизни со включением трудовой взаимопомощи вместо конкуренции и борьбы стоит и перед всеми гражданами всех стран, кто бы они ни были по своему положению для достижения всеобщего мира.

И к счастью по этому пути давно идут лучшие люди всех времён и народов, мужественно отказываясь от военной и государственной службы и согласуя свои поступки только с требованиями своей совести.

Много или мало людей, идущих в таком направлении и найдутся ли дипломаты, способные проникнуться такими идеями — не в этом дело! И нам нечего дожидаться их, как незачем ласточке откладывать свой весенний перелёт, в ожидании других ласточек.

А важно и радостно то, чтобы каждый из нас, доверившись силе объединяющей всё родственное в мире, был готов идти вперёд и самоотверженно выполнять свой долг, сознавая, что единственное и могущественное средство для того чтобы всем стало хорошо, заключается только в том, чтобы самому сделаться лучше, т. е. добрее, благороднее.

Подумайте же, брат, ради всего святого обо всём том, что с чувством искренней доброжелательности я высказал Вам и перестаньте проливать братскую кровь! От Ваших решений зависит многое.

М. Дудченко

6 окт. 35 г.» *(Там же. Выделения наши. – Р. А.)*.

В отличие от знаменитого письма 1902 г. из Крыма тяжело болевшего Л. Н. Толстого к «любезному брату» императору Николаю II, судьба этого послания неизвестна: сохранился только черновой его текст в архиве Дудченко, в России.

Как и Митрофан Семёнович Дудченко, Валентин Булгаков не мог, как христианин, ненавидеть возродителей имперства — ни сталинских, ни гитлеровских. Но он ненавидел грех и зло, творимые в сталинском СССР и в гитлеровской Германии под благовидными лозунгами и посулами. По этой же причине оба духовных ученика Льва учителя, Толстого-христианина, доживи они до нашего времени, прокляли бы зло и ложь путинской России. Таким образом, идейное содержание публицистического послания Л. Н. Толстого «К итальянцам» сохраняет свою актуальность, и не утратит её, пока человечество не обезопасит себя от подобных Гитлеру, Путину, Сталину палачей у власти и не приблизится к христианскому идеалу единения в Истине и в Боге, проповеданному Львом Николаевичем и в этой статье.

6. 5. «ПРИБЛИЖЕНИЕ КОНЦА». 1896

...Если военная служба, как вы говорите, очень нужна, то устройте её так, чтобы она не была в таком противоречии с моею и вашею совестью. Пока же вы не устроили этого, а требуете от меня того, что прямо противно ей, я никак не могу повиноваться.

(Лев Николаевич Толстой)

6 сентября 1896 года Ясную Поляну в очередной раз навестил известный музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист, общественный деятель, хороший друг Толстого и всего семейства, *Владимир Васильевич Стасов* (1824 – 1906). В один из трёх дней безмятежного гощевания он предложил Толстому помощь в переписывании черновиков — чем в то время занимались дочери Льва Николаевича Татьяна и Мария. В мучительно шокировавших его неразборчивостью «бесчисленных, миллион раз перечёркнутых каракулях» он наконец разобрал, по собственному выражению, «знатную вещь»: то была «рацея по поводу письма к Толстому, из Амстердама, некоего Вандервера, молодого социалиста, который отказался от “военного призыва”. Какое это письмо! Но тоже, какой к нему десерт и соус самого Льва!!!» (*Цит. по: Опульская Л. Д. Материалы к биографии Льва Николаевича Толстого. 1892 – 1899. М., 1998. С. 219*). Характерен такой отзыв Толстого Стасову о тогдашней другой своей, столь же “нецензурной”, работе, «Письме к либералам»: «Покуда это не будет напечатано за границей, до тех пор никому этого не читать в России» (*Там же*). Стасов был в восторге от обеих «чудных» вещиц, и даже назвал Толстого, весьма для него лестно, «воскресшим Герценом» (*Там же. С. 220*). Но то, что порадовало Владимира Васильевича, совершенно не радовало жену писателя, Софью Андреевну, опасавшуюся преследований мужа по закону, которые негативно отразились бы и на судьбе семьи. Стасов свидетельствовал в письме к брату: «Она собиралась мешать ему печатать обе его новые чудные статьи [...] а я доказывал ей, что она не имеет права вмешиваться в его творческие дела и что она там не судья» (*Там же*).

Стасов при этом напрасно не обозначил, что испугал Софью Андреевну сам: по её воспоминаниям, он, «по своему обыкновению громко

крича» стусил краски, вызвав у Софьи Андреевны впечатление, что «эти письма-статьи были всё смелые, вызывающие, протестующие и, конечно, противоправительственные». Софья Андреевна написала супругу «довольно резкое письмо», но в следующем письме, уяснив дело, просила мужа её простить. Он и простил, но не преминул подчеркнуть, «что не может руководиться её желаниями и советами и рассуждать о том, опасно или не опасно, а всегда будет писать то, что считает нужным по совести и своим убеждениям» (*Толстая С.А. Моя жизнь: В 2-х кн. М., 2014. Книга вторая. С. 454 – 455*).

Характеристическая отповедь! Желала того Соня Толстая, или нет, а переездом с семьёй в начале 1880-х в Москву, изданием, ради доходов для семьи, но в огромных объёмах, сочинений мужа и столь же огромной рекламой его и книг, и благотворительной деятельности в 1891 – 1893 гг., годы неурожая, голода и эпидемий в ряде российских губерний — она посеяла ветер огромных перемен в жизни и своей, и семьи, и Льва Николаевича, и тысяч других людей. Неизвестно, появился бы и вовсе рассчитанный на общественный резонанс, даже своего рода «переворот» в сознании читателей, трактат Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас», если бы не московские знакомства 1-й половины 1880-х, не всё нараставшее во второй половине десятилетия внимание к Толстому журналистов и переводчиков из разных стран, не обращение Софьи Андреевны осенью 1891 года за помощью благотворительной инициативе Льва Николаевича в газеты — неожиданно для обоих супругов вызвавшее резонанс во всём мире... Перевод же на европейские языки и нелегальное распространение в России указанного трактата, вместе с сочинениями «В чём моя вера?», «Исповедь» и «Краткое изложение евангелия», вызвали волну христианских отказов молодых призывников от военной службы.

Например, в России Льва Николаевича встревожил и порадовал своим отказом талантливый сподвижник Станиславского, в будущем выдающийся театральный режиссёр, не менее талантливый художник, очень даже и внешне красивый, гармонично с умом и благородством души, молодой человек, единомышленник во Христе, *Леопольд Антонович Сулержицкий («Суллер»; 1872 – 1916)*.

В 1889 – 1894 гг. Сулержицкий учился в московском Училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомился со старшей дочерью Толстого, Татьяной Львовной. Он часто бывал в доме Толстых. Не будучи, как все умные единомышленники Толстого «слепым», бездумным последователем, «Суллер» принял разумом и любящим сердцем учение Христа именно через Льва Николаевича. В середине ноября 1895 года состоялся отказ Леопольда Антоновича от военной

службы. За это он был причтён сперва к злодеям, арестован и заперт, для устрашения, в одиночную камеру, а затем — к безумцам, и отправлен в отделение для душевнобольных при военном госпитале в Москве.



Леопольд Антонович Сулержицкий

Об этих событиях есть упоминание в дневнике Толстого 7 декабря 1895 г.: «Суллер отказался от военной службы. Я посетил его» (53, 72). Своему последователю Евгению Ивановичу Попову 30 ноября 1895 г. Толстой писал из Москвы: «Жаль, что вы не посетили сейчас страдающего Сулержицкого. Я на днях был у него и был тронут и поражён его простотой, спокойствием и благодушием. У него настоящий внутренний переворот, ему хорошо везде» (68, 268). Об этом Толстой писал и другому своему львёнку во Христе, Петру Николаевичу Гастеву 7 декабря 1895 г. В этом письме писатель не просто рассказал новости об отказнике, но и дал свою характеристику Сулержицкому: «Он сидит в отделении душевнобольных в военном госпитале на испытании в умственных способностях. Он очень живой, общительный и искренний человек и очень твёрд в своём решении. Мы посещаем его. Нынче была Софья Андреевна и всё своё красноречие употребляла на то, чтобы отговорить его. И я был очень рад этому. Опаснее всего для души обмануться в своих силах и начать строить башню, не имея средств достроить» (Там же. С. 274).

Именно в таком настроении, под впечатлением отказа милейшего Леопольда, а кроме того известий о другом отказнике, *Петре Васильевиче Ольховике* (1875 – ?) (тот был арестован и отправлен из

Одессы пароходом во Владивосток, а по пути умудрился «заразить» своими взглядами конвойного солдата Середу), Толстой 17 ноября получил *второе* письмо от голландского писателя и журналиста, пацифиста *Ж. Ф. Ван Дейля* (Van Düyl; 1857 – ?), в котором тот рассказывал о своих лекциях для молодёжи, посвящённых, в частности, и проблематике отказа от призыва и солдатчины. На следующий день, 18 ноября, совершенно заинтересовавшись, Лев Николаевич ответил Ван Дейлю письмом (оригинал на французском языке), в котором интересовался его профессией и религиозными убеждениями, а кроме того излагал свою позицию в отношении всех «колеблющихся» религиозных отказников. Приводим ниже эту часть письма в полном виде.

«Затруднение, которое вы встретили в ответе молодого человека, который хотел бы следовать требованиям своей совести и в то же время чувствует невозможность покинуть и огорчить свою мать, это затруднение я знаю, и мне приходилось несколько раз отвечать на это.

Учение Христа не есть учение, которое требует известных поступков, соблюдения или воздержания от известных поступков, учение Христа ничего не требует от тех, кто хочет следовать ему; оно состоит, как говорит само слово “евангелие”, в познании истинного блага человека. Раз человек понял и проникся идеей, что его истинное благо, благо его вечной жизни, той, которая не ограничивается этим миром, состоит в исполнении воли Бога, и что совершать убийство или готовиться к убийству, как это делают те, кто становятся военными, что это противно этой воле, тогда никакое соображение не может заставить этого человека действовать противно своему истинному благу. Если есть внутренняя борьба и если, как в том случае, о котором вы говорите, семейные соображения берут верх, это служит лишь доказательством того, что учение Христа не понято и не принято тем, кто не может ему следовать, это доказывает только, что он хотел бы казаться христианином, но не таков на самом деле.

И вот почему я нахожу бесполезным и часто даже вредным проповедовать известные поступки или воздержание от поступков, как отказ от военной службы и другие поступки того же рода. Нужно, чтобы все действия происходили не из желания следовать известным правилам, но из совершенной невозможности действовать иначе. И потому, когда я нахожусь в положении, в котором вы очутились перед этим молодым человеком, я всегда советую делать всё то, что от них требуют: поступать на службу, служить, присягать и

т. д. — если только это им нравственно возможно, ни от чего не воздерживаться, пока это не станет столь же нравственно невозможным, как невозможно человеку поднять гору или подняться на воздух. Я всегда говорю им: если вы хотите отказаться от военной службы и перенести все последствия этого отказа, старайтесь дойти до той степени уверенности и ясности в христианской истине, чтобы вам стало столь же невозможным присягать и делать ружейные приёмы, как невозможно для вас задушить ребёнка или сделать что-нибудь подобное.

Но если это для вас возможно, то делайте это, потому что лучше доставить лишнего солдата, чем лишнего лицемера или отступника учения, что случается с теми, кто предпринимает дела свыше своих сил. Вот почему я убеждён, что христианская истина не может распространяться проповедью известных внешних поступков, как это делается в мнимо христианских религиях, но только разрушением и обличением соблазнов и обманов и, особенно, убеждением, что единое истинное благо человека заключается в исполнении воли Бога, которая есть не что иное, как закон и назначение человека.

В ту минуту, как я вам пишу, два молодых человека из моих друзей заключены один в тюрьму, другой в сумасшедший дом за отказ от военной службы. Один из них <Сулержицкий. – Р. А.> — молодой живописец в Москве. И вот я стараюсь как можно меньше влиять на него в деле его отказа, потому что я знаю, что для того, чтобы перенести все испытания, которые ему предстоят, ему нужна сила, которая не может прийти извне, нужно твёрдое убеждение, что его жизнь не имеет другого смысла, как только в исполнении воли Того, Кто его сюда послал. А это убеждение складывается внутри. Я могу помочь образованию его, но не могу его ему дать, я боюсь больше всего заставить его поверить в то, что у него есть убеждение, когда его у него нет» (68, 259 – 260).

Диалог с голландским журналистом и пацифистом на этом не прервался. 12/24 августа следующего, 1896 года, поздравив Толстого с днём рождения, голландец прислал писателю копию письма к нему Джона К. Ван-дер-Веера (Van der Veer; 1867 – 1925), рабочего-наборщика и социалиста из Миддельбурга (Голландия). Тот несколько раз отбывал тюремное заключение за пропаганду социализма среди рабочих, а с 1891 по 1896 гг. был постоянным сотрудником социалистической газеты. Позднее, не без влияния Толстого, Джон Ван-дер-Веер увлёкся анархизмом и редактировал журнал «Vrede» («Мир»).

Осенью 1896 г. Ван-дер-Веер выступил на конгрессе социалистов в Амстердаме с докладом «Непротивление», прочитанным Толстым с

радостью. В отличие от Толстого, избегавшего публичных выступлений, Ван-дер-Веер показал себя талантливым оратором. По наблюдениям присутствовавшего на его выступлениях Альберта Шкарвана, Ван-дер-Веер «воистину оратор того калибра, какие умели подымать революции. Он и поднимает её, хотя и не ту, которую принято подразумевать под этим словом» (Цит. по: Шкарван А. [Из частного письма] // Листки «Свободного слова». 1898. № 1. С. 49). А. Шкарван имеет в виду, конечно же, «толстовскую», ожидавшуюся духовным учителем, революцию: пробуждение сознания масс к христианскому религиозному пониманию жизни.

Копия письма, доставленная Ван Дейлю и переведённая им с голландского языка на французский, была послана Толстому. Послание содержало текст вот такого заявления, написанного Ван-дер-Веером командиру национальной гвардии Миддельбургского округа Герману Снейдерсу:

«НЕ УБИЙ»

Милостивый государь!

Прошлую неделю я получил бумагу, в которой мне было приказано явиться в городскую думу для того, чтобы согласно закону быть зачисленным в национальную гвардию. Как Вы, вероятно, заметили, я не явился; и настоящее письмо имеет целью довести до Вашего сведения откровенно и без обходов, что я не намерен явиться перед комиссией; я хорошо знаю, что подвергаю себя тяжёлой ответственности, что Вы можете меня наказать и не преминете воспользоваться этим Вашим правом. Но меня это не страшит. Причины, побуждающие меня проявить этот пассивный отпор, представляют для меня достаточно значительный противовес этой ответственности.

Лучше, чем большинство христиан, я, будучи, если угодно, не христианином, понимаю заповедь, стоящую во главе этого письма, — заповедь, присущую человеческой природе и разуму. Будучи ещё ребёнком, я позволял обучать себя солдатскому ремеслу, — искусству убивать; но теперь я отказываюсь! В особенности я не желаю убивать по команде, что является убийством против совести, без всякого личного побуждения или какого-либо основания. Можете ли Вы мне назвать что-либо более унижительное для человеческого существа, нежели совершение подобных убийств или резни? Я не могу ни убить, ни видеть убийства какого-либо животного, и для того, чтобы

не убивать животных, я сделался вегетарианцем. А в настоящем случае мне могли бы "приказать" стрелять по людям, никогда не сделавшим мне никакого зла: ведь не для того же, я полагаю, обучаются солдаты ружейным приёмам, чтобы попадать в листья или ветки деревьев.

Но Вы, быть может, скажете мне, что национальная гвардия должна также и прежде всего содействовать поддержанию внутреннего порядка.

Господин командир, если бы действительно порядок царствовал в нашем обществе, если бы общественный организм был на самом деле здоров, другими словами: если бы не было таких вопиющих злоупотреблений в общественных отношениях, если бы не было дозволено, чтобы один умирал с голода в то время, как другой может позволить себе все прихоти роскоши, — тогда Вы увидели бы меня в первых рядах защитников этого порядка; но я безусловно отказываюсь содействовать поддержанию теперешнего так называемого порядка. К чему, господин командир, пускать друг другу пыль в глаза? Ведь оба мы отлично знаем, что означает поддержание этого порядка: поддержку богачей против нищих тружеников, начинающих сознавать свои права. Разве мы не видели роли, которую, во время последней стачки в Роттердаме, сыграла Ваша национальная гвардия: без всякого основания эта гвардия должна была целыми часами находиться на службе для того, чтобы защищать имущество угрожаемых торговых фирм. И можете ли Вы на одну минуту предположить, что я поддамся участию в защите людей, которые, по моему искреннему убеждению, поддерживают войну между капиталом и трудом, — что я буду стрелять в рабочих, действующих всецело в пределах своего права. Вы не можете быть настолько слепы! Зачем же усложнять дело? Не могу же я, на самом деле, позволить вылепить из себя послушного национального гвардейца, такого, какого Вы желаете и какой Вам нужен.

На основании всех этих причин, но в особенности потому, что я ненавижу убийство по команде, я и отказываюсь от службы в качестве национального гвардейца, прося Вас не присылать мне ни мундира, ни оружия, так как я имею непреклонное намерение не употреблять их.

Приветствую Вас, господин командир.

И. К. Ван-дер-Вер» (31, 78 – 80).

Любопытные детали, наверняка восхитившие Толстого: заповедь «Не убий» вегетарианец Ван-дер-Веер назвал «заповедью, присущей человеческой природе и разуму» и поставил её эпиграфом к своему заявлению. Особенное же отвращение у голландского антимилитариста вызывали, по его словам, убийства по приказу — то есть повинование власти нравственно низших, худших людей. Он указывает на их бессмысленность, жестокость и на малодушие тех, кто их исполняет.

А вот неубедительные попытки объяснения неизбежности убийств необходимостью поддержания внутреннего порядка в стране Ван-дер-Веер опровергает уже, скорее, в духе социалистических теорий, очевидно, как и прежде, увлекавших его. Например, в утверждении, что гвардию используют для защиты богачей от нищих.

Льву Николаевичу, конечно же, оказались близкими не социалистические взгляды голландца, а именно те движения его в сторону близких ему религиозных убеждений, о которых тот сообщал в письме к Ван Дейлю. Текст этого письма Толстой включит позднее в статью «Приближение конца».

«Cher ami! [*фр.* Дорогой друг!] ...Вы мне ближе, чем многие лица, живущие около меня», — с такой интимности начал Толстой письмо к Ван-дер-Вееру от 23 августа 1896 г. (69, 126. *Оригинал на франц.*). По особенностям своей психологии, о которой хорошо знала жена писателя Толстой, успевший, по одному письму, составить о Джоне Ван-дер-Веере самое положительное заочное представление, старался и диссонирующие с этим образом детали из того же письма «подогнать» под этот идеальный образ. Вот в основном текст его письма голландцу:

«Вы говорите в вашем письме, что вы не христианин; но вы не можете не быть таковым, так как поступок ваш мог вытечь только из христианского начала, заключающегося в признании цели своего существования не в благе своей личности, но в осуществлении истины и общего блага, иначе говоря — в осуществлении воли Божьей и установлении Его Царства на земле.

Мне в особенности понравилось в вашем письме то, что вы указали на бессмысленность, жестокость и малодушие убийства по команде. Я понимаю, что для человека, никогда не задумывавшегося над тем, что он делает, поступая в солдаты и обещаясь повиноваться первому встречному, который окажется его начальником, и убивать всех тех, кого он прикажет убить, положение солдата может и не казаться преступным, но я никогда не мог понять, как человек, раз понявший всё значение того, что он делает, обещаясь вообще повиноваться, а тем более в деле убийства, своим начальникам, — может согласиться

быть солдатом. Для того, чтобы образованный человек нашего времени отказался от военной службы, нужно только, чтобы он был честен [...].

Пусть Бог, — тот Бог, Который руководит вашей совестью и внушил вам ваш поступок, — поддержит вас в ожидающих вас испытаниях.

Если сознание того, что есть люди, высоко ценящие ваш поступок и любящие вас, может доставить вам некоторое удовлетворение, то знайте, что все мои друзья, которым я отчасти уже сообщил и ещё сообщу ваше письмо, находятся и будут находиться с вами в сердечном и душевном единении. Не говоря о том, что делается вне России, есть в настоящее время между нами несколько лиц из разных слоёв — крестьян, учителей, студентов, которые так же, как и вы, отказались от военной службы и с твёрдостью переносят последствия своего поступка.

Борьба завязывается со всех сторон, и ваш отказ, мотивированный с такой искренностью, разумностью и убеждением, с вашей особенной, совершенно независимой точки зрения, имеет, по моему мнению, большое значение» (69, 126 – 127).

В статье «Приближение конца» (1896) Толстой, в связи с заявлением Джона Ван-дер-Веера, подчёркивает значимость подобных отказов: нужно не столько следовать религиозной догме, (которая может ведь богословски перевернуться и *в пользу* воинской службы), сколько воздерживаться от участия в делах, противных здравому рассудку и достоинству человека: «...причины, выставяемые Ван-дер-Вером, так просты, ясны и так общи всем людям, что невозможно не применить их к себе» (31, 81).

Даже настаивание Ван-дер-Веера на том, что он не христианин, Толстой обращает в поддержку своих выводов о предстоящем в мире перевороте:

«От этого-то и особенно важен отказ Ван-дер-Вера. Отказ этот показывает, что христианство не есть какая-либо секта или исповедание, которого могут держаться одни люди и не держаться другие, но что христианство есть не что иное, как следование в жизни тому свету разумения, который просвещает всех людей. Значение христианства не в том, что оно предписывало людям такие или иные поступки, а в том, что предвидело и указывало тот путь, по которому должно было идти и пошло всё человечество.

Люди, поступающие теперь добро и разумно, поступают так не потому, что следуют предписаниям Христа, а потому, что то, что 1800 лет назад высказывалось как направление деятельности, теперь стало сознанием людей» (Там же. С. 83).

Старый мир, по великолепному образному сравнению Льва Николаевича, обречён сгореть в уже тлеющем огне Истины, сделавшей невозможным в настоящем рабство, а в будущем — и войну:

«Как пущенный по степи или по лесу огонь до тех пор не потухает, пока не выжигает всего сухого, мёртвого, и потому подлежащего горению, так и раз выраженная словом истина до тех пор не перестанет действовать, пока не уничтожит всю ту ложь, подлежащую уничтожению, которая со всех сторон окружает и скрывает истину. Огонь долго тлеет, но как скоро он вспыхнул, он сжигает всё сгорающее очень скоро. Так же и мысль долго просится наружу, не находя выражения; но стоит ей найти ясное выражение в слове, и ложь и зло уничтожаются очень скоро.

[...] ...Не только древние язычники — Платон и Аристотель, но люди близкие к нам по времени и христиане не могли себе представить человеческого общества без рабства. Томас Мур не мог себе представить и Утопию без рабства. Точно так же и люди начала нынешнего столетия не могли себе представить жизни человечества без войны. Только после наполеоновских войн была ясно выражена мысль о том, что человечество может жить без войны. И вот прошло сто лет с тех пор, как ясно была выражена мысль о том, что человечество может жить без рабства, и среди христиан уже нет рабства; и не пройдёт ста лет после того, что ясно была выражена мысль о возможности человечеству жить без войны, и войны не будет. Очень может быть, что уничтожится война не совершенно, как не совершенно уничтожено рабство. Очень может быть, что военное насилие ещё останется, как остался наёмный труд после уничтожения рабства, но во всяком случае будут уничтожены война и войско в той противной и разуму и нравственному чувству грубой форме, в которой они существуют теперь» *(Там же. С. 84).*

И, конечно же, Толстой снова выразил надежду на то, что «вся жестокая и безнравственная организация убийства», кажущаяся столь могущественной, безвозвратно рухнет, а отказы Ван-дер-Веера и таких же, сперва одиночных, его единомышленников могут сыграть роль тех капель воды, которые, просочившись сквозь плотину, повлекут за собой прорыв и всего потока *(31, 86).*

* * * * *

Автор послал статью постоянным своим в эти годы партнёрам по распространению «запрещёнки» — Эугену Шмитту, Джону Кенворти и Шарлю Саломону для перевода и публикации в иностранной пе-

чати. Впервые она была опубликована в октябре 1896 г. в парижской газете «Journal des Debats» под названием «Les temps son proches», в переводе Шарля Саломона и Поля Буайе.

В августе 1898 г. Ван-дер-Веера посетили словацкий отказник Альберт Шкарван и Христиан Абрикосов, оба последователи Толстого. Он жил к тому времени в Гааге и владел небольшой типографией, где печатал журнал «Vrede» и произведения Толстого. Его пригласили в Англию в толстовскую колонию Перлей (Perley) для руководства типографией. Ван-дер-Веер принял приглашение в надежде встретить проповедуемую Толстым идеальную братскую любовь, но застал колонии уже в стадии внутреннего разложения — кстати, под влиянием пропаганды его прежних единомышленников социалистов — и был глубоко разочарован и очень тяготился жизнью в новых условиях.

Приводим ещё некоторые подробности из статьи А. Шкарвана о Ван-дер-Веере, датированной 31 октября 1897 г. и впервые опубликованной в том же году в газетах "Ohne Staat" в Венгрии и в "New Order" в Англии, а оттуда перепечатанной бесцензурным лондонским изданием В. Г. Черткова «Листки "Свободного слова"».

«В Голландии нет, как во всех других государствах Европы, общей воинской повинности; там до сих пор действует старинная наполеоновская конскрипция, что вероятно и могло быть причиной того, что подобный непредвиденный "проступок" не мог быть подведён военным судом ни под какой другой параграф, как только под §§ "неповиновения начальству", за что, как самое большое наказание, полагается 14 дней одиночного заключения.

Но так как такого человека, который способствует распадению власти, этой связывающей силы государства, нельзя отпустить с таким лёгким наказанием, — и предполагая, что этим можно устрашить людей, которые захотели бы последовать подобному опасному примеру, а также потому что власти не могут обойти существующий закон, то потому, по истечении срока этого первого штрафа, различные военные власти послали Ван-дер-Вэру 16 приказов один за другим принять оружие, предполагая, что в 16 раз умноженный штраф должен сделать своё. На эти 16 приказов, к ещё большему посрамлению Устава о воинской дисциплине, Ван-дер-Вэр ответил 16 отказами повиноваться, последствием которых было назначено ему 3-х месячное заключение.

После этого известия долгое время мы не слышали более никаких подробностей о случае с Ван-дер-Вэром и это обстоятельство укрепило нас в предположении, что он находится ещё в Мидельбургской крепости.

В августе месяце 1897 года пришлось мне проезжать через Голландию, и я решил, если только мне это не будет воспрещено, повидать и побеседовать с Ван-дер-Вэром, с которым я чувствовал себя заодно, стремясь к одной и той же цели и идя по схожей с ним дороге.

К моему радостному удивлению, однако, я не нашёл его, как ожидал, в тюрьме, но уже бывшего давно на свободе, занятого изданием газеты "Vrede" — "Мир", в которой он энергично и смело указывает людям-братьям, выход из тины на дорогу, ведущую к лучшей жизни — к свободной жизни духа.

На мои вопросы, относящиеся к этому, Ван-дер-Вэр рассказал мне, что срок его наказания не был продолжен до конца, но что его, после 4-х недельного ареста выпустили на свободу по неизвестной причине.

Очевидно, однако, откуда происходило такое необычное великодушное правительства. Власти отлично знают, как невыгодно для их собственных интересов карать человека за то только, что он отказывается от употребления оружия и воздерживается от убийства; они знают, что столкновение с подобными людьми неизбежно покажет людям воочию всю гнилость, подлость и жестокость правительства и — тем яснее, чем энергичнее они будут карать его; во-вторых, они знают и то, что этим они не залечат нанесённой им раны, и что отпавший член уже не прирастёт. Что же остаётся делать правительству, попавшему в такую ловушку, из которой нет выхода, что остаётся им другого, как только избавиться по возможности скорее от такого опасного человека и на сколько возможно замолчать этот случай и вместе с тем собственное поражение?» (*Шкарван А. Листки Свободного слова, Лондон, 1898, № 1. С. 45 – 46*).

Чувствуется в этих строках наивность человека, хотя и испытывавшего тоже неприятные гонения за отказ от участия в военном палачестве, но совершенно не знающего той ожесточённости, на которые способен сволоблядский «русский мир», православная Рассеюшка: мученический исход судьбы Евдокима Никитича Дрожжина был хотя и хорошо знаком словаку, но... как-то "не помещался" массивностью своих подлости и жестокости в голове человека из Европы, представителя значительно более доброго нравом, религиозного, культурного и цивилизованного народа. С этой скидкой на наивность следует воспринимать и последующие за сведениями о Ван-дер-Веере оценочные суждения Альберта Шкарвана, из той же

статьи, по поводу отказов как Ван-дер-Веера, так и, оптом до кучи, многих других в те же годы:

«Однако и этот образ действия также не приносит правительству никакой помощи перед угрожающей опасностью, не доставляет ему никакой защиты перед надвигающимся концом. Распространение Истины прокладывает себе новую дорогу и ничто более не может затруднить её мощного течения.

Поступок Ван-дер-Вэра был как сигнальный призыв, на который откликнулись все те, которые желают принять участие в той же борьбе.

Я нашёл в Голландии группу людей, которые все совокупно не только убедились в современной государственной и общественной лжи, но также знают, где надо искать лечебного средства против недуга всего человечества, и видят истину там, где она есть на самом деле, т. е. в неискажённом христианстве.

[...] Часто можно слышать следующее мнение относительно военных отказов: "хотя этот поступок и происходит из хорошего намерения, но он всё же бесполезен, так как тот, кто поступает так — погибает, а военщина, вместе с государством и всем пагубным общественным порядком, продолжает существовать".

Но подобные соображения оказывают только то, что у этих людей нет верного понимания христианской жизни и её значения, — ибо на деле всякий отказ, совершенный на почве разума и совести есть непоправимое повреждение в государственном организме, есть оставший и выпавший кирпич из свода, покрывающего и посредством своей тяжести скрепляющего всё здание настоящего общественного строя. Сначала из громадного множества кирпичей, составляющих свод, отстаёт один, затем отстаёт второй, третий... десятый. Но так как при этом явлении здание по-прежнему продолжает стоять, то поверхностный наблюдатель думает, что выпадение из свода одиночных кирпичей не важно и не имеет значения. Но не так думает тот, кто знает, какие условия нужны для того, чтобы свод держался; такой человек каждый раз содрогается внутри, когда новый кирпич свода отстаёт от своего места, зная, что, при известных обстоятельствах, выпадение хотя бы ещё одного кирпича на должном месте — может заставить рухнуть целое здание.

Перемена к новой лучшей жизни человечества немислима без прекращения государства; а прекращение государства немислимо без прекращения милитаризма, который скрепляет государство; прекращение же милитаризма немислимо, пока люди не перестанут быть солдатами. Все люди сразу не могут перестать быть военными, сначала только отдельные единицы могут на это решиться, как это

сделал Ван-дер-Вэр и делают духоборы в России и назарены в Австро-Венгрии.

[...] Многие уже созрели к тому, чтобы исполнить нужное дело, надо только людям указывать на него» (Там же. С. 46 – 47).

Из глубины века XXI-го, как из ловчей ямы, и мило, и досадно взи- рать на этот своеобразный духовный романтизм. Мы знаем, что ев- ропейские толстовские движения, находившиеся на взлёте именно во второй половине 1890-х гг., уже в 1900-х “захлебнулись” в пото- ках более завлекательной для бунтарских сердец пропаганды соци- алистов — в некоторых, особенно несчастливых странах измудрив- шихся дорваться до власти... но лишь для того, чтобы, в конце кон- цов, поскользнуться на пролитой ими же крови и обрушить «здание государства» на себя.

* * * * *

История же с отказом Леопольда Сулержицкого закончилась до- стойно этого умного, доброго, талантливого человека. Он послушал Льва Николаевича, пожалел родителей, в особенности отца, который слёзно уговаривал его согласиться принять присягу. Будто в от- местку за живые разум и сердце, за независимость убеждений, тётя «родина» загнала его на службу в Закаспийскую область, на погра- ничные персидские кордоны — «надеясь уморить его», ворчал Лев Николаевич в Дневнике (53, 96).

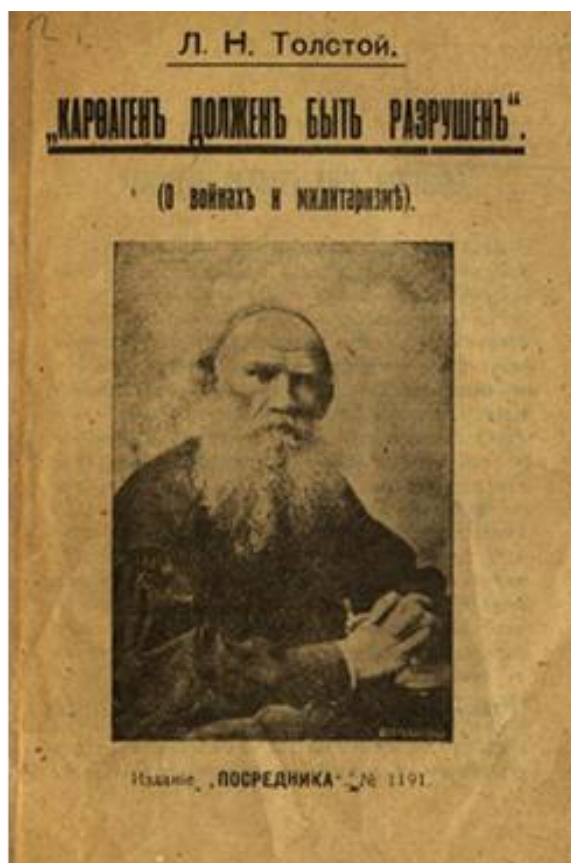
Но *такого* разве уморишь! Отмаявшись, в начале 1897 года чудес- ный этот человек уже помогал Льву Николаевичу, а особенно Софье Андреевне, в переписывании черновых рукописей. С той поры до конца своей жизни Леопольд Антонович делается другом семьи, в которой звать его будут коротким прозвищем — «Суллер». Особую помощь окажет он Толстому в многосложном деле эвакуации из Рос- сии духоборов — о чём, впрочем, речь будет ниже, в особенной главе.

6. 6. «CARTHAGO DELEENDA EST» (Ещё о войне). 1896

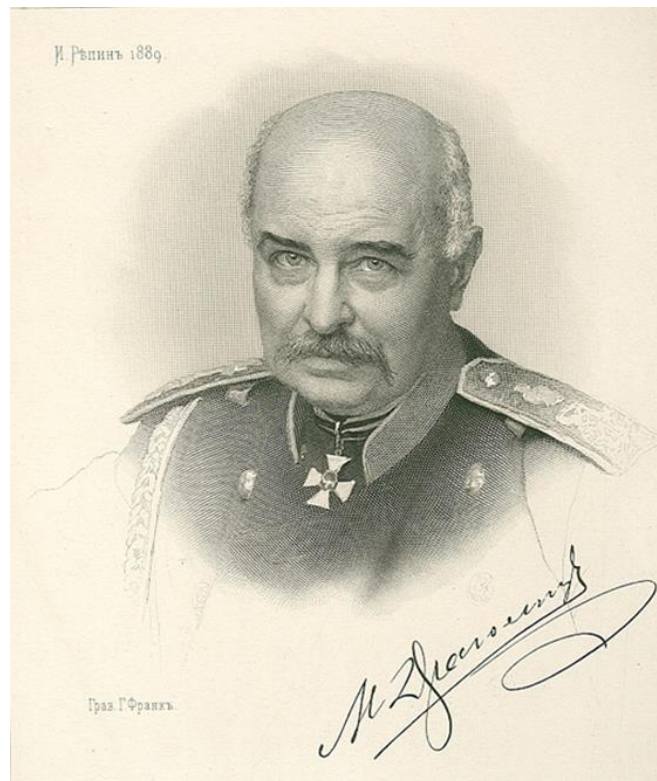
*...Средство есть только одно:
уничтожение той атмосферы уважения,
восхваления своего сословия, своего мундира, своих знамён и т. д.,
за которыми скрываются эти люди
от действия истины.*

(Лев Николаевич Толстой)

Это, пожалуй, самая остро-нецензурная и политически и социально-актуальная из цикла трёх одноимённых статей Льва Николаевича (1889, 1896 и 1898 гг.). Сведениями о работе над нею Толстого мы почти никакими не располагаем. Есть только одна запись в его Дневнике от 16 ноября 1896 г., относящаяся к этой работе: «3-го дня целое утро усердно писал опять о войне. Что-то выйdet?» (53, 118). Толстой не решился пытаться опубликовать статью и даже не кончил работы над нею. Черновик статьи и часть рукописей окончательного варианта утрачены.



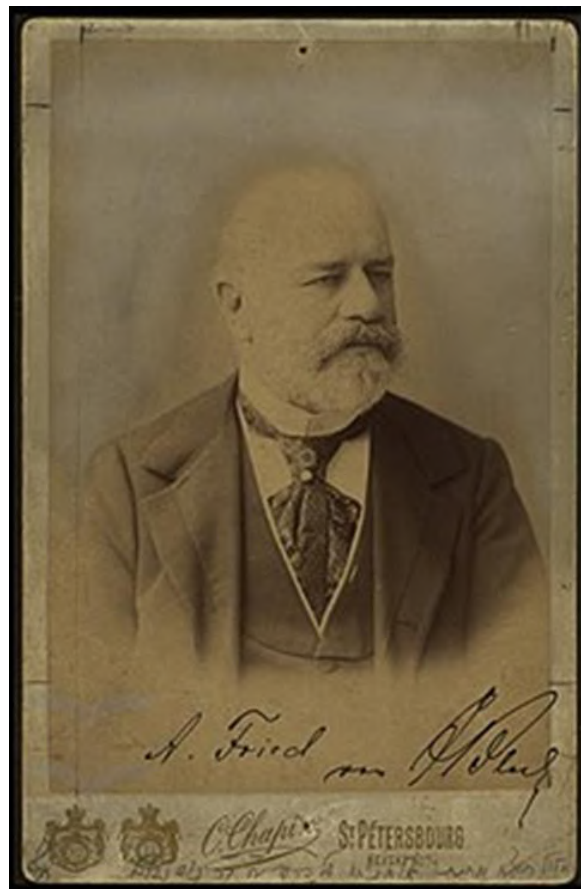
Несомненно то, что вторая «Carthago gelenda est» Толстого была начата им в связи с чтением статьи выдающегося военачальника и публициста своего времени, военного теоретика и педагога генерала *Михаила Ивановича Драгомирова* (1830 – 1905), напечатанной в журнале «Разведчик» — кстати, первом в России частном военном журнале, издававшемся с 1889 г., но, несмотря на частную инициативу, вполне патриотически-пропагандистском — в отличие от просветительского и слишком либерального замысла молодых товарищей Толстого по службе в 1854 г. Из «Разведчика», уже в выдержках, речь была перепечатана в консервативной газете «Новое время», в № 7434 от 6 ноября 1896 г. В статье этой Драгомиров пытался доказать неизбежность и законность войн. Толстой цитирует отдельные места статьи Драгомирова, не называя его фамилии. Статья эта так возмутила Толстого, что он 13 – 15 ноября 1896 г. писал А. М. Кузминскому: «Что бы вы уговорили Драгомирова, чтобы он не писал таких гадких глупостей, и, главное, тон этот: «Ах, господа, господа» и т. д. Ужасно думать, что во власти этого пьяного идиота столько людей» (69, 206). М. И. Драгомиров был в то время командующим Киевским военным округом, а А. М. Кузминский — председателем Киевской судебной палаты.



Генерал М. И. Драгомиров.
Гравюра с портрета И.Е. Репина, 1889 г.

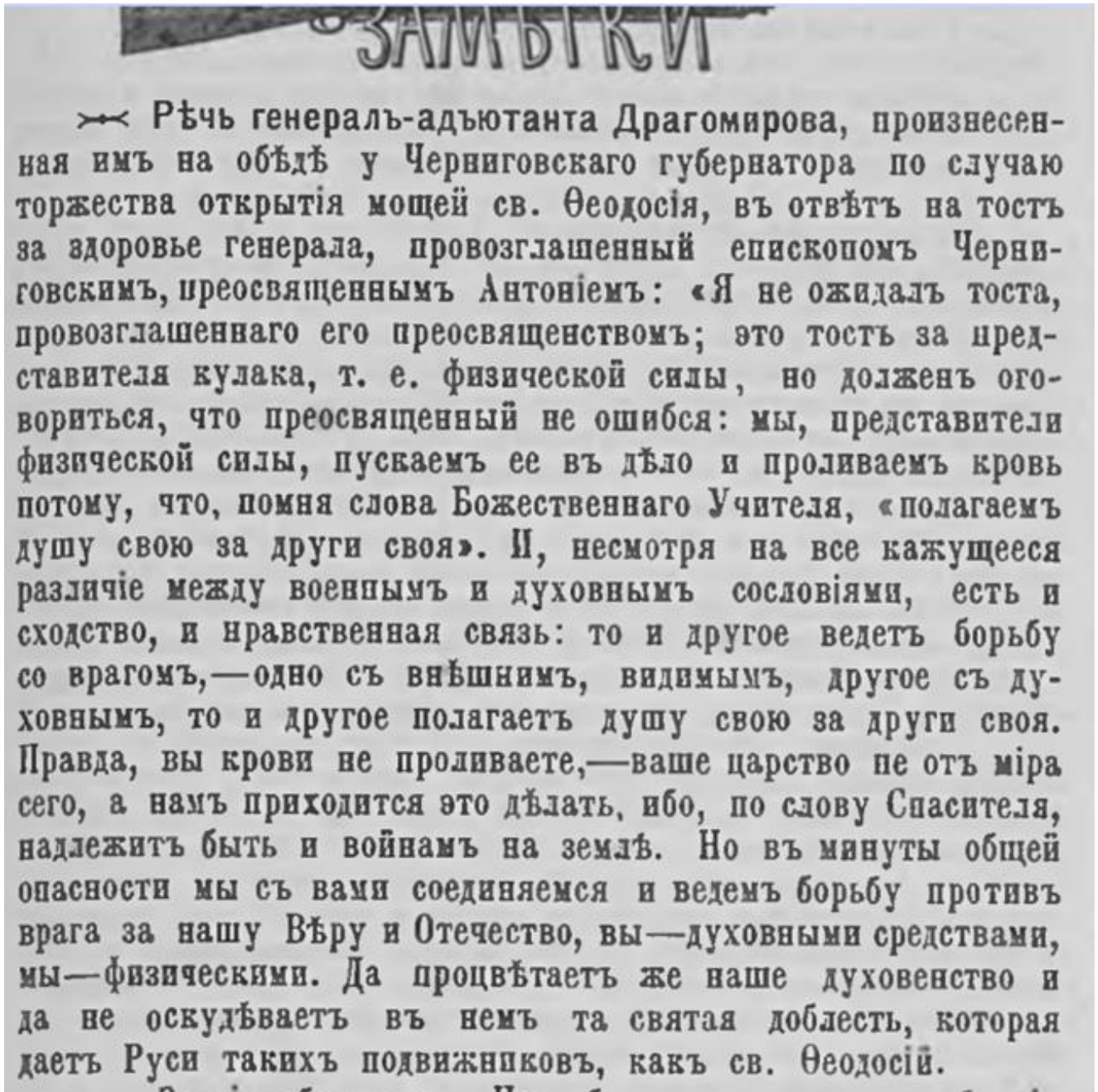
Так же и в уцелевшем черновике статьи, явно на всплеске эмоций, «пьяным» и неумным человеком Лев Николаевич квалифицирует, на самом-то деле, человека умнейшего, при этом высоких нравственных достоинств и талантливое генерала, истинно выдающегося человека своей эпохи. В оправдание Толстому-публицисту можно лишь подчеркнуть, что, на этапе редактирования, он обыкновенно убирал из текста даже более справедливые грубости, а также часто и имена тех, к кому они относились.

В «Новом времени» был опубликован только отрывок с цитатами из статьи М. И. Драгомирова в «Разведчике». Полный же текст представляет собой решительные, тоже с эмоциями и с насмешкой, возражения генерала на аргументы против войны, высказанные человеком так же безусловно выдающимся, экономистом, банкиром и железнодорожным концессионером *Иваном Станиславовичем (урожд. Яном Соломоновичем) Блюхом* (1836 – 1902) в Томе Пятом его шеститомного труда «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях». Опубликован труд был в 1898 году, и тогда же, 7 августа, прислан автором Толстому, ответившему И. С. Блюху 20 августа благодарственным письмом (71, 430).



Иван Станиславович Блюх

Это пример того, когда остроумные критики для человека науки и творчества неизмеримо полезнее заведомых хвалителей: *рукопись* ещё не опубликованной книги Иван Станиславович швырнул на растерзание Драгомирову, как щенка голодному бульдогу — чтобы острием критики этого не только практика, но и умного теоретика военного палачества выправить и наострить свои аргументы. Толстому же достались только готовые книжки...



Православно-патриотическая речь М. И. Драгомирова.
Заметка в газ. «Разведчик» за 1896 г., № 314, стр. 939.

Здесь не место делать подробный разбор бодрых кавалерийских атак Драгомирова на рассуждения и доводы Блюха. Довольно заметить, что генерал обыкновенно любил выставлять себя перед современниками, в особенности солдатской массой, ревностным христианином. Апелляциями к Богу наполнена его знаменитая в последней четверти XIX-го и начале XX-го столетий «Солдатская памятка», которая, по сведениям газеты «Разведчик», в 1893 году была опубликована уже 19-м (!) изданием, огромным тиражом в 190 тысяч экз., и ценой за экземпляр 4 коп. (*Разведчик. 1896. Год издания IX. № 312. С. 887*). Всего же «Солдатская памятка» издавалась в царской России 26 раз.

Но И. С. Блюху Михаил Иванович возражает, скорее, как материалист. «Признаёте ли вы верность положения, что истина для порядочного человека и порядочного народа должна быть дороже жизни? — вопрошает Блюха умнейший, хитрый и лукавый оппонент. — Если признаёте, то вместе с тем должны признать и неминуемость таких совпадений, при которых Вы за свою истину должны быть готовы пожертвовать своею жизнью» (*Разведчик. 1896. Год издания IX. № 316. С. 976*). Это, конечно же, намёк на Христа и одновременно — на известнейшие слова Христа о жертве христианином души своей «за други своя» (*Ин. 15: 13*), которые не один М. И. Драгомиров, но множество пропагандистов «добра с кулаками» во все времена выдают за оправдание системно организованного душегубства, а иногда даже искренно считают таковым. Но «истина» для Драгомирова — не в Нагорной проповеди, ничтожной для еврея Блюха, воспитанного папой Соломоном в польском местечке Лезно, а в аргументации к логике и «законам природы». Именно эта аргументация понравилась обозревателю «Нового времени», и с него он начал цитирование генеральской статьи (явно преднамеренно опустив как имя оппонента, Блюха, так и название его не оконченной тогда ещё писанием книги). Цитируем по более полному тексту в «Разведчике»:

«В «Историческом очерке <развития> идеи разрешения мирным путём международных столкновений», Вы усиливаетесь доказать, будто протест против милитаризма мало по малу доведёт до полного устранения боевых столкновений; я же полагаю, что такое устранение немислимо, ибо противоречит основному закону природы, которой равно дорого (и равно безразлично) разрушение, как и созидание; ведь ничего не разрушать и ничего не созидать — одно и то же.

НОВОЕ ВРЕМЯ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, СРЕДА, 6-го (18-го) НОЯБРЯ 1896 ГОДА

Поступили въ продажу новыя книги: КЪ ВОПРОСУ О РУССКОМЪ МОЛОЧНОМЪ СКОТѢ.

Наблюдения и опыты надъ продуктивностью молочнаго стада за шести-лѣтній періодъ (1889—1894 г.) при Елизаветинской швейцарской колоніи.
Письм. редакцій и съ предисловіемъ Николая Васильевича Верещагина.
Материалъ сгруппированъ и обработанъ А. А. Никольскимъ. Изданъ Н. К. Бердичевскимъ. Цена 2 р. съ пересылкою.

Лекція по молочному хозяйству и спитомости, читанная въ Елизаветинской швейцарской колоніи Николаемъ Н. С. Соловьевымъ въ году 1895—96 гг. Изданъ Н. К. Бердичевскимъ. Съездъ пчеловодовъ А. А. Довганца (Москва, Петербургъ). Обработка въ редакцій редакцій Н. В. Воронцовича (Москва, Петербургъ, С. Самойловичей) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Въ всѣхъ книжныхъ магазинахъ ПОЯВИЛАСЯ КНИГА:
ПРИВАЛОВСКІЕ МИЛЛИОНЫ.
Романъ въ 5 част. А. И. Минина-Сабурова. А. 48726
Складъ: Москва, книжка, магазинъ М. Николаева.

Поступилъ въ продажу
СПУТНИКЪ ПО РОССИИ В. П. ЛАНДЦЕРТА
на шестое десятилетіе 1896—97 г. **КНИГА ДО ВОЙНЫ**, съ картой. Изданъ, составленъ по официальнымъ свѣдѣніямъ. **Складъ издаваній въ книжномъ магазинѣ НОВОГО ВРЕМЕНИ**, Невскій пр., 38. А. 3—3

Сельско-хозяйственная и Промышленная
Выставка въ 1897 въ годъ Кіевъ

СОДЕРЖАНІЕ № 7434.
Телеграммы: Корреспонденція «Новаго Времени» и «Россійскаго Телеграфнаго Агентства».
Стр. 2. Сказочныя сообщенія.
Въ Издательствѣ въ Усть-Ижмѣнскомъ уездѣ.
Вышла въ свѣтъ.
Срѣдъ пчеловодовъ.
Сто летъ назадъ.
Филателия. Ресурсы. Николая Ежова.
Стр. 3. Въ 100-лѣтній юбилей просвѣтительнаго императора Елизаветы. В. Зугаевъ.
Сказка.
Мамонты вѣрныя. Петербургъ.
Выставка фотографическаго искусства.
Сельско-хозяйственная выставка.
Рассказы Николая С. Соловьева.
Внутреннія новости. Корреспонденція изъ Балканскаго театра.
Стр. 4. Судобная хроника.
Буря и кружа.
Справочныя указатели.
Стр. 5 и 6. Событія десятилетия памяти императрицы Елизаветы II—Екатерины II и политическія обозрѣнія М. И. С. Николаева о современномъ и будущемъ образованіи въ Россіи. А. Воронцовъ-Фельдштейнъ. Памяти императрицы Екатерины II. И. Чечулина.
Стр. 7 и 8. Объявленія.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ «НОВОГО ВРЕМЕНИ»
(по телеграфу).
РПГА, 5-го ноября. Делла стала. Въ шестидесяти работавъ джордана До

Извѣстный нашъ стратегъ, генералъ М. И. Драгомировъ, въ «Развѣдчикѣ» категорически заявляетъ о своемъ полномъ несогласіи съ основною точкою зрѣнія всѣхъ разсчитывающихъ на исчезновеніе войны.

Вы усиливаетесь доказывать,—пишетъ онъ по адресу одного изъ такихъ авторовъ,—будто протестъ противъ милитаризма мало-по-малу доведетъ до полнаго устраненія боевыхъ столкновений; я же полагаю, что такое устраненіе немислимо, ибо противорѣчитъ основному закону природы, которой равно дорого (и равно безразлично) разрушеніе, какъ и созиданіе; вѣдь ничего не разрушать и ничего не созидать—одно и то же. Чтобы вы ни созидали, вы неминуемо должны нечто и разрушать.

Какъ ни противна мысль о томъ, что для рѣшенія нѣкоторыхъ задачъ самъ человекъ является матеріаломъ, подлежащимъ разрушенію, генералъ Драгомировъ думаетъ, что иначе и быть не можетъ: война всегда была и будетъ. Въ подтвержденіе своего взгляда, столь далекаго отъ идеалистическихъ мыслей Берги Зугтнеръ и ея послѣдователей, генералъ Драгомировъ восклицаетъ:

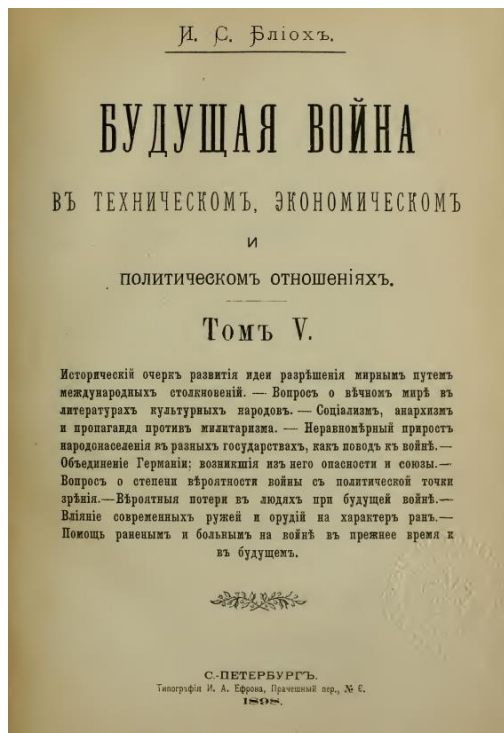
Что бы вы ни созидали, вы неминуемо должны нечто и разрушать. Например, для того, чтобы создать Ваш труд, Вы истребили (или разрушили): 1) значительное количество Вашей нервной энергии, 2) массу перьев, бумаги, типографскихъ чернил; 3) потратили (т. е. в отношеніи к себе истребили) порядочную сумму денег. И так во всемъ: созиданіе неминуемо предполагаетъ разрушеніе; и безъ разрушенія созиданіе немислимо в какой бы то ни было области. Вся разница в предмете созидаемомъ и в матеріалѣ, разрушаемомъ для его созданія.

[...] Вся беда рассуждающихъ подобнымъ образомъ в томъ, что при рассужденіи они делаютъ логическій скачокъ: отправляются они от совершенно вернаго положенія, что война дело скверное; а приходятъ къ заключенію, что придетъ время, когда войны не будетъ, которое во все не вытекаетъ изъ того, что война дело скверное.

Дело вовсе не в томъ, скверное или хорошее дело война, а в томъ, *устранимое ли?» (Там же).*

Примечательно, какъ генералъ с пренебреженіемъ ссылается на часть будущаго Пятаго тома огромнаго труда Блюха, пропуская слово в его действительно длинномъ и «закавыристомъ» названіи.

Ссылаясь на природу и исторію, генералъ попеременно возвращаетъ к образамъ и смысламъ евангелій, трактуя ихъ, разумеется, на свой салтыкъ: например, «неизбежную» войну онъ уподобляетъ той чашѣ, которую молил передъ смертію пронести мимо него Иисусъ, и которую неизбежно испивать и испивать, до скончанія вѣремъ, человечеству: «ибо когда свершаются времена, чаши избежать не можетъ» (Там же).



Между писателями, съ особеннымъ талантомъ и усердіемъ боравшимися противъ войны, едва ли не первое мѣсто принадлежитъ Л. Н. Толстому. И какъ публицистъ, и какъ беллетристъ, онъ немало содѣйствовалъ ознакомленію читателей съ отрицательными сторонами военного дѣла. Въ качествѣ непосредственнаго очевидца, онъ описывалъ походы и сраженія, побѣды и бѣдствія съ тою реальностью, какой могъ достигнуть лишь его громадный талантъ. Въ цѣлой серіи литературныхъ произведеній онъ неумолимо разоблачалъ военное дѣло отъ всѣхъ поэтическихъ прикрасъ, въ какія доселѣ лѣтописцы, поэты и рассказчики всѣхъ странъ считали нужнымъ облекать военные похождения своихъ героевъ.

*) Джонъ Дрэнперъ, «Исторія умственнаго развитія Европы», т. II, стр. 633.

86

Не отступая ни на шагъ отъ истины, авторъ излагаетъ сущность войны, въ картинахъ безконечнаго ряда дикихъ жестокостей, человѣческихъ страданій и смертоубійствъ. Въ художественномъ же отношеніи выше его „Войны и мира“ едва ли можно поставить хотя одно литературное произведеніе во всей европейской литературѣ новѣйшаго времени.

Титульный лист фундаментального труда И. С. Блюха и слова авторской лести в адрес её непременно будущего читателя

Таким образом, военные жертвы на “алтарь” атакистического, зоологического зверства человека, самых дурных страхов и страстей, остроумный генерал уподобляет добровольной крестной смерти Иисуса Христа, к которой предназначили его, приговорили и казнили как раз адепты старого, отжитого и опасного, дохристианского религиозного жизнепонимания язычников и евреев. Очевидно, что такие кощунства для генерала даже избыточны — при его апелляциях к «законам природы»... но уж очень соблазнительны! Как соблазнительно оказаться перед учёным оппонентом не солдафоном, а человеком начитанным, сославшись на Байрона:

«И Байрон сказал не софизм, а глубокую истину, заметив: я охотно выразил бы омерзение против войны, если бы не был убеждён, что только она спасает мир от плесени и гнили» (Там же. С. 976 – 977).

Такой “аргумент” не мог не возмутить Толстого: ибо к схожему “санитарному” сравненію любили и в его эпоху прибегать оправдатели смертных казней, от которых, как мы помним, Лев Николаевич отвратился значительно раньше и решительней, чем от войны. Возмутилось не только христианское его чувство (грубо нарушена Первая из “малых заповедей” Нагорной проповеди Христа: не именовать и не считать никого ничтожным, не заслуживающим жизни и любви),

но и чувство старого воина: *солдат*, даже «вражеской» стороны, *молодцов и храбрецов*, павших и живых, всё-таки нельзя приравнять к грешникам, подлежащим, по воле властителей и судей мира сего, смертной казни.

Ещё один отрывок, особенно полюбившийся, процитированный обозревателем «Нового времени», убеждает читателя в законности военщины, солдатского рабства, вооружений и самых войн:

«И опять все эти рассказы о “грубой” силе. Ах, господа! господа! да неужели Вам не приходит в голову, что превращение права “Грубой” Силы в силу “Деликатного” Права не уничтожает первого права, а только переводит его в скрытое состояние? Неужели вы не замечаете, что сила Права была бы очень не сильна, если бы у него за спиной не стоял Полицейский, а за Полицейским Солдат, т. е. Право Силы? Что даёт обязательную силу *деликатным* приговорам вроде многих лет каторги, пускания семьи по миру для удовлетворения «законной» претензии какого-нибудь Шейлока?» (Там же. С. 977).

Наконец, обозревателю «Нового времени» полюбилось высказывание М. И. Драгомирова в пользу “вечной” актуальности холодного оружия — так же, разумеется, направленные против выкладок И. С. Блюха в его огромном сочинении. Цитируем так же по тексту в «Разведчике»:

«Вы полагаете, что оно <холодное оружие. – Р. А.> теперь ничего не стоит; я же убеждён, что оно было и навсегда останется представителем воинской доблести; что редкость столкновения на холодном оружии доказывает ничтожество не его, а тех, кто не способен сойтись на дистанцию штыка или шашки; что не подобает говорить о его ничтожестве даже людям, мало в этих вопросах компетентным, после абиссинского нравоучения. Вам, как человеку вольному, разумеется можно всё говорить, даже и то, будто социализм есть реакция против милитаризма, а не против капитализма; но с военной точки зрения проповедь о ничтожестве холодного оружия есть отрицание самоотвержения и оправдание самосохранения, т. е., попросту говоря, апофеоза трусости» (Там же; ср. Новое время. № 7434 6 ноября 1896 г. С. 2).

Вероятнее всего, Толстой знакомился в 1896 году с очерком Драгомирова не по «Разведчику», а именно по изложению в дайджесте «Нового времени». При этом, очень хитро, он не цитирует те строки, где речь идёт о «Берте Зуттнер и её последователях», хотя степень ответной эмоциональности, доходящей в черновике до ругательств в адрес уважаемого тогда всюю консервативной Россией генерала,

уж как-то слишком напоминает раздроченное мужское джентльменство по отношению к обидчику дамы... Но не в этом даже дело. Мы помним, что «последователей» Берты Зуттнер сам Толстой критиковал и даже высмеивал в трактате «Царство Божие внутри вас» — как раз в связи с их верой в победу над *силой* посредством международного *права*. Кроме того, наш просвещённый читатель наверняка вспомнит статью Л. Н. Толстого «Письмо студенту о праве» (1909), пусть и писанную через много лет после анализируемой, в которой Толстой практически разделяет скепсис М. И. Драгомирова в отношении правовой системы — именно по той причине, что за плечами «мирных» судей всегда стоят вооружённые люди. И временное расстояние до времени написания «Письма студенту о праве», в данном случае, отнюдь не показатель. В уцелевшем тексте «*Garthago delenda est*» есть место, доказывающее, что Лев Николаевич уже в этом, 1896-м, году держался в отношении «юридического обеспечения» справедливости тех же, обусловленных религиозной верой, скептических отношений. Прочитовав в статье, по публикации в «Новом времени», соответственный отрывок, Толстой ниже ворчит:

«И, очевидно воображая, что он открыл новость о том, что право держится насилием, и этим доказал необходимость, войны, генерал этот спокойно проповедует то, что ему хочется и нужно, именно зверство диких животных, которые зубами раздирают добычу» (39, 220).

Полагаем, что причина, по которой Льва Николаевича так жестоко «сорвало» в отношении довольно тривиальной болтовни в прессе, скорее всего, не в этом очерке «Нового времени», а в *репутации* генерала в глазах Толстого, сложившейся задолго до знакомства с этим номером газеты. На негативное отношение повлиял отчасти другой «шедевр» Драгомирова — уже выше упоминавшаяся нами, широко известная в то время «Памятка» для солдат.

Толстой противопоставляет Драгомирова ностальгически вспоминаемому им старшему поколению, своим, в 1850-е годы, начальникам на военной службе:

«За 40 лет тому назад военные писатели, следя за всем тем, что делалось в Европе, писали о том, как уничтожить войну, или как по крайней мере сделать её менее жестокой.

[...] 30, 40, 50 лет тому назад такие статьи <как статья Драгомирова в «Разведчике»> были невозможны. Ещё менее возможны были такие руководства для солдат, сочинения того же автора, которые теперь распространяются между ними» (39, 219 – 220).

Это драгомировская «Памятка», и она, подчёркивает Толстой, «вся ужасна». Вот процитированные, избранные Толстым два отрывка:

«Сломится штык — бей прикладом; приклад отказался — бей кулаками; попортил кулаки — вцепись зубами. Только тот бьёт, кто отчаянно, до смерти бьётся.

Трое наскочат: первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун. Храброго бог бережёт.

Умирай за веру православную, за царя батюшку, за святую Русь. Церковь бога молит. Погубящий душу свою, обрящет её». (Мало ему своё — он Евангелием хочет подтвердить своё зверство.) «Кто остался жив, тому честь и слава».

И, наконец, заключение:

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, твёрду, решиму, справедливу, благочестиву. Молись богу! От него победа! Чудо-богатыри! Бог вас водит, он вам генерал!» *(Там же. С. 220).*

С точки зрения Л. Н. Толстого, Драгомиров в «Памятке» для солдат кощунствует не только против разума человеческого, отказывая солдату в праве на поведение свободного и разумного от Бога существа, а не послушного военного раба, машины смерти, исполняющей команды манипуляторов. Кощунствует он и против самого Бога (даже во всех его «ипостасях», в которые верят поклонники церквей), называя Бога «генералом», то есть вожаком покорной солдатни. Эмоциональная, «бравая» ложь, цинично и нагло отрицающая евангельские истины!

«И это кощунственное бешеное сочинение, которое мог произвести только мерзкий и пьяный человек, развешено во всех казармах, и все молодые [люди] во всей христианской России, поступавшие на службу, должны изучать это сочинение и верить ему» *(39, 221).*

Напомним читателю, что в окончательных вариантах статей Толстой обыкновенно смягчал публицистический накал эмоций. К сожалению, здесь в наше распоряжение остался только черновик. Кроме того, отвращение и гнев Толстого можно и нужно понимать: за этим заигрыванием с ограниченностью и эмоциями солдата (вспомним тут кстати стишки Поля Деруледа) великий яснополянский жизнелюбец чуял не только большую кровь надвигающегося столетия, но и волчье зло безбожников, большевиков. Недаром «в 1918 году в “Книжку красноармейца”, составленную Высшей военной инспекцией и утверждённую “как обязательную для всей Красной Армии”, В. И. Лениным был внесён целый раздел, состоящий из мыслей Суворова и Драгомирова» *(Бескровный Л. Г. М. И. Драгомиров // Драгомиров М. И. Избранные труды. М., 1956. С. 37).*

«Бог ваш генерал» — вещает солдатам в своей «памятке» генерал Михайло Иваныч Драгомиров. И современные подпутинские шлюхи в

рясах и казённо дипломированные интеллигенты — готовы его памятку признать и подписаться под его словами...

Нет! врётё, врётё, господа! Слово «генерал» этимологически восходит к латинскому *generalis* – «общий», «всеобщий», «главный», «стоящий над всеми», образованному, в свою очередь, от *genus* — «род», «родовой». То есть — не Бог это, а вожак вооружённых и с кем-то вечно воюющих родичей из одной пещеры, одного стойбища, одной первобытной стаи... По толстовской концепции жизнепониманий, уже евреи и римляне возвысили своё отношение друг к другу, к миру и к Началу его в Боге до предела совсем иного, высшего жизнепонимания: единого государства с бессчётным числом таковых родственных кланов и общим для всех войском. В наше время, в XX – XXI веках, наследники этого архаического жизнепонимания оперируют понятиями с размытой, лукавой семантикой – «единая нация», «германская нация», «советский народ», «российский народ»... всё на том же уровне понимания «единства», давно пережитого лучшими людьми человечества.

Но обретение веры Христовой, высшего, христианского, жизнепонимания — это ведь новое *рождение*, «свыше». И не только первобытные «родственники», но и «родное» государство с его фантазированиями платных и добровольных интеллигентских шлях о «всечеловеческом призвании» только обитающей на его территориях «нации», о «мировом влиянии» и пр. — исчезают для христианина. Невозможно воскресить в сознании человека того, что уже обличило для него всю свою опасность, ложность, вред и просто ненужность для жизни и земных трудов — не раба князей мира, а сознательного сына Бога, работника, служащего словами и поступками для осуществления Божьего замысла о мире и о нём самом, известного как по христианскому, так и по другим чистым, первоначальным религиозным учениям.

Но не в одном талантливом защитнике древней дикости М. И. Драгомирове дело, и не против него одного суд Бога, Иисуса и Льва. Судя по тем же уцелевшим отрывкам, статья Толстого была задумана в более широком плане. Исправляя статью, Толстой постепенно сокращал и изменял и её содержание. Первоначально статья началась с цитаты из речи французского писателя, основателя (в 1867 г.) и первого руководителя Международной лиги мира *Фредерика Пасси* (*Frédéric Passy*; 1822 – 1912) «Вооружения будущего», произнесённой им в 1895 г. «в большом собрании» в Париже. Речь Пасси была горячим протестом против военщины. Толстой назвал её «прекрасной». Комментируя эту речь, он отмечал, что «лучшие люди европейского общества» уже понимают «всю преступность войны», но

вместе с этим указывал и на то, что взгляды большинства военных людей стали «более грубы и нелепы».

Нецензурность и актуальность для России данной статьи именно в том, что она поднимает тему нравственной *деградации* в среде военного сословия в государствах, не изживших варварского, имперского и церковного лжехристианского наследия, балующихся (как Германия в прошлом или Россия до сего дня) идейками гонки вооружений, милитаризации, военной мощи, реванша, великих побед и мирового влияния. Одно с другим тесно связано: военщина, как и полицейщина, чуя поддержку «верхов» и фактическую безнаказанность, неизбежно ожесточается и наглает.

Толстой приводит в пример пару из множества возможных примеров такой деградации морали и даже интеллекта в среде правительственных «силовинов»:

«Почти в одно и то же время в двух самых военных государствах — в Германии и в России — совершены офицерами возмутительные преступления: в Германии пьяный офицер убил беззащитного человека под предлогом оскорбления мундира. В России компания пьяных офицеров тоже под этим предлогом с помощью солдат, врываясь в дома, грабила и секла беззащитных жителей.

Убийство, совершённое немецким офицером, произошло при следующих обстоятельствах:

«11-го октября, вечером, в кафе-ресторане “Тангейзер”, который был переполнен народом, сидели два молодых лейтенанта местного гренадёрского полка фон-Брюзевиц и фон-Юнг-Штилинг. Около 12 часов ночи в залу вошли два штатских с двумя дамами и сели за столик около лейтенантов.

Один из штатских, механик Зипман, задел своим стулом стул, на котором сидел лейтенант фон-Брюзевиц. Лейтенант счёл себя оскорблённым и потребовал, чтобы Зипман перед ним извинился, на что тот возразил, что он и не думал оскорблять лейтенанта. Тогда фон-Брюзевиц выхватил шпагу и хотел ударить ею Зипмана, но был остановлен хозяином ресторана и кельнером, что дало возможность Зипману скрыться.

— Теперь моей чести капут. Я должен подавать в отставку! — воскликнул лейтенант, выходя из кафе, но, узнав от полицейского, что господин, похожий на Зипмана, не выходил на улицу, снова вернулся в кафе, надеясь найти там своего обидчика и вернуть свою честь. Действительно, он увидел там Зипмана и бросился на него с обнажённой шпагой, несмотря на то, что безоружный механик, убегая от офицера, усиленно просил у него извинения.

Произошла отвратительная сцена: среди оцепеневших мужчин и кричавших в ужасе женщин храбрый лейтенант гонялся за убегавшим механиком и, наконец, нагнав его в углу двора, уложил на месте ударом шпаги. Опуская окровавленную шпагу в ножны, офицер с чувством удовлетворения произнёс: «Ну, теперь моя честь спасена!»

Поступок русских офицеров ещё отвратительнее: Пьянствующие офицеры вывел из терпенья толпу, над которой они издевались, и одного из этих пьяных офицеров прибили и сорвали с него погоны. Офицер собрал товарищей и солдат и с этой командой пошёл по домам евреев, врываясь в них, грабя жителей и отыскивая несчастные погоны. Погоны найдены были на мельнице, и тут начались истязания хозяев мельницы, истязания, кончившиеся смертью, как говорят некоторые. То, что сущность дела такова, — в этом не может быть сомнения; подробности же могут быть неверны, и поправить их нельзя, потому что всё это дело старательно было скрыто от всего русского общества. В газетах было только известие о том, что разжаловаются в солдаты неизвестно за что двенадцать офицеров» (39, 217 – 218).

В советском толстоведении, всего-то лет 40 – 50, и более, тому назад, очень любили вспоминать статью Толстого «Carthago delenda est» 1896 года именно в связи с этими, рассказанными в ней, историями. И совершенно не коробило авторов это сопоставление офицерства «милитаристской» Германии и России: ведь речь шла о *той* России, времён «проклятого царизма», буржуазного милитаризма, царства военщины и полицейщины... а не о «самом мирном во всём мире» СССР.

Да, за последние полвека смыслы изменились и стали для нас даже злободневнее... Толстой особо подчёркивает, что правительства Германии и России оказались едины в своём желании замолчать, *скрыть* и даже *оправдать* преступления своих военнослужащих. Русское — просто воспользовалось невежеством, равнодушием, стадной быдлостью большинства обитателей своей гостерритории. В Германии же, где мог всё же возникнуть некоторый общественный резонанс, император Вильгельм Второй, «который всегда пропускает случай смолчать и никогда не пропускает случая сказать глупость», оправдал своего верного свинтуса Брюзевица, заявив, что «если оскорблена честь мундира, то военный должен помнить, что оскорблён этим сам император, и они, офицеры, должны немедленно и основательно пустить в ход своё оружие» (Там же. С. 218).

Что изменилось с той поры? Лишь то, что в путинской России, пропитанной ещё с середины XX столетия миазмами ГУЛАГа и криминальной среды, теперешний военный, полицейский чин, депутатик, чиновник или даже кто-то из их родственничков и знакомых, может смело и с уверенностью в безнаказанности украсть, прибить в драке, переехать насмерть автомобилем или иным способом убить человека — даже не за честь свою, которая для этих существ уже только пустое слово, а — «по понятиям» (впитанным их мозгами, может быть, ещё в детстве, в гоп-компаниях каких-нибудь ленинградских качалок и подворотен), спяну или сдуру, «по ходу жизни»...

«Хотя при системе молчания и требовании всеобщего молчания о всём том, что важно и интересно обществу, мы не знаем, что именно было сказано властями по этому случаю, мы знаем, что сочувствие высших властей на стороне этих защитников мундира и что поэтому-то и не были судимы эти преступники, и наказание им назначено то, которое обыкновенно очень скоро прекращается прощением и возвращением прежнего звания» (*Там же. С. 218*).

Да, это всё же не про современную раковую опухоль на теле Земли, не про путинскую Россию пишет Лев Николаевич Толстой. Про более честный, даже нравственный XIX-й век. В путинской гадине — не только звания возвращают, но и повышают в оном!..

Нравственный прогресс человечества для Толстого — аксиома. Людям неизбежно или погибнуть, или прийти к высшему пониманию жизни, высшей этике, к истинно разумной, достойной человека, общей жизни.

И люди выбирают жизнь, даже не всегда и не все сознательно. Христиане — сознательно выбирают это же: мирную, любовную, братскую жизнь и совершенствование во Христе.

При этом лучшие, передовые люди, а за ними, по доверию к этим нравственным авторитетам, и всё человечество, утверждаясь в новом религиозном понимании жизни, новых отношениях с другими людьми, с природой, с Богом, уже не могут ни в обыденной, ни в профессиональной своей жизни совершать некоторых поступков, исполнять некоторые социальные роли.

В частности, такие люди — и их становится всё больше и больше — не идут на службу в пресловутые «силовые структуры»: в полицию, в войско... Тем более, человек, для которого *вера Христа жива*, то есть руководит в мельчайшей его повседневности его помыслами и поступками, не закабалит себя в военное рабство, в солдатчину никаким «контрактом» или иным обязательством.

Вот почему в обществах, отсталых от всечеловеческого религиозно-нравственного прогресса, на государственной службе неизбежно, от поколения к поколению, будут оказываться:

а) кадры наиболее наивные, поддающиеся правительственным обманам и приманкам и, главное,

б) наиболее жестокие, грубые, склонные к насилию, безнравственные люди.

Толстой констатирует, что в российском обществе, как и во всём медленно и неизбежно охристианивающемся мире, совершились процессы, подобные химической реакции разложения:

«В обществе совершилось разделение: лучшие элементы выделились из военного сословия и избрали другие профессии; военное же сословие пополнялось всё худшим и худшим в нравственном отношении элементом и дошло до того отсталого, грубого и отвратительного состояния, в котором оно находится теперь. Так что на сколько более человечны, и разумны, и просвещённые стали взгляды на войну лучших не военных людей европейского общества и на все жизненные вопросы, на столько более грубы и нелепы стали взгляды военных людей нашего времени как на вопросы жизни, так и на своё дело и звание» (Там же. С. 218 – 219).

Обратим внимание: речь именно о *нравственной* отсталости — от общего охристианения общества, от возрастания людей европейской цивилизации к потребности разумных детей Бога, Божьих в мире работников — потребности в мире, единении и любви. Такая отсталость не мешает генералу Драгомирову быть и весьма умным и даже обаятельным в *свете* человеком!

И снова — писано как будто про сегодняшних, февраля 2023 года, распорядителей и рядовых участников палаческой агрессией путинского режима в Украине:

«Теперь для того, чтобы быть военным, человеку нужно быть или грубым, или непросвещённым в истинном смысле этого слова человеком, т. е. прямо не знать всего того, что сделано человеческой мыслью для того, чтобы разъяснить безумие, бесполезность и безнравственность войны и потому всякого участия в ней, или нечестным и грубым, т. е. притворяться, что не знаешь того, чего нельзя не знать, и, пользуясь авторитетом сильных мира сего и инерцией общественного мнения, продолжающего по старой привычке уважать военных, — делать вид, что веришь в высокое и важное значение военного звания» (Там же. С. 219).

Единственное спасение для людей — ненасильственное скорейшее разрушение этого сцепления лжи и зла: отказом от любой, даже сло-

весной, поддержки его, от пользования правительственным насилием (не говоря уж о поступлении на службу), от всяких оправданий существования любых государств и правительств.

Если держится ещё этот Карфаген (и не одной военщины, которую бичует в статье Толстой, но всех ходячих мирских идолов, всех распорядителей *чужих* жизней и судеб) – то только лишь недоразумением обманутых с детства государственными и поповскими суевериями людей.

Надо помочь «химической реакции» в обществе:

«Вонючий газ должен быть уничтожен. Точно так же и военное сословие, выделившись из общей жизни, стало отвратительно и должно быть уничтожено. [...] Люди эти, очевидно, составили вокруг себя удушливую, вонючую атмосферу, в которой живут и в которую не проникает тот свежий воздух, которым дышит уже большинство людей. Очевидно, люди эти не допускают до себя этот свежий воздух и, по мере распространения его, сгущают вокруг себя свою вонючую атмосферу. До них никак не доберёшься. [...] И что ужаснее всего, это то, что эти самые люди имеют власть, силу над другими людьми... Как же быть? Какое средство для того, чтоб уничтожить это? А средство есть только одно: уничтожение той атмосферы уважения, восхваления своего сословия, своего мундира, своих знамён и т. д., за которыми скрываются эти люди от действия истины» (*Там же. С. 221 – 222*).

Всякие реформы, бунты или революции, всякие попытки внешней деструкции ветхого, отжитого устройства жизни — тщетны, пока не разрушена в головах, в массовом сознании оправдывающая и освящающая его существование идеологическая матрица. Наша брань должна быть не против плоти, а против лжей века сего: не традиционная, а идейная война против слуг сатаны, слуг зверя (низшего, атавистического, звериного в человеческой природе). Вот это главное, что завещает нам и уже нашему веку исповедник Христов, яснополянский и всерусский и всемирный старец и учитель, Лев Николаевич Толстой.

6. 7. «CARTHAGO DELENDÀ EST» (О милитаризме). 1898.

Средство для того, чтобы не было войны,
состоит в том, чтобы не воевали те, которым не нужна война,
которые считают грехом участие в ней.

(Лев Николаевич Толстой)

В конце марта или в начале апреля 1898 г. Толстой получил циркулярное письмо, составленное совместно двумя издательствами: «La Vita Internazionale» (Милан) и «L' Humanité Nouvelle» (Париж). Издатели обратились к всемирно известным деятелям, в том числе к Толстому, с анкетой о войне и милитаризме. с вопросами об отношении к «войне и милитаризму»:

«...Мы просим всех людей, занимающих видное место в Европе в области политики, науки, искусства, в рабочем движении и даже среди военных, присоединиться к этому высокоцивилизаторскому делу и прислать нам ответы на следующие вопросы:



1. — Требуют ли войны между цивилизованными народами история, право, прогресс?

2. — Каковы последствия милитаризма — интеллектуальные, нравственные, физические, экономические и политические?

3. — Каковы должны быть решения вопросов войны и милитаризма для пользы будущего всемирной цивилизации?

4. — Каковы средства, ведущие скорейшим путем к таким решениям?» (39, 197).

Письмо было подписано директорами издательств, одним из которых был известный в свою эпоху *Эрнесто Теодоро Монета* (итал. Ernesto Teodoro Moneta, 1833 — 1918), известный общественный деятель, впоследствии лауреат Нобелевской премии мира. Участник «восстания пяти дней» и войны Пьемонта, соратник Гарибальди в 1860-е годы, Монета, оставив военную службу, занялся журналистикой. Ещё в 1892 г. Толстой одобрительно отзывался о его усилиях в защиту международного мира, наверняка не зная, что Монета колебался между пацифизмом и итальянским национализмом (в последние годы жизни он был именно националистом).



Эрнесто Теодоро Монета

Вторая подпись принадлежала некоему А. Намон. Оба просили ответить на поставленные вопросы не позднее 25 апреля н. с. 1898 г.

Толстому ответ был более чем ясен. Совсем недавно, около 24 января (6 февраля н. с.), на просьбу неутомимой Берты фон Зуттнер, просившей о «нескольких строках» к международному дню пацифистов (22 февраля н. с.), Толстой ответил чеканными формулировками обращения к «друзьям мира»:

«Одно только я хотел бы сообщить друзьям мира, следовательно нашим друзьям, что единственное средство достигнуть цели, которую мы преследуем, состоит в том, чтобы не принимать никакого участия, даже самого отдалённого, во всём, имеющем какое бы то ни было отношение к войне, и что самое действительное средство продолжать настоящий порядок вещей состоит в компромиссах с своей совестью и в уверенности, что наши речи и наши писания могут произвести какое-либо действие, если наши поступки им не соответствуют. Освобождение людей от военного рабства не может исходить ни от коронованных особ, ни от писателей, а от духовенства, которое должно привести всю жизнь в соответствие со своею совестью. Но это будет только тогда, когда люди сознают своё человеческое достоинство, что возможно только при верном понимании религиозной жизни. Militarизм — только симптом болезни. Если болезнь (отсутствие религии или ложная религия) исчезнет, вместе с другим злом исчезнет и милитаризм» (71, 272).

Ответные письма Толстого к Ernesto Moneta и A. Namon не сохранились, однако из их последующих писем явствует, что Толстой писал им. Так, Намон в письме от 30 апреля н. с. сообщает о получении письма Толстого и благодарит за обещание прислать статью, при этом оговариваясь, что «долго не отвечал» на письмо Толстого потому, что «был в отсутствии». То же писал и Moneta в письме с почтовым штемпелем получения 20 апреля 1898 г.

К работе над статьёй Толстой приступил, по-видимому, в начале апреля, С. А. Толстая 6 апреля 1898 г. записала в дневнике: «Л. Н.... утром писал о войне»; а 11 апреля 1898 г. Толстой сообщил Э. Кросби, что он пишет статью, «озаглавленную Carthago delenda est» (ДСАТ – 1. С. 372; 71, 353). В Дневнике же 12 апреля, отмечая события с 21 марта, Толстой записал: «Занятия Carthago delenda est.... Работал довольно мало» (53, 189).

Уже около 19 – 20 апреля Толстой предлагает эту статью («об отказах от военной службы») П. И. Бирюкову в подготовлявшийся им совместно с В. Г. Чертковым в Англии первый номер сборника «Свободное слово» (см. 71, 358). Очевидно, к 20 апреля статья уже была в основном закончена и только требовала некоторой отделки. Окончательно статья была подписана 23 апреля. 27 апреля в имении

своего сына Ильи Львовича Гринёвке, Толстой записал в Дневнике: «За последнее время в Москве всё кончал Carthago delenda est. Бояюсь, что не кончил, и она ещё придёт ко мне. Хотя порядочно» (53, 191).

* * * * *

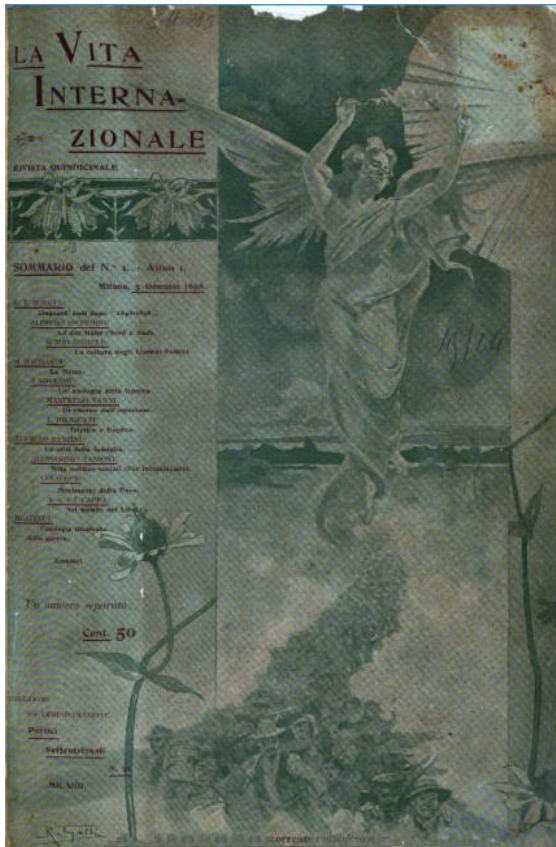
Вероятно, вскоре после окончания статья была послана в Англию для первого номера сборника «Свободное слово» и одновременно в Италию — в «La Vita Internazionale» и во Францию — в «L Humanité Nouvelle».

Посылая статью в указанные журналы, Толстой, по-видимому, сомневался в том, что она по содержанию удовлетворит редакции этих журналов. Среди рукописей статьи сохранился первый лист рукописи, которая, очевидно, готовилась к отправке в какой-нибудь из этих журналов. В начале этого листа над текстами статьи помещено письмо Толстого:

«М. Г.

Мнение моё насчёт предложенных вами вопросов таково, что оно едва ли подойдёт к направлению вашего издания. На всякий случай, прежде чем послать это моё писание в какой-либо другой журнал, посылаю его вам для напечатания, если вы найдёте такое согласие с вашими желаниями» (39, 251).

Уцелевший черновик писан аккуратной лапкой переписчика, но потом вдрызг исчёркан Толстым. Возможно, что письмо было переведено им на французский язык и весь лист был переписан ещё раз и уже в переписанном виде вложен в отправленную рукопись. Чертков, по получении рукописи статьи, в письме от 17 мая н. с. 1898 г. писал Толстому, что находит статью «сильной и неопровержимой», и лишь указывал на одно место, где говорится «о выгоде» отказа от военной службы, с которым он не согласен. К письму он приложил выписку из статьи со слов: «но отказывающимся нет никакого основания» и кончая словами: «уже будет наказывать» (см. стр. 201 – 202, строки 37 – 25 в томе 39 Полного (Юбилейного) собрания сочинений) с внесёнными им поправками. Толстой просмотрел эту выписку, зачеркнул поправки Черткова, и лишь в некоторых местах, подумав, таки внёс предлагаемые верным и преданным другом исправления.



Журнал «La Vita Internazionale» в 1898 г.

Скепсис Толстого на этот раз не вполне оправдался. Впервые статья была напечатана за границей, в № 1 газеты «Свободное слово» (Christchurch, Hants), 1898, стр. 6 – 17 (на русском языке); а затем, уже в переводе на итальянский язык, в благодарном журнале «La Vita Internazionale», в номере от 20 сентября н. с. 1898 г. На «родине», в России статья была напечатана только в 1906 г. в изд. «Обновление», да и то сразу конфискована. В 1911 г. она включалась в девятнадцатую часть Сочинений Л. Н. Толстого, изд. 12-е, М. 1911, но книга эта также была конфискована.

«Мытарства» статьи этим не ограничились. Эрнесто Теодоро Монета в июле поблагодарил в письме Толстого за статью, а в сентябре главный редактор Алессандро Тассони извещал «с сожалением»: «Ваша статья “Carthago delenda est”, которую наш журнал напечатал в номере от 20 сентября, была конфискована миланским прокурором вместе со всем выпуском журнала... Как видите, в Италии также нет свободы печати, особенно в настоящее время, после недавних волнений» (*Литературное наследство. Т. 75. Кн. 1. С 503 – 504. Подлинники писем — по-французски.*)

Хотя статья «Carthago delenda est» написана через два года после окончания позорной для Италии итало-абиссинской войны и в ней

Cinquant' anni dopo

1848-1898



l'alta del 1848 sorse nel ciclo d'Italia irrorata di splendide promesse. L'unione delle menti e degli animi nel pensiero di una comune patria da redimere era compiuta. Ciò che non avevano potuto da un quarto di secolo le continue cospirazioni, le rivolte, la propaganda della stampa clandestina, l'aveva ottenuto il talismano d'un nome: Pio IX. Colla sua frase scultoria Cattaneo scrisse che Pio IX fu una favola immaginata per insegnare una verità. Verissimo; ma è anche vero che nessuno, uomo o partito, avrebbe potuto arrogarsi il merito dell'invenzione d'un Pio IX campione del-

la rivoluzione italiana. Essa sorse dalla maturità del sentimento nazionale, a cui molte cause contribuirono, sovrattutto la comodità dei governi in contraddizione perenne coi bisogni delle popolazioni e collo spirito dei tempi; sorse infine dalla necessità delle cose, da una di quelle ispirazioni collettive, delle quali la natura sola possiede il segreto, e fa nascere nei momenti culminanti della storia. Era l'ora segnata nel quadrante della storia per la risurrezione di popoli oppressi, tant'è vero che un medesimo spirito di emancipazione invadeva allora quasi tutti i paesi d'Europa; e rivoluzioni e insurrezioni vittoriose si videro in quel medesimo anno, dopo quella di Palermo, che ne apersero l'epica serie, a Parigi, a Vienna, a Berlino, a Budapest. E poiché i popoli sentono istintivamente che la libertà di uno giova agli altri, tutti, insorgendo contro le tirannidi straniere o paesane, si mandavano da un paese all'altro pegni nobilissimi di amicizia e di fratellanza.

не упоминаются события этого военного конфликта, она была воспринята в связи с этими событиями.

В Милане состоялось судебное разбирательство, которое, правда, журнал выиграл. Тассони послал Толстому последний оставшийся после конфискации номер журнала, и статью из газеты «Secolo»: «Толстой и журнал “Vita Internationale” оправданы»:

«Свидетели с поразительной ясностью и очень подробно рассказывали о предпринятом журналом обсуждении, объяснив, что такие обсуждения и опросы составляют ныне необходимую часть в политических, научных и литературных органах печати» (*Там же. С. 504*).

Вряд ли в современной путинской, фашиствующей России удалось бы такими аргументами отстоять права прессы!

Защитники (профессора в их числе) говорили на суде:

«Лев Толстой сияет как солнце; солнце иногда обжигает, но кто же дерзнёт с ним спорить!»

«Это человек такой высоты, что наш ум едва может его понять. Слава его всемирна, его уважают и почитают даже в России, даже царь уважает его. Критиковать произведения этого великого ума было бы святотатством со стороны журналистов».

Блестящим и убедительным было показание Джузеппе Джакоза:

«Всякий, кто думает о прогрессе человечества, оказывается в какой-то момент нарушителем законов. Но благородство целей, объективность и возвышенный тон исключают оскорбление законов».

Отвечая на вопрос председателя суда, Джакоза сказал: «Если бы Толстой прислал мне что бы то ни было, им написанное, я, редактор журнала, ухватился бы за творение Толстого и немедленно напечатал бы его, да ещё с какой гордостью!

Толстой — это вершина человечества, самый великий человек на земле!» — добавил свидетель и сделал очень краткий, но чрезвычайно убедительный обзор творчества Толстого, показав, что мысли, высказанные в инкриминируемой статье, повторяются в большинстве его произведений, имеющих свободное и широчайшее распространение в России, где никто, однако, никогда не пытался подать на Толстого в суд. (Зато соотечественники не раз желали убить его или заточить без суда в тюрьму, о чём Джакоза, конечно же, умолчал.)

В заключение Джакоза сказал, отвечая на вопрос защитника Ронкетти: «Если бы состоялся суд над Львом Толстым, весь ученый мир сказал бы только, что власти, устроившие его, приобщились к бессмертной славе». (Общий смех, аплодисменты.) (*Там же. С. 505*).

Стоит, однако, подчеркнуть, что под судом был журнал, а не лично Толстой, и, в конце концов, отстоять его права удалось, лишь доказав,

что «направление» издания никак не коррелирует с убеждениями Толстого:

«Профессор де Марки, придерживающийся иных политических убеждений, чем редактор “Vita Internationale”, является сотрудником этого журнала, исполненного истинно научного духа и возвышающегося над всеми враждующими партиями, представляющего, как сказал профессор перед судом, открытое поле для высказывания любых серьезных, высоких и благородных мыслей и мнений.

По поводу публикации ответов на вопросы журнала все три свидетеля высказались в том смысле, что было бы невежливо не помещать ответ лица, приглашённого высказать своё мнение, хотя бы это мнение и не соответствовало точке зрения журнала.

Система подобных опросов, сказал профессор Баравалле, даёт возможность собрать ценнейший материал для науки в виде высказываний мыслителей и философов по животрепещущим вопросам гражданской жизни, мнения выдающихся людей, которые навсегда сохранятся в архивах человеческого прогресса» (*Там же. С. 504 – 505*).

Как говорится — отмазались, и лады... Суд снял запрет с журнала, конфискованный номер поступил в продажу. Но Толстой оказался всё же прав, когда в наброске письма к иностранному издателю (и, вероятно, в окончательном, отправленном адресату варианте — тоже) высказал неуверенность в том, что его мнение «подойдёт к направлению издания» (39, 251). Только это общее «направление» и спасло издателя от крупного штрафа, а выпускающего редактора — от тюрьмы.

В письме из Милана от 13 ноября Монета был «счастлив» сообщить об этом Толстому и даже просил прислать «в недалёком будущем» какую-нибудь из его «прекрасных гуманных статей». «Я счастлив за свою страну, — подчеркнул Монета, — не посрамившую себя перед цивилизованным миром осуждением идей Льва Толстого» (*Там же. С. 506*).

Оставим нашему читателю догадаться, что бы этот, как и Лев Николаевич, искренний даже в своих заблуждениях, живой, прекрасный человек сказал бы о современной путинской России, где в 2022 году осуждают и журналы, и книги, и людей не только за цитаты из антимилитаристских писаний Толстого, но даже за лозунг «нет войне!»

Если Толстой стремился поставить войну вне закона, то милитаристы, ответили ему попыткой объявить вне закона его самого и его антивоенный протест — и проиграли. В этом состоит исторический смысл суда в Милане.

Но Лев Николаевич уверен был: «... справедливость моих мыслей будет — если и не сейчас, то со временем — признана всеми» (71, 389). И нам остаётся разделить с Львом Николаевичем эту благородную надежду.

* * * * *

Открывается статья цитированием (на французском) циркулярного письма господ газетчиков, за которым следует, без обиняков, заслуженная ими реакция Льва Николаевича Толстого:

«Не могу скрыть того чувства отвращения, негодования и даже отчаяния, которое вызвало во мне это письмо. Люди нашего христианского мира, просвещённые, разумные, добрые, исповедующие закон любви и братства, считающие убийство ужасным преступлением, неспособные, за самыми редкими исключениями, убить животное, все эти люди вдруг, при известных условиях, когда эти преступления называются войной, не только признают должным и законным разорение, грабёж и убийство людей, но сами содействуют этим грабежам и убийствам, готовят к ним, участвуют в них, гордятся ими» (39, 198). Труды рабочего народа ограбляются на приготовления к войнам, а сами халтурящие, негодные правительства не только не уводят своих граждан от опасности войны, но самой этой гонкой вооружений и ссорами подводят себя к её неизбежности. При этом «незначительное меньшинство, живущее в роскоши и праздности на труды рабочих» отнюдь не спешит испытать эти вооружения на себе, а вводит всеобщую военную повинность, устраивает мобилизации — того же самого, обманутого и ограбленного народа. Казалось бы, дело любых заботников о «мире» должно состоять, в первую голову, в том, чтобы «разоблачить обман, в котором находятся массы, указать массам, как совершается обман, чем он поддерживается и как освободиться от него». Но ничуть ни бывало! Вместо того они задают «глубокомысленные» вопросы: «первый о том, требует ли [...] войны история, право, прогресс, как будто выдуманные нами фикции могут требовать от нас отступления от основного нравственного закона нашей жизни; второй вопрос — какие могут быть последствия войны, как будто может быть какое-нибудь сомнение в том, что последствиями войны всегда будут всеобщее бедствие и всеобщее развращение; и, наконец, третий вопрос, как разрешить проблему войны, как будто существует какая-то трудная проблема о том, как освободить обманутых людей от того обмана, который мы ясно видим» (Там же. С. 198 – 199).

Толстой остроумно сравнивает надуманность и фальшь таких вопросов с “проблемой” о том, как разлучить игроков с рулеткой или пьяниц с бутылкой:

«Если человек пьянствует, и я ему скажу, что он может сам перестать пьянствовать и должен сделать это, то есть надежда, что он меня послушается; но если я скажу ему, что пьянство его составляет сложную и трудную проблему, которую мы, учёные люди, постараемся разрешить в наших собраниях, то все вероятия за то, что он, ожидая разрешения проблемы, будет продолжать пьянствовать» (Там же. С. 200).

Аналогично, отставив лицемерие «просвещённых друзей мира», можно бы было нанести удар по надежде правительств разрешать халтурно, дракой, те задачи, для которых им можно и нужно, чтобы оправдать своё существование, отыскивать мирные решения:

«Для того, чтобы люди, которым не нужна война, не воевали, не нужно ни международного права, ни третейского суда, ни международных судилищ, ни разрешения вопросов, а нужно только людям, подлежащим обману, очнуться, освободиться от того *spell*, от того околдования, в котором они находятся. Средство для того, чтобы не было войны, состоит в том, чтобы не воевали те, которым не нужна война, которые считают грехом участие в ней. Средство это проповедывалось с древнейших времён христианскими писателями — Тертуллианом, Оригеном, проповедывалось павликианами и продолжателями их менонитами, квакерами, гернгутерами; про средство это писали Даймонд, Гаррисон, Балу; вот уже скоро 20 лет тому назад и я всячески разъяснял грех, вред и безумие военной службы. Средство это и применялось уже давно и в последнее время стало особенно часто применяться как отдельными лицами в Австрии, Пруссии, Швеции, Голландии, Швейцарии, России, так и целыми обществами, как квакеры, менониты, назарены и в последнее время духоборы, целое пятнадцатитысячное население которых вот теперь уже третий год борется с могущественным русским правительством, несмотря на все страдания, которым их подвергают, не уступая ему в его требованиях участия в преступлениях военной службы.

Но просвещённые друзья мира не только не предлагают это средство, но терпеть не могут упоминания о нём, и когда слышат про него, то делают вид, что не замечают, или если и замечают, то с важным видом пожимают плечами, высказывая сожаление о тех необразованных и неразумных людях, употребляющих такое недействительное, глупое средство, когда у них есть такое хорошее, состоящее в том, чтобы посыпать соли на хвост той птицы, которую хочешь поймать, т. е. уговорить правительства, живущие только насилием и

обманом, отказаться от этого насилия и обмана» (Там же. С. 200 – 201).

Халтурные, то есть милитаристские и не умеющие без войны, правительства, чтобы оправдать выгодное своё положение при существующем строе, подразумевающим решение вопросов дракой — не разрешают, а, напротив, создают и провоцируют всё новые недоразумения. Грех поддерживать их: грех *обличаемый*, который в современных обществах не следует молча терпеть. А вот поддерживать отказников от «призыва» в армию — можно и нужно: «каждый отказ подрывает тот престиж обмана, в котором правительства держат людей» (Там же. С. 201). И ни в коем случае не следует, особенно в перспективах войны, пропаганду отказов воспринимать как призывы к мученичеству:

«Отказываясь от военной службы, всякий человек рискует гораздо меньше, чем он рискует, поступая на службу. Отказ от военной службы и наказание — тюрьма, изгнание есть часто только выгодное страхование себя от опасностей военной службы. Поступая на службу, всякий человек рискует тем, что он будет участвовать в войне, для чего он и готовится, и на войне попадёт в такое положение, в котором он, в самых тяжёлых, мучительных условиях, будет как приговорённый к смерти почти наверное убит или изувечен, как это я видел в Севастополе, где полк приходил на бастион, на котором уже было выбито два полка, и стоял там до тех пор, пока и этот новый полк был весь уничтожен. Другая, уже более выгодная случайность та, что поступивший не будет убит, но только заболит и умрёт от нездоровых условий военной службы. Третья случайность та, что, получив оскорбление, он не выдержит, скажет грубость начальнику, нарушит дисциплину и подвергнется наказанию худшему, чем то, которому он подвергался бы, отказавшись от военной службы. Самая же выгодная случайность та, что, вместо тюрьмы или ссылки, которой подвергнется отказавшийся от военной службы, человек проведёт три или пять лет своей жизни в упражнениях к убийству, в развратной среде и такой же неволе, как и в тюрьме, но только в унижительной покорности развратным людям.

...Подчинение требованиям военной службы есть, очевидно, только подчинение гипнозу толпы, есть совершенно бесполезное прыгание Панурговых овец в воду на явную гибель» (Там же. С. 201 – 202).

Панурговы овцы, или панургово стадо (*фр. mouton de Panurge*) — выражение, обозначающее группу людей, которая слепо подчиняется своему лидеру, копируя его поведение или повинуюсь его воле. При этом такая покорность может приводить к самым печальным

последствиям. Своим появлением «панургово стадо» обязано французскому писателю Франсуа Рабле. В четвёртой книге «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле один из главных героев, Панург, поссорился с купцом по прозвищу Индюшонок (*фр.* Dindenault). После показного примирения, устроенного по просьбе Пантагрюэля, Панург стал торговать у купца какого-то из его баранов. Заплатив требуемую цену, Панург выбрал из стада барана «самого красивого и крупного», и швырнул его в море. Вслед за вожакom и другие бараны, кричавшие и блеявшие ему в лад, начали по одному скакать и прыгать за борт. Пытаясь спасти своё имущество, утонул и сам Индюшонок.

Главное в краткий век человеческой жизни — увести себя и тех, кто послушает, как можно дальше от такого бараньего состояния. Развоевавшаяся тётя «родина» умеет быстро выжать, как лимон, и бросить инвалидом на «дожитие» человека, даже целые поколения своих порабощённых военным рабством граждан, а оттого надо спешить:

«Каждый человек не может не желать того, чтобы жизнь его не была бесцельным, никому не нужным существованием, а была бы служением Богу и людям. Часто человек проживает жизнь, не находя случая этого служения. Призыв к участию в военной службе есть этот случай, представляющийся каждому человеку нашего времени. Всякий человек, отказываясь от личного участия в военной службе, как призывающийся или как плательщик податей тому правительству, которое употребляет эти подати на военное дело, служит отказом этим великую службу Богу и людям, потому что этим отказом самым действительным способом содействует движению вперёд человечества к тому лучшему общественному устройству, к которому стремится и должно придти человечество» (*Там же. С. 202 – 203*).

Наконец, вспомнив, вероятно, аргументацию отказников Ван-дер-Веера и Сулержицкого, Толстой апеллирует и к нравственным табу сознания человека на более-менее продвинутом этапе «охристианения»:

«Для всякого человека есть поступки нравственно невозможные, столь же невозможные, как невозможны бывают действия физические. И таким нравственно невозможным поступком для огромного большинства людей нашего времени, если только человек свободен от гипноза, есть обещание рабского повиновения чуждым и безнравственным людям, заведомо имеющим целью убийство людей» (*Там же. С. 203*).

Без труда разоблачает Толстой и аргумент «к совестливости» отказников, состоящий в том, что вместо них придётся нести тяготы службы другим, а иначе — некому будет защитить мир и добрых лю-

дей от злых. Злые, отвечает Толстой, и самые хитроумно, продуманно злые — уже давно владеют христианским миром, и они-то подбивают народы к войне, включая провокации «диких» народов — которыми пугают своих, условно «цивилизованных». А главное, для человека, чьи разум и совесть просвещены истинным учением Христа, совершенно ясно, что «рассуждения о том, что может произойти вообще для мира от такого или иного нашего поступка, не могут служить руководством наших поступков и нашей деятельности».

[...] От того, что человек будет поступать так, как велит ему его разум, его совесть, его Бог, может выйти только всё самое хорошее, как для него, так и для мира» (*Там же. С. 203 – 204*).

Ещё задолго до знаменитой одноименной статьи 1904 г. Толстовское «опомнитесь!» рефреном прозвучало в ряде его публикаций — причём, надо подчеркнуть, с логической привязкой не к пресловутому «обличению войны», а — к христианской проповеди. Звучит этот призыв, тоже в контексте религиозного слова к современникам, и в данной статье, завершая её:

«Опомнитесь, братья, не слушайте вы ни тех злодеев, которые с детства заражают вас дьявольским, противным добру и истине, духом патриотизма, нужным только для того, чтобы лишить вас и вашего имущества, и вашей свободы, и вашего человеческого достоинства, ни тех старых обманщиков, которые проповедуют войну во имя бога, ими выдуманного, жестокого и мстительного, и извращённого ими лживого христианства, ни ещё менее этих новых саддукеев, которые во имя науки и просвещения, желая только продолжения существующего порядка, собираются на собрания, пишут книги и говорят речи, обещая устроить добрую и мирную жизнь людям без их усилия. Не верьте им. Верьте одному своему чувству, говорящему вам, что вы не животные и не рабы, а люди свободные, ответственные за свои поступки и потому не могущие быть убийцами ни по своей воле, ни по воле распорядителей, живущих этими убийствами. И стоит вам только опомниться, чтоб увидеть весь ужас и безумие того, что вы делали и делаете, и, увидав, перестать делать то зло, которое вы сами ненавидите и которое губит вас».

А перестанете делать зло, которое сами ненавидите, и исчезнут сами собой, без вашего усилия, как совы от дневного света, те теперь властвующие обманщики, которые сначала развращают, а потом мучают вас, и сложатся сами собой те новые человеческие, братские условия жизни, которых жаждет уставшее от страданий и измученное обманом, завязшее в неразрешимых противоречиях христианское человечество».

Пусть только каждый человек без всяких хитроумных и сложных соображений и предположений исполнит то, что ему в наше время несомненно говорит его совесть, и он узнает справедливость слов евангелия: “Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю”» (Иоанн. VII, 17) (*Там же. С. 204 – 205*).

* * * * *

В связи с тем, что именно эта статья была окончена Толстым и отдана в печать и была последней из одноимённых статей Толстого, именно её исследователи склонны считать «вершиной» его антивоенного цикла «*Carthago delenda est*». На деле, полагаем, каждое из выступлений Толстого с таким именованием — 1889-го года (вместе с «Воззванием»), 1896-го и 1898-го — самоценно и отлично по главенствующей тематике. И как раз статья 1898 года — самая *неоригинальная* из трёх, так как она повторяет многое, уже сказанное ранее Толстым неоднократно, начиная с трактата о «Царстве Божием внутри вас».

Черновики 1889 года, к примеру, свидетельствуют о тех ранних размышлениях Толстого о судьбах цивилизации и существующего устройства жизни, которые в окончательных формулировках предстают нам только в его статьях 1905 – 1906 и последующих лет («Конец века», «О значении русской революции»), вплоть до последней крупной работы Толстого-публициста – «О социализме» (1910), отрицавшей суеверие социалистического «переустройства» общества именно как порождение мышления, порабощённого заблуждениями западной садо-некрофильской цивилизации, имеющей фундаментом организованное насилие военщины, революционеров и навязчивых прожектёров «социальных реформаторов».

«*Carthago delenda est*» 1896 года — обличение нравственной гнили людей, связавшей себя военной службой в России и других странах, управляемых правительствующим аппаратом имперского социодискурсивного типа, вредным и асоциальным по своей исконной сущности: неумело, неумно, но навязчиво (как «медведь на воеводстве») халтурящим в управлении страной; часто грубо-невежественным, особенно на уровне мелких прислужников-исполнителей и распорядителей на местах; главное же — не уважающим граждан как равных и не доверяющим им и полагающимся в своей преступной и безбожной деятельности главным образом на обман (попы, журналюги, разные платные интеллигенты) и насилие, красиво именуемое «необходимым принуждением» (полицай, военщина).

И, наконец, идейное содержание и даже образный строй «Carthago delenda est» 1898 года многожды пересекаются с ранее (1890 – 1893 гг.) написанным Л. Н. Толстым огромным религиозным и антивоенным трактатом «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание», выше подробно нами представленным.

Подкупленная путинскими денежками и статусами, положеньцем в академической среде, грантами и пр. современная интеллигентская сволота от толстоведения сочинила о Толстом немало дурилок-миффов. Или — воскресила старые. Так, в частности, московская исследовательница Ирина Петровицкая на своём сайте (нынче, в 2023 году, уже дохлом, как и сама Петровицкая), на сайте-«портале» «Толстой. Ру» и в книжке «Лев Толстой — публицист и общественный деятель» (Изд-во "Икар". 2013), текст которой в значительной степени сплагачен ею из научных комментариев в старом Полном (Юбилейном) собрании сочинений Толстого 1928 – 1958 гг., — подаёт автора данной статьи как единомышленника европейских пацифистов, таких как немецкая писательница Берта фон Зуттнер, о которой мы тоже вели уже речь. Это — старо, баба Ира. Старо! «Пацифистом» Лев Николаевич уже был... в книжках времён твоей далёкой молодости, 1960 – 1980-х гг. Тогда за это было принято поругивать... А ещё он побыл тогда — социалистом. За что его было принято похваливать... А ещё (позднее, в одержимые мистикой конец 1980-х и в 1990-е) — адептом некоей абстрактной «эзотерики»... и оставался и остаётся им для многих уже на моей профессиональной памяти, в 2000-х. И всё это — вешали на Льва и при его жизни, кидали даже как «обличения»... Короче, ничего нового брехуны за 130 лет так и не выдумали: просто молодёжь не застала тех времён и не читала тех статей и книжек... и полудохлая московская преподаваха этим пользовалась.

Стереотипы — те же, чуть подновлённые. В поп-книжице А. Зорина «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» Толстой превращается на жизненном пути из искателя веры в «радикального» пацифиста. Неоригинальное такое «прочтение», опять же...

Толстой – пацифист? Но ведь уже в «Царстве Божием внутри вас...», как мы помним, Толстой жестоко и заслуженно высмеивает именно пацифистские филиппики к правительствам и «влиятельным людям» (типа той, которую прислали ему в 1898-м и на которую он откликнулся данной статьёй), мессы, конгрессы... Именно там впервые появляется повторенный в «Carthago delenda est» 1898 года образ «посыпания соли на хвост птице»: тщетных и глупых попыток

деятелей «миротворчества» повлиять на агрессивность и воинственность, на хищнические замыслы правительств ведущих держав. И именно там Толстой противопоставляет пацифистской либеральной и верноподданнической *дури* — сознательный религиозный отказ от военной службы человеком, пришедшим к христианскому жизнепониманию.

Сам факт этой «успешной» (законченной и опубликованной) статьи — обличение идиотству и дури пацифистов всех времён. Они не могли не прочесть и не знать толстовского «Царства Божия...», уже давно к 1898 году опубликованного, но идейное содержание этого сочинения, как видно... мягко скажем: не преодолело «барьера восприятия» сих благонамеренных читателей. Толстой повторил в 1898-м... результата — ноль.

В августе 1909 г. Толстой пытался принять участие в Восемнадцатом Международном конгрессе мира в Стокгольме. Он не смог поехать на него, но доклад свой — послал для озвучения на Конгрессе. Господа пацифисты *скрыли* его. Ходили даже слухи, что, боясь приезда самого Льва Николаевича, «друзья мира» хотели сперва отменить или перенести по времени сам Конгресс. Толстой даже сетовал иронически: «это нескромно с моей стороны», ибо явно было, что конгресс отложен не столько из-за забастовки рабочих в Швеции, сколько из-за его послания мнимым либеральным «единомышленникам». А они и обосрались сразу: «Как нам быть с ним? — Прогнать нельзя. И отложили конгресс» (*Маковицкий Д.П. Яснополянские записки // Литературное наследство. М., 1979. Том. 90. Кн. 4. С. 30*). (Ниже, в соответственном по хронологии месте, мы со всеми подробностями возвратимся к этой истории.)

Наконец, через год, 23 мая 1910 г. замкнулся тот дурной круг бессмысленного диалога зрячего с глухими, который либеральничавшие с правительствами западные интеллигенты заставили вести с ними Толстого, начиная с послания 1898 года. Лев Николаевич получил от доктора словесности Ж. Бергмана (J. Bergman), секретаря организационного комитета Международного конгресса мира, созыв которого намечался в Стокгольме на 1 – 6 августа 1910 г. (нового стиля), приглашение на конгресс. Через некоторое время это же приглашение повторил барон Бонд (Carl Carlson Bonde). Это они процупывали, суки: может быть, Толстой «обломался» после унижения с его докладом в 1909 году? Но Толстой не унизился и не «обломался», ибо просто *herr* на всех этих господ *кчал*... но и не забыл той ихней попытки! Он написал в ответ «ядовитую статью» («Добавление к докладу на конгрессе мира»), выдержанную в сдержанно-ироническом и скептическом тоне начиная от обращения не к кому-то лично, а ко

всему сборищу: «Вы желаете, чтобы я участвовал в вашем собрании. Я как умел выразил мой взгляд на вопрос о мире в том докладе, который я приготовил для прошлогоднего конгресса. Доклад этот послан. Боюсь однако, что доклад этот не удовлетворит требованиям лиц, собравшихся на конгрессе. [...] Считаю выработку на конгрессах новых законов, обеспечивающих мир, бесполезным главное потому, что закон, несомненно обеспечивающий мир среди всего мира, закон, выраженный двумя словами “не убий”, известен всему миру и не может не быть известен и всем высоко просвещённым членам конгресса. [...] Правда, что деятельность тех сотен людей, которые, следуя этому закону, отказываются от военной службы и подвергаются за это тяжёлым лишениям и страданиям, как мои друзья в России и в Европе [...], не может интересовать высоко просвещённых членов конгресса...» и т.д. (см.: 38, 419 – 420).

Члены сии опущенные наконец-то всё поняли и отвязались от старца Льва

Итак, Толстой буквально *повторил* им свой скептический ответ 1898 года! То есть: по крайней мере, в последние 20-ть лет своей жизни (когда им активно заинтересовалась западная и прозападная пацифистствующая сволочь, желавшая использовать его имя и авторитет) — пацифистом он *точно* не был. Для старца-исповедника Христа сие навязываемое ему членство в либерально-буржуазной сомнительной политдвижке было невозможным и, главное, *избыточным*. Как, кстати говоря, и членство в рядах либералов или социалистов, которых он равно считал заблуждающимися и вредными безбожниками. Но и те, и другие (равно как и попы «православия», протестанты, сектанты и даже мусульмане) — до сих пор рвут «кусочки Толстого» на себя, «высасывая их пальца» мнимые «свидетельства» близости или даже единомыслия давно безответного Льва — с ними, с их религией или их политическим курсом.

Обломайтесь, обломайтесь, господа!

* * * * *

И напоследок. Эта статья, равно как вышеназванный трактат «Царство Божие...», вместе с последовавшей за ним «антипатриотической» серией статей Толстого, должны стать *настолярными книгами* всякого молодого человека, готового послать свою навязчивую казённую тётеньку «родину» туда, куда положено, и *отказаться от службы в армии*: как полностью, по религиозному внутреннему запрету всякого сотрудничества с правительствами, так и путём выбора возможной по закону в современной России *альтернативной*

гражданской службы (АГС) без оружия в руках. Последний выбор — конечно, альянс с разбойничьим гнездом (которым является всякое государство, полагающееся на оружие, войско, межгосударственные военные блоки, союзы и пр.). Но он подразумевает исполнение трудовой повинности мирного, нелёгкого, но полезного обществу и созидательного труда, а значит — имеет свои нравственные корни в законе Бога всякому человеку, в учении Иисуса и христианском поведении отче Льва. Путь к этой возможности даже более счастливых европейских народов был долог — и в последующих главах книги мы обратимся ещё к некоторым его страницам.

И пусть идеал уничтожения старого строя системных насилия и лжи, выраженный Львом Николаевичем в цикле «Carthago delenda est», сопутствует вам не только в годы вашего отказа, но и — *главное!* — позднее, на всём пути жизни: пути самосовершенствования в Боге и Христе в борьбе с соблазнами и лжами мира сего и века сего.

6. 8. «ДВЕ ВОЙНЫ». 1898

... По тому закону, который нам дан Богом
и который признаёте и вы, требующие от нас участия в убийстве,
явно запрещено не только убийство, но и всякое насилие,
и потому мы не можем и не будем участвовать в ваших приготовлениях к убийствам,
не будем давать на это денег и не пойдём в вами устроенные сборища,
где извращают разум и совесть людей, превращая их в орудия насилия,
покорные всякому злему человеку, взявшему в руки это орудие.

(Лев Николаевич Толстой «Две войны»)

Поводом к написанию этой статьи для Толстого послужила американо-испанская война (1898). «Про эту войну, — писал он, — знал весь мир, и все люди с напряжённым вниманием следили за её проявлениями» (Цит. по: 31, 287).

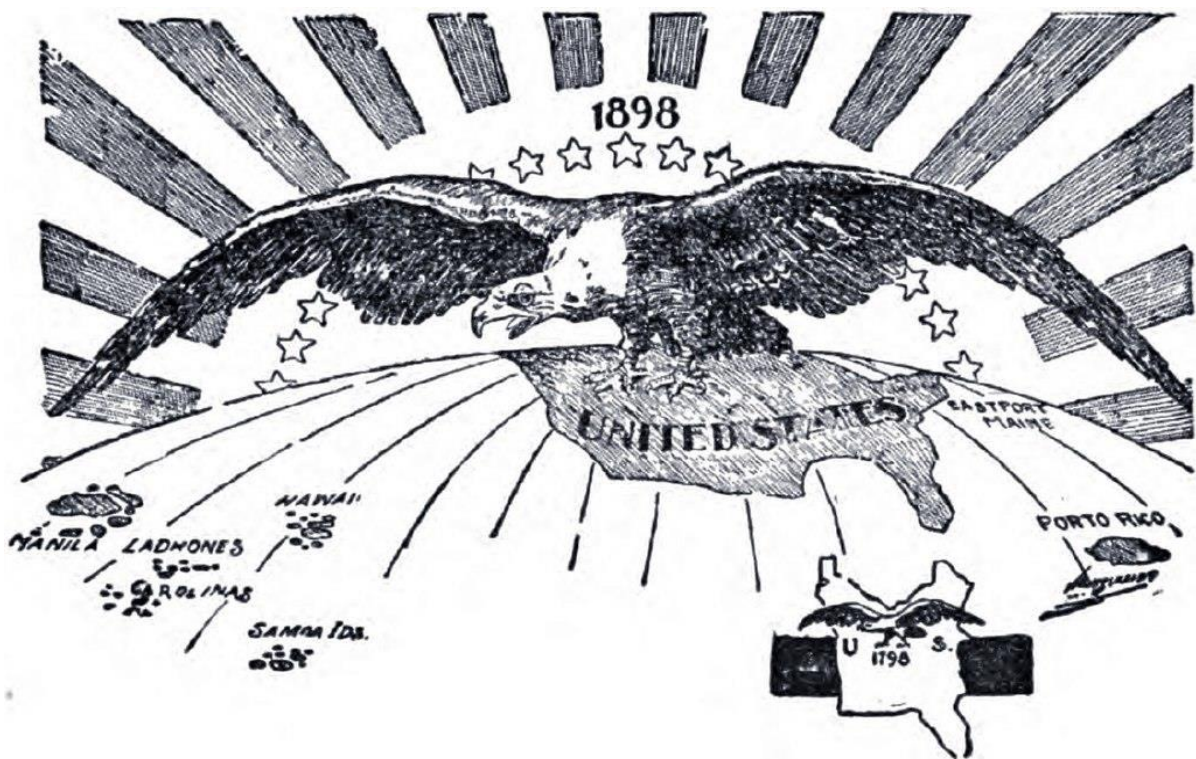
Речь шла об американо-испанской войне в Карибском море и на Тихом океане.

Американский военный корабль «Maine» был отправлен к берегам Кубы, как было объявлено, для «помощи» кубинским повстанцам в их борьбе против испанского владычества. Корабль взорвался на рейде в Гаване при таинственных обстоятельствах. Соединённые

Штаты предъявили ультиматум Испании и 21 апреля начали военные действия. Когда испанские плохо вооружённые войска капитулировали, представитель кубинских повстанцев был отстранён от переговоров, и американцы оккупировали Кубу.

Точно такой же трагический фарс был разыгран и на Филиппинах. 1 мая 1898 г. испанский деревянный флот был сожжён и потоплен американской эскадрой в Манильском заливе. К этому времени филиппинские повстанцы фактически ликвидировали власть Испании на островах. Но им не позволили овладеть Манилой. Условившись о сдаче Манилы, американцы предприняли штурм незащищённого города. Так навязчиво была продемонстрирована «решающая» роль Соединённых Штатов в уничтожении испанского владычества на Филиппинах.

В итоге, в ходе боевых действий САСШ захватили принадлежавшие Королевству Испания с XVI века Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. В декабре 1898 г. в Париже был подписан мирный договор, по которому Куба объявлялась независимой, а фактически попадала под американский протекторат; что касается Филиппин, то эта богатейшая испанская колония целиком переходила во власть Соединённых Штатов.



Ten thousand miles from tip to tip.—Philadelphia Press.

«Десять тысяч миль от края до края».

Карикатура 1898 года, изображающая сферу господства США, простирающуюся от Пуэрто-Рико до Филиппин

Так — перераспределением колоний — окончилась эта война. За её событиями, действительно, следили «с напряжённым вниманием» её как сторонники, так и противники, и именно потому, что эта война представляла собой характернейшее явление новой империалистической эпохи.

Десятидневная война за господство в Карибском бассейне завершилась безусловной победой американцев, но ославила жестокость, с которой они вели её. В черновике статьи «Две войны» (рук. № 1) Толстой эмоционально замечает:



Американские солдаты после капитуляции испанских войск в Сантьяго-де-Куба. Куба, 1898

«Не буду повторять то, что все знают, какие боины устраивали американцы, как посылали и людей заряды с пудами взрывающегося динамита, как как в зверей стреляли в спасающих свою жизнь, уплывающих людей.... Иногда кажется, что этого не может быть, что всё это только сновидение, от которого проснёшься. Всё это слишком ужасно, чтобы повторять это. Но ужаснее всего тот мрак, до которого дошли люди. И кто же эти люди? Самой молодой, передовой нации — американцы» (Там же. С. 250).

Американо-испанскую войну, как и англо-бурскую, которые велись американскими и английскими империалистами с целью захвата колоний, Толстой назвал «ужасной». В Дневнике на 8 января 1900 г. он записал: «Читаю о войне на Филиппинах и в Трансваале и берёт ужас и отвращение. Отчего? Войны Фридриха, Наполеона были искренни и потому не лишены были некоторой величественности. Было это даже и в Севастопольской войне. Но войны американцев и англичан среди мира, в котором осуждают войну уж гимназисты, — ужасны» (54, 7 – 8).

В рукописных материалах содержатся высказывания Толстого об американо-испанской войне, не вошедшие в основной печатный текст. Так, в рукописи № 2 он говорит об этой войне как «о том страшном, бессмысленном и вместе с тем холодном, расчётливом и зверском убийстве, которое производилось над испанцами, которое американцам представляется чем-то очень похвальным». В рукописи № 1 Толстой отметил, что «поразительно было в этой войне всеобщее несочувствие американцам». «Действие американцев в этой войне вызвало чувство того омерзения и отвращения, которое испытываешь.... к наглым убийцам», — писал он.

Э. Г. Бабаев, а вместе с ним и ряд других советских исследователей, были убеждены, что «непосредственным поводом или толчком для <написания> этой статьи Толстого послужило письмо американки Джесси Л. Глэдвин» (*Бабаев Э.Г. Иностранная почта Толстого. // Литературное наследство. Том 75. Кн. 1. С. 473*).

Вот его полный текст (перевод с английского):

«Пуэбло. Колорадо. 1 августа 1898 г.

№ 440

Графу Льву Толстому [Lyof Tolstoy]. С.-Петербург. Россия.

Милостивый государь!

Беру на себя смелость обратиться к вам с частным письмом, где кратко излагаю свою несложную просьбу и её цель. Не будете ли вы столь добры прислать мне несколько слов, написанных вашей рукой, с выражением ваших чувств и мыслей о благородной роли американской нации и героизме её солдат и моряков в теперешнем столкновении?

Как только мы получим пятьсот ответов от лиц, к которым мы обратились, письма эти будут на несколько дней выставлены в каком-

нибудь крупном центре, а доход от выставки незамедлительно поступит в Американское Общество Красного Креста для помощи больным и раненым солдатам и морякам — дело нужное и неотложное.

Пожалуйста, не прерывайте цепь номеров. Будем бесконечно благодарны за любезный и скорый ответ.

Официальное подтверждение Общества и упоминание о вашем ответе будут сделаны в печати своевременно.

Искренне ваша Джесси Л. Глэдвин» (*Там же. С. 474*).

На письме стоит цифра 440. Очевидно, это — порядковый номер запроса из числа тех, которые были сделаны Глэдвин, обращавшейся к различным выдающимся деятелям разных стран.

Конечно же, такое письмо не могло не возмутить Толстого, и он излил своё возмущение на страницах новой работы. Но, как нам кажется, выводы Э. Г. Бабаева о значении для Толстого этой статьи преувеличены. В своём анализе советский, жёстко подцензурный исследователь избегает писать о *второй* войне, которую разумеет Л. Н. Толстой в заголовке статьи. А между тем — она-то в то время и была для Толстого значительно важнее «агрессии империалистов», которую разрешалось и поощрялось ругать в СССР.

Эта резкая антивоенная статья — неизмеримо шире смыслами, чем просто публицистическое выступление против конкретной войны. Она — первое в антивоенной публицистике Толстого выступление в защиту отказавшихся тогда от воинской повинности «горсти христиан», кавказских духоборов, над которыми издевалась имперская Россия.

В мире идут две войны, — утверждает Толстой, — и противоположность между ними поразительна. Одна, теперь уже кончившаяся, испанско-американская, была «старая, тщеславная, глупая и жестокая», решавшая посредством убийства вопрос о том, как и кем должны управляться люди. Л. Н. Толстой сравнил в ней тогдашнюю испано-американскую войну с избиением сильным и молодым человеком (Штатами) «выжившего из ума и сил старика». Восхваление американцев в прессе названо в рукописном черновике статьи «умственным повреждением» хвалителей (31, 98, 250).

Этой войне противопоставлена публицистом «другая война», «новая, самоотверженная, основанная на одной любви и разуме, святая война, — война против войны» (*Там же. С. 97, 98*). Толстой имеет в виду обратившее уже в это время его внимание противостояние русскому правительству выселенных им на Кавказ сектантов-духоборов, воздерживавшихся от греха повиновения властям, в том числе

от военной службы по призыву. Толстой называет духоборцев «героями войны против войны» за их отказ даже от простого ношения оружия, столь необходимого на Кавказе (*Там же. С. 99*).



Сожжение оружия духоборами

Одна война занимала всех, а про другую войну «почти никто и не знает», — с горечью заметил писатель, приводя имена людей, отказавшихся от военной службы, «героев войны против войны», которые умирали «под розгами, или в вонючих карцерах, или в тяжёлом изгнании» (*Там же. С. 99 – 100*).

Здесь та же христианская, восходящая к исповеданию «В чём моя вера?», *пря духовная* Толстого, исповедника Христа, с миром, с мирскими ложью и злом. Толстой начинает статью с упоминания о других, чтимых высоко миром, «героях». Здесь-то и пригодилась публицисту вовремя полученная им рассылка из САСШ. Второпях или от возмущения, но он не обратил внимания, что автор оной — женщина:

«Я на днях получил письмо из Колорадо от какого-то господина Джесси Глодвина, который просит меня прислать ему: “...несколько слов или мыслей, выражающих мои чувства по отношению благородного дела американской нации и героизма её солдат и моряков”. Господин этот, вместе с огромным большинством американского народа, вполне уверен, что дело американцев, состоящее в том, что они побили несколько тысяч почти безоружных (в сравнении с вооружением американцев испанцы были почти безоружны) людей,

есть несомненно благородное дело, noble work, и что те люди, которые, побив большое количество своих ближних, большею частью остались живы и здоровы и устроили себе выгодное положение, — герои» *(Там же. С. 97 – 98)*.

Позорная война в Украине нынче (февраль 2023 г.) ещё не завершена, а преступная Россия уже готовит собственный паноптикум «героев», живых и умертвлённых, из числа законтрактовавшей себя нечисти, пытавшей и расстреливавшей людей в украинских оккупированных городах, а равно и прощённых, набранных по тюрьмам бандитов — истинных «братков» тех, кто распоряжается Россией!

А в подпутинских школах уже пытаются навязать детям культ почитания «ветеранов спецоперации», то есть гнусной войны с мифическим «украинским нацизмом», «которые, желая отличиться перед людьми, получить награду и славу, убили очень много людей или сами умерли в процессе убийства своих ближних» *(Там же. С. 99)*.

Как раз всем подобным «героям» и противопоставляет отче Лев смиренных, не противящихся злу, творимому над ними правительственными людьми, евангельских, чистых христиан духоборов. Православное, то есть, якобы, христианское государство Россия «выставило против духоборов все те орудия, которыми оно может бороться. Орудия эти: полицейские меры арестов, непозволения выезда из места жительства, запрещение общения друг с другом, перехватывание писем, шпионство, запрещение печатания в газетах сведений о всём, касающемся духоборов, клевета на них, печатаемая в журналах, подкупы, сечения, тюрьмы, ссылки, разорение семей. Духоборы же с своей стороны выставили своё единственное религиозное орудие: кроткую разумность и терпеливую твёрдость, и говорят: не должно повиноваться людям больше, чем Богу, и что бы вы с нами ни делали, мы не можем и не будем повиноваться вам» *(Там же)*.

Здесь же, чтобы подтвердить читателю, что мученичество отказников не ограничивается лишь сектантскими движениями, Толстой вспоминает погубленного тётей родиной Евдокима Никитича Дрожжина и живых, продолжавших в те дни свой духовный подвиг, солдат Ольховика и Середу. И таких десятки — людей, которые «умерли, ослепли и всё-таки не покоряются требованиям, противным закону Бога» *(Там же. С. 100)*.

К этому времени враги Христа в России уже заметили связь участвовавших идейных отказов с исповедничеством великого яснополянца. Его стали винить в подбивании молодых людей на напрасные жертвы: «Люди эти погибнут, а устройство жизни останется то же» *(Там же)*. Схожие мнения текли и из-за границы. Например, в связи с агиографией толстовца Е. И. Попова о Дрожжине, Толстой получил

открытое письмо от немецкого писателя-патриота Фридриха Шпильгартена (*нем.* Friedrich Spielhagen, 1829 — 1911), опубликованное впервые на Рождество, 25 декабря 1895 г., в газете «Neues Wiener Tageblatt» («Новый венский дневник», № 354), а в следующем году охотно, в обличение «еретику», напечатанное отдельной брошюрой и в России.



Ф. Шпильгартен в своём рабочем кабинете. 1898 г.

В этом письме старик, почти ровесник Льва Николаевича, ревностный протестант, подтвердив общность с Толстым идеалов всеобщего мира, при этом доказывает, что смерть Дрожжина не была полезна этому самому делу всеобщего мира, что она была бесполезной жестокостью, и что ответственность за неё падает на Льва Николаевича (*Открытое письмо к гр. Льву Толстому Фридриха Шпильгартена. СПб., 1898. С. 23*).

Самого Льва-учителя Шпильгартен описывает в открытом письме мрачно и жестоко, как главного палача Дрожжина, более виновного, чем царь, министры или военщина — одновременно обращаясь с обличениями и напрямую к Толстому:

«...К рукам его, в моих глазах, так страшно прилипли кровь и слёзы несчастного, что никакие духи — которыми, как я слышал, вы любите при случае окроплять себя — ни вся вода вашей Волги омыть

их не могут» (Там же. С. 8). Немецкий писатель напоминает коллеге о его непомерно раздутых величии и авторитете — при которых нужно быть особенно осторожным с орудием слова:



Обложка отдельного издания в России открытого письма Ф. Шпильгартена Л.Н. Толстому

«Мне поэтому, к сожалению, не остаётся ничего иного, как обвинить вас в ужаснейшем неразумии и неосторожности, раз вы с вашей, недоступной для уголовного суда высоты, возвестили миру слова, которые стали для бедного Дрожина источником жесточайших страданий» (Там же. С. 15 – 16).

«Но, может быть, вы станете отрицать, что он был вашим учеником?» (Там же. С. 16) — задаёт Шпильгартен совсем не риторический вопрос ученику Христа (такому же, как Дрожжин).

По большому счёту, даже с формальной, внешней стороны обвинения Фридриха Шпильгартена в адрес Льва Николаевича Толстого не вполне несправедливы, так как агитаторами Дрожжина была сектантская когорта князя Хилкова, принадлежавшего к т. н. «штунде», независимой от толстовства рационалистической секте, ещё до знакомства с духовными писаниями Толстого. Сам Дрожжин «начал»,

как мы помним, с увлечения социализмом и соответствующей литературой, и навредил себе первоначально именно этим. Любопытно, что, будучи сам позорно, в пожилые годы, увлечён «прогрессивными» идеями, Фридрих Шпильгартен обходит это обстоятельство неловким молчанием — и не «включает» совесть для того, чтобы не пропагандировать социал-демократические взгляды хотя бы в письме к Толстому! Он напоминает яснополянцу афоризм Гёте, что одиночка «не должен прыгать за своими идеалами»:

«...Чтобы доставить на земле торжество идеи мира, — приводить в борьбу с крепко установленными государственными формами беспомощных индивидуумов, борьбу, которая неминуемо ведёт к трагической гибели последних. Ибо таким способом вы [...] не осуществите идеи мира.

Как же быть, спросите вы.

[...] Видите ли, граф, наши социал-демократы в этом случае гораздо благоразумнее и мудрее вас. Будьте уверены, что они питают не меньшее отвращение к принудительной военной службе, проповедают с не меньшим убеждением всеобщий мир. Но они [...] старательно избегают становиться мишенью для малокалиберных магазинов и нарезных орудий, и, хотя сердце их обливается кровью, но они позволяют своей молодёжи приносить присягу знамени и обучаться искусству “убивать людей”, в твёрдой уверенности, что постепенное “просветление человеческого духа” основательно устроит все их дела.

[...] У нас есть пресса с своими газетами, журналами, брошюрами, книгами; у нас есть народные собрания, парламенты, театры. Наконец, у нас есть всякого рода союзы, общества, а для цели, о которой здесь идёт речь, — общества мира.

Вы ничего не ждёте от них? Вы не верите в действительность их?» (Там же. С. 18 – 21, 22 – 23).

Каков «христолюбивый» говнюк?! На место последовния Христу немецким писателем и публицистом ставится распространение светских просвещения и гуманизма. И ведь это вполне верующий христианин, протестант! А Христу, по вере Шпильгартена, и вовсе не нужно последовать — как делали древнейшие, первые христиане — в отрицании участия в военной службе, если таковое отрицание сопряжено с риском свободой, здоровьем, жизнью:

«Несомненно то, что Он сам умер на Кресте. Но я никогда не слышал и нигде не читал, чтобы Он, для испытания своего учения, предположил бы кого-нибудь другого на Голгофу» (Там же. С. 22). Шпильгартен здесь смешно, бессмысленно прав: действительно, именно *предпосылать* на гибель Иисус не мог никого из последовавших за ним

— лишь предсказав верным ученикам возможность страданий и терпения, и даже риск быть убитыми мечом язычника, враждующего с Божьей правдой-Истиной, а от себя, от первых слов учения до последних, на римской распялке, судорог от кровопотери и мучительнейшей жажды — «всего лишь» дав пример жизни в воле Отца, именно чистой *христианской* жизни.

По существу, Шпильгартеном пропагандируется то самое, чего мог, до встречи с писаниями Толстого-христианина, послушаться от социалистов Евдоким Дрожжин. Сам Лев Николаевич, конечно же, проницательнейше обратил на эту неловкость Шпильгартена внимание. В письме к Эугену Генриху Шмитту (позабывшемуся не только о пересылке Толстому письма Шпильгартена, но и об ответе ему с «толстовских», евангельских и христовых, позиций) от 27 февраля 1898 г. он надрал немца в его социал-демократический арш — буквально за один абзац (подлинник по-немецки):

«...Если бы у меня было больше времени и сил, то я ответил бы не одному Шпильгагену, а всем вождям социалистов то, что я давно уже желаю сказать, а именно, что социалистическая и либеральная деятельность не только тщетна и не может привести ни к каким результатам, но даже в высшей степени вредна, ибо привлекает к себе лучшие силы, и вместо того, чтобы приучать молодых людей утверждать своё человеческое достоинство и дорожить им, она приучает их к компромиссам, так что весьма часто эти люди, сами того не замечая и воображая, что борются за истину и свободу, переходят в лагерь своих противников» (69, 49).

Как может помнить читатель, в протестном мировоззрении Евдокима Никитича Дрожжина, вовремя освободившегося от увлечения социализмом, напротив, тема человеческого достоинства и незыблемого, во Христе, духовного мировоззренческого «якоря», «автономной» от мирских влияний морали, несовместимой с повиновением приказывающей убивать человеческой власти, занимает значительнейшее место.

А Шпильгартен таки заполучил от Толстого ощутимую шпильку в свой арш — ибо речь-то в письме Толстого явно о нём!

Но для нас важнее отметить иное. Явное непонимание Шпильгарте-ном того *внутреннего*, глубинного душевного процесса, который привёл Дрожжина к совершению его подвига, конечно, не оставляло возможности Толстому лично ему отвечать, возражать. Интересно это письмо только тем, что выражает общественное мнение того времени большой социал-демократической германской группы, к которой принадлежал покойный немецкий писатель, автор известного политического романа «Im Reih und Glied» [*нем. пригл.*: «В общем

строю» (1866); в русском переводе «Один в поле не воин». Название вполне отражает главную идею романа Шпильгартена: великой личности возможно перевернуть общественный и мировой порядок, но только с опорой на вооружённые массы. – Р. А.]. Роман этот, по метко-остроумному наблюдению биографа Толстого Павла Ивановича Бирюкова, «до сего времени является выражением немецкой массовой нравственности, или, вернее, рабства, которому всегда страшна была личная инициатива, та самая, которую Л. Н-ч полагал в основу человеческого прогресса» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х т. М., 1922. Том 3. С. 263*).

Таковым агитаторам, вредителям делу грядущей победы в войне с войной, Толстой так отвечает в статье «Две войны»:

«Так же, я думаю, говорили люди и о напрасности жертвы Христа, да и всех мучеников за истину. Люди нашего времени, особенно ученые, так огрубели, что не понимают, не могут даже по грубости своей понимать значения и действия духовной силы. Заряд в 250 пудов динамита, пущенный в толпу живых людей, — это они понимают и видят в этом силу; но мысль, истина, получившая осуществление, проведённая в жизни до мученичества, ставшая доступной миллионам, — это, по их понятию, не сила, потому что она не трещит и не видно сломанных костей и луж крови. Учёные (правда, плохие учёные) все силы эрудиции употребляют на то, чтобы доказать, что человечество живёт, как стадо, руководимое только экономическими условиями, и что разум дан ему только для забавы; но правительства знают, что движет миром, и потому безошибочно по инстинкту самосохранения ревнивей всего относятся к проявлению духовных сил, от которых зависит их существование или гибель. Оттого-то все силы русского правительства были направлены и ещё направлены на то, чтобы обезвредить духоборов, изолировать их, выслать их за границу.

Но, несмотря на все усилия, борьба духоборов открыла глаза миллионам.

Я знаю сотни людей, старых и молодых военных, которые благодаря гонениям против кротких, трудолюбивых духоборов усомнились в законности своей деятельности; знаю людей, которые в первый раз задумались над жизнью и значением христианства, увидав и услышав про жизнь этих людей, про гонения, которым они подверглись.

И правительство, управляющее миллионами людей, знает это и чувствует, что оно поражено в самое сердце.

[...] И последствия её важны не для одного русского правительства. Всякое правительство, основанное на войске и на насилии, точно

так же поражено этим оружием. Христос сказал: "Я победил мир". И он действительно победил мир, если только люди поверят в силу данного им этого оружия» (*Там же. С. 100 – 101*).

Как призыв к христианскому миру опомниться, не участвовать в военных приготовлениях звучат слова Толстого о том, что «люди нашего времени должны понимать значение и действие духовной силы». Он уверен, что мир победит, «если только люди поверят в силу данного им оружия» и каждый человек будет следовать «своему разуму и своей совести».

Как видим, статья — не простенькая и *весьма* актуальная уже своим образным строем. Перед читателем — европейцем, россиянином, — почти наверняка причисляющим себя либо просто к умным и добрым, либо даже — к христиански верующим людям, автор ставит дилемму: *с кем быть?* Кого поддержать — одобрением на словах, поступками, денежной помощью, оружием: "своё" ли правительство, проводящее с целью наживы, аннексий, колонизаций и иных внешнеполитических и геополитических игрищ, агрессивную политику в отношении других народов и стран, *или* — духоборов и прочих *истинных* христиан, ведущих, ценою огромных жертв и усилий, бескровную (с их стороны) "войну против войны": против самой антихристовой, языческой идеи добровольного или (чаще) недобровольного участия, на правах обитателя территории агрессора ("простого" гражданина, а в просторечии — лошка), всякого человека своими словами, поступками, деньгами и пр. — в грызне "своего" государства с соседями, или внутри государства — с несогласными с его политикой, будь то оппозиция или пресловутые "бандиты", "террористы": кстати, говоря, порождения той же садо-некрофильской цивилизации, которая породила и сами государства, искони — коды грабителей и убийц, выразителей низшего, наиболее грубо-атавистического в человеческой природе.

Будь то Северо-Американские Штаты, Российская империя времён Толстого, будь то фашиствующая путинская Россия наших дней — не важно: надо только задуматься: *с кем ты?* С Христом или с князьями мира сего? Разбойничьи ли заботушки (ах! как бы другая держава или, скажем, НАТО тебя в грабировке не опередили!..) твоего монарха или "президента" должны быть *для тебя* актуальны, или — то, чтобы исполнить в жизни своей главный, религиозный смысл: совершенствования в любви и разумности, увеличение любви в окружающем мире проповеданием и примером?

Как и в случае выбора между миром и патриотизмом, и здесь нужно выбирать: *или* — Царство Бога, христианство и ненасилие, *или* —

теперешнее мирское устройство, государства и стремительное движение современной садо-некрофильской цивилизации к окончательному разорению природы и экономик в грызне и переделах территорий и остатков ресурсов, саморазрушению и гибели.

Придётся выбирать!



Издание статьи «Две войны» в «Посреднике»

В связи с отразившимися в статье «Две войны» Толстого событиями испано-американской войны нельзя не упомянуть, в завершение о ней нашего рассказа, ещё о некоторых письмах к Толстому по поводу этой войны — от людей, некоторые из которых исфантазировали себе даже некую «близость» к Толстому, хотя вряд ли бы поняли идеи его новой статьи.

Весьма примечательным среди таковых писем было послание старого английского юриста и публициста, переселившегося в Штатах ещё в конце 1860-х годов, *Монтегю Ричарда Леверсона* (Montague Richard Levenson, 1830 – 1925). Он был близко знаком в молодости с

высокопочтимыми Толстым А. И. Герценом, Джузеппе Мадзини, Джоном Стюартом Миллем, а в Америке — с Генри Джорджем. В САСШ он был владельцем ранчо в округе Дуглас, штат Колорадо, а также адвокатом и неудачливым политиком в Калифорнии. В конце 1870-х этот беспокойный еврей стал известен скандальными доносами в Белый дом — на действующего губернатора территории Нью-Мексико. Оказалось, что Леверсон метил на этот пост. Дело ограничилось тогда осмеянием клеветника в ежедневной газете «The Santa Fe New Mexican» (*Keleher W. A. The Fabulous Frontier, 1846 – 1912. University of New Mexico Press, 1962. P. 62*).

Леверсон также пытался стать врачом, но остался на уровне обыкновенного американского шарлатана своей эпохи: гомеопатом, противником вакцинаций и отрицателем микробной теории (*The New Cycle. Metaphysical Publishing Company. 1908. P. 307*).



Монтегю Леверсон

В 1900 году его политическая деятельность, в числе прочего, выражалась поддержкой Американской антиимпериалистической лиги (*The American Anti-Imperialist League*), созданной 15 июня 1898 года для борьбы с американской аннексией Филиппин как островной территории. Антиимпериалисты выступали против насильственной экспансии, считая, что империализм нарушает фундаментальный

принцип, согласно которому справедливое республиканское правительство должно основываться на "согласии управляемых". Лига утверждала, что такая деятельность потребовала бы отказа от американских идеалов самоуправления и невмешательства — идеалов, выраженных в Декларации независимости Соединённых Штатов, Прощальной речи Джорджа Вашингтона и Геттисбергской речи Авраама Линкольна. Уже в первые годы XX столетия, в результате агитации противников, Лига проиграла в глазах общественного мнения и потерпела поражение, как и ставленник антиимпериалистов на выборах президента 1900 и 1908 гг., популист Уильям Дженнингс Брайан (*Harrington F. H. Literary Aspects of American Anti-Imperialism 1898 – 1902. New England Quarterly, Vol. 10, No. 4 (Dec., 1937). P. 650*).

23 февраля 1900 г. Леверсону удалось-таки совершить исторический поступок: на митинге Лиги в Филадельфии, перед немногочисленными сторонниками, он выразил возмущение «жестокой войной, которую ведёт теперь Мак-Кинли и американская армия против храброго, цивилизованного и свободолюбивого народа Филиппинских островов. [...] Эта несправедливая война, по мысли Леверсона, угрожала не только Филиппинам, но и самой Америке. «О мои соотечественники, — говорил Леверсон, — вы должны сделать выбор теперь, иначе будет поздно. Вы должны выбрать теперь правду, выбрать свет, выбрать свободу, и не только для себя, но и для ваших братьев, независимо от того, какого цвета у них кожа и к какой расе они принадлежат. Вы должны сделать выбор и ради них, и ради самих себя. Иначе и вы тоже станете рабами. Да будут спасены республика и свобода!» (Цит. по: Бабаев Э. Г. *Иностранная почта Толстого. // Литературное наследство. Том 75. Кн. 1. С. 474 – 475*).

Речь Леверсона была выпущена отдельной брошюрой, которую он не преминул послать Толстому, вместе с письмом такого содержания (перевод, в сокращении):

«Форт Гамильтон. Нью-Йорк. [...]

Милостивый государь!

Я послал вам заказным письмом текст моей речи [...] в надежде, что грустные факты, о которых там говорится, побудят вас обратиться с посланием к народу Соединённых Штатов, дабы указать ему на злодеяния, совершаемые его правительством на Филиппинах, на Кубе и в Пуэрто-Рико, и призвать американцев прекратить эти преступления, заставить своё правительство вернуться на честный, человеколюбивый путь, с которого оно сбилось.

Преступления и ужасные дела, о которых я говорил в моей речи, продолжают совершаться ежедневно. Народ Соединённых Штатов прислушается к вашему голосу из уважения к вам и во имя поруганной гуманности.

Умоляю вас поднять свой голос против жестоких, испорченных людей, совершающих от имени Соединённых Штатов эти отвратительные дела, стараясь скрыть их от народа.

Вы, может быть, вспомните моё имя: я англичанин, друг знаменитого Герцена, оказывал значительную помощь эмигрантам, жившим в Англии в 1850 – 1864 гг.

[...] Ваше обращение может разбудить спящую совесть американцев» и т. п. (*Там же. С. 475*).

Упоминание об оппозиционных России эмигрантах вряд ли могло быть приятно Толстому: он не мог забыть их деструктивной роли в антироссийской пропаганде 1880 – 1890-х гг. в Европе и САСШ, затруднившей то общее дело помощи голодавшим в России крестьянам, в которое включился в 1891 году Лев Николаевич. Не одобрял он и политического активизма, напополам с авантюризмом, самого Монтегю Леверсона. Так или иначе, в поддержке старому пройдохе им было отказано, а письмо его ясмнопольянец оставил без ответа.

Обосравшись в Америке по всем пунктам, Леверсон в том же 1900 г. вернулся в Англию, где лишь в 1922-м, незадолго до кончины, смог восстановить британское гражданство.

Другим значительным адресатом Л. Н. Толстого в связи с событиями испано-американской войны был человек, несколько более выдающийся и значительно более приятный — американский общественный деятель и публицист *Герберт Уэлш* (Herbert Welsh, 1851 - 1941), приятель толстовца Эрнеста Ховарда Кросби.

Герберт Уэлш родился в Филадельфии, и был младшим из 8 детей Джона Уэлша, преуспевающего торговца и филантропа. Он получил образование в Епископальной академии в Филадельфии, окончил Университет Пенсильвании (1871), а затем изучал искусство в Пенсильванской академии изящных искусств в Филадельфии.

В мае 1873 года Уэлш уезжает в Париж, чтобы учиться в студии Леона Бонна. Весной 1874 года он вернулся в Филадельфию и некоторое время работал художником. К этим годам, вероятно, относится масляный портрет Герберта Уэлша, с которого он предстаёт нам во всей прелести своих молодости и привлекательности.



Герберт Уэлш. 1870-е (?)

В отношении политической деятельности, Уэлш стал известен как искренний защитник прав коренных американцев и борец с коррупцией. Он был президентом Ассоциации реформирования государственной службы Пенсильвании, членом исполнительного комитета Национальной лиги реформирования государственной службы (National Civil Service Reform League), а с 1895 по 1904 год был редактором еженедельника «Город и государство» («City and State»), посвящённого интересам эффективного управления.

В отношении заботы об экологии родной страны Герберт Уэлш стал основателем существующего по сей день Государственного парка Маунт-Санапи, общественной зоны отдыха в Ньюбери, штат Нью-Гэмпшир.

С 1915 по 1929 гг. (быть может, помня и о Толстом), Герберт Уэлш стал пропагандистом пеших путешествий и занимался ими сам для поддержания здоровья.



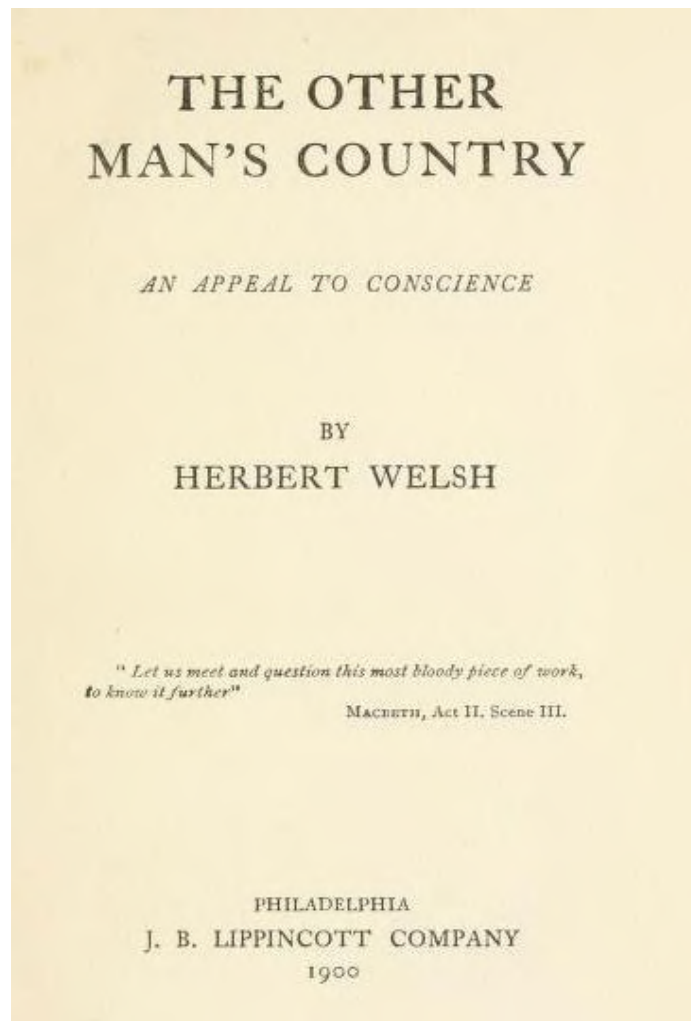
Герберт Уэлш в пешем походе.
Фото из книги «The new gentleman of the road» (1921)

В 1900 г. Уэлш опубликовал книгу «The other man's country: an appeal to conscience» [«Чужая страна: взываю к совести»] – а с таким материалом, конечно же, прямая дорожка была к Толстому! Ему 18 ноября 1902 г. он адресовал пространное письмо, приводимое ниже в переводе и с незначительным сокращением.

«Филадельфия. 18 ноября 1902 г.
1305, Arch Street.

Милостивый государь!

[...] Я один из тех многих тысяч мыслящих людей на земле, которых сейчас сильно беспокоит вопрос о войне, которые считают войну бичом человечества и полагают долгом каждого, кому дороги интересы человечества, разумно и терпеливо делать всё, что в их силах, для её ограничения, а, если возможно, то и окончательно изгнать войну из жизни человеческого общества.



Я много лет надеялся — по-видимому, не совсем без основания, — что народ Соединённых Штатов сможет эффективно способствовать предотвращению войны, спасению цивилизованного мира от этого бедствия. Казалось, всё вело нас к этому: географическое положение, традиции, христианское учение, исповедуемое нами, наши торговые интересы.

Укрепляло эту надежду и то, что мы открыли путь для урегулирования споров, которые иначе грозили разрешиться войной — третейские суды.

Когда страдания кубинского народа привлекли внимание и возбудили сочувствие Соединённых Штатов — казалось, для нашего народа с его мощной нравственной силой открылась прекрасная возможность уладить возникшие трудности указанным выше образом, вместо того чтобы прибегать к войне. Что Испания согласилась бы на такое разрешение вопроса, а мы использованием мирных средств высоко подняли бы свой престиж — ясно теперь из многих

документов, опубликованных с тех пор, и благодаря тщательному изучению исторических фактов.

Но мы избрали иной путь; правильно или неправильно мы признали войну средством достижения высокой цели защиты свободы и мира на Кубе. Всем известно, что на этом пути мы были вовлечены в разрешение вопроса, не предусмотренного в момент возникновения кубинского конфликта на политическом горизонте. Мы предприняли завоевание новообразовавшейся Малайской республики на отдалённых Филиппинских островах, то есть заняли совершенно такую же позицию, какую занимала Испания по отношению к богатому острову Кубе в Вест-Индии.

В политическом отношении мы отстаивали на Филиппинах свою власть над жителями этих островов совершенно так же, как Испания на Кубе. А ведь мы провозгласили на весь мир, что жестокость и бездарность испанских правителей лишают их права на власть над Кубой.

Затем, будто по велению незримой судьбы, наша молодая и сильная республика создала до последней чёрточки во всех оттенках ту же картину, какую на глазах всего мира живописала своей дряхлой рукой умирающая Испания: мы совершили завоевание, употребив жестокие, отвратительные, средневековые способы, применение которых стало в Испании уже более или менее привычным.

Книжка, которую я вам послал, является попыткой проследить историю наших действий в её ранней стадии. Я убеждён, что сказанное мною там — правда.

Я привожу доказательства, что в этой войне мы применяли пытки как один из видов оружия.

Пишу к вам, побуждаемый горячим желанием узнать ваше мнение об этом историческом инциденте. Я глубоко убеждён в душе, что он содержит очень важный материал и для историка, и для всякого, кто честно и серьёзно озабочен прогрессом человечества. Мне кажется, что случай этот поднимает спорные вопросы, касающиеся не только американцев, но всех справедливых и разумных людей, мужчин и женщин.

Сознаю вполне: многие могут счесть, что, спрашивая ваше мнение об этих вещах, я непатриотичен, что не следует выставлять напоказ иностранцу дурные деяния моей страны. Но я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что поднятые вопросы являются делом всех цивилизованных народов. И все цивилизованные люди должны встать заодно против разрушительных сил, которые привели нас к таким результатам. Поступая так, они способствуют прогрессу всего человечества, а, следовательно, и благополучию своего народа. Ибо,

если будет установлено, что такие деяния — дурны, они будут наносить ущерб не только тому народу, против которого направлены, но также и тому, кто их совершает.

Не стану больше ничего говорить, потому что цель моего письма — не столько выразить собственные взгляды, сколько узнать ваше мнение.

Прибавлю только в заключение, что считаю себя лично глубоко вам обязанным за ваши огромные услуги делу мира и цивилизации.

Искренне ваш Герберт Уэлш» (Цит. по: Бабаев Э.Г. Указ. соч. С. 476 – 477).

Испытав к адресату, другу очень духовно ему близкого Эрнеста Кросби, понятную симпатию и почувствовав близость, Толстой лично ответил ему в письме от 15 декабря 1902 г.:

«Не могу не любоваться вашей деятельностью, но преступления, совершённые на Филиппинах, именно такие, какие, по моему мнению, всегда будут происходить в государствах, управляемых посредством насилия, или в которых насилие допускается и употребляется как необходимое и законное средство» (73, 338).

Зло войны от безверия и от производного от него суеверия оправданного, легитимизируемого организованного в обществе насилия. Решение — доверие Богу, послушание Христу и отказ от насилия. Это стремился донести Толстой и своей статьёй «Две войны», в ничтожности понимания современниками и влияния на них которой убедился благодаря, в числе прочего, и своим иностранным почитателям.

Всё-таки влияние социальной критики Толстого даже на секуляризованное общественное сознание современников было столь значительным, что даже сам Тедди Рузвельт, главный распорядитель «большой дубинки», как называли тогдашнюю политику США, счёл нужным выступить против Толстого. В 1909 г. в журнале «Outlook» появилась статья Рузвельта «Tolstoy», где доказывался тезис, что Толстой — плохой «моральный гид» для «людей дела» (Roosevelt, Theodore. Tolstoy. — «The Outlook. 1909. Vol. 92. P. 103 – 105). Рузвельт пытался отвести и толстовскую критику империалистических захватов, оправдывая их требованиями и интересами цивилизации. Толстой, прочитав писания Рузвельта, отозвался о них очень кратко: «Статья глупая». «Я знаю о нём только то, что он империалист и милитарист»,

— говорил Толстой о Рузвельте (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 267*).

Эти два понятия были связаны в представлении Толстого в одно целое.

6. 9. «ПИСЬМО К ФЕЛЬДФЕБЕЛЮ». 1899

Эта статья представляет собой ответ на письмо от 18 декабря 1898 г. фельдфебеля в отставке, мещанина *Михаила Петровича Шалагинова* (годы жизни не установлены), спрашивавшего Толстого, совместимо ли христианское учение с военной службой и войной.

18 декабря 1898 г. Шалагинов, проживавший в то время в посёлке Каменский Завод Камышловского уезда Пермской губ., обратился к Толстому с письмом такого, по внешности наивного, но доброго и необычайно глубокого содержания:

«Уважаемый граф Лев Николаевич.

Хотя я не имею права беспокоить вас, но слышал, что вы человек снисходительный, не похожий на других наших русских бар, и авось будете так же добры и ко мне — поможете разрешить мне мучающие меня вопросы.

Я исповедания православного, отставной фельдфебель и мечтатель, люблю задаваться философскими вопросами. (Вероятно, смешно вам будет, что малограмотный человек пускается в философию и задаётся такими вопросами. Простите меня, но мне кажется, могут быть философы не только неучёные, но и неграмотные совсем; не знаю, допускается ли это по-вашему?)

В Русско-турецкую войну служил в кавказской армии. Во время прохождения военной службы мне в голову гвоздём запала мысль: зачем же нас, солдат, учат, что мы будто не грешим против шестой заповеди, убивая на поле брани врагов наших (разумеется, мнимых), или иначе, — заповедь эта не запрещает нам это, а повелевает. (Не имея того учебника, теперь, по прошествии девятнадцати лет, передать буквально примечание к шестой заповеди не могу и передаю

лишь смысла его.) Это должен был вызубрить каждый солдат, а особенно приготавливающийся в унтер-офицеры. (Вы же, быв офицером, сами знаете, можно ли было ответить не по учебнику, а по убеждению.) В Евангелии сказано: “любите врагов ваших”, из 10-й главы Луки видно, что нет различия в вере или подданстве, а всякий человек — наш ближний. А если это так, то зачем же я иду во время войны по неволе убивать другого такого же невольника, и этот другой — меня, не сделав один другому в жизни никакого зла и не зная один другого?

Теперь, по прошествии девятнадцати лет, мне думается, что собственно дерутся пань (не верю я в патриотизм их; патриот отечества всё согласится перенести и не допустить войны, ибо знает, что и от удачной войны не барыш отечеству) и ещё те, которые в кабинетах заседают, а у нас, хлопцев, чубы трещат, и от драки этой большие господа наживают нередко большие деньги, солдаты же — неизлечимые болезни; а сколько от этого бывает горя, слёз и нищих, господи, ты веси!!!

И теперь помню, как наши офицеры по окончании Русско-турецкой войны жалели, что война кончается скоро, они желали её продолжения, но солдаты молились Богу за окончание. Знаете ли, г. граф, почему это? — Потому что нас морили голодом, морозили и т. п., а офицеры жили при усиленном содержании, как сыр в масле катались, воевали или пировали, а слава чины, ордена и т. п. награды, всё это доставалось скоро и дешёво, только реляцию покрасивей написать.

Потом, в церкви, я посеичас слышу, “христолюбивое воинство” поминают, — с чего это, и не абсурд ли? Учение Христа есть любовь, во всём евангелии не видал я слова о войне (и войнах), а однако кто-то и тут приплёл Христа-спасителя.

Если можно, граф, помогите мне разрешить эти вопросы: кем или кому в угоду это установлено, есть ли на это указание в св. писании, или это простое умозаключение наших старых богословов?

Слышал я, что вопрос этот вами будто бы уже выяснен хорошо, но будто бы русская цензура наложила на него свою лапу, — насколько это верно, не знаю. Если это ваше сочинение действительно издано и существует, то не найдёте ли возможным приказать выслать мне наложенным платежом, а также и другие недорогие, в которых заключаются ваши важные философские мысли. Человек я хотя и малограмотный, самоучка, но люблю понятную философию. Вас же я понимаю, кажется, сносно. Вашу “Крейцерову сонату” читал и нахожу, что это вами написано с людей вашего круга, а в нашем кругу, слава богу, этого нет, или если есть, то редко, и у тех, которые, как обезьяны, подражают большим господам.

[...] Ах, как было бы хорошо, если бы осуществилась идея всеобщего мира, тогда не было бы конца благодарности нашему государю не только от его подданных, но и других народов. Ярмо войны и содержание армии тяжело всем. Простите, граф, меня, простого деревенского самоучку, за смелость беспокоить вашу особу этим письмом. Бывший вятский крестьянин, нынче камышловский мещанин Михаил Петрович Шалагинов. Из ваших сочинений читал: “Войну и мир”, “Анну Каренину”, “Смерть Ивана Ильича” и “Власть тьмы”, первые два романа читал со страстью и, кажется, нередко со слезами. Ещё раз благодарю Вас за доставленные мне минуты глубокого удовольствия» (72, 41 – 42).

Если учесть трудность для жителя заводского, в глухой провинции, посёлка прочитать не то, что запрещённые в России книги, но даже и изданные массовыми тиражами художественные произведения Толстого, фельдфебель в отставке Михаил Петрович Шалагинов, действительно, человек был в своём кругу незаурядный — начитанный, а в не меньшей степени насыщенный о жизни, включая военную службу в молодости, и о воззрениях Льва Николаевича Толстого: на армию и военное сословие, на международное пацифистское движение и многое другое.

31 декабря 1898 г. Толстой начал работу над обстоятельным ответным письмом, о чём он в этот день сообщал В. Г. Черткову: «Нынче написал длинное письмо одному бывшему фельдфебелю о невозможности соединения войны и христианства, и что из этого выходит» (88, 148). 21 же февраля 1899 г. Толстой записал в дневнике, после перерыва со 2 января описывая события этого промежутка времени: «Написал письмо фельдфебелю и в шведские газеты» (53, 219).

Письмо было создано в разгар работы над романом «Воскресение», что отразилось на ряде изложенных в нём идей. Толстой соглашался с мыслями Шалагинова о социальных источниках войн и развивал их: «Правительства [...] затевают войны, которые [...] выгодны не только генералам и офицерам, но и чиновникам и купцам» (72, 37). Писатель доказывал и несовместимость военных действий с христианством: «...правительства стараются всеми силами (особенно наше) удержать это церковное идолопоклонство, скрывшее христианство, и не дать народу прозреть и увидеть, что правительство со своими солдатами-убийцами, острогами, виселицами есть самое противное и несовместимое с христианством учреждение» (Там же). Он предлагал своё объяснение причин «молчаливого согласия» большинства с правительством: «...ни за чем правительство не следит с таким

страхом и вниманием, как за тем, чтобы это извращение мозгов людей совершалось бы непрестанно, и чтобы ни один человек, ни один ребёнок не миновали этого духовного и нравственного изуродования» (Там же. С. 39).

Отправив письмо Шалагинову, Толстой доработал его текст и переслал Черткову в Англию, где оно было опубликовано в виде статьи под названием «Письмо к фельдфебелю» в «Листках свободного слова» (1899. № 5. С. 1 – 5).

Во многом статья повторяет уже знакомые читателю тезисы предшествующих выступлений в печати Толстого как христианского публициста: да, отвечает Лев Николаевич пытливному фельдфебелю, всё это обман, и источник обмана — правительства лжехристианского мира, не исключая Россию, которым «нужно иметь средство для властвования над рабочим народом», и средство это — пресловутые «вооружённые силы», войско, армия:

«Немецкое правительство пугает свой народ русскими и французами, французское — пугает свой народ немцами, русское правительство пугает свой — французами и немцами, и так все правительства; а ни немцы, ни русские, ни французы не только не желают воевать с соседями и другими народами, а, живя с ними в мире, пуще всего на свете боятся войны. Правительства же и высшие праздные классы для того, чтобы иметь отговорку в своём властвовании над рабочим народом, поступают, как цыган, который нахлещет за углом лошадь и потом делает вид, что не может удержать её. Они раздражают свой народ и другое правительство, а потом делают вид, что для блага или для защиты своего народа не могут не объявить войны, которая опять-таки выгодна бывает только для генералов, офицеров, чиновников, купцов и вообще богатых классов. В сущности же война только неизбежное последствие существования войск; войска же нужны правительствам только для властвования над своим рабочим народом» (90, 54 – 55).

Вспомним, что образное сравнение с хитрым цыганом Толстой уже использовал — в 1894 году, в Главе 14-й статьи «Христианство и патриотизм». Вероятно, оно полюбилось ему, как весьма точное и одновременно по заслугам «унижающее», то есть ставящее на настоящее место, халтурные правительства — такие, которые не умеют управлять без обмана своих народов и военной агрессии по отношению к прочим.

Бесценный вывод о том, что война именно *последствие* существования войск Толстой рефреном повторит позднее в ряде публицистических выступлений и писем частным адресатам.

Истинное христианское учение противоречит потребностям таких правительств, и поэтому, с подмогой в лице дрессированных попов, они с глубокой древности извратили учение Христа в его первоначальной силе и смыслах:

«Извращение это христианства сделано давно, ещё при причисленном за это к лику святых злодее царе Константине, Все последующие же правительства, особенно наше, стараются всеми силами удержать это извращение и не дать народу увидеть истинный смысл христианства...» (Там же. С. 55).

Обманутые, развращённые люди пополняют собой ряды гнусных прислужников насилия над ними правительств, чиновников, полицейских и, разумеется, солдатни и прочей военщины:

«Народ задавлен, ограблен, нищ, невежествен, вымирает. Отчего? Оттого, что земля в руках богачей, народ закабалён на фабриках, заводах, в заработках, потому что с него дерут подати и сбивают цену с его работы и набивают цену на то, что ему нужно. Как избавиться от этого? Отнять землю у богачей? Но если сделать это, — то придут солдаты, перебьют бунтовщиков и посадят в тюрьмы. Отнять фабрики, заводы? Будет то же. Выдержать стачку? Но это никогда не удастся. Богачи дольше выдержат, чем рабочие, войска будут всегда на стороне капиталистов. Народ никогда не выкрутится из той нужды, в которой его держат, до тех пор, пока войска будут во власти правящих классов.

Но кто же такие те войска, которые держат народ в этом порабощении? Кто те солдаты, которые будут стрелять по крестьянам, завадевшим землёй, и по стачечникам, если они не расходятся, и по контрабандистам, привозящим товары без подати, — которые будут сажать в остроги и держать там тех, которые откажутся платить? Солдаты — это те самые крестьяне, у которых отобрана земля, те самые стачечники, которые хотят повисить свой заработок, те самые плательщики податей, которые хотят избавиться от этих платежей.

Зачем же стреляют эти люди по своим братьям? А затем, что им внушено, что для них обязательна та присяга, которую их заставляли принимать при поступлении на службу, и что убивать нельзя людей вообще, но можно по приказанию начальства, т. е. над ними производится тот же самый обман, который поразила вас.

[...] Обманываются люди не одним этим обманом, а с детства подготавливаются к этому целым рядом обманов, целой системой обманов, которая называется православною верою и которая есть не что иное, как самое грубое идолопоклонство. По этой вере люди обучаются тому, что бог тройной, что, кроме этого тройного бога, есть ещё

царица небесная, и, кроме этой царицы, еще угодники разные, тела которых не сгнили, и, кроме угодников, ещё иконы богов и царицы небесной, которым надо ставить свечи и молиться руками, и что самое важное и святое на свете — эта та мурцовка, которую из вина и булки делает поп по воскресеньям за перегородкой, — что после того, как поп над этим пошепчет, то вино будет не вино и булка — не булка, а кровь и тело одного из тройных богов и т. п. Всё это так глупо, бессмысленно, что нет никакой возможности понять, что всё это значит, да и те, которые преподают эту веру, не велят понимать, а велят только верить; и приученные к этому с детства люди [верят] во всякую бессмыслицу, которую им скажут. Когда же люди так одурачены, что верят в то, что Бог висит в углу или сидит в кусочке мурцовки, которую им поп даёт на ложечке, что целовать доску или мощи и ставить к ним свечи бывает полезно и для этой жизни и для будущей, — тогда их зовут на службу и там уж обманывают, как хотят, уверяя их, что по закону Христа можно убивать, и заставляя их прежде всего клясться на Евангелии (в котором запрещено клясться), что они будут делать то самое, что запрещено в этом Евангелии, и потом обучая их тому, что убивать людей по приказанию начальства не грех, а грех не повиноваться начальству и т. п.» (*Там же. С. 55 – 57*).

Так что из верующих в лжехристианском мире свободными от обмана, отрекающимися от военного рабства, оказываются одни так называемые сектанты. Примеры таких сект Лев Николаевич приводит в статье: духоборы и молокане в России, назарены в Австро-Венгрии, евангелики в Швеции, Швейцарии и Германии. Великий яснополянец скромно умалчивает о своих духовных львях, но, без сомнения, имеет в виду и их — в сочетании, с другими недогматическими движениями, влияния на общественное сознание, спасительное для общества, но губительное для обманщиков и насильников у власти:

«Правительство всё допускает: и пьянство, и разврат (и не только допускает, но поощряет пьянство и разврат: это помогает одурению), но всеми силами противится тому, чтобы люди, освободившиеся от обмана, освобождали и других» (*Там же. С. 57 – 58*).

В России этот обман, посредством церковников и светских адептов разделяющей и ссорящей людей антирелигии, вперемешку с военным патриотизмом, совершается «особенно жестоко и коварно», начиная с крещения младенцев:

«Когда же дети окрещены, т. е. считаются православными, тогда под страхом уголовного наказания им запрещается обсуждать ту веру, в которую они, помимо своей воли, были окрещены, и за такое

обсуждение этой веры так же, как за отступление от неё и переход в другую, они подвергаются наказаниям. Так что про русских людей нельзя сказать, что они верят в православную веру, — они не знают, верят ли они, или не верят, потому что обращены все в эту веру тогда, когда они были младенцами; держатся же этой насильно навязанной им веры страхом наказания. Все русские люди пойманы в православие коварным обманом и жестоким насилием удерживаются в нём» (Там же. С. 58).

Заключительная часть ответа яснополянца умному человеку, хотя и фельдфебелю, Михаилу Петровичу Шалагинову, логично указывает на «единственное средство» освобождения людей от рабства и бедствий войны. Пора очень многим опорожнить ночную макитру на плечах, в которую серит казённая и поповская пропаганда:

«Нельзя влить ничего нужного в сосуд, который полон ненужным. Надо прежде вылить из него ненужное. Так и в усвоении истинного христианского учения. Надо прежде понять, что все рассказы о том, как Бог будто бы 6000 лет тому назад сотворил мир, и как Адам согрешил, и как пал род человеческий, и сын Бога и Бог, родившись от девы, пришёл в мир и искупил его, и все басни Библии и Евангелия, и все жития святых и рассказы о чудесах, иконах и мощах — суть не что иное, как грубое смешение суеверий еврейского народа с обманами духовенства. Только человеку, совершенно освободившемуся от этих обманов, может быть доступно и понятно простое и ясное учение Христа, которое не требует никаких толкований и которое нельзя не понять.

Учение это ничего не говорит ни о начале, ни о конце мира, ни о Боге и об Его замыслах, вообще о том, чего мы знать не можем, да нам и не нужно знать, а говорит только о том, что нужно делать человеку для того, чтобы *спастись*, т. е. прожить наилучшим образом ту жизнь от рождений до смерти, в которую он пришёл в этот мир. Для этого нужно поступать с другими так, как мы хотим, чтобы поступали с нами. В этом весь закон и пророки, как сказал Христос. Для того же, чтобы нам поступать так, нам не нужно ни икон, ни мощей, ни церковных служб, ни попов, ни священных историй, ни катехизисов, ни правительств, а, напротив, нужна совершенная свобода от всего этого; потому что поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобою, может только человек, свободный от тех басен, которые жрецы выдают ему за единую истину, и не связанный с другими людьми обещаниями поступать так, как они велят ему. Только тогда будет человек в состоянии исполнять волю не свою и не других людей, а волю Бога.

Воля же Бога состоит не в том, чтобы мы воевали и угнетали слабых, а в том, чтобы признавали всех людей братьями и служили друг другу» (Там же. С. 58 – 59).

Надо ли говорить, что такое религиозное христианское решение не соответствовало и не соответствует по сей день убеждениям и общественным программам тех самых пацифистов, к рядам которых напрасно, ошибочно причисляют и Льва Николаевича Толстого и которые, хотя и готовы подписаться, вероятно, под каждым из проклятий Толстого войне, но, с одной стороны, не имеют, как правило, в своих макитрах и, главное, в сердцах, живой Христовой веры, а с другой, многие из них, независимо от своего отношения к религии больше всего боятся конфликта с исторически сложившимися и влиятельными церквями нашего лжехристианского мира, их учениями и храмовым идолопоклонством.

* * * * *

Впервые ответ Шалагинову был опубликован, как было выше сказано, за границей, в 1899 году, в неподцензурных «Листках "Свободного слова"», издаваемого командой В. Г. Черткова. В России же публикация смогла состояться только в 1917 – 1919 гг., сразу в нескольких изданиях, силами Общины-коммуны "Трезвая жизнь" и ряда других издательств. Слишком нецензурной, видимо, показалась статья и советским цензорам Полного собрания сочинений Толстого, включившим её, как-то нехотя, вне общей хронологии издания, только в последний, 90-й, том, вышедший ничтожным тиражом в хрущёвскую "оттепель", в 1958 г.

Конечно, такого массового пробуждения в обществах к христианскому религиозному пониманию жизни не могло бы последовать, даже если бы статья получила в России свободное бесцензурное распространение. А эффект "запретного плода" вкупе с необходимостью печатать статью в тех же европейских типографиях, которые принимали заказы от пропагандистов социализма, и распространять её нелегально в России — опять же, теми самыми приёмами, которыми распространялась нелегальная литература — навредили судьбе этого толстовского слова к современникам, как и ряду других, сильнейшим образом: социалисты "присвоили" себе, выдрвав из текстов Толстого все упоминания о вере и Христе, его страстную критику правительств, духовенства и военщины.

28 октября 1906 г. домашний врач и личный секретарь Л. Н. Толстого Душан Петрович Маковицкий записал в дневнике, что Толстой

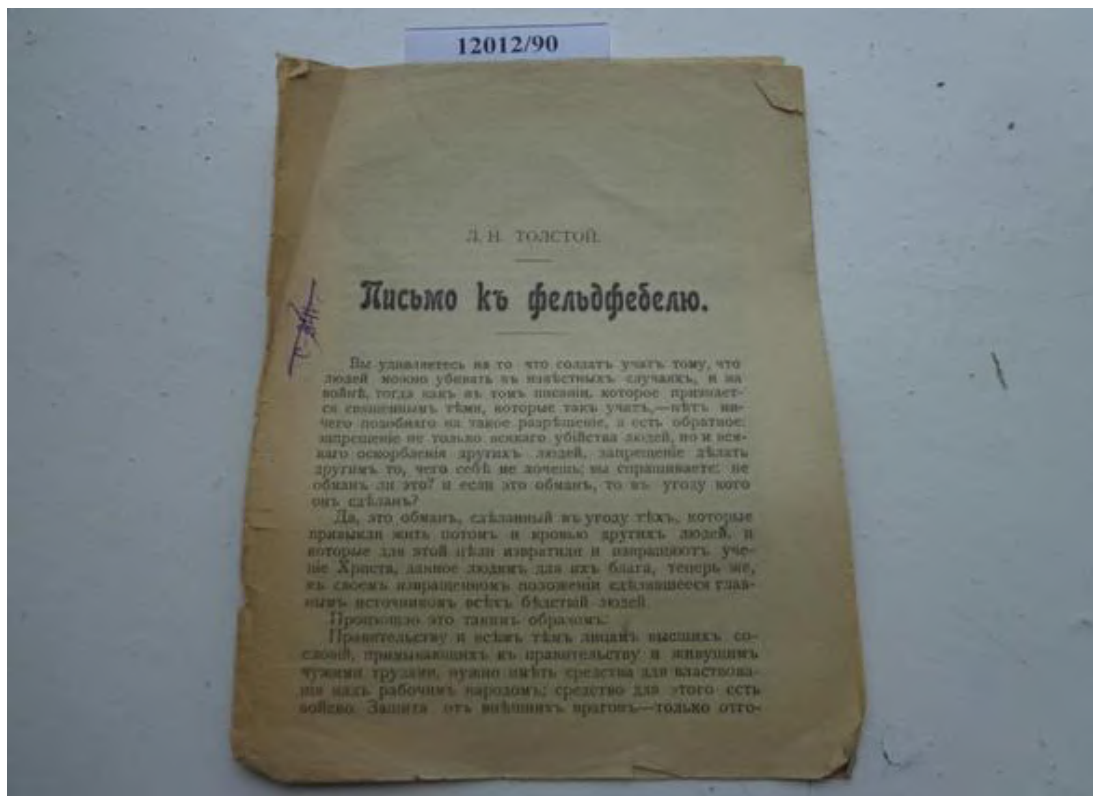
упомянул в устной беседе о М. П. Шалагинове и об отправленном ему десятилетие назад письме:

«Получил письмо и в нём моё “Письмо к фельдфебелю”, издание революционеров, истрёпанное, многие его читали. Пишет: “Вас прежде уважали, а теперь вас весь народ презирает, что вы такую святыню можете осуждать”.

Софья Андреевна. Какую святыню?

Л. Н.: Церковь, войско».

Маковицкий свидетельствовал, что «всё это Л. Н. говорил на вид спокойно, как будто бы его это не касалось. Обыкновенно же ему бывает больно, когда получает такие письма» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 2. С. 288*).



Издание в виде брошюры «Письма к фельдфебелю»
Книгоиздательство «Братство народов», г. Москва. Нач. XX в.

Можно сделать вывод, что Толстой отнюдь не сожалел о таком использовании его мирной христианской проповеди: верил, быть может, что религиозная Истина победит, даже при попытках замолчать и или извратить её политическими маргиналами. Побеждать обман правительств и попов было для него важнее — настолько, что через год, в декабре 1907 года, Толстой в разговоре с единомышленницей Марией Александровной Шмидт, перечислив лучшие, по его

мнению, «книжки» свои «о военной службе» («Царство Божие», «Приближение конца», «Памятки» <солдатская и офицерская. – Р. А.>, «Письмо к фельдфебелю»), сравнил их с информационной «бомбой», которую «только приложить» (*Там же. С. 588*). Но Толстой радовался при этом, что жившим тогда в Ясной Поляне стражникам оказались понятны и одобрительны и жизнестроительные, именно религиозные его важные сочинения, «Краткое изложение Евангелий» и «Христианское учение»: ведь, подорвав старый, лживый и насильнический порядок, надо уже иметь фундаментальные, духовные ориентиры в созидании лучшего, нового.

6. 10. «ПО ПОВОДУ КОНГРЕССА О МИРЕ В ГААГЕ (Письмо к шведам)». 1899

... Для того, чтобы уничтожить войска и зло, происходящее от них, нужны не конференции правительств, а конференции граждан, обманутых и обманываемых правительствами, обманываемых самым коварным образом именно такими конференциями. Для того, чтобы уничтожить войска, нужно, чтобы общественное мнение приписывало важность не собранию наряженных в смешные костюмы представителей держав, которые после балов и обедов будут заседать в роскошных залах и с важностью говорить бессодержательные французские фразы, а напротив, клеймило бы презрением и насмешкой такого рода собрания, имеющие целью только закрепить рабство людей, и приписывало бы важность и значение только поступкам тех людей, которые и словом и делом, не боясь страданий и смерти, заявляют сознание своего человеческого достоинства, отказываются от участия в бесчеловечной организации убийств. Уничтожатся войска тогда, когда такие люди будут признаны тем, что они есть — первыми, передовыми борцами за свободу и прогресс человечества, и когда таких людей будут тысячи и миллионы...

(Лев Николаевич Толстой)

Сборища европейских пацифистов, всё более частые в 1890-е годы, встречали стойкий скепсис Л. Н. Толстого — всё по той же причине,

что и прежде: проходили они в декларативно, номинально *христианском* мире, а по существу — игнорировали то решение проблематики войны и мира, которое было и остаётся неизбежным следствием из искренне принятого сердцем и разумением, каждым человеком, учения Христа. Учение обращается именно к каждому *отдельному человеку*, а значит, наибольшую поддержку должно бы было оказывать индивидуальной, естественной для морально здорового человека, ненависти к системным, организованным формами насилия, принуждения. Пацифистские же круги стремились, минуя принципиально «вопросы религии», решить актуальные вопросы, исходя из непонимания дохристианского, языческого — посредством норм международного «права», апеллируя к безбожному, «светскому» гуманизму.

Таково было и очередное собрание пацифистов, на этот раз в Гааге, знаменитая 1-я Гаагская мирная конференция 1899 года, неожиданно для многих, даже причастных к теме, созванная по инициативе варварской Российской империи и находившаяся «под эгидой» российского императора Николая II.

Отчего это могло понадобиться «доброму батюшке» царю — легко догадаться. В конце 1890-х годов XIX века начался новый этап в развитии вооружений: большинство стран вооружились более современными моделями винтовок. Появление бездымного пороха позволило увеличить скорость полёта пули, а уменьшение калибра — снизить вес винтовок и увеличить носимый запас патронов. За счёт выигрыша в весе винтовки получили встроенный магазин, обеспечивающий более высокую скорострельность. В 1886 году Франция принимает систему Лебеля, а в 1887 году Турция — систему Маузера, Япония — Мураты, в 1888 году Австрия — Маннлихера. Тогда же Германия перевооружается магазинной винтовкой 1888 года, созданной на основе конструкции Маузера. Через год на новые системы перешли Англия (система Ли-Метфорда) и Италия (система Маннлихера-Каркано) и Россия (образец 1891 года).

В России в качестве основного образца стрелкового оружия была выбрана 3-линейная винтовка системы Мосина образца 1891 года. Скорострельность магазинной винтовки Мосина составляла 10 – 12 выстрелов в минуту, а прицельная дальность стрельбы — до 2000 метров. На вооружении в русской армии в то время были морально устаревшие револьверы системы Смита-Вессона образца 1871, 1874 и 1880 годов, которые в конце XIX века были заменены револьверами системы Нагана образца 1895 года.

В этот период появились и скорострельные автоматические пистолеты, которые постепенно вытеснили револьверы. Первые автоматические пистолеты Джона Браунинга появились в 1897 году, автоматический пистолет Вильгельма и Пауля Маузеров — в 1896 году (в 1866 году они сконструировали однозарядную винтовку и револьвер, которые в 1871 году были приняты на вооружение в германской армии).

Промышленный подъём 2-й половины XIX века предоставил возможность создания и производства нарезных артиллерийских орудий (нарезное орудие — орудие, имеющее винтовые нарезы по каналу ствола). Благодаря бездымному пороху и увеличению относительной длины снаряда достигалась высокая начальная скорость снаряда, что позволяло увеличить дальность стрельбы, а приданием снаряду устойчивости в полёте с помощью нарезов по каналу ствола, достигалась точность стрельбы. В армии всех стран с 1857 по 1870 годы были приняты на вооружение нарезные артиллерийские орудия. Для стрельбы из нарезных орудий применялись вначале снаряды со свинцовой оболочкой, а в последующем стальные снаряды с закреплёнными на их корпусе медными ведущими поясками.

В России в 1885 году на вооружение приняли 6-дюймовую (152-мм) полевую мортиру системы Круппа на лафете Энгельгардта.

Немецкий конструктор Эргардт разработал скорострельную пушку калибра 76, 2 мм. Скорость стрельбы орудия составляла 15-20 выстрелов в минуту. Германия в 1897 году приняла на вооружение 77-мм пушку образца 1896 года, скорострельность которой составляла 5 выстрелов в минуту. Англия закупила орудия Эргардта с боеприпасами для изучения и приняла на вооружение 76,2 мм пушку. В 1892 году французы Пюто и Дьюпор создали 75 мм пушку с независимой линией прицеливания. На вооружение французской армии была принята 75-мм полевая пушка образца 1897 года, со скорострельностью 16 выстрелов в минуту.

В германской армии была принята на вооружение скорострельная полевая 77-миллиметровая пушка (образца 1896 года), которая делала 6 – 10 выстрелов в минуту: почти в 5 раз больше, чем ранее.

К концу XIX века была установлена твёрдая классификация кораблей парового флота. В России классификация была введена приказом по Морскому ведомству от 1 февраля 1892 года. Она устанавливала следующие классы кораблей: броненосцы эскадренные и береговой обороны, крейсера 1 ранга (броненосные и бронепалубные) и 2 ранга, минные крейсера, канонерские лодки мореходные и береговой обороны, пароходы, яхты, транспорты, миноносцы, миноноски, учебные суда, портовые суда.

Основные классы кораблей имели следующие предназначение и тактико-технические элементы:

1. Эскадренные броненосцы — наиболее мощные артиллерийские корабли для ведения главным образом эскадренного боя; имели водоизмещение 10 – 15 тысяч т.; вооружение: артиллерийское — четыре 305-мм., до двенадцати 152-мм., до двадцати 75-мм. и до тридцати 47 – 37-мм. орудий; торпедное — до четырёх надводных и двух подводных торпедных аппаратов; бронирование 406 – 250 мм.; скорость 17 – 18 узлов; дальность плавания до 8 тысяч миль.

2. Броненосцы береговой обороны — артиллерийские корабли для ведения боя в прибрежном районе; имели водоизмещение до 5000 тонн, скорость до 16 узлов; артиллерийское вооружение — четыре 254-мм, четыре 120-мм и до двадцати четырёх 47- и 38-мм орудий, четыре торпедных аппарата, бронирование до 203 мм.

3. Крейсера 1 ранга — для ведения артиллерийского боя вместе с эскадренными броненосцами, а также для самостоятельных действий на океанских коммуникациях; их водоизмещение достигало 12 тысяч тонн, скорость — 20 узлов, дальность плавания — 8000 миль; вооружение: артиллерийское – четыре 203-мм, шестнадцать 152-мм, до тридцати 37 мм орудий, торпедное — до четырёх надводных торпедных аппаратов; бронирование — до 203 мм.

4. Крейсера 2 ранга – для ведения тактической (ближней) разведки, несения дозорной службы, нарушения коммуникаций противника и защиты своих коммуникаций, отражения атак миноносцев; имели водоизмещение от 3000 до 6000 тонн, скорость до 25 узлов, дальность плавания до 4000 миль; вооружение: артиллерийское — восемь 152-мм, двадцать четыре 75-мм, восемь 37-мм орудий; торпедное — до четырёх торпедных аппаратов.

5. Канонерские лодки — небольшие артиллерийские корабли для ведения боя вблизи берегов; имели водоизмещение до 1500 тонн, скорость до 15 узлов и по два орудия калибром от 152 до 225 мм.

6. Эскадренные миноносцы — торпедные корабли для действий в открытом море и прибрежных районах; водоизмещение эскадренных миноносцев до 350 тонн, скорость до 27 узлов, одно 75-мм и пять 47-мм орудий, три торпедных аппарата; у миноносцев водоизмещение до 180 тонн, скорость до 24 узлов, три 37-мм орудия, два торпедных аппарата.

Расходы на совершенствование вооружений тяжело сказались на финансовом положении России. Поэтому, когда летом 1898 года российскому правительству стало известно о намерении германского императора Вильгельма II потребовать от рейхстага значитель-

ного увеличения личного состава армии, что могло вынудить и Россию увеличить расходы на дальнейшее развитие боевых средств, ведомство иностранных дел России посчитало своевременным созвать международную конференцию с целью положить предел постепенному развитию современных вооружений. Император России Николай II согласился с этим предложением.

12/24 августа 1898 г. была опубликована нота министра иностранных дел России гр. М. Н. Муравьева с предложением императора Николая II о созыве международной конференции мира. Даже самое место проведения конференций предложила именно Россия: Гаага является родиной «отца науки международного права» Гуго Гроция, опубликовавшего в 1625 г. свой фундаментальный трактат «О праве войны и мира». Судя по всему, главной целью многодневных и дорогостоящих посиделок было «приручение» наиболее умеренных, стоворчивых пацифистских кругов с одновременным внесением раскола в ряды пацифистов, часть которых, как Берта фон Зуттнер, желали ставить на конференциях вопросы именно разоружения, уничтожения войн, а не их «гуманизации». Без веры, без единения всех противников войны в актуальном, спасительном христианском жизнепонимании такой сценарий обречён был оставаться утопией.

Сама легитимизация задействия в Мирной конференции, тем более в качестве инициаторов, участников гонки вооружений (на которую, кстати сказать, Россия в те годы тратила более четверти расходов бюджета) превращала сборище в посмешище. Между тем "царский манифест" был восторженно встречен пацифистами. Кажется, неожиданно приблизилось воплощение самых смелых надежд на установление "вечного мира" через пацифизм "сверху", посредством монаршей «отмены войны». Кстати, подобное предложение, но в отношении смертных казней, конкретно помилования цареубийц, прозвучало в письме Л. Н. Толстого, после событий 1 марта 1881 года, в адрес сына убитого императора, Александра III. В отношении же войн такого разрешения грезил Берта фон Зуттнер, первоначально с восторгом воспринявшая инициативу симпатичного ей молодого русского царя.

Этот оптимизм пацифистов убавлялся по мере того, как выяснилась повсеместно холодная официальная реакция на предложения России. Западные государства восприняли идею мирной конференции с плохо скрываемой враждебностью. Германия, Англия и Франция боялись уступить друг другу приоритет, а также затронуть болезненные взаимные вопросы: об Эльзасе и Лотарингии, Турции, Китае.

Германский император Вильгельм II был уверен, что «Россия уже дошла до предела», и денег у неё в казне нет. Левая западная печать обрушилась на Россию с упрёками в популизме и в том, что она использует мирные инициативы для прикрытия агрессивной политики, о чём, в частности, написал известный социал-демократ и деятель Второго Интернационала Карл Каутский в статье «Демократическое и реакционное разоружение» в марксистском журнале Второго Интернационала «Die Neue Zeit». Идею Конференции поддержали Австро-Венгрия, действительно нищая, традиционно неудачливая в войнах Италия и ряд менее влиятельных стран. В результате первоначальный объём вопросов будущей конференции был значительно урезан. В официальном обращении министра иностранных дел от 30 декабря 1898 г. предлагалось внести в повестку дня форума следующие вопросы:

«1. Сохранение на известный срок настоящего состава сухопутных и морских вооружённых сил и бюджетов на военные надобности и предварительное изучение средств, при помощи которых могло бы в будущем осуществиться даже сокращение вооружённых сил и военных бюджетов.

2. Запрещение вводить в употребление в армиях и во флоте какое бы то ни было новое огнестрельное оружие и новые взрывчатые вещества, а также порох, более сильно действующий сравнительно с принятым в настоящее время как для ружейных, так и для орудийных снарядов.

3. Ограничение употребления в полевой войне разрушительных взрывчатых составов, уже существующих, а также запрещение пользоваться метательными снарядами с воздушных шаров или иным подобным способом.

4. Запрещение употреблять в морских войнах подводные миноносные лодки и иные орудия разрушения того же свойства, а также обязательство не строить в будущем военных судов с таранами.

5. Применение к морским войнам постановлений Женевской конвенции 1864 года на основании дополнительных к ней постановлений 1868 года.

6. Признание на таких же основаниях нейтральности судов и шлюпок, коим будет поручено спасание утопающих во время или после морских сражений.

7. Пересмотр декларации о законах и обычаях войны, выработанной в 1874 году на конференции в Брюсселе и до сего времени не ратификованной.

8. Принятие начала применения добрых услуг, посредничества и добровольного третейского разбирательства в подходящих случаях,

с целью предотвращения вооружённых между государствами столкновений; соглашение о способах применения этих средств и установление однообразной практики в их употреблении» (*Циркулярное сообщение министра иностранных дел пребывающим в Санкт-Петербурге представителям иностранных государств от 30-го декабря 1898 г. // Правительственный вестник. 1899. № 8. 12 января*).

Та степень гопнической наглости и ожесточённого цинизма, с которыми даже в наши дни, в третьем десятилетии XXI века, именно Россия попирает своей палаческой агрессией в Украине все нормы международного права, утвердившиеся в XX веке, позволяет нам констатировать дальновидность именно скептиков «николаевской» Гааги и наивность надежд в массе тогдашних европацифистов. Тем не менее, пропагандистские акции пацифистов по всей Европе при подготовке и в ходе I Гаагской конференции мира означали действительный прорыв в истории антивоенного движения. Толстой следил и за ними, и за положительными (разумеется) отзывами на инициативу императора в российской печати. Вот, для примера, агитка от «Московского листка» от 9 мая 1899 года:

«Открытие мирной конференции в Гааге вызвало сочувственные заявления целым её со стороны всех участвующих в ней представителей правительств, выразивших горячие и сердечные поздравления Русскому Государю. Кроме того, день открытия этого международного совещания отмечен был с особенной радостью всеми народами земного шара и всей мировой печатью...

[...] ...Нельзя без глубокого сожаления вспомнить о тех возгласах недоверия, которые раздались почти накануне открытия конференции в Гааге, по поводу её программы [...].

Так, например, в Германии одна газета обнародовала изречение заслуженного историка Моммсена, сказавшего, что он считает Гаагскую мирную конференцию исторической опечаткой, о которой, как таковой, он не считает даже нужным и высказывать свои суждения». Другой немецкий учёный, философ Куно Фишер, заявил, что «он относится к идее мирной конференции в Гааге без веры и надежды».

[...] <Народы> не должны увлекаться мыслью о возможности установления вечного мира, обуславливающего прекращение всякого вооружения. Подобные надежды, пока не наступит царство Божие на земле, представляются едва ли достижимыми и предаваться таким мечтаниям правительства и народы не приглашались вовсе воззванием русского правительства, изданным в августе прошлого года. Оно указывало лишь на цели, гораздо более скромные, но не

менее великие и благодатные по последствиям, которые может повлечь за собой их достижение.

Гаагская конференция вовсе не предполагает разрабатывать вопросы и задачи, которые ставят себе, так называемые, „общества мира“, давно существующие в Европе и основанные отклонёнными мечтателями, увлечёнными воодушевляющей их идеей. Но то, что предполагается выработать и установить на открывшейся 6 мая, по почину нашего Всемиловитвейшего Государя, конференции содержит в себе весьма много хорошего, удовлетворяющего насущным потребностям ныне живущего поколения людей и может в достаточной мере способствовать осуществлению возвышенной цели, лежащей в основе конференции.

[...] Одно содержание этой программы будущих работ гаагской конференции наполняет сердце чувством глубокого благоговения к великодушному замыслу Русского Царя. Народы исполнятся благодарностью уже и в том случае, если война, в иных случаях считающаяся пока неизбежной, будет ограничена законами, внушаемыми чувством человеколюбия и справедливости, и если все государства, по крайней мере, признают в принципе идею третейского суда, как средства предупреждения войны. И это одно, несомненно, составит огромный шаг на пути мирного развития человечества» (https://nik191-1.ucoz.ru/blog/gaagskaja_mirnaja_konferencija_1899_g_otzyvy_pechat_i_o_ee_celjakh/2020-06-01-7386).

Конференция прошла в период с 6 (18) мая по 17 (29) июля 1899 г. В ней приняли участие представители 27 государств: Австро-Венгрии, Германии, Бельгии, Китая, Дании, Испании, США, Мексики, Франции, Великобритании, Греции, Италии, Японии, Люксембурга, Черногории, Нидерландов, Ирана, Португалии, Румынии, России, Сербии, Сиам, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Турции, Болгарии (не присутствовали государства Центральной и Южной Америки).

В состав российской делегации, которая представляла также интересы Черногории, входило 13 человек, возглавлял её российский посол в Лондоне Егор Стааль.

Конечно, вся официозная, а тем более пропагандистская шумиха вокруг неё живо напомнили Толстому восторги по поводу «Тулонской весны» 1893 г., военного Франко-русского союза, так же долженствовавшего, якобы, обеспечить «мир». Вряд ли бы, однако, он сам захотел откликаться на это представление в печати.

Однако, как и можно было предвидеть — его “достали”.



Российская делегация на Гаагской конференции.

*Сидят: граф Баранцев, Ф.Ф. Мартенс, Е.Е. Стааль, А.К. Базили, Я.Г. Жилинский.
Стоят: Н.А. Гурко-Ромейко, И.А. Овчинников, В.М. Гессен, С.П. Шеин, М.Ф. Шиллинг, Н.А. Базили, Н.Г. Приклонский*

Вскоре после опубликования циркулярной ноты русского правительства редакция газеты «New York World» обратилась к Толстому с телеграммой, датированной 19 августа (1 сентября): «Поздравляем по поводу результатов вашей борьбы за всеобщий мир, достигнутых рескриптом царя. Будьте добры ответить. Ответ тридцать слов оплачен».

Мысленно послав дорогую редакцию нахуй, Толстой всё же ответил телеграммой (20 – 22 августа ст. ст.):

«Следствием рескрипта будут слова. Всеобщий мир может быть достигнут только самоуважением и неповиновением государству, требующему податей и военной службы для организованного насилия и убийства».

В одной из первоначальных редакций стояло: «Гаагская мирная конференция есть только отвратительное проявление христианского лицемерия» (*Чистякова М. Толстой и европейские Конгрессы мира // Литературное наследство. Том 37 – 38. Л.Н. Толстой. М., 1939. С. 603*).

Редакция «New York World» не удовлетворилась этим ответом и в начале 1899 г. повторила свой телеграфный запрос. Точную дату установить затруднительно, так как сама телеграмма из газеты

утрачена, как нет в нашем распоряжении и ответа яснополянца, отправленного газете. Но сохранился, и даже в четырёх редакциях, черновик, без даты, по которому можно судить, что он не был благоприятен ни для газеты, ни для Конференции (оригинал на английском; слова в скобках в оригинале зачёркнуты):

«Мой ответ на ваш вопрос тот, что мир никогда не может быть достигнут конференциями <на которых люди, сами не идущие на войну>, и может быть решён <только> людьми, которые не только болтают, но которые <принуждены сражаться> сами идут на войну. Этот вопрос был разрешён 1900 лет тому назад учением Христа так, как оно им понималось, а не так, как оно было искажено церквами. Все конференции могут быть выражены одним изречением: все люди сыны Божьи <и каждый человек должен любить ближнего, а не убивать его> и братья и потому должны любить, а не убивать друг друга. Извините мою резкость, но все эти конференции вызывают во мне сильное чувство отвращения за лицемерие, столь в них явное» (72, 116).

9 сентября н. ст. 1898 г. редакция журнала «Les Droits de l'Homme» прислала Толстому для заполнения анкету по поводу «царского рескрипта», оставленную Толстым без ответа.

Но имел место и более содержательный диалог — о котором теперь пойдёт речь.

В конце того же года некий Хеннинг Меландер (Henning Melander) от имени группы шведской интеллигенции обратился к Толстому с пространственным письмом, в котором излагалась история отказов от военной службы по религиозным убеждениям в Швеции и других странах и выражалось пожелание, чтобы предстоящая мирная конференция включила в повестку своих заседаний рассмотрение вопроса об освобождении от военной службы лиц, отказывающихся по религиозным убеждениям, с заменой для них военной службы общепольными работами (сооружение железнодорожных путей, осушение болот и пр.). Подлинник письма утрачен, оттого точная датировка документа невозможна. В № 1 (август) за 1899 г. начатого тогда в Женеве близким другом Толстого, Павлом Ивановичем Бирюковым, бесцензурного журнала «Свободная мысль» (стр. 2 – 4) письмо было опубликовано без даты и, возможно, с утратами и искажениями, в следующем виде:

«Многоуважаемый Лев Николаевич!

Зная ваше сочувствие к тем, которые, превосходя окружающих людей нравственным своим уровнем, терпят по недоразумению от них гонения, мы, нижеподписавшиеся рассчитываем на вашу доброжелательную помощь.

За последнее десятилетие более тридцати беспорочных молодых людей осуждены в тюрьму и на штрафные работы, иные до трёх лет и четырёх месяцев, за отказ от исполнения воинской повинности по своим убеждениям.

В последнее время много голосов стало раздаваться против таких мер, и после того, как запрос об этом был сделан в рейхстаге в 1898 г., и Нижняя палата решила с своей стороны обратиться с письменной просьбой к Его Королевскому Величеству, правительство на этих днях передало на обсуждение особого комитета вопрос о том, в какой степени подлежащий воинской повинности, совести которого противно употребление оружия, может быть освобождён от неё в мирное время, и насколько можно заменить её другой подходящей работой.

СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ № 1

PENSÉE LIBRE АВГУСТЪ 1899

СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ

ИЗДАНИЕ ШВЕЙЦАРСКАГО ОТДѢЛА РЕДАКЦИИ „СВОБОДНАГО СЛОВА“
Подъ редакціей П. Вирюкова.

какой ничто есть отличительного, его и в природѣ, е орудіе и истощ орудіи и могут не только возн той жизни, рел куства — нъ т еріальна зав чьтъ гордится с нязь этотъ див ограничиваемъ етъ его. Мысл ложной и нѣтъ жизнь страда га въ нѣсто пом воуху.

Съёеиенемъ зю, въ котором несчастный нар благословенной мій самое опасное — мыслеломыи. Боятся мысли, это все равно что бояться свѣта. осидица нго трудный путь. Погасите фенарь, съ которымъ вы идете по тропинкѣ надъ пропастью — и вы погибаете. Необходио не гасить, а вести глазами поддержи вать пламень мысли какъ самую драгоценную и свѣту необходимую въ жизни.

„Духа не угашайте!“ заклиная апостоль, пошавшій радость полной свободы духа. Совершенно угасить въ себѣ духъ и нельзя: Бакъ отдѣльное существо такъ и общество, потерявъ сознание, тотчасъ гибнетъ; но та же гибель, хотя и медленная, неизбежна и въ томъ случаѣ, когда свѣтъ сознания слабѣет. Полусознание ведетъ къ тысячѣ ошибокъ и промаховъ, накопленіе которыхъ разрѣшается катастрофой. Народъ русскій, не сумѣвшій сохранить свободу мысли, впадъ въ полусознание, приведшее его къ теперешней смертельной опасности. Какъ народъ съ древней, хотя и грубой цивилизаціей, имъ уже девятьсотъ лѣтъ писменности и касту жрецовъ, народъ нашъ постепенно оторвался отъ живой самодѣятельности духа и подвергнулся рѣзкимъ внушеніямъ; въ областяхъ самыхъ священнѣхъ — въ обществѣ съ Богомъ и человекомъ — онъ мыслить уже не свободно, а по-разъ установленному преданию; творчество его разума понижено, его сознание и совѣсть опрачены, и до такой степени, что возвращеніе къ ясности духа его устраша

благородныя и гуманна царя. осуществятся эти идеи одно. Судя по запутанн- вшему въ послѣднее время нельзя ждать серьезныхъ ерещи. Но если бы могли имъру Швеции предложить итальство, до которыхъ это объ отказѣ отъ воинской игоизмыи убѣжденны, то рно не остался бы безъ этихъ путей, не будетъ разоруженіе, но только войскъ на нѣсколько сотъ будутъ освобождены отъ ени, но стаятъ за то былъ ий шагъ по истинному на- органически осуществле- разоруженію съ жизнью ихъ исполнитъ въ жизни.

и скажутъ: если будетъ всякому дана свобода не пойти въ военную службу по требованію совѣсти, то изъ этого произойдетъ обшая военная ставка. На это достаточно возразить то, что рѣчь идетъ не объ освобожденіи отъ гражданскихъ обязанностей, а о превращеніи воинской повинности въ такую повинность, которая не противорѣчна бы требованіямъ совѣсти, какъ напр.: служба лѣсничихъ, работы по осумению болотъ, сооруженію путей жел. дорогъ и т. п.

Если же такія идеи окажется слишкомъ много, ну что же! — мы будемъ имѣть культурное войско, могущее дѣлать производительныя и полезныя работы.

Такъ постепенно превратились бы войска въ общественную армию спасенія, осужающую болота, устранивающую жилища, обрабающую пустыни въ плодородныя нивы, гдѣ бѣдные находили бы свое пропитаніе.

Этимъ вопросомъ о разоруженіи занималъ бы свое естественное разрѣшеніе, котораго ли- каніямъ побочными вопросами, но мы того мнѣнія, что данный вопросъ не побочный, а самый центральный и потому имѣть право на первое мѣсто въ ряду вопросовъ, нѣльзящихъ быть возбужденными въ программахъ.

Впрочемъ, никто, многоуважаемый графъ, не можетъ понимать этого глупѣе Васъ, судя

маши, дистрик. Гессен — войско во всемъ христіанскомъ мирѣ. Вездѣ подвергались той же участи войны, желаніе лишь поступать по совѣсти, вездѣ они были причислены къ преступникамъ и съ ними вмѣстѣ осуждены.

Никто лучше Васъ этого не знаетъ, графъ, и никто лучше Васъ не умѣетъ бороться со зломъ. Но намъ не извѣстно — думали ли Вы объ этомъ, въ какой степени возможно предложить этотъ вопросъ на разсмотрѣніе правительству именно теперь, когда готовится къ великой конференціи общаго разоруженія и потому мы просимъ Васъ обдумать его. Намъ кажется, что возбужденіе этого вопроса не можетъ быть болѣе своевременнымъ чѣмъ теперь, когда правительственные представители великихъ культурныхъ странъ должны собраться, чтобы изыскывать средства для уменьшенія бѣдствій войны.

Имѣя въ виду не только сокращеніе суммъ, тратимыхъ на военное вооруженіе, но, какъ мы надѣемся, желая противодѣйствовать войнамъ или о крайней мѣрѣ уменьшить возможность ихъ возникновенія или даже хоть нѣкъ ужасамъ — собраніе правительственные уполномоченные должны будутъ выслушать наше заявленіе, такъ какъ самая цѣль конгресса не позволить отнестись безъ вниманія къ такому важному, въ интересахъ гуманности, заявленію. Отнесясь невнимательно къ нашему заявленію, члены конгресса показали бы передъ нѣмыми свѣтомъ, что они лишены и тѣхъ искреннихъ человѣколюбивыхъ намереній, которыя необходимы людямъ желаю-

ио скажутъ: если будетъ всякому дана свобода не пойти въ военную службу по требованію совѣсти, то изъ этого произойдетъ обшая военная ставка. На это достаточно возразить то, что рѣчь идетъ не объ освобожденіи отъ гражданскихъ обязанностей, а о превращеніи воинской повинности въ такую повинность, которая не противорѣчна бы требованіямъ совѣсти, какъ напр.: служба лѣсничихъ, работы по осумению болотъ, сооруженію путей жел. дорогъ и т. п.

Если же такія идеи окажется слишкомъ много, ну что же! — мы будемъ имѣть культурное войско, могущее дѣлать производительныя и полезныя работы.

Такъ постепенно превратились бы войска въ общественную армию спасенія, осужающую болота, устранивающую жилища, обрабающую пустыни въ плодородныя нивы, гдѣ бѣдные находили бы свое пропитаніе.

Этимъ вопросомъ о разоруженіи занималъ бы свое естественное разрѣшеніе, котораго ли- каніямъ побочными вопросами, но мы того мнѣнія, что данный вопросъ не побочный, а самый центральный и потому имѣть право на первое мѣсто въ ряду вопросовъ, нѣльзящихъ быть возбужденными въ программахъ.

Впрочемъ, никто, многоуважаемый графъ, не можетъ понимать этого глупѣе Васъ, судя

ИЗЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

КОНФЕРЕНЦІЯ ВЪ ГААГѢ.

Злобой дня въ международныхъ отношеніяхъ является люцернская конференція въ Гаагѣ. Многое ожидалось отъ нея легковѣрными людьми, много выжидѣлъ въ Англіи Стэдъ, женскія общества невольнаго выражали сочувствія и надежды, но ничего не вышло. Большая часть конференціи была даже недолучена конференціей и всѣ дѣла ея рѣшено было вести въ тайнѣ. „Что стыдится, того и таиши!“ За закрытыми дверями всегда совершается что нибудь скверное.

Мы приводимъ здѣсь интересныя объѣды жизни по поводу этой конференціи между бѣлыми шведскими обществами и Л. Н. Толстымъ:

Многоуважаемый Левъ Николаевичъ!

Зная Ваше сочувствіе къ тѣмъ, которые, превосходя окружающихъ людей нравственнымъ своимъ уровнемъ, терпятъ по недоразумѣнію отъ нихъ гоненія, мы, нижеподписавшіеся, рассчитываемъ на Вашу доброжелательную помощь.

За последнее десятилетіе болѣе 30 безпечныхъ молодыхъ людей осуждены въ тюрьму и на штрафныя работы, иные до 3 лѣтъ и 4 мѣсяцъ, за отказъ отъ исполненія воинской повинности по своимъ убѣжденіямъ.

В таком положении находится вопрос этот у нас. Но вопрос этот имеет значение не для одной нашей страны и потому должен, как вопрос общечеловеческий, быть рассмотрен и в других странах.

Существующая система воинской повинности создала мучеников в Норвегии, Дании, Германии, Австрии, России, — вообще во всём христианском мире. Везде подвергались той же участи юноши, желавшие лишь поступать по совести, везде они были причислены к преступникам и с ними вместе осуждены.

Никто лучше вас этого не знает, граф, и никто лучше вас не умел бороться со злом. Но нам неизвестно, думали ли вы об этом, и в какой степени возможно предложить этот вопрос на рассмотрение правительства именно теперь, когда приготавливаются к великой конференции общего разоружения, и потому мы просим вас обдумать его. Нам кажется, что возбуждение этого вопроса не может быть более своевременным, чем теперь, когда правительственные представители великих культурных стран должны собраться, чтобы изыскивать средства для уменьшения бедствий войны.

Имея в виду не только сокращения сумм, тратимых на воинское вооружение, но, как мы надеемся, желая противодействовать войнам или по крайней мере уменьшить возможность их возникновения или даже хоть их ужасы, — собравшиеся правительственные уполномоченные должны будут выслушать наше заявление, так как самая цель конгресса не позволит отнестись без внимания к такому важному, в интересах гуманности, заявлению. Отнесясь невнимательно к нашему заявлению, члены конгресса показали бы перед целым светом, что они лишены и тех искренних человеколюбивых намерений, которые необходимы людям, желающим осуществить благородные и гуманные идеи миролюбивого царя.

В какой мере осуществляются эти идеи, предвидеть невозможно. Судя по запутанному положению, грозившему в последнее время зажечь весь мир, нельзя ждать серьёзных результатов конференции. Но если бы могли согласиться, по примеру Швеции, предложить на обсуждение правительств, до которых это касается, вопрос об отказе от воинской повинности по религиозным убеждениям, то конференция наверно не осталась бы без значения. Конечно этим путем не будет достигнуто полное разоружение, но только уменьшится число войск на несколько сот человек, которые будут освобождены от участия в вооружении, но этим зато был бы сделан первый шаг по истинному направлению, связав органически осуществление стремлений к разоружению с живыми людьми, могущими их выполнить в жизни.

Но скажут: если будет всякому дана свобода не пойти в военную службу по требованию совести, то из этого произойдет общая военная стачка. На это достаточно возразить то, что речь идет не об освобождении от гражданских обязанностей, а о превращении воинской повинности в такую повинность, которая не противоречила бы требованиям совести, как например, служба лесничих, работы по осушению болот, сооружение путей железных дорог и т. п.

Если же таких людей окажется слишком много, ну что же! — мы будем иметь культурное войско, могущее делать производительные и полезные работы.

Так постепенно превратились бы войска в общественную армию спасения, осушающую болота, устраивающую жилища, обращающую пустыни в плодородные нивы, где бедные находили бы своё пропитание.

Этим вопрос о разоружении получил бы своё естественное разрешение, которого никакими законодательными мерами, как бы они благонамеренны ни были, достигнуть невозможно.

Могут сказать ещё, что неразумно обременять царскую программу мирной конференции побочными вопросами, но мы того мнения, что данный вопрос не побочный, а самый центральный, и потому имеет право на первое место в ряду вопросов, имеющих быть возбуждёнными в программе.

Впрочем, никто, многоуважаемый граф, не может понимать этого глубже вас, судя по вашим сочинениям, а потому мы почтительнейше просим вас обратить на это внимание царя или его министров, а также и публики.

Выражая вам глубочайшее уважение, мы имеем честь почтительнейше подписаться. [Четыре члена рейхстага, один журналист, один секретарь редакции, два профессора, пять пасторов, один военный врач, один директор миссии, один учитель и другие.]» (Цит. по: 72, 14 – 16).

Как видим, Лев Николаевич “обречён” был откликнуться: шведы написали о самом главном, драгоценном для Толстого: о том, что одним из средств, содействующих разоружению государств и установлению мира, они признают *отказы от военной службы* отдельных лиц и о *мученичестве* таких идейных отказников во всём христианском мире.

Весьма примечателен, как характеризующий воззрения на Гаагскую конференцию радикальных противников войны, комментарий, предваряющий публикацию письма, вероятно, самого Павла Бирюкова — издателя газеты «Свободное слово»:

«Многое ожидалось от неё легковерными людьми, много на шумел в Англии Стэд, женские общества неумолкаемо выражали сочувствия и надежды, но ничего не помогло. Большая часть манифестаций была даже не допущена конференцией и все дела её решено было вести в тайне. “Чего стыдимся, того и таимся!” За закрытыми дверями всегда совершается что-нибудь скверное» (*Свободное слово*. – 1899. № 1. С. 2).

Упомянутый комментатором английский журналист *Уильям Томас Стэд* (William Thomas Stead; 1849, Эмблтон, Нортамберленд, Великобритания — 1912, «Титаник») познакомился с Л. Н. Толстым в мае 1888 года, когда гостил неделю в Ясной Поляне. Стэд известен тем, что, как и Лев Николаевич, живо эволюционировал в своих общественных убеждениях. В 1900-е годы он был уже консервативен и, в частности, в публичных лекциях защищал российское правительство от радикальной революционаристской сволочи. Но в 1890-е Стэд был ещё умеренно либерален и поддерживал таких же умеренных пацифистов, одобрявших «мир через арбитраж» «высший суд справедливости между народами» и т. п. Под влиянием бесед с Толстым, вернувшись в Англию, Стэд превратился и в издателя — стал выпускать, по образцу толстовского «Посредника», дешёвые книжечки для народа.

В Толстом англичанин искал не только источник свежего материала, но и авторитетного единомышленника по части тогдашних своих либеральных воззрений. Как и в других подобных случаях, Толстой с честью выдержал испытание и... не оправдал до конца ожиданий своего гостя.

Диалог Л. Н. Толстого со шведами связал его со «своим» человеком в Швеции, давним знакомцем, журналистом и путешественником *Йонасом Стадлингом* (Jonas Jonsson Stadling, 1847 – 1935). Во время голодного бедствия в России он очень помог Льву Николаевичу в Бегичевке, где располагался главный “штаб” помощи крестьянам, а также и его сыну, Льву Львовичу, в Патровке Самарской губ. – не только личными трудами, но и более значимо: информационно, как журналист. Для своих публикаций, вызвавших в 1892 году сочувствие и поддержку во всём мире, он сделал уникальные фотоснимки, сохраняющие своё источниковое значение до сего дня.

Письмом из Стокгольма от 31 января 1899 г. Йонас Стадлинг благодарил Толстого за письмо от 12 января, в котором тот сообщал о обращении к нему шведских сторонников мира и своём решении ответить и обещал Льву Николаевичу самую значимую помощь: пе-

ревод письма на неизвестный Толстым шведский язык и распространение по шведским газетам. Вероятно, вспомнив, по 1892 году, особенности удивительного почерка доброго русского друга, он просил Толстого подготовить ответ шведам в печатном виде (на пишущей машинке), чтобы облегчить перевод (*Бабаев Э.Г. Иностранная почта Толстого // Литературное наследство. Т. 75, Кн. 1. С. 425 – 426*).



Йонас Стадлинг

Стадлинг сполна исполнил обещание. Ответ Толстого, известный как письмо «группе шведской интеллигенции», изваянный Львом Николаевичем приблизительно 7 – 9 января 1899 года, был скоро опубликован, в хорошем переводе, в шведских газетах. Вот он, с незначительными сокращениями:

«Милостивые государи,

Мысль, высказанная в письме вашем, может иметь очень важные последствия, и я постараюсь по вашему желанию обратить на неё внимание царя и общества. Боюсь, однако, того, чтобы капризная и робкая русская цензура не запретила печатания как вашего прекрасного письма, так и самый ответ на него. Всё-таки напишу, что думаю, и пришлю написанное вместе с вашим письмом сначала в русские, а потом в иностранные газеты.

Мысль ваша о том, что всеобщее разоружение может быть достигнуто самым лёгким и верным путём посредством отказа отдельных лиц от участия в военной службе, совершенно справедлива. Я даже думаю, что это единственный путь избавления людей от всё усиливающихся и усиливающихся ужаснейших бедствий военщины (милитаризма). Мысль же ваша о том, что вопрос о том, каким образом и чем должна быть заменена воинская повинность для лиц, не согласных убивать своего ближнего, должен быть предложен и может быть рассматриваем на [...] конференции, мне кажется совершенно ошибочным.

Конференция, нам говорят, будет иметь целью если не разоружение, то прекращение увеличения вооружений. Предполагается, что на этой конференции сами правительства или их представители условятся о том, чтобы не увеличивать больше вооружений своих, но для того, чтобы не увеличивать более вооружений, необходимо прежде уравнивать вооружения респективных <здесь: равных в военной мощи. – Р. А.> государств, потому что те правительства, которые во время сбора конференции случайно будут слабее, чем их соседи, не могут согласиться на то, чтобы и в будущем оставаться в таком положении, не увеличивая своих военных сил. Если же дело конференции будет состоять в том, чтобы уравнивать военные силы государств и на этом остановиться, то невольно возникает вопрос, почему правительства должны остановиться на таком вооружении, которое существует теперь, а не на более низком, почему, если выражать силу вооружения количеством полков, нужно, чтобы у Германии и России было то большое количество полков, которое теперь существует, а не меньшее количество. Почему нужно и русским и немцам иметь 810, 800 полков, а не по 499, не по 400, не по 300, не по одному, и, наконец, почему бы не выставлять вместо всех этих войск — борцов, Давида и Голиафа, и решать международные дела, смотря по тому, кто поборет.

Я помню, в Севастополе я пришёл к приятелям адъютантам Сакена, <граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1790 – 1881) — Р. А.> начальника гарнизона, и в это время пришёл князь С. С. Урусов, <князь Сергей Семёнович Урусов (1827 – 1897) — математик, шахматист; со времён Севастопольской обороны близкий и любимый приятель Л. Н. Толстого. – Р. А.> офицер, известный своей храбростью и один из лучших шахматных игроков того времени и вместе с тем очень наивный человек. Он сказал, что у него есть важное дело до генерала, и его провели в дверь комнаты. Через ¼ часа он вышел, а присутствовавшие при аудиенции адъютанты, смеясь, рассказали нам, в чём было дело Урусова до Сакена. Урусов предлагал Сакену

для того, чтобы решить, за кем останется передовая траншея перед 5 бастионом, несколько раз переходившая из рук в руки и стоившая несколько сот жизней, вызвать от неприятеля лучшего шахматного игрока и сыграть партию на эту траншею: кто выиграет, за тем она и останется.

Предложение было очень логично, но Сакен не согласился, потому что не мог ручаться за то, чтобы Мак-Магон, <граф Мари-Эдм-Патрис-Морис де Мак-Магон (Marie Edme Patrice Maurice, Comte de Mac-Mahon; 1808 – 1893) — выдающийся французский маршал и политический деятель. В 1855 г., командуя дивизией в Крыму, взял Малахов курган. – Р. А.> несмотря на проигрыш своего чемпиона, не прислал бы батальон со штыками занять траншею. Точно также не могут согласиться и державы на то, чтобы уменьшить войска, потому что они никогда не могут быть уверены в том, что не явится вновь Наполеон или новый Бисмарк, который, наплевав на все условия, увеличит свои войска и побьёт тех, которые будут так глупы, что будут держаться условия уменьшать их. Пока есть войска, то они нужны для того, чтобы побеждать. А побеждают les gros bataillons [фр. большие войска], и поэтому если правительство имеет войско, то оно должно стараться, чтобы его было как можно больше. В этом состоит обязанность всякого правительства. Оно поставлено затем, чтобы соблюдать могущество своей страны. В этом главное оправдание существования правительства. И потому, если правительство не делает того, к чему оно приставлено, его и не нужно. [...] Правительство может делать очень многое во внутреннем управлении, может освободить, просвещать, обогащать народ, строить дороги, каналы, колонизировать пустыни, устраивать общественные работы, но одного не может делать, именно того, для чего собирается конференция, т. е. уменьшать свои военные силы.

Поэтому-то мне кажется, что предложение на рассмотрение конференции, как вы это предлагаете, вопроса о замене воинской повинности полезным трудом для людей, не согласных убивать своего ближнего, совершенно неуместно. Такое предложение может иметь только одно благое последствие, именно то, что оно явно обличит пустоту, праздность и лицемерие конференции. Конференция не может иначе отнестись как отрицательно к таким предложениям и никогда не допустит того, чтобы люди могли безнаказанно отказываться от исполнения воинской повинности, потому что такой отказ подрывает в её основании власть правительства и даже смысл его существования.

Запутавшиеся в своём многословии либералы, социалисты и другие так называемые передовые деятели могут, как они и делают это, вообразить, что их речи в палате, в собраниях, их брошюры и книги имеют очень важное для прогресса человечества значение, но что отказы отдельных лиц по своим религиозным убеждениям от военной службы суть неважные и даже ничтожные явления; но правительства знают очень хорошо, что все трескучие речи в рейхстагах и все стачки рабочих и революционные речи, демонстрации не только не страшны, но суть очень полезные отвлекающие средства от настоящего опасного для правительства дела, состоящего в пробуждении человеческого достоинства и вытекающего из этого сознания отказа от военной службы и податей, назначаемых на военное дело. И потому никакое правительство никогда не только не примет рассмотрения вопроса об этих отказывающихся, а всегда более или менее грубо поступит, так, как поступило русское правительство, которое в то самое время, когда с треском публиковало на весь мир свои будто бы миролюбивые намерения, самым жестоким образом преследовало и продолжает преследовать и мучать самых лучших и миролюбивых людей России — духоборов, выгоняя их за границу или мучая в пустынях Сибири. И всякое правительство более или менее грубо вынуждено поступать и будет поступать так. До тех пор, пока правительства будут управлять своими подданными силою, они будут разрешать свои международные недоразумения тоже силою, и для этого войска правительств будут постоянно увеличиваться. Покуда будут правительства, будут и всё увеличивающиеся войска, а покуда будут войска, будут и правительства.

А потому уменьшиться войска не могут по воле, а могут уменьшиться и уничтожиться только против воли правительств. Уничтожиться же они могут против воли правительств только одним способом — сознанием людей своего человеческого достоинства, не позволяющего им быть добровольными рабами-убийцами. Уничтожатся войска только тогда, когда между народами будет распространено истинное просвещение, не позволяющее делаться бесправным рабом других людей, подчиняясь той животной дрессировке, которая называется дисциплиной.

Не то просвещение, при котором человек, знающий все науки и пользующийся всеми последними изобретениями, считает для себя возможным отдаваться на время в рабство других людей, допускает возможность и необходимость убийства и признаёт одних людей стоящих неизмеримо высоко над другими и имеющих право на безграничное уважение, а то просвещение, при котором человек признаёт священным только один закон делания другим того, что себе

хочешь <Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними>. – *Мф., VII, 12*>, не считает никого из людей ни выше, ни ниже себя, а всех безразлично считает своими братьями и ни при каких условиях, ни ради чего не отдаст в руки других людей свою свободу, составляющую основу его человеческого достоинства. Только тогда, когда будет распространено это истинное просвещение, уменьшатся, уничтожатся войска» (72, 9 – 12).

Ниже Толстой приводит в пример две военных операции Северо-Американских Соединённых Штатов: в испанской провинции на Кубе и на Филиппинах. Война с Испанией, описанная Толстым в статье «Две войны» как гнусность, завершилась для Штатов таким же успехом — оккупацией Кубы — как и операция в Ило-Ило. Но последняя ознаменовалась скандалом: американские войска, назначенные для подавления восстания филиппинцев, отказались отправиться в Ило-Ило. «Генералу Миллеру предписано уйти из Ило-Ило и возвратиться в Манилю. Все американские войска получили приказание сосредоточиться в Манилье. Положение весьма серьёзное» — сообщала 3 января 1899 г. газета «Новое время». Вскоре, однако, и этот «бунт среди своих» был подавлен, и месяц спустя «после бомбардировки с моря, американцы взяли Ило-Ило» («Новое время» 1899, № 8239 от 3 февраля).

Продолжим знакомство с письмом Льва Николаевича шведским пацифистам.

«На днях было известие, что американский полк отказался идти в Ило-Ило. Известие это передаётся как нечто необыкновенное. А между тем удивляться можно только тому, что люди-солдаты в наше время могут подчиняться начальству и идти, американцы на Кубу, испанцы на американцев, немцы на французов и тому подобное. Ведь все эти люди читают книги, теперь читают газеты, имеют знакомых. Все американцы, идущие на Манилю, знают, что говорил Брайан о завоевательной мании американского правительства. Они слышали, что он сказал, что это скверный, безнравственный поступок. <Вильям-Дженнингс Брайан (Bryan) (1860 – 1925) — северо-американский политический деятель, глава демократической партии. По окончании Испано-американской войны в своём выступлении за ратификацию мирного договора решительно высказался против присоединения Филиппинских островов. – Р. А.> Да и каждый разумный человек не может не знать, что дурно нравственно подавлять свободу народов. Мало того, всякий знает, что дурно разорять, убивать, так что удивляться надо, как идут люди воевать, а не тому,

как отказываются. Идут воевать и поступают на службу только потому, что не распространено и скрывается теми, кому это выгодно — правительством, истинное просвещение.

И потому для того, чтобы уничтожить войска и зло, происходящее от них, нужны не конференции правительств, а конференции граждан, обманутых и обманываемых правительствами, обманываемых самым коварным образом именно такими конференциями. Для того, чтобы уничтожить войска, нужно, чтобы общественное мнение приписывало важность не собранию наряженных в смешные костюмы представителей держав, которые после балов и обедов будут заседать в роскошных залах и с важностью говорить бессодержательные французские фразы, а напротив, клеймило бы презрением и насмешкой такого рода собрания, имеющие целью только закрепить рабство людей, и приписывало бы важность и значение только поступкам тех людей, которые и словом и делом, не боясь страданий и смерти, заявляют сознание своего человеческого достоинства, отказываются от участия в бесчеловечной организации убийств. Уничтожатся войска тогда, когда такие люди будут признаны тем, что они есть — первыми, передовыми борцами за свободу и прогресс человечества, и когда таких людей будут тысячи и миллионы, только тогда уничтожатся войска, а не тогда, когда будут собираться конференции.

И вот почему я думаю, что отказ от воинской повинности и конференция правительств — два явления несовместимые» (72, 12 – 13).

С 1894 года письма Толстого к различным адресатам помощники его (секретарь, переписчик или даже кто-то из членов семьи) стали перед отправкой копировать на ручном копировальном прессе. В данном случае, как и ряде других, копия письма была превращена Толстым в черновик, и, после всех правок (в основном “причесавших” текст, чтоб сдуру не дразнить цензуру), была, помимо Стадлинга, отослана и в Англию, к ближайшему из помощников и друзей, Владимиру Григорьевичу Черткову, в английский Перлей, который и опубликовал его в июньском номере «Листков “Свободного слова”». Основное содержание и структура первоначальной, эпистолярной версии в статье «По поводу конгресса о мире. (Письмо к шведам)» автором сохранены, и мы не будем здесь останавливаться отдельно на её анализе.

Публикацию письма Л. Н. Толстого в «Свободной мысли» завершает небезынтересный для нас комментарий — не подписанный, но, полагаем, что издателя, Павла Ивановича Бирюкова:

«Предположения, высказанный в этом письме, не замедлили оправдаться.

Конференция, как известно, разделилась на три комиссии: 1) Об уменьшении вооружений, 2) О международном суде и 3) О расширении Женевской конвенции.

Члены 1-й комиссии на своих заседаниях не знали о чём говорить и, поговоря вероятно о погоде, решили отослать своим правительствам запросы, что делать дальше.

Деятельность 2-й комиссии встретила неожиданное, но весьма серьёзное препятствие. Немецкий делегат заявил, что его правительство не может подчиниться решению международного трибунала, так как верховная власть германского правительства имеет божественное происхождение и поэтому никто не может ей ничего предписать извне! Как не подумали об этом раньше все эти “Божьей милостью” и человеческой глупостью и подлостью поставленные правители о таком неудобстве?

О деятельности 3-й комиссии, вырабатывающей гуманные законы войны, совестно даже и говорить.

Во-первых, конференции мира вырабатывать законы войны — это какая-то ужасная нелепость. Во-вторых, если эти международные представители пришли к удивительным заключениям, что раненых надо жалеть, то неужели для этого надо было созывать конференцию?

Но и этим наивным решениям встретилось препятствие. Англичане не согласились отказаться от употребления пуль *дум-дум*, дающих несомненный смертельный исход со страшными страданиями — на том основании, что эти пули полезны для истребления дикарей, т. е. людей, мешающих им обогащаться.

В одной французской газете приводится любопытный обмен мыслей между двумя делегатами: китайским и германским. *Les extrémités se touchent.* [*фр.* Крайности сходятся.] Представитель самой мирной нации сошёлся во взглядах на конференцию с представителем нации самой военной.

„Мы никогда не желали войны, говорит китаец, но к нам пришли европейские державы и стали у нас отнимать кусок за куском нашей земли и продолжают делать это и теперь, и в это же время пригласили нас на мирную конференцию. Что же нам на ней говорить?“

“А мы никогда не отказывались от войны, ответил немец, и всегда будем готовы к ней, несмотря ни на какие постановления конференции. И потому наше участие в ней также очень странно”.

Оба эти представителя, замечает газета, решили воспользоваться пребыванием в Гааге для гигиенических целей и большую часть времени проводят на морском берегу.

И во время этой мирной конференции большая часть правительств, пославших туда своих представителей, совершают по всему земному шару своё дикое цивилизованное грабительство более слабых народов» (*Свободная мысль*. – 1899. - № 1. – С. 7).

* * * * *

Толстой в своём ответе не просто высмеивает наивности западного буржуазно-либерального пацифизма, но и жестоко, по заслугам, *обличает* интеллигентскую сволочь, которая, со своими спектаклями «мирных конгрессов» и «миротворной» фразеологией — давно и прочно встала на идеологическую службу правительствам, которые и не могут, и не желают ни разоружаться, ни отменять рабство военной службы.

Даже их «коронное» предложение (до сих пор очень популярное у российской, либеральной сволоты) о подмене для «идейных» пацифистов службы в армии так называемой «альтернативной», без оружия в руках — лукавая ложь.

Пацифизм в христианском мире (и России, и Швеции...) не может не быть религиозным — христианским. А для христианского жизнепонимания государство с его войском — это всегда только разбойничье гнездо грабителей, защищающих себя от ограбленных кодами вооружённых убийц — полицаями и солдатней.

Поэтому для христианина *нет* альтернативы: потому что нравственно *невозможно* входить в сделки с разбойниками за право не быть причастным к их разбою!

И не будет одиночек-«мучеников» — если не *попустительствовать* вранью «патриотического воспитания» детей и молодёжи, оправдывающему и освящающему организованное насилие правительств. Обличать, истреблять оправдания его из сознания масс, а не клянчить у правительств «облегчений» в применении его и в принуждении граждан к участию в нём — вот дело для *настоящих* слуг мира!

Невежество, т. е. незнание (от неверия, безбожия!) изуверившейся Европы путей к миру без войн, войск, оружия, государств, границ и пр. — должно быть жестоко обличаемо и вызываемо к покаянию, а не поддерживаемо! И Толстой — отказывает брехунам, обманывающим других и самих себя (для успокоения совести) во всякой поддержке их спектакля!

А выдвигавшиеся ими в письме «невоенные» альтернативы службы — это всё, на практике, *общественно-полезный* мирный труд, который создаётся не государством, а обществом, которому он необходим. И потому сделок по поводу всеобщей воинской повинности в *этой* сфере, полезного труда — не должно быть!

Да, выход совсем другой и именно в сфере общественной мысли, её охристианения: надо не подавать руки, презирать, «клеить позором» — и не солдат, конечно, обманутых с детства ложью «патриотического воспитания», а именно лукавцев с государственными дипломчиками, званиями, степенями, денежками, «положением» в обществе, действующих зачастую с согласия правительства, по его «закону», но вещающих при этом якобы во имя «мира» и даже от имени Бога и Христа.

6. 11. «ПАТРИОТИЗМ И ПРАВИТЕЛЬСТВО». 1900

Я, старый инвалид,
имею к Вам, граф, большую просьбу,
которая исходит из самого искреннего убеждения,
из самой глубины души моей:
напишите хорошую книгу против войны,
с таким заглавием: **война войне**.

(Иоганн Клейнгоппен – Л. Н. Толстому. 16 марта 1900 г.)

Повесть «Хаджи-Мурат», о которых скажем ещё подробнее, стала, в числе прочего, и художественным представлением итогов эволюции воззрений Л. Н. Толстого на войну и мир, и шире — на «легитимное» насилие правительств (с такой оговоркой сюда можно отнести и роман «Воскресение»). В публицистике же ему соответствует страстная, остро-нецензурная статья «Патриотизм и правительство», ставшая в дни преступной агрессии России в Украине, наряду с позднейшей статьёй «Одумайтесь!», одним из фаворитов у любителей цитирования в интернете. Их можно понять: статья относительно невелика по объёму, а беспощадной честностью в раскрытии темы

«рабства у учения мира», именно военного, солдатчины — не уступает пространному, мало кем читаемому и в наше время трактату «Царство Божие внутри вас».

У Толстого за 1890-е годы явно обозначились любимые заголовки для публицистических выступлений. Например, «Carthago delenda est» [лат. «Карфаген должен быть разрушен»] — название сразу *трёх* статей Толстого, а кроме того, так поначалу он хотел назвать и статью «Приближение конца». Вот и статья «Патриотизм и правительство» была им начата с “рабочим” заглавием, уже хорошо известным читателю — «Патриотизм или мир?». Такие повторения подчёркивают идейную “преемственность” всех антивоенных выступлений Толстого, а также, конечно, и неутомимость в повторении истины, в которой сам он был убеждён.

Черновик статьи был подготовлен Толстым в феврале 1900 года. 28 февраля он писал своим единомышленникам во Христе и замечательным друзьям, Владимиру Григорьевичу и Анне Константиновне Чертковым: «Я, кажется, кончил маленькую статью о патриотизме» (88, 191). Но, как почти всегда и было у Толстого, такое предположение о скором окончании работы над статьёй оказалось ошибочным.

В марте Толстой получил письмо из города Мюльхайм-ан-дер-Рур (нем. Mülheim an der Ruhr) от инвалида германской армии Иогана Клейнгопена (Johann Kleingorpen), датированное 16 марта (н. ст.) 1900 г. Перевод этого письма Толстой использовал частично в Главе VII статьи «Патриотизм и правительство», не упоминая имени автора. Подлинник письма затерялся — будучи, вероятно, пересланным П. И. Бирюкову в Женеву для бесцензурной публикации. Она и состоялась, в другом переводе, в № 4 (апрель) журнала «Свободная мысль», на стр. 50 – 51, под заголовком «Мнение о войне немецкого рабочего», а позднее, в том же переводе — в России, в газете «Курьер» 1900, № 16 от 27 апреля.

Приводим ниже полный текст письма Иоганна Клейнгопена — в основном, по переводу в «Свободной мысли». Приведённые в статье Толстого цитаты заключены нами в прямые скобки и печатаются по этой статье. Клейнгопен писал:

«Многоуважаемый граф.

Позвольте мне, как человеку из простого народа и другу истины и справедливости, обратиться к Вам с полным доверием.

50 СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ № 4

вести за собою английский народ на это позорное дело. — Не будь духовности и прессы в руках правительства, а последнее — в руках буржуазов, то войны этой не было бы.

Устроив грабеж под сенью Гаагской конференции, доказавшая, сколько нужно лжи в наши дни для обеспечения подобной разбой: а это, в свою очередь заставляет думать, что общественная совесть на стороже; еще несколько совестливых ушей — и войны станут неусуществляемыми, ибо народы поймут, кто и куда их ведет.

Кн. Г. М. Волжский.

МНЕНИЕ О ВОЙНЕ НЕМЕЦКАГО РАБОЧАГО (Письмо ко Лью Николаевичу Толстому). Мысльемынъ изъ деръ Руръ (Пруссе). 10 марта 1900.

Многоуважаемый графъ.

Позвольте мнѣ какъ человѣку изъ простаго народа и другу истинны и справедливости обратиться къ Вамъ съ полнымъ довѣремъ.

Я только что, случайно, прочелъ критику на вашъ романъ „Воскресеніе“, который, къ сожалѣнію, я не могу приобрести, такъ какъ мы, раненные воины, получаемъ большую частью очень скудную пенсію.

Я старѣй инвалидъ, имѣю къ Вамъ, графъ,

СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ № 4

какой утонченностью эти люди стараются преректрить другъ друга; оно забавно даже, если бы не было такъ грустно, видѣть въ тѣхъ религиозно-патриотическихъ ужасникахъ эти блѣдые люди другъ друга обличивать и при этомъ требовать самую строгую честность отъ бѣдняка.

Вотъ дѣсь звучитъ слово „Воскресеніе“ могучимъ колоколомъ изъ лучшей страны. Да дастъ Богъ истинны и праведности, чтобы этотъ великій день насталъ скорѣе!

Многоуважаемый графъ! Для людей истиннаго благородія, проникнутыхъ духомъ истиннаго христіанства, Евангелиемъ человеколюбія, для такихъ людей не существуетъ преградъ национальностей, имъ противна религиозная и национальная ненависть, посредствомъ которыхъ сильные мерзавцы ловятъ народныя массы!

Я самъ былъ свидѣтелемъ того, какъ мы въ 1866 г. при Кениггрецѣ на мѣстѣ сраженія, вмѣстѣ съ австрійцами мирно ѣли нашу скудную пишу. Было трудно повѣрить, что эти миролюбивые люди нѣсколько часовъ тому назадъ хотѣли убивать другъ друга.

Какъ я уже упоминалъ, я бѣднякъ, который долженъ тяжело работать, чтобы прокормить себя и въ юности моею я получалъ самое скудное школьное образованіе и потому прошу васъ, будьте ко мнѣ снисходительны.

И такъ прошайте, почтенный графъ, да сохранитъ васъ Богъ на долго въ живыхъ и да защититъ васъ и убережетъ во благо страдающую человечество.

Этого желаю вамъ васъ искренно любящій

Тоталъ Клейнгоненъ
Старый инвалидъ.

№ 4 PENSEE LIBRE АПРѢЛЬ 1900

Revue mensuelle. Rédacteur-éditeur P. VIRUKOFF.

СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ

ИЗДАНИЕ ШВЕЙЦАРСКАГО ОТДѢЛА „СВОБОДНАГО СЛОВА“

Ежемесячное обозрѣніе подъ редакціей П. Вирюкова.

<p>Адресъ редакціи Adresse: PAUL VIRUKOFF, Ancienne route de Porrenx, 49, Onex près Genève, Suisse.</p>	<p>Dépôts: M. Elpidine Libraire-Éditeur, R-te St. Julien, Carouge (Genève) Société Nouvelle de librairie et d'édition, Rue Cujas 17, Paris.</p>	<p>Prix d'Abonnement: Un an Fr. 5. 00 6 mois 2. 50 3 mois 1. 25 Chaque numéro 50 Съ пересылкою въ Россію 11 fr.</p>
---	---	---

Я только что случайно прочёл критику на Ваш роман “Воскресение”, который, к сожалению, я не могу приобрести, так как мы, раненные воины, получаем большею частью очень скудную пенсию.

Я, старый инвалид, имею к Вам, граф, большую просьбу, которая исходит из самого искреннего убеждения, из самой глубины души моей: напишите хорошую книгу против войны, с таким заглавием: **война войне.**

[Я совершил два похода вместе с прусской гвардией (1866 – 1870 гг.) и ненавижу войну от глубины души, так как она сделала меня невыразимо несчастным. Мы, раненные вояки, получаем большею частью такое жалкое вознаграждение, что приходится, действительно, стыдиться за то, что когда-то мы были патриотами. Я, например, получаю ежедневно сорок копеек <в оригинале: 80 пфеннигов. – Р. А.> за мою простреленную при штурме С. Прива 18 августа 1870 г. правую руку. Другой охотничьей собаке нужно больше для её содержания. А я страдал целые годы от моей дважды простреленной правой руки.

Уже в 1866 г. я участвовал в войне против Австрии, сражался у Траутенау и Кенигреца и насмотрелся довольно-таки ужасов. В 1870 г. я, как находившийся в запасе, был призван вновь и, как я уже

сказал, был ранен при штурме в С. Прива: правая рука моя была прострелена два раза вдоль. Я потерял хорошее место (я был тогда пивоваром) и потом не мог уже получить его опять. <В публикации «Свободной мысли» названа профессия строителя. – Р. А.> С тех пор мне уже больше никогда не удалось встать на ноги. Дурман скоро рассеялся, и вояке-инвалиду оставалось только кормиться на нищенские гроши и подаяние.] Вот благодарность отечества!

Любимая мною моя супруга лишила себя жизни четыре года тому назад из боязни попасть на старости лет в богадельню. Конечно, эта мысль мучила её уже несколько лет и так засела у ней в голове, что она стала душевнобольной.

С тех пор как смерть отняла у меня милую супругу, я часто в тишине уединения размышлял о суете человеческого существования. Ведь такой брак, как мой, не прекращается со смертью избранной, ибо, опираясь на любовь, переживает смерть и могилу. А страдание всё-таки чрезвычайное для того, кто остался жив. Только сознание нравственной чистоты и стремление к лучшему сохранили меня от подобной же участи.

[В мире, где люди бегают, как дрессированные звери, и не способны ни на какую другую мысль, кроме того, чтобы перехитрить друг друга, ради маммоны, в таком мире пусть считают меня чудачком, но я всё же чувствую в себе божественную мысль о мире, которая так прекрасно выражена в Нагорной проповеди.

По моему глубочайшему убеждению, война — это только торговля в больших размерах — торговля честолюбивых и могущественных людей счастьем народов.

И каких только ужасов не переживаешь при этом! Никогда я их не забуду, этих жалобных стонов, проникающих до мозга костей. Люди, никогда не причиняющие друг другу зла, умерщвляют друг друга, как дикие звери, а мелкие рабские души замешивают доброго Бога пособником в этих делах. Соседу моему в строю пуля раздробила челюсть. Несчастный обезумел от боли. Он бегал, как сумасшедший, и под палящим летним зноем не находил даже воды, для того чтобы освежить свою ужасную рану. Наш командир кронпринц Фридрих (впоследствии благородный император Фридрих) писал тогда в своём дневнике: «Война — это ирония на Евангелие...». <В переводе «Свободной мысли»: «Война — это ирония над всякой благой вестью». – Р. А.>]

Итак, ещё раз прошу Вас, почтенный граф, напишите хорошую книгу против войны.

При Вашем необыкновенном духовном даровании, это была бы великолепнейшая картина, такая, какую со времён Канта никто не написал, и, право, труд этот был бы достоин Вашего усилия.

Хотя я только простой, бедный человек, но могу спокойно сказать, что с детства вдохновляла меня истина и справедливость, и они были мне утешением и спасли меня от окончательной гибели во время моих невыразимых страданий. Должно заметить ещё, что во всю жизнь мою я никогда не был наказан; вообще, всё, что я здесь писал Вам, сушая правда, и во всякое время я могу это доказать.

Если имеешь возможность заглянуть в жизнь и дела купцов, то удивляешься, с какой утончённостью эти люди стараются перехитрить друг друга; оно забавно даже, если бы не было так грустно, видеть все те религиозно-патриотические ужимки, с которыми эти бедные люди друг друга обманывают и при этом требуют самой строгой честности от бедняка...

Вот здесь звучит слово “Воскресение” могучим колоколом из лучшей страны. Да даст Бог Истины и праведности, чтобы этот великий день настал скорее!

Многоуважаемый граф! Для людей истинно благородных, проникнутых духом истинного христианства, евангелием человеколюбия, для таких людей не существует преград национальностей, им противна религиозная и национальная ненависть, посредством которых сильные мерзавцы ловят народные массы!

Я сам был свидетелем того, как мы в 1866 г. при Кенигреце на месте сражения вместе с австрийцами мирно ели нашу скудную пищу. Было трудно поверить, что эти миролюбивые люди несколько часов тому назад хотели убивать друг друга.

Как я уже упомянул, я бедняк, который должен тяжело работать, чтобы прокормить себя, и в юности моей я получил самое скудное школьное образование и потому прошу вас, будьте ко мне снисходительны.

Итак, прощайте, почтенный граф. Да сохранит Вас Бог надолго в живых и да защитит Вас и убережёт во благо страждущего человечества.

Этого желает Вам Вас искренно любящий

Иоганн Клейнгопен, старый инвалид» (*Свободная мысль*. 1899. № 4. С. 50 – 51; ср. 90, 440 – 441).

Очень грустное письмо. Старичку Иоганну уже не прожить никак иначе, кроме жизни непутёвого, обманутого и ограбленного лоша-

рика, гордящегося тем, что всю жизнь угождал мирским начальствам и «никогда не был наказан» ими. Наказали его за глупость Божьи законы жизни — не поправить! И нету духовным лъвьятам Льва Николаевича дела до личной его трагедии, подробности которой они поэтому вырезали из журнальной публикации: он лишь полезный, по случаю, *образчик жертвы*. И не узнать старцу Иоганну, что книга такая, и христианская религиозная, и при этом «война войне», уже давно написана Толстым: наш, более счастливый, читатель знает, что это трактат «Царство Божие внутри вас». Хотя годы прошли, и автор, конечно же, не считает уже этот трактат «последним словом» своим в антивоенной теме. Даже вожделенный роман «Воскресение», в котором именно против войны не много, нищему инвалиду не суждено было прочесть... быть может, и к лучшему?

Но вдохновение писателя и публициста от письма Иоганна Клейнгоппена на новый антивоенный протест не подлежит сомнению. 13/25 марта Лев Николаевич, в ответе Клейнгоппену, спросив разрешения перевести письмо его для опубликования в газетах, прибавляет (оригинал на немецком):

«Очень хотел бы исполнить ваше желание — написать хорошую книгу против войны. Я над этим теперь работаю» (72, 334).

В этот же день, 13 марта 1900 г., после перерыва с 27 января, Толстой записывает в Дневнике: «Писал всё 1) письмо духоборам, которое кончил и послал, 2) о патриотизме, которое много раз переписывал и которое ужасно слабо, так что вчера решил или бросить, или всё с начала, и кажется, есть что сказать с начала. Надо показать, что теперешнее положение, особенно Гаагская конференция, показали, что ждать от высших властей нечего и что распутывание этого ужасного губительного положения, если возможно, то только усилием частных отдельных лиц» (54, 10).

Через 6 дней, 19 марта, Толстой записывает: «Мало, но успешно работаю» (Там же. С. 15). Затем — 24 марта: «Пишу то Патриотизм, то Денежное рабство <статью «Рабство нашего времени». — Р. А.>. И первое много улучшил, но вот второй день не пишу» (Там же. С. 18). После этого — запись 6 апреля: «Всё работаю ту же работу, загордившую мне художественную» (Там же. С. 20). Затем 2 мая: «Всё время был занят двумя статьями. И хочется думать, что кончил... Мало думал вне работы. Работа всё поглощала» (Там же. С. 24).

2 мая в письмах к Д. А. Хилкову и к А. Шкарвану (см. т. 72, стр. 353 и 358) Толстой извещал их об окончании статьи, причём во втором письме статья приобрела окончательное заглавие — «Патриотизм и

правительство». Так же называется она и в письме Льва Николаевича от 20 июня к финскому единомышленнику, *Арвиду Александровичу Ернефельту* (Ярнефельт; фин. Arvid Järnefelt; 1861 – 1933), толстовцу с начала 1890-х, с 1895-го — корреспонденту и адресату писем Льва Николаевича, а с 1899-го, после посещения финном Ясной Поляны — личному его знакомому и другу, которому был доверен перевод на финский язык романа «Воскресение».

Однако и на этот раз сообщение об окончании статьи было преждевременным. 7 мая Толстой писал Чертковым: «Всё доканчиваю две статьи: о патриотизме и о рабочих [«Рабство нашего времени»]. И очень хочется с Кенворти послать к вам» (88, 195). Действительно через три дня, 10 мая, статья была послана Черткову с гостившим у Толстого и уезжавшим обратно в Англию англичанином Джоном Кенворти. При этом Толстой писал: «Посылаю вам эту статью, милые друзья. Простите, что злоупотребляю вашей добротой, перемарал её и, не переписав, посылаю её с милым Кенворти. С статьёй делайте, что найдёте нужным. Печатайте, если найдёте её стоящей того, или вернёте, чтобы исправить. Хотя я очень много раз её исправлял, я могу ещё почистить её. Есть в ней, мне кажется, нужное, но она как-то не задалась и не нравится мне. Впрочем, я столько ковырял в ней, что уже потерял чутьё» (88, 196).

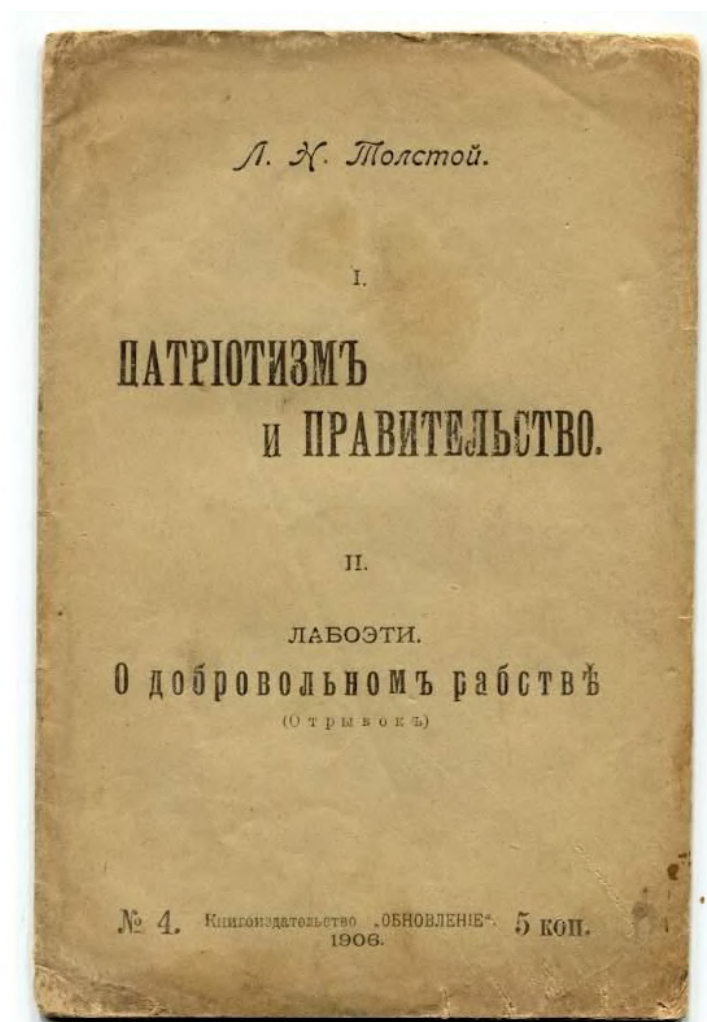
Статья «Патриотизм и правительство» была впервые напечатана В. Г. Чертковым в изд. «Свободное слово» в Англии в 1900 г. и затем переиздана берлинскими издательствами: Гуто Штейница (1903 г.) и Н. Caspari (без указания года). В России статья была перепечатана в 1906 г. в изд. «Обновление» в Петербурге (тираж был конфискован) и в изд. «Жизнь» в Харькове. В 1917 г. статья появилась в Москве в двух изданиях: Толстовского общества, издательств «Посредник» и «Свободная жизнь» и в Харькове в издательстве «Сеятель». В 1918 г. была перепечатана Комиссариатом народного просвещения Смоленской губернии и в Екатеринодаре издательством Колосова и Жандармова.

* * * * *

В статье девять небольших глав, ни одна из которых не озаглавлена, хотя некоторые буквально «напрашиваются» на это. *Первую*, например, можно бы было назвать: «Уж сколько раз твердили миру!..».

«Мне уже несколько раз приходилось высказывать мысль, — так начинает своё выступление Толстой — о том, что патриотизм есть в

наше время чувство неестественное, неразумное, вредное, причиняющее большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это не должно быть воспитываемо, как это делается теперь, — а напротив, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей средствами» (90, 425).



Обложка отд. Издания статьи «Патриотизм и правительство». Издательство «Обновление». 1906 г.

Но все аргументы наталкиваются на барьер «или молчания, или умышленного непонимания» (то есть *нежелания* понимать) и на стереотипные возражения: «говорится, что вреден только дурной патриотизм, джингоизм, шовинизм, но что настоящий, хороший патриотизм есть очень возвышенное нравственное чувство, осуждать которое не только неразумно, но преступно. О том же, в чём состоит этот настоящий, хороший патриотизм, или вовсе не говорится, или вместо объяснения произносятся напыщенные высокопарные фразы...» (Там же).

Любые жизненные блага — утилитарные, знаниевые, тем более духовные — потенциально принадлежат всем людям и не могут быть основанием гордости одной общности, тем паче вражды с другими. Особенности же народа, отличающие от других, могут иметь свойства предмета возлюбленной в культурном диалоге “непохожести”, но, опять же, не ненависти и, с другой стороны, не поклонения и удержания во имя общего «прогресса». Такое удержание препятствует братскому единению народов и чуждо христианскому пониманию жизни. Поэтому, заключает Лев Николаевич, в какие бы павлиньи перья ни рядили патриотизм, общественной ли пользы, нравственного ли достоинства, духовности ли — его истинная морда зверюшки Дарвина, неизжитого в психике человека, атавистического стайно-территориального зверства, проступает со всею очевидностью:

«...Не воображаемый, а действительный патриотизм, тот, который мы все знаем, под влиянием которого находится большинство людей нашего времени и от которого так жестоко страдает человечество [...] есть очень определённое чувство предпочтения своего народа или государства всем другим народам или государствам, и потому желание этому народу или государству наибольшего благосостояния и могущества, которые могут быть приобретены и всегда приобретаются только в ущерб благосостоянию и могуществу других народов или государств» (*Там же. С. 426 – 427*).

Таким образом, завершает Толстой Первую главу своего правдивого и нецензурнейшего шедевра, «патриотизм, как чувство, есть чувство дурное и вредное; как учение же — учение глупое, так как ясно, что если каждый народ и государство будут считать себя наилучшими из народов и государств, то все они будут находиться в грубом и вредном заблуждении» (*Там же. С. 427*).

Главу Вторую можно бы было назвать «Ступени идей». По существу, это переформулированное изложение всё той же, важнейшей в социальном и религиозном учении Толстого концепции трёх различных религиозных пониманий жизни — из которых проистекает актуальность общественных идей. К отжитым идеям, соответствующим первобытному эгоизму человека, Толстой относит людоедство, похищение самок, ограбление соседей... К актуальным, соответствующим второму, общественному, жизнепониманию язычников и евреев, относятся — «идеи собственности, государственного устройства, торговли, пользования домашними животными и т. п.» (90, 428). (Очень мило, кстати, что к следствиям охристианения сознания обществ Толстой относит и освобождение животных.) Кроме того, среди «идей будущего» им названы победа над эксплуатацией

труда рабочих, равенство с мужчинами женщин, отказ от мясной пищи... и, конечно же, собственные возлюбленные идеалы: «уничтожения насилия, установления общности имуществ, единой религии, всеобщего братства людей» (*Там же*).

Но удержание как отдельных отживших своё идей, так и в целом отжитой религиозной веры, архаического и вредного жизнепонимания может быть полезно некоторым влиятельным членам общества. Так происходит с отжитыми религиями, продвигаемыми в головы детей и простецов их жрецами, чьё привилегированное положение зависит от влиятельности их религии; так же поступает сволота светская, правительственная и интеллигентская, по отношению к давно отжитым и вредным, даже опасным идеям патриотизма.

Отчего-то Лев Николаевич не вспомнил в этот раз о мрачном герценовском образе «Чингис-Хана с телеграфом». Жаль, ибо именно так, судя по описаниям, можно было бы назвать *Третью главу*.

Знания религиозное и светское, средства коммуникации, логистика и простая логика, технологии управления, наконец, здравый смысл — всё приходит в подмогу народов, *желающих* жить мирно. Однако выгоды «правлящих классов», под которыми Толстой понимает общественные элиты как таковые: «не одни правительства с их чиновниками, но и все классы, пользующиеся исключительно выгодным положением: капиталисты, журналисты, большинство художников, учёных», напрямую зависят от сохранения языческого устройства жизни, «государственного устройства, поддерживаемого патриотизмом»:

«Патриотизм и последствия его — войны дают огромный доход газетчикам и выгоды большинству торгующих. Всякий писатель, учитель, профессор тем более обеспечивает своё положение, чем более будет проповедывать патриотизм. Всякий император, король тем более приобретает славы, чем более он предан патриотизму.

В руках правящих классов войско, деньги, школа, религия, пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм историями, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым; во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками, патриотической лживой прессой; главное же, разжигают патриотизм тем, что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости против других народов, возбуждают в них вражду к своему народу, и потом этой-то враждой пользуются для возбуждения вражды и в своём народе» (*Там же*. С. 430 – 431).

Глава Четвёртая может быть условно названа «К истокам» — разумея звериное «детство» всего человечества, к которому явственно

развернулись, вослед за милитаристской Германией, Россия и другие европейские страны — постоянно прикрывая и оправдывая эту «эволюцию наоборот» патриотическим словоблудием:

«Начались наперебой, вызываемые отчасти прихотью, отчасти тщеславием, отчасти корыстью захваты чужих земель в Азии, Африке, Америке и всё большее и большее недоверие и озлобление правительств друг к другу.

Уничтожение народов на захваченных землях принималось как нечто, само собой разумеющееся. Вопрос только был в том, кто прежде захватит чужую землю и будет уничтожать её обитателей» (90, 432). Комическую и вместе с тем страшную актуальность вдруг приобрела символика государственных гербов:

«...Все государства всегда стоят друг против друга с выпущенными когтями и оскаленными зубами и ждут только того, чтобы кто-нибудь впал в несчастье и ослабел, чтобы можно было с наименьшей опасностью напасть на него и разорвать его» (Там же).

Всеобщая военная повинность вкупе с современными средствами информации привели к положению граждан государств, которые или призваны, либо мобилизованы, на очередную бойню, либо «находятся в положении зрителей в римском цирке» (Там же).

«— “А я тебя ущипну”. — А я тебя кулаком. — “А я тебя кнутом”. — А я палкой. — “А я из ружья”... Так спорят и дерутся только злые дети, пьяные люди или животные, а между тем, это совершается в среде высших представителей самых просвещённых государств, тех самых, которые руководят воспитанием и нравственностью своих подданных» (Там же. С. 433).

Животных бы не стоило в этом обижать, отче Лев! Но хорошо, что тебе никогда не узнать, насколько унижительно и позорно под твоё описание подпадает современная, 2023 года, путинская Россия — слава Богу, уже не вызывая своими провокациями ответных зверств со стороны народов свободного и цивилизованного мира, за прошедшее столетие не без труда и ошибок, но всё же соединившихся в евро-атлантической мирной и дружной семье.

13 марта 1900 г., после перерыва с 27 января, Толстой записывает в Дневнике: «Писал всё [...] о патриотизме, которое много раз переписывал и которое ужасно слабо, так что вчера решил или бросить, или всё с начала, и кажется, есть что сказать с начала. Надо показать, что теперешнее положение, особенно Гаагская конференция, показали, что ждать от высших властей нечего и что распутывание этого ужасного губительного положения, если возможно, то только усилием частных отдельных лиц (54, 10).

Эта запись указывает нам на ключевой замысел Л. Н. Толстого по отношению именно к данной статье: нужно было откликнуться на крах надежд на Конференцию «легковерных людей» (90, 433). Он был связан с началом, тотчас после гаагских посиделок, Второй англо-бурской (т. н. Трансваальской) войны 1899 – 1902 гг., шокировавшей современников «многообещающей» Двадцатому веку жестокостью англичан. Это была война Великобритании против республик буров (потомков голландских колонистов в Южной Африке) — Южно-Африканской республики (Республики Трансвааль) и Оранжевого Свободного государства (Оранжевой Республики), закончившаяся победой Британской империи. В этой войне англичане впервые применили тактику выжженной земли на земле буров и концентрационные лагеря, в которых погибло около 30 тысяч бурских женщин и детей, а также неуставленное количество коренных африканцев.

В начале 1900 г. Толстой посетил в Ясной Поляне корреспондент московской газеты «Русский листок» Станислав Станиславович Окрейц (псевдоним: С. Орлицкий; 1834 – ?). Речь зашла о событиях, которые в ту пору волновали весь мир. «Знаете ли, до чего я доходил, — говорил Толстой в беседе с корреспондентом „Русского листка“, — Теперь этого уже нет; я превозмог себя... Утром, взяв в руки газету, я страстно желал всякий раз прочесть, что буры побили англичан. Эта война — величайшее безрассудство наших дней. Как?! Две высокоцивилизованные нации — голландцы и англичане — истребляют друг друга; Англия, страна, гордившаяся титулом свободной страны, пытается раздавить малочисленных буров, не сделавших англичанам ни малейшего вреда. Это что-то непонятное, невероятное.

Знаете, на что это безумное нападение похоже? [...] Это то же самое, если бы мы с вами, люди уже старые, вдруг поехали к цыганам в “Стрельну”, утратив всякий стыд. И эта бойня, заметьте, совершается после гаагской конференции, так нашумевшей. Трансваальская война — знамение нашего времени, но печальное знамение, говорящее, что миром управляет бездушное торгашество» (Лакшин В.Я. (сост.). *Интервью и беседы с Львом Толстым*. — М., 1987. С. 143 – 144).

Непосредственно в связи с фельетоном Орлицкого существует любопытное письмо Толстого к переводчику Эйльмеру Мооду от 27 января 1900 г., в ответ на его письмо, с вырезкой из газеты, в которой было напечатано: «Count Tolstoy is reported to have said that whenever he takes the morning's paper he hopes to read that the Boers have given the Englishmen a good thrashing» [«Нам сообщают, что граф Толстой сказал, что каждый раз, как он берёт утренние газеты, он надеется

прочесть, что буры задали англичанам хорошую трёпку»]. Толстому Моод писал (по-русски): «При сем посылаю вам вырезку из газеты. Этот параграф перепечатывается из газеты в газету. Конечно, вы не могли серьёзно желать, чтобы люди были убиты, и, вероятно, никогда ничего такого и не сказали. Я был бы очень рад иметь возможность опровергнуть этот газетный слух. Пожалуйста, если возможно, пишите одно слово сказать, что это неправда. Большинство газет старается раздувать национальные страсти всякими способами» (72, 291).

Толстой написал ответ, разошедшийся, как и вышецитированное интервью с ним, по всему миру:

«Я, разумеется, не мог сказать и не сказал того, что мне приписывают. Произошло это от того, что пришедшему ко мне под видом автора, принёсшего свою книгу, корреспонденту газеты я сказал на его вопрос о моём отношении к войне, что я ужаснулся на себя, поймав себя во время болезни на том, что желал найти в газете известия о победе буров, и был рад случаю выразить в письме Волконскому моё истинное отношение к этому делу, которое состоит в том, что я не могу сочувствовать никаким военным подвигам, хотя бы это был Давид против десятка Голиафов, а сочувствую только тем людям, которые уничтожают причины: престиж золота, богатства, престиж военной славы и главную причину всего зла, престиж патриотизма и ложной религии, оправдывающей братоубийство.

Я думаю, что не стоит того печатать в газетах опровержение ложно приписываемого мне мнения. На всякое чиханье не наздравствуешься. Я, например, получаю в последнее время письма из Америки, в которых одни упрекают, а другие одобряют меня за то, что я отрёкся от всех своих убеждений. Стоит ли опровергать, когда завтра могут быть выдуманы 20 новых известий, которые будут содействовать наполнению столбцов газеты и карманов издателей» (72, 289 – 290).

Это прекрасная установка, стоит здесь заметить. Но не без исключений — когда речь о преднамеренном, системно обустроенном, *абсолютном зле* и сопротивлении ему. Украина в наши дни защищается от соседа-агрессора, как раз как маленький Давид сражался с Голиафом. Надо иметь *очень* неортодоксальные отношения с Богом и с христианством, чтобы не соперничать Давиду, чтобы оставаться равнодушным к этому сюжету — не только Библии, но архетипичному у человечества: когда, с Божьей помощью, побеждает не грубая и развратная, самоуверенная, безбожная сила, а побеждают смирение перед Всевышним, разум и добро!

Своё отношение к англо-бурской войне Толстой высказывал неоднократно. «Я всегда считаю нравственные мотивы двигающими и решающими в историческом процессе. И вот теперь... мне кажется, что могущество Англии сильно пошатнётся. Я это говорю не из бессознательного русского патриотизма. Если бы восстала Польша или Финляндия и успех был на их стороне, моё сочувствие принадлежало бы им, как угнетённым» (*Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Л., 1959. С. 60. [Запись 1900 г., 21 февраля]*).

Такой ответ даёт понимание, на чьей стороне, не выдержав никакой аполитичности, только и мог бы быть Лев Николаевич — в противостоянии Московии и Украины. Когда Украину поддержала даже традиционно нейтральная Швейцария. Британская империя — одна из зловреднейших в истории, идеальный образчик «разбойничьего гнезда», как Толстой был склонен называть каждое вообще государство своей эпохи. Она была образована в 1497 году и формально просуществовала до 1997 года (ровно 500 лет), до момента возвращения Гонконга в юрисдикцию Китая. Британия XIX и начала XX веков — всё тот же «всемирный пират», склонный к грабежам и территориальной экспансии. Одним же из неприятных её конкурентов издавна была имперская Россия — возросшая на ограбленном труде мирных пахарей гнусная Московия с её внутренними колониями, насильственно «собранными» землями. Сердце Льва Николаевича Толстого было и остаётся на стороне оккупированных, подчинённых, угнетённых такими «разбойничьими гнёздами», как Россия или прежняя Англия.

В связи с реакцией Льва Николаевича Толстого на известия об англо-бурской войне сохранилось, кстати упомянутое выше, в письме Толстого Эйльмеру Мооду, интереснейшее письмо яснополянца от 4 (16) декабря 1899 г. к князю *Григорию Михайловичу Волконскому* (1864 – 1912). Четвероюродный племянник Льва Николаевича, Г. М. Волконский был внуком декабриста Сергея Григорьевича Волконского, сыном Михаила Сергеевича (1832 – 1909) и Елизаветы Григорьевны (1838 – 1897), урожд. светл. кнж. Волконской. Известен как автор труда «Род князей Волконских» (СПб. 1900). С 1894 г. был женат на княгине Иде Витовне Дампиер (Jeanne Marie Alice Marguerite Ida de Dampierre, 1869 – 1962). Сотрудник заграничного журнала «Освобождение», автор ряда политических брошюр, выходящих за границей в 1900-х гг. Жил на юге Франции (был болен туберкулёзом). Конечно же, он не удержался прислать дальней родне, знаменитой родне, «самому» Льву Толстому свои брошюры и получил, по заслугам, такой вот замечательный ответ:

«4 декабря 1899 г. Москва.

Я получил ваше письмо с брошюрами и прочёл их. Отвечаю так поздно потому, что ваше письмо ходило в Ясенки, — а я в Москве — и не своей рукой, потому что болен и слаб.

С удовольствием отвечаю вам, потому что брошюры ваши написаны очень хорошо и искренно, за исключением третьей, насчёт которой я согласен с вашими родными. Эта брошюрка слаба не потому, что слишком резка, но потому, что недостаточно ясно выставляет отталкивающие черты одного из самых отвратительных, если не комических, представителей императорства — Вильгельма II.

Как ни хорошо написаны ваши статьи, я по существу не согласен с ними, не то что не согласен, но не могу осуждать того, что вы осуждаете.

Если два человека, напившись пьяны в трактире, подерутся за картами, я никак не решусь осуждать одного из них; как бы убедительны ни были доводы другого, причина безобразных поступков того или другого лежит никак не в справедливости одного из них, а в том, что вместо того, чтобы спокойно трудиться или отдыхать, они нашли нужным пить вино и играть в карты в трактире. Точно так же, когда мне говорят, что в какой бы то ни было разгоравшейся войне исключительно виновата одна сторона, я никогда не могу согласиться с этим. Можно признать, что одна из сторон поступает более дурно, но разборка о том, которая поступает хуже, никак не объяснит даже самой ближайшей причины того, почему происходит такое страшное, жестокое и бесчеловечное явление, как война. Причины эти для всякого человека, который не закрывает <на них> глаз, совершенно очевидны, как теперь в Трансваальской войне, так и во всех войнах, которые были в последнее время.

Причин этих три: 1-ая — неравное распределение имуществ, т. е. ограбление одними людьми других, 2-ая — существование военного сословия, т. е. людей, воспитанных и предназначенных для убийства, и 3-я — ложное, большею частью сознательно обманное религиозное учение, в котором насильственно воспитываются молодые поколения.

И потому я думаю, что не только бесполезно, но и вредно видеть причину войн в Чемберленах, <Джозеф Чемберлен (1836 – 1914) — в то время англ. министр колоний. После того, как Трансвааль сделался одним из главных мировых местонахождений золота и алмазов, Чемберлен повёл по отношению к Южно-Африканской республике агрессивную политику, приведшую к войне 1899 г. — Р. А.> в

Вильгельмах и т. п., скрывая этим от себя действительный причины, которые гораздо ближе, и в которых мы сами участвуем.

На Чемберленов и Вильгельмов мы можем только сердиться и бранить их; но наше сердце и брань только испортит нам кровь, но не изменят хода вещей: Чемберлены и Вильгельмы суть слепые орудия сил, лежащих далеко позади их. Они поступают так, как должны поступать и как не могут поступать иначе. Вся история есть ряд точно таких же поступков всех политических людей — как Трансваальская война, и потому сердиться на них и осуждать их совершенно бесполезно и даже невозможно, когда видишь истинные причины их деятельности и когда чувствуешь, что ты сам виновник той или другой их деятельности, смотря по тому, как ты относишься к трём основным причинам, о которых я упомянул. До тех пор, пока мы будем пользоваться исключительными богатствами в то время, как массы народа задавлены трудом, всегда будут войны за рынки, за золотые прииски и т. п., которые нам нужны для того, чтобы поддерживать наше исключительное богатство. Тем более неизбежны будут войны до тех пор, пока мы будем участвовать в военном сословии, допускать его существование, не бороться всеми силами против него. Мы сами или служим в военном сословии, или признаём его не только необходимым, но похвальным, и потом, когда возникает война, осуждаем в ней какого-нибудь Чемберлена и т. п. Главное же, будет война до тех пор, пока мы будем не только проповедовать, но без негодования и возмущения допускать то извращение христианства, которое называется церковным христианством, и при котором возможно христоролюбивое воинство, благословение пушек и признание войны делом христиански справедливым. Мы учим этой религии наших детей, сами исповедуем её и потом говорим — одни, что Чемберлен, а другие, что Крюгер виноват в том, что люди убивают друг друга. <Поль Крюгер (1825 – 1904) — бургский политический деятель, с 1883 г. президент Трансваальской республики. Во время Англо-бургской войны ездил в Европу, где тщетно пытался добиться помощи со стороны держав против Англии. — Р. А.>

Вот поэтому-то я и не согласен с вами и не могу упрекать слепые орудия невежества и зла, а вижу причины в таких явлениях, в которых я сам могу содействовать уменьшению или увеличению зла. Содействовать братскому уравниванию имуществ, пользоваться в наименьшей мере теми преимуществами, которые выпали на мою долю; не участвовать ни с какой стороны в военном деле, разрушать тот гипноз, посредством которого люди, превращаясь в наёмных убийц, думают, что они делают благое дело, служа в военной службе;

и, главное, исповедовать разумное христианское учение, всеми силами стараясь разрушать тот жестокий обман ложного христианства, которым насильно воспитываются молодые поколения, — в этом трояком деле, мне кажется, заключается обязанность всякого человека, желающего послужить добру и справедливо возмущённого той ужасной войной, которая возмутила и вас» (72, 254 – 256).

В. Г. Чертков опубликовал ответ Толстого в 1900 г. в «Листках Свободного слова» (1900, № 11, стр. 10 – 13). В феврале 1900 г. выдержки из письма в обратном переводе на русский язык перепечатывались в русских газетах из немецкого журнала «Zukunft» (см. «Новое время» 1900, № 8619 от 25 февраля и «Киевское слово» 1900, № 4360 от 27 февраля). Отдельной брошюрой письмо Толстого к Волконскому было опубликовано за границей под названием «Кто виноват? (по поводу англо-бурской войны). Из письма Л. Толстого к Х». В России, в «Новом сборнике писем Л. Н. Толстого», изд. «Окто», М. 1912, № 112 напечатано без первого абзаца и с небольшим цензурным пропуском (о Вильгельме II и «императорстве»). Но издание это было арестовано и сожжено на костре по приговору Московской судебной палаты от 22 декабря 1911 г., сохранившись лишь в ста, очень редких в наши дни, экземплярах книги.

В ответ на это письмо кн. Г. М. Волконский прислал Толстому своё стихотворение, начинающееся фразой:

«Словно с неба огонь, нас твой голос сразил!
Он ударил по броне разврата,
Озарил нашу совесть и в ней обнажил
Всё, что подняло брата на брата» (Там же. С 258).

Ответ по существу был Волконским опубликован в журнале «Свободная мысль» 1900, 4, стр. 1. В номере первом этого журнала за 1900 г. стр. 2 – 3 было напечатано письмо Толстого к Волконскому под заглавием: «Кто виноват? (По поводу Трансваальской войны.) Из письма Л. Н. Толстого к Х». В своём ответе Волконский также не указал, кому письмо Толстого было адресовано:

«В прекрасном письме гр. Л. Н. Толстого, помещённом в № 1 Вашей газеты, выставлены те дурные инстинкты и ложные принципы, которыми обуславливаются войны. Но мне кажется, что бороться со злом должно не только воздействием на стороны нашего характера, но и обличая тех, которые укореняют в нас эти заблуждения, открыто заявляя себя защитниками тех трёх принципов, о которых говорит граф Толстой, и на которых зиждется современный строй

государственной жизни. Например, королева Виктория имела полную возможность не допустить этой войны, и всеильные английские биржевики не подняли бы народ против престарелой королевы. Чемберлен вёл дело к войне, попирая, международные обычаи и конвенции. Война эта принесла пользу лишь богатейшим классам Англии. Эта постыдная война терпит правительствами Европы благодаря английскому золоту, рассыпанному в южных её государствах, и благодаря тому, что царствующие дома находятся в родстве с фамилией Кобургов. Война эта обусловлена тем, что Англия и Германия, порешив на ней, не допустили Трансвааль к Гаагской конференции, на которой прусский полковник разъяснил человечеству евангелие германского императора, — то самое, что проповедуется в Китае. Английскому правительству приходится всё время лгать, только этою ценою удаётся ему вести за собою английский народ на это позорное дело. Не будь духовенство и пресса в руках правительства, а последнее — в руках биржевиков, то войны этой не было бы. Устроить грабёж под сенью Гаагской конференции, доказывает, сколько лжи в наши дни для обеспечения подобного разбоя; а это, в свою очередь, заставляет думать, что общественная совесть настороже; ещё несколько совместных усилий, и войны станут несуществимыми, ибо народы поймут, кто и куда их ведёт» *(Там же)*.

Князь и родственничек, как мы видим, предпочёл продолжить свои пени к «великим» политического мира — как бы «не замечая», что критика племянника относится и к нему: одному из тех странных аристократов России, кто, клонясь к идеям революционного и социалистического толка, имел счастье не дожить до времени попыток их реализации в России. В оправдание князю добавим, что впоследствии Волконский опубликовал по-французски свои статьи в защиту буров и против империализма, приложив к ним в качестве предисловия, это письмо к нему Льва Николаевича Толстого.

Приходили к Толстому в дни этой войны и менее искренние письма — например, из Германии, давнего геополитического противника Великобритании. Х. фон Хорн, издатель газеты «Deutsche Warte», в письме от 9 октября 1899 года, представлял своё издание, как якобы аполитичное, провозглашающее «высокие принципы чистой и благородной человечности», «разумные правила жизни, согласно с природой и её наставлениями» *(Цит. по Бабаев Э. Г. Иностранная почта Толстого. Указ. изд. С. 480)*. Просил Хорн, ни много ни мало, эксклюзивную статью на тему войны Англии с «германской народностью» (т.е. бурами) — для своего издания. Конечно же, не получил.

Наконец, в апреле 1900 г. Толстой получил телеграмму от агентства «American Cable News» с просьбой помочь бурам «заручиться добрыми услугами Америки». Он незамедлительно послал ответ: «Добрые услуги Америки могут состоять лишь в угрозах войны, а потому сожалею, что не могу исполнить вашего желания» (72, 347). Фразы «сходите, пожалуйста, нахуй» в ответе нет, но она вполне ощутима.

Критике итогов Конференции мира в Гааге и посвящена *Глава Пятая* статьи, которую бы мы назвали «Глупость, дерзость и обман, или Запаханнные всходы».

Соглашение держав и разоружение, даже частичное, невозможны без доверия их друг другу — которого нет. Пока же, образно выражаясь, правители, как малые дети, лишь меряются друг с другом, подглядывая посредством шпионов, военными писюльками — боясь, что у соседа уже длиннее — любая мирная конференция есть и пребудет, как заключает резко Лев Николаевич, «или глупость, или игрушка, или обман, или дерзость, или всё это вместе» (*Там же. С. 433 – 434*).

Даже не печально прославленное милитаризмом немецкое, а именно российское, организовавшее посиделки, правительство является, подчёркивает Толстой, *enfant terrible* всего мероприятия:

«Русское правительство так избаловано тем, что дома никто не возражает на все его явно лживые манифесты и рескрипты, что оно, без малейшего колебания разорив свой народ вооружениями, задушив Польшу, ограбив Туркестан, Китай и с особенным озлоблением душа Финляндию, — с полной уверенностью в том, что все поверят ему, предложило правительствам разоружаться». Участники же Конференции и не поверили, но исполнили свою часть общей лживой игры: «в продолжение нескольких месяцев, во время которых получали хорошее жалованье, хотя и посмеивались себе в рукав, все добросовестно притворялись, что они очень озабочены установлением мира между народами» (*Там же. С. 434*).

Отжитой человечеством, но суеверно удерживаемой, государственной форме сосуществования имманентна вооружённая сила. А этой силе — своё развитие, включая сюда рост оборонных расходов и гонку вооружений. Без этого государства и правительства теряют смысл своего существования: люди просвещённые и христиански верующие, то есть победившие страх перед соседями по планете и соблазны (главный из которых — ограбление чужого труда) вполне могли бы сосуществовать общинами, соединёнными интересами мирного хозяйствования, а главное — общей верой, то есть общим отношением к Богу, к Божьему миру и своей в нём жизни.

Вот почему для правительств опасно миролюбие обыкновенных людей. И они «искусственно нарушают мир, существующий между народами, и вызывают между ними вражду». И следует общее, весьма образное, заключение главы: «Если нужно было пахать для того, чтобы сеять, то пахота была разумное дело; но, очевидно, безумно и вредно пахать, когда посев взошёл. А это самое заставляют правительства делать свои народы, — разрушать то единение, которое существует и ничем бы не нарушалось, если бы не было правительств» (Там же. С. 435).

Эта глава — идейная “вершина” статьи. Далее последует — уход под уклон, та самая «слабость» разработки темы, которую почувствовал сам автор. Знатокам его публицистического наследия текст *Главы шестой* напомнит рассуждения писателя из его статьи «Единое на потребу (О государственной власти)», опубликованной в 1905 году, а *Глава Седьмая* — содержание ещё более поздней, 1909 года, статьи «Пора понять». Вероятнее всего, в 1900 году Толстой почувствовал, что ещё недостаточно обдумал сам то, что хотел сказать читателю в рамках этой нецензурной, но вечно актуальной тематики. А почувствовав это, и вовсе “смазал” концовку, повторив в *Главах восьмой и девятой*, не столь талантливо и убедительно, как в «Царстве Божием» и предшествующих статьях 1890-х гг., ту же проповедь «пробуждения от гипноза патриотизма», «уничтожения деспотизма правительств». То есть, по отношению к сфере идей — пробуждения сознания индивидов и общностей к христианскому пониманию жизни и, как следствие оно — ненасильственного сопротивления вождениям халтурных (не умеющих без драки) правительств в поставках для них «пушечного мяса».

Тем не менее, мимо Шестой и Седьмой главы мы не можем пройти — уже потому, что, благодаря заразной эмоциональности, в наши дни они стали «донорами» множества цитат в сообществах и на страницах интернета и постоянно обсуждаются. Завершая данную Главу нашей книги, ниже, в Прибавлениях, мы помещаем полные тексты указанных глав, а для сравнения — начало (первые две главы без эпиграфов) статьи «Единое на потребу», которая тоже напрямую связана с антивоенным протестом Л. Н. Толстого, но, по особенностям содержания, не может быть особенно представлена и анализируема в рамках данного нашего исследования.

ЗДЕСЬ КОНЕЦ ШЕСТОЙ ГЛАВЫ

Прибавление 1.

СТАТЬЯ «ПАТРИОТИЗМ И ПРАВИТЕЛЬСТВО». Глава 6

«6.

В самом деле, что такое в наше время правительства, без которых людям кажется невозможным существовать?

Если было время, когда правительства были необходимое и меньшее зло, чем то, которое происходило от незащитности против организованных соседей, то теперь правительства стали не нужное и гораздо большее зло, чем всё то, чем они пугают свои народы.

Правительства не только военные, но правительства вообще, могли бы быть, уже не говорю полезны, но безвредны, только в том случае, если бы они состояли из непогрешимых, святых людей, как это и предполагается у китайцев. Но ведь правительства по самой деятельности своей, состоящей в совершении насилий, всегда состоят из самых противоположных святости элементов, из самых дерзких, грубых и развращённых людей.

Всякое правительство поэтому, а тем более правительство, которому предоставлена военная власть, есть ужасное, самое опасное в мире учреждение. Правительство в самом широком смысле, включая в него и капиталистов и прессу, есть не что иное, как такая организация, при которой большая часть людей находится во власти стоящей над ними меньшей части; эта же меньшая часть подчиняется власти ещё меньшей части, а эта ещё меньшей и т. д., доходя, наконец, до нескольких людей или одного человека, которые посредством военного насилия получают власть над всеми остальными. Так что всё это учреждение подобно конусу, все части которого находятся в полной власти тех лиц или того одного лица, которые находятся на вершине его.

Вершину же этого конуса захватывают те люди или тот человек, который более хитёр, дерзок и бессовестен, чем другие, или случайный наследник тех, которые более дерзки и бессовестны.

Нынче это Борис Годунов, завтра Григорий Отрепьев, нынче распутная Екатерина, удушившая со своими любовниками мужа, завтра Пугачёв, послезавтра безумный Павел, Николай, Александр III.

Нынче Наполеон, завтра Бурбон или Орлеанский, Буланже или компания панамистов; нынче Гладстон, завтра Сольсбери, Чемберлен, Родс.

И таким-то правительствам предоставляется полная власть не только над имуществом, жизнью, но и над духовным и нравственным развитием, над воспитанием, религиозным руководством всех людей.

Устроят себе люди такую страшную машину власти, предоставляя захватывать эту власть кому попало (а все шансы за то, что захватит её самый нравственно дрянной человек), и рабски подчиняются и удивляются, что им дурно. Боятся мин, анархистов, а не боятся этого ужасного устройства, всякую минуту угрожающего им величайшими бедствиями.

Люди нашли, что для того, чтобы им защищаться от врагов, им полезно связать себя, как это делают защищающиеся черкесы. Но опасности нет никакой, и люди продолжают связывать себя.

Старательно свяжут себя так, чтобы один человек мог со всеми ими делать всё, что захочет; потом конец верёвки, связывающей их, бросят болтаться, предоставляя первому негодю или дураку захватить её и делать с ними всё, что ему вздумается.

Сделают так и потом удивляются, что им дурно.

Ведь что же, как не это самое, делают народы, подчиняясь учреждая и поддерживая организованное с военной властью правительство?» (90, 435 – 436).

<P. S.> Текстик этот полюбился и самому Толстому: уже в 1900-е, составляя свод мудрой мысли под названием «Круг чтения» он включил его в состав т. н. «Месячных чтений» за апрель (42, 400 – 402).

Прибавление 2.

ИЗ СТАТЬИ «ЕДИНОЕ НА ПОТРЕБУ (О государственной власти)» (1905)

«I.

Уже второй год продолжается на Дальнем Востоке война; На войне этой погибло уже несколько сот тысяч человек. Со стороны России вызвано и вызываются на действительную службу сотни тысяч человек, числящихся в запасе и живших в своих семьях и домах. Люди эти все с отчаянием и страхом или с напущенным, поддерживаемым водкой, молодечеством бросают семьи, садятся в вагоны и беспре-

кословно катятся туда, где, как они знают, в тяжёлых мучениях погибли десятки тысяч таких же, как они, свезённых туда в таких же вагонах людей. И навстречу им катятся тысячи изуродованных калек, поехавших туда молодыми, целыми, здоровыми.

Все эти люди с ужасом думают о том, что их ожидает, и всё-таки беспрекословно едут, стараясь уверить себя, что это так надо.

Что это такое? Зачем люди идут туда?

Что никто из этих людей не хочет делать того, что они делают, в этом не может быть никакого сомнения. Все эти люди не только не нуждаются в этой драке и не хотят участвовать в ней, но не могут даже себе объяснить, зачем они делают это. И не только они, те сотни, тысячи, миллионы людей, которые непосредственно и посредственно участвуют в этом деле, не могут объяснить себе, зачем всё это делается, но никто в мире не может объяснить этого, потому что разумного объяснения этого дела нет и не может быть *никакого*.

Положение всех людей, участвующих в этом деле и смотрящих на него, подобно тому, в котором были бы люди, из которых одни сидели бы в длинном караване вагонов, катящихся по рельсам под уклон с неудержимой быстротой прямо к разрушенному мосту над пропастью, а другие беспомощно смотрели бы на это.

Люди, миллионы людей, не имея к этому никакого ни желания, ни повода, истребляют друг друга и, сознавая безумие такого дела, не могут остановиться.

Говорят, что из Манджурии возят каждую неделю сотни сумасшедших. Но ведь туда ехали и едут не переставая сотни тысяч совершенно безумных людей, потому что человек в здравом уме не может ни под каким давлением идти на отвратительное ему самому и безумное и страшно опасное и губительное дело — убийство людей.

Что же это такое? Отчего это делается? Что или кто причиной этого?

Сказать, что причиной этого те солдаты, русские и японские, которые стараются как можно больше убить, искалечить неизвестных и ничего не сделавших им людей, никак нельзя, потому что солдаты эти не только не чувствовали и не чувствуют никакой враждебности друг против друга, но год назад не имели ни малейшего понятия о существовании друг друга, а когда сходятся теперь, то дружелюбно общаются друг с другом.

Сказать, что виной этого офицеры, генералы, ведущие солдат, или разные чиновники, военные и штатские, приготовители орудий, снарядов, амуниций, крепостей, — тоже нельзя. Все они, эти офицеры, генералы, чиновники поставлены своей нуждой, своими слабостями, всем своим прошедшим в такое положение, в каком нахо-

дится запряжённая лошадь, которую сзади стегают и которой правят вожжами, или в положении голодной собаки, которую заманивают в конуру и ошейник кусочком сала, вода ей перед носом.

Все эти офицеры, генералы, чиновники, дипломаты, все так с детства запутаны, заверчены, что они не могут не делать того маленького, нехорошего дела, из которого слагается то большое, ужасное дело, которое совершается теперь. И потому нельзя и их назвать причиной: они не виноваты.

Кто же причина и кто же виноват? Микадо? Николай II? Так сначала представляется потому, что этих, кажется, уж нельзя ни принудить, ни приманить чем бы то ни было. Представляется, что стоило только Николаю II не приказывать, не позволять делать всего того, что делалось в Манчжурии и в Корее, стоило ему согласиться на требования Японии, и войны бы не было; стоит ему теперь предложить условия мира, и война кончится. Всё как будто от него. Но это только так кажется. Про микадо я не знаю, но по тому, что знаю вообще о главах правительств, уверен, что он в тех же условиях, как и другие; про Николая же II я знаю, что это самый обыкновенный, стоящий ниже среднего уровня, грубо суеверный и непросвещённый человек, который поэтому никак не мог быть причиной тех огромных по своему объёму и последствиям событий, которые совершаются теперь на Дальнем Востоке.

Разве может быть то, чтобы деятельность миллионов людей была направлена противно их воле и интересам только потому, что этого хочет один человек, во всех отношениях стоящий ниже умственного и нравственного среднего уровня всех тех людей, которые гибнут как будто по его воле?

Почему же кажется, что причина войны Николай и микадо?

А это кажется потому же, почему кажется, что минированный город взорван тем, кто пустил искру, воспламенившую мину, которая подведена под него.

Не Николай и не микадо сделали и делают войну, а делает это то устройство людей, при котором микадо и Николай могут причинить несчастья миллионов людей. Виноваты не они, а та машина, при которой это возможно; следовательно, виноваты те, кто устраивает машину.

Что же это за машина и кто её устраивает?

II.

Машина эта давно известна миру и давно известны дела её. Это та самая машина, посредством которой в России властвовали, избивая

и мучая людей, то душевно больной Иоанн IV, то зверски жестокий, пьяный Пётр, ругающийся с своей пьяной компанией над всем, что свято людям, то ходившая по рукам безграмотная, распутная солдатка Екатерина первая, то немец Бирон, только потому, что он был любовник Анны Иоанновны, племянницы Петра, совершенно чуждой России и ничтожной женщины, то другая Анна, любовница другого немца, только потому, что некоторым людям выгодно было признать императором её сына, младенца Иоанна, того самого, которого потом держали в тюрьме и убили по распоряжению Екатерины II. Потом захватывает машину незамужняя развратная дочь Петра Елизавета и посылает армию воевать против пруссаков; умерла она — и выписанный ею немец, племянник, посаженный на её место, велит войскам воевать за пруссаков. Немца этого, своего мужа, убивает самого бессовестно-распутного поведения немка Екатерина II и начинает со своими любовниками управлять Россией, раздаривает им десятки тысяч русских крестьян и устраивает для них то греческий, то индийский проекты, ради которых гибнут жизни миллионов. Умирает она — и полуумный Павел распоряжается, как может распоряжаться сумасшедший, судьбами России и русских людей. Его убивают с согласия его родного сына. И этот отцеубийца царствует 25 лет, то дружа с Наполеоном, то воюя против него, то придумывая конституции для России, то отдавая презираемый им русский народ во власть ужасного Аракчеева. Потом царствует и распоряжается судьбами России грубый, необразованный, жестокий солдат Николай; потом неумный, недобрый, то либеральный, то деспотичный Александр II; потом совсем глупый, грубый и невежественный Александр III. Попал нынче по наследству малоумный гусарский офицер, и он устраивает со своими клеветами свой манчжуро-корейский проект, стоящий сотни тысяч жизней и миллиарды рублей.

Ведь это ужасно. Ужасно, главное, потому, что если и кончится эта безумная война, то завтра может новая фантазия с помощью окружающих его негодяев взбрести в слабую голову властвующего человека, и человек этот может завтра устроить новый африканский, американский, индийский проект, и начнут опять вытягивать последние силы из русских людей и погонят их убивать на другой край света.

И происходило и происходит это не в одной России, а везде, где существовало и существует правительство, т. е. такая организация, при которой малое меньшинство может заставлять большое большинство исполнять свою волю. Вся история европейских государств — история бешеных, всходящих один за другим на престол, глупых,

развратных людей, убивающих, разоряющих и, главное, развращающих свой народ.

Вступает в Англии на престол бессовестный, жестокий негодяй, развратник Генрих VIII и ради того, чтобы прогнать жену и жениться на своей б..., выдумывает своё мнимо христианское исповедание, заставляет весь народ принять эту его выдуманную веру, и миллионы людей истреблены в борьбе за и против этого выдуманного исповедания.

Завладевает машиной величайший лицемер и злодей Кромвель и казнит другого, такого же, как он, лицемера Карла I и безжалостно губит миллионы жизней и уничтожает ту самую свободу, за которую он будто бы боролся.

Владеют во Франции машиной разные Людовики и Карлы, и все их царствования такой же ряд злодейств: убийства, казни, избиения, разорения народа, бессмысленные войны. Казнят, наконец, одного из них, и тотчас же Мараты и Робеспьеры захватывают машину и творят ещё ужаснейшие преступления, губя не только людей, но великие истины, провозглашённые людьми того времени. Захватывает власть Наполеон и губит миллионы людей во всей Европе, То же происходит в Австрии, Италии, Пруссии. Такие же глупые, безнравственные властители и такие же жестокие, губительные для народа дела их, И всё это не только дела прошедшего, не то, что происходило когда-то и больше уже не повторится, — всё это происходит теперь, сейчас, везде, в самых мнимо свободных конституционных государствах и республиках, точно так же как и в деспотических, и в Англии, и в Турции, и в Германии, и в Абиссинии, и во Франции, и в России, и в Соединённых Штатах Америки, и в Марокко, и везде, где только действует машина, называемая правительством.

Везде, несмотря ни на какие конституции, без всякой внутренней надобности, только по разным сложным отношениям лиц, партий начинаются войны, как последние войны то французов, то англичан с Китаем, то англичан с бурами, то с Тибетом, то с Египтом, то Италии с Абиссинией, то России, Франции, Англии, Америки, Японии с Китаем, то теперь России с Японией.

Везде, где существует такое учреждение, посредством которого меньшинство может заставлять большинство делать всё то, что это меньшинство назовёт законом или правительственными распоряжениями, везде каждый человек большинства всегда в опасности того, что на него и его семью могут обрушиться самые ужасные бедствия — и не стихийные бедствия, независимые от воли людской, а

бедствия, происходящие от людей, тех нескольких людей, которым он добровольно отдался в рабство» (36, 166 – 171).

Прибавление 3.

СТАТЬЯ «ПАТРИОТИЗМ И ПРАВИТЕЛЬСТВО», Глава 7

«7.

Для избавления людей от тех страшных бедствий вооружений и войн, которые они терпят теперь и которые всё увеличиваются и увеличиваются, нужны не конгрессы, не конференции, не трактаты и судилища, а уничтожение того орудия насилия, которое называется правительствами и от которых происходят величайшие бедствия людей.

Для уничтожения правительств нужно только одно: нужно, чтобы люди поняли, что то чувство патриотизма, которое одно поддерживает это орудие насилия, есть чувство грубое, вредное, стыдное и дурное, а главное — безнравственное. Грубое чувство потому, что оно свойственно только людям, стоящим на самой низкой ступени нравственности, ожидающим от других народов тех самых насилий, которые они сами готовы нанести им; вредное чувство потому, что оно нарушает выгодные и радостные мирные отношения с другими народами и, главное, производит ту организацию правительств, при которых власть может получить и всегда получает худший; постыдное чувство потому, что оно обращает человека не только в раба, но в бойцового петуха, быка, гладиатора, который губит свои силы и жизнь для целей не своих, а своего правительства; чувство безнравственное потому, что, вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христианство, или хотя бы свободным человеком, руководящимся своим разумом, — всякий человек, под влиянием патриотизма, признаёт себя сыном своего отечества, рабом своего правительства и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести.

Стоит людям понять это, и само собой, без борьбы распадётся ужасное сцепление людей, называемое правительством, и вместе с ним то ужасное, бесполезное зло, причиняемое им народам.

И люди уже начинают понимать это. Вот что пишет, например, гражданин Северо-Американских Штатов:

"Единственно — чего мы просим все, мы, земледельцы, механики, купцы, фабриканты, учителя, — это права заниматься нашими собственными делами. Мы имеем свои дома, любим наших друзей, преданы нашим семьям и не вмешиваемся в дела наших соседей, у нас есть работа, и мы желаем работать.

Оставьте нас в покое!

Но политиканы не хотят оставить нас. Они облагают нас налогами, поедают наше имущество, переписывают нас, призывают нашу молодёжь к своим войнам.

Целые мириады живущих на счёт государства зависят от государства, содержатся им, чтобы облагать нас налогами; а для того, чтобы облагать с успехом, содержатся постоянные войска. Довод, что армия нужна для того, чтобы защищать страну, явный обман. Французское государство пугает народ, говоря, что немцы хотят напасть на него; русские боятся англичан; англичане боятся всех; а теперь в Америке нам говорят, что нужно увеличить флот, прибавить войска, потому что Европа может в каждый момент соединиться против нас. Это обман и неправда. Простой народ во Франции, Германии, Англии и Америке — против войны. Мы желаем только, чтобы нас оставили в покое. Люди, имеющие жён, родителей, детей, дома, — не имеют желаний уходить драться с кем бы то ни было. Мы миролюбивы и боимся войны, ненавидим её.

Мы хотим только не делать другим того, чего не хотели бы, чтобы нам делали.

Война есть непременно следствие существования вооружённых людей. Страна, содержащая большую постоянную армию, рано или поздно будет воевать. Человек, гордящийся своей силой в кулачном бою, когда-нибудь встретится с человеком, который считает себя лучшим бойцом, и они будут драться. Германия и Франция только ждут случая испытать друг против друга свои силы. Они дрались уже несколько раз и будут драться опять. Не то, чтобы их народ желал войны, но высший класс раздувает в них взаимную ненависть и заставляет людей думать, что они должны воевать, чтобы защищаться.

Людей, которые хотели бы следовать учению Христа, облагают налогами, оскорбляют, обманывают и затягивают в войны.

Христос учил смирению, кротости, прощению обид и тому, что убивать дурно. Писание учит людей не клясться, но "высший класс" заставляет нас клясться на писании, в которое не верит.

Как же нам освободиться от этих расточителей, которые не работают, но одеты в тонкое сукно с медными пуговицами и дорогими

украшениями, которые кормятся нашими трудами, для которых мы обрабатываем землю?

Сражаться с ними?

Но мы не признаём кровопролития, да, кроме того, у них оружие и деньги, и они выдержат дольше, чем мы.

Но кто составляет ту армию, которая будет воевать с нами?

Армию эту составляем мы же, наши обманутые соседи и братья, которых уверили, что они служат Богу, защищая свою страну от врагов. В действительности же наша страна не имеет врагов, кроме высшего класса, который взялся блюсти наши интересы, если только мы будем соглашаться платить налоги. Они высасывают наши средства и восстанавливают наших истинных братьев против нас для того, чтобы поработить и унижить нас.

Вы не можете послать телеграмму своей жене или посылки своему другу, или дать чек своему поставщику, пока не заплатите налог, взимаемый на содержание вооружённых людей которые могут быть употреблены на то, чтобы убить вас, и которые несомненно посадят вас в тюрьму, если вы не заплатите.

Единственное спасение в том, чтобы внушать людям, что убивать нехорошо, учить их тому, что весь закон и пророки в том, чтобы делать другим то, что хочешь, чтобы тебе делали. Молчаливо пренебрегайте этим высшим классом, отказываясь преклоняться перед их воинственным идолом. Перестаньте поддерживать проповедников, которые проповедают войну и выставляют патриотизм, как нечто важное.

Пусть они идут работать, как мы.

Мы верим в Христа, а они нет. Христос говорил то, что думал; они говорят то, чем они думают понравиться людям, имеющим власть — "высшему классу".

Мы не будем поступать на службу. Не будем стрелять по их приказанию. Мы не будем вооружаться штыками против доброго, кроткого народа. Мы не будем по внушению Сесиль Родса стрелять в пастухов и земледельцев, защищающих свои очаги. <Сесил Джон Родс (англ. Cecil John Rhodes, 1853 — 1902) — южноафриканский политик и предприниматель, деятель британского империализма, организатор английской колониальной экспансии в Южной Африке, по мнению некоторых «архитектор апартеида». — *Ред.*>

Ваш ложный крик: "волк, волк!" не испугает нас. Мы платим ваши налоги только потому, что принуждены делать это. Мы будем платить только до тех пор, пока принуждены это делать. Мы не будем

платить церковные налоги ханжам, ни десятой доли вашей лицемерной благотворительности, и мы будем при всяком случае высказывать своё мнение.

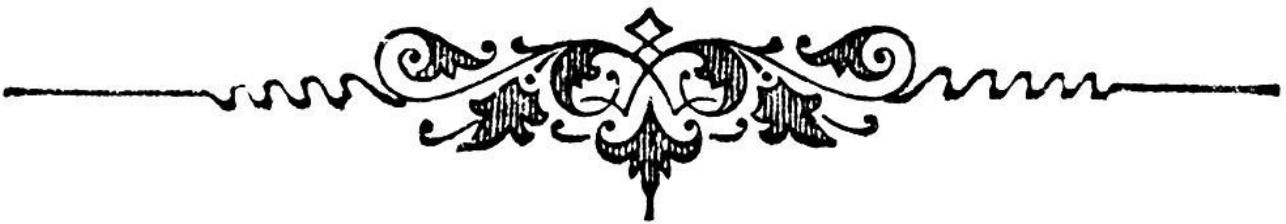
Мы будем воспитывать людей.

И всё время наше молчаливое влияние будет распространяться; и даже люди, уже набранные в солдаты, будут колебаться и отказываться сражаться. Мы будем внушать мысль что христианская жизнь в мире и благоволении лучше, чем жизнь борьбы, кровопролития и войны.

"Мир на земле!" — может наступить только тогда, когда люди отделяются от войск и будут желать делать другим то что хотят, чтобы им делали".

Так пишет гражданин Северо-Американских Штатов, и с разных сторон, в разных формах раздаются такие же голоса» (90, 436 – 440).

<Далее, до завершения *Главы седьмой* статьи «Патриотизм и правительство», Толстой цитирует письмо Клейнгоппена, которое в полном виде мы уже привели выше. – Р. А.>



Глава Седьмая. ДУХОБОРЫ И РОМАН «ВОСКРЕСЕНИЕ»

7. 1. АНТИМИЛИТАРИЗМ А. Н. ТОЛСТОГО В ЕГО ВЛИЯНИИ НА ИДЕИ И СУДЬБЫ ДУХОБОРОВ

В научной литературе по русским сектантам, именно духоборам, можно встретить точку зрения, что духоборческое движение 1890-х годов, кульминацией которого стало сожжение оружия в 1895 г., не было от начала связано с толстовцами и христианским проповедничеством Льва Николаевича. Это мнение основано на том, что новое учение духоборцев, получивших название «постники», уже полностью сложилось к концу 1894 г., а тогда, в декабре 1894-го, состоялись лишь самые первые контакты лидеров движения с А. Н. Толстым и его последователями; и лишь после сожжения оружия, когда Толстой и его друзья начали оказывать духоборцам, подвергшимся репрессиям, моральную и материальную помощь, между ними установились тесные взаимоотношения.

Существовала, правда, и другая точка зрения, в соответствии с которой, напротив, в основе движения, например, духоборцев «постников» (одна из группировок) лежали *исключительно* идеи Толстого, привнесённые в их среду толстовцами. Эту концепцию исследователи никогда не рассматривали серьёзно, так как она принадлежала чиновникам Синода и Департамента полиции.

Истина, как водится — где-то между этими крайними мнениями. За более чем сто лет никто не попытался разобраться в тех событиях и оценить степень влияния толстовства на духоборческое движение. Опубликованные эпистолярные, мемуарные источники, дневники и архивные материалы свидетельствуют, однако, о том, что толстовцы сыграли в духоборческом движении самую непосредственную роль. Они использовали раскол в секте после смерти бездетной руководительницы духоборцев Лукерьи Калмыковой и сумели обратить борьбу за власть и деньги между Петром Веригиным и его сторонниками, с одной стороны, и жителями села Горелое — с другой, в религиозное движение толстовского толка.

Первым на духоборцев обратил внимание уже не раз встречавшийся читателю на страницах этой книги князь-толстовец Дмитрий

Александрович Хилков. Ещё будучи совсем молодым человеком, во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., князь Хилков служил в Закавказье, вскоре после войны побывал в духоборческом селении Троицкое. Разговор с хозяином дома, в котором князь ночевал, о вере, об иконах, об образе Божиим в человеке, заставил Хилкова взяться за Евангелие. Учение духоборцев очень его заинтересовало, и позже он писал: «Зная Евангелие, я видел, что они ближе к нему, чем православные» (*Малов П. Духоборцы, их история, жизнь и борьба. Канада, 1948. Кн. 1. С. 571*). После встречи с духоборцами Д. А. Хилков начал изучать литературу, касавшуюся этой секты, и в ноябре 1880 г. закончил рукопись под названием «Учение духовных христиан», в которой изложил своё представление о духоборческом учении.

Стоит здесь отметить, что «духовными христианами» называли не только духоборцев, но и молокан. Название именно этой группе русских — духоборы — придумал в 1785 г. архиепископ Екатеринославский Амвросий за их борьбу против Православной Церкви, в которой Дух Святой. Духоборам, однако, это название понравилось — они переделали его в "духоборцы", увидев здесь любимую ими идею борьбы с греховностью не церковными таинствами, а силой собственного духа. Духоборцы православно учили о Троице, воплощении Господа Иисуса Христа и Святом Духе, признавали второе пришествие и воскресение мёртвых. Однако, они полностью отрицали всё церковное — таинства, священные одежды, иконы, мощи. По учению духоборцев, официальная православная Церковь с её обрядностью, пышностью богослужений наносит вред вере, является тленной, а не вечной; "священники — выдумка людей, чтобы легче прожить". Крещение духоборцы осуществляли не погружением в воду, а обычной крестильной формулой, которую мог произнести любой духоборец. К Писанию относились с почтением, но непогрешимость его отвергали. Эта особая этноконфессиональная группа русских часто квалифицируется как конфессия христианского направления.

Духоборов традиционно считали рационалистической сектой, и это было большим заблуждением, в которое впали и толстовцы. Глубинной причиной может быть то, что сам Лев Николаевич за много лет до контакта с духоборами, живя в Самарской губернии, имел ещё в 1860-е годы возможность контакта с действительными рационалистами — сектой молокан. Но если в молоканстве религиозный рационализм, зревший в течение нескольких веков в России, остался в прежнем, "чистом" виде, где Библия и разум лежали и основе религии, то у духоборов русский религиозный рационализм смешался с

мистицизмом некоторых западных сект, таких как квакеры, анабаптисты, меннониты и др. От них духоборы заимствовали идею о внутреннем совершенстве Духа и веру во внутреннее просвещение от Бога-слова, обитающего в душе каждого человека. В то же время учение духоборов в основных своих принципах сохранило религиозный рационализм, существовавший и широко распространившийся среди русского крестьянства в XVIII веке, который в рассматриваемый нами период являлся основой вероисповедания молокан.

По учению духоборов, Бог един в трёх лицах: Бог-Отец — память. Бог-Сын — разум, Святой Дух — воля. Духоборы никогда не считали, как толстовцы, Христа «простым смертным», избранным Богом для провозглашения своих заветов человечеству. Христос в понимании духоборцев — это Бог и Сын Божий, после крестной смерти человеческой плоти пребывающий в плоти их вождей. В своих суждениях об Иисусе Христе, об оправдании верою, о внутреннем слове, о будущем воскресении и в правилах нравственности, духоборы повторяли квакеров. Как и квакеры, духоборы не давали присяги властям, отрицали все формы насилия, в том числе и воинскую службу, не снимали головных уборов ни перед кем, были честны в труде и в быту и т.д. Признавая за грех убийство человека, духоборы в то же время имели оружие и, окружённые кочевыми племенами, грабившими их, по необходимости пользовались этим оружием. Духоборы до влияния на них толстовцев никогда не были и анархистами: в том смысле, что они безоговорочно признавали власть своего вождя. Они верили в собственную избранность, и секта была совершенно закрытой для посторонних людей.

Но Хилков, сам сектант-штундист, при этом человек умнейший, располагающий к себе и просвещённый элитарным образованием, сумел найти «ключик» ко многим из разумов и сердец этих тёмных общинников. Труд Д. А. Хилкова представлял собой упрощённые извлечения из литературы о секте, недоступной простым её членам, «сдобренные» ссылками на Писание, дабы тем самым доказать истинность духоборческого учения. При этом Хилков пошёл тем же путём, каким шёл Л. Н. Толстой в своей реконструкции по каноническим евангелиям чистого, первоначального учения Христа: духоборческие догматы были очищены от неясностей, усилены и дополнены тем, что сектанты на своём пути «обронили» значимого из учения Христа. Например: «Всё, что не сотворено людьми, не может принадлежать отдельным людям: земля, вода, деревья, трава, хлеб, — принадлежат Богу, то есть всему роду человеческому, в котором он пребывает» (Хилков Д. А. *Учение духовных христиан.* – Цит. по: Иникова С.А. *Роль «толстовства» и толстовцев в движении кавказских*

духоборцев 1890-х гг. // Толстовский сборник – 2000. Тула, 2000. В 2-х ч. Ч. II. С. 51). До контактов с Хилковым, одним из радикальнейших толстовцев, ничего подобного у духоборцев не было ни в учении, ни в жизни. Хилков там же пишет, что платить подати — значит способствовать усилению власти, которая всегда враждебна учению Христа. Духоборцы, стоит заметить, были не далеки от такого отношения: они считали себя не подданными государства, а *данниками*, плательщиками, откупающимися от вековечного разбойничьего гнезда, сиречь государства Российского, и старались свести контакты с властями до минимума. Но для этого они всегда исправно отдавали «кесарю кесарево».

Несомненной заслугой князя-толстовца является возвращение миру в книге об учении духоборцев, во всей её силе и значении, концепции о духовном ненасилии, христовом и евангельском «непротивлении злу»: «Духовный христианин не противится злему до тех пор, пока тот не задевает его человеческого достоинства, то есть Бога, в нём пребывающего...», но если такое случится, он должен умереть, но не покориться, так как нельзя слушать людей больше, чем Бога (*Там же. С. 51 – 52*).

«Краткое исповедание духовных христиан» было напечатано в 1886 году в машинописном самиздатовском сборнике «Всходы», распространявшемся среди окружения и сподвижников Л. Н. Толстого. Об этом сборнике мы находим упоминание в письме Толстого к П. И. Бирюкову, написанном в июне 1887 г. (64, 56). В конце 1888 г. это сочинение Хилкова взялся править сам Лев Николаевич — и, вероятно, затруднился сектантским ходом мысли, так как признавался в письме Д. А. Хилкову от 10 ноября, что его «записку», катехизис духовных христиан, ему «надо больше обдумать» (*Там же. С. 193*).

Так люди в России передового, христианского религиозного понимания жизни духоборческую мистическую, обособленную секту повели к новой жизни — в духовных подвигах, страданиях и победах.

В эти годы сами толстовцы чувствовали необходимость письменного изложения и публичной манифестации своей веры. Своё исповедание Христа они стремились изложить как можно короче и доступнее для понимания других. Сохранились «Краткое исповедание», написанное П. И. Бирюковым, и «Исповедание веры» Д. А. Хилкова. Обстоятельное ознакомление с духоборчеством, а также учениями других сект, прежде всего штундизмом, к которому очень благосклонно относился Л. Н. Толстой, имело совершенно определённые и далеко идущие цели. Шла работа по выработке некоего универсального христианского исповедания, которое предназначалось для распространения среди сектантов, для того чтобы объединить и этих

«духовных христиан» во «всемирном, божеском» религиозном понимании жизни, проповеданном Л. Н. Толстым.

Здесь не будет излишним обозначить позицию самого Л. Н. Толстого — симпатизировавшего сектантам в 1880-е годы больше, чем в 1860-70-е, и даже, судя уже по некоторым суждениям трактата «В чём моя вера?», считавшего сектантство единственным «живым» духовным движением в христианстве и противопоставлявшего его в этом смысле догматическому учению церкви, но долгое время не желавшего быть прозелитом «иноверия» среди любых сектантов.

Довольно известная запись в Дневнике ещё молодого Л. Н. Толстого от 4 марта 1855 г., доносит до нас его раннее суждение о необходимости воссоздания христианства во всех его первоначальных силе и значении, способных служить основанием для единения людей в одном религиозном понимании жизни: «религии Христа, но очищенной от веры и таинственности», т.е. от мистики и обрядоверческого идолопоклонства, свойственного и сектантам — от всего того, что, напротив, всегда разделяло людей.

Приводим отрывок по тексту тома 47 Полного собрания сочинений Толстого:

«В эти дни я два раза по несколько часов писал свой проэкт о перестройке армии. Подвигается туго, но я не оставляю этой мысли. Нынче я причащался.

Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле.

Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение. Действовать *сознательно* к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечёт меня» (47, 37 – 38).

В первую очередь обратим внимание на ближайший *событийный контекст*, в котором молодой Лев доверяет страницам Дневника свой замысел и который отразился в них: смерть Николая I и связанные с нею надежды на «великие перемены» для России, на необходимую модернизацию:

«1 марта. [...] 18 февраля скончался Государь и нынче мы принимали присягу новому Императору. Великие перемены ожидают Россию.

Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России» (Там же. С. 37).

И Толстой берётся за посильное для него поприще: готовит свой проект реформы в армии, о котором достаточно подробно шла у нас речь ещё в Первой главе. Но не менее насущным для России кажется ему и непосильное *пока* дело: участие в религиозном преображении любимого отечества.

Если устройство армии архаично и вредно для государственных задач, то... самым архаичным и вредным для сознания и душ соотечественников молодой человек справедливо находит *церковное* учреждение: не только на уровне его внешнего строения и недопустимой для христиан тесной связи с государством, но и в фундаментальном, в суеверном лжеучении и языческом колдовстве «таинств» и идолопоклонничества.

Целесообразно ли для борьбы с этим буквально «основывать новую религию» — т. е., на деле, создавать *ещё одну* секту, которая тупо-натупо будет конкурировать с другими такими же сектами и влачить маргинальное существование рядом с презирающими или ненавидящими её верунами доминирующей гиперсекты «православия»? Никак. И Толстой предполагает совершенно иной, действенный путь: борьбы *изнутри*. Не учреждения с учреждением, а отчасти уже осознанной *лжи* отжитого религиозного понимания жизни с некоей истиной Самого Бога, пока, в 1855-м году, неизвестной ему.

А теперь — прочитаем ещё раз:

«Вчера разговор о божестве и вере навёл меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — *основание новой религии*, соответствующей развитию человечества, *религии Христа*, но *очищенной* от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле" <Запись от 4 марта 1855 г. Выделения наши. — Р. А.>.

По сей день идеологически ангажированные (чаще всего — церковно-верующие) исследователи зачастую сразу "перебрасывают" от сих строк читателя к Толстому конца 1870-х – 1880-х гг., времён «Исповеди», почти навязывая кажущийся истинным вывод о том, что Толстой в последние десятилетия жизни просто-напросто осуществил замысел молодости...

Так ли это?

Вчитаемся, в *чём* замысел. Это не так-то просто понять: Дневник Льва Николаевича, как и всякий источник личного происхождения

и (первоначально) для личного пользования не подвергался специальному редактированию: Толстой нередко излагал свои мысли в Дневнике несколько "неряшливо", "для одного себя", не подбирая слова, а по принципу: "я-то сам понимаю, что хочу этим сказать".

Итак:

1. Молодой Толстой пришёл к идее «основания новой религии».
2. Религия, которую Толстой полагает «основать» — есть «религия Христа», т.е. христианство, но —
3. "Религия... *очищенная от веры* (?! – Р. А.) и таинственности. Тут стоит вдуматься и попытаться не впасть в недоумение в связи с появляющимися вопросами:
 - 1) Как можно вновь *основать* уже основанную Христом религию?
 - и 2) Как религия (синоним: вера) может быть "очищена от веры"? Мы берёмся утверждать, что Толстой 1870-х — 1900-х гг. *этим* дерзким и непродуктивным путём не пошёл. Изучив евангелия и православное богословие, прочитав множество книг по религиоведению и библеистике, он из этих замыслов молодости выполнил только одно: именно *очищение* учения Христа «от веры и таинственности». Вера (религия) в этой записи Дневника — окказиональный синоним молодого Льва для обозначения наносного в христианстве, суеверного, ложного... Толстой не «выдумывал», а искал живую веру и нашёл: частично, как сумел, высвободил христианство от того, что уже в древности превратило преданное Христом миру Божье откровение и пример земной жизни разумного человека, данный им, в фундамент для мистического учения и колдовского обрядоверия назвавших себя христианскими церквей, для прикрытия и освящения их многовекового экономического и идеологического господства. **Никакого "толстовства" Толстой не «основывал»**, оставшись на христианском идейном "фундаменте", став свободным от веры в отжившие своё суеверия церкви, но всё-таки — христианином. *Свободным* христианином, могущим быть членом лишь одной, истинно Христовой, церкви — если бы такая исторически где-нибудь существовала.

К сожалению, у столь характерных, независимых духовных «попутчиков» Толстого-христианина, как князь Дмитрий Александрович Хилков, было иное отношение к Слову Бога и Христа. Когда в 1880-е годы в землях Украины широкое распространение получил штундизм, толстовцы обратили на него особенно пристальное внимание, и в эти же годы «опростившийся», по образцу Л. Н. Толстого, кн. Д. А. Хилков начал успешную пропаганду толстовства среди крестьян

Павловки Сумского уезда Харьковской губернии. Его друзьям — П. И. Бирюкову, А. М. Бодянскому и И. М. Трегубову — казалось, что вот именно сейчас настало время для пропаганды учения Толстого, то есть возвращения всех открытых к духовному поиску христиан к первоначальной вере Христа, во всех её силах и значении, могущей стать в их руках бескровным оружием.

Активную позицию в вопросе пропаганды толстовства в народе с конца 1880-х годов занял Иван Михайлович Трегубов. После прочтения присланного Бирюковым катехизиса херсонских штундистов Трегубов писал в черновике ответного письма от 28 мая 1888 г.: «Но что делать... если у нас нет более верного средства изменить жизнь к лучшему, как только чрез обновление старой веры на новую, лучшую? Что делать, если главная наша сила — народ — не принимает нашего учения, не основанного на религии?» (*Цит. по: Иникова С.А. Указ. соч. С. 53*). Обратим внимание на ту же, что и в знаменитой записи в Дневнике 1855 г., семантику лексемы «религия»: обрядность, массовые суеверия и под.

Для автора письма было совершенно ясно, что «необходимо уничтожить в народе старое мировоззрение», то есть отжитое, всё более вредное и опасное непонимание язычников и евреев, транслировавшееся в умы поколений церковью российского православия. Сектанты, «особенно те из них, которые отличаются необыкновенным самоотвержением, доходящим до распятия себя на кресте», по мнению автора письма, были наиболее готовы к восприятию этих идей (*Там же*).

В письме к Д. А. Хилкову от 27 февраля 1889 г. И. М. Трегубов подчеркнул свою солидарность с позицией Хилкова, который, по его мнению, на первый план выдвинул политико-социальную сторону толстовского учения, то есть «разрушение церкви и государства». Трегубов считал «толстовщину», как он сам называл учение Л. Н. Толстого, тем рычагом, которым можно «переворотить жизнь». «Но для того, чтобы толстовщина оказалась таким рычагом, необходимо распространить её между народом: без народа нечего и думать о каком-нибудь перевороте. Распространение же толстовских идей в народе с успехом идёт только в рационалистических сектах: у духоборцев, молокан, особенно у штундистов... [Нельзя] забывать, что наши рационалистические секты (молоканство, духоборчество и др.) стремятся очистить свои зёрна от половы. И не вина простого люда, если ему до сих пор не удалось завершить эту очистку. Помочь совершить эту очистку должна интеллигенция. В лице Льва Николаевича и штунды интеллигентной. Эта помощь уже оказывается нашему

народу, но этого мало, нужно больше сил. Давайте же помогать разобратся нашему народу в его стремлениях к истине. А для этого нам остаётся только распространять идеи Л. Н[иколаевича] и штунду. К восприятию идей Л. Н[иколаевича] и штунды наши рационалистические секты все склонны» *(Там же. С. 54)*.

Обращает внимание утверждение Трегубова о духоборческой секте как одной из тех сект, среди которых уже идёт успешное распространение христианского слова Льва Николаевича, и которая уже тогда, в 1889-м, начала «очищать зёрна от половы».

Вовлечению в прозелитство толстовцев самого Л. Н. Толстого возросло с февраля 1891 года, когда среди пропагандистов появился первый «мученик святого дела». Предсказуемо им стал фанатик «новой штунды» Д. А. Хилков, который, за пропаганду среди крестьян Павловки приведённых нами выше «толстовских» идей, был приговорён к административной высылке в Закавказье.

Весьма не случайно местом своего поселения несгибаемый князь-толстовец выбрал духоборческое село Башкичет Тифлисской губернии, где и прожил с февраля 1892 г. до апреля 1894 г. Через месяц после своего приезда в Башкичет, познакомившись с населением, несколько разочарованный, Д. А. Хилков делился с Л. Н. Толстым впечатлениями: «Духоборы очень для меня поучительны. Они показывают, что от духобора не всегда рождается духобор, что дух дышит, где хочет, и что он не составляет исключительную собственность какой-либо отдельной секты или веры. А потому ошибочно говорить, что в Башкичете живут духоборцы, только потому, что башкичетские жители носят картузы с большими козырьками и синие поддёвки. По жизни духоборы не лучше и не хуже православных. Только такой забитости нет, как в русских сёлах... Есть и пьяницы, и воры. Друг у друга крадут. Кабак постоянно полон народа. Начальства боятся как огня и Божие охотно отдают кесарю... Учение их изложено в псалмах и в форме вопросов и ответов. Всё это они знают наизусть, но смысла не понимают...» *(Там же. С. 54 – 55)*.

Хилков достаточно объективно оценивал и самих духоборцев, и суть раскола, произошедшего в секте, тем не менее он сразу же взялся за «очищение зёрен от половы». Он хотел возбудить в сектантах духовное алкание ко Христу, направить помыслы их на христианскую стезю. Умному, обаятельному, неизменно доброжелательному Дмитрию Александровичу оказалось нетрудно расположить к себе духоборцев, которые называли его «милым человеком Дмитрием». Им явно льстило, что человек высшего ранга — образованный, да ещё и князь, — охотно, на равных беседовал с ними, интересовался их жизнью и «раздавал книги для прочтения» *(Там же. С. 55)*.

Книгами, вернее небольшими брошюрками, изданными издательством «Посредник» для народа, Дмитрия Александровича Хилкова снабжал Владимир Григорьевич Чертков. Известно, что и Толстой отправлял Хилкову «кое-какие книжечки» (66, 282). Департамент полиции отмечал хождение среди духоборцев сочинений Сократа, Диогена и Эпиктета. Учения известных античных философов издавались для народа в виде упрощённом и переработанном так, чтобы быть ясными и близкими для свободно-христианского сознания.

Десять лет спустя, говоря о значении в обновлении сознания духоборов «Посредника», Павел Иванович Бирюков вспоминал:

«Взгляды Л. Н-ча начали проникать в народ. Путей проникновения этих взглядов было, главным образом, два: первый — это личная пропаганда жизнью единомышленников Л. Н-ча, огромное большинство которых жило в деревне, в живом общении с народом; другой путь были издания "Посредника", руководимого Л. Н-чем. Книжки "Посредника", несмотря на строгость тогдашней цензуры, давали столько живого материала уму и сердцу русского крестьянина, и притом в столь доступной форме, что там, где они появлялись, начиналось и сознательное, критическое отношение к существующему строю, и попытки его изменения, всегда начиная с самого себя.

И вот в начале 90-х годов книжечки "Посредника" проникают на Кавказ, в среду духоборческой секты. Семена попадают на добрую почву и приносят плод. Духоборческая секта, сама по себе живая, в лице своих лучших представителей пользуется книжками "Посредника" для обновления своего мировоззрения, и на Кавказе начинается новое религиозное движение среди духоборов» (Бирюков П.И. *Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х тт. М., 1922. Том 3. С. 241*).

Бирюков признал также, что и Д. А. Хилков «своим личным влиянием» способствовал этому движению (Там же. С. 257).

В первый год пребывания в ссылке Хилков составляет из 70 вопросов и ответов «Псалом духоборческий»: такую же адаптацию свободно-христианских, евангельских убеждений Л. Н. Толстого к сектантскому восприятию, как и катехизическое «Учение духовных христиан». Позже количество вопросов и ответов было доведено до 153, и псалом был назван «Исповедная песнь христианская, духоборо-молоканская».

Именно Хилков включил в псалом вопрос об отношении к войне и убийству. После введения на Кавказе в 1887 – 1890 гг. воинской повинности к исполнению воинских обязанностей были призваны даже духоборы, ранее имевшие возможность выбрать службу, не

требующую использования оружия. Памятуя, что они христиане, духоборцы всё-таки покорно шли на службу в войске и не помышляли об отказе от воинской повинности. Впрочем, даже отправившись в воинские части, они массово отказывались касаться оружия, а тем более применять его. Подобное долго продолжаться не могло и постепенно большинство духоборов стихийно отходит от «соглашательской» политики.

Во зло их плотской, греховной жизни, но на благо душам, искренний человек, хотя и фанатик, Дмитрий Хилков стал, вероятно, первым, кто просветил их. «Война и убийство, и всякое человеконенавистничество есть самое невозможное дело для слуги Божьего», – говорилось в состряпанном им псалме (*Цит. по: Иникова С.А. Указ. соч. С. 55*). Дмитрию Александровичу очень хотелось привлечь внимание духоборцев к этой проблеме.

Напомним читателю, что в 1891 г. по религиозным мотивам от оружия отказались рядовые Дрожжин и Изюмченко. Евдоким Дрожжин был благословлён на «отказ до конца» и на мученичество лично Д. А. Хилковым с единоверцами, и в 1894 году замучан тётёй родиной до смерти. А уже в начале 1892 г. было несколько отказов от оружия среди призванных в армию крестьян Павловки. С радостью восприняв весть о павловцах, Хилков сетовал: «Невольно сравниваю их с духоборами, молоканами, баптистами и хлыстами. Сравнение не говорит в пользу всех этих сект. И я думаю, что главное, что мешает людям, числящимся в этих сектах, проявлять силу духа, – это то, что они обособлены. Как бы стадо, вечно смотрящее либо на одного вожака, либо друг на друга. Это очень связывает дух» (*Хилков Д.А. Письмо Л.Н. Толстому. 12 июня 1892 г. – Цит. по: Иникова С.А. Указ. соч. С. 56*).

Вслед за Хилковым в 1893 – 1894 гг., через ссылку или добровольно, на Кавказ прибыло немало толстовцев. В Грузии возникло несколько толстовских колоний. Последователи Толстого воспринимали духоборцев как носителей истинного христианства в народной среде, которые временно, в силу обстоятельств, отошли от своих идеалов. Однако не было осознания того, что, как и церковные лжехристиане, например, православные, духоборы уже догматизировали своё учение и закоснели в своём образе жизни, потворствующем самым разнообразным грехам и порокам: пользованию деньгами, правительством, повиновению законам государства предпочтительнее Божьих... Понимание неустранимой порочности этой долго идеализировавшейся льявятии Льва Николаевича секты пришло позже, уже после переселения духоборцев-постников в Канаду, и принесло толстовцам разочарование и крушение иллюзий.

Между тем, в глазах европейских сектантов духоборам уже отведено было место — совершенно независимое от проповедания Льва Николаевича и толстовцев. Близость идейного «фундамента» духоборческой доктрины к квакерам предопределила внимание к ним самих квакеров, в частности «общества друзей» в Англии, которое в конце 1892 г., когда установился санный путь, поручило двоим из своих видных членов, Джону Беллоузу (John Bellows, 1831 – 1902) и Джозефу Ниву (Joseph Neave) пробраться через Петербург и Москву на Кавказ и в южную Россию с целью самоличного ознакомления с положением проживающих там сектантов, молокан, духоборов и штундистов и оказания им помощи. Помимо сектантских групп, Беллоуз и Нив намерены были посетить и Хилкова — который до знакомства с учением Толстого тоже был «чистым» штундистом. С ними Толстой отправил драгоценное письмо к духовному собрату во Христе, в котором наконец мог высказаться, не опасаясь утраты письма по пути к адресату или иных последствий от навязчивой перлюстрации корреспонденции в Российской Империи. В письме этом, датированном около 8 декабря, были и такие строки:

«...Я гонений не боюсь. И если бы работал по случаю гонений, то работал бы прежде всего над тем, чтобы избавить гонителей от их зла. Они, а не гонимые, жалки.

Просил я дочь собрать кое-какие книжечки, чтобы послать вам. Надеюсь, что она успеет.

Дай Бог вам идти всё той же дорогой дальше и дальше» (66, 282).

Это письмо — достаточное свидетельство того, что Толстой, несмотря на собственную занятость работой на голоде, несмотря и на всегдашнюю, удерживаемую им, установку неприятия прозелитизма, был в зиму 1892 – 1893 гг. в курсе идеологической «работы», предпринятой группой толстовцев над сектантски закоснелыми, но при том, как всё не очень умное, и весьма податливыми из этого состояния мозгами духоборов, помогал им в этой деятельности присылкой нелегальной литературы — и, что особенно для нас важно, готов был нести моральную ответственность за результаты этой, безусловно одобренной им, деятельности.

В первой же половине 1890-х духоборцы действительно оказались очень удобной почвой для пропаганды возвращённого миру Л. Н. Толстым первоначального учения Христа — в силу того особого внутреннего состояния в духоборческом обществе, которое проявилось после раскола.

Расцвет духоборческих общин в Грузии во второй половине XIX столетия связан с именем *Лукерьи Васильевны Калмыковой* (1841 – 1886), управлявшей общинами 22 года, с 1864 г. Лукерья при жизни пользовалась безусловным авторитетом, сколотив завидное состояние на торговле лошадьми. Лошади из хозяйств духоборцев были породистыми и рабочими, славились на всё Закавказье и обусловили извозный промысел, которым занимались духоборцы, перевозя товары фургонами в Пруссию, Турцию, Индию и по Закавказью. На духоборов была возложена обязанность содержать за плату почту по всему Закавказью. При этом духоборы были недовольны этой повинностью, как малоодоходной, и добились её отмены (*Беженцева А. Страна Духобория. Тбилиси, 2007. С. 51*).

Помимо сакрального авторитета, «богородица» Лукерья сочетала сильную волю с огромным личным обаянием (*Там же*). В общине при Лукерье практиковались телесные наказания: битьё розгами и заключение в «холодную» с применением пыток (*Там же. С. 56*). А пьяниц, например, для вразумления, заставляли голыми ходить по деревне. Эта замечательная традиция духовного вытрезвления впоследствии «переехала» с духоборами в Канаду (*см. об этом: Родионов А. А. СССР – Канада. Записки последнего советского посла. М., 2007*). Вместе с тем Калмыкова во время войны с Турцией 1877 – 1878 гг. смогла договориться с вел. кн. Михаилом Николаевичем (1832 – 1909), чтобы духоборы, подлежащие призыву в армию, не участвовали в военных действиях, а исполняли т. н. «нестроевые» работы: к примеру, в роли перевозчиков провианта солдатам (*Там же*). Духоборческая община смогла выставить для этого дела около 4 тысяч фургонов, и наладили регулярное снабжение армии фуражом, продовольствием и оружием по трудной просёлочной горной дороге. До 150 фургончиков погибло в пути при перевозке грузов. Кроме того, общины обеспечивали медицинскую поддержку, создавая в избах лазареты (*Беженцева А. Страна Духобория. Тбилиси, 2007. С. 51*).

«Лушечка Блаженная», как звали Лукерью суеверные сектанты, запомнилась им, в числе прочего, пророчеством о будущем расколе в среде движения и о вынужденном отъезде из России:

«Милые мои! Духоборцам предстоит великая борьба — освободиться от пролития крови человеческой. Как желала бы я, чтобы духоборцы были все заедино, но может случиться, что духоборцы расколются между собой, и это будет огромное несчастье. Духоборцам суждено будет покинуть нашу родину и побывать в далёких странах для испытания их веры и для прославления Господа, но говорю вам, где бы духоборцы ни были, где бы они ни ходили, они должны возвра-

титься на это место. Это место им обетованное, и когда возвратятся — духоборцы найдут себе покой и утешение» (Родионов А. А. СССР – Канада. Записки последнего советского посла. Указ. изд.).



В 1886 году Лукерья преставилась ко Господу — оставив миру свои не только добрые дела, но и грехи. Среди последних был т. н. «сиротский дом» в духоборческом селе Гореловка Тифлисской губернии. Первоначально это, действительно, был межобщинный приют для странников, стариков и детей-сирот, но со временем матушка «богородица» не утерпела, превратив его в латифундию своего имени. У «сиротского дома» появились свои земли, свои стада, своё хозяйство, которое, однако, безвозмездно обрабатывалось духоборцами. Одновременно увеличились и обложения, являвшиеся по существу своеобразным налогом. Общие доходы «сиротского дома» составляли

тайну для общинников и распоряжалась ими единолично Лукерья Калмыкова. По сведениям С. А. Толстого, стоимость общественного имущества Сиротского дома превышала миллион рублей (*Толстой С.А. Путешествие в Америку с духоборами. М., 2017. С. 38*). Публичный оборот — малая часть общих доходов латифундии — превышал полмиллиона рублей (*Беженцева А. Указ соч. С. 54*).

И вот в конце 1886 года в среде духоборов разгорелся конфликт из-за этого жирнейшего наследства. Лукерья не имела собственных детей, но готовила себе приемника в лице *Петра Васильевича Веригина* (1859 – 1924), познакомившегося с Лукерьей Калмыковой в нач. 1880-х и ставшего вплоть до смерти Лукерьи её любовником и, кстати, руководителем мутного «сиротского дома». Любовник оказался талантливым менеджером: он не только откупал огромными взятками общины от всех претензий к ним администрации, но и практиковал денежные раздачи «нуждавшимся».

Конечно, после кончины Лукерьи большинство (в особенности молодые общинники, у многих из которых не лежало сердце к традиционному крестьянскому труду общины, а оттого труд этот не спорился в их руках и не приносил средств к существованию) — встали горой именно за Лушечкиного сожителя, за Петра Веригина. Его последователи составили т. н. «большую партию», численностью до 11 тыс. голов. Соответственно, «малую партию» составили сторонники законного наследника Лукерьи, брата её, *Михаила Васильевича Губанова* (1847 – 1930). «Губановцами» были в основном зажиточные духоборы и старейшины общин.

26 января 1887 года, когда один из старейших духоборцев по фамилии Махортов предложил собравшимся отдать поклон новому руководителю Петру Веригину, большая часть толпы упала на колени, а меньшая часть осталась стоять на ногах (*Беженцева А. Указ. соч. С. 58*).

Большая часть капиталов духоборов осталась у малой партии: официально имущество общины принадлежало Калмыковой, а так как Губанов являлся её ближайшим родственником, то через государственный суд в Тифлисе он смог получить всё имущество общины. Веригин подал ответный иск, но, конечно же, всё дело с треском, позорнейше проиграл (https://scepsis.net/library/id_1830.html).

На время Веригин переселился из Гореловки в родное село Славянка Елисаветпольской губернии. Но в конце июня 1887 года руководитель Ахалкалакского уезда сообщил губернатору Тифлиса, что Веригин неожиданно вернулся в город Ахалкалаки без паспорта, и попросил полицию разрешить посетить духоборцев. Его снова отправили в Славянку. Веригин позже связался с духоборцами села

Гореловка через других посланников, а также по телеграфу, призвав их не подчиняться местному правительству и контролировать имущество Калмыковой.

Впоследствии «малая партия» — в основном зажиточные, хозяйственные духоборцы — пошла на компромисс с государством и православием. Истинными же духоборцами остались те, кто не получили грешного наследства Калмыковой.

В конечном итоге, попытки протеста и объединения сторонников привели к высылке 27-летнего Веригина с 1887 года в Шенкурск Архангельской губернии, знаменитое с 1860-х гг. место политической ссылки. Впоследствии его ссылка продлевалась на 5 лет в административном же порядке ещё дважды, а он сам был перемещён в места всё более удалённые: в 1890 году в Колу (близ Мурманска), а в 1894 году в Обдорск (ныне Салехард). В ссылке он ознакомился с «учением Л. Н. Толстого» и продолжал руководить своими сторонниками путём переписки и общения с посланцами духоборов, которые встречались с ним, нередко втайне от властей.

* * * * *

Важно понимать, что раскол в секте отражал недовольство рядовых духоборцев своими руководителями, превратившими религиозную организацию в орудие наживы и разврата. Поэтому, когда разгорелась борьба за власть между последователями Лукерьи Калмыковой, часть духоборцев встала на сторону Петра Веригина именно потому, что он призывал покончить с несправедливостью, притеснениями со стороны богачей, восстановить идеалы предков.

Разложение общины завершилось открытой борьбой низовой духоборческой массы против собственной олигархии. Ей способствовало появление новых «законных» претендентов на наследство Калмыковой — её родни, но при этом, в отличие от брата, людей совершенно чужих для общинников. Пачкотные скандалы отвратили от Губанова некоторых из них, более нравственно чутких.

Лидеры так называемой «большой партии», признавшей своим вождём П. В. Веригина, понимали, что необходимы радикальные перемены в жизни секты, благополучие и зажиточность которой неизбежно приведут к её распаду; перемены, способные возродить былой религиозный энтузиазм и сплотить духоборов. Проповеданное Толстым первоначальное, евангельское учение Христа с его жёстким, доходчиво обоснованным аскетизмом было как раз той идейной платформой, на которой, казалось бы, могло состояться духовное возрождение духоборцев.

Духоборческая беднота организовала артельную обработку земель и артельные мастерские. Хлеб начали делить по числу едоков, создали общественную кассу, куда сдали все свои наличные средства. Скот стали держать по норме, а остальной продали. Перестали заниматься извозным промыслом. Духоборцы отказывались служить в армии, платить подати, налоги. Они вновь возродили у себя общинное хозяйство в его первоначальном виде. Под влиянием толстовцев они отказывались пить спиртные напитки, есть мясо, а сторонники христианского идеала целомудрия — даже сожительство с жёнами.

Те из духоборцев, которые усвоили учение Л. Н. Толстого, получили от неедения мясной пищи название «постников» или «белых», т. е. *обелившихся*, сделавшихся чистыми посредством поста.

Не все члены «большой партии» приняли программу Веригина, что привело к дальнейшему разделению общины. Отделившаяся от них так называемая «средняя партия», лидером которой был А. Ф. Воробьёв («воробьёвцы»), занимала соглашательскую позицию.

После того как закавказская администрация встала на сторону противников П. В. Веригина, а его самого отправила в ссылку, в среде духоборцев резко усилились антигосударственные настроения. Главная причина успеха пропаганды свободного, нецерковного христианства среди духоборцев заключалась именно в том, что они были восприняты П. В. Веригиным и, будучи освящены его сакральным авторитетом, приобретали в среде его наиболее духовно чутких последователей статус религиозных догм.

Как выше было сказано, с 1887 г. Пётр Васильевич Веригин находился в ссылке на севере России. По свидетельствам современников и по его письмам, перелом в его мировоззрении произошёл в период с мая 1890 г. по 1893 г., во время пребывания в Коле Архангельской губернии. Он перестал курить, пить, есть мясо, занялся работой на земле и благотворительностью. В какой степени именно толстовцы повлияли на него? Этот вопрос остаётся без ответа. Архангельская губерния была местом ссылки людей разных религиозных направлений и политических убеждений, с которыми общался Веригин. Не исключено, что в руки Веригина могла попасть христианская литература, выпускавшаяся сподвижниками Льва Николаевича, тем более что ближние и дальние родственники ездили к нему через Петербург и Москву.

На фигуру опального вождя сразу же после приезда в Закавказье обратил внимание Д. А. Хилков. В первом же письме к Л. Н. Толстому из Башкичета, от 18 марта 1892 г., Хилков упоминает о П. В. Веригине.

гине: «Один духобор — вождь большой половины всех духобор — сослан в Колу (кажется, Архангельской губернии). Его именем много зла творится, а я думаю, что он хороший человек. Нет ли у Вас, Лев Николаевич, знакомых в тех местах? Я хочу написать ему письмо. Имя его — Пётр Васильевич Веригин» (*Хилков Д.А. Письмо Л.Н. Толстому. 18 марта 1892 г. – Цит. по: Иникова С.А. Указ. соч. С. 57*). Вполне возможно, что после этого письма Толстой нашёл «знакомых в тех местах», которые и взялись за развитие и просвещение Петра Веригина. Таким человеком (или одним из таких людей?) стал народный писатель Максим Леонович Леонов (псевд. Максим Горемыка; 1872 – 1929), отец знаменитого советского писателя Леонида Леонова. Его пребывание в ссылке в Коле (Архангельская губерния, 1892 г.) совпало с пребыванием там же Петра Васильевича Веригина. Известно, что между ними именно в этот период сложились дружеские отношения. При этом сам Леонов был страстным почитателем Толстого, которого считал «великим учителем».

Хилков написал письмо Веригину, но ответа на него не последовало, и их переписка не состоялась. Однако Хилкову, видимо, удалось наладить снабжение Веригина изданиями «Посредника» и улучшенными сытинскими книжками для народа, в числе которых были произведения Л. Н. Толстого. Находясь в ссылке, П. В. Веригин регулярно получал эти книги, которые, как он сам потом писал, у него собраны почти все по каталогу. Духоборцы свидетельствовали, что «сами видели его за чтением сочинений графа Толстого». Знакомый Петра Васильевича А. Исупов также отмечал, что, по свидетельству близких к Веригину людей, он изменился под влиянием идей Толстого (*Там же. С. 58*).

Все эти достаточно убедительные, пусть даже не всегда прямые, свидетельства говорят в пользу того, что не только духоборцы «большой партии», но и её ссыльный вождь стали объектами пропаганды толстовцев ещё в начале 1890-х годов.

Очень быстро первые религиозно-нравственные искания П. В. Веригина приобрели совершенно определённую, законченную форму. В конце 1893 г. и в начале 1894 г. через связных духоборцы большой партии получили целый ряд советов своего ссыльного вождя. Они сводились к следующему: не должен «духоборец идти на военную службу и учиться там убивать людей на войне и притеснять их в другое время по приказанию людей»; не должен духоборец гнаться за наживою и стараться обеспечить себя и своё семейство, роскошно отмечать свадьбы, рождение или смерть, платить за невесту, как за скотину, выкуп; «не полезно» для души курить и пить; грех есть мясо и рыбу и для этого убивать живое существо. Чтобы

родиться свыше от Св. Духа и войти в Царствие Божие, духоборцы также должны отказаться от использования чужого труда, поделиться лишним с неимущими, прекратить супружеское сожитие и рождение детей, во-первых, потому, что человечество и так перенаселило землю; во-вторых, потому, что большое количество детей в семье не позволяет родителям думать о божественной жизни и в том же духе воспитывать детей; в-третьих, духоборцам предстоит тяжёлая борьба, а дети могут стать «препятствием Божьему делу» (*Веригин Г.В. Не в силе Бог, а в правде. Б. м., Б. г. С. 56 – 63*). Большую часть этих советов можно было вывести из традиционного духоборческого учения (но, конечно же, не из практики), однако вегетарианство и ненасилие над всякой тварью Божьей, так же как воздержание от плотских отношений, никак не укладывались в рамки привычных религиозно-этических догм.

Советы Петра Васильевича о пересмотре основ духоборческой жизни обсуждали и принимали в течение зимы 1893/94 гг. Именно в этот период среди «большой партии», сторонников Веригина, произошёл раскол на последовательных веригинцев, полностью принявших советы вождя и получивших название «постников», и на «воробьёвскую» партию во главе с А. Воробьёвым. Вполне сочувственно относясь к постникам, они сами не решились следовать учению, узанному от «Петюшки» и (справедливо) сомневались в его сакральности.

К концу 1894 г. стали совершенно очевидны успехи толстовской пропаганды среди духоборцев. Они вызвали повышенный интерес к секте со стороны тех толстовцев, кто первоначально не принимал непосредственного участия в кампании: Е. И. Попова, И. М. Трегубова, В. Г. Черткова, П. А. Буланже, И. и Е. Накашидзе и, конечно же, самого А. Н. Толстого.

В декабре 1894 г. состоялось личное знакомство А. Н. Толстого и его ближайших последователей с лидерами духоборческого движения. Произошло это в Москве во время перевода П. В. Веригина из Шенкурска Архангельской губернии в г. Обдорск Тобольской губернии. П. В. Веригин пересылался по этапу и находился в московской Бутырской пересыльной тюрьме. Позади остались семь лет ссылки, предстояло столько же...

Толстого сопровождали два спутника — П. И. Бирюков и Е. И. Попов. Позднее в «Биографии Льва Николаевича Толстого» Бирюков рассказал про эту встречу:



Пётр Васильевич Веригин

«Мы вошли в большой просторный номер гостиницы и увидели трёх взрослых мужчин в особых красивых полукрестьянских, полуказацких одеждах, приветливо, с некоторой торжественностью поздоровавшихся с нами. Это были духоборцы: брат Петра Веригина, Василий Васильевич Веригин, Василий Гаврилович Верещагин, умерший на пути в Сибирь, и Василий Иванович Объедков. Всех нас поразила скромный, но достойный вид этих людей, представлявших не только местную, но как будто расовую или, по крайней мере, национальную особенность; никому из нас ни раньше, ни после не приходилось встречать подобных людей вне духоборческой среды.

Мы, а по преимуществу Л. Н. Толстой, стали расспрашивать их о их жизни и взглядах. Короткое время свидания и малое знакомство с их прошлым не позволило нам вдаваться в подробности и мы могли обменяться только общими положениями. На большую часть вопросов Льва Николаевича по поводу насилия, собственности, церкви, вегетарианства они отвечали согласием с его взглядами, а на вопрос о том, как же они прилагают это к жизни, они отвечали с какою-то таинственностью, что всё это у них только начинается, что теперь кое-кто так думает и живёт, а скоро все открыто присоединятся к ним» (*Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Указ. изд. Том 3. С. 241 – 242*).

В тот же день, в тюрьме, П. В. Веригин познакомился и с Евгением Ивановичем Поповым, который заранее вызнал о приезде Петра Васильевича и специально пришёл на свидание.

Во время их встречи присутствовал брат Петра Веригина Василий, который вместе с ещё двумя духоборцами сопровождал духовного вождя.

Пётр Васильевич велел поговорить с этим толстовцем «без стеснения обо всём подробно» (*Веригин Г.В. Указ. соч. С. 76*). Попов прошёл с Василием Веригиным до гостиницы, в которой духоборцы остановились, и сразу же пошёл к Толстому. Лев Николаевич направил в гостиницу П. И. Бирюкова и Е. И. Попова, чтобы пригласить духоборцев на обед. Те отказались, опасаясь ареста: они обязательно должны были добратся до своих и передать им советы Петра об отказе от воинской повинности и сожжении оружия. Договорились, что толстовцы придут к ним в гостиницу на следующий день, 9 декабря (*Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. М., Л., 1936. С. 508 – 509*).

В гостиницу пришли Л. Н. Толстой, а также П. И. Бирюков, Е. И. Попов, И. М. Трегубов, видимо, М. Шарапова и, возможно, В. Г. Чертков. Расспрашивал в основном Толстой. «На большую часть вопросов Льва Николаевича по поводу насилия, собственности, церкви и вегетарианства мы отвечали полным согласием», — вспоминали позже духоборцы (*Веригин Г.В. Указ. соч. С. 77*). Толстой во время этой встречи передал В. В. Веригину книгу «Царство Божие внутри вас» (*Там же*). На Василия Веригина это произведение Толстого произвело сильное впечатление. После его прочтения он написал беседу «Возлюбленный братец в Господе, Иисусе Христе, желаю побеседовать с тобой» (т. н. псалом № 374 в «Животной книге духоборцев»), в которой почти дословно воспроизвёл часть декларации Гаррисона, опубликованной Толстым в «Царстве Божиим...».

Позднее, живя в Канаде, П. В. Веригин вспоминал, что брат Василий и Верещагин рассказывали об этой встрече: их «очень удивило, что во Л. Н-че они мало заметили “графского”, так как слышали, что Л. Н. имеет титул графа... их поразила простота обращения и приятная, как бы душевная осанка Л. Н-ча» (*Международный Толстовский альманах. 1909. С. 20*).

Духоборцы так же произвели на Толстого очень хорошее впечатление. В тот же день, 9 декабря, Лев Николаевич в письме к Николаю Никитичу Иванову (в то время арестованному за распространение сочинений Льва Николаевича) писал, что виделся с братом сосланного в Сибирь духоборца и ещё двумя. «Сосланный Веригин виновен

в том, что оживил дух застывших в своих верованиях и опустившихся по жизни единоверцев, вызвал в них истинную христианскую жизнь, так, что они стали отдавать всё своё имущество в общину, перестали курить, пить, есть мясо и отказываются от присяги и военной службы...» (67, 279).

Разумеется, что и свойственно сектантам, сам П. В. Веригин никогда не признавал, что проповедуемые им идеи заимствованы, как оказалось, у «чужого» вожака — при посредничестве князя Хилкова и его настырной «команды». В письме к Н. Т. Изюмченко в январе 1896 г. Веригин подчёркнуто небрежно писал: «В чём заключается его <Л. Н. Толстого> философия? Произведений его я не читал. Только понаслышке знаю, что он отрицает законность современной цивилизации, то есть прогресс её» (Цит. по: Иникова С. А. Указ. соч. С. 60).

В пользу версии о ничтожности знаний Веригина лично о Толстом к моменту первого свидания, несмотря на чтение «подготовленной» для него сподвижниками Хилкова и даже выпрошенной им лично у Толстого литературы — свидетельствует и такая деталь в воспоминаниях П. И. Бирюкова о встрече в пересыльной тюрьме:

«Побеседовав с ними около часа и передав им некоторые книги и рукописи, которые, как нам казалось, могли интересовать их, мы стали собираться домой. Прощаясь с ними, Лев Николаевич попросил их писать о ходе дел. Веригин вынул записную книжку и, обращаясь к Льву Николаевичу, сказал: "Пожалуйста, напишите, кто вы такой и как вам писать". Лев Николаевич записал свой адрес и мне, часто наблюдавшему встречу Льва Николаевича с другими людьми и замечавшему то волнение, которое производит на людей его имя, показалось странным, что на духоборца оно не произвело видимого впечатления» (Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Том 3. С. 241 – 242).

Уже весной 1895 г. началась переписка П. В. Веригина с Е. И. Поповым, С. А. Дашкевичем, И. М. Трегубовым, но только 21 ноября 1895 г. первое письмо Веригину написал сам Л. Н. Толстой. Их опубликованная переписка продолжалась по 1909 г. (см. Л.Н. Толстой и П.В. Веригин. Переписка. СПб., 1995).

К 6 июля 1896 г. относится документ, свидетельствующий, что огромность влияния Л. Н. Толстого и толстовцев на радикализацию духоборческого вероисповедания признавало и правительство. Это полицейская справка «По делу распространения Веригиным нового учения Графа Л. Н. Толстого» от 6 июля 1896 года, в начале которой читаем:

«...Обращает на себя внимание сходство проповедуемого ныне, именем Веригина, среди духобор, нового религиозно-нравственно-политического учения с таковым же графа Л. Н. Толстого» (<https://doukhobor.ru/dokumenty/168>).

Далее в справке следуют подтверждения сходства «ересей» радикализировавшихся духоборов и Л. Н. Толстого.

Помимо деятельности Л. Н. Толстого, но по-прежнему с ориентиром на неё, вступались за духоборов и английские братья по вере — квакеры. Приблизительно в середине февраля 1895 года двое английских квакеров доставили царю записку с просьбой прекратить гонения за веру и дать свободу совести. Один из них, Эдмонд Брукс (Brooks), не позднее начала марта посетил Толстого и читал прошение. «Записка с обычной формальной риторикой. Царь выслушал их и ничего не сказал им — ровно ничего», — написал Толстой Д. А. Хилкову и добавил: «Ждать сверху какого-либо изменения и улучшения никак нельзя и не могу отделаться от той мысли, что оно и не нужно. Всё в нас самих, и мы свободны, если только живём истинной жизнью» (68, 46 – 47).

Забегая вперёд, скажем: Толстому предстоит ещё, как минимум, одна встреча с Эдмондом Бруксом, в декабре 1899 г. Это было своеобразное благодарное признание квакерами результатов и значения усилий Льва Николаевича в организации эвакуации преследуемых тётей родиной духовных христиан. Вместе с неразлучным Джоном Беллоузом он приедет тогда хлопотать, в числе прочих, о духоборах, сосланных в Якутскую область — просить правительство разрешить им выехать в Канаду вместе с другими духоборами. По заключению Л. Н. Толстого в письме к Черткову от 15 декабря 1899 г., и в тот раз «они дурно взялись за дело», и ходатайство их было отклонено.

В ноябре 1894 г. был обнародован царский манифест, даровавший «помилование» некоторым категориям осуждённых. Духоборцы ожидали, что Веригин и одновременно сосланные с ним «старички» попадут под амнистию, но вместо этого им продлили срок. Впрочем, они сами были готовы к этому: каким же ещё образом веригинцы-постники могли выразить христианское, ненасильственное неприятие безбожного государства, как не отказом от его защиты, непризнанием его властей и добровольным принятием за это страданий? Саму форму пассивного протеста своим последователям подсказал Пётр Васильевич. Отказ 11 солдат-духоборцев от оружия в апреле 1895 г., а затем, 29 июня, в День Петра и Павла, сожжение оружия

в трёх местах расселения духоборцев в Закавказье и Карской области в знак протеста против убийства, войны и насилия были осуществлены так же по его совету. При этом, стоит подчеркнуть, среди духоборцев были и такие, кто действительно сознательно воспринял антивоенные идеи, так как был убеждён в их правоте, а не только потому, что они исходили от Петра Васильевича. Духоборческая среда уже несколько лет жила в постоянном духовном напряжении. Духоборцы внутренне были готовы к самым отчаянным действиям, к страданиям во имя Бога и даже искали их.

В отличие, кстати сказать, от их удалённого «духовного учителя». 18 июня 1895 г., получив от Александра Никифоровича Дунаева (1850 – 1920), близкого знакомого и единомышленника, корреспонденцию «Биржевых ведомостей», Толстой записал в дневнике: «9 солдат духоборов отказались от военной службы и несколько запасных возвратили свои билеты. Удивительное дело, это не радует меня» (53, 40). А дальше — объяснение, отчего так: «В последнее время я очень слаб и потому близок к смерти, т. е. к новой высшей жизни, и потому яснее, проще (слава людская соскочила) чувствую. И вот успех внешний, осуществление, по моим понятиям, царствия Божия на земле, не радует меня. Отказы от военной службы — ну хорошо. А потом? И что бы ни было, разве это всё? Разве что-нибудь внешнее может удовлетворить? Только одно внутреннее движение вперёд и то, какое в моей власти, движение и приближение к Богу, только это может вечно удовлетворять и радовать. И я чувствую это всей душой» (Там же. С. 43).

Словам этим Толстого нужно верить, но не следует полагать их значительными в надвигавшемся на писателя и публициста огромном и многосложном общественном деле. Этот морально-психологический «привал» перед новым боем очень напоминает такое же состояние Толстого летом и в начале осени 1891 года — с «усталым», могущим кому-то показаться равнодушным, отношением к известиям о голоде. Накануне двухлетней эпопеи спасения тысяч жизней в сёлах и деревнях — и не только крестьян, но и других животных!

Об антивоенных протестных акциях в книге «Гонение на христиан в России», отредактированной и дополненной послесловием самим Л. Н. Толстым, рассказывает Павел Бирюков:

«Эти братья <посетившие Л. Н. Толстого. – Р. А.>, вернувшись к своей общине, привезли от Петра Веригина предложение, принятое всей большей партией, об воздержании от присяги, военной службы,

всякого участия в насильственных делах правительства и об уничтожении всякого оружия. С тех пор начались между духоборами отказы от военной службы.

Persecution of the Dukhobors with conclusion by Count Leo Tolstoy.
Изданіи Фонда В. Р. Н. Цена:
Вып. 19-й 10 п. (1 фр.; 25 цент.)

ГОНЕНІЯ НА ДУХОБОРЦЕВЪ

СЪ ЗАКЛЮЧЕНІЕМЪ

графа Л. Н. Толстого

Литценсовикъ С. С.; Письмо Л. Н. Толстого къ редактору *Times*;
Изъясненіе христіанъ въ Россіи; Заключеніе Л. Н. Толстого.

1895.

Published by the «RUSSIAN FREE PRESS FUND».

LONDON.

810-92
559-8
ГОНЕНІЕ НА ХРИСТІАНЪ

ВЪ РОССІИ

ПИСЬМО Л. Н. ТОЛСТОГО

къ редактору английской газеты

ИЗДАНИЕ
М. К. ЭЛПИДИНА



CAROUGE-GENÈVE

M. ELPIDINE, LIBRAIRE-ÉDITEUR

1896

Титульные листы заграничных бесцензурных изданий книги «Гонение на христиан в России»

Первый человек, подавший пример такого отказа, был Матвей Лебедев, духоборец, служивший в г. Елизаветполе, в резервном батальоне.

[...] Днём объявления отказа был назначен первый день пасхи нынешнего 1895 года.

[...] По обычаю, весь батальон должен был идти в церковь и после церкви участвовать в церковном параде. Духоборцы, как сектанты, могли не идти в церковь, но должны были ожидать на площади и участвовать в параде.

Матвей Лебедев объявил своим братьям, десяти духоборцам, служившим вместе с ним в том же батальоне, что на парад идти не надо, так как они все решили сегодня перестать служить. Все десять человек согласились на это и остались дома, в казармах.

[...] Лебедева стал увещевать ротный командир, очень любивший его. Лебедев пользовался любовью как начальства, так и солдат сво-

его отделения, плакавших, когда его от них уводили. После увещания следовали угрозы, но и они не подействовали. Тогда ротный командир приказал его арестовать и его отвели под конвоем в тёмный подземный карцер, так называемую "яму", где продержали его 9 дней под строгим арестом, т. е. давая ему только хлеб и воду в очень малом количестве.

Между тем остальные десять духоборов, вернувшись с постов и узнав, что Лебедев уже отказался и заключён в тюрьму, так же взяли свои ружья и отдали их фельдфебелю, заявив свое отречение от службы вследствие того, что она противоречит служению Богу и учению Христа. Их также посадили в тюрьму, но отдельно от Лебедева и тщательно следили, чтобы между ними и Лебедевым не было сообщения. Но сообщение это происходило непрерывно, так как низшие чины все были за арестованных. И Лебедев своими советами поддерживал силы своих духовных братьев.

Делу дан был судебный ход. Во время следствия на допросах на отказавшихся духоборов старались подействовать угрозами расстреляния, но они не изменили своего решения. Они так свыклись с мыслью о смерти, что были удивлены, когда после суда узнали из приговора, что их не расстреляют.

Судили их в Тифлисе 14 июня и суд приговорил их в дисциплинарный батальон: Лебедева на три года и остальных на два. Военный прокурор остался недоволен решением суда, обжаловал его в высшую инстанцию и дело это ещё не кончено. Никто не знает, какая участь ожидает этих людей.

Теперь они содержатся в Тифлисе, в военной тюрьме, покорно ожидая решения своей судьбы. Мне удалось видеть их, хотя очень короткий срок. Все они бодры духом и имеют вид здоровых весёлых людей, как бы готовящихся встретить праздник.

Вслед за этим случаем, один за другим стали повторяться отказы от военной службы солдат духоборов.

Так, в городе Олты, Карсской области, на турецкой границе, отказалось шесть человек солдат духоборов; в Карсе — один, в Ахалкалаках — пять, в Дилижане — два. Кроме того, заражённые этим примером, в Карсе четыре православные солдата также бросили ружья. Ещё один православный отказался в Тифлисе и один в Манглисе. Эти два отказались, получив письма от родителей, в которых они уведомляли детей своих, что они, родители, приняли истинную веру от духоборов и считают военную службу грехом и просят детей своих, как только они услышат, что духоборцы-солдаты отказываются от службы, самим отказаться и бросить ружья, что они и ис-

полнили. Все эти люди были арестованы и сидят по тюрьмам» (*Бирюков П.И., Толстой Л.Н.] Гонение на христиан в России в 1895 году. Женева, 1896. С. 20 – 25*).

В Ахалкалакском уезде Тифлисской губернии над пятью отказниками военное начальство поиздевалось всласть, и совершенно в сволочных традициях «русского мира», то есть, всем сочетанием грубой жестокости и идиотизма:

«Их отвели на тюремную площадь и поставили в ряд. Затем были вызваны казаки и им велено было спешиться (сойти с лошадей) и зарядить ружья. Видя это, духоборцы попросили позволения помолиться. Им позволили. По окончании молитвы офицер скомандовал: “шеренга, – товсь! шеренга!...” и выдержал так несколько минут. Духоборцы стояли спокойно и ждали команды: “пли!” Но пробил отбой и ружья были опущены. После этого им опять предложили взять ружья и служить, и когда они отказались, то казакам велено было сесть на коней и, обнажив шашки, скакать на духоборцев; подскакав к ним казаки, несколько раз махнули обнажёнными шашками над головами духоборцев, делая вид, что хотят зарубить их, но на самом деле не задевая их. Духоборцы не изменили своего решения. Тогда их начали сечь плетьюми, и жестоко избили» (*Там же. С. 25 – 26*).

По сведениям С. А. Толстого, отказников, помимо обыкновенных побоев, «секли и морили голодом». Кирилл Конкин и Михаил Щербинин погибли во время применения к ним пыток, другие выдержали до конца, и только Матвей Лебедев не выдержал издевательств, «покорился и взял ружьё» (*Толстой С.А. Указ. соч. С. 42*).

Эти подробности заставляют вспоминать страшные новости 2022 – 2023 гг. из оккупированных путинскими мразями земель Украины, где с жестокостью столь же скудоумной, но слишком часто откровенно «блещущей» садизмом, оккупанты издевались над пленниками из числа защитников Украины и мирных жителей.

По поводу такой инсценировки смертной казни на России принято жалеть Фёдора Михайловича Достоевского, над коим подобное было учинено в 1849-м. Ну, как же! «Родной»: и православный, и даже оправдатель войн. И смертные казни активно оправдывал бы — не «попадись» сам в молодости... Истязания же духоборов «русский мир» простил самому себе и позабыл!

Духоборами был разработан своеобразный «катехизис отказника», похожий на знаменитое «Провозглашение» 1838 г. Уильяма Ллойда Гаррисона — но так же совершенно позабытый. Вот его главные вопросы и ответы:

«Вопрос: Почему вы не желаете служить императору?»

Ответ: Желал бы исполнять волю императора, а он научает людей убивать, а моя душа этого не желает.

В. Почему не желает?

О. Потому что Спаситель заповедал (т. е. запретил) людей убивать, а я верю Спасителю, исполняю волю Божию.

В. Ты кто такой?

О. Я христианин.

В. Почему ты христианин?

О. По познанию слова Христова, христианина дух живущий не может и не будет делать дел ваших» (Цит. по: [Бирюков П.И., Толстой Л.Н.] *Гонение на христиан в России. Женева, 1896. С. 26 – 27*).



Фотография групповая духоборцев (6 человек). XIX век.
Российская империя, с. Гореловка в Грузии (?)
Из фондов Ростовского обл. музея краеведения

Удивительно, насколько малоподвижна, закоснела и стереотипна в низших, спонтанных реакциях психика обитателей мрачного «русского мира», той части человечества, у которой с древности учение

Истины, подлинное учение Христа было отобрано попами и толковниками, подменено византийским эрзацем! Ещё в 8 главе Евангелия от Иоанна схожий дискурс Иисуса, отпустившего блудницу, в адрес фарисеев: об *ином духе* (ваш отец — диавол) и о делах диавольских — завершается попыткой фарисеев побить камнями самого Иисуса. Так же, по рассказам духоборов, когда они доходили, воспроизводя свой катехизис, до своего противопоставления «делам» мирской имперской мундированной сволочи — последняя «уже ничего не могла сделать», ничем иным отреагировать, кроме самого окаянного насилия (*Там же. С. 27*).

Постепенно духоборцы подходили к главному своему, и самому знаменитому акту — сожжению оружия:

«Когда ожидался приезд Тифлисского губернатора в духоборческие селения, 13 духоборов вызваны были по наряду уездным начальником для охраны дороги от разбойников. Они должны были выехать вооружёнными, а выехали без оружия. И на вопрос уездного начальника, почему они приехали без оружия, они ответили, что оно им не нужно, так как если они и встретят разбойника, они ни стрелять, ни бить его не будут, а могут только уговаривать. И тут же объяснили, что они отказываются от всякой службы правительству. Они были арестованы и сидят в Тифлисской тюрьме.

[...] В Елизаветпольской тюрьме сидят 120 человек духоборцев. Часть их была арестована за возврат ополченских билетов, т. е. за отказ от службы в запасе, часть за отказ от должностей сельских старост и за возврат печатей и блях, а часть за подстрекательство и всякого рода неповиновение» (*Там же. С. 29 – 30*).

Наконец, в ночь на 29 июня 1895 года группы духоборов — «постников» в Тифлисской и Елизаветпольской губерниях, а также в Карсской области совершили массовое антивоенное действие, которое П. И. Бирюков называет «торжественным отречением» от насилия (*Там же. С. 30*). Они собрали всё имевшееся у них с прежних времён оружие и сожгли его на кострах:

«Для того, чтобы вполне оценить этот поступок, надо понять то значение, которое имеет оружие на Кавказе. Ношение оружия на Кавказе есть не только обычай и условие приличия, но считается необходимостью для всякого человека. С оружием ходят и по городу и в гости, с оружием отправляются в дорогу и даже работают и пасут стада, чтобы быть в состоянии защищаться от нападения зверей и разбойников. И потому уничтожение оружия имело для духоборов важное значение. Это уничтожение было поступком, выражающим на деле готовность принять все последствия непротivления злу

насилием, т. е. терпеть всякого рода посягательства на жизнь и безопасность скорее, чем позволить себе сделать насилие над другим человеком» (*Там же. С. 30 – 31*).

По сведениям Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, первой в костёр была брошена винтовка самого П. В. Веригина, специально по этому случаю присланная им их ссылки (*Бонч-Бруевич В.Д. Из мира сектантов. Сборник статей. [М.], 1922. С. 70 – 71*).

Изображая скрытность, заговорщики Карской области подготовили четыре места для сожжения оружия — о которых тут же проведала полиция. Но в решающую ночь духоборы отправились в пятое место, и никто им не помещал. Так же всё покойно совершилось в Елизаветпольском уезде. Репрессии ограничились арестами нескольких десятков человек.

А вот в Тифлисской губернии, в Ахалкалакском уезде, над духоборами была учинена расправа, положившая начало их уже публичным, ведомым всеми муру (благодаря Льву Николаевичу) великомуученичеству и гонениям:

«По доносу враждебной партии, это сожжение оружия, для чего понадобилось духоборцам снести всё оружие в определённое место, было принято администрацией за подготовку к вооружённому восстанию. Были вызваны казаки и над непокорными духоборцами, державшими себя с особенным достоинством, была учинена дикая расправа, после чего все непокорные, в числе около 4 000 человек, были выгнаны из их жилищ и расселены по грузинским горным деревням, а так называемые зачинщики посажены в тюрьмы» (*Бирюков П.И. Биография... Указ. изд. Том 3. С. 257*).

У Сергея Львовича Толстого находим значительные подробности совершившегося:

«В Тифлисской губернии... духоборы-мясники <т.е. «малая партия», не отказавшиеся от мяса. – Р. А.>, узнав о приготовлениях постников, донесли начальству, что постники якобы собираются с оружием напасть на них — «мясников». Тогда тифлисский губернатор <Георгий Дмитриевич> Шервашидзе, не проверив этих слухов (а может быть, умышленно), утром в день Петра и Павла послал казаков в то место Ахалкалакского уезда, где происходило сожжение оружия. Казаки, встретив там двухтысячную толпу мужчин, женщин и детей, мирно поющую псалмы вокруг потухающего костра, где горело оружие, бросились на неё с нагайками. Сотник Прага, заведывавший экзекуцией, сам потом рассказывал, что он тогда особенно был сердит, потому что духоборы всё время смыкались в одну кучу, и он никак не мог разделить их и избить по частям. Действительно, мужчины защищали своими телами женщин и детей. После этого казаки

были поставлены в селения духоборов на Холодных Горах на постой. Там они неистовствовали, как хотели, в продолжении нескольких дней. Достоверно известно, что ими были изнасилованы женщины. [...] Положение карсских и елизаветпольских духоборов-постников, сжёгших своё оружие без участия казаков и не выселенных из своих домов, было несколько легче. Однако все они были отданы под надзор полиции, которая по произволу сажала их под арест и в тюрьму или вымогала с них крупные взятки» (Толстой С.А. Указ. соч. С. 41 – 43).

Сведения старшего сына Толстого хорошо подтверждаются документально. В широко известной в узких кругах толстоведов и историков Докладной записке из канцелярии Елизаветпольского губернатора на имя главноначальствующего гражданской частью на Кавказе Сергея Алексеевича Шереметева (1836 – 1896) «О ситуации сожжения оружия духоборцами и её последствиях» от 23 августа 1895 года (под грифом: «совершенно доверительно») описывается и мерзкая имитация казни, с надеванием на живых людей саванов и проч., устроенная в Карсе над безоружными кроткими людьми («Пришлось окончить трагикомедию без результата»), и расправа над сжигателями оружия:

«Костёр горел всю ночь, а духоборцы пели псалмы. 29-го днём тифлисский губернатор направил на них казаков. Казаки понеслись в атаку. Духоборцы поставили женщин и детей в кучи, а сами стали кругом. Не могли вооружённые воины победить безоружных. Духоборцы стояли неподвижно, только убитых и раненых убирали в середину. Наконец надоели казачьему командиру бесплодные атаки, и он их прекратил. Велели духоборцам идти к губернатору. Пошли, неся раненых и четырёх убитых. Губернатор князь <Георгий Дмитриевич> Шервашидзе встретил духоборцев с криками и бранью. Духоборцы не отвечали ни слова, наконец губернатор спросил стариков более членораздельной речью: "будут ли служить, или нет? Старики ответили, что они стары и в солдаты не годятся. Тогда губернатор вызвал трёх запасных рядовых; предложил им тот же вопрос и, получив отрицательный ответ, приказал их бить. Били долго и сильно. Опять губернатор предложил тот же вопрос и получил отрицательный ответ. Опять начались истязания. Тогда все запасные человек 60 вышли из толпы и положили к ногам губернатора свои воинские билеты. "Бить их", крикнул губернатор и ушёл, передав свои обязанности уездному начальнику. Духоборцев били в продолжении 6 дней; кроме того, начальство негласно разрешило казакам насиловать женщин и девушек. Для этого были арестованы все мужчины,

а христоролюбивое воинство бросилось ломиться в двери и окна духовоборческих жилищ и насиловать женщин. Голос совести заговорил у казаков и они неохотно стали исполнять дальнейшие приказания начальства. Тогда их заменили лезгинской милицией, состоящей из мухамедан, повиновавшихся начальству с большим рвением» (<https://doukhobor.ru/dokumenty/134>).

Подробности эти дошли до министра внутренних дел, особенно недовольного тем, что сведения, прежде расследования их, просочились «в заграничные революционные листки» (Там же. Л. 1).

Как и можно было ожидать, такими средствами ожесточённый, мрачный и тупой «русский мир» достигнул целей, прямо противоположных желаемой, то есть «подчинения воинской повинности» всех духоборов:

«Духоборы, служившие ранее солдатами, а теперь состоявшие в запасе, вернули свои билеты начальству с заявлением, что они служить не будут. Такие заявления были сделаны не только тифлисскими духоборами, а также елизаветпольскими и карскими» (Толстой С.А. Указ соч. С. 42).

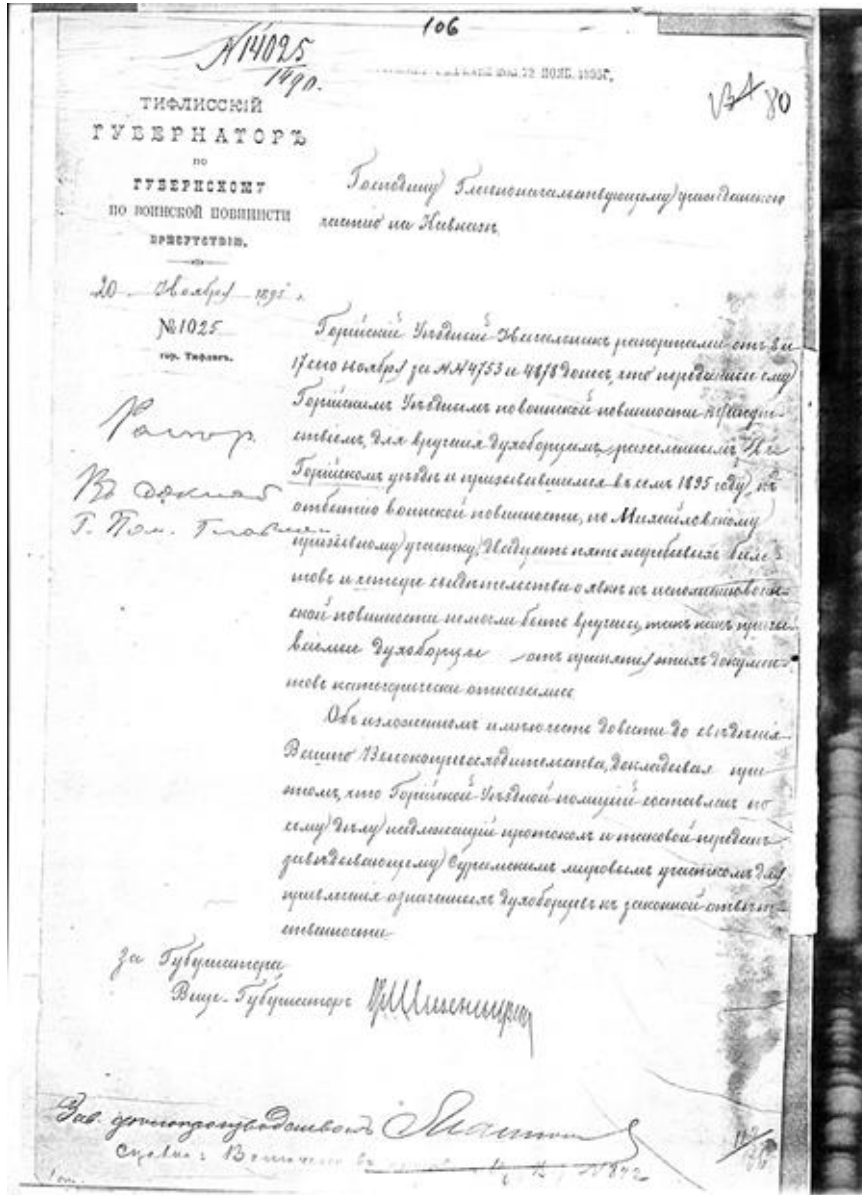
Подробнее и точнее, по мемуарам одного из участников, расправа над ахалкалакскими духоборами описана в книге «Гонение на христиан в России», см. стр. 32 – 43 в издании 1896 г. Мы выносим эти вопиющие подробности в Прибавление № 1 к данной главе.

Выселение тифлисских духоборов также совершалось методами, излюбленными, по причине своей жестокости, «щедрой» на любые гадости душкой-Россией:

«После экзекуции стали духоборцев выгонять из их деревень, сначала по 5 семей из каждой деревни, потом по 10, через несколько дней одну партию после другой. По объявлении приказа, на выселение давалось сроку 3 дня. В эти 3 дня надо было собраться, уложить и распродать своё имение. Продавали всё за бесценок... Побросали много скота, и хлеб на корню остался неубранным, так что все разорились.

Всего выселено из Ахалкалакского уезда 464 семьи и расселены они по четырём уездам Тифлисской губернии: Душетском, Горийском, Тионетском и Сигнахском, по грузинским деревням, как будто с целью уморить их с голоду, по 2, 3 и по 5 семей в одной деревни, без клочка земли и с запретом общения между собой. Они распродают понемногу своё имущество и работают на грузин — бедным даром, а богатым за небольшую плату. И, несмотря на своё разорение, продолжают помогать беднейшим» ([Бирюков П.И., Толстой Л.Н.] Гонение на христиан в России. Женева, 1896. С. 43 – 44).

По официальному документу, «совершенно доверительному», эти сведения подтверждаются, и даже с некоторыми дрянными подробностями, которые, как и подробности об организованном изнасиловании девушек, Павел Иванович Бирюков побоялся включить в свою книжечку, чтобы не вызвать недоверия читателей в цивилизованном мире. Например, вот это:



Докладная записка С. А. Шереметеву
о проблемах с призывом духоборцев на военную службу.
Тифлис. 20 ноября 1895 г.

«Приехавшие к духоборцам армяне для покупки их имуществ, видя, что с ними делают, стали плакать и жалеть их. В напутствие ссылаемым губернатор публично сказал, что "он приказал ничего им по дороге ни продавать ни даром давать, чтобы они подошли с голода".

Духоборческие сёла оцеплены: никого не впускают и не выпускают. Духоборцы всё не унывают...» (<https://doukhobor.ru/dokumenty/134>).

С поддержавшими тифлисцев отказниками карскими и елизаветпольскими поступили не менее жестоко: «Их расселили поодиночке по разным глухим и нездоровым местам Елизаветпольской, Бакинской и Эриванской губерний... не дав им ни земли, ни возможности чем бы то ни было жить... В низменных местах, куда их переселили, они почти все заболели лихорадкой; кроме того, от отсутствия достаточной пищи у них развилась трахома, цинга и другие болезни». Из 4 тысяч тифлисцев погибла примерно тысяча человек (*Толстой С.А. Указ. соч. С. 42*).

Репрессии, обрушившиеся на них, вызвали в духоборах взрыв религиозного энтузиазма — вдохновивший, в свою очередь, на поддержку Толстого и толстовцев. Теперь все свои силы толстовцы направили на то, чтобы как можно шире оповестить мир о движении среди кавказских духоборцев, чтобы подтолкнуть к подобным действиям другие религиозные группы в России и за рубежом и, в конечном итоге, приблизить наступление царства Божия, царства Христовой и Божьей правды-Истины на Земле.

Первые известия о расправе Толстой получил от князя Хилкова. Вот что об этом вспоминает сподвижник биограф писателя П. И. Бирюков:

«К сожалению, рассказ Хилкова был почерпнут из третьих рук и страдал неточностями. Вот что написал ему в ответ Л. Н-ч <в письме от 29 июля>: "Получил ваше письмо с описанием насилий над духоборцами и не знаю, что мне делать. Не знаю, что мне делать потому, что исполнить того, что вы хотите, не могу. Послать статью в русские газеты нельзя. Ни одна не напечатает ваш рассказ в том виде, в котором вы мне его прислали. (В "Бирж<евых> ведом<остях>" в № 201, 24 июля напечатано известие довольно подробное о начале раздора между духоборцами и о том, как выслали Веригина, и как рядовые отказались от службы, и о том, что теперь их выселяют в нагорные места Душетского, Тионетского и Сигнахского уездов). Послать ваш рассказ в иностранные газеты считаю тоже излишним, главное потому, что рассказ этот написан очень дурно и дурно не потому, что в нём нет литературных достоинств, напротив — в нём нет простоты, точности, определённости и правдивости, и тон всего рассказа какой-то иронический, шуточный, таком тон, которым нельзя говорить о таких ужасных делах. Не нужно писать о христолюбивых воинах белого царя, а нужно объяснить, как убили 4-х человек, кто были эти люди, возраст, имя, как они умерли. Отчего, когда убили

4-х человек, командир убедился в бесплодности атаки. Всё это и многое другое об изнасиловании так нехорошо, неясно, преувеличено, что вызывает полное недоверие ко всему. В таком виде статья или вовсе не будет напечатана, или если и будет напечатана в какой-нибудь маленькой газете, то не вызовет никакого впечатления.

Я совершенно согласен с вами, что надо бы об этом напечатать в иностранных изданиях, в русских и думать нечего; если и напечатывают, то с такими урезками, что пройдёт не замечено, но для того, чтобы статья имела влияние на тех, на кого она должна иметь влияние, нужно, чтобы она была написана строго правдиво, обстоятельно, точно. И потому, если можно собрать такие сведения, то соберите и пришлите.

Ваш же рассказ, рискуя сделать вам неприятное, я пока оставляю у себя. Если вы велите посылать, как есть, я пошлю. Одно, что я сделаю теперь, это то, что по вашему плану напишу в Англию нашему другу Kenworthy и другому ещё о том, что на духоборов происходит жестокое гонение и что, если они хотят узнать подробности, то прислали бы корреспондента, направив его к вам с тем, чтобы вы уже направили его куда надо. Завтра посоветуюсь об этом с Черт<ковым> и напишу. [...] Пока прощайте. Не сердитесь на меня и любите меня, как я вас"» (*Бирюков П.И. Биография... Указ. изд. С. 257 – 258; ср. 68, 131 – 132*).

Толстой думал написать английскому пастору и издателю-толстовцу, «другу», как именует его в письмах (другу, которого сам уже скоро, угождая В. Г. Черткову, нехорошо предаст — очень удалённого по географии, но искреннего, без кавычек, друга!) Джону Кенворти, с просьбой прислать в Россию корреспондента. Но отказался от этой мысли, посоветовавшись с В. Г. Чертковым (как и в прошлый год, Чертковы жили в Дёменке, близ Ясной Поляны). Дело кончилось тем, что П. И. Бирюков сначала составил, по письму Хилкова и газетным публикациям, краткое изложение событий, а вскоре сам отправился на Кавказ; Толстой же принялся дополнять и поправлять короткую записку Бирюкова. Статья писалась в форме открытого письма в иностранные газеты:

«Дорогой друг. В настоящую минуту на Кавказе происходит гонение на христиан духоборцев. И, право, кажется, что мучители, хотя и в другом роде, но не менее жестоки и глухи к страданиям своих жертв и жертвы не менее тверды и мужественны, чем мучители и мученики времён Диоклетиана».

Рассказано было здесь и о личной встрече с духоборами в декабре 1894 г. (по ошибке памяти событие отнесено к «нынешнему 95

году»): «... Самого Веригина мне не удалось видеть, так как он очень строго содержался, как преступник, в тюрьме» (см. 39, 209 – 215).

Датирована записка 2/14 августа 1895 г. Затем она несколько раз копировалась, вновь исправлялась и даже начала переводиться (видимо, Чертковым), но отправлена не была. Толстой решил ждать возвращения Бирюкова с достоверными сведениями.

Далее — слово П. И. Бирюкову. Но это уже не биография Толстого от Павла Ивановича, а, скорее, особенный меморат о личных похождениях:

«В это время мне случилось быть в Ясной Поляне. Известие о духоборах сильно поразило меня, и я предложил Льву Николаевичу свои услуги съездить на Кавказ и разузнать, в чём дело. Л. Н-ч одобрил мой проект, и в начале августа я поехал туда, был у Хилкова, в Нухе, по его указанию разыскал ссыльных духоборов, расспросил лично участвовавших в сожжении оружия, в столкновениях с казаками и в других протестах и привёз Л. Н-чу подробное описание всего виденного и слышанного» (Там же. С. 258).

Деятельность П. И. Бирюкова тут же привлекла к себе внимание полиции, но ему удалось вовремя скрыться на пароходе.

Результатом поездки «друга Поши», как ласково звал ученика Лев-учитель, стала книга о «гонении на христиан в России» в 1895 году, которую мы цитировали выше. Потрясённый подробностями, Лев Николаевич изваял к нему своё Предисловие (в издании 1896 г. напечатано как Послесловие), по традиции предпослав ему евангельский эпиграф: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир» (Ин. XVI, 3).

Вот отрывки из него:

«Причина этих гонений та, что вследствие различных причин в нынешнем году три четверти всех духоборов, именно около 15 000 человек (так как всех их около 20 000), вернувшись в последнее время с новой силой и сознательностью к своим прежним христианским верованиям, решили на деле исполнять закон Христа непротивления злу насилием» (39, 99).

Скромно обозначенное Л. Н. Толстым «возвращение» духоборов якобы к «прежним верованиям» проблематично: необходимо уточнить, что, скорее, духоборы именно как христиане «вернулись» к букве и духу евангельского учения, в простых и честных трактовках его Л. Н. Толстым — то есть, благодаря его, как христианского духовного наставника, влиянию.

Впрочем, несмотря на обыкновенную неточность формулировок, именно так Толстой и осознаёт протест духоборов: как торжество,

пусть ещё пока в сознании немногих в нашем мире — истинного христианского понимания жизни:

«Положение правительств ужасно, ужасно тем, главное, что им не на что опереться. Ведь нельзя же признать дурными поступки тех людей, которые, как замученный в тюрьме Дрожжин, или теперь ещё томящийся в Сибири Изюмченко, или врач Шкарван, приговорённый к тюрьме в Австрии... Никакими ухищрениями мысли нельзя признать эти поступки людей дурными или нехристианскими, и не только нельзя не одобрять, но нельзя не восхищаться ими, потому что нельзя не признавать, что люди, поступающие так, поступают так во имя самых высших свойств души человеческой, без признания высоты которых человеческая жизнь падает на степень животного существования. И потому, как бы ни поступало правительство по отношению этих людей, оно неизбежно будет содействовать не их, а своему уничтожению. Если правительство не будет преследовать людей, которые, подобно духоборам, штундистам, назаренам и отдельным лицам, отказываются от участия в делах правительства, то выгода христианского мирного образа жизни этих людей будет привлекать к себе не только искренно убеждённых христиан, но и людей, которые только из-за выгод будут принимать личину христианства, и потому количество людей, не исполняющих требований правительства, будет всё увеличиваться и увеличиваться. Если же правительство будет жестоко, как теперь, относиться к таким людям, то самая эта жестокость к людям, виноватым только в том, что они ведут более нравственную и добрую жизнь, чем другие, и хотят на деле исполнять исповедуемый всеми закон добра, — самая жестокость эта будет всё более и более отталкивать людей от правительства. И очень скоро правительства не будут находить людей, готовых насильем поддерживать их.

Полудикие казаки, бывшие духоборов по приказанию начальников, очень скоро “заскучали”, как они выражались, когда они были поставлены в духоборческих селениях, т. е. совесть начала мучить их, и начальство, боясь вредного влияния на них духоборов, поспешило вывести их оттуда.

[...] Ещё одно небольшое усилие, и галилеянин победит, но не в том ужасном смысле, в котором приписывал ему победу языческий царь, а в том истинном смысле, в котором он про себя сказал, что победил мир: “В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, — сказал он, — я победил мир” (Ин. XVI, 32), потому что он действительно победил мир, не в том мистическом смысле невидимой победы над грехом, который приписывают богословы этим словам, а в том простом, ясном и понятном смысле, что если только мы будем мужаться и смело

исповедовать его, то очень скоро не будет не только тех страшных гонений, которые совершаются над всеми истинными учениками Христа, исповедующими его учение на деле, но не будет ни тюрем, ни виселиц, ни войн, ни разврата, ни роскоши, ни праздности, ни задавленной трудом нищеты, от которых теперь стонет христианское человечество» (*Там же. С. 102 – 103, 105*).

Такие пространные цитируемые отрывки нужны нам — как свидетельства особенностей мировосприятия, религиозных переживаний и ожиданий самого Толстого-христианина.

Лев Николаевич стремился как можно скорее предать гласности дело о преследовании духоборов. Не дожидаясь окончания работы над своим Послесловием, он торопится отправить статью П. И. Бирюкова Джону Кенворти с коротким письмом в виде предисловия, которое он написал на имя редактора английской газеты:

«Средство помочь как гонимым, так в особенности гонителям, не знающим, что творят, есть только одно: гласность, представление дела на суд общественного мнения, которое, выразив своё неодобрение гонителям и сочувствие гонимым, удержит первых от их часто только по темноте и невежеству совершаемых жестокостей и поддержит бодрость во-вторых и даст им утешение в их страданиях.

[...] Мысли, вызванные во мне этими событиями, я выразил отдельно, и если вы хотите этого, то могу прислать их вам для напечатания уже после появления настоящей записки» (68, 173).

Послесловие Толстого в русской легальной прессе, конечно же, напечатано не было, но известия о нём появились в прессе, проникли и в заграничную русскую печать. Статья Бирюкова, в сокращении, была опубликована в лондонской «Times» (1895, № 34715, 23 октября) с письмом Толстого «К редактору английской газеты». Как особенно пакостную подробность, следует оценить оперативность, с какой в инициативу Толстого вцепились деятели революционной эмиграции из России, т. н. «Друзья русской свободы» и «Фонд вольной русской прессы» во главе с С. М. Кравчинским (Степняком). Названный «фонд» в том же, 1895-м, году выпустил очерк Бирюкова полностью, но хитро задвинув Предисловие к нему Л. Н. Толстого в Послесловие («заключение»), а в названии — заменив «христиан» на «духоборцев». Предисловием же в брошюре стал очерк Степняка (за подписью С. С.), не поддерживавшего авторов публикуемых материалов в главном: в христианском религиозном понимании жизни, но при этом отнюдь не скрывавший ликования о получении от «самого» Толстого новых материалов для антироссийской агитации и подготовке из-за рубежа революционного переворота в России:

«Лев Николаевич утверждает, что зверства над духоборцами были роковым результатом идеи государственности и что всякое правительство должно было бы поступить с духоборцами так, или почти так, как поступило русское. Но он ошибается с точки зрения как факта, так и права. Во-первых, во всех государствах, в том числе и в тех, где существует обязательная повинность, есть люди, отрицающие по религиозным убеждениям войну и употребление оружия. И нигде с ними не делают ничего подобного тому, что делают у нас с Дрожжиным, с Изюмченко и солдатами из духоборцев. Во-вторых, те двадцать тысяч духоборцев и духоборок, которых били, убивали, насиловали, топтали лошадьми вовсе не нарушали законов о воинской повинности, по той простой причине, что к таковой они призваны не были, лишь незначительная горсть из этих двадцати тысяч были в этом положении. За что же мучили остальных? За что разорили их всех? Единственно за их религиозные убеждения. Этого не делают нигде, кроме России. Преступление совершено и могло совершиться только благодаря нашему политическому строю и позор его ложится целиком на русское правительство.

Выступивши смело и открыто со своими разоблачениями, Лев Николаевич исполнил свой долг человека и гражданина. Появившись с его именем и под гарантией его непререкаемого авторитета, факты, им сообщаемые, облетят всю Россию и не одной тысяче людей послужат они новым стимулом для борьбы — всё равно, желает ли он этого или нет» (*Гонения на духоборцев. С заключением Л. Н. Толстого. London, 1895. С. 6 [Предисловие.]*).

Налицо «классический» образчик лживых подтасовок и переделки революционаристской сволочью христианских писаний Льва Николаевича Толстого, содержащих общественную критику и изобличающие сведения, в агитки, якобы, «за революцию» — паразитарная множественность которых в 1890 – 1910 гг., к слову, и актуализирует по сей день миф о «левом», или «красном», «революционном» Л. Н. Толстом.

Павел Иванович Бирюков не преминул похвастать в Биографии Толстого своей ролью в первых успешных шагах помощи близким Л. Н. Толстому сектантам:

«Произведённое мною следствие совершенно укрылось от местных властей и они, разослав в ссылку и рассадив по тюрьмам "бунтовавших" духоборцев, успокоились было на сознании, что временное возмущение подавлено. И в таком духе был составлен доклад высшему начальству. Из напечатанных же статей в "Times" они увидели, что дело только ещё начинается, огонь постепенно разгорается и что во

главе этого движения стоит уже не малограмотный мужик, а Лев Николаевич Толстой, вынесший эту борьбу на мировую арену.

Хотя за мной и был учинён надзор, я лично уцелел тогда, потому что Л. Н-ч, пожалев меня и не сказав мне этого, напечатал мою статью без моей подписи, так что она явилась анонимной и для преследования меня не было достаточных данных.

Правительством было назначено новое следствие, открывшее, конечно, новые преступления местных властей.

С этих пор установились непосредственные и частые сношения наши и Л. Н-ча с духоборцами как ссыльными, так и заключёнными, которым мы старались оказывать всестороннюю помощь» (*Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Указ изд. Т. 3. С. 259*).

Действительно, поездка П. И. Бирюкова принесла и другой результат — по возвращении его уже духоборы начинают писать письма толстовцам. Вскоре с Кавказа с просьбой о помощи к В. Г. Черткову, возглавляющему толстовское движение, прибывает и депутация, двое духоборов. На тот момент Чертков уже был знаком с ними по переписке. В активное общение с духоборами вступает и его жена, Анна Константиновна Черткова (урожд. Дитерихс; 1859 – 1927).

Одним из первых актов активной поддержки Толстым духоборов было письмо Льва Николаевича от 31 октября 1896 года, написанное по свежим известиям о положении духоборов-отказников — к начальнику Екатериноградского дисциплинарного батальона, в котором они содержались. Батальон находился в станице Екатериноградской Терской области Нальчикского округа, а командиром его с августа 1896 г. был подполковник Моргунов — о чём, впрочем, Толстой справиться нигде не мог, по какой причине начинает своё письмо с извинения:

«Милостивый государь,

Простите меня, пожалуйста, за то, что обращаюсь к Вам без имени и отчества. Я не успел узнать этого, а между тем по великой важности как для меня, так и для вас, дело, о котором мне нужно писать Вам, не терпит отлагательства.

Дело это есть пребывание в Вашем батальоне Кавказских духоборов, отказавшихся от военной службы.

Военное начальство, осудившее их, и Вы, исполняющий над ними приговор суда, очевидно признаёте поступок этих людей вредным и считаете полезными те меры строгости, которые употреблены про-

тив этих людей; но есть люди, и их очень много, к которым принадлежу и я, считающие поступок духоборов великим подвигом, самым полезным для человечества. Так же смотрели на такие поступки люди древнего христианского мира, и так же смотрят и будут смотреть на поступок духоборов истинные христиане нового времени.

Так что взгляды на поступок духоборов могут быть совершенно различны. В одном только сходятся все — как те, которые считают поступок духоборов добрым и полезным, так и те, которые считают его вредным, а именно в том, что люди, отказывающиеся от военной службы ради религиозных убеждений и готовые нести за это всякие страдания и даже смерть, — не порочные люди, но люди высоко нравственные, которые только по недоразумению власти (недоразумение, которое, вероятно, очень скоро будет исправлено) поставлены в одно и то же положение, как самые порочные солдаты.

Я понимаю, что Вы не можете взять на себя исправления ошибки или недоразумения высшей власти, а служа исполняете обязанности службы. Конечно, это так, но кроме обязанностей службы, взятых Вами на себя произвольно и обязательных для Вас только во время малого промежутка Вашей жизни, — у Вас, как и у каждого человека, есть обязанности не временные, но вечные и наложенные на Вас без Вашей воли, и от которых Вы не можете освободить себя.

Вы знаете, кто эти люди и за что они страдают, и, зная это, Вы можете, не выходя из пределов своих прав и обязанностей, не вводить этих людей в новое непослушание, и не подвергать их за это наказаниям, вообще пожалеть их и, сколько возможно, облегчить их участь, и точно так же можете, умышленно закрывая глаза на отличие этих людей от других преступников, замучить их до смерти, как это случилось в Воронежском дисциплинарном батальоне с бывшим учителем, теперь всем известным Дрожжиным, погибшим там мучеником своих христианских верований.

В первом случае Вы приобретёте благодарность и благословение самих заключённых, их матерей, отцов, братьев и друзей, главное же, в своей совести найдёте ни с чем несравнимую радость доброго дела; во втором же случае (я не говорю о самих заключённых, потому что знаю, что они найдут утешение в сознании того, что они смертью своею запечатлевают свою веру), какие страшные осуждения Вы вызовете своей жестокостью в родителях, родных и друзьях тех, которые погибли бы под Вашим начальством, главное же Вы сами для себя в этом случае наживёте такие укоры совести, которые не дадут Вам возможности ни радости, ни спокойствия.

Ведь можно бы было говорить: “Я не знаю и знать не хочу, за что присланы ко мне эти люди, но раз они присланы, они должны исполнять законные требования и т. п.”. Если бы Вы точно не знали этого; но ведь Вы знаете, — знаете хоть по этому моему письму, что люди эти присланы за то, что они хотят исполнять закон Бога, обязательный для Вас так же, как и для них, — закон Бога, не только запрещающий убивать или истязать друг друга, но и предписывающий помогать друг другу и любить.

И потому, если Вы не сделаете всё, что можете, для того чтобы облегчить участь этих людей, Вы навлечёте на себя не видное, но самое тяжёлое несчастье — сознание явного нарушения известной Вам воли Бога, сознание непоправимого, жестокого, дурного дела.

Так вот почему дело, о котором я пишу Вам, есть дело великой важности и спешное. Для меня же это дело великой важности потому, что, если бы я не сказал всего этого, я бы чувствовал себя виноватым перед Вами, перед собою и перед Богом.

Всё на свете можно поправить, только не безбожный и бесчеловечный поступок, в особенности, когда знал, что он безбожен и бесчеловечен, и всё-таки совершил его.

Простите меня, пожалуйста, если я что сказал лишнего. Истинно перед Богом говорю, что то, что я написал, я написал только потому, что считал это своей обязанностью перед Вами.

Я буду очень вам благодарен, если Вы ответите мне

С совершенным уважением остаюсь готовый к услугам.

Лев Толстой.

Адрес: Город Тула,

Графу Льву Николаевичу Толстому» (69, 190 – 192).

Ответа на это письмо Толстой не получил — «но кто знает, где прорастут брошенные семена», многозначительно, евангельской метафорой, завершает П. И. Бирюков в Биографии Толстого рассказ об этом эпизоде (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 3. С 277*).

Информация, собранная П. И. Бирюковым во время поездки и полученная из уст самих духоборов, позволила духовным соратникам Льва Николаевича выделить основные проблемы духоборов на Кавказе и определить посильные и наиболее эффективные пути их решения.

Первой проблемой, на которую обратили внимание толстовцы, стали вопиющие беззакония, творимые в отношении духоборов: «В силу своего отверженного положения, находясь как бы вне закона, духоборы оказались в неограниченной и бесконтрольной власти представителей местной кавказской администрации, из которых многие злоупотребляют своим положением» (*Бирюков П., Чертков В. Положение духоборов на Кавказе в 1896 году. Лондон, 1897. С. 11*). Толстовцами отмечаются факты арестов, несправедливых судов и жестокости тюремных служащих в отношении духоборов (имелись, как мы уже указывали, случаи смертей от экзекуций). Назначенные властями для контроля и поселённые среди духоборов в Карской области и Елизаветпольской губернии старшины грабили духоборов, совершали безнаказанные преступления.

Вторая серьёзнейшая проблема — бедственное положение вследствие переселения более 4 тысяч духоборов из Ахалкалакского уезда в четыре других уезда Тифлисской губернии.

Первое, что отмечают толстовцы — это несоответствие климата, вызвавшее среди духоборов всплеск эпидемий. Привыкшие к прохладному горному климату и переселённые в уезды жарких грузинских долин, духоборы стали чрезвычайно восприимчивы к таким острым заболеваниям как тиф, лихорадка, дифтерит, распространившимся, в особенности, среди детей и приведшим к высокой смертности.

Вторым следствием переселения стал голод. Духоборы были вынуждены оставить свои хозяйства и, не имея возможности на новом месте продолжить земледельческий труд, стали наниматься подённо к местному населению. Такой труд давал крайне малый доход. Как отмечают В. Г. Чертков и П. И. Бирюков: «У изгнанных духобор нет иной пищи, кроме хлеба, и в том иногда бывает недостаток. У большинства уже появились зловещие признаки голодания: общее истощение и куриная слепота» (*Там же. С. 10*).

Толстовцами были собраны данные по смертности среди духоборов в течение года с момента переселения. «На месте ссылки в Сигнальском уезде из 100 поселённых там семейств (ок. 1000 душ) умерло 106 человек. В Горийском уезде из 190 семейств умерло 83 человека. В Душецком уезде из 72 семейств умерло 20 человек. Почти все страдают болезнями, и болезненность и смертность всё увеличиваются» (*Там же*).

Третьей толстовцы определяют ещё одну крупную проблему духоборческого движения — ложный образ, приписываемый им властями. Обществу духоборы преподносятся как религиозные «революционеры-анархисты», руководимые проповедями Л. Н. Толстого и

Д. А. Хилкова (*Там же. С. 13*). И пока существует подобный ложный образ, судьба духоборов будет оставаться в опасности, поскольку не вызовет сожаления и сочувствия у основной массы российского общества.

После анализа круга основных проблем толстовцы П. И. Бирюков и В. Г. Чертков определяют программу действий по помощи положению духоборов.

Первую проблему, проблему беззакония в отношении духоборов, можно было попробовать решить с помощью воззвания, которое открыло бы глаза императору, чиновникам и обществу в целом на произвол местной администрации, либо, если высшие чиновники в курсе данных беззаконий, чтобы правительство не могло больше скрывать положение ссыльных духоборцев.

Написание текста воззвания было решено поручить П. И. Бирюкову, материалы к написанию подготовил И. М. Трегубов, редакцией и поправками занимались В. Г. Чертков и И. М. Трегубов, все трое подписали воззвание, названное «Помогите», и отвезли на подпись к Л. Н. Толстому.

По краткости документа, мы находим возможным привести текст брошюры в полном виде в Прибавлении № 2 к этой Главе.

Л. Н. Толстой, ознакомившись с текстом воззвания, вместо подписи написал послесловие, в котором по-журналистски энергично, чётко сообщал:

«Факты, рассказанные в этом, составленном тремя из моих друзей, воззвании, были много раз проверены, пересмотрены, просеяны; несколько раз это воззвание переделывалось, исправлялось; откидывалось из него всё то, что хотя и было правдой, но могло казаться преувеличением; так что всё то, что рассказывается теперь в этом воззвании, есть истинная, несомненная правда, настолько, насколько доступна правда людям, руководимым одним религиозным чувством желания служить этим обнаружением правды Богу и ближним: как гонимым, так и гонителям» (39, 192).

Для Толстого известия о бедствиях, претерпеваемых духоборами, были, по его признанию, «главным событием», turning point в жизни российского общества:

«С треском и шумом въезжает в Рим триумфатором какой-нибудь римский император, — как это кажется важно; и как тогда казалось ничтожно то, что какой-то галилеянин проповедывал какое-то новое учение и был за то казнён, наравне с сотнями других, казнённых за подобные же, как казалось, преступления. [...] А между тем как в действительности не только ничтожны, но комичны, — рядом с тем

огромной важности явлением, которое происходит теперь на Кавказе, — те странные заботы взрослых, образованных и просвещённых учением Христа (по крайней мере знающих это учение и могущих быть просвещёнными им), о том, какому государству будет принадлежать та или другая частица земли...

[...] Ведь Пилату и Ироду можно было не понимать значения того, за что был приведён к ним на суд возмущавший их область галилеянин; они даже и не удостоили узнать, в чём состоит его учение... А если мы знаем это, то нам нельзя, несмотря на неважность, необразованность и неизвестность духоборов, не видеть всей важности того, что совершается между ними. Ведь ученики Христа были такие же неважные, неутончённые, неизвестные люди. Иными и не могут быть ученики Христа. Среди духоборов, или, скорее, христианского всемирного братства, как они теперь называют себя, происходит ведь не что-нибудь новое, а только произрастание того семени, которое посеяно Христом 1800 лет тому назад, — воскресение самого Христа...

[...] Ведь все наши государственные устройства, наши парламенты, общества, науки, искусства, ведь всё это только затем и есть, и живёт, чтобы осуществлять ту жизнь, которую все мы, мыслящие люди, видим перед собой как высший идеал совершенства. И вот есть люди, которые осуществили этот идеал, вероятно отчасти, не вполне, но осуществили так, как мы и не мечтали осуществить его со своими сложными государственными устройствами. Как же нам не признать значения этого явления? Ведь осуществляется то, к чему мы все стремимся, к чему ведёт нас вся наша сложная деятельность» *(Там же. С. 193 – 195).*

Снова и снова Толстой стремится убедить общество активно помочь рождению в мир новой, истинно христианской жизни:

«Ведь жизнь есть жизнь только тогда, когда она есть служение делу Божию. Противодействуя же ему, люди лишают себя жизни, а между тем ни на год, ни на час не могут остановить совершения дела Божия.

И то ожесточение и слепота русского правительства, направляющего против христиан всемирного братства гонения, подобные временам язычников, и та удивительная кротость и стойкость, с которыми переносят эти гонения новые христианские мученики, — всё это несомненные признаки близости этого совершения» *(Там же. С. 196).*

Помимо Послесловия, датированного в окончательной версии лишь 14 декабря 1896 г., Толстой редактирует само воззвание Черткова, Бирюкова и Трегубова «Помогите!». «Ваше воззвание я исправляю

очень усердно, — писал он Черткову. — Не знаю, вышло ли хорошо» (87, 377). Но Толстого не оставляло чувство стыда: «Как ничтожны наши письменные работы в сравнении с работой людей, под розгами исповедующих истину» (Там же. С. 382).

23 ноября Толстой прочитал воззвание собравшимся в Хамовниках общественным деятелям, но видел, что «впечатление оно не произвело. Должно, особенно для тех, кому уже известно, и холодно — не забирает» (87, 384). И редактирование Львом Николаевичем Толстым ничтожного объёмами текста продолжилось — до середины декабря!

От себя же Толстой писал горячо и убедительно для тех, кому дорога истина и способность к состраданию:

«Хотим ли или не хотим видеть это, — теперь на Кавказе в жизни христиан всемирного братства, особенно со времени гонения на них, проявилось то осуществление христианской жизни, для которого происходит всё то доброе и разумное, что только творится в мире.

[...] Обыкновенно говорят: такие попытки осуществления христианской жизни уже были не раз: были квакеры, были менониты и другие, и все они ослабевали и вырождались в обыкновенных людей, живущих общию государственною жизнью. И потому попытки осуществления христианской жизни не важны.

[...] Говорят, что это сделается, но только не таким путём, а каким-то другим: книгами, газетами, университетами, театрами, речами, собраниями, конгрессами. Но если и допустить, что все эти газеты, и книги, и собрания, и университеты содействуют осуществлению христианской жизни, — ведь осуществление должно совершиться людьми, — людьми добрыми, христиански настроенными, готовыми к доброй, общей жизни; и потому главное условие осуществления есть существование и собрание таких людей, которые осуществляют уже то, к чему мы все стремимся. И вот такие люди есть.

И нельзя не видеть, что при той внешней связи, установившейся теперь между всеми обитателями земли, при том пробуждении христианского духа, которое проявляется теперь со всех сторон земли, совершение это близко. И потому, поняв всю важность совершающегося события как в жизни всего человечества, так и каждого из нас, помня, что тот случай действовать, который представляется теперь нам, никогда уже не возвратится, сделаем то, что сделал купец евангельской притчи, продавший все для того, чтобы приобрести бесценную жемчужину; пренебрежём всеми мелкими, алчными соображениями, и каждый из нас, в каком бы положении он ни находился, сделаем всё то, что в нашей власти, для того, чтобы если уже

не помочь тем, через кого делается дело Божие, если уже не для того, чтобы участвовать в этом деле, то, по крайней мере, чтобы не быть противниками совершающегося для нашего блага дела Божия» (39, 194 – 196).

Брошюра «Помогите! Обращение к обществу по поводу гонений на кавказских духоборов, составленное П. Бирюковым, И. Трегубовым и В. Чертковым. С послесловием Льва Николаевича Толстого» явилась в свет в 1897 г. в Лондоне. Толстой одобрил план сообщить о воззвании Николаю II и распространять среди общества.

Кроме воззвания, в 1897 г. В. Г. Чертков и П. И. Бирюков публикуют брошюру «Положение духоборов на Кавказе в 1896 году», так же использованную нами выше, где подробно описываются проблемы, возникшие у русских сектантов по вине властей и содержится призыв исправить ошибки.

О последствиях распространения воззвания «Помогите» биограф Толстого и непосредственный участник событий, один из авторов воззвания П. И. Бирюков вспоминает следующее:

«Наше воззвание вскоре возымело своё действие. За нами был учинён надзор. Наконец, 2 февраля утром нагрянули жандармы, произвели обыск и отобрали весь сектантский архив. Через 2 дня нам <П.И. Бирюкову и В. Г. Черткову> была объявлена ссылка». Сам П. И. Бирюков в письмах Л. Н. Толстому пишет о своей уверенности, что дело духоборов было лишь поводом, жандармы «искали вообще все книги и рукописи по «толстовской пропаганде» (Цит. по: Лучникова Е.А. Роль толстовского движения в организации помощи гонимым за веру духоборам Кавказа в конце XIX – начале XX вв. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2014. М., 2014. С. 112).

6 февраля 1897 г. в имение друзей семьи Толстых Олсуфьевых, у которых гостил в те дни Толстой, Никольское, прибыл из Петербурга И. И. Горбунов-Посадов, сообщивший Л. Н. Толстому грустные известия: за «вмешательство в дела сектантов» (т.е. за попытки помочь духоборам) одного из друзей Толстого, П. И. Бирюкова, готовят к высылке в Курляндскую губернию, а другого, В. Г. Черткова — за границу. Толстой немедленно едет в имперскую столицу — проститься... Из Никольского-Обольянова вместе с Толстым Софья Андреевна 7-го числа выехала в Петербург, где супруги остановились в доме А. В. Олсуфьева.

А вот подробности из Биографии Л. Н. Толстого:

«Это было в декабре 1896 г. Л. Н-ч был тогда уже в Москве. Предвидя катастрофу, я съездил проститься с родными и отправился в

Петербург догнать Черткова, который был уже там, чтобы действовать заодно.

"Помогите" с послесловием было отпечатано на машинке во множестве экземпляров и разослано по заранее составленному списку лицам, стоящим во главе правительства, всем видным общественным деятелям и вообще всем, от кого можно было ждать какого-либо участия. Государю также был передан экземпляр. Последствия этого не замедлили обнаружиться. В квартире Черткова был произведён обыск, были отобраны все документы по духоборческому делу, и через несколько дней подписавшим воззвание была объявлена административная ссылка на 5 лет под надзор полиции. Причём В. Г. Черткову ссылка была заменена высылкой за границу, меня же прямо отправили в ссылку в Курляндскую губернию, в город Бауск, близ Митавы. Это произошло 2-го февраля 1897 года, а самая высылка произошла через несколько дней. Л. Н-ч жил тогда у своего друга графа Олсуфьева в Никольском, близ Москвы. Получив телеграмму о нашей высылке, он приехал проводить нас в Петербург и провёл с нами несколько дней; эти дни надолго останутся в моей памяти. Мы собирались каждый вечер в квартире Черткова, окружали Л. Н-ча тесным кольцом, и душевная беседа наша высоко поднимала наш дух, и никакие козни дьявольские нам тогда не были страшны.

[...] Лев Николаевич уехал из Петербурга накануне нашей высылки, напутствуя нас самыми сердечными пожеланиями. Мы обняли его и разлучились с ним почти на 8 лет.

[...] Ссылка наша произвела, конечно, сенсацию в обществе и сильно взволновала Л. Н-ча. Во многих письмах к друзьям и даже к малознакомым людям он говорит об этой ссылке со смирением и с самообличением, считая себя недостойным терпеть какое-нибудь преследование.

Вместе с тем одной из главных забот его было как-нибудь утешить, ободрить нас, сосланных его друзей; оказать нам какую-нибудь услугу, чем-нибудь выразить свою любовь к нам, которой, нам казалось, мы так мало заслуживали. И письма его к нам полны выражениями самых нежных, трогательных чувств.

[...] Несколько отрывков достаточно, чтобы составить себе понятие о том, как следил и заботился Л. Н-ч о своих, удалённых от него, друзьях» (*Бирюков П. И. Указ. соч. С. 280, 282, 284*).

И ещё бы было Толстому не следить! После объявления ссылки толстовцы В. Г. Чертков и П. И. Бирюков продолжают полезнейшим образом участвовать в общем деле, но уже с помощью созданных в

Англии, а затем в Швейцарии периодических изданий «Свободное слово» и «Свободная мысль». В каждом номере своих журналов толстовцы помещают раздел о духоборах (общие статьи о мировоззрении, письма духоборов, отчёты о жизни духоборов), а так же ведут сбор денежных средств в их поддержку. Разделы о духоборах и об отказниках от военной службы толстовцы считают важнейшими. Публикуются письма духоборов, сосланных в Сибирь, как, например, в январском номере «Свободного слова» за 1904 г. В некоторых выпусках вместе с самой публикацией даются и результаты: «Опубликованы 23 случая гонений или несправедливого суда. Всего было привлечено к ответственности только по этим сообщениям 298 человек» (*Свободное слово. 1901. № 1. С. 23*).

Мимоходом отметим, что, в отличие от духовной единомышленницы мужа, Анны Константиновны Чертковой, жена Льва Николаевича, Софья Андреевна Толстая, не одобряет вмешательства мужа и его друзей в дела сектантов и не симпатизирует духоборам — но в переписке с ней Толстого тема духоборов присутствует так же. Вот отрывок из письма от 31 октября 1896 г. с рядом значительных для нас подробностей:

«Вчера получил от Черткова и Трегубова письма с описанием бедствий, претерпеваемых духоборами. Одного, они пишут, до смерти засекали в дисциплинарном батальоне, а семьи их, разорённые, как они пишут, вымирают от бездомности, голода и холода. Они написали воззвание за помощью к обществу, и я решил послать им из наших благотворительных денег тысячу рублей. Лучшего употребления не найдут эти деньги, и они тебя поблагодарят за то, что ты против моего желания выхлопотала эти деньги. <«Гонорар из театра автору за “Плоды просвещения” и “Власть тьмы”, сначала поступавший голодающим, потом погоревшим крестьянам; и из них Лев Николаевич взял и духоборам». – *Примечание С. А. Толстой.*> Поэтому, когда приедешь, привези эти деньги, или подожди, я спишусь с Чертковым, куда их послать. Передаются же деньги верно через одну всем знакомую княжну <Елену Петровну> Накашидзе, которая уже передавала им деньги от квакеров.

Это известие было для меня главным событием за это время. Я написал <в защиту духоборов> ещё письмо к кавказскому начальнику батальона. [...]

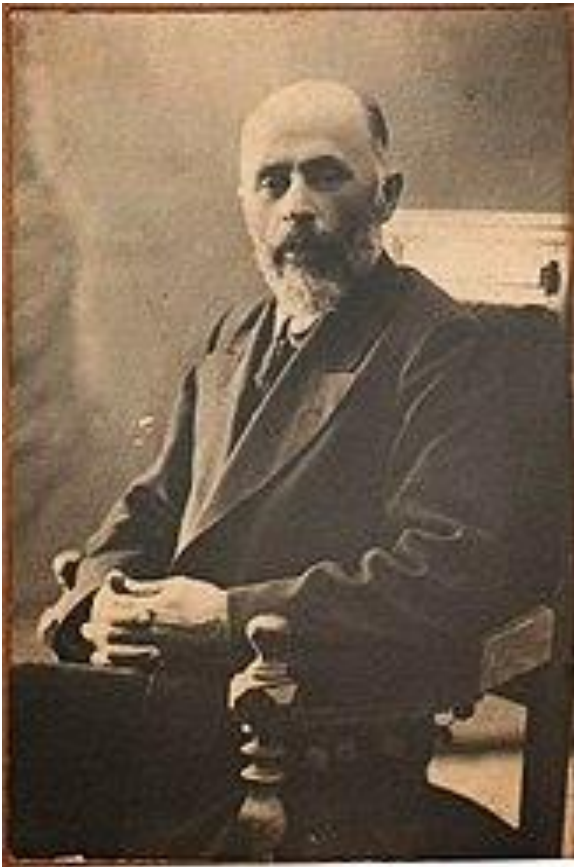
Л. Т.

31 Окт. 96» (84, 269).

Упомянутая в письме *Елена Петровна Накашидзе* (груз. ელენა პეტროვის ბაკაშიძე; 1868 – 1943) — сестра грузинского хорошего помощника Льва Николаевича, филолога по образованию, *Ильи Петровича Накашидзе* (груз. ილია პეტროვის ძე ბაკაშიძე, 1866 – 1923). Надо сказать, что, как и в наши дни, в связи с событиями в Украине, тогда, в конце XIX столетия, подлая жестокость российского режима в отношении духоборов встретила возмущение всей просвещённой грузинской общественности. Прекрасный, мудрый, дружный, проникнутый духом учения Христа и сущностно свободолюбивый народ массово включился в сбор средств на спасение жертв имперского садизма, столь традиционного для России. Через Хилкова, Бирюкова и некоторых других посредников завязалось знакомство писателя с некоторыми грузинскими деятелями. Илья Петрович не был первоначально духовным единомышленником Толстого-христианина: сознание молодого человека было в те годы отравлено материализмом и социалистической пропагандой. Он взялся помогать духоборам не из сочувствия их религиозным взглядам, а потому, что видел в них крестьян-тружеников, преследуемых властями. При первой встрече в 1896 г. Толстой подробно расспросил И. П. Накашидзе о положении духоборов. Ему понравилось, что духоборы жили честным земледельческим трудом и среди них не было сословного различия. В свою очередь, Накашидзе стал доверенным лицом Толстого в Грузии — сперва именно в связи со сбором средств для духоборов — и, испытав духовное влияние Льва-учителя, стал скоро верным последователем евангельского, первоначального учения Христа, возвращённого миру Толстым. Прежние «друзья» не годились уже ему в спутники общего с великим яснополянцем дела жизни — зато, как и в случае с Анной Константиновной, женой Черткова, он нашёл единомыслие со своей сестрой и своей супругой — столь недостававшее в годы христианского исповедничества самому Льву Николаевичу! Учительница в Тифлисе, деятельная участница распространения внешкольного образования среди рабочих, Елена Петровна Накашидзе, в отличие от увлечённого «революцией» брата, уже в 1890-х гг. была заочной ученицей, единомышленницей Льва Николаевича и распространяла у себя на родине запрещённые цензурой его книги «В чём моя вера?», «Царство Божие внутри вас», «Соединение и перевод четырёх Евангелий» и др. Вообще в Грузии перед Толстым, гениальным писателем, преклонялись, но влиянию Толстого-морали-

ста порой противились, в особенности молодая грузинская интеллигенция, более ориентированная на светские, в том числе революционаристские, идеалы.

Вместе с князьями Д. А. Хилковым и Г. А. Дадиани (полковник, который оставил службу и жил как простой крестьянин) была в Грузии активной сотрудницей в деле помощи духоборам. Толстой благодарил её за интересные и полезные сведения о съезде духоборов, происходившем осенью 1896 г. в Горийском уезде Тифлисской губ., а также за другую информацию о бедственном положении духоборов, которую она регулярно, ещё с 1895 г., пересылала и ему, и В. Г. Черткову, и И. М. Трегубову. «Елена Петровна пусть пишет мне. Разумеется, с радостью буду служить ей, чем могу. Буду собирать сведения о духоборах и заведу отдельную папку для сведений о гонениях», — откликнулся Толстой в письме ок. 26 – 28 февраля 1897 г. к И. М. Трегубову (70, 40).



Супруги Накашидзе, Илья Петрович и Нино Иосифовна

Наперегонки с братом Елена Петровна регулярно информировала Толстого и его единомышленников о положении духоборов в Грузии. Преследуемая полицией, она в 1897 г. уезжает в Москву, где в марте

1897 г. знакомится лично с Толстым, а оттуда, в связи с продолжением полицейской травли — к В. Г. Черткову в Англию.

О жизни мужа и его сестры, об отношениях с Л. Н. Толстым сохранились мемуары жены Ильи Петровича, Нино Иосифовны Накашидзе (груз. ნინო იოსებოვიძის ხსენებები; 1872 – 1963), так же единомышленницы и помощницы Л. Н. Толстого, переводчицы некоторых его рассказов на грузинский язык (см. Накашидзе Н. Несколько лет вблизи Льва Толстого. Тбилиси, 1988).

И ещё, из письма Толстого к жене, от 12 ноября 1896 г.:

«От Ивана Михайловича Трегубова и Черткова получил ответ о том, куда послать деньги духоборам, и ещё подробности об их бедственном положении. Письмо это прилагаю. Я думаю, что скоро возбудится сочувствие к ним и помощь, и хорошо начать. Деньги послать вот как: Тифлис. Мало-Каргановская, № 11. Князю Илье Петровичу Накашидзе, а внутри конверта, на бумаге, в которую будут завернуты деньги, надписать: для Е. П. Н.— Е. П. Н. — это Елена Петровна Накашидзе, и она дала этот адрес. Пожалуйста, пошли эти деньги. Это нужно.

Я тебе говорил, кажется, про чернильницу какую-то дорогую, которую в подарок мне хотели прислать из какого-то клуба в Барселоне. Я написал им через Таню, что предпочитал бы предназначенные на это деньги употребить на доброе дело. И вот они отвечают, что, получив моё письмо, они открыли в своём клубе подписку и собрали 22. 500 франков, которые предлагают мне употребить по усмотрению. Я пишу им, что очень благодарен, и как раз имею случай употребить их на помощь духоборам. Что из этого выйдет, не знаю. Очень это странно. А чернильница, говорят, — заказана, и мы её всё-таки пришлём, вы можете продать её и употребить деньги, как хотите» (84, 271).

Сохранилось аж целых *пять* писем к Толстому из Испании от некоего Деметро Санини из Барселоны. В последнем письме от 27 декабря 1896 г. он сообщал, что предполагает разыграть в лотерею заказанную чернильницу и надеется выручить за неё 50 000 франков в пользу духоборов. Дальнейших извещений из Испании не последовало, и ни денег, ни чернильницы от испанской бестолочи Лев Николаевич так и не заполучил.

Так же, с малых сумм и зависимости от жены начинал Толстой в октябре 1891 года великую эпопею помощи голодавшим крестьянам. Было в этой эпопее и другое сходство с “голодной”, начала

1890-х: в том, что Толстого, как и тогда, отвращала сама идея “помощи” деньгами, а не добрыми делами. Один из друзей и единомышленников Льва Николаевича, *Пётр Николаевич Гастев* (1866 – ?), узнав, что Лев Николаевич занят помощью духоборцам и стал собирать на это денежные средства, написал ему 12 февраля 1897 г. письмо с упрёком в непоследовательности. Из ответа Л. Н. Толстого, 26 февраля:

«Всё, что вы пишете мне, дорогой Пётр Николаевич, совершенная правда, и я сам всегда так но только думал и думаю, но всегда так чувствовал и чувствую. Непосредственно чувствую, что просить помощи материальной для людей, страдающих за истину, нехорошо, совестно. Бы спросите, для чего же я присоединился к воззванию, подписанному Ч[ертковым], Б[ирюковым] и Т[регубовым]?»

Я был против, так же как был даже против помощи голодающим, в той форме, в которой мы её производили; но когда вам говорят: есть дети, старики, слабые брюхатые, кормящие женщины, которые страдают от нужды, и вы можете помочь этой нужде своим словом или делом, — скажите это слово, или сделайте это дело. Согласиться, значит стать в противоречие со своим убеждением, высказанным о том, что помощь всем всегда действительная состоит в том, чтобы очистить свою жизнь от греха и жить не для себя, а для Бога, и что всякая помощь чужими, отнятыми от других, трудами есть обман, фарисейство и поощрение фарисейства; не согласиться, значит отказать в слове, поступке, который сейчас может облегчить страдание нужды. Я, по слабости своего характера, всегда избирал второй выход и всегда это мне было мучительно» (70, 37 – 38).

27 августа 1897 г. Толстым была окончена первая редакция обращения по поводу Нобелевской премии для шведской газеты «Stokholm Tagblatt».

Умерший в 1896 г. шведский инженер, изобретатель динамита, пацифист Альфред Нобель завещал на проценты от оставленного им огромного капитала ежегодно присуждать и выдавать премии — за лучшие произведения и труды, служащие делу мира и объединению народов, и за лучшие труды в области точных наук. Решением вопроса занималась шведская Академия. В 1897 г. это делалось впервые.

Софья Андреевна, вернувшись 29-го из Москвы, где была по учебным делам сына Михаила (оставленного на второй год), записала 31 августа в дневнике на 31 августа следующее:

«Дело в том, что шведский керосиновый торговец Нобель оставил завещание, что всё его миллионное богатство он оставляет тому, кто

больше всего сделает для мира (la paix) и, следовательно, против войны. В Швеции по этому поводу был совет, и решили, что Верещагин своими картинами выразил протест против войны. Но по дознаниям оказалось, что Верещагин не по принципам, а случайно выразил этот протест. Тогда сказали, что Лев Николаевич заслужил это наследство. Конечно, Лев Николаевич не взял бы денег, но он написал письмо, что больше всех сделали для мира духоборы, отказавшись от военной службы и потерпевши так жестоко за это.

Я ничего не имела бы против такого письма, но оказалось, что в письме этом Лев Николаевич грубо и задорно бранит русское правительство, и некстати, не к делу, а так, из любви к задору. Меня очень расстроило это письмо, на мои слабые нервы я просто пришла в отчаяние, плакала, упрекала Льва Николаевича, что он не бережёт своей головы и дразнит правительство без нужды. Я даже хотела уезжать, потому что не могу больше жить так нервно, так трудно и под такими вечными угрозами, что Лев Николаевич напишет что-нибудь отчаянное и злое против правительства и нас сошлют.

Он тронулся моим отчаянием и обещал письмо не посылать. Сегодня он опять решил, что пошлёт, но смягчённое» (*Толстая С.А. Дневники: В 2-х тт. М., 1978. Т. 1. С. 290*).

Софья Андреевна пугалась и не сочувствовала схватке мужа со смертью за жизнь: с Россией и её политическим режимом — за жизни духоборов, которых славный яснополянец взялся эвакуировать из этой страны вечных мрака, рабства, страданий и гарантированной гибели как плоти, так и души. Чем «всемирней» он становился, чем больше обрастал связями, дискурсами и поддержкой передовых людей своей эпохи — тем всё меньше и меньше принадлежал хотя и критично воспринимавшемуся Софьей Андреевной, умной дочерью немца, но всё-таки привычному для неё «русскому миру», тем необратимее рвал с ним связи внушённых с детства обманов сословной эрзац-культуры и церковной эрзац-религии — в пользу всечеловеческого культурного и духовного самостроения и в пользу живой, руководящей поступками, веры Христа, чистого, первоначального учения Христа как познанной Божьей правды-Истины, как всехнего актуального руководства в жизни...

2 сентября Толстой изведал В. Г. Черткова: «Письмо в Швецию, черновое, которое вам привезёт Ростовцев, я ещё исправлю и надеюсь завтра или послезавтра послать Арвиду Ернефельту» (88, 49). 15 сентября в дневнике Толстого запись: «Соня боится. Очень жаль, но я не могу не сделать». 21 сентября «очень талантливым молодым шведом» Вольдемаром Ланглетом, посетившим Толстого ещё весной и теперь приехавшим снова, был закончен перевод. 23 сентября письмо

было отправлено, вместе с личным обращением (по-французски) к редактору «Stokholm Tagblatt».

Подробно объяснял Толстой новым читателям подвиг простых русских людей, отказывающихся от военной службы. И употребил своё любимое в это время сравнение: «Говорить, что способ этот недействителен, потому что давно уже употребляется, а войны всё-таки существуют, всё равно, что говорить, что весной тепло солнца не действительно, потому что не вся земля оттаяла и не распустились цветы» (70, 151). В конце говорил, что деньги следует передать как можно скорее, потому что нужда духоворческих семей «к зиме должна дойти до крайней степени. Если деньги эти будут присуждены семьям духоворов, то они могут быть переданы им прямо на местах или тем лицам, которые мною будут указаны» (Там же. С. 154).

Конечно же, Нобелевским комитетом вопрос о Премии для духоворов даже не рассматривался, поскольку премия присуждалась *лицам*. Но письмо Толстому «аукнулось» позднее: когда снова возникли предложения о Нобелевской премии для Толстого, последовало отрицательное решение шведской Академии в связи с «анархизмом» русского писателя.

Добавим к сказанному, что классик толстоведения по этой теме М. Чистякова полагала это письмо Льва Николаевича его «первой попыткой выступления на международной арене по вопросу всеобщего мира» (Чистякова М. Толстой и европейские Конгрессы мира // Литературное наследство. Том 37 – 38. Л.Н. Толстой. М., 1939. С. 599). Наш читатель, наблюдавший над подготовкой целой команды помощников Льва Николаевича к международной именно публикации трактата «Царство Божие внутри вас», содержащего религиозный, христианский ответ на вопрос об обеспечении всеобщего мира — уже знает, что это не так.

Полный текст письма Л. Н. Толстого к редактору «Stokholm Tagblatt» мы выносим в Прибавление 3-е к данной Главе.

Начиная с этого времени постоянная забота о преследуемых и страдающих за свои убеждения нескольких тысячах людей не уйдёт из жизни Толстого, пока не завершится переселением больших партий духоворов в Канаду.

Надеясь получить помощь от богачей, 15 августа Толстой вручил П. А. Буланже своё письмо *Козьме Терентьевичу Солдатёнкову* (1818 – 1901) (передано не было, потому что этот богатый московский купец, меценат, издатель и собиратель картинной галереи, находился в ту пору за границей).

21 августа в Ясную Поляну приехал Илья Петрович Накашидзе, («брат той княжны Накашидзе, которая в Тифлисе передавала деньги духоборам и потом уехала в Англию, к Чертковым» — Толстая С.А. *Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 288*). С Накашидзе Толстой отправил кавказским духоборам уже упоминавшееся нами выше письмо со словами духовной и информационной поддержки:

«Любезные братья, страдающие за учение Христа!

Брат наш И. П. Н[акашидзе] заехал, по дороге домой, ко мне, и мне захотелось написать вам то, что не я один, но многие и многие люди и у нас и за границей знают и думают о вас и боятся за вас. Если Бог велит, то мы пришлём вам, вашим детям, женщинам и старым людям, больным, посильную помощь; духовную же помощь мы и многие, и здесь и за границей, мы получаем от вас и просим вас не оставлять нас вашей помощью. Помощь эта в том, что вы первые показываете пример хождения по пути Христову; задним легче, чем передним. Вы идёте впереди, и многие благодарят вас за это. Христос сказал: “Меня гнали, будут гнать и вас”, так и сбывается; жалко малых и старых, а ещё жальче гонителей: ведь они уже знают теперь, что они гонят не вас, а Христа, того самого, который пришёл спасать их. Они видят свой грех, но так завязли в нём, что не могут отстать от него. Они делают своё дурное; помощи им Бог опомниться и присоединиться к нам. Передавал мне И[лья] П[етрович] рассказы, как ваши братья, страдающие за отказ от участия в делах дьявола, в убийстве, поступили с теми, которые не выдержали гонений и согласились служить. Если те, которые сами страдают за Христово дело, просили прощения у тех, которые не выдержали гонений, за те страдания, которые они понесли по примеру и научению братьев, то как же мне, не удостоившемуся пострадать за Христово дело, надо выпрашивать прощения у всех тех, кого мои слова и писания повели к страданиям?

Тот, кто страдает за Христово дело не по наущению людей, а потому, что не может поступить иначе перед Богом, не нуждается в людских утешениях и поощрениях, а тот, кто поступает не для Бога, а для славы людской, тому тяжело, и его надо утешать и поддерживать и просить у него прощения, если он пострадает из-за нас.

И потому, братья, не упорствуйте в своём отказе от государственной службы, если вы это делаете для того, чтобы не укоряли вас в слабости. Если можете делать то, что от вас требуют — делайте, — избавьте этим ваших слабых жён, детей, больных, старых от мучений. Если не вселился в человека дух Христов, который не позволяет

ему делать противное воле Бога, то всякий из вас должен ради любви к своим отказаться от прежнего и покориться; никто не осудит вас за это. Так должны вы поступать, если можете. Если же дух Христов вселился в человека, и он живёт не для себя, а для исполнения воли Бога, то он и рад бы согласиться сделать всё для своих страдающих ближних, да нельзя ему сделать этого, как нельзя одному человеку поднять 100 пудов; а если так, то Христов дух, который противится делам дьявола, научит, как поступать, и утешит в страданиях и своих и близких.

Многое хотел бы я сказать вам и узнать от вас. — Если Бог велит — свидимся. Пока прощайте, братцы. Целую вас.

Брат ваш слабый, но любящий вас.

Лев Толстой» (70, 126 – 127).

В начале сентября пришло известие от П. А. Буланже: через московского обер-полицеймейстера ему сообщили «любезное приглашение» явиться в Петербург к министру внутренних дел. Толстой беспокоился. За публикацию статьи о духоборах, сношения с ними и распространение христианского слова Буланже высылали за границу. Скоро он уехал в Англию к Чертковым.

8 сентября в доме Толстого появился ещё один помощник, упоминаемый им, в частности, в письме к жене от 14 (15?) сентября 1897 г. *Артур Карлович Син-Джон* (St. John; ум. после 1907 г.) был незадолго до 1897 года офицером колониальной службы в Индии, но, познав через Льва Николаевича истину учения Христа, вышел в отставку и поселился сначала в аграрной общине в Перлее, у Чертковых. Переписывался с Толстым и сумел заранее, заочно, произвести на него положительное впечатление. В 1897 г. Син-Джон приехал в Россию для передачи пожертвований духоборам от английских квакеров. При личной встрече Толстой быстро «раскусил» испорченную натуру Син-Джона, и записал о нём 19 сентября в Дневнике: «Был St. John, джентльмен и серьёзный, но боюсь, что больше для славы человеческой, чем для себя, для Бога» (53, 151 – 152). Син-Джон, однако, стремился нравственно исправиться: принимал участие в переселении духоборов из России, и в 1899 г. сам поселился вместе с ними в Канаде.

В тот раз Толстой направил Син-Джона к Накашидзе, прося помочь этому «прекрасному, серьёзному человеку» — «он хочет войти в общение с духоборами» (70, 135). Собрать сведения о жизни духоборов в грузинских деревнях не удалось: пробыв на Кавказе лишь около двух недель, Син-Джон был арестован и выслан на родину.

Продолжалась переписка с И. М. Трегубовым, продолжавшим дело помощи духоборам на Кавказе. 5 апреля 1897 г. в Тифлисе, по выходе из зала суда, где слушалось дело елизаветпольских духоборов, его арестовали и отправили в Курляндскую губернию. Письма к нему проникнуты не только дружеским, но отеческим чувством: Трегубов тяжело переживал неразделённую, с первого взгляда, любовь к Елене Петровне Накашидзе, и Толстой пытался его утешить.

Итак, дело было мощно начато! Мы видим, что *третья* фундаментальная проблема в духоборческом деле проблема — ложный образ русского сектантства в глазах общества, потребовала длительного и планомерного разрешения. Толстовцы постепенно стараются изменить образ духоборов в массовом сознании россиян путём публикации статей и брошюр, разъясняющих вопросы вероучения и описывающих жизнь и быт гонимых за веру. Переменить отношение всего общества к сектантству, конечно же, было задачей практически невыполнимой, однако образованная интересующаяся публика именно через толстовские издания познакомилась с более объективным их образом. Более подробное рассмотрение этого комплекса мер выходит за тематические рамки нашего исследования.

А вот *вторую* проблему, выделенную толстовцами, спасения духоборов от преследования тётей родиной, эвакуации их подальше от России, пытается решить сам, во многом, «виновник» их положения, Л. Н. Толстой, прибегнув к помощи своих последователей...

В последний день 1897 года, 31 декабря, министр внутренних дел, замечательный Иван Логгинович Горемыкин (1839 – 1917), действительный тайный советник, даёт принципиальное разрешение на выезд духоборов за границу — без права возвращения. 24 января главноначальствующий гражданской частью на Кавказе князь Григорий Сергеевич Голицын направил об этом сообщения тифлисскому, бакинскому, эриванскому губернаторам и военному губернатору Карсской области. 19 марта 1898 г. Толстой записал в Дневнике: «Главное событие за это время разрешение духоборам выселиться» (53, 185). И тогда же заметил в письме к Л. Ф. Анненковой: «Духоборам разрешено переселиться в Америку или Англию, и они просят помочь им. Я весь поглощён этим» (71, 320).

Судя по воспоминаниям милейшего Леопольда Антоновича Сулержицкого, «поглотить» себя Толстой позволил далеко не сразу. Леопольд Антонович начинает свои мемуары «В Америку с духоборами» со слов уважительного признания этим трудолюбивым и выносливым людям:

«Духоборы — сами плотники, ткачи, кузнецы, портные, столяры и каменщики. Они ничего не покупают и, куда бы ни пришли, всюду они приносят с собой всё, что необходимо для создания полной, зажиточной жизни. Упорный труд и широко развитое начало взаимопомощи, составляющее отличительную черту духоборов, помогли бы им достигнуть такого же благосостояния и на новом месте хоть и в нездоровых, но плодородных долинах Тифлисской губернии» (*Сулержицкий Л.А. В Америку с духоборами. (Из записной книжки). М., 1905. С. 6).*

Но сволочная тётя родина это учла — и на три с половиной года после высылки в Тифлисскую губернию создала для высланных атмосферу неопределённости, так что люди не могли знать, не пропадут ли их труды в связи с новым вынужденным, принудительным переселением. Именно это обстоятельство более прочего расположило духовных христиан к отъезду:

«У ссыльных духоборов (в это время их насчитывались около 3.500 чел.) на случай переселения, которое они, очевидно, давно имели в виду ещё до высылки их в Тифлисскую губернию, было отложено около 50 000 р. Деньги эти сохранялись в целости, несмотря на самую крайнюю нужду. Относительно переселения, среди духоборов существовало предание, будто бы настанет такое время, когда им придётся выехать из России куда-то в новую страну. По мнению „старичков“, время это именно теперь наступило, и летом 1897 г. представители духоборов лично подали прошение Императрице Марии Феодоровне, бывшей в то время на Кавказе. В прошении духоборы просили разрешить им выселиться из России. В начале 1898 г. духоборы получили на это официальное разрешение, с тем однако условием, что, выселившись, они теряют право на возвращение в Россию.

Когда вопрос таким образом был решён, духоборы отправили двух своих доверенных к Льву Николаевичу Толстому с просьбою помочь им в выборе страны, а также в средствах и организации переселения.

Л. Н. Толстой к переселению отнёсся неодобрительно и долго убеждал доверенных отказаться от всякой мысли о выселении из России, приводя как моральные, так и чисто практические доводы против последнего. В подкрепление своего мнения он приводил письмо Петра Веригина, главного руководителя духоборов, жившего в то время в Обдорске. В письме этом <от 15 августа 1898 г. – Р. А.> Веригин писал, что хотя он и не знает всех условий и обстоятельств современного их положения, но каковы бы эти условия ни были, он „во всяком случае скорее против переселения“:

«Потому люди нашей общины нуждаются в самоусовершенствовании, и, следовательно, куда бы мы ни переселились, понесём наши слабости с собою. А что за границей свободней жить личности вообще, я думаю, разница может быть небольшая. Человечество всюду одинаково» (*Письма духоворческого руководителя Петра Васильевича Веригина. – Под ред. В. Бонч-Бруевича. Вступ. ст. В. Черткова. Christchurch, England, 1901. С. 127; ср. Толстой С.А. Указ. соч. С. 44*).

В ответном письме Веригину, от 1 ноября 1898 года, Лев Николаевич выражал с ним принципиальное согласие:

«...Мне было радостно читать ваше суждение о выселении. Я совершенно того же мнения — именно того, что важно не место, в котором мы живём, и не условия, нас окружающие, а наше внутреннее душевное состояние. Познаете истину, и истина освободит вас, везде, где бы вы ни были. Вы пишете, что вы почти против переселения, и я также, но вам, живущему в тяжёлом изгнании, можно говорить страдающим людям, что им следует ещё страдать и претерпеть до конца, но мне, живущему на свободе и при всех лучших условиях, неудобно говорить людям, которые страдают: страдайте, терпите, терпите ещё. А жалко и то, что мы расстаёмся с близкими по духу людьми (утешаюсь тем, что везде наши братья), жалко и то, что люди не претерпели до конца и тем не помогли другим людям познать истину, потому что ничто так не свидетельствует об истине, как несомые за неё страдания» (71, 478 – 479).

В таком ключе вещал яснополянец и вновь пришедшим к нему ходокам... то есть, решив к тому времени в пользу наиболее гонимых, тифлисских расселённых духоворов — склонялся к тому, чтобы помочь и остальным просящим.

«Выслушав Л. Н. Толстого, доверенные возвратились на Кавказ. Была собрана одна из самых больших сходов, где и было прочитано письмо Л. Н. Толстого, в котором он всеми силами убеждал духоворов не уходить из России.

Несмотря однако на мнение Толстого, которое очень уважается духоворами, и на письмо Веригина, — а воля последнего для них закон, — через некоторое время к Л. Н. Толстому опять приехали доверенные от духоворческого общества с поручением передать ему, что переселение решено ими окончательно и что они ещё раз просят его о скорейшей помощи, так как переселиться им необходимо до зимы.

Сделав ещё несколько попыток к тому, чтобы разубедить духоворов, написав в этом смысле несколько писем, Л. Н. Толстой, видя, что переселение тем или иным путём неизбежно осуществится, обратился к своим друзьям в России и за границей за советом о выборе

страны, собирая в то же время средства для переселения» (*Сулержицкий Л.А. Указ. соч. С. 7 – 8*).

Уже 17 марта 1898 г. Толстой извещал В. Г. Черткова, что составил воззвание в английские и американские газеты, прося «помощи истинных христиан». Сохранились три черновика этого письма. Последняя редакция датирована 19 марта/1 апреля 1898 г. Опубликовано по-английски в газ. «Daily Chronicle» 29 апреля (*см. 71, 322 – 327*). «Население в 12 тысяч человек христиан всемирного братства, как называют себя духоборы, живущие на Кавказе, находится в настоящее время в ужасном положении» — так начал Толстой своё обращение. И далее: «Я случайно знаю подробности гонений и страданий этих людей, нахожусь с ними в сношениях, и они просят меня помочь им, и потому считаю своим долгом обратиться ко всем добрым людям как русского, так и европейского общества, прося их помочь духоборам выйти из того мучительного положения, в котором они находятся». В конце письма предлагал своё посредничество и указал адрес: Москва, Хамовнический пер., 21.

В эти же дни смягчённый вариант послания был направлен в «Санкт-Петербургские ведомости», причём редактору было дано разрешение «вымарать то, что покажется лишним». Редактор газеты, весьма благожелательный к Толстому, князь Эспер Эсперович Ухтомский письмо набрал, оттиск вручил И. П. Накашидзе, но напечатать не решился. Обращались и в редакцию «Недели» к М. О. Меншикову, у которого был свой проект, как помочь духоборам.

19 марта написал Толстой на Кавказ духоборам — уже не увещание, а вполне деловое письмо, с вопросами и предложениями: «Насчёт же места поселения, то есть четыре места, о которых мы думали: или в Америку, в штат Техас. Я туда сделал запрос о земле, или на остров Кипр, на Средиземном море. Остров находится в английском владении; или в китайскую Манджурию, там, где теперь строится русская железная дорога, или в китайский Туркестан» (*71, 327*).

Наконец, 2 апреля 1898 г. Лев Николаевич составил прошение от имени духоборов на имя Николая II, в тоне и духе, рассчитанном на сострадание и милость: «Мы были богаты — мы разорены теперь, мы были любимы и уважаемы всеми людьми — мы теперь ненавидимы и презираемы, мы были живы и здоровы — большая часть наших расселённых и сосланных вымирают теперь от нужды и болезней... Мы слышали, что Ваше Величество считает ненужным и неправильным вмешательство насилия в дела веры, желаете не препятствовать вашим подданным верить так, как Бог открыл им. Покажите же, Ваше Величество, пример вашей мудрости и добрых

чувств над нами» (71, 346 – 347; напечатано по сохранившемуся в архиве Толстого черновику).

В этот же день, 2 апреля, Софья Андреевна опасалась другого: «Приехали духоборы к Л. Н., два рослых, сильных духом и телом мужика. Мы их посылали в Петербург к князю Ухтомскому и Суворину, чтобы эти два редактора сильных газет им что-нибудь посоветовали и помогли. Они обещали, но вряд ли что сделают. Л. Н. им пишет прошение на имя государя, чтоб их выпустили переселиться за границу, всех — изгнанных, призывных и заключённых духоборов. Всё это мне страшно, как бы нас не выслали тоже!» (Толстая С. А. Дневники. Указ изд. Т. 1. С. 369).

3 апреля через М. О. Меншикова, приехавшего в Москву, прошение было передано Э. Э. Ухтомскому; тот вручил его Д. С. Сипягину, главному управляющему императорской канцелярии, для передачи царю (несколько изменённый вариант немного позднее — на Кавказе Г. С. Голицыну).

У биографа Толстого и одновременно участника событий есть указание на успешность одного из обращений самих духоборов: «Все ходатайства духоборов и друзей их о смягчении их участи оставались без результата. Но одно из прошений попало в руки императрицы-вдовы, приехавшей на Кавказ к сыну, и этому прошению был дан ход и просьба духоборов была удовлетворена; им было разрешено выехать за границу с тем, чтобы назад уже не возвращаться» (Бирюков П. И. Указ. соч. Т. 3. С. 301).

После некоторых проволочек состоялось секретное распоряжение: духоборам призывного возраста и сосланным за отказ от военной службы переселение запретить, а остальным разрешить — без права возвратиться на родину.

О препятствии к этому главным, помимо мелких административных, пишет Толстой всё в том же обращении своём от 19 марта в иностранные газеты:

«Людям позволяют выехать, но предварительно их разорили, так что им не на что выехать, и условия, в которых они находятся, таковы, что им нет возможности узнать мест, куда им выселиться, как и при каких условиях возможно это сделать, и нельзя даже воспользоваться помощью извне, так как людей, которые хотят помочь им, тотчас же высылают, их же за всякую отлучку сажают в тюрьму.

Так что, если этим людям не будет подана помощь извне, они так и разорятся и вымрут все, несмотря на полученное ими разрешение выселиться».

И чётко, как любят те, к кому он обращался теперь за помощью — Толстой называет тут же самое необходимое:

«Я обратился в одной из русских газет к русскому обществу — ещё не знаю, будет или не будет моё заявление напечатано, и обращаюсь теперь ещё и ко всем добрым людям английского и американского народа, прося их помощи, во-первых, деньгами, которых нужно много для одной перевозки на дальнее расстояние 10 000 человек, и, во-вторых, прямым непосредственным руководством в трудностях предстоящего переселения людей, не знающих языков и никогда не выезжавших из России» (71, 326 – 327).

От Леопольда Антоновича узнаём о том, как решался вопрос с местом эвакуации из проклятого «русского мира» христиан всемирного братства. Как водится, “первый блин” вышел комом:

«Вопрос этот обсуждался главным образом за границей В. Чертковым и Д. Хилковым и английскими квакерами, которые ещё до переселения сорганизовали в Лондоне особый комитет для привлечения средств нуждавшимся духоборам. В. Чертков, как участник этого комитета, сообщил квакерам о намерении духоборов выселиться за границу, и квакеры тотчас же стали собирать пожертвования для специально духоборческого переселенческого фонда.

Наиболее подходящей страной для духоборов как в хозяйственном, так и в других отношениях являлась несомненно Канада, и на выборе именно этого места особенно настаивал Д. Хилков. Однако переселиться туда казалось невозможным в виду крайней дороговизны переезда.

Из мест же, лежащих ближе к Кавказу, квакеры указывали на принадлежащий Англии остров Кипр.

В первых числах июля 1898 г. для окончательного обсуждения этого дела в Лондон приехали два духоборческих ходока, Иван Ивин и Пётр Махортов. Канада казалась им более желательным местом для поселения, но, как было уже сказано, переехать туда пока не было возможности в виду недостатка средств. Ждать же, пока наберётся необходимая для этого сумма, они не могли, торопясь переселиться до наступления зимы. Поэтому они выразили согласие переселиться временно на о. Кипр.

После длинной переписки, на Кавказ была послана духоборам телеграмма, что можно брать паспорта, нанимать пароходы и готовиться к выезду на Кипр.

Тотчас же 1126 чел. духоборов, которые должны были составить первую партию, распродали последнее своё имущество, взяли паспорта и переехали в Батум, чтобы ждать там пароход, нанятый ими для переезда на Кипр

[...] 6-го августа 1898 г. из Батума вышел французский пароход „Duran“, увозя на Кипр 1126 чел. духоборов. Переселение же остальных 2200 чел., живших в Тифлисской губ., откладывалось на неопределённое время.

[...] К великому счастью духоборов, в продолжение всего плавания до Кипра погода стояла тихая.

Переехав на Кипр, духоборы очень скоро увидели, что жить там нет никакой возможности. Огромный процент страдавших на Кавказе лихорадкой ещё увеличился, причём случаи лихорадки очень часто оканчивались здесь смертью. На первых порах переболели почти все и умерло более 60 человек, и только с наступлением зимы заболеваемость и смертность понизились.

Квакеры поддерживали эту партию духоборов всё время пребывания их на Кипре и обещали перевезти их на свой счёт с Кипра в страну, куда переселятся остальные духоборы с Кавказа.

Печальная участь, постигшая переселившихся на Кипр духоборов, заставила остальных отказаться от мысли продолжать переселение на этот остров, и теперь было решено и духоборами и лицами, заведовавшими организацией переселения, что нужно сделать все возможное для скорейшего переселения в Канаду оставшихся на Кавказе духоборов, так же как и 1126 чел., живущих уже на Кипре.

В последних числах августа духоборческие ходоки, И. Ивин и П. Махортов, вместе с Д. Хилковым отправились из Англии в Канаду для исследования страны и условий местной жизни. Для официальных же переговоров с канадским правительством поехал вместе с ними энергичный, деловитый человек, англичанин г. Моод, стоявший близко к квакерам и очень сочувственно относившийся к духоборам.

Вскоре от ходоков из Канады духоборы стали получать письма, в которых они всячески восхваляли Канаду, говоря, что „лучшей земли для переселения не найти“. В то же время г. Моод сообщал, что в принципе канадское правительство на переселение духоборов соглашается. Кроме того, благодаря стараниям г. Моода, канадская Тихоокеанская железная дорога, по которой духоборам пришлось бы ехать от порта высадки до мест поселения (около 2000 миль), сделала для них скидку в 50% с обыкновенного своего тарифа» (*Сулержицкий Л.А. В Америку с духоборами. Указ. изд. С. 8 – 11*).

Эйльмер (Алексей Францевич) Моод, обрусевший англичанин, много лет проживший в России, уже встречался читателю на страницах этой книги — как переводчик сочинений Толстого и адресат писем Льва Николаевича к нему... Теперь этот энергичный, с деловой хваткой, человек предстанет в амплу помощника духоборам.

* * * * *

Как водится, поганая тётя родина, имперская Россия, попыталась мелочно, подло, ненужно, но зато дотошно и разрушительно вмешаться в начавшееся общественное дело. П. И. Бирюков вспоминает, как в редакцию газеты «Русские ведомости», поддержавшей Толстого, пришло распоряжение министра внутренних дел о «доставлении» в казначейство всех собранных пожертвований и, более того, сообщении газетой в полицию имён жертвователей:

«Русск<ие> вед<омости>» ответили, что деньги уже переданы мне и представили в этом расписку.

Но администрация этим ответом не удовлетворилась. В архиве «Русск. вед.» сохранился такой след об этом требовании:

"21-го апреля 1898 года министр внутренних дел объявил "Русским ведомостям" третье предостережение и приостановил газету на два месяца, как значилось в официальном сообщении об этом ("Русск. вед." № 112 от 25-го июня 1898 г.), "за сбор пожертвований в пользу духоборов, с распубликованием о сем в № 93 "Русских ведомостей" сего года и за уклонение от исполнения распоряжения московского генерал-губернатора".

[...] Заметка, по поводу которой последовала административная кара, гласила буквально только следующее:

"В контору «Русских ведомостей» поступило в распоряжение гр. Л. Н-ча Толстого для оказания помощи больным и нуждающимся духоборам: от иногороднего подписчика 300 рублей, от г. М. 400 р., от неизвестного 300 р.". Что же касается неисполненного распоряжения генерал-губернатора (или, точнее, требования обер-полицмейстера, с которым только и имела об этом случае дела редакция), то оно действительно было не исполнено: требовали передачи в распоряжение администрации денег, пожертвованных в распоряжение Толстого, которому они, конечно, и были своевременно вручены» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 3. С. 302 – 303*).

Чтобы было уж совсем точно: пожертвования, сделанные через редакцию в пользу духоборов, действительно подлежали передаче администрации, между тем как редакция разумно и смело отослала эти деньги Л. Н. Толстому — через П. И. Бирюкова.

* * * * *

Между тем, денежные средства всё же поступали, и казавшаяся ещё весной 1898 года недосыгаемой Канада вдруг сделалась вполне

кликабельной. С. Л. Толстой рассказывает о том, как был сделан организаторами переселения окончательный выбор.

Всё же любил и хранил духоборов Господь: «Эмиграция в Капскую колонию или Австралию была немислима уже по одной дороговизне переезда», а в Аргентине были сложности с отказом от военной службы:

«Таким образом, наиболее возможным представлялось переселение в Канаду. Либеральное, почти независимое правительство, освобождение от воинской повинности, прекрасная земля, слабая заселённость, выгодные условия для мигрантов — всё это было в пользу эмиграции в Канаду.

[...] Первоначально мысль эта явилась у одного известного русского эмигранта П. А. Кропоткина, который, обсудив её вместе с профессором университета в Торонто Джемсом Мейвором, сообщил этот план квакерам и русским в Англии. Духоборы, много слышавшие об Америке и желающие переселиться именно в Америку, с радостью ухватились за эту возможность.

[...] Поездка ходоков в Канаду была успешна. Канадское правительство согласилось в виде исключения принять духоборов зимою и дало им такие льготы, которые оно не даёт даже поселенцам, «говорящим по-английски», то есть британцам, британским колонистам и выходцам из Соединённых Штатов. Оно гарантировало духоборам полную религиозную свободу, освободило их от воинской повинности в какой бы то ни было форме, предоставило им землю на общих основаниях...». Для помощи переселившимся был создан особый Духоборческий фонд (Толстой С.Л. Указ. соч. С. 50 – 52).

45 тысячами рублей из 89 требовавшихся на перевозку Первой партии, именно тифлисцев, особенно жестоко и злобно гонимых «христианской» Россией, располагали сами гонимые. Остальные средства были: сборы по России, «пожертвования» английских толстовцев (В. Г. Чертков тупо ограбил общинную кассу Джона Кенворти, но это отдельная нехорошая тема...) и деньги квакеров. Кроме того, получив благословение из Канады — ходоки отправились снова... разумеется, к Толстому! 3 августа 1898 г. в Ясной Поляне были необычные гости: «беспаспортные», беглецы с места ссылки, духоборы Павел Васильевич Планидин (памятный Толстому по визиту ещё 30 марта) и некто Постников — «за советами по делу переселения» (Гусев Н.Н. *Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891 – 1910. М., 1960. С. 293*).

Софья Андреевна разместила тайных визитёров в знаменитом Павильоне — садовом домике близ большого яснополянского дома — и

с тревогой, с раздражением на мужа ожидала визита полиции. Всё тогда, однако, обошлось.

Раздраконенный смиренными просителями на новые сборы, Лев Николаевич 4 и 5 августа 1898 г. снова пишет к богатым людям с призывом сделать пожертвования на дело переселения духоборов» (*Там же*).

Между тем, совершенно независимо от этих сборов, на уже имевшиеся средства, 7 августа была отправлена первая, «неудачная», партия духоборов, 1139 человек — на Кипр. И слава Богу, что «толстовских» денег там было не много: деньги эти пропали, не говоря о погибших на Кипре людях — а выживших пришлось эвакуировать уже оттуда. Причина проста: добрая тётя родина, поганая гадина Россия, намеренно селила духоборов, хотя и в тёплых широтах, да в *холодных* местах, на безлесных и на возвышенностях, на скудных почвах. «Наш народ к холоду привычен» — часто слышал от них Сергей Львович Толстой (*Толстой С.А. Указ. соч. С. 51*). Им пришлось адаптироваться к холоду — и жаркий климат Кипра оказался неприемлемым, а для многих — смертельным.

Одному из первых, Лев Николаевич написал богатейшему сахарозаводчику Лазарю Израильевичу Бродскому (1848, Новомиргород — 1904, Базель). Озолотившийся на стране дураков, любителей сладенького, России, этот добрый человек, дважды благородный и благословенный Богом — ибо был он еврей и «малоросс» (украинец) — разумеется, внутри себя был «человеком мира» и самых прогрессивных убеждений: просвещённым фабрикантом своей эпохи. Он бы не отказал гонимым в средствах на эвакуацию... Но увы! время сладких денег от Бродского было упущено. Отстроив только что в Киеве роскошную синагогу (где через несколько лет его и будут отмаливать в заупокойных), Лазарь Израильевич благоразумно эвакуировался из России в Швейцарию — заслуженно-сладко, спокойно и медленно дожить век, сколько Бог даст... Из сахарной конторы, от русских наёмных «шестёрок» фабриканта, вместо денег пришла отписка: держитесь, Лев Николаевич, и всего вам наилучшего! Другой просвещённый благодетель, на симпатии и поддержку которого мог рассчитывать Толстой, Козьма Терентьевич Солдатёнков, знаменитый книгоиздатель и потомственный купец, *старообрядец*, вернувшись из-за рубежа, таки промешкал на денежных мешках аж до конца января 1899 г., когда, 30-го числа, всё-таки занёс 5 тысяч рублей лично в ручки Софье Андреевне Толстой — тем самым наградив себя

за финансовые “потери” общением с чудеснейшей женщиной! За богатейшего, но и жаднейшего золотопромышленника Сибирякова тысячу рублей прислала тайком его дочь Анна. С. Т. Морозов и ещё ряд толстосумов — просто послали Толстого мысленно нахуй и не ответили ему. А П. М. Третьяков отказал открыто и решительно — не сочувствуя, как православный россиянин, делу эвакуации из России гонимых сектантов.

Всего, по сведениям П. И. Бирюкова, Толстой написал в 1898 году до 20-ти просительных писем. Не называя имени адресата, биограф приводит текст одного из них — который и мы возьмём за образец. Это письмо от 12 октября 1898 г. к Александру Николаевичу Коншину (1867 – 1919) — сыну фабриканта, владельцу мануфактурной фабрики в Серпухове и одному из основателей журнала «Свободное воспитание»:

«Милостивый государь Александр Николаевич,

Обращаюсь вам с просьбой о денежной помощи Кавказским духоборам. Люди эти, как вы, вероятно, знаете, стараясь исполнить в самой жизни учение Христа, которому они следуют, не могли исполнять требуемой от них правительством воинской повинности и за это подверглись гонению, которое вследствие грубости кавказской администрации дошло до страшной жестокости.

Отказывавшихся истязали, запирали в тюрьмы, ссылали в худшие места Сибири, где и теперь страдают сотни лучших людей, разоряли их селения, выселяя целые семьи из их жилищ в татарские деревни. Измученные всем этим духоборы просили о позволении им выехать за границу. Им разрешили, но в последние года их так разорили, что у них нет средств для переезда в Канаду, где им предлагают земли. Их всех выселяющихся более 7000 человек. На переезд по морю и по железным дорогам им нужно по крайней мере по 100 р. на душу, а у них, продав всё своё имущество (большую часть уже продали), наберётся не более 300 тысяч. Правда, есть добрые люди в Англии и России, которые пожертвовали и жертвуют, но всё-таки недостаёт очень много.

Подписка для этой цели не разрешается, и потому мы решили просить богатых и добрых людей помочь этому делу. И вот я обращаюсь к вам, прося вас дать, сколько вы найдёте возможным для этого несомненно доброго дела» (71, 463 – 464).

Коншин ответил 5 ноября, сообщая, что может передать в распоряжении Толстого четыре тысячи рублей. В дальнейшем эта сумма была Коншиным удвоена. Кроме того, он включился, с «командой» помощников Толстого (о которой стоило бы написать особенную

книгу), в дела организации переезда и в 1899 году был в числе сопровождавших в Канаду четвёртого, последнего, парохода с духоборами.

В сборе средств для переезда духоборов и привлечении к ним внимания потенциальных помощников было лично для Л. Н. Толстого ещё одно направление, самое непростое — творческое. О статье «Две войны», созданной писателем и публицистом в середине августа 1898 года, мы уже рассказали читателю в своём месте. 27 августа оконченная статья была отправлена В. Г. Черткову для бесцензурного заграничного издания.

Это единственное писание, на которое Толстой отвлекся за месяцы своего “ударного” труда над будущим романом «Воскресение». И отвлекся Толстой от художественного сочинения не напрасно: публикацией через В. Г. Черткова статьи в бесцензурной заграничной печати он ещё раз — и отнюдь не лишней! — напомнил мировой общественности о гонимых в России духовных христианах и о необходимости помощи им.

Но основные, титанические труды уходили на роман — третья редакция которого, кстати сказать, была закончена в тот же день 27 августа, когда к Черткову отправились «Две войны».

Самым уважительным образом Толстой относился и к текущей корреспонденции, не связанной с духоборами: прочитывал ежедневно адресуемые ему письма и даже отвечал на ряд из них. Для примера, и именно для нашей темы, интересен ответ на телеграмму из газеты «The Sunday World» от 19 августа, такого содержания (перевод с английского):

«Поздравляем по поводу результатов вашей борьбы за всеобщий мир, достигнутых рескриптом царя. Будьте добры ответить. Ответ тридцать слов оплачен» (*Цит. по: 71, 431*).

Запрос касался созывавшейся по инициативе русского правительства мирной конференции в Гааге. Отрицательное отношение Толстого к Гаагской мирной конференции было выражено им в письме к группе шведской интеллигенции в январе 1899 г., которое мы так же рассмотрели отдельно.

Понимая, что в 30-ть слов уложиться будет тяжело и мысленно послав газетчиков нахуй, Толстой всё же ответил им телеграммой, датируемой приблизительно 20 – 22 августа (в оригинале на английском — ровно 28 слов, любимое число Л. Н. Толстого!):

«Следствием декларации будут слова. Всеобщий мир может быть достигнут только самоуважением и неповиновением государству, требующему податей и военной службы для организованного насилия и убийства» (71, 430).

В письме из Англии от 20 июля н. с. 1898 г. В. Г. Чертков сообщал своему ближайшему другу и учителю о заседании квакерского комитета помощи духоборам, на котором было решено немедленно переселить 3500 духоборов, расселённых в горах Терской области, на о. Кипр. Сообщая смету на переселение, Чертков писал, что необходимо немедленно собрать ещё 75 тысяч рублей для осуществления этого плана. 14 июля (26 июля н. с.) Толстой отвечал ему, в числе прочего, следующим:

«Так как выяснилось теперь, как много ещё недостаёт денег для переселения духоборов, то я думаю вот что сделать: у меня есть три повести: Иртенев <первоначальное заглавие повести «Дьявол». – Р. А.>, Воскресение и О. Сергей (я последнее время занимался им и начерно написал конец). Так вот я хотел бы продать их на самых выгодных условиях в английские или американские газеты (в газеты, кажется, самое выгодное) и употребить вырученное на переселение духоборов. Повести эти написаны в моей старой манере, которую я теперь не одобряю. Если я буду исправлять их, пока останусь ими доволен, я никогда не кончу. Обязавшись же отдать их издателю, я должен буду выпустить их, *tels quels* [*лат.* таковыми, каковы они есть.] Так случилось со мной, с повестью Казаки. Я всё не кончал ее. Но тогда проиграл деньги и для уплаты передал в редакцию Р[усского] В[естника]. Теперь же случай гораздо более законный. Повести же сами по себе, если и не удовлетворяют теперешним требованиям моим от искусства — не общедоступны по форме — то по содержанию не вредны и даже могут быть полезны людям, и потому думаю, что хорошо, продав их как можно дороже, напечатать теперь, не дожидаясь моей смерти, и передать деньги в комитете для переселения духоборов.

[...] Эта мера поможет мне ещё в том отношении, что, отдав эти свои сочинения для дела переселения, мне будет удобнее обратиться к разным богатым лицам с просьбой о пожертвованиях на дело переселения» (88, 106 – 107).

Кстати сказать, возникший денежный у автора (но при этом бескорыстный!) интерес к публикации «Воскресения» не пошёл в ущерб и творческим результатам: гений художественного слова не покинул Толстого в сложившейся ситуации. Вот лишь один, хрестоматийный,

пример его работы — из дневника С. А. Толстой. В день 70-тилетия, 28 августа 1898 г., Софья Андреевна записала примечательную беседу с мужем о романе «Воскресение»:

«Утром Л. Н. писал «Воскресение» и был очень доволен своей работой того дня. “Знаешь, — сказал он мне, когда я к нему вошла, — ведь он на ней не женится, и я сегодня всё кончил, т. е. решил, и так хорошо!” Я ему сказала: “Разумеется, не женится. Я тебе это давно говорила; если б он женился, это была бы *фальшь*” (ДСАТ – 1. С. 405). Речь, конечно же, о главной паре персонажей романа — Катюше Масловой и Дмитрие Нехлюдове.

Но дальше Софье Андреевне, не разделявшей с супругом его чистой, евангельской Христовой веры, пришлось почувствовать нечто более для неё тяжёлое, нежели художественная фальшь.

В дни 12 и 13 сентября была плохая погода, да к тому же и много нежеланных Софье Андреевне гостей в яснополянском доме — среди которых, конечно, не могло быть Сергея Ивановича Танеева, тогдашнего платонического любовника жены Толстого, всегда вожделенно-желанного ею гостя. И некуда бежать: дождь, слякоть... А муж, прелестный муж, затеял в оба дня читать вслух гостям отрывки из нового своего сочинения — именовавшегося тогда ещё “повестью” — «Воскресения». И не всё ей понравилось в этих отрывках: в интимных отношениях главных героев и героини ей явственно слышались отзвуки печально и мучительно памятных ей по Дневнику мужа “похождений” его холостой молодости. И каково ей это слушать при гостях! По их разъезде 13-го в вечер последовало конфликтное общение, о котором Соня рассказала в дневнике:

«Повесть эта привела меня в тяжёлое настроение. Я вдруг решила, что уеду в Москву, что *любить* и это дело моего мужа я не могу; что между нами всё меньше и меньше общего... Он заметил моё настроение и начал мне упрекать, что я ничего не люблю того, что он любит, чем он занят. [...]

— Да вот и дело моё духоборов ты не любишь... — упрекнул он мне. [...]

Делу помощи голодающим в 1891 и 1892 году, да и теперь, я сочувствовала, помогала, работала сама и давала деньги. И теперь, если кому помогать деньгами, то только своим смиренным, умирающим с голоду мужикам, а не гордым революционерам — духоборам. [...]

Не могу я вместить в свою голову и сердце, что эту повесть, после того как Л. Н. отказался от авторских прав, напечатав об этом в газете, теперь почему-то надо за огромную цену продать в «Ниву» Марксу и отдать эти деньги не внукам, у которых белого хлеба нет, и не бедствующим детям, а совершенно чуждым духоборам, которых я никак не могу полюбить больше своих детей. Но зато всему

миру будет известно участие Толстого в помощи духоборам, и газеты, и история будут об этом писать. А внуки и дети чёрного хлеба поедят!» (*Толстая С.А. Дневники: В 2-х т. М., 1978. Т. 1. С. 411 – 412*).

По поводу этой именно сентенции Софьи Андреевны в дневнике В. Б. Шкловский, биограф Толстого, высказал некогда ценное уточняющее замечание:

«Внуки и дети имели состояние больше, чем полмиллиона, и права на одиннадцать томов собрания сочинений, а белый хлеб стоил четыре копейки фунт, и они могли купить поезд ситного хлеба» (*Шкловский В.Б. Лев Толстой. М., 1963. С. 707*).

В письме к мужу от 3 сентября 1898 года из Москвы “бедная” жена “разорившего семью” мужа плачется, что, прогуляв по магазинам до половины седьмого вечера, «ещё половины покупок не сделала, а артельщик говорит, что записи <покупок на доставку. – Р. А.> так много, что в три дня не отделаешься» (*Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М., 1936. С. 708*).

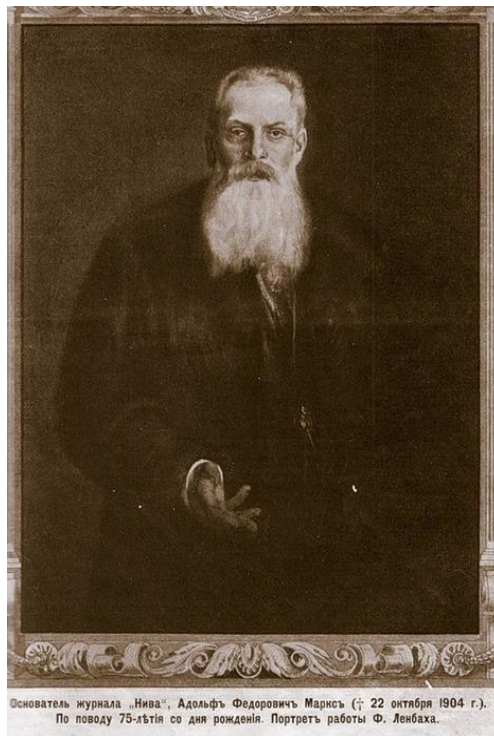
Дневник С. А. Толстой сохранил и свидетельства того, как первоначальный план Л. Н. Толстого подготовить для издания ради сбора средств духоборам три сочинения: «Отец Сергей», «Хаджи-Мурат» и «Воскресение» было скорректировано в пользу продажи на исключительных условиях одного «Воскресения», которое в последующие месяцы было расширено Толстым из повести до романа (*Толстая С.А. Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 401, 405*). Откуда ни возмись, как в “лучшие годы” продажи «Войны и мира», Толстой вновь явил и деловую хватку, и настойчивость в переговорах с будущим издателем «Воскресения», упомянутым Софьей Толстой богатым евреем Адольфом Марксом. Вот почему, уже не имея возможности пенять на христианское нестяжательство мужа, Софья Толстая только выражает обиду, что деньги уйдут мимо семьи, мимо “бедствующих” в своих поместьях детей Толстого (*Там же. С. 401*). Но Толстой-то знал, что такое *настоящее* бедствие!

Из письма к жене, 18 (19?) сентября 1898 г.: «Ещё духоборческие дела, которые находятся в очень напряжённом состоянии. Надо ехать 2000 человек, а денег не хватает 50 тысяч. Верю, что устроится, а делаю, что могу, не волнуясь, но и не унывая» (84, 327).

В октябре 1898 г. Толстой собрал более 15 тысяч денег для эвакуации из России духоборов и договорился с художником Л. О. Пастернаком об иллюстрациях для «Воскресения» — всё ещё повести, в понимании автора, хотя переговоры с будущим её издателем подталкивали Льва Николаевича к переработке повести в большой роман, с которого Адольф Маркс сорвал бы куш, но который бы (то есть права на его публикацию) и продать ему можно было очень дорого.

Соня в связи с этими переговорами вспоминает в дневнике старый грех мужа, им самим упомянутый в приведённом выше письме В. Г. Черткову: продажу в 1862-м в журнал Каткова повести «Казачи» из-за карточного долга, и, в связи с этим, «кстати» сетует на «торговлю душой человеческой» (Толстая С.А. Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 416). Вероятно, читателю не надо напоминать, что тогда, в 1860-х, и позднее, в 1870-е гг., когда денежки с продаж шли на обеспечение её с детьми барской, зажиточной жизни в Ясной Поляне, а не на убиваемых, ненавидимых её «отчизной» духовных христиан — Соня отнюдь не возражала против такой торговли!

Биограф, друг Толстого и активный участник событий П. И. Бирюков приводит следующий текст договора Толстого с издателем:



Основатель журнала «Нива», Адольф Федорович Маркс († 22 октября 1904 г.).
По поводу 75-летия со дня рождения. Портрет работы Ф. Ленбаха.

«Адольфу Фёдоровичу Марксу. Предоставляю редакции "Нивы" право первого печатания моей повести "Воскресение". Редакция "Нивы" платит мне по тысяче рублей за печатный лист в 35 000 букв. Двенадцать тысяч рублей редакция выдаёт мне теперь же. Если повесть будет больше двенадцати листов, то редакция платит то, что будет причитаться сверх 12 000; если же в повести будет менее двенадцати печатных листов, то я или возвращу деньги, или дам другое художественное произведение.

Лев Толстой.

12 октября 1898 г.» (Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 3. С. 311).

«Само печатание романа — замечает тут же биограф, — должно было начаться с марта следующего года сразу на всех главных европейских языках. Это было исполнено и доставило Л. Н-чу немало хлопот» *(Там же)*.

Адольф Маркс “нагрузил” автора пожеланиями о своей недешёвой покупке, и, как назло, необходимость напряжённой работы совпала у Толстого с простудой и ослаблением сил. Да тут ещё, с письмом от Эйлмера Моода, пришли известия о непростых переговорах его с канадским правительством об условиях переселения духобор в Канаду. И Толстой был в эти дни обременён сомнениями в том, как он пишет В. Г. Черткову в раздражённом письме 15 октября, «стоило ли столько трудов и отступлений от требований христианства для того, чтобы от одного бессердечного и жестокого хозяина перейти к другому, не менее, если ещё не более бессердечному» (88, 133).

Но вот 20-го октября от Маркса был получен аванс в 12 тысяч, и Толстой повеселел. Давние знакомцы, адвокаты Василий Алексеевич Маклаков (1869 – 1957) и Фёдор Никифорович Плевако (1842 – 1909) помогали Толстому со “скоростным” теперь сбором материала для «Воскресения». Верный Леопольд Антонович Сулержицкий готовил переезд духоборов и только что воротился с добрыми новостями. О своих похождениях Суллер сообщает в своих записках следующее:



Леопольд Антонович Сулержицкий

«Опросив все агентства, я нашёл в Марсели дешевле других пароход: „Les Andes", который, имея все приспособления для палубных пассажиров, просил за рейс из Батума в Квебек 84 000 рублей. Поднять он мог только 1 300 чел., следовательно, переезд одного человека от Батума до Квебека обошёлся бы около 65 рублей. Кроме того, за проезд по Канадской Тихоокеанской жел. дор. нужно было заплатить приблизительно по 10 руб. с души. Итого 75 руб. за проезд каждого человека. Это было ещё настолько дорого, что переехать всем в этом году не хватило бы средств.

Тогда я решился нанять простой грузовой пароход без всяких приспособлений для пассажиров, без команды, за исключением самого необходимого количества машинной команды и рулевых, с тем, чтобы самому приспособить его для перевозки пассажиров и организовать команду из молодых духоборов.

[...] При найме парохода нам нужно было выговорить право делать необходимые постройки, т. е. нары для пассажиров и другие приспособления. С пароходной компании, так же как и с капитана парохода снималась всякая ответственность за пассажиров. Пароход нанимался на рейс весь, со всеми своими помещениями, и компании не должно быть никакого дела до того, чем я, как временный владелец, нагружу его в Батуме.

При помощи конторы Малевича в Батуме, после долгих поисков во всех заграничных портах, в Ливерпуле найден был подходящей пароход „Lake Hurone" и на тех же условиях „Lake Superior". Оба эти парохода ходили обыкновенно между Ливерпулем и Квебеком.

[...] По моему расчёту, „Lake Hurone" мог поднять более 2 000 человек. За рейс от Ливерпуля в Батум, который он в виду поспешности должен был сделать порожним, и далее из Батума в Квебек или если река Св. Лаврентия замёрзнет к тому времени, то в Сен-Джон, судохозяева спросили 56 000 рублей.

Если разложить эту сумму на всех живших в Тифлисской губ. духоборов (2 140 человек), которых я рассчитывал взять с этим пароходом, то переезд до Квебека каждого человека обойдётся всего лишь в 27 р.

Немедленно был заключён контракт, по которому „Lake Hurone" поступал в полное моё распоряжение. [...] Через несколько дней на таких же условиях за 60 000 руб. был нанят „Lake Superior" с той только разницей, что в Батуме он должен простоять 7 дней, что было необходимо для того, чтобы растянуть промежуток между приездом двух партий в Канаду. Нанимателем второго парохода значился Сергей Львович Толстой. Вскоре он приехал на Кавказ, чтобы подготовить свою партию к выезду, т. е. 1 600 Елисаветпольских и 700

карских, а также, чтобы, приняв „Lake Superior“, сделать на нём необходимые перестройки и вести его до Канады» (Сулержицкий Л.А. Указ. соч. С. 14 – 16).



Пароход «Lake Huron», эвакуировавший из России духоборов,
на батумском рейде.
Ноябрь 1898 г.

С. А. Толстой сопровождал вторую партию духоборов в Америку. Пароход с духоборами, на котором ехал С. А. Толстой, «Lake Superior», вышел из Батума с 2000 духоборов 23 декабря 1898 г.

Не напрасно в это же время явился в Ясную Поляну и Герберт Арчер, помощник Черткова и Моода в переводе и издании в Англии сочинений Л. Н. Толстого. В последующие месяцы ему суждено будет обеспечивать в Англии интересы, пожалуй, самого экстравагантного из писателей эпохи: желавшего получить деньги за издание переводов романа (пусть даже и для нужд духоборов!), не обеспечивая прав собственности на эти переводы. Надорвавшись на этом, Арчер в начале 1899-го сбежит сам в Канаду, помогать духоборам обустроиваться на месте — оставив титаническое, затяжное дело с романом В. Г. Черткову. По счастью для Владимира Григорьевича, в июле

1899 г., когда эпопея спасения из России духовных христиан была в основном позади, Толстой стал менее щепетилен в отслеживании переводов и даже — страшно сказать! — выразил в письме к Черткову простое желание просто уставшего человека: расторгнуть все контракты с издателями и переводчиками, тупо послать их всех на... туда, куда давно хотелось, и просто просить «как издателей, которые будут перепечатывать роман, так и читателей» жертвовать средства в основанный Чертковым Духоборческий фонд в Англии. Прикинув возможное число судебных исков и неизбежный скандал, Владимир Григорьевич сумел тогда отговорить друга и учителя от необдуманного шага (*Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. М., 1960. Кн. 2. 1891 – 1910. С. 325 – 326*).

Софья Андреевна смирилась и, как и многие другие, не разделяя Христовой истинной веры ни с мужем, ни с духоборами — всё же включилась в общее доброе дело помощи спасаемым из России её жертвам. Например, в письме к жене Толстого от 3 или 4 ноября 1899 г., в числе прочего — речь о деньгах, посылаемых на обустройство в Канаде переселившихся духоборов:

«Посылаем на Козловку, и я надеюсь получить от тебя известие, которое очень мне нужно, хочется знать, как ты себя чувствуешь. Мы с Таней ездили вчера в Тулу. Я видел Плевако и Маклакова, которых встретил, они ехали к нам и сделали, что мне было нужно. Денег оказывается больше, чем я думал. Если ты не послала, то пошли 10 000, а остальные оставь. Если послала, то всё равно. Это не важно.

Я чувствую себя хорошо, благодаря своему воздержному режиму, и *порядочно* работал. Целую тебя, Сашу, Мишу, и радуюсь мысли скоро увидеть тебя.

Л. Т.» (84, 345 – 346).

Речь в письме идёт о посылке денег духоборам из средств аванса за «Воскресение», частью же из пожертвований. Посылались деньги в то время на имя правительственного агента, ведавшего расселением духоборов в Канаде, Мак-Крири (см. письмо к нему Толстого от 12 ноября 1899 г. нового стиля. – 72, 233). Духоборам Толстой писал об этом следующее 6 ноября: «Посылаю вам собранные деньги. Я полагаю, что хорошо бы было считать эти деньги, так же как и другие средства, которые вы получаете от добрых людей и от работающих братьев, общим достоянием и не делить по душам, а давать больше тем, у кого больше нужда» (*Там же. С. 238*). При содействии Мак-

Крири духоборы получали работу на железной дороге. При этом, однако, сам Мак-Крири смотрел на новоприбывших, как на продажный (работодателям) дешёвый трудовой скот, и скоро такие идеалисты дела переселения, как добросердечный и нравственно чуткий Леопольд Сулержицкий, порвали с ним отношения. Известясь о крайностях характеров и Мак-Крири, и Суллера, Толстой стал посылать деньги другому помощнику на месте, Герберту Арчеру (бежавшему, как мы помним, из Англии, от В. Г. Черткова и мороки с публикацией романа «Воскресение»), сочетавшему в себе чувство справедливости с английским практицизмом и сумевшему найти общий язык с Мак-Крири и подобными ему.

Софья Толстая отвечала мужу письмом *ночным* с 5 на 6 ноября:

«Сегодня получила твоё письмо, милый Лёвочка, но уже поздно было изменить посылку денег. Из Тулы получено было 2822 р. 55 к. и от Маркса 6660 р. 90 к. С прежними выходило 10 900 р. с чем-то, забыла. Я подумала, подумала да и послала 9000 р., а 1900 с чем-то осталось. Можно опять послать, это очень не дорого и просто делается» (ПСТ. С. 730).

В переписке с Адольфом Марксом, в письме 17 ноября 1898 г., Толстой окончательно согласился называть «Воскресение» романом (71, 491). Он рассчитывал кончить основные работы над романом до 1 декабря, уже дав обещание жене переехать около этого срока в Москву. В коротеньком письме 1 ноября духовно близким людям, Альберту Шкарвану и Хрисанфу Абрикосову, Толстой сообщал: «Я никогда не был так занят и делом духоборов, и отношениями самыми радостными с разными лицами, и, главное, своим Воскресением. Я так увлечён этим делом, что думаю о нём день и ночь. Думаю, что оно будет иметь значение» (71, 477).

Значение этого тяжелейшего труда для судеб спасённых из и от России духоборов и их современных потомков в Канаде и других странах свободного, цивилизованного мира — трудно переоценить. Но, конечно, подробное рассмотрение истории писания и публикации Толстым романа и отправки четырёх партий духоборов выходит за рамки нашей темы. В завершение данной части Главы седьмой ограничимся краткими сведениями из книжечки Леопольда Антоновича (к которой, как и к воспоминаниям С. А. Толстого и других участников духоборческой эпопеи мы и отсылаем за подробностями читателя).



Духоборы с детьми на спардеке «Lake Superior»
по пути с Кипра в Квебек. 1899 г.
Фотография Джона Беллоуза

«1) Итак 10 декабря 1898 г. из Батума вышел „Lake Hurone" с 2.140 чел. ссыльных духоборов. Благодаря жестоким бурям в пути он был 32 дня и прибыл в С.-Джон 11-го января 1899 г.

В пути умерло 10 человек. Родился 1.

2) 17 декабря 1898 г. из Батума вышел „Lake Superior" с 1 600 чел. елисаветпольских и 700 чел. карских духоборов — всего 2 300 чел. В пути был 27 дней и прибыл в С.-Джон 15-го января 1899 г., где и был задержан на 27 дней в карантине по случаю распространившейся на пароходе во время плавания оспенной эпидемии. В пути умерло 6 человек.

3) 15 апреля 1899 г. с острова Кипра вышел „Lake Superior" с 1 010 чел. духоборов. В пути был 26 дней и прибыл в Квебек 10 мая 1899 года. В пути умер 1 человек, родился 1.

4) В конце апреля 1899 г. из Батума вышел „Lake Hurone" с 2.300 человек карских духоборов. В пути был 27 дней и, придя в Квебек, был задержан на 27 дней по случаю распространившейся в пути между духоборами оспенной эпидемии.

В дороге умерло 4 человека» (Сулержицкий Л.А. Указ. соч. С. 19).

В Канаде духоборы расселились в трёх районах. На «северном участке», по р. Сван-ривер (Swan-River) построили свои селения «холодненские» ссыльные духоборы, прибывшие с первым пароходом. На «южном участке», по равнине Дед-Хорс-Крик (Dead Horse-Creek) и Уайт-Сенд (White-Sand) поселились карские и елисаветпольские духоборы второго парохода. Там же между речками Дед-Хорс-Крик и Стони-Крик (Stony Creek) обосновались «холодненские» духоборы с о. Кипра. Последняя партия, карских духоборов, которую сопровождали В. Д. Бонч-Бруевич, А. Н. Коншин, В. М. Величкина и Е. Д. Хирьякова, прибывшая с четвёртым пароходом, расселилась частью на южном участке, частью в провинции Принца Альберта (Prince Albert land) по р. Саскачеван (Saskatchewan). Туда поехали зажиточные семьи и бедняки, бывшие у них в материальной зависимости.

Хозяйства духоборческие сложились в три формы: 1) частные хозяйства, 2) временные общины и 3) общины. Частные хозяйства вели по преимуществу елисаветпольские и карские зажиточные духоборы южного участка и особенно на земле принца Альберта.

В июне 1899 г. по инициативе одного из сектантов, некоего В. Потапова состоялась «съездка» представителей духоборческих сел, на которой Потапов призывал к объединению в одну общину. Но опыт ближайших же недель доказал невозможность проведения в жизнь принципа полного коммунизма: работы на отхожих промыслах выполнялись неряшливо, отдельные духоборы бесконтрольно и без развёрстки брали товары под заработок для личных потребностей и т. п. Лишь после того, как снова разделились по деревням, производительность труда улучшилась. По мере накопления отдельными духоборами денег и собственности, многие семьи выделялись и жили частным хозяйством. Общинами в полном смысле этого слова жило к 1 января 1900 г. 1605 человек, т. е. немного более одной четверти всех переселенцев. На всех трёх участках имели место два типа таких общин: придерживавшихся коллективного способа производства и полного коммунизма с крепкой внутренней организацией.

Спасением из России Лев Николаевич не ограничил своего общения с христианами духовного братства и своей помощи им. К началу 1900 г. почти завершилась эвакуация тех, на глотке кого тётя родина ослабила бульдожьё хватку — дав разрешение. Но среди мучеников оставалась ещё духоборы «якутской» партии — то есть, сосланных падлой тётенькой на погибель в Якутскую область. За них Толстому пришлось радеть особливо — писать императору (об этом письме скажем чуть ниже). С другой стороны, как изящно сообщает нам биограф и, по совместительству, толстовец Павел Бирюков:

среди переселившихся «духоборческий идеал "христианского всемирного братства" достигался с большим трудом и далеко ещё не был выполнен до конца» (Бирюков П.И. *Биография Л.Н. Толстого*. Указ. изд. Т. 4. С. 6).



Духоборки на улице в Виннипеге. 1899 г.
Фотография Джона Беллоуза

Формулировочка лукава... «Идеал» на то и «идеал», сказал бы Толстой, что он в принципе не достижим, не может быть «выполнен до конца». Да оно и не требовалось и не требуется от людей, соединивших себя со Свободным Миром, с благородной евро-атлантической цивилизацией. Люди этого мира, по существу, за XIX и XX столетия пришли постепенно к тому, о чём мечтал Толстой — в той степени, в которой это посылно реальной человеческой природе. Элементы коммунитарного и общинного самоуправления, социальное и правовое государство, гармоничные отношения здоровых и радостных людей друг с другом и, хотелось бы надеяться — с природой, уже в

скором грядущем... А на месте отжитых религиозных суеверий и идолопоклонства — именно такая «разумная вера», экзистенциальное и нравственное руководство в жизни, о котором мечтал Толстой. Счастливым людям и народам и не нужно иного...



Отдельное (бесцензурное) издание писем Л.Н. Толстого к духоборам.
Изд. Гуго Штейниц. Берлин, 1902

Но это нам, с “высоты” наших 2020-х, видится такая добрая тенденция. Толстой же, не живший долго никогда и давно, к концу 1890-х, не бывавший за границей, и совершенно, к сожалению, не побывавший ни разочка в гостях у справедливо любимых им американцев — искренне опасался за духоборов, не зная, чему и верить в сумятице слухов, доходивших до него. Толстой получал известия непосредственно из Канады, но его корреспонденты, не соприкасавшиеся ранее с духоборами и составившие себе представление о них,

как о «фриках», непонятных сектантах, мучениках идеи, были удручены прозаическими явлениями их жизни в это переходное время. В письмах к Толстому они не скрывали своего скепсиса и, быть может, не всегда объективно описывали создавшееся положение, иногда противореча друг другу, но все сообщения в основе сводились к одному: духовный подъём большинства духоборов понизился, и новые формы жизни далеко отошли от духоборческих идеалов. И поэтому в период с декабря 1899 г. по середину февраля 1900 г. Толстой не пишет, а трудоёмко *составляет* и, наконец, отсылает В. Г. Черткову известное письмо «Духоборам, переселившимся в Канаду», сперва размноженное Чертковым в двух тысячах экземпляров для рассылки духоборам, а позднее опубликованное в газете «Свободная мысль» (№ 5 – 6 за 1900 г., стр. 77 – 80). Приводим полный текст этого письма в Прибавлении № 4 к данной Главе.

В декабре 1900 г. Толстым было получено от проживавшего вместе с духоборами в Канаде А. М. Бодянского известие о намерении вернуться в Россию одиннадцати духоборческих женщин, — девяти жён и двух матерей духоборов, сосланных за отказ от воинской повинности в Якутскую область на поселение. До августа 1896 г. отказывавшиеся от военной службы сектанты отбывали наказание в дисциплинарных батальонах. Согласно высочайше утвержденному 5 августа 1896 г. постановлению Комитета министров, форма наказания была изменена, и все отказавшиеся были сосланы в отдалённые районы Якутской области на восемнадцать лет. При следующих призывах отказавшиеся ссылались туда же. Полученное духоборами разрешение покинуть Россию не распространилось на тех, которые отбывали наказание в Якутской области, но духоборы были уверены, что и сосланные получат скоро возможность переехать в Канаду. В виду этого семьи некоторых из ссыльных отправились в Канаду с партиями переселенцев, а остальные тогда же переехали в Якутскую область. 18 мая 1899 г. на ходатайство сосланных духоборов был получен отказ, и их матери и жёны решили вернуться, чтобы поселиться вместе с ними в Якутской области. Без особого разрешения сделать этого было нельзя, так как духоборы были выпущены из России без права возвращения на родину.

И тогда Толстой идёт на смелый шаг: пишет царю письмо с просьбой об освобождении и якутских духоборов от злой участи под названием «Россия» (датировано: 7 декабря, из Москвы). Приводим ниже текст первой редакции этого послания, с датировкой 4 – 5 декабря, как наиболее эмоциональной и неподцензурной, откровенной:

«Ваше Императорское Величество, государь Николай Александрович!

Вы наверно не знаете и одной тысячной тех ужасных, бесчеловечных, безбожных дел, которые творятся вашим именем. А если что и знаете, то оно представляется вам в таком превратном виде, что не видите всей бесчеловечности и часто глупой, скорее вредной, чем полезной тому делу, которое защищается, жестокости, с которой они творятся. Из всех этих преступных дел самые гадкие и возмущающие душу всякого честного человека — это дела, творимые отвратительным, бессердечным, бессовестным советчиком вашим по религиозным делам, злодеем, имя которого, как образцового злодея, перейдёт в историю — Победоносцевым.

Тысячи и тысячи лучших, высоконравственных, чистых, религиозных, убеждённых людей, тех, которые составляют силу народа, уже погибли в нужде и изгнании и теперь гибнут только за то, что они лучшие люди среди народа. А сколько жён, детей этих людей мучалось, голодало и умерло и теперь умирает в нужде и разлуке медленной смертью. Цвет населения не только Кавказа, но России, духовоборы, несмотря на все мученья и страдания — их вымерло больше 20% — бросили навсегда своё отечество, Россию, с презрением и ужасом вспоминая всё то, что они перестрадали в ней. 5000 человек молокан карских, столько же эриванских, тоже лучшие из русских людей (прошение которых о выселении я переслал вам), молокане ташкентские, христиане харьковские, киевские, десятки тысяч людей только одного желают — покинуть своё отечество, страну дикого изуверства, гонений и насилия, и, отряхнув прах от ног своих, уйти туда, где людям не мешают исповедовать Бога так, как они понимают Его.

Я стар, мне жить осталось немного, и я давно уже собирался перед смертью сказать вам это: я считаю это своею обязанностью перед Богом, к которому я иду. Полученное мною письмо из Канады, которое при этом прилагаю, заставило меня, не дожидаясь более, сделать это.

Прочтите это письмо, оно короткое и предназначалось не для вас. Из него вы увидите всё и поймёте, если у вас точно доброе сердце, как говорят про вас. Несчастные эти люди, и не они одни (сосланы еще неповинные братья Веригины, где и томятся больше десяти лет в самых ужасных местах Сибири) сосланы в Якутскую область. Жёны и молодые женщины, свободные, живущие в достатке, после 5 лет разлуки просят, как милости, возможности разделить с мужьями их страдания.

Как ни трудно верить, что у вас доброе сердце, по тем ужасам, которые не переставая совершаются вашим именем — я верю в вас. И когда вы были больны, мне было жаль вас, я боялся, что вы умрёте и без вас будет хуже. Я на вас почему-то надеюсь. Прочтите сами это письмо и, когда уляжется в вас чувство оскорблённой, раздутой гордости, которое вызовет в вас это моё письмо, подумайте, сердцем подумайте (*les grandes et les bonnes pensees viennent du coeur*) (*фр.* Великие и добрые мысли идут от сердца.) и сделайте то, что вам подскажет это ваше доброе сердце.

Прогоните от себя этого злого и бездушного старика Победоносцева, который компрометирует вас и перед русским народом, и перед Европой, и перед историей, велите пересмотреть и уничтожить нелепые, противоестественные и позорные законы о гонениях за веру, которых нет ни в каких государствах и которые позорят тех, кто их поддерживает, прекратите всякие гонения за веру и верните всех сосланных, заключённых за то, что они исповедуют ту веру, которую даже не исповедуют ваши советчики, а только считают, что надобно исповедовать. Вы обязаны это сделать, потому что вы знаете, что гонение за веру дурно, и знаете, что десятки тысяч людей вашим именем подвергаются за веру страданиям, и знаете, что можете прекратить этот порядок вещей. Если же вы не сделаете этого, вы не можете не чувствовать себя виноватым, не можете спокойно отдаваться никакому простому и доброму человеческому чувству; ни любви к семье, ни к людям, не можете спокойно пользоваться никакой радостью, не можете молиться (Мф. V, 23, 24): "...Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойдй прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой".

Если я не ошибся в вас, письмо это не огорчит вас. А если огорчит, то это так и надо. Надо, чтобы вы почувствовали себя виноватым для того, чтобы исправиться. А чувствовать себя виноватым сначала тяжело, но потом особенно радостно.

Простите меня, если что не так написал. Помогите вам Бог сделать то, что Ему угодно, и стало быть и лучшее для самого себя.

От всей души желающий вам добра. А. [Толстой]» (72, 516 – 518).

Подцензурный вариант письма, отправленный адресату, был существенно смягчён и, как признаёт П. И. Бирюков, «к сожалению, после исправления письмо это потеряло значительную часть своей силы и остроты» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 4. С. 6*).

К письму Толстого было приложено письмо Бодянского из Канады. Письмо было передано Николаю II при содействии близкого знакомого семьи Толстых, судебного деятеля Н. В. Давыдова. Участи ссыльных оно не отменило, но достигло своей «минимальной» цели: жёны сосланных в Сибирь духоборов получили разрешение вернуться в Россию.

7. 2.

АНТИВОЕННАЯ ТЕМА В РОМАНЕ «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Как ни значительны для нашей темы обстоятельства, связанные с употреблением Львом Николаевичем гонорара от своего романа «Воскресение» на спасение учеников Христа и врагов войны, с удовольствием рассказав читателю о средствах помощи писателя и исповедника Христова тем, на кого несомненно он повлиял духовно — мы не можем наконец не задержать внимание и на антивоенной теме, как она себя выразила в самом романе. В этом отношении «Воскресению» не повезло: сюжет его позволил Толстому вволю “пройтись” по традиционной российской религии, по судилищам, тюрьмам, каторге, сборищам революционеров и проч. — но не по военщине!

Впрочем, с иной точки зрения — антивоенного в романе *много*. Его христианская, выраженная в названии романа тема — воскресение человека к *вере живой*, то есть вере, руководящей помыслами и поступками, к христианскому пониманию жизни, к жизни духа и разумения, к сознательной жизни в Боге и в познанной через Христа, через благовестия Нового Завета, воле Его. С этих же, христианских, позиций не только тюрьмы и судилища, но и вся деятельность государств имперского извода, вся жизнь обществ, не устремлённых к исконному христианскому идеалу: общинам и Церкви — жизнь незаконная. Устремление человека к слиянию своей воли с волей Бога открывает путь к освобождению от детерминаций первобытной животности — тех страхов и страстей, которые привели человечество к возникновению разбойничьих вооружённых гнёзд, превратившихся в их усилении, развитии своём в сущности, неизбежно разбойные и палаческие государства — такие, как Россия. Такие государства и составляющие их общности подданных или даже граждан не могут по определению, по сущности своей служить Богу и Христу:


их задача — не побарывать первобытные, как зверюшек Дарвина, влечения людей, а нацеплять на них павлиньи украшения «целесообразности», мнимой «необходимости» и даже сакральности, главное же — под этими красивыми перетолкованиями не только не уничтожать, а вводить их в норму и систему. В частности, прямое ограбление чужого труда, одно из фундаментальных влечений человека как животного (хорошо наблюдаемое в вороватом поведении т. н. “высших” приматов, обезьян, в дикой природе) — то, с чего начинались первые разбойные гнёзда ещё позднего каменного века — приняло форму сбора податей, на современном языке — налогов. А на налоги содержится не только военщина, но и вся та мундированная и безмундирная (например, палач) сволочь, которая “населяет” судилища, тюрьмы, этапы, полуэтапы и прочие казённые притоны, по которым автор проводит центральную пару своих персонажей, Катерину Маслову и Дмитрия Нехлюдова, а также множество других жертв мирских лжи и зла. «Порочные люди», подчёркивает автор, которые берутся судить и исправлять других порочных людей — менее хитрых, сдержанных и удачливых, а часто и “низких” в миру, бедных и простых — и оттого беззащитных перед общественным фарисейством.

Так точно в России конца 1990-х, и особенно путинской эпохи, в моральные наставники и цензоры, в воспитатели, и отнюдь не одних своих выблядков, а всего большого общества, полезли преуспевшие бандыри, барыганы и рэкетмэны. Последние, именно деятели рэкета, пока занимались этим своим “заработком” — в наибольшей степени сближались в своих ментальных и поведенческих структурах с первобытными грабителями, даже и с обезьянами. То есть — с истоками государственности. А с началом в 2010-х прямого разбоя России в Украине к этой зрелой сволочи присоединилось младшее поколение — мародёры, насильники, палачи, уголовники подпутинской ЧВК «Вагнер» и “дружественных” им структур — тоже живые, ходячие (к сожалению) иллюстрации исконной сущности государств.

Но у этих цинично-открытых разбойников не было бы силы и власти — на давай им разнообразную “крышу” другие подлецы на жалованьи из бюджета: от полицаев, преследующих в современной России людей, называющих вещи своими именами (войну войною, мародёров мародёрами, насильников насильниками и убийцами — убийц), до, скажем, паскудной училки из г. Ефремова (Тульская область), по “велению сердца” (и засратых пропагандой мозгов) “наступавшей” зимой 2023-го на свою ученицу за антивоенный рисунок.

Казённые изделия, насквозь порочные пороками двух преступных режимов: коммунистического и путинского — заботятся об осуждении и наказании невинных! По крайней мере, в век Льва Толстого большинству в России скатиться до *такой* подлости, до *такого* пользования общественным суеверием, оправдывающим судилища и наказания по суду — мешала, хотя и церковная, но всё-таки искренняя религиозная вера, нравственные табу! Запрет на подлость присутствует даже в поведении хищных животных — но только не обитателей фашизированного и шизофренизированного «русского мира»!

Директор школы



Трофимова Лариса Александровна
Директор

Телефон
+79190775206

Электронная почта
Larisa.Trofimova@tularegion.org

Часы приема
8.00 - 16.30



«Я досижу до конца, хочу увидеть, как его посадят»
— Светлана Григорьева из общественного совета
Ефремова в коридоре суда в перерыве слушания по
делу Алексея Москалева

Какие конченные мрази.

Для отца девочки, рисовавшей антивоенные
рисунки на уроках в школе, прокуратура запросила 2
года лишения свободы.

129 09:20

Участницы преследования семьи Москалёвых (отец и дочь)
за антивоенную позицию. Ефремов, Тульская обл. Март 2023 г.

Так что, как и в случае с «Войной и миром», а в особенности с «невоенным» по основной тематике романом Льва Николаевича «Анна Каренина», в «Воскресении» не только всё увязано одним «большим дыханием» художественного гения, но многое, так или иначе, окольными тропками выводит на тему войны и военщины, и даже предельно актуализирует её для нашей современности... В целом, однако, как мы и сказали в начале, роман «Воскресение» — не «про войну», так что не только антивоенных суждений, но и образов

именно военных в нём не так много. Значительнейшим исключением являются подробности военной службы молодого Дмитрия Нехлюдова в начале романа — «прозрачная» аллюзия на покаянного ближайшего друга Л. Н. Толстого и «толстовца № 1», выходца из военных, Владимира Черткова.

Продолжая развивать мысли, высказанные в «Войне и мире», «Анне Карениной», в публицистических статьях (в особенности в «антидрагомировской» «Carthago delenda est» 1896 года) Толстой в «Воскресении» поднимает прежнюю тему, актуальную для него со времён кавказских повестей, тему влияния условий военной службы на нравственность человека:

«Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в неё в условия совершенной праздности, — то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождения их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам» (32, 49). В полной мере это тлетворное влияние военной службы сказалось и на формировании внутреннего мира главного героя романа — князя Дмитрия Нехлюдова. Даже и с «бонусом», который оказался доступен ему по общественному статусу: «Но когда к этому развращению вообще военной службы, с своей честью мундира, знамени, своим разрешением насилия и убийства, присоединяется ещё и развращение богатства и близости общения с царской фамилией, как это происходит в среде избранных гвардейских полков, в которых служат только богатые и знатные офицеры, то это развращение доходит у людей, подпавших ему, до состояния полного сумасшествия эгоизма. И в таком сумасшествии эгоизма находился Нехлюдов...» (Там же. С. 49 – 50).

И в художественных сценах, и в авторских отступлениях писатель настойчиво подчёркивает мысль, что именно на военной службе в Дмитрии Нехлюдове произошла «страшная перемена» — окончательно завершился исподволь подготавливаемый ложным кастовым воспитанием процесс превращения его из чистого и доброго юноши, обладавшего богатыми духовными задатками, в порченного тётей родиной человека, утончённого эгоиста, для которого стали иметь значение только собственные удовольствия и наслаждения.

В годы студенчества, живя летом у тётушек, в усадьбе, Дмитрий увлекается поэзией и философией и являет собой яркий тип юноши, понимавшего «всю красоту и важность жизни», а при этом и «одного из тех людей, для которых жертва во имя нравственных требований

составляет высшее духовное наслаждение» (Там же. С. 43). По велению благородных разума и сердца, он отдаёт крестьянам наследственный, от отца, надел земли — часть богатой вотчины, пожалованной предкам Нехлюдова, вероятно, за военную службу.

Знакомство и общение его с Катюшей Масловой, «полугорничной-полувоспитанницей» тётушек, «черноглазой, быстроногой» так же исполнены естественных для человека нравственной и половой чистоты: «Нехлюдову всегда было приятно видеть Катюшу, но ему и в голову не приходило, что между ним и ею могут быть какие-нибудь особенные отношения» (Там же. С. 44). Отношения любви, постепенно зародившиеся между ними, так же были чисты, невинны:

«Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для него и для неё. У него не было не только желания физического обладания ею, но был ужас при мысли о возможности такого отношения к ней. [...] Он был уверен, что его чувство к Катюше есть только одно из проявлений наполнявшего тогда всё его существо чувства радости жизни, разделяемое этой милой, весёлой девочкой» (Там же. С. 46 – 47).

«Лучшее богопочитание есть благодарная радость» (41, 357). И отношения этих двоих, пока не наложил на них лапы поганый «русский мир», искалечив каждого из двоих по-своему — были ближе всего к тому, чем и должен быть в Божьем мире человек как сознательное дитя и работник всехнего нашего Отца.

Но совсем иным существом возвратился через три года к тёткам и Катюше офицер гвардии Нехлюдов:

«Тогда он был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело, — теперь он был развращённый, утончённый эгоист, любящий только своё наслаждение. Тогда мир Божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать, — теперь всё в этой жизни было просто и ясно и определялось теми условиями жизни, в которых он находился. [...] Тогда женщина представлялась таинственным и прелестным, именно этой таинственностью прелестным существом, — теперь значение женщины, всякой женщины, кроме своих семейных и жён друзей, было очень определённое: женщина была одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения» и т. д. (Там же. С. 47). Именно как с такой женщиной обошёлся в этот визит в имение Нехлюдов с подругой юности — тем толкнув Катюшу на тот тяжёлый

жизненный путь, который в патриархально-сексистской гнуси «русского мира» именуется «падением», даже «гибелью» женщины. От чего-то всё-таки женщины... Но это, к счастью, уже не наша тема.

Читая характеристику апгрэйженного тётей «родиной» Нехлюдова в главе XIII Первой части романа, читатель не напрасно, не случайно заметит сходство авторской риторики — с его же, Льва Николаевича, риторикой в «Исповеди»: именно страницах, посвящённых описанию развращения миром, мирской ложью, молодого Льва:

«Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. [...] Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком» (23, 4 – 5).

И так далее... Но точно так же, как «Исповедь» Л. Н. Толстого отнюдь не во всём точна и уж совершенно не автобиографическое сочинение, так и, с другой стороны, путь жизни персонажа романа, Дмитрия Нехлюдова, в целом далёк от биографии как автора, так и прототипа (Владимира Черткова), но не лишён, однако, и некоторых именно толстовских *черт автобиографизма*:

«И вся эта страшная перемена совершилась с ним только оттого, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим потому, что жить, веря себе, было слишком трудно: веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного я, ищущего лёгких радостей, а почти всегда против него; веря же другим, решать нечего было, всё уже было решено и решено было всегда против духовного и в пользу животного я. Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей, — веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его.

Так, когда Нехлюдов думал, читал, говорил о Боге, о правде, о богатстве, о бедности, — все окружающие его считали это неуместным и отчасти смешным, и мать и тётка его с добродушной иронией называли его *notre cher philosophe*; [*фр.* наш дорогой философ;] когда же он читал романы, рассказывал скабрёзные анекдоты, ездил во французский театр на смешные водевили и весело пересказывал их, — все хвалили и поощряли его» и т. д. (*Там же. С. 48*).



Афиша экранизации романа «Воскресение» в США. 1927 г.

Итак, сперва жизнь в столице, а позднее, и в особенности, военная служба — гнусно развращают Нехлюдова. Армия сделала из стыдливого юнца настоящего... нет, не «мужика»: хотя бы потому, что в эпоху Толстого слово это имело семантику принадлежности того человека, которого так называли, к сословию трудящегося народа, крестьян. Сделала же военная служба из Нехлюдова — нехорошую пародию на его же, прежнего. «Уж не пародия ли он?» К несчастью для Катюши Масловой, она не была настолько развита, чтобы задаться такими размышлениями — даже имея, в отличие от героини Пушкина, возможность *вспомнить и сравнить*.

Офицер гвардии Нехлюдов, как и его товарищи, не только не стыдится своей беззаботной, паразитической жизни, но, напротив, чувствует «восторг освобождения от всех нравственных преград», пребывает в состоянии хронического «сумасшествия эгоизма» — кстати

сказать, подсмотренном Толстым дома, в поведении жены и детей (32, 49 – 50; ср. 58, 135; 84, 330). В состоянии такого «восторга» Нехлюдов совершает поступки, «бессердечие, жестокость, подлость» которых он, по сюжету книги, осознаёт только благодаря суровому самоанализу, напряжённой внутренней работе, той «чистке души», которая никогда, с отроческих лет, всё-таки не прекращалась в нём, и в результате которой он, падая и поднимаясь, упорно шёл к своему *воскресению*. В этом плане характерно и значительно для нас, что один из самых сильных моментов нравственного пробуждения он испытал тогда, когда, приняв решение оставить военную службу, вышел в отставку (*Там же. С. 102 – 103*).

Страницы «Воскресения» населены также и лицами, которые, в противоположность Нехлюдову, не терзаются угрызениями совести, не порывают с казённой службой, а, напротив, добиваются «примирения либеральности и гуманности с своей профессией» (32, 421) и благополучно достигают высоких местечек, чинов и званий. К таким лицам относится, в частности, Масленников, бывший товарищ Нехлюдова по военной службе.

В LVII главе первой части романа идёт речь о том, что Нехлюдов приезжает к своему товарищу по полку вице-губернатору Масленникову по тюремным делам. Нехлюдов печётся о пересмотре дела несправедливо, незаконно осуждённой Масловой и о допуске к ней и ещё некоторым заключённым в тюрьму. Остроумный адвокат Фанарин в разговоре с Нехлюдовым характеризует Масленникова так: «...Теперь губернатора нет, правит должность виц. Но это такой дремучий дурак, что вы с ним едва ли что сделаете» — «Это Масленников?» — сразу, догадавшись, уточняет Нехлюдов (*Там же. С. 158*).

Иисус, без сомнения, шутил и смеялся! Потому что, верный Христов и Божий лвьёнок, Толстой мастерски умеет порадовать деликатным юмором читателя.

Масленников с первой встречи охотно готов слушать Нехлюдова, угодить ему. Но радуется он отнюдь не очнувшейся в Нехлюдове Птице Небесной, не духовному человеку, а — тому, единственному самому Масленникову, человеку порочному, каким полюбил в полку видеть приятеля. Каким не только был на службе, но и остался сам: «Масленников был тогда казначеем полка <сближение с евангельским «предателем» Иудой. – Р. А.>. Это был добродушнейший, исполнительнейший офицер, ничего не знавший и не хотевший знать в мире, кроме полка и царской фамилии. Теперь Нехлюдов застал его администратором, заменившим полк губернией и губернским правлением. Он был женат на богатой и бойкой женщине, которая и заставила его перейти из военной в статскую службу.

Она смеялась над ним и ласкала его, как своё прирученное животное...

[...] Такое же было жирное и красное лицо, и та же корпуленция, и такая же, как в военной службе, прекрасная одежда» (32, 170 – 171). Масленников и дома носит вицмундир — символ его пойманности, его *закрюченности* у мира. Вицмундир носил, и даже похоронен был в вицмундире — друг семьи Толстых, замечательный поэт Афанасий Фет, отдавший мирской лжи, исканиям признания и высокого статуса у мира, тяжёлую и нелепую для поэта дань.

Но, как видим, в «Воскресении» вся эта идейно-образная гиперсистема не столь страшна, как в «Войне и мире», где мир ловит в свои сети, политики и семьи, искупленную кровью и пробудившуюся, готовую взлететь Птицу Небесную — Пьера. Масленникову же — и по фамилии его каплунистой, обрюзглой летать не дано... Он дитя мира, и, год от года плешивея, толстея, этим самым внешне обозначает всё тяжелее придавливающий душеньку его груз — сладко-приятный, однако, как ортолан с трюфелью в желудке...

Мир взыскует от каждого своего, мирского. И только лишь необратимо порвав с миром, мы вправе рассчитывать на помощь Свыше. Нехлюдов *закрючен* последствиями своих же пороков и наказуем необходимостью искать у мира того, с чем праведный обращается в молитве к Богу: спасения и блага ближнего. Добившись своего в первом разговоре (а именно так и *закрючивает* свои жертвы мир), и не послушав умницу Фанарина в новом предупреждении о Масленникове («это такая, с позволения сказать, дубина и вместе с тем хитрая скотина». – 32, 177), Нехлюдов (в главе LVII Первой Части романа) едет к нему о Масловой и других узниках во второй раз. И попадает на гнусный светский «приём», устраиваемый по четвергам бойкой женой бывшего товарища. Тем унизительнее попытки Нехлюдова перевести разговор на те серьёзнейшие темы, ради которых он нанёс видит к вице-губернатору Масленникову.

Масленников, встретив Нехлюдова, увлекает его сначала в гостиную, где у его жены собралось светское губернское общество, и говорит: «Дело после; что прикажешь — всё сделаю» (32, 189). Снова пытается взбудить в Нехлюдове *единосущное* себе... Поговорив в гостиной сколько нужно было для того, чтобы соблюсти приличие, Нехлюдов просит Масленникова выслушать его, и они удаляются в японский кабинетик. Следующая глава начинается так:

«— Ну-с, je suis à vous. Хочешь курить? Только постой, как бы нам тут не напортить, — сказал он и принёс пепельницу.

— Ну-с?

— У меня к тебе два дела.

— Вот как.

Лицо Масленникова сделалось мрачно и уныло. Все следы того возбуждения собачки, у которой хозяин почесал за ушами, исчезли совершенно» (*Там же. С. 191*).

Из приведённого текста совершенно неясно, отчего лицо Масленникова сделалось мрачно и уныло и почему исчезли следы того возбуждения, в котором он перед этим пребывал. Ведь Масленников знал, что Нехлюдов приехал к нему по делу и что этот деловой разговор, на время отложенный, всё равно состоится.

Пока Нехлюдов излагает боль своего сердца о безвинно, либо по ничтожным причинам, томящихся в остроге, из гостиной раздаются бодрые реплики и взрывы смеха, иногда «даже натурального» (*Там же*).

Всемогущество и полная готовность услужить Масленникова лишь подчёркивают мучительность ситуации для Нехлюдова. А на следующий день, как похмелье — нравственная расплата, корреспонденция от Иуды:

«...На толстой глянцовитой с гербом и печатями бумаге письмо великолепным твёрдым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу, и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано: “любящий тебя старший товарищ”, и под подписью “Масленников” был сделан удивительно искусный, большой и твёрдый росчерк» (*Там же. С. 193*).

Апофеоз безобразия этического и одновременно эстетического в этом эпизоде. Сальный поцелуй Иуды. Но не смятенного Иуды евангелий, а — «русско-мирного», православного: уверенного в своей власти... альтернативного умницы.

«— Дурак! — не мог удержаться не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове “товарищ” он чувствовал, что Масленников снисходил до него, т. е., несмотря на то, что исполнял самую нравственно-грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал если не польстить, то показать, что он всё-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем» (*Там же. С. 193*).

Тяжёлая плата за прежние грехи! Не физическими мучениями и не искупительной, на глазах, гибелью людей, как было с Пьером — а морально, унижением перед «высокими» мира, Дмитрий Нехлюдов искупает свои прежние грехи.

Но свинопотаму Масленникову, одному из типичных уродов «русского мира», быть ходячим мертвецом уже до гроба. А Нехлюдов...

Тут же, в начале следующей, LIX-й, главы, автор дарит симпатизирующему ему (то есть, и автобиографичному Нехлюдову, и самому

Льву Николаевичу) читателю надежду на *de profundis* возлюбленного персонажа. В знаменитой метафоре «нравственной чистки», уподобленной очищению вод реки:



Дмитрий Нехлюдов. Художник Леонид Осипович Пастернак. 1899 г.

«Одно из самых обычных и распространённых суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определённые свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умён, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то тёплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь всё между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нём и от физических и от духовных причин» (32, 193 – 194).

Очередное спасительное «очищение» было наготове. Конечно же — в соприкосновении с юностью, с прошлым и с природой родной усадьбы... В главе XIV Второй части Нехлюдов, пребывая по делу Масловой в столице, смотрит на рафинированный масленниковский мирок уже *извне*, непокойно-презрительными Львиными, толстовскими очами:



Нехлюдов в деревне. Илл. Л. О. Пастернака. 1899 г.

«Со времени своего последнего посещения Масленникова, в особенности после своей поездки в деревню, Нехлюдов не то что решил, но всем существом почувствовал отвращение к той своей среде, в которой он жил до сих пор, к той среде, где так старательно скрыты были страдания, несомые миллионами людей для обеспечения удобств и удовольствий малого числа, что люди этой среды не видят, не могут видеть этих страданий и потому жестокости и преступности своей жизни. Нехлюдов теперь уже не мог без неловкости и упрёка самому себе общаться с людьми этой среды. А между тем в эту среду влекли его привычки его прошедшей жизни, влекли и родственные и дружеские отношения и, главное, то, что для того, чтобы

делать то, что теперь одно занимало его: помочь и Масловой и всем тем страдающим, которым он хотел помочь, он должен был просить помощи и услуг от людей этой среды, не только не уважаемых, но часто вызывающих в нём негодование и презрение» (Там же. С. 246).

Но от чуждого масла трудно отчистить как шёрстку Льва, так и перья Птицы. Вот почему до самого финала романа духовный путь Нехлюдова во Христе ещё не определён, и продолжение, именно “христианские” части романа, задумывались, да не были написаны Толстым. «Потому что была бы фальшь, фальшь!» — воскликнула бы, с отяжелелыми крылами, раба мира Софья Толстая.

Может быть, и так, Соня... Может быть.



«Закуска у Корчагиных». Худ. Л. О. Пастернак. 1899

Ещё отсылка к системе антивоенных воззрений Л. Н. Толстого, уже сообщённых им, допреже романа, в публицистических текстах — тема дуэли Позена и Каменского, по-своему возмущившая Нехлюдова. Её подробности не случайно напомнят читателю осуждение военных убийц в «Carthago delenda est» 1896 года. Но тема нравственного повреждения в среде офицерства и в целом «благород-

ного» сословия была начата, как мы помним, ещё кавказскими повестями Толстого и «Двумя гусарами». И вот, через десятки лет, достойное продолжение. Часть Вторая, глава XVI:

«В канцелярии Сената, пока Нехлюдов дожидался делаемой справки, он слышал опять разговор о дуэли и подробный рассказ о том, как убит был молодой Каменский. Здесь он в первый раз узнал подробности этой занимавшей весь Петербург истории. Дело было в том, что офицеры ели в лавке устрицы и, как всегда, много пили. Один сказал что-то неодобрительно о полку, в котором служил Каменский; Каменский назвал того лгуном. Тот ударил Каменского. На другой день дрались, и Каменскому попала пуля в живот, и он умер через два часа. Убийца и секунданты арестованы, но, как говорят, хотя их и посадили на гауптвахту, их выпустят через две недели» (32, 256).

Глава XVII, Нехлюдов у графини Катерины Ивановны:

«Разговор и здесь зашёл о дуэли. Суждения шли о том, как отнёсся к делу государь. Было известно, что государь очень огорчён за мать, и все были огорчены за мать. Но так как было известно, что государь, хотя и соболезнает, не хочет быть строгим к убийце, защищавшему честь мундира, то и все были снисходительны к убийце, защищавшему честь мундира. Только графиня Катерина Ивановна с своим свободологкомыслием выразила осуждение убийце.

— Будут пьянствовать да убивать порядочных молодых людей — ни за что бы не простила, — сказала она.

— Вот этого я не понимаю, — сказал граф.

— Я знаю, что ты никогда не понимаешь того, что я говорю, — заговорила графиня, обращаясь к Нехлюдову. — Все понимают, только не муж. Я говорю, что мне жалко мать, и я не хочу, чтобы он убил и был очень доволен.

Тогда молчавший до этого сын вступился за убийцу и напал на свою мать, довольно грубо доказывая ей, что офицер не мог поступить иначе, что иначе его судом офицеров выгнали бы из полка. Нехлюдов слушал, не вступая в разговор, и, как бывший офицер, понимал, хоть и не признавал, доводы молодого Чарского, но вместе с тем невольно сопоставлял с офицером, убившим другого, того арестанта красавца-юношу, которого он видел в тюрьме и который был приговорён к каторге за убийство в драке. Оба стали убийцами от пьянства. Тот, мужик, убил в минуту раздражения, и он разлучён с женою, с семьёй, с родными, закован в кандалы и с бритой головой идёт в каторгу, а этот сидит в прекрасной комнате на гауптвахте, ест хороший обед, пьёт хорошее вино, читает книги и нынче-завтра

будет выпущен и будет жить по-прежнему, только сделавшись особенно интересным.

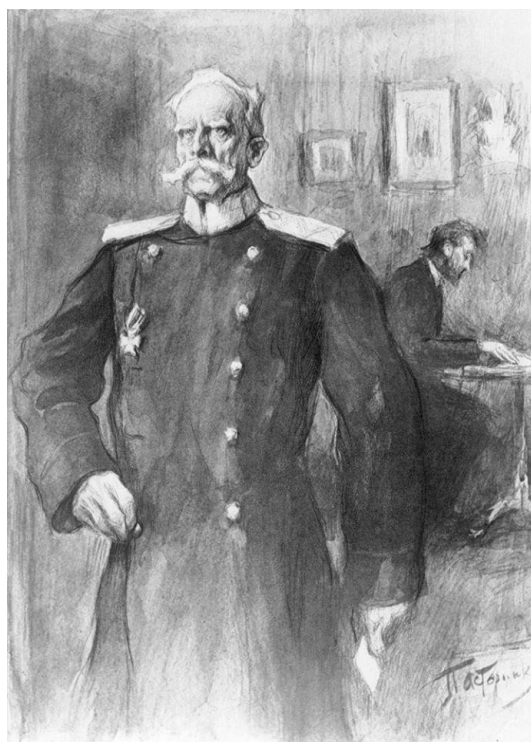
Он сказал то, что думал. Сначала было графиня Катерина Ивановна согласилась с племянником, но потом замолчала. Так же как и все, и Нехлюдов чувствовал, что этим рассказом он сделал что-то в роде неприличия» (*Там же. С. 260*).

Нехлюдову, безусловно, не следовало бы метать бисера перед паноптикумом мёртвых уродов. Это мы можем не только понять, а и ощутить — по окружающей нас, немногих из нас в России, мёртвой и мертвящей атмосфере. Приведённые отрывки у Толстого — уже до боли близкое описание творящегося в наши дни, предельное сближение с путинской Россией 2020-х, где головорезы, не сдохшие от руки защитников Украины, теперь герои, «гуляющие» в ощущении почёта и безнаказанности. А отцов семейства, детей, стариков — с 2022-го жестоко преследуют за высказывания против преступной войны и преступной политики тёти «родины», бандитской гадины путинской России.

Вослед Масленникову и дуэлянту Позену, одобренному, так или иначе, «светским» кругом общения Дмитрия Нехлюдова, к кому же паноптикуму уродов «русского мира» как части лжехристианской цивилизации причтём и появляющегося ближе к завершению романа генерала, начальника Сибирского края, к которому обращается Нехлюдов с просьбой о смягчении участи заключённых. Этот генерал многими чертами своего характера напоминает генералов из «Отца Сергия», «И свет во тьме светит», «Хаджи-Мурата».

Главное приобретение, которое вынес генерал из своей тридцатипятилетней службы, явилась привычка пить много вина, в результате которой он, по словам писателя, «сделался тем, что врачи называют алкоголиком. Он был весь пропитан вином. Ему достаточно было выпить какой-нибудь жидкости, чтобы почувствовать опьянение. Пить же вино было для него такой потребностью, без которой он не мог жить, и каждый день к вечеру он бывал совсем пьян, хотя так приспособился к этому состоянию, что не шатался и не говорил особенных глупостей. Если же он и говорил их, то он занимал такое важное, первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, её принимали за умные речи» (32, 421). Высшие инстанции при том были абсолютно, и не без оснований, уверены в благонамеренности чувств генерала и поэтому жаловали его своим глубоким и неизменным доверием.

На страницах «Воскресения» завершается и эволюция образа офицера-иностранца, о котором ещё в юности, участвуя в войне против горцев, писал Толстой в своих кавказских рассказах. В последнем романе писателя снова фигурирует верноподданный самодержавного режима, «заслуженный, но выживший из ума, как говорили про него, старый генерал из немецких баронов», служивший на Кавказе и в Польше, увешанный многими орденами, теперь заведующий тюрьмами и казематами. Весь смысл своей деятельности генерал полагает в ревностном исполнении предписаний свыше, исходящих от имени государя императора. Его не интересует конечный результат этой деятельности, то, что заключённые мрут от голода, от чахотки, кончают жизнь на виселицах. Все свои силы генерал устремляет на то, чтобы выполнить «патриотический, солдатский долг» и не ослабеть в исполнении обязанностей, которые он считает важными и которыми гордится. По отцовским стопам идёт и его сын, который, окончив военную академию, служит в «разведочном бюро». Сын также гордится своей службой. Занятия же его, как поясняет писатель, «состояли в заведывании шпионами» (32, 267).



Худ. Л. О. Пастернак. 1899

Рисуя внешний портрет генерала, писатель выделяет в нём такие черты, как потухшие глаза из-под седых бровей, хриплый старческий голос, «окостеневшие члены», старческие бритые отвисшие скулы, подпёртые военным воротником. Мундир генерала украшен

белым крестом, полученным, как говорит писатель, «за исключительно жестокое и многодушное убийство» (32, 269). В целом от всей фигуры царского сатрапа исходит впечатление бездушной, тупой и мертвящей силы. От этого ходячего мертвеца зависит, чтобы не мучались мучаемые тётушкой Империей живые... Поистине, символ служилого сословия России! Недаром, в продолжение беседы, костлявый, как сама смерть, старик несколько раз неодобрительно адресует к Нехлюдову о том, что тот не «служит», а надо бы «служить».

Стремясь поскорее уйти из мёртвого дома, «Нехлюдов встал, стараясь удержаться от выражения смешанного чувства отвращения и жалости, которое он испытывал к этому ужасному старику» (*Там же*).

Поистине, *кому* служить?! Служить России, по сей день — то же, что служить лжи и смерти.

Итак, страниц, посвящённых раскрытию тематики войны и военщины, в «Воскресении» не много. Тем не менее, всё сказанное на этих страницах исполнено такой остроты, такой разоблачающей силы, что цензура не только России, но и в других странах, заражённых нарастающим в ту эпоху милитаризмом, в Англии, Франции, Германии, Америке и др., под различными предлогами добивалась изъятия тех мест, которые содержали нападки на армию и милитаризм. Для милитаристов роман был действительно страшен не только злободневностью, остротой проблематики, но и психологической достоверностью ситуаций и характеров. Так, один из переводчиков книг Толстого, Теодор де Визева (Wyzewa, 1862 – 1917), писал в феврале 1900 года из Парижа, что, по его мнению, генералы в «Воскресении» как будто списаны с генералов французского генерального штаба. Одновременно он сообщал о том, что в изданиях толстовского романа опущены строки о военной службе, так как французские читатели якобы не могли о написанном «рассуждать хладнокровно» (*Литературное наследство. Т. 75. Кн. 1. С. 356*).

Аналогичные сообщения поступали в Ясную Поляну из Лондона, Праги, Берлина, Вены. По словам Эйлмера Моода, биографа и переводчика писателя, в берлинских изданиях «Воскресения» исключалось всё оскорбительное для военщины и попов (*Там же. С. 360*).

Толстой не оставался равнодушным к цензурным искажениям. После одной из «обработок», которой подвергся роман американским журналом «Cosmopolitan», писатель обратился с заявлением «В редакции иностранных газет», в котором писал о лишении авторизации романа в том виде, в каком он появился на страницах американского журнала (*см. 72, 115*).

Характерно, что выброшенные цензурой места романа «Воскресение» по стилю и злободневности содержания приближались к обличительным строкам публицистических статей. Отношение же самого Толстого к фактам изъятия и купюр тех мест, в которых содержалась критика военного сословия, свидетельствовало о неослабевающей энергии писателя в обличении этого зла, о его бескомпромиссном и всё возрастающем христианском проклятии в адрес многообразных истоков и сил, порождающих войны.

ЗДЕСЬ КОНЕЦ СЕДЬМОЙ ГЛАВЫ

Прибавления к Главе

Прибавление № 1.

РАССКАЗ ДУХОБОРА ТИФЛИССКОЙ ГУБЕРНИИ (По книге «Гонение на христиан в России», 1896 г.)

Решили мы больше не служить и не повиноваться никакому начальству, а служить только Богу, идти по его пути и творить правду. Решили также не творить никому зла и насилия, а тем более никого не убивать и не только человека, но и других живых тварей, даже до самой малой птицы. Тогда нам стало не нужно оружия. Вот мы и решили уничтожить его, чтобы наше оружие и другим людям не послужило на зло. Выбрали мы сообща день Петра и Павла и объявили об этом всем нашим селениям. Оставили мы у себя только ножи, а всякое оружие сделанное на убийство человека, собрали и снесли на заранее приготовленное место. Место это с давних времён назначено у нас для больших молитвенных собраний и называется "Пещерой". Там действительно есть углубление в скале. Место это находится в 3-х верстах от Орловки, а от других селений наших подалее.

Собрались мы на это место, сложили в кучу всё оружие, обложили дровами, углём, облили керосином — всё это было заранее припасено — и зажгли. Народу сошлось до 2 000 человек.

Мы очень беспокоились о том, чтобы начальство не помешало нашему делу и потому не всем говорили раньше об этом намерении. И действительно, нам удалось сделать это без помехи. Приходили

другие жители соседних деревень, армяне смотрели, как мы жгли оружие, но никто в эту ночь не донёс и к утру костёр догорел и мы стали молиться, петь и читать псалмы. Окончив молитву, мы разошлись по домам и все ждали, что будет нам от начальства. Но весь этот день прошёл спокойно. Вечером мы опять собрались на это место и стали дожигать остатки, чтобы никому не досталось; принесли ещё угля и мехи, чтобы раздувать огонь и чтобы сплавить металлические части в один кусок. И ночь прошла спокойно. Взошла заря и мы опять стали на молитву. Собралось ещё больше народа. Были и женщины и подростки. Те, которым было далеко, приехали на фургонах.

Как сказано, мы держали между собой в тайне намерение сжечь оружие, боясь, чтобы нам не помешали; наши же соседи духоборцы, несогласные с нами, подозревали, что мы что-то намереваемся делать с оружием, но не зная наверное что и, слыша, что мы собираем оружие, решили, что мы идём грабить Сиротский дом, из-за которого у нас были с ними раздоры. Так как мы ждали, что начальство прогонит или сошлёт нас за отказ от службы правительству, то некоторые из нас делали приготовления к походу, молодые парни понакупили себе бурок, и все эти приготовления были приняты нашими врагами за приготовления к бунту и грабежу. Они так боялись нападения, что донесли начальству, и в селение Гореловку, населённую духоборами малой партии, к этому дню пригнали два батальона пехоты из Александрополя и две сотни казаков из Ардагана.

Таким образом войско уже было готово и губернатор выехал на место предполагавшегося бунта. Приехав в Горловку, губернатор разослал нарочных по всем семи селениям, чтобы все шли в Богдановку, где жил пристав, и куда он намеревался прибыть сам. Те из наших, которые оставались по домам и не были на общей молитве, пошли. Мы же на утро 30-го июня молились и ждали, что будет. Приехал нарочный и к нам с приказом идти всем в Богдановку к губернатору. Так как мы решились не повиноваться никакому начальству, а только Богу, то старики ответили: "мы теперь молимся и раньше, чем окончим молитву, никуда не пойдём, а если губернатор хочет нас видеть, пускай приедет к нам; нас тысячи, а он один". Нарочный уехал, а мы продолжали молиться, петь псалмы. Приехал второй нарочный, ему ответили то же самое и продолжали петь псалмы, решив между собой, по окончании молитвы, всё-таки идти всем к губернатору, узнать чего он от нас хочет.

Богомоление ещё не было окончено, как расставленные нами наши вестовые дали нам знать, что виднеются казаки. Тогда мы столпились в кучу и стали их ждать. Казаки стали подъезжать к нам. Впереди ехал командир, и как только приблизился к нам, закричал: "ура!" и со всей сотней налетел на нас. И казаки начали бить нас по чему попало и топтать лошадьми, и сильно избивали тех, которые были внутри, и многие едва не задохлись от давки.

Долго они били нас, потом остановились бить и командир закричал: "марш все к губернатору". Тогда старики сказали ему: "что же ты нам раньше этого не сказал, мы уж и то собирались идти; зачем стал бить?" — "А, разговаривать!" закричал командир и опять с казаками бросился на нас. И опять нас стали бить плетьюми и долго били. Некоторым казакам было стыдно бить. В одном месте два казака по команде бить стали, махать плетьюми по воздуху, нарочно никого не задевая. Вахмистр увидел это, доложил командиру, и тот, подъехав к одному из них, закричал: "ты царя обманываешь!" и так ударил его плетью по лицу, что у него брызнула кровь из носу.

Наконец, перестали бить, и мы, избитые и окровавленные, столпившись кучею, пошли к губернатору. Женщины шли с нами; но казаки стали отрезать их от нас, крича, что женщин не надо. Но женщины сказали, что пойдут всюду за своими духовными братьями. Командир велел их бить плетьюми; но они кричали, что пускай их режут, на куски, они всё-таки пойдут и пошли и казаки отступились от них.

Отойдя немного, мы остановились, вспомнив, что позади нас остались наши обозные фургоны и никого при них не было. Тогда казаки стали опять бить нас и посылать женщин править фургонами, но женщины опять отказались; тогда дали выйти из толпы по одному человеку на фургон, чтобы править лошадьми, и мы опять двинулись в путь всей толпой в Богдановку, где мы должны были найти губернатора.

Когда мы пошли, то запели псалом, но командир остановил пение и велел своим казакам петь срамные песни, такие, что нам и слушать было стыдно.

Подходя к Богдановке, командир остановил нас, увидав губернатора, ехавшего сзади нас в коляске из Гореловки в Богдановку. Губернатор был ещё далеко, когда командир заметил его, но он сейчас же закричал на нас: "шапки долой!" Старики ответили ему: "зачем шапки долой? Вот подъедет, да поздравляется с нами, тогда мы знаем, как ответить ему. А, может, он и не поздоровается, так зачем же мы будем шапки снимать?" Командир опять закричал своим казакам: "в плети, ура!" И опять казаки стали нас бить до крови и били так жестоко, что по всему месту, где мы стояли, трава покраснела

от крови. Казаки били нас не только плетьюми, но и тыкали кнутовищами в лицо, стараясь сбить с головы шапку, и у кого была сбита шапка, того отделяли от толпы. Подъехал губернатор и, увидав, как мы избиты, сказал сотнику: "зачем вы бьёте, ведь я не велел?" Сотник ответил: "виноват, ваше сиятельство!" и остановил битъё. А губернатор проехал в Богдановку и собрал там тех, которые не были на общей молитве, и начал бранить их. Тогда один из них, Фёдор Михайлов Шляхов, вынул красный солдатский билет и отдал губернатору, объяснив, что служить больше не будет. Губернатор так рассердился на него, что сам побил его палкой. Тогда остальные объявили, что они тоже не будут служить и ни в чём не будут подчиняться правительству. Губернатор велел стоявшим тут казакам вынуть ружья из чехлов.

Видя, что в них готовятся стрелять, братья упали на колени и сказали: "прости нас, Господи, прости нас, Господи!" Тогда губернатор приказал убрать ружья, а велел бить их плетьюми и их жестоко избивали.

Когда мы все пришли в Богдановку, писаря переписали всех мужчин домохозяев, и тогда отпустили нас по домам.

[...] Две сотни казаков, рассказывали мне духоборцы, поставили по нашим селениям. Они стояли по три дня в каждой деревне. Располагались они на улице и по дворам, ставили коновязи и брали у нас всё, что им вздумается; и чуть что не по ним, били плетьюми. Требовали, чтобы мы им оказывали почтение, и если мы не здоровались, били нас. Поели у нас всю птицу; когда мы уехали, птицы не осталось вовсе, а было девать некуда.

Нас не выпускали из наших селений, так что мы не могли знать, что делается с другими, но слышно было, что в Богдановке, где казаки безобразничали больше всего, были случаи изнасилования женщин; начальство ничему не препятствовало.

В Орловке казаки вошли в хату, где сидела женщина, Марья Черкашёва, и работала, шила. Они спросили: "где хозяин?" Она отвечала: "не знаю". — "Как не знаешь, хозяйка, а не знаешь, где хозяин?" — Она на это ответила им: "да вот и вас бы не знала, кабы не пришли". И не встала с места, а продолжала работать; тогда они вытащили её на улицу и избивали плетьюми.

Старика 60 лет Кирила Конкина также в деревни Орловке, придравшись к чему-то, так сильно секли плетьюми, что он по дороге, во время выселения, умер.

В Богдановке был духобор Василий Позняков, прежде служивший в солдатах. Когда пришли в эту деревню постоем казаки, казацкий

хорунжий зашёл в хату Познякова и, узнав его, поздоровался. Позняков ответил: "здравствуйте!" — Зачем не отвечаешь мне по военному?" — "Потому что я уж не военный и никогда им не буду", ответил Позняков. Хорунжий велел его сечь плетьюми, потом опять стал здороваться и требовать ответа по военному: "здравия желаем ваше и т. д." Позняков опять отказался, его опять стали сечь и так до трёх раз: избили так, что он месяц лежал больной.

Прибавление № 2

ПОМОГИТЕ!

На Кавказе теперь свершается ужасное дело. Более четырёх тысяч людей ¹⁾ страдают и умирают от голода, болезней, истощения, побоев, истязаний и других преследований русских властей.

¹⁾ В приводимых нами цифрах включены женщины, старики и дети.

Эти страдающие люди — кавказские духоборы. Они терпят гонения за то, что их религиозные убеждения не позволяют им исполнять те государственные требования, которые связаны прямо или косвенно с убийством человека или насилием над ним.

В русской и иностранной печати за последнее время нередко появлялись краткие, отрывочные сведения об этих замечательных людях. Но всё, что писалось в русских газетах, было или слишком кратко, или искажено, — одно намеренно, другое бессознательно, третье в виде уступки требованиям русской цензуры. А что было напечатано за границей, то, к сожалению, мало доступно русской публике. И потому в этом обращении мы считаем своим долгом дать общую картину происходящих теперь событий и краткий очерк обстоятельств, им предшествовавших.

Духоборы появились в половине прошлого столетия. К концу прошлого столетия и началу нынешнего учение их настолько выяснилось и число последователей настолько увеличилось, что правительство и церковь начали жестокое преследование, сочтя эту секту особенно вредной.

Основа духоборческого учения состоит в том, что в душе человека пребывает дух Божий и наставляет его своим внутренним словом. Пришествие Христа во плоти, его деяния, учение и страдания они

принимают в духовном смысле. Цель страданий Христа, по их понятию, была та, чтобы подать нам пример страдания за истину. Христос продолжает в нас страдать и теперь, когда мы не живём согласно заповеди и духу его учения. Всё учение духоборов проникнуто евангельским духом любви. Поклоняясь Богу духом, духоборы утверждают, что наружная, официальная церковь и всё, что в ней совершается и к ней относится, не имеет для них никакого значения. Церковь там, где двое или трое собраны, т. е. соединены во имя Христово.

Молятся они внутренне во всякое время; в определённые же дни, для удобства соответствующие православным праздникам, они собираются на молитвенные собрания, на которых читают молитвы или поют духовные песни (псалмы, как они их называют), и братски приветствуют друг друга земными поклонами, признавая каждого человека носителем Божества.

Учение духоборов основывается на предании. Это предание называется у них "животной книгой", потому что оно живёт в их памяти и сердцах. Она состоит из псалмов, частью составившихся из содержания Ветхого и Нового Завета, частью сложившихся самостоятельно.

Как свои взаимные отношения, так и отношения к другим людям, — не только к людям, но и ко всяким живым тварям, — духоборы основывают исключительно на любви; и потому они считают всех людей равными братьями. Эту мысль о равенстве духоборы распространяют и на государственные власти, слушаться которых они не считают для себя обязательным в тех случаях, когда требования этих властей противоречат их совести. Во всём же том, что не нарушает признаваемой ими воли Бога, они охотно исполняют желания властей, как и всех людей.

Противным своей совести и воле Бога они считают убийство, насилие и вообще нелюбовное отношение к живым существам.

В жизни своей духоборы трудолюбивы и воздержаны; в речах своих всегда правдивы, считая всякую ложь большим грехом.

Таковы в самых общих чертах те верования, за проявление которых духоборы издавна терпели жестокие гонения. Император Александр I в одном из своих рескриптов относительно духоборов от 9 декабря 1816 года выражается так: "Все меры строгости, истощённые над духоборами в продолжение тридцати лет до 1801 года, не токмо не истребили сей секты, но паче и паче приумножили число последователей ея". И потому он предлагает более гуманное обращение с ними. Но, несмотря на это желание императора, гонения не прекращались.

При Императоре Николае I гонения эти особенно усилились, и по повелению Николая I, в 40-х годах, они все были высланы из Таврической губернии, где были прежде поселены, в Закавказье, близко к Турецкой границе. "Польза этой меры очевидна", говорилось в ранее состоявшемся постановлении комитета министров от 6 февраля 1826 года, "пересылаемые (духоборы) за пределы Кавказской области, находясь всегда против горских народов, по необходимости должны будут оружием защищать своё имущество и семейство", т. е. должны будут отступить от своих убеждений. К тому же для поселения их назначена была местность в нынешнем Ахалкалакском уезде Тифлисской губернии на так называемых "Мокрых Горах", с суровым климатом, на высоте пяти тысяч фут над уровнем моря, где с трудом произрастает ячмень, и нередко хлебные посевы побииваются морозами. Часть же духоборов была поселена в нынешней Елизаветпольской губернии.

Но ни суровый климат, ни соседство диких воинственных горцев не поколебали веры духоборцев и они в продолжение полувека, которое они прожили на Мокрых Горах, превратили эту пустынную местность в цветущие колонии и продолжали жить тою же христианскою трудолюбивою жизнью, которою они жили прежде. Но, — как это почти всегда повторяется с людьми, — соблазн богатства, которого они достигли на Кавказе, ослабил их нравственную силу, и они мало-помалу стали несколько отступать от требований своей веры.

Но отступая временно во внешней жизни от требований своей совести, они во внутреннем своём сознании никогда не отрекались от основ своих верований, и потому как только случились среди них события, нарушившие их внешнее спокойствие, так тотчас же воспрянул в них тот религиозный дух, которым руководились их отцы.

В 1887 году введена была на Кавказе общая воинская повинность, а на военную службу потребовали даже тех, для которых она раньше того была, вследствие их религиозных убеждений, заменена другим. Мера эта застала врасплох духоборов, и они сначала внешне подчинились ей; но никогда по совести не отказавшись от признания войны великим грехом, они уговаривали своих забираемых в солдаты сыновей, подчиняясь разным механическим требованиям начальства, никогда не употреблять оружия в дело. Тем не менее это введение воинской повинности среди людей, считающих грехом всякое убийство и насилие над человеком, — сильно встревожило их и заставило призадуматься над степенью своего уклонения от своей веры.

В это самое время незаконное решение правительственных учреждений и лиц, вследствие которого право на владение полумиллионным общественным имуществом духоборов было передано одному из них, ради своей личной выгоды изменившему общим интересам, вызвало протест большинства духоборов против этого человека и его партии, завладевших этим имуществом, и против подкупного местного правительства, так несправедливо решившего это дело.

Когда же несколько представителей этого большинства, — в том числе и выборный распорядитель общественного имущества, — были высланы в Архангельскую губернию, движение это приняло вполне определённый характер.

Большинство духоборов, около двенадцати тысяч человек, решили с полной строгостью держаться временно оставленных ими преданий отцов, отказались от употребления табака, вина и мяса и от всякого излишества, равномерно разделили между собою всё своё имущество, восполнив таким образом недостатки тех, которые оказались к тому времени обедневшими и нуждающимися, и собрали новый общественный капитал.

В связи с этим возвращением к строгой, христианской жизни они отказались и от всякого участия в делах насилия, а потому и от воинской повинности.

В подтверждение искренности своего решения не употреблять насилия даже для защиты себя, духоборы большой партией летом прошлого 1895 года сожгли всё своё оружие, имевшееся у них, как у всех кавказских жителей, а находившиеся на военной службе отказались её продолжать. Для сожжения своего оружия, составлявшего их частную собственность и потому находившегося в их безусловном распоряжении, они, по общему уговору, назначили ночь с 28 на 29 июня. И сожжение это было произведено при пении псалмов одновременно в трёх местах: в Тифлисской и Елизаветпольской губерниях и Карсской области. В Карсской области оно прошло беспрепятственно; в Елизаветпольской губернии вызвало заключение 40 духоборов в тюрьму, где они находятся и до сих пор; а в Тифлисской губернии при этом со стороны местной администрации произошло бессмысленное, ничем не вызванное и невероятное по своей дикости нападение войска на обезоруженных людей и жестокое истязание их.

Сожжение оружия в Тифлисской губернии должно было происходить близ села Горелого, населённого духоборами малой правительственной партии, в руках которых находилось отобранное ими общественное имущество. Эти духоборы, узнав о намерении большой партии сжечь оружие, испугавшись ли их большого скопления, или,

желая оклеветать их по недоброму чувству к ним, донесли начальству, что духоборы большой партии затевают бунт и готовятся к вооружённому нападению на село Горелое. Местные же власти, не проверив основательности доноса, распорядились выслать казаков и пехоту на место мнимого бунта. Казаки прибыли на место сборища духоборов к утру, когда уже догорал костёр, уничтоживший их оружие, и произвели две кавалерийские атаки на этих добровольно обезоруживших себя и певших духовные песни мужчин и женщин, и избили их плетью самым бесчеловечным образом.

После этого начался целый ряд гонений против всех духоборов большой партии. Прежде всего вызванные войска были поставлены на "экзекуцию" по духоборческим селениям, т. е. всё имущество и сами жители этих селений были переданы во власть офицеров, солдат и казаков, стоявших в этих деревнях. Имущество духоборов было расхищено, и сами жители были всячески оскорбляемы и истязуемы; женщины же были сечены нагайками и изнасильваемы. Мужчины, около 300, отказавшихся от звания чинов запаса, и около 30, отказавшихся от действительной службы, были заключены в тюрьмы и дисциплинарные батальоны.

Затем более четырёх сот семей Ахалкалакских духоборов были оторваны от благоустроенных хозяйств и прекрасно-обработанной земли и, после продажи за бесценок их имущества, высланы из Ахалкалакского уезда в четыре других уезда Тифлисской губернии и расселены по грузинским деревням, от одной до пяти семей на деревню, и брошены там на произвол судьбы.

Ещё с прошлой осени появились среди этих расселённых духоборов эпидемические болезни: лихорадки, тиф, дифтерит, поносы; значительно увеличилась смертность, в особенности среди детей. Выселены духоборы из холодного горного климата в жаркий климат кавказских долин, где и местные жители страдают от лихорадок; и потому почти все духоборы болеют, тем более, что не имея жилищ, они ютятся в тесноте по наёмным квартирам; главное же то, что у них, в их местах изгнания, нет средств пропитания.

Единственный заработок есть подённый труд среди того населения, где они поселены и выйти за пределы которого их не пускают. Заработок же этот очень мал, тем более, что местные жители в нынешнем году пострадали и от неурожая, и от наводнения. Поселенные вблизи железной дороги кое-что зарабатывают, работая на ней, и делятся с остальными полученною платою. Но заработок этот представляет лишь каплю в море общей нужды.

Материальное положение духоборов становится с каждым днём всё тяжелее и тяжелее. У изгнанных духоборов нет другой пищи кроме

хлеба, и в том иногда бывает недостаток. У большинства уже появились зловещие признаки голодания, куриная слепота, предвестница цинги. Смертность всё увеличивается и увеличивается.

На месте ссылки в Сигнахском уезде из ста поселённых там семейств (около 1000 душ) умерло в продолжение года 106 человек. В Горийском уезде из 110 семейств умерло 91 человек. В Тионетском уезде из 100 семейств умерло 83 человека. В Душетском уезде из 72 семейств умерло 20 человек. Но положение их не лучше; почти все страдают болезнями, и болезненность и смертность всё увеличиваются.

Кроме этих смертей, не прекращаются смерти прямо насильственные среди духоборов, заключённых по тюрьмам и дисциплинарным батальонам.

Первым, в июле 1895 года, умер такою смертью духобор Кирилл Конкин от побоев, полученных во время экзекуции, -- умер он по дороге, не доехав до места ссылки, в горячечном бреде, наступившем во время его сечения. Затем в августе 1896 года умер в Екатериноградском дисциплинарном батальоне Михаил Щербинин, замученный насмерть сечением и насильственным киданием во время расслабленного от сечения состояния через "кобылу" ¹⁾. Из числа заключённых в тюрьмах многие уже умерли. Некоторые из них умерли в полном одиночестве и без всякого призора, запертые на ключ в отдельной комнате, в то время, как товарищи их по заключению и ближайшие родственники, пришедшие проститься с умиравшими, тщетно умоляли о разрешении зайти к ним. Новые смерти готовятся как среди населения, страдающего от нужды в изгнании, так и в тюрьмах и дисциплинарном батальоне ²⁾.

¹⁾ Гимнастическое приспособление для развития в солдатах способности прыгать.

²⁾ Вышесообщённые нами вкратце общие сведения об этом деле в случае надобности могут быть нами пополнены во всех подробностях и подтверждены самыми неопровержимыми доказательствами, разрушающими всю возводимую на духоборов возмутительную клевету в таких источниках, как, напр. "Конфиденциальное Представление Тифлисского Губернатора, Князя Шеваршидзе, на имя Начальника Кавказского края, Генерала Шереметева", которое было недавно почти буквально перепечатано в журнале "Русская Старина" в форме статьи некоего Тебенькова; после чего выдержки из этой статьи появились и в газете "Новое Время". Мы храним весь тщательно собранный нами материал, по которому можно проверить безусловную точность наших утверждений.

Духоборы сами не просят о помощи, ни те, которые с семьями находятся в ссылке, голодные и с голодными, больными детьми, ни те,

которые в тюрьмах, и дисциплинарном батальоне медленно, но верно замучиваются до смерти. Они умирают, не выпуская ни одного вопля о помощи, зная за что и для чего они терпят. Но нам-то, видящим эти страдания и знающим про них, нельзя же оставаться спокойными. — Но как помочь им?

Есть только два средства помощи людям, гонимым за веру: одно состоит в исполнении евангельской заповеди призрения странного, одевании нагого, посещения больного и заключённого и насыщения голодного, которую предписывает нам и сердце, и Евангелие; другое — состоит в обращении к гонителям, как тем, которые предписывают гонения и допускают их, когда они могли бы прекратить их, так и тем, которые, не сочувствуя гонениям, принимают в них участие и делаются орудиями их, — для того, чтобы обнаружить передо всеми этими гонителями весь грех, всю жестокость и всё безумие их деятельности.

И вот, имея возможность раньше других узнать обо всем, здесь сообщённом, — мы и обращаемся как к русским, так и нерусским людям, с просьбою помочь испытываемым тяжёлыми страданиями нашим братьям, как денежными жертвами для облегчения страданий старых, больных и детей, так и возвышением голоса в защиту гонимых.

Денежная помощь может быть прямо передана на Кавказ тем духовборцам, которые распорядятся распределением средств среди нуждающихся братьев, а в случае невозможности прямо передать деньги духовборам, пожертвования могут быть направляемы нам, и мы уже перешлем их заведывающим помощью духовборам.

Самое же важное и драгоценное средство выражения сочувствия к гонимым и смягчения сердца гонителей заключалось бы в личном посещении гонимых для того, чтобы собственными глазами увидеть то, что с ними в настоящее время происходит, и передать истину о них всеобщему сведению.

Выражение сочувствия дорого духовборам потому, что хотя они и не просят о помощи, но для них нет большей радости, как видеть проявление любви и жалости к себе со стороны других людей, — той самой любви, ради которой эти мученики жертвуют своею плотской жизнью.

Предание же всеобщему сведению истины о духовборам важно потому, что не может же быть того, чтобы русская государственная власть действительно желала уничтожения этих людей путём неумолимого требования от них того, чего они, по своей совести, не могут сделать, и неотступного их за это преследования и истязания. Здесь,

вероятно, есть недоразумение, и потому особенно важно разглашение правды, которая может устранить его.
Помогите!

Павел Бирюков.

Иван Трегубов.

Владимир Чертков.

Москва, 12 декабря 1896 г.

(Помогите! Обращение к обществу по поводу гонений по поводу гонений на кавказских духоборов, составленное П. Бирюковым, И. Трегубовым и В. Чертковым. С послесловием Льва Николаевича Толстого. Перепечатывается с издания В. Черткова [1896 г.]. СПб., 1906. С. 3 – 11).

Прибавление № 3.

РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «STOKHOLM TÄGVLATT»

4 октября 1897 г.
(оригинал на франц.)

Господин редактор,

Вы меня очень обязали бы, поместив прилагаемую статью в вашей газете. Эта статья была переведена на шведский язык одним очень талантливым молодым шведом *), который был у меня как раз в то время, когда я писал эту статью. Если слог не очень гладкий, о чём я не в состоянии судить, не зная шведского языка, и если рукопись недостаточно чиста, то виной этому та спешность, с которой статья эта должна была быть написана и отослана. Надеюсь, что вы извините и то и другое, и напечатаете статью, если только найдёте её достаточно интересной для ваших читателей.

Примите, господин редактор, уверение в моём совершенном уважении.

Лев Толстой.

P. S. Вы окажете мне большую услугу, прислав мне № вашей газеты, если статья в нём появится, вложив её в почтовый конверт, во избежание цензуры.

*) Вольдемар Ланглет; это он посоветовал мне обратиться в вашу газету. – *Примеч. Л. Н. Толстого*

М. Г.

Появившееся в шведских газетах известие о том, что в Норвежском стортинге, по завещанию Нобеля, разбирался вопрос о том, кому из лиц, наиболее послуживших делу мира, следует назначить определённые для этой цели 100 000 рублей, вызвало во мне некоторые соображения. Вы очень обяжете меня, напечатав прилагаемое в вашей газете.

Я полагаю, что условие завещания Нобеля, по отношению лиц, наиболее послуживших делу мира, весьма трудно исполнимо. Люди, действительно служащие делу мира, служат ему потому, что служат Богу, и потому не нуждаются в денежном награждении и не примут его. Но полагаю, что условие завещания будет совершенно верно выполнено, если деньги эти передадутся находящимся в нужде семьям лиц, послуживших делу мира. Я говорю про кавказских духоборов. Никто в наше время не послужил и не продолжает служить делу мира действительно и сильнее этих людей.

Служение этих людей делу мира состоит в следующем: целое население, более чем 10 000 людей, придя к убеждению, что христианин не может быть убийцею, решило не принимать участия в военной службе: 34 человека, назначенные к отбыванию воинской повинности, отказались от присяги и службы, за что были заключены в дисциплинарный батальон (одно из самых страшных наказаний). Около 300 человек запасных солдат отнесли свои билеты начальству, объявив, что служить не могут и не будут; эти 300 человек были заперты в кавказские тюрьмы, семьи же этих людей высланы из их жилищ и поселены в татарских и грузинских деревнях, где не имеют ни земли, ни работы для пропитания. Несмотря на уговаривание правительственных лиц, на угрозы о том, что мучительство их и их семей будет продолжаться до тех пор, пока они не согласятся исполнять воинские обязанности, отказавшиеся от военной службы не изменяют своему решению. Люди эти говорят: "Мы христиане и поэтому не можем согласиться быть убийцами, вы можете и мучить, и убивать нас, мы не можем помешать этому, но мы не можем повиноваться вам, потому что исповедуем то самое христианство, которое и вы признаёте". Слова эти очень просты и до такой степени не новы, что странно кажется и повторять их, а между тем слова эти, сказанные в наше время, в тех условиях, в которых находятся духоборы, имеют большое значение.

Все в наше время говорят о мире и о средствах установления его. О мире говорят профессора, писатели, члены парламентов и обществ мира, и те же профессора, писатели, члены парламентов и обществ

мира при случае выражают патриотические чувства; когда же доходит до них очередь, спокойно становятся в ряды войск, предполагая, что война прекратится не их, а чьими-то другими усилиями и не в их время, а когда-то после. Священники и пасторы проповедуют о мире в своих церквах и усердно молятся о нём Богу, но остерегаются говорить своей пастве о том, что война не совместима с христианством. О мире же не пропускают случая говорить все разъезжающие из столицы в столицу императоры, короли и президенты: они говорят о мире, обнимаясь на станциях железных дорог, говорят о мире, принимая депутации и подарки, говорят о мире с стаканом вина в руках за обедами и ужинами, главное, не упускают случая поговорить о мире перед теми самыми войсками, которые собраны для убийства и которыми они хвастаются друг перед другом.

И потому среди этой всеобщей лжи поступки духоборов, ничего не говорящих о мире, а говорящих только о том, что они сами не хотят быть убийцами, получают особенное значение, потому что указывают миру на тот давнишний, простой, несомненный и единственный способ установления мира, который давно уже открыт людям Христом, но от которого люди в прежнее время были так далеки, что он казался неприменимым и который в наше время стал так естественен, что можно только удивляться, каким образом все люди христианского мира до сих пор ещё не применили его. Способ этот прост, потому что для применения его не надо предпринимать ничего нового, нужно только каждому человеку нашего времени не делать самому того, что он всегда и для всех считает дурным и постыдным: не соглашаться быть рабом тех, которые приготавливают людей к убийству. Способ этот несомненен, потому что стоит только христианам признать то, что они не могут не признать, что христианин не может быть убийцею, и не будет солдат, потому что все христиане, и будет вечный ненарушимый мир между христианами. И способ этот единственный, потому что до тех пор, пока христиане будут признавать для себя возможным участие в военной службе, будут люди властолюбивые вовлекать других в эту службу и будут войска, а будут войска, — то будут и войны.

Я знаю, что способ этот употреблялся уже давно, знаю, как древние христиане, отказывавшиеся от военной службы, были казнимы за это римлянами (отказы эти описаны в Житиях Святых). Знаю, как павликиане были поголовно избиты за это же. Я знаю, как гонимы были за это богомилы, как страдали за это квакеры и менониты; знаю также, как теперь в Австрии в тюрьмах томятся за это назарены и как мучили за это людей в России.

Но то, что все эти мученичества не уничтожили войну, никак не доказывает того, что мученичества эти были бесполезны. Говорить, что способ этот недействителен, потому что давно уже употребляется, а войны всё-таки существуют, всё равно, что говорить, что весной тепло солнца не действительно, потому что не вся земля оттаяла и не распустились цветы. Значение этих отказов в прежние времена и теперь совершенно различно: тогда это были первые лучи солнца на замёрзшую, нетронутую ещё землю, теперь это уже последнее тепло, нужное для того, чтобы разрушить остатки только кажущейся, но не имеющей уже силы — зимы.

Ведь никогда не было прежде того, что теперь, не было той очевидной нелепости, чтобы все люди без исключения сильные и слабые, расположенные к войне и имеющие отвращение к ней, были одинаково принуждены служить в военной службе; никогда не было того, чтобы большая часть народного богатства тратилась на всё увеличивающиеся военные приготовления; никогда не было так ясно, как в наше время, что всегдашний предлог собирания и содержания войск для мнимой защиты от воображаемого нападения врагов не имеет никакого основания и что все эти угрозы нападения суть только выдумки тех, кому нужны войска для своих целей — для властвования над народом. Никогда прежде не было того, чтобы война угрожала людям такими страшными разорениями, бедствиями и такими истреблениями целых поколений, как теперь. Никогда не было, наконец, прежде тех чувств единения и благоволения между народами, вследствие которых война между христианскими народами представляется чем-то ужасным, безнравственным, бессмысленным и братоубийственным. Главное же, никогда, как теперь, не был так очевиден тот обман, посредством которого одни люди заставляют других готовиться к войне, которая всем тяжела, никому не нужна и ненавистна всем.

Говорят, что для того, чтобы этим способом уничтожить войну, должно пройти слишком много времени, должен совершиться длинный процесс соединения всех людей в одном и том же желании не участвовать в войне. Но любовь к миру и отвращение к войне уже давно составляют, как любовь к здоровью и отвращение к болезни, всегдашнее и всеобщее желание всех неразвращённых, неопьянённых и неодураченных людей. Так что, если нет ещё мира, то это не оттого, что нет в людях общего желания иметь его, нет любви к нему и отвращения к войне, а только потому, что существует коварный обман, посредством которого людей уверили и уверяют, что мир невозможен и война необходима. И потому для того, чтобы установить мир между людьми, а тем более между христианами, и уничтожить

войну, не нужно ничего нового внушать людям; нужно только освободить их от того обмана, посредством которого им внушено действовать противно своему общему желанию. Обман этот всё более и более разоблачается самою жизнью и в наше время уже настолько разоблачён, что нужно только небольшое усилие для того, чтобы люди совершенно освободились от него. Вот это-то усилие и делают в наше время духоборы своим отказом от военной службы.

Поступки духоборов срывают последние покровы обмана, — скрывавшие от людей истину. И русское правительство знает это и старается всеми силами хотя на некоторое время поддержать ещё тот обман, на котором основано его могущество, и употребляет для этого обычные в этих случаях для людей, знающих свою вину, меры жестокости и тайны. Отказавшихся от службы духоборов запирают в тюрьмах, дисциплинарных батальонах, ссылают в худшие места Сибири и Кавказа, семьи же их, старики, дети, жёны, выгнаны из своих жилищ и поселены в местностях, где они, без крова и средств заработать пищу, постепенно вымирают от нужды и болезней. И всё это совершается в величайшей тайне. Заключённые в тюрьмы и пересылаемые содержатся отдельно от всех других; сосланным не дозволяется общение с русскими, их держат только среди инородцев, справедливые сведения о положении духоборов запрещаются в печати, письма от духоборов не отсылаются, письма к ним не доходят; усиленная полиция стережёт всякое общение духоборов с русскими и запрещает его; люди, пытавшиеся помочь духоборам и распространить о них сведения среди общества, ссылаются в отдалённые места или вовсе высылаются из России. И как и всегда, меры эти производят только обратное действие того, которое желает произвести правительство. Религиозное, нравственное трудолюбивое население в 10 000 душ нельзя незаметно стереть с земли в наше время. Те самые люди, которые стерегут духоборов, солдаты, тюремщики, те инородцы, среди которых они расселены, так же и те люди, которые, несмотря на все старания правительства, входят в общение с духоборами, узнают про то, за что и во имя чего страдают духоборы, узнают про ничем не оправдываемую жестокость правительства против них и про его страх перед разглашением того, что происходит, и люди, прежде никогда не сомневавшиеся в законности правительства и в совместимости христианства с военной службой, не только начинают сомневаться, но вполне убеждаются в правоте духобор[ов] и в обмане правительства и освобождаются сами и освобождают других людей от того [обмана], в к[отором] они до сих пор находились. И вот это-то освобождение от обмана и, вследствие этого, приближение к установлению действительного мира на земле

и есть великая в наше время заслуга духоборов. Потому-то я и полагаю, что никто более их не послужил делу мира. Несчастные же условия, в которых находятся их семьи (о которых можно узнать в статье, напечатанной в газете Humanitas, Juni, 1897), делают то, что никому, с большей справедливостью не могут быть присуждены те деньги, которые Нобель завещал людям, послужившим делу мира. Передать эти деньги нужно как можно скорее, потому что нужда духоборческих семей увеличивается с каждым днём и к зиме должна дойти до крайней степени. Если деньги эти будут присуждены семьям духоборов, то они могут быть переданы им прямо на местах или тем лицам, которые мною будут указаны.

(70, 148 – 154)

Прибавление № 4.

ДУХОБОРАМ, ПЕРЕСЕЛИВШИМСЯ В КАНАДУ

15 (27) февраля 1900 г.

Любезные братья и сёстры!

Всем нам, исповедующим христианское учение и желающим, чтобы жизнь наша согласовалась с этим учением, надо помогать друг другу. И самая нужная помощь в том, чтобы указывать друг другу те грехи и соблазны, в которые мы впадаем, не замечая их.

Потому-то и я, прося братьев моих о помощи в тех моих грехах и соблазнах, которых я не вижу, считаю своим долгом указать вам, любезные братья и сёстры, на тот соблазн, которому, как я слышу, поддаются некоторые из вас.

Вы пострадали и были изгнаны и теперь ещё терпите нужду за то, что захотели вести христианскую жизнь не на словах, а на деле, отказались от всякого насилия над ближним, от присяги, от полицейской, от солдатской службы, даже сожгли своё оружие, чтобы не было соблазна защищаться им, и, несмотря на все гонения, остались верны христианскому учению. Дела ваши стали известны людям, и враги христианского учения смутились, узнав о ваших делах, и то запирали и ссылали вас, то выслали из России, стараясь всеми силами скрыть от людей ваше дело. Сторонники же христианского

учения радовались, торжествовали, любили, восхваляли вас и старались подражать вам. Дела ваши много содействовали уничтожению царства зла и утверждению людей в христианской истине.

Теперь же я узнаю из писем наших друзей о том, что жизнь многих из вас в Канаде такова, что смущены уже сторонники христианского учения, а радуются и торжествуют враги его. «Вот они, ваши духоборы, — говорят теперь враги христианства, — как только переехали в Канаду, в свободную страну, так и стали жить так же, как и все люди, так же копят имущество каждый для себя и не только не делятся с братьями, но стараются захватить каждый для себя как можно больше. Так что всё, что они прежде делали, они делали по приказанию своих главарей, не понимая хорошенько, зачем они это делают».

Любезные братья и сёстры, знаю я и понимаю всю трудность вашего положения в чужой стороне, среди чужих людей, ничего никому не дающих даром, и знаю я, как страшно думать о том, что близкие слабые семейные люди останутся без средств и помощи. Знаю, как трудно бывает жить в общине и как обидно бывает работать на других, которые не заботливы и тратят приобретённое чужими трудами. Всё это я знаю, но знаю и то, что если вы хотите продолжать жить христианскою жизнью и не хотите отречься от всего того, за что пострадали и были изгнаны из отечества, то вам нельзя жить по мирски и собирать каждому отдельно для себя и для своей семьи собственность и удерживать её от других людей.

Ведь это только нам так кажется, что можно быть христианином и иметь собственность и удерживать её от других людей, но это невозможно. Стоит людям признать это, и от христианства очень скоро не останется ничего, кроме слов и, к сожалению, неискренних и лицемерных слов. Христос сказал, что нельзя служить Богу и мамоне; одно из двух: или собирать для себя собственность, или жить для Бога.

Сначала кажется, что между отрицанием насилия, отказом от военной службы и признанием собственности нет никакой связи. «Мы, христиане, не поклоняемся внешним богам, не присягаем, не судим, не убиваем, — говорят многие; из нас, — то же, что мы трудом своим приобретаем собственность не для обогащения, а для обеспечения своих близких, то этим не только не нарушаем учения Христа, но ещё исполняем его, если от избытка своего помогаем нищим».

Но это неправда. Ведь собственность значит то, что то, что я считаю своим, я не только не дам всякому, кто захочет взять это моё, но и буду защищать это от него. Защищать же от другого то, что счита-

есть своим, нельзя иначе, как насилием, т. е., в случае нужды, борьбою, дракою, даже убийством. Если бы не было этих насилий и убийств, то никто бы не мог удерживать собственности.

Если ж мы удерживаем собственность, не делая насилия, то только потому, что собственность наша ограждена угрозой насилия и самым насилем и убийством, которые совершаются над людьми вокруг нас. У нас если мы и не защищаем её, не отнимают нашу собственность только потому, что думают, что мы, так же, как и другие, будем защищать её.

И потому признание собственности есть признание насилия и убийства; и вам незачем было отказываться от военной и полицейской службы, если вы признаёте собственность, которая поддерживается только военной и полицейской службой. Те, которые исправляют военную и полицейскую службу и пользуются собственностью, поступают лучше, чем те, которые не несут военной и полицейской службы, а хотят пользоваться собственностью. Такие люди, сами не служа, хотят для своих выгод пользоваться чужой службой.

Христианское учение нельзя брать кусочками: или всё, или ничего. Оно всё неразрывно связано в одно целое. Если человек признаёт себя сыном Божиим, то из этого признания вытекает любовь к ближнему, а из любви к ближнему одинаково следует отрицание насилия и присяги, и службы, и собственности.

Кроме того, пристрастие к собственности само по себе есть обман, и Христос раскрывает нам его (Евангелие Луки, XII, 15 и сл.; Евангелие Матвея, X. 39; XX, 28; X, 10). Он говорит, что человек не должен заботиться о завтрашнем дне, и не потому, что в этом есть какая либо заслуга, что это велит Бог, а потому, что такая забота ни к чему не ведёт, что этого нельзя, и что кто будет делать это, тот будет делать глупость, стараясь сделать невозможное. Человеку невозможно обеспечить себя, во-первых, потому, что он смертен, как это показано в евангельской притче о богаче, построившем житницы, и, во-вторых, потому, что никогда нельзя найти предел нужного обеспечения. На сколько времени нужно обеспечить себя? На месяц? на год? на 10 лет? на 50? Обеспечить ли только себя или и своих детей и своих внуков, и чем обеспечить? Едой или и одеждой и жилищем, и какой едой и каким жилищем? Кто начнёт обеспечивать себя, тот никогда не придёт к концу обеспечивания, а только напрасно погубит свою жизнь, как и сказано: кто захочет сохранить свою жизнь, тот погубит её. Разве мы не видим богачей, живущих бедственно, и бедняков, живущих радостно. Человеку не нужно себя

обеспечивать, как и сказал Христос. Он обеспечен раз навсегда Богом: так же, как обеспечены птицы небесные и цветы полевые.

Да, но если так, и люди все не будут работать, не будут пахать, сеять, то все помрут с голоду, — говорят обыкновенно те, которые не понимают или не хотят принять учение Христа во всём истинном его значении. Но ведь это только отговорка. Христос не запрещает работать человеку и не только не советует быть праздным, но, напротив, велит всегда работать, но только работать не на себя, а на других. Сказано: сын человеческий пришёл не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы самому служить людям, и трудящийся достоин пропитания. Человек должен работать как можно больше, но только не удерживать себе, не считать своим того, что он сработал, а отдавать другим.

Чтоб вернее всего обеспечить себя, человеку есть одно средство, и это средство то самое, которому учит Христос: как можно больше работать и довольствоваться как можно меньшим. Человек, который будет поступать так, везде и всегда будет обеспечен.

Христианское учение нельзя брать кусочками: взять одно и оставить другое. Если люди, приняв учение Христа, отказались от насилия, судов, войны, то они должны отказаться и от собственности, потому что насилие и суды нужны только для удержания собственности. Если же люди держат собственность, то им необходимо и насилие, и суды, и всё мирское устройство.

Соблазн собственности есть самый тонкий соблазн, вред которого очень хитро скрыт от людей, и потому так много христиан претыкались об этот камень.

И потому, дорогие братья и сёстры, устраивая вашу жизнь на чужой стороне после того, как вы были изгнаны из своего отечества за верность христианскому учению, я вижу ясно, что вам со всех сторон выгоднее продолжать жить христианскою жизнью, чем изменить этому — начать жить жизнью мирскою. Выгоднее жить и работать сообща со всеми теми, которые захотят жить такую же жизнь, чем жить каждому отдельно, собирая только для себя и для своей семьи, не делаясь с другими. Выгоднее жить и работать так, во-первых, потому что, не припасая на будущее, вы не будете тратить бесконечно сил на невозможное для смертного человека обеспечение себя и семьи, во-вторых, не будете тратить сил на борьбу с другими, чтобы удержать от ближних каждый своё имущество, в-третьих, потому что без сравнения больше сработаете и приобретёте, работая общиной, чем сколько сработали бы, работая каждый отдельно, в-четвёртых, потому что, живя общиной, вы меньше будете тратить на себя, чем живя каждый отдельно, и в-пятых, потому что, живя

христианской жизнью, вы в окружающих вас людях вместо зависти и недружелюбия вызовете к себе любовь, уважение и, может быть, и подражание своей жизни, в-шестых, потому что не погубите того дела, которое вы начали и которым посрамили врагов и порадовали друзей Христа. Главное же выгоднее вам жить христианскою жизнью потому, что, живя такой жизнью, вы будете знать, что исполняете волю Того, Кто вас послал в мир.

Знаю я, что трудно не иметь ничего своего, трудно быть готовым отдать то, что имеешь и нужно для семьи, всякому просящему, трудно покоряться избранным руководителям, когда кажется, что они неправильно распоряжаются, трудно воздержаться от привычек роскоши, мяса, табака, вина. Знаю, что всё это кажется трудно. Но, любезные братья и сёстры, ведь мы нынче живы, а завтра пойдём к Тому, Кто послал нас в этот мир для того, чтобы делать Его дело. Стоит ли из-за того, чтобы называть вещи своими и по своему распоряжаться ими, из-за нескольких пудов муки, долларов, шубы, пары волов, из-за того, чтобы не дать неработающим воспользоваться тем, что я сработал, из-за обидного слова, из-за гордости, вкусного куска идти против Того, Кто послал нас в мир и не делать того, чего Он от нас хочет и что мы можем исполнить только в этой нашей жизни? А хочет Он от нас немногого: только того, чтобы мы делали другим то, чего для себя хотим. И хочет Он этого не для себя, а для нас же, потому что, если бы мы только согласились это делать, то всем бы было так хорошо жить на земле, как только можно. Но и теперь, хотя бы весь мир жил противно Его воле, всякому отдельному человеку, понявшему то, зачем он послан в мир, нет расчёта делать ничего иного, как только то, на что он послан.

Мне, старику, стоящему на краю жизни, со стороны ясно видно это; но и вы, дорогие братья и сёстры, если только подумаете спокойно, откинув на время соблазны мира, ясно увидите тоже, что всякий человек ничего не потеряет, а со всех сторон только выгадает, если будет жить не для себя, а для исполнения воли Бога. Сказано: «Ищите Царства небесного и правды его, а остальное приложится вам». И всякий человек может испытать, правда ли это. Вы же уже испытали это и знаете, что это правда. А то мы ищем остальное: имущество, мирские сладости, и их не получаем и Царство Небесное теряем.

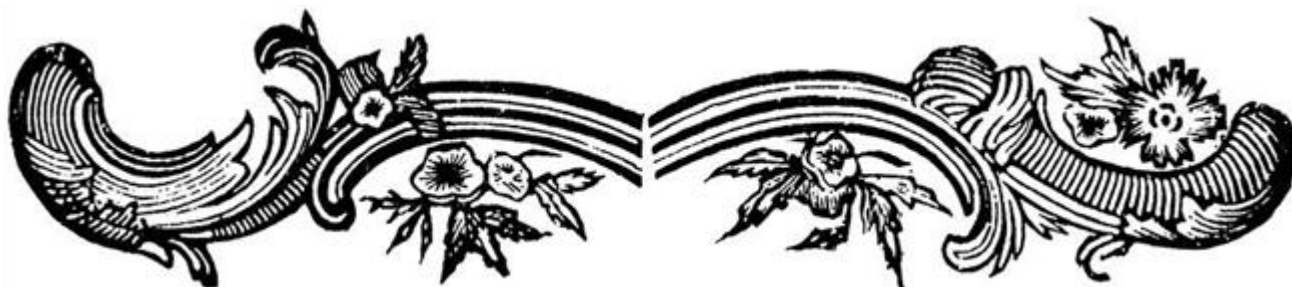
И потому, любезные братья и сестры, держитесь крепко той жизни, которую вы начали, а то вы напрасно потеряете то, что имели, и не найдёте того, чего ищете. Пославший нас в жизнь лучше нас знает, что нам нужно, и вперёд так устроил мир, что человек получает

наибольшее благо и в этой жизни и в будущей, только исполняя не свою волю, а Его.

О том, как именно вы устроитесь в своей общинной жизни, я не смею вам давать советов, зная, что вы, особенно ваши старички, опытные и мудры в этом деле. Знаю только, что всё будет хорошо, если только каждый из вас будет помнить, что он не по своей воле пришёл в мир, а по воле Бога, который послал его в эту короткую жизнь для исполнения воли Его. Воля же Его вся выражена в заповеди о любви. Собирать же собственность отдельно себе и удерживать её от других — значит поступать противно воле Бога и заповеди Его.

Простите.

Любящий вас брат
Лев Толстой.





КОЛОКОЛ XX ВЕКА

Созревает в мире новое мирозерцание и движение
и как будто от меня требуется участие, провозглашение его.
Точно я только для этого нарочно сделан тем,
что я есмь с моей репутацией — сделан колоколом.
Отче, помоги мне. Если такова воля Твоя, буду делать.

(Дневник. 19 апреля 1889 г.)

Глава Восьмая. СТАРЧЕСТВО ОТ «ХАДЖИ-МУРАТА» ДО РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ (1890-е – 1904 г.)

Сколько же необратимых перемен совершилось в жизни семейства Льва Николаевича, в его жизни, за 1890-е годы — пока незримая миром Птица Небесная вставала на крыло! Новый век Толстой встретил и для мира, и для самого себя — совершенно иным человеком, нежели «писатель и публицист» 1890 – 1891 годов. С одной стороны, мир от своего духовного «авторитета», от «человека мира» ждал теперь, пусть даже и не оригинальных, но постоянных откликов на будоражащие общественность события. С другой же стороны — соблазненный в начале 1880-х московской жизнью, возможностью публичности, а в 1890-х выведший эту публичность на уровень всемирности, для которой уже не важно место проживания кумира —

Толстой успокоил с годами и смирил себя перед соблазном проповедания, учительства, общественного активизма. Последний никогда и не отвечал его натуре: в благотворительный, международных масштабов, проект по спасению голодавших крестьян в начале 1890-х Толстой буквально «попал» стечением обстоятельств — первоначально лишь желая ограниченно, по малым возможностям частного лица, помочь в работе организации столовых для окрестного населения старому своему другу, рязанскому помещику Ивану Раевскому. Многосложное дело спасения духоборов, напротив, было принято Толстым на *свои* плечи — именно в связи с переходом его в течение 1890-х из позиции пусть и знаменитого писателя, религиозного проповедника, но, в большей степени, и частного человека — в роль безусловного живого идола, «авторитета» для участников целого ряда общественно-политических, в том числе антивоенных, и духовных движений: его влиятельное участие становилось залогом успешности в деле спасения людей, через него же познавших Истину первоначального учения Христа и страдавших в её исповедании!

Но при всём при том *человек мира* не желал быть *мирским*.

Для христианского сознания яснополянца уже навсегда на первое место вышло — проповедание евангельского учения о человеке как дитя и работнике в воле Отца, Бога, о смирении, о единении и любви как условиях возможности и продуктивности работы человека сына Отцу, Богу. Гонка вооружений, убийства людей на войне, равно как и смертные казни, насилие террора и революций — всё это приняло в глазах Толстого характеристики равно неприемлемого, совершаемого в области зла и неправды, греха: нарушения человеком условий собственного блага и осмысленности своей конечной, краткой жизни — то есть, критиковалось без ярко выраженных предпочтений в критике. Хотя при этом, как мы и указывали в начале книги, старый офицер мог с симпатией, одобрением высказываться о молодых военных и ценил, как нравственные достоинства, мужество и самопожертвование участников антиправительственного террора, революционеров. Однако в сочинениях, в публичных интервью Толстого в эти годы обыкновенны общие перечисления, как однородного зла, «войн, казней, революций».

По тематической специфике нашего исследования мы не можем останавливаться на всех подобных статьях, письмах либо интервью и прочих, кем-либо зафиксированных, устных высказываниях Толстого. Но приведём ниже, не отвлекаясь от хронологического принципа всей книги, сначала некоторые отдельные случаи антивоенного диалога Льва Николаевича, а затем, в особенной главке — великолепный образец, статью, изваянную Л. Н. Толстым на пороге XX

века, одно именование которой указывает на принципиальное, с христианских позиций, неразличение Толстым «насилий» мира и века сего: «Не убий».

8. 1. ОБРАЗЕЦ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ:

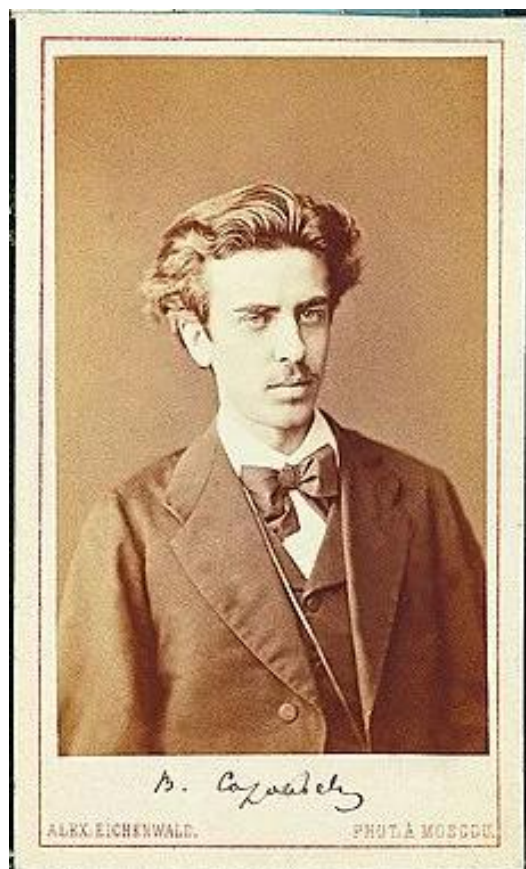
Спор с В. С. Соловьёвым

Критика Толстого и толстовства — неотъемлемая и значительная для нашей темы часть наследия философа *Владимира Сергеевича Соловьёва* (1853 – 1900). Мировоззренческие основания её, в числе прочего, поучительны как указание причины массовой поддержки даже самых безумных, преступных войн, как война 2022 – 2024 г. фашистской России с Украиной, в среде городской «культурной», интеллигентской сволочи. Показательно даже то, что они ставят у «источков духовного возрождения» человека, который, как и Ф. М. Достоевский, умер трагически рано — на духовном пути, который мог сблизить Владимира Сергеевича Соловьёва, как и Достоевского, с Толстым-христианином, в том числе и в отношении к войнам.

Несчастье Толстого и Соловьёва в том, что одному из них (Льву Николаевичу) довелось *прозреть* к новому религиозному жизнепониманию, увидев *истинные*, актуальные для человечества XIX, XX и последующих веков смыслы и значение земной жизни и учения Иисуса Христа. Другому же, Владимиру Соловьёву, принадлежали безусловно могучий и, главное, дисциплинированный исследовательской работой ум и *системные* (по возможностям той эпохи, конечно) научные знания о мире и человеке. Но сочетались они – с *добровольным* порабощением ума ветхим, отжитым церковным суевериям, авраамическому бреду паразитирующей на Христе, к тому времени уже 1800 с лишком лет, еврейской секты-переростка, отравленной римским и византийским имперством, влиянием язычества, но, по традиции, лживо именующей сама себя «Христовой Церковью». Частью этого возлюбленного бреда стал для Владимира Сергеевича поиск оправданий, и даже освящения войны. При этом уже в 1880-х гг. молодой философ стал известен как противник смертных казней — весьма близкий в этом отношении к Л. Н. Толстому.

К этому парадоксу В. С. Соловьёва долго подводила судьба. Отрок московского интеллигентского семейства, сын выдающегося историка Сергея Михайловича Соловьёва (1820 – 1879) и дворянки Поликсены Романовой (по линии которой, кстати, двоюродным прадедом Соловьёва был философ Григорий Сковорода, чей музей в селе

Сковородиновке на Харьковщине весной 2022 года был разрушен путинскими убийцами и мародёрами), Владимир был воспитан в безусловном державном, а значит и военном, патриотизме. При этом до начала 1870-х гг. юноша симпатизировал материалистам, атеистам и позитивистам. Но если такое, полудетское, увлечение завершилось духовным кризисом обретения веры, то вычистить военно-патриотическую заразу из головы ему до конца жизни так и не удалось...



В. С. Соловьёв в 18-ть лет.
Фото А.Ф. Эйхенвальда, сепия, 1871.

С марта 1877 г. Соловьёв, уже опытный преподаватель и автор антипозитивистской магистерской диссертации «Кризис западной философии», переезжает из Москвы в Санкт-Петербург, где знакомится, в числе прочих, с Ф. М. Достоевским. Конечно, отравление сознания патриотическими переживаниями было этим только усугублено. Прервав отпуском службу в Учёном комитете при Министерстве народного просвещения, сей духовный кумир многих интеллектуалов того и нашего времени направляется на фронт — в качестве военного корреспондента «Московских ведомостей», с поручением их редактора, Михаила Каткова.

Путь патриота лежал через имение Красный Рог под Брянском, владение поэта Алексея Константиновича Толстого, где он застал среди гостей уже хорошо известного нашему читателю поклонника России, русской литературы и русских женщин, блистательного Эжена Мельхиора де Вогюэ, вспоминая об этой встрече следующее:

«Мы спрашивали его, получил ли он все необходимые регалии, чтобы явиться в генеральный штаб, с этим нередко возникают проблемы у журналистов. Он признался, что у него нет никаких бумаг, но зато он взял с собой револьвер. За занавеской вагона он продолжал смеяться своим детским смехом, держа в одной руке огромный букет роз, а в другой — огромный револьвер, которым он неумело и опасно для себя потрясал: орудие, по меньшей мере, странное в руках этого абстрактного существа, которое даже мухи не обидело.

Он уехал, полон мечтаний, философствуя, читая стихи. [...] Люди с воображением могут подумать, что я пишу о сумасшедшем. Но не стоит спешить. Человек вообще есть странное существо. Русский человек странен вдвойне» (*De Vogüe. E. – M. Sous l'horizon. Hommes et choses d'hier. Paris, 1900. P. 18 – 19. – Цит. по: Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьёве в его молодые годы. В 3 кн. Кн. 3. Вып. 2. М., 1990. С. 167*).

Чем-то это опьянение патриотизмом напоминает состояние несчастного Пети Ростова накануне гибели. Так что остаётся благодарить судьбу Владимира Сергеевича, что ехал он на русско-турецкую войну корреспондентом, а не добровольцем.

Впрочем, приглядевшись к нему в Генеральном штабе в Свиштово, полковник Дмитрий Антонович Скалон, член Генштаба и адъютант Главнокомандующего, тут же “завернул” дитё восвояси. От греха подалее...

Отношение Соловьёва к войне связано с темой насилия государства над личностью, так явственно прозвучавшей в упомянутом выше его выступлении по поводу покушения на Александра II 1 марта 1881 г. на Екатерининском канале в Петербурге, которое привело к смерти освободителя крестьян. Соловьёв выступил с публичной лекцией «О ходе русского просвещения» 28 марта 1881 г., которая была назначена и официально разрешена ещё до трагических событий 1 марта и в которой Соловьёв, неожиданно для слушателей, выступил с призывом к императорскому трону помиловать цареубийц — тем самым, нечаянно для себя, совпав с позицией в те же дни Льва Николаевича Толстого, выраженной им в знаменитом письме к наследнику, сыну убитого, имп. Александру III.

И, как и в случае с Толстым, однозначно отрицательное отношение Соловьёва к смертной казни как мере наказания, которая была, по его убеждениям, неприемлемой для христианского общества, отнюдь не означало неприятия воинской повинности. Но и тут были свои мировоззренческие нюансы — прочертившие водораздел между позициями Толстого и Соловьёва. Пытаясь оспорить право государства на смертную казнь, Владимир Сергеевич, всячески оправдывает право государства посылать своих подданных на войну. Около 1880 г. (эти материалы не вошли, но могли войти в докторскую диссертацию Соловьёва «Критика отвлечённых начал») он пишет буквально следующее: «Но допущение войны может быть, с другой стороны, обращено против отвергающих смертную казнь. Мы основываем это отвержение главным образом на том, что государство ни в каком случае не имеет права на жизнь лица. Но этому положению, по-видимому, противоречит воинская повинность, которую государство считает себя вправе требовать от всех граждан. Так как эта повинность сопряжена с опасностью потерять жизнь, то можно сказать, что если государство вправе распоряжаться жизнью любого из граждан, тем более оно имеет право на жизнь преступника. Я не буду указывать на то, что в странах, где государство более держится присущего ему определения, нет обязательной воинской повинности. Допуская вполне право государства требовать от всех подданных военной службы, должно заметить, что здесь государство пользуется только правом организовывать наилучшим образом силы граждан для защиты от внешних врагов, которые столько же опасны для отдельного лица, как и для государства. Никакого права на жизнь лица со стороны государства здесь нет, лицо ставится только в такое положение, в котором оно может потерять жизнь не от государства, которого этого всего менее желает, а от внешних врагов. Здесь потеря жизни для каждого лица есть только риск, только возможная случайность, не зависящая от государства, тогда как при смертной казни лишение жизни есть цель для государства и сущность всего дела» (Соловьёв В. С. *Критика отвлечённых начал. Наброски // Соловьёв В. С. Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. Т. 3. М.: Наука, 2001. С. 409*).

На вышеприведённые суждения В. С. Соловьёва можно было бы немало возразить: например, то, что смертной казнью государство всё-таки преследует цель не *убиения* преступника, а *наказания* в отношении его деяния. Или, что важнее: что воин отдаёт государству, сопротивляясь силой его (государства) врагу, поступки, а не жизнь. А тут уже — прямая дорога к тому христианскому разграничению у Толстого «кесарева» и «Божьего», на котором мы уже останавливали

внимание читателя, и не раз — и не будем здесь всё повторять. Коротко сказать: Иисуса Христа можно представить, отдающимся на убиение кесарю, отдающего жизнь и испускающего дух на кресте — но не в рядах воинов или палачей кесаря! Как раз жизнь может быть пожертвована, отдана государству, как сделал отказник-мученик Евдоким Дрожжин — но не поступки и не обещания оных (клятвы, присяга)! Даже обучение «военному делу», согласие на него, даже слова в поддержку военщины, патриотизма или войны — уже суть поступки и обещания поступков «кесарю», государству.

Рассуждения же, подобные тем, которыми полна «Критика отвлечённых начал» В. С. Соловьёва, вполне милы показались бы и нашим, в путинской, фашиствующей России, либеральным безбожникам, проснувшимся 24 февраля 2022 года соучастниками преступлений своего, до того лишь умеренно критикуемого, кремлёвского фюрера — с которым годами вели именно те небескорыстные заигрывания, которые Л. Н. Толстой проклял, обличив либеросию своего времени, ещё в знаменитом «Письме к либералам»:

«Если бы всё правительство состояло бы из одних только тех грубых насильников, корыстолюбцев и льстецов, которые составляют его ядро, оно не могло бы держаться. Только участие в делах правительства просвещённых и честных людей даёт правительству тот нравственный престиж, который оно имеет. [...] Во-вторых, вредна такая деятельность потому, что для возможности её проявления эти самые просвещённые, честные люди, допуская компромиссы, приучаются понемногу к мысли о том, что для доброй цели можно немножко отступать от правды в словах и делах. Можно, например, не признавая существующую религию, исполнять её обряды, можно присягать, можно подавать ложные, противные человеческому достоинству адреса, если это нужно для успеха дела, можно поступать в военную службу, можно участвовать в земстве, не имеющем никаких прав, можно служить учителем, профессором, преподавая не то, что считаешь нужным, а то, что предписано правительством, даже — земским начальником, подчиняясь противным совести требованиям и распоряжениям правительства, можно издавать газеты и журналы, умалчивая о том, что нужно сказать, и печатая то, что велено. Делая же эти компромиссы, пределов которых никак нельзя предвидеть, просвещённые и честные люди [...], незаметно отступая всё дальше и дальше от требований своей совести, не успеют оглянуться, как уже попадают в положение полной зависимости от правительства: получают от него жалованье, награды и, продолжая воображать, что они проводят либеральные идеи, становятся покорными слугами и

поддерживателями того самого строя, против которого они выступили» (69, 130 – 131).

Та же, но заметно смягчённая (вероятно, лучше обдуманная) аргументация в пользу войны переносится в работу В. С. Соловьёва «Право и нравственность»:

«Война, дуэль, открытое убийство могут быть бесчеловечны, ужасны, с известной точки зрения бессмысленны, но особого, специфического элемента постыдности в них нет. Что бы ни говорили сторонники вечного мира, военный человек, сражающийся против вооружённых противников с опасностью собственной жизни, ни в каком случае не может возбуждать к себе презрения. [...] Но вся эта сторона самопожертвования или риска собственной жизнью и свободой, оправдывающая войну, извиняющая дуэль и даже смягчающая в известных случаях ужас прямого убийства, — в смертной казни совершенно отсутствует» (Соловьёв В. С. *Право и нравственность*. М.; Минск, 1994. С. 94 – 95). Тот же аргумент «оправдания» войны звучит и в 18-й главе («Смысл войны») нравственной философии Соловьёва «Оправдание добра»: война не может быть приравнена к убийству или злодеянию, поскольку у отдельного солдата такого намерения не бывает, «особенно при господствующем ныне способе боя из дальнострельных ружей и пушек против *невидимого* за расстоянием неприятеля». Кроме того, в войну вступают не отдельные индивиды, но собирательные организмы-государства, и их органы — войска, поэтому возможное убийство на войне является случайным. «Только с наступлением действительных случаев рукопашной схватки возникает для отдельного человека вопрос совести, который и должен решаться каждым по совести» (Соловьёв В.С. *Оправдание добра*. М., 2012. С. 560).

«Как отнестись к войне *мне, мне, мне...*» — вспоминается сразу запись в Дневнике Льва Николаевича, предшествовавшая написанию яростной антивоенной статьи «Одумайтесь!». Но Соловьёв имеет в виду совсем иное. Он прибегает к странной даже для последней четверти XIX столетия «организмической» теории государства — предполагая самым надёжным излечением то, чтобы «организмы» эти, что называется, «переболели», то есть навоевались всласть — с максимальной поддержкой именно тех сознательных граждан, которые мечтают о грядущем прочном мире. И уж куда здесь без «искусственного отбора», с гибелью слабейших! Как историк, сын историка Владимир Сергеевич обращается к историческим примерам того, как «война редко приводила к истреблению слабейшего рода или племени, позднее государства, зато порождала договоры и право как

ручательство мира» (Там же. С. 545). Соловьёв обращается к истории всемирных монархий — Ассиро-Вавилонской, Персидской, Македонской (Александра и его преемников) и, наконец, Римской. Философ отмечает их «полусознательное» стремление — «дать мир земле, покорив все народы одной общей власти». «*Организация войны* в государстве, — парадоксально заявляет он, — есть первый великий шаг на пути к *осуществлению мира*» (Там же. С. 546). Сторонник идеи единства человеческой истории, в которой он усматривал предначертанный путь собирания человечества в единый богочеловеческий организм, Соловьёв видит в войне практический инструмент к осуществлению своих утопических чаяний «одухотворения объединённого вселенского тела, осуществления в нём Царства Правды и Вечного мира» (Там же. С. 559). Сторонник универсализации человеческой истории, Соловьёв приводит симптомы развития, которые сегодня считаются классическими признаками пресловутой «глобализации». Но такая интеграция, как мы можем видеть, отнюдь не стала дорогой к миру.

Между прочим, есть и в этом странном тексте, поразившем многих современников, идеи, сближающиеся с *антивоенной* (как ни парадоксально!) позицией Толстого — например, с высказанным значительно позднее, в статье «Конец века», пророчеством о военной экспансии «восточного народа», развращённого примером лжехристианской жизни Запада. Что-то похожее есть и в соловьёвском «Смысле войны» — но в рамках известной концепции «панмонголизма», постулировавшей мыслителем. Интеграция Запада и Востока произойдёт через войну, и путь к мировому единству и к миру идёт через схватку с библейскими «гогами и магогами», в роли которых выступают японцы и китайцы.

Но Толстой, как может помнить читатель, находил оптимистический выход из этой военной опасности — не через войну, а через настоящее послушание Христу тех западных народов, народов номинально «христианских», кто в веке XIX-м вооружил и развратил Восток. «Панмонголизм» же Владимира Сергеевича Соловьёва с годами становился всё пессимистичнее в отношении идеи обеспечения мира посредством единения народов во «всемирной монархии». Уже приблизительно 1895 – 1897 гг. у Соловьёва, вероятно, зарождается сомнение в том, что война коалиции колониальных держав с последним оплотом независимого Востока — Китаем — приведёт к созданию «одного» универсального государства, а не какого-то особого межгосударственного союза. Характер такого союза достаточно внятно изображён в «Краткой повести об антихристе», завершаю-

щей соловьёвские «Три разговора» (1900). Его установление становится делом франкмасонского заговора, приводящего к власти молодого президента Соединённых Штатов Европы, «социалиста, гуманиста и филантропа», которому и «выпадет честь» заключить пакт и принять особую инициацию...

Как можно было предвидеть, зная о высказанных В. С. Соловьёвым воззрениях на войну, Лев Николаевич не включился ни в какие публичные диспуты. Для него важнее были религиозно-богословские расхождения с философом: например, в отношении к Христу, божественную ипостась и воскресение из мёртвых которого Толстой не признавал. Но, например, в конце сентября 1895 г. он написал благодарственное письмо в адрес литературного критика и искусствоведа *Акима Львовича Волынского* (наст. имя Хаим Лейбович Флексер, не позднее 1863 – 1926), напечатавшего в сентябрьском номере дружественного Толстому и регулярно читавшегося им журнала «Северный вестник» довольно «злую» отповедь Соловьёву в связи с его «Смыслом войны». Вот отрывок из неё:

«Не задаваясь строгим философским анализом, автор повторяет казённые рассуждения плохих учебников об исторической пользе войны — даже без малейшего оттенка диалектической страсти, которая разжигала такого рода соображения некоторых других талантливых европейских писателей. В холодном, мертвенном тоне литературного звонаря с чертой глубоко вьёвшегося византизма, г. Соловьёв распространяется на нескольких страницах перед огромной благодарной толпой, читающей иллюстрированные издания, о важном значении войны в историческом развитии человечества. [...] Г. Соловьёв знает все козырные карты, безусловно выигрышные в споре с людьми, которые стали бы ссылаться на высший авторитет религиозного идеала»

(http://az.lib.ru/w/wolynskij_a_1/text_1895_smysl_voyny_olderfo.shtml).

Метко и по-еврейски безжалостно, зло Аким Волынский указывает на самые истошные истоки спекуляций Соловьёва: вырождение философской мысли, религии и морали в среде «казённого либерализма», вполне справедливо и остро ненавидимого к этому времени и Толстым. Как и многие, угождающие мирской лжи, молодые люди всех времён, Соловьёв смекнул, что истину знает один Бог, что философия и «текущие жизненные вопросы» несовместимы без спекуляций журнального уровня, а значит, «люди с либеральным образом мысли должны, не смущаясь нравственным законом, сосредоточиться около чисто исторических задач и не сопротивляться высшим политическим силам» (*Там же*).

На самом деле, как мы видели, В. С. Соловьёв никак не вмещается в те рамки, куда стремится поместить его Вольтер: отрывок его сочинения «Оправдание добра», подвергшийся злой критике не одного Вольтера, всё же содержит в себе глубокое историко-философское осмысление целых эпох и довольно сложное, явно не «журналистского» уровня, концептуальное строение.

Но, так или иначе, Аким Львович Льву Николаевичу угодил. Толстой в своём письме Вольтеру признался, что одобряет даже и его злость: «Уж очень скверно то, что написал Соловьёв» (68, 193).

Наконец, на замечательных «Трёх разговорах» В. С. Соловьёва так же необходимо задержать внимание. Это сочинение 1899 года, то есть, единовременное с Гаагской мирной конференцией и, при этом, рядом военных преступлений разбойничьих гнёзд, государств, особенно значительно в череде попыток В. С. Соловьёва «опровергнуть» христианское ненасилие Л. Н. Толстого. В этом сочинении анонимный персонаж «г-н Z» выражает мысли автора и выдаёт свои раздражение и неприязнь к другому персонажу — Князю, толстовцу (какими представлял себе толстовцев автор).

Но было бы ошибочным рассматривать это сочинение, как «адресно» антитолстовское. Уже Предисловие к «беседам», вошедшим в книгу «Три разговора», указывает на значительно более глубокий и благородный замысел философа:

«Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собою исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия?» (Соловьёв В.С. Сочинения: В 2-х тт. Т. 2. М., 1988. С. 636)

Но вот в реализации замысла своего сочинения В. С. Соловьёв безмерно тенденциозен. Помимо положительной задачи «Трёх разговоров» («представить вопрос о борьбе против зла и о смысле истории с трёх разных точек зрения»), он, как и в ряде прежних своих публикаций, ставит перед собой задачу *полемическую*, сближающую его с уже покойным тогда автором «Новых христиан», Константином Леонтьевым, о котором у нас речь заходила выше.

Как и Толстой, и в те же самые 1880-е годы, Владимир Соловьёв подверг достаточно резкой критике современное ему состояние общественных институтов – церкви и государства – и, как и Толстой, сам подвергся за эту критику цензурным взысканиям... но при этом он парадоксально продолжал безоговорочно верить учению церкви и до конца жизни брал под защиту традиционную церковную рели-

гию. Он сделался тем безумным больным, который отталкивает протягиваемое ему служителем медицины лекарство: а во все времена именно так делали и делают религиозные фанатики. Ставя для себя в отношении «Четвероевангелия» Л. Н. Толстого своего рода внутренний, психологический «барьер невосприятости», проповедь Толстого Соловьёв характеризует в Предисловии, по субъективизму данной характеристики, *очень близко* к тому, как за 17 лет до него характеризовал К. Н. Леонтьев в «Новых христианах» Пушкинскую речь Ф. М. Достоевского:

«Много лет тому назад прочёл я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Эта религия, последователи которой назывались *вертидырниками* или *дыромольями*, состояла в том, что, просверлив в каком-нибудь тёмном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: “Изба моя, дыра моя, спаси меня!” Никогда ещё, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. [...]

«Но религия дыромольев скоро испытала «эволюцию» и подверглась “трансформации”. И в новом своём виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость: своя изба получила теперь название “царства Божия *на земле*”, а дыра стала называться “новым евангелием”. [...] Хотя интеллигентные дыромольи и называют себя не дыромольями, а христианами и проповедь свою называют евангелием, но христианство без Христа — и евангелие, то есть *благая весть*, без того *блага*, о котором стоило бы возвещать, именно без действительного воскресения в полноту блаженной жизни, — есть такое же *пустое место*, как и обыкновенная дыра, просверленная в крестьянской избе» (*Там же. С. 636 – 637*).

Налицо приём своеобразный для консервативной, оглушённой церковными суевериями, публицистики: полутораумное, не могущее быть понятным, приравнивается к полоумному. Установление, через реконструкцию древних, первоначальных смыслов Евангелий верного отношения человека к миру и Богу и отказ от определений Бога, опирающихся на тесный опыт человечества на одной лишь Земной планете — Соловьёв сравнивает с обрядоверием и идолопоклонством грубой секты: ещё низшим, ещё ничтожнейшим и бессмысленным, нежели церковное идолопоклонство католических или православных обрядоверов Христу как умирающему и воскресающему божеству. Блаженствующих от возможности, «подаренной» им церковниками, блудить, казнить, торговать, воевать... то есть грешить,

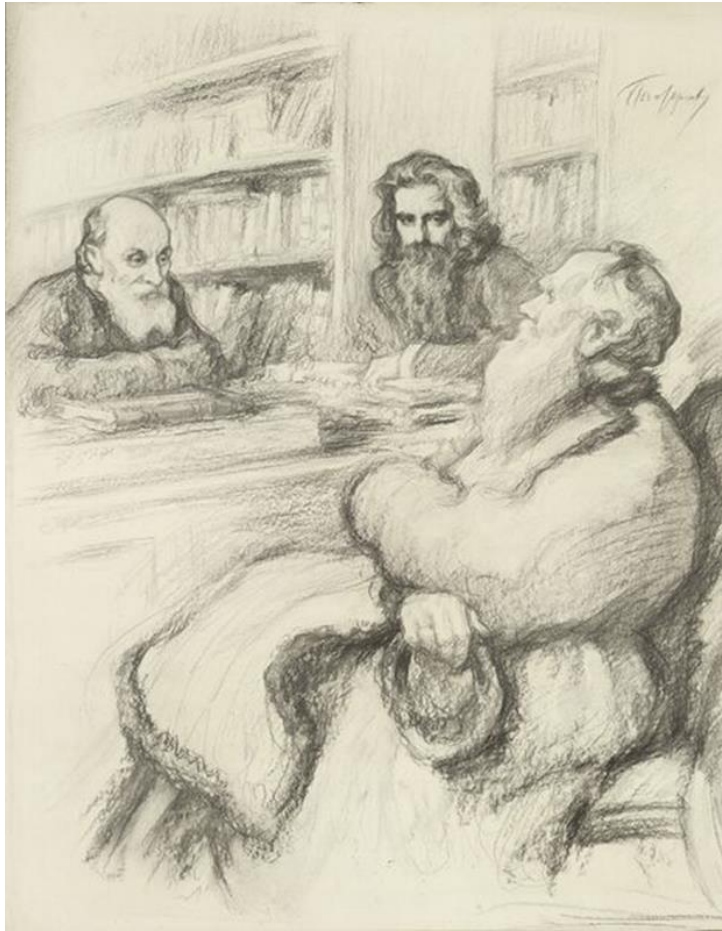
и не по «слабости Адама» в человеке, а, зачастую, системно, преднамеренно, организовано, бесстыдно и беспробудно, продолжая считать себя последователями Христа.

Речь Соловьёв ведёт о действительной секте времён Российской Империи, отколовшейся от старообрядчества и отрицавшей всякое иконопочитание. Подобно мусульманам, они произносили молитвы, обращаясь в одном строго определённом направлении. Но если у мусульман это — священная Кааба в Мекке, то у старообрядцев «дырников» — просто направление строго на Восток. При этом как раз на стену дома или даже через закрытое окно молиться у них считалось грехом, оттого даже в стене они, действительно, прорубали отверстия... В отличие от мусульман, умевших всегда постоять за уважительное отношение к своей вере, христиан нетрадиционных объединений в России высмеивали, ненавидели и гнали, часто и грубо высмеивали — и Соловьёв, очевидно, пересказывает дурную книжку одного из таких (православных, вероятно) пересмешников. Так как «дырники» отрицали также и необходимость в навязчивых и отнюдь не бесплатных услугах церковников — ненависть последних к ним вполне понятна. На деле в отрицании идолопоклонства икон нет ничего анти-Христового или антиевангельского. Нигде в евангелиях идолопоклонство икон не утверждается — как не устанавливается и прейскурант на «услуги» самозванных «посредников» между Богом и людьми.

Действие самих очерков, весьма знаково, происходит за границей. В спорах религиозных и политических участвуют пять отдыхающих в мудрой, спокойной Швейцарии гостей из «русского мира», из имперского Мордора — Дама, Генерал, Политик, Князь и некий г-н Z, высказывающий в очерках мысли самого Соловьёва. В образе Князя легко узнать *не очень умного и честного* «последователя» Толстого-христианина, богатого и досужего пропагандиста симпатичных ему идей. В разной степени и с разных мировоззренческих позиций — мирской (Дама), военной и религиозно-бытовой (Генерал), военной, политической и культурно-прогрессивистской (либерально-западнического толка Политик) и религиозно-философской (г-н Z) ему оппонируют остальные участники трёхдневной беседы — конечно, «уничтожая» его к концу разговоров, вплоть до побуждения к «бегству» в третьем из них. Без сомнения, при создании такого образа Князя В. С. Соловьёву припоминались его споры при личных встречах с Л. Н. Толстым и казавшаяся самолюбивому молодому человеку (и ещё глупейшим слушателям) «слабость» его аргументов.

Сам Князь, с его пристрастием к рулетке в Монте-Карло — отсылка к Толстому и Достоевскому в их молодые годы, а проповедание его, конечно же, отсылает нас к «князю Христу» (он же князь Мышкин, как на грех и Лев Николаевич), из романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1868). Само же безымянное прозвище — Князь — отсылает нас к евангельскому «Князю Мира Сего». Так назвал Иисус *смерть*, которая «в нём не имеет ничего», то есть была бессильна перед сознательным Сыном и Работником Бога. По мысли Соловьёва, проповедание Льва Николаевича Толстого, отрицающее мистическое «Воскресение» Христа во плоти, возвращает Смерти и Злу всю силу над ересиархом Толстым и жертвами его ереси. Князь — воплощённая Смерть, а ещё — Обман, то есть сатана, абсолютное зло под благой личиной. На связи Князя с Антихристом отчётливо намекает его поведение в Третьем из разговоров, посвящённом частью как раз Антихристу.

Надо ли поддаваться провоцирующим намёкам автора и видеть в Князе именно Льва Николаевича Толстого? Никак. Помимо глупости «аргументов» в ходе Разговоров Князя, его «выдаёт» и упоминаемый образ его жизни — траты денег на роскошь и игры в рулетку (помимо «просветительской работы»). Князь — пользователь той самой цивилизации, которая создавалась войнами и которой сущностно имманентно системно организованное насилие. Нет, не узнаваем в нём Толстой-старец... Некоторые из его светских, богатых «учеников» — пожалуй, и это образ — скорее, сатира на них. Не только на «толстовцев», но на всех поклонников *мамона неправедного* (земных богатств) во Христе: от бродяги до папы Римского. Это то, во что должен был обратиться «уверовавший» богатый юноша, которому Иисус посоветовал, как следующий шаг к совершенству — оставить богатство... и тот, смутившись, оставил Спасителя (Мф. 19, 16 - 22). Князь, как и миллионы таких господ из Сан-Франциско или Монако, — образ того, во что превращается желающий «усидеть на двух стульях», слуга и Бога, и мамона. Во всех биографиях В. С. Соловьёва поднимается вопрос о вероятности тайного его перехода около 1896 г. в католичество. Если это имело место — удивительно, как сам автор «Трёх разговоров» не заметил двусмысленности образа богатого «князя мира» по отношению к тысячелетнему источнику заблуждений, страданий и гибели своих бессчётных жертв — папскому Ватикану.



Л. О. Пастернак. Три философа
(Николай Фёдоров, Владимир Соловьёв, Лев Толстой). 1928–1932 г.

Помимо Князя и г-на Z (самого Соловьёва), остальные участники Разговоров — именно таковы, каковы должны быть: Генерал — защитник «традиционных» ценностей Российской Империи, олицетворяющий для Соловьёва седое Прошлое, историю борьбы человечества со Злом орудием военного меча; Политик — атеист и «прогрессист», а Дама — мало говорит, но иногда достаточно остроумно возражает или дополняет беседы. Оба эти персонажа, равно и Князь — олицетворение зловещего Настоящего, предвестия торжества в мировой истории Антихриста. С г-ном Z (т.е. с самим собой в его образе) Соловьёв связывает Будущее — борьбу с мировым господством Антихриста и низвержение его при воскресении из мёртвых праведных христиан разных конфессий и единении их (Соловьёв В.С. Указ. изд. Там же. С. 640). Здесь несомненно влияние на Соловьёва учения мистика, библиотекаря Румянцевской и Публичной библиотек в Москве Николая Фёдоровича Фёдорова — печально известного ссорой с Толстым в 1892 году, при появлении в печати его статей о голоде и личной помощи голодавшим. Сам Николай Фёдоров видел

проблемы глобального неурожая страны в отсутствии развитой системы «метеорической регуляции», для развития которой нужно было овладевать солнечной энергией, управлять движением земного шара, освоить космические пространства и так далее. Смерть крестьян от голода и эпидемий он не считал злом — так как предполагал возможным воскрешение всех умерших во плоти.

Не лишним будет провести здесь параллель с написанным В. С. Соловьёвым в том же 1899 г. очерком о философии Фридриха Ницше — «Идея сверхчеловека». Он значим тем, что Соловьёв в нём несправедливо, но решительно определяет место для «учений» Ницше и Льва Толстого и решительно предпочитает первого второму: «...Людьми, особенно чуткими к общим требованиям исторической минуты, <в наше время> не владеет одна, а по крайней мере три очередные или, если угодно, модные идеи: экономический материализм, отвлечённый морализм и демонизм «сверхчеловека». Из этих трех идей, связанных с тремя крупными именами (Карла Маркса, Льва Толстого, Фридриха Ницше), первая обращена на текущее и насущное, вторая захватывает отчасти и завтрашний день, а третья связана с тем, что выступит послезавтра и далее. Я считаю её самой интересной из трёх» (Там же. С. 627).

Предсказуемо и ошибочно Соловьёв отдаёт своё предпочтение Ницше как провозвестнику «сверхчеловека» — первым из которых, воскресшим «первенцем из мёртвых», для В. С. Соловьёва остаётся, конечно, Иисус Христос. Он оставляет без внимания аргументы Л. Н. Толстого о *духовных* смыслах евангельской легенды о «воскрешении» Христа, о совершенно иной *победе над смертью*, нежели та, которая представлялась веками церковным суеверам или та, которую нафантазировал себе философ Фёдоров. Богочеловечность как воскрешение Христа в его учении, соединяющем человечество будущего в сотворчестве Всевышнему Творцу, на деле вырождается у Соловьёва в обожение земного, во плоти, «личного» человека — в своего рода Человекобожество.

Сделав по недоразумению фаворита из автора книги «Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum» («Антихрист. Проклятие христианству», 1888), Владимир Сергеевич Соловьёв в Предисловии «Трёх разговоров» разъясняет читателю свои симпатии к Генералу и Политику и открытую неприязнь к Князю следующим образом: «Безусловно неправо только само начало Зла и Лжи, а не такие способы борьбы с ним, как меч воина или перо дипломата». Он не замечает, что «бациллами» этих лжи и зла заражены каждый из его персонажей: не только старовер Генерал, атеист и «западник» Политик, но и легкомысленная Дама, и сектантствующий, цитирующий «из Льва

Толстого» дурак Князь... да и он сам — в лице своего персонажа, г-на Z. В чём это выражен — раскрывают постепенно вдумчивому читателю страницы «Трёх разговоров».

Разговор первый открывается жалобами Генерала, сводящимися к недовольству распространением в общественной мысли России и всего мира простой, но много веков не уяснявшейся человечеством идеи о *несовместимости* с исповеданием христианства ни единичных мучительств и убийств людей, ни тем более системно организованных их форм, среди которых на первом месте — армия, военная служба и любые боевые, военные действия.

Генерал страстно возражает Политику, успокаивающему его на том, что в общественном сознании постепенно уничтожается, изживается именно паразитировавший на христианстве религиозный обман, освящающий и оправдывающий статус и деятельность военного «сословия», но не оно само. По мысли Генерала, прямой и честной, как прямая кишка, важен именно этот обман: много поколений он поддерживал боевой дух «православного воинства», равно как и высокий статус военной службы в российском обществе. Истина первоначального учения Христа обрушивает и то, и другое — так что сознательно военное «поприще» скоро будут избирать только нравственно худшие люди — одно «отребье» (*Там же. С. 650*).

Многие идеи и мысли, действительно, буквально «витают в воздухе» эпохи... даже – разных эпох. Удивительным образом Генерал повторяет (но только в формате осуждения и жалобы) главный вывод одной из несчастнейших по журналистской своей судьбе, много лет не публиковавшихся антивоенных статей Л. Н. Толстого — «Carthago delenda est» 1896 года. Напомним её кусочек читателю:

«В обществе совершилось разделение: лучшие элементы выделились из военного сословия и избрали другие профессии; военное же сословие пополнялось всё худшим и худшим в нравственном отношении элементом и дошло до того отсталого, грубого и отвратительного сословия, в котором оно находится теперь. Так что на сколько более человечны, и разумны, и просвещённые стали взгляды на войну лучших не военных людей европейского общества и на все жизненные вопросы, на столько более грубы и нелепы стали взгляды военных людей нашего времени как на вопросы жизни, так и на своё дело и звание. [...] Теперь для того, чтобы быть военным, человеку нужно быть или грубым, или непросвещённым в истинном смысле этого слова человеком, т. е. прямо не знать всего того, что сделано человеческой мыслью для того, чтобы разъяснить безумие, бесполезность и

безнравственность войны и потому всякого участия в ней, или нечестным и грубым, т. е. притворяться, что не знаешь того, чего нельзя не знать, и, пользуясь авторитетом сильных мира сего и инерцией общественного мнения, продолжающего по старой привычке уважать военных, — делать вид, что веришь в высокое и важное значение военного звания» (Там же. С. 218 – 219).

Генерал хорош именно своей искренностью в отстаивании отжитых суеверий. Из пятерых собеседников, порченных «русским миром», он порчен менее всех. Конечно, он не встречает поддержки г-на Z, устами которого В. С. Соловьёв высказывается в пользу всеобщей воинской повинности как средства в скорое время «упразднить» войска и сами воюющие государства. Это, как и историческое оправдание войны, звучащее из уст г-на Z следом — всё, конечно, камешки в окошко Льву Толстому. И всё — ошибочно... Надежда на «упразднение» войск в связи с введением Россией и рядом европейских государств всеобщей военной повинности владела умами многих современников Соловьёва и, как мы помним, несколькими годами ранее, в начале 1890-х, прозвучала в знаменитом и остро-нецензурном трактате Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас», а чуть позднее, в связи с русско-японской войной, появилась в его Дневнике (в записях на 8 мая 1904 г.). Но для Толстого был важен не сам всеобщий призыв, а *этические последствия* его: необходимость для подлинных христиан отказываться от повиновения призыву по религиозным убеждениям. И Толстой не обольщался надеждами лёгкости и быстроты, с которыми такие отказы, действительно, «задушат» милитаризм лжехристианского мира. Позиция же Соловьёва напоминает иллюзии людей уже XX столетия по поводу атомного оружия, *ужас* перед которым должен был прекратить войны на планете... В таком варианте надежды философа — не более чем обольщение, самообман. Он понимает это сам — связывая представляющиеся ему перспективы уничтожения войск и государств не с победой христианства, а с торжеством Антихриста.

Достойный ответ стороне, «отрицающей» христианское научение Л. Н. Толстого о ненасилии, дали наблюдения психолога XX столетия Э. Фромма. Он делает заключение, что вся философия сторонников наказания, войны или даже «необходимой обороны» не выдерживает проверки реальностью, в которой «чисто оборонительная агрессия очень легко смешивается с необоронительной деструктивностью и садистским желанием господствовать [...]. И когда это происходит, революционная наступательность перерождается в свою противоположность и вновь воспроизводит ту самую ситуацию, которую

должна была уничтожить» (Фромм Э. *Анатомия человеческой деструктивности*. М., 1998. С. 262 – 263).

События дикой российско-украинской войны 2022 – 2023 гг. — ужасная и бесконечная иллюстрация правоты умного психолога, современника и свидетеля преступлений большевиков и нацистов. Даже самым огромным насилием Зверь Антихрист лишь ненадолго водворяется в Ад, но не теряет совершенно своего контроля над миром...

Наблюдение психолога Фромма, между прочим, — почти дословное повторение одной из идей «Царства Божия», а позднее и финального философского труда Л. Н. Толстого «Путь жизни» (1910): порядок в обществе держится не насилием, а общественным мнением, которое извращается «примером дурной жизни» общественной «верхушки»; так что «деятельность насилия ослабляет, нарушает то самое, что она хочет поддерживать» (28, 201 – 202; ср. 45, 204).

Взаимная борьба — закон животной жизни, а не общественной, разумных чад Божьих, то есть не человеческой, поэтому войны, революционное насилие или судебное преследование людей людьми же оправданы быть не могут. Теория Толстого, по мысли А. Гусейнова, призывает стараться «отделить человека, совершающего зло, от самого зла», поняв его заблуждения и соблазны, и искоренять не «злодеев», а эти соблазны и заблуждения в себе и других (Гусейнов А. *Учение Л.Н. Толстого о непротавлении злу насилием // Свободная мысль. 1994. №6. С. 81*). Посвятив этому свои силы, всякий истинный борец со злом «увидит перед собой такую огромную деятельность, что никак не поймёт даже, зачем ему для его деятельности выдумка о разбойнике» (45, 212 – 213).

Начиная с трактата 1882 – 1884 гг. «В чём моя вера?» и вплоть до упомянутой выше книги «Путь жизни» Л. Н. Толстой нигде и ни разу не говорит о несопротивлении (= покорности, потакании) злу. Непротивление в толстовской коннотации есть противоположность несопротивлению, бессильному смирению со злом. «Я говорил, — поясняет Толстой в «Трёх притчах», — что, по учению Христа, вся жизнь человека есть борьба со злом, противление злу разумом и любовью, но что из всех средств противления злу Христос исключает одно неразумное средство противления злу насилием, состоящее в том, чтобы бороться со злом злом же» (31, 59).

Недоумение номинальных «христиан» о конкретных формах ненасильственной борьбы со злом, об избегании войн через 1800 – 2000 лет после Христа — это позор и гибель всей христианской цивилизации и признак слабости или отсутствия веры (доверия Отцу, Богу) как таковой.

Дальнейший ход Первого Разговора выявляет как *непонимание* участниками его сущности христианского закона непотворения злему насилем (Князь), так и намеренный *барьер неприятия* этой идеи — со стороны более умного г-на Z. В разразившемся споре он становится вежливым, но непреклонным оппонентом Князя. Предсказуемо он ставит перед князем мнимо-неразрешимую дилемму: моралист, такой же как Князь, должен по велению совести вмешаться в противостояние злодея и беспомощной жертвы. Раз за разом г-н Z подводит своего оппонента, дурака и резонёра, к неизбежному различению *насилия* и — в крайней ситуации — силового противостояния злу. Точнее — Злу, ибо автор «Трёх разговоров» настаивает на его независимом от человеческой воли бытии в мире. Кроме того, в центре внимания В. С. Соловьёва, как и у большинства тех, кто спотыкался о дилемму об убийце (вариант: тигре) от которого надо защитить... почему-то всегда либо прекрасную девушку, либо «невинное дитя».

Такая картина, между прочим, тоже противоречит христианскому пониманию жизни. Здесь актуализируется уровень *животного* альтруистического инстинкта человека как социального животного. Собственно говоря, человек не единственное из высших животных, способных на самопожертвование. Разумного, собственно человеческого, сознания для этого не требуется... Пробудившееся же к христианской вере разумное сознание запрещает грех убийства – ради Божественного в *каждом* человеке (и защитнике, и жертве, и посягателе). Соединение этой бессмертной и совершенной Основы, жизнь всякого человека – в воле Бога, и не может быть уничтожено творцами *своей* воли – будь то пресловутая «оборона» или казнь. Гибель при этом *всякого* из участников конфликта — трагическое обстоятельство, которого надлежит избегать.

Зло главное – душе того, кто убьёт, если это человек. Для жертвы же гибель от рук или лап убийцы — лишь один из вариантов всегда карающей всякого человека смерти. Бороться надо не с делателем зла, а за него – со злом, с обманом, обладающим им... Такая этика подразумевает *христианское воспитание* с детства — разума и сердца, умения не соблазниться «простыми способами» летального насилия, доступными не одному древнему легендарному «первому убийце» Каину, но и куда более древним предковым формам человека – до Творения из них, по Божьей воле, управляемой программой Эволюции, человека современного типа.

Дисциплинированный разум и воспитанное сердце возвращают исполнению христианского Закона Непотворения первоначальный верный порядок. Слово и поступок, в крайности – применение не

деструктивных силовых действий, совершаются Защитником: 1) ради себя, своей души; 2) ради души Злодея (убережения его от делания зла, от *помощи злу* в мироздании, от *дарения материальной силы* Злу через себя, своё материальное тело, которое по истине есть инструмент работы только Богу); и только 3) ради жертвы (не только убережения её / его материального тела от разрушения, но и воспитательного примера ненасильственной борьбы).

Такая этика силы и ненасилия делает нелепыми, невозможными войско, вооружения и войны.

Оба участника Первого диалога — автор в образе г-на Z и глупый Князь — далеки от подобных осмыслений. Г-н Z, смешивая понятия *силы* и *насилия*, допускает ситуацию, «когда воля <Защитника> хотя и не имеет своей прямой целью лишить жизни человека, однако заранее соглашается на это как на крайнюю необходимость» (Соловьёв В.С. Указ. изд. Т. 2. С. 653).

Вот *это*, собственно говоря, и есть та работа Антихристу, которую, явно его переоценивая, г-н Z был склонен приписать Князю. Беда в том, что это самое «заранее» распространяется на ситуацию не только непосредственно предшествующую акту животного альтруизма, но и на предшествующие конфликтной ситуации месяцы, годы... Человека в лжехристианском мире с детства взращивают в идее необходимости «добра с кулаками». Пулями, ядрами, ракетами, беспилотниками... «По вертикали» это готовит ситуации конфликта, в которых с детства развращённый человек, поддавшись какому-то провоцирующему фактору, оказывается сам в роли Злодея.

А «по горизонтали» такое заведомое оправдание «необходимой обороны» распространяется, эпоха за эпохой, на отношения уже не двух или нескольких человек, а — крупных общностей, делая неизбежными военные побоища.

Ведь что такое *кулаки*, с которыми обязательно должно быть Добро? Замена кусочков говна, палок и камней, участвовавших в драках первобытных предков человека. Отрада для современных поклонников говна и палок в дрянном «русском мире». Копьё, стрела — те же, усиленные в убойной мощи заострённые палки. Пули, бомбы — усиленные в убойной мощи камни. «Сбросить бомбу» в вульгарном просторечии аборигенов «русского мира» — эвфемизм, синонимичный глаголам «нагадить», «насрать» (прямая отсылка к кусочкам кала в лапках древних хвостатых предков бравых «русичей»).

Должно ли Добро в борьбе со Злом и с Антихристом орудовать *атомной бомбой*? Активист православно-радикальной структуры в путинской России, мажущий калом «крамольную» картину на выставке — безусловно ли служитель Добра?

Но, конечно же, эти вопросы — не для Владимира Сергеевича Соловьёва, скончавшегося в последний год XIX столетия...

Беда ещё и в том, что г-н Z (т. е. скрывающийся за этим образом В. С. Соловьёв) упускает из внимания, что необходимая для торжества зла почва создаётся не только и не столько агрессией конфликтующих индивидов, сколько *страхом* и в особенности *обманом*, то есть системой заражения мозга и нервной системы вербальными отравками, в которых «повязаны» целые общности людей (та самая *материальная власть* слова!). Позиция В. С. Соловьёва, таким образом, открывает широкое поле для оправдания, иногда даже прославления многочисленных *системно организованных* форм зла. Пример минимальной организации — самосуд толпы, одержимой одновременно и Агрессией, и Обманом, и Страхом. Страх «развязывает руки» для наиболее кровожадных форм расправы (недаром ведь в психиатрических учреждениях наиболее строго наблюдают больных, одержимых одновременно «руководящими и направляющими» голосами и беспричинными страхами). Обман же — единственное Антихристу, царю лжи, орудие — делает преступление толпы неизбежным. В случае какой-нибудь «оборонительной», «отечественной» войны — сильнее всего *страх*, актуализирующий внушённые с детства обманы патриотизма и оправданного насилия, а уже следом — агрессию, которой «помогает» ложь правительственной пропаганды. А в историческом терроризме, ведомом ложной, извращённой религией (или её эрзацем, как учение социалистов) — на первом месте *обман*. Объединяет все эти ситуации — именно *наличие заведомо ложного оправдания* индивидом или общностью людей тех или иных насильственных действий — как происходит с теперешней Россией в связи с её преступлениями в Украине.

Если целью философского диспута считать поиск и обретение истинного знания — Первый Разговор примерно с середины его был «пущен вразнос» — и не кем иным, как г-ном Z, сиречь паном философом. «Процупав» степень идиотизма своего собеседника, он предлагает Князю «доказать» истинность одного из крайних вариантов: «...Что во всех случаях [...] воздержаться от сопротивления злу силою безусловно лучше, нежели употребить насилие с риском убить злого и вредного человека» (*Там же*). Князь тупо «плавает», вяло отбрыкиваясь, не замечая произвольности такой дилеммы (пассивность либо летальное насилие), исключая компромиссные варианты. Не замечает он и «фигуры умолчания», позволяющей г-ну Z не уточнять своих субъективных атрибуций «злого и вредного человека». Вдруг Князя «осеняет», и он озвучивает такое, вполне убедительное, возражение:

«...Не станете же вы утверждать, что Наполеон, или Мольтке, или Скобелев находились в положении сколько-нибудь похожем на положение отца, принуждённого защищать от покушений изверга невинность своей малолетней дочери?» (Там же. С. 654).

По сути, спор вернулся к необходимости участникам его разграничить *разные уровни и качества системности* в конфликтах: с одной стороны — двух и более частных людей, с другой — воюющих государств, тех или иных крупных человеческих общностей.

И г-н Z начитает манипулировать и лукавить. Аргумент Князя он не мог не понять, но — оставляет без ответа, вслух (для доверчивых Генерала и Дамы, при равнодушном молчании атеиста-Политика) характеризуя как «ловкий скачок от неприятного вопроса». При этом — тут же сам делает такой «скачок», и, явно задевая личность Князя, предлагает ситуацию, в которой наблюдателем действий убийцы является не отец жертвы, а такой же бездарный моралист, как сам Князь:

«Что же, по-вашему, этот моралист должен, скрестя руки, проповедовать добродетель в то время, как осатаневший зверь будет терзать свою жертву? Этот моралист, по-вашему, не почувствует в себе нравственного побуждения остановить зверя силою, хотя бы и с возможностью и даже вероятностью убить его?» (Там же).

Общаясь с дураком, философ не особенно “следит за базаром”, и мы видим, как он допускает здесь противоречие в сопоставлении с только что предлагавшейся Князю дилеммой: «злой и вредный человек», для полноты эффекта, назван «зверем», но убийство его — как и редкого хищного зверя — не более чем нежелательный и досадный исход *силового* (по причине неменяемости) сопротивления его насилую. Грань между летальным насилуем, калечением человека и простым силовым сопротивлением движущему зверем инстинкту или человеком соблазну — наконец совершенно снята. «Сила» и «насилие» делаются в речи г-на Z не терминами, а окказиональными синонимами единой дефиниции.

Князь утрачивает простое понимание собеседника, апеллируя к силе молитвы, к чуду, к влиянию «евангельского духа» на озверевшего мучителя. Соловьёв (в образе г-на Z), знающий психологию эмотивных состояний и поведенческих детерминаций индивида, конечно, неизмеримо лучше Князя — великолепно “добывает” его простейшим аргументом: «евангельский дух» не повлиял на убийцу Иисуса Христа. В дополнение, дабы унизить Князя, он приводит известную в ту эпоху по детским хрестоматиям историю из жизни Вла-

димира Мономаха, мотивировавшего союзников на войну с половцами, а Генерал от себя рассказал историю расстрела из орудий толпы турецких «башибузуков» — грабителей, насильников и убийц.

Конечно, князю не приходит в голову аргумент о *невозможности* соблюдать закон непротивления, одновременно пребывая в общественном статусе «полководца» — князя или боевого генерала. Отношения лучше вооружённой банды разбойников (правительственных) с хуже вооружённой, но более агрессивной или варварского государства с такими же варварами кочевыми — по существу своему не могут быть ненасильственными, христианскими.

Разговор приобретает интерес и для Политика, но его выступление В. С. Соловьёв переносит на следующий день — соответственно, в рамки *Второго разговора*.

О политическом, тесно связанном с христианской этикой, его содержании мы уже сказали выше: это, главным образом, *панмонголизм* г-на Z (т. е. Соловьёва) и *русское европейство* атеиста Политика.

Политик в целом аттестует себя человеком сугубо своей эпохи и своего поколения. «Русский европеец» отрицает теории «азиатской» или «византийской» России, постулировавшиеся старшими поколениями, и — как будто поддерживая и г-на Z, и Князя — говорит о скором уничтожении всех в мире войск и войн, которые и в России уже вырождаются в «парламентские потасовки» (*Там же. С. 678 – 679, 687 и др.*). Но вот разговор заходит о современных событиях: войне англичан с бурами — и «русский европеец», безбожник и сторонник «прогресса» выражает поддержку именно «прогрессивных» англичан с их «прогрессивным» летальным оружием о особо «прогрессивными» концентрационными лагерями для женщин и детей — членов семей сопротивляющихся буров (*Там же. С. 699*).

Культура, мир и прогресс для Политика встали на место Бога (*Там же. С. 701, 703*). Г-н Z завершает Второй Разговор многозначительной ремаркой, что такой «прогресс», каким его понимает Политик, сам по себе есть *симптом*. В начале Третьего Разговора он пояснит, что имел в виду *симптом конца истории* — приближения предсказанного в Библии торжества в мире Антихриста (*Там же. С. 705*).

В *Третьем разговоре* две части. Первая — своеобразное «избиение» могучим в религиозно-философских диспутах г-ном Z толстовствующего Князя; вторая же — пересказ г-ном Z «Легенды об антихристе», составленной неким покойным монахом.

При упоминании об Антихристе Князь решительно уходит от участия в разговоре. В его отсутствие его самого оставшиеся обсуждают как возможно к Антихристу причастного. Генерал поднимает тему *самозванства* «таких, как князь»:

«...Духа Христова не имея, выдавать себя за самых настоящих христиан» (*Там же. С. 707*).

Г-н Z, будто дождавшись главной для себя части разговора, активно поддерживает Генерала:

«За христиан *по преимуществу* при отсутствии именно того, что составляет преимущество христианства <т. е. веры в плотское, «действительное» воскресение Христа. – Р. А.>.

[...] Во всяком случае несомненно, что то антихристианство, которое по библейскому воззрению — и ветхозаветному, и новозаветному — обозначает собой последний акт исторической трагедии, что оно будет не простое неверие, или отрицание христианства, или материализм и тому подобное, а что это будет религиозное самозванство, когда имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его» (*Там же. С. 707 – 708*).

Участники диспута не принимают во внимание, что первые христиане ожидали описанных Иисусом событий гораздо скорее, нежели через 1800 лет. Мысль о том, что истинный, подчинившим себе значительную часть мира Самозванцем, истинным Антихристом сделалась за много веков до них *церковь* — истинная служанка Обмана, сатаны — выходит за «барьер» их восприятия. Рабство в лапах сатаны *включает* в себя подозрение в самозванчестве и враждебности всех тех, кто попытается напомнить рабам Сатаны об истинных Боге и Христе, об Истине в приложении к жизни церковной и светской. Отсюда в современной нам России погоня за «иностранными агентами», обличающими ложь и зло, в которых погрязло общество.

Конечно, «под ударом» участников третьей беседы оказываются единомышленники Л. Н. Толстого, которых безбожник атеист Политик одним махом приравнивает к опасным религиозным фанатикам:

«...Это новые постники и безбрачники, что открыли добродетель и совесть, как Америку какую-то, а при этом потеряли внутреннюю правдивость и всякий здравый смысл» (*Там же. С. 708*).

Генерал охотно поддерживает позицию атеиста Политика:

«И в давние времена христианство кому было непонятно, кому ненавистно; но сделать его отвратительным и смертельно скучным

— это лишь теперь удалось. Воображаю, как дьявол себе руки потирал и за живот хватался при таком успехе» (*Там же*).

Эта и многие последующие реплики участников беседы — точно удовлетворили бы дьявола, существуй он на деле: они ближе всего к греху *клеветы на Духа*. Они, впрочем, довольно отстранённые от нешей темы, имея преимущественно богословский характер, и мы здесь опустим их. В центре внимания этой части «Трёх разговоров» — Христос, его учение и первые христиане, с их пониманием жизни «в воле Отца», несовместимой, в частности, и с употреблением военного меча.

Венчает скептическую картину «Трёх разговоров» — чтение г-ном Z рукописи «Краткой повести об антихристе», написанной покойным монахом Пансофием (т.е. Всемудрым — таким его хочет сделать в глазах читателя сам Соловьёв) и посвящённой его фантазиям о грядущем возвышении в мире Антихриста и победе над ним.

Фантастическая (и антиутопическая) повесть Пансофия (на деле — Соловьёва же) открывается темой, заявленной до того в «Оправдании добра» и ряде иных сочинений В. С. Соловьёва. Тема эта — *панмонголизм*, геополитическое и культурное противостояние «жёлтой расы» европейцам и Америке, погрязшим в упадке и безверии. Несколькими годами позднее раскроет эту тему Л. Н. Толстой, назвав первые акты противостояния — «Концом Века Сего». Кончается Век Сей — гибнет и всё, чем он жил, включая ветхое *религиозное жизнепонимание*.

К сожалению, в «Краткой повести об антихристе» именно это — еврейское и церковное — старое жизнепонимание и выражено автором. Как прежде автор следовал низшим, суеверным представлениям о личном Боге, так теперь в повести такой же «великой», но всё-таки вполне земной личностью предстаёт ложно, суеверно же олицетворённое Зло, Антихрист.

Соловьёв предсказывает, что «жёлтая» империя вытеснит в начале XX столетия англичан из Бирмы, а французов из Индокитая и вторгнется в российскую Среднюю Азию и далее в европейскую Россию, Германию и Францию. Однако новое 50-тилетнее монгольское иго закончится всеевропейским восстанием — и *мнимой* «свободой» в рамках предсказанных Соловьёвым «Всеевропейских Соединённых Штатов». «Свободы», при которой большинство людей станут жить без Бога в сердце и разуме:

«Успехи внешней культуры, несколько задержанные монгольским нашествием и освободительною борьбою, снова пошли ускоренным ходом. А предметы внутреннего сознания — вопросы о жизни и

смерти, об окончательной судьбе мира и человека, — осложнённые и запутанные множеством новых физиологических и психологических исследований и открытий, остаются по-прежнему без разрешения». Человечество переросло возможность наивной, внушавшейся церковниками, веры, но ещё не достигло высшего жизнепонимания, осмысления мира. «Мозговой штурм», новое богопознание становятся задачей начала XXI столетия. «И если огромное большинство мыслящих людей остаётся вовсе не верующими, то немногие верующие все по необходимости становятся и *мыслящими*, исполняя предписание апостола: будьте младенцами по сердцу, но не по уму» (Там же. С. 739 – 740).

В «освобождённой» Европе (не в России!) обнаружится Антихрист — «великий аскет, спиритуалист и филантроп», а также вегетарианец. При поддержке масонов этот человек в XXI веке станет президентом «Европейских Соединённых Штатов», которые трансформируются во «всемирную монархию». Антихристу будет помогать католический епископ, лже-папа и чёрный маг Аполлоний. Столицей империи Антихриста станет Иерусалим, где появится «храм для единения всех культов». Во время общехристианского собора погибнут два праведника: католический папа Пётр (служивший архиепископом Могилёвским) и православный старец Иоанн. Конец власти Антихриста положит восстание евреев, а окончательное уничтожение его армий будет вызвано извержением вулкана в районе Мёртвого моря.

Очевидно, что такой Антихрист, каким он предстаёт в повести «пансофия» Соловьёва, паразитирует на страстях и утилитарных помыслах мнимых христиан Европы, на суевериях *имперства* и имманентном не просветлённому христианским жизнепониманием человеческому уму культе «превосходных», «великих» личностей — том самом, который в XX столетии использовали захватившие в России власть большевистские изуверы, а в начале XXI-го – активно использует воровской и военно-бандитский режим В. В. Путина.

В человеческой истории пока не было периода, когда бы чувственность индивидов и состояние общественного сознания хотя бы одного поколения, хотя бы одной социокультурной общности людей были бы менее удобны для происков такого вымышленного лица – Антихриста. Для чего бы ему ждать 1900 лет – до XX столетия? А ведь Антихрист, в отличие от Бога, должен *ждать*, изводясь ожиданием, ибо, по околохристианской мифологии церковников, не имеет доступа на Небеса, вне известных нам условий пространства-времени. Но Зло и не ждало... В учениях «исторических» церквей,

оправдывающих и освящающих социальные проявления зла, состоялось такое «торжество Антихриста», которое бессильны бы были выдумать и все пишущие монахи и философы Российской Империи. В повести Соловьёва Антихрист опирается на *имперскость* «коллективного бессознательного» человечества, корни которой – в первобытном биологическом *имперстве* человека как стайно-территориального животного, жаждущего одновременно *господства*, доминирования над кем-то и приятного, успокаивающего *подчинения* кому-то — «высшему», «заботливому»... Антихрист и стал таким «заботником» — подобным Великому Инквизитору Достоевского — паразитирующим на бессознательно всегда работающих в сознании каждого индивида витальных фобиях людей как животных существ. При этом для обустройства своей всепланетарной Теократической Империи он использует общественные регуляторы дохристианских, древних обществ: золото и богатства, собственничество и жадность людей, *ложь* религиозную, сакрализирующую его персону... главное же – человеческую *агрессивность*, удобопреклонность к личному деланию греха насилия, пользованию общественными системно организованными его формами и *оправданию* того и другого (лганья себе – то есть добровольному отдаванию себя в лапы «Царя Лжи», того же Антихриста).

Наконец, неубедителен в повести Соловьёва и исход, пресловутое «торжество Добра». Антихриста разоблачают духовные «вожди» традиционных, исторических церквей — знаково носящие апостольские имена: папа Пётр II, старец Иоанн и немец евангелист Эрнст Паули (т. е. Суровый Павел). Убиенные глава Православия и папа чудесно воскресает на руках верующих всех конфессий, готовых к объединению с ним, с его церковью. Но в военно-политическом плане Антихриста — что тоже знаково — свергают не они, а восставшие *евреи*, узнавшие, что Всемирный Император *не обрезан*. Началась война. Сама природа помогла им:

«Всё еврейство встало как один человек, и враги его увидели с изумлением, что душа Израиля в глубине своей живёт не расчётами и вожделениями Маммона, а силой сердечного чувства — упованием и гневом своей вековечной мессианской веры. [...] Но едва стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы — под Мёртвым морем, около которого расположились имперские войска, открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившись в одно пламенное озеро, поглотили и самого императора, и все его бесчисленные полки... Небо распахнулось великой молнией от востока до запада, и они увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии... Все казнённые Антихристом евреи и

христиане ожили и воцарились с Христом на тысячу лет» (Там же. С. 760 – 761).

Как говорится, один «божественный император» издох — да здравствует другой... и всей кодле «праведников» — по кусочку власти при нём. Христианская ли это победа? Никак.

Да и погиб ли Антихрист? Его самого и его воинов поглотила *родная* ему *огненная среда*. Он, вероятнее всего, возвратился в Ад. Утеряет ли он тот контроль над миром, который и прежде имел оттуда? Вряд ли. Погибло тело одержимого Сверхчеловека, сгорели и тела обманутых им или подкупленных прислужников и воинов – *но не самое зло!*

Потому что осталось в мире главное зло — *обман*. То, что духовные «вожди» церковей противопоставили Антихристу — не более, чем традиционные Символы Веры их церковей, единые в своём христоцентризме и идолослужении обожённому Иисусу Христу как богу. Это не уничтожило Повелителя Лжи, а только вырвало у Антихриста власть — с помощью евреев и их старых, много древнее Христа, агрессивных и суеверных настроений. Антихрист низвержен в Геенну Огненную... к себе домой, чтобы отдохнуть и набраться сил. Выживший евангелист Эрнст Пауль (аллюзия к ап. Павлу, легендарному новозаветному Строителю Христовой Церкви) собирает общину и, соединившись с воскресшими главами других церковей — вновь основывает *пока* единую Церковь, во имя Христа – воскресшего бога... то есть с тем же, по факту, языческим и еврейским пониманием его личности и учения и с теми же перспективами его перетолкований, разделения и вражды последующих поколений обрядов.

История в повести Соловьёва совершила тупо *ещё один поворот* вокруг той Оси, которой 2 000 лет назад было *единственное* явление боголюбимому народу распятого его волей религиозного учителя, а с ним — Божьего учения, открывающего новое *понимание жизни*.

«Конец истории»... *и вновь – начало*. Освящённое речью православного «старца» Иоанна перед Антихристом:

«Великий государь! Всего дороже для нас в христианстве сам Христос — Он Сам, а от Него всё, ибо мы знаем, что в Нём обитает вся полнота Божества телесно. Но и от тебя, государь, мы готовы принять всякое благо, если только в щедрой руке твоей опознаем святую руку Христову. И на вопрос твой: что можешь сделать для нас, — вот наш прямой ответ: исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа, Сына Божия, во плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего, — исповедуй Его, и мы с любовью примем тебя как истинного предтечу Его второго славного пришествия» (Там же. С. 754).

Князь, слушавший со вниманием чтение повести, на этом месте бессловесно и почти незамеченным покинул общество... Всё очень понятно. Черти, бесы и сам Антихрист сатана, то есть всякое мифологическое зло — неизмеримо честнее, добрее, чище, чем то зло, которое повседневно и сотни лет совершают опасаящиеся его суеверы лжехристианского мира. Вот почему, *по условиям сказки*, Антихрист не может соврать и исповедовать Христа. А слуги его — по тому же суеверию — испытывают всевозможный дискомфорт при произнесении, даже упоминании церковного Символа Веры. На это намекает Соловьёв, заставив Князя-«толстовца» бежать при чтении слов Иоанна.

На деле Князь мог потерять действительный интерес к повести — как раз на этом месте её чтения — и потому, что с этого места очевидным становится её *христоцентрический* пафос, не предвещающий миру, даже при условии победы над Антихристом, никакого подлинно, качественно нового поворота в духовной эволюции.

* * * * *

Не нами первыми замечено, что критики Л. Н. Толстого как философического «соловьёвского», так и сугубо церковно-богословского «лагерей» всегда «свихиваются» в своих суждениях в субъективизм — в оценке сопоставления *актуальности* духовного наследия обоих мыслителей. Говоря максимально просто: в оценке того, кто из них принадлежит настоящему и будущему, а кто — как Князь в «Трёх разговорах» — принадлежит исключительно или по преимуществу к *своей эпохе*, к своей социальной страте и связанных с ними предрассудкам: кто еси от Мира Сего и от Века Сего

Образец — суждения В.П. Свенцицкого в его «Религии свободного человека». Позволим себе объёмную цитату из данного сочинения:

«Лев Толстой не понимал и не любил Вл. Соловьёва. Вл. Соловьёв не понимал и не любил Толстого. [...] Не понимали, не любили, сходились и расходились всё резче и резче и, наконец, стали почти "врагами"».

Так и общество привыкло думать: Толстой и Вл. Соловьёв -- две непримиримые противоположности. "Толстовцы" и "соловьёвцы" также считают себя двумя враждебными лагерями.

[...] Последние годы, и особенно последние дни Толстого, совершенно по-новому осветили его личность, и теперь "распря" двух величайших русских мыслителей представляется мне глубочайшим недоразумением, если хотите — трагедией современного религиозного сознания человечества.

Идея "вселенского христианства" слишком широка и всеобъемлюща, и многие служители *одной и той же идеи* считают себя *врагами* только потому, что с разных, иногда противоположных сторон видят одну и ту же истину. <Это не справедливо в отношении Толстого, который *не считал себя врагом* Соловьёва. – Р. А.>

Лев Толстой созерцал эту истину как *художник* даже в чисто философских своих произведениях.

Вл. Соловьёв созерцал её только как *философ* даже в своей поэзии.

Толстой всегда *изображает*. Его "учение"— это *описание* христианского *отношения* к жизни, к людям, к Богу. Вся сила Толстого в том, что он *показывает* христианскую психологию. О любви, о жизни во имя вечности, о проникновенном чувстве добра, о самоуглублении, о напряжённом искании Царствия Божия в своём сердце — вот о чём говорил Лев Толстой.

Всё его учение есть не что иное, как исповедь *христианского сердца*.

Все эти указания на моменты приближения Толстого к христианству, конечно, недостаточны, чтобы признать его за христианина. Такое признание было бы насилием над ним и неуважением к тому страданию, которое он жертвенно принял на себя в борьбе за своё понимание Евангелия. Но их достаточно, чтобы почувствовать, насколько христианство было всё же ближе Толстому, чем бескомпромиссный, самоуверенный морализм толстовцев.

Когда Толстой начинал подыскивать этим переживаниям философские схемы, он сразу становился беспомощен и путался в противоречиях» (http://az.lib.ru/s/swencickij_w_p/text_0069.shtml).

Налицо как раз некая *схема*. До оскомины знакомая всякому толстоведу, старая, даже архаическая, и довольно на деле примитивная... От автора, явно превозносящегося над Толстым за своё умение стряпать *схемы*, подобные вышеприведённой: мёртвые и *мертвящие*, препарирующие живое, выхолащивающие сложное, но *подкупающие* своей внешней логичностью и кажущейся справедливостью. Толстой здесь «разлучён» не только с собственными учениками (увы! в ряде случаев бывшими не умнее Князя и действительно вульгаризировавшими преподанное им учение), но и с Христом, и даже с собственным умом, с обыкновенной для всякого образованного человека способностью *критической аналитики* — как раз весьма сильной у Толстого!

К сильной же стороне концепции критика мы можем отнести указание (здесь и ниже) на именно христианское религиозное, а не либеральное, не светски-гуманистическое и не пацифистское основание антивоенного протеста Льва Николаевича — в признании им

настоящей жизни человечества только в Боге, в воле Отца, в истине Христова учения и в любви как необходимом повседневном основании продуктивного сотворчества человека, работника в мире, единому Хозяину и Мастеру.

Свенцицкий продолжает своё мифотворение так:

«Великое христианское сердце Толстого и великий христианский ум Вл. Соловьёва не поняли и "не нашли" друг друга.

Замечательно, что главнейший пункт несогласия и идейной вражды — это учение о воскресении Христовом! [...]

Но и здесь Толстой, отрицая "как философ" Воскресение, любил живой образ Христа, относился к нему не как просто к "учителю", а так же, как и Соловьёв, и никогда бы он не согласился в душе отречься от имени христианина, хотя бы всеми учёными мира было доказано, что Христос учил совершенно тому же, что и Будда, и Моисей, и т. д. Хотя Толстой не верит в божество Христа, но Его словам он поверил так, как могут им верить те, кто видел во Христе Бога.

<Это уже не философская схема даже, а спекуляции религиозного публициста. И, везде — тот же «барьер невосприятия» писаний Толстого, то же слепое отождествление христианства с учением церкви. — Р. А.>

И Толстой, "отрицавший" воскресение Христово, и Вл. Соловьёв, не проповедовавший то, что, по мнению Толстого, должен проповедовать каждый христианин, — были братьями по духу, разно мыслили, одно любили. Оба были убеждены, что Царствие Божие должно стать всем во всём человеческом обществе... искали Царствия Божия и правды его; оба они поняли его как *всеединство*, в котором человек должен без остатка принадлежать Богу.

Оба они провозвестники вселенского христианства» (Там же).

В этих, последних, суждениях Свенцицкого — немало правды. Но дальше... дальше — торжествует обман, тот же, на который наводил читателя В. С. Соловьёв:

«Толстой весь принадлежит *настоящему*.

Вл. Соловьёв — *будущему*.

Толстой дал колоссальный толчок *мировой совести*.

Вл. Соловьёв дал миру гениальные религиозные *идеи*.

Совесть человеческая сразу поняла и приняла Толстого, хотя и не смогла призывы его претворить *в жизнь*.

Но ум, сознание человеческое не могло сразу впитать в себя религиозные идеи Соловьёва и даже просто "заинтересоваться" ими, понять их важность, — и потому прошло мимо них.

Дело усвоения *идей* — дело медленное. И потому дело, свершённое Соловьёвым, будет медленно *вырастать*. Оно будет продолжаться

после жизни Соловьёва, расширяться с каждым годом и вширь, и вглубь.

Дело Толстого в главнейшей своей части было свершено при жизни: никогда не будет иметь он такого влияния на людей, как в период астаповских дней. [...]

Толстой учил, *как надо жить*.

Соловьёв — как надо *понимать* жизнь.

Этот вопрос о *понимании жизни* заставил его изучить *все науки*, пройти весь трудный путь философской мысли и создать настоящую *христианскую философию*. Не новое учение, а, исходя из Евангельских начал, ответить на все основные вопросы, поставленные многовековой человеческой культурой» (Там же).

Как мысленный эксперимент предлагаем читателю перечитать этот отрывок, заменив имя Соловьёва — именем Толстого (и наоборот). Столь же вероятно — но и столь же малоубедительно. И всё-таки — правда!..

Да, Толстой не шёл соловьёвским путём Человека Науки: по философиям, по преданиям и стихиям мира... Но он ли не учил *понимать* жизнь — такой, какова она есть и каковой *должна стать*?

Непонятно, куда для Свенцицкого делись пояснения Л. Н. Толстого в трактате «В чём моя вера?», что он намерен не «выдумывать» собственное учение или «толковать» христианство, а — как раз *запретить* толковать его с позиций паразитирующего на нём учения церкви. Вернуть ему *исконные* смыслы, *имеющие общественную актуальность* в ответе на вопрос как раз о религиозном *понимании жизни*? Куда делась для Свенцицкого статья Л. Н. Толстого «Религия и нравственность», где он излагает свою концепцию трёх различных *жизнепониманий*, и высшим признаёт то, которое выражено в учении Христа? Куда девались для критика трактаты Толстого «О жизни», «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое *жизнепонимание*»? Куда делся для публициста и критика великолепный *христианский катехизис* Толстого — статья «Христианское учение» — выявляющая как раз *исконные* причины торжествующих общественных зол в *грехах, соблазнах и суевериях* людей? Куда делись статьи, как вышеназванная «Конец века» или другая, с длинным, очень информативным заголовком — «Почему христианские народы вообще и в особенности русский, находятся теперь в бедственном положении»? Автором замолчаны работы Л. Н. Толстого, цель которых как раз *дать понять* читателю коренные причины бедствий лжехристианской цивилизации и то, *какой должна быть* добрая и разумная, христианская

жизнь человечества. Наконец, «учения о жизни в изречениях» — знаменитые книги «Круг чтения» и «Путь жизни» — содержат в себе не одни художественные образы, описывающие жизнь, но и аналитику и критику её. Одной из главных тем «Круга чтения» является — «Устройство Жизни».

Как раз Толстой не создал так вождеюще ожидавшейся от него современными критиками *ретроспективной утопии*. Он не «учил» жизни — «лучшей», «будущей». Он как раз отвечал на вопрос, *отчего теперешняя жизнь полна зла* — предлагая, как разрешение, не собственные выдумки, а *христианский религиозный* ответ, по евангелиям.

В связи с вышесказанным нам ближе позиция другого, уже называвшегося нами выше, современного нам исследователя Ю. В. Прокочука, являющегося современным духовным и философским единомышленником Л. Н. Толстого (к сожалению, «заразившимся» от него и некоторыми радикальными заблуждениями — такими, как «духовный монизм»). В статье 2009 г. «К вопросу о мировоззренческих системах Льва Толстого и Владимира Соловьёва» он делает такой вывод:

«Очевидно, что Соловьёв ближе к идеалистическим течениям западной философии с её христианской основой, европоцентризмом, историзмом. При этом он не был чужд мистики, хорошо знал восточные религиозные культы и философские системы.

Толстой, как нам представляется, ближе к духовно-монистическому направлению, присущему, в частности, многим течениям восточной религиозно-философской мысли, к полному ненасилию, характерному не только и не столько для исторического, церковного христианства, сколько для восточных религий.

Таким образом, «корневые» основы мировоззренческих систем мыслителей весьма существенно различались. Это и отразилось на структуре и содержании их философских и публицистических работ, оценках друг друга.

Разносторонне образованный философ, эрудит, интеллектуал Соловьёв был сыном своей эпохи, он прекрасно чувствовал, знал реалии современной ему политической, социальной, религиозной жизни. Философские конструкции Соловьёва явились питательной основой для формирования и развития идеологии богоискательства, «нового религиозного сознания». Влияние идей Соловьёва, как известно, испытали на себе Бердяев, Булгаков, Франк, Эрн, Мережковский, другие философы «русского религиозного ренессанса» начала XX в.

Толстой — религиозный мыслитель не оставил после себя школы, секты, церкви. У него не оказалось *достойных* учеников среди отечественных мыслителей. Его учение, как и его поистине всеобъемлющая личность, несколько иного масштаба, их невозможно уместить в национальные, религиозные, политические рамки. ТОЛСТОЙ — *личность, опередившая свою эпоху, сумевшая выразить то вневременное, вечное, что всегда объединяло людей*» (Мансуровские чтения. Калуга. Сентябрь 2009. Выпуск 2. Издательский дом «Ясная Поляна». 2010. — С. 50 – 64. Выделения в тексте наши. — Р. А.).

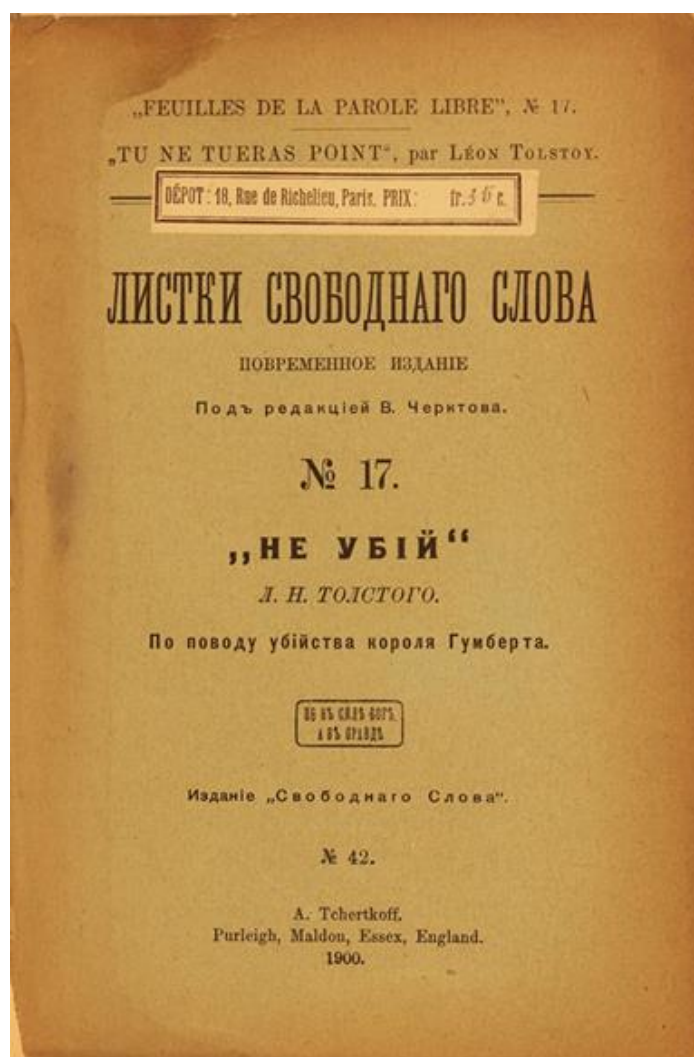
Человеком *мира сего и века сего*, со всеми его заблуждениями, религиозными, философскими и политическими — оказывается, при объективном взгляде, в много **большой** степени именно Владимир Сергеевич Соловьёв. Он чувствовал это сам — год за годом приходя к разочарованию в идеях, которыми заманила и которыми обманула его эпоха, совпавшая с его юностью и молодостью.

8. 2. «НЕ УБИЙ». 1900

Теперь, как и обещали, отдельно представляем читателю статью, написанную на сломе веков, одно лишь имя которой указывает на принципиальное, с христианских позиций, неразличение Толстым «насилий» мира и века сего

Статья Льва Николаевича Толстого 1900 г. с характерным библейским заглавием «Не убий» посвящена критике суеверия насилия, суеверия «оправданного» убийства, и не столько в правительственных «верхах», сколько в пресловутых *народных массах*. Того самого суеверия, которое и по сей день определяет чувства и поступки сторонников казней посредством самосуда, политических, военных переворотов и, конечно же, самых войн, международных и гражданских. Если Александра II приговорили к смерти «народовольцы», то в стихийных протестах против «недостаточно суровых» наказаний, публичных призывах к расправам как с рядовыми гражданами, так и с членами и прислужниками правительства, к использованию войск ради принуждения к чьей-то грешной воле — выражается убогое, ветхое *манихейство* церковно-православной, то есть лжехристианской, России: желание хоть умозрительно «материализовать» зло, объективно выражающееся в несправедливостях, настоя-

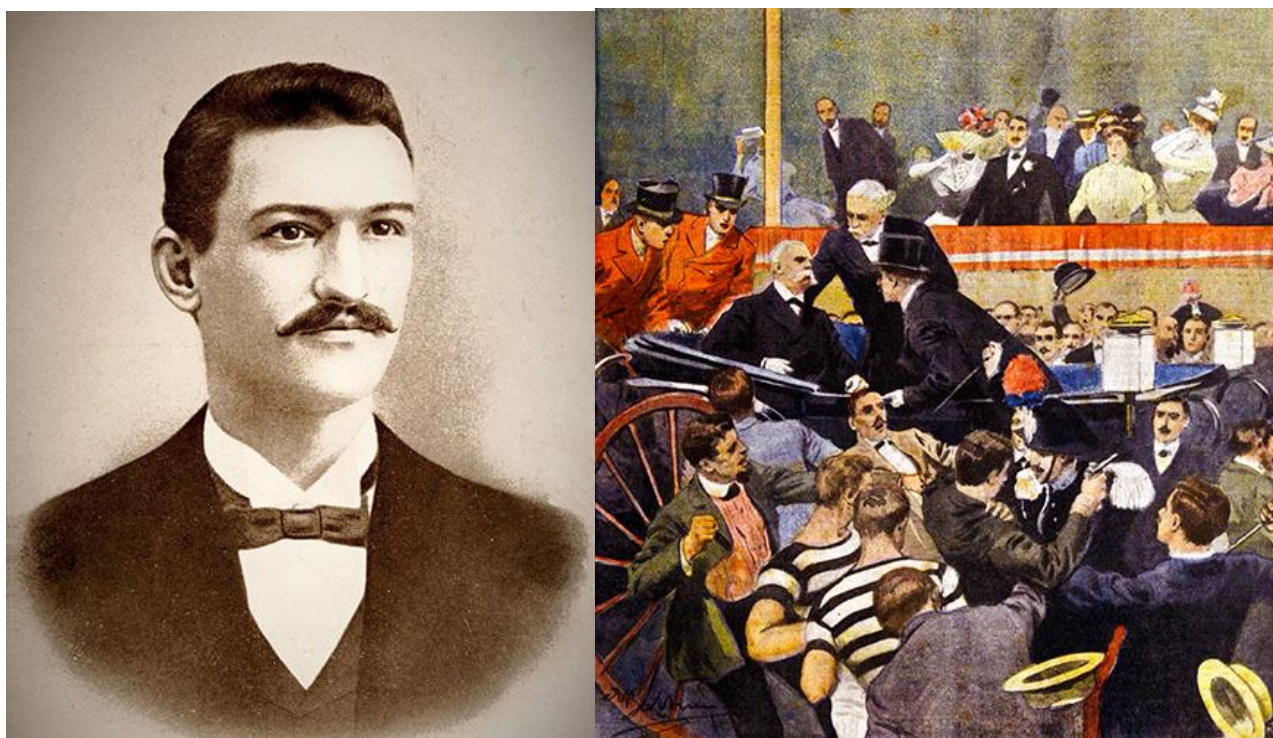
щих и мнимых, со стороны части граждан или представителей власти, в мучающих страхах и пр. — в личностях конкретных людей (изобличённых «преступников»), и, уничтожив их изъятием ли из общественной жизни (тюрьма, сумасшедший дом) или физическим уничтожением посредством военного убийства либо смертной казни, совершаемой часто по «чрезвычайным» законам военного времени, оккупационного режима — тем избавиться от примитивных животных страхов и продуцируемой ими ненависти и иллюзорно разрешить общественные проблемы, истинные, коренные причины которых были и остаются в религиозном безверии, в недоверии людей Богу, в неуступании Ему, Его воле, в неслиянии своей воли с волей Бога, известной по евангелиям и по учениям святых людей, народных учителей и пророков, по примеру их жизни в сораспятии Христу.



«Не убий». Обложка
английского бесцензурного издания. 1900 г.

Статья «Не убий» была написана Толстым в 1900 г. Она явилась непосредственным откликом Льва Николаевича на совершённое 29 июля 1900 г. анархистом Гаэтано Бресси (Бреши, 1869 - 1901) убийство итальянского короля Умберто (Гумберта) I (1844 – 1900), на совести которого были, как минимум, вполне «традиционные» для итальянцев проигранные сражения, колониальные авантюры, союзничество с Бисмарком, обнищание народа и вооружённые расправы с бастующими рабочими.

Для нас в этой давней истории интересно лишь то, кто кровопиец Умберто был похоронен в римском Пантеоне, в его честь названы больница, галерея искусств, ряд улиц... А Бресси, пытавшийся освободить итальянский народ от зла, которое он связывал, в числе прочего, с активно милитаристской политикой короля — погиб через несколько месяцев в каторжной тюрьме при неясных обстоятельствах (документы расследования утрачены).



Гаэтано Бресси и сцена ликвидации короля Умберто

Но есть у статьи Льва Николаевича и очень актуальная для нас история: за её распространение добрые, нравственные, христиански-верующие люди с активной общественно-гражданской позицией подвергались репрессиям: обыскам, арестам, судилищам, тюремным заключениям, пыткам и прочим мерзостям, весьма похожим на то мракобесие, что творится в современной путинской России. Аресту и заключению в тюрьму издателя статьи *Николая Евгеньевича*

Фельтена (1884 – 1940) Толстой посвятил в 1907 году статью «Не убий никого», в которой повторил общие свои выводы о коренных, религиозных причинах всплеска общественного насилия и религиозных же путях его обуздания.

И надо отдать должное имперским цензорам. Они, вполне вероятно, поняли, что статья Толстого – не «очередная» беззубая проповедь по поводу ветхозаветной заповеди. Они разглядели истинную опасность статьи в отношении неправого, нехристианского устройства общественной жизни в России и всём лжехристианском мире. А вот советские литературоведы – или ослепли, или, что вероятнее, просто боялись, пища про «Не убий», развивать эту тему... Так наверстаем же их упущение!

Чутких «духовных» цензоров в имперской России должны были привести в ужас хотя бы уже эпитафии, выбранные Львом Николаевичем для статьи «Не убий». Библейские:

- 1) Не убий (*Исход XX, 13*).
- 2) Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его (*Лк. VI, 40*).
- 3) ...Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут (*Мф. XXVI, 52*).
- 4) И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (*Мф. VII, 12*).

Что же привело в негодование великорусских прислужников Ирода, Пилата, Каиафы и сатаны дьявола?

А то, что эти эпитафии *именно в той последовательности, в какой даны Толстым*, считываются как *единый связный текст*, как одна идейная «матрица», мотивирующая человека на актуализацию в своей повседневной жизни Христова идеала совершенства, на стремление к его посильному осуществлению. «Дети Бога, будьте совершенны, как совершен Отец ваш». И – нечего противопоставить попам! Отрицать можно слова Толстого, доказавшего в «Соединении и переводе четырёх евангелий», что Христос говорит о сыновстве Богу и посланничестве в мире как работника Отцу – всякого человека. Но что возразить «священным», как они сами признают, текстам, словам Христа – того, кого они считают самим Богом?

А считывается смысла эпитафий примерно так:

«Не убивай, не касайся в земной жизни ни меча, ни иных адаптированных специально для убийства орудий. Ибо сам Христос отнял меч у ученика, запретил кровь. А ты – Христов и Божий. Идеал твой – стать как Отец. Посильная в земной жизни степень его достижения – стать таким *сознательным* сыном и работником Отца Бога, как

убитый поклонниками меча и «традиций» Иисус. Да и нерасчёт тебе быть поклонником меча, противиться насилием, ибо этим поддерживаешь и усиливаешь то зло, которое может погубить и погубит и тебя. Ведь даже греша ты не желаешь себе за грех кары? Значит – предоставь её Богу, а сам не смей карать другого, даже грешника».

Это революционные слова. В смысле той истинной революции, о которой писал Лев Николаевич в закрытой уже более столетия от массового читателя статье «О значении русской революции». Смена жизнепониманий. Смягчение нравов во всех отношениях людей с миром и друг с другом. Уничтожение всех обманов церковных и научных, оправдывающих насилие всех уровней – начиная от самого злостного и опасного, правительственного системно организованного принуждения к повиновению, военным насилием или угрозой тюрем и казней.

Первобытные гады атавистической животной агрессивности человека «разумного», жажды власти и доминирования, стяжания, делёжки трофеев и территорий – все лишатся своих ложных, маскирующих облачений, все окажутся ослеплёнными, парализованными светом христианского жизнепонимания. И невозможны станут ни правительства, ни войска, ни иные правительственные или антиправительственные бандиты, бандыри и бандюки: в том числе и те «анархисты»-террористы, которые совершили убийство в Италии. При этом даже худшие, самые порочные — не погибнут, а только подчинятся общественному мнению, просветлённому светом Божьего учения о разумной жизни разумного сына Его.

Но это при христианском жизнепонимании, для которого уже не действителен закон «око за око и зуб за зуб»... Мир церковных обрядоверов-лжехристиан России, Европы, Америки – знает, но не принимает его, тем думая уйти совершенно из-под действия Божьих законов. Но ведь они *имманентны* всей природе и самого человека и Божьего мира, и не могут не совершаться на судьбе и отдельных людей, и обществ. Просто работа их проявляется уже не благом, а закономерным злом для таких людей и обществ.

К примеру, «власть имущие» не могут не погибать и даже не имеют права – пред Высшей справедливостью – протестовать против своего уничтожения рабами и прислужниками того же низшего, общественно-государственного, а не Божьего, жизнепонимания, оправдывающего убийство, какое исповедуют сами. Это возвращаются на их седеющие – лысеющие черепушки их же грехи, не признанные и нераскаянные ими. Ибо, как справедливо отмечает Лев Николаевич, даже «самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, были виновниками, участниками и сообщниками, — не говоря

уже о домашних казнях, — убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений» (34, 200).

Это не об одних «королях», но на самом деле — обо всех греховодниках при деньгах и власти: и императорах, и президентах, и патриархах и папах римских и о всех их прислужниках, включая мельчайших «шестёрок», таких, как полицаи или учителя казённых школ с патриотическим воспитанием — обо всех, кто когда-либо оправдывал системное, организованное насилие того или иного правительства, государства, участвовал в нём, выгодно пользовался им... На примере последних лет: Украина, а раньше её Грузия и Сирия, коррупция под «крышей», рост нищеты и пенсионного возраста — более чем достаточный материал для смертного приговора не только режиму Путина, всей его воровской нефтегазовой и чекистской коде, но и всем их подпевалам из числа рептильных попов и интеллигентов, начиная с журналюг. Среди коих, кстати сказать, гваздаются, как видные члены партии «Единая Россия» и недостойные потомки Льва Николаевича — Пётр и Владимир Толстые.

Но «необходимость» их именно физического уничтожения представляется только таким же, как они, носителям антихристового жизнепонимания, находящимся по иную сторону политических баррикад: сволочи либеральной, левацкой, националистической, анархической и под. Всякая неиспорченная мирским влиянием душа человека — христианка по лучшим из своих устремлений, и для такой души, временно обременённой плотью, для сознания такого человека — очевиден и предпочтителен другой путь.

«Прорваться» к этой очевидности массам, однако, нелегко. Ибо провоцируют на участие в убийствах, бунтах, гражданских и прочих войнах, в ложной (насильнической) «революции» своих единомышленников во антихристе — сами короли, императоры, президенты, сами толстосумы эксплуататоры, сами брехливые попы и очкатые, очкастые, очковые интеллигенты, и самоуверенные, чующие поддержку воровского режима «силовики» всех мастёвых мастей... Опять же — это невежественное пускание ими против самих себя тех Божьих законов жизни, которые могли бы служить ихнему и общему благу. Их гордыня, их особость, которую они приписали себе — противостоят учению Христа, определяющему как необходимое *смирение*, отказ от влечения к любому доминированию в социуме, к любому стяжанию материальных и статусных «благ» для себя и «своих», от всякой организации насилия. Превознесение своих ничтожнейших пред Богом достоинств ведёт их к соблазну устроительства для себя особой позиции в обществе: позиции авторитетных в глазах безбожников распорядителей жизнями и судьбами других людей.

Такая самоуверенная поза обеспечивается всегда ложью и насилием, но почти никогда — истинным *знанием*. И представитель «элиты» поступает не по Божьей истине, а так, как подсказывают ему атавистические животные поведенческие детерминации в его собственных мозгах, «традиции» следования тем же зоологическим детерминациям «великих» и ужасных правителей и толстосумов прошлого, а также полуневежественным, суеверным, а иногда заведомо лукавым и лживым советам обладателей лишь немного лучших мозгов: начальников на работе или «службе», дипломированных платных шлюх, разных «консультантов» и «экспертов», учёных и не очень...

Как результат — колёсики-то и шестерни общественной машины проворачиваются, но... кровь повседневно на них, ибо, прокручиваясь, они ранят и губят живые жизни. Льются слёзы и кровь людей, а сама «элита» и её субэлитарные приبلуды на господачках — образно выражаясь, собирают на свои седомудые бошки горящие головешки, готовят себе то падение, первым предвестием которого явилась их гордость, убеждённость в своей общественной значимости, их внутреннее, для самих себя, согласие, ради денег и карьеры вертеть судьбами других людей, и не то, что лично участвовать, а пассивно, подло оправдывать насилия «своих» лидеров — как оправдывает сейчас большинство россиянцев гнусную войну в Украине.

В начале 2023 года о таких подлых «маленьких» слугах зверя появился в интернете злой и грустный, но меткий анекдот:

«Большинство россиян против войны. Опросы показали, что 15% считают, что украинцы — братский народ, сочувствуют украинцам и считают, что как только украинцы перестанут воевать, а Запад поставлять оружие, — война сразу закончится. 22% считают, что необходимо немедленно заключить перемирие, главное — это остановить активные боевые действия, а остальные вопросы можно отложить на будущее. 16% твёрдо выступают против войны, потому что война навязана нашим народам Соединёнными Штатами, только США получает выгоду от этой войны, а наши народы страдают. 19% выступают за немедленное прекращение войны, но считают, что оно невозможно пока у власти <в Украине> находится президент Зеленский.

Таким образом, около 75% россиян — против войны, за немедленное прекращение боевых действий и за восстановление мира.

Только 12% опрошенных выступают за войну. Они считают, что украинцы защищают свой суверенитет и должны это делать до конца, как и любой другой народ.

Три четверти россиян против войны!..»

Уже тем готовят эти три четверти себе злую погибель (и не одной души, а и тела — от убийц), что развращают своими словами и примером множество простецов (детей и малодумающих взрослых). А избранные ими политические лидеры — уже прямо учат патриотическому убийству и готовят к убийству в войске новые поколения, будучи слепо уверены в том, что временно обманутый, подкупленный или принужденный ими к военной службе человек уж навсегда пребудет, со своими навыками казённого убийцы, — именно *их* доверчивым и преданным военным или полицейским рабом.

Но идеал ученика Христа — безмерно выше и того патриотического настроения, которым руководятся в наши дни защитники Украины. Их позиция может быть оправдана намерением Украины присоединиться к мирным и цивилизованным народам Запада, к демократиям, к благородной евро-атлантической цивилизации — для чего, безусловно, нужно отстоять себя от русских убийц.

Но опасность для будущего общественного сознания украинцев — именно в *оправданиях* ненависти и системного насилия в отношении агрессора. Слово имеет материальную природу — могущую и необратимо покалечить морально человека и даже целую общность людей.

Иное дело, если бы помнили украинцы богоизбранного библейского Давида — кроткого пастушка, не ставшего нравственно хуже, защитив свой народ, его будущее от филистимлян.

Гибель «элит» и прислужников эксплуататорского, насильнического и лживого строя, какова и путинская диктатура в России 2012 – 2024 г., носит не социально-обусловленный, а *сакральный* характер: оправдана не мирскими толками, а судом Божьим. Все же мирские толки в пользу насильственной борьбы с насилием — та же ложь, самообман простецов, выгодный рвущейся к власти либероидной или революционаристской сволочи, не менее зловерный, чем ложь единомысленной ей в антихристе сволочи правительственной, церковной, интеллигентской, чем «корпоративные» суеверия полицейщины и военщины... Как безумно и бессмысленно казнить обычных преступников, так же, не менее бессмысленны и злобезумны все политические убийства, бунты, майданы, революции, вся парламентская и околопарламентская демагогия т. н. «оппозиции», прикрывающая одно желание её деятелей: примкнуть к рядам народных захребётников и кровопускателей.

Уже потому глупо убийство королей и императоров, иронически замечает Лев Николаевич, что они «давно уже устроили для себя такой же порядок, как в магазинных ружьях: как только выскочит одна

пуля, другая мгновенно становится на её место. *Le roi est mort, vive le roi!*» (34, 202).

А на «освободившиеся» места садятся «достоинейшие» предшественников, в смысле безнравственности, наследники — их убийцы, воспитанные в общественной суеверии оправданного насилия. И зло насильнического строя не побеждается, а увеличивается уже их насилием.

Истина в том, что зло не имеет воплощения в людях, зачастую обманутых или обманывающих себя — не только простых граждан другого государства, но даже и президентах или императорах. Нет в мире «виноватых», нет достойных расправы, смерти «преступных злодеев»! Есть или порочные, социально слабые, грешные, заблуждающиеся люди, или — те же греховодники, но окрепшие во грехе, получая поддержку и одобрение таких же заблуждающихся и одержимых фобиями, соблазнами и грехами, христиански безверных людей. Социальный заказ мотивирует их не на раскаяние, а на институционализацию своих, берущих основу в подсознательном, поведенческих программ и их рационализацию как социально приемлемых и даже обязательных, необходимых, истинных. Зло социальное, констатирует Толстой, не от людей таких или этаких, слабых и грешных а — «от такого устройства общества, при котором все люди так связаны между собой, что все находятся во власти нескольких людей, или, чаще, одного человека, который или которые так развращены этим своим противоестественным положением над судьбою и жизнью миллионов людей, что всегда находятся в болезненном состоянии, всегда в большей или меньшей степени одержимы манией *grandiosa* [величия], которая незаметна в них только вследствие их исключительного положения» (34, 202).

Российский политический режим сам провоцирует сынов противления на грех переворота и гражданской войны: глупо дразнит их самим своим скрепообразующим и традиционным имперским «стилем» взаимоотношения власти и граждан, неотделимым от недоверия и неуважения к ним. Но что делать людям, не поддающимся такой провокации и не желающих опустить дубину народного протестного движения на головы даже таких существ, как Иоанн Грозный, Бонапарт, Николай II Кровавый, не менее кровавый упырь "товарищ" Сталин или бывший "товарищ" Чекистская Моль Обыкновенная, он же Вовочка Путин? Как *им* исполнять волю Отца?

А опять же, в начале всего — покаяние и смирение: надо осознать свою долю вины в торжествующей неправде. Толстой ведь подска-

зывает в статье: «поддерживает теперешнее устройство обществ эгоизм людей, продающих свою свободу и честь за свои маленькие материальные выгоды» (34, 204). Надо «перестать поддерживать то устройство обществ», которое выводит наверх самых порочных людей. Не поддерживать ни словами, ни поступками — включая добровольное, например, по «контракту», участие в военной агрессии.

Достаточно вычистить из своих мозгов (и помочь в этом ближним!) все своекорыстные мотивации поддержания строя эксплуатации и насилия, прикрываемые ложью казённо-патриотической, научной и религиозной, — и обрушится весь этот мерзкий «конус», о котором пишет Толстой в статье, т. е. вся иерархия государственного строя, всё это разбойное гнездо, сцепление лжей и зла. Не следует бояться разрушения «родного» гнезда разбойников — если сам ты сын Отца, а не разбойник и не раб ихнего гнезда, тёти «родины», государства! Новый мир уже готов, *царство Бога внутри нас есть*, взбудить его в мир — дело освобождённых от правительств, от насилия работников Божьего дела в мире.

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12: 32).

А работников дела Божия в мире будет только прибывать: очнутся от развращения легитимностью, от околдования самолюбием, богатством и властью те люди, которые ведут сейчас себя к гибели от рук единоверцев в сатане. И не нужно будет убивать их!

«Народы, сами жертвуя своим человеческим достоинством для своих выгод, производят этих людей, которые не могут делать ничего другого, как то, что они делают, а потом сердятся на них за их глупые и злые поступки. Убивать этих людей, всё равно, что избаловать детей, а потом сечь их» (34, 205). Чингис-Хан, Гитлер, Сталин, Путин — только невежественные и испорченные дети пред Божьей правдой! Как же не пожалеть их, не полюбить даже?

Что же нужно делать повседневно — вчера, сегодня, завтра? Удерживать и развивать в себе открытое нам Богом, Иисусом и отче Львом жизнепонимание сынов Отца. Крушить орудием слова фундамент мирских неправд: символы, ценности и смыслы современного нам строя. Очунать губящих себя грехом гордости, собственности, власти людей: разъяснять им, что они душегубы своей души и человекоубийцы, и, «главное, не позволять им убивать людей, *отказываться убивать по их приказанию*» (Там же. Курсив наш. - Р.А.). Это приблизит необходимое уже в наши дни, святое дело разрушения сперва архаических, бредящих имперством, не способных уже к преобразению разбойничьих гнёзд, какова, по своему политическому режиму, теперешняя Россия, а в перспективе, век за веком,

по мере движения человечества к идеалу учения Христа — и ликвидации, как государств, демократических Англии, Америки, Китая, Израиля, будущей обновлённой России, теперешней юной, многообещающей веку XXI-му, но тоже не вечной Украины, и любых других.

Не позволять убивать людей и отказываться убивать по приказаниям! Толстой завершает статью так:

«Если люди ещё не поступают так, то происходит это только от того гипноза, в котором правительства из чувства самосохранения старательно держат их. А потому содействовать тому, чтобы люди перестали убивать и королей, и друг друга, можно не убийствами — убийства, напротив, усиливают гипноз, а пробуждением от него» (Там же).

Это качественно иная деятельность, нежели приговаривание политиков к узилищу или к смерти и попытки привести эти приговоры в исполнение. Несознательные исполняют суд Божий над *всеми ими*, казня политических «врагов», но и сами попутно погибая нравственно и физически от своего зла в погоне за химерами социального переустройства насильем. Сознательные дети Бога – отменяют «око за око, зуб за зуб», примат в повседневности атавистической животности человека, рационализируемой кощунством на Бога церковных лжеучений и враньём казённо-дипломированных интеллигентов. Те, кто пребудут до конца с Богом, Иисусом и Львом – приведут мир к победе над неправдою и смертью.

8. 3. ОН РАЗГНЕВАЛСЯ! («Памятки» для солдат и офицеров)

Век Деятнадцатый завершался для «христианского мира» не просто в военных тревогах, а, казалось бы, полным поражением всех антивоенных инициатив и совершеннейшим же опровержением оптимистических теоретиков и мечтателей. Начало века, помимо угроз новых войн, ознаменовалось пресловутой «предреволюционной ситуацией» в России. За рамки нашей темы выходит рассказ о попытках Льва Николаевича и, что многим менее известно, среднего сына его, Льва Львовича как в годы, предшествующие Первой российской революции, так и с началом её, достучаться, с программами реформирования церкви и государства (конечно, очень различными у отца и сына), до министров и самого царя — в надежде быть поня-

тыми и услышанными. Тщетно! Если над патриотизмом Льва Львовича хотя бы смеялись, памятуя антивоенные выступления отца, то публицистические призывы великого яснополянца к мудрому «неделанию», к ненасилию, были в России рубежа веков и первых лет века XX-го сродни заботливому инструктированию о безопасности от пожара людей в уже тлеющем здании. Это понял вскоре и сам Лев Николаевич, с горькой иронией назвавший свои выступления «комариным писком» (36, 712).

Запись секретаря и домашнего врача писателя, духовного, во Христе единомышленника Душана Петровича Маковицкого от 6 марта 1905 г. свидетельствует о том, что Толстой в период подготовки и начала революции был настолько непопулярен, что та самая, якобы давно надоевшая его, всем якобы известная на память «проповедь» просто ушла за «барьер» восприятия, забылась — как будто не прошло двадцати лет:

«Теперь уже к Л. Н. не приходит столько людей, как в 1880 – <18>90 годах, с одним и тем же вопросом: “Как жить, что делать?” Теперь спрашивают больше о том, как бороться с правительством, что делать, чтобы изменить существующий политический и общественный строй» (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. Том 90. М., 1979. Кн. 1. С. 202*).

Такая безвестность увеличивалась усилиями цензуры, пускавшей под нож или в имперские костры общественно-политические и духовные писания Толстого и, по большей части, презрительным игнорированием властной «верхушкой» эпистолярных к ним обращений писателя и публициста.

Частным следствием разочарований Л. Н. Толстого в перспективах влияния на общественное сознание в России мирной проповедью является появление в самом начале столетия весьма радикальных по замыслу, адресации и самым текстам сочинений яснополянца — таких как «Солдатская памятка» и «Офицерская памятка».

Ещё 23 мая 1894 г. Лев Николаевич писал Александру Никифоровичу Дунаеву: «Как много развелось на свете писак, и какой недостаток людей, которые писали бы то, что нужно. Вот именно, жатва велика, а делателей мало. Надо бы, чтобы ни одно такое явление, как освящение банка митрополитом, не говоря уже о казни, памятках и других подобных вопиющих противоречиях и жестокостях, не проходили бы без протеста. Надо бы выразить этот протест ясно, как умеешь, и пускать в обращение в заграничную печать, или хоть в рукописи, чтобы они видели, что есть люди, видящие и понимающие значение того, что делается, и чтобы слабые духом укреплялись» (67,

131). Здесь уже упоминаются широко известные в своё время воинственные «Памятки», распространявшиеся в России по солдатским казармам. На них Толстой и ответил своими — антивоенными!

5 января 1897 г. Толстой записал в Дневнике: «Вчера читал статью Архангельского “Кому служить” и очень радовался». И тут же: «Статью свою о военном сословии надо написать для народа: «Всё зло, от которого страдают люди и на которое жалуются, всё только от солдатства. Но не это важно. Важно то, что, служа вообще правительству, а особенно солдатом, губишь душу» (53, 129). Об Александре Ивановиче Архангельском, одном из первых толстовцев, и о резкой, но справедливой критике им в книге «Кому служить?» мирских «идолов», включая военщину и иную мундированную сволочь, мы уже упоминали выше. Такой вот круговорот Истины и Добра в Божьем мире: через годы Льву Николаевичу вернулось то вдохновение, которым в 1880-х он вдохновил на религиозный, христианский протест молодого ветеринарного фельдшера из подмосковных Бронниц, выходца из священников.

К исполнению этого замысла Толстой приступил в 1901 г. 8 апреля 1901 г. в Дневнике снова записано о погублении своих и чужих душ военными мундираносцами: «Вчера читал и смотрел картины мучений в французских дисциплинарных батальонах и разрыдался от жалости и к тем, которые страдают, и больше к тем, которые обманывают и развращают». И здесь же: «Собрал матерьял для Памятки» (54, 94). Речь о первой из двух — статье «Солдатская памятка».

Первые два автографа статьи, являющиеся почти самостоятельными вариантами, не датированы автором. Первая копия со второго варианта, исправленная Толстым, датирована 25 июля 1901 г. В течение июля и августа 1901 г. статья была переписана и исправлена автором двенадцать раз. Последняя копия датирована 6 августа. В Дневнике 18 августа 1901 г. Толстой записал: «За это время написал две памятки — не дурно» (54, 108; ср. 261).

Обе «Памятки» относятся к наиболее резонансным, скандальным антимилиитаристским сочинениям писателя и христианина. Понимая, какая будет реакция в «верхах», Толстой не хотел распространять свои обращения к солдатам и офицерам прежде, чем им будет написано и отправлено письмо Николаю II о положении России (см. письмо к В. Г. Черткову от 12 августа 1901 г.; 88, 243). Он опасался, что появление его статей повредит успеху письма. В то же время Владимир Григорьевич Чертков торопил с печатанием «Памяток», и в декабре 1901 г. Толстой отправил «Солдатскую памятку» Черткову для издания, перед тем ещё раз просмотрев её. Последняя копия по-

мечена переписчиком 7 декабря 1901 г. Напомним, что первая редакция обдумываемого тогда Толстым письма к царю датирована только 31 декабря 1901 г., а закончил писатель его составление 16 января 1902 г. Но обращения в 1901 и 1902 гг. к царю не дали никаких желаемых результатов, так что Толстому не пришлось сожалеть о бесцензурной, «дерзкой» заграничной публикации.

Над «Офицерской памяткой» Толстой работал, судя по датам на обложках рукописей, с 24 июля по 17 августа 1901 г. Она была впервые напечатана в 1902 г. в Англии в издании «Свободного слова» (№ 74). В России статья многократно перепечатывалась нелегально, а в 1906 г. появилась в издании «Обновления» в Петербурге. В 1917 г. статья была перепечатана в Москве издательством «Призыв».

Таким образом, до Первой российской революции 1905 – 1907 гг. издание в России обеих «Памяток» было невозможно. Нелегальные же заграничные издания «Памяток», по замыслу Толстого, должно было сопровождать такое поясняющее предисловие к ним, написанное уже отдельно, в 1902 году:

«Всякий мыслящий человек нашего времени не может не видеть, что из того тяжёлого и угрожающего положения, в котором мы находимся, есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный — кровавая революция, второй — признание правительствами их обязанности не идти против закона прогресса, не отстаивать старого, или, как у нас, возвращаться к древнему, — поняв направление пути, по которому движется и человечество, вести по нём свои народы.

Я попытался указать на этот путь в двух письмах, написанных мною к Николаю II.

Первое было написано в период самых напряжённых волнений 1900 – 1901 гг., второе я писал теперь, в начале января <1902 г.>. Но, к сожалению, мысли, выраженные мною в первом письме, были приняты как легкомысленная мечта не знающего жизни и глубоко-мысленной науки государственного управления фантазёра.

В последнем письме я говорил о том, что, кроме предоставления народу возможности свободного религиозного движения и такого же свободного движения мысли, по моему мнению, единственный путь к разрешению социального вопроса у нас в России состоит в уничтожении права собственности земли (что уничтожение это возможно переводом всех податей на землю, прекрасно изложено и разработано Генри Джорджем и его последователями). Очень может быть, что я ошибаюсь, — вопрос этот касается всех и потому должен быть разрешён всеми, — одно несомненно, что дело правительства не заботиться только о том, чтобы не изменилось его положение, а

смело взять центральную идею прогресса и всеми силами, которыми оно обладает, проводить её в жизнь. Только тогда правительства получат в наше время какой-нибудь смысл и перестанут быть предметами ненависти, отвращения и презрения всех тех людей, которые или не пользуются их привилегиями, или не понимают значения правительственной деятельности. А такие люди теперь почти все. Я сделал попытку во втором письме открыть глаза русскому государю на то, что он делает и что его ожидает. Но до сих пор у меня нет данных надеяться на то, что попытка эта не только достигла своей цели, но и была бы принята сколько-нибудь во внимание. И потому в виду неизбежности первого выхода, т. е. революции, предоставляю к распространению теперь эти две памятки, надеясь на то, что мысли, содержащиеся в них, уменьшат братоубийственную бойню, к которой ведут теперь правительства свои народы.

Гаспра. 11 февраля 1902 г.

Мы привлекаем внимание читателя к этому малоизвестному предисловию допреже текстов самих памяток именно по причине указания Толстыми здесь настоящего своего мотива, непосредственного импульса к опубликованию памяток: предвидения неизбежной, к глубокому сожалению Льва Николаевича, революции в России. Не было среди его мотивов ни «развала армии», ни «государственной измены» — как искренне полагали консерваторы-современники и как неискренне пиздят о Толстом современные «аналитики», шлёпающие тексты для православных, патриотических или монархических масмедиа, а зачастую — и для как бы научных сборников.

Впрочем, из того, что отсутствовали у автора «памяток» мотивы деструктивные, не следует, что не было мотивов *тайных*, в которых писатель не желал признаться никому, кроме себя.

Написание Толстым "Солдатской памятки" стало ответом на браво-патриотическую, кощунственную и циническую в своих апелляциях к Богу, якобы "благословляющему" солдатство, памятку генерала Драгомирова, получившую в 1890-е годы распространение в солдатских казармах.

Вот на личности, общественной и, немного, общественно-теоретической этого замечательного человека и отношениях (слава богу, только заочных) с ним Л. Н. Толстого мы и хотим снова задержать внимание читателей. «Снова» — потому, что для тех, кто возьмётся читать книгу нашу последовательно, имя это уже встретится на её страницах — в связи с историей подготовки Л. Н. Толстым в 1896 г.

статьи «Carthago delenda est», в которой, напомним, в черновых материалах, генералу досталась вполне несправедливая критика — более похожая на ругательства.

Михаил Иванович Драгомиров (1830 — 1905) – военный историк и теоретик, генерал от инфантерии (1878), начальник Академии Генштаба (1878 – 1889) и великий писатель Лев Толстой — из одного поколения. У них немало общего. Жизненные принципы и дела благородны, общественно значимы. В жизни обоих военная служба сыграла неизгладимую роль. Михаил Драгомиров стал в армейский строй в 1849 г. В 1856 г. блестяще окончил Николаевскую академию Генштаба. Его дважды направляли на европейские войны (в 1859 г. на австро-итало-французскую, в 1866 г. на австро-прусскую) в качестве официального агента России. Он преподавал в академии тактику, написал по этой дисциплине учебник, который около четверти века был основным для русской армии. Был начальником штаба Киевского военного округа, командовал дивизией в войне России с Турцией за освобождение Болгарии в 1877 – 1878 гг., получил тяжёлое ранение.

В Российской Империи последних десятилетий её существования Драгомиров был, пожалуй, самым популярным из специально «военных» писателей.

В работе «"Война и мир" гр. Толстого с военной точки зрения» (Оружейный сборник. 1868, № 4; 1869, № 1; 1870, № 1; отд. изд.: «Разбор романа "Война и мир" Л.Н. Толстого с военной точки зрения». Киев, 1895) М. И. Драгомиров обнаружил много очевидных достоинств в изображении батальных сцен и в целом военной жизни, но подверг критике историческую концепцию Толстого, его «очевидное попользование» «умалить колоссальную фигуру» Наполеона, а также дилетантские суждения писателя о том, что «Бородинское сражение никому не было нужно» и что от Наполеона и Кутузова вообще «ничего не зависело».

Наиболее значительны для нашей темы следующие суждения М. И. Драгомирова, наверняка чувствительно задевшие Толстого:

«Система его воззрений, собственно исторических, приводится к следующему:

Война — событие, противное человеческому разуму и *всей* человеческой природе; причины, которые выставляются историками войне 12 года, несостоятельны: "для нас непонятно, чтобы миллионы людей – христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр твёрд, политика Англии хитра и герц. Ольденбургский обижен. *Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельство с фактом убийства и насилия*".

Ответим на это, во-первых, что война есть дело, противное *не всей человеческой природе, а только одной стороне этой природы, — именно человеческому инстинкту самосохранения*, что далеко не одно и то же. В человеке этот инстинкт играет весьма видную, но далеко не исключительную роль: так, в порядочном человеке и в порядочном народе он подчиняется чувству личного достоинства, которое находит опору в свойствах, столь же естественных, как самосохранение, и вместе с тем прямо ему противоположных, — именно: в чувстве самоотвержения, отваге, упорстве и т. п. Взяв это в расчёт, односторонность положения гр. Толстого открывается сама собою; он мог сказать, что война противна человеческому инстинкту самосохранения — и только; но вовсе не противна всей человеческой природе *и в особенности разуму*.

Иногда она противна разуму, иногда нет: зависит от того, *за что* война ведётся. Как сила вершающая, разум не подчиняется никаким узеньким нормочкам азбучной морали.

В одном и том же, по-видимому, деле (но только по видимому) он приходит иногда к положительному решению, иногда к отрицательному: вот природа человеческого разума, и в этом его превосходство над разумом звериным, который в данных особях всегда приводит к одному и тому же выводу: заяц уступает всегда; тигр или лев не уступают никогда; баран не может хитрить; лисица не может не хитрить и т. д. Человек *может* всё это. Имея это в виду, странно сказать, что война — дело, противное человеческой природе; если бы это было так, то человек никогда бы и не воевал; между тем вся история показывает обратное: не только воюет, но даже иногда из-за нелепых побуждений воюет.

[...] Война — явление, от человеческой воли независящее: недаром Пирогов называл её "травматическою эпидемиею" (*Драгомиров М.И. Разбор романа «Война и мир». Киев, 1895. С. 58 – 60*).

Какова остроумная софистика?! И как современно для нашего безверного века! Ни тебе Бога, ни Христа. Человек — «царь природы», превосходящий остальных животных способностью убивать оружием, по системе, и при этом *не всегда* нелепо.

Никаких признаков веры в христианство, которую свою веру Драгомиров столь любил подчеркнуть, адресуясь простецам (не только солдатам). Зато суждение содержит апелляцию даже к медицине, к «науке» — чего Толстой особенно не любил...

И ещё, не менее удивительный образчик критики от Михаила Ивановича Драгомирова:

«...Автор "Войны и мира", разбирая причины войны 12 года, выставляемые историками, находит их далеко недостаточными и *потому ложными*. Логический скачок: ибо из того, что *не всё* сказано, не следует вовсе, будто *то, что сказано*, ложно. Рядом с признанными причинами и поводами — то и другое автор, к сожалению, смешивает — автор выставляет свои, совершенно не имеющие никакого основания, хотя кажущиеся ему столь же основательными, как и причины историков.

"Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо *ежели бы* он не захотел идти на вторичную службу и *не захотел бы* другой и третий и тысячный капрал и солдат, на столько менее людей *было бы* в войске Наполеона и войны *не могло бы* быть (!)

Эта причина, для постановки которой автору понадобился такой огромный запас условной частицы "бы", имеет один коренной недостаток: выставляемые историками причины и поводы были действительно, а эта только могла бы быть, по мнению автора, но в действительности не была. Факта, если он существует или существовал, не собьёшь никакими доводами или предположениями. Как бы красноречиво автор ни доказывал, что могло бы быть, но если того действительно никогда не было, чего ему хочется, то следовательно и не могло быть. Пусть он укажет во всей истории хоть один пример того, чтобы война не состоялась из-за нежелания солдат идти на службу, и тогда мы помиримся с его гипотезой. Но он не найдёт такого примера и не может найти, ибо подобный случай противоречит существенным условиям органической жизни масс» (Там же. С. 62 – 63).

Можно, конечно, и поворчать: что это сыскался за скалозуб в литературоведении?.. Но, во-первых, вовсе не скалозуб Михаил Иванович Драгомиров, а, помимо своих «корпоративных» убеждений — человек, через более чем столетие пахнувший нам, в наши разум в сердце, огромными, безусловными достоинствами нравственности и интеллекта. Во-вторых же, безотносительно к ошибкам суждений генерала, которые здесь не к месту разбирать: удар по самолюбию Толстого был нанесён. И не только по «свежему следу», в год опубликования романа, но и переизданием очерка М. И. Драгомирова в 1895 году!

Удар по историософии, служившей в ту пору, в 1860-е гг., важной мировоззренческой опорой для самого автора «Войны и мира», Тол-

стой начала 1900-х, конечно, мог “простить” проницательному Михайло Ивановичу. Но вот к Наполеону с годами Толстой не изменил своего субъективно-неприятного отношения — как, например, и к Шекспиру, к Гёте и ряду других конгениальных ему, Толстому, людей.

Драгомиров признаёт Наполеона таким же безупречным военным гением, каким бездарью, по отношению именно к военному руководству, был император Александр I. И, в связи с этим, очень меткий, безусловно чувствительный удар умница Михаил Иванович наносит по возлюбленному Толстым персонажу, князю Андрею Болконскому, с которым вместе, как мы помним, Толстой попытался художественными средствами выйти за границы познанного человеком, познать смысл жизни в Боге, тайны смерти и духовного преобразования. Для Драгомирова, человека прагматического, сущностно принадлежащего военной породе — именно элите её, в своей эпохе — все «мистические» обстоятельства прозрений, просветлений, болезни и кончины князя ничтожны перед тем, каков он, *как личность и как офицер*. И тут Драгомиров справедливо беспощаден: как будто догадываясь, что, критикуя личность этого персонажа, он задевает и памятные автору личные слабости в пору его кавказского добровольчества и волонтерства:

«Просим припомнить появление кн. Андрея на сцену: в свете он щурится, едва отвечает, всех и вся третирует с высоты своего величия; пред вами человек, который изо всех сил бьётся, чтобы не быть, а казаться, который играет роль, который не есть сила, а только претензия на силу. Заметив пустоту сферы, к которой принадлежал, кн. Андрей уже и это вменил себе в особенную заслугу: иначе он бы не рисовался так своим презрением, не старался бы с такой аффектацией его проявлять.

Открывается война 1805 года: кн. Андрей, не стесняясь, пользуется привилегиями той среды, которую по-видимому так презирает, и поступает адъютантом к Кутузову, с мечтою обрести на поле сражения свой "Тулон", т. е. попасть в Наполеоны» (*Драгомиров М.И. Разбор романа «Война и мир». Указ. изд. С. 38 – 39*). В последнем генерал, конечно, ошибается: делая для себя Наполеона земным кумиром, князь Андрей Болконский всё же мечтал о своём пути к славе. Но что князю, да и автору романа, возражать на *такое*:

«...Он, не выдавший ни разу войны лицом к лицу, является на неё с готовыми и законченными военными взглядами. ...Как неисправимый доктринёр, он не может допустить мысли, что *он* ошибается; нет, скорее лжёт жизнь» (*Там же. С. 39*).

И вот уже — прямой, жестокий, великолепный удар по автору, слишком полюбившему, начиная с повести «Детство», наделять персонажей чертами своих личности и биографии, чтобы в конце 1860-х это не могло быть известно начитанному интеллектуалу даже в среде военных:

«Ничего нет удивительного после этого, что он, убедившись из горького опыта, как трудно с одного скачка попасть в Наполеоны, начинает проповедовать, что и Наполеон — вздор, и дело, которым этот последний так гениально орудовал, — тоже вздор.

Иначе и быть не могло: кн. Андрей до такой степени веровал в свои таланты и непогрешимость, что, изведав несостоятельность своей теории, неминуемо должен был прийти к выводу, что и не может быть никакой теории в военном деле. [...] Сам он говорит, хоть и по другому поводу, что он прощать не способен; как же ему было простить теории военного искусства? Ведь он так жестоко на ней осёкся...» (Там же. С. 40).

И ещё, и ещё — безупречные по мощи и безжалостности удары:

«Мы не останавливаемся на разборе рассуждений кн. Андрея о необходимости не брать в плен, а убивать, на том основании, что от этого будто бы войны будут возникать только из-за основательных причин; что "нравы военного сословия — отсутствие свободы, т. е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство": не останавливаемся потому, что это собственно и не рассуждения, а просто набор слов, чтоб душу отвести. Для кн. Андрея всё дело было, в личных ощущениях; он сам проговорился: "кто дошёл до этого, так как я, теми же страданиями"... В этом-то всё и дело, чтобы себя потешить, свою желчь поволновать: он лечит своё бобо» (Там же. С. 56).

А фигура Наполеона, намекает Драгомиров — «бобо» не одного князя Андрея, но и автора романа:

«В наше время никто и не думал считать героями, в древнем смысле слова, ни Наполеона, ни тем более Кутузова. Но ведь от того, чтобы не считать героями и полубогами людей, действительно выходящих из ряда, и до того, чтобы силиться доказать в их решениях произвольность и бессмысленность, ещё очень далеко. История, достойная нашего человеческого времени, заключается вовсе не в том, чтобы воображать, будто Наполеон значил в своей армии не более какого-нибудь рядового или фуражера; но в том, чтобы показать в истинном свете отношение между силою масс и силою личностей, руководящих этими массами. [...] Известные стремления, прежде чем распространиться в массе, должны зародиться в одной голове.

Автор не может не признавать того, что будь на месте Наполеона Дезе, Гош, Карно напр<имер>, французская жизнь между 793 и 815 годами разыгралась бы не из пункта в пункт так, как она разыгралась под Наполеоном.

[...] Отчего в те страшные минуты, когда он уже уложил несколько сот тысяч на сумасбродное предприятие, отчего в остатках этих сотен тысяч, остатках голодных, оборванных, полузамёрзших, для этого, такого же как они, человека не находилось другого слова, кроме восторженного, фанатического *vive l'Empereur?..*» (Там же. С. 76, 79).

Вообще кавалерийские наскоки славного генерала своей меткостью и болезненностью напоминают ряд мест в дневниках жены писателя, Софьи Андреевны Толстой: тех, которые она писала в расстроенных, *обострённых* чувствах, после семейных ссор. У генерала с отставным поручиком артиллерии, кажется, тоже что-то «семейное». И, как и в случае с суждениями Софьи Андреевны, Михаил Иванович Драгомиров ставит иногда под вопрос не одни личностные достоинства, но и достоинства именно писательского, художнического мастерства автора «Войны и мира»:

«...Большинство живописцев — плохие философы, и наоборот: почти все философы — плохие живописцы, разумея, конечно, живопись словом. [...] Лучшее подтверждение сказанному — Гоголь: всякий знает пропасть, отделяющую первую часть его "Мёртвых Душ" от "переписки с друзьями". Сильный в одном известном направлении, он потерпел полное фиаско, как только вздумал сойти с этого направления». К редким «исключениям» М. И. Драгомиров относит Гёте — опять без промаха, снайперски попадая в слабое и наболелое место у Толстого! «То же случилось и с гр. Толстым, хотя не в такой степени, и не дай Бог, конечно, чтобы оно когда-либо дошло до такой степени» — желает М. И. Драгомиров писателю из далёкого 1869-го. Но в Примечании к переизданию 1895 г. прибавляет: «К сожалению, как всем известно, *дошло*. Автор, усиленно настаивая в последних своих произведениях на том, что нормальный человек мыслим только в полном единении с природой и себе подобными, рядом с этим отрицает всё то, что выработано человечеством для этого единения, так как проповедует чистейшую анархию» (Там же. С. 58).

И проповедует Толстой антивоенную анархию — оставаясь, как и в годы «Войны и мира», профаном в бесценной для генерала Военной Теории, смысле его жизни:

«...Мы сами наталкивались на господ, которые из его книги ничего другого не вычитали, кроме того, что военного искусства нет, что

подвезти вовремя провиант и велеть идти тому направо, тому налево — дело не хитрое, и что быть главнокомандующим можно ничего не зная и ничему не учившись» (Там же. С. 90).

Наконец, Михаил Иванович Драгомиров в недоумении перед названием Толстым в романе, в рассуждении о сражении при Бородино, знамён — «кусками материи на палках». Действительно, такое ostrанение от общепринятой сакральной символики принадлежит, скорее, «анархисту» 1890-х годов, нежели православному по вероисповеданию писателю в 1860-е. И Михаил Иванович критикует такое отношение к знамёнам — апеллируя как к свойствам человеческой психики создавать символы, так и к официальной религии:

«Гр. Толстому, конечно, известна та особенность человеческой природы, в силу которой всякая материальная вещь приобретает значение для человека не столько сама по себе, сколько по тем понятиям, которые он соединяет с этой вещью. С этой точки самый ничтожный предмет может стать для человека святыней, сохранение которой для него сливается с сохранением собственной чести и становится неизмеримо выше сохранения жизни...

[...] Что верно относительно единичных личностей. то ещё более верно относительно тех больших сборных личностей, которые называются батальонами, полками. Не представляя по внешности одного существа, они нуждаются в таких символах, в таких вещественных знаках, в которых индивидуальные личности и не нуждаются: в вещественных знаках, служащих осязательным свидетельством внутреннего духовного единения людей, составляющих известную часть. Знамя именно и есть этот символ: в порядочной части всё может умереть для войсковой жизни; одно остаётся неизменным и вечным, на сколько вечны создания человека: *дух и знамя* — его вещественный представитель. Часть, в бою сохранившая знамя, сохранила свою честь неприкосновенною, несмотря на самые тяжёлые, иногда гибельные положения; часть, потерявшая знамя, — то же, что опозоренный и не отплативший за свой позор человек. <Здесь читателю уместно будет снова вспомнить реальный сюжет с убийством офицером гражданского из «Carthago delenda est» 1896 г. и во многом схожий с ним — в романе «Воскресение». — Р. А.> Взяв это в соображение, всякий согласится, что кусок материи, который соединяет около себя тысячи человек, сохранение которого стоило жизни сотням, а может и тысячам людей, входивших в состав полка в продолжение его векового существования, — что такой кусок материи есть *святыня*, — не условная военная святыня только, но святыня в прямом и непосредственном значении этого слова, и что изо всех трофеев это именно тот, который более всею свидетельствует о

нравственной победе над врагом. Гр. Толстому не мешало бы помнить, что именно в сражении под Бородиным французам не удалось взять ни одного из этих кусков материи на палках; не мешало бы не забывать и того, что на конце этих палок утверждён символ ещё более высокого единения, — символ, который, как ему известно, имеет далеко не одно формальное значение для русского человека; не мешало бы не забывать того, наконец, что, до Петровской реформы, на этих кусках материи рисовались образа, что давало знамёнам то действительное значение военной и религиозной святыни, которое они имели у народа, лучше всех понимавшего эти вещи, — у народа римского» (Там же. С. 92 – 94).

Вот и договорился генерал до реверанса империи... Отношение же к таким сакрализациям Л. Н. Толстого, выраженное позднее, в Дневнике на 7 марта 1904 г. — красноречиво до последней степени:

«Чем глупее, безнравственнее то, что делают люди, тем торжественнее. Встретил на прогулке отставного солдата, разговорились о войне. Он согласился с тем, что убивать запрещено Богом. Но как же быть? — сказал он, придумывая самый крайний случай нападения, оскорбления, к может нанести враг. — Ну, а если он или осквернит или захочет отнять святыню?

— Какую?

— Знамя.

Я видел, как освящаются знамёна. А папа, а митрополиты, а царь. А суд. А обедня. Чем нелепее, тем торжественнее» (55, 18).

Этот солдатик «Памятку» Драгомирова, безусловно, читал!

Да уж... Было, на что обиженну быть Льву Николаевичу в писаниях Драгомирова... и, кажется, по состоянию уже на 1890-е гг. обида могла быть *взаимной*.

Судить же о том, насколько силён был в памяти, в душе Толстого осадок неприязни к *отчасти* справедливо (и тем болезненней!) “зацепившему” его, попавшему в некоторое слабое и больное место, умнице-генералу мы можем не только по ругани Толстого в «Carthago delenda est» 1896 г. (т. е. как раз после переиздания очерка генерала, о котором Толстой, вероятно, надеялся, что тот уже забыт), но и, в особенности, по оригинальной реакции *больного, душевно и физически ослабленного* писателя и публициста в 1901 – 1902 гг. на свидетельства унижительного игнорирования Империей попыток его напомнить о Христе — вменить самому царю основы христианской нравственности в приложении к политике. Николай II предпочёл остаться безответным — быть может, и невменяемым...

Теперь, уже абстрагируясь от выявленных нами неявных причин «вдохновения» Л. Н. Толстого к написанию памяток, скажем несколько слов — независимых слов — о них самих.



Брошюра. "Солдатская памятка", 2-е изд. Трудовой Общины-Коммуны "Трезвая жизнь", выпуск №6, типография "Совместный труд", 1918 г.

Заметим от себя, что сличение толстовских «Памяток» с «Памятками» Драгомирова свидетельствует не в его пользу, именно его *христианскости*. К солдатам он обращается, словно тренер детской бейсбольной команды, мотивирующий тинэйджеров к командному единству и победе. К сожалению, «победы» от такой пропаганды — убийство. Например:

«Зри в части — семью; в начальнике — отца; в товарище — родного брата; в подначальном — меньшого родню; тогда и весело, и дружно, и всё ни почом» (*Драгомиров М.И. Избранные труды. М., 1956. С. 43*).

Забудь про настоящую семью... Вдруг завтра революция, и командиры поведут тебя «подавлять мятежников» в родной твоей деревне? Их приказы важнее!

Абстрагируясь от ужасной задачи этого совета именно в «Памятке» М. И. Драгомирова, скажем тут же, что такой совет пригоден и для мирной жизни, по Христу, в общинах — безо всяких государств, их «лидеров» и военных вожаков. Это вполне коррелирует со словами и

примером земной жизни Иисуса Христа, выразившихся в следующем месте Евангелия от Матфея:

«Когда же он ещё говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто мать моя? и кто братья мои? И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: вот мать моя и братья мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат, и сестра, и мать» (*Мф. 12: 46 – 50*).

С первой Главы данной книги мы показали, что сорванные из мирной жизни, из деревень, простые солдаты у Толстого как раз и пытаются в ненормальных условиях воспроизводить эти здоровые, природосообразные человеку, христианской душе человеческой, отношения общинной, трудовой и религиозной жизни.

Но тётке «родине», казённой гадине, потребно от них совсем другое...

А вот пострашнее от падлы тётеньки «советы»:

«Всегда бей, никогда не отбивайся. Сломился штык, бей прикладом; приклад отказал — бей кулаками; попортили кулаки — вцепись зубами. Только тот бьёт, кто отчаянно и до смерти бьётся» (*Драгомиров М.И. Указ. изд. С. 43*).

Тут же хочется спросить генерала «христианской» Империи: а как поступить в бою твоему воспитаннику с «попорченными» кулаками, если зубы ему выбили «свои» же, ещё до войны — в казарме и на учениях? Разве лизнуть «врага» в носик, чтоб помер от отвращения?

«Цель каждую пулю; без толку стрелять — только чорта тешить. Виноватого найдёт меткая, а не шальная пуля» (*Там же. С. 44*).

«Виноватый» здесь — такой же лохопырка из «вражеского» войска, которого *его* тётя «родина», *его* государство подкупило, обмануло, а (скорее и чаще всего) принудило к участию в войне. Вот и вся «вина» его смертная...

Впрочем, где принуждение прямое — там и навязчивый обман. Показательно в связи с этим, что генерал Михайло Иваныч Драгомиров, которого наш читатель помнит весьма стойким научным материалистом в споре с И. С. Блюхом, в тексте пропагандистском, для простецов солдат, вспоминает о чёрте. Черти, духи, бесы — не что иное, как «материализация в лицах» (мордах?) суеверными людьми атавистических влечений собственной, как полуфабрикатов эволюции, природы и связанных с этим состоянием психики и с невежеством страхов по отношению к окружающему миру. Война — результат сочетанного влияния этих влечений, страхов вкупе с мате-

риальным (на уровне биохимии и электрики живого организма) влиянием на нервную систему и мозг человека лживого слова военно-патриотической пропаганды.

В связи с этим хочется, опять же, спросить — но не Михаила Ивановича, не доброго и умного, на свой салтык, человека XIX столетия, а современных, просвещённых «высшим образованием», сторонников войны: кто, к примеру, из расстрелянных в упор весной 2022 года оккупантами из России жителей украинских городов был хоть чем-то *виноват* перед убийцами?

Итак, в сущностном развитии войны, то есть в эволюции её в её *жестокости*, которой чужды правила, в незыблемость которых ещё мог верить добрый, нравственный, православный человек, такой, как М. И. Драгомиров — не «работает» и такое правило старого генерала.

Приведём ещё несколько цитат из «Солдатской памятки» — уже без комментариев.

«Наскочишь невзначай на неприятеля, или он на тебя — бей не задумываясь, не дай опомниться. Молодец тот, кто первый крикнет ура. Трое наскочат: первого — заколи; второго — застрели; третьему — штыком карачун. Храброго бог бережёт...» (*Там же*).

«Солдат не разбойник. [...] Солдату надлежит быть здорову, храбру, твёрду, решиму, мягку, справедливу, благочестиву! Молись Богу! От Него победа! Чудо-богатыри! Бог нас водит! Он ваш генерал!» (*Там же*. С. 45).

«...Только своё трудное ты видишь, а неприятельского не видишь: но оно всегда есть. Потому не раскисай; а чем хуже тебе, тем упорнее и отчаяннее бейся; побьёшь, сразу станет лучше, а неприятелю хуже; только претерпевый до конца спасается» (*Там же*. С. 44).

Вообще М. И. Драгомиров склонен к тому же, за что и «Памятки» Л. Н. Толстого, и другие его публицистические и духовные, истинно христианские писания обвиняли в «кощунстве»: он, как в данном отрывке, не только апеллирует к Богу, но и, либо цитирует евангелия, слова Христа и апостолов, либо, как минимум, *подражает языку и стилю* канонических евангелий — в особенности во втором своём послании, в «Памятке» к офицерам, с извлечениями из которой можно ознакомиться здесь:

http://artofwar.ru/k/kazakow_a_m/text_0430.shtml

Высоконравственных правил, пересыпанных апелляциями к знанию научному, в этом опусе столько, что хватило бы, вероятно, на целый учебник нравственной жизни — как раз где-нибудь в школе, устроенной для своих детишек свободными общинниками-христианами, людьми XXV века. Но у Драгомирова всё нацелено на нужды Империи, государства: допреже в солдатне, а, применительно к остатней жизни выживших, ветеранов и инвалидов — в распространителях военно-патриотического обмана промежду новых поколений, детей и малодумающих взрослых.

Итак, «Памятки» М. И. Драгомирова — это своеобразный «катехизис» для солдата и офицера, одновременно и учащий, и вдохновляющий. Толстой, соответственно, должен был идти менее выигрышным путём — своего рода «демотивации» мотивированных драгомировскими памятками. И он делает это — с тех же, как и прежде, христианских позиций, несмотря на огромное различие в содержании и стиле своих «памяток» — обусловленных, в числе прочего, и разным общественным положением солдат и офицеров: если нижние чины служат по принуждению, то офицеры-то выбрали свою службу добровольно!

Ссылаясь на Евангелия, Л. Н. Толстой пишет, что не только не должно убивать своих братьев, но не должно делать того, что ведёт к убийству: не должно гневаться на брата и ненавидеть врагов. При этом он особо оговаривает, что данная заповедь должна выполняться неукоснительно, любые действия начальства, направленные на то, чтобы заставить солдата убивать, не могут служить оправданием убийству. Таким образом, приказ убивать, отданный начальством, не является основанием для отступления от заповеди «не убий» и учения Христа. Убийство врагов даже на войне, вопреки разъяснениям начальства, противоречит истинному христианскому учению. Принятие присяги солдатом также не является оправданием его участия в убийствах. Присяга — это клятва, то есть грех, прямое и преднамеренное, даже и системно организованное нарушение одной из «малых заповедей» Нагорной проповеди Христа: обещание людям исполнять их волю. Сознательный сын Отца обязан удержаться в воле Отца, давшего ему жизнь и запретившего убивать. В этой связи Л. Н. Толстой указывает: во-первых, нельзя присягать в том, что будешь делать всё, что прикажут люди, во-вторых, принятие присяги есть грех, поскольку существует христианская заповедь: «не клянись вовсе. Но да будет слово ваше: “да, да”; “нет, нет”; а что сверх того, то от лукавого» (*Мф.*, 5: 34, 37).

Л. Н. Толстой особо подчёркивал, что человек всегда ответственен за то, что он делает. Следовательно, несмотря на все обыкновенные отмазки (типа «я исполнял приказы», «меня обманули / заставили» и под.), ответственность перед Богом, совестью и в глазах людей христианского жизнепонимания за участие своё в организованном убийстве несёт сам солдат, а не начальство, отдававшее приказы:

«Адам, как рассказывается в Библии, согрешил против Бога и сказал, что ему велела съесть яблоко жена, а жена сказала, что её соблазнил дьявол. Бог не оправдал ни Адама, ни Еву и сказал им, что за то, что Адам послушал голоса своей жены, он будет наказан, и также будет наказана жена за то, что послушалась змия. И не оправдал, а наказал их. Разве не то же самое скажет Бог и тебе, когда ты убьёшь человека и скажешь, что тебе велел это сделать ротный?»

[...] Убивая по приказанию начальства, ты точно такой же убийца, как и тот разбойник, который убивает купца, чтоб ограбить его. Тот польстился на деньги, а ты на то, чтобы не быть наказанным.

[...] Христос научил людей тому, что они все сыны Божии, и потому христианин не может отдать свою совесть во власть другого человека, каким бы он ни назывался титулом: королём, царём, императором. То же, что взявшие над тобою власть люди требуют от тебя убийства братьев, показывает только то, что люди эти обманщики и что поэтому не надо повиноваться им» (34, 282 – 283).

В подкрепление этих слов Лев Николаевич приводит в «Солдатской памятке» интересное сравнение. Грех убийства сравнивается с грехом прелюбодеяния и подчёркивается, что грех прелюбодеяния во много раз легче греха убийства. Сравнение сопровождается риторическим вопросом — возможно ли, чтобы один человек сказал другому: прелюбодействуй, я беру на себя твой грех, потому что я твой начальник? Блудить сладко и приятно, убивать людей, попутно принимая и от них пиздюлей — никак нет, но это не повод «отечески» передоверять неприятное для тебя самого юному солдатику!

Здесь же Л. Н. Толстой сравнивает положение солдата с положением проститутки:

«Постыдно положение блудницы, которая всегда готова отдать на осквернение своё тело тому, на кого укажет ей хозяин; но еще постыднее положение солдата, всегда готового на величайшее преступление — на убийство всякого человека, на которого только укажет начальник» (Там же. С. 283).

В завершение «Солдатской памятки» Лев-учитель, Толстой-христианин напрямую советует морально подготовившему себя к духовному подвигу солдату «поступить по-Божьи»: «свергнуть с себя постыдное

и безбожное звание солдата и быть готовым перенести все страдания, которые они будут налагать на тебя за это» (*Там же*). Остальным же, не могущим ещё осознать значения такого шага и боящимся его, как «мученичества», страдания — по крайней мере, помнить, «что настоящая памятка солдата христианина не та, в которой сказано, что Бог — солдатский генерал и другие кощунства и что солдат должен, во всём повинуюсь начальникам, быть готовым убивать чужих или своих, даже безоружных, братьев, — а в том, чтобы помнить слова писания о том, что *надо повиноваться Богу более, нежели людям*, и не бояться тех, кто может убить тело, но души не может убить» (*Там же*).

Особую ответственность за участие в системном, организованном насилии Лев Николаевич Толстой возложил на офицеров. В «Офицерской памятке» говорится, что напоминание об обязанностях перед Богом, связанных с запретом на убийства и подготовку к ним, ещё более необходимо офицерству (военному начальству от прапорщика до генерала), чем солдатам (34, 285). Обусловливается это рядом обстоятельств. Во-первых, таки офицеры выбрали военную службу добровольно, «не по принуждению, а по собственной охоте», в отличие от нижних чинов, призванных на неё принудительно (*Там же*).

Во-вторых же, со времени встречи на узловой станции с военным «усмирительным» отрядом Толстой не упускал из памяти и внимания некоторые особенности несения воинской службы, имевшие место, впрочем, не в одной России конца XIX — начала XX вв. Речь идёт прежде всего об использовании правительствами армии для подавления и усмирения своего протестующего народа. В николаевской России «в столицах и фабричных местах постоянно расположены войска с целью быть готовыми разогнать собирающихся рабочих, и редкий месяц проходит без того, чтобы войска не выводили из казарм с боевыми патронами и не ставили в скрытом месте с тем, чтобы они всякую минуту были готовы стрелять по народу» (*Там же*. С. 285 – 286).

По не раз, со времён трактата «Царство Божие внутри вас», высказанному Львом Николаевичем мнению (очень спорному с точки зрения исторических фактов), 100 или даже 50 лет тому назад военным и в голову не могло прийти, что войска могут использоваться для этих целей. «Тогда», полагает Толстой, врагами были только варвары, неверные или «злодеи», то есть людей из народа, готовые разорять и убивать мирных жителей, которых поэтому предполагалось для об-

щего блага уничтожить. С наивностью усадебного теоретика Лев Николаевич выводит, что на рубеже столетий войны с внешними врагами теряют свою актуальность. Поскольку международные отношения — торговые, общественные, научные, а главное — религиозные (то самое «охристианение» сознания локальных общностей, общественного мнения) — так сблизили народы между собой, что всякая война между европейскими народами представляется чем-то вроде семейного раздора, нарушающего самые священные связи людей. Главное и постоянное употребление войска в наше время состоит не в защите от внешних врагов и от «злодеев» — врагов внутренних, а в убийстве своих безоружных братьев — смиренных трудолюбивых людей, которые хотят только того, чтобы у них не отнимали того, что они зарабатывают. Поэтому главное предназначение военной службы в наше время «в том, чтобы угрозой убийства и убийством удерживать порабощённых сограждан в тех несправедливых условиях, в которых они находятся» (*Там же. С. 286*). А это «уже не только неблагородное, но прямо *подлое* дело». Поэтому «офицерам, служащим теперь, необходимо подумать о том, кому они служат, и хорошо или дурно то, что они делают» (*Там же. Курсив наш. — Р. А.*).

В-третьих, Л. Н. Толстой констатирует в «Офицерской памятке», что офицеры совершают ещё большее преступление, чем солдаты: «Нельзя вытравить из человека всё человеческое и довести его до состояния машины, не мучая его и мучая не просто, а самым утончённым, жестоким образом, вместе мучая и обманывая. И это всё делаете вы — офицеры. [...] Самому быть убийцей ужасно, но хитрыми и жестокими приёмами довести до этого доверившихся вам своих братьев — есть самое страшное преступление» (*Там же. С. 288*). Офицеры от высших до низших чинов его и совершают — в этом состоит их служба. С помощью приёмов одурения людей офицеры доводят солдата до положения ниже животного, такого, в котором он готов убивать всех, кого велют, даже своих безоружных братьев. Причём совершение этого преступления отражается и на самих офицерах. Подтверждение этого Л. Н. Толстой видит в том, что среди офицеров больше, чем во всякой другой среде, процветает всё то, что может заглушить совесть — курение, карты, пьянство, разврат, чаще всего бывают самоубийства. В военной повседневности солдаты совершают только грех повиновения человеку вместо Бога, грех же насилия — только во время ведения боевых действий; офицеры же совершают этот грех ещё и в мирное время, когда обучают солдат. Доказывая особую ответственность офицеров, Л. Н.

Толстой ссылается на христианскую заповедь: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф., 18: 7) *(Там же. С. 288 – 289)*.

Офицеры служат добровольно, тщеславно и корыстно, при этом гнусенько оправдываясь тем, что если бы они не делали этого, то нарушился бы существующий порядок, произошли бы смуты и всякого рода бедствия. Л. Н. Толстой не принимает этих оправданий и отмечает, что, во-первых, офицеры служат не для поддержания существующего порядка, а ради собственной выгоды, которую даёт военная служба. Во-вторых, даже если бы отказ офицеров от службы вёл бы к нарушению этого порядка, то это не означало бы, что надо продолжать делать «дурное дело» (службу офицеров). Это доказывало бы только то, что такой порядок должен быть уничтожен, поскольку общий порядок должен быть таким, чтобы для его поддержания не нужны были убийства *(Там же. С. 289)*.

«Ну, нет! Я ж не блядь, я продавщица!» — может тут возразить Толстому какой-нибудь разобиженный офицер. И Лев Николаевич тут же, совершенно не случайно и очень метко, прибегает снова к сравнению военного, но теперь офицера, и, торгующей собой, обладательницы известного билета:

«Если бы существовали самые полезные учреждения: больницы, школы, богадельни, содержимые на доходы с домов терпимости, то вся польза, приносимая этими благотворительными учреждениями, никак не могла бы удержать в её положении женщину, желающую освободиться от своего постыдного ремесла.

“Я не виновата, — скажет женщина, — что вы устроили свои благотворительные учреждения на разврате. Я не хочу более быть развратной, а до ваших учреждений мне дела нет”. То же должен сказать и всякий военный, если ему будут говорить о необходимости поддерживать существующий порядок, основанный на его готовности к убийству. “Устройте общий порядок так, чтобы для него не нужно было убийства, — должен сказать военный, — и я не буду нарушать его. Я только не хочу и не могу быть убийцей”» *(Там же)*.

Безусловно, жестоко! Но сам офицер, поручик артиллерии в отставке, Толстой безжалостен здесь же и к самому себе, он берёт за горло себя, по поводу своих же, хорошо ему известных, слабостей: внушённых ему с детства и не преодоленных до конца сословных преданий и стереотипов поведения:

«Говорят ещё многие из вас: “Я был воспитан так, я связан своим положением и не могу выйти из него”. Но и это неправда.

Вы всегда можете выйти из вашего положения. Если же вы не выходите из него, то только потому, что предпочитаете жить и действовать против своей совести, чем лишиться некоторых мирских выгод, которые вам даёт ваша бесчестная служба» (Там же).

«Бесчестная» служба, «подлость»... Такие дефиниции для офицеров царской армии не то, что звучали, а *ощущались* — и не пощёчинами, а мужицкими оплеухами.

Кто он, столь беспрецедентно оскорбляющий их в их недёшево мундированном самовлюблении? Преступник? Юродивый безумец?

И то, и другое: *пророк в своём отечестве!*

Охристианивающееся общественное мнение с полным правом казнит презрением тех из офицеров, которые ещё хватаются за отжитое, стремятся «продолжать старинные предания военного *самодовольного молодечества*» (Там же. С. 290. Курсив наш. — Р. А.). Обратим кстати внимание, в каком сочетании встречается нам, уже в тексте начала 1900-х гг., это словцо, *молодечество* — которым, как мы помним, ещё молодой Толстой определял своё, внушённое ему воспитателями, почтение к ловкости, к боевой храбрости военных и к военной службе в целом. *Самодовольство* этих архаичных *молодцов* в реалиях России начала XX века может закончиться тем, что в один совсем не прекрасный день, по приказу высшего командования, они будут «стоять лицом к лицу с безоружной толпой крестьян или фабричных и им приказано будет стрелять в них» (Там же). Путь к очевидности для офицера — в признании «братоубийственного назначения войска», за которым признанием должны последовать и действия: уже не офицера, не ходячего мундированного идола (вероятно, пища «Офицерскую памятку», Толстой снова вспомнил бронницкого ветеринара «Буку», А. И. Архангельского с его радикальнейшей книжицей «Кому служить?»), а человека христианина:

«Выход этот, самый лучший и честный, состоит в том, чтобы, собрав часть, которой вы командуете, выйти перед нею и попросить у солдат прощения за всё то зло, которое вы им сделали, обманывая их, и перестать быть военным» (Там же. С. 289 – 290). Мужества для такого поступка нужно, по мнению Толстого, меньше, чем для военного штурма или дуэли ради защиты *мундира* (Там же. С. 290).

О чём же «памятки» Л. Н. Толстого, если резюмировать буквально в двух словах? О том, что:

СОЛДАТСКАЯ СЛУЖБА ЕСТЬ — РАБСТВО.
ОФИЦЕРСКАЯ СЛУЖБА ЕСТЬ — ПОДЛОСТЬ.

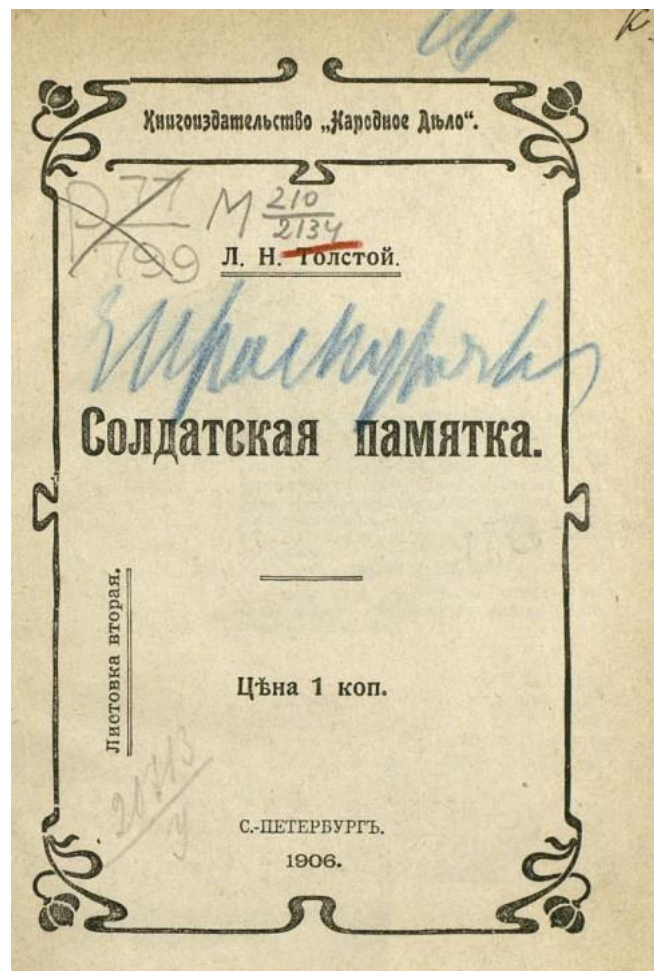
И эти высокие истины останутся истинами, сколько ни будут над их смыслом возмущаться наивные обитатели тех или иных государств, с детства, т. е. с возраста, податливого ко всяким, истинным и ложным, внушениям, выращенные в идеях "любви к родине" (на место которой в их сознании усилиями обманщиков поставляется государство), "необходимости" и "полезности" правительств, государств с их границами, флагами, войсками и прочими атрибутами, "долга" перед этой самой сволочной тёткой, который надо оплатить службой, даже кровью своей, и обязательно, если ты из *простых*, не "элитарных" обитателей гостерритории, не имеешь особых привилегий и возможностей, и, значит, и "задолжал" (казалось бы) меньше других. Но — нет! именно ты, по закону срамного козёльчика (того, который — "козёл отпущения"), должен лет этак... в 18-ть, хочешь не хочешь, загнуться раком и подставить сраку тёте «родине», которая вдруг оказывается уже не заботливой (пусть и брехливой, ибо казённая сука) мамой, и даже не тётей, а — дядей, и, на правах самозванного отца, вставляет тебе хуйца в жопную целку — по самую печёнку... хорошо, если просто на армейке, а не в «горячей точке». Всё! тобой попользовались. Можешь опосля, как заведено в России, потерпеть и сдохнуть — особо ты больше не нужен, исключая репродукцию и патриотическое воспитание таких же рабов — нового поколения... Вспоминай потом до конца дней, приукрашай, мифологизируй, облагороживай, героизируй своё рабство... расти ещё одно поколение, включая своих детей, в этой же лжи.

Нельзя было бы тысячи лет так легко обманывать целые поколения, если бы — не атавистические влечения человеческой природы: инстинкты сбивания в стаи, мечения границ "своей" и не "своей" территории, оборонительной агрессии, да столь же атавистические животные страхи, да доверчивость, да продажность... Всё это имеет основу в животной природе человека, долженствуемой быть побеждённой христианством, *верою живой*, сливанием своей воли с волей Отца. Но именно это в нашем *лже*христианском мире не только не побеждается, а намеренно культивируется и разжигается в головах простецов правительствами через обманутых и подкупленных попов и учёных интеллигентов — навязывается детям через т. н. «патриотическое воспитание», то есть одурение и развращение.

Зачем задорого покупать военных нижних чинов, как покупаются и оплачиваются чиновники штатской службы? Это на войну — можно не жалеть, разорить собственное население... А вот на солдатах, и даже на такой юнкерской и офицерской «мелочи», каким

был в годы службы Лев Толстой — грех не сэкономить!.. Патриотические идейки, впитанные детскими мозгами — очень тому помогают. Хотя и не для одного этого они нужны: повседневное послушание власти эксплуататоров, обманщиков и насильников, "легитимность" её в глазах простецов — тоже хорошо... для любого халтурного в управлении страной режима. Но войско подешевле и попослушнее — главная, многовековая мечта всех таких, халтурных, правительств.

Сделаться солдатом — значит довести своё положение жертвы этого обмана до конца.



Обложка первого издания в России
«Солдатской памятки». 1906 г.

Сделаться офицером — значит продаться правительству, за звания и подачки, надсмотрщиком рабьего стада и верховным убийцей над кодами правительственных убийц.

Предел солдатского рабства — необходимость убийства по приказу всех лиц, кого прикажет убивать, как "врагов", правительство.

Предел офицерской подлости — распоряжение такими делами правительств, принуждение солдат к деланию их и наказание всех "неисправных" и отказывающихся убивать.

Тексты обеих «Памяток» Льва Николаевича Толстого, по их непространности, мы нашли возможным, в дополнение к сказанному, привести ниже в полном виде.

СОЛДАТСКАЯ ПАМЯТКА

Итак, не бойтесь их:
ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы,
и тайного, что не было бы узно.
Что говорю вам в темноте, говорите при свете;
и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.
И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить;
а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в геенне.

(Мф. X, 26, 27, 28).

Пётр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам.

(Деяния V, 29)

Ты солдат, тебя учили стрелять, колоть, маршировать, гимнастике, обучали словесности, водили на ученья и смотры; может быть, ты попал и на войну и воевал с турками или китайцами, исполняя всё, что тебе приказывали; тебе и в голову не приходило спросить себя: хорошо или дурно то, что ты делаешь?

Но вот получается приказ выступить твоей роте или эскадрону и взять боевые патроны. Ты едешь или идёшь, не спрашивая, куда тебя ведут.

Полк подводят к деревне или фабрике, и ты видишь издалека, что на площади толпится народ, деревенский или фабричный, мужчины, женщины с детьми, старики, старухи. Губернатор, прокурор с полицейскими подходят к толпе и о чём-то толкуют. Толпа сначала молчит, потом начинают кричать всё громче и громче, и начальство отходит от народа. И ты догадываешься, что это крестьяне или фабричные бунтуют и тебя привели усмирять их. Начальство несколько раз отходит от толпы и подходит к ней, но крики всё громче и

громче, и начальство переговаривается между собою, и тебе дают приказ заряжать ружьё боевыми патронами. Ты видишь перед собой людей — тех самых, из которых ты взят: мужчин в поддёвках, полушубках, лаптях, и женщин с детьми в платках и кофтах, таких же женщин, как твоя жена или мать.

Первый выстрел приказывают пустить через головы толпы. Но толпа не расходится и ещё громче кричит; и вот тебе приказывают стрелять по-настоящему, не через головы, а прямо в середину толпы.

Тебе внушено, что ты не ответственен в том, что произойдёт от твоего выстрела. Но ты знаешь, что тот человек, который, обливаясь кровью, упадёт от твоего выстрела, убит тобою и никем другим, и знаешь, что ты мог не выстрелить, и тогда человек не был бы убит.

Что тебе делать?

Мало того, что ты опустишь ружье и откажешься сейчас стрелять в своих братьев. Но ведь завтра может быть то же самое, и потому хочешь — не хочешь тебе надо одуматься и спросить себя, что такое то звание солдата, которое довело тебя до того, что ты должен стрелять в своих безоружных братьев?

В Евангелии сказано, что не только не должно убивать своих братьев, но не должно делать того, что ведёт к убийству: не должно гневаться на брата и не ненавидеть врагов, а любить их.

В законе Моисея прямо сказано: “не убий”, без всяких оговорок о том, кого можно и кого нельзя убивать. В правилах же, которым тебя учили, сказано, что солдат должен исполнять всякое, какое бы то ни было, приказание начальника, кроме приказания против царя, и в объяснении 6-ой заповеди сказано, что хотя заповедью этой запрещается убивать, но тот, кто убивает неприятеля на войне, не грешит против этой заповеди. В солдатской же памятке, которая висит во всех казармах и которую ты много раз читал и слушал, сказано, как солдат должен убивать людей. «Трое наскочат, первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун... Сломился штык, бей прикладом; если приклад отказал, бей кулаками; попортились кулаки, вцепись зубами».

Тебе говорят, что ты должен убивать потому, что ты присягал и отвечать за твои дела будешь не ты, а начальство.

Но прежде, чем ты присягал, т. е. обязался людям исполнять их волю, ты уже без присяги обязан во всем исполнять волю Бога, Того, Кто дал тебе жизнь, — Бог же не велит убивать.

Так что тебе никак нельзя было и присягать в том, что ты будешь делать все, что прикажут тебе люди. От этого и в евангелии (Мф. V, 34) прямо сказано «не клянись вовсе»... «Говорите: да, да, нет, нет, а что более этого, то от лукавого». И то же сказано в послании Якова

V, 12: «Прежде же всего, братия, не клянитесь ни небом, ни землёю» и т. д. Так что сама присяга есть грех. То же, что они говорят, что за твои дела будешь отвечать не ты, а начальство, — явная неправда. Разве может совесть твоя быть не в тебе, а в ефрейторе, фельдфебеле, ротном, в полковнике или в ком бы то ни было? Никто не может за тебя решать, что ты можешь и должен и чего не можешь и не должен делать. И человек всегда ответственен за то, что он делает. Разве не во много раз легче убийства грех прелюбодеяния, а возможно ли, чтобы человек сказал другому: прелюбодействуй, я беру на себя твой грех, потому что я твой начальник.

Адам, как рассказывается в Библии, согрешил против Бога и сказал, что ему велела съесть яблоко жена, а жена сказала, что её соблазнил дьявол. Бог не оправдал ни Адама, ни Еву и сказал им, что за то, что Адам послушал голоса своей жены, он будет наказан, и также будет наказана жена за то, что послушалась змия. И не оправдал, а наказал их. Разве не то же самое скажет Бог и тебе, когда ты убьёшь человека и скажешь, что тебе велел это сделать ротный?

Обман виден уже из того, что в самом правиле о том, что солдат должен исполнять все приказания начальства, прибавлены слова: «кроме таких, которые клонятся ко вреду царя».

Если солдат должен, прежде чем исполнять приказания начальника, решить, не против царя ли оно, то как же ему ещё прежде, чем исполнять приказания начальника, не обсудить, не против ли высшего царя — Бога то, чего требует от него начальник? А нет более противного воле Бога дела, как убивать людей. И потому нельзя повиноваться людям, если они велят тебе убивать людей. Если же ты повинуюешься и убиваешь, то делаешь это только из своей выгоды, чтобы тебя не наказали. Так что, убивая по приказанию начальства, ты точно такой же убийца, как и тот разбойник, который убивает купца, чтоб ограбить его. Тот польстился на деньги, а ты на то, чтобы не быть наказанным начальством и получить награду. Человек всегда сам отвечает за свои поступки перед Богом. И никакая сила не может, как этого хотят начальники, сделать из живого человека мёртвую вещь, которой может помыкать, как вздумается, всякий человек с большими эполетами. Христос научил людей тому, что они все сыны Божии, и потому христианин не может отдать свою совесть во власть другого человека, каким бы он ни назывался титулом: королём, царём, императором. То же, что взявшие над тобою власть люди требуют от тебя убийства братьев, показывает только то, что люди эти обманщики и что поэтому не надо повиноваться им. Постыдно положение блудницы, которая всегда готова отдать на

осквернение своё тело тому, на кого укажет ей хозяин; но ещё постыднее положение солдата, всегда готового на величайшее преступление — на убийство всякого человека, на которого только укажет начальник.

И потому, если ты действительно хочешь поступить по-Божьи, то тебе надо сделать одно: свергнуть с себя постыдное и безбожное звание солдата и быть готовым перенести все страдания, которые они будут налагать на тебя за это.

Так что настоящая памятка солдата христианина не та, в которой сказано, что Бог — солдатский генерал и другие кощунства и что солдат должен, во всём повинаясь начальникам, быть готовым убивать чужих или своих, даже безоружных, братьев, — а в том, чтобы помнить слова писания о том, что *надо повиноваться Богу более, нежели людям*, и не бояться тех, кто может убить тело, но души не может убить.

В этом одном настоящая, не обманная солдатская памятка» (34, 280 – 283).

ОФИЦЕРСКАЯ ПАМЯТКА

А кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный жернов на шею
и потопили его в глубине морской.

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам,
но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.

(Мф. XVIII, 6, 7).

Во всех солдатских помещениях висит прибитая к стене так называемая «Солдатская памятка», составленная генералом Драгомировым. Памятка эта есть набор мнимо солдатских народных (совершенно чуждых всякому солдату) глупо-ухарских слов, перемешанных с кощунственными цитатами из евангелия. Евангельские изречения приведены в подтверждение того, что солдаты должны убивать, зубами грызть своих врагов: «сломился штык, бей кулаками, отказались кулаки, вцепись зубами». В заключение же «Памятки» сказано, что Бог есть генерал солдат: «Бог ваш генерал».

Ничто очевиднее этой «Памятки» не доказывает ту ужасную степень невежества, рабской покорности и озверения, до которых дошли в наше время русские люди. С тех пор, как появилось это ужаснейшее

кошунство и было вывешено во всех казармах, а это уж очень давно, ни один начальник, ни священник, которых, казалось, прямо касается извращение смысла евангельских текстов, не выразил осуждения этому отвратительному произведению, и оно продолжает печататься в миллионах экземпляров и читаться миллионами солдат, принимающих это ужасное сочинение за руководство их деятельности.

Памятка эта давно возмущала меня, и теперь, боясь, что я не успею до смерти сделать это, я написал обращение к солдатам, в котором стараюсь напомнить им о том, что они, как люди и христиане, имеют совсем другие обязанности перед Богом, чем те, которые выставляются в этой памятке. Такое напоминание, я думаю, нужно не одним солдатам, но ещё более офицерству (под офицерством я разумею всё военное начальство от прапорщика до генерала), которое поступает в военную службу или остаётся в ней не по принуждению, как солдаты, а по собственной охоте. Напоминание это, мне кажется, особенно нужно в наше время.

Ведь хорошо было лет 100 или 50 тому назад, когда война считалась неизбежным условием жизни народов, когда люди того народа, с которым велась война, считались варварами, неверными или злодеями и когда и в голову не приходило военным, чтобы они были нужны для подавления и усмирения своего народа, — хорошо было тогда, надев пёстрый, обшитый галунами, мундирчик, ходить, гремя саблей и позванивая шпорами, или гарцовать перед полком, воображая себя героем, если ещё и не пожертвовавшим, то всё-таки готовым жертвовать жизнью для защиты своего отечества. Но теперь, когда частые международные сношения — торговые, общественные, научные, художественные — так сблизили народы между собой, что всякая война между европейскими народами представляется чем-то в роде семейного раздора, нарушающего самые священные связи людей, когда сотни обществ мира и тысячи статей, не только специальных, но и общих газет, не переставая, на все лады разъясняют безумие милитаризма и возможность и даже необходимость уничтожить войну; теперь, когда — и это самое главное — всё чаще и чаще приходится военным выступать не против внешних врагов для защиты от нападающих завоевателей или для увеличения славы и могущества своего отечества, а против безоружных фабричных или крестьян, — гарцование на лошадке в украшенном галунами мундирчике и щегольское выступание перед ротами уже становится не пустым, но простительным тщеславием, как это было прежде, а чем-то совсем другим.

В старину, хотя бы при Николае I, никому и в голову не приходило, что войска нужны преимущественно для того, чтобы стрелять по безоружным жителям. Теперь же в столицах и фабричных местах постоянно расположены войска с целью быть готовыми разогнать собирающихся рабочих, и редкий месяц проходит без того, чтобы войска не выводили из казарм с боевыми патронами и не ставили в скрытом месте с тем, чтобы они всякую минуту были готовы стрелять по народу.

Употребление войск против народа сделалось не только обычным явлением, но войска уже вперёд формируются так, чтобы быть готовыми для этого своего употребления. Правительство не скрывает того, что распределение рекрутов по частям делается умышленно такое, чтобы солдаты никогда не были взяты из тех мест, где они стоят. Делается это с тою целью, чтобы солдатам не пришлось стрелять в своих родных.

Германский император прямо, при всяком наборе рекрутов, говорил и говорит (речь 23 мая 1901 г.), что присягнувшие ему солдаты принадлежат ему и телом и душой, что у них только один враг — это его враг, и что враг этот социалисты (т. е. рабочие), которых солдаты должны, если он велит им, застрелить (*niederschiesen*), хотя бы это были их родные братья или даже родители.

Кроме того в прежние времена, если войска и употреблялись против людей из народа, то те, против кого они употреблялись, были, или по крайней мере считались, злодеями, готовыми убивать и разорять мирных жителей, и поэтому для общего блага полагалось нужным уничтожать их. Теперь же все знают, что те, против кого высылаются войска, большей частью смирные, трудолюбивые люди, желающие только беспрепятственно пользоваться плодами своих трудов. Так что главное и постоянное употребление войск в наше время состоит уже не в воображаемой защите от неверных и вообще внешних врагов и не от злодеев бунтовщиков, врагов внутренних, а в том, чтобы убивать своих безоружных братьев, которые вовсе не злодеи, а смирные, трудолюбивые люди, желающие только, чтобы у них не отнимали то, что они зарабатывают. Так что военная служба в наше время, когда главное назначение её в том, чтобы угрозой убийства и убийством удерживать порабощённых людей в тех несправедливых условиях, в которых они находятся, — уже не только не благородное, но прямо подлое дело.

И потому офицерам, служащим теперь, необходимо подумать о том, кому они служат, и спросить себя, хорошо или дурно то, что они делают?

Знаю я, что есть много офицеров, в особенности из высших чинов, которые разными рассуждениями на тему о православии, самодержавии, целостности государства, неизбежности всегдашней войны, необходимости порядка, несостоятельности социалистических бредней и т. п. стараются доказать самим себе, что деятельность их разумна, полезна и не имеет в себе ничего безнравственного. Но они в глубине души сами не верят в то, что говорят, и чем они умнее и чем старше делаются, тем меньше верят в это.

Помню, как радостно поразил меня мой приятель и сослуживец, очень честолюбивый человек, всю жизнь свою посвятивший военной службе и достигший высших чинов и отличий (генерал-адъютанта и генерала артиллерии), когда он сказал мне, что сжёг свои записки о войнах, в которых участвовал, потому что изменил свой взгляд на военное дело и всякую войну считает теперь дурным делом, которое надо не поощрять, занимаясь им, а, напротив, всячески дискредитировать. Многие офицеры думают так же, хотя и не говорят этого, пока служат. В сущности же, всякому мыслящему офицеру и нельзя думать иначе. Ведь стоит только подумать о том, что, начиная с младших чинов и до самых старших, до корпусного командира, составляет занятие всех офицеров? От начала и до конца их службы — я говорю про фронтовых офицеров — деятельность их, за исключением редких и коротких периодов, когда они идут на войну и заняты убийством, — состоит в достижении двух целей: в обучении солдат умению наилучшим образом убивать людей и приучении их к такому послушанию, при котором они механически, без рассуждений делали бы всё то, что им прикажет начальник. В старину говорили: «двух запори, одного выучи» и так и делали. Если теперь процент забитых меньше, то принцип остаётся тот же. Нельзя довести людей до того не животного, но машинного состояния, в котором они делали бы самое противное природе человека и исповедуемой ими вере дело, именно убийство, по приказанию всякого начальника, без того, чтобы не были произведены над этими людьми, кроме хитрых обманов, ещё и самые жестокие насилия. Так это и делается.

Недавно во французской прессе наделало шуму изобличение журналистом тех ужасных мучений, которым подвергаются солдаты в дисциплинарных батальонах, на острове Oleron, в шести часах езды от Парижа. Наказываемым связывали руки с ногами на спине и так бросали на землю, надевали на большие пальцы закинутых за спину рук винты, завинчивая их до того, что каждое движение производило ужаснейшую боль, подвешивали ногами кверху и т. п.

Когда мы видим обученных зверей, которые исполняют противное их природе: собаки ходят на передних лапах, слоны вертят бочки, тигры играют с львами и т. п., — мы знаем, что всё это достигнуто мучениями голода, арапника и раскалённого железа. То же самое мы знаем, когда видим людей, которые в мундирах с ружьями замирают в неподвижности или делают в раз одно и то же движение: бегают, прыгают, стреляют, кричат и т. п., вообще производят те красивые смотры и манёвры, которыми так любят и хвастаются друг перед другом императоры и короли. Нельзя вытравить из человека всё человеческое и довести его до состояния машины, не мучая его и мучая не просто, а самым утончённым, жестоким образом, вместе мучая и обманывая.

И это всё делаете вы — офицеры. В этом, кроме редких случаев, когда вы идёте на настоящую войну, состоит вся ваша служба, от высших чинов до низших.

К вам приходит из семьи переселённый на другой конец света юноша, которому внушено, что та обманная, запрещённая Евангелием, присяга, которую он принял, бесповоротно связывает его в роде того, как положенный на пол петух с проведённой от носа чертой думает, что он связан этой чертой. Он приходит к вам с полной покорностью и надеждой, что вы, старшие, более умные и учёные, чем он, люди, научите его всему хорошему. Вы же, вместо того, чтобы освободить его от тех суеверий, которые он принёс с собою, прививаете ему ещё новые, самые бессмысленные, грубые и вредные суеверия о святости знамени, о почти божеском значении царя, об обязательности безотговорочного во всём подчинения начальству. И когда вы с помощью выработанных в вашем деле приёмов одурения людей доводите его до положения ниже животного, такого, в котором он готов убивать всех, кого велют, даже своих безоружных братьев, — вы с гордостью показываете его начальству и получаете за это благодарности и награды. Самому быть убийцей ужасно, но хитрыми и жестокими приёмами довести до этого своих, доверившихся вам, братьев — есть самое страшное преступление. И его-то вы совершаете, и в этом состоит вся ваша служба.

Неудивительно поэтому, что среди вас, больше чем во всякой другой среде, процветает всё то, что может заглушить совесть: курение, карты, пьянство, разврат, и чаще всего бывают самоубийства.

«Соблазны должны войти в мир, но горе тем, через кого они входят».

Вы говорите часто, что служите потому, что если вы бы не служили, то нарушился бы существующий порядок и произошли бы смуты и всякого рода бедствия.

Но, во-первых, неправда то, что вы озабочены поддержанием существующего порядка: вы озабочены только своими выгодами.

Во-вторых, если бы даже воздержание ваше от военной службы и нарушало существующий порядок, то это никак бы не доказывало, что вам надо продолжать делать дурное дело, а только то, что порядок, разрушающийся от вашего воздержания, — должен быть уничтожен.

Если бы существовали самые полезные учреждения: больницы, школы, богадельни, содержимые на доходы с домов терпимости, то вся польза, приносимая этими благотворительными учреждениями, никак не могла бы удержать в её положении женщину, желающую освободиться от своего постыдного ремесла.

«Я не виновата, — скажет женщина, — что вы устроили свои благотворительные учреждения на разврате. Я не хочу более быть развратной, а до ваших учреждений мне дела нет». То же должен сказать и всякий военный, если ему будут говорить о необходимости поддерживать существующий порядок, основанный на его готовности к убийству. «Устройте общий порядок так, чтобы для него не нужно было убийства, — должен сказать военный, — и я не буду нарушать его. Я только не хочу и не могу быть убийцей»

Говорят ещё многие из вас: «Я был воспитан так, я связан своим положением и не могу выйти из него». Но и это неправда.

Вы всегда можете выйти из вашего положения. Если же вы не выходите из него, то только потому, что предпочитаете жить и действовать против своей совести, чем лишиться некоторых мирских выгод, которые вам даёт ваша бесчестная служба. Только забудьте, что вы офицер, а вспомните, что вы человек, и выход из вашего положения сейчас же откроется вам. Выход этот, самый лучший и честный, состоит в том, чтобы, собрав часть, которой вы командуете, выйти перед нею и попросить у солдат прощения за всё то зло, которое вы им сделали, обманывая их, и перестать быть военным. Поступок этот кажется очень смелым и требующим большого мужества, а между тем для такого поступка нужно гораздо меньше мужества, чем для того, чтобы идти на штурм или вызвать на дуэль за оскорбление мундира, — то, что вы, как военный, всегда готовы сделать и делаете.

Но и не будучи в состоянии поступить так, вы всегда можете, если поняли преступность военной службы, уйти из неё и предпочесть ей всякую другую, хотя и менее выгодную, деятельность.

Если же вы не можете и этого сделать, то решение для вас вопроса о том, будете ли вы продолжать служить или нет, отложится до того времени, — а это для всякого скоро наступит, — когда вы будете стоять лицом к лицу с безоружной толпой крестьян или фабричных

и вам приказано будет стрелять в них. И тогда, если в вас ещё осталось что-либо человеческое, вы должны будете отказаться повиноваться и вследствие этого уже оставить службу.

Я знаю, что много ещё есть офицеров от высших до низших чинов, которые так невежественны или загипнотизированы, что не видят необходимости ни в том, ни в другом, ни в третьем выходе и спокойно продолжают служить и при теперешних условиях, готовы стрелять по своим братьям и даже гордятся этим; но, к счастью, общественное мнение всё более и более отвращением и презрением казнит таких людей, и число их становится всё меньше и меньше.

Так что в наше время, когда братоубийственное назначение войска стало очевидным, нельзя уже офицерам не только продолжать старинные предания военного самодовольного молодечества, но нельзя уже без сознания своего человеческого унижения и стыда продолжать преступное дело обучения убийству простых, доверяющих им людей и самим готовиться к участию в убийстве безоружных жителей.

Вот это должен понимать и помнить всякий мыслящий и совестливый офицер нашего времени.

1901. 7 декабря. Гаспра (34, 284 – 290)».

Освоивший это чтение, «закрепляющее» в памяти идеи памяток, едва ли не всякий из наших читателей, увидит их сквозную тему, связанную с представлениями Л. Н. Толстого о неизбежности революций: тему народных массовых протестов и нравственного выбора солдат и офицеров в ситуации столкновений с народом: служебный долг или живая, руководящая поступками, вера Христа?

Тот же наш внимательный читатель непременно выведет, что «Солдатская памятка» задалась Л. Н. Толстому всё же лучше «Офицерской». Это именно шах и мат Драгомирову, с его *языческим по сущности* мировоззрением, к которому, лишь виньетками без силы и смысла, пришпандорено христианство. На деле, в армии, как и в тюрьме, гимназиях, школах и других местах недобровольного пребывания человека значение имело только церковное обрядоверие и идолопоклонство: пусть тут читатель вспомнит знаменитое описание богослужения из романа «Воскресение»! (гл. XXXIX и XL Первой части романа). Тот обращается на «ты», лично к солдату — и так же обращается к солдату, к каждому по отдельности, к сознанию и к душе, и Лев Николаевич Толстой. Но Драгомиров перетолковывает кощунственно тексты Нового Завета — Толстой же восстанавливает их христианские смыслы!

И всё это — коротко, ярко, талантливо!

В этом смысле, увы! памятка для офицеров у Толстого — внешне, по стилю и пространности повторяя драгомировскую «Офицерскую памятку», по существу свелась к повторению давно уже сказанного, как раз офицерам могущего быть известным.

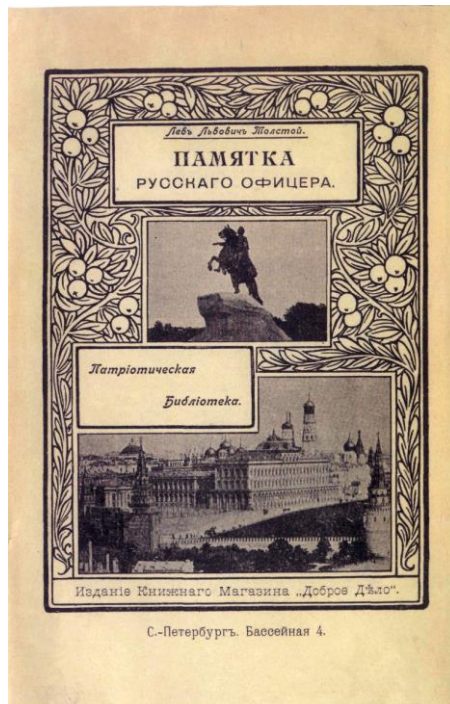
Дерзость подобных обращений к солдатам и офицерам, характеризующих военную службу как рабство и соучастие в преступлении, можно вполне оценить и в наши дни. Средний сын писателя, Лев Львович Толстой (1869 – 1945), сделавший себе в юности из отца-христианина кумир для подражания, а позднее, после тяжёлой болезни и возрастного кризиса, превратившийся в гонителя и ругателя отца и его христианской проповеди — в мемуарах охарактеризовал «Памятки» именно так, как практически всякий патриот или консерватор оценил бы их, коли бы знал, и в наши дни: как разрушавшие и «развращавшие русское войско» (Толстой Л.А. *Опыт моей жизни. Переписка Л.Н. и Л.А. Толстых. М., 2014. С. 79*).

Кстати сказать, Лев Львович при жизни отца почти не служил в военной службе. В сентябре 1891 года, бросив учёбу на 2-м курсе университета, он отправился в Самарскую губернию для организации помощи голодающим. Явно и глупо соревнуясь с отцом (который, в свою очередь, помогая голодающим, не соревновался ни с кем), Лев Львович открыл более 200 столовых на средства пожертвований, собранных матерью, а частью полученных им лично от благотворителей. По трудности, охвату и разнообразию деятельности он действительно, перещеголял тогда Льва-старшего. Не будучи в ссоре с церковниками, как отец, он смог привлечь церковных служителей к управлению столовыми; не конфликтуя с армией — получал помощь от военных, и даже лично от губернатора; не разделяя с отцом скепсис в отношении Красного Креста принимал участие в работе Красного Креста и пользовался его поддержкой; не разделяя с отцом скептическое отношение к медицине — организовывал фельдшерские пункты лечения больных тифом и цингой; не считая злом благотворительность посредством денег — принимал и распределял гуманитарную помощь.

Но в результате он чудовищно переутомился, сам заразился тифом, перенёс его на ногах, превратился в несколько месяцев в полуживого дистрофика, а к тому же и подорвал нервное и, вероятно, психическое здоровье. Мать, Софья Андреевна Толстая, конечно же, хотела видеть сына «прежним». Разорвав с университетом, Лев Львович мог в 1892 году пойти в военную службу. По настоянию матери, и, конечно же, вопреки мнению отца, Лев Львович с ноября 1892 по

январь 1893 года служит рядовым в 4-м стрелковом Императорской фамилии батальоне, расквартированном в Царском Селе. Однако, ещё до принесения присяги он был освобождён от службы по состоянию здоровья и, в ещё тяжелейшем состоянии, возвращён отцу и матушке. С тех пор прежнее преклонение в отношении слова христианской проповеди отца сменилось у Льва Львовича нараставшей, нервически-болезненной, неприязнью.

Противостояние отцу по «военно-служилому» и «военно-патриотическому» вопросам, начатое в гостиных семейного дома, излилось наконец, в печать. В начале 1907 года газета «Голос Москвы» публикует статью «Отрицание или совершенствование», направленную сыном против христианской веры отца. Почти одновременно, в №№ 1 и 2 серийного альманаха «Патриотическая библиотека» за тот же год появились состряпанные сынишкой «Памятка русского солдата» и «Памятка русского офицера». Публикации были презаслуженнейше высмеяны, изруганы — в том числе и безусловными патриотами — не по содержанию их, конечно же, а по *бездарности и глупости*. Значение этих публикаций свелось к тому, что патриотически настроенный читатель мог, сравнив, с удивлением констатировать превосходство и военных, и психологических, и других, общенаучных знаний, и выраженных интеллекта, и яркого таланта — в широчайше известных и общедоступных «Памятках» замечательного генерала и человека, Михаила Ивановича Драгомирова.



Обложка отдельного издания
«Памятки русского офицера» Л.Л. Толстого. 1907 г.

Конечно же, отцу не были приятны известия о такой эскападе сыночка. В «покаянно-объяснительном» письме к отцу от 30 января 1907 г. Лев Львович пытается — кстати сказать, вполне в мамином характере — не столько раскаяться, объясниться, сколько оправдать себя:

«Дорогой папа...

Я люблю тебя горячо как кровного отца — не воспитателя, — люблю тебя как человека и писателя, но считаю и буду считать нужным говорить правду о твоих взглядах потому, что они слишком значительны, чтобы о них молчать. Я знаю, что этим врежу прежде всего самому себе, в смысле популярности и любви нашего общества, я знаю, что меня кругом ругают...

Я знаю, что с точки зрения сыновней мне не следовало бы говорить об отце, но ты мне не только отец, а ещё человек и писатель, влиявший и влияющий на Россию, и, так как Россия мне дороже всего, я считаю нужным твоё влияние, поскольку оно вредно, ослаблять. [...] Мне дороже всего правда, от которой зависит наше счастье и счастье мира, и ради этой правды я говорю против тебя открыто.

[...] Мне одинаково больно, как и тебе, что пришлось так поступать. Конечно, неприятно это и всем тем, кто нас знает. Но это нужно было сделать, на мой взгляд, и я даже не считал себя в этом виноватым. Нужно было рассеять туман, вскрыть до конца нарыв.

[...] Главное то, что я не тебя осуждаю, не тебя не люблю, наоборот, и чем дальше, тем больше буду любить, -- а только известную часть твоих мыслей и их влияние на людей. Я считаю их дурными, вредными, ослабляющими и развращающими людей, вместо обратного действия, потому что они ложны в самом корне.

Человечество идёт вперёд, и мало того, что ты ему говоришь. Ты забыл всю материальную сторону жизни. А без неё нельзя ступить шага.

[...] Мне нужно одно — правду и благо России, и через неё мира — твоё наследство и книги помогут и служат через меня делу просвещения, — и ради этого я живу ради честного труда и вследствие этого я счастлив» (Там же. С. 375 – 376).

Цепкий памятью наш читатель не мог не заметить, что, на самом деле, единственной независимой от журнальной полемики, от борьбы идей и потому стоящей ближе всего к заявленному жанру — *памятке* — была и остаётся книжечка для солдат Михаила Ивановича Драгомирова. Изложенные добрым, старым воином, старшего

поколения и “старой школы”, умным и искренним в своих предрассудках человеком мысли, советы его не просто объективно полезны для военнослужащих, а многие проверены веками — восходя и нетленной суворовской «Науке побеждать». Оба же Толстых, отец и сын, использовали драгомировский “фасад” для того, чтобы под обложками, под видимостью, под личиной «Памяток» “выдать” массе военных некоторые свои идеи. «Памятка русского офицера» Л. Л. Толстого в этом плане особенно характеристична.

Открывается «Памятка русского офицера» явной насмешкой сына над отцом: эпитафиями, но не евангельскими, а подчёркнуто светскими, и из любимых Л. Н. Толстым авторов: Декарта и Рёскина. Джон Рёскин особенно частотно цитируется Л. Н. Толстым в сборнике 1903 г. «Мысли мудрых людей на каждый день», ставшем к 1907 году популярным.

«Памятка» начинается с утверждения, что «жизнь – это борьба, как отдельных людей и народов между собою» (*Толстой Л.Л. Памятка русского офицера. СПб., 1907. С. 1*). Она ведётся в социальных и государственных формах. Рост человеческих потребностей и связанной с ними активности делает обе формы борьбы особенно напряжёнными. «Торговля, промышленность, наука и искусство, вместе с умножившимися международными сношениями, не ослабили борьбы между людьми и народами, как думают иные, а наоборот, усилили её» – пишет автор (*Там же*).

Далее сказано, что даже наука и искусство служат усилению внутренней социальной и внешнеполитической борьбы. Они могут, «как слуги известных народов и государств в деле развития знаний и идей, послужить в укреплении и развитии чувств патриотизма, с одной стороны, но с другой — в отрицании его, если принимать в соображение некоторые формы ложной и вредной социальной борьбы» (*Там же. С. 1 – 2*). Не называя имени отца, сынок здесь, безусловно, имеет в виду Льва-старшего.

«В одной стране, вследствие роста народонаселения и увеличения потребностей и деятельности, как в Японии, например, война сделалась насущной потребностью народа» (*Там же. С. 2*). Это снова скрытая полемика сына с отцом: с тезисами его статьи «Конец века», в которой Лев Николаевич связал современную ему милитаризацию Японии с последствием “контакта цивилизаций”: именно отрицательным, развратным на неё влиянием примера лжехристианского мира.

Борьбу личностей и государств, по мнению Л. Л. Толстого, невозможно никак прекратить, а можно только позаботиться о её продуктивности и отыскать «конечный смысл»:

«Разумные существа, борясь за всё лучшее для себя как в социальной, так и в государственной форме, должны и могут бороться за него только тогда, когда уверены в своей правоте, уверены в том, что борются за благое, правое и лучшее, а не за злое, ложное и худшее. Отсюда возникает вечный вопрос, что же добро, и что зло, и что считать их критерием». Автор брошюры отвечает так: «У человека и народов есть только один критерий этого, это — их разум» (*Там же. С. 2*).

Но воззрения сына на то, что следует считать “разумным” – в корне расходятся с отцовскими. По-прежнему не называя имени отца, сынок выдаёт такую эскападу: «За последнее время спутанный, взволнованный множеством влияний разум русского человека и русского государства помрачился. Он уже не мыслит ясно, справедливо и едино. Он полон противоречий и заблуждений, он весь под влиянием страстей, – он болен» (*Там же. С. 3*).

С высоким вероятием, сынок уже успел прочесть суперпопулярную книжицу Макса Нордау «Вырождение» (1892), в которой автор находит в паноптикуме европейских “выродков” место и Льву Толстому. Если у Льва Николаевича метафора *fin de siècle* (*фр.* «конец века») имеет библейские, христианские истоки и смысл, то Нордау, а за ним и Лев Толстой-джуниор наделяют это определение характеристиками медицинскими, натуралистическими, политическими и культурологическими.

«Здоровье» нация сохранила только в среде более патриархальной, рутинной «половины» крестьянства, а также в войске. «Военные — самые важные, самые почётные, самые нужные в стране люди» (*Там же. С. 4*). Отсюда — значение офицерства армии для «излечения» России, о котором сынок расписывает дальше:

«Офицерство призвано защищать благо известной страны и народа через служение армии. Оно должно быть на своём посту сознательным слугой и должно пользоваться уважением и доверием своей страны и своего народа» (*Там же. С. 3*).

Офицер, «учитель и воспитатель солдата», должен служить образцом творящего самосовершенствования: физического, умственного и духовного. Заботой о таком совершенствовании офицер стяжает уважение солдат, без которого «не получится в армии того единого, мощного духа, о котором так хлопчут на войне и в мире» (*Там же. С. 5*). Снова укол шпилькой отцу...

Офицеру долженствуется воспитывать в солдате характер, волю и инициативу. Он должен «не только стремиться всячески одухотво-

рять и осмысливать казарменную обстановку, но и сделать её радостной и счастливой» (Там же. С. 5 — 6). Надо деятельно любить солдата, а не только внушать ему уважение к себе.

И снова странное, явно с намерением раздражить, передразнивание сыном известных мыслей отца:

«Если офицер сознательно и с любовью будет развивать свои и солдатские способности, веря важности своего назначения, бесконечное поприще радостного труда откроется перед ним...» (Там же. С. 6).

И, конечно, куда же без особой миссии вооружённых русских? Тут как тут:

«Просвещённый офицер отлично понимает, что [...] тот народ принесёт человечеству высшую сумму блага, который выкажет наибольшую силу, стойкость, мужество и жизнеспособность, — духовно, умственно и физически. Тот же народ, который выкажет бессилие, погибнет, не оставив в мире следа» (Там же. С. 7).

«Русская армия призвана покорить мир и насадить в нём высшее благо, высшую силу, высшую культуру людей» — таким откровением, под конец памятки, делится Толстой-джуниор с русским офицерством, предлагая служить этой, актуальной для него, Льва Львовича, задаче (Там же. С. 8). И — такой вот эпичный кринж в финале:

«Поэтому пусть будет разумная, частная борьба людей на земле... Пусть будут войны, великие, кровопролитные войны, если они будут борьбой лучшего с худшим, добра со злом, разума с безумием! Деритесь в этих войнах за высшее, за разумнейшее, сильнейшее, лучшее, за всё своё, русское, за русские богатейшие земли, подобных которым нет на свете, за русского даровитого человека, за русские нравы, за русскую литературу, искусство, торговлю, промышленность, науку, музыку, за светлое будущее всей русской культуры, и не уступайте её никому! Победят вас, снова беритесь за оружие, пока не победите!

Ради всяческих побед, ради счастья, ради силы, ради России стоит жит, стоять работать, стоит служить, стоит совершенствоваться и совершенствовать, и только ради этого...

Всё остальное не реальные жизненные цели, а заоблачные мечты» (Там же).

Вот, такой вот сынок... Даже современные патриотические консерваторы и «государственники», в целом очень странные зверики, не являются поклонниками «антитез» Льва-младшего. Вот что пишет, к примеру, публицист Александр Медведев: «Оппонент своего отца — убеждённого антигосударственника, пацифиста Льва Толстого, Лев

Львович Толстой всё же странен в качестве автора «Памятки русского офицера». Он не нашёл на русской культурной и патриотической почве соков, которыми напиталось бы данное издание, ограничился внешне верными, но бескровными, общими положениями» (<https://denliteraturi.ru/article/2680>). У «обескровленности» этой — специфические причины, открывающиеся читателям мемуаров Льва Львовича «Опыт моей жизни», в особенности Книги III, написанной в зиму 1937 – 1938 годов, когда Лев Львович, бросив в Швеции свою «нордическую» жену Дору, бросив семью, а следом разочаровавшись и в любовнице, проживал в зажиточном уединении в итальянском Лунгарно (нынче — на территории Швейцарии).

На этих страницах сын великого яснополянца предстаёт, как самозванный «потомок норманнов» (произвольно возводя род Толстых к Рюрику) и шведской культуры, русофоб, вплоть до физического отвращения к дорогим отцу, иногда действительно вшивым и грязным, крестьянам, а одновременно — идеолог агрессивного, экспансионистского имперства России, то есть того, что в XX столетии назовут *фашизмом*.

«Добро и зло — понятия относительные», и война, например, далеко не всегда зло: «война может служить лучшей жизни новых, лучших поколений» (Толстой Л.Л. *Опыт моей жизни*. Указ. изд. С. 150). Жизнь борьба, в которой победит нация сильнейшая — духовно и физически. Усиление же нации Толстой-младший связывает не только с модернизацией войска и вооружений, со здоровым, спортивным образом жизни, но и с... генетической чистотой. Благородной «нордической расе» потомков Рюрика, как и русским в целом, следует заботиться о сбережении расовой чистоты, о защиты славянской и норманнской кровей от смешения: «Жгучий вопрос — еврейский — возник всецело от этой великой ошибки народов». Многовековое рассеяние евреев привело к смешению, ослабившему их расовые достоинства и навредившему многим народам, кровь которых смешалась с еврейской. Актуальная задача европейских народов — расовые чистки от генетических ублюдков, так как «чистокровные англичане или шведы, евреи, итальянцы или русские всегда доброкачественнее нечистокровных» (Там же. С. 162 – 162).

А вот уже победившим сильнейшим расам (желательно для Льва Львовича — «нордическим» норманнам и русским) долженствует в будущем позаботиться о выгодном всем победителям, во все времена, «мире во всём мире». Конечно же, Лев Львович не упоминает даже о христианском религиозном решении, которое предлагал отец. Сынок, при всех странностях своих воззрений, включая жела-

ние подвергнуть «восточную церковь» реформации по образцу европейской (см: Там же. С. 174), продолжал причислять себя к православию — которое его поклонники полагают истинным христианством, но которое за тысячу лет путей к миру не отыскало, а значит, из уважительной деликатности к «вере предков», и не стоило Льву Львовичу решение такой проблемы с ним связывать. Сын великого Толстого не преминул в своих записках пнуть не только «болтающих пацифистов», не только «пакты и союзы, свидания министров и премьеров, речи и разговоры» (в чём, конечно же, сблизился со скепсисом к пацифизму отца), но и самого, давно безответного, Льва Николаевича и многих, при жизни близких ему, верующих людей:

«Некоторые религиозные люди не только в России, но и во всём мире сами отказываются идти в военную службу, перенося все тяжёлые последствия этого поступка.

Всякому понятно, что эти так называемые во Франции и Англии “отказывающиеся нести военную службу по религиозным, этическим или политическим мотивам” — лишь капля в море, не имеющая никакого значения» (Там же. С. 178 – 179).

Предложение Льва Львовича — вполне светское и аристократическое, но и в духе того страшного времени, когда было высказано. Оно основывается на убеждении, что русы и норманны окажутся победителями в предстоящем столкновении народов, и утвердят свою, расово чистую, мировую власть:

«Если современный нацизм и фашизм выльются в долгосрочную власть умственной аристократии, то человечество увидит длинный период процветания их народов и, вероятно, их побед над другими народами.

Власть лучших? Что это значит? Я заменяю этот термин другим, ещё более верным, — “логократией”, то есть властью разума. Только такая форма государства и такой принцип государственности благодетелен...» (Там же. С. 173).

По образцу современной его запискам Лиги наций, Лев Львович предлагает создать «Лигу мыслителей», члены которой, «могли бы, изучая жизнь народов в её глубинах, народные нравы и обычаи, интересы и потребности, открывать первопричины взаимных столкновений наций и вовремя их парализовать» (Там же. С. 181). «Лига мыслителей должна была бы заниматься не одной политикой, а всеми сторонами жизни каждой нации и решать, где чего недостаёт и где что не так и почему эти дефекты опасны.

Недостаток ли материальных благ, умственного ли развития, духовного и политического» (Там же).

Коротко сказать: это всё мечтания, характерные для человека, для которого, помимо церковного обрядоверия, нет уже религии, нет ни Бога, ни Христа и его учения. Нет религиозной Истины, открывающей человеку и причины зла войны в нём самом, и пути победы над ним — ненасильственные, духовные. Путь же, предлагаемый Львом Львовичем Толстым, ведёт к умозрительной «Лиге мыслителей» — через военное подчинение «слабейших» народов, через расовые чистки... Не одному сыну Толстого в тогдашней Европе приходили в голову такие гордые, как блядь со свежим билетом, мыслишки. Результаты попыток их реализации в отношении миллионов людей — широко известны, и, в любом случае, тема для совсем другой книги.

КОНЕЦ ВОСЬМОЙ ГЛАВЫ



Глава Девятая.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРШИНА.
«ОДУМАЙТЕСЬ!»

(Статья по поводу русско-японской войны, 1904 г.)

Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнурённых, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?»

(«Война и мир». Том третий, часть вторая, глава XXXIX)

Для меня безумие, преступность войны, особенно в последнее время, когда я писал и потому много думал о войне, так ясны, что кроме этого безумия и преступности ничего не могу в ней видеть, и мне кажется, что по отношению к войне всякий нравственный человек должен только стараться уклониться от неё, не участвовать в ней, чтобы не забрызгаться её мерзостью.

(Из письма к сыну, Льву Львовичу Толстому. 15 апреля 1904 г.)

«Одумайтесь. И если не одумаетесь, все так же погибнете». Лука XIII, 3

(Из черновых вариантов к статье «Одумайтесь»)

«Одумайтесь!» — несомненная вершина толстовской антивоенной публицистики и одно из лучших публицистических выступлений Льва Николаевича за весь период его христианского проповедания 1880 – 1900-х гг. Как и «памятки» для солдат и офицеров, это — голос «Льва во гневе»: Толстого-христианина, возмущённого намеренным, системно организованным в «христианском» мире издевательством над верою Христа. Того Толстого, для которого война давно перестала быть «наитруднейшим подчинением свободы человека законам Бога» — как пытался автор «Войны и мира», четырьмя, без малого, десятилетиями ранее, убедить себя, заодно с персонажем романа — Пьером Безуховым. Ведь отказ от поддержания мирских насилия и лжи, последование Христу, а не военным вожакам и лозунгам — несопоставимо трудней!

Вместе с тем, надо помнить, что это большая работа — авторства хотя и пребывавшего в полноте рассудка, но тяжело болевшего и ставшего дряхлеть писателя. Которому, если бы не очередная, и ужасная, война, несравнимо радостнее было бы приложить свои таланты и уменьшающиеся силы к совершенно иным сочинениям.

Силы, пусть и на краткий период, потребовались огромные, а результат — публицистический шедевр, по сей день вызывающий к себе внимание и уважение даже в среде противников Толстого-христианина, исповедника и христианского религиозного публициста.

Пища очерк на основании материалов этой статьи, ощутительно трудно выбирать из неё что-то для цитирования, дабы подчеркнуть её не только литературные достоинства в системе идей и образов, но и главное для публицистического сочинения: её актуальность для дня сегодняшнего, в частности — для нас и для современной ситуации в путинской России, с её массовым оболванением населения православным лжехристианством, благословлявшим искони правительства и военщину; с военно-патриотическим «воспитанием» (одурением и развращением!) детей и малодумающих взрослых людей; с её бандюжьей циничностью; с криминализацией и милитаризацией массового сознания, вышедшими на новые «высоты» с момента преступной аннексии Чекистской Молью Обнулывшейся (а позднее, в 2022 году, и Обосравшейся), В. В. Путиным, законно украинского Крыма и началом подлой затяжной агрессии в отношении Украины.

Статью нужно — читать. Читать *целиком*, а не так, как она подавалась массовому читателю в СССР: в пересказах, цитатками, отрывками — причём, в «лучших традициях» Российской Империи, с неоговорёнными цензурными изъятиями.

И читать статью надо так же, как она писалась: с сердцем, открытым добру и Божьей правде-Истине и с мозгами, незамусоренными мирской ложью, оправдывающей насилие правительств и ложь церковей. Иначе может получиться, как у многих, уже современных Толстому, читателей и критиков статьи: как у честных, благородных людей консервативного лагеря, как правило, искренне православных, так и у прозападных либералов и пацифистов, а равно и у радикальной оппозиционной сволочи — которые, с совершенно различными эмоциями и мыслями, но в большинстве своём, одинаково восприняли только критическую «половину» данной статьи: проклятие войне, военщине и другим паразитам, в мундирах и без...

Между тем, Толстой-христианин, пища эту живую, честную вещь, *ловил* себя на помышлениях мирских, и — вымарывал из черновиков имена и многие резкие слова.

На этом — *почти* всё об актуальности этой статьи для нас, весной 2023-го года. Многие уже и было сказано в этой книге, об этой самой актуальности — что статья «Одумайтесь» нудит теперь повторить... Но, дабы не превращать научно-исследовательский очерк в политический памфлет, ниже будем говорить преимущественно о другой эпохе, о восприятии статьи её современниками, а также о той её актуальности, которую она имела для самого яснополянского старца: *религиозной*.

Ибо, вопреки всему лживому толстоедению времён СССР, вопреки и теперешним некоторым исследователям, рядящим отче Льва в овечьи шкурки пацифизма, смеем утверждать, что все лучшие «антивоенные» публицистические выступления Льва Николаевича — отнюдь не против «буржуазного милитаризма» направлены, а против *безверия* нашего лжехристианского мира (и России в том числе, примкнувшей к византийскому безверию ещё в конце X века, при «святом» Красном Солнышке Владимире-князе).

Ключевые смыслы статьи, как мы постараемся показать — *религиозные*. Это взгляд даже не просто исповедника Христова, каким является Лев Николаевич Толстой в своих даже менее сильных работах, а — пророка и апостола в отношении народов всего «цивилизованного» мира.

* * * * *

Прежде всего, вспомним кое-что из сказанного ранее.

К началу 1890-х гг. сформировались и начали действовать два значительных импульса, побудивших Льва Николаевича Толстого к антивоенным выступлениям в печати: один — внутренняя, духовная потребность в вере, не замутнённой обличёнными им в 1880-х церковными лжеучениями, другой — картины российской действительности: жизни гваздающихся в нищете и невежестве, грязи, а часто и в крови трудовых и военных рабов имперских «элит».

Третий импульс поступал вместе с газетами, брошюрами, с которымизнакомился Толстой и в которых отразился всплеск милитаристских настроений, наблюдавшийся в Европе в последней четверти XIX века. В условиях активации военных приготовлений среди рабов и слуг господствующей лжехристианской цивилизации распространялись, как чумная зараза, искусно подновлённые теории, выискивавшие «великий общенациональный смысл» войны, её «божественное происхождение», её якобы благодетельное влияние на исторический прогресс и даже на нравственность человека.

Ответом Л. Н. Толстого на такие идеологические инвазии в массовое сознание стал написанный в период с июня 1890 по май 1893 г. трактат «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Этот трактат, как мог убедиться читатель, исключительно плох в отношении логики и структуры, беспрецедентно многословен, растянут и местами неубедителен... но он всё равно шедеврален — по *идейному содержанию, образному строю и по искренности!*

Трактат во многом перекликается своим идейным содержанием и с «Carthago delenda est» 1898 года, и с «Одумайтесь!», и с более поздней статьёй с библейским названием — «Конец века» (1906). В последней только представители не исламского мира, а японские самураи названы теми, кому суждено наказать лжехристиан за их многовековое самоуверенное отступничество от первоначального учения Христа. Японцы быстро смогли освоить и европейское оружие, и европейские же приёмы ведения войны, и главное: европейскую *ложь религиозную*, которой сподручно оказалось извратить и буддийское учение (эта тема затронута и в статье «Одумайтесь!»). Японцы стали сильны — а номинальные *христиане* ослабляют себя уже тем, что массово потеряли доверие церковной лжи, но и не послушались Христа, даже получив возможность массово прочесть святыне Благовестия, и, наконец, остались совсем без веры живой, без нравственного руководства помыслами и поступками.

Уже в трактате, а позднее и в статье «Одумайтесь!» и ряде других Толстой цитирует авторов, разоблачая выразившуюся у них демагогию правительств, разглагольствующих о мире и одновременно, якобы для «обеспечения» этого мира, «безопасности», увеличивающих вооружения и военные расходы — в ущерб истинным нуждам обитателей их государств.

При этом даже сами «власть имущие» во времена Толстого не раз с циничной откровенностью признавались, что войска, заботу о которых они ставят превыше всего, нужны им не столько в периоды кровавого международного самоистребления «человека разумного», сколько в мирное время, для действий против собственных угнетённых народов — т. е. для обеспечения функционирования государства, шкурно потребного им разбойничьего гнезда, устроенного для системно организованного отъёма нетрудовой халявы у людей трудового народа. Ведясь на собственные первобытные витальные фобии (ожидая страшных «врагов» извне), простые, слишком простые граждане, т. е. большинство обитателей каждой гостерритории, издревле попали в безвыходную психологическую, а следом и экономическую и политическую, зависимость от своих же правителей,

якобы защитников, а не от этого внешнего врага, которым пугают их эти правители.

Любой же закон избранных ими (на выборах «честных и прозрачных», ясный пень!) законодателей оборачивается против них уже тем, что плодит не только коррупционный «криминал у власти», но и преступников, бунтарей, террористов, мошенников, убийц, прошедших прекрасную «школу ненависти» — развращение заразительным примером правительственных людей, не только распиливающих бюджетные баблосы, но и распределяющих между нижестоящими ответственность за участие в убийстве сограждан таким образом, чтобы молчала совесть каждого из них, от генерала до солдата.

Другая важная тема трактата «Царство Божие внутри вас», наследованная в статье «Одумайтесь!» — это тема *подлости повинования* граждан, военных рабов своего государства, обманывающей и губящей системе.

Воинская всеобщая повинность, принятая народами России, обязательная служба в войске, по мысли Толстого, есть предел не только государственного деспотизма, но и рабьего повиновения граждан, ибо она требует отречения от всего, что должно быть дорого и свято и христианину, и всякому разумному человеку и «разрушает все те выгоды общественной жизни, которые она призвана хранить» (28, 139).

Прослеживая конкретно-историческую детерминанту всеобщей воинской повинности среди цивилизованных христиан, писатель говорит о ней как о неизбежности в условиях нарастающего военного противостояния держав. Одна за другой, они ввели всеобщую воинскую повинность, и «сделалось то, что все граждане стали угнетателями самих себя» (*Там же*).

Иллюстрацией, доказывающей справедливость этого тезиса, стало для Л. Н. Толстого событие, описанное в главе 1-й заключения к трактату. 9-го сентября 1892 года на станции Узловая Сызранско-Вяземской железной дороги писатель встретился с карательным отрядом, направлявшимся, под руководством тульского губернатора Н. А. Зиновьева, для наказания крестьян, не давших своему помещику рубить лес. Об этом эпизоде мы сказали довольно в соответствующей главе книги.

Особенно интересна, как образная и идейная предшественница «Одумайтесь!», статья «Христианство и патриотизм» (окт. 1893 – март 1894), написанная Львом Николаевичем под впечатлением от франко-русских демонстраций, проходивших в октябре 1893 г. по случаю заключения франко-русского союза и прибытия в Тулон эскадры русских военных кораблей. Встречу эскадры сопровождала

«психопатическая эпидемия» позитивного настроения — о которой Толстой предупреждает в статье, что она легко может поменяться на свою противоположность: военную ненависть “союзников” к общему противнику, за которой последует и военная бойня:

«Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство [...]. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма, к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получают двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно, засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы, и надеющиеся получить за убийство людей высокоценимые ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звёзды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперёд записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья» (39, 46 – 47).

Миллионы, каждый против своей разумной воли, будут втянуты скопом в новую бойню. А итог всегда один:

«...Опять одичают, остервенеют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их» (Там же. С. 47).

Эти отрывочки нам необходимо было напомнить именно здесь: в статье «Одумайтесь!», читатель встретит практически автоцитирование, этот же отрывок, изложенный Толстым значительно короче. И не напрасно! По существу, пророчество Толстого осуществилось: «психопатическая эпидемия», пусть и не обратившаяся в этой войне в ненависть к неведомым простому россиянину японцам, но всё-таки обернулась войной. И, кстати, связь с десятилетней давности русско-французским союзом у этой войны была: милитаризация Японии, усиление её международного влияния не совпадали с интересами не только Российской Империи, но и европейских государств, таких как Германия и Франция. Германия, Россия и Франция добились изменения условий Симоносекского договора 1895 г. между Японией и честно, жестоко и красиво разгромленным ей Китаем: предпринятая с участием России тройственная дипломатическая интервенция 23 апреля 1895 г. (когда Россия, Германия и Франция одновременно потребовали отказа Японии от аннексии

Ляодунского полуострова, которая могла бы привести к установлению японского контроля над стратегически ценным для России (Порт-Артуром) привела к передаче полуострова в 1898 году России в арендное пользование. Осознание того, что Россия фактически отобрала у Японии честно захваченный полуостров, привело к новой волне патриотических настроений и милитаризации Японии, на этот раз направленных против России.

В 1903 году спор из-за лесных концессий в Корее и продолжающегося освоения Россией Маньчжурии привёл к резкому обострению русско-японских отношений. Концессии на реке Ялу на границе между Китаем и Кореей, полученные 9 сентября 1896 года у корейского правительства владивостокским купцом Юлием Бринером сроком на 20 лет, по существу, один из факторов российского проникновения в Корею, крайне раздражали Японию.

В конце декабря 1903 года Главный штаб в докладной записке Николаю II обобщил всю поступившую разведывательную информацию: из неё следовало, что Япония полностью завершила подготовку к войне и ждёт лишь удобного случая для атаки. Именно к этому периоду относится не потерявший актуальности для современной России миф (или анекдот), связанный с именем Вячеслава Константиновича Плеве (1846 – 1904), тогдашнего российского министра внутренних дел и шефа жандармов. Якобы Алексей Николаевич Куропаткин (1848 – 1925), покидая в феврале 1904 г., в первые дни народной беды, пост военного министра (в период войны он последовательно занимал должности командующего Маньчжурской армией (7 февраля — 13 октября 1904), главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против Японии (13 октября 1904 — 3 марта 1905) и командующего 1-й Маньчжурской армией (8 марта 1905 — 3 февраля 1906), упрекнул Плеве, что тот содействовал развязыванию войны «и примкнул к банде политических аферистов». На это добрый старичок ответил: «Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Впервые эта приписываемая Плеве фраза была опубликована в книге «Исход российской революции 1905 года и правительство Носаря» В. И. фон Штейна (псевд. «А. Морской»), агитировавшей в поддержку Витте. Возможно, однако, что этот анекдот — выдумка самого С. Ю. Витте, изложившего его в посмертно изданных воспоминаниях.

Не исключаем и того, что Витте (или всё-таки Плеве?) просто повторил выражение государственного секретаря США Джона Хейя: «Это должна быть блестящая маленькая война» (a splendid little war).

Эту фразу из письма (от 27 июля 1898 г.) Джона Хея президенту США Теодору Рузвельту сам Рузвельт позднее опубликовал в книге «Описание испано-американской войны» (1900). То есть, впервые крылатое выражение явилось с уст совсем другого пропагандиста, другой страны и по поводу другого военного правительственного преступления — о котором в данной книге уже шла речь.

Но всё-таки, «сказка ложь, да в ней намёк»: выражение закрепилось в русском языке как обозначение стремления халтурных правительств (не только России) «отвлечь» внимание граждан страны от внутренней политической повестки в неблагоприятной для политических лидеров ситуации или улучшить своё политическое положение за счёт гарантированного в безверном мире эффекта сплочения — реакции на инвазированные пропагандой тревоги, страх. Опять же, мы возвращаемся к пророческой «психопатической эпидемии» — в наши дни, в 2022 – 2023 гг., актуализировавшейся в виде массовой поддержки преступлений бандитов Владимира Путина в Украине.

* * * * *

Обманутые и обманывающие себя обитатели имперской России, потенциальные военные рабы тёти «родины», так и не вняли ни в 1890-е годы, ни в начале 1900-х доводам яснополянского учителя. И вот в 1904 году их захлёстывает одна из жесточайших, хотя и не очень продолжительных, войн XX столетия. Можно понять весь ужас и горечь, испытанную Львом Николаевичем при открытии этой бойни.

27 января Толстой записывает в Дневнике:

«Война, и сотни рассуждений о том, почему она, что она означает, что из неё будет и тому под. Все — рассуждающие люди, от царя до последнего фурштата. И всем предстоит, кроме рассуждений о том, что будет от войны для всего мира, ещё рассуждение о том, как *мне, мне, мне* отнестись к войне? Но никто этого рассуждения не делает. Даже считает, что не следует, что это не важно. А схвати его за горло и начни душить, и он почувствует, что важнее всего для него его жизнь, и эта жизнь — его “я”. А если важнее всего эта жизнь, его “я”, то кроме того, что он журналист, царь, офицер, солдат, он — человек, пришедший в мир на короткий срок и имеющий уйти по воле Того, Кто его послал. Что же для него важнее того, что ему делать в этом мире, — очевидно, важнее всех рассуждений о том, нужна ли и к чему поведёт война. А делать по отношению войны ему очевидно что: не воевать, не помогать другим воевать, если уж не удержат их» (55, 10 – 11).

«Цивилизованный мир», опозоривший себя допущением этой бойни после всего сказанного против всех войн Толстым, знал, конечно, какой отпор встретит он во взглядах великого старца. Но именно поэтому-то печать, торгующая всеми принципами, цинически притворилась незнающею и... запросила у Льва Николаевича его мнение!

9 февраля 1904 года Лев Николаевич специально ездил верхом на лошадке в Тулу, за телеграммами о войне. Среди прочих он получил телеграмму из Американских Штатов, от редакции крупной ежедневной газеты «The North American», издававшейся в Филадельфии (штат Пенсильвания) с 1839 г., с вопросом: «за кого он — за русских, японцев или никого?» Ответ Толстого был следующий: «Я не за Россию и не за Японию, а за трудовой народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный бороться против своего благосостояния, совести и религии» (*перевод с англ., 75, 37 – 38*).

Даже выращенным в религиозном обмане русским народом война с Японией принята была как нелепость и истинное бедствие, и мало можно было найти людей, которые шли на войну с охотой и воодушевлением. Напротив, во многих местах России наблюдались случаи прямого сопротивления. Дух протеста против солдатского рабства в первый раз дал себя серьёзно почувствовать. И прекрасно, что немалую роль в этом протесте сыграло распространение христианских писаний Льва Николаевича!

Замечательный, и по сей день лучший биограф Льва Николаевича, его друг и единомышленник Павел Иванович Бирюков, приводит такое свидетельство: некий епископ церковного лжехристианства Иннокентий, живший в свежеприсоединённой Россией т. н. Квантунской области, в городе-порте Дальнем (позднее, у японцев, Дайрен, а нынче это китайский Далянь), в своей статье по поводу японской войны прямо упрекает офицеров в практическом исповедании ими учения Христа:

«Наблюдая, — пишет епископ Иннокентий, — картины из местной военной жизни и слыша весьма часто из уст офицеров толстовскую мораль касательно войны, невольно приходится удивляться, как может армия при таких условиях справиться со своими великими задачами... Носить военный мундир и быть поклонником толстовского учения — это похоже на то, как если бы человек, оснастивши корабль и выйдя в открытое море, отказался бы от целесообразности своего плавания» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х тт. М. – Пг., 1923. Т. 4. С. 92*).

Конечно, г-н епископ выступает здесь в своеобразном амплуа церковника: отработывая кесарю срамную свою кормушку, он *лукавит*, т. е. служит лукавому, сатане дьяволу. Он не может не понимать, что его сравнение некорректно: если рыбака, к примеру, влечёт в море необходимость привычного для него, и притом мирного, промысла, то надевать на себя особенный казённый наряд с шутовскими нашивками, побрякушками и т. п. (военный, полицейский, чиновничий...), называть себя особенными кличками (солдата, полица, министра, прокурора и т. п.), вооружаться орудиями, адаптированными для человекоубийства — людей влечёт, непосредственным образом, принятый ими на веру мирской обман, который паразитирует на атавизмах их природы как территориальных, маленьких, легко пугливых зверюшек и который поддерживают православные единоверцы г-на епископа.

Таким образом, сила влияния Христа и Будды — в том числе, чистой, христианской, евангельской проповеди Льва Николаевича — уже на первых порах войны ослабляла удар встретившихся врагов.

Разумеется, многие люди, чужавшие духовную мощь Толстого, ждали от него оценки мировых событий. Ждали что он скажет по поводу войны России с Японией. Ждали этого многие, но у немногих хватило храбрости или бесстыдства задать этот вопрос самому Льву Николаевичу. Один из первых решился на это выдающийся писатель, драматург и публицист *Жюль Кларети* (фр. Jules Claretie, 1840 – 1913). Он поместил в газете «Le Temps» пространное открытое письмо ко Льву Николаевичу. Тон этого письма довольно легкомыслен, текст — эмоционален, болтлив и свидетельствует о заведомом отказе вопрошающего не просто зафиксировать ответ — из «профессиональных» соображений, ради публикации в той же газете — а понять должным образом и принять, как истину, идейный «фундамент» того, кого он вопрошает. Но вопрос поставлен всё же довольно остроумно, с нагловатой дотошностью, свойственной журналюгам вообще, а французским в особенности. Интересно даже то, как Жюль Кларети отражает в себе актуальное и до наших дней мнение о Толстом городской интеллигентской шелкопёрной сволочи:

«Вы по вашему способу евангелизировали мир, вы преподали ему мораль сострадания и прощения, которая не всегда признавалась последователями других культов, но которая внесла в сердца людей истинное учение Христа. И вы действительно христианин, потому что прилагаете к жизни то, о чём другие только говорят. Вы ненавидите ненависть. Вы воюете с войной. Вы грезите о братстве, о мире,

о добре между людьми, которые должны наконец ввести человечество в обетованную землю, к которой столетиями шли поколения за поколениями длинной вереницей, усеивая путь свой костями. Одним словом, вы — один из тех пророков, которых утешают несчастных, и когда вы нам указываете в небе звезду, которую вы уже увидели, а мы ещё нет, путь наш нам кажется менее трудным, бремя жизни кажется более лёгким, и мы верим в будущее» (Цит. по: Бирюков П.И. Указ. соч. Т. 4. С. 92).

И так далее, в таком же бодро-льстивом духе...



Жюль Кларети в 1909 г.

Продолжая щедро расточать эпитеты, Кларети наконец подводит речь свою к главному:

«Вполне естественно, что мы именно у вас спрашиваем, что думаете вы, дух которого возвышается над другими, что думаете вы о совершающихся событиях, которые, к сожалению, теперь владеют людьми и опрокидывают все их стремления» (Там же).

«Вы видите, дорогой и великий учитель, — кончает так свою статью Жюль Кларети, — человек есть игрушка событий. Монарх искренно хочет мира, а его заставляют вести войну. Народ стремится к покою — его будят пушечные выстрелы. Великое слово “разоружение” брошено в мир, а вооружённые флоты пробегают океаны, и границы

щетинятся штыками. Пророк добра, вы поучаете людей жалости, а они отвечают вам, заряжая ружья и открывая огонь! Не смущает ли это вас, несмотря на твёрдость ваших убеждений, и не разочаровались ли вы в человеке-звере? Вот это-то я и хотел бы услышать от вас, дорогой и великий учитель!» (Там же. С. 92 – 93).

Надо сказать, что диалог Кларети с яснополянцем так и не сложился — ни устный, ни эпистолярный. Ещё в 1898 г. деликатный француз выслал Льву Николаевичу визитную карточку, подписав её: «С почтительнейшей симпатией». На карточке есть помета Толстого: «Отв[етить]». Но ответное письмо не известно (Чистякова М. Толстой и Франция // Литературное наследство. Том 31 – 32. М., 1937. С. 1023). В этот раз, по всей видимости, желание отвечать автор письма отбил у Льва Николаевича сам — своим тоном.

Как бы во исполнение высказанного в печати страстного желания Жюля Кларети слушать слово Толстого, другой француз, сотрудник газеты «Figaro» Жорж Анри Бурдон (Georges Bourdon, 1868 – 1938), в марте 1904 г. прибыл лично в Ясную Поляну, чтобы выспросить у Льва Николаевича его мнение.

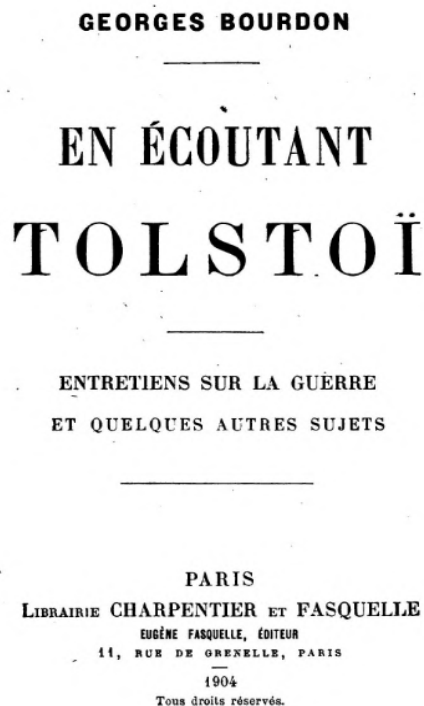


Жорж Бурдон. Снимок нач. XX века.

Он пробыл в Ясной Поляне сутки, мастерски, профессионально вызывая Толстого на длинные беседы, изложение которых составило у него целую книгу («En coutant Tolstoï. Entretiens sur la guerre el

quelques autres sujets», Paris, 1904). Много ранее книги, 5 апреля 1904 г., в своей знаменитой газете, в «Фигаро», он печатает статью, в которой вкратце передаёт сущность своего разговора. Приводим ниже её текст в переводе на русский, по современному научному изданию — с незначительными сокращениями, так как подробности визита, сообщённые самим Жоржем Бурдоном, рисуют достаточно живую и полную его картину и весьма кстати избавляют нас от нужды сообщать их читателю из других источников.

ТОЛСТОЙ И ВОЙНА
(От нашего специального корреспондента)



«Санкт-Петербург. 18 (31) марта 1904 г.

Я совершил паломничество в Ясную Поляну, преодолев белую безбрежную снежную равнину. Один день и одну ночь я был гостем Толстого. С робостью приближался я к его обители. Я не знаю человека, кому книги этого автора не рисовали бы в воображении фигуру более строгую, более впечатляющую, более громадную; и Толстой, в своих книгах изливший сущность своей души, мне казался добрым Боженькой, бесконечно добрым, бесконечно сильным и более грозным в бесконечности своего совершенства.

В маленькой библиотеке на первом этаже, куда только что привёл меня слуга, он шагнул ко мне навстречу; большой палец его левой руки был засунут за кожаный ремень, а правую он протянул мне, с улыбкой, жмущейся в большой бороде; он был похож на доброго Бога с картин итальянских мастеров, которого я внезапно увидел стоящим передо мной.

[...] Причиной моего визита было желание узнать, что он думает о японской войне; но Толстой не записной говорун, к которому любопытный прохожий приходит задать один вопрос, получить на него ответ и тут же раскланяться: Толстой — это неисчерпаемая книга жизни и красоты, и, если он соглашается, чтоб его спрашивали, остаётся только слушать его без конца, как мудреца, уже размышлявшего над этими вещами, и как апостола, для которого идеал — это сущность его жизни. Заметки, которые я сделал, покидая Ясную Поляну, заняли бы целых три страницы этой газеты: я опишу только то, что имеет отношение к настоящим событиям и, в частности, к тайной миссии, которую я выполнил в России.

Он первым заговорил о войне. В большой белой столовой на втором этаже мы сидели вдвоём, и он предложил мне чашечку кофе, чтобы согреться после четырнадцати вёрст, которые я преодолел в неспешных санях, по снегу, по ухабистой дороге.

— Есть ли у вас новости? — спросил он. И добавил, качая головой: — Как можно оставлять без внимания этот конфликт? Это огромная печаль — баталии между людьми.

— Я поднял глаза и увидел приколотую булавками к стене французскую карту Кореи и Манчжурии.

Я возразил:

— Эта война больше, чем конфликт между двумя народами. Она втянула в борьбу две расы. Какие, по-вашему, последствия будут результате победы одной над другой?

— Неважно! Я не различаю расы. Я за “человека” прежде всего, и что бы ни случилось, какая будет выгода человеку от этой войны?.. Несчастье в том, что она показывает, до какой степени люди забывают или игнорируют понятие долга. Есть долг перед семьёй, перед родиной, перед человеком, но наивысший — священный долг перед Богом, если вы позволите мне это слово, или, если слово вам мешает, перед Всем, с большой “В”. Это Всё, которое я зову Богом, стоит над индивидуальными протестами. Что бы я ни думал, я не могу сделать вид, что я не принадлежу к обществу, что я не есть часть гармонии. Сознание, что моя сущность относится к этой гармонии, — это и есть то, что называют религиозным духом. Но люди забыли основные понятия; они больше не читают Евангелие, эту восхитительную книгу;

они остаются в состоянии варварства. И мы видим, как они свободно ввязываются в ужасные войны, не говоря себе, что первый долг, основной долг мыслящего человека — отменять войны!

Старый учитель выражал свои мысли со спокойным убеждением, голосом мягким и серьёзным, и я представлял себе, что святой Пётр, проповедовавший перед коринфянами, держал перед ними речь, похожую на ту, что я слышал.

— Конечно, — вымолвил я. — Но эта война — факт. Не доискиваясь до её причин, не распределяя ответственности, встанем перед этим фактом. И нужно из него сделать вывод. Разве не заинтересован человеческий прогресс в том, что вытекает из этого вывода в смысле цивилизации, и разве не желательно, чтоб наиболее развитая часть человечества воспользовалась своей силой притяжения и научила менее развитую?

— Да, я знаю, над этим тоже размышляют, и это размышление удобно для того, чтоб оправдать все затеи. Я, однако, допускаю это размышление. Я согласен, что цивилизация несёт в себе активную и образовательную силу. Но где цивилизация? Почему вы хотите, чтоб я поместил её в Европе? Потому что европейцы создали себе искусственные потребности и используют свой гений, чтоб удовлетворить их? Потому что они изобрели железные дороги, телеграф, телефон и что там ещё?.. Но все эти достижения так называемой цивилизации мне кажутся изобретениями варварства. Они служат и потворствуют самому низкому, что есть в человеке. Я не вижу, чтоб они его наделяли каким-либо нравственным превосходством; напротив, я вижу, что использование его ума чаще во зло, а не в добро.

— Однако человек создаёт не только орудия войны или инструменты для материальных наслаждений. Он также создаёт машины, которые снижают его усталость, которые уменьшают его усилия...

— Да, они облегчают труд. Но работа — это благо и здоровье; это превосходная вещь, и приятная, и весёлая — вот что такое работа.

— Работа шахтёра, к примеру, — ужасное рабство.

— Работы трудны только от насильственных потребностей. Ограничьте потребности, и вы, как и ваши собратья, избавитесь от усталости. Не работу надо искоренять, а укрощать аппетиты. А современные изобретения, развивая аппетиты, только препятствуют отмене рабства. <Аппетиты и *похоти*, можно тут добавить. Если бы человечество укротило религиозным воздержанием свою, зверюшек Дарвина, приматоидную, гнусную половую похоть, не нужно было бы ни шахт, ни орошаемых огромных полей, ни большинства электростанций и всего прочего для нужд раздувшихся, перенаселённых городов XX – XXI вв. – Р. А.>

Толстой продолжал говорить без восклицаний, тоном повествования, со строгой точностью и тихой силой, которая пренебрегает самоутверждением, бесконечными, без меры, высказываниями.

Позже, вечером, он вернулся к той же теме.

— Нет, нет, говорил он, это не по современным изобретениям надо судить о развитии человеческой духовности. Я вовсе не впечатлён железной дорогой, телеграфом и всеми завоеваниями, с помощью которых человек думает продемонстрировать прогресс. Мы восхищаемся пирамидами и себя спрашиваем: “А для чего они?” Все эти изобретения цивилизации — это наши пирамиды; я думаю, что через тысячи лет придёт народ, который, обнаружив их следы, скажет: “Что ж это были за уникальные люди, которые воображали, что главное в жизни — это быстро доехать из одного пункта в другой?” И они будут правы. Я никогда не понимал пользу путешествий; они служат только для того, чтобы люди теряли время; они служат помехой работе.

Работа — в устах Толстого всегда это слово; я помнил, что он однажды сказал: “У меня работы ещё на триста лет”.

[...] Между тем, я описывал ему японцев грубыми, жестокими, враждебными к иностранцам, скандальными, драчливыми, практикующим пытки, нацией, которая позаимствовала у Европы всего лишь её корабли, пушки, её военные и политические органы, оружие, чтобы лучше биться, нацией, направившей всю свою варварскую силу против беспечного миролюбивого славянина... и я заключил:

— Предположите, гипотетически, невозможную победу Японии; не кончится ли это в её пользу превосходством над всем Дальним Востоком, и это превосходство не будет ли осуществляться в ущерб идеалам мира и прогресса?

Толстой:

— Японцы действительно такие, как вы говорите? Хотел бы я знать. Есть один автор, которого я перечитываю часто, это Паскаль; так вот он писал: “Не подражают нравственности Александра Македонского, но пытаются подражать его завоеваниям”. Вполне возможно так же, что Япония подражает Европе только в её пороках. Но она такова, как она есть, с её достоинствами и недостатками. Она эволюционирует, как и все народы. Она выходит из варварства и начинает отказываться от крепостничества. Думаю, я представляю её примерно в таких условиях, как Россия во времена Екатерины II. Она идёт своим путём, как мы шли своим; и будьте уверены, что её черёд придёт: она разовьётся и усовершенствуется согласно всеобщему закону...

— Она жёлтая; где прогресс жёлтой расы? Посмотрите на Китай: каковы очевидные движения его эволюции за тысячелетия?

— Мы очень мало знаем жёлтый мир. Кто из нас его изучал, в него проникнул, заглянул в его сознание? Я знаю, что китайцы, индусы не воинствующие народы, они презирают войну и тех, кто её ведёт: это уже нечто, это настоящее превосходство над нами. Я знаю, что они не убивают. Я знаю, по рассказам путешественников, что они надёжны в делах, что они держат слово, что они никогда не обманывают. Вот ещё одно, чего нет в Европе.

— Однако взгляните на их дипломатию: замкнутая, хитрая, коварная.

— Вы правы. И потом они практикуют пытки. Это странно. Как объяснить это? А их философы сформулировали превосходные мысли: вспомните о Конфуции, о Будде. И если они жестоки, не таковы ли мы тоже? Ведёт ли кто счёт злодеяниям нашего христианского мира, претендующего на то, чтобы называться цивилизованным? Где действия, где результаты цивилизации в Европе? Продвигается ли мир или отступает назад? Не настало ли время задать себе этот вопрос? А об Англии, когда она пошла на Трансвааль, не можем ли мы сказать, что она регрессирует? Где вы видите в деяниях наций-колонизаторов идею подлинной цивилизации? И вы хотите, чтоб я решил *a priori*, несёт ли триумф той или иной нации больше пользы человечеству?

<Умница Толстой, Толстой-христианин начала XX века — за “горизонтом” развития в сравнении с его сыном Львом в 1930-х, с его теорией сильных и слабых рас и необходимых, якобы, в Европе расовых чисток. — Р. А.>.

Во время обеда я спросил:

— Правда, что вы предложили для раненых и больных тысячу ящиков своих книг? Это утверждали министерские чиновники в Петербурге.

Графиня Софья Андреевна, одна из невесток — жена графа Андрея, которая присутствовала здесь, сам хозяин — все разразились смехом. Толстой весёлый человек, он любит смеяться, он широко улыбается, он говорит просто, но его реплики обладают магической ясностью. На этот раз он смеялся искренне, запрокинув назад свою красивую голову, его большие руки, мощные и длинные, упирались в живот под кожаным ремнём в привычном ему положении.

— Да, я читал в какой-то газете. Но что это за история? У меня никогда не было такой мысли.

— Позвольте мне один вопрос. В настоящий момент, когда решайся судьба России, вы, русский, что бы вы ни думали о войне вообще и об этой в частности, неужели у вас нет никаких соображений относительно практического применения и пропаганды ваших идей?

— Никаких. Но я хочу быть искренним, — сказал он, смеясь. — Я не чувствую себя в глубине души полностью свободным от чувства патриотизма. Атавизм ли, образование ли, но это чувство присутствует во мне, невзирая ни на что. Мне необходимо обратиться к собственному разуму, к моему основному долгу, и тогда я говорю себе безо всяких угрызений совести, что нет в мире разума, который мог бы превзойти человеческий. Да, моё сознание мне говорит, что убийство, в какой бы форме оно ни совершалось, каким бы предлогом оно ни оправдывалось, — ужасно, что война — чудовищное бедствие, что всякий, кто готовится к войне, достоин осуждения.

В первый раз я увидел, как Толстой разгорячился. Речь его тороплива, голос дрожит, черты лица напряжены; глаза сверкают, и я вижу в его груди силу, которая его поднимает, и сияние исходит от всей его персоны.

— Нет ничего, ничего более ужасного. Никогда мир не видел ничего подобного. Со времён Чингисхана убивали только те, кто этого хотел; люди имели право оставаться у себя дома, возделывать свою землю, жить в мире, делать добро. Цивилизованный мир сегодня более жесток, чем Чингисхан; каждому человеку он *приказывает* убивать, хочет тот или нет, а если он отказывается, его наказывают как преступника!.. Как это принять? Как не возмущаться? Как не замечать позора этой кровавой тирании?.. И что делать, что предпринимать, я вас спрашиваю, пока всё это будет продолжаться? Как надеяться облагородить души, пока они будут принимать подобное рабство?.. Это глубоко прискорбно. Если бы вам дали в руку нож и под страхом смерти приказали бы перерезать горло вот этой моей внучке, вы бы этого не сделали, потому что морально это для вас невозможно. Если бы христианский долг был в глубине сознания, то также было бы невозможно любому человеку взять ружьё и пойти против себе подобных.

Голос его затих, и он говорил уже с меланхолией и бесконечной жалостью.

Немного позже он заключил:

— У людей на устах всегда прекрасное слово — свобода. Свободу не устанавливают, не основывают, не организуют; проблема в том, чтобы устранить насилие; изгоните насилие — и наступит свобода.

— Чтобы отменить насилие, не надо ли вначале устранить самого человека?

— Не говорите так. Насилие не коренится в человеке, так как я знаю людей, которые ненавидят его, и я мечтаю об обществе, в котором его объявят вне закона. И вы, и я, мы прекрасно чувствуем, что насилие бесполезно между нами, потому что мы имеем в своём распоряжении инструмент, который сильнее насилия, — разум, и не надо говорить, что насилие имманентно в человеке; и не нужно даже размышлять об этом, потому что это значит запретить себе проповедовать отмену. И существует народ, который осознал себя вне насилия. Это духоборы. Почему бы человечеству однажды не присоединиться к тому, чего они достигли вдумчивым присоединением к своему разуму?

— Через какие муки и в каком отдалённом будущем?

— Что делает время? Человеческая эволюция — это очень медленное движение, едва заметное на наш взгляд, но непрерывное и непрерывное. Наша нетерпеливость — это ошибка. Мы судим о вещах по себе, по тому, сколько времени длится наша жизнь. Поразмышляем лучше о тысячелетиях, которые были до нас, и о тех, что будут после нас. Когда смотришь с такой высоты, надежда дозволена. Как же отрицать человеческий прогресс? Сколько побед уже от первоначального зверства? Человек искоренил пытки, уничтожил рабство: разве же это ничто? Он освобождался всё больше и больше с каждым днём. Придёт время его окончательного расцвета.

— Но тогда сколько сотен веков пройдёт, прежде чем вселенная, может быть, завершит свой цикл, и наступит час, когда человечество исчезнет в эволюции миров?

— Ах, может быть!.. Но не будем об этом. Благороден ли этот идеал, чист ли он? Может ли он получиться из доброго и настоящего? Вот о чём себя надо спрашивать, и если ответ будет положительным, надо проповедовать это без устали...

На этом славный учитель прервал свои мысли о русско-японской войне.

[...] Эта война постоянно занимает Толстого. Днём я совершил прогулку в санях вместе с женщиной высокого духа и большого сердца. Она была спутницей всей его жизни и подарила ему тринадцать детей, и так как я её спрашивал об одном и том же, она мне сказала с живостью, которая составляла очарование её речи:

— Не говорите мне об этом. Он с жадностью ловит каждую новость, а на днях он поехал в Тулу верхом за двадцать восемь вёрст по снегу, чтобы получить телеграмму с войны!

Льву Толстому семьдесят пять. Каждый день он совершает в одиночестве прогулку или пешком, или верхом на лошади. Он говорит о смерти с улыбкой. Пусть ей улыбается: смерть робеет перед теми, кто готов принять её радостно...» (*Друзья и гости Ясной Поляны. Тула, 2020. С. 149 – 159*).

По тексту газетного очерка Жоржа Бурдона хорошо видно, что Лев Николаевич, действительно, с напряжением следил за военными событиями на Дальнем Востоке. И даже чувствовал в себе “шевеления” патриотизма — справедливо относя их к остаточным проявлениям детских “прививок” сословного воспитания. Как и в отдалённом уже по времени эпизоде общения с Полем Деруледом, он безмерно далёк оказался от всякой снисходительности к следующей стадии милитаризации изуверившегося сознания соотечественников Паскаля, Руссо, Вольтера, Ламеннэ — теории расовых различий. Любое слово симпатии в пользу французов и критики японцев могло в газетной публикации быть истолковано если не как поддержка Толстым этой теории, то, во всяком случае, как свидетельство поддержки «цивилизации» в вооружённой борьбе с «жёлтой расой». Спровоцировать Толстого на такое высказывание и было задачей Бурдона. Но он не просто провалил ту миссию, с которой ехал и о которой, в конце концов, лишь деликатно обмолвился... Толстой, кажется, сам существенно повлиял на хитрого и разговорчивого француза.

Вот момент победы: когда Бурдон, несмотря на всю свою интеллигентскую тупость, в ужасе отшатнулся от идеи, поданной ему Толстым — взять лежащий на обеденном столе нож и немедленно зарезать игравшую подле беседующих взрослых маленькую внучку Льва Николаевича. Ибо это, как тут же ликующе подчеркнул Толстой — нравственно невозможно. И тут же добавил (перевод П. И. Бирюкова): «Если бы только христианское сознание лежало в основе души человека, ему бы так же стало невозможным взять в руки ружьё и идти убивать своих ближних!» (*Цит. по: Бирюков П.И. Указ соч. Т. 4. С. 93*).

На следующий же день Бурдон предпочёл убраться восвояси: ответ Льва Николаевича на поставленные им вопросы был достаточно ясен... и наверняка стал острейшим, незабвенным впечатлением на всю дальнейшую его, бурдонью, жизнь!

Но для самого Льва Николаевича, раздраченного таким общением, а ещё более военными новостями, одного «съеденного» французишки уже было мало, и он преисполнился нового вдохновения высказаться на весь мир, во весь голос и во всю силу своего слова и своего духа. Работа над статьёй «Одумайтесь!» к этому времени уже

шла: начата она была, напомним, ещё в январе 1904-го, когда впечатления от чтения французской антивоенной хрестоматии «Guerre — Militarisme» соединились для писателя и публициста с известиями о войне. Самая первая черновая рукопись даже открывалась упоминанием об этой книге (см. 36, 605).

Общение с Жоржем Анри Бурдоном оставило, вероятно, неприятный осадок у Толстого, выразившийся в черновиках статьи «Одумайтесь!» таким, например, пассажем в адрес всех его коллег:

«Одумайтесь вы, многоречивые и лживые писаки-журналисты. Если вам нужны рубли, которые вы добываете своею ложью и возбуждением вражды между людьми, то лучше идите грабить на большую дорогу: вы, убивая богатых и отнимая у них деньги, будете менее преступны, чем теперь, сидя дома и возбуждая вашими гадкими речами людей к вражде и всякого рода злодействам» (Там же. С. 608).

Сравним с записью в это же время в Дневнике Толстого:

«Какое праздное занятие наша подцензурная литература! Всё, что нужно сказать, что может быть полезно людям в области внутренней, внешней политики, экономической жизни и, главное, религиозной, всё, что разумно, то не допускается. То же и в деятельности общественной. Остаётся забава детская. “Играйте, играйте, дети. Чем больше играете, тем меньше возможности вам понять, что мы с вами делаем”» (55, 6 – 7).

«Детской забавой» осознаёт Толстой и деятельность российских либералов, их по-интеллигентски подлое отношение к правительству: «И отношение это может быть двоякое: или правительство есть необходимое условие порядка, и надо подчиняться и служить ему; или признать то, что я признаю и что нельзя не признать, что правительство есть шайка разбойников, и тогда надо, кроме того что стараться просветить этих разбойников, убедить их перестать быть разбойниками, самому выгородить себя, насколько это возможно, от участия с этими разбойниками в пользовании их добычей. Главное — не делать то, что делают теперь либералы: признавать правительство нужным и бороться с ним его же орудиями. Это детская игра» (55, 10).

Лев Николаевич долго работал над этой статьёй. Уже 19 февраля в Дневнике появляется такая запись:

«Всё время пишу о войне. Не выходит ещё. Здоровье недурно. Но с некоторых пор сердце слабо. Никак не могу приветствовать смерть. Страх нет, но полон жизни и не могу» (55, 13).

Отсылая наконец В. Г. Черткову прибавления и поправки к статье, Толстой писал ему 28 апреля 1904 г.: «Статья эта вышла как-то круто заострённая, оттого что я писал статью о том, что все бедствия людские от отсутствия религии, и уже довольно подвинулся в этой статье, когда началась война, представлявшаяся мне иллюстрацией моей мысли. От этого я соединил две темы, и, пожалуй, ни одна не обработана достаточно» (36, 604).

Первая тема разрабатывалась Толстым в статье о значении религии «Камень главы угла», завершённой под заголовком «Единое на потребу» (1905).

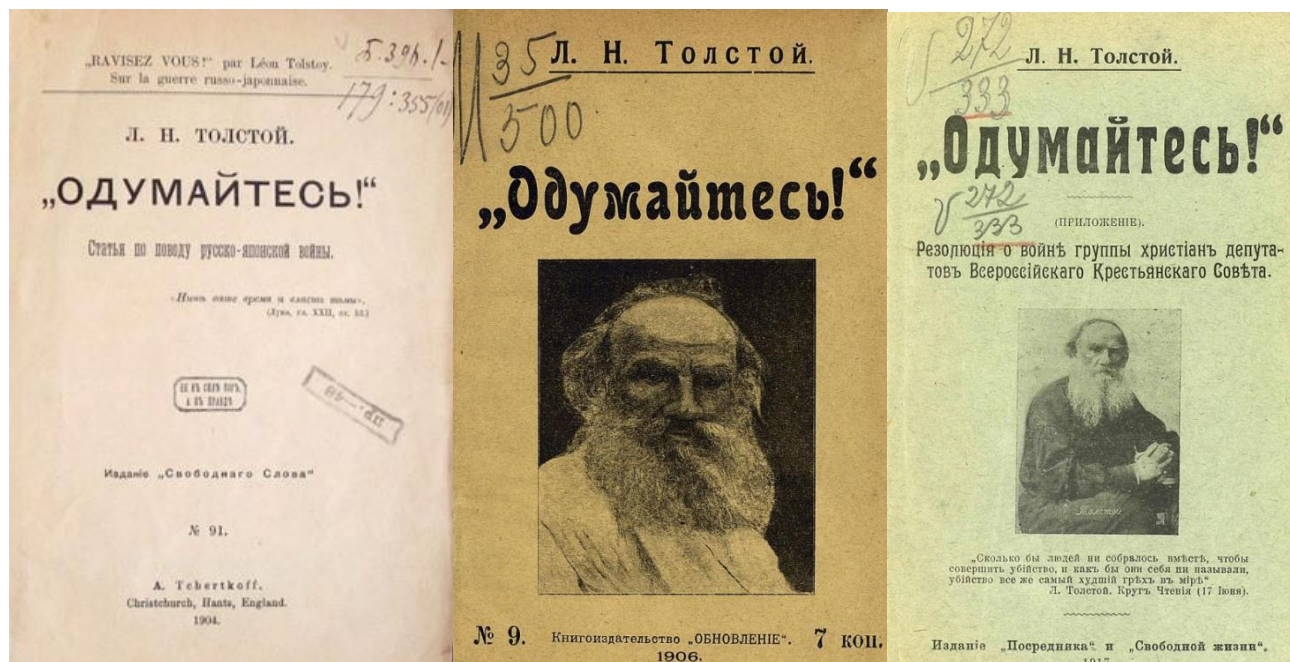
Итак, что было неизбежно для Толстого-публициста, тема войны снова встретилась в «Одумайтесь!» с темой главной: христианского безверия нашего мира. В дальнейшем работа над специальной статьёй о религии на время была отложена и Толстой всецело занялся сочинением, которое с самого начала получила евангельское заглавие «Одумайтесь!» и которое сам автор в Дневнике и переписке называет «О войне».

Вопреки жалобам автора, последняя редакция статьи подписана им уже 8-го мая. В конечном варианте многие резкие слова и эпитеты были Львом Николаевичем устранены (напр., «проклятые цари» было заменено на «безжалостные цари»), зачёркнуты все личные имена в пассажах, подобных этим: «Вы, кто затеял это дело: и Николаи, и Безобразовы, и Витте, и Суворины, и Меньшиковы»; «ступайте вы, Николаи с Куропаткиными, и Драгомировы, и Суворины, и Меньшиковы, ступайте убивать японцев, если вам это нравится, а мы не можем этого делать», и др. (Там же. С. 609).

Вместе с тем писатель сомневается: «Читаю газеты, и как будто все эти битвы, освящения штандартов так тверды, что бесполезно и восставать, и иногда думаю, что напрасно, только вызывая вражду, написал я свою статью, а посмотришь на народ, на солдаток, и жалеешь, что мало, слабо написал» (55, 46).

Статья вышла в издании «Свободного слова», в Крайсчерче, в Англии, в 1904 г. Редакция к её заглавию сделала подзаголовок: «Статья по поводу русско-японской войны». В том же году вышло второе популярное издание, предназначенное для народа и солдат, без эпиграфов, и третье, воспроизводящее первое, но устраняющее кое-какие его ошибки.

В России статья «Одумайтесь!» вышла впервые в 1906 г. в издании «Обновление» отдельной брошюрой (конфискована). В 1911 г. статья напечатана в девятнадцатой части двенадцатого издания сочинений Толстого (тираж тома так же был конфискован).



Издания «Одумайтесь!» 1904 г. (в Англии), 1906 и 1917 гг. (в России)

* * * * *

Не считая дописанных на последнем этапе работы двух заключительных глав статьи «Одумайтесь!», десять им предшествующих ощущаю делаются пополам: от начала до конца пятой главы — преобладают описания и критика происходящего, с главы же 6-й — религиозная проповедь.

В свою очередь, каждая глава статьи «Одумайтесь!» структурно распадается на две части. Первая часть представляет, в виде пространственных эпиграфов, свод мнений различных мыслителей о войне. Вторая часть каждой главы представляет основной текст статьи — рассуждения и умозаключения Льва Николаевича на ту же тему. Для значительной части эпиграфов шедевра публицистики Л. Н. Толстого «донором» послужила книга *Жана Грера* (фр. Jean Grave; 1854 – 1939) — французского общественного деятеля, философа, публициста, теоретик анархизма, популяризатора идей и работ Петра Кропоткина во Франции. Книга была опубликована в 1902 г. под названием «Guerre-militarisme. Bibliothèque documentaire. Les temps nouveaux» («Война, милитаризм. Хрестоматия. Новое время»), и, как можно догадаться из названия, содержала подборку антивоенных текстов разнообразных авторов. Здесь мы не будем вдаваться в подробности персоналий авторов или предпочтений Л. Н. Толстого при заимствовании. С полным списком источников для значительней-

ших, в замысле Толстого, эпиграфов 11-ти глав статьи читатель может познакомиться в научном комментарии к ней в Полном (Юбилейном) собрании сочинений Толстого (см: 36, 617 – 618).

С одним из эпиграфов, к V-й Главе, связана история, которую мы не можем обойти вниманием. В 1948 г., в книге XII (Т. 1) Летописей государственного литературного музея были опубликованы письма племянницы Л. Н. Толстого, дочери сестры писателя Марии Николаевны Толстой, Елизаветы Валерьяновны Оболенской (урожд. Толстая; 1852 – 1935) к дочери, Марии Леонидовне Маклаковой (урожд. Оболенская; 1874 – 1949). В письме из Карамышева от 26 мая 1904 г. она сообщает дочери:

«...Война на меня очень тяжело действует; не могу равнодушно читать о тех ужасах, которые делаются, думать о тех, которые ещё будут делаться; патриотических разговоров избегаю слушать; я не хочу этим сказать, чтобы я была сама совсем лишена патриотического чувства; я очень сочувствую несчастным русским солдатам и морякам, которые, страдая и умирая, не имеют даже этого чувства удовлетворения, что они сделали что-то полезное, но не могу находить, что всё, что у нас делается, прекрасно; не могу говорить “слава богу” при известии, что японцев погибло вдвое больше, чем русских. Лев Николаевич написал прекрасную статью о войне. Статья сама по себе хороша, кроме того, каждой главе предшествуют несколько эпиграфов, взятых из всевозможных авторов всевозможных времён, и эти эпиграфы составляют главное украшение статьи. Среди них есть скромная фраза, выписанная из моего письма к нему, подписанная “Из частного письма русской матери” и почему-то очень ему понравившаяся. Статья эта у меня списана...» (*Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. Т. 2. С. 142*).

Фраза Елизаветы Валерьяновны, которую Толстой вынес в эпиграф, следующая:

«В “Русских Ведомостях” я прочла рассуждение о том, что выгода России в том, что у неё неистощимый человеческий материал.

Для детей, у которых убьют отца, у жены — мужа, у матери — сына, материал этот истощается скоро» (36, 114).

Все эпиграфы несут в статье существенную смысловую нагрузку. В отношении же их выборки структурным исключением стала заключительная глава: как и заключительная, тоже Двенадцатая, глава в трактате «Царство Божие внутри вас», она не была запланирована Толстым до последнего момента и стала его откликом на актуальнейшие события последних дней.

Лев Николаевич начинает статью выражением своего возмущения совершившимся фактом — объявлением войны:

«Опять война. Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей.

Люди, десятками тысяч вёрст отделённые друг от друга, сотни тысяч таких людей, с одной стороны буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных, с другой стороны христиане, исповедующие закон братства и любви, как дикие звери, на суше и на море ищут друг друга, чтобы убить, замучить, искалечить самым жестоким образом.

Что же это такое? Во сне это или наяву? Совершается что-то такое, чего не должно, не может быть, — хочется верить, что это сон, и проснуться.

Но нет, это не сон, а ужасная действительность» (36, 101).

Анализируя причины войны, Лев Николаевич возвращается к давнему, 1880-х годов, своему заключению, что люди заблудились на своём пути к благу, утратив религиозный ориентир в едином учении жизни, выраженном в основаниях всех величайших религий мира.

«Люди нашего христианского мира и нашего времени подобны человеку, который, пропустив настоящую дорогу, чем дальше едет, тем всё больше и больше убеждается в том, что едет не туда, куда надобно. И чем больше он сомневается в верности пути, тем быстрее и отчаяннее гонит по нём, утешаясь мыслью, что куда-нибудь да выедет. Но приходит время, когда становится совершенно ясно, что путь, по которому он едет, никуда не приведёт, кроме как к пропасти, которую он начинает уже видеть перед собой» (Там же. С. 115).

Главное заблуждение состоит именно в отрицании религии, т. е. руководящего нравственного начала.

«Лишённые религии люди, — констатирует Лев Николаевич, — обладая огромною властью над силами природы, подобны детям, которым дали бы для игры порох или гремучий газ. Глядя на то могущество, которым пользуются люди нашего времени, и на то, как они употребляют его, чувствуется, что по степени своего нравственного развития люди не имеют права не только на пользование железными дорогами, паром, электричеством, телефоном, фотографиями, беспроволочными телеграфами, но даже простым искусством обработки железа и стали, потому что все эти усовершенствования и искусства они употребляют только на удовлетворение своих похотей, на забавы, разврат и истребление друг друга» (Там же. С. 123).

В главе V-й Толстым делается уже общий неутешительный вывод о состоянии и перспективах современной лжехристианской цивилизации. Читая, делается понятным, что на отче Льва, пророка в отечестве своём, от известий войны пахнуло XX-в веком:

«...Совершенно очевидно, что если мы будем продолжать жить так же, как теперь, руководясь как в частной жизни, так и в жизни отдельных государств одним желанием блага себе и своему государству, и будем, как теперь, обеспечивать это благо насилем, то, неизбежно увеличивая средства насилия друг против друга и государства против государства, мы, во-первых, будем всё больше и больше разоряться, перенося бóльшую часть своей производительности на вооружение; во-вторых, убивая в войнах друг против друга физически лучших людей, будем всё более и более вырождаться и нравственно падать и развращаться.

[...] Пропасть, к которой мы идём, уже становится видна нам, и самые простые, не философствующие, не учёные люди не могут не видеть того, что, всё больше и больше вооружаясь друг против друга и истребляя друг друга на войнах, мы, как пауки в банке, ни к чему иному не можем прийти, как только к уничтожению друг друга».

И тут же повторяются, с нелицеприятным “довесочком”, контраргументы пацифистам, знакомые читателям «Царства Божия внутри вас»:

«Устроить международные судилища для решения международных споров? Но кто же заставит подчиниться решению судилища тяжущегося, у которого под ружьём миллионы войска? Разоружиться? Никто не хочет и не может начинать. Придумать ещё более ужасные средства истребления: баллоны с начиненными удушливыми газами бомбами, снарядами, которыми люди будут посыпать друг друга? Что бы ни придумали, все государства заведутся такими же орудиями истребления, пушечное же мясо, как после холодного оружия шло под пули и после пуль покорно шло под гранаты, бомбы, дальнобойные орудия, картечницы, мины, пойдёт и под высыпаемые из баллонов бомбы, начинённые удушливыми газами.

Ничто очевиднее речей господина Муравьёва и профессора Мартенса о том, что японская война не противоречит Гаагской конференции мира, ничто очевиднее этих речей не показывает, до какой степени среди нашего мира извращено орудие передачи мысли — слово и совершенно потеряна способность ясного, разумного мышления. Мысль и слово употребляются не на то, чтобы служить руководством человеческой деятельности, а на то, чтобы оправдывать

всякую деятельность, как бы она ни была преступна. Последняя бурская война и теперь японская, которая всякую минуту может перейти во всеобщую бойню, без малейшего сомнения доказали это.

[...] Мы разогнались к пропасти и не можем остановиться и летим в неё» (36, 115 – 116).

Кстати приглядимся к названным Львом Николаевичем особям. Это Николай Валерьянович Муравьев (1850 – 1908), в 1894 – 1905 г. министр юстиции, статс-секретарь, и Фёдор Фёдорович Мартенс (1845 – 1909) — юрист, профессор международного права петербургского университета и участник мирной Гаагской конференции 1899 г. Закрывая в феврале 1904 г. заседание международного третейского суда в Гааге по Венесуэльскому делу, Муравьев сказал, как высрал:

«Мы начинали наши работы среди всеобщего спокойствия, мы кончаем их при зловещих звуках орудий. Таков беспощадный закон истории или, скорее, таков удел несовершенства условий, в которых заключена человеческая природа, слишком часто задерживаемая препятствиями на своём многотрудном пути к добру и к свету.

Древнее изречение “если хочешь мира — готовься к войне” — ещё далеко не потеряло, по-видимому, своего сурового смысла и значения. Можно всеми силами стремиться к миру, работать для него ревностно и убеждённо, и тем не менее ничто не предохранит от неприятельского вызова, от неожиданного нападения. Можно горячо и искренно желать мира — и быть вынужденным мужественно принять необходимую войну во имя чести и достоинства отечества» (Цит. по: 36, 618 – 619).

Начиная с Главы VI характер подобранных эпиграфов меняется: на смену критике войны и военщины, описания ужасов войны — являются тексты о Боге и человеке, о вере: Ламеннэ, Консидерана, де Виньи, Мадзини, Канта... Соответственно, открывается и основной текст главы, даже его интонационный строй:

«Две тысячи лет тому назад Иоанн Креститель и за ним Христос говорили людям: «исполнилось время и приблизилось царство Божие, одумайтесь (μετανοείτε) и веруйте в Евангелие» (Марка I, 15). И «если не одумаетесь, все погибнете» (Луки XIII, 5).

Но люди не послушали его. И та гибель, которую он предсказывал, уже близка» и т. д. (36, 118).

«Μετανοείτε» в основном значении переводится — “покайтесь”, и именно в сотворческом Творцу, Богу покаянии, в раздумывании каждым человеком над жизнью своей, в смирении и страхе своего греха, побеждающем страх перед князьями и начальствующими

мира сего, перед неугодием им — именно в этом христианский смысл очунения, или одумывания:

«...Самое верное и несомненное избавление людей от всех бедствий, которые они сами наносят себе, и от самого ужасного из них — от войны достигается не какими-либо внешними общими мерами, а только тем простым, обращением к сознанию каждого отдельного человека, которое 1900 лет тому назад предлагал Христос, — тем, чтобы каждый человек одумался, спросил себя: кто он? зачем он живёт и что ему должно и что не должно делать?» (Там же. С. 120).

Покаявшись, надо уж держаться Христа: познанного учения Истины и образцов жизни праведных в Боге, пусть даже разных вероисповеданий, разных эпох — то есть, утвердиться в том *всемирном, божеском* новом и высшем из открытых человечеству религиозном понимании жизни, в котором одним ключом к освобождению от военных угроз и солдатского рабства, как и от рабства податного (т. е. налогового — на военщину) и сопутствующих им. Из Главы VII:

«Человеку нет выбора: он должен быть рабом наиболее бессовестного и наглого, чем другие, раба или — Бога, потому что для человека есть только одно средство быть свободным: это соединение своей воли с волей Бога. Лишённые религии люди, одни, отрицающие самую религию, другие, признающие религией те внешние, уродливые формы, которые заменили её, и руководимые только своими личными похотями, страхом, человеческими законами и, главное, взаимным гипнозом, не могут перестать быть животными или рабами, и никакие внешние усилия не могут вывести их из этого состояния, потому что только религия делает человека свободным.

А большинство людей нашего времени лишено её» (Там же. С. 123 – 124).

В качестве одного из эпиграфов к Главе VIII Толстому послужила запись из восхитившего его в начале 1890-х «Задуманного дневника» швейцарского мыслителя Анри Фредерика Амиеля. В переводе дочери писателя, Марии Львовны, выполненном специально для издания выбранных мест из амиелева дневника в толстовском «Посреднике», эта запись от 27 января 1869 г. выглядит так:

«Преобразование церковного и исповедного христианства в христианство историческое есть дело библейской науки. Преобразование исторического христианства в философическое есть попытка почти невозможная, потому что вера не может совершенно раствориться в науке. Но выведение христианства из области исторической в область психологическую есть стремление нашего времени. Необходимо высвободить вечное Евангелие. Для этого нужно, чтобы исто-

рия и сравнительная философия религий определили истинное место христианства и оценили его. Затем надо выделить веру, которую исповедовал Иисус, от той веры, которая сделала Иисуса предметом своего поклонения. И когда найдут то душевное состояние, которое составляет основную клеточку, начало вечного Евангелия, то нужно будет его держаться. Это есть *punctum saliens* [лат. Отправная точка] чистой религии.

Может быть, сверхъестественное будет заменено необыкновенным и великие гении будут рассматриваться как посланники Бога истории, как предопределённые избранные, посредством которых дух Божий движет человеческими массами. Уничтожается не прекрасное, но произвольное, случайное, чудесное. И как жалкие плошки деревенского праздника или ничтожные восковые свечи процессии тухнут перед величием солнца, потухнут все эти маленькие, местные, ничтожные и сомнительные чудеса перед всемирным законом действия великих умов, перед несравненным зрелищем истории человечества, руководимой тем всемогущим драматургом, которого называют Богом. *Utinam.* [лат. О! Если бы!]» (Из дневника Амиеля. СПб., 1894. С. 54).

А вот во что превратил эту запись, изрядно сократив и подредактировав, Лев Николаевич в эпиграфе статьи «Одумайтесь!»:

«Нужно высвободить ту религию, которую исповедывал Иисус, от той религии, предмет которой есть Иисус. И когда мы узнаем состояние сознания, составляющую основную ячейку и начало вечного Евангелия, надо будет держаться его.

Как жалкие плошки деревенской иллюминации или маленькие свечи процессии потухают перед великим чудом света солнца, так же потухнут ничтожные, местные, случайные и сомнительные чудеса перед законом жизни духа, перед великим зрелищем человеческой истории, руководимой Богом» (36, 124 – 125).

Дневниковую запись женеваца, как видим, Лев Николаевич не просто сократил, а довёл изложенные в ней мысли до недостижимой для Амиеля, но посильной для него, для Толстого, глубины и ясности. Интересно, например, как «душевное состояние» обратилось под пером яснополянца в «состояние сознания» — термин, вполне актуальный и для современной нам психологии!

К такой радикальной редакторской работе с дневниковыми записями Анри Амиеля Толстой прибегал в тех случаях, когда любимым философом затрагивались глубокие и значимые для самого Льва Николаевича философские и религиозные проблемы. А здесь проблема затронута — пожалуй, одна из глубочайших и самых животрепещущих для Толстого-христианина. Ибо корень не только военного, но

всех общественных зол не в «повреждении грехом» природы индивида, как любят лукаво бляеть прихвостни лукавого, попы «православного» и иных лжехристианств. Корень бедствий, наиболее опасных для выживания человечества, для исполнения в мире замысла Божия о человеке, для его восстания из первобытного животного существа — в неправдах, или лжах, обеляющих, оправдывающих и даже освящающих то или иное зло. А главной ложью является, как понимали это и Анри и Лев, указанная Амием подмена христианства идолопоклонством Христу как особенному богу и перетолкование его учения — всё смертные грехи хулы на Бога, совершённые людьми, некогда в большинстве своём не понявшими, а в меньшинстве — не принявшими сознательно христианского жизнепонимания, не согласившимися с требованиями, которые оно им предъявило.

Первобытно-эгоистическое жизнепонимание мотивирует индивида на поиски личного блага для себя и «своих» (самки, детёнышей...) и моление о таком же благе к особенным вымышленным существам — разным богам или духам. В этом смысле Лев Николаевич признавал, например, буддизм не более чем «отрицательным язычеством», язычеством навыворот: буддист не ищет благ, но желает исполнить условия прекращения неизбежных страданий (39, 8). По жизнепониманию среднему из трёх, языческому и еврейскому, общественно-государственному (не исключаящему эгоизма, но лишь отодвигающего его — и то в идеале — с переднего плана) человек служит и желает блага тем или иным структурам языческого социума: опять же семье, своим клану, товарищескому сборищу, корпорации, «своей» церкви с её лжеучением и обрядоверием, «своему» государству с его вожаками, войском, границами, символикой и прочими глупостями и гадостями... и, наконец, обществу или даже человечеству в целом. Так называемая «историческая» часть бытия человечества в известном ему Божьем мире — это как раз история сперва утверждения в лучших людях примата такого жизнепонимания над первобытным эгоистическим, а затем — начиная с «осевой» эпохи земной жизни и проповеди Христа Иисуса — борьбы этого, всё более и более являющего своё зло и свою архаику жизнепонимания языческого с христианским.

Третье жизнепонимание, или отношение человека к миру, христианское, состоит, как пишет о нём Лев Николаевич «в том, что значение жизни признаётся человеком уже не в достижении своей личной цели или цели какой-либо совокупности людей, а только в служении той Воле, Которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой воли» (Там же. С. 9).

Современных ему групповых отказников от военной службы, «унитарийцев, универсалистов, квакеров, сербских назаренов, русских духоборов» и всех религиозных рационалистов Толстой безусловно относит к исповедникам религии высшего жизнепонимания (*Там же. С. 10*). А его Зачатки мыслитель находит уже в древности, в учении пифагорейцев, эссеев, браминов, даосов и др. течений религиозно-философской мысли «в их высших представителях». Полнейшее и лучшее выражение это жизнепонимание получило в первоначальном христианстве.

В своей замечательной статье с характеристическим названием «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении» (1907) Толстой подробно рассказывает, как первоначальное христианство было извращено еврейско-сектантской проповедью тщеславного еврея Савла, известного поклонникам церковной религии как «апостол Павел» (37, 350 – 352).

Вот что пишет Толстой о заведомой слабости и ничтожестве лжеучения церковей в сравнении даже с религиями низшего жизнепонимания:

«...Так называемое церковно-христианское учение, не есть цельное, возникшее на основании проповеди одного великого учителя учение, каковы буддизм, конфуцианство, таосизм, а есть только подделка под истинное учение великого учителя, не имеющая с истинным учением почти ничего общего, кроме названия основателя и некоторых ничем не связанных положений, заимствованных из основного учения.

...Церковная вера, которую веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством» (37, 349 – 350).

Христианство и учение жидовствующего лжеапостола Павла и жидовствующих в его, Павла, еврейском жизнепонимании «исторически сложившихся» церковей — два религиозных учения несовместимых, так как враждебно несовместимы живящие их понимания жизни: общественно-государственное, давно отжитое, а к XX столетию ставшее уже опасным для человечества жизнепонимание церковных обрядоверов и идолопоклонников, с одной стороны, а с другой — всемирное, божеское, высшее и актуальное жизнепонимание свободных христиан Христа. С одной стороны — «великое, всемирное учение, уясняющее то, что было высказано всеми величайшими мудрецами Греции, Рима и Востока», с другой — «мелкая, сектант-

ская, случайная, задорная проповедь непросвещённого, самоуверенного и мелко-тщеславного, хвастливого и ловкого еврея» (*Там же*. С. 352). Лишь время и легковерие простецов сделали из еврея-фанатика Савла «святого апостола», а из его мистического бредословия — «святое» учение якобы христианства.

Всё учение Савла-«Павла», ставшее фундаментом ложного, церковного христианства, и в частности его определение религиозной веры («Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». — *Евреям, 11, 1*), данное специально, чтобы угодить «своим», именно евреям, и тем завлечь их (и содержимое их кубышек) в свою секту — всё это не от христианского корня, ибо выражает низшее, отжитое ко времени Христа, общественно-государственное жизнепонимание. И всё это — антихристово, ибо подменило собой истину Бога и Христа.

Но что же есть вера (религия) для истинного христианина?

Вот настоящее христианское определение того, что *не есть* и того, что *есть* истинная религия, данное Львом Николаевичем:

«Религия не есть раз навсегда установленная вера в совершившиеся будто бы когда-то сверхъестественные события и в необходимость известных молитв и обрядов; не есть также, как думают учёные, остаток суеверий древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения в жизни; *религия есть* устанавливаемое, согласное с разумом и современными знаниями отношение человека к вечной жизни и к Богу, которое одно движет человечество вперёд к предназначенной ему цели» (35, 197 – 198. Выделение наше. – Р. А.).

«Разум» в данном определении упомянут отнюдь не в значении мирского «здравого смысла»; не сводится он и к научным рефлексиям. Толстой имеет в виду здесь то, что открывается разуму наиболее религиозно чутких людей Свыше — напрямую от Бога. Философия и науки не могут своим системным и научно проверенным знанием противоречить Истине откровения, а уничтожают неизбежно только то, что привнесено в религиозных учениях ошибками или суеверной выдумкой людей.

В тот-то и дело, даже наука современного лжехристианского мира значительна тем, что пополняемая и презентуемая ею массам картина мира обличает и уничтожает обманы отжитого жизнепонимания: ложь правительств и церквей.

В каждом культурном и цивилизационном сообществе люди соединены между собой и могут жить разумной жизнью исключительно

благодаря общему религиозному непониманию. И только благодаря ему люди могут дать достойные ответы на вызовы истории, находить разумные разрешения общих и частных проблем.

Чем больше в этом непонимании от Бога, т.е. от истины, приобретающейся тысячи лет лучшими умами человечества посредством откровения от Бога или научных открытий, то есть завоеваний разума как Божьего дара — тем оно полезнее и для общего земного устройства жизни всего человечества, и для утверждения бессмертной основы каждого человека.

Но чем больше над религиозной истиной совершается насилий: перетолкований, искажений, замалчиваний, осмеяний, то есть, чем больше примешивается к учению жизни не истинного, Божьего, а лукавых и корыстных или просто грубо-суеверных человеческих измышлений, тем менее такое учение жизни полезно как общему жизнеустройству, так равно и разуму и душе людей, тем оно зловредней и опасней в условиях неизбежного прогресса внеэтических, опасных без религиозного руководства, знаний и возможностей людей.

Божье учение жизни не нуждается в перетолкованиях богословами: оно уже Свыше изначально адаптировано к человечеству и условиям его жизни. А вот подмена Божьего закона человеческими установлениями — всегда в пользу несовершенства, лукавства, зла...

От эпохи к эпохе задачей мудрых учителей человечества было: научить словом и примером исполнению актуального для состояния мира и людей *в эту эпоху* закона жизни. А так как основа и смысл этого закона — не одно воспроизводство общественного строя, а совершенствование людей и обществ, то в результате такого совершенствования человечество возрастает к возможности понимания и исполнения уже высшего, чем прежний, закона, более близкого к единой Божьей Истине.

Кроме того, так как разумное существо приобретает усилиями разума всё более опасные возможности, для его спасения новое, соответствующее этой опасности, учение жизни даётся от Бога вне зависимости от степени исполнения прежнего учения. Такое новое учение, особенно обличающее людей в уклонении от исполнения воли Отца, особенно яростно отрицается или перетолковывается, или же попросту забывается.

Так и вышло у людей христианского мира с учением Христа. Учение Христа требовало смирения, доверия Богу как Отцу всех людей, т.е. принятия за руководство в самосовершенствовании тех идеалов, а за руководство в повседневной жизни — тех правил и образцов поведения, которые прежде были неизвестны человечеству и не могли

в эпоху Христа (а в значительной степени и в нашу) быть проверены научно или подтверждены историческим опытом.

Вот почему именно историческое (церковное) христианство явило человечеству новой и новейшей эпох не ответ на его жизненные проблемы, а концепцию, едва ли не самую архаическую, бесполезную, противоречивую, извращённую, лукавую, но при этом тупо или агрессивно отстаиваемую её редующими от поколения к поколению адептами.

Зёрна других, даже позднейших по времени, но низших по выраженному в них жизнепониманию учений – например, ислама – легли в более подготовленную почву. У того же ислама, к примеру, с историческим христианством – общая беда: оба были перетолкованы, оба распались на толкующие их по-разному группировки адептов. То же – с рядом других религий. Но требования вер римской, еврейской, буддистской были ниже, чем у христианского учения. Не запрещались ни неравенство, ни эксплуатация, ни стяжание собственности, ни удержание её организованным насилием, ни казни, ни войны... Соответственно, адептам этих религий, религий низшего, чем христианское, жизнепонимания не понадобились и те громадные извращения, к которым прибегли церковные лжехристиане, стремившиеся соединить заведомо несоединимое: приспособившая истину высшего жизнепонимания к привычному, не требующему смены идеалов и новых усилий самосовершенствования, приятному и выгодному устройству жизни и оправдывающим его лжам.

Что же дальше?

А дальше то, что номинально христианские народы пытались и пытаются веками жить *не по Христу, а по сатане*, т.е. по лжеучению своих церквей. При этом христианская цивилизация неизбежно вступала как в мирные контакты, так и в столкновения с цивилизациями народов, живших по учениям низших жизнепониманий, в которых по этой причине было меньше извращений. Среди мнимых христиан же эти извращения актуальной Божьей истины, в условиях прогресса научного знания, всё более являли себя. Люди Европы, Америки и примкнувшей к ним России в новую и новейшую эпоху всё более и более утрачивали доверие попам. А так как им неизвестно, не памятно первоначальное, истинное, без церковных извращений, христианство — они остаются вовсе без единственно действенного нравственного руководства в жизни.

Какой пример европейские или американские адепты церквей и сект могли подать таким людям иных вер и цивилизаций? Уж точно не образец нравственной, воздержной, мирной трудовой жизни —

то есть то, что было бы понятно и уважаемо равно и мусульманином, и китайцем, и японцем и даже варваром!

А при контактах цивилизаций срабатывает то же, что и при контакте ребёнка со старшим, с педагогом: как ребёнок, так и менее развращённый народ верит *не словам, а поступкам* более опытного учителя. И, к сожалению, легче поддаётся развратному, нежели мудрому и доброму влиянию. В статье «Конец века», написанной вскоре после «Одумайтесь», Лев Николаевич показывает (как раз на примере итогов русско-японской войны) результаты многовекового иудина предательства европейским человечеством Христа: японцы потому и оказались для русских тяжёлым и непосильным военным противником, что успели за вторую половину XIX столетия выучиться у лжехристиан «современным» приёмам войны. Японцы показали всему нехристианскому миру доходчивый пример того, как, в ответ на развратное и деспотическое влияние лжехристианской цивилизации, цивилизации *честных нехристиан* могут «не только освободиться, но и стереть с лица земли все христианские государства» (36, 237). Номинальные христиане Европы, включая Россию или Америки, не имея в сердце и разуме Христа, обречены биться в заведомо бесконечной и обречённой борьбе с языческими народами. Они наращивают против дубины *их* народной войны, *их* справедливой мести за навязчивое и развратное межцивилизационное культурное и геополитическое влияние, *свои* вооружения, изнуряют себя страхами и разоряют расходами на полицейщину и оборонку во имя идола *безопасности* (а это как раз предмет поклонения, который избличает трусливых, не верующих, то есть не доверяющих Богу, испуганных буржуазных хомячков). Но итог будет один: языческие народы их же оружием «свергнут их и отомстят им» (*Там же*). Оружие, изобретённое для оправданного, вопреки Христу, насилия полиции или войска, попадает скоро к преступникам, единичным и организованным: террористам либо мигрантам, воюющим за более соответственное *их* вере, нежели христианству, то есть более рационально оправдываемое право пользоваться теми материальными благами и приятностями телесной, животной жизни, которые, в противоречие аскетике истинного христианства, христианства евангелий, развили между собой, ошибочно считая настоящим человеческим прогрессом, номинальные, церковные, то есть ложные последователи Христа.

Единственное спасение для христианского мира — стать подлинными христианами: направить все усилия не на противостояние насилию насилием, тем более войной, а «на такое устройство жизни, которое, вытекая из христианского учения, давало бы наибольшее

благо людям не посредством грубого насилия, а посредством разумного согласия и любви» (Там же. С. 237 – 238).

Иначе говоря, апгрейдить и апдейтить нужно не «системы безопасности», а головы. Восприятие жизни, своего и других места и значения в ней... Религиозное непонимание. И само понятие «конец века» у Толстого как раз тесно связано с его концепцией непониманий. «Век и конец века, — говорится в начале статьи, — на евангельском языке не означает конца и начала столетия, но означает конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей и начало другого...» (Там же. С. 231).

Нынче, в первой четверти XXI столетия, лжехристианский мир уже настигает возмездие от тех, кого он развратил при контакте цивилизаций. Среди мстителей не на последнем месте — воины Ислама, благороднейшей, в рамках своего непонимания, религии: религии огромной нравственной чистоты, смиренного ума и львиного сердца. Но она, в отличие от первоначального христианства, никогда и не ставила перед своими адептами идеалов столь высоких, как те, что выражены в учении Христа. Оттого она меньше извращена толкователями, но оттого же она — более незащищена, мировоззренчески и нравственно, перед соблазнительной и лукавой мерзостью лжехристианского влияния. Вот почему исповедники Ислама — при своих правах перед Всевышним, защищая свою веру, чистоту своего исповедничества (не словами, а жизнью) *всеми* дозволенными, допустимыми великим учением Ислама способами.

Разумные существа в других Божьих мирах, живущих по выраженному в учении Христа или ещё высшему, неведомому нам, непониманию — могли бы быть безопасны от межцивилизационного разврата, но — не такие же люди, соседи мнимых христиан по планете!

Ложные христиане много веков употребляли Божий дар – разум – не на исполнение в мире воли Отца, а на своё своеволие: грехи и их оправдания. Причём как сами грехи, так и лживые оправдания их были уже не тем невольным и прощительным, что неизбежно было и будет случаться по несовершенству человеческой природы или естественному – детей или дикарей – невежеству. Нет! Лжехристианам *была и отчасти и сейчас известна* преданная им через Христа истина нового, спасительного учения, но они не приняли её за руководство в жизни, во всей её повседневности. А отринув Христа и Бога, они невольно были вынуждены веками громоздить ложь на ложь, создав не только из своих грехов целые системы злой и безумной жизни, но и *системы лжи* из оправдывающих эту систему зла больших и малых неправд.

И — сами угодили в эту паутину, сами стали в новое и новейшее время рабами и жертвами своего зла, своего насилия, своих лжей!

Лжехристианская цивилизация «поделилась» с воинами Ислама не только материальным оружием динамитов, бомб, самолётов, танков, автоматов, печатных станков, телеграфов, интернета и прочего, но, что много страшнее, вооружило самых дерзких, самых нравственно дурных из исповедников и сочувственников Ислама приёмами системного, организованного, массированного обмана, то есть насилия над сознанием тех людей, которых они обманывают, готовя для покорения изуверившегося и оттого ослабшего христианского мира.

Единое спасение номинально исповедующим христианство народам — покаяться, *одуматься*, и отойти от лжеучений как теперешних их церквей и сект, так и модного «атеизма», главное же — прислушаться к голосу таких спасителей и исповедников учения Христа, каким был величайший из Божьих и Христовых духовных воинов, Лев Николаевич Толстой.

А Лев Николаевич в своей статье 1906 года «О значении русской революции» даёт идеал жизни людей, гармоничной в отношении и окружающей, и собственной человеческой жизни. Это — безгосударственные, братские общины людей, соединённых христианским жизнепониманием, «целомудренных, борющихся с своими похотями, живущих в любовном общении с соседями среди плодородных полей, садов, лесов, с прирученными сытыми друзьями-животными» (36, 359). Путь к такой свободной и радостной жизни — через преодоление даже не одного «православного» и прочих лжехристианств, но всех современных религий, «мировых» и «самобытных», но заражённых мирскими неправдами и оттого лишь разделяющих людей, — к признанию всеми людьми единого закона любви к Богу и ближнему, выраженного одинаково в истоках «и браминской, и буддийской, и конфуцианской, и таосийской, и христианской религии» (*Там же. С. 360*).

Sapienti sat. Отправившись от единственного, но очень значительного эпиграфа Восьмой главы, мы пошли на прямую замену анализа религиозного содержания второй половины толстовского декалога (главы 11-я и 12-я, напомним, не были изначально запланированы, и суть дописки позднейшего этапа работы) — общим аналитическим очерком мировоззрения автора «Одумайтесь!», выразившегося и в ряде других публицистических выступлений 1900-х, часть из которых, в противном случае, мы не смогли бы рассмотреть вовсе — по различию их тематики с темой нашей книги.

Сама Восьмая глава, основным текстом своим, направлена против лжеучителей отжитых религий, и, с другой стороны — идолопоклонников науки, отрицающих необходимость религии как таковой. Тема, уже не раз заявленная в более ранних сочинениях Толстого.

Девятая глава повествует в своих эпиграфах о судьбах П. А. Олховика и Е. Н. Дрожжина — соответственно, настраивая читателя на необходимость отдать свою жизнь в руки Бога, будучи готовым к страданиям, и без оглядки на массовость поддержки; ибо «спасение людей от тех бед, которые они причиняют сами себе, произойдёт только в той мере, в которой они будут руководиться в своей жизни не выгодой, не рассуждениями, а религиозным сознанием» (36, 131).

Отдельно интересен ответ (в главе IX-й) на вопрос, который часто задавали лукавцы Льву Николаевичу. Ответ мудрый, нимало не устаревший, ибо указывает на разницу *системных состояний* в отношениях человека и общества, равно как и важнейших, человека с Богом — не все из которых достойны звания разумного Его творения:

«Но как же поступить теперь, сейчас, — скажут мне, — у нас в России в ту минуту, когда враги уже напали на нас, убивают наших, угрожают нам; как поступить русскому солдату, офицеру, генералу, царю, частному человеку? Неужели предоставить врагам разорять наши владения, захватывать произведения наших трудов, захватывать пленных, убивать наших? Что делать теперь, когда дело начато?

Но ведь прежде, чем начать дело войны, кем бы оно ни было начато — должен ответить всякий одумавшийся человек, — прежде всего начато дело моей жизни. А дело моей жизни не имеет ничего общего с признанием прав на Порт-Артур китайцев, японцев или русских. Дело моей жизни в том, чтобы исполнять волю Того, кто меня послал в эту жизнь. И воля эта известна мне. Воля эта в том, чтобы я любил ближнего и служил ему. Для чего же я, следуя временным, случайным требованиям, неразумным и жестоким, отступаю от известного мне вечного и неизменного закона всей моей жизни?

...На вопрос о том, что делать теперь, когда начата война, мне, человеку, понимающему своё назначение, какое бы я ни занимал положение, не может быть другого ответа, как тот, что какие бы ни были обстоятельства, — начата или не начата война, убиты ли тысячи японцев или русских, отнят ли не только Порт-Артур, но Петербург и Москва, — я не могу поступить иначе, как так, как того требует от меня Бог, и потому я как человек не могу ни прямо, ни косвенно, ни распоряжениями, ни помощью, ни возбуждением к ней

участвовать в войне, *не могу, не хочу и не буду*» (Там же. С. 129 – 130).

Да, всё верно, Лев Николаевич! Пока война не начата, есть и должно быть общее дело: беречься от войны всем, как берегутся люди от пожара. Не выставлять во власть и не терпеть во власти политической таких лидеров халтурщиков, а тем более злонамеренных преступников или безумцев, которые не только могут не суметь урегулировать все спорные с другими правителями вопросы без войны, но могут сами, и преднамеренно даже, втянуть своих сограждан в агрессивную авантюру.

Необходимо доверием Богу и Христу, *духовным оружием Христовой веры* живой (то есть, определяющей помыслы и поведение как отдельной личности, одного человека, так и общности людей, соединённых одной верой) блокировать в своих головах атавистические влечения стайно-территориальных агрессивных животных: не делить на разные государства и не метить территорию, не отнимать друг у друга общих благ Природы, а свободно, радостно спешить за короткий свой век *поболеть уступить, подарить* результатов своего труда. Главное: не ставить авторитетными вожаками общества той *лживой и лгущей от имени церкви и науки* сволочи (попов и системных, казённо-дипломированных интеллигентов), которые, вместо помощи ближним в самосовершенствовании каждого в добре и разумности, оправдывали бы ложью научной, журналистской, поэтической, писательской и — самой страшной! — религиозной следование людьми этим животным, атавистическим влечениям и поведенческим структурам вместо жертвенной борьбы с ними.

А если пожар войны всё же разгорелся — как и во всяком пожаре, нужно настаивать на правде не одними словами, но и делом: уводить себя от стихии и отманывать, даже утаскивать других. Спасать всех и всё, что можно спасти. *Очунать и одумывать* слабых и непробудившихся!

Люди, не имеющие мужества в отстаивании своих убеждений (ведь по отдельности-то всякий — *вроде как* против войны!), делают противное своему разуму и совести, «призывают Бога на помощь делу дьявола, на помощь человекоубийству», а, одержав вдруг важную в их глазах военную «победу», — «благодарят за это кого-то, кого они называют Богом» (Там же. С. 106).

Итак, корень бедствия — в утрате народами нашего христианского мира религиозно-нравственной опоры, руководства в приложении к жизни научных знаний, дающих власть над природой. Лев Николаевич указывает на необходимость спасительного исполнения каж-

дым человеком воли пославшего его в жизнь Бога Отца во имя созидания Царствия Божия на земле (то есть, условий продуктивного сотворчества сына, человека, Отцу). Воля же Отца и Творца, Мастера — блюдение детьми и учениками в Его великой учебной и творческой Мастерской, на планете Земля, дисциплины и техники безопасности, а следовательно — неучастие в военных драках, разрушениях и прочих делах насилия и подготовках к ним (*Там же. С. 131 – 134*).

Вся заключительная, не считая дописанных двух, Десятая глава — суть такое проповедание закона любви, долженствующего сменить закон насилия. Пища это слово старого воина, теперь духовного воина, к современникам и потомкам, Толстой, вероятно, вспоминал уже состоявшийся к тому времени визит Жоржа Анри Бурдона с его теорией неполноценности «отсталой жёлтой расы», возражая, в числе прочих, и ему:

«Но как же быть с врагами, которые нападают на нас?»

“Любите врагов ваших, и не будет у вас врага”, сказано в “Учении Двенадцати Апостолов”. И ответ этот — не одни слова, как это может казаться людям, привыкшим думать, что предписание любви к врагам есть нечто иносказательное и означает не то, что сказано, а что-то другое. Ответ этот есть указание очень ясной и определённой деятельности и её последствий.

Любить врагов, японцев, китайцев, тех жёлтых людей, к которым заблудшие люди теперь стараются возбудить в нас ненависть, любить их — значит не убивать их для того, чтобы иметь право отравлять их опиумом, как делали это англичане, не убивать их для того, чтобы отнимать у них земли, как делали это французы, русские, немцы, не закапывать их живыми в землю в наказание за повреждение дороги, не связывать косами и не топить в Амуре, как делали это русские.

“Ученик не бывает выше учителя... Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его”.

Любить жёлтых людей, которых мы называем врагами, значит не учить их под именем христианства нелепым суевериям грехопадения, искупления, воскресения и т. п., не учить их искусству обманывать и убивать людей, а учить их справедливости, бескорыстию, милосердию, любви, и не словами, а примером нашей доброй жизни.

И что же мы делали и делаем с ними?..» (*Зб, 133*).

Да, именно такие усилия братства и равенства ведут к реализации замысла Божия о человеке, или, выражаясь в иной терминологии, к гармоничности и долговременности взаимоотношений человека с человеком и с природой в обозримом будущем. Л. Н. Толстой дерзал

мечтать о человеке действительно Разумном, избавившемся от атавизма стайно-территориального животного. Он надеялся на то, что уже в XX веке настанет время, когда, наконец, «обманутые люди опомнятся и скажут: да идите вы, безжалостные и безбожные цари, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты и как вас там называют, идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдём. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кормить вас же, дармоедов» (Там же. С. 143).

И главную надежду возлагал снова и снова — на «первых ласточек»: на героических одиночек и на общины отщепенцев от мирских лжи и зла:

«...Как ни странно это может показаться людям, занятым военными планами, приготовлениями, дипломатическими соображениями, административными, финансовыми, экономическими мерами, революционными, социалистическими проповедями и различными ненужными знаниями, которыми они думают избавить человечество от его бедствий, — избавление людей не только от бедствий войн, но и от всех тех бедствий, которые сами себе причиняют люди, сделается не теми императорами, королями, которые будут учреждать союзы мира, не теми людьми, которые свергнут императоров, королей, или ограничат их конституциями или заменят монархии республиками, не конференциями мира, не осуществлением социалистических проектов, не победами и поражениями на суше и на море, не библиотеками, университетами, не теми праздными умственными упражнениями, которые теперь называются наукой, а только тем, что будет всё больше и больше тех простых людей, которые, как духоборы, Дрожжины, Ольховики в России, назарены в Австрии, Гутодье во Франции, Тервей в Голландии и другие, поставив себе целью не внешние изменения жизни, а наиточнейшее исполнение в себе воли Того, кто послал их в жизнь, на это исполнение направят все свои силы. Только эти люди, осуществляя царствие Божие в себе, в своей душе, установят, не стремясь непосредственно к этой цели, то внешнее царство Божие, которого желает всякая душа человеческая» (Там же. С. 133 – 134).

Весьма любопытно, вослед Льву Николаевичу, проследить судьбы некоторых из названных им в Десятой главе статьи «Одумайтесь!» отказников от военной службы.

Гутодье (Goutaudier) — молодой слесарь, который, живя и работая в Южной Америке, узнал Христа через общение с членами протестантской общины «методистов». Будучи призван в 1895 г. на военную службу, Гутодье отказался от ношения оружия, за что просидел

в разных тюрьмах, включая одиночные камеры, более трёх лет. После столь ощутимого тюремного срока Гутодье всё-таки добился замены для себя строевой службы службой санитаров при военном лазарете — причём лишь благодаря вниманию к нему не только соратников Льва Николаевича, но и влиятельнейшего Жака Людовика Трарье (Jacques Ludovic Trarieux; 1840 – 1904), юриста и правозащитника, одного из «пионеров» международных прав человека и создателя в 1898 г. французской «Лиги прав человека» (Ligue des droits de l'homme) — энергичного старичка, настойчивого и, накануне смерти, вполне бесстрашного в защите прав кротких и беспомощных, гонимых мира сего! Лично Трарье пришлось походатайствовать за голубоглазого блаженного лично перед военным министром...

Сведения о Гутодье Толстой почерпнул от Павла Ивановича Бирюкова, опубликовавшего их в Швейцарии, в редактировавшемся им журнале «Свободная мысль» (1901, № 16, стр. 248 – 249) (отказник назван в статье «Кутодые»). Там сказано, в частности об отказнике, следующее: «На вопрос почему он отказывается от военной службы, он отвечает, что общечеловеческая нравственность и каждая религия запрещает убивать людей. Просто и ясно — и он не понимает, как верующие люди могут носить мундир. Об учении Л. Толстого он ничего не слышал...» (Там же. С. 249).

Тогда же состоялась публикация о Гутодье и в английском журнале Владимира Григорьевича Черткова «Свободное слово» (1902, № 2, стлб. 15 – 16). Здесь сообщены подробности о судьбе отказника. В лазарете Гутодье «начальство, офицера и доктора изводили всячески насмешками и грубостями, называя „вредным анархистом“ и старательно удаляя его от общения с другими служителями. Главный врач же так прямо и заявил ему: „Пока у вас будут эти превратные идеи, мы вас не выпустим, вы не достойны вернуться к гражданской жизни“. Они умышленно подстрекали унтер-офицеров против него с очевидным намерением вывести его из терпения и тем получить законный повод — наложить на него дисциплинарное взыскание. Но усилия их были тщетны. Гутодье — человек хладнокровного характера, спокойный и вместе с тем откровенный, к тому же он образцовый работник в лазарете, так что и придраться начальству было не к чему.

В виду того, что Гутодье единственный сын и опора стариков родителей, Трарье снова возобновил ходатайство о его освобождении. Оказывается, что по закону он должен был отбывать всего 1 год военной службы; вместо этого он просидел 4 года в тюрьме. Трарье получил обещание, что его выпустят; но тут началась обычная кан-

целярская процедура с бесконечным задерживанием со стороны военных чиновников, путаницей и лганьём (точь в точь как в нашей самодержавной России), — которая длилась несколько месяцев, пока наконец прошение Гутодые было доставлено министру» (*Свободное слово. 1902. № 2. Стлб. 16*).

Здесь же один из корреспондентов журнала оптимистично восклицает: «Слава Богу, войско уже признано цивилизованными народами противным человечности. Военщина умирает, она в агонии. От неё остаётся только пурпур и золото для ослепления глаз женщин и дураков. Дух национализма и церковности потухает. Наши дети покончат с этой гнилью...» (*Там же. Стлб. 17*). Показательно, как характеристика наивности единомышленников Толстого, занимавшихся делами и следивших за судьбами отказников.

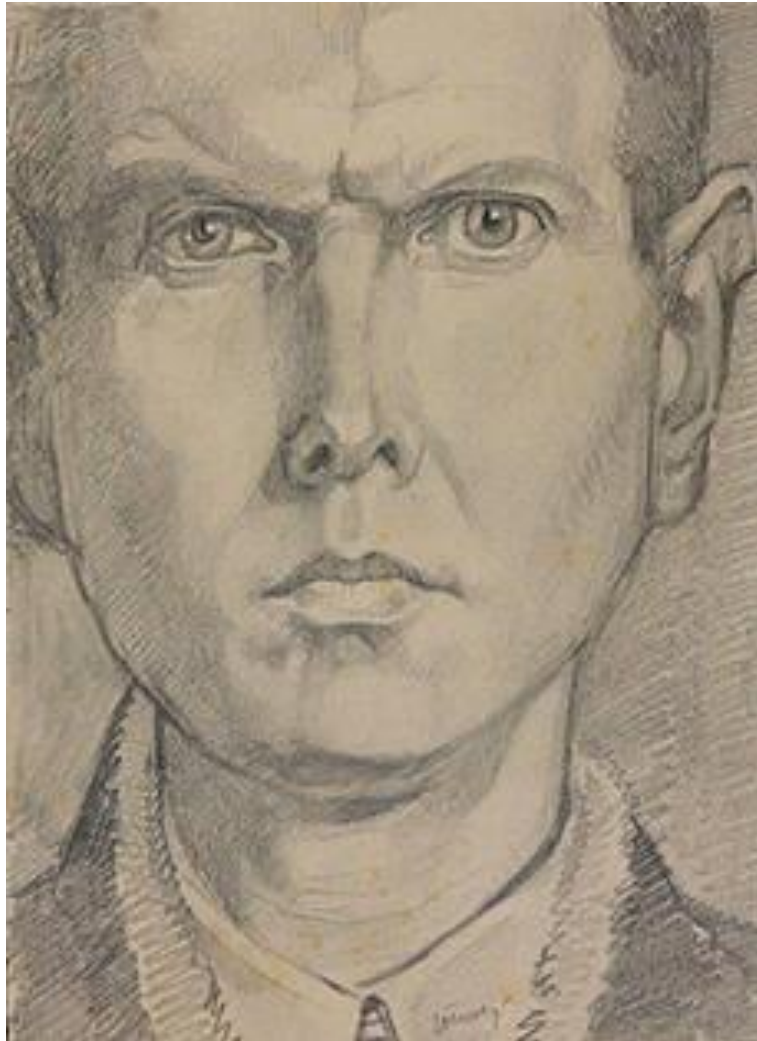
Возьмём, для примера, и ещё одну судьбу отказника, заинтересовавшую Толстого. *Ян Петер Тервей* (Jan Pieter Terwey, 1883 – 1965) — голландец, христианский анархист, а по религиозной вере — «меннонит» (направление в анабаптизме). Как и Лев Николаевич, он рано потерял отца, и религиозное воспитание принял от мамы. В 16 лет вступил в общину. С 1897 года Тервей учился на литографа, окончив в 1901 г. Академию изящных искусств в Амстердаме. В студенческой и богемной среде он стал убеждённым вегетарианцем и анархистом. На почве этих убеждений он знакомится с сынишкой проф. Ван Рееса — так же анархиста и основателя близкой толстовцам общины (о нём ещё будет речь ниже). Именно эти новые знакомые помогли сделать отказ Тервея достоянием общественности.

Как и духоборы в России, голландские меннониты десятки лет не желали идти на конфликт с правительством и, после введения в стране в 1898 году обязательной военной службы, Ян Тервей произвёл сенсацию в общине, став первым голландским меннонитом отказником

([https://gameo.org/index.php?title=Terwey, Jan \(1883-1965\)](https://gameo.org/index.php?title=Terwey,_Jan_(1883-1965))).

Прослужив ещё в 1902 г. четыре месяца солдатом, в возрасте девятнадцати лет, когда его убеждения ещё окончательно не сложились, он при вторичном призыве на военную службу в декабре 1903 г. отказался от несения её, за что был посажен в тюрьму в Хаарлеме. В связи с этим отказом и преследованием Тервея в Голландии образовался комитет, ведущий агитацию за освобождение Тервея и за предоставление свободы совести в вопросе о несении военной службы всем, кто ей по нравственным или религиозным убеждениям противится. В защиту Тервея комитетом был выпущен манифест, а

затем несколько брошюр различных авторов. По его делу в голландских газетах и журналах завязалась переписка. Сведения о нём и его большое письмо к другу с мотивировкой отказа от военной службы были изложены в статье П. И. Бирюкова «Ян Тэрвей в Голландии» («Свободное слово» 1904, № 11, столб. 4 – 8), датированной апрелем 1904 г. Вот, в сокращении, отрывок этой статьи — письмо Яна Тервея близкому другу, актуальная и небесполезная, вдохновительная исповедь и исповедание веры отказника:



Ян Петер Тервей. Автопортрет. Около 1915 г.
Nouveau Musée Bienne, Dresden

«Дорогой друг! Я не буду больше служить, я не могу, ты это знаешь. Почему? Потому что я в душе моей чувствую, что быть солдатом — противно правде и любви. Для меня это подобно употреблению спиртных напитков. Будучи мальчиком, ещё не отличая хорошо добро от зла, я баловался и пил вино и водку. Так и с военной службой. Не понимая вреда её, я ещё мог служить. Долг отказа ещё не

вошёл в моё сознание, я ещё больше думал о благе плотском, своём и моих друзей. Теперь я уже не могу пить даже умеренно, зная опасность отравления. И точно также я не могу больше служить, хотя и сознаю, что этим отказом я могу подвергнуть опасности свою жизнь и нарушить спокойствие моих друзей. Я не могу отступить от моего решения, потому что во мне есть нечто большее, чем моё тело. Я сознаю в себе присутствие Бога и вижу его во всех вас, друзья мои, и знаю, что это божественное начало вечно и неуничтожаемо, как вечен и неуничтожаем Бог.

[...] Меня будут мучить, и моё тело, и мою душу. Но ведь для меня главное и наибольшее страдание — служить на военной службе. Почему же я теперь буду страдать <за себя>? За самого себя я буду счастлив. Но за тех, кому недоступно испытываемое мною счастье, у кого нет веры в Бога, и упования на него, кто не знает Бога, у кого нет ясного представления о жизни — вот за тех людей я буду страдать. Я не стану оплакивать потерянной свободы. Я буду плакать потому, что я вижу яснее, чем другие то, что совершается перед нами. Я буду плакать о тех христианах, которые знают заповедь: “Люби ближнего, как самого себя”, и думают применить другую заповедь: “Люби Бога больше всего на свете” — и которые в то же время прилепляются к деньгам, к имуществу, к своей плоти; о тех христианах, которые больше уповают на деньги, на военную силу, на законы человеческие, чем на закон любви, на закон братства людей перед Богом.

Когда я буду сидеть в тюрьме под праздник Рождества Христова, я, нарушитель церковной веры, раб, который сбросил с себя оковы их божественного авторитета, я буду в одно время с ними, с этими христианами по имени, петь радостную песнь: “На земле мир и в людях благоволение”. Но я буду петь её не так, как поют люди, проходящие в восторг при виде солдат, люди, изменившие заповедь: “Любите врагов ваших” — на заповедь: “убивайте их”, люди, оспаривающие друг у друга их имущество, люди готовые запереть человека за отказ исполнить обязанность солдата, ту обязанность, которую мы объявили противною разуму и совести...

Нет, я буду петь эту песнь за всех вас, и за тех, кто будет меня судить и запереть в тюрьму, за тех, кто быть может, разрушит жизнь мою, моей матери и моих друзей, за тех, кто будет равнодушно смотреть на это, за тех, кто сочтёт меня сумасшедшим равно как и за тех, кто любит Бога в духе и истине, за тех, кто в заповеди: “Люби ближнего, как самого себя”, видит больше смысла, чем: “из-

давай законы для твоих ближних и наказывай их за их нарушение”... За вас, враги мои и друзья, я пропою песнь: “Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение”.

Я думал так: перенесу ли я моё горе? Как смогу я видеть снедаемых печалью моих близких, быть может, их смерть? Да, смерть, только не для меня, потому что я знаю, что то, что в них, не умирает. Страдание? Ты заставишь страдать твоих близких! Да поймите же, что страдания, которым добровольно подчиняешься, которые суть результат исполнения воли Бога — эти страдания обращаются в радость. И эта радость приближает нас к Богу.

И вот я решил отказаться от военной службы. Один маленький человек сопротивляется закону, поддерживаемому военной силой и полицией. — Это нелепо, — говорят исполнители закона, — заприте его в тюрьму, если понадобится — на всю жизнь, авось это пройдёт! — Но ведь подобным образом рассуждали и мучители Христа. И вы, их последователи, думаете, как они. Но не забывайте того, что убить Христа было возможно; но нельзя было уничтожить духа Христа, духа Божия, который и в вас живёт и перед которым вы бессильны. Быть может, вы этому не верите, вы хотите испытать свою силу? — тогда ваши усилия разобьются о несокрушимую твердыню, воздвигнутую самим Богом.

Вы все, власти военные и гражданские, министры, короли, проповедники, со всем вашим могуществом, пушками, динамитом, палачами и тюрьмами — вы не можете заставить одного человека, в котором действует сила Божия, совершить поступок, который он считает дурным, например, надеть военную форму. Не чувствуете-ли вы, что вся ваша гигантская сила — ничто перед разумом и совестью, перед силой Бога, живущего в человеке?

Итак, вы, министры, короли и императоры, вы, в которых столько могущества, вы капиталисты и проповедники — бросьте ваше ложное величие. Покажитесь в вашем истинном образе, в образе человека, служащего своему ближнему.

Мудрецы — не делайтесь глупыми. Сильные мира сего — не делайтесь слабыми! С вами борется теперь один человек — а таких скоро будет множество. И эти люди увидят вашу слабость, а своё могущество.

Чтобы вам сохранить себя в этом мире ложного величия, вам нужно убивать, уничтожать людей. Где же ваша сила?

Ваше величие призрачно, и стена, о которую разобьются все ваши усилия, — это сама действительность. И стена эта построена духом Божиим, духом Христа, чтобы показать вам тщету ваших усилий.

Я готов. — Я больше не могу быть рабом обстоятельств, которые делают из человека нечто худшее, чем животное. Я не могу любить людей больше моего Отца Небесного.

Неужели, друзья мои, у вас больше нет веры в силу любви, силу духа? Неужели вы думаете, что путь, указанный нам Христом — любить Бога больше всего на свете, — не нужен потому, что люди сильны и без Бога? Вы говорите, что вы любите людей. Вы ошибаетесь; вы любите людские призраки. Или не знаете вы, что сущность человека вечна? Чего же тогда бояться? Зачем заботиться о своём теле и о телах других, когда дело идёт об исполнении воли Бога? Зачем беспокоиться об имуществе и деньгах, зачем бояться голода и смерти? Для человека смерти нет.

Правду сказал Мультиатули <голландский писатель. — Р. А.>, что назначение человека быть человеком, полагаясь на силу правды. Итак, вперёд, почитатели Мультиатули и ученики Христа! Покажите же, что вы не рабы обстоятельств и идёте вслед за теми, кто опередил вас на пути к благу!

Лучше жить по правде и умереть только плотски, чем жить призраками и умереть совсем.

Кланяюсь всем знающим и не знающим меня и люблю вас всех.

Ян Тервей» (*Свободное слово. 1904. № 11. Стлб. 4 – 6*).

Видно и ощутительно, что писано сие полуребёнком — но уж как искренне! Павлу Ивановичу Бирюкову было «отрадно» рассказывать читателю об этом вдохновенном и вдохновляющем других дитя — особенно на фоне доходивших к нему в Швейцарию известий из воюющей России. Отрадно было и за будущее дела мира — наблюдая пример Голландии:

«...Эта передовая страна уже стоит по своему развитию накануне великой реформы — признания действительной свободы совести, реформы, которая несомненно окажет благотворное влияние на жизнь всего человечества» (*Там же. Стлб. 6 и 8*).

Юному анархисту Ваньке Тервецу, и вправду, повезло: он отбыл за отказ тюремный срок в три месяца, а за вторичный — был приговорён, по голландским законам, на целых пять, и со “страшной” прибавкой: лишением права, по отбытии наказания, поступать на военную службу на срок в пять лет (*Там же. Стлб. 6*). А поднятая его защитниками шумиха вряд ли могла сподвигнуть правительство преследовать бойкого молодого человека и позднее!

Очень хорошо возражение одного из сочувствующих Яну Тервею в печати — на аргумент какого-то великовозрастного хуйла, близкого

к правительственным и церковным кругам, о слабости, “несерьёзности” и нестойкости убеждений Ваньки:

«Почему же вы допускаете возможным в двадцатилетнем юноше убеждение в преступности убийства, грабежа, поджога в частной жизни — и не допускаете того же по отношению к жизни государственной? И почему вы допускаете в таком человеке убеждение в законности любви к родным и не допускаете того же по отношению ко всему человечеству?» *(Там же. Стлб. 7).*

Ещё до напечатания этой, журналистски великолепной, очень профессиональной статьи Толстой узнал подробности о Яшкином наказании и о милом его письме, видимо, из письма самого автора статьи, П. И. Бирюкова — о чём 10 июня 1904 г. сообщает В. Г. Черткову: «Прекрасно письмо Тервея и статья Поши» (88, 336). А ещё ранее, самые первые сведения о Тервее и его поступке Лев Николаевич почерпнул из письма к нему от 8 января 1904 г. голландского единоверца во Христе, профессора Амстердамского университета Якоба ван Рееса (1854 – 1928). Помимо занятий гистологией, ван Реес прославился как писатель, публицист, издатель (основал голландский антивоенный журнал «Vrede»), антимилитарист, пацифист, анархист и поклонник языка эсперанто — то есть, по совокупности, как раз очень-очень хороший умненький львёнок Льва Николаевича! В 1903 г. ван Реес основал в Бларикуме общину «Роцца Гуманитариев» (*Humanitaire bosje*), проповедовавшую возвращённое Толстым миру христианство Христа не только словом, но и примером жизни её членов.

На письмо ван Рееса с известиями о Тервее Толстой отвечал 21 января (3 февраля) следующим (перевод с немецкого):

«Дорогой друг!

Очень рад был получить ваше письмо с хорошими вестями об отказе Яна Тервея от военной службы... Не могу не радоваться его отказу, хотя горячо соболезную горю его матери и всему тяжёлому, что ему приходится переживать. В России такие случаи с каждым годом повторяются всё чаще и чаще, и когда я о них или о Тервее слышу, всякий раз испытываю смешанное чувство зависти, что не я, но другой совершил этот хороший поступок, стыда, что живу в покое и благополучии, в то время как другой страдает за нас, и раскаяния, что, может быть, я с моими писаниями — причина этого страдания. Но самое живое чувство, которое я испытываю при таких вестях, — это чувство радости за приближение Царства Божьего на земле и чувство любви к людям, страдающим за осуществление этого. Передайте, пожалуйста, мою любовь Тервею, если это может быть ему

приятно, и будьте добры сообщить мне об его дальнейшей участи. Меня очень радует, что ваше религиозное мировоззрение распространяется всё шире и шире. Действовать надо с полной уверенностью, что не увидишь плодов своей деятельности и принимать каждый признак успеха, как нечто неожиданное, тем не менее твёрдо веря, что успех будет.

С сердечным приветом — преданный Лев Толстой» (75, 25 – 26).

Учитывая то, что в России отказник Толстой не отделался бы столь легко, как Ивашка-анархист в Голландии, нам остаётся только порадоваться, что его, не раз высказанное, желание разделить с отказниками разных стран мученическую судьбу так и не осуществилось.

Сам Ян Тервей, освободившись, помогал в том же другим отказникам — пиша о них очерки для журнала «Vrede». Благодаря друзьям в общине, устраивавшим юному таланту выставки, он скоро нашёл щедрых покупателей и для своих живописных работ. Профессор ван Реес отдал ему в жёны свою дочь Mies: для их свободной любви в общине «Роща Гуманитариев» была построена уединённая хижина. Оставив общине сожительницу и обильное потомство, разочаровавшись в анархистах (в рядах которых становилось всё больше социалистом и атеистов), Ян Тервей отдаётся искусству. С огромным числом постоянных поклонников и покупателей он легко делается свободным художником, и, кстати, тоже немножко писателем: в частности, публикует несколько статей и о Льве Николаевиче Толстом! С 1914 года умница Тервей живёт Швейцарии, уже в «законном браке», подарившем ему дочь и двоих сыновей. Тервей прожил остаток жизни мирно и мудро, как мог только мечтать, покойно, благословляя Господа, в радости и творчестве, и тихо, во сне отошёл к Нему 18 марта 1965 года.

Наконец, *назарены* — христианская секта, основанная первоначально в Швейцарии Сэмуэлем Генрихом Фрелихом (1803 – 1857), и уже в 1840-х годах получившая распространение в Венгрии, а затем и в других странах, преимущественно в Австрии, Сербии и Болгарии. Будучи своей догматической стороной во многом близкими к церковному христианству, назарены отрицали храмы, иконы, физический пост, праздники и всякую внешнюю обрядность. Отрицая также иерархию и святых, они единственным посредником между Богом и человеком считали Христа, который, по учению большин-

ства членов секты, признавался богом, по мнению же более свободомыслящего и разумного меньшинства — человеком. Назарены отрицали суд, присягу и отказывались от употребления оружия на военной службе, подвергаясь за это большею частью тяжким репрессиям. В том же номере 16-м за 1901 г. журнала «Свободная мысль» есть очерк о назаренах, показавших себя в тюрьме города Сегед (в Австро-Венгрии) примерными, трудолюбивыми и нестигаемыми в убеждениях мучениками: «Если нужен добросовестный, ловкий рабочий, то выбирают только назарена...» (*Свободная мысль. 1901. № 16. С. 248*). Отбывшим срок наказания по выходе снова предлагали поступить на военную службу — и так в течение десяти лет, пока не истекал законный срок военной службы в Австро-Венгрии. И назарены снова и снова выбирали тюрьму... Один из них, Степан Шапта, отбыл так полные восемь лет наказания — и готовился, после отказа, к ещё двум (*Там же*).

В 1905 г. молодой толстовец *Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич* (1873 – 1955), под псевдонимом В. Ольховский, выпустит в издании «Посредника» книжечку «Назарены в Венгрии и Сербии», в которой, по существу, выразит толстовскую идеализацию верований, образа жизни и отказов назарен от военной службы, как пути к миру. По закону круговорота добра в природе, содержание этой книжечки Лев Николаевич использует при составлении своего «Круга чтения». Вот отрывок:

«Сущность учения назарен состоит в следовании учению Нового Завета, преимущественно Нагорной проповеди. Они не признают никакой иерархии, писанного учения и вообще организации; учение их не установившееся, изменяющееся, различно в догматическом отношении в различных общинах, — даже в одной и той же общине есть члены, верующие по-своему.

Но нравственное учение у всех одно и то же. Все они ведут строго нравственную воздержную жизнь. Считают главными правилами жизни: трудолюбие, кротость в обращении с людьми, смиренное перенесение обид и воздержание от участия в насилии. Они не признают суда, не платят добровольно податей, не присягают и отказываются от военной службы и вообще к государству относятся, как к ненужному им учреждению.

В свои общины, состоящие преимущественно из трудового народа, назарены принимают только “воскресших духом”, покаявшихся и живущих новой жизнью. Поэтому дети назарен не считаются назаренами, пока не придут в сознательный возраст и сами не пожелают вступить в общину верующих.

Отказ назарен от воинской повинности вызывает против них гонения австрийского правительства. Но назарены твёрдо держатся своего убеждения о несогласии с христианством военной службы и покорно несут накладываемые на них наказания, не изменяя закону Христа.

Свои отказы от воинской повинности назарены основывают на словах Христа: “А я говорю вам: не противься злему” (5, 38 Матф.) и “любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас” (5, 44 Матф.).

Простые крестьянские парни, назарены, часто удивляют своих гонителей той твёрдостью, с которой они переносят всякие мучения. И так поступают не только рекруты, но и запасные, т. е. такие, которые уже после отбытия действительной службы сделались назаренами. Когда их призывают на манёвры, они отказываются брать оружие в руки. Зная, что их за это могут приговорить к пожизненному заключению, они заблаговременно распоряжаются своим хозяйством так, чтобы жена могла управляться одна, и прощаются как бы навеки с своими семьями. Семьи их большей частью сочувствуют их мученичеству.

Так, несколько лет тому назад Йога Радованов (серб) из Вечбаса (Бачка), будучи зачислен в Пеште в 6 полк 6 роту, отказался взять оружие, сказав, что вера его не позволяет ему этого. Суд приговорил его к заключению на 2 года. Старший брат его, приговорённый к заключению в 1894 г., сидел уже 10-й год. Мать этих обоих братьев пришла навестить младшего. Начальство ей не разрешило свидания. Она стояла и плакала на дворе тюрьмы. И в это время увидела в одном из окон лицо сына и сейчас же крикнула ему: “Сыне мой злати, не мой за Бога узети пушку! (Сынок мой золотой, Бога ради не бери ты ружья!)”.

В конце августа 1895 г. призывались запасные Сегединского резервного полка. Когда запасным раздавали ружья, двое из них не хотели принять ружья, потому что, как они сказали, им это не дозволяет назаренская вера. Капитан Олчвари стал говорить им, что Бог любит войско, что ведь теперь идут не на войну, а только на манёвры, где никто не будет проливать крови. Назарены на это ответили: “Но нас для того ведут на манёвры, чтобы выучить убивать людей”. Капитан пытался подействовать на них страхом. Он сказал им, что прошлой осенью один назарен тоже так себя вёл и его несколько раз наказывали и, наконец, заключили на 17 лет в крепостную тюрьму.

— Пусть нас застрелят, — спокойно ответили назарены, — но не можем идти против законов Бога.

Другие запасные пошли к семьям этих назарен, и жёны их, не находившиеся ещё в секте, с плачем просили мужей, чтобы те покорились власти, но они не согласились. Капитан посадил их предварительно на 10 дней тяжёлого ареста. Когда их отводили, они, плача, расставались с семьями.

— Оставайтесь с Богом, — говорили они, — нас заживо похоронят ради господина Бога, ради святой невинности и чистоты душевной, потому что люди должны быть, как агнцы Божии.

Франко Новак должен был отбывать военную службу в Тамешваре. Когда его в первый раз повели вместе с другими рекрутами на учебный плац, он отказался принять оружие. Заметив суету около Новака, бывший на плацу генерал подъехал к этому месту и спросил, что случилось. Ему доложили.

Генерал ласково спросил Новака, почему он не хочет взять оружие. Новак вынул из кармана маленькое Евангелие и сказал: “Высшие власти разрешают печатать эту книжку, а также не запрещают жить по высказанным в ней заветам. В книге же этой сказано: “Люби ближнего, как самого себя”. Не принимаю оружия потому, что хочу следовать заветам Спасителя”. Генерал спокойно выслушал до конца Новака, потом сказал ему: “Однако в этой же книжке сказано: кесарево — кесарю, Божье — Богу”.

Новак сначала смутился и молчал, но потом, одумавшись, снял военную фуражку, оружие, мундир и, положив всё это, сказал: “Вот, всё это его величества кесаря, вот и я отдам ему всё, что его”» (42, 386 – 388).

И, для контраста — сколь далеки от таковых святых людей, безмерно далеки, были устроители, распорядители и пропагандоны российско-японской бойни! Главная вина и ответственность ложится, конечно же, не столько на тех, кто непосредственно гнал людей на убийство, сколько на тех, кто настолько извращал и по сей день извращает душу человека, что делает возможным подчинение людей самым нелепым требованиям.

Главная доля ответственности за войну лежит на светских и религиозных учителях, которые проповедают детям и малодумающим взрослым людям патриотизм и подкрепляющую его ложную веру, извращая учения великих учителей человечества.

В русско-японской войне совершилось столкновение двух религий — христианской и буддийской, одинаково запрещающих убийство. Мы знаем хорошо, как учителя лжехристианства православия извращали и извращают заповеди Христа в своих катехизисах и официальных проповедях и учебниках для школ. Но вот, оказывается,

точь-в-точь то же самое происходило в ту эпоху в Японии, которая уже «цивилизировалась» тогда достаточно для того, чтобы служители её государственной религии, буддизма, множили толкования на учение Будды, в которых доказывалось, что, хотя Будда и учил любви ко всем существам, но врагов — китайцев или русских — убивать полезно и можно.

Лев Николаевич вынес подробности этой стыдной истории из основного текста статьи в сноску. С тем большим удовольствием рассмотрим-ка её попристальней.

Влиятельный учёный монах, начальствующий над 800 монастырями, *Сойен Шакю* (1860 – 1919), далёкий предтеча Геббельса и путинских, фашиствующих Петра Толстого и Владимира Соловьёва, в годы войны служил капелланом в армии Японии и открыто радовался её победе.

В одной из пропагандистских своих статей он «объясняет» своей самурайской лопухой пастве, «что, хотя Будда и запретил убийство, но он же сказал, что он не будет спокоен до тех пор, пока все существа не будут соединены в бесконечном, любящем сердце» (Здесь и далее все изречения Сойена Шакю — по переведённым цитатам Л. Н. Толстого в статье «Одумайтесь!»).

В статье кроме этого сказано от имени Будды:

«Тройной мир принадлежит мне. Все вещи в нём мои дети... Все они только отражения моего Я. Все из одного источника... Все части моего тела. Поэтому я не могу быть покоен до тех пор, пока малейшая часть существующего не будет доведена до своего назначения...»

Таково отношение Будды к миру, и мы, его смиренные последователи, должны идти по его пути.

Почему же мы сражаемся?

Потому что мир не таков, каким должен быть, потому что есть извращённые существа, ложные мысли, дурно направленные сердца, вследствие невежественной субъективности. И потому буддисты никогда не перестанут воевать со всеми произведениями невежества, и война их продолжится до горького конца. (To the bitter end.) Они не помилюют. (They will show no quarter.) Они уничтожат корни, из которых вытекают несчастья жизни.

Чтобы достигнуть этого, они не пощадят своих жизней» (36, 142).

Дальше идут, такие же, как у православных брехотворцев, путанные рассуждения о самоотвержении и незлобивости, переселении душ и многое другое... «Всё только для того, — констатирует Лев Николаевич, — чтобы закрыть ту простую и ясную заповедь Будды о том, чтобы не убивать» (Там же).

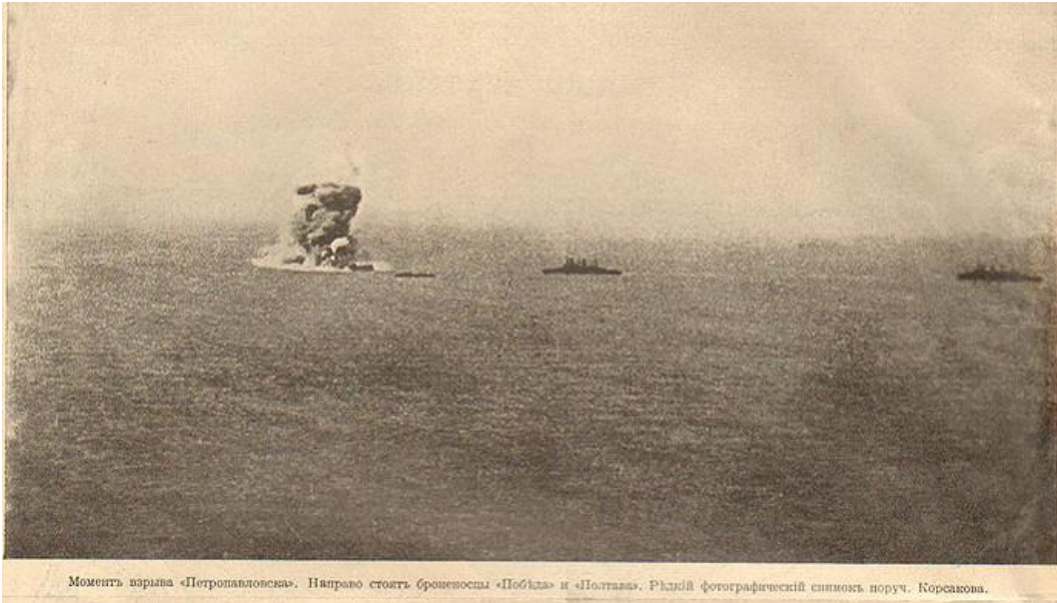
Наконец, говорится: «Рука, поднятая для удара, и глаз, берущий прицел, не принадлежат личности, а суть орудия, которыми пользуется Начало, стоящее выше преходящей жизни» и т. д. («The Open Court», May, 1904. Buddhist Views of War. The Right Rev. Soyen Shaku).

Что тут сказать? Конечно, посоветовать каждому из таких седомудрых обманщиков начать с себя. Ибо именно *они* — главные извратители мышления и сердец людей, устремляющихся к миру и к добру. «Рука, поднятая для удара, и глаз, берущий прицел» — всегда были и будут не «превыше преходящей жизни», а много ниже её. Ибо «преходящая» мирная жизнь — тоже часть жизни вечной разума, и человек должен не отступать от её законов и смыслов, как это происходит, когда он повинуетя низшим поведенческим программам своей первобытной, именно животной природы. «Учитель» же Соён Шакю — благословляет именно такую потачку неизжитой животности целых миллионов людей!

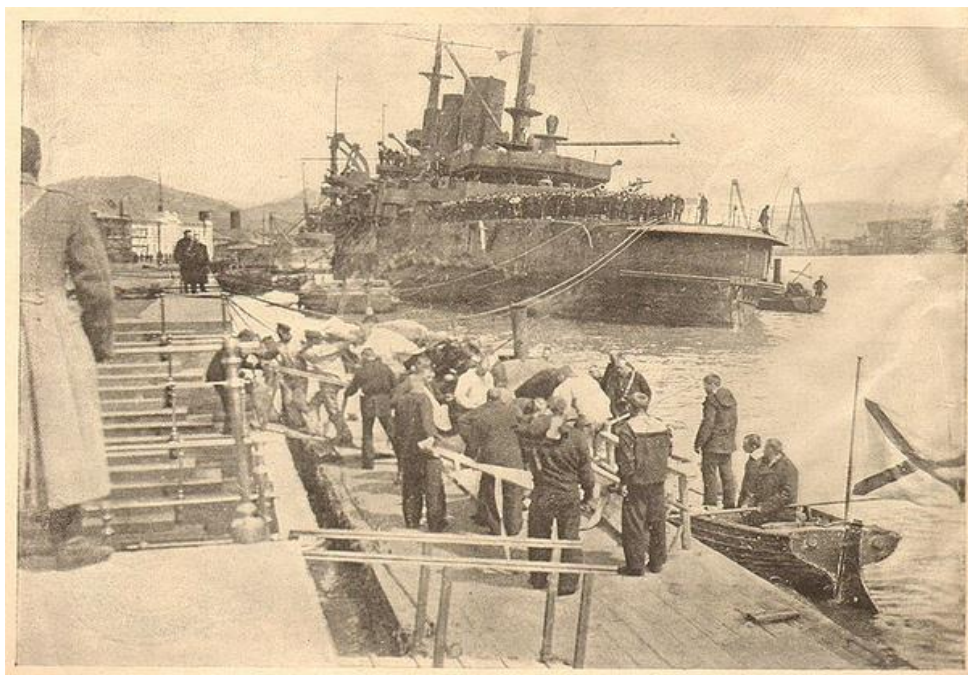
Когда человек блудит, то это его похоть, подстёгиваемая воображением, творит грех — а не бесы в головке полового члена или божок любви со стрелами. Так точно и к войне гладкокожих, бесхвостых зверюшек Дарвина подвигают не духи или демоны, не боги или Бог, а то же потворство отжитому и вредному, а с XX века опасному и не для одного человечества, стадному, звериному состоянию.

* * * * *

Глава Одиннадцатая — отклик Толстого на известия о гибели 31 марта эскадренного броненосца «Петропавловск». Будущий герой Цусимы (27 мая 1905 года в Цусимском сражении японский флот наголову разгромил 2-ю и 3-ю Тихоокеанские эскадры), талантливый японский стратег и военачальник адмирал Того Хэйхатиро (1848 – 1934) 30 марта выманил русскую эскадру из восьми миноносцев на заранее подготовленные японские крейсера и минное заграждение. Сперва, в ночь на 31-е, поймался миноносец с «говорящим» названием «Страшный» — в темноте принявший японскую эскадру за «своих» и, на рассвете, красиво расстрелянный в упор. На помощь имперскому корыту геройски ринулось другое такое же, броненосец «Петропавловск», на котором присутствовал лично командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Степан Осипович Макаров — и японцы благоразумно отступили, наблюдая красивый финал.



Конечно же, корыто смерти подорвалось на установленных умницами японцами минах! Понадеявшийся на русский «авось» Макаров погиб вместе с 10 штабными офицерами, включая начальника штаба контр-адмирала М. П. Моласа, 17 или 18 корабельными офицерами, 620 – 652 матросами (данные о числе погибших в разных источниках отличаются), судовым священником о. Алексием Раевским и, вишенкой на торте — известным художником-баталистом Василь-Васильевичем Верещагиным, делавшим наброски для будущих своих героико-патриотических картинок.



«Я кончал эту статью, когда пришло известие о гибели шестисот невинных жизней против Порт-Артура» — так начинает Толстой Одиннадцатую главу, по понятным причинам относя к *невинным* жертвам только простых матросов, убиенных тётёй «родиной»: тех «несчастных, собранных со всей России людей, которых с помощью религиозного обмана и под страхом наказания, оторвав от их честной, разумной, полезной, трудовой, семейной жизни, загнали на другой конец света, посадили на жестокую и нелепую машину убийства и, разорвав в клочки, потопили вместе с этой глупой машиной в далёком море, без всякой нужды и какой бы то ни было возможности пользы от всех тех лишений, усилий, страданий и смерти, которая их постигла» (36, 136).

Но, как и в 2022-м году с потоплением обороняющими своё отчество украинцами крейсера «Москва» — ни в среде участников войны, ни в основной массе общественности не явилось в головках и, тем более, речах никаких рефлексий не то, что христианской, а хотя бы светско-гуманистической и антивоенной направленности. Вели и шли на убийство и смерть — и готовы, как скот, дальше!

В связи с этим Л. Н. Толстой приводит исторический характерный прецедент, вычитанный им в книге «Thaddée Wylezinski. Mémoires. Episode de la Révolution de Pologne de 1830 – 1831, avec une préface de M. Constantin Woënsky», мемуарах Фаддея Иосифовича Вылежинского (1794 – 1844), подполковника польских войск, флигель-адъютанта императора Николая I, во время Польского восстания 1830 – 1831 гг. бывшего дипломатом в переговорах императора с диктатором восстания, Иосифом Хлопицким (1771 – 1854).

Хлопицкий придерживался политически умеренных взглядов и, не веря в возможность военной победы восставших при столкновении с силами России и в возможность интервенции Европы в пользу Польши, пытался разрешить кризис дипломатическим путём. За это он подвергался ожесточённым нападкам радикально-демократического крыла повстанцев — т. н. «клубистов», которые ставили на расширение восстания и поддержку Европы. Однако популярность в народе, верившего в Хлопицкого как в военного гения, способного спасти Польшу, парализовала оппозицию клубистов. С другой стороны, и переговоры с Россией не увенчались успехом:

«В 1830 году, во время польской войны, посланный от Хлопицкого в Петербург адъютант Вылежинский в разговоре с Дибичем, шедшем на французском языке, на поставленное Дибичем условие, чтобы русские войска вступили в Польшу, отвечал (далее перевод диалога с французского. – Р. А.):

— Господин маршал, я думаю, что при этих условиях совершенно невозможно, чтобы польский народ согласился принять этот манифест.

— Поверьте, император не сделает уступок.

— Тогда я предвижу, что, к несчастью, будет война, много будет пролито крови, много несчастных жертв.

— Напрасно вы думаете так, самое большое погибнет с обеих сторон 10 000 человек, только всего.

<Это> сказал своим немецким акцентом Дибич, вполне уверенный, что он, вместе с другим, столь же жестоким и чуждым, как и он, русской и польской жизни человеком, <имп.> Николаем Павловичем, имеет полное право приговорить или не приговорить к смерти десятки, сотни тысяч русских и польских людей.

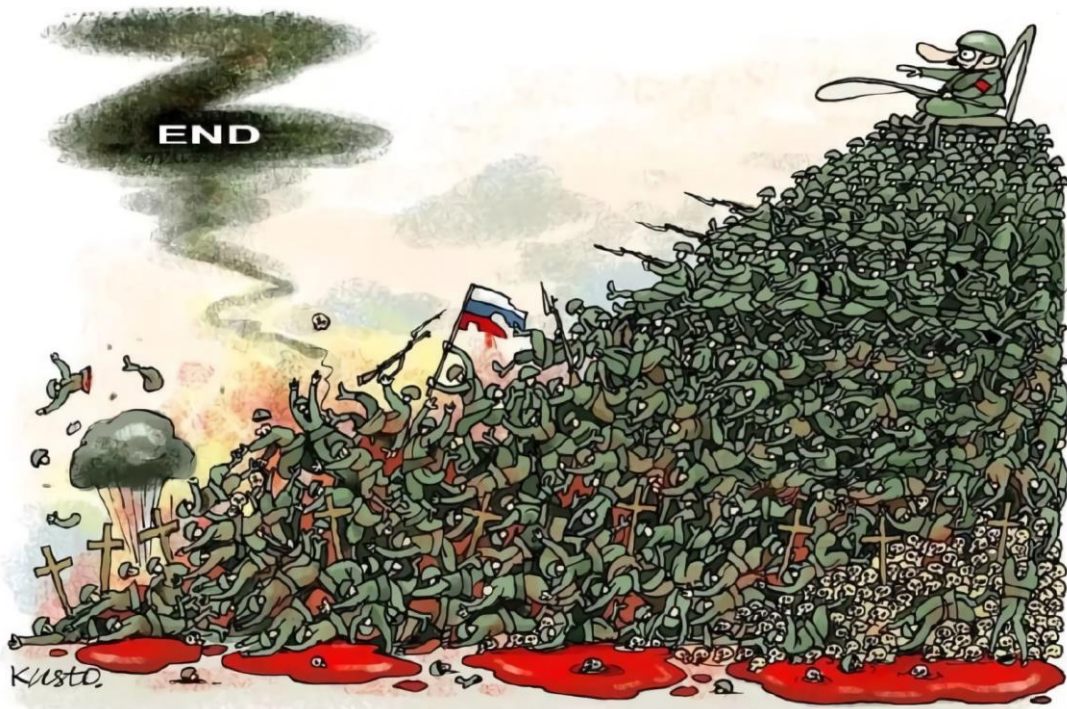
Вылежинский прибавляет от себя: “Фельдмаршал не думал тогда, что более 60 000 только русских погибнет в этой войне, не столько от неприятельского огня, сколько от болезней, и что он сам будет в том числе”.

[...] 60 тысяч жизней кормильцев семей погибло по их воле. И теперь происходит то же самое» (*Цит. по: 36, 136 – 137*).

Война с Японией, пророчит, на возвышении эмоций, Лев Николаевич, потребует больше жертв, нежели русско-польская за 70 лет до того: жертв «живых русских людей, которых Николай Романов и Алексей Куропаткин решили убить и будут убивать ради поддержания тех глупостей, грабительств и всяких гадостей, которые делали в Китае и Корее безнравственные, тщеславные люди, сидящие теперь спокойно в своих дворцах и ожидающие новой славы и новых выгод и барышей от убийства этих 50 000 ни в чём не виноватых, ничего не приобретающих своими страданиями и смертями, несчастных, обманутых русских рабочих людей. Из-за чужой земли, на которую русские не имеют никакого права, которая грабительски захвачена у законных владельцев и которая в действительности и не нужна русским, да ещё из-за каких-то тёмных дел аферистов, хотевших в Корее наживать деньги на чужих лесах, тратятся огромные миллионы денег, то есть большая часть трудов всего русского народа, закабаляются в долги будущие поколения этого народа, отнимаются от труда его лучшие работники и безжалостно обрекаются на смерть десятки тысяч его сынов. И гибель этих несчастных уж начинается. Мало того, война ведётся теми, которые затеяли её, так дурно, небрежно: всё так не предвидено, не приготовлено, что, как и говорит одна газета, главный шанс успеха России в том, что у неё неистощимый человеческий материал. На это и рассчитывают те,

которые посылают на смерть десятки тысяч русских людей» (Там же. С. 137 – 138).

Образом, позорнейшим для современного нам гнезда бандырей, воров и разбойников — для путинской России — это описание Льва Николаевича подходит и для совершающегося в наши дни преступления — военной агрессии России в Украине.



«Неистошимый человеческий материал». Карикатура 2022 г.

Далее Толстой прибегает к очень страшному, но точному и тоже актуальному сравнению:

«Пешая саранча переходит реки так, что нижние слои тонут до тех пор, пока из потонувших образуется мост, по которому пройдут верхние. Так распоряжаются теперь и с русским народом.

И вот первый нижний слой уж начинает топиться, показывая путь другим тысячам, которые все так же погибнут.

И что же, начинают понимать свой грех, своё преступление зачинщики, распорядители и возбудители этого ужасного дела? Нисколько. Они вполне уверены, что исполняли и исполняют свою обязанность, и гордятся своей деятельностью.

[...] “Зрелая нация не сделает другого вывода из поражения, хотя бы и неслыханного для неё, как тот, что надо продолжать, развить и закончить борьбу. Найдём же в себе новые силы; явятся новые витязи духа”, пишет <газета> «Русь». [...]

И с ещё бoльшим остервенением продолжаютя убийства и всякого рода преступления» (Там же. С. 138 – 139).

* * * * *

Лев Николаевич кончил было уже свою статью, когда 8 мая 1904 г. он получил интересное письмо, от 11 апреля 1904 г., от матроса Ефима Савельевича Ивуса, в котором задумавшийся о смысле происходящего матрос просил разрешить его сомнение о совместимости войны с христианской религией. Об этом письме он записывает в своём Дневнике:

«8 мая. Нынче получил письмо от матроса из Порт-Артура: "Угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать?"» (55, 33).

В тот же день Толстой написал дополнение к Двенадцатой главе, в которое целиком включил письмо матроса, и сразу отослал его В. Г. Черткову, предварив его таким обращением к адресату: «Присылаю вам ещё прибавление к статье. Распорядитесь с ним как хотите. Напечатайте в статье или в отдельном письме или вовсе уничтожьте. Вот оно» (Цит. по: 36, 612). Драгоценное для Льва Николаевича письмо Ивуса было перепечатано секретарём на пишущей машинке, тогда как своё письмо и прибавление к статье он уместил на обрывке почтового листка и ещё одном листочке из блокнота (Там же). Конечно же, Чертков не уничтожил его — хотя до этого, как особенно доверенный друг и духовный последователь Льва Николаевича получил от него *carte blanche* «выключать» из текста всё, что покажется Черткову излишне резким, «нехорошим»: «Я нынче в таком духе, что особенно живо чувствую своё зло» (Там же). Увлечённость, задор вдохновенного творческого порыва, даже и праведный гнев — требовали от Толстого-публициста потом, в более спокойном настроении, множественных правок, на которые не доставало времени и сил.

Образец Льва во гневе — начало Двенадцатой главы, ставшее реакцией на новые, в газетах, призывы пролить ещё больше крови в битве с «низкой» Японией, под лозунгом «Довольно сентиментальничать!» (кстати, то же самое в наши дни вещают лживые пропагандисты войны России с Украиной):

«Только что отослал последние листы статьи о войне, как пришло ужасное известие о новом злодеянии, совершённом над русским народом теми легкомысленными, ошалевшими от власти людьми,

которые присвоили себе право распоряжаться им. Опять наряженные в разные пёстрые наряды, раболепные и грубые рабы рабов, разных сортов генералы, из-за желания отличиться или насолить один другому, или заслужить право присоединить к своим дурацким пёстрым нарядам ещё звездочку, побрякушку или ленточку, или по глупости, или по неряшеству, — опять эти ничтожные, жалкие люди погубили в страшных страданиях несколько тысяч тех почтенных, добрых, трудолюбивых рабочих людей, которые кормят их. И опять это злодеяние не только не заставляет задуматься или покаяться виновников этого дела, но и слышишь и читаешь только о том, как бы поскорее ещё искалечить и убить побольше людей и ещё больше разорить семей и русских и японских» (Там же. С. 140).

Здесь же, вслед изложению позорной истории с Сойеном Шакю, неустаревающие, к сожалению, в своей актуальности для России истории с мобилизацией и проводами «запасных»:

«Вчера я встретил провожаемого матерью и женой запасного. Они втроём ехали на телеге. Он был немного выпивши, лицо жены распухло от слёз. Он обратился ко мне:

— Прощай, Лев Николаевич, на Дальний Восток.

— Что же, воевать будешь?

— Надо же кому-нибудь драться.

— Никому не надо драться.

Он задумался.

— Как же быть-то? *Куда же денешься?*

Я видел, что он понял меня, понял, что то дело, на которое посылают его, дурное дело.

“*Куда же денешься?*” Вот точное выражение того душевного состояния, которое в официальном и газетном мире переводится словами: “За веру, царя и отечество”. Те, которые, бросая голодные семьи, идут на страдания и смерть, говорят то, что чувствуют: “Куда же денешься?” Те же, которые сидят в безопасности в своих роскошных дворцах, говорят, что все русские готовы пожертвовать жизнью за обожаемого монарха, за славу и величие России

[...] Те же, которые остаются, не только чувствуют, но знают и выражают это. Вчера я встретил на большой дороге порожнем возвращавшихся из Тулы крестьян. Один из них, идя подле телеги, читал листок.

Я спросил:

— Что это, телеграмма?

Он остановился.

— Это вчерашняя, а есть и нынешняя.

Он достал другую из кармана. Мы остановились. Я читал.

— Что вчера на вокзале было, — начал он, — страсть. Жены, дети, больше тысячи; ревут, обступили поезд, не пускают. Чужие плакали, глядучи. Одна тульская женщина ахнула и тут же померла; пять человек детей. Распихали по приютам, а его всё же погнажи... И на что нам эта кака-то Манчжурия? Своей земли много. А что народа побили и денег загубили...

Да, совсем иное отношение людей к войне теперь, чем то, которое было прежде, даже недавно в 77 году. Никогда не было того, что совершается теперь.

Газеты пишут, что при встречах царя, разъезжающего по России гипнотизировать людей, отправляемых на убийство, проявляется неопиcуемый восторг в народе. В действительности же проявляется совсем другое. Со всех сторон слышатся рассказы о том, как там повесилось трое призванных запасных, там ещё двое, там оставшаяся без мужа женщина принесла детей в воинское присутствие и оставила их там, а другая повесилась во дворе воинского начальника. Все недовольны, мрачны, озлоблены. Слова: “за веру, царя и отечество”, гимны и крики “ура” уже не действуют на людей, как прежде: другая, противоположная волна сознания неправды и греха того дела, к которому призываются люди, всё больше и больше захватывает народ.

Да, великая борьба нашего времени не та, которая идёт теперь между японцами и русскими, или та, которая может разгореться между белой и жёлтой расами, не та борьба, которая ведётся минами, бомбами, пулями, а та духовная борьба, которая не переставая, шла и теперь идёт между готовым к проявлению просвещённым сознанием человечества и тем мраком и тяжестью, которые окружают и давят его.

Христос, тогда ещё, в своё время томился ожиданием и говорил: “Огонь пришёл низвесть я на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся”. (Лука XII, 49.)

Чего желал Христос, совершается. Огонь возгорается. Не будем же противиться, а будем служить ему» (Там же. С. 144, 146 – 147).

К сожалению, по нашему времени, по фашиствующим в Украине, мародёрствующим, убивающим детей подонкам на жалованьи из путинской России мы хорошо видим, сколь идеализировал Лев Николаевич Толстой духовный прогресс *немногих* — на фоне массового повиновения или, самое большее, рабьего бунта, самоубийств.

Да и процент этих немногих мог бы быть ещё значительно меньше — свидетельствует один из ближайших и дорогих Толстому людей,

крестьянин-единомышленник *Михаил Петрович Новиков* (1871 – 1939), если бы речь шла не о Японии, которая «находится через море» а, например, о традиционном и хорошо известном враге — Турции: её «беззаконные поступки вызвали бы взрыв негодования и возбудили бы высокое патриотическое настроение в народе», даже при том, что в родной Новикову Лаптевской волости, Тульского уезда и Тульской же губернии, как признаётся в мемуарах сам этот неглупый мужичок, «газеты редко где выписывались по одной на деревню» (*Новиков М.П. Из пережитого. М., 2014. С. 193 – 194*). Дело лишь в подходящем пропагандистском обмане, и война обрела бы популярность. К моменту начала агрессии японцев таковой российское правительство заготовить для лапотных своих лохопырок не успело:

«Понятный в других войнах лозунг “За веру, царя и отечество” здесь был совсем не применим, так как никто нашей веры, ни царя и отечества трогать не собирался, а другого лозунга не успели сочинить, так и осталось пустое место» (*Там же. С. 194*).

Теперешняя полоумная война России в Украине демонстрирует такое же «пустое место», с которого, за первые же месяцы 2022 года, наспех состряпанная оправдывающая её ложь смылась, как гадкий грим со злого клоуна.

Следом за христианским пожеланием, в завершение Двенадцатой главы, стоит дата: 30 апреля 1904 г. — и основной текст этой именно Главы статьи «Одумайтесь!» завершается. Но отнюдь не завершается канонический текст всей статьи! Письмо, полученное от матроса Ивуса, заставило продолжить. Приводя в своеобразном эпилоге к статье письмо Ивуса, находившегося на крейсере «Паллада», Толстой воспроизводит, хотя и не вполне точно, орфографию подлинника:

«Писмо от матроса (следует имя, отчество и фамилия). Многа уважемаму Леву Николаевичу кланеюс и Вам низжающае Почтение низкае Поклон слюбовью многоуважаемае Лев некалаевич. Вот и четал ваше сочтение оно для мене очен была четать Пряетна я очень Любителъ Был четать ваше сочтение так. Лев никалаевич унас теперъ Военая дество как Припишите Мне пожалуста Угодна оно Богу ил нет что нас начальства заставляет убевать. Прашу я Вас лев никалаевич Припишите мена Пожалуста что есть теперя на свети Правда ил нет. Припишите мне Лев никалаевич унас уцеркви Идѣт Малитва Священник поминает Христалюбимае военства. Правда эта или нет что Бог Узлюбел Воену. Прашу я вас лев некалаевич нетли увас таких книжек чтоб и увидал есть насвети Правда или нет. Пришлите мне

таких книжек сколка это будет стоить я заплачу. Прашу я вас Лев Николаевич не оставте мое прозби когда книжак нет то пришлите Мне письмо. я очень Буду рад как я Получу ат вас Письмо. Снетерпением буду аждать ат вас Писма. Теперь да сведане остаюсь жив издаров итого вам желаю ота Госпада Бога добраго здорове вделах ваших хорошого успеха» (36, 147 – 148).

Вот, с датой 8 мая, комментарий Льва Николаевича об этом письме, уже совершенно завершающий статью — из которого труднее выкинуть хоть слово, чем из многих современных стихов или песен:

«Прямо словами я не могу ответить этому милому, серьёзному и истинно просвещённому человеку. Он в Порт-Артуре, с которым уже нет сообщения ни письменного, ни телеграфного. Но у нас с ним всё-таки есть средство общения. Средство это есть тот Бог, в которого мы оба верим и про которого мы оба знаем, что военное “действие” не угодно Ему. Возникшее в его душе сомнение есть уже и разрешение его.

И сомнение это возникло и живёт теперь в душах тысяч и тысяч людей, не только русских и не только японских, но и всех тех несчастных людей, которые насильем принуждаемы к исполнению самого противного человеческой природе дела.

Гипноз, которым одуряли и теперь стараются одурять людей, скоро проходит, и действие его всё слабеет и слабеет; сомнение же о том, “угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать”, становится всё сильнее и сильнее, ничем не может быть уничтожено и всё более и более распространяется.

Сомнение о том, угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать, это искра того огня, который Христос низвёл на землю и который начинает возгораться.

И знать и чувствовать это — великая радость» (Там же. С. 148).

Письмо Ивуса, напомним, датировано 11-м апреля — то есть, с высокой вероятностью, залежалось в какой-то военной цензуре. Получено оно было, увы! слишком поздно: с Порт-Артуром тогда прервалась связь... Но известно, что бронепалубный крейсер «Паллада» в этот период войны не участвовал (вплоть до битвы в Жёлтом море 28 июля) в крупных сражениях и, вплоть до потопления японцами 8 декабря, не терпел крупной убыли личного состава. Судьба Ефима Савельевича Ивуса, к сожалению, неизвестна: в литературе отсутствуют даже даты его жизни. Успел ли кто-нибудь, до катастрофы в декабре, рассказать ему, что Лев Николаевич сделал лучше, чем если бы написал простой ему, одному матросу, ответ? Детали биографии

и судьба умного и доброго матроса, если и будут когда-то попытки их восстановить — дело кропотливых архивных изысканий.

* * * * *

С заключительной, Двенадцатой главой статьи связан ещё один интереснейший сюжет — и история ещё одного отказника. Следом за рассказом о призыве запасного, нами выше цитированном, Толстому потребовалось привести образец писем, получаемых им в эти дни от призванных, оторванных от мирных жизни и труда, «людей рабочего народа», то есть, в первую голову, крестьян. Два письма одного из призванных — и одного из самых близких Толстому единомышленников, упоминавшегося уже выше крестьянина Михаила Петровича Новикова.

Михаил Петрович, как и старший брат его Адриан (1865 – 1930), проживали в селе Боровково, Лаптевской волости Тульского уезда, Тульской же губернии. 26 октября 1902 г. в письме к Анатолию Фёдоровичу Кони Толстой сообщал: «В Тульском уезде есть замечательная по нравственности, уму и образованию семья крестьян Новиковых» (73, 311). Адриан служил лакеем в Москве у Волконских. Со взглядами Толстого познакомился через свою барыню. Оба брата, лакей и толстовец — гостили в Ясной Поляне, писали Толстому и оставили о своей жизни мемуары.

До японской мобилизации Михаил Петрович уже был в военной службе — в качестве грамотея и умницы, старшим военным писарем в воинской части в Москве. В 1893 г. Толстой прочёл рукопись одной из его статей и сразу заметил его талант. Он использовал материал статьи в своей драме «И свет во тьме светит». В 1896 г. Толстой встретился с Новиковым и тогда же записал о нём в дневнике: «...изменил свою жизнь, вследствие моих книг. [...] Горячий юноша» (53, 83).

Толстой часто встречался с Новиковым, вскоре «за либеральные идеи» (по сведениям из того же письма Толстого к Кони) тот был разжалован из писарей и сослан в Тургайскую область. Вернувшись из ссылки, поселился в деревне и занялся крестьянским трудом, продолжал писать о крестьянской жизни. Начальство и духовенство стали для него заклятыми врагами. Из-за сложностей характера и убеждений Михаила Петровича всё чаще происходили столкновения. В 1902 г. ему пришлось хоронить своего ребёнка в огороде, ибо священник не разрешал это сделать на кладбище. Немного позднее,

став членом комитета по нуждам сельскохозяйственной промышленности, Новиков подал в комитет достоверное и правдивое описание жизни крестьянства и его нужд. «Записка эта, в которой говорится о выкупных платежах, давно покрывших долг и всё-таки собираемых, о малоземельности, об унижении крестьянства, о дурной постановке школ, вызвала [...] большое негодование против Новикова. ...Его арестовали и вытребовали в Петербург по приказанию министра внутренних дел» (73, 312). «Совестно жить в государстве, где могут делаться такие дела» — добавляет Л. Н. Толстой (*Там же*).

Как и в случае с похоронами церковно-«беззаконного» ребёнка, тогда всё для Новикова завершилось благополучно — но благодаря ходатайству Толстого и его друзей.

Письмо 24 апреля 1904 г. и последующие — бесценный материал, характеризующий не столько отношения к Русско-Японской войне толстовцев (Новиков в этом отношении всегда был особняком и «себе на уме»), сколько, берём шире — именно трудолюбивого, зажиточного крестьянства, которому безусловно, и помимо жизни и семейств «было, что терять» в вырванной из-под них в начале 1904-го мирной жизни.

Толстой использовал письма Новикова в статье «Одумайтесь», а сам Новиков — в статье «На войну!», образчике действительно хорошей публицистике и одновременно своеобразной мести Михаила Петровича тёте «родине». Благодаря Толстому и Черткову статья увидела свет в бесцензурном издании в Англии.

Приводим ниже самое интересное из писем, от 24 апреля 1904 г., не по сильно сокращённым, «журнальным» вариантам, а в более полном виде — почти так, как оно было получено и прочитано Толстым:



Сохранившиеся фотоизображения М. П. Новикова

«Дорогой Лев Николаевич.

Ну вот, сегодня я получил явочную карту о призыве на службу, завтра должен явиться на сборный пункт, вот и всё, а там дальше на Дальний Восток, под японские пули. Про моё и горе моей семьи я вам не говорю, вам ли не понять всего ужаса моего положения и ужасов войны! Всем этим вы уже давно переболели и всё понимаете. А как мне всё хотелось у вас побывать, с вами поговорить. Я было написал вам большое письмо, в котором изложил муки моей души, но не успел переписать — и получил явочную карту. Что делать теперь моей жене с четверыми детьми, из которых двое так называемые некрещёные? Как старый человек, вы, разумеется, не можете интересоваться судьбою моей семьи, но вы можете попросить кого-либо из ваших друзей ради прогулки навестить мою осиротелую семью, тем более что от ст. Лаптево до нашего Боровкова меньше часу ходьбы. Ведь окружающая нас среда очень рада, что меня берут на войну, в надежде, что я не вернусь...

Я вас прошу душевно, что, если моя жена не выдержит муки своего сиротства с кучей ребят и решится пойти к вам за помощью и советом — вы примите её и утешьте: она хоть вас и не знает лично, но верит в ваше слово, а это много значит. Тем более, что мы так изверились в людях, что кроме вас не знаем человека, который бы совершенно искренно мог относиться к другим людям. У всех на словах любовь и благожелание, а на деле предвзятая цель и особенная политика.

Противиться призыву я не мог, но я наперёд говорю, что через меня ни одна японская семья сиротой не останется. Господи, как всё это ужасно, как тяжело и больно бросать всё, чем живёшь и интересуешься. Как мизерны и мелки кажутся теперь все понятия и сказки про богов и чертей, про чудеса и святых, перед страшными бедственными ужасами войны. Учат, что Бог ради какого-нибудь одного старичка делал чудо, делал его нетленным и чудодейственным, где же теперь этот Бог и что ещё медлит с новыми чудесами, чтобы остановить братоубийственное кровопролитие? Ужели тысячи безвинных жертв и сирот не стоят и одного чуда, не стоят того, чтобы Бог пошевелил пальцами? Очевидно, он сам страшится современного вооружения и новейшей техники военного чуда. [...]» (Новиков М.П. Письма 1896 – 1935 // Новиков М.П. Указ. изд. С. 396 – 397).

26 апреля Лев Николаевич кратко отвечал своему очень умному, с непростым характером (ради его демонстрации читателю мы и восстановили некоторые фрагменты письма, субъективно-личные, обыкновенно в литературе опускаемые), единомышленнику:

«Близкий сердцу моему брат Михаил Петрович.

Получил ваше письмо и без слёз не мог читать его и теперь не могу думать о вас.

Всё, что возможно, сделаем для семьи вашей и на днях посетим её. В материальном отношении наверное всё нужное будет сделано, в духовном будем стараться.

Братски целую вас. Помогай вам тот Бог, который в нас, всё больше и больше расширяясь и разгораясь в душе вашей.

Лев Толстой» *(Там же. С. 397).*

Окончание этого письма при цитировании так же обычно опускают, а между тем оно характеристично: Толстой, как ему было свойственно, идеализировал в «хорошую» сторону Новикова, считая его безусловным единомышленником — чем Михаил Петрович, по адскому внутреннему свободолюбию, и не мог бы никогда быть!

Сведения из писем М. П. Новикова хорошо дополняют его же опубликованные воспоминания. Приводим ниже отрывок из главы «Японская война».

«Всю зиму 1904 г. шли мобилизации сибирских крестьян как более близких к месту действия, к весне же эта общая беда подошла и к нам, коснулась и нашего дома. [...] Идти на войну, да ещё на такую непопулярную, для меня было гораздо хуже каторги. По своим убеждениям я не мог себе представить, что я там буду делать и зачем я это стану делать? Руки опускались заранее, и заранее же я знал, что пользы там принести не могу, а потому и не должен по совести обманывать начальство. Надо было отказываться, и я стал к этому готовиться.

На подготовке в Туле я пробыл недель шесть и всё никак не мог собраться с духом, чтобы отказаться. Я знал, что в военное время мой отказ вызовет самое суровое наказание, и я мысленно мирился с этим.

В казарме я слышал открытый ропот солдат, которые также осуждали эту войну и не хотели идти туда.

— За что нам воевать, за чужую квартиру? — говорили солдаты из рабочих. — У нас собственности нет, а работать на других не всё ли одинаково: будь то русский заводчик и фабрикант, будь то немец или японец. Может, японский-то купец ещё дороже платить будет.

— Ни за что не поеду, — говорил один из них, — как посадят в вагоны, так я на мосту в реку брошусь (он и бросился), пускай хоть могила на родине детям останется, а там сдохнешь, дети и могилы не будут знать.

— А нам и совсем не за что воевать, — говорили смельчаки из крестьян. — Земли наши японец не трогает и не собирается трогать, да и земли-то у нас мало, а воевать за целостность помещичьих имений не согласны. Мы и поедem туда, а что толку-то от этого, будем там дурака валять да больными притворяться.

[...] О таких разговорах скоро узнало начальство и приказало взводным и фельдфебелям не допускать собираться в кучки солдатам и сейчас же их разгонять, а кто будет разговорами заниматься — тех сажать в карцер» (Новиков М. П. Из пережитого. Указ. изд. С. 194 – 195).

Драматические подробности проводов солдат родными и будней «в лапах материалистической организации» Новиков описывает во втором письме к Толстому, от 27 апреля 1904 г. (см. Там же. С. 397 – 399). В ответе, датированном 30 апреля, Толстой высказывает желание повидаться с любимцем в Туле (Там же. С. 399).

В один из праздников отпущенный Новиков сам навещает в Ясной Поляне Льва Николаевича — и сразу получает от старца посылные ободрение и моральную поддержку:

«Лев Николаевич плакал вместе со мною над моим положением, плакал и за всех тех несчастных, которые должны ехать на убой за десять тысяч вёрст и погибать там в канавах неизвестно за что.

[...] — Ко мне теперь каждый день приходят женщины с детьми, — говорил он, — чтобы я похлопотал им о пособии. Приходят и плачут. И я плачу вместе с ними. Разве им пособия нужны? Им нужны их сыновья, мужья, отцы и братья, а без них сколько бы они ни получали пособия, все они будут горькими вдовами и сиротами... Дипломаты уверяют, что без войны никак нельзя, нельзя договориться. А когда прольют реки крови, погубят и искалечат миллионы людей, тогда у них сразу прибавится ума и они всё же стоворятся.

Когда я рассказал Льву Николаевичу о том недовольстве войной запасных, какое я видел в казарме, он сказал:

— Да, так оно и должно быть на деле. Патриотизмом заражены только газеты и газетные писаки, которые теперь получают уйму денег за своё враньё, да те дельцы, которые наживаются во время войны капиталы, а народ молчит и страдает. За этим и солдат подпаивают водкой, чтобы они в пьяном угаре забывали своё настоящее положение в этой жизни. Да, да, ведь без ужаса и омерзения нельзя даже и подумать об этом огульном злодеянии, на которое посылают их, а их

ещё заставляют ходить под музыку и песни на это злодеяние, заставляют кричать "ура", когда от них побегут недобитые ими солдаты другого народа» (*Новиков М.П. Из пережитого. С. 195 – 196*).

С этим именно настроением Толстой писал «Одумайтесь!». Вероятно, Новиков и навещал его в дни завершения работы над статьёй — скорее всего, в мае, в котором «неприсутственных дней», с возможностью отпуска с места сбора призванного запасного, было и в Российской Империи предостаточно. Тем более, что Новиков спешил посоветоваться с Толстым о готовящемся им отказе служить.

Как обычно в таких случаях, Толстой предостерёг отказника:

«Главное, бери только по своим силам, и непременно поговори вперёд с семейными» (*Там же. С. 195*).

Об отказе своём Михаил Петрович рассказывает ярко, характерно, и столь при том немногословно, что отрывок этот читаем за возможное привести ниже целиком.

«Недели за три до отправки на войну я подал всё же письменное заявление об отказе от службы с оружием в руках, мотивируя тем, что по чистому человеческому разуму, не затемнённом ни страхом, ни корыстью, ни желанием карьеры, делать этого нельзя, и, чтобы не обманывать начальство, я заявляю об этом наперёд. Может, я и не прав политически, говорил я в этом заявлении, но иначе поступать не могу, так как политика есть условная ложь и ширма, за которой люди обычно прячут свою совесть, что жизнь человека и её задачи перед людьми и Богом совсем не в этой политической лжи, а только в делании добра и правды, в желании другому того, чего желаешь себе.

Я считался рядовым 4-й роты II пехотного Псковского полка, но, минуя непосредственное начальство, подал своё заявление в полковую канцелярию. На другой день нас погнали с песнями на стрельбище, за семнадцать вёрст от Тулы, и когда нашу роту развели в цепь для стрельбы, по ней неожиданно забежал фельдфебель, выкрикивая мою фамилию. Я отозвался, и меня тотчас же взяли из цепи и с вестовым отправили обратно в Тулу, в штаб полка. На коридоре с пустыми ящиками ко мне вышел адъютант с моим заявлением и спросил:

— Это ты писал сам, собственноручно?

Я подтвердил.

— А ты знаешь, что не только по суду, но я сейчас сам могу пристрелить тебя здесь вот, в коридоре, и никому не буду отвечать за

такую гадину! — гневно закричал он на меня, беря из кобуры револьвер. — Стой и не шевелись! Ты изменник, и с тобой разговоры коротки!

Я спокойно опустил руки и сказал:

— Что вы сделаете со мной, это ваше дело, а моё дело вас не обманывать, пока ещё меня не увезли за десять тысяч верст.

Он гневно обошёл меня кругом, извергая сквернословие и угрожая, а потом, сделавши два выстрела мимо уха, спрятал револьвер и быстро ушёл в канцелярию, дёрнувши по ходу за рукав. Через полчаса ко мне вышел полковник Львов и, с любопытством осмотрев меня с ног до головы, спокойно сказал:

— Нам с тобой возиться некогда, ты от нас не уйдёшь, а пока я тебя перевожу в обоз, а там видно будет, может, ты и сам ещё в разум придёшь!

Обоз стоял за Московской заставой в палатках. Прочитавши присланную со мной бумагу, командир обоза сказал:

— Ты что, баптист, молокан, евангелик?

И, не давши мне ответить, опять заговорил:

— Я знаю, знаю, имел дело с такими солдатами, мы тебе не дадим никакого оружия, а занятия найдём. А пока тебе дадут повозку и пару лошадей, учись их наскоро отпрягать и запрягать.

И мне дали пару лошадей. Бедные лошади, они стояли сотнями около коновязей и с голоду ели свой же навоз под ногами...» (Там же. С. 196 – 197).

В России 2022 – 2023 гг. очень многие, наконец-то, обратили внимание на эту статью Льва Николаевича и очень хорошо, до сердечной боли, смогли посочувствовать Михаилу Петровичу и его семье. Но статья-то 1904 года, господа! Где вы были раньше? Война предотвращается повседневно — послушанием Истине, жизнью в воле Бога. А не так, что, когда взяли за загривок — испугалось, заверещало, запоносило...

* * * * *

Тётя «родина» тупо, неспешно, но кое-чему училась... Несмотря на вышеописанную клоунату адъютантишки — лживую и злую, вполне в актуальных традициях «русского мира» — Новиков “отделался” не в пример легче, нежели многие отказники 1880-х и 1890-х годов. Безусловно, сделали своё доброе дело и известия, что Новиков общается с Толстым... По сведениям из писем нашего счастливого отказника к Толстому, ещё до официального переосвидетельствования 21

мая, странной «канцелярской ошибкой» Михаил Петрович был переведён в нестроевую службу, а после вторичного освидетельствования 11 июня — отпущен домой (*Там же. С. 401, 404 – 405*). Стоит заметить, что близкий к губернскому городу, отравленный газетной пропагандой родной общинный мир встретил этого христианина вполне в поганных «традициях» «мира русского»:

«Односельчане ещё больше возненавидели меня, так как все сразу решили, что меня освободил “Толстов”, [...] и их затаённые желания избавиться от меня не сбылись. Первый мужик, который встретил меня за деревней, язвительно спросил: “Что ж, знать, Толстов-то выручил? А ведь с твоей мордой можно было послужить за веру и отечество”» (*Там же. С. 405*).

Эта злая русская псина, облаявшая односельчанина на околице, отчасти была права. Везло не всем. И знакомство с Толстым помогало облегчить участь отказывающихся от военной службы. В комментариях Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого читаем:

«Яков Трофимович Чага (1880 – ?) — сельский учитель, единомышленник Толстого. За отказ по религиозным убеждениям от воинской службы 3 октября 1903 г. был приговорён к 18 годам ссылки в Якутскую область. Лично знаком с Толстым не был. Об отказе Чаги от военной службы сообщалось В. Г. Чертковым: “Свободное слово” 1904, 9» (75, 20).

Яков Трофимович Чага (укр. Яків Трохимович Чага; 1880 – после 1949), дитя Украины, уроженец г. Єйська, в 1902 г. на собственных землях под селом Маргаритовка Ростовского уезда устроил с единомышленником, толстовцем Скороходовым, вольную земледельческую общину. Вероятно, это навредило его карьере народного учителя — и, как и Евдоким Дрожжин, потеряв место, он подпал под военный призыв.

Обратим внимание: отказ Якова Трофимовича состоялся ещё в т. н. «мирное время», до начала Японской войны — и сколь суров приговор! Потому что — таки да: «лично знаком не был...». 20 января 1904 г. Толстой написал Чаге такое письмо со словами ободрения и поддержки:

«Когда я узнаю про таких людей, как вы, и про то, что с вами случилось, я всегда испытываю чувство зависти, стыда и укора совести. Завидую тому, что прожил жизнь, не успев, не сумев ни разу на деле показать свою веру. Стыдно мне оттого, что в то время, как вы сидите с так называемыми преступниками в вонючем остроге, я роскошествую с так не называемыми преступниками, пользуясь всеми материальными удобствами жизни. Укоры же совести я чувствую за то, что, может быть, я своими писаньями, которые я пишу,

ничем не рискуя, был причиной вашего поступка и его тяжёлых материальных последствий. Самое же сильное чувство, которое я испытываю к таким людям, как вы, это — любовь и благодарность за всех тех миллионов людей, которые воспользуются вашим делом» (Там же. С. 19 – 20).

И хотя Чага тоже оставил семью, как немногим позднее (и всего на три с половиной месяца!) Михаил Новиков, ему, прежде незнакомому, Толстой лишь предложил, «делая для Бога, а не людей», с Божьей помощью «найти выход и довершить дело» (Там же. С. 20).

Разница налицо... При этом, благодаря Черткову, Чага стал новой иконой мученичества в пропагандистской бесцензурной прессе толстовцев. Для справедливости стоит заметить, что Толстой, узнав от своих учеников о Чаге, уже не забывал ни на день, вёл с ним переписку (известны 12 писем) и писал влиятельным людям прошения об облегчении и его участи. Например, Виктору Николаевичу Булатову, который в 1903 – 1906 гг. был гражданским губернатором Якутской области — с просьбой поселить Чагу, как ссыльного, в более комфортных условиях, в городе Якутске (см. 75, 78 – 79). Более одного письма писать в Якутск не пришлось: вероятно, просьба Льва Николаевича была удовлетворена. Уже в революционном 1905 году Я. Т. Чага был освобождён из ссылки, но в 1909-м — возвращён в Якутск. В любом случае, с помощью Толстого, ссылка эта далась Якову Трофимовичу легче, чем, через много лет, в 1930 году, пять лет сталинских лагерей — «за участие в нелегальной анархо-мистической организации» и, как было с многими толстовцами, за «анти-советскую агитацию», то есть, естественную реакцию на большевизм (<https://base.memo.ru/person/show/2779397>).

Чаге повезло с «двух сторон». Распоряжением от 26 февраля 1905 г. сектанты, сосланные после 1896 г. в Якутскую область, были возвращены, и ссылка в Якутскую область лиц, отказывающихся от военной службы, была отменена. Но и в 1905 г. отказывавшихся от военной службы судили на основании 105 ст. военного устава о наказаниях — за неповиновение приказаниям начальства. Наказанием был дисциплинарный батальон. Желая хоть как-то на благо отказников использовать недолгие послабления революционной эпохи, Толстой в открытом письме в дружественную ему газету «Русские ведомости» от 1 декабря 1905 г. пытался привлечь общественное внимание к судьбе ещё двоих отказников, Петра Рышкова и Павла Бугаева. От себя Толстой пишет: «Полагаю, что в теперешнее время, когда с одной стороны провозглашена свобода совести, с другой стороны освобождены все политические арестанты, пора бы перестать

наказывать людей за то, что они остаются верными своим религиозным, мирным, братолюбивым убеждениям...» (76, 61).

Сведений о дальнейшей судьбе этих двоих нет, но, вероятно, в данном случае попытка Толстого изменить их судьбу не увенчалась успехом.

* * * * *

Несмотря на все предпосылки к отчаянию, наблюдая массовую готовность в военное рабство людей даже по случаю совершенно нелепой, спровоцированной самой имперской Россией войны, Толстому, тем более, были дороги сомнения таких людей, как Михаил Новиков, как Ефим Ивус, в том, «угодно ли Богу» системно организованное «начальством» и профинансированное с народных трудов, с податей, убийство людей. В той же, от 8 мая, записи Дневника, упомянув от письме от Ивуса, он продолжает свою мысль:

«Есть <в народе> это сомнение, и я пишу о нём, но знаю тоже, что есть великий мрак в огромном числе людей. Но, как Кант говорит, как только ясно выражена истина, она не может не победить всё. Когда? — это другой вопрос. Нам хочется скоро, а у Бога 1000 лет как один час. Думается мне, что для того, чтобы кончились войны (и с войнами узаконенное насилие), нужны вот какие исторические события: нужно 1) чтобы Англия и Америка были в войнах разбиты государствами, введшими общую воинскую повинность; 2) чтобы они вследствие этого ввели общую воинскую повинность, и 3) что тогда только все люди опомнятся» (55, 33).

Часть этого пророчества исполнилась. В первой мировой войне Англии угрожало поражение Германией. И Англия, а потом и Америка ввели обязательную воинскую повинность. Конечно, это значительно подвинуло дело мира — в смысле изобличения ветхих обманов. Все народы узнали все ужасы войны, рабство военное и ложь всякого патриотизма. С тех пор для всех очевидно, что только на обмане, подкупе или принуждении держится никому не нужный институт солдатчины, обслуживающий никому не нужные «великие» государства, существование которых, в свою очередь — только следствие уступки масс людей своим давно и ни на что в человеческой разумной жизни не нужным, атавистическим бессознательным животным программам, господствующим над ними вследствие христианского безверия: отвёртывания их от Бога, недоверия Ему и непослушания Христу.

И уже поэтому так важно и актуально всякое слово религиозного публициста — такое, как гениальная статья Л. Н. Толстого «Одумайтесь!» — служащая среди безумия войны духовным и информационным оружием, уничтожающим возможность победы для вредного хищника, такого, как Россия николаевская в годы Русско-Японской войны или как путинская Россия в наши дни.

Замечательный исследователь толстовского наследия, полковник Рик Мак-Пик, преподаватель в военной академии Вест-Пойнт (США), говорит об этом оружии всемирного добра так:

«Его (Толстого – Р. А.) философия войны и мира не оставляет камня на камне от традиционных критериев успеха в вооружённом конфликте, в том числе таких, как патриотизм, героизм и победа [...]. В универсальной системе координат, предложенной им [...], когда люди выбирают насилие для решения какой-либо проблемы, проигрывают все, живущие на земном шаре. Для Толстого настоящая битва происходит в духовной сфере. Поэтому единственная приемлемая стратегия для *духовного воина* — это отказ брать в руки оружие, а истинная мера победы — количество душ, спасённых от насильственной смерти. [...] Стоит ли удивляться, что редкие нации и индивидуумы откликнулись на громкий призыв к миру этого *великого воина*» (Мак-Пик, Р. Толстой: боец за мир / Р. Мак-Пик // Лев Толстой и мировая литература: Материалы 5-й Международной научной конференции, проходившей в Ясной Поляне 12 – 16 августа 2007 г. Тула, 2008. С. 39 – 45. Выделение в тексте наше. – Р. А.).

Сам Лев Николаевич с подлинно-христианской скромностью относился к этой своей работе. Очень интересно его отношение к ней выражено им в письме от 1 июня 1904 г. к великому князю Николаю Михайловичу, где Толстой благодарит его за исполненную просьбу о помощи духовоборам и затем прибавляет:

«Я никак не думал, чтобы эта ужасная война так подействовала на меня, как она подействовала. Я не могу не высказаться о ней и послал статью за границу, которая на днях появится и, вероятно, будет очень не одобрена в высших сферах.

В предпоследнем письме вы писали, что может быть когда-нибудь заехали бы в Ясную Поляну. Как ни приятно бы было мне видеть вас у нас, я думаю, что я настолько неприятное лицо правительству — и в особенности буду теперь, после моей статьи о войне, — что ваше посещение меня могло бы быть неприятно для вас, и потому считаю нужным предупредить вас об этом» (75, 116 – 117).

Статья Льва Николаевича имела большой успех и, несомненно, способствовала просвещению человечества.

Отзывы об этой статье, напечатанной в английских газетах, дошли и до Льва Николаевича, и он 22 июня записывает в своём Дневнике: «Вчера в “Русских ведомостях” суждение о моей статье в Англии. Мне было очень приятно, самолюбиво приятно, и это дурно» (55, 57). Приведём здесь два из этих отзывов как наиболее характерные (цит. по биографии авторства П. И. Бирюкова).

«Последнее воззвание Толстого представляет один из самых замечательных документов мировой истории. Это пространная и красноречивая проповедь на текст “война есть убийство”. На эту тему он проповедует с логическим пренебрежением к самым излюбленным преданиям мира. Он обнажает войну, срывая с неё её украшения, гордость, торжественность, и выставляет её в её голом безобразии к ужасу человечества. “Храбрость”, “патриотизм”, “военная слава” — всё это для бесстрашного русского реформатора пустые слова, изобретённые для поддержания системы огульной резни, которую люди называют войной... Для цивилизованного человечества, освободившегося или, по крайней мере, отчасти освободившегося от дикого состояния, позорно то, что война, со всеми связанными с нею жестокостями и страданиями, всё ещё считается не бедствием, которому люди подвергаются, а доблестным делом, достойным восхваления» (Freeman’s Journal).

«Статья Толстого есть пророческое слово, освещённое светом неземного происхождения. Оно дышит самым духом Христа. Но как ни замечательна эта статья со стороны освещения внутренних условий русской жизни, наш интерес сосредоточивается в борьбе иной, нежели та, которая теперь свирепствует между Россией и Японией. Толстой воплощает самое глубокое сознание современного просвещения. Бог заставляет людей выбирать между Его волей и той животностью, которая до сих пор господствовала среди большинства человечества... Наступает новая заря в эволюции высшего человечества... В словах Толстого есть дух, опасный для всех правительств. Но “когда правители отдаются безнравственному честолюбию и убивают своих братьев, увлекаясь грабительскими войнами, они не должны удивляться, если народ отрекается от них” (The Sunday School Chronicle, 29 June 1904).

Но были и отрицательные отзывы, особенно в России. Например, *Софья Дмитриевна Толь* (урожд. Толстая, 1854 — 1917) дочь Дмитрия Андреевича Толстого (1823 – 1889), с 1882 г. министра внутренних дел, шефа жандармов и президента Академии наук, жена графа

С. А. Толя, написала Льву Николаевичу письмо с обвинениями не только в измене тётке «родине» (не значившими для христианина-Толстого ничего), но и с более важными для публициста: в общем недоброжелательном тоне статьи.

Графиня изрядно сглумила в своём письме: она, судя по ответу Льва Николаевича, попутно наскочила на него и с обличением в том, что он отвечает только тем, кто хвалит его в письмах. На деле было, скорее, наоборот: хвалители в своих похвалах чаще всего были предсказуемы и скушны Толстому, а вот умные ругатели... Если критика была содержательной и отправитель при этом не «забывал» указать свои имя и обратный адрес — Толстой вполне мог ответить. Ответил он 1 июля и графине, вот как:

«Графиня Софья Дмитриевна, я очень благодарен вам за то, что вы подписались под вашим письмом. А то я часто получаю такого же рода письма и, желая ответить на них, не могу сделать этого. Хочется ответить потому, что особенно больно в мои годы, когда стоишь одной ногой в гробу, знать, что есть люди, которым ты ничего, кроме добра не желаешь, которые ненавидят тебя. Хочется оправдаться, смягчить их.

Вы пишете, что я не отвечу на это письмо, потому что отвечаю только тем, кто меня хвалит. Это не совсем справедливо, я всегда с большим интересом и вниманием читаю письма, осуждающие меня, стараясь извлечь из них пользу. И такую пользу, и очень большую, я извлёк из вашего письма. Вы указали мне на то, что в моей статье есть то, чего не должно быть у христиан — негодования, осуждения. Я и прежде чувствовал это, но ваше письмо ясно указало мне это. Совершенно справедливо, что человек, опирающийся на Христа, должен стараться быть, как Он, кроток и смирен сердцем. А я совсем не то. Не в оправдание себя, но в покаяние себя могу сказать только то, что я слабый человек, далеко не достигший того идеала, к которому, стремлюсь. Я виноват, что тон, дух моей статьи недобрый, но смысл её для меня несомненно истинен, и я буду повторять то же на смертном одре. И уверен я в этом не потому что я верю себе, а потому что верю Христу и закону Бога.

Смягчающим мою вину обстоятельством может хотя немного служить то, что, тогда как вы живёте и Петербурге в среде торжественных приготовлений и воздействий войны, я живу среди несчастного народа, который, живя в крайней нужде, отсылает своих кормильцев на непонятное и ненужное ему побоище, видит только лишения, страдания и смерть. Но я боюсь опять отдаться нехорошему чувству. Лучше замолчу, так как письмо это имеет целью не убеждать вас, а

просить забыть те недобрые слова, которые вы написали мне, и вызвать в себе хотя не доброжелательные, но не недоброжелательные ко мне чувства, с которыми свойственно всем людям относиться друг к другу и которые я испытываю к вам, в особенности вспоминая моё свидание с вами где-то вечером в Петербурге, свидание, оставившее во мне самое приятное воспоминание» (75, 136 – 137).

(Толстой действительно встречался с С. Д. Толь в 1878 г. у матери А. А. Толстой — Прасковьи Васильевны Толстой.)

Консервативное, как сама графиня Толь, «Новое время» увидело в публикации статьи Толстого в газете «Таймс» — то же самое пособничество Толстому в «измене родине» в военное время:

«Что сказал бы “Times”, если бы во время трансваальской войны какая-нибудь французская газета напечатала статью англичанина, который требовал бы, чтобы англичане положили оружие даже в том случае, если Кап и Дурбан, не говоря уже о Лондоне, попали бы во власть буров? “Times” протестовал бы, и основательно. [...]

Для чего же “Times” напечатала статью графа Толстого? Принимая во внимание направление газеты ещё до войны, принимая во внимание, что Англия — союзница Японии, напечатание такой статьи в английской газете является более чем обыкновенным промахом или наивностью. Это, прежде всего действие, достойное порицания» («Новое время». 21 июня (4 июля) 1904 г.).

А насквозь патриотичный «Гражданин» делает из Толстого «злейшего врага и палача» военных «героев», браво служащих злу, олицетворённому в «государе и отечестве», пославшими их сдыхать из-за халтурного неумения и преступного нежелания «государей» жить без войн:

«Каждый понимает, что есть люди, ненавидящие войну, и есть люди, её идеализирующие; между идущими на войну и геройски умирающими на поле битвы есть ненавидящие идею войны, но из любви к Отечеству и его Государю ставящие эту любовь превыше ненависти к идее войны; это и суть ученики Христовы настоящие, ибо, подражая Его примеру, ненавидят зло, но отдают ему свою жизнь во имя любви к своему отечеству. И вот, думал я, читая строки Толстого, в какую жалкую и мизерную личность съёживается этот носитель крупного гения, с комфортом, в своём кабинете Ясной Поляны, посылающий на войну своим друзьям и братьям по крови и по духу ядовитые слова возмущения и смущения, в минуты, когда, среди лишений и страданий, они геройски исполняют свой долг и умирают за что-то святое, и когда даже дети в многомиллионном народе понимают и чувствуют, что в эти минуты нужны каждому солдату, кроме пищи, оружия и крова, слова любовного ободрения,

и что тот, кто, кто в это время смущает его словом, чтобы лишить его ободрения, тот злейший враг и палач этих героев» (*Гражданин. 24 июня (7 июля) 1904 г.*).

Как будто не дал «ободрения» Толстой тем, кто поневоле, как скот на убой шёл на эту войну!

Всё та же похабная песенка: Толстой многие «мирные» годы пишет и повторяет одно и то же — его не слышат! Он обобщает и повторяет то же самое более ярко, в одной статье, в «годину войны» — и вот тут-то его, наконец, услышали... и клянут за «предательство», чуть ли не за нравственную и личностную деградацию!

И будто не писан Толстым трактат «Царство Божие внутри вас» с опровержениями высокоумных «благословений» войне. «Гражданин» добавляет свои:

«Зачем понадобилось Толстому напечатать в “Times” эту гадкую антипатриотичную статью, я не знаю, но я не вижу в этом ни самопожертвования, ни жертвы собой ради проявления вложенной в него, на пользу другим людям, силы. Тут одно из двух: либо заблуждение, либо преступление. И то и другое требует немедленного осуждения. Если Толстой, как сын православной церкви, не мог быть терпим за свою религиозную ересь, то он едва ли может быть терпим, как русский гражданин и сын великого народа, за свою политическую ересь. Мы переживаем смутное время, у нас идёт разлад и брожение везде и всюду, но если эту смуту вносят в нашу жизнь не инородцы, а лучшие из русских сынов, убелённые сединой старцы, потомки знаменитых родов, что же тогда станут делать враги и пасынки России. разночинцы и интеллигентные босяки? Над этим вопросом не мешает призадуматься. Что-то ужасное творится в нашей русской жизни. Бедствием для нас является не война, а те ужасные годы мира, в которые мы окончательно развратились, ослабели физически и нравственно, опошлелись и заметно поглупели. Нет, война — это не бедствие, это наше спасение, это то героическое средство, которое может встряхнуть от корня до вершины ныне ослабевший и отупевший организм. Знает Бог, что делает!» (*Гражданин. 1(14) июля 1904 г.*).

Да уж! Знает Бог, что делал в 1917 году, убивая Империю, огрызавшуюся таким образом на пророка и спасителя человечества, жестоко преследовавшую его единомышленников, запрещавшую его книги.

И, без сомнения, Божье дело будет совершено и ещё раз (жаль, что не к столетию событий 1917-го, а позже): ибо теперешняя наследница Империи и сталинского Совка уже вовсю собирает на свою голову горящие уголья: и военными преступлениями, и внутренним ограблением и притеснением свобод своих граждан, розыском религиозных «оскорбителей» и «политической ереси», преследованиями противников репрессий и войны!

Наконец, откликнулись и сволочные «Московские ведомости», антипод московских же «Русских ведомостей» и истинный голосок дрянного «русского мира», плевавшие злобой своих инвектив и доносов на Льва Николаевича ещё в неурожайном 1891 году, в пору его помощи голодающим крестьянам:

«НОВЕЙШИЙ ПАМФЛЕТ гр. ТОЛСТОГО

В начале настоящей войны известный французский писатель Жюль Клар<e>ти обратился к графу Толстому с "открытым письмом", напечатанным в своё время в газете "Times". Письмо это, написанное в изысканных выражениях должно было, по наивному мнению автора, поставить гр. Толстого в весьма затруднительное и даже безвыходное положение.

Французский писатель руководился такими соображениями:

«Гр. Толстой безусловный противник войны, но вместе с тем он русский. Какая, следовательно, должна происходить "буря под его черепом", когда он как философ, должен бороться против войны, а как сын России, должен стать за вооружённую борьбу с её врагами».

Всем, кто сколько-нибудь ближе знает гр. Толстого, должна броситься в глаза явная несообразность такого рассуждения, первая посылка которого настолько же верна, на сколько ошибочна вторая.

Да, гр. Толстой — противник войны; но он давно уже перестал быть Русским, с тех пор, приблизительно, как он перестал быть православным.

А потому настоящая война не могла вызвать в нём никаких "коллизий чувств", и под его черепом не произошло никакой бури, ибо граф Толстой ныне совершенно чужд России, и для него совершенно безразлично, будут ли Японцы владеть Москвой, Петербургом и всей Россией, лишь бы Россия скорее подписала мир с Японией, на каких угодно, хотя бы самых унижительных и постыдных условиях. Так пошло и подло чувствовать, думать и высказываться не может ни один Русский человек, а потому считать Толстого Русским может

разве только такой Французик, как Клар<e>ти, не имеющий ни малейшего понятия, ни о Русских, ни о России.

Весьма понятно, поэтому, что "открытое письмо" французского писателя нисколько не задело гр. Толстого, который ничего на него и не ответил; зато теперь он выпустил за границей возмутительнейший памфлет против России, с которой он уже окончательно порывает всякие связи. Если он ещё живёт в пределах России, то это объясняется лишь великодушием Русского Правительства, чтущего ещё бывшего талантливого писателя Льва Николаевича Толстого, с которым теперешний старый яснополянский маньяк и богохульник ничего общего, кроме имени, не имеет. [...]

Если бы Правительство сочло возможным сорвать личину с гр. Толстого и показать его русскому народу во всей его безобразной наготе, то этим положением был бы конец всему нашему "толстовству", и тогда, но только тогда, можно было бы представить старому сумасброду спокойно доживать свой век в его Ясной Поляне и хоронить там свою бывшую славу» (*Московские ведомости*, 10 июля (27 июня) 1904 года).

Эту гадость лучше оставить без комментариев. Единомышленники авторов «Московских ведомостей» гуляют нынче по улицам городов путинской Рассеюшки, ищут всё новых и новых «врагов» своего особого «русского пути» и щеголяют схожими по содержанию и стилю национал-патриотическими высерами в интернете...

Для контраста, доброе слово доброго «Листка» на закуску:

«Толстой, этот великий актив человечества, за последние полвека никогда больше не заслужил благодарности людей, как за это слово своё» (*Русский листок*. 20 июня (3 июля) 1904 г.).

Разноречивыми были и мнения о статье Толстого за границей.

Например, передовица вышепомянутой «Times» так критиковала статью Толстого: «Это в одно и тоже время исповедание веры, политический манифест, картина страданий мужика-солдата, образчик идей, бродящих в голове у многих этих солдат и, наконец, любопытный и поучительный психологический этюд. В ней ярко проступает та большая пропасть, которая отделяет весь душевный строй европейца от умственного состояния великого славянского писателя, недостаточно полно усвоившего некоторые отрывочные фразы европейской мысли» (*Цит. по: 55, 468*).

«Daily News» встретил статью Толстого восторженными одобрениями. «Вчера Толстой — говорит газета, — выпустил одно из тех великих посланий к человечеству, которые возвращают нас к первым

основным истинам, поражающих нас своей удивительной простотой» (*Там же*).

Понятно, отчего именно английские издания были столь благожелательны к автору дерзкой статьи: всемирный пират и давний геополитический враг России, Британская Империя ждала от Толстого антивоенной эскапады против империи Российской — и дождалась.

По этой же причине вполне искренно благожелателен и справедлив был отзыв о статье, в личном письме Толстому 15 (28) июня 1904 г., английского искусствоведа С. Кокереля, прочитавшего «Одумайтесь!» в переводе:

«Ваша волнующая, смелая статья во вчерашнем “Times” читается в Англии больше, чем что-либо написанное вами. Она много сделает для мира во всех странах» (*Цит. по: Гусев Н.Н. Летопись... 1890 – 1910. С. 487*).

А ещё, увы! для «дела» революции — затевавшейся “под крылышком” британских покровителей эмигрантами из России. Цитаты из этой статьи тоже были использованы в пропаганде революционеров. Но невнимание к религиозному пафосу «Одумайтесь!» вкупе с чрезмерным — к эмоциональной критике и ярким образам, этот эпичный кринж — но таки не отче Льва кринж, а всего нашего лжехристианского мира.

* * * * *

Мнения же *истинной*, народной и трудовой России об очередной войне — были совсем иными, чем у городских очкастых писорчуков... В июле месяце Толстого в Ясной Поляне посетил всё тот же его друг, уже свободный от военной службы, крестьянин М. П. Новиков. Конечно, разговор их коснулся войны. И Новиков в своих воспоминаниях приводит интересные и сильные отзывы Льва Николаевича об этом ужасном деле. Когда заговорили о войне, он воскликнул:

« — Ужасно, ужасно! И сегодня, и вчера я плакал о тех несчастных людях, которые, забывши мудрую пословицу, что худой мир лучше доброй ссоры, десятками тысяч гибнут изо дня в день во имя непонятной им идеи. Я не читаю газет, зная, что в них описываются ужасы убийств не только не для осуждения, но для явного восхваления их. Но домашние иногда читают мне, и я плачу... Не могу не плакать.»

Лев Николаевич показал Новикову полученное им письмо и предложил ему прочесть его вслух. В письме этом неизвестный автор описывал, как они были хорошо настроены с места, из родного города, и как это настроение совершенно менялось по мере приближения к

Манчжурии. «Ехали день, два, неделю, месяц, — говорилось в письме, — всё пустые поля да леса. Чай, семь тысяч проехали, а десяти деревень не видали. Степи и степи. Да на этой земле ещё 10 Рассеев поселить можно, и то полноты не будет, а китайской землёй поехали — одни горы да камни. И кой рожон нам здесь было нужно, ради чего кровь проливать из-за каких-то гор да камней? Добро бы своей земли не было. Вот когда всё это увидели да раздумали, и мысли другие пошли, и охоты не стало.

— Каково? — спросил Лев Николаевич, когда я кончил чтение. — Народ обмануть хотят, дипломаты уверяют, что иначе никак нельзя было, а мужики едут и решают по-своему, что воевать не из-за чего было.

— Да, ужасно, ужасно! — продолжал Лев Николаевич. — Совершается страшное дело, и никто не сознаёт этого. На днях на дороге догоняет деревенская баба, торопится в город, трое босых ребят с нею. Пошёл вместе, разговорились. Идёт за пособием, вторая получка вышла. «Хлопотали, хлопотали, — говорит, — бегали, бегали, у самого члена три раза были, насилиу выдачики дождались». — «Что же, — спрашиваю, — привыкли без хозяина? С получкой, чай, и одни хорошо проживёте. Прежде нужды-то поди больше было?» И-и, как зарыдаёт баба, как зальётся, слова не выговорит. «Мы бы, — говорит, — им последнюю коровёнку отдали, даром что сами в нужде находимся. Пошто, — говорит, — детям-то деньги нужны? Им отец нужен. Они при отце только хороши и веселы. А теперь как цыплята мокрые стали, от хвоста матери не отходят. Шагу тебе ступить не дадут, всюду вяжутся». — «А разве тятка-то не воротится?» — испуганно спрашивает её девочка, утирая глаза и смотря то на меня, то на мать, и я стою, плачу, и они все плачут. Старый дурак я, хотел разговориться, утешить, а вышло — только в грех ввёл» (*Толстой. Памятники творчества и жизни. Т. 2. Под ред. В. И. Срезневского. М. 1920, стр. 96, 97*).

Выше нами изложены предыстория, история писания и печатание, содержание статьи «Одумайтесь!», некоторые связанные с ним сюжеты и некоторые же показательные отклики в печати на неё. Но у эпохальной статьи есть обильная и протяжённая по времени послестория, и не только в плане позднейших откликов ругателей и единомышленников, которые нам хронологически удобнее не приводить здесь, но так же история *отношения* писателя и публициста к современным писанию статьи событиям — в первую очередь, к самой Русско-Японской войне. Остановимся здесь лишь на нескольких ярких сюжетах.

«Война давит всех. Сбор запасных производит ужасное впечатление» — пишет Толстой дочери Тане 1 мая 1904 г. И о том же ощущении «давления» — в записях в Дневнике под 2, 4, 6 июня, 2 августа... «Война захватила вашу семью своим матерьяльным колесом, меня же она давит духовно. Ужасаешься на то, что с таким усилием и напряжением совершается то, чего не должно, не может быть, если только человек разумное существо» — это из письма к Константину Васильевичу Волкову (1871 – 1938), крымскому доктору, участвовавшему в лечении Толстого в 1901 – 1902 гг. и призванному в эти дни на военно-медицинскую службу.

Вместе с тем, достаточно свидетельств того, что современники атрибутировали как «патриотизм Льва Толстого». Например, вышеупомянутая Елизавета Валерьяновна, дочь сестры Льва Николаевича, в письме к дочери Марье сообщает следующее о «новом» отношении Толстого к войне и причинах его усиления:

«Что будет от этой войны? Там творятся все ужасы, а газеты всё лгут и лгут; невозможно разобраться, но чувствуется, что нам не хорошо. Лев Николаевич долго противился, но теперь его охватил патриотизм; огорчается нашими поражениями и говорит: “Мне больно, что бьют русских людей”» (*Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. Т. 2. С. 143*).

Сравним со сведениями из дневника домашнего доктора Толстых, Душана Петровича Маковицкого — в записях на 26 марта уже 1905 г. В разговоре присутствовали дочь Толстого Татьяна и толстовцы Дунаев и Гольденвейзер. Речь зашла о последних победах японцев:

«...О том, что интеллигенты российские сочувствуют японским победам. Татьяна Львовна рассказывала, как сёстры, С. А. и М. А. Стахович, “аж плакали”, что брат их радуется, когда выигрывают японцы и проигрывают русские. Спорили с ним. (Вспомнили, что Татьяна Львовна сама радовалась, когда Порт-Артур был сдан, во-первых, потому, что думала, что будет конец войне; во-вторых, что правительство побеждено.) [...]

Об этом завязался общий оживлённый разговор. Л. Н. сказал:

— Русские мне ближе: там дети мои, крестьяне; 100 миллионов мужиков заодно с русским войском, не желают поражения. Это непосредственное чувство. А что либералы говорят и ты (к Татьяне Львовне) — это извращение» (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 225*).

Мамзель начала пиздеть в ответ, одновременно с отцом, что-то выдумывая ему в возражение, и доктору Маковицкому не удалось дальше расслышать и записать... Но — поистине, *sapienti sat!*

Говоря в связи с этим сообщением о «патриотизме Толстого», некоторые путают это *воспитанное* чувство, канализируемое пропагандой, с *непосредственным* — Льва Николаевича Толстого. В. Ф. Асмус, автор вступительной статьи к «Яснополянским запискам» Д. П. Маковицкого, трактует приведённое выше высказывание следующим конъюнктурным образом:

«Первые военные неудачи поднимают в Толстом патриотическое чувство. Он тяжело воспринимает их, в нём поднимает голос бывший артиллерийский офицер, бесстрашно стоявший в Крымскую войну на четвёртом бастионе Севастополя, ненавидящий врагов родины, желающий, несмотря на все свои идеологические соображения, победы русскому оружию и в глубине души на эту победу уповающий. Он не изменяет своим убеждениям и верованиям. Он считает начавшуюся войну безумной, ужасной и преступной. Но он не хочет русского беславия, гибели тысячи тысяч русских простых людей, унижения и позора России» (*Асмус В.Ф. Толстой в дневнике Маковицкого. Эпоха. Мироззрение. Быт // Там же. С. 15*).

На деле, этот «патриотизм» Толстого, на самом деле любовь к страдальцу-народу, по всему контексту беседы, совершенно не соотносим с фантазированием интеллигентских сволочных головок о военных победах, о «славе» или «беславии», «позоре России» и чреват, как мы видели из анализа заключительных глав статьи «Одумайтесь!», даже обратным, неприязненным отношением яснополянца к тётке «родине».

Этому есть дополнительные свидетельства — в том же дневнике Маковицкого. По его сведениям, 17 мая Толстой в подавленном настроении выслушал известие о гибели 14 мая русской эскадры Рождественского близ острова Цусима. А уже под 19 мая — за Львом Николаевичем записано следующее:

«Я вижу, в народе никакого чувства унижения нет (после Цусимы). Христиане, какие они ни испорченные, у них есть чувство, что война — не христианское дело. 50 лет тому назад его не было. Теперь везде сознаётся: общества мира...» (*Там же. С. 288*).

Хороша и запись под 25 мая — о «нравственном значении» разгрома:

«В войне для меня были три события, самые мучительные: потеря 30 пушек (Тюренчэн), сдача Порт-Артура и разгром Балтийской эскадры. Жаль мне было, во-первых, убитых людей, второе — русских людей, и третье — ложно направленной покорности русского

народа, приведшей к этим ужасным событиям. Этот разгром [...] будет иметь большое нравственное значение» (Там же. С. 294).

Свои уступки патриотическим настроениям Толстой объясняет сам — в известной записи в Дневнике от 31 декабря 1904 г., в день известия о сдаче Порт-Артура:

«Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно. Это патриотизм. Я воспитан в нём и не свободен от него так же, как несвободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма. Все эти эгоизмы живут во мне, но во мне есть сознание божественного закона, и это сознание держит в узде эти эгоизмы, так что я могу не служить им. И понемногу эгоизмы эти атрофируются» (55, 111).

Это — всё о том же: «отдавайте кесарево кесарю...».

К сожалению, люди, даже понимая, на историческом опыте, ненужность и вред и этой, и всякой иной войны – всё же повторяют затверженную с детства ложь в оправдание войн и всё же идут служить правительствам... Отдают и Богово кесарю. Потому что ещё силен в них обман, потому что — *не одумались*.

«Не первая капля начинающегося дождя, упав на спящего, разбудит его, но, скорее всего, только одна из многих». Но именно вкупе с другими... Так точно и одно из многих и многих напоминаний высшей истины о том, что человек сын Бога и его посланник в мире, и должен служить Богу, своему божественному началу, взбужению в мире Царства Божия, которое есть во всех нас — в чередности множества разнообразных напоминаний, всё-таки пробудит разумное сознание одного за другим, многих, каждого человека к христианскому пониманию жизни. Этому делу служили многочисленные выступления в печати Льва Николаевича и духовно близких ему современников. Послужит, смеем надеяться, и наш скромный очерк.

КОНЕЦ ДЕВЯТОЙ ГЛАВЫ



Глава Десятая. СТАРЧЕСТВО ОТЧЕ ЛЬВА В 1900-е: ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА И ПИСЬМА

10. 1. АНТИВОЕННЫЙ ДИАЛОГ 1900-х гг. С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «УГНЕТЁННЫХ НАРОДОВ»

10. 1. 1. БРАТЦЫ ПО СЛАВЯНСТВУ

Начиная со второй половины 1880-х годов Л. Н. Толстого нередко посещали общественные деятели, литераторы, музыканты, студенты из славянских стран. О некоторых из этих встреч, диалогов и новых друзьях-единомышленниках Л. Н. Толстого именно 1880-х мы уже рассказали выше. Кроме того, в эпизоде, посвящённом Переписке Л. Н. Толстого с М. Э. Здзеховским, мы охарактеризовали и простую специфику воззрений Л. Н. Толстого на «освободительные» национальные движения, идейным «якорем» которых, однако, и в первой половине 1880-х годов было уже христианское неприятие военного и всякого организованного насилия.

Начиная со второй половины 1880-х годов, прознав об оппозиционных воззрениях яснополянца, всё больший интерес к нему стали проявлять представители т. н. «угнетённых народов» и движений за их освобождение — не только от России, но и от её традиционных геополитических противников, таких, как Англия. В числе первых использовать мировой авторитет новоявленного «единомышленника» возжелали братцы славяне.

Издравле славяне (включая восточных славян) занимали в Европе внушительную «территорию — свыше половины всего континента. Лакомый кусочек, большой... всякого хищника пасть порадует. Оттого уже в средние века большая часть западных и южных славян оказалась под габсбургским и турецким владычеством.

Начавшиеся в конце XVIII — начале XIX в. в землях западных и южных славян национальные движения на первых порах проходили под знаком борьбы за родной язык, за реабилитацию отечественной истории, за воскрешение и дальнейшее развитие отечественной литературы. Эпоха формирования и развития наций, или эпоха *национального возрождения*, как определили её в XIX вв., продолжалась

до середины, а в некоторых южнославянских землях до последней трети XIX в. Социальная и национальная борьба, вылившаяся в народные восстания; частые правительственные перевороты; военные и таможенные столкновения; стремление найти поддержку у других славян — таковы основные характерные черты социально-экономической и политической жизни славянских народов в конце XIX — начале XX столетий.

Освобождение Болгарии от турецкого ига в результате русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., сыграв огромную роль в укреплении национального самосознания и формирования государственности у болгар, не решило многих экономических и социальных проблем. Основную долю тягот нёс на своих плечах болгарский крестьянин. В 1899 г. был основан Болгарский земледельческий народный союз — мелкобуржуазная демократическая партия.

В стране по-прежнему было много неграмотных. Медленно формировалась болгарская высшая школа, университет возник лишь в 1904 г. Не имея возможности получить образование у себя на родине, болгарская интеллигенция уезжала в Россию и Германию, поступая там в высшие учебные заведения.

Второй крупной славянской территорией, тоже по преимуществу сельскохозяйственной, освобождённой от турецкого господства в результате русско-турецкой войны, была Сербия. Страну сотрясали дворцовые заговоры (вызывавшие негодование Толстого). Сербы мечтали об объединении южных славян. Прогрессивная интеллигенция выступала в защиту угнетённого народа, боролась за демократические преобразования, зачастую опираясь при этом на передовую русскую культуру.

Победа России принесла освобождение от турецкого ига и Черногории. Поступавшая от России помощь зерном и денежными субсидиями не смогла, однако, вывести Черногорию из затянувшегося экономического кризиса.

Словения в XIX в. не раз становилась жертвой территориальных споров между Италией и Австрией, в которую она входила вплоть до 1918 г., когда воссоединилась с другими южнославянскими землями в составе Югославии. Промышленное развитие в Словении началось несколько раньше, чем у соседей. С укреплением экономики страны растут антиавстрийские настроения, которые приводят к демонстрациям, к созданию антиправительственных групп.

Хорватия, как и Словения, Чехия и Словакия, также находилась в составе Австрии, а вскоре после образования (1867) Австро-Венгрии была объявлена (1868) неотъемлемой частью венгерских земель. С

последней трети XIX в. в Хорватии начинает развиваться промышленность. С этого времени национальное движение в Хорватии приобретает особый размах. В 1871 г. под руководством радикально-буржуазной «партии права» происходит восстание «правашей», в 1883 г. хорваты активно выступают против мадьяризации. Неоднократно вспыхивают крестьянские волнения. Растёт эмиграция.

Чехия на путь капиталистического развития вступила на рубеже XVIII – XIX вв. От других славянских стран Чехию отличали сравнительно высокий жизненный уровень и почти стопроцентная грамотность населения (к примеру, в Хорватии и Сербии грамотных было всего 26 процентов). Быть может, это опережающее соседей развитие, а, скорее всего, и в большей степени, национальный характер, этому развитию помогавший, отвращал чехов от насильственных методов национальной борьбы в пользу светского и духовного просветительства — тем вызывая особенную симпатию Л. Н. Толстого.

Антиподами чехов были поляки — боровшиеся за воссоединение национального государства мужественно, жестоко и трагично весь XIX-й век. Глубоко уважавший храбрость, самопожертвование и героизм Толстой испытывал в отношении этого движения смешанные чувства, но никогда не мог однозначно поддержать его — и тем более, в годы христианского осмысления путей для человеческих храбрости и героизма.

События русской революции 1905 – 1907 гг. влили новую энергию в социально-освободительное движение в славянских землях. Осенью 1905 г. в Праге, Брно, Кракове, Триесте, Любляне и других городах состоялись массовые демонстрации под лозунгами государственной самостоятельности и ниспровержения существующих режимов, в том числе самодержавия в России.

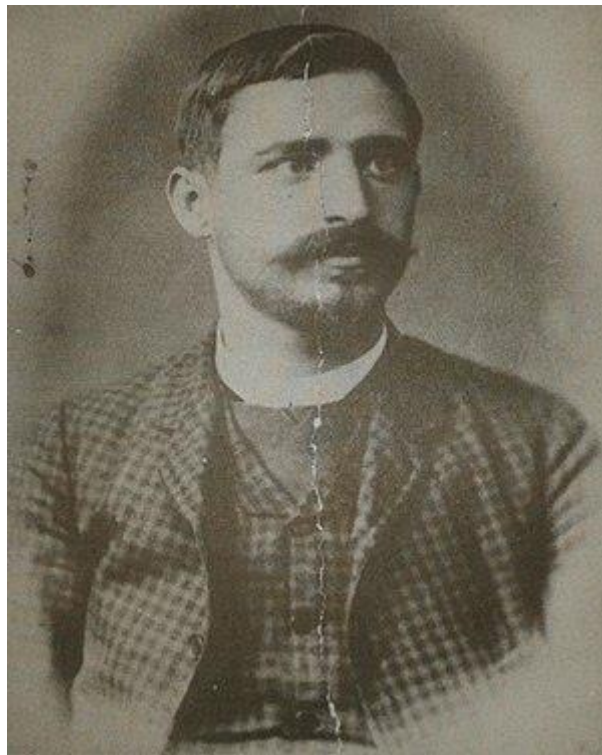
Тяжёлый удар балканским славянам нанесла аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в 1908 г. Это был неприкрытый акт агрессии, совершённый из боязни потерять политическое и экономическое влияние на полуострове. Австро-Венгрия, которую, как всякое опирающееся на насилие государство, Толстой признавал образцовым «разбойничьим гнездом», окончательно утратила у южных славян свой политический престиж.

События первого десятилетия XX в., за которыми Лев Николаевич Толстой пристально следил, а также прямые, неоднократные обращения к нему зарубежных славянских корреспондентов и посетителей с настоятельными просьбами вмешаться своим влиятельным словом в политическую борьбу, приводят к тому, что славянская тема начинает занимать всё большее место в рассуждениях Льва Ни-

колаевича в его публицистике, сохранявших признаки как указанные выше противоречий, так и указанного выше неколебимого религиозного мировоззренческого основания.

Писателя возмущала жестокая эксплуатация и тяжёлое, бесправное положение славянских народов, но путь вооружённой борьбы он решительно отвергал, а стремление к национальной самостоятельности посредством насилия, войны с «режимом», он назовёт «государственными соблазнами», которыми «развращены» целые народы (38, 155). Как раз в том ответе польской адресату, о котором мы изрядно скажем ниже...

В 1899 г. Л. Н. Толстого посетил болгарский дипломат, публицист, общественный деятель *Димитр Христов Ризов* (1862 – 1918). Он просил писателя вступить за славян в Македонии, всё ещё находившихся под турецким владычеством.



Димитр Христов Ризов в 1880-е гг.

Возвратившись на родину, Димитр Ризов в журнале «Мисл» («Думка») так описывал реакцию Льва Николаевича Толстого на его просьбу: «Из вашего рассказа мне ясно, что жизнь христиан у вас на родине очень тяжела, но я могу помочь лишь тем, кто живёт по-Божески, или таким, помочь которым можно без вмешательства в дела политики». Писатель сказал гостю, что политика, по его мнению, объединяет людей «под знаменем всеобщей ненависти». В качестве

доказательства он привёл в пример Болгарию: «Спросите себя сами, что хорошего увидели ваши болгары после освобождения! Да, у вас сейчас болгарский князь вместо турецкого султана, болгарская конституция вместо турецкой монархии, болгарские чиновники и офицеры вместо турецких, свобода печати вместо цензуры и пр... но народ, трудовой народ, эти потрескавшиеся руки, которые вас охраняют, какие-такие блага они приобрели в результате всего этого? Не удивляйтесь, что я смотрю на мир иначе: вы стреляете с близким прицелом, а я целюсь вдаль и потому взвожу курок до отказа» (<https://www.strumski.com/biblioteka/?id=286>).

В 1901 г. к Л. Н. Толстому по тому же македонскому вопросу обращается известный болгарский поэт, писатель, публицист *Стоян Михайловский* (1856 – 1927), известный как автор гимна «Върви, народе възродени!» («Вперёд, народ возрождённый!») (1892), к которому в 1900 году композитор Панайот Пипков (1871—1942), в то время учитель в Ловече, написал музыку.

Такой же «знаток» Льва Николаевича Толстого, как и Димитр Ризов, Стоян Михайловский отчего-то был уверен в том, что автор «Анны Карениной» не может не отнестись сочувственно к усилиям «свергнуть режим Абдуламида». Толстой не вступил с ним в диалог (см. *Порочкина И.М. Л.Н. Толстой и славянские народы. Л., 1983. С. 38*).

С иных позиций писал Л. Н. Толстому по поводу дел в Македонии болгарский толстовец *Георгий Стоилович Шопов* (1879 – ?). Он уже был знаком Толстому, как единовец и отказник, и потому имел право рассчитывать на ответ. Уроженец села Панагюрише, малограмотный Шопов начал понимать несоответствие военной службы своей вере и душе только после призыва, в ходе «словесных», теоретических занятий. Его вопросы сперва ставили преподавателей в ступор, потом стали злить — преимущественно потому, что Шопов задавал их публично. Совершенно же отвратили его от службы занятия стрельбой по мишеням, изображавшим людей. Командиру он «дерзко» отвечал, что «предпочитает быть убитым, чем сделать зло своему ближнему, делом, помыслом или чем иным» (*Дело Шопова // Свободная мысль. 1900. № 12. С. 187*).

24 апреля 1900 г. Георгий Стоилович отказался от военной службы, примерно так же, как до него Альберт Шкарван и многие другие: «сняв форменную одежду и надев штатскую, он пришёл в Софию и написал письмо своему начальству, в котором говорил, что он не желает служить, потому что считает себя гражданином и соотечественником граждан всего мира» (*Там же*). 11 ноября того же года был на три года приговорён в дисциплинарный батальон — формально за «самовольную отлучку», неповиновение начальству, отказ от присяги

и пр. Дело рассматривалось 12 ноября 1900 г. в Софии. Заметка о Шопове, дополненная выдержкой из его письма к другу, была напечатана в толстовской, швейцарской, издававшейся П. И. Бирюковым «Свободной мысли», в № 12 за 1900 год на стр. 186 – 189. Статья в журнале заканчивалась так: «Пожелаем от всего сердца этому человеку устоять до конца!» (Цит. по: 72, 510).

А 14 мая 1901 г. редакция одноимённой с толстовским изданием газеты («Свободна мисль») послала Толстому номер, в котором была помещена речь Шопова на суде (на болгарском языке). В ответном письме от 29 мая Толстой, благодаря редактора, высказывался о Шопове положительно и даже — как часто бывало, когда Толстой-христианин, оставшийся и художником, умозрительно любовался представлением, составленным о человеке, идеальным его образом — с аллюзиями на евангельский образ семени и почвы:

«...Я понял то, что он глубоко убеждённый в христианской истине человек.

Он очень молод, и потому страшно за него. Помогите ему Бог быть не тою землёю, в которой ростки семян быстро всходят, но не могут укорениться, а тою, которая приносит плод сторицею.

Чем больше я живу и думаю и чем серьёзнее думаю, приближаясь к смерти, тем больше я убеждаюсь в том, что войско, т. е. люди, готовые на убийство, есть причина не только всех бедствий, но и всего развращения нравов в нашем мире и что спасение только в том, что делает милый дорогой Шопов. Да подкрепит его Бог. Чем больше живу, тем больше изумляюсь на слепоту нашего учёного мира (иногда мне кажется, что это слепота умышленная), который предлагает всевозможные средства спасения людей от их бедствий, но только не то одно, которое наверное спасает их и от бедствий и от ужасного греха убийства, которым держится существующий строй и которым мы пользуемся. Не слепы только правительства, те, которые держатся убийством и потому боятся Шоповых больше, чем всех войск соседей.

[...] Если вы имеете сообщение с милым Шоповым, то передайте ему, пожалуйста, мою любовь, благодарность, уважение и один только совет: чтобы он не настаивал на своём отказе, если он делает это для людей, а не для Бога, и чтобы руководился только своим отношением к Богу. Если вы меня уведомите об его дальнейшей судьбе, буду очень благодарен» (73, 84 – 85).

Уведомить отче Льва о судьбе своей привелось самому Шопову — в письме от 14 июня 1901 г. 10 августа Толстой отвечал Шопову:

«То, что судят вас не за причину отказа, а за неисполнение военных приказаний — это они всегда делают. Им больше делать нечего. И я истинно жалею их. И вы, находящийся в их власти и лишённый ими свободы, всё-таки должны сожалеть об них. Они чувствуют, что против них истина и Бог, и цепляются за всё, чтобы спастись, но дни их сочтены. И та страшная революция, которую вы производите, не разбивая бастилию, а сидя в тюрьме, разрушает и разрушит всё теперешнее безбожное устройство жизни и даст возможность основаться новому. Я все свои последние силы употребляю на то, чтобы служить в этом Богу...» (Там же. С. 117).

Шопов освободился из заключения тем же стойким христианином, каким был, и занимался распространением в Болгарии “запретных” сочинений яснополянца, самостоятельно переводя их и публикуя в издававшемся им в 1903 – 1906 гг. журнале «Лев Н. Толстой». В дальнейшем Шопов — основатель издательства «Жизнь» (1907 – 1922), издавшего более 30 книг писателя и мыслителя, автор книг «Как жил, работал и умер Лев Толстой» и «В гостях в Ясной Поляне» (1928). Вместе с другим духовным львёнком Льва Николаевича, Христо Досевым, и молодым учёным-педагогом, сторонником толстовского «свободного воспитания», Димитром Тодоровым Кацаровым (1881 – 1960) основал Болгарский вегетарианский союз.

Нам важны эти подробности двояко: как свидетельство о первом болгарине-толстовце, отказавшемся от военной службы, и, в то же время — о *затруднительном положении*, в которое поставил Льва учителя его болгарский ученик.

В письме от 29 мая 1903 г. Георгий Шопов осудил действия македонской «террористической группы», полагая, что «виновник всего существующего бедствия в мире — это правительство, духовенство и ложная журналистика». «Прошу Вас, милый Лев Николаевич, — продолжал Шопов, — напишите что-нибудь по поводу этого македонского движения, чтобы осветлится народ и увидит ложность своего направления. Прошу Вас написать это, потому что Ваши слова имеют больше влияния пародом, чем слова кого-либо другого.

[...] Под влиянием революционного комитета и журналистики болгарское правительство готовится объявить войну султану. Народ, рабочий народ не хочет война и верю, что Вы напишете про это что-нибудь...» (Цит. по: Порочкина И.М. Указ. соч. С. 38).

Шопов знал о запросе к Толстому Стояна Михайловского и был уверен, что и ему, и Михайловскому Толстой может дать без затрудне-

ний ожидаемый ответ. Но это-то и было отвратительно и невозможно Толстому: не безусловное порицание насилия, конечно, а присоединение своего голоса к *политическому хору*, в котором кроткий голосок Шопова был отнюдь не самым слышным...

Толстой *не ответил* своему возлюбленному ученику.

Переписка возобновилась зимой 1904 г., когда, в письме от 1 февраля, Георгий Стоилович Шопов сообщил о грозных, хорошо известных Толстому признаках кризиса, уже сломившего толстовское общинное и общественно-просветительское движение в ряде стран — более всего в Англии и Соединённых Штатах. Шопов писал о разногласиях между последователями Толстого в Болгарии и социалистами по поводу истолкования «учения» Толстого. Влияние социалистов соблазняло многих, особенно молодых толстовцев. Льву Николаевичу необходимо было ответить, но сделал он это 17 марта 1904 г. очень кратко:

«...Чем дальше живу и чем больше приближаюсь к смерти, тем мне яснее и несомненнее то, что самая важная деятельность не внешняя, а внутренняя: совершенствоваться — *“будьте совершенны, как отец ваш небесный”*, и что всякая внешняя деятельность плодотворна только тогда, когда она есть следствие внутренней» (75, 63).

Этот краткий ответ можно отнести и к запрашиваемому прежде Шоповым отношению Толстого к политической деятельности.

В декабре 1907 г. Л. Н. Толстой откликается на обращение Генрика Сенкевича по поводу притеснения поляков в Пруссии. Отметив, что, «несмотря на все старания хвалителей, все французские Людовики и Наполеоны, наши Екатерины Вторые и Николаи Первые и немецкие Фридрихи не могут внушать ничего, кроме отвращения», а современные «властители до такой степени стоят ниже нравственных требований большинства, что на них нельзя даже негодовать...», Л. Н. Толстой приходит к парадоксальному выводу: «Что же касается до подробностей того дела, о котором вы пишете; о приготовлении прусского правительства к ограблению польских землевладельцев крестьян, то и в этом деле мне жалко больше тех людей, которые устраивают это ограбление и будут приводить его в исполнение, чем тех, кого грабят. Эти последние *ont le beau role* [*фр.* в лучшей роли]. Они и на другой земле и в других условиях останутся тем, чем были, а жалко грабителей, жалко тех, которые принадлежат к нации, государству грабителей и чувствуют себя с ними солидарными» (77, 332).

По поводу письма Сенкевича Толстой сказал 20 декабря 1907 г.: «Положение поляков лучше, чем наше, обижающих их русских. Мне сколько раз было совестно перед поляками за Николая Павловича. Немцам не стыдно» (*Маковицкий Д.П. Яснополянские записки. У Толстого. Указ. изд. Кн. 2. С. 594*).

10. 1. 2. БЛАГОВЕСТИЕ ДЛЯ АННЕКСИРОВАННЫХ

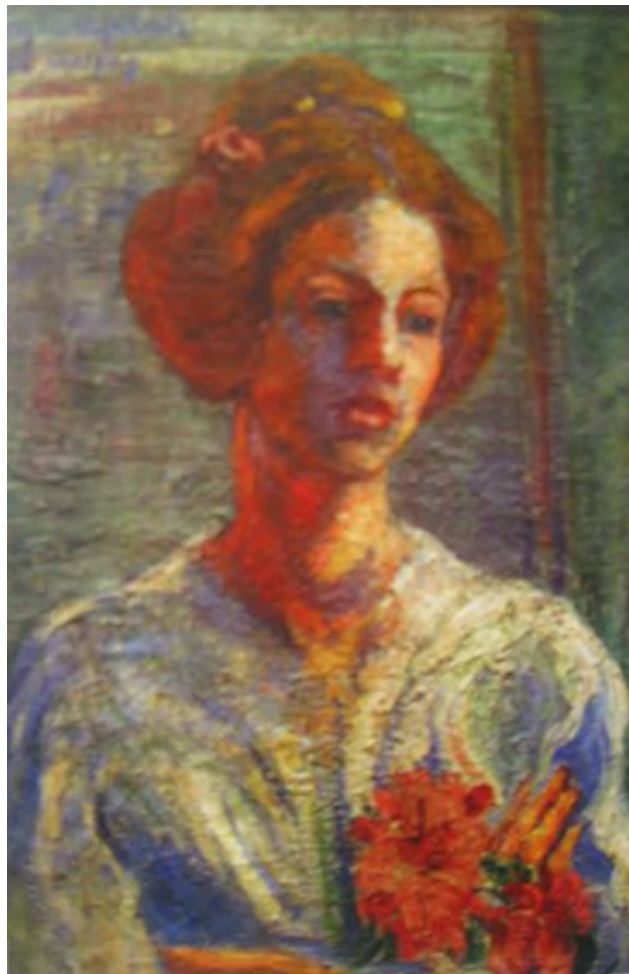
В том же духе отвечает яснополянец и сербке *Андже Мите Петровичевой* (*Andža Meta Petrovičeva*, 1891 – ?; в Полном (Юбилейном) собрании сочинений Л. Н. Толстого ошибочно названа “Петробутевой”), дочери сербского историка Миты Петровичева, обратившейся к нему с призывом поднять голос в защиту Боснии и Герцеговины, аннексированных Австро-Венгрией.

12 (24) апреля 1877 года, как мы помним, началась очередная Русско-турецкая война, по итогам которой Сербия, Черногория и Румыния обрели независимость и было образовано автономное болгарское княжество. По решению Берлинского конгресса, на территорию Боснии и Герцеговины «временно» вошли австрийские войска. При этом юридически эти земли ещё оставались в распоряжении Турции. Крестьяне Боснии и Герцеговины, положение которых практически не улучшилось, были разочарованы. Уже в январе 1882 года здесь началось антиавстрийское восстание, поводом для которого послужило введение воинской повинности. Оно было полностью подавлено в апреле того же года.

5 октября 1908 года Вена объявила о «присоединении» (аннексии) Боснии и Герцеговины к империи Габсбургов, выплатив османам в качестве компенсации 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Захват Боснии и Герцеговины вызвал бурные протесты в Сербии, где эти земли рассматривались как неотъемлемая часть будущего южнославянского государства. Сербия обратилась за поддержкой к России и, при поддержке Черногории, стала готовиться к войне. Германия заявила о поддержке своих союзников, Великобритания и Франция ограничились нотами протеста. Россия, ещё не оправившаяся от тяжёлого и унижительного поражения в войне с Японией, тогда прошла буквально по лезвию бритвы. Большую роль в предотвращении но-

вой и абсолютно ненужной ей войны сыграл Пётр Аркадьевич Столыпин. Австро-Венгрия в обмен обещала признать право на проход российских военных кораблей через черноморские проливы.

Великолепно по своей гнусности то, что через почти три десятилетия после начала *мирной христианской* проповеди Льва Николаевича не только старшие поколения не удосужились понять её настоящий смысл, но и юная сербская говнюшка, только изволившая родиться на свет в год, когда Толстой успел уже, за десятилетие 1880-х, сказать миру главное — взирали на яснополянца с изуверским снисхождением: как «истинная патриотка» возлюбленной Сербии — на национального предателя, врага России, вероятно, по 80-тилетнему своему возрасту, уже и выжившему из мозгов, но, по всемирной влиятельности своего голоса, могущего, однако, в конкретной политической ситуации осени 1908 года сыграть на руку сербам-патриотам, как прежде, старый дурак, поддержал против России поляков и финнов.



«Портрет сестры Анджи».
Худ. Надежда Петровна Петровичева, 1908.
Народный музей, Белград

Разумеется, в первом письме к Толстому девица старается не выдать себя, но с первых строк льстит весьма обдуманно, «прицельно»:

«Его сиятельству графу Толстому, философу и писателю!

Больше всего мне хотелось бы, чтоб у вас хватило терпения дочитать это письмо до конца.

Обращаться к вам, философу и гению XX века — огромная смелость со стороны молодой сербки. Простите меня, уважаемый апостол угнетённых. Вы, умеющий прощать и учащий людей справедливости и милосердию, не откажете в просьбе вашим ученикам. Вы внушили мне отвагу — обратиться к вам с просьбой от нашей небольшой страны — к вам, поборнику христианской гуманности.

Я осмелюсь рассказать вам о ранах, которые терзают сербов, и просить слова утешения от имени всей сербской молодёжи. Ваше слово явится для русского общественного мнения гласом апостола. Так провозгласите же это спасительное слово, смягчите сердце вашего народа в отношении маленькой балканской народности, находящейся в плену у захватчиков. Поднимите голос за свободу боснийцев и герцеговинцев! Это сербы, это южные славяне, это люди, веками борющиеся за сохранение своей самобытности.

Мы, сербы, лучше, чем когда бы то ни было, понимаем теперь, что стоим перед пропастью, которая таинственно влечёт нас в свои глубины. На дне её неясно мелькает луч — то ли избавления, то ли смерти; и мы должны броситься в эту пропасть с лозунгом “Свобода или смерть!” и очутиться между ужасом и спасением.

И всё же, Отец, мы, словно львы, которых охотники окружили огненным кольцом, — полны отваги и готовы положить на алтарь отечества свои жизни и своё имущество, оставаясь до последнего вздоха верными родине.

Мы должны разрушить стены нашей тюрьмы, преграждающие нам путь к свободе и осуществлению наших возвышенных стремлений; силы врага больше, чем наши, враг неумолим к стонам и угрозам своих пленников, и всё же мы не падаем духом. В спёртом воздухе тюрьмы мы не можем бороться за благородные христианские идеалы, а все наши утешения были бы бесполезной мечтой, поисками вымышленного мира, где нет страдания и унижений.

Нынче во всей разодранной на клочки сербской земле нет ни одного серба, который бы решительно не требовал войны с Австрией и освобождения сербских областей Боснии и Герцеговины.

Сербы никогда не боялись войны, ибо они уверены, что в борьбе возрастают силы и что патриотический подъём сам указывает путь

и направление всем возникающим в ходе борьбы событиям. Пусть оспаривают за сербами способность к общественной жизни, пусть приписывают нам все пороки (нам, а не Германии с её интригами, направленными на наше уничтожение) — ни один народ не знал и не знает большего воодушевления и большей готовности к самопожертвованию, чем сербы, веками боровшиеся против вражеских интриг и нашествий.

Сейчас наступила одна из самых критических минут, когда сербы находятся в ожидании решения культурной Европы на конгрессе великих держав.

Россия молчит. Это страшное молчание может стоить жизни целому народу. Возможно ли, чтобы великая Россия стала палачом и причиной гибели невинных славян? Где же подлинный гуманизм? Где человеколюбивые, филантропические объединения культурных народов, если ни один голос не раздаётся в защиту южных славян от германского нашествия?

Разве не правда, что этот гуманизм проявляется только в отношении невежественных народов Азии и Африки, проповедуя дикарям христианское милосердие, в то время как на юге Европы он спокойно допускает уничтожение целого народа, имеющего многовековую историю и культуру. Этот народ уничтожается только потому, что хищническая Европа продолжает вести тайную политику и что Россия защищает лишь интересы болгар — потомков татарских пришельцев.

Россия молчит, потому что Болгария, подопечная ей, уже получила независимость, а сербы пускай гибнут. Можем ли мы рассчитывать на помощь англичан и немцев, желающих, в сущности, ослабления славянства?

Англия больше других противится аннексии Боснии и Герцеговины, но не потому, что ущемлены интересы сербов, а потому что она хочет удовлетворить свою союзницу Турцию. Все страны, улучшившие свои отношения с Турцией, выиграли. Для Болгарии это выразилось в аннексии Румелии; Греция получила Крит; Австрия — сербские провинции, Боснию — Герцеговину. А Сербия из-за своей лояльности не получила ничего. Таковы были цели европейской политики. Турция оказалась вороной, разукрашенной чужими перьями, но на этот раз и другие хищные птицы разodelись в чужие перья. А Сербия должна была стать на сторону обобранной Турции, своего бывшего врага.

Ужасно, когда в культурный век приходится проливать кровь за свои права. Пусть Европа охраняет интересы германских народов и турок, а героическая Сербия без страха пойдёт на войну.

Если дело идёт о защите великосербских стремлений к воссоединению, лучше погибнуть, защищая от разбойников свои интересы. Австрийская армия на примере союзной армии Сербии и Черногории ещё раз увидит, что значит защищать отечество и что значит отправляться на охоту за чужим добром.

Героическая смерть, которая поразит всех до единого, или свобода независимой сербской земли! Даже если сербскую армию на поле брани оставит милость всевышнего, врагу не удастся в Сербии легко переступить порог наших домов; неизведанные ещё силы сербских женщин проявятся в мести за смерть отцов и братьев.

И пусть во веки веков останется свято воспоминание о последних днях королевства, воздвигнутого на развалинах могущественного балканского царства, достойного великих предков сербского народа.

Я открыла вам свою душу, я пишу то, что кровавыми буквами записано в сердце каждого серба; свои упования на ваши симпатии по отношению к сербам я охотно доверяю бумаге, которая, быть может, никогда не попадёт в руки вашей милости.

Но если вы получите это письмо, не отвергайте его из-за того, что язык наш будет вам непонятен; не пренебрегите возникшими в моём сердце воодушевлением и восхищением, которые я испытала, обращаясь к вашему сиятельству.

Дай бог, чтобы в результате моего письма сербский народ приобрёл ещё одного друга в лице прославленного писателя Льва Толстого.

Пусть ваше сиятельство простит мне мою смелость и примет безграничное уважение молодой сербки, исполненной любви к отечеству и желания, чтобы весь мир проникся добрыми чувствами к маленькой Сербии.

Анджа М. Петровичева» (Цит. по: [Бабаев Э.Г.] Иностранная почта Толстого // Литературное наследство. Том. 75. Толстой и зарубежный мир. М., 1965. Кн. 1. С. 494 – 496).

Показательно, что письмо юной сербки датировано 7 октября (н. ст.) 1908 года, то есть написано буквально «по свежим следам» событий, сразу после объявления Австро-Венгрией аннексии — очевидно, без раздумий, но с пониманием, чьим авторитетным именем следует заручиться в политическом протесте.

Толстой подобного не любил: когда те или иные политические «друзья», любые борцы (с колониализмом, с оккупацией, с аннексией, с классовыми врагами и под.) стремились заручиться его поддержкой.

В середине октября письмо было получено в Ясной Поляне. Домашний доктор и секретарь, духовный единоведец Толстого Душан Петрович Маковицкий записал 14 октября в Дневнике:

«Когда я массирувал Л. Н., он спросил о письмах, которые дал прочесть. Первое — сербской девушки Анджи Петровичевой из Белграда. Я сказал, что письмо горячее, патриотическое; что с аннексией Боснии, если будет признана державами, для сербов потеряно всё. Когда их раздробят политически, им останется только броситься в войну и погибнуть. И что ни у одного народа нет такой готовности умереть за свой народ, как у сербского.

Л. Н. ответил, что это будет так (готовность умереть), что это отмечают и газеты.

— Подумаю завтра, что ей ответить, — сказал он» (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. Т. 90: В 4-х кн. М., 1979. Кн. 3. С. 226*).

На следующий день Толстой, за обедом читая газеты, констатировал: «Кажется, будет война. [...] Сербский архимандрит Дмитрий призывает к войне. Австрийский посол отозван из Петербурга». Чертков, присутствовавший на обеде, проницательно заметил: «Недавняя война истощила военные силы и снизила престиж. Можно ожидать массовых отказов от военной службы. Я думаю, русское правительство не решится на войну». А Толстой, обращаясь к Маковицкому, недоуменно спрашивал: «Почему сербы так противятся присоединению Боснии и Герцеговины к Австрии? Что потом и их заберут?» (*Там же. С. 227*).

В тот же день Толстой изложил Маковицкому ответ Андже Петровичевой:

«Л. Н.: Можете ей написать, что мы говорили по поводу её письма, что, когда внешнее потеряно, человек сильнее идёт внутрь, к Богу. К чему оно приведёт (какие последствия будут) — неизвестно, но последствия могут быть только хороши» (*Там же. С. 226*).

Уже по этому религиозному высказыванию Толстого справедливо заключить, что старец и юная сербка говорили друг с другом на разных языках.

Но через четыре дня Толстой начал исправлять и дополнять свой ответ, и знаменитое «Письмо к сербке» разрослось постепенно в целую статью, получившую название «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии». В Дневнике на 26 октября 1908 г. есть запись: «Начал тоже письмо сербке. Всё хочется короче и яснее выразить ошибку жизни христианских народов» (56, 152). 30 октября, вместо Толстого, сербке коротко ответил сам Д. П. Маковицкий:

«Милостивая государыня!

По случаю вашего письма Лев Николаевич вспомнил изречение о том, что когда нам кажется, что всё погибло, часто бывает, что тут-то всё спасено.

Думает Лев Николаевич это потому, что важно не политическое положение государства Сербии, а важно духовно-религиозное состояние всего народа. И это особенно важно для народов славянского племени, которые, как думает Лев Николаевич, более других религиозны и вследствие этого призваны обновить христианское человечество новым пониманием жизни и потому призваны внести совершенно новое и иное, чем отношение других народов, отношение к политической власти.

И это новое, иное, чем обычное, отношение к политической власти может выразиться именно теперь по случаю, так сильно волнующего сербский народ, дерзкого присоединения австрийским правительством Боснии и Герцеговины.

Вопрос этот настолько заинтересовал Льва Николаевича, что он в довольно длинном письме, которое вероятно скоро будет напечатано, высказал подробно свои мысли об этом предмете.

Д. П. Маковицкий» (*Иностранная почта Толстого. С. 497*).

Анджа Петровичева, разумеется, обрадовалась известию, что ей удалось, и буквально с одного письма, “раскачать” Толстого на публицистическое выступление, на открытое письмо в печати против «молчания России». Уже как новоявленный «друг», она пишет Толстому второе, ещё более пространное письмо, датированное 19 ноября 1908 г., из Белграда. Судя по этому письму, всё, что она поняла из ответа Маковицкого о Толстом — это то, что тот призывает «познавать самих себя», при этом «уважая законы общества и религии», а идеалом имея некое «возрождённое человечество» (*Там же*). Но тут же она замечает, что «маленькому народу в этом деле трудно быть впереди», пока не побеждены враги этого маленького народа (сербов), враги его славного «национального» будущего:

«Разбой угрожает теперь нашей национальной свободе, ведёт к уничтожению нашей самостоятельности, нашей народности.

Под грязной вуалью скрывает германская раса свою аморальность и бесстыдство, она разжигает в наших сердцах ненависть, ибо своим эгоизмом она старается вытеснить славянские народы, за которыми будущее» (*Там же*).

На радостях о мнимом единомыслии с влиятельным писателем, Анджа уже не скрывает политической подоплёки своего обращения:

«Успех мой огромен, он превзошёл результаты деятельности всех наших дипломатов, ибо я сумела заинтересовать нашим справедливым делом величайшего в мире гения» *(Там же)*.

Девица выслала яснополянцу некое историческое сочинение отца, составленное по подлинным сербским документам — о знакомстве с которым Толстого мы, к сожалению, сведениями не располагаем. Самой юной Андже папка доверил для «обработки» (вероятно, редакторской) ту часть своей будущей исторической книжки, в которой рассказывается о героизме сербских женщин — и этим-то чтивом, вкупе с предшествующим «воспитательным» воздействием, по всей видимости, и свихнул в патриотизм, сквасил мозги любимой доченьки. Судя по пересказу в письме к Толстому, Анджа явно вдохновлена чтением:

«Во время турецкого господства и тирании захват невинных девушек и детей в рабство называли в народе “кровавой данью”. Женщина — мать и сестра, несла на себе тяжёлый крест, она голыми руками защищала в своём доме малых детей и имущество, побуждая к сопротивлению, разжигая чувства любви и храбрости, а по отношению к тиранам чувство ненависти. И, принося жертвы, сербка не стонала и не требовала награды.

И дома, и на поле боя, возле раненых, среди боевых кликов сербские женщины были нежными помощницами. Встретив первый, после пяти веков рабства, луч свободы на сербском небе, они были первыми, прославившими Провидение, влившее силы в их ослабевшие мышцы. Они принесли свои женские чувства на алтарь освобождения отечества, как солдаты храбро, героически и терпеливо вынесли всё, с радостью встретив кровавое солнце на нашем пылающем небосводе.

Страшны были эти пять веков чёрной ночи, когда миллионы сербских матерей, охваченные ужасом и отчаянием, были свидетелями несчастья, которое подстерегало их детей с первых дней жизни, обрекая их на участь рабов азиатских тиранов; небо наше и сейчас ещё залито кровью, на наших сердцах и сейчас ещё лежит печать истерзанного сербского народа.

Наше прошлое обагрено кровью, настоящее — ещё более обагрено кровью, и будет ли когда-нибудь конец этим мучениям, возможно ли, что нет спасения от мрака и что звон цепей будет и в дальнейшем раздаваться среди дивных сербских лесов. Страдания сербов прежние, изменился только тиран — раньше это были турки, теперь — немцы» *(Там же. С. 498, 500)*.

Халтурное сочинение — насколько мы можем судить по располагаемому переводу. Слишком много эмоций и крови для того, чтобы Толстой, не будь он даже противником, как такового, патриотизма, мог разделить с белградской девицей её чувства.

А тут ещё, в конце письма, совсем раскочегарившись, Анджа Петровичева заверяет Льва Николаевича в том, что сербы «верят в будущее славян, ибо, только объединившись, славяне смогут уничтожить немцев и их политику и тем самым обеспечить славянам свободу культурного развития» (*Там же. С. 500*).

Толстой прекрасно понимал, что в ответ на чудовищный призыв Австро-Венгерской империи «уничтожить сербов» может последовать призыв «уничтожить немцев». Эта мысль и явилась в письме заражённой патриотизмом и, под влиянием заражения, распалившейся воинственными мечтаниями Анджи.

И Толстой решил для себя: в ответном письме-статье он вновь повторил своё великое: «Одумайтесь!»

Теперь, уже кратко, о самой статье, выросшей из ответа на первое письмо сербке.

В 1907 г. Лев Николаевич Толстой работал над статьёй с длинным, но зато красноречивым заглавием: «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении?» (*см. 37, 348 – 359*). В ней Толстой-публицист развивает уже известные читателю идеи, восходящие к трактату «В чём моя вера?» Первоначальное учение Христа было извращено Павлом лжеапостолом и церковниками, и люди неизбежно, с увеличением просвещения, утратили доверие к тому церковному обману, которым было подменено учение спасительной Истины. К этому же, страшному обману, а тем более к безверию, как дурная кровь к опухоли, “приливают” архаические идеи, в числе которых — национальный патриотизм и войны за независимость.

Об этом — центральная часть и этой, ощутимо трёхчастной, статьи, открывающейся всё тем же, басенным — «уж сколько раз твердили миру...». Как ни устал Толстой повторять сказанное ещё в прошлом веке, а вот, народилось ещё поколение, которое более некому научить:

«Одна сербская женщина обратилась ко мне с вопросом о том, что я думаю о совершившемся на днях присоединении к Австрии Боснии и Герцеговины, — так начал свою статью Толстой. — Я вкратце

отвечал ей, но рад случаю высказать тем, кого это может интересовать, насколько я могу ясно и подробно, мои мысли об этом событии» (37, 222 – 223).

Толстой осудил аннексию, совершенную «посредством всякого рода обманов и лжи, насилия и всякого рода преступлений против самых первых требований нравственности». Он назвал захват славянских земель Австрией «грабежом», а империю Габсбургов — «разбойничьим гнездом».

Но всё дело в том, что «разбойничьими гнёздами» грабителей Толстой задолго до этой статьи именовал *всякое* государство и предшествующих эпох, и своей современности. Австро-Венгрия для Толстого — всего лишь «одно из тех больших разбойничьих гнёзд, называемых великими державами, которые посредством всякого рода обманов, лжи, насилия и всякого рода преступлений против самых первых требований нравственности держат в страхе перед собой, ограбляя их, миллионы и миллионы людей» (Там же. С. 223).

И в данном послании Лев Николаевич не изменил своему христианскому отношению к государственности. Отношение это ознаменовано уже пространным, но значительным эпиграфом ко всей статье: «Если бы была задана психологическая задача, как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самые ужасные злодеяния, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, что есть, надо, чтобы люди были разделены на государства и народы, и чтобы им было внушено, что это разделение так полезно для них, что они должны жертвовать и жизнями и всем, что для них есть святого, для поддержания этого губительного, вредного для них разделения.

Мы так привыкли думать, что одни люди могут устраивать жизнь других людей, что распоряжения одних людей о том, как другие должны верить или поступать, нам не кажутся странными. Если люди могут делать такие распоряжения и подчиняться им, то это только потому, что люди эти не признают в человеке то, что составляет сущность всякого человека: божественность его души, всегда свободной и не могущей подчиняться ничему, кроме своего закона, то есть совести, закона Бога» (Там же. С. 222).

С этих позиций осуждается Толстым не одна Австро-Венгрия, и не только её конкуренты в грабеже, которые обиделись, что с ними не будут делиться, и «вот уже несколько недель толкуют на своём, как у воров, воровском жаргоне о всякого рода аннексиях, компенсациях, конгрессах, конференциях, декларациях, делегациях и т. п.» (Там же. С. 223). Осуждает Толстой и реакцию черногорцев и сербов,

пожелавших «воевать, то есть посредством самых преступных для человека поступков: убийства своих и чужих людей, противодействовать неправильному, по их мнению, вредному и опасному для них поступку австрийского правительства» (*Там же. С. 225*). Помимо повиновения оккупантам или насильственного сопротивления, люди не видят третьего пути — религиозного освобождения, духовного противостояния агрессору и оккупанту, руководящемуся отжитым, дохристианским религиозным пониманием жизни, то есть не имеющем в своём сознании живой веры:

«В наше время народам, над которыми совершается грубое насилие, как то, которое совершается теперь над славянскими народами, нужен не счёт штыков и батарей и не заискивание у жалких, несчастных, заблудших, одурённых своим мнимым величием людей, как разные Габсбурги, Романовы, Эдуарды, султаны с их дипломатами, министрами, генералами и войсками, а нужно совсем другое. Нужно сознание людьми своего человеческого, равного для всех людей достоинства, не допускающего ни распоряжения одних людей жизнями других людей, ни подчинения этих людей другим каким бы то ни было людям. Сознание же это возможно только для тех людей, которые знают своё назначение в жизни и следуют тому руководству поведения, которое вытекает из этого познания. Знают же своё назначение в жизни и следуют вытекающему из него руководству поведения только те люди, у которых есть религия» (*Там же. С. 227 – 228*).

Глава IV-я статьи — быть может, самая интересная: в ней Толстой приводит примеры таких освободившихся, религиозных людей, по сведениям своим о секте назаренов в Венгрии. Как антивоенные эпиграфы к каждой главе статьи, так и этот отрывок об отказе назаренов от военной службы Толстой включил в подготавливаемый им в то время сборник мудрой мысли «Круг чтения». Выше мы уже цитировали эту историю, но по тексту «Круга чтения»:

«Несколько лет тому назад сидел в австрийской тюрьме, в числе сотен отказывающихся от военной службы людей из секты назарен, молодой человек той же секты. Мать молодого человека пришла проведать сына. Когда часовой, сжалившись над ней, допустил её к окну, из которого она могла видеть сына, мать эта вместо того, чтобы плакаться сыну на свою беспомощность и упрекать его за то, что он бросил её, закричала сыну: «Не бери ружья, сынок мой золотой. Помни Бога». И сын послушался и матери, и своего внутреннего голоса и остался досиживать свои 15 лет тюрьмы, к которым приговорило его австрийское правительство.

Да, не готовиться вам, сербам, надо к войне, то есть к убийству жалких, заблудших людей, приведённых целым рядом грехов и соблазнов к тому одурённому состоянию, в котором они убивают и готовы убивать кого попало, и не выпрашивать вам надо посредством вами же поставленных бог знает зачем властителей, милости у людей, которые сами не знают, как им выпутаться из того обмана и зла, в которых они завязли, — ничего этого не нужно вам.

Для освобождения вас, и не только вас, не только славян, но для освобождения всех порабоощающих самих себя народов: и китайцев, и японцев, и индусов, и персов, и турок, и русских, и немцев, и французов, и итальянцев, и всех людей мира от тех грехов, соблазнов и суеверий, в которых они коснеют, нужны не штыки и батареи, и не дипломатические переговоры и конференции, и конвенции, и т. п., а нужно одно то, в чём поддерживала эта мать своего любимого сына. Нужны не патриотизм, не гордость, не злоба, не воинственная храбрость, а нужно только то, что делал этот назарен, что делали и делают теперь в России духоборы, молокане, иеговисты, свободные христиане, что делали и делают в Персии бабисты, такие же люди в Турции, Индии, что делают среди христианского, буддийского, магометанского мира тысячи и тысячи людей, сознающих в себе своё духовное начало и потому не признающих никакой выше власти этого духовного начала» (*Там же. С. 228 – 229*).

Собственно, на этом можно было закончить: Толстому — статью, а нам наш рассказ и анализ оной. Но Толстому важно было ещё раз, на этот раз юному поколению Анджи, рассказать о коренной причине зла — и агрессии, оккупаций, захватов земель, и исполненного ненависти противостояния врагу. Причина военного, как и всякого прогосударственного, «национального», «патриотического» насилия, и более того: «всех бедствий всех народов» в том, «что люди вообще и в особенности люди христианского мира живут по тому грубому пониманию жизни, которое давно уже пережито лучшими людьми всего человечества, а не по тому пониманию смысла жизни и вытекающему из него руководству поведения, которое открыто христианским учением 1900 лет тому назад, и которое понемногу всё более и более входило в сознание человечества, и которое теперь одно свойственно людям нашего времени» (*Там же. С. 231*).

Это переход ко второй части статьи — о тех коренных причинах безверия, о которых говорилось выше и в нашей книге. Повторяться не стоит уже по тому, что, имея в виду именно частную переписку, как начало статьи — Толстой метал бисер отнюдь не перед самой благодарной аудиторией (таковы многие сербы и по сей день — судя

по проценту среди них поддерживающих преступления режима В. В. Путина в России).

«Сознание того, что старый закон и отжил и довёл людей до высшей степени бедственности и уродливости жизни и что новый закон свободы и любви, открытый уже тысячи лет тому назад, требует своего применения и осуществления, до такой степени близко теперь людям не только нашего христианского, но и всего мира, что пробуждение от того порабощения и развращения, в котором столько веков держали и держат сами себя народы, может, как я думаю, наступить всякую минуту» (*Там же. С. 236 – 237*). Всё это, допреже аудитории прессы, Толстой адресовал юной особе (или *особи?*) со смазливой мордашкой, которая всем своим мировоззрением и поступками как будто стремилась доказать обратное!

Наконец, третья часть, главы X – XII — возвращение публициста к идее нового, христианского понимания того, что есть *человеческое достоинство*:

«Только сознай люди ясно, твёрдо, кто они, сознай люди то, чему учили все мудрецы мира и чему учит Христос: что в каждом человеке живёт свободный, один и тот же во всех, вечный, всемогущий дух, сын Божий, что человек не может ни властвовать, ни подчиняться, что проявление этого духа одно: любовь, [...] и поступай согласно или, скорее, не поступай только люди противно этому сознанию, и сразу самым простым, мирным способом уничтожатся все затруднения не только в Боснии и Сербии, но во всём христианском мире, и не только в христианском мире, но и во всём человечестве. ...И кончатся все те ужасы, от которых они теперь страдают: кончатся и угнетения одних народов другими, и войны, и приготовления к ним, разоряющие и развращающие людей, кончатся эти смешные обманы конституций, эти захваты земли и обращение в рабство людей, кончатся эти суды людей над людьми, эти ужасные и по жестокости и по глупости наказания людей людьми, эти цепи, тюрьмы, казни, кончится властвование праздного развращённого меньшинства людей над превращённым в рабов большинством людей, ещё не развращённых, трудящихся, способных к разумной жизни». Участие в делах государства, пользование им (в частности — собираемыми принудительно налогами, судами и войском) несовместимо с таким сознанием (*Там же. С. 237 – 238*).

По обыкновению, установленному ещё в трактате «Царство Божие внутри вас», Толстой отвечает умозрительным оппонентам на всегдашний их «неотразимый» аргумент: о том, что до того, как большинство переменит своё сознание — отдельному человеку враждовать с учением мира бесполезно, а иногда и мучительно:

«...Говорят так только люди, находящиеся под внушением патриотического и государственного суеверия. Таким людям кажется, что человек немислим вне государства, что человек, прежде чем быть человеком, есть член государства. Такие люди забывают, что всякий человек, прежде чем быть австрийцем, сербом, турком, китайцем, человек, то есть разумное, любящее существо, призвание которого никак не в том, чтобы соблюдать или разрушать сербское, турецкое, китайское, русское государство, а только в одном: в исполнении своего человеческого назначения в тот короткий срок, который предназначено прожить ему в этом мире. Вот это-то самое и говорит человеку учение Христа. Оно говорит ему про это его вечное назначение, и потому не знает и не может и не хочет знать о том временном, случайном положении, в государстве или вне государства, в котором в известный исторический период может находиться человек. Ведь дело в том, что государство есть фикция, государства никогда не было и нет как чего-то реального. Реально только одно: жизнь человека и людей. [...] Учение Христа открывает человеку такое его назначение и благо, которое не может изменяться соответственно каким-либо внешним учреждениям. Оно не говорит о том, что выйдет в будущем для собрания людей, называемых народами, государствами, и не может говорить, потому что никто не знает и не может знать этого, а говорит только то, что знает и чувствует всякий: что из следования человеком своему закону, закону единения и любви, ничего, кроме добра, выйти не может» (Там же. С. 238 – 239).

Тут как тут и другой контраргумент, на доводы о том, что правительства прибегнут к расправам над такими, самыми опасными им — не признающими их — духовными революционерами:

«...Люди, держащиеся суеверия государства, как бы предполагают, что правительства суть какие-то отвлечённые существа, обладающие особенными свойствами и приводящие свои решения в исполнение тоже какими-то особенными, нечеловеческими силами. Но ведь таких существ нет, и как они ни называй себя, есть только люди, такие же, как и те, кого они мучают и угнетают» (Там же. С. 240).

Речь не о чём ином, как о том же, постулируемом со времён «В чём моя вера?», назывании участников системного, организованного насилия — настоящими их именами: грабителей, насильников, палачей... О *делегитимизации* подданными каждого правительства — власти этих самых правительственных людей над ними.

Толстой сознаётся, что письмо Анджи Петровичевой отнюдь не одиноко среди вопрошателей его всё об одном: «меня спрашивают со-

вета, что делать? спрашивает ли совета индус, как бороться с Англией, серб, как бороться с Австрией, персиянин или русский человек, как бороться с своим персидским, русским насильническим правительством» (*Там же. С. 241*). Средство у Толстого для всех одно («и не могу не верить, что это одно спасительно всегда и для всех»):

«...Освободиться всеми силами от губительного суеверия патриотизма, государства и сознать каждому человеку своё человеческое достоинство, не допускающее отступления от закона любви и потому не допускающее ни господства, ни рабства и требующее не делания чего-либо особенного, а только прекращения делания того, что поддерживает то зло, от которого страдают люди.

Что делать боснякам, герцеговинцам, индусам, сербам, русским, шведам, всем одурённым, потерявшим своё человеческое достоинство народам? Всем одно и одно: то самое, что сказала сербская женщина сыну: жить по закону Божескому, а не по закону человеческому» (*Там же*). Славянам это, по ошибочному мнению Толстого, даже легче, так как они менее развращены общим для лжехристианской цивилизации развратом: «Ещё не достаточно учёны, чтобы рассуждать превратно» — повторяет Лев Николаевич любимую поговорку одного из любимых своих мыслителей, Мишеля Монтеня, так же включённую им в состав «Круга чтения». Оттого и освобождение, для которого не нужно насилия, к ним ближе: «Только сознание людьми в себе высшего духовного начала и вытекающее из него сознание своего истинного человеческого достоинства может освободить и освободит людей от порабощения одних другими. И сознание это уже живёт в человечестве и всякую минуту готово проявиться» (*Там же. С. 241 – 242*).

Такова статья Толстого против сербского, и всяческого, патриотизма, насыщенная поистине неотмирной мудростью. Окончена она была в начале ноября 1908 г. (на окончательной версии дата — 5 ноября), а первых числах декабря статья была напечатана (с многочисленными цензурными пропусками) в «Голосе Москвы» и в других русских и иностранных газетах.

Статья Толстого вызвала многочисленные отклики в русской и иностранной печати. Д. П. Маковицкий 23 февраля 1909 г. познакомил его со статьёй М. Стевановича «Лев Толстой об аннексии» (Стеванович М. Лав Толстой о анексіј. — «Недѣльнй Прѣглед», 1908, Брѣји 36 и 37). В этой статье автор заключает саркастически, что Толстому вряд ли удастся убедить А. Эренталя, австрийского министра иностранных дел, в необходимости отказаться от аннексии Боснии и Герцеговины. И всё это в дневнике Маковицкого, кстати, в связи со

сказанной Толстым тут же французской пословицей, «в том смысле, что его писания — это долбление глухим» (*Маковицкий Д. Указ. соч. Кн. 3. С. 339*). Комментаторы уточняют, что это был так же один из любимых афоризмов Толстого, из Мольера: «Il n'y a point de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre» («Нет более безнадёжных глухих, чем те, которые не хотят слышать»). Толстой часто приводил эту поговорку: например, в качестве эпиграфа к ст. «Неизбежный переворот» (*Там же. С. 498. Комментарии*).

И Толстой, выслушав это, сказал по поводу своей статьи: «Никого не убедит» (*Там же*).

Вскоре, 25 февраля, Д. П. Маковицкий получил письмо от сербского переводчика И. Г. Максимовича, с такими свидетельствами:

“Когда у нас появилась в печати статья Льва Николаевича о Боснии и Герцеговине, некоторые газеты и журналы отнеслись к ней отрицательно, шаблонно, упоминая об утопиях и т. д. Теперь же, когда европейские правительства, не исключая и русского, поступают относительно сербов совершенно так, как это было сказано в статье Льва Николаевича, т. е. правительства — волки, защищают волка — Австрию, а не ягнёнка — сербский народ (Сербию, Боснию и Герцеговину) — теперь те самые газеты осуждают волков словами, доводами и приёмами, взятыми прямо из статьи Льва Николаевича и её идеологии. Будучи вообще бесконечно отдалены от отрицания государства, они теперь по опыту убедились, что корень наших бедствий лежит именно в существовании государства”.

Л. Н-чу и всем понравилось.

— Если бы убедились! — сказал Л. Н.» (*Там же. С. 341*).

А вот и реакция первой его адресатки, Анджи Петровичевой — последнее её письмо к Толстому, от 20 декабря 1908 г., образчик той самой, идеальной в своей безнадёжности, глухоты:

«Ваше сиятельство!

Считаю своим долгом поблагодарить вас за ваше благородное письмо по поводу нашего сербского вопроса.

Основной христианский принцип — люби ближнего и люби человечество — символ христианских устремлений, понятие человеческой правды и личной независимости приняло ныне иные формы, искажение благородных идей самого Христа получило санкцию власти.

Христианином теперь называется даже тот, кто, прикрываясь этим именем, проливает кровь своих братьев во имя выдуманных, укоренившихся принципов; эгоизм завладел каждым в отдельности и всеми вместе.

Цели утратили своё истинное благородство, так что вы, учитель, правы — тропа добродетели затерялась в повседневной борьбе.

Ваше учение, или возрождение современного общества, было бы, без сомнения, осуществимо, если б все люди освободились от своих традиций, убедив этот материалистский, эгоистический мир, что он заблуждается, считая ваше учение неосуществимой философией, а не истинной наукой, которую так легко воспринимают люди с чистой душой.

Ваш ответ пробудил во мне благородные мечты о правде и любви, но чтобы воспринять милосердие и благородство великого учителя, я должна была бы забыть, что я сербка, забыть о тех несчастьях, среди которых живёт сербский народ. А действительность требует постоянной, реальной заботы о моём отечестве и разрешении кризиса, после которого должен быть создан хоть временный мир.

Я исполнена надежд и горячо желаю, чтобы быстрее осуществились принципы вашего благородного учения. Я льщу себя мыслью, что эра, в преддверии которой мы стоим, не позволит растоптать целый народ и что в ближайшем будущем будут осуществлены народные права.

Веря в справедливость надежды об общем счастье, поздравляю вас с Рождеством и Новым годом и шлю тысячи тёплых пожеланий долгих лет жизни и успешного труда.

Ещё раз примите сердечную благодарность от меня и всех сербов за участие и отклик в печати на аннексию Боснии и Герцеговины.

С горячим приветом и уважением

Анджа М. Петровичева» (*Иностранная почта Толстого. С. 500 – 501*).

В письме очевидны сдержанные огорчение, неодобрение, и — всё тот же «барьер» непонимания, *нежелания* понимать... Папины, и других воспитателей в родной Сербии, внушения оказались для доченьки значительнее учения якобы «великого учителя». «Между строк» так и читается: может быть ты, старец, ещё и не съехал кукухой совсем уж в говнище, но *мы*, грядущая великая нация, всё равно

знаем лучше, как нам поступать. Раз потребной цели с тобой не достичь — прощай и прости, бесполезный для молодых, дряхлающий мечтатель!

Поистине, переписка Толстого-христианина с сербкой, увенчанная открытым письмом-статьёй старца, более всего напоминает любимую притчу Толстого о двух дураках, один из которых доил козла, а другой — подставлял решето. Того же мнения был о диалоге писателя с польской патриоткой его зять, Михаил Сергеевич Сухотин, который часто и по многим политическим вопросам выступал в своеобразной роли оппонента Толстого. Тогда же Сухотин записал в своём дневнике:

«Л. Н. пишет ответ какой-то сербке, который мне не нравится по своей бесцельности. Сербка плачет о том, что их окончательно заберут в свои руки и уничтожат их национальность швабы, а Л. Н. в утешение ей доказывает, что не нужно никакой национальности и что одинаково вредно ей, сербке, всякое государство, будь то турецкое, немецкое или сербское» (*Сухотин М.С. Толстой в последнее десятилетие своей жизни (по записям в дневнике М. С. Сухотина) // Литературное наследство. Т. 69. Кн. 2. С. 208*).

10. 1. 3. «ОТВЕТ ПОЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЕ (Одной из многих)». 1909

Близкий, многолетний друг и биограф Л. Н. Толстого Павел Иванович Бирюков, свидетельствует, что рассказ «За что?», над которым Толстой работал с января по апрель 1908 года, посвящённый судьбе поляков, сосланных в Сибирь после восстания в 1830-е гг., имел для автора существенное личное значение: «Этим рассказом, по словам самого Л. Н-ча, он отдавал дань уважения и сочувствия польскому народу, подвергавшемуся в это время жестоким преследованиям русского правительства. Вместе с тем, как говорил мне Л. Н-ч, он расплачивается за свой старый грех, так как в молодости своей, под влиянием патриотической среды, в которой он жил, он позволял себе враждебные отношения к этим людям» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Т. 4. М. - Пг., 1923. С. 122*).

1 марта 1906 г., по ходу работы над рассказом «За что?», Лев Николаевич просил Душана Петровича Маковицкого снести с профессором-лингвистом Иваном Александровичем Бодуэном де Куртенэ

по поводу важных материалов для работы: «истории Польского восстания 1831 года, написанной с польской точки зрения» — то есть, попросту говоря, правдивой. Даже в официальном сочинении Н. К. Шильдера «Император Николай I в Польше» Толстой нашёл свидетельства бесценных для него с юных лет храбрости, вдохновенности и обдуманности ведения боя, благодаря которым «русские были несколько раз разбиты поляками», при том, что самих «поляков было 80 тысяч; русских войск 180 тысяч» (*Маковицкий Д.П. Яснополянские записки. У Толстого // Литературное наследство Т. 90. М., 1979. Кн. 2. С. 65*).

Другой близкий единомышленник и секретарь Толстого, Николай Николаевич Гусев, в дневнике на 1 июля 1908 г. записал следующие слова писателя: «Во мне в детстве развивали ненависть к полякам. И теперь я отношусь к ним с особенной нежностью, оплачиваю за прежнюю ненависть» (*Гусев Н.Н. Два года с Толстым. М., 1973. С. 180*).

И здесь же приведём ещё одно, о том же, личное свидетельство Бирюкова-биографа:

«Мне лично несколько раз приходилось слышать от Л. Н-ча выражение его симпатий к польскому народу. В этом его добром чувстве, как он сам говорил, была доля раскаяния, желание загладить те дурные чувства, которые, под влиянием патриотического воспитания, внушались ему с детства, которые он питал в своей юности и которые мешали ему видеть в истинном свете борьбу польского народа за свою независимость» (*Там же. Т. 3. М., 1922. С. 260*).

Уважаемый биограф-толстовец, к сожалению, не поясняет, каков этот «истинный свет» — для него и для учителя во Христе, отче Льва. Для нас важно, что этот «свет» не затмил — по крайней мере, для самого Толстого — простой истины о том, что ни масштаб, ни системная организованность «освободительного» насилия, ни умозрительные представления об альтернативном будущем в условиях «национальных» свободы и единения — не оправдывают ненависти и убийств и не освобождают человека от Божьего ярма.

Из этих соображений, слава Богу, Толстой и исходил не только в эпистолярном диалоге с Марианом Здзеховским, о котором мы довольно рассказали в своём месте, но и, более чем через десятилетие после этого диалога, в 1909 году — в своём знаменитом «Ответе польской женщине», представляющем собой снова — разросшийся в статью эпистолярный ответ, или, иначе, открытое письмо.

Письмо это, или статья, является ответом Толстого на письмо польки Стефании Ляудын из курортного местечка Закопане (Галиция) по поводу его статьи «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» (1909).

Стефания Ляудын-Хшановская (Laudwen; урожд. Боровская; 1872 – 1942), родилась в Польше, в имении Рохачёв под Могилёвом, в семье с польскими патриотическими традициями. Идеи, воспринятые в детстве, стали основополагающими в её жизни. Образование получила в польских и русских школах, свободно владела русским языком. В своё время сотрудничала с либеральным изданием «Московский еженедельник», с петербургской газетой «Русь». В Москве вышла замуж за адвоката Адама Ляудын-Хшановского, с которым переехала в Польшу, затем — в Галицию, в курортный городок Закопане.

Весной 1909 г. Толстой получил письмо на хорошем русском языке от неизвестной польской женщины по поводу его статьи «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии». Это пространное и страстное письмо от 20 марта 1909 г. н. с. (почтовый штемпель: «Ясенки» — 11. III) из курортного местечка Закопане в Польше, подписанное псевдонимом «Полька (Одна из многих)». По причине такой анонимности «польки» в юбилейном издании (38, 150 – 156) фамилия Стефании Ляудын не указана. Так же анонимно её корреспонденция к Толстому была полностью опубликована в краковском журнале «Świat Słowiański» (1909, t. I, № 53, s. 302 – 307).

Знакомясь с письмом Стефании, сразу обращаешь внимание на то, что она не преминула использовать, атакуя риторикой Толстого, скромный свой писательский талант. Подлинник письма утрачен; в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого, в Комментарий к его ответу полячке, он цитируется по публикации в журнале «Жизнь для всех», куда Толстой отослал его и свой ответ. Вот письмо полячки:

«Передо мною — обращение Ваше по поводу аннексии Боснии и Герцеговины. Прочла и убедилась, что Вы иногда способны ломать Ваше молчание и возвышать свой голос, хотя бы в столь далёких для Вас делах политики. Да, Вы способны вместе со всем русским народом, проникнуться возмущением по поводу далёких, незнакомых братьев Боснии и Герцеговины, способны в защиту их неприкосновенности, во имя их сомнительной обиды разразиться протестом по части справедливости и прав народа. Вижу это, вижу — и тем более жгуче, невыносимо больно сознание того Вашего преступного, виноватого и грешного молчания, которое Вы сохраняете по отношению Вашего близкого... брата...

И встаёт передо мною во всей суровости великий грех Ваш, тяжёлое упущение, как христианина, как человека и как русского...

В историческом лицемерии своём находите вы все слова и чувства людские по отношению далёких славянских братьев, и все вы сознательно глухи и слепы по отношению к реальному делу, по отношению к настоящей тяжёлой действительности, требующей от вас искренней воли, отваги и действия. Да, да, ведь это вытекает из учения Вашего, великий русский пророк, из философии Вашей, изобретённой и оставляемой Вами народу как завещания, из учения «непротивления злу».

Берегитесь, Вы отравляете родину Вашу учением своим, усугубляете то зло и яд, которые и так душе народной привили века рабства. Берегитесь! Вам перед лицом идущей на Вас вечности — время прозреть и понять, что и в Вашем собственном мышлении и крови таится то самое пагубное зерно безволия, которое Вы освятили, как добро, в грешном и вредном учении Вашем, поданном народу.

Смотрите, вот оно, вот воплощённое в жизнь перед Вами... Россия, разбитая анархией душевной и житейской, Россия, утопающая в разврате, упадке воли, обнищании чувств, оскудении души народа.

Где геройство, где спасительный вихрь подъёма, решения в минуты тяжёлых исторических переломов?

Где люди, вожди, пророки? Непротивление злу, непротивление злу на всех огромных, убитых пространствах России, растрепанное душевное и физическое, гнёт, дикость. Вот оно. Что дальше? Но это дело Ваше. Я разуверилась в обновлении духа и жизни России...

Тонкий слой светлого покровы, пропитанного культурой, свободой и гуманизмом запада, слишком слаб, и хрупок, и бессилён. Едва ли спасти ему всю тёмную гущу под собою, обуздать и светом проникнуть эту бурлящую, дикую и мутную стихию...

Боюсь, судьба может быть к русскому народу неумолима... Где заслуги его долгие, долгие века исторической жизни? Где его вклад в историю человечества? Кровь, кровь и — мрак...

Целое море крови и мрака...»

Наряду с этим мрачным зрелищем «польская женщина» рисует другую, более светлую картину, рисует «народную душу» польского народа, которая, не смотря на все терзания, остаётся «живая, упрямая, творческая, протестующая»:

«Такой завет оставили нам великие люди нашей истории, такое сокровище жизни таится в светлом прошлом. Над нами бодрствует и нас одушевляет бессмертный дух Скарги, Кохановского, Словацкого

и героя-пророка Мицкевича. В дни затмения голоса их несут нам жизнь, веру в будущее, презрение к пытке».

Далее идёт описание того, что польский народ испытывает в настоящее время. «Польская женщина» касается здесь и проекта об отделении Холмщины. По Венскому договору 1815 года Холмщина вошла в состав т. н. «Царства Польского», областей Польши, насильственно включённых в состав Российской империи. После Польского восстания 1863 – 1864 годов царское правительство приняло решение о насильственном переводе в православие принадлежащих к Украинской греко-католической церкви украинцев Холмщины. Сопrotивлявшихся насильственному перекрещению в ряде случаев расстреливали в упор. 11 мая 1875 года в присутствии войск, вошедших в сёла, чиновники и духовенство зачитали императорский указ о «воссоединении» холмских униатов с православной церковью.

В начале XX века епископ Холмский и Люблинский Евлогий (Георгиевский) (1868 – 1946) выдвинул в Думе предложение о выделении Холмщины из Царства Польского. Но лишь с 1919 года Холмщина вошла в состав возрождённого самостоятельного польского государства. Как раз об этом, ещё не оконченном в 1909 году, пути к свободе от Империи и поганого «русского мира» пишет Толстому польская патриотка Стефания Ляудын:

«Я знаю всё, что мы прошли. Мы были на плахе отечества и на Голгофе истории. Но в крови польского народа лежит завет свободы, в душе его золотые скрижали жизни, будущего... Я верю, мы живём, жить будем и возродимся. Мы с вами хотели идти в будущее... Но... вы отвергли нашу руку и... вырываете бездну навсегда. Дороги наши расходятся. Кто может, да спасает будущее. Быть может, не всё ещё потеряно...

К Вам, к Вам, великий учитель, я обращаюсь прежде всего со своею речью. И слово Ваше мы прежде всего услышать хотим в великой тьме. Оно даст силу возвысить голос колеблющимся, прозреть сомневающимся и разразиться пламенным протестом тем из нас, которых слишком мало... Верю — Вы не отойдёте с молчанием... Слово Ваше взовьётся, быть может, как жаворонок, сулящий весну, и солнце, и жизнь омертвевшей земле. Да будет оно золотой стрелой, идущей к покаянию и правде, туда, где решается судьба народов» (38, 535 – 536).

Как видим, болтливая, уверенная в себе, хотя и ощутительно скромная именно писательскими талантами коллега по перу бьёт адресата своего болезненно и метко — как будто угадывая настроения дряхлеющего яснополянца в отношении многолетне притесняемых Россией поляков.

В конце письма был указан обратный адрес: «Закопане. До востребования».

Конечно же, письмо произвело на Льва Николаевича большое впечатление. На конверте он пометил: «Ответить» и приписал в конце письма: «Душану: ответьте, что пишу, насколько сумею, обстоятельный ответ. Был задержан и нездоровьем, и другими делами; прошу извинить» (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. Т. 90. М., 1979. Кн. 3. С. 500*).

На следующий день Толстой отвечал «польке». Д. П. Маковицкий отметил в своих записях: «Л. Н. утром продиктовал мне ответ польке, упрекавшей его за то, что он написал о Боснии, а об их Польше не пишет» (*Там же. С. 356*). «Мысль моя состоит в том, что избавить польский народ от его порабощения и дать ему свойственное всем людям благо, — диктовал Толстой, — может никак не борьба насильем с насильниками, не покровительство насильнических держав, как Россия и другие, но вступление на тот путь истинно христианской жизни, при которой все люди признают себя братьями и потому свободными. Свободу даёт только любовь, религиозная любовь; любовь же только тогда любовь, когда непременно условием её есть неупотребление насилия, т.е. непротивление.

Разделение и угнетение Польши всегда возбуждало во мне величайшее негодование. Спасение от него, думаю, есть одно то, чтобы поляки перестали бы себя считать поляками, а считали бы себя братьями всего человечества. Я думаю, что такая мысль и деятельность особенно свойственна славянским народам, и такому народу, как поляки, которые перенесли такие тяжёлые испытания» (38, 327).

Здесь же приписка Маковицкого: «Л. Н. продиктовал мне этот ответ “польке” 14 марта 1909 г., но потом он сам от своего имени написал ей длинный ответ» (*Маковицкий Д.П. Указ соч. Кн. 3. С. 357*).

Далее Маковицкий писал: «Ответ Л. Н. “польке” был послан на анонимное письмо и адресован (послан) до востребования в Закопане — курорт в Галиции. Так как не было потребовано, почта вернула его обратно. “Полька” между тем сообщила новый адрес: “В Чешскую Прагу до востребования”, но т. к. не было сделано лишней копии, не было ей сразу отвечено, а после нескольких дней, принёсших свою новую работу, было про её письмо забыто. Так и осталось неизвестным, кто такая была эта “полька”» (*Там же. С. 358*).

Александр Борисович Гольденвейзер позднее записал в дневнике суждение Толстого об этом письме: «Она мне пишет, — сказал Л. Н.: — “вы написали о Боснии и Герцеговине, а о Польше ничего не ска-

жете. Здесь ничего не поделаешь с вашим дурацким непротивлением, единственное средство — вооружённая борьба”. Я тогда ей ответил небольшим письмом, которое меня не удовлетворило, и я его не послал. Я получаю аглицкий (Л. Н. всегда говорил “аглицкий”) журнал об Индии, который выходит в Лондоне и на котором, как эпиграф, написано: “Resistance” <англ. «Сопротивление»>. Аналогия этих двух явлений на разных концах света меня поразила, и я стал ей (польке) отвечать, и теперь работаю над этим письмом» (*Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого: Воспоминания. Запись 29 августа 1909 г. М., 2002. С. 265*).

Работа над ответом «Польке» продолжалась в августе и в начале сентября. Письмо «разрослось и стало совсем нецензурно», как писал Толстой Н. Н. Гусеву 8 сентября (80, 88). Фактически письмо превращалось в целую статью.

В своей статье Толстой опровергает высказанные «всеми борцами против угнетения не только народов, но и сословий» мысли, осуждающие философию непротивления злу, «как будто в этом учении заключается главное препятствие к освобождению людей». С горечью он замечает: «Мало того, что отрицается, оно вызывает самые недобрые, озлобленные чувства против тех, кто их предлагает, напоминая ту собаку, которая злобно кусает того, кто хочет отвязать её» (38, 151). Но несмотря на то, что многие, «презрительно пожимая плечами», даже «не дают себе труда и подумать о таком непрактическом, фантастическом приёме борьбы со злом», Толстой убеждён, что «освобождение не только поляков, но всех людей [...] может совершиться только признанием людьми обязательности для себя закона любви, несовместимого с употреблением какого бы то ни было насилия против ближнего, т. е. *непротивления*».

«E pur si muove». «И всё-таки вертится». Не думаю, что Галилей был более убеждён в несомненности открытой им истины, чем убеждён я, несмотря на всеобщее отрицание её, в несомненности открытой не мной и не одним Христом, но всеми величайшими мудрецами мира истины о том, что зло побеждается не злом, а только добром» (*Там же*).

В этом Толстой видит «единственное средство спасения от того зла, от которого страдают все порабощённые народы и сословия»; об этом он говорит со всей уверенностью. И несмотря на то, что «дело казалось бы так просто и ясно, что совестно разъяснять то, что до такой степени очевидно», Толстой вновь и вновь убеждает своих оппонентов в том, что «избавление порабощённых людей [...] никак не в разжигании того ли иного польского, индусского, славянского пат-

риотизма или революционного задора, [...] а только в одном: в отрешении от отжитого людьми, уже несвойственного им закона борьбы и насилия и в признании основным законом жизни общего в наше время всем людям закона любви, любви, исключающей возможность участия в каком бы то ни было насилии» *(Там же. С. 154)*.

Толстой убеждён, что замена закона насилия законом любви «совершится очень скоро». «У меня есть мечта», признаётся он в завершении статьи: она «в том, что этот огромный переворот в жизни человечества начнётся именно среди нас, среди славянских народов», по мнению мечтателя, наименее воинственных и наиболее близких к Истине и ко Христу *(Там же. С. 155)*.

Свой окончательный ответ польской женщине Толстой резюмирует в конце статьи предельно сжато: «Освобождение Польши, как и всех порабощённых народов и всех порабощённых людей, в одном — в признании людьми высшим законом жизни закона любви, включающего в себя непротивление и потому не допускающего ни само насилие, ни какое-либо участие в нём» *(Там же)*.

12 сентября 1909 г. открытое письмо-статья «Ответ польской женщине» было послано Владимиру Александровичу Поссе (1864 – 1940), между прочим, анархисту с весьма революционными настроениями, который тогда начал издавать новый журнал «Жизнь для всех» (каким-то чудом избежавший разгрома имперскими цензорами и полициями и разгромленный только большевиками в 1918-м); в сопроводительном письме к издателю Толстой писал: «Когда Душан Петрович предложил мне послать это письмо к польской женщине вам, я пересмотрел его и невольно кое-что прибавил, от чего, боюсь, оно стало ещё более нецензурно, чем было. Во всяком случае посылаю его вам, предоставляя вам сделать в нём те сокращения, какие найдёте нужным. Буду рад, если оно в каком бы то ни было виде пригодится вашему изданию, которому по тому, что вы пишете об его задачах, всей душой сочувствую. Хотя я и не считал бы это письмо к польской женщине заслуживающим того, чтобы оно одновременно было напечатано за границей (считаю незаслуживающим, потому что в нём много повторений много раз сказанного), В. Г. Чертков просит вас списаться о времени выхода, если вы захотите печатать письмо. Прилагаю и письмо польской женщины. Вы сделаете с ним, что найдёте нужным. Всё оно длинно и малоинтересно. Может быть, вы найдёте нужным сделать из него извлечения» (38, 635).

Статья «Ответ польской женщине» появилась в декабрьском номере журнала «Жизнь для всех» (1909) в сокращении и вызвала широкий

резонанс в России и Польше. Там же, как было сказано, были опубликованы значительные фрагменты утраченного письма «польки» к Толстому. Редактор краковского журнала «Критика» Вильгельм Фельдман обратился к профессору Санкт-Петербургского университета, выдающемуся лингвисту польского происхождения Ивану Александровичу Бодуэну де Куртенэ с просьбой приобрести полный текст статьи. При содействии Владимира Григорьевича Черткова текст без купюр и изъятий был передан в журнал. Таким образом, впервые полный текст статьи «Ответ польской женщине (Одной из многих)» появился в польском переводе в краковском журнале «Krytyka» (1910. Т. I. № 5. С. 243 – 247). При содействии одного, как минимум, революционера и двух ярых, безусловных патриотов Польши!

Примечательно, что нигде ни разу не было названо подлинное имя корреспондентки Толстого: лишь спустя несколько десятилетий его установил польский исследователь-литературовед Базыли Бялокозович (1932 – 2010).

Достоверно установлено, что в сентябре 1909 г. Стефания Ляудын-Хшановская прислала в Ясную Поляну из Праги своё сочинение: *Laudynowa Stefania. Kwestja Polska i inne / Listy polityczne «Polki» (pseud.) drucowane w gazecie «Rus» od 1 (14) pazdzemika 1904 r. po 10 (24) listopada 1907 r. - Warszawa, 1908, с дарственной надписью: «Великому Русскому — на память весны русско-польских отношений посвящает «Полька» — (Стефания Ляудынь)». И чуть ниже: «Напечатанное в Варшаве и сейчас уже конфискованное, кроме нескольких экземпляров, у меня оставшихся. Прага, д. 20. IX. 1909 года». Книга сохранилась в яснополянской библиотеке.*

Одновременно Ляудын-Хшановская написала Толстому и призналась, что не получила его открытого письма и не знает, где и когда оно было напечатано. Ляудын просила кого-либо из окружения Толстого разъяснить создавшуюся неловкую ситуацию: «Если б, граф, из Вашей канцелярии мог мне кто прислать № или объяснение. Простите, простите, но ведь мне — *нам* так дорого слово Ваше и суждение. Примите выражение того горячего, благодарного волнения, которое я теперь при мысли о Вас — испытываю, да хранит Вам Господь твёрдое здоровье и крепкие силы. Стефания Ляудын. Адрес: Австрия — Прага. *Poste restante*» (Толстовский ежегодник. 2003. С. 156). 28 сентября 1909 г. Толстой поручил младшей дочери написать ответ незнакомой «Польке», что Александра Львовна и исполнила.

В 1910 году Стефания Ляудын-Хшановская уехала в США, где опубликовала в польской газете, издаваемой в Чикаго, «Ответ польской женщине» Толстого. Позднее она занимала ответственный редакторский пост в польском журнале «Glos Polek» («Голос польских

женщин»), Вернулась в Польшу, в Закопане, в 1922 г. В 1930 г. она основала Славянскую Лигу женщин в Польше, преобразованную в Объединение славянских женщин, которое сама и возглавляла. По возвращении из США издала несколько книг и брошюр, в которых звучат идеи братства всех славян и слышны отголоски мыслей Толстого, высказанных в письме к «польской женщине».

10. 1. 4. ФИННЫ И АРВИД ЕРНЕФЕЛЬТ

Из народов, волею имперского насилия оказавшихся в «подданстве» Империи и московитскому царю, не одни поляки к началу XX столетия достигли уже самосознания национальной общности и мечтали отчистить и смыть с себя нравственную грязь «русского мира» — обрести независимость от России. Сложность отношений яснополянского отрицателя войны не только с поляками, но и со сторонниками будущей счастливой, великой в мудрости и добре, в благе для всех граждан, независимой Финляндии, выступавшими против политики Николая II на культурное «обрусение» и усиление военно-политической зависимости финнов, проиллюстрирует в нашей книге только один рассказ — об отношениях Толстого с писателем Арвидом Эрнефельтом.

Имя это уже известно нашему читателю. Арвид Александрович Эрнефельт, толстовец с начала 1890-х, с 1895-го — корреспондент и адресат писем Льва Николаевича, а с 1899-го, после личного визита в московские Хамовники, к Толстому — личный его знакомый и друг, которому был доверен перевод на финский язык роман «Воскресение».

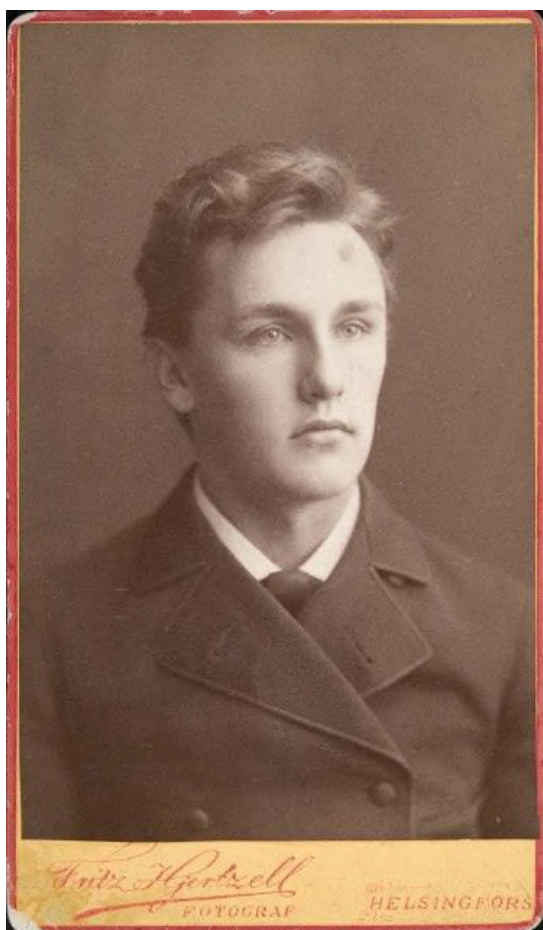
Судьба Арвида Александровича — образец счастливой судьбы умного толстовца, сумевшего не только не навредить себе избытком фанатизма, имманентного многим русским толстовствующим головёшкам, но и послужить Богу, Иисусу и Льву, и родной финской, и общечеловеческой культуре.

Результатом усилий Арвида Эрнефельта, сочетанных с другими представителями финской и мировой интеллектуальной и творческой элиты, стало, конечно же, не царство Божие на Земле, но всё же, всё же, всё же...

Показательно: Арвид умер, как и родился — в *столичном городе*. Да только городом этим был не Санкт-Петербург, в котором он в ноябре 1861-го родился, а Хельсинки, не менее великолепная в своей

северной суровости красавица-столица обретшей долгожданную независимость (хотя ещё и угрожаемую Россией — большевистскими бандитами с вожаком своим Сталиным) милой Финляндии!

Отцом Арвида был военный человек, и выдающийся — военный топограф, губернатор и сенатор, генерал-лейтенант Александер Густавович Ернефельт. Мать — не менее, а даже более выдающаяся личность: Елизавета Константиновна, урожд. баронесса фон Клодт (фин. Elisabeth Järnefelt, 1839 – 1929). Сохранив на всю жизнь лучшее из русской культуры и передав это детям, она сумела освоить финский язык, включиться в национальную жизнь Финляндии (иногда Елизавету Ернефельт называли «матерью финской литературы»). Счастливейшим для сына образом, она в одно с ним время прислушалась к голосу Христовой и Божьей Истины из Ясной Поляны — и проводила в жизнь то, к чему подвигало её живое слово христианской проповеди Льва Николаевича.



Arvid Järnefelt työpöytänsä ääressä.

Арвид Ернефельт. Снимки 1880-х и 1900-х гг.

Уже во второй половине 1880-х молодой Арвид, влюблённый, благодаря матушке, в русскую литературу, печатает в финских газетах

свои «Письма из России», в которых делится впечатлениями о русской жизни. Такие письма помогали культурным финнам лучше понять своего восточного врага — от которого необходимо было скорее, но культурно, желательно и без насилия, отделиться; при том и надёжно защитить своё разумное и доброе будущее.

Благодаря маме Арвид становится единомышленником Льва Николаевича — прочтя в 1891 году свеженькое издание «Anden af Kristi lära: En kommentarie öfver evangeliets mening» («Краткое изложение Евангелий»). Восторженный читатель безотлагательно делает и публикует финский перевод книги!

В 1895 он Арвид, уже опытный юрист, подал в отставку со службы в губернском суде, купил участок земли неподалёку от города Лохья, где основал крестьянское хозяйство, освоил ремесло сапожника и бесплатно обучал грамоте местных жителей. В 1894 г. в Гельсингфорсе (буд. Хельсинки) на финском языке была издана его автобиографическая книга «Heräätiseni» («Моё пробуждение») — об обретении, через Льва Николаевича, живой веры Христа. Перевод на русский язык пятнадцатой главы этой книги «Почему я не вступил в должность судьи» был сделан им вместе с матерью специально для Льва Николаевича и послан вместе с первым письмом к нему в 1895 году. В своём ответном письме от 22 декабря 1895 года писатель отметил «драгоценные черты правдивости» присланной книги. С середины 1890-х Арвид состоит в переписке с Толстым, а в апреле 1899 г. происходит и личное их знакомство.

В своих книгах Арвид показывал, что улучшение общества возможно лишь на основе переворота в душе каждого человека, а не внешним насилием или законодательными актами. Убеждённый в том, что перенесённые в жизни невзгоды обязательно ведут человека к пониманию христианской любви, Ернефельт, как и сам отче Лев, учитель, был разочарован тем, что социальные потрясения не привели к религиозно-нравственному перерождению общества.

Секретарь Л. Н. Толстого Валентин Фёдорович Булгаков (в те годы тоже толстовец) оставил воспоминания о Ернефельте в его посещение Ясной Поляны в 1910 г.:

«Это был хорошо сложенный, изящный мужчина лет 45 – 50, с тонким, бледным, одухотворённым лицом и с седой бородкой клинышком, очень похожий на портреты композитора П. И. Чайковского. Говорил Арвид Александрович тихо, не торопясь, держался спокойно, уравновешенно, со всеми был исключительно внимателен и деликатен, на вопросы отвечал и рассказывал чрезвычайно просто, незатейливо, но и глубоко. Он производил на редкость милое, приятное впечатление — впечатление человека знающего, мыслящего,

благородного, доброжелательного, талантливого» (Булгаков В.Ф. *О Толстом. Тула, 1978. С. 349*). Толстой ценил «драгоценные черты правдивости и серьёзности» Эрнефельта, «дорожил общением» с ним. У Толстого и его финского единомышленника сложились доверительные отношения. Его фотография сохранилась в кабинете Льва Николаевича.

По отношению к антивоенной тематике чаще всего вспоминают два сюжета: обращение Толстого к Арвиду Эрнефельту в 1906 году в связи с «угрозой» номинирования его (Толстого) на Нобелевскую премию, и участие финна в готовящемся в 1909 году визите Льва Николаевича на Конгресс мира в Стокгольме. Летом 1909 года предполагалось, что Арвид будет сопровождать Толстого на XVIII международный конгресс мира в Стокгольм, но после отказа писателя от поездки и принятия решения послать лишь доклад, огласить его должен был, по поручению Льва Николаевича, Эрнефельт. По счастью для последнего, Конгресс вскоре был вовсе отложен...

Реже вспоминают как раз более ранний, значительнейший, сюжет — личную встречу писателей в 1899 г. Преодолеть робость и приехать к Толстому Арвиду Эрнефельту помог Февральский манифест 1899 г., угрожавший давней автономии Финляндии в составе Российской империи. В 1900 г. в бесцензурном издании «Свободного слова» (Maldon, Essex, England) была опубликована брошюра В. Г. Черткова «Финляндский разгром» с подробностями медленного «пожирания» Империей автономии финнов.

Особое значение в этом процессе для нас имеет введение в Финляндии в 1878 году воинской повинности (впрочем, жеребьевой, формально не всеобщей), со службой в три года. За этим последовало «обрусение» войска: на место финских офицеров назначались русские, и автономность финского войска превращалась в фикцию. Этим дело не ограничилось:

«В августе 1898 г. был обнародован рескрипт царя о мире; в октябре того же года русское правительство осведомило финский сенат о царском предложении относительно нового военного законопроекта, согласно которому, между прочим, количество военных сил Великого Княжества Финляндского должно быть увеличено с 5 600 человек до 35 000 человек. 15-го февраля текущего года обнародован указ, главной целью которого является уничтожение конституции Финляндии, — конституции, основанной на древних, освящённых временем скандинавских традициях, и которую торжественно клялись поддерживать поочерёдно все русские властители Финлян-

дии, не исключая и теперешнего царя. Эти события, по мнению многих, [...] знаменуют торжество автократических принципов Востока над конституционными началами Запада и, хотя бы уже по одному этому, они должны привлечь на себя внимание публики» (*Финляндский разгром. Сборник под редакцией В. Черткова Maldon, Essex, England, 1900. С. 3*).

Конфликт нарастал, финны искали внешнюю поддержку, а более крупного морального авторитета, чем Толстой, в России не было, и поскольку Эрнефельт сделался в глазах соотечественников, в некоторой мере, представителем Толстого в Финляндии, его попросили узнать мнение Толстого по этому вопросу. Сделать это надо было лично: всем хорошо известна была привычка писателя реагировать на личные письма открытыми, публичными и весьма нецензурными ответами. Одновременно брату Арвида, художнику Ээро Эрнефельту (1863 – 1937), понадобилась компания для поездки в Крым через Москву. Решение было принято, давняя тайная мечта Эрнефельта о встрече с Толстым приблизилась к исполнению.

Эрнефельт предупредил Толстого о встрече в письме от 26 марта (7 апреля) 1899 г., в котором отчитался и о надвигающемся кризисе. Февральский манифест ставил под угрозу конституцию Финляндии, основу независимого существования в империи, что само по себе вызвало волну патриотизма. Эрнефельт, осведомлённый о негативном отношении Толстого к патриотизму, стремился доказать Толстому, что в данном случае речь идёт о той любви к родине, которая в корне отличается от «тулон-кронштадтского патриотизма», легкомысленного, под развевающимися знамёнами, франко-русского военного братания 1893 года, которое Толстой критиковал в статье «Христианство и патриотизм» (1895). Финский патриотизм не выражался в национальном самодовольстве или внешней агрессии. Целью было демократическое объединение всех общественных классов — в желании служить народу, просвещать его, способствуя реализации европейского цивилизационного выбора Финляндии (т. е., повышая шансы на ненасильственное отделение страны как культурное, от поганого «русского мира», так и политическое, от Империи).

Реакция Российской Империи не заставила себя ждать. Осенью 1898 года было созвано специальное заседание ландтага для одобрения наращивания военных ресурсов Финляндии. Все привилегии военнослужащих автономии отменялись, срок армейской службы повышался с трёх до пяти лет, численность действующих военных увеличивалась вчетверо. Как и Толстой, Эрнефельт не мог не заметить иронию обстоятельств, заключавшуюся в том, что одновременно царь и российское правительство призывали другие нации на

конференцию по разоружению в Гааге. Далее последовал новый шок в виде Февральского манифеста. Петербург отказал сенату и парламенту в приёме, а народной делегации в дискуссии. Теперь сомневались, какую тактику выбрать. Открыто, без оглядки на последствия возражать или позволить собой управлять из осторожности и предусмотрительности. Соппротивление или подчинение?

В письме Ернефельт поделился с Толстым и другими актуальными проблемами. В Финляндии обострились сословные противоречия. Получил распространение социализм, рабочие начали требовать политических прав, пусть пока только парламентскими средствами. Одновременно среди безземельных крестьян распространились слухи, что российская сторона намерена провести новый передел земель, разделив их «справедливо», то есть, поровну. В итоге испуганные землевладельцы были готовы пожертвовать конституцией ради того, чтобы обезопасить собственные доходы.

Среди молодого поколения наблюдалась новая волна интереса к народному образованию — но уже без прежних идеалистических посылов народничества, характерных для 1870 – 1880-х гг. В худших случаях эта деятельность способствовала появлению ультранационалистических настроений, признавал Ернефельт.

Ернефельт обещал привезти в Москву материалы по финскому вопросу. Вместе с его письмом Толстому их можно было потом отправить помощникам Льва Николаевича, толстовцам Павлу Бирюкову и Павлу Буланже, высланным из страны, которым, для расширения пропаганды, крайне нужна была информация о ситуации в Финляндии.

Беседа с Толстым в первый же день, 31 марта 1899 г., вылилась в дискуссию: для Ернефельта был главным вопрос просвещения народа, в поддержку европейского выбора родной страны, для Толстого же — решение земельного вопроса для крестьян. Кстати сказать, сам Арвид Ернефельт давно разрешил для себя дилемму роста сельского населения и нехватки земли — в пользу христианского идеала полового воздержания. Но Толстой, испытавший десятки лет сильнейшего полового влечения — предпочёл уклониться в разговоре от такого направления мысли.

Толстой положительно относился к борьбе финского народа, но только пока её цели были не узко национальными, а подключались к универсальному движению «к свету и свободе». Лишь при условии, что есть люди, готовые исполнять волю Божью, дело Финляндии могло стать делом Толстого. В качестве средства борьбы он рекомендовал ненасилие: «Протестовать, протестовать, протестовать!» Отказ выполнять дурной приказ всегда достоин похвалы. Текущий момент

был, несомненно, важен для Толстого, поскольку он предлагал возможность на практике опробовать пассивное сопротивление, гражданское неповиновение и силу христианской этики не только на индивидуальном плане.

В конце разговора Толстой посмотрел Эрнефельту в глаза и произнёс низким, предельно дружелюбным тоном: «В учении Христа есть всё, оно решает любые сложности» (*Järnefelt A. Päiväkirja matkaltani Venäjällä ja käynti Leo Tolstoin luona keväällä 1899. Hki, 1899. S. 62 – 103*).

На следующий день, 1 апреля 1899 года, Эрнефельт с братом нанесли, отбывая из гостиницы, прощальный визит Толстому. В книге «*Vanhempieni romaani*» («Роман моих родителей», 1928 – 1930) Эрнефельт вспоминает, что застал у Толстого группу революционно настроенной молодёжи: как и 15 лет назад их старшие единомышленники, они стремились оправдать перед Толстым насилие. Тот же в ответ принципиально отказывался видеть различие между теми, кто посредством насилия хочет осуществить революцию, и теми, кто насильственно защищает царящий общественный строй: «Вы оба люди одного типа» (*Järnefelt A. Vanhempien romaani. III. Porvoo, 1930. S. 116*). В качестве альтернативы Толстой рассказал им о пассивном сопротивлении финнов, о забастовках судей и служащих. Несмотря на то что у подобных акций могут быть исключительно внутригосударственные причины, они могут иметь большое международное значение, поскольку означают приближение к «той безусловной форме забастовки, в основе которой отказ от убийства, отказ от применения любого насилия, то есть чисто духовная забастовка».

Главные принципы заключались в том, что все люди произошли из одного источника, родина нужна, чтобы научиться любить и чужую родину, и к врагам следует относиться с любовью. «Безоружный героизм» — вот новый идеал! (*Ibid. S. 117*).

На молодых радикалов слова Толстого не возымели никакого действия — напротив, те всё сильнее убеждались, что мировоззрение Толстого отстало от эпохи. А вот славный финский львёнок вернувшись домой, в Виркбю, поблагодарил Льва Николаевича в письме за духовную пользу, и не ему одному: «Я верю, что всё, что вы сказали, принесёт большую пользу Финляндии» (*Переписка Льва Толстого и Арвида Ярнефельта / Публ. Э. Карху // Север (Петрозаводск). 2001. № 3. С. 42*).

Общение духовно сблизившихся писателей, малого и великого в мире, но равных во Христе, продолжалось и эпистолярно. В письме,

написанном после тяжёлой болезни, в Гаспре, 14 (26) марта 1902 г., в ответ на известия, в письме Ернефельта от 2 (14) марта об участвовавших в Финляндии отказах от военной службы, старец сетует, что мотивы отказников увязаны на политической борьбе за автономию, и редко связаны с христианской верой:

«Как бы хорошо было, если бы ваши финляндцы перенесли средства борьбы из патриотических интересов в общие, вечные. Не отказывались бы от военной службы в известных условиях, а совсем, как от дела противного не только христианству, но и самой нетребовательной совести. Отказы от военной службы всё чаще и чаще повторяются, как распускающиеся в разных местах почки весной. Я так и умру с уверенностью, что “близко, при дверях” изменение всего существующего строя от лжи и насилия к разуму и любви не только в Финляндии или России, но во всём христианском мире. Вы, верно, знаете про отказы во Франции и в Болгарии» (73, 217).

«Политических» отказников, по сведениям П. И. Бирюкова, было «около трёх четвертей всех призывных» (*Свободное слово. 1903. № 4. Стлб. 11*). Но и они были значительны для толстовцев — своим примером выдержки в ненасильственном сопротивлении имперской гадине, России — на стороне которой была грубая сила (*Там же*).

За “политизированных” отказников Финляндии, на самом-то деле, можно было порадоваться: именно потому, что их отказы от службы в напичканной руснёй “финской” армии имели близкую огромному большинству финнов политическую мотивацию — они и получали не только поддержку от общества и власти, но и оправдания в судах и освобождения от службы. В любом случае, их участь была легче, нежели упомянутых Толстым отказников во Франции и Болгарии. В Болгарии Толстой наверняка имел в виду Георга Шопова, а о французских отказниках, таких, как Гутодье, Граслен, Пети, Дэресоль и др., мог узнать из публикаций в бесцензурных изданиях П. И. Бирюкова и В. Г. Черткова, конечно же, тайно переправлявшихся и к Толстому.

Впрочем, были среди финских отказников и приятные Толстому исключения. В письме Ернефельту от 28 июля 1902 г. он просит «передать любовь» некоему Савандеру (*Там же. С. 267*). Нестор Савандер был знакомцем Арвида, портным по профессии и национальности. В числе всего нескольких человек в Финляндии, он обосновал свой отказ брать в руки оружие именно религиозно-нравственными мотивами. В воинское присутствие он передал интересное заявление, в конце которого он, между прочим, писал: «В этом отказе от военной службы моя совесть вполне согласна с заповедью Бога»

(Цит. по: Ернефельт А. *Моё пробуждение. Исповедь. [Вступление.]* С. XXIV). Заявление это напечатано в „Свободном Слове“, № 4, 1903. Однако, Савандер симпатизировал секте адвентистов и позднее примкнул к ней.

В том же номере «Свободного слова», который рассказал о Савандере, содержится пример более лояльного, чем прежде, отношения к отказникам в России: Пётр Ганжа в Киевской губ., заявив отказ, получил не тюремное заключение, а отсрочку от призыва на один год (*Свободное слово. 1903. № 4. Стлб. 11*). А вот отказника Николая Силантьевича Акулова в г. Екатеринодаре, прямо просившего о замене ему строевой службы альтернативной, с «бессмысленной жестокостью» отослали в ссылку в Якутию (*Там же. Стлб. 11 – 13*). Но всё же — хотя бы не в тюрьму и не в дисциплинарный батальон!

В то же письме от 28 июля, Толстой сообщает:

«На днях узнал, что в Москве сидит в тюрьме 279 человек солдат за высказанное ими решение не стрелять в своих братьев. Как много нужно времени и усилий для того, чтобы люди поняли, что то, что они давно знают, они знают для того, чтобы поступать сообразно с тем, что они знают» (73, 267).

Здесь нелишне заметить, что источник этих сведений Льва Николаевича исследователями не разыскан: возможно, его ввёл в заблуждение какой-то недостоверный слух.

В переписке Толстого с А. А. Ернефельтом отразилась и знаменитая история с Нобелевской премией, справедливо пахнувшей для Толстого не только военным порохом, но и, как всякие нетрудовые деньги, всем мировым злом. С другой стороны, для Нобелевского комитета яснополянец вполне мог сойти за требуемого завещанием Альфреда Нобеля идеалиста, «поборника мира» и сближения народов. И вот, за датую 25 сентября 1906 года, Арвиду Ернефельту было отправлено такое, весьма секретное, послание:

«Бирюков сказал мне, что [...] может случиться, что премию Нобеля присудят мне. Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться и поэтому я очень прошу вас, если у вас есть — как я думаю — какие-либо связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, вы знаете кого-либо из членов, может быть можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы этого не делали» (76, 201 – 202).

Секретность письма была связана с вероятной неловкостью положения, в которое мог быть поставлен Толстой своей реакцией на слух: «мне неудобно вперёд отказываться от того, чего, может быть,

они и не думают назначать мне» (*Там же. С. 202*). При этом отказ от премии, вероятно, со времени первых слухов в 1897 году о возможности вручения премии ему, был для Толстого делом решённым, нравственно необходимым — но, как официальная процедура, и весьма неприятным: связанным с необходимостью объясняться с чуждыми, далёкими от возможности понять его, людьми.

Арвид Александрович Эрнефельт исполнил просьбу Льва Николаевича, переслав в Швецию дословный перевод этого его письма.

При первом посещении А. А. Эрнефельтом Льва Николаевича, в 1899 г., Толстой, по словам Эрнефельта, дал определённые советы насчёт желательного поведения финнов в их крайне затруднительном положении и с жаром одобрил мысль пассивного сопротивления. Его слова были переданы Эрнефельтом, насколько позволили тогдашние цензурные условия, в книжке, изданной на финском языке под заглавием „Дневник во время моей поездки в Россию в 1899 г.“ (Гельсингфорс).

Наступление Империи на финскую автономию между тем продолжилось и в 1900-х. 29 июня 1901 года был утверждён указ о воинской повинности, по которому отменялась самостоятельная финляндская армия, а финнов стали призывать на общих основаниях в российскую армию. В делопроизводство Сената был введён русский язык, основана русскоязычная «Финляндская газета», учебные заведения поставлены под бдительный контроль, «нелояльные» учителя устранены...

Толстой, радуясь ненасилию и кротости финнов, видя именно в них залог их победы — многозначительно молчал.

Наконец, в 1908 г. финские политические деятели снова попросили Арвида Эрнефельта уговорить Толстого выступить против отделения от Финляндии Выборгской губернии, сильно взволновавшего в то время всех финляндцев. В письме от 25 февраля (7 марта) 1908 г. Эрнефельт от своего имени и от имени группы общественных деятелей и литераторов просил Толстого высказаться о финляндских делах. К письму было приложено не сохранившееся циркулярное обращение (78, 72. [*Комментарий*]).

28 февраля 1908 года Толстой писал в ответе Эрнефельту: «Что же касается письма ваших журналистов, то я никак не могу знать никакой Финляндии, так же как не знаю и не могу знать никакой России. Знаю я людей, живущих в разных местах земного шара, более или менее близких мне, никак не по тому, что они по странному заблуждению считают себя подданными такого или иного правительства и привыкли говорить на том или ином языке, а по тому,

насколько мы соединены с ними одним и тем же пониманием жизни и взаимной любовью, вытекающей из такого понимания».

Далее, имея в виду, видимо, убийство финляндского генерал-губернатора и командующего войсками Финляндского военного округа Николая Ивановича Бобрикова (1839 – 1904), Толстой утверждал: «Нет никакого условия жизни, при котором люди... могли бы совершать такие ужасные преступления, как те, которые совершатся во имя патриотизма. Понимаю я, что угнетённые народности, как польская, финляндская, могут особенно легко поддаваться этому страшному искушению, но всё-таки не могу без жалости думать о людях, которые поддаются ему. Вот всё, что я могу сказать им» (*Там же. С. 71*).

Примечательно, что убийце Бобрикова, застрелившемуся на месте чиновнику Шауману, финны в ту эпоху возвели мемориал. А вот через столетие, в 2004 году, премьер-министр Финляндии Матти Ванханен осудил поступок Шаумана.

Лев Николаевич размышлял над «финским вопросом» с чувством вины за столыпинскую политику. В 1910 г. Толстому были даже приписаны газетчиками слова: «Вряд ли, найдётся хоть один финн, который до такой степени страдал бы за Финляндию, как страдаю я». И Толстой отозвался об этом слухе так, что, по существу, признал существенную долю его справедливости: «Это подтасовка. Я страдаю от казней и других действий правительства, между прочим, и от тех, что против Финляндии» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 4. С. 225*). Заступничество в отношении разумных, слабых и мирных людей и народов осознавалось Толстым как нравственная обязанность христианина. Тема истязания имперской гадиной маленькой родной страны Арвида стала «родной» и для Толстого. С горечью и негодованием писал об этом 80-тилетний старец Толстой в статье «Не могу молчать» (1908): «...годами... говорят речи о том, как надо мешать финляндцам жить так, как хотят этого финляндцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских» (37, 85 – 86). Жёсткая политика правительства в отношении Финляндии «быстро и бойко, по-герценовски, по журнальному» не раз предавалась огласке на страницах бесцензурных заграничных толстовских изданий «Свободного слова» и «Свободной мысли».

В связи с финским вопросом Толстой размышлял о национальных проблемах, о патриотизме; важные замечания писателя зафиксированы Д. П. Маковицким:

20 июня 1908 года: «Л. Н. стал говорить о том, как теперь во всём мире (в России поляки, прибалтийские, финляндцы, кавказские

народы, английская Индия, французский Тонкин и т. д.), захваченные чужими государствами, желают освободиться: “Дайте нам жить, как мы хотим”. После бесчисленных насилий, совершив захват, когда народ после одного-шести лет шевельнётся, это считается бунтом, и забыто, что над ним совершено так недавно насилие и что оно продолжается»;

3 ноября 1908 года: «Толстой говорил что патриотизм — это внушение суеверия; предание, не соответствующее нынешнему сознанию (русских людей). Величие России! Все выгоды его в том, что финляндцы нас ненавидят, кавказцы нас ненавидят» (*Маковицкий Д. П. Указ. соч. Кн. 3. С. 120, 240*).

Толстой, однако, помнил и признавал, что, с христианской точки зрения, не может быть никаких национальных — польских, финских, кавказских, еврейских — «вопросов», отношение к людям не может зависеть от их национальности. В Финляндии для Толстого жили не финны, а люди — дети и работники единого Отца, сестры и братья разных общин, но единой Церкви, равные члены всего прошлого, настоящего и будущего человечества.

10. 2. ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ: ЭПИЗОДЫ ДИАЛОГА Л. Н. ТОЛСТОГО С ИНДИЕЙ

Печальный парадокс: чем больше, в разные годы Лев Николаевич адресовал идеалистических надежд тем или иным народам или общностям, тем неизбежнее постигало его разочарование. За рамками нашей книги остаётся тематика «конца века» в восприятии Толстого: ненасильственной, духовной «революции», гегемонами которой Толстой в 1900-х “назначал” то русский народ, в противопоставлении ушедшим по ложному пути западным, то славянские народы... А ещё Толстому хотелось верить в «неподвижный» по отношению к вакханалии прогресса — в Мудрый Восток. В частности — в торжество ненасильственного освобождения Индии от британской колониальной зависимости. Пожалуй, только Индия, и то уже гораздо после кончины Толстого, в XX столетии, *отчасти* оправдала его надежды. Но и там было немало поклонников войны с колонизаторами, вооружённых восстаний, и, кстати сказать — чуждых Толстому в большей степени, нежели Востоку, теорий социального преобразования социалистического толка.

Ниже мы остановимся лишь на нескольких выдающихся примерах диалога Л. Н. Толстого с подлинными и мнимыми единомышленниками из Индии. Таки лишь Индии, а не всего Востока: не следует пытаться объять необъятное в рамках одного монографического исследования. О специфике восприятия антимилитаристских и религиозных «непротивленческих» идей только в Японии, например, можно бы было написать ещё отдельную книгу. Но мы выбрали Индию: более «репрезентативную», нежели та же Япония, в демонстрации отклика на пресловутый «пламенный протест Толстого», по причине исключительной пестроты умозрений, религий и этносов.

Ох! Ну и “поджигатель” же Лев Николаевич кое для кого, в этом плане — и по сей день. И не одна советская историография повинна: началось это в головах ещё современников Толстого, о некоторых из которых пойдёт речь ниже...

10. 2. 1. ГОПАЛ ЧЕТТИ, СОЦИАЛИСТ ИЗ МАДРАСА

Сведения о выпрашивании и даже вымогании у Л. Н. Толстого тех или иных сумм могли бы составить сюжет многих рассказов. Весть о «шибко добром», да к тому же «увлекающимся» религиозно-альтруистическими фантазиями «барине» распространялась в последние четверть века жизни Толстого не только в окрестностях Ясной Поляны, соблазняя лёгкостью добычи тульских питухов и попрошаек, и даже не только по одной России, «бомбившей» яснополянского «еретика» почти ежедневно и вперемешку ругательно-обличительными и попрошайническими письмами и визитёрами (кстати сказать: *весьма* красноречивое для русского народца сочетание: и ругаем-проклинаем, но и денежки не прочь с ругаемого хапнуть!), но и по всему миру.

Но если более сытые, а оттого внешне цивилизованно-обходительные и лукаво-цинически-сдержанные Америка и Европа, в лице тамошних эзотериков, сектантов, доморощенных социал-реформаторов и пропагандистов всех мастей вели с Л. Н. Толстым своего рода хитро-подлую игру, не клянча напрямую вожделенные суммы, а лишь стремясь заручиться его, желательно письменно выраженными, симпатией и поддержкой, дабы использовать его имя в саморекламе, которая, в свою очередь уже вела и к вниманию донаторов и притоку денег, — то русским или азиатским попрошайкам, гораздо более близким своею психикой к состоянию обезьяны, такая сдержанность иногда изменяла.

Переписка Льва Николаевича Толстого с публицистом и издателем из индийского города Мадрас, о которой пойдёт речь ниже, — как раз красноречивый пример того, как неудачливый пропагандист *чуждых* Л. Н. Толстому социал-реформаторских идей (с религиозной подкладкой) сперва применяет вполне европейскую продуманную хитрость, добывая у Толстого слова одобрения своей деятельности, а затем, не сумев привлечь громким именем Толстого достаточное количество щедрых подписчиков своего журнала, — «раскрывает карты», уже напрямую кланча вполне весомые и конкретные суммы, да кроме них — ещё и участия Толстого в рекламе своего журнала.

Имя неудачливого хитреца — Д. Гопал Четти (Гопауль; Chetty, Gopaul). Адвокат из индийского города Мадрас решил подвизаться на ниве социалистической пропаганды. В литературе нет точных сведений ни о судьбе (даже датах жизни) самого Четти, ни о судьбе издававшегося им с апреля 1906 приблизительно по 1912 гг. журнала «New Reformer» («Новый реформатор»). Сделав Л. Н. Толстого «почётным подписчиком» своего издания, Д. Гопал Четти услужил российским исследователям: в яснополянской библиотеке сохранились номера журнала за 1907 – 1910 гг. Есть информация, что он выходил ещё и в 1912-м: один номер за этот год хранится в библиотеке Международного института социальной истории в Амстердаме. Но это — практически всё, до нас дошедшее... Впрочем, речь пойдёт о содержании не журналов, а эпистолярного диалога их издателя Д. Гопала Четти с Л. Н. Толстым.

Переписка продолжалась, с большими перерывами, более двух лет — начиная от первого письма Гопала Четти Л. Н. Толстому от 5 мая 1907 года и заканчивая его же письмом от 26 июня 1909 года, «подкреплением» которому был очерк Гопала Четти о Л. Н. Толстом, адресованный прежде всего индийским читателям. Шла переписка на английском языке, но ниже — для краткости — мы будем цитировать только русские её переводы.

Всего Четти отослал Толстому четыре письма. В ответ неудачливый освободитель народов получил лишь *одно* письмо от Льва Николаевича — по содержанию, скорее, «дежурный» знак вежливости, но уж никак не выражение солидарности — которое и попытался использовать для популяризации своего издания и увеличения его доходности. Прочие его филиппики — с неприкрытой лестью и истощным кланчением денег — Лев Николаевич пометил буквами: Б. О. (то есть: «Без Ответа»), как недостойное внимания.

Так что главным «козырем» и историческим оправданием всей инициативы Гопала Четти — как в популяризации в Индии творчества

Л. Н. Толстого, так и в переписке с ним — является как раз написание им этого очерка. Это была, вероятно, первая в Индии монографическая работа о жизни и творчестве Л. Н. Толстого. Работа эта, впрочем, не «блещет» особенными достоинствами: это исследование не учёного, а очень субъективного публициста. Основная часть очерка — пересказ биографии Толстого как некоего пути к протестно-социалистическим воззрениям (как представлялось Гопалу Четти и, кстати сказать, как любили подавать читателю Толстого разнообразные «просветители масс» в СССР). Редактор и составитель выпускавшегося в честь 80-летия Л. Н. Толстого Международного толстовского альманаха, куда Д. Гопал Четти прислал английский текст его очерка, вероятно, долго плевался, матерился и морщился, сокращая авторское многословие до приемлемых объёмов (в итоге — более чем в 4 раза). В таком виде его можно прочесть в Альманахе (см.: *О Толстом. Международный толстовский альманах / Сост. П. Сергеенко. М., 1909. С. 397 – 400*).

Итак, в середине мая 1907 г. в Ясную Поляну Гопалом Четти сбрасывается первая раскруточно-пропагандистская информационная говно-«бомба»: два номера этого журнала, да при них письмо, в котором он рассказал о целях его издания и о своей общественной деятельности.

Обратим внимание, в каких высокопарных и одновременно расчётливо-малоинформативных, общих выражениях формулировал Гопал Четти замысел своего издания:

«Главное назначение журнала, — писал он, — служить искоренению ложных и эгоистических воззрений, отдаляющих людей друг от друга, и утверждению вместо них Разума, Справедливости и Любви как главных движущих сил всех человеческих действий. Это как раз те принципы, которые Вы так благородно отстаиваете на благо заблудившегося человечества. Почтительно и смиренно прошу Вас ответить мне и поддержать меня в моём скромном начинании» (*Л. Н. и Индия. Переписка. М., 2013. С. 88 – 89*).

Как — «поддержать»? С чего бы? Лишь потому, что ты сам сомневаешься (оттого и темнишь в письме), но при этом *хочешь верить*, что твои социал-реформаторские убеждения и есть те, которые исповедует христиански-верующий русский человек Толстой?

И в каких же формах «поддержать»? Ладошками под пушистую жопку? Д. Гопал Четти хитро обходит в своём первом письме этот вопрос, видимо, смекая: «Чем ни поможет, деньгами или рекламкой, — всё к лучшему...».

Толстой, имевший к писателям «мудрого Востока» особенную субъективную приязнь, просмотрел присланные номера журнала и даже

обнаружил в них пару небезынтересных статей, посвящённых проблемам индийской жизни. 17 (30) мая 1907 г. он отправил своему корреспонденту ответ, в котором дал высокую оценку журналу и деятельности его издателя — настолько объективную, насколько лишь было возможно по скудным сведениям из письма Четти и двух прочитанных им статей.

«Цель вашего издания, как вы её излагаете в вашем письме, — писал Лев Николаевич, — является наивысшей, какую только может преследовать человеческая деятельность» (*Там же. С. 89; ср. 77, 114*).

Но это всё в похвалу издания, что Лев Николаевич смог «выжать» из себя. Помогли ли Толстому ум, интуиция или информировавшие его помощники — но невозможность сближения он явно учуял... Ибо далее в его письме следует как будто нейтральное пожелание-совет Гопалу Четти, а на самом деле — между строк — намёк, разоблачающий всю ограниченность и его околорелигиозных воззрений, и всех сведений его о яснополянском старце-христианине:

«Я очень интересуюсь философией и религиозным учением ваших великих учителей. Чем больше места вы будете уделять в вашем журнале идеям этих людей, тем интереснее он будет для западных читателей» (*Там же*).

Вот так! Входило ли религиозное просвещение «западных читателей» мудростью вероучений Кришны, браминов или Будды в планы Четти? Вряд ли. Его симпатии, скорее, на стороне социальной критики Толстого, нежели его отношений к Вечному. Он ближе к религиозным социалистам Европы, нежели собственно к верующим.

Гопал Четти, не спрашивая разрешений, поспешил тиснуть ответ Толстого в своём журнале, и в том же номере поместил, заготовленный заранее, тот самый очерк... Позднее, в 1909 г., в Мадрасе вышла книга «Граф Лев Толстой, его жизнь и учение», подготовленная Четти на основе этого же очерка.

17-м июля 1907 г. датируется второе письмо Четти с благодарностью Толстому за его отзыв и его интерес к индийской философии. Именно «философии». Хотя Лев Николаевич имел к древним учениям Индии интерес не философа, а — *христиански верующего* человека. Человека, мечтавшего о *религиозном единении человечества* в одном, отвечающем и Божьему разумению в людях, и современным знаниям, и вызовам общечеловеческой цивилизации — в *едином* жизнепонимании. Лучшим выражением такого высшего жизнепонимания он признавал учение Христа по сведениям евангелистов, но, ища путей к желанному единению, он искал — и отыскивал! —

крупницы этого жизнепонимания, (выражающего закон жизни, данный от Бога всем разумным существам мироздания) во всех главных мировых религиях и даже в учениях ряда сект.

Для Толстого это был единственный действительный путь к победе над войнами, к миру на Земле — по отношению к которому пацифисты или анархисты ещё могли быть хотя бы дружественны, и даже «родные», российские революционеры подкупать высотой идеалов и личной храбростью. Но от «Востока» Лев Николаевич ждал совершенно другого...

Понимал ли мадрасский адвокат-неудачник, кого задумал охмурить и завербовать в помощники своему журналу? Нет, — если судить по тому, что во втором письме он сообщает Толстому: «молюсь о том, что Вы *хоть немного поможете мне* в том огромном деле, за которое я взялся» <Выделение наше. — Р. А.>.

И это первое письмо Четти, которое Толстой помечает вполне заслуженным приговором: Б<ез> О<твета>.

После этого Гопал Четти несколько месяцев отмалчивается. Вероятно, он ещё надеялся на рекламный потенциал толстовского к нему письма: что удастся «свести концы с концами»...

Не удалось! И вот 11 ноября 1907 г. в адрес Льва Николаевича летит третья «бомба». Это уже не скромное письмо, а... некоторого рода многожанровое произведение манипулятивного искусства. По внешности это — листовка, отпечатанная типографским способом, с вписанным от руки именем адресата, числом и подписью; содержанием же — сочетание высокопарной филиппики... с финотчётом.

Открывается сей эпистолярный «шедевр»... стихами! Вот их дословный перевод:

«Употребим же наши жизни
На праведные дела.
Мы, возможно, не насладимся наградой,
Наша работа не удостоится справедливых слов,
Хотя мир может нас распять,
А наши надежды разрушить и уничтожить,
Как бы глубоко ни были они погребены,
Наши добрые дела всё равно возродятся»

(Л. Н. Толстой и Индия. Переписка. Указ. изд. С. 91).

Подписаны стихи именем F. W. Vockett — личность, в наши дни практически неизвестная... Да и само появление стихов в письме Л. Н. Толстому — опять же, характеризует автора письма как человека,

плохо Льва Николаевича знающего. Поэтам угодить Толстому было всегда нелегко: к стиху, как и к музыке, он всегда был аристократически, болезненно чуток. Навязать Толстому чтение третьестепенного, никому не известного виршеплёта было верным способом отвлечь его от себя.

Сам Гопал Четти продолжает письмо хоть и прозой, но не менее высокопарно, в стилистике полуофициальной манифестации, да при этом ещё и повторяется:

«Побуждаемый мечтой посвятить остаток своей жизни установлению более справедливого положения в обществе, стараясь искоренить те фальшивые и эгоистические идеи, которые в настоящее время отдаляют людей друг от друга, и на их место утвердить здравый смысл, справедливость и любовь как источник человеческой деятельности, я, бедный адвокат из Южной Индии, начал выпускать журнал под названием “Новый реформатор” в Мадрасе в апреле прошлого года» (*Там же. С. 92*).

И дальше – будто для контраста – индийский корреспондент доводит до сведения «глубокоуважаемого господина», что ему позарез необходимо получить с «господина», по крайней мере, 1500 рупий (100 английских фунтов) на финансирование его работы «для установления всеобщего счастья и братства». При этом Четти не побрезговал напомнить Толстому, процитировав, его высокую оценку пары статей из «The New Reformer» (*Там же. С. 93*).

Для удобства раскошеливания яснополянского обожателя индийской философии к листовке был приложен специальный бланк для перечисления пожертвований.

В письме указаны только два «господина», которые ко времени его отправки уже отослали деньги. Но, судя по всему, подобным спамом Гопал Четти пробомбил, помимо Толстого, и ещё не одну дюжину «глубокоуважаемых господ» и деньги с некоторых из них получил, ибо ни в 1907-м, ни в последующем году — и вплоть до лета 1909 г. — Толстого он больше не беспокоил. Не поздравил, например, с 80-летним юбилеем — хотя и использовал, как мы писали выше, юбилейный толстовский сборник для публикации в России своего развесистого очерка...

Последнюю нашу догадку подтверждает четвёртое и заключительное письмо Гопала Четти Л. Н. Толстому — от 26 июня 1909 года. Это самая «тяжёлая» из обрушенных Четти на голову Толстого агитационно-попрошайнических «бомб», даже по объёму самого письма.

Это письмо не только снова напечатано в виде листовки, но и текстологически — в двух первых абзацах — повторяет своего предше-

ственника. И снова в письме те же две стилистически неравные части: одна — «исповедальная», обрисовывающая амбиции издателя, вторая — «просительная», о деньгах. Для подкрепления своей исповеди «бедный юрист», добровольный жертвенник на алтарь социального переворота, приложил к письму фотографию своего бедного жилища. Мы узнаём, что у Четти есть семья, которую он так же, как и себя самого, разорил своим журналом. В остальном — ничего нового... А вот просительная часть, в сравнении с предшествующим письмом, проработана лучше: чувствуется, что, в отличие от 1907-го года, в 1909-м Четти уже «набил руку» в клянчении денег. Что Толстой у него уже не один из первых желательных донаторов, а — *очередной*.

В письме — таблица поступлений и расходов: убыток — около 1900 рупий. Тут же — сведения о количестве подписчиков и покупателей журнала: их очень мало, и большую часть из 18 тысяч отпечатанных экземпляров издатель еле-еле всучил читателям бесплатно.

И снова лесть в адрес Льва Николаевича, совершенно неосновательно названного «щедрым филантропом» (Толстой-христианин барско-буржуазную "филантропию" ненавидел). И снова — бланк для пожертвований (*Там же. С. 95 – 97*).

Собственно, на этом всё. Письмо оставлено Толстым — Б. О. Переписка прекратилась...

Особливо любопытно, как отреагировал на это письмо Гопала Четти Лев Николаевич — если обратить внимание на *постскриптум* письма, добавленный Четти от руки внизу первой страницы. Всего несколькими строками этого постскриптума индийский «левак», но при этом по-азиатски самоуверенный наивыш, умудрился и дополнить свои денежные просьбы более реалистическими: «предложить что-нибудь или рекомендовать журнал кому-нибудь», но и тут же — катастрофически, непоправимо навредить себе же, вот этими самыми словами:

«"New Reformer" — единственный *социалистический журнал* в Индии. Он был основан для распространения Ваших мыслей в этой стране» (*Там же. С. 97. Выделение в тексте наше. – Р. А.*).

Итак, издатель признался, что, вопреки пожеланиям, высказанным Л. Н. Толстым в цитированном нами выше письме, он не собирается нести свет древнеиндийской религиозной мудрости европейскому и американскому читателям, а, напротив, планирует замусоривать мозги соотечественников идеями социалистического, неотделимого от насилия, переустройства общества. И при этом, как и российские социалисты-агитаторы, он вознамерился «взять на вооружение» не-

которую часть публицистического (в основном) наследия Льва Николаевича – социально-обличительную. А у Толстого она — только надстройка на «фундаменте» религиозной проповеди. Но социалистам в России, в массе своей материалистам-безбожникам, «юридическая проповедь» Толстого была не нужна: они отбирали для пропаганды как раз социально-обличительные его высказывания... Ничто не было Льву Николаевичу более неприятно, как такое, адресованное народу, намеренное коверканье его христианского научения. Социализм он считал однобоко, материалистически (т.е. ложно) понятым христианством. Христианством без Бога, без религиозной основы нравственности... Навязчивая добродетель без добра. Проповедь социальных мира и гармонии — с перспективами многих, и жестоких, войн...

Иногда религиозным, или христианским, социалистом ложно называют и Толстого, забывая (вернее, не желая признавать), что Лев Николаевич отнюдь не подыскивал в учении Христа оправданий для войн (в том числе национально-освободительных, как в Индии) либо революционных социальных переворотов, а, напротив, проповедал учение евангелий как выражение того высшего учения жизни, к исповеданию которого должны прийти все люди, отказавшись от соблазна общественной деятельности посредством реформ или насилия. Не важно, куда и как изменится «строй» общественной жизни. Главное, чтобы менялся к лучшему, по мере своих сил, сам человек.

10. 2. 2. РАМСЕС-ХАН, ИСТИННЫЙ АРИЕЦ

«Картинки с выставки» наивности надежд яснополянского мудреца о мире, прекращении войн, как подарке христианскому миру от «мудрого» Востока продолжит ещё один исторический персонаж.

Переписка издателя журнала «The Agya» («Ариец») А. Рамасешана (иногда именуют: Рамсес, или Рамзес-Хан) с Л. Н. Толстым происходила в период с 13 июня по 12 сентября 1901 года. Биографическими подробностями о Рамасешане мы не располагаем. Все письма его Толстому были написаны на стандартных редакционных бланках журнала «The Agya» («Ариец»).

Первое письмо А. Рамасешана Л. Н. Толстому — о миссионерах и английском управлении Индией, о положительных и отрицательных его сторонах — было написано им 13 июня 1901 г. из Мадраса. Начинается оно с вполне стандартных выражений восхищения А. Рамасешана и его единомышленников гением Толстого как худож-

ника и мыслителя — в частности, как автора известных А. Рамасешану по английским переводам пьесы Льва Николаевича «От ней все качества» и философского трактата «О жизни».

Плавненько так, однако, Рамасешан поворачивает разговор к более пропагандистски-насущному для него: у Толстого-де, признаётся индус, он с единомышленниками обнаружил, в числе прочего, «точную оценку социального и политического положения Европ»:

«Впервые мы прочли в сочинении христианина то, что мы и сами давно не могли не подметить. Это верно, слишком верно, что причиной всех несчастий современной Европы, несмотря на её поразительный материальный прогресс и достижения за границей, является следование ошибочной религии, которую исповедует большинство современных христиан. [...] Мы спросили себя, и всё чаще и чаще в свете последних событий, как народ, исповедующий столь высокую религию, как религия Христа, может совершать столь варварские поступки или поощрять политические идеалы и социальные порядки, столь явно противоречащие духу христианского учения. Дух Макиавелли всё ещё витает над современной Европой. И предлагаемое Вами решение европейской проблемы, от которой и в самом деле зависит благополучие остального мира, есть единственное решение, которому можно разумно содействовать. Европа много страдала от ложного христианства — а с нею и весь мир. И от Вас, милостивый государь, мы ждём начала влияния более чистого по своей природе и более благородного в конечном счёте» (*Л.Н. Толстой и Индия. С. 32*).

В то же время, рассуждая прагматично и без эмоций, А. Рамасешан находит не одни лишь отрицательные черты в деятельности в Индии колонизаторов и миссионеров:

«Мы откровенно заявили, что христианское учение, которое они проповедуют и исповедуют, не есть истинная религия Христа и что все их попытки обращения в свою веру, обречены на провал. Но в другом отношении наши друзья-миссионеры являются нашими благодетелями. Они первыми принесли в эту страну западное образование и в этом отношении сделали многое, за что мы должны быть им благодарны.

...Мы вполне счастливы под британским правлением. Оно положило конец всем междоусобным конфликтам за землю, взяв в свои руки всю страну целиком. Оно дало нам период спокойного мира. Оно дало нам просвещённое правительство. Оно ввело английскую систему образования и открыло нам возможность, если мы поведём себя благоразумно, наверстать упущенное и построить себе новую жизнь. [...] Наши отношения не являются, говоря дипломатично,

«сердечными». Но мы верим в Англию и знаем, что наш единственный шанс связан с нею. У нас, как и у любого народа в мире, есть свои идеалы. Мы не верим в европеизацию нашей страны. Наш национальный дух слишком силен для попыток подобного рода. Мы верим, что придёт время, когда грубая сила перестанет быть единственным условием политической свободы, и что путём устойчивого мирного прогресса мы обязательно осуществим цикл нашего развития, когда индийский народ будет жить бок о бок с европейскими народами в мире и согласии» *(Там же. С. 32 – 33).*

В заключение своего письма А. Рамасешан так характеризует коренную причину, по которой индусы пристально следили и сочувствовали общественной и публицистической деятельности Льва Николаевича:

«Мы считаем, что истинное христианство вовсе не противоречит нашей религии и философии. Истинный христианин во многих отношениях индус, а истинный индус, в сущности, христианин...» *(Там же. С. 33).*

В своём первом письме А. Рамасешан просит Льва Николаевича отписать индусам «несколько ободряющих слов». Разумеется, Толстой не мог не откликнуться как на эту просьбу своего собеседника, так и на прочие, сообщённые им, соображения. Ответное письмо Толстого датируется 25 июля 1901 г. *(Оригинал письма см.: ОР ГМТ, ф. 1, № 2885, л. 1 – 6. Черновик. Автограф. Копия: ОР ГМТ, ф. 1, № 2885, л. 132-134. Опубл.: Юб. Т. 73, 101 – 103).*

Свой ответ А. Рамасешану Лев Николаевич начинает с выражения своего согласия с наиболее близкими ему из высказанных индийцем соображений: его критикой европейского цивилизационного пути:

«Я совершенно согласен с вами, что ваша нация не может принять того решения социального вопроса, которое предлагает ей Европа и которое, в сущности, не есть решение.

Общество или собрание людей, основанное на насилии, находится не только в первобытном состоянии, но и в очень опасном положении. Связи, соединяющие такое общество, всегда могут быть порваны, и само общество может подвергнуться величайшим несчастьям. Все европейские государства находятся именно в таком положении» *(Там же. С. 35).*

И далее Лев Николаевич повторяет многократно высказанную им и в публицистических выступлениях, и в письмах идею о необходимости объединяющего человечество общего религиозного жизнепонимания:

«Единственное решение социального вопроса для разумных существ, одарённых способностью любить, состоит в уничтожении

насилия и в организации общества, основанного на взаимной любви и разумных принципах, добровольно принимаемых всеми. Такое состояние может быть достигнуто только развитием истинной религии. Под словами истинная религия я разумею основные принципы всех религий, которые суть: 1) сознание божественной сущности человеческой души и 2) уважение к её проявлению — человеческой жизни» (*Там же*).

Как мы знаем, такое жизнепонимание Толстой называл «всемирным» и находил его выражение в учении Христа, очищенном от грязи церковно-богословских перетолкований и обрядоверческих наслоений. Ни церковное христианство, ни любая другая религия, в её исторической эволюции, этого, спасительного для человечества, жизнепонимания не выражает, включая сюда и древние верования индийцев:

«Ваша религия, — указывает Толстой, разумея здесь, вероятнее всего, индуизм, — очень древняя и очень глубокая в своём метафизическом определении отношений человека к духовному Всему — к атману, но я думаю, что она искажена в своём нравственном, т. е. практическом, применении к жизни, вследствие существования каст». Более близким к истине высшего жизнепонимания практическим применением религии Толстой называет джайнизм, буддизм и ряд сект, в том числе последователей Кабира. Он ценит мировоззрение их адептов за то, что их «основным постулатом является святость жизни и, следовательно, запрет лишать жизни любое живое существо, особенно человека» (*Там же*).

Как мы видим, мудро начав с того, в чём собеседник наверняка согласен с ним, Толстой вполне логично перешёл к тем идеям, которые драгоценны для него, но, по верному его предположению, не разделялись А. Рамасешаном.

Тут же высказывается идея о необходимости *ненасильственного* освобождения индийцев от колониального режима. «Всё то зло, которое вы испытываете, — пишет Толстой Рамасешану и всем индийцам, — будет продолжаться до тех пор, пока ваш народ соглашается убивать себе подобных и поступать в солдаты (сипаи).

Паразиты питаются только на нечистых телах. Ваш народ должен стараться быть нравственно чистым, и поскольку он будет чист от убийства или готовности к нему, постольку и он будет свободен от того режима, от которого теперь страдает.

Я совершенно согласен с вами, что вы должны быть благодарны англичанам за всё то, что они для вас сделали, [...] но вам не следует помогать англичанам в их управлении насилием и никогда ни под

каким видом не участвовать в организации, основанной на насилии» (*Там же*).

Таким образом, как в случае с перепиской с другими своими индийскими (и не только индийскими) корреспондентами, так и здесь, как мы видим, Лев Николаевич не только не дал увлечь себя чужими, лишь по внешности, условно близкими ему идеями, но и нанёс «ответный удар» — проповедавав то, что истинно его и дорого ему. А. Рамасешан во втором своём письме (от 22 августа 1901 г.) отвечает ему сдержанно, в уважение болезни Толстого, о которой было известно по всему миру, но... не удерживается тут же от мягкого несогласия с отношением Толстого к кастовой системе (а, следовательно, и религиозному непониманию индийцев в его социальном выражении): «Её происхождение, развитие и нынешнее состояние — каждый имеет свою историю. Но, учитывая состояние Вашего здоровья, я не буду сейчас утомлять Вас подробностями этих вопросов. [...] Но все согласятся с Вами в том, как Вы разрешаете нашу проблему. Поразительно, что человек, столь далёкий от нас, чуждый нашим традициям и нашей истории, сумел так верно понять наши настоятельные нужды и указать пути окончательного разрешения нашей проблемы» (*Там же*. С. 37).

Как видим, сквозь лесть и "дежурные" слова заботы сквозят у Рамсес-Хана нелепое снисхождение и принципиальное несогласие с Толстым по самым животрепещущим для него вопросам — веры и социального жизнеустройства на принципах единения и любви. Толстой увидел это между лицемерных строк и, конечно, не продолжил переписку (тем более, что этому, действительно, не содействовало и личное самочувствие). Но А. Рамасешан, конечно, не успокоился, и прислал-таки Толстому ещё одно письмо (12 сентября 1901 г.), где, что называется, «раскрыл все свои карты», а также августовский (1901 г.) номер своего журнала «The Arya» с текстом уже опубликованного в нём "любезного послания" Толстого. Особенно «любезной» была присылка в адрес больного писателя статьи А. Рамасешана в этом же номере журнала, в которой он громит вероятно показавшиеся ему «наивными» взгляды Толстого на перспективы в Индии буддизма и джайнизма как религий, выражающих высокую нравственность в сфере повседневных взаимоотношений людей. Эту идею своей статьи редактор выражает кратко и в своём последнем письме «господину графу» (на которое Толстой так же не ответил):

«Мы полностью согласны с Вами, считая, что мы должны очистить нашу религию от огромного числа предрассудков, возникших в результате упадка в последнее время. Но в то же время мы считаем,

что в наших древних книгах ясно видна более чистая форма религии, к которой нам и следует попытаться вернуться. У буддизма в Индии шансов нет, потому что его нирвана, его конечное небытие не может удовлетворить духа индийцев. Без сомнения, этика Будды — этика очень высокого порядка. Но нравственность, не основанная на живом присутствии любящего всех, всемогущего Бога, не может иметь долговременного влияния. Разум индийцев сильно стремится к живой личности Бога... Именно эта слабая сторона буддизма заставила его в конце концов полностью исчезнуть из Индии, более чем все учёные диспуты и личное влияние великого религиозного реформатора Индии Шри Шанкары. Джайнизм же лишь подчёркивает некоторые отдельные принципы индуизма. Но ему недостаёт сильного метафизического основания и убедительности своей первоосновы. В наши дни джайнов у нас очень мало и живут они лишь в определённых районах страны, в других же их можно встретить очень редко» (Там же. С. 39).

Что же касается выраженных Толстым в опубликованном А. Рамасешаном «послании» идей о необходимости ненасильственного противостояния и свержения английского колониального господства, редактор «The Arya» цинично и нагло признаётся в завершение своего письма, что... вырезал их из публикации, дабы не осложнить политические отношения с «нашими англо-индийскими друзьями» — т. е. "благодетельными" колонизаторами! (Там же).

Итак, как в случае с многими другими адресатами Толстого, каждый, по результатам переписки, остался «при своём». Толстой — при своей вере в закон любви и грядущее религиозное братское единение людей, Рамасешан же — при своей вере в житнетворительный и актуальный на все времена потенциал Вед, Корана (недаром ведь так расплывчато, общо было сказано им о возврате к "древним книгам") и мирного сосуществования с колонизаторами и миссионерами. Идеал Рамасешана — в древних, идеализируемых им, "источках", в слепо возведённых в авторитет книгах, в политическом охранительстве во имя иллюзорной возможности будущего «особого пути» для просвещённых европейцами индийцев.

10. 2. 4. LETTER TO A HINDOO

А теперь поговорим о *лучшем из худших* — среди тех, кого апостолу непротивления могла предложить в собеседники, Индия... то есть,

хотя и умнице, расположившем Толстого к пространному ответу, но отнюдь не о единомышленнике.

Тарак Натх Дас (или Таракнатх Дас; তরক নাথ দাস, 1884 – 1958) – бенгальский учёный (политолог) и политик, антибританский революционер и националист, профессор политологии в Колумбийском университете, сотрудничавший и со многими другими американскими учебными заведениями.

Ещё в период обучения в «Scottish Church College» в Калькутте Тарак Натх Дас увлёкся идеями национального патриотизма от своей старшей сестры Гириджи. В Калькутте он познакомился с рядом бенгальских патриотов, от которых услышал рассказ о национальном герое Индии — Шиваджи, и вместе с котрыми участвовал в бенгальских фестивалях. В нач. XX в. Тарак Натх Дас вступил в радикальную антибританскую партию «Анушиллон шомити» («Общество прогресса»). Затем с некоторыми своими соратниками, борющимися за свободу Индии, уехал в 1907 году через Японию в США, чтобы оттуда помогать индийским патриотам. Издавал журнал для индийских эмигрантов «The Free Hindustan» («Свободный Индостан»).



Тарак Натх Дас

К Толстому он обратился с таким письмом от 24 мая 1908 г. из Вашингтона:

«Милостивый государь,

Ваше имя служит в наши дни храмом и лозунгом для тех, кто трудится на пользу человечества. Ваши произведения, в которых Вы

показали порабощённый русский народ, открыли глаза цивилизованному миру и вызвали глубокую симпатию к нему. Ваша моральная сила одержала верх над самодержавными методами русского правительства, упорно противящегося либеральным точкам зрения, но Ваши произведения ему внушают страх, и оно безмолвствует.

Действительно, русский народ угнетаем, но он не самый угнетаемый народ, если мы сравним его с нашим, с положением народа Индии. Вам известна история народов всего мира, и Вы знаете, как мы порабощены. В книге сэра Уильяма Дигби «Процветающая Британская Индия» доказано, что за десять лет, с 1891 по 1900 гг., от голода в Индии погибло 19 миллионов человек, в то время как за последние 107 лет, с 1793 по 1900 г., от войн во всём мире погибло всего 5 миллионов человек. Вы ненавидите войну, но голод в Индии страшнее войны. Голод в Индии — это не голод от недостатка продуктов питания; причиной его является вывоз [продовольствия] и бедность населения, вызванная британским правительством. Не возмутительно ли, что когда миллионы голодают, в то же самое время тысячи тонн риса и другие основные продукты питания вывозятся из Индии английскими купцами!

Человеческая природа тяжело страдает в Индии. Политика Британии в Индии представляет собой угрозу всей христианской цивилизации.

Своими литературными трудами Вы принесли огромное благо России. Мы умоляем, если только у Вас будет время, написать хотя бы статью об Индии и высказать тем самым своё мнение об Индии. От имени миллионов голодающих взываю к Вашей христианской душе — возьмитесь за это дело. [...]

Искренне Ваш — Таракнатх Дас.

(Источник: ОР ГМТ. Ф. 1, Оп. 1, № 1295, л. 1 – 3. Автограф. Конверт; Публ.: 37, 444 – 445).

Тарак Натх Дас выслал 2 номера своего журнала для ознакомления и просил Толстого «именем голодающих в Индии» написать статью о бедственном положении народностей Индии. Судя по всему, он не оставлял вниманием яснополянца и позднее: в яснополянской библиотеке сохранилось несколько номеров журнала «The Free Hindusthan» за 1908 и следующие годы.

Толстой заинтересовался первыми номерами журнала и письмом Даса. На конверте этого письма мы можем видеть надпись карандашом рукой Льва Николаевича: Душ<ану>. Ответить. Желая исполнить. Нужны сведения.

Душан Петрович Маковицкий, не только домашний врач, но и секретарь Льва Николаевича, действительно, ответил на это письмо Тарак Натха Даса. Письмо это не сохранилось. В ответном, втором своём, письме от 15 июля 1908 г. Тарак Натх Дас благодарит за эту «записку Д. П. Маковицкого» и просит Толстого дать совет «о нашем движении Свободный Хиндустан», а также о том, чтобы Лев Николаевич в своей будущей статье упомянул это движение (*Л. Н. Толстой и Индия. С. 135*).

Таким образом, упорный до упоротости Тарак Натх Дас «ненавязчиво» повторил свою просьбу к Толстому о написании им статьи по проблемам Индии.

И таки своего добился! 7 июня 1908 г. Д. П. Маковицкий записал в дневнике: «Л. Н. писал письмо индусу Chitale и другое — индусу Das'у. "Я ему хочу сократить статью "Всему бывает конец" — сказал Л. Н., — и послать. Они добиваются права участвовать в правлении, то есть подтвердить то насилие, которое над ними совершается" (*Маковицкий Д.П. Указ соч. Т. 3. С. 108*). 10 июня Толстой занёс в Дневник: "Начал письмо к индусу, да запнулся". Он отметил, что, «поправляя Сербское письмо и письмо от индуса, понял: "надо отвечать почти то же"» (*56, 154*).

Как и юная сербка, Дас написал Толстому, не скрывая от него своей веры в вооружённое насилие; он нападал на толстовское учение о непротивлении; и, несмотря на это, просил дать несколько сочувственных строк для его журнала «Free Hindustan».

Толстой ответил очень длинным письмом — скорее, статьёй, которая ваялась им по-восточному неспешно и трудоёмко, с 7 июня по 14 декабря 1908 г. Под заглавием «Письмо к индийцу» (или «индусу») статья эта распространилась по всему миру и стала популярной. Полный текст её мы помещаем в Прибавлении 1 к данной Главе.

В письме Толстой провозглашал энергично учение о непротивлении и любви, обрамляя каждую часть своих доказательств цитатами из Кришны.

«Вы в своём журнале, как основной принцип, долженствующий руководить деятельностью вашего народа, ставите эпитафией такую мысль: "Resistance to aggression is not simply justifiable, but imperative; non-resistance hurts both altruism and egoism". (Противодействие нападению не только справедливо, но и обязательно: непротивление вредит одинаково и альтруизму и эгоизму.)

...И что же? В 20-м веке вы, член одного из самых религиозных народов, с лёгким сердцем и уверенностью в своём научном просвещении, и потому несомненной правоте, отрицаете этот закон, по-

вторяя ту — простите меня — поразительную глупость, которую внушили вам защитники насилия, враги истины, сначала служители богословия, потом науки, ваши европейские учителя.

Вы говорите, что англичане поработили и держат в порабощении индийцев потому, что индийцы недостаточно противились и противятся насилию силою.

Но ведь это совершенно наоборот. Если англичане поработили индусов, то только потому, что индийцы признавали и признают главным основным принципом своего общественного устройства насилие; во имя этого принципа подчинялись своим царькам, во имя его боролись между собою, боролись с европейцами, с англичанами... Торговая компания — 30 тысяч людей, не силачей, даже скорее слабых и дурных людей, — поработила 200-миллионный народ. Скажите это человеку, свободному от суеверия, — он не поймёт, что значат эти слова... Разве не ясно, по одним цифрам, что не англичане, а сами индийцы поработили себя... Если индийцы порабощены насилием, то только оттого, что они сами жили насилием, живут насилием и не признают вечного, свойственного человечеству закона любви.

Жалок и невежествен тот человек, который ищет того, что он имеет, но не знает, что имеет его. Да, жалок и невежествен человек, который не знает блага той любви, которая окружает его, которую я дал ему!" (Кришна.)

Только живи человек согласно с свойственным его сердцу и открытым уже ему законом любви, включающей в себя непротивление, и потому естественно не участвуя в каком бы то ни было насилии, и не только сотни не поработят миллионы, но миллионы не поработят одного. Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит вас».

Цитатой Кришны заканчивается — как и началась — эта проповедь непротивления, обращённая Россией к Азии:

«Дети, взгляните вверх своими ослеплёнными глазами, и мир, полный радости и любви, откроется вам, разумный мир, сделанный моей мудростью, один мир действительный. Тогда вы узнаете, что любовь сделала с вами, чем наградила вас любовь и чего она от вас хочет". (Кришна.)» (37, 259 – 272).

А вот, в сокращении — ответ Т. Даса на это огромное письмо-статью Толстого, демонстрирующий, кстати сказать, как несостоятельность распространённого мнения о каком-то «лучшем» понимании

Толстого на Востоке в сравнении с Россией или Америкой, о «признании» там его, так и несостоятельность надежд на «мудрость Востока» самого яснополянца:

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

графу Толстому в ответ на его “Письмо к индусу”».

Сударь,

Ваше открытое письмо мне в ответ на мою частную корреспонденцию уникально и совершенно в том, как Вы изложили вопрос непротivления и любви. [...] Та ступень, о которой Вы говорите, это стадия пребывания над всем материальным — та, что индусские философы называют “Gunatita”.

В соответствии с учением пророка Кришны в “Бхагавад-Гите” [...] мы видим, что существуют четыре стадии бытия людей, обществ и циклов. Это: 1) пассивность, 2) активность, 3) безмятежность, 4) стадия Gunatita. ...Мы не можем ожидать, чтобы догма стадии пассивности полностью подошла бы стадии активности, безмятежности и т.д. Пища молодого человека отлична от того, что ест старик, точно так же Ваши идеи отличны от наших. Сфера Вашей деятельности — находится над материальным миром и вообще отрицать его, тогда как наша — исполнять наш долг до тех пор, пока мы живём в этом материальном мире. Для Вас нет обязательств, но они есть у НАС. [...] Мы выступаем за сопротивление. [...] ...До тех пор, пока существует добро и зло, пока права слабого незаконно захватываются сильнейшим и пока существует разница в природе вещей, наши принципы непоколебимы, и они будут [...] применяться как выражение борьбы за любовь к роду человеческому.

Непротivление является абсолютной догмой. Мы отрицаем существование абсолютного непротivления.

[...] Идея абсолютного непротivления — не всегда любовь, но часто она подразумевает пассивность, слабость, ведущую к фатализму.

[...] Мы верим во всеобщее братство, но мы нетерпимы к любому акту эксплуатации какой-либо нации, расы, сообщества, семьи или индивидуума другими. [...] Мы стоим на том, что если пассивное сопротивление не приносит результатов, мы должны прибегать к активному сопротивлению, для того чтобы остановить насилие и тиранию.

Мы хотим установить царство любви, но [...] сначала надо покончить с негодной системой. И мы стоим на том, что мы должны сопротивляться злу, для того чтобы установить справедливость.

[...] Наша цель – обретение народом чувства собственного достоинства через национальную независимость. Мы хотим изменить существующие в Индии общественные, политические и экономические механизмы, которые привели более чем 30-миллионный народ за последние 40 лет к безвременной смерти от голода. Если мы прекратим своё существование, кто будет любить? Если индийский народ хочет существовать, он должен уничтожить британское правление.

Милостивый государь, Вы утверждаете — «Главная и если не единственная причина порабощения англичанами индийского народа лежит в отсутствии настоящего религиозного сознания и вытекающего отсюда управления поведением». Настоящее религиозное сознание, по Вашему мнению, это «выражение любви вместе с непротивлением», но история этого не подтверждает. Мы видим процветающую Индию в первой половине эпохи буддизма и до этого, но как только индийский народ начал терять свой деятельный склад ума с ростом духа и практики непротивления, который проповедовали буддийские монахи, начинается упадок. Для Индии опять наступили дни процветания, когда Шанкарачарья отверг порочную буддийскую практику и проповедовал деятельную религию философии Веданты. Идея непротивления привела народ Индии к тупоумию и фатализму, а фатализм привёл к невежеству и суеверию. В этом и есть отдалённая причина нашего падения! Мы хотим активной деятельностью искоренить суеверия и фатализм, вытекающие из идеи непротивления.

Милостивый государь, [...] Вы не различаете тираническое правление и правление народа. Мы верим в правление народа, которое не должно быть тираническим. [...] Мы [...] вместе с Вами провозглашаем, что Любовь это Бог, но в то же время утверждаем, что святость больше всего представлена в человеческой природе и *сопротивление тирании — самая главная из обязанностей человека*. [...] Мы не можем поверить, что когда-то миром правила исключительно любовь и всё ухудшалось до современного уровня, потому что мы верим в закон вечного развития. Экономическая история мира приводит нам примеры каннибализма, феодализма, рабства, крепостничества, гражданской войны, религиозных пыток и т. д., которых более не существует. Мы находим примеры Христов, умирающих на кресте, Будды, проповедующего любовь, Кришны и Рама, сражающихся, чтобы покончить с тиранической формой правления, как явное доказательство приоритета принципов, отличных от любви, во все периоды мировой истории.

На нас не так сильно влияли западные учителя, как наши собственные, Рама и Кришна. Кришна учил нас в Гите «выйти из летаргии и

изнеженности и подняться на бой за справедливость”. Он также сказал: “Когда бы добродетель ни страдала от несправедливости, я явлюсь для спасения поборников справедливости и истины и искоренения зла”. Современная психология учит, что восстановление и создание — понятия парные, поэтому мы опять повторяем, что принцип противления тирании *не* несовместим с духом любви.

[...] *Vande Mataram* («Приветствую тебя, родина-мать»).

Нью-Йорк,

14 декабря 1908 г. – 16 октября 1909 г.»

(An open letter to count L. Tolstoy in reply to his “Letter to a Hindoo” by the editor of “Free Hindustan”. New York City, 1908. P. 1 – 8, 40 – 47; Цит. по: А. Н. Толстой и Индия. С. 161 – 166).

Тарак Натх Дас в своих возражениях Толстому прибегает активно к авторитету не только религиозного, но и научного знания — очевидно, оппонировав таким образом выраженному в «Письме к индусу» критическому отношению Толстого к наукам. Толстой ведь неприятно, хотя и справедливо, задел и лично тов. Тарака, когда указывал ему, что он, защищая насильственные методы борьбы с насилием, повторяет «поразительную глупость», внушённую ему его «европейскими учителями».

Тарак Натх Дас ответил Толстому так же, как писал ему Толстой: *открытым письмом* — тем как бы подчёркивая мнящееся ему равное право на публичную пропаганду *своих* и своих единомышленников убеждений, отличных от убеждений Толстого. Ни о каком глубоком понимании или хотя бы *желании понять* Толстого — увы! нет в нём и речи. «Толстой» — то, что называется, *громкое имя*, или “бренд”, который выгодно слепить со своей проповеднической, просветительской, политической, реформаторской, революционной деятельностью и Тарак Натху Дасу, и всякому, независимо от его личного притяжения или непритяжения христианской проповеди Льва Николаевича. Вплоть до защиты, авторитетом Толстого, идей революции и войны!

Письмо Толстого к странному американскому «индусу», ничего не изменившее в мировоззрении прямого адресата, имело неожиданное значение как для самого Льва Николаевича, так и для будущего человечества. Оно попало в руки молодого индийца, который находился в это время в Южной Африке, в Йоганнесбурге, в качестве

адвоката. Его звали Ганди. Он был захвачен письмом и написал Толстому в конце 1909 г. Он оповестил его о кампании самопожертвования, которую он проводил в течение десятка лет в евангельском духе Толстого и просил разрешения перевести на индийский язык его письмо к Дасу. Ниже об этом адресате, одном из главнейших во всех переписках Толстого, во всей его жизни, мы поговорим особо.

На России «Письмо индусу» впервые было напечатано в выдержках в газетах «Киевские вести» (1909, № 103 от 19 апреля; на русском языке) и «Русские ведомости» (1909, № 89 от 19 апреля); полностью – в «Сочинениях гр. Л. Н. Толстого», часть двадцатая, изд. С. А. Толстой (1911).

На английский язык письмо было переведено В. Г. Чертковым и впервые было напечатано в журнале Мохандаса Ганди «Indian Opinion» (1910, январь), после получения от Толстого разрешения на публикацию (этот номер журнала с «Письмом к индусу» был получен в марте 1910 г.). В Дневнике отмечено: «Прочёл письмо своё индусу и очень одобрил» (58, 28).

В 1910 г. Эугеном Шмитом был напечатан авторизованный перевод «Письма к индусу» на немецком языке: «Leo Tolstoi. Brief an einen Hindu. Autorisierte Uebersetzung von Dr. A. Schkarwan. Mit Worwort, herausgegeben von Dr. E. Schmitt».

10. 2. 5. МАХАТМА ЛЕВ И МОХАНДАС ГАНДИ В ПЕРЕПИСКЕ

«Встреча в письмах» Толстого и Ганди — не только бесспорная вершина религиозного и антивоенного эпистолярного диалога Толстого с миром, но и, сама по себе, удивительное явление. Примечателен сам факт переписки двух совершенно неизвестных друг другу людей из противоположных концов мира — из России и Южной Африки: ведь как ни был знаменит Толстой и как ни были обширны его связи и переписка, тем не менее круг его персональных контактов был по-человечески ограничен (вспомним лишь, что ему не случилось встретиться ни лично, ни письменно с таким своим известным соотечественником и современником, как Достоевский). И кажется вовсе невероятным, что неизвестный индус оказался именно тем, кому в качестве мыслителя и общественного деятеля выпало на долю расширить горизонт и продвинуть дальше дело самого Толстого. Это

была поистине счастливая страница истории, преисполненная символического смысла и как бы специально подстроенная судьбой для того, чтобы не погас огонь ненасилия и чтобы передать его, словно эстафету, из одних рук в другие — из могучих рук Толстого в твёрдые руки Ганди.

Мохандас Карамчанд Ганди (хинди मोहनदास करमचंद गाँधी, 1869 – 1948) в период написания писем был не более чем молодой юрисконсульт индийской торговой фирмы в Южной Африке и лидер индийской общины в Натале. Только в 1915 году, уже в годы зрелости, он вернётся в Индию, где сблизится с партией Индийский национальный конгресс и станет лидером и идеологом национально-освободительного движения Индии.

Но и ко времени своей деятельности по защите прав индийских переселенцев в Южной Африке молодой Мохандас Карамчанд был уже тем, что можно именовать *умным* (независимым) *толстовцем*. В своих воспоминаниях уже 1928 года «Мой Толстой» он рассказывает, как «сорок лет тому назад» (на самом деле — точно не более 35) «тяжелейший приступ скептицизма и сомнения» ему, как и многим современникам, помогло преодолеть христианское слово Льва Николаевича «Царство Божие внутри вас»:

«В то время я был поборником насилия. Книга Толстого излечила меня от скептицизма и сделала убеждённым сторонником ненасилия. Больше всего меня поразило в Толстом то, что он подкреплял свою проповедь делами и шёл на любые жертвы ради истины» (*Новые пророки / Григорьева Т.П., сост. М., 1996. С. 325*).

Далее, совсем в духе толстовских фантазирования о Будде, Ганди восхищается «великим отказом» яснополянца от земных благ и радостей жизни. Кроме того, Лев Николаевич удостоивается звания «самого честного человека своего времени», который «не страшась ни духовной, ни светской власти, показал миру вселенскую правду, безоговорочную и бескомпромиссную» (*Там же*). И он же, Толстой, в лице Ганди — главный идеолог и поборник ненасилия, «ахимсы»:

«Никто на Западе, ни до него, ни после, не писал о ненасилии так много и упорно, с такой проникновенностью и прозорливостью. [...] Истинная ахимса должна означать полную свободу от злой воли, гнева и ненависти и беспредельную любовь ко всему существу. Являя своей жизнью образец истинной высочайшей ахимсы, Толстой с его огромной, как океан, любовью к людям служит нам маяком и неиссякаемым источником вдохновения» (*Там же. С. 325 – 326*).

Взгляды Л. Н. Толстого помогли, по словам Ганди, придать устойчивую форму идее ненасильственного сопротивления, ставшей основой движения против дискриминации за свои права индийских

переселенцев в Южной Африке и получившей название сатьяграха («сатья» — истина, «аграха» — твёрдость, упорство, т. е. «упорство в истине»). В дальнейшем ненасильственные действия протеста под руководством Ганди стали наиболее массовой формой национально-освободительной борьбы в Индии.



Мохандас Карамчанд Ганди, юрист.
Южная Африка, 1909 г.

Долгое время считалось, что Лев Николаевич Толстой и Мохандас Карамчанд Ганди обменялись *шестью* письмами, при этом каждый из участников эпистолярного диалога написал по три письма. Но было ещё одно, затерявшееся, письмо Ганди, о котором стаю известно через 47 лет...

Первое письмо Ганди пишет Толстому 1 октября 1909 г., представляя себя как «абсолютно неизвестного Толстому человека» (*Л.Н. Толстой и Индия. Указ. изд. С. 222*). Оно состоит из трёх сюжетов. 1) Ганди знакомит Толстого с дискриминацией индийской общины в Южной Африке, положение которой стало особенно тяжёлым в связи с принятым за несколько лет до этого законом ограничения проживания и перемещения азиатов; сообщает, что община развернула борьбу пассивного сопротивления за свои права. Ганди специально подчёркивает, что он и некоторые его друзья ведут эту борьбу с твёрдой верой в учение о непротивлении злу. Про себя же он спе-

циально подчёркивает, что ему выпало счастье познакомиться с трудами Толстого, которые оказали глубокое воздействие на его мировоззрение. 2) Он спрашивает мнение Толстого относительно того, не следует ли организовать всеобщий конкурс работ о нравственности и действенности пассивного сопротивления, чтобы привлечь более широкие круги к этим идеям. 3) Ганди ставит некоторые вопросы в связи с публикацией и распространением работы Толстого «Письмо индусу». В Дневнике Толстого от 24 сентября (ст. ст.) он помечает. «Писал письмо индусу <Бишену Нараину (Bishen Narain). – P. A.> и получил приятное письмо от индуса из Трансвааля» (Толстой 1957, 143). (Называя своих адресатов индусами, Толстой имеет в виду их принадлежность государству Индии, а не религии индуизма.)

Ответ Толстого, помеченный 25 сентября (7 октября) 1909 г., является очень дружественным и кратким. Он приветствует их борьбу: «Помогай Бог нашим дорогим братьям и сотрудникам в Трансваале. Та же борьба мягкого против жёсткого, смирения и любви против гордости и насилия с каждым годом всё более и более проявляется и у нас, в особенности в одном из самых резких столкновений закона религиозного с законом мирским — в отказах от военной службы. Отказы становятся всё чаще и чаще» (80, 110 – 111). Здесь же Толстой выражает радость по поводу перевода и распространения своей работы и даёт ответы на все связанные с ней вопросы.

В письме от 10 ноября 1909 г. Ганди обращается к Толстому с просьбой поддержать своим влиянием их борьбу и посылает ему книгу о своей жизни и борьбе (Толстой и Индия. Переписка. С. 225 – 226). Это письмо затерялось в бумагах и осталось без ответа, так как Лев Николаевич в эти дни болел. Именно оно счастливым образом, нечаянно, было обнаружено в 1956 г. сотрудницей музея в Абрамцево Еленой Панфиловной Населенко (1896 – 1985), работавшей в архиве Ясной Поляны под руководством выдающегося и легендарного Николая Павловича Пузина (1911 – 2008).

В третьем письме (от 9 апреля 2010 г.) Ганди напоминает о себе и просит принять от «скромного последователя» новую книгу. Речь идёт о написанном в 1909 г. очерке «Индийское самоуправление» (Gandhi M.K. Indian Home Rule), тираж которой на языке гуджарати был конфискован правительством Индии, и поэтому он сам срочно осуществил перевод. Ганди со всей почтительностью выражает надежду на критический отзыв Льва Николаевича об этом сочинении. Одновременно он пересылает две копии «Письма индусу». Толстой отвечает 25 апреля (8 мая) коротким письмом о том, что прочитал книгу с интересом и считает пассивное сопротивление вопро-

сом «величайшей важности не только для Индии, но для всего человечества». И обещает, когда позволит здоровье, написать Ганди всё, что хотел бы «сказать по поводу его книги и всей его работы» (81, 247 – 248).

Ганди письмом от 15 августа 1910 г. благодарит Толстого за ободряющее и сердечное письмо и пишет, что будет ждать более подробный отзыв о своей «брошюре "Indian Home Rule"». Одновременно Ганди представляет своего друга и соратника, немецкого архитектора Германа Калленбаха (1871 – 1945), кстати, уроженца Царства Польского в Российской Империи, который прошёл через многие испытания, столь образно описанные Толстым в «Исповеди», и под сильным впечатлением от сочинений Толстого избрал возвещаемый им путь жизни. Ганди выражает поддержку Калленбаху, позволившему себе назвать основанную ими ферму «Фермой Толстого».

Одновременно с письмом Ганди посылает несколько номеров журнала «Indian Opinion» с описанием совместного их с Калленбахом проекта. Калленбах пишет отдельное письмо Толстому, задним числом извиняясь за то, что воспользовался его именем. Он говорит о глубоком воздействии трудов и учения Толстого, в честь чего он и назвал ферму в 1100 акров земли, предоставленную для нужд непротивленцев и их семей. В завершение письма и в оправдание он пишет Толстому, что будет стремиться «жить согласно тем идеям, которые вы столь бесстрашно вносите в мир» (*Толстой и Индия. Переписка. С. 229 – 230*).

В Дневнике под 6 сентября 1910 г. находим запись: «Приятное известие из Трансвааля о колонии непротивленцев» (58, 100).

Толстой находился в то время в тяжёлом душевном состоянии из-за обострившихся отношений с женою. По-видимому, интересное содержание писем Ганди и Калленбаха и полученные журналы произвели на Толстого сильное впечатление, и несмотря на тяжёлое душевное и неважное физическое состояние, он немедленно, в день получения известий, приступил к ответу Ганди. 6 и 7 сентября он продиктовал письмо Д. П. Маковицкому, исправил его, и тут же отправил на перевод В. Г. Черткову и уже через неделю. 14 сентября, получил его уже переведённым на подпись.

Последнее письмо Толстого к Ганди, датированное 7 сентября 1910 г., явилось развёрнутым изложением его взгляда на идеи непротивления в современном мире, включая деятельность сторонников Ганди в Трансваале. Непосредственно оно стало откликом на то, что было сказано в полученных им номерах журналов «Indian Opinion» о непротивляющихся. Текст Толстого не содержит в себе никаких признаков частного письма. Это скорее манифест, он пишет то самое

важное и сокровенное, что хочется ему сказать людям, особенно «теперь, когда живо чувствует близость смерти» (*Толстой и Индия. Переписка. С. 230*).

Данное письмо, несомненно, входит в фонд основных толстовской произведений, концентрированно излагающих его мировоззрение — христианское «непротивление злу», ненасилие. Сам Толстой был недоволен письмом; он пишет Черткову 17 сентября: «Перевод письма Gandhi прочёл. Не хорош не перевод, но слог письма. Но что же делать, если лучше не умел. Перевод... передаёт ясно мысль» (89, 215). В данном случае Толстой, вопреки своему обычаю, почти не правил написанное, но это письмо ценно именно необработанностью слога, в качестве непосредственного отклика души.

Письмо шло до Ганди долго. Его отправлял В. Г. Чертков по поручению Толстого. Он пишет: «Толстой шлёт вам и вашим сотоварищам сердечный привет и горячее пожелание успеха в вашем деле» (<http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/pisma-tolstomu/letter-266.htm>). Владимира Григорьевича также заинтересовало сообщение о Калленбахе, и он, по поручению Толстого, прилагает последнему отдельное письмо. Что касается самого письма Толстого в адрес Ганди, оно, сообщает Чертков, с разрешения Толстого будет опубликовано в издаваемом дружественном журнале в Лондоне, и номер с напечатанным письмом будет доставлен Ганди. Чертков поручил своему помощнику А. Д. Зирнису переслать подлинник Ганди. Однако Зирнис, будучи болен, переслал письмо только 1 ноября. В результате Ганди получил письмо в Трансваале всего за несколько дней до смерти Толстого. Ответить ему он уже не успел.

Ганди опубликовал письмо, сделав новый перевод (видимо, не будучи доволен переводом Черткова) 26 ноября 1910 г. в журнале «Indian Opinion». Он воспроизвёл это письмо в 1914 г. в специальном номере журнала, «выпущенном в ознаменование победы южноафриканских индийцев в борьбе за свои гражданские права. Там же был помещён портрет Толстого, под которым значится, что великий русский писатель явился одним из главных вдохновителей этой борьбы, длившейся с 1906 по 1914 г.»

(<http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/publicistika/publicistika-3.htm>).

* * * * *

Любое исследование соотношения мировоззрений Толстого и Ганди логично начинать всё с того же «Письма к индусу», изваянного отчётом Львом для Тарак Натха Даса — которое, однако, с достаточной подробностью уже было рассмотрено на этих страницах. И не только

потому, что это произведение стало поводом для первого письма Ганди к Толстому (у Ганди была анонимная машинная копия этого текста и он, желая напечатать его в своём журнале, просил Толстого подтвердить авторство и указать источники использованных в качестве эпиграфов высказываний Кришны). Более важно, что в этом письме Толстой выразил взгляд на действенность непротivления применительно к борьбе индийского народа против британского порабощения ещё до того, как познакомился с Ганди и его линией пассивного сопротивления.

После знакомства с теми индийскими лидерами, которые направляли свой народ, как он считал, по ложному пути насилия и скорее способствовали его порабощению, чем освобождению, и после того, как он в «Письме к индусу» со всей определённоcтью высказал свою критическую позицию по этому вопросу. Толстому было особенно радостно узнать о Ганди, индийце, разделяющем его взгляды. Как показывают записи в Дневнике, получив от Ганди второе письмо и его книгу. Толстой глубоко заинтересовался им. 19 апреля, в день получения письма, он отмечает: «Нынче утром приехали два японца. Дикая люди в умилении восторга перед европейской цивилизацией. Зато от индуса и книга и письмо, выражающее понимание всех недостатков европейской цивилизации, даже всей негодности её» (58, 40). 20 апреля: «Вечером читал Канди *(так сладко у Толстого. – Р. А.)* о цивилизации. Очень хорошо. Записать:

1) Движение вперёд медленно, по ступеням поколений. Для того, чтобы двинуться на один шаг, нужно, чтобы вымерло целое поколение. Теперь надо, чтобы вымерли бары, вообще богатые, не стыдящиеся богатства, революционеры, не влекомые страданием несоответствия жизни с сознанием, а только тщеславием революции, как профессии. Как важно воспитание детей, — следующих поколений.

2) Японцы принимают христианство как одну из принадлежностей цивилизации. Сумеют ли они также, как наши европейцы, так безвредить христианство, чтобы оно не разрушило того, что они берут в цивилизации?

3) Огромное большинство живёт одной животной жизнью; в вопросах же человеческих слепо подчиняется общественному мнению.

4) Усилие мысли, как семя, из которого вырастает огромное дерево, не видно; а из него вырастают видимые перемены жизни людей» *(Там же. С. 40 – 41).*

В этих суждениях Толстого о перспективах воспитания и постепенном прорастании в обществе идей непротivления причудливым образом соединились личные впечатления от его встречи с европейци-

рованными японцами и размышления над книгой Ганди. Его сравнение усилий мысли с невидимым семенем, из которого произрастает огромное дерево, похоже, прямо перекочевало в книгу Ганди «Индийское самоуправление»: «Семя никогда не видно. Оно работает под землёй. Само оно уничтожается, и лишь дерево, которое возвышается над землёй, оно одно и видно» (*Gandhi M.K. Indian Home Rule. Madras, 1919. P. 10*).

Недаром книга эта так понравилась Толстому! Образ малого семени, которое даёт начало нескорой в наступлении, но неизбежной новой жизни, христианский образ, был очень близок сторонникам ненасилия, которым приходилось работать в условиях всеобщего непонимания.

Дневник, 21 апреля: «Читал книгу о Gandhi. Очень важная. Надо написать ему» (58, 41). Толстой читал раннюю биографию Ганди, о деятельности его в Южной Африке, авторства Joseph J. Doke: «M. K. Gandhi. An London Indian Patriot South Africa», London, 1909. В тот же день Толстой пишет Черткову, что читал «одного индусского мыслителя и борца против английского владычества Gandhi, борющегося посредством Passive Resistance. Очень близкий нам, мне человек. |...| Он просит моего мнения об его книге. Мне хочется подробно написать ему. Переведёте вы моё такое письмо?» (89, 185 – 186). А вот запись в записках Д. П. Маковицкого, врача и секретаря Толстого: «Ганди, — сказал Толстой, — автор книжки “Indian Home Rule”. Он начальник партии, борющийся против Англии. Он сидел в тюрьме. Прежде я получил книгу о нём. Эта книга в высшей степени интересна. Это глубокое осуждение с точки зрения религиозного индуса о всей европейской цивилизации. Как он приезжал в Лондон, как он начал есть мясо, как он учился танцевать и подчинялся цивилизации. Началась война в Южной Африке. Его презрение к отношению белых к цветным людям. Кроме того, он проповедует, что самое действительное противодействие — это пассивное» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 4. С. 233*).

«За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха...» В свою очередь, к книге «Индийское самоуправление» Ганди приложил небольшой список из двадцати наименований «авторитетных работ», который *открывается* шестью произведениями Толстого (на английском языке): «Царство Божие внутри вас»; «Что такое искусство?»; «Работство нашего времени»; «Первая ступень»; «Так что же нам делать?» и «Письмо индусу».

Ганди говорил о Толстом часто и всегда с почтением, как о человеке, у которого надо учиться. И тем не менее его нельзя назвать последователем Толстого, точно так же, как его нельзя возвести в

обычном школьном смысле к какой-то определённой традиции, школе, учителю. Ганди испытал, конечно, много интеллектуальных и человеческих влияний, переработал много книг, быть может, не так много, как Толстой, да и в целом его жизненный путь не был таким драматичным и противоречивым, и его дорога к ненасилию, возможно, была не такой ухабистой, как у Толстого. Но он, и в этом они схожи с Толстым, пришёл к ненасилию не из книг, не из университетов, не в поисках своего места в академической или какой-либо иной человеческой корпорации. Думаем, не будет также корректно сказать, что он дошёл до всего самостоятельно и сам открыл истину ненасилия, подобно тому, например, как Эйнштейн открыл теорию относительности. Истина ненасилия для Ганди — не одна из истин, а *истина сама по себе*, единственная истина, и в данном случае не требуется даже уточняющее определение «ненасилие». Ганди не вычитал идею ненасилия, он *увидел* её. На вопрос о том, существует ли историческое подтверждение ненасилия (непротивления, пассивного сопротивления), которое тождественно духовной силе, силе правды, Ганди ответил: «Мне это кажется научной истиной. Я верю в это точно так же, как в то, что дважды два — четыре. Сила любви — это то же самое, что сила души или истины. На каждом шагу мы видим доказательства её работы» (*Gandhi M.K. Indian Home Rule. Madras, 1919. P. 93*). И он сформулировал свой знаменитый тезис: «Вселенная исчезла бы, если бы эта сила не существовала» (*Там же*). Эту истину он увидел в опыте собственных духовных поисков, она стала его основным религиозным переживанием. Попав юношей из Индии в сверкающий мир Европы и столкнувшись с разными верованиями, он задумался над тем, кто он. Он открылся всем верованиям, примеряя их на себя и пытаясь в них найти отгадки жизни: он искал себя и в индуизме, и в христианстве, и в мусульманстве, и среди теософов, и среди протестантов – квакеров. Всюду его сердце находило отзвук и в то же время что-то его отвергало. Так, близкий по происхождению и воспитанию индуизм был неприемлем из-за идеи неприкасаемых. На него произвела неизгладимое впечатление Нагорная проповедь Христа, но он не мог принять христианскую идею искупления грехов. Он приходит к выводу, что все религии разными путями приходят к одной цели. Во внешних проявлениях они отличаются друг от друга, но общий корень у них один — это любовь, которая в своём прямом и чистом виде обнаруживает себя в отречении, непротивлении насилую. Ахимса — вот слово, которое выражает то, как на самом деле всё устроено и должно быть устроено в мире, а все виды насилия в общественной жизни и в истории — «нарушения равномерной работы этих сил любви» (*Там же. С. 95*).

Толстой полностью согласен с Ганди, что любовь есть истина, которая всем очевидна, она — «единственный закон жизни человеческой, и это в глубине души знает и чувствует каждый человек (как это мы яснее видим на детях)» (82, 137).

* * * * *

Толстой считает непротивление насилею точным и неискажённым выражением любви. Ганди тоже пришёл к тому, что поставил знак равенства между пассивным сопротивлением и силой любви, введя для этого специальное понятие *сатьяграха*. Любовь как основной закон жизни означает, что духовная сила превосходит физическое принуждение и страх смерти, органически связана с самопожертвованием. И закон этот находится внутри каждого как знак его божественного происхождения, его надо найти в самом себе и руководствоваться им. Толстой в письме к Ганди приводит реальный пример девушки с женских курсов, которая на экзамене на вопрос архиерея о том, всегда ли, во всех ли случаях Законом Божиим запрещается убийство, ответила не так, как её учили, что, мол, убийство разрешено на войне и при казнях преступников, а сказала: всегда. И несмотря на все доводы и софистические ухищрения экзаменатора, девушка твёрдо стояла на своём, что убийство всегда, как и всякое зло против другого человека, является грехом. И архиерей вынужден был замолчать, девушка осталась моральной победительницей. И вопрос не в том, чтобы человек мобилизовал доводы в пользу любви и ненасилия, — они очевидны любому разумному человеку, — а в том, чтобы решиться следовать голосу своей совести.

Как считали Толстой и Ганди, любовь (ненасилие, *сатьяграха*) никак не сводится к усвоению определённых знаний и представлений, она представляет собой не то, что говорят и должны делать другие, а то, что делать *мне* самому, в чём состоит *моё* собственное нравственное совершенствование. Как пишет Толстой, он ошибался, когда думал, что следует стремиться исправить жизнь других, вместо того, чтобы «отречься от сознания своей правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и признать себя виноватым» (25, 392). Эту же ключевую мысль *сатьяграхи* выражает Ганди: «метод обеспечения прав путём личных страданий» (*Gandhi M.K. Indian Home Rule. P. 96*). Закон любви мы, люди, находим каждый в самом себе. Он уходит в бесконечность нравственного совершенствования. Мы не можем сказать, куда он идёт, но мы знаем, с чего он начинается.

Первый шаг начинается с управления собственным телом, с целомудрия в самом широком значении слова, начиная с вегетарианства

и умеренности в пище и кончая подавлением похотей. Толстой и Ганди соглашались в понимании этого вопроса. Интересно отметить, по вопросам вегетарианства они оба оказались (разумеется, не зная об этом) под влиянием одной и той же книги Х. Уильямса «Этика пищи» (The Ethic of Diet by Howard Williams, 1883 г., на русский язык переведена в 1893 г.): Ганди увлекался ею в Лондоне, когда сделал выбор в пользу вегетарианства. Толстой в 1891 в качестве предисловия для русского издания этой книги подготовил развёрнутую статью «Первая ступень». Ганди пошёл намного дальше, и возможно, был последовательней, чем Толстой, в деле эксперимента над своим телом: он уделял телу больше внимания, чем временному прибежищу души. Особо показателен его успешный эксперимент, широко известный как *брахмачирья*. Ганди считал, что единственное назначение полового инстинкта состоит в рождении детей, и в 37 лет, когда у него уже было трое сыновей, получив согласие жены, взял обет отказаться от половой жизни и не только безукоризненно следовал ему, но благодаря особому режиму питания и упражнению тела добился того, что в 1880-х и до середины 1890-х годов Лев Николаевич счёл бы для себя великим счастьем: исчезновения, как такового, полового влечения к самкам его вида.

Толстой и Ганди не считали себя ни праведниками, ни святыми. Скорее, наоборот: каждый из них сознаёт своё принципиальное человеческое несовершенство. И именно поэтому они считали себя недостойными судить других. Их автобиографические рассказы — истории собственных прегрешений, в них нет ничего героического, ничего, что делает честь человеку. Они рассматривают свои жизни как индивидуальные случаи, а не как частные проявления человека вообще. Им достаточно того, что они, каждый по-своему, знают своё глубокое несовершенство и руководствуются этим, даже если предложить, что они представляют собой худшие человеческие экземпляры. Они ориентируются не на общие каноны, которых придерживаются люди, а на внутренний моральный закон, который каждый находит в себе, подобно тому как каждый находит в своей груди бьющееся сердце.

Если в жизни и словах Толстого и Ганди заключён некий урок, то он заключён совсем не в гуманизме, даже не в ненасилии или пацифизме. Они учат, что человек живёт не себя, а для Бога, вернее, живёт не ради своего животного благополучия, а ради того божественного, что есть в нём — ради самоотвержения. Толстого и Ганди роднит не только моральное убеждение в непротивлении насилию, но и понимание того, что это убеждение есть выражение божественного

в жизни. Разумное самоограничение, именно пост и половое воздержание — являются лишь первым шагом, *первой ступенью* на этом пути.

Первый шаг задаёт направление, за ним следуют другие, непротивление злу разворачивается в целостный образ жизни. Учения Толстого и Ганди поражают совпадением основных добродетелей: это действительно удивительно для людей столь разных биографий, семейных традиций, среды, национальных и религиозных традиций, интеллектуальных влияний, и сам по себе факт такого совпадения может рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу той истины, которую они свидетельствуют.

Для человека «всемирного, божеского» жизнепонимания, в котором чудесно сошлись Толстой и Ганди, существует зло насилия, так как самим фактом животной жизни он погружён в атмосферу насилия, но для него не существует «злодеев», так как сама жизнь в её духовной изначальности является любовью, ненасилием. Поэтому, став на путь непротивления, каждый индивид вступает в бой с самим собой, ожесточает своё сердце против проникающего в него зла, открывает сердце всем братьям и протягивает им руку. Если бы для Толстого кто-то был злодеем, то это был бы русский царь Николай II. Но он пишет ему письмо, обращаясь: «Любезный брат». Если бы для Ганди во время Второй мировой войны кто-то был злодеем, то это был бы Гитлер. Но он начинает своё письмо ему словами: «Дорогой друг», и во втором письме, как бы полемизируя с теми, кто был недоволен, что он так обратился к нему в первом письме, добавляет, что такое обращение не является для него пустой формальностью.

У Толстого развёрнута глубокая критика, охватывающая едва ли не все стороны общественной жизни (политическое устройство, экономику, науку, искусство, судебную систему, деньги и др.). Ганди также не оставляет от Запада, как говорится, камня на камне, доходя до отрицания даже машин, учителей, врачей, судей. Оставляя в стороне этот вопрос, требующий самостоятельного исследования, хотелось бы только сказать, что основной пафос критики обоих мыслителей является моральным. Современной цивилизации они отказывают в историческом праве на существование по следующим основным причинам: она вся замешана на материальном благополучии, поклонении Маммоне: все её институты имеют по отношению к человеку внешний отчуждённый характер: её несущей конструкцией является насилие. Толстой и Ганди просто последовательны как мыслители и честны как люди: или закон любви, или закон насилия.

Сопоставляя учение Ганди с христианским проповеданием Льва Николаевича Толстого, правильней говорить не о верном ученике, и не об отличиях, разных подходах, а о дальнейшем развитии. Ганди распространил идею ненасилия на область общественной жизни. Он разработал гениальную стратегию и тактику ненасильственной борьбы за национальное освобождение, взяв за основу нравственно-религиозное учение Толстого.

КОНЕЦ ДЕСЯТОЙ ГЛАВЫ

Прибавление

Лев Николаевич Толстой ПИСЬМО К ИНДУСҪУ

Всё, что существует, едино:
люди только называют это единое разными именами.

Веды.

Бог есть любовь;
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.

1-ое Посл. Иоанна.

Бог есть одно целое; мы только части его.

Изложение учения Вед Вивекананды.

I

Не ищи спокойствия, отдыха в той земной области,
которая порождает рассуждения и желания,
потому что, если будешь искать этого там,
ты будешь влеком через пустыню жизни, чуждой мне.

Когда ты почувствуешь, что ноги твои путаются в свившихся корнях жизни,
знай, что ты сбился с того пути, на который я призывал тебя,
потому что я поставил тебя на пути широком, лёгком, усыпанном цветами,
и дал свет, за которым ты всегда можешь идти и следуя которому никогда не споткнёшься.

Кришна.

Получил ваше письмо и два номера журнала. И то и другое мне было в высшей степени интересно, так как угнетение и неизбежно вытекающее из этого развращение одних людей другими, малым числом большого числа, есть явление, всегда занимавшее и особенно живо занимающее меня последнее время. Постараюсь высказать вам то, что я думаю об этом вообще и в частности по отношению к тем причинам, вследствие которых произошли и происходят те страшные бедствия, о которых вы говорите в вашем письме и говорится в присланных вами мне номерах индийского журнала.

Причины, по которым происходит то удивительное явление, что большинство трудящегося народа подчиняется кучке праздных людей, распоряжающихся не только трудами, но и жизнью большинства, всегда и везде одни и те же, как там, где угнетаемые и угнетённые принадлежат к одному и тому же народу, так и там, где, как это происходит в Индии и в других странах, угнетатели принадлежат к иной, чем угнетённые, нации. В Индии это кажется особенно странным, так как здесь более чем 200-миллионный, высокообразованный и духовными и телесными силами народ находится во власти совершенно чуждого ему небольшого кружка людей, стоящих в религиозно-нравственном отношении неизмеримо ниже тех людей, над которыми они властвуют. Причины эти, как это видно из вашего письма и из статей «Free Hindusthan», и из весьма интересных сочинении индусского писателя Свами Вивекананды и других, состоят в том же, в чём причины бедствий всех народов нашего времени: в отсутствии разумного религиозного учения, которое, одинаково уясняя людям смысл их существования, определяло бы и высший закон, долженствующий руководить их поступками, и в замене и того и другого теми, более чем сомнительными положениями, ложной религии и ложной науки и вытекающими из того и другого безнравственными выводами, называемыми цивилизацией.

Как видно из вашего письма и из статей не только «Free Hindusthan», но и из всей политической индийской литературы нового времени, большинство руководителей общественного мнения вашего народа, не приписывая уже никакого значения религиозным учениям, которые исповедовались и исповедуются индийским народом, видят единственную возможность избавления этого народа от претерпеваемого им угнетения в приобщении его к тем антирелигиозным и глубоко безнравственным формам общественного устройства, в которых живут теперь английские и другие мнимо-христианские народы. Ничто очевиднее этого стремления внушить индус-

скому народу усвоение форм жизни европейских народов не показывает в теперешних руководителях индусского народа полного отсутствия религиозного сознания. А между тем в этом отсутствии религиозного сознания и вытекающего из него руководства поведения, — отсутствии, общем в наше время всем народам и запада и востока, от Японии до Англии и Америки, и заключается главная, если не единственная причина порабощения индусского народа англичанами.

II

О вы, видящие бедствия над вашими главами
и под вашими ногами и справа и слева!
Вечно вы будете загадкой для самих себя,
пока не сделаетесь смиренными и радостными, как ребёнок.
Тогда признаете меня, и, познавши меня в себе, вы будете управлять мирами
и, глядя из великого мира внутри себя на малый мир вне себя,
вы будете благословлять всё, что есть,
и будете знать, что всё хорошо и в вас и вне вас.

Кришна.

Для того, чтобы уяснить мою мысль, должен начать немного изда- лека.

Как жило человечество за миллионы, хотя бы десятки тысяч лет тому назад, мы не знаем и не можем (смело скажу, и не нуждаемся) знать; но то, что человечество с тех пор, как мы что-нибудь знаем о нём, всегда жило отдельными соединениями семей, родов, народов, в которых большинство покорно и охотно, считая это неизбежно необходимым, подчинялось насилию одного или нескольких лиц, самого малого меньшинства, это мы верно знаем. Такое устройство жизни людей, несмотря на внешнее разнообразие событий и лиц, проявлялось одинаково во всех народах, о прежней жизни которых мы что-нибудь знаем. И такое устройство жизни, чем дальше назад, тем больше считалось как властвующими, так и подвластными необходимым условием возможности согласного сожития людей между собою.

Так это происходило везде.

Но, несмотря на то, что такое устройство жизни в своих внешних формах продолжалось веками, продолжается и теперь, ещё очень давно, за тысячи лет до нашего времени, среди держащегося на насилии устройства жизни, была высказываема в различные времена, среди различных народов одна и та же мысль о том, что в каждом отдельном человеке проявляется одно и то же духовное

начало, дающее жизнь всему существующему, и что это-то духовное начало стремится к единению со всем однородным ему и достигает этого единения любовью. Мысль эта в разных формах и с большей или меньшей полнотой и ясностью выражалась в разные времена и в разных местах. Выражалась она и в браманизме, и в еврействе, и в маздеизме (учение Зороастра), и в буддизме, и в таосизме, и в конфуцианстве, и в писаниях греческих и римских мудрецов, и в христианстве, и в магометанстве. Уже то одно, что мысль эта, одна и та же, высказывалась среди самых различных народов и в различное время, показывает то, что мысль эта была свойственна человеческой природе и заключала в себе истину. Но истина эта, провозглашавшаяся среди людей, считавших возможным соединить людей в общества только посредством употребления насилия одних над другими, была так несогласна с существующим устройством и, кроме того, была выражаема первое время своего появления так отрывочно и неясно, что люди, хотя отвлечённо и признавали её, не могли принять её как обязательное руководство поведения. Кроме того, со всеми выражениями этой истины, по мере того, как она высказывалась среди основанного на насилии устройства жизни людей, происходило одно и то же, а именно то, что люди, пользовавшиеся выгодами власти, чувствуя то, что признание людьми этой истины разрушало их положение, отчасти сознательно, отчасти бессознательно, как могли, извращали истину, одевая её самыми чуждыми ей прибавлениями, толкованиями и, кроме того, прямым насилием противодействовали её распространению. Так что свойственная человеческой природе истина о том, что жизнь человеческая должна быть руководима тем духовным началом, которое составляет основу жизни человеческой и проявляется любовью, для того, чтобы войти в сознание людей, должна была, кроме своей неясности выражения, бороться ещё с умышленными и неумышленными извращениями её, а также и с прямым насилием, заставлявшим людей наказаниями и гонениями признавать установленное властью понимание религиозного закона, противное открытой истине. Такое извращение и затемнение новой, не доведённой ещё до полной ясности истины происходило везде: и в конфуцианстве, и в таосизме, и в буддизме, и в христианстве, и в магометанстве, и в вашем браманизме.

III

Моя рука рассеяла любовь повсюду, предлагая её тем, кто хочет взять её.
Благо дано всем моим детям, но часто в своей слепоте они не видят его.
Только немногие поднимают те дары, которые в изобилии лежат у их ног,

но ещё больше тех людей, которые в своём самодовольном легкомыслии отворачиваются от них и с плачем жалуются на то, что у них нет того, что я дал им. Многие из них отрицают не только дары мои, но и меня. Меня, источника всех благ, творца их жизни.

Кришна.

О, остановись, хоть на время, от суеты и борьбы мира,
и я украшу твою жизнь любовью и радостью,
потому что свет души — это любовь.
Там, где есть любовь, есть довольство и мир,
а где есть довольство и мир, там и я среди них.

Кришна.

Решение безгрешного состоит в том, чтобы не причинять печали другим,
хотя бы он мог через это получить великую власть.
Решение безгрешного в том, чтобы не делать зла тем, кто сделал ему зло.
Если человек заставит страдать даже тех, которые без причины ненавидят его,
он в конце концов будет иметь неустранимую печаль.
Наказание делающим зло состоит в том, чтобы сделанным им великим добром
заставить их устыдиться своих дел.
Какая польза в учёности того, кто не старается избавить от страданий своего ближнего
столько же, как и самого себя.
Если человек поутру хочет сделать зло другому, ввечеру зло посетит его.

Индийский Кюрал.

Так это происходило везде. Везде истина о том, что любовь есть высшее нравственное чувство, не отвергалась и не опровергалась, но везде так искусно соединялась с таким количеством самой разнообразной лжи, извращающей её, что от признания любви высшим нравственным чувством ничего не оставалось, кроме слов. Внушалось то, что это высшее нравственное чувство применимо только для личной жизни, годно, так сказать, для домашнего обихода, для общественной же жизни признавалось необходимым для блага большинства людей употребление против злых людей всякого рода насилия, тюрем, казней, войн, поступков, прямо противоположных самому слабому чувству любви. Несмотря на то, что здравый смысл говорил то, что, если одни люди могут быть решителями того, каких людей надо подвергать всякого рода насилиям ради предполагаемого блага многих, то и эти некоторые люди могли решать то же самое по отношению тех, кто их подвергал насилию, несмотря и на то, что великие религиозные учителя — и браминские, и буддийские, и в особенности христианские, предвидя это извращение закона любви, прямо указывали на неизбежное условие любви: перенесение

обид, оскорблений, всякого рода насилий без противления злу злом, люди продолжали признавать несовместимое: благодетельность любви и, вместе с тем, противление злу насилием, прямо противоположное любви. И такие учения, несмотря на явное заключающееся в них противоречие, так укоренились, что люди, признавая благодетельность любви, признают вместе с тем и законность устройства жизни, основанного на насилии, включающем нанесение одними людьми другим не только истязаний, но и смерти.

Люди долгое время жили в этом явном противоречии, не замечая его. Но пришло время, когда противоречие это всё чаще и чаще стало поражать мыслящих людей разных народов. И древняя простая истина о том, что людям свойственно помогать и любить, а не мучить и убивать друг друга, всё более и более стала выясняться, и всё менее и менее могли люди верить в те лжетолкования, которыми оправдывались отступления от неё.

В старинные времена главным средством оправдания употребления насилия, противного любви, было признание особенных, сверхъестественных прав за так называемыми государями, царями, султанами, раджами, шахами и т. п. главами государств. Но чем дольше жили люди, тем всё больше и больше стала ослабевать вера в особенные, освящённые Богом права государей. Ослабевала эта вера одинаково и почти одновременно и в христианском, и в браминском, и в буддийском, и в конфуцианском мире, а в последнее время уже так ослабела, что не могла уже служить, как прежде, оправданием поступков, явно противных и здравому смыслу и истинному религиозному чувству. Люди всё яснее и яснее и уже теперь в большинстве вполне ясно видят бессмысленность и безнравственность подчинения своей воли воле таких же, как они, людей, требующих от них поступков, противных не только их выгоде, но и нравственному чувству. И потому, казалось бы, естественно людям, потеряв веру в поддерживаемую религией божественность власти всякого рода властителей, освободиться от подчинения ей. Но, к сожалению, выгодами властвования над народами пользовались не одни эти считавшиеся сверхъестественными существами государи, но везде вследствие существования этих мнимо-сверхъестественных существ образовалось в продолжение их царствования всё большее и большее количество людей, пристраивавшихся к властителям и, под видом управления народом, живших его трудами. И вот эти-то люди позаботились о том, чтобы по мере того, как ослабевал старый религиозный обман о сверхъестественном и самим Богом определённом властво-

вании государей, выросла такой новый обман, который мог бы, заменив старый, продолжать так же, как и старый, держать народы в рабстве немногих властителей.

IV

Хотите знать, дети, чем должны быть руководимы сердца ваши? Оставьте ваши желания и стремления к тому, что ничтожно и пусто; откиньте ваши невежественные мысли о счастье, о мудрости, о пустых и неискренних желаниях. Откиньте всё это, и вы познаете любовь.

Кришна.

Не будьте уничтожателями самих себя. Поднимитесь к вашему истинному я, поднимитесь до него, и тогда вам нечего бояться.

Кришна.

На место устарелых, отживших религиозных оправданий явились новые. Оправдания эти так же неосновательны, как и прежние, но они ещё новы, так что несостоятельность их ещё не сразу может быть признана большинством, и, кроме того, люди, пользующиеся властью, так искусно распространяют и поддерживают их, что оправдания эти многим, даже тем, которые страдают от того, что они оправдывают, кажутся неопровержимыми. Новые оправдания эти называются научными. Под словом же «научное» понимается то же самое, что разумелось под словом «религиозное», а именно то, что так же, как всё то, что называлось религией, уже по одному тому, что называлось религией, всегда было несомненно истинно, так точно и всё то, что называется наукой, уже по одному тому, что оно называется наукой, всегда несомненно истинно. Так в данном случае отжившее религиозное оправдание насилия, заключавшееся в признании особенности, сверхъестественности лиц, стоящих во власти и утверждаемых во власти Богом («нет власти не от Бога»), заменилось научным оправданием, заключающимся, во-первых, в том, что всегдашнее существование среди людей насилия одних людей над другими доказывает то, что такое насилие должно всегда существовать. В этом, то есть в том, что люди должны жить не согласно с разумом и с совестью, а с тем, что долгое время происходило между ними, — в этом состоит то, что «наукой» называется «историческим законом». Второе же «научное» оправдание насилия состоит в том, что так как среди растений и животных происходит борьба за существование, оканчивающаяся всегда переживанием наиболее приспособленных, то эта же самая борьба должна происходить и между

людьми, существами, одарёнными свойствами разума и любви, — свойствами, отсутствующими у существ, подчиняющихся закону борьбы и отбора. В этом другом «научное» оправдание насилия.

Третье же, самое главное и самое, к сожалению, распространённое научное оправдание насилия есть, в сущности, самое старое религиозное оправдание, только несколько видоизменённое, состоящее в том, что, так как в общественной жизни бывает неизбежно необходимо употребление насилия против некоторых для блага многих, то, как ни желательна любовь людей между собою, насилие всё-таки необходимо. Отличие оправдания насилия лженаукой от оправдания лжерелигией состоит только в том, что на вопрос о том, почему те, а не другие люди имеют право определять, кто именно те люди, против которых может и должно быть употреблено насилие, наука отвечает уже не то, что отвечала религия: что определения эти справедливы потому, что делаются лицами, имеющими сверхъестественную власть, а то, что определения эти представляют волю народа, которая будто бы при избирательном образе правления выражается во всех решениях и поступках людей, в данную минуту находящихся во власти.

Таковы научные оправдания насилий. Оправдания эти не только неосновательны, но прямо нелепы, но они так нужны людям, занимающим привилегированное положение, что они слепо верят в них, как прежде верили в бессеменное зачатие, и так же уверенно распространяют эту веру.

Несчастное же, задавленное трудом большинство так ослеплено той важностью, с которой передаются ему эти «научные истины», что, находясь под этим новым внушением, принимают, так же, как прежде принимали лжерелигиозные оправдания, все эти научные глупости за священную истину и продолжают рабски подчиняться своим новым, столь же жестоким, только несколько увеличившимся по численности властителям.

V

Кто я? Я то, чего ты искал с тех пор, как твой детский взгляд с удивлением смотрел на мир, пределы которого скрывают от тебя истинную жизнь.

Я то, о чем ты молил в своём сердце, чего ты требовал, как право своего рождения,

хотя и не знал, что это такое. Я то, что лежало в твоём сердце веками, тысячелетиями.

Иногда я лежало в тебе с печалью о том, что ты не узнаёшь меня.

Иногда я поднимало голову, открывало глаза и простирало руки, призывая тебя,

то тихо, то громко требуя от тебя, чтобы ты возмутился против тех железных цепей земли, которые притягивали тебя к праху.

Кришна.

Так это происходило и происходит в христианском мире. Можно было надеяться, что в огромном брамино-буддийском, конфуцианском мире новое научное суеверие это не будет иметь места, и китайцы, японцы, индусы, поняв ложь религиозных обманов, оправдывающих насилие, прямо перейдут к сознанию свойственного человечеству закона любви, так сильно провозглашённого великими учителями Востока, но оказывается, что научное суеверие, заменившее религиозное, захватило и захватывает всё больше и больше восточные народы. Оно захватило уже с особенной силой и страну крайнего востока, Японию, и, кажется, уже не одних руководителей, но и большинство этого народа, готовя ему величайшие бедствия; захватило и 400-миллионный Китай и вашу 200-миллионную Индию, или, по крайней мере, большинство людей, считающих себя, так же как и вы, руководителями этих народов.

Вы в своём журнале, как основной принцип, долженствующий руководить деятельностью вашего народа, ставите эпиграфом такую мысль: *Resistance to aggression is not simply justifiable, but imperative; not resistance hursst both Altruism and Egoism* (Противодействие нападению не только справедливо, но и обязательно: непотворление вредит одинаково и альтруизму и эгоизму).

Любовь есть единственное средство спасения людей от всех претерпеваемых ими бедствий. В данном случае единственное средство освобождения вашего народа от порабощения только в любви. Любовь, как религиозная основа жизни людей, с особенной силой и ясностью была ещё в далёкой древности провозглашена в вашем народе. Любовь при допущении противления злу насилием есть внутреннее противоречие, так что теряет всякий смысл и значение. И что же? В 20-м веке вы, член одного из самых религиозных народов, с лёгким сердцем и уверенностью в своём научном просвещении и потому несомненной правоте отрицаете этот закон, повторяя ту — простите меня — поразительную глупость, которую внушили вам защитники насилия, враги истины, сначала служители богословия, потом науки, ваши европейские учителя.

Вы говорите, что англичане поработили и держат в порабощении индусов потому, что индусы недостаточно противились и противятся насилию силою.

Но ведь это совершенно наоборот. Если англичане поработили индусов, то только потому, что индусы признавали и признают главными, основными принципами своего общественного устройства насилие. Во имя этого принципа подчинялись своим царькам, во

имя его боролись между собой, боролись с европейцами, с англичанами и теперь стараются бороться с ними.

Торговая компания поработила 200-миллионный народ. Скажите это человеку, свободному от суеверия, он не поймёт, что значат эти слова. Что значит то, что 30 тысяч людей, не силачей, даже скорее слабых и дурных людей, поработили 200 миллионов живых, умных, сильных, любящих свободу людей? Разве не ясно по одним цифрам, что не англичане, а сами индусы поработили себя. Индусам жаловаться на то, что англичане поработили их, всё равно, что людям, предающимся пьянству, жаловаться на то, что поселившиеся среди них продавцы вина поработили их. Вы говорите им, что они могут не пить, но они отвечают вам, что они так привыкли, что не могут воздержаться, что им стало необходимо поддерживать свою энергию вином. Разве не то же самое со всеми людьми, с миллионами людей, покоряющихся тысячам, сотням людей своих или чужих народов.

Если индусы поработены насилем, то только оттого, что они сами жили насилем, живут насилем и не признают вечного, свойственного человечеству закона любви.

«Жалок и невежественен тот человек, который ищет того, что он имеет, но не знает, что имеет его. Да, жалок и невежественен человек, который не знает блага той любви, которая окружает его, которую я дал ему» (Кришна).

Только живи человек согласно с свойственным его сердцу и открытым уже ему законом любви, включающей в себя непротивление, и потому естественно не участвуя в каком бы то ни было насилии, и не только сотни не поработят миллионы, но миллионы не поработят одного. Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит вас.

VI

О вы, сидящие в заключениях и страдающие о свободе и ищущие её, ищите только любви. Любовь есть мир в самом себе, и мир, дающий полное удовлетворение. Я — тот ключ, который отпирает дверь в ту редко открываемую страну, в которой одной живёт довольство.

Кришна.

С человечеством нашего времени, одинаково с восточным, как и с западным, совершается то же, что совершается с каждым отдель-

ным человеком, когда он, переходя от одного возраста в другой (ребёнок в юношу, юноша в мужа), теряет прежнее руководство в жизни и, не уяснив себе ещё нового, свойственного его возрасту, живёт без всякого руководства и придумывает, какие может, суеты, заботы, развлечения, раздражения, одурманивания, которые бы скрыли от него бедственность и бессмысленность его жизни. Такое состояние может продолжаться долго.

Но как при переходе одного человека от одного возраста к другому неизбежно должно наступить время, когда жизнь не может уже продолжаться по-прежнему, в бессмысленной суеде и раздражении, и человек должен понять, что если прежнее руководство жизни уже несвойственно ему, то это не значит то, что ему надо жить без всякого разумного руководства в жизни, а только то, что надо постараться уяснить себе то понимание жизни, которое свойственно его возрасту, и, уяснив его, руководствоваться им в своём новом возрасте. Точно такие же времена должны наступать и для движущегося и изменяющегося человечества.

И я думаю, что время такого перехода человечества от одного возраста к другому наступило теперь, и теперь не в том смысле, что оно наступило именно в 1908 году, а в том, что то внутреннее противоречие жизни людей: сознания благодетельности закона любви и устройства жизни на противном закону любви насилии, вызвавшее бессмысленную, раздражённую, суебливую и страдальческую жизнь человечества, продолжавшееся столетия, в наше время дошло до того напряжения, при котором оно не может уже более продолжаться и неизбежно должно разрешиться, и разрешиться, очевидно, не в пользу отжившего своё время закона насилия, а в пользу с самых древних времён уже сознаваемой всем человечеством истины о том, что закон жизни людей есть закон любви.

Признание же этой истины во всём её значении возможно для людей только тогда, когда они вполне освободятся от всех, как религиозных, так и научных, суеверий и вытекающих из них лжетолкований, извращений и нагромождений, посредством которых столько веков она скрывалась от человечества.

Для того, чтобы спасти тонущий корабль, надо выбросить из него тот балласт, который если и был, может быть, когда-нибудь нужен, теперь губит его. То же и с религиозными и научными суевериями, скрывающими от людей спасительную для них истину. Для того, чтобы люди могли воспринять истину уже не так смутно, как она представлялась им в период их детства, и не так односторонне и превратно, как она истолковывалась для них религиозными и научными учителями, а так, чтобы она стала высшим законом жизни

людей, для этого нужно полное освобождение этой истины от всех, всех тех суеверий, как лжерелигиозных, так и лженаучных, которые теперь скрывают её, освобождение не частичное, робкое, считающееся с освящённым древностью преданием, с привычками народа, такое, какое в области религиозной сделано у вас Гуру Нанака, основателем религии сейков, а в христианстве Лютером и такими же реформаторами в других религиях, а полное освобождение религиозной истины от всех, как древних религиозных, так и новых научных, суеверий.

Только освободи себя люди от верования в разных ормуздов, брам, саваофов, в воплощения их в кришнах и христах, от верований в рай и ад, ангелов и демонов, от перевоплощений и воскресений, от вмешательства Бога во внешнюю земную жизнь; освободи себя, главное, от признания непогрешимости разных вед, библий, евангелий, трипитак, коранов и т. п.; освободи себя люди точно так же и от слепого верования в разные научные учения о бесконечно малых атомах, молекулах, о разных бесконечно великих и бесконечно удалённых мирах, их движениях и происхождении их, силах, от слепой веры в несомненность разных научных мнимых законов, которым будто бы подчинено человечество, — законов исторических, экономических, законов борьбы и переживания и т. п.; освободи себя только люди от этого страшного нагромождения праздных упражнений низших способностей ума и памяти, называемых науками, от всех этих бесчисленных отделов разных историй, антропологий, гомилетик, бактериологий, юриспруденций, космографий, стратегий, им же имя легион, — только освободись люди от этого губительного, одуряющего их балласта, и тот простой, ясный, доступный всем и разрешающий все вопросы и недоумения закон любви, который так свойственен человечеству, станет сам собой ясным и обязательным.

VII

Дети, смотрите на цветы под вашими ногами, не топчите их.
Смотрите на любовь между вами, не отвергайте её.

Кришна.

Есть один высший разум, превосходящий все человеческие умы.
Он далёк и близок. Он проникает все миры и вместе с тем до бесконечности выше их.

Человек, который видит, что все вещи содержатся в высшем духе
и что высший дух проникает все существа, не может относиться с презрением ни к какому существу.

Для того, для кого все духовные существа одинаковы с высшим,
не может быть места для обмана или для печали.

Те, кто невежественны, преданы одним обрядам религии, находятся в густом мраке,

но те, кто преданы только бесплодным размышлениям, находятся в ещё большей темноте.

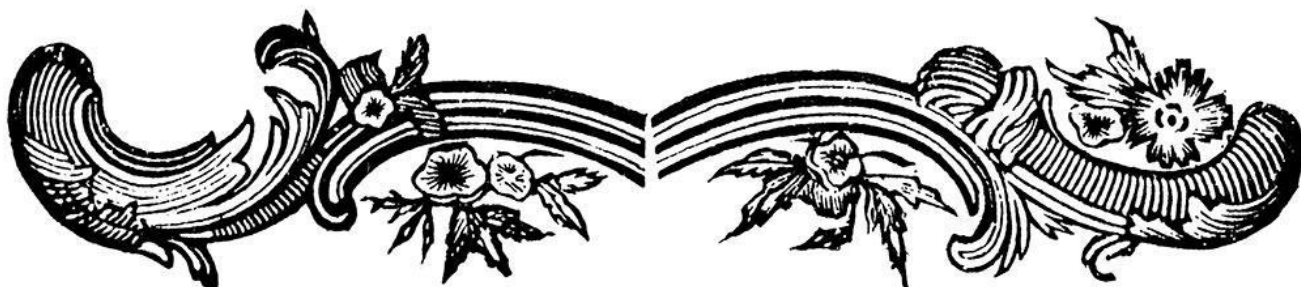
Упанишиады из Вед.

Да, в наше время людям для избавления себя от наносимых ими самим себе, дошедших до высшей степени бедствий: индусу ли, ищущему своего освобождения от английского порабощения, или какому бы то ни было человеку в борьбе его с насильниками, будут ли эти насильники люди своего или чужого народа, в борьбе или негра с северо-американцами, или персиянина, русского, турка со своим персидским, русским, турецким правительством, как и вообще для каждого человека, ищущего наибольшего блага как для себя, так и для всех людей, нужны не новые объяснения и оправдания старых религиозных суеверий, как это делали у вас Вивекананды, Баба-Барати и другие, и у нас, в христианстве, бесчисленное количество таких же новых толкователей и разъяснителей того, что никому ни на что не нужно; и не бесчисленные науки о предметах не только никому не нужных, но большею частью вредных (в духовной области не бывает безразличного, а то, что не полезно, всегда вредно). Нужны как индусу, так и англичанину, и французу, и немцу, и русскому не конституции, не революции, не какие-либо конференции, не конгрессы, не новые хитрые изобретения подводного плавания, воздушного летания, могущественных взрывов или различного рода удобств для удовольствия богатых, властвующих классов, не новые училища, университеты с преподаванием бесчисленных наук, не увеличение газет и книг, и граммофонов, и кинематографов, не те ребяческие, большею частью развратные глупости, которые называются искусствами, а нужно только одно: знание той простой, ясной, укладывающейся в душе каждого человека, не одурённого религиозными и научными суевериями, истины о том, что закон жизни человеческой есть закон любви, дающий высшее благо как отдельному человеку, так и всему человечеству. Только освободись люди в сознании своём от тех гор чепухи, которые скрывают теперь от них истину, и та, несомненно вечная, всегда свойственная всем людям истина, которая одна и та же во всех великих религиях мира, сама собой выделится из всей той лжерелигиозной чепухи, которая теперь скрывает её. А выделится эта истина так, что войдёт в сознание людей, и сама собой исчезнет вся та чепуха, которая скрывает её, и вместе с ней и то зло, от которого теперь страдает человечество.

«Дети, взгляните вверх своими ослеплёнными глазами, и мир, полный радости и любви, откроется вам, разумный мир, сделанный

моей мудростью, один мир действительный. Тогда вы узнаете, что любовь сделала с вами, чем наградила вас любовь и чего она от вас хочет» (Кришна).

14 дек. 1908.



И н т е р л ю д и я

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ И СОБОЙ: Солдат Шавунин (Год 1908-й).

Теперь необходимо ненадолго разорвать рамки хронологии нашего исследования, и возвратиться в 1886 и 1889 годы, и, более того, от них совершить “прыжок” в ещё значительно отдалённое прошлое — в год 1866-й. Ибо к этим годам относятся любопытные эпизоды в биографии Л. Н. Толстого, без сомнения для нас, послужившие катализаторами его антивоенных настроений писателя и публициста. Мы бы назвали их «встречами с прошлым», или даже: встречами Толстого с самим собой — каким он был в прошедшем... О двух из них мы уже рассказали читателю выше: это встреча весной 1886 года в пути со старым николаевским солдатом, вспомнившим то самое бесправие солдат, от которого гневно, но бессильно желал защитить их молодой автор «Проекта о реформировании армии». Второй встречей был, конечно же, севастопольский сослуживец Ершов. Встреча, как мог видеть читатель, была не без приятности для Толстого, утвердившегося к концу 1880-х в религиозном неприятии даже тех исторических военных событий, в которых в молодости поучаствовал он сам.

Но у всякого в потаённом шкафу души хранятся свои скелетики. В том же 1889 году случилась ещё одна встреча, пробудившая в Толстом целый рой воспоминаний — но на этот раз не пчелиный, а, скорее, *осиный* рой: очень-очень неприятный для Льва Николаевича.

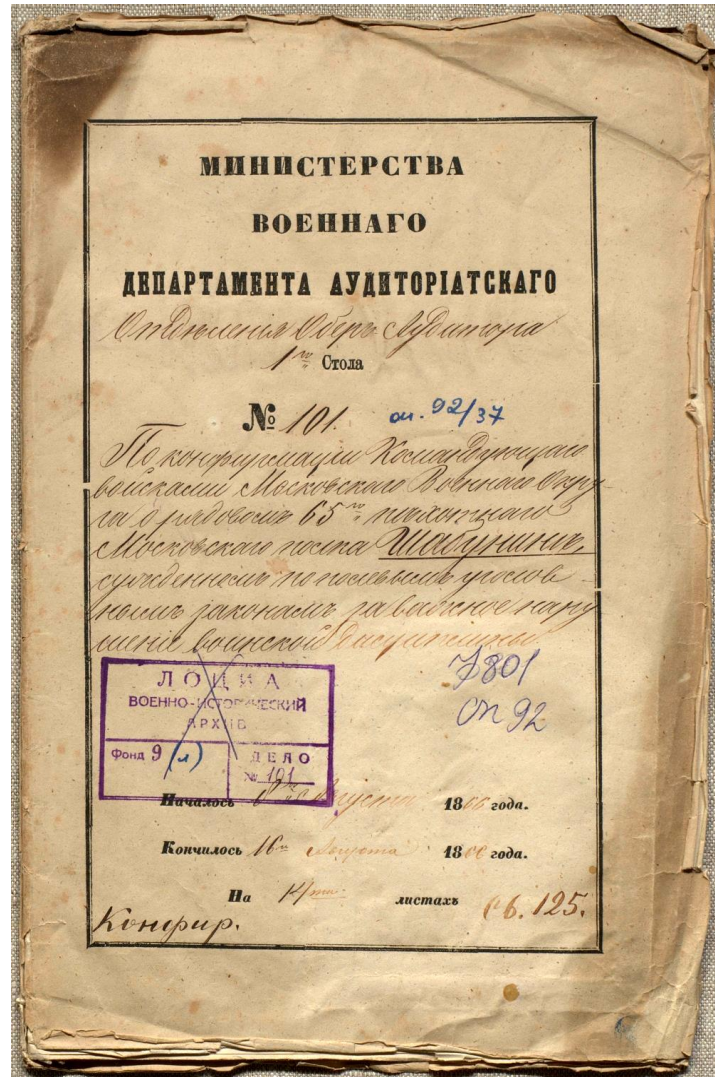
Неприятный настолько, что о подробностях встречи и связанных с нею событий далёкого 1866 года лишь через много лет, не без труда, Толстого удалось выпросить одному Павлу Бирюкову, особо приближённому другу и биографу...

Одним из главных «камней преткновения», делавших позицию как Толстого-гуманиста 1860 – 1870-х гг., так и Толстого-христианина 1880 – 1900-х совершенно непримиримой, было то антихристово *лукавство*, с которым в России, и именно в близкой Толстому военно-служилой среде, производились в отношении провинившихся солдат смертные казни — даже часто формально, по законам, запрещённые, но фактически применявшиеся в разнообразных «экстраординарных» случаях или по «особым» законам.

Именно таким случаем было осуждение и казнь в 1866 г. солдата пехотного полка, расположенного близ Ясной Поляны *Василия Николаевича Шабунина* (1841 или 1842 – 9 августа 1866, Новая Колпна, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Российская империя) не выдержавшего преднамеренных, расчётливых издевательств над собой офицера.

Это случилось летом 1866 года, в условиях очень специфической внутривнутриполитической обстановки. На всероссийском престоле двенадцатый год восседал Александр II, недавно, 4 апреля, переживший первое покушение на свою жизнь. Надежда и проклятие царя-реформатора, 50-летний генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич Милютин (1816 — 1912) был молодым военным министром. В эти дни в Петербурге сплотилась и активизировалась "аристократическая" оппозиция Великим реформам, жаждущая добиться отставки «красного» министра. Люди *благочестивые*, потеряв надежду на возможность бесконфликтного движения империи по пути прогресса, задумались над проклятым вопросом: «Возможно ли управлять русским крестьянином и русским солдатом без палки?»

6 июня 1866 г. рядовой 2-й роты 1-го батальона 65-го пехотного Московского полка Василий Шабунин нанёс удар в лицо своему ротному командиру, говоря при этом: «Я тебе дам» (*РГВИА. Ф. 801. Главное военно-судное управление. Оп. 92/37. Д. 101. Св. 1549. 1866 г. 1 ст. Л. 5*).



Военно-судное дело рядового В. Н. Шабунина.

РГВИА

Это было чрезвычайное происшествие! На Георгиевское знамя полка с надписью «За Севастополь в 1854 и 1855 гг.» легло пятно позора. Скандал невозможно было замять, ибо капитан получил смачных пиздюлей (оплеуху и зуботычину), от которых у него пошла кровь, при четырёх свидетелях: фельдфебеле Бобылёве, рядовом Степане Мясине и двух хозяйках дома, где помещалась ротная канцелярия, Палагее и Анне Шептатовых (Там же. Л. 13). И командир полка незамедлительно донёс об этом командующему войсками Московского военного округа генерал-адъютанту Александру Ивановичу фон Гильденштуббе (нем. Magnus Alexander Ludwig von Guldenstubbe; 1800 – 1884), а тот в свою очередь 15 июня отправил рапорт за № 5935 военному министру.

Но пока рапорт готовился, да потом совершал неблизкий путь из окружного штаба в Петербург, совершились события, сделавшие это не приметное в масштабах империи событие — историческим.

Через много лет о них вспомнил один из косвенных участников, захотевший тем не менее предать вспомняемые им подробности гласности и общественному мнению. Это был *Николай Петрович Овсянников* (1848 – ?), помещик Венёвского уезда Тульской губ., а в 1866 г. юнкер того самого полка, в котором служил солдат Шабунин. Он познакомился с Толстым 13 апреля 1889 г. когда навестил Льва Николаевича в его московской усадьбе в Хамовниках, дабы переговорить по поводу печатания уже написанных им воспоминаний о суде над рядовым Василием Шабунинным. Известны и два письма Николая Петровича Толстому от 3 и 15 апреля 1889 г., в которых Овсянников просил разрешить напечатать свои воспоминания о суде над Шабунинным и подтвердить правильность рассказа. Толстой ответил ему 16 апреля следующим кратким письмом:

«Очень сожалею, что никак не могу исполнить вашего желания; как я вам говорил *<при личной встрече 13-го апреля 1889 г. – Р. А.>*, я всю свою жизнь по отношению к писаниям обо мне, к переводам, извлечениям и т. п. поступал всегда одинаково: ничего не запрещал и не разрешал. Иначе я никак не могу поступить и по отношению к вашей статье. Пожалуйста, не сердитесь на меня за это. Право, мне невозможно иначе.

Ваш Л. Толстой» (64, 247).

Итак, Толстой ничего не разрешал и не запрещал Овсянникову, не подтверждал и не опровергал ничего в его сочинении и позднее... что не помешало Овсянникову придать гласности то неприятное, что Толстой много лет желал сокрыть. По счастью, мемуары безвестного юнкера не получили известности, до 1912 года не переиздавались и скоро канули в Лету. Надолго. Но не навсегда. Толстому пришлось вспомнить о них — правда, лишь в отдалённом от времени событии 1908 году, когда личный его биограф, доверенный секретарь, духовный, во Христе, единомышленник и близкий друг Павел Иванович Бирюков, работавший над вторым томом фундаментальной «Биографии Льва Николаевича Толстого», отыскал в газете «Право» за 1903 г. архивную публикацию защитительной речи Л. Н. Толстого на суде над солдатом и сделал автору соответствующий запрос. Ответом стали «Воспоминания о суде над солдатом» (см. 37, 67 – 75), написанные в мае 1908 года в форме письма П. И. Бирюкову.

смертной казни. Оценив по достоинству труды старого тульского приятеля, Лев Николаевич отписал Давыдову 3 мая 1908 г. благодарность с такими словами:

«Очень, очень благодарен вам, милый Николай Васильевич, за полученные мною нынче через П. И. Бирюкова две записки о смертной казни. [...]

Я пишу теперь для моего друга Бирюкова, составляющего мою биографию, воспоминания о моей защите в военном суде солдата, ударившего офицера и за это приговорённого к расстрелянию. Это было так давно, более 40 лет тому назад, что я мог что-нибудь забыть и описать дело не так, как оно происходило. Я просил Бирюкова побывать у вас и, рассказав, как у меня описано, спросить, нет ли в моём описании неверностей.

Простите, что утруждаю вас. Очень вам благодарен. И как бы желал суметь, благодаря вашей помощи, хоть в сохой доле выразить и вызвать в людях ужас и негодование, которые я испытывал, читая вашу записку.

До свиданья, дружески жму руку. Лев Толстой» (78, 130).

А 10 мая того же 1908 года Толстой обратился с запросом к Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу (1826 – 1911), другу молодости, историку, публицисту, редактору журнала «Вестник Европы» — и получил от него необходимые сведения о покойном его брате, Александре Матвеевиче, участнике трагических событий 1866-го (*Там же. С. 139 – 140*).

Жена писателя, Софья Андреевна Толстая припомнила участников драмы в мемуарах, попутно высказав своё несколько жутковатое, болезненно-суицидальное отношение к судьбе Стасюлевича-младшего:

«Посещали нас ещё тогда разные военные. В Ясенках стоял полк, в котором служил наш бывший ранее знакомый Григорий Аполлонович Колокольцов, товарищ по корпусу брату моему Александру Андреевичу. Этот Колокольцов познакомил нас с своим полковым командиром, полковником Юношей и с Стасюлевичем, братом известного Михаила Матвеевича Стасюлевича, редактора «Вестника Европы». Этот несчастный офицер, недавно произведённый, уже не молодой человек, был разжалован в солдаты ещё в молодости за побег арестанта, случившийся во время его караула. Мне очень жаль было этого Стасюлевича, худого, всегда грустного и не помирившегося с несчастьем своей жизни никогда, так как мы узнали впослед-

ствии, что он кончил самоубийством. Надел на себя тяжёлую енотовую шубу и пошёл в глубокую речку. Он сел в шубе на дно реки и захлебнулся до смерти. Вот поразительная сила воли и желание избавиться от неудавшейся жизни» (Толстая С. А. *Моя жизнь*. М., 2014. Т. 1. С. 152).

Александр Матвеевич Стасюлевич, действительно, был разжалован в рядовые с лишением дворянского звания «за неодобрительное поведение и разные противузаконные поступки по отпращиванию должности караульного офицера» (см.: Бобровский П. О. *История 13 лейб-гренадёрского Эриванского его величества полка за 250 лет (1642 — 1892)*. Спб. 1892 – 1897. Т. IV. С. 354). Ко времени второй встречи с Толстым он, конечно, уже выслужил себе заново офицерское звание.

Встреча со «Стасюлевичем» (молодой Толстой так пишет его фамилию) отмечена в Дневнике ещё под 4 ноября 1852 г.:

«Вчера после пульки Стасюлевич, который, как кажется, человек с очень хорошими способностями, рассказывал мне историю своего несчастья» (46, 192).

Эту историю Толстой подробно записывает, передавая, как Стасюлевич поплатился за чужие служебные проступки, из-за которых во время его дежурства из Метехского замка в Тифлисе по ночам выпускались арестанты. «Виновен он или нет? — спрашивает Толстой. — Бог знает, но когда он рассказывал мне (он то прекрасно говорит) своё горе и его жены, я едва сдерживался от слёз» (Цит. по: 3, 313).

Другой великий биограф Толстого, Н. Н. Гусев, в то время личный секретарь Льва Николаевича, вспоминает, как 1 мая 1908 г. Толстой диктовал ему свои, тогда ещё черновые, «Воспоминания о суде над солдатом»:

«Три раза плакал Лев Николаевич во время диктования: первый раз при упоминании о том, что общение с офицером Стасюлевичем, принимавшем участие в этом суде, “было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения”; второй раз после слов: “Я прочёл свою слабую, жалкую речь, которую мне — не скажу странно, но просто стыдно читать теперь. Я тут ссылаюсь на законы, статьи такие-то, такого-то тома, когда речь идёт о жизни и смерти человека”; и третий раз после слов: “Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит тело и душу. И душу эту убили и убивают всё больше и больше”» (Гусев Н.Н. *Два года с Л.Н. Толстым*. М., 1973. С. 148).

Это чистое, искреннее, евангельски-христианское чувство Льва Николаевича и его страстные убеждения в пользу непротивления Христа, против всякого, тем более системно организованного, насилия

или принуждения человека человеком, следует иметь в виду при работе как с его «Воспоминаниями о суде над солдатом», так и с изложениями этих воспоминаний в трудах лучших его биографов и единомышленников во Христе — П. И. Бирюкова и Н. Н. Гусева.

В воспоминания 1908 г. писатель включил и присланную ему накануне Е. И. Поповым выдержку из книги Э. Геккеля «Мировые загадки», в которой смертная казнь оправдывалась с точки зрения естествознания, и развил мысль, записанную в Дневнике 2 мая: «Разве не ясно, какой полный невежда этот профессор Геккель! Каковы же его ученики? Возражать не стоит, возражение в Евангелии, но они не знают его, безнадежно не знают, решив, что они выше его. А если люди так невежественны, что могут по закону убивать, то что же закон? И всё рушится» (56, 126).

Впервые «Воспоминания о суде над солдатом» были опубликованы с цензурными пропусками в книге: П. Бирюков. «Лев Николаевич Толстой. Биография», изд. «Посредник» (1908), полностью – в сб.: «Л. Н. Толстой. “Не могу молчать” и другие статьи о смертной казни», изд. «Единение» (1917).

Статья эта уникальна в нашей теме. Она, во-первых, охватывает громадный временной рубеж: от 1866 года до 1908-го. И, конечно же, в наибольшей степени презентует неприязнь к судам и военщине, к военной среде именно 80-тилетнего старца Толстого. Однако ряд публикаций 1880 – 1890-х гг., на которых мы останавливались в данной книге, позволяют заключить, что та же выраженная неприязнь к нравам и обстановке военной службы в России характеризовала мировоззрение уже и 60-тилетнего писателя. Поэтому мы помещаем толстовские «Воспоминания о суде над солдатом» хронологически именно в конце 1880-х, как запоздалый ответ на расспросы наивного Николая Петровича Овсянникова, не получившего столь же обстоятельный ответ, конечно же, как по той причине, что не был Толстому столь же близок, как друг-биограф и духовный (во Христе) единомышленник Павел Бирюков, так и потому, что, через много лет, сделал участнику драматических событий лета 1866 года довольно-таки больно, напомнив то, что ему совершенно не хотелось вспоминать...



Кроме того, содержательно «Воспоминания» относятся в большей степени к теме «отношений» Л. Н. Толстого с писанным правом и конкретно с нормативами, регулирующими применение смертной казни. Поэтому, не вдаваясь в аналитику, мы лишь приводим ниже полный текст этого недлинного сочинения Л. Н. Толстого. (Везде в тексте, ошибкою памяти, Лев Николаевич даёт имя солдата — Шибунин. Эту ошибку «подхватил» П. И. Бирюков и ряд позднейших биографов.)

ВОСПОМИНАНИЯ О СУДЕ НАД СОЛДАТОМ

Милый друг Павел Иванович

Очень рад исполнить ваше желание и сообщить вам более подробно то, что было передумано и пережито мною в связи с тем случаем моей защиты солдата, о котором вы пишете в своей книге. Слу-

чай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потери или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей.

Расскажу, как всё это было, а потом уже постараюсь высказать те мысли и чувства, которые тогда вызвало во мне это событие и теперь воспоминание о нём.

Чем особенно я занимался и увлекался в это время, я не помню, вы это лучше меня знаете; знаю только, что жил я в это время спокойной, самодовольной и вполне эгоистической жизнью. Летом 1866 года нас <семью Толстого в Ясной Поляне. – Р. А.> посетил совершенно неожиданно Гриша Колокольцов, кадетом ещё ходивший в дом Берсов и знакомый моей жены. Оказалось, что он служил в пехотном полку, расположенном в нашем соседстве. Это был весёлый, добродушный мальчик, особенно занятый в это время своей верховой, казачьей лошадкой, на которой он любил гарцовать, и часто приезжал к нам.

Благодаря ему мы познакомились и с его полковым командиром, полковником Юношей <ударение в фамилии на «О». – Р. А.>, и с разжалованным или отданным в солдаты по политическим делам (не помню) А. М. Стасюлевичем, родным братом известного редактора, служившим в этом же полку. Стасюлевич был уже немолодой человек. Он только недавно из солдат был произведён в прапорщики и поступил в полк к бывшему своему товарищу Юноше, теперь его главному начальнику. И тот и другой, Юноша и Стасюлевич, тоже изредка езжали к нам. Юноша был толстый, румяный, добродушный, холостой ещё человек. Он был один из тех так часто встречающихся людей, в которых человеческого совсем не видно из-за тех условных положений, в которых они находятся и сохранение которых они ставят высшей целью своей жизни. Для полковника Юноши условное положение это было положение полкового командира. Про таких людей, судя по-человечески, нельзя сказать, добрый ли, разумный ли он человек, так как неизвестно ещё, каким бы он был, если стал бы человеком и перестал бы быть полковником, профессором, министром, судьёй, журналистом. Так это было и с полковником Юношей. Он был исполнительный полковой командир, приличный посетитель, но какой он был человек — нельзя было знать. Я думаю, не знал и он сам, да и не интересовался этим. Стасюлевич же был живой человек, хотя и изуродованный с разных сторон, более же всего теми несчастьями и унижениями, которые он, как честолюбивый и самолюбивый человек, тяжело переживал. Так мне каза-

лось, но я недостаточно знал его, чтобы поглубже вникнуть в его душевное состояние. Одно знаю, что общение с ним было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения. Стасюлевича я потом потерял из виду, но недолго после этого, когда полк их стоял уже в другом месте, я узнал, что он без всяких, как говорили, личных причин лишил себя жизни, и сделал это самым странным образом. Он рано утром надел в рукава ваточную тяжёлую шинель и в этой шинели вошёл в реку и утонул, когда дошёл до глубокого места, так как не умел плавать.

Не помню, кто из двух, Колокольцов или Стасюлевич, в один день летом приехав к нам, рассказал про случившееся у них для военных людей самое ужасное и необыкновенное событие: солдат ударил по лицу ротного командира, капитана, академика. Стасюлевич особенно горячо, с сочувствием к участи солдата, которого ожидала, по словам Стасюлевича, смертная казнь, рассказывал про это и предложил мне быть защитником на военном суде солдата.

Должен сказать, что приговоры одними людьми других к смерти и ещё других к совершению этого поступка: смертная казнь, всегда не только возмущала меня, но представлялась мне чем-то невозможным, выдуманым, одним из тех поступков, в совершение которых отказываешься верить, несмотря на то, что знаешь, что поступки эти совершались и совершаются людьми. Смертная казнь, как была, так и осталась для меня одним из тех людских поступков, сведения о совершении которых в действительности не разрушают во мне сознания невозможности их совершения.

Я понимал и понимаю, что под влиянием минуты раздражения, злобы, мести, потери сознания своей человечности человек может убить, защищая близкого человека, даже себя, может под влиянием патриотического, стадного внушения, подвергая себя опасности смерти, участвовать в совокупном убийстве на войне. Но то, чтобы люди спокойно, в полном обладании своих человеческих свойств могли обдуманно признавать необходимость убийства такого же, как они, человека и могли бы заставлять совершать это противное человеческой природе дело других людей — этого я никогда не понимал. Не понимал и тогда, когда в 1866 году жил своей ограниченной, эгоистической жизнью, и потому я, как это ни было странно, с надеждой на успех взялся за это дело.

Помню, что, приехав в деревню Озёрки, где содержался подсудимый (не помню хорошенько, было ли это в особом помещении, или в том самом, в котором и совершился поступок), и войдя в кирпичную

низкую избу, я был встречен маленьким скуластым, скорее толстым, чем худым, что очень редко в солдате, человеком с самым простым, неперемениющимся выражением лица. Не помню, с кем я был, кажется, что с Колокольцовым. Когда мы вошли, он встал по-солдатски. Я объяснил ему, что хочу быть его защитником, и просил рассказать, как было дело. Он от себя мало говорил и только на мои вопросы неохотно, по-солдатски отвечал: «так точно». Смысл его ответов был тот, что ему очень скучно было и что ротный был требователен к нему. «Уж очень он на меня налегал», сказал он.

Дело было так, как описано у вас, но то, что он тут же выпил, чтобы придать себе храбрости, едва ли справедливо.

Как я понял тогда причину его поступка, она была в том, что ротный командир его, человек всегда внешне спокойный, в продолжение нескольких месяцев своим тихим, ровным голосом, требующим беспрекословного повиновения и повторения тех работ, которые писарь считал правильно исполненными, довёл его до высшей степени раздражения. Сущность дела, как я понял его тогда, была в том, что, кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжёлые отношения человека к человеку: отношения взаимной ненависти. Ротный командир, как это часто бывает, испытывал антипатию к подсудимому, усиленную ещё догадкой о ненависти к себе этого человека за то, что офицер был поляк, ненавидел своего подчинённого и, пользуясь своим положением, находил удовольствие быть всегда недовольным всем, что бы ни делал писарь, и заставляя его переделывать по нескольку раз то, что писарь считал безукоризненно хорошо сделанным. Писарь же, с своей стороны, ненавидел ротного и за то, что он поляк, и за то, что он оскорблял его, не признавая за ним знания его писарского дела, и, главное, за его спокойствие и за неприступность его положения. И ненависть эта, не находя себе исхода, все больше и больше с каждым новым упреком разгоралась. И когда она дошла до высшей степени, она разразилась самым для него же самого неожиданным образом. У вас сказано, что взрыв был вызван тем, что ротный командир сказал, что накажет его розгами. Это неверно. Ротный просто вернул ему бумагу и наказал, исправив, опять переписать.

Суд скоро состоялся. Председателем был Юноша, двумя членами были Колокольцов и Стасюлевич. Привели подсудимого. После не помню каких-то формальностей я прочёл свою речь, которую мне не скажу странно, но просто стыдно читать теперь. Судьи с очевидно скрываемой только приличием скукой слушали все те пошлости, которые я говорил, ссылаясь на такие-то и такие-то статьи такого-то

тома, и когда всё было выслушано, ушли совещаться. На совещании, как я после узнал, один Стасюлевич стоял за применение той глупой статьи, которую я приводил, то есть за оправдание подсудимого вследствие признания его неменяемым. Колокольцов же, добрый, хороший мальчик, хотя и наверное желал сделать мне приятное, всё-таки подчинился Юноше, и его голос решил вопрос. И был прочтён приговор смертной казни через расстреляние. Тотчас же после суда я написал, как это у вас и написано, письмо близкой мне и близкой ко двору фрейлине Александре Андреевне Толстой, прося её ходатайствовать перед государем — государем тогда был Александр II — о помиловании Шибунина. Я написал Толстой, но по рассеянности не написал имени полка, в котором происходило дело. Толстая обратилась к военному министру Милютину, но он сказал, что нельзя просить государя, не указав, какого полка был подсудимый. Она написала это мне, я поторопился ответить, но полковое начальство поторопилось, и когда не было уже препятствий для подачи прошения государю, казнь уже была совершена.

Все остальные подробности в вашей книге и христианское отношение народа к казнённому совершенно верны.

Да, ужасно, возмутительно мне было перечесть теперь эту напечатанную у вас мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я ничего не нашёл лучшего, как сослаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законами.

Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую, глупую защиту. Ведь если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трёх сторон стола, воображая себе, что, вследствие того, что они так сели, и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатным заголовком написаны известные слова, и что, вследствие всего этого, они могут нарушить вечный, общий закон, записанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, — то ведь одно, что можно и должно сказать таким людям, — это то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать. А никак не доказывать разными хитростями, основанными на тех лживых и глупых словах, называемых законами, что можно и не убивать этого человека. Ведь доказывать то, что жизнь каждого человека священна, что не может быть права одного человека лишить жизни другого, — это знают все люди, и этого доказывать нельзя, потому что не нужно, а можно и нужно и должно только одно: постараться освободить людей-судей

от того одурения, которое могло привести их к такому дикому, нечеловеческому намерению. Ведь доказывать это — всё равно, что доказывать человеку, что ему не надо делать то, что противно, несвойственно его природе: не надо зимою ходить голому, не надо питаться содержимым помойной ямы, не надо ходить на четвереньках. То, что это несвойственно, противно природе человеческой давно уже показано людям в рассказе о женщине, подлежащей избиению камнями.

Неужели с тех пор появились люди настолько праведные: полковник Юноша и Гриша Колокольцов с своей лошадкой, что уже им не страшно бросить первый камень?

Я не понимал этого тогда. Не понимал я этого и тогда, когда через <двоюродную тётку Александру Андреевну> Толстую ходатайствовал у государя о помиловании Шибунина. Не могу не удивляться теперь на то заблуждение, в котором я был, — о том, что всё, что совершалось над Шибуниным, было вполне нормально и что также нормально было и участие, хотя и не прямое, в этом деле того человека, которого называли государем. И я *просил* этого человека помиловать другого человека, как будто такое помилование от смерти могло быть в чьей-нибудь *власти*. Если бы я был свободен от всеобщей одури, то одно, что я мог сделать по отношению Александра второго и Шибунина, это то, чтобы просить Александра не о том, чтобы он помиловал Шибунина, а о том, чтобы он помиловал себя, ушёл бы из того ужасного, постыдного положения, в котором он находился, невольно участвуя во всех совершающихся преступлениях (по «закону») уже тем, что, будучи в состоянии прекратить их, он не прекращал их.

Тогда я ещё ничего не понимал этого. Я только смутно чувствовал, что совершилось что-то такое, чего не должно быть, не может быть, и что это дело не случайное явление, а в глубокой связи со всеми другими заблуждениями и бедствиями человечества, и что оно-то и лежит в основе всех заблуждений и бедствий человечества.

Я смутно чувствовал ещё тогда, что смертная казнь, сознательно рассчитанное, преднамеренное убийство, есть дело прямо противоположное тому закону христианскому, который мы будто бы исповедуем, и дело, явно нарушающее возможность и разумной жизни [и] какой бы то ни было нравственности, потому что ясно, что если один человек или собрание людей может решить, что необходимо убить одного или многих людей, то нет никакой причины, по которой другой человек или другие люди не найдут той же необходимости для убийства других людей. А какая же может быть разумная жизнь

и нравственность среди людей, которые могут по своим решениям убивать друг друга. Я смутно чувствовал тогда уже, что оправдание убийства церковью и наукою, вместо достижения своей цели: оправдания, напротив того, показывает лживость церкви и лживость науки. В первый раз я смутно почувствовал это в Париже, когда видел издалека смертную казнь; яснее, гораздо яснее почувствовал это теперь, когда принимал участие в этом деле. Но мне всё еще было страшно верить себе и разойтись с суждениями всего мира. Только гораздо позднее я был приведен к необходимости веры себе и к отрицанию тех двух страшных обманов, держащих людей нашего времени в своей власти и производящих все те бедствия, от которых страдает человечество: обман церковный и обман научный. Только гораздо позднее, когда уже я стал внимательно исследовать те доводы, которыми церковь и наука стараются поддерживать и оправдывать существование государства, я увидел те явные и грубые обманы, которыми и церковь и наука скрывают от людей злодеяния, совершаемые государством. Я увидел те рассуждения в катехизисах и научных книгах, распространяемых миллионами, которыми объясняется необходимость и законность, убийства одних людей по воле других.

Так, в катехизисе, по случаю шестой заповеди — не убий — люди с первых же строк научаются убивать.

«В. Что запрещается в шестой заповеди?

О. Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

В. Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?

О. Не есть незаконное убийство, когда отнимают жизнь *по должности*, как-то: 1) когда преступника *наказывают* по правосудию, 2) когда убивают неприятеля *на войне* за государя и отечество».

И дальше:

«В. Какие случаи относятся могут к законопреступному убийству?

О. Когда кто *укрывает или освобождает убийцу*».

В «научных» же сочинениях двух сортов: в сочинениях, называемых юриспруденцией с своим уголовным *правом*, и в сочинениях, называемых чисто научными, доказывается то же самое ещё с большей ограниченностью и смелостью. Об уголовном праве нечего и говорить: оно всё есть ряд самых очевидных софизмов, имеющих целью оправдать всякое насилие человека над человеком и самое убийство.

В научных же сочинениях, начиная с Дарвина, ставящего закон борьбы за существование в основу прогресса жизни, это самое подразумевается. Некоторые же *enfants terribles* этого учения, как знаменитый профессор Йенского университета Эрнст Геккель в своём знаменитом сочинении: «Естественная история миротворения», Евангелии для неверующих, прямо высказывает это:

«Искусственный подбор оказывал весьма благоприятное влияние на культурную жизнь человечества. Как велико в сложном ходе цивилизации, например, влияние хорошего школьного образования и воспитания. Как искусственный подбор, и смертная казнь оказывает такое же благодетельное влияние, хотя в настоящее время многими горячо защищается, как "либеральная мера", отмена смертной казни, и во имя ложной гуманности приводится ряд вздорных аргументов. Однако на самом деле смертная казнь для громадного большинства неисправимых преступников и негодяев является не только справедливым возмездием для них, но и великим благодеянием для лучшей части человечества, подобно тому, как для успешного разведения хорошо культивируемого сада требуется истребить вредные сорные травы. И точно так же, как тщательное удаление зарослей принесёт полевым растениям больше света, воздуха и места, неослабное истребление всех закоренелых преступников не только облегчит лучшей части человечества "борьбу за существование", но и произведёт выгодный для него искусственный подбор, так как таким образом будет отнята у этих выродившихся отбросов человечества возможность наследственно передать человечеству их дурные качества».

И люди читают это, учат, называя это наукой, и никому в голову не приходит сделать естественно представляющийся вопрос о том, что если убивать дурных полезно, то кто решит: кто вредный. Я, например, считаю, что хуже и вреднее г-на Геккеля я не знаю никого. Неужели мне и людям одних со мною убеждений приговорить г-на Геккеля к повешению? Напротив, чем грубее заблуждения г-на Геккеля, тем больше я желаю ему образумиться и ни в каком случае не хотел бы лишить [его] этой возможности.

Вот эти-то лжи церкви и науки и довели нас теперь до того положения, в котором мы находимся. Уже не месяца, а годы проходят, во время которых нет ни одного дня без казней и убийств, и одни люди радуются, когда убийств правительственных больше, чем убийств революционных, другие же люди радуются, когда больше убито генералов, помещиков, купцов, полицейских. С одной стороны раздаются награды за убийство по 10 и по 25 рублей, с другой стороны революционеры чествуют убийц, экспроприаторов и восхваляют их,

как великих подвижников. Вольным палачам платят по 50 рублей за казнь. Я знаю случай, когда к председателю суда, в котором к казни было приговорено 5 человек, пришёл человек с просьбой передать ему дело исполнения казни, так как он возьмётся сделать это дешевле: по 15 рублей с человека. Не знаю, согласилось ли, или не согласилось начальство на предложение.

Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит и тело и душу...

Всё это я понял гораздо позже, но смутно чувствовал уже тогда, когда так глупо и постыдно защищал этого несчастного солдата. От этого-то я и сказал, что случай этот имел на меня очень сильное и важное для моей жизни влияние.

Да, случай этот имел на меня огромное, самое благодетельное влияние. На этом случае я первый раз почувствовал, первое — то, что каждое насилие для своего исполнения предполагает убийство или угрозу его и что поэтому всякое насилие неизбежно связано с убийством. Второе — то, что государственное устройство, немислимое без убийств, несовместимо с христианством. И третье, что то, что у нас называется наукой, есть только такое же лживое оправдание существующего зла, каким было прежде церковное учение.

Теперь это для меня ясно, тогда же это было только смутное сознание той неправды, среди которой шла моя жизнь» (37, 67 – 75).

Письмо Толстого своему биографу, превратившееся в особенную статью, как видим, *исключительно* информативно: не только последовательностью изложения многих главнейших событий, избавляющего нас от необходимости рассказывать их от себя, но и *исповедальной* составляющей, раскрывающей ряд подробностей *духовной* биографии Льва Николаевича — как раз в аспекте эволюции его мировоззрения к христианскому неприятию войн, военщины и смертных казней, включая военно-судебные, да и в целом расправ людей над людьми по «праву» и по суду.

Судя по записям в Дневнике Л. Н. Толстого, встреча 13 апреля с Овсянниковым и воспоминания о 1866 годе наложились на множество других негативных впечатлений писателя от Москвы: как от жизни семейной, так и от муштры солдат на Хамовническом плаце, свидетелем которой в эту весну Толстой был неоднократно. Вот весьма характеристическая запись от 30 апреля:

«Пошёл к солдатам. У них шёл обман принятых осенью. Их заставляли присягать перед знаменем. Попы в ризах пели с певчими в нарядных стихарях, носили иконы, били в барабаны и играла музыка. Проходя назад, слышу разговор вахмистра — “не полагается”.

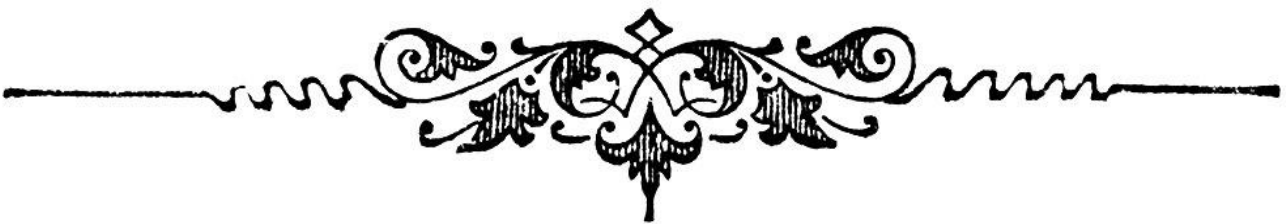
Какое страшное слово! Ведь не про божеский закон оно говорится, а про безумно жестокую чепуху военного устава.

Думал: вот 7 пунктов обвинительного акта против правительства. 1) Церковь, обман суеверия, траты. 2) Войско, разврат, жестокость, траты. 3) Наказание, развращение, жестокость, зараза. 4) Землевладение крупное, ненависть бедноты города. 5) Фабрики — убийство жизни. 6) Пьянство. 7) Проституция.

Когда подходил к войскам, попы с образами пошли на меня. Я, чтоб не снимать шапки, пошёл прочь от них» (50, 76 – 77).

Вторая часть этой исторической, хрестоматийной записи — это не просто слова возмущения, а творческие планы Толстого-публициста, религиозного и антивоенного.

На довершение признаемся читателю, что мы долго сомневались, в какую Главу нашей книги поместить очерк о Василии Шабунине. История эта обнимает сразу три эпохи: «цветущие» писательские 1860-е, бурный конец 1880-х и, наконец, старческий 1908-й год. Наконец, выбрали 1908-й — по формалистическому критерию хронологии. Он оправдан тем, что в рассмотренном нами выше очерке для биографа Толстой неизбежно выражает своё мировоззрение — именно 1900-х гг. Хотя, без сомнения, только *записаны* неприятные для Толстого воспоминания о судилище 1866 года были в 1908-м, а вспомнил, чтобы уже не забывать совершенно, многие рассказанные в них обстоятельства гибели солдата, коснувшиеся его лично, Толстой ещё тогда, в 1889-м, после свидания с Н. П. Овсянниковым — одним из судьбоносных «свиданий с прошлым». Высказанное для П. И. Бирюкова в 1908-м не стало для биографа-толстовца откровением: те же критические мысли он мог встретить в антивоенных писаниях Толстого-христианина, созданных им как раз с конца 1880-х гг.



Глава Одиннадцатая.
**ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ГЛАВА О ДВУХ ВЕЛИКИХ —
КНИГЕ И ЧЕЛОВЕКЕ**

*(Повесть «Хаджи-Мурат» и антивоенная тема в художественном творчестве
Л. Н. Толстого конца 1890-х – 1900-х годов)*

Вопреки мнению многих критиков о «заброшенности» Толстым художественного творчества буквально с конца 1870-х и до последних дней земной жизни, интерес писателя и публициста во второй половине 1890-х, когда в защиту Истины Христова учения и против мирских лжей и зла им было уже сказано, и не раз, всё сколь-нибудь значительное — смещается к новым, и, безусловно, более успешным, нежели в 1880-е, попыткам *художественного иллюстрирования* проповеданной Истины. В это время, вплоть до конца 1890-х гг., Толстой, уделяя непрестанное внимание антивоенной публицистике, работает параллельно и над художественными произведениями — повестью «Отец Сергей», драмой «И свет во тьме светит», повестью «Хаджи-Мурат», романом «Воскресение» и др., — в которых, создавая образы военных людей, картины войны, в то же время надеется, по его собственному признанию, «многое важное... высказать» (71, 469) и по актуальным проблемам общественной жизни.

Ряд сочинений приобретает безусловно антиимперскую направленность. Так, к 14 декабря 1895 г. относится дата завершения Толстым статьи «Стыдно», посвящённой телесным наказаниям крестьян — в которой, однако, публицист возвращается к своим излюбленным идеализациям дворян-декабристов. В процессе работы статья имела ряд названий, и в предпоследнем варианте она называлась «Декабристы и мы». Эти лучшие, по мнению Толстого, представители дворянства 1820-х годов первыми отказались сечь солдат своих полков, заслужили их уважение и любовь, и вместе с ними вышли в 1825 году за общее дело на Сенатскую площадь. В черновой рукописи № 3 статьи Толстой вспоминает, как Матвей Иванович Муравьев-Апостол, «один из последних декабристов», рассказывал ему: «В 20-х годах все они, цвет тогдашней образованной молодёжи, служа в Семёновском полку, решили не осквернять себя употреблением телесного наказания и обходиться без него» (71, 276). Дата окончания статьи была напоминанием автора читателю о годовщине восстания и о том, что всё может, и даже должно повториться, только уже инициативой не прогнившей с декабристских времён офицерской «верхушки», а самого униженного и оскорблённого в человеческих чувствах народа.

К этому же периоду, возможно, относится и замысел тематически примыкающего к статье «Стыдно» рассказа «После бала», написанного в 1903 году, в котором изображена сцена военного наказания николаевского времени — прогнание сквозь строй. По свидетельству писателя Ивана Николаевича Захарьина-Якунина, в 1898 – 1899 годы Толстой усиленно интересовался подробностями такого рода экзекуции, свидетелем которой был Захарьин-Якунин в начале 1860-х, во время военной службы (*Захарьин (Якунин) И. Встречи и воспоминания. СПб., 1903. С. 224*).

Если в рассказе «После бала» экзекуция беглого солдата-татарина положена в основу сюжета произведения, то в «Хаджи-Мурате», в финальном варианте повести, лишь упоминается об этой излюбленной Николаем I мере наказания: в гл. XV царь накладывает такую резолюцию на деле студента-поляка, ударившего профессора: «Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить её. Провести 12 раз сквозь тысячу человек» (35, 72). Ниже мы подробнее вернемся к этому сюжету.

В рассказе «После бала» противопоставлены друг другу два образа — образ рассказчика, Ивана Васильевича, и фигура полковника, воинского начальника николаевского времени. Этим определено и художественное своеобразие рассказа — контрастность не только идеи и образов, но и стиля, сочетание лирико-поэтических элементов и обличительно-сатирического начала. Образом отца Вареньки Б., в которую Иван Васильевич был влюблён возвышенной, неземной любовью, писатель дополнил впечатляющую галерею военных типов, показав под внешне привлекательными чертами полковника (румяное лицо, радостная, ласковая улыбка, стройная фигура в искусно подогнанном мундире, украшенном орденами) его сокровенную суть выкормыша, воспитанника и прислужника лжехристианского мира: автоматизм, бездушие и жестокость.

Повесть эта — ещё одна, хотя и не последняя по времени, «встреча» Льва Николаевича с самим собой в прошлом. Она автобиографична. В основе рассказа лежат события, произошедшие с братом Льва Толстого — Сергеем. В ту пору Лев Николаевич, будучи студентом, жил в Казани вместе с братьями. Сергей Николаевич был влюблён в Варвару Андреевну Корейш — дочь военного начальника Андрея Петровича Корейша и бывал у них в доме. Эта история прочно осела в памяти Толстого, и много лет спустя он описал её в своём произведении.

Характерной особенностью дневниковых записей писателя конца 1890-х — начала 1900-х годов являются параллельные упоминания

об одновременной работе как над публицистическими, так и над художественными произведениями, посвящёнными злобе дня и в то же время «вечным» вопросам. Так, 12 апреля 1898 года Толстой помечает в дневнике: «Занятия Carthago delenda est» и «Хаджи-Мурат». «Писал воззвание», — записано в дневнике 28 июня того же года о работе над статьями «Где выход?» и «Неужели и это так надо». Тут же рядом помечено: «Писал нынче Отца Сергия» (53, 199). «Начал переписывать *Воскресенье*... статью свою о военном сословии надо написать для народа» (53, 129), — пишет он в другой раз, имея в виду под статьёй «Солдатскую памятку». Аналогичная запись занесена в дневник 21 февраля 1899 года: «Сначала шло «Воскресение», потом совсем остыл. Написал письмо фельдфебелю и в шведские газеты». Вот пометки от 23 октября 1896 года: «Перечёл *Хаджи-Мурата*, не то. За *Воскресение* я взяться не могу. Драма занимает («И свет во тьме светит» — Р. А.)» (53, 115). И таких примеров можно привести немало.

В повести «Отец Сергей», задуманной Толстым ещё в конце 1880-х годов и законченной в 1898 году, военная тема по своему объёму занимает сравнительно небольшое место. Но её роль в раскрытии основной идейно-художественной мысли произведения чрезвычайно велика. Главный герой повести, отец Сергей, прежде чем уйти в монастырь, служил командиром эскадрона кирасиров в лейб-гвардии, был принят в высшие круги придворного общества, имел все основания добиться блестящей военной карьеры. Круг военных, в котором вращается князь Касатский, показан Толстым примерно так, как и круг военных в «Анне Карениной». Офицер Касатский, подобно Вронскому, Яшвину, Петрицкому, «любим товарищами и начальством» (черновой вариант, 31, 203). Но Касатский многим отличается от своих сослуживцев: у него огромное честолюбие, большая сила воли, стремление во всём достигнуть совершенства, начиная от безукоризненного исполнения служебных обязанностей и кончая настойчивыми попытками установления гармоничного равновесия между собственными мыслями и поступками.

Нравственная чистота Касатского, верность его той «детской вере, которая никогда не нарушалась в нём» (31, 11), не позволяют ему пойти на компромисс с совестью. Узнав об измене невесты, он, несмотря на отговоры родных и знакомых, решительно и бесповоротно порывает с жизненной сферой, вне которой не мыслил раньше своего существования.

Уход Касатского в монастырь — не только достигнутая им ступенька на пути к внутренней свободе. Это — сильный и искренний протест против лицемерия и лжи, господствовавших над умами и

душами того круга людей, о которых он отныне не может думать без омерзения.

Чистоте духовных помыслов Касатского в повести противопоставлены сочный, ядрёный аморализм императора Николая Павловича, и, для контраста, тощая, пошлая бесцеремонность полкового командира. У последних, выражаясь словами Салтыкова-Щедрина, во всех случаях жизни «материя преобладает над духом». Толстой сознательно подчеркнул моральную низость имп. Николая, сделав невесту Касатского любовницей именно царя, а не просто одного «важного лица», как это намечалось в первоначальных вариантах (см. 31, 203).

Но и после того как по воле автора и логике сюжета Касатский оказался заточённым в монастырь, на страницах повести вновь появляются военные лица. В частности, возникает фигура генерала, бывшего командира полка, в котором в молодости служил Касатский. Теперь этот генерал, занимающий важное положение, появляется в монастыре, движимый любопытством и желанием взглянуть на чудака-монаха, своего прежнего сослуживца. Взгляду отца Сергия представляется внушительная фигура с вензелями и аксельбантами, с выхоленной харей и самодовольной на ней улыбкой. В противоположность отцу Сергию с его душевной тонкостью и чуткостью, генерал — воплощение специфических «профессиональных» качеств военщины: нравственной чёрствости, грубости.

Отцу Сергию не помогают послушание и смирение, которые он с усердием воспитывал в себе. Вид генерала вызывает в нём потребность протеста. Ощувив при разговоре с бывшим начальником «запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард» (31, 16), он взрывается и дерзко бросает в лицо генералу своё презрение. Так толстовского монаха, старавшегося воспитать в себе чувства всепрощения и терпимости, один вид человека в мундире приводит в бешенство. Тем самым автор «Отца Сергия» этим эпизодом и всей системой образов военных людей, созданных им в повести, открыто выразил своё резко отрицательное отношение к военному сословию самодержавной России.

Дальнейшее развитие военная тема получила в драме «И свет во тьме светит», над которой писатель работал во второй половине 1890-х годов. В пьесе Толстой художественными средствами выразил и закрепил свой тезис об отказе от военной службы, которую он устами отдельных героев называет самой подлой службой, незаконной, жестокой, зверской деятельностью (см. 31, 124, 156). Положительный герой драмы Борис Черемшанов, придя к убеждению о несовместимости службы в царской армии с религиозной верой и с

достоинством человека, отказывается принять присягу. После этого на сцену выступает целая галерея должностных лиц — священник, жандармский офицер, врач-психиатр, генерал, полковник и другие, которые совместными усилиями с помощью средств убеждения и принуждения пытаются «завлечь» молодого человека в лоно армии.

Священник, полковник, даже жандармский офицер стремятся воздействовать на новобранца увещеваниями, апеллируя к его раскудку. Генерал же, в отличие от них, является сторонником решительных мер и требует от подчинённых не рассуждений, а исполнений. «Одна паршивая овца всё стадо портит, — говорит он. — Тут нельзя миндальничать» (31, 160). Он хочет дать понять Черемшанову, что тот не более как песчинка под колесницей и в случае, если новобранец не одумается, ему придётся сгнить в крепости. Исчерпав все доводы и средства, Бориса помещают в госпиталь. «И как всегда, к нам, как последняя инстанция», — с мрачным юмором встречает его доктор-психиатр (31, 166).

Несмотря на тщетность попыток чиновников военного, духовного и иного звания сломить волю Черемшанова, автор драмы отнюдь не склонен недооценивать их силу и влияние. Нравственная победа Бориса достигается не лёгкой ценой: его подвергают истязаниям, ему грозит дисциплинарный батальон и, по всей вероятности, гибель (пьеса осталась незаконченной). Но, главное, на стороне властвующих находятся такие союзники, как невежество и рабская покорность тех, кто не твёрд в мужестве исповедания своих убеждений. «Как же тоже без военного сословия. Нельзя же», — говорит Борису Черемшанову писарь полковой канцелярии, голосок срамотного агрессивно-послушного большинства поганого «русского мира». Если священники твердят, что без христолюбивого войска не обойтись, то они, «архиереи, должно, знают», что говорят, — повторяет вслед за писарем солдат-часовой в 6-м явлении 3-го действия пьесы (31, 162).

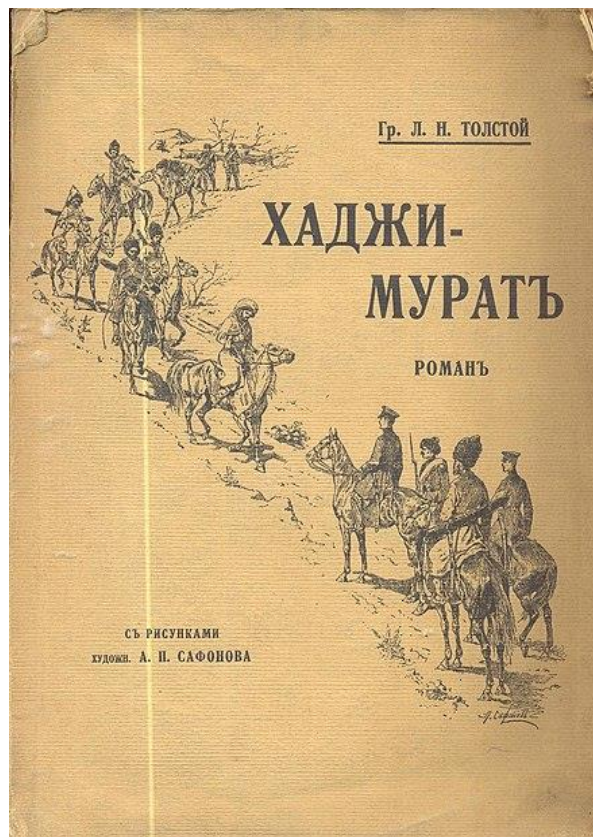
В целом, сцены пьесы, раскрывающие военную тему, исполнены большой взрывчатой силы. Характерно, что, когда в 1911 году, уже после смерти автора, драма вышла в свет, цензурные пропуски составляли *более трети* всего текста произведения. Что касается сцен 3-го действия с описанием эпизода отказа от военной службы, то они были опущены почти целиком. Тем самым было отдано должное остроте и социально-разоблачительной направленности военных сцен драмы, глубокой реалистичности изображения Толстым военной касты, возлюбленных сволочной тётки «родины».

Следует сказать, что и в других драматических произведениях писателя, начиная от пьесы «Плоды просвещения» и кончая драмой

«Живой труп», почти всегда, в главных или эпизодических ролях, присутствуют военные лица. Все они, за редким исключением (отставной солдат Митрич из «Власти тьмы», князь Абрезков в «Живом трупе»), относятся к числу отрицательных персонажей. Всего лишь одну фразу произносит в драме «Живой труп» офицер своей даме после суда над Федей Протасовым («Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура»). Но и эта фраза не только вполне характеризует офицера как ханжески-бессердечное и нравственно-тупое отродье, но и показывает в целом отношение духовных уродов Империи к проблеме человечности, выраженной в мыслях и поступках толстовского «живого трупа».

Наконец, с предельными силой и глубиной толстовская концепция войны и мира последнего полуторадесятилетия творческой жизни писателя выражена в повести «Хаджи-Мурат».

Работа над этой повестью составила целую эпоху в художественном творчестве Льва Николаевича: он начал повесть эту летом 1896 года и продолжал вплоть до того момента, как осенью 1910 года навсегда покинул Ясную Поляну.



«Хаджи-Мурат».
Обложка отдельного издания 1913 г.

С 29 апреля 1896 г. Толстой поселяется на лето с семьёй в Ясной Поляне. Основными работами на май и июнь остаются статья «Христианское учение» и статья об искусстве. С 18 июля к ним присоединяется новый замысел, будущей повести «Хаджи-Мурат». О рождении его Толстой повествует в Дневнике, в записи 19 июля, во время пребывания у брата, Сергея Николаевича, в имении Пирогово, там же давая себе своего рода творческую установку, о чём и ком следует писать:

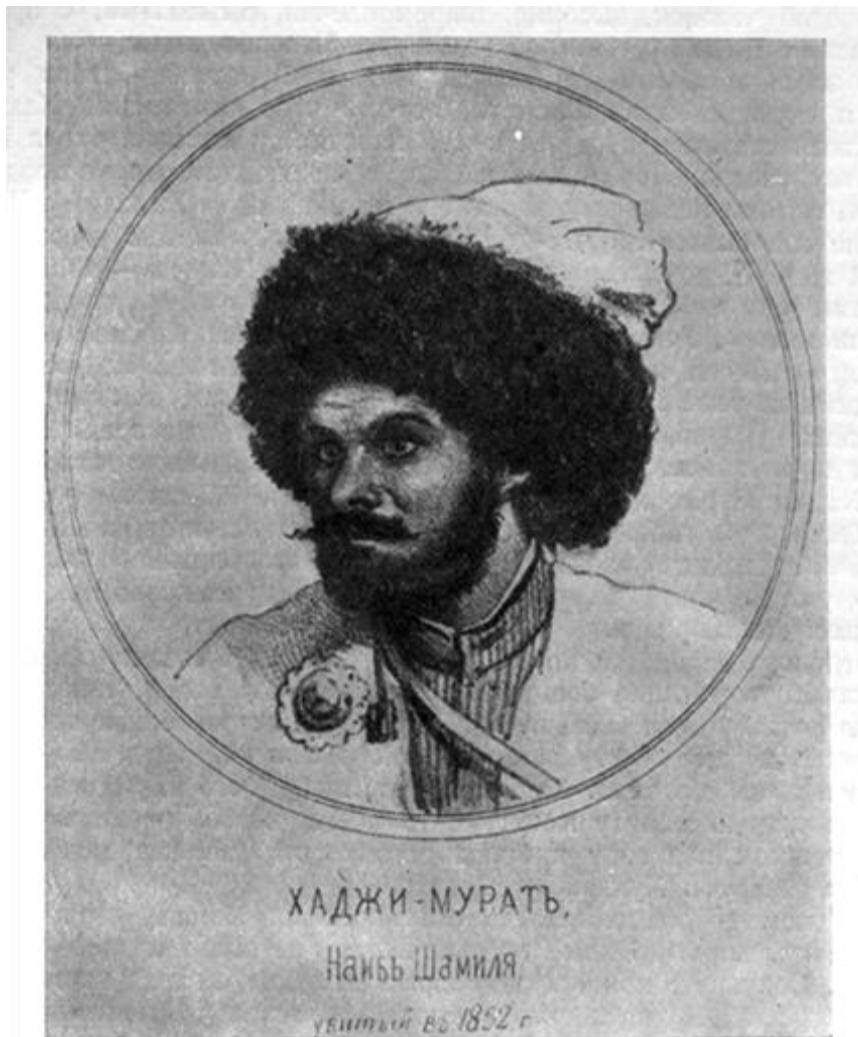
«Вчера иду по передвоенному чернозёмному пару. Пока глаз окинет, ничего кроме чёрной земли — ни одной зелёной травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязнённый цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, чёрный, стебель надломлен и загрязнён; третий отросток торчит вбок, тоже чёрный от пыли, но всё ещё жив и в серединке краснеется. — Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял её.

[...] Вчера [...] вспомнил нашу в Ясной Поляне неумолкаемую в 4 фортепьяно музыку, и так ясно стало, что всё это: и романы, и стихи, и музыка не искусство, как нечто важное и нужное людям вообще, а баловство грабителей, паразитов, ничего не имеющих общего с жизнью: романы, повести о том, как пакостно влюбляются, стихи о том же или о том, как томятся от скуки. О том же и музыка. А жизнь, вся жизнь кипит своими вопросами о пище, размещении, труде, о вере, об отношении людей.... Стыдно, гадко. Помоги мне, Отец, разъяснением этой лжи послужить Тебе» (53, 99 – 100, 101).

Помимо сбора с 1896 г. исторического материала, Толстым обдумывалась и концепция будущей повести: в Дневнике на 4 апреля 1897 г. появляется запись: «Думал очень хорошо о Хаджи-Мурате, о том, что в нём, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман» (53, 144). Постоянны в 1897 г. обращения писателя к многотомному «Сборнику сведений о кавказских горцах».

Персоналия историческая, *Хаджи-Мурат Аварский* (авар. Хлажимурад Хунзахъаса; ок. 1818 — 5 мая 1852) — аварский вождь и военачальник, наиб, то есть «правая рука» имама Шамиля в Дагестане. Уроженец Хунзаха (Дагестан), молочный брат аварских ханов. Хаджи-Мурат и его старший брат Осман были близкими сверстниками ханских сыновей, росли вместе с ними, и это, бесспорно, сыграло немаловажную роль в формировании взглядов и характера

славного наиба. С детства он не любил людей, одержимых обыкновенными пороками выкормышей и рабов мира: самовлюблённых, хвастливых, трусливых, похотливых, жадных...



ХАДЖИ МУРАТ

Литография из «Художественного Листка» В. Тимма. Была прислана Толстому С. Н. Шульгиним вместе со следующим письмом: «Лев Николаевич! Я имел редкое счастье внести свою долю труда по собиранію понадобившихся вам сведений о наипе Хаджи Мурате (в 1902 г.). Не будучи уверен, что вы имете его изображение, я решаюсь предложить вам прилагаемый при сем портрет Хаджи Мурата, снятый мною с очень редкого издания («Русский Художественный Листок» Тимма, 1858 г., № 32). Будьте счастливы и здоровы на многие годы. С. Шульгин, 5 февр. 1909 г.»

Детство его совпало с начальным этапом Кавказской войны под руководством дагестанских владетелей, а юность с зарождающейся борьбой имамов против русского проникновения в Северо-Восточный Кавказ. В этих условиях Аварское ханство, оказавшись между двумя огнями, вело политику сохранения своего независимого положения и от одной и с другой стороны, то есть политику «вооружённого нейтралитета», если употребить современные термины. Он и его

сверстники повзрослели очень рано, не по годам, как все дети войны, к тому же оказались в близком окружении высших политических кругов Аварского ханства, где шли оживлённые дискуссии о выборе путей разрешения военных и политических вызовов времени. Жертвами джихадистской войны пали сначала отец Хаджи-Мурата, а после — ханы и, наконец, старший родной брат Осман, участник восстания против узурпатора Гамзат-Бека и его убийца. Подробности жестокого захвата власти Гамзат-Бекем и истребления аварских ханов изложены в книжечке 1848 г. подполковника царского Генерального штаба Александра Андреевича Неверовского (1818 – 1864) «Истребление Аварских ханов в 1834 году» (см. https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003543141?page=1).

Истребление аварских ханов и последовавшее за этим убийство Гамзат-бека и его соратников надолго отстранило Аварское ханство от мюридистского движения. Аварское ханство тесно связало себя с русской военной администрацией и противниками мюридизма в Дагестане, а руководители мюридизма и новый имам Шамиль с ещё большей энергией стремились присоединить силой оружия Аварское ханство к своим владениям и тем самым ликвидировать главный очаг сопротивления.

Хаджи-Мурат и его сторонники твёрдо стали в ряды противников Шамиля. Во многом это было неизбежно. Близость к ханским сыновьям, смерть наследников ханства и последующая месть за них определили на этом этапе позицию Хаджи-Мурата. Слишком многих из своих родственников и друзей он потерял, защищая политический выбор Аварского ханского дома и хунзахцев. Хаджи-Мурат в сложившейся ситуации защищал свой дом, своё село и Аварию, а с Россией и русскими, в культурном плане, не был ещё знаком. Собственно говоря, дальнейшая коллизия повести и обозначает конфликт между желанием, с одной стороны, Хаджи-Мурата поддерживать мирный нейтралитет для своей родины, с другой — необходимостью сопротивления жестокому противнику и спасения семьи, а для этого — принятия помощи от русских и, наконец, с третьей стороны — неборимой естественной гадливостью к имперской русне и «русскому миру» нравственно чистого человека, преданного вере и традициям своего народа.

С назначением Ахмед-хана временным правителем Аваристана между ним и Хаджи-Муратом, сложились отношения соперничества, которые переросли во вражду. В 1840 году доносы и наговоры Ахмед-хана привели к аресту Хаджи-Мурата по обвинению в ведении тайных переговоров с Шамилем, а также разрушению его дома,

разграблению имущества и скота. Было приказано сослать его в Темир-Хан-Шуру, но он по пути сумел бежать, совершив рискованный прыжок со скалы, по краю которой пролежала тропинка. Он смог утащить за собой двоих конвоиров, на которых и приземлился, сломав при падении только одну ногу (остался хромым).

Познав, в культурном диалоге с русскими, их нравы, Хаджи-Мурат с отвращением, решительно и охотно, переходит с ноября 1840 г. на службу к Шамилю. Со временем Шамиль сделал своего союзника наибом всех аварских селений. В течение 10 лет Хаджи-Мурат был правой рукой «Шмеля», как звали имама русские. В эти годы он организовал немало ошеломляющих набегов, сделавших его имя легендарным. Туда, где мог объявиться «призрачный» (одно из прозвищ Хаджи-Мурата), русское командование направляло лучшие отряды из элитных воинских частей. Свои набеги Хаджи-Мурат проводил не только ради добычи, но и как карательные акции, ради мести. При этом часть добычи неизменно выделялась сиротам и вдовам. Хаджи-Мурат стал одним из самых знаменитых горских воинов. Его храбростью восхищались как в Дагестане, так и в Чечне. А слава его подвигов облетела весь Кавказ и Россию

(https://kvkz.ru/2007/08/30/abrechestvo_realnost_i_predrassudki.html).

Легендарный Хаджи-Мурат, «самый предприимчивый и влиятельный сподвижник Шамиля» (М. С. Воронцов), был «ярким явлением в плеяде героев Кавказа» (Л. Бланч). К данному высказыванию можно добавить, что он являлся и самой трагической фигурой среди наибов Шамиля. Причиной этого в немалой степени была слава Хаджи-Мурата, которая, как верно заметил историк М. А. Аммаев, «постепенно стала опережать его самого. Если Шамиль был знаменем борьбы, то Хаджи-Мурат становился её душой. Его имя вдохновляло соратников, с ним связывали успех и удачу, его боялись враги» (Аммаев М. А. *Хаджи-Мурат Хунзахский (итрихи к портрету и мотивации поступков) // Хаджи-Мурат в памяти потомков. Махачкала, 2002. С. 10*). Интриги завистников сыграли роковую роль в разладе между Шамилем и Хаджи-Муратом. Провал одного из набегов стал поводом к обвинению наиба и лишению его власти имамом. Последующее развитие событий (когда Хаджи-Мурату дают знать, что его хотят убить) способствовало принятию им решения 23 ноября 1851 года перейти на сторону Российской империи вместе с четырьмя преданными ему мюридами. В плену у Шамиля осталась его семья — жена и дети...

Командир Куринского егерского полка флигель-адъютант полковник Семён Михайлович Воронцов (1823 – 1882) поначалу не поверил в такую удачу. Но вскоре сын кавказского наместника самолично,

во главе сильного отряда, отправился навстречу знаменитому воину. Убедившись, что перед ним действительно знаменитый Хаджи-Мурат, князь Воронцов препроводил необыкновенного перебежчика в крепость. Воодушевлённый экстраординарным событием, главнокомандующий, *Михаил Семёнович Воронцов* (1782 – 1856), поспешил обрадовать своего государя. Это было неслыханной удачей — заполучить самого Хаджи-Мурата, чьё имя повергало в трепет Кавказ и который считался «половиной Шамиля». Император не разделял упований Воронцова, но согласился оставить Хаджи-Мурата под личную ответственность наместника. В генеральном штабе опасались, что хитроумный Хаджи-Мурат вышел по тайному соглашению с Шамилем, что цель его — высмотреть силы и средства Воронцова, дороги и крепостные сооружения, чтобы затем устроить опасный сюрприз и вновь соединиться с имамом.

В апреле 1852 года Хаджи-Мурат прибыл в Нуху в сопровождении сильного конвоя и под надзором капитана Бучкиева. Начальник Нухинского уезда подполковник Карганов старался развлечь Хаджи-Мурата, обещая скорые перемены в его деле. А пока разрешал ему ездить по Нухе и окрестностям в сопровождении своих нукеров и небольшого конвоя. Обещания, однако, оставались обещаниями... Видя равнодушное отношение русских к судьбе его семьи и подозрительное отношение к себе, Хаджи-Мурат сделал попытку уйти в горы и погиб в стычке с превосходящими силами казаков и горской милиции в районе села Онджалы (в настоящее время Гахский район, Азербайджан). Хаджи-Мурат вместе с четырьмя сподвижниками (трое аварцев и один чеченец) сражались с тремя сотнями противников, окопавшись в небольшой яме. По сообщению 1870 г. одного из убийц, Василия Потто: «Мюриды его зарезали своих лошадей и держались до тех пор, пока не расстреляли всех своих патронов. Тогда, с обнажённой головою, без шапки, Гаджи-Мурат, как тигр, выскочил из своей засады и, с шашкою в руке, один врезался в густые толпы милиционеров. Он был изрублен на месте; с ним пали двое мюридов, а остальные два, израненные, были взяты в плен и, впоследствии, преданы военному суду. С нашей стороны было убито два и ранено девять милиционеров». Этот же автор называет и альтернативную возможную причину вторичного ухода Хаджи-Мурата от русских: «Гаджи-Мурат, имевший большие сношения с лезгинами, хотел пробраться в Закаталы и сделаться независимым владельцем как от Шамиля, так и от русских, относительно которых он, во время пребывания в Тифлисе, обогатил себя многими полезными и важными сведениями»

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-1820/Potto_V_A/gadzi-murat.htm.

На наш взгляд, непосредственно на роковой шаг Хаджи-Мурата могли подвинуть как раз эти самые «сведения о русских», но не столько военные, сколько всё новые, делающиеся постепенно не-сносными, подробности бытовой, рабьей и скотской жизни русни и фактического отдаления этих *православных*, то есть, в массе своей, мнимых и липовых «христиан» от настоящего последования, от послушания Богу и Христу (высокочтимому и в мире Ислама).



Хаджи-Мурат. С литографии 1851 г.

Итак, на страницах своей повести писатель-Толстой воскресил реальные события полувековой, к тому времени, давности, свидетелем и участником которых в немалой мере довелось быть и ему самому (хотя писатель и не повстречался ни разу на Кавказе с самим Хаджи-Муратом). Не случайно одна из редакций повести носит характерный подзаголовок: «Воспоминания военного человека». В «Хаджи-Мурате» Толстой дополняет и конкретизирует ответ на вопрос, кто же был виновником многолетней Кавказской войны. Раньше при

описании военных событий Толстой избегал обнажённых, прямых средств обличения (См. *Купреянова Е. Н. Молодой Толстой. Тула, 1956. С. 69*). Сейчас он намеревается использовать и художественную типизацию, и открытую публицистическую инвективу.

То, что центральной фигурой своего произведения Толстой избрал Хаджи-Мурата, отнюдь не случайно. Он не раз отмечал, что в основе подлинного искусства лежат строгие и незыблемые законы, поэтому не всякое реальное лицо имеет «условия художественные» (15, 242). Историческая же фигура Хаджи-Мурата в высшей степени обладала этими «условиями художественными», с помощью которых писатель создал яркий, но при этом реалистически совершенный образ.

Поставив своей задачей при описании исторических событий и лиц «быть до малейших подробностей верным действительности» (35, 614), Толстой на страницах повести воскресил реальные черты облика Хаджи-Мурата: прямодушие, удадь, сметливость, рыцарственную самоотверженность, храбрость, о которой среди горцев и русских ходили легенды. Все эти качества современниками Хаджи-Мурата отмечались неоднократно: «Смелый, ловкий партизан Хаджи-Мурат был один из известнейших предводителей, пользовался большим почётом», — пишет А. Л. Зиссерман, служивший на Кавказе (*Зиссерман А. Л. Двадцать пять лет на Кавказе, 1842—1867. СПб., 1879. Т. 2. С. 59*). А. Л. Зиссерман, видный участник кавказских походов и автор ряда книг о кавказской войне, живший верстах в пятнадцати от Ясной Поляны. При встречах с ним Толстой, несомненно, перебирал кавказские воспоминания, а также расспрашивал о Хаджи Мурате. Личность последнего Зиссерман ставил высоко и, вероятно, оказал в этом отношении влияние на Льва Николаевича.

Даже в письмах наместника Кавказа М. С. Воронцова отдана дань безумной смелости и необыкновенному характеру человека, который «умер отчаянным храбрецом, каковым и жил». «Все, что мы слышали от горцев о его смерти, а, особенно, что мы узнали во время последних происшествий на лезгинской линии, — писал Воронцов, — доказывает, каким большим влиянием и уважением Хаджи-Мурат пользовался в Дагестане. Это, конечно, была главная причина ненависти, которую питал к нему в последнее время Шамиль» (*Письма о Хаджи-Мурате М. С. Воронцова // Русская старина. 1881. № 3. С. 661, 666*).

В первый год своего пребывания на Кавказе, назвав в дневнике 23 декабря 1851 года Хаджи-Мурата вторым лицом после Шамиля, Толстой писал: «Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне» (59, 132).

В противоположность Шамилю с его твёрдостью, непоколебимостью, необузданным властолюбием — даже во внешнем облике имама подчёркивается нечто «каменное, совершенно неподвижное» — Хаджи-Мурат выступает как личность, не лишённая лучших человеческих качеств: искренности и пытливости, свободолюбия и непокорности. Мечтая о помощи в приобретении власти, как прежде, над Аварией и едва ли не над всею Чечнёй, Хаджи-Мурат совершает глупость: переходит на сторону русских, то есть безусловного врага. Но для Хаджи-Мурата, натуры своенравной, ищущей, мятущейся и мятежной, не вынесшей деспотического своеволия Шамиля, невыносима также и навязанная ему роль почётного пленника. Главное же: дитя своего народа и именно народной культуры Дагестана, искренне преданный Богу мусульманин, нравственно чистый, как чисто хищное в природе животное — он, соприкоснувшись отнюдь не с подлинными, всегда чтимыми Толстым, людьми *русского трудового народа*: мирный, добрый и верующий крестьянский народ произвёл бы на него, в массе своей, значительно лучшее впечатление. Но благородный аварец столкнулся именно с выкормышами и воспитанниками николаевской Империи, образованными, даже *словно* «благородными» распорядителями трудовых (крепостные) и военных (солдатня) рабов и с самими этими рабами — и он сперва почувствовал, а затем убеждённо увидел нравственную порочность этих существ, огромного большинства из них. В них, в «православных», не было ни его живой веры, ни твёрдых моральных установок. «Власть тьмы» (сочетавшая в себе невежество, омрачённость и ожесточённость, похоть, корысть и другие пороки безверия, прикрытого обрядовым, храмовым идолопоклонством) пожирала в эпоху Толстого уже и общинную народную жизнь, но тем сильнее являла себя в среде городских, и в особенности военно-служилых дармоедов и их окружение — от солдата до денщика, от офицерской жены до царских министров и придворных... Только познакомив читателя с Хаджи-Муратом, заставив любоваться им, скрывающимся от Шамиля, в гостях у кунака Садо (голодный более суток, он, тем не менее, сперва молится Всевышнему, а потом съедает только немного хлеба, сыра и мёда), Толстой, как бы по незримым «ступеням разврата», низводит читателя в гнусные нравственные бездны «русского мира». Сперва — солдаты, военные рабы империи, менее связанные грехом:

«Накурившись, между солдатами завязался разговор:

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст, — сказал Панов.

— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший разговор, — а по моему совету надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдать.

— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.

— Надо вишь овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал... — настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмёт и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведывала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал займы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчёт от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было» (35, 13 – 14).

Великолепная зарисовка, портрет типовой (по сей день!) «русско-мирной» сволочи. Так, к слову сказать, разлагалась в позапрошлом столетии не одна армия, но и община — тот самый, упомянутый Авдеевым, крестьянский *мир*. Их, лохопырок, и «не в первый раз» уже, грабит ротный командир, которому поручена общая скудная касса — и руснявые готовы снова покрыть, замолчать воровство «хорошего человека»!

С такими же «хорошими» человеками сводит Толстой своего Хаджи-Мурата. Флигель-адъютант Семён Михайлович Воронцов, лицо историческое, командир Куринского егерского полка и сын знаменитого главнокомандующего, наместника Кавказа, Михаила Семёновича Воронцова, жил при полку, помимо службы, привычной светской жизнью, вместе с женой своей, Марьей Васильевной, «знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью: здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью» (Там же. С. 16). Обычное времяпрепровождение русских «господ» — ночная, иногда и ночь напролёт, игра в карты. Ворюга ротный командир — тут как тут: автор, сам испытывавший на Кавказе и даже в Севастополе прихоти игровой «фортуны» не преминул подчеркнуть, насколько

«насушно» необходимы были игроку украденные у солдат рубли. Теперь же, проигрывая последнее, Полторацкий не стесняется заигрывать с женой командира на глазах у мужа, а Марья Васильевна, «большеглазая, чернобровая красавица» сидит подле ротного, очаровывая его и заглядывая ему в карты. «Широко расставленными, чёрными глазами» перевозбуждённого юного оленя тот пожирает давно замужнюю даму, делая ошибки и проигрывая деньги солдат адъютанту, к чарам «светской» полковой проститутки равнодушному (быть может, даже гомосексуалу) (*Там же. С. 17 – 18*). В конце концов, Полторацкий, пресытившись общением с общедоступной кокеткой, отыгрывается и даже выигрывает 17-ть рублей...

Воронцов-младший между тем получает известия о «выходе» к русским Хаджи-Мурата, но, по законам светского раута — не говорит о «делах». В следующий день, когда рота отправлена на рубку леса, эта светская «деликатность» будет стоить жизни козлу отпущения войны — солдату Авдееву...

Вот зарисовка офицерской жизни, пока солдаты, угрожаемые пулями горцев, рубят лес:

«На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъёма душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шёл оживлённый разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания её и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и весёлость, с которой они, одни в молодецких, дру-

гие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая так же, как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них» (Там же. С. 25).

О предстоящем выходе Хаджи-Мурата «хорошим человеком» Воронцовым не передано ни слова ни столь же «хорошему» Полторацкому, ни солдатам. Как следствие, передовой отряд, для безопасности — и совершенно не лишне, как оказалось — посланный Хаджи-Муратом вперёд, встречен был пулями из сторожевой цепи и вынужден был отстреливаться. Смертельно ранен Авдеев:

«Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним. — Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу, — чикнуло, смотрю — он ружьё выпустил. <Примечательная деталь: генетический раб словно оправдывается перед начальством. Не убило нелепо напарника, а — «он ружьё выпустил». — Р. А.>

— Те-те, — пощёлкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не даёт. Винца бы, ваше благородие.

Водка, т. е. спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашёлся, и Панов, строго нахмурившись, поднёс Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примаёт душа, — сказал он. — Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на неё Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своём английском, кровном рыжем жеребце, сопровождаемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело, — в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

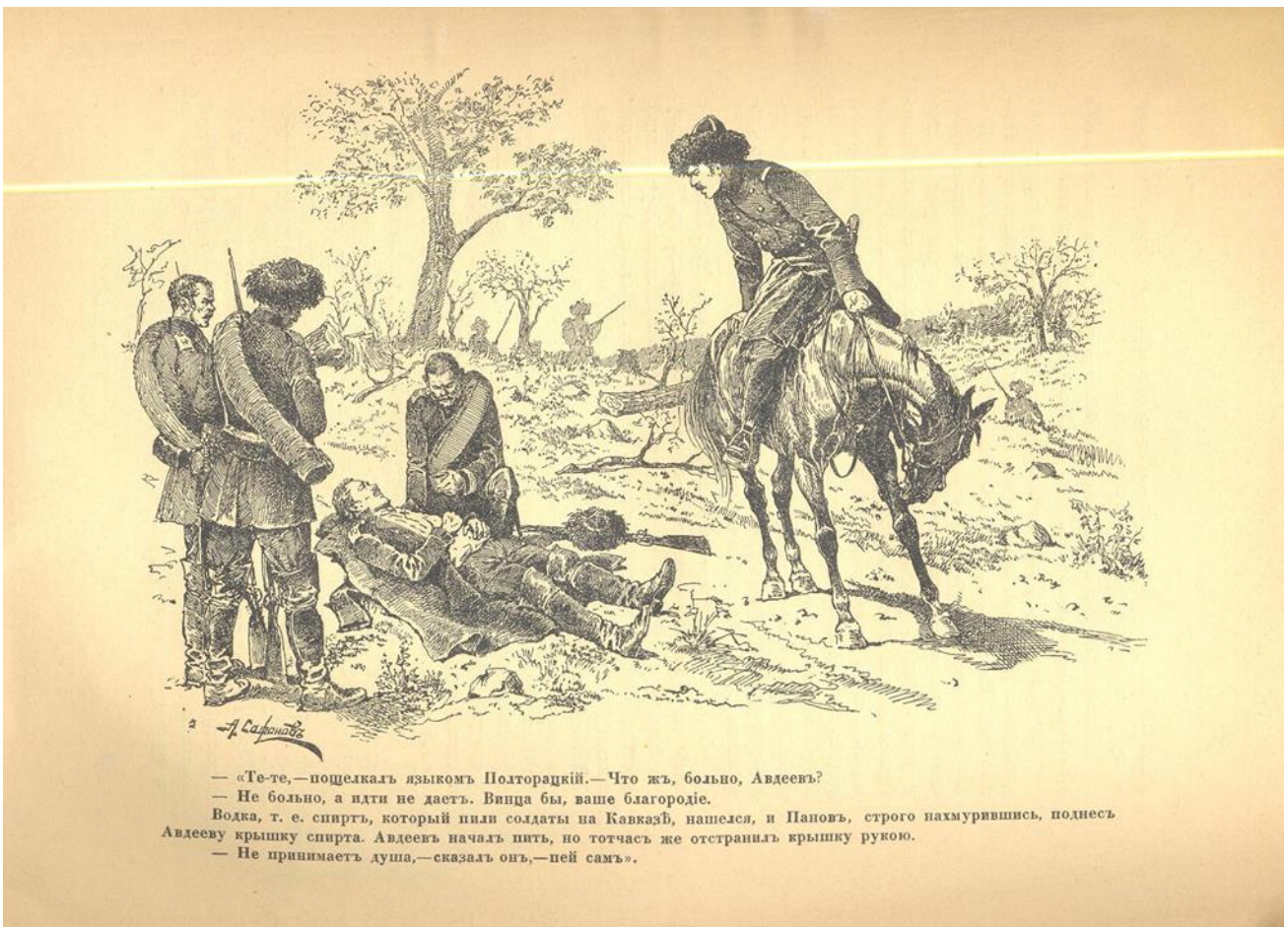
— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости» (Там же. С. 27 – 28).

Чему радуется русский палач — знает один бог войны, его бог... В целом, сцена, в контексте блядок и попок с карточными играми, мало подходит для педагогики: для пресловутого «военно-патриотического воспитания» детей и дураков современной нам, путинской... да и всякой, тоже прежней и последующей, России.

Авдеев между тем *отдаёт Богу душу*, побеждает в нём смерть, но и освобождает от жизни-страдания в рабстве у тётки «родины» и её поганых «элит» — оттого не принимает душа его спиртного пойла, извечного в «русском мире» лекарства для живых и страдающих.



— «Те-те, — пощелкал языком Полторацкий. — Что жь, больно, Авдеев?»
— Не больно, а идти не даёт. Вида бы, ваше благородие.
Водка, т. е. спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашёлся, и Пановъ, строго нахмурившись, поднесъ Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукою.
— Не принимает душа, — сказал онъ, — пей самъ».

Ранение Авдеева. Худ. А.П. Сафонов. 1913 г.

А прочие, не убитые пока, военные рабы этой падлы тётиньки во всей сцене «принятия», с кровью, Воронцовым Хаджи-Мурата пе-
няют... но отнюдь не на своих руснявых командиров:

« — Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаго-
творять будут, — сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмея <т. е. Шамиля. — Р. А.>
был. Теперь, небось...» (Там же. С. 29).

Замечательно в сцене «выхода» Хаджи-Мурата и впечатление рот-
ного командира Полторацкого от давно невиданного им среди
«своих», умного и, как молодой лев, прекрасного обликом и нрав-
ственно чистого человека; особенно поразили рвотного во хмелю
«широко расставленные глаза, которые внимательно, пронизательно
и спокойно смотрели в глаза другим людям» (Там же. С. 28). Такие
же «добрые, широко расставленные глаза» у него самого — залог
нетронутости (пока) нравственного ядра личности и возможности
очищения от военно-полевой скверны — разумеется, вне военной
службы... Того очищения, движения и развития духовного, которое
совершают у Толстого благословенные автором, чем-то близкие ему
персонажи.

Пока Воронцов-младший радуется своему «улову», а старший, Ми-
хаил Сергеевич Воронцов, ловит «волны лести» в роскошном, боль-
шом доме, в доме маленьком, одном на всех, в госпитале, в общей
палате умирает бездумно отданная им, Воронцовым, дань смерти —
крестьянин, забранный в солдаты, Пётр Авдеев. А воронцовский сы-
нок между тем уже заготовил, для доклада в Тифлис, по начальству,
лживую реляцию, где, конечно же, нет ни слова о том, что равно-
душный виновник гибели солдата — он сам:

«3 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для
рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно
атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая
рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены
два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек уби-
тыми и ранеными» (35, 36).

Не довольствуясь этой обличительной картиной, в главе VIII повести
Толстой переносит нас в родную деревню и семью Авдеева — пока-
зывая «власть тьмы», нравственную деградацию крестьянского мира
на уровне семьи и общины. Отец жалеет, что Петруха, хороший ра-
ботник, пошёл в солдаты вместо паршивого брата Акима: «Пётр
был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый
и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил

мимо работающих, так же, как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдёт ряда два с косой, или навьёт воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было, как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нём — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался. Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного» (*Там же. С. 38*). Зато лодырь братец, пользуясь зажиточностью скарёдного своего семейства, наструбал с женой, от сытой похоти, четверых выщенок, под стать себе — и не прочь был ещё и ещё увеличить сволочное поголовье: количество в ущерб качеству и в насмешку над смыслом... Наконец, Петру был послан рубль с письмом — с известием, что его жена Аксинья пошла «в люди». Письмо и деньги воротились: солдата уже не было в живых — и блядовитая Аксинья лишь порадовалась гибели мужа: «Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать её, и приказчик мог взять её замуж, как он и говорил ей, когда склонял её к любви» (*Там же. С. 40*).

Хаджи-Мурат меж тем приобретает новый опыт соприкосновения с бездной разврата имперской «элиты», именно «русского мира», в театре и на светском приёме у старшего Воронцова. На вечере «молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена “сардаря” тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнажённая, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнажённые женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит» (*Там же. С. 48*).

Ему не могло нравиться то, что он видел — уж слишком эта русская оргия напоминала о тех трагических обстоятельствах, с которых начались бедствия Хаджи-Мурата, о которых он поведал адъютанту Воронцова, *Михаилу Таризловичу Лорис-Меликову* (1824 – 1888):

«Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названный, и Булач-Хан, меньшей, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: “Мусульмане, хазават!” Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в своё удовольствие и ни о чём не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон <Григорий Владимирович Розен, 1782 – 1841. – Р. А.>. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты всё, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увёз его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменились мысли? — спросил Лорис-Меликов, — не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились, — решительно сказал он и закрыл глаза»
(Там же. С. 50 – 51).

Нет, не могли чистому морально человеку, мусульманину, горцу нравиться нравы имперской русни — как не нравилось и то, что один из его мюридов, Хан-Магома, «весельчак и кутила» по натуре, живя с ним у Воронцова, пристрастился к курению (Там же. С. 54). Хаджи-Мурат заслуженно презирает русскую военщину: и рабов (солдатню), и господ — за её нравы и повседневность, но ещё наде-

ется на помощь русских «сардарей» (государей, князей, царя) в спасении от Шамиля семьи его — и готов, при спасении семьи, послужить, как прежде, России...

В «биографии» Хаджи-Мурата, записанной Толстым в черновиках 1902 года, гадкая история развращения юного хана русской мундированной нечистью рассказана с дополнительными мерзкими подробностями:

«После смерти Кази Муллы, убитого русскими в Гимрах, его ближний мюрид Хамзат-бек продолжал его дело. Чечня и весь Дагестан, кроме Аварии, были в его власти, и всякий час надо было ждать его нападения на Аварию. [...] Хамзат-бек прислал послов к аварским ханам, требуя от них покорности. У аварских ханов не было достаточно войска, чтобы противустоять Хамзату, и потому Хаджи Мурат предложил ханше отправить его вместе с Омар-ханом в Тифлис просить у русских помощи против Хамзата. Ханша согласилась, и Хаджи Мурат с Омар-ханом и переводчиком поехали в Тифлис к главному начальнику барону Розену просить у него войск для защиты Аварии.

[...] Хаджи Мурат остался дожидаться на площади против дома, в то время как переводчик вошёл во дворец. Через четверть часа Хаджи Мурата позвали во дворец. Он думал, что его тотчас же приведут к сардарю, как он называл главнокомандующего, и он уже готовил речь ему, но его привели в канцелярию; пришёл молодой офицер с длинными усами, это был адъютант, и расспросил Хаджи Мурата об его деле и о том, кто такой Омар-хан и богат ли он. Узнав, что он богат, офицер записал адрес [в Тифлисе] и сказал, что сам заедет к ним.

Действительно, в тот же вечер офицер с длинными усами и с другими, уже не молодыми, офицерами приехал к ним, познакомился с Омар-ханом и повёз его в театр. На другой день тот же офицер повёз Омар-хана обедать, и Омар-хан вернулся пьяным. Хаджи Мурат, всегда строго державшийся закона, не пивший вина и не пропускавший время молитв, почтительно посоветовал хану быть осторожнее. Но хан, добродушный и глуповатый, не слушал Хаджи Мурата, и пил, и ездил к женщинам, и стал играть в карты. Тут при этой игре, которая происходила на квартире хана, Хаджи Мурат почувствовал величайшее презрение к русским. Он видел, что дело, ради которого он приехал и которое не могло не быть важным и для русских, потому что вопрос был в том, останется ли главная сила Дагестана — Авария в дружбе с русскими или будет врагом их, что дело это никого не занимало, а занимало офицера и других, которых он

привозил с собой, то, чтобы развратить добродушного, здорового, глуповатого хана и обобрать его, сколько возможно.

Когда хан проиграл все свои деньги, с ним стали играть на его оружие, на кинжал, шашку. И офицеры выиграли у него отцовский, золотом оправленный кинжал и увезли с собой.

Хаджи Мурат ещё раз ходил ко дворцу, и один от хана, и ответ был один: что главнокомандующий примет меры. На десятый день их пребывания в Тифлисе Хаджи Мурат объявил хану, что им надо ехать домой, и, несмотря на нежелание расслабевшего хана, увёз его домой. Денег у хана больше не было. И так кончилась эта несчастная поездка в Тифлис» (Сергеенко А. «Хаджи-Мурат». Неизданные тексты // Литературное наследство. М., 1939. Том 35/36. Л.Н. Толстой. I. С. 554 – 555).



Хаджи-Мурат за игрой в шахматы.
Рисунок Г. Г. Гагарина, сделанный с натуры в Тифлисе.
30 января 1852 г.

А в одной из черновых версий повести, именно в пятой её редакции, написанной в январе 1898 года, Толстой делает истоком ненависти Хаджи-Мурата в отношении русских впечатления детства: от зрелища унижительнейшей экзекуции горцев — кстати, не выдуманной писателем, а почерпнутой в её жутких подробностях из книги А. Л. Зиссермана «25 лет на Кавказе». Хаджи-Мурату в этом отрывке 10 лет, и он с матерью своей, Патимат, отправился в гости к деду своему, по матери, Мухамед-хану, в горский аул Гоцатль. Страшным контрастом со святой жизнью угрюмого деда стали впечатления от увиденного мальчиком во всей мерзости «русского мира»:

«Русские тогда только что начинали завоёвывать Кавказ. Турецкий султан уступил русским все народы Кавказа. Народы же Кавказа никогда не повиновались султану (они только почитали его) и считали себя свободными и были свободны. Русские пришли и стали требовать покорность горцев русскому царю» (*Сергеенко А. Указ соч. С. 529*).

В отличие от молодого волонтёра в рассказе «Набег» и от молодого же его автора, Толстой-христианин и старец не сомневается в неправоте, преступности в таком культурном диалоге именно Империи. Вот отрывок из черновика, рассказа о жизни Хаджи-Мурата, 1902 г.:

«Происходило то, что происходит везде, где государство с большой военной силой вступает в общение с первобытными, живущими своей отдельной жизнью, мелкими народами. Происходило то, что или под предлогом защиты своих, тогда как нападение всегда вызвано обидами сильного соседа, под предлогом внесения цивилизации в нравы дикого народа, тогда как дикий народ этот живёт несравненно более мирно и добро, чем его цивилизаторы, или ещё под всякими другими предлогами, слуги больших военных государств совершают всякого рода злодейства над мелкими народами, утверждая, что иначе и нельзя обращаться с ними.

Так это было на Кавказе, когда, под предлогом чумы, в 1806 году жителям запрещалось выходить из аулов и тех, кто нарушал это запрещение, засекали насмерть. Так это было, когда для того, чтобы отличиться или забрать добычу, русские военные начальники вторгались в мирные земли, разоряли аулы их, убивали сотни людей, насиловали женщин, угоняли тысячи голов скота и потом обвиняли горцев за их нападения на русские владения.

[...] Но мало того, что считались полезными и законными всякого рода злодейства, столь же полезными и законными считались всякого рода коварства, подлости, шпионства, умышленное поселение раздора между кавказскими ханами. Русские начальники не только

говорили, но и думали, что они этим способом умиротворят край. В действительности же такой образ действий заставлял горцев всё больше и больше спланиваться между собой и подчиняться отдельным лицам, которые призывали их к защите их свободы и отмщению за все совершаемые русскими злодеяния» (Там же. С. 561).

Пока формировалось и искало мощных, как Кази-Мулла и как Шамиль, вождей движение мюридизма, сопротивления рашизму — русскому агрессивному имперству — горцы непокорного Дагестана сопротивлялись, как могли, разрозненно, отдельными аулами:

«Случилось в это время, что рота русских зашла далеко от других войск в горы. Горцы узнали про это, напали на эту роту и всю истребили её: которых убили, которых увели в плен. Когда русский главнокомандующий узнал про это, он послал два батальона в аулы и велел выдать главных виновников, угрожая, в противном случае, сжечь аулы и истребить всех жителей». Горцы поступили по-своему, выдав, по жребию, 16 человек «аманатов», добровольно согласившихся на казнь, на смерть. Но умереть с честью русское мундированное дрянцо, конечно же, им не дало, а заготовило совершенно иное. В утро расправы с окрестных аулов был согнан народ, невольные зрители — в числе которых были дед Хаджи-Мурата и он сам.

Вот что увидал Хаджи Мурат:

«С 4-х сторон стояли в несколько рядов бритые люди в белых куртках с ремнями через плечи и с ружьями с штыками. Это были солдаты; их было столько, что нельзя было сосчитать. Между ними ходили люди без ружей, с одними тонкими, длинными кинжалами — это были офицеры. Впереди рядов было несколько десятков людей с пёстрыми барабанами. В самой середине сидел на барабане толстый, красный человек, расстёгнутый, в чёрных штанах и белом бешмете с золотыми наплечниками. Вокруг него стояло несколько человек, таких же, как он, начальников и солдат. Это был генерал, начальник. Один из солдат подал ему, на длинном чубуке, трубку. Толстый, краснолицый, с запухшими глазами начальник взял трубку, и в то же мгновение загремело что-то. Это ударили барабаны. И как только ударили барабаны, одна сторона солдат расступилась и между солдат ввели 16 человек. Хаджи Мурат перечёл их. Были молодые, средние и пожилые, и один был совсем старый с потухшими глазами и седой, редкой бородой». Барабаны смолкли, и один из палачей, по-русски и по-татарски, прочитал пленникам приговор. «И как только он кончил, в одно и то же мгновение поднялся стон в горском народе, и начальнику с заплаканными глазами подали трубку и опять загремела дробь барабанов.

[...] С первого, статного, тонкого, широкоплечего рыжего человека лет 40, два солдата сняли черкеску, потом бешмет. Солдаты хотели снять рубаху, но горец не дался им и, отстранившись от них, сам разорвал на себе рубаху и стряхнул её с себя, так же стряхнул с себя и штаны и остался голый. Когда солдаты взяли его за руки, чтобы привязать их к ружью, руки эти дрожали и тонкий стан его рванулся назад. Начальник с брюхом и заплавленными глазами что-то сказал, и солдаты одной стороны составили ружья в козлы и, выйдя из рядов, стали подходить к арбе, на которой были палки, и, разобрав их, выстроились улицей от одного ряда солдат до другого. Хаджи Мурат только мельком видел движения солдат. Он не спускал быстрых глаз с начальника и обнажённого человека. Он видел связь между ними. Начальник что-то крикнул, и два солдата повели обнажённого человека за ружья, к которым он был привязан, в улицу, составленную из солдат с палками.

Первый солдат улицы взмахнул палкой и ударил ею по белой спине горца. Горец вздрогнул, — так же вздрогнул и Хаджи Мурат, — и оглянулся. И не успел он оглянуться в одну сторону, как на белую спину упал удар с другой стороны и на белой спине ясно выступили красные, перекрещивающиеся полосы. С запухшими глазами начальник выпускал через усы дым трубки, а солдаты тянули обнажённого, иногда упирающегося человека вдоль солдат, и удары, один за другим, ложились на бывшую прежде белой, теперь красную спину, только руки были белы и шея до того места, где она загорела.

Сначала горец молчал, но, когда его поворотили назад и провели уже более чем через 200 ударов, он странно завизжал, и визг его пронзительный, не переставая, выделялся из-за грохота барабанов. Дед Хаджи Мурата, не переставая, шептал беззубым ртом молитву. Хаджи Мурат дрожал, как в лихорадке, и переступал, не переставая, с ноги на ногу...

Первого водили до тех пор, пока со вспухшей, как резаное мясо, спины сочилась по обоим бокам кровь и горец, всё ослабевая и ослабевая, упал наконец. Его немного протащили, но начальник подошёл, что-то поговорил. Барабаны замолкли, и солдаты положили избитого горца на носилки и вынесли за ряды. Страшный визг поднялся в толпе, как только затихли барабаны, и женщины, жена и мать избитого, окружённые толпою, кинулись к избитому.

Вслед за этим два солдата подошли к красавцу с маленькой бородкой лезгину в жёлтой черкеске, и стали раздевать его. Солдат кузнец стал снимать с него ножные кандалы. Но не успел он снять их, как лезгин вырвал их у него из рук, взмахнул ими над головой солдата, и солдат не успел отклониться, как цепь с замком размозжила ему

голову. Солдаты, стоявшие около, взяли ружья на руку и двинулись к лезгину, угрожая ему штыками; но он, как будто только и ждал этого, сам схватил ружьё за дуло, бросился на штык и воткнул его себе в грудь ниже левого ребра и запел.

Солдат выдернул ружьё, поток чёрной крови хлынул из раны. Лезгин развёл руки, постоял так с минуту и упал навзничь.

[...] Умирающего вынесли за ряды. Опять ударили барабаны, и так же, как первого рыжего, раздели старика, привязали к ружьям и повели по рядам. Старик шёл молча и закрыв глаза, и только вздрагивал при каждом ударе.

[...] Начальник с брюхом и заплывшими глазами всё сидел и курил трубку, которую ему подавали солдаты. Хаджи Мурат дольше не мог видеть и убежал домой» *(Там же. С. 529 – 532).*

Среди выживших, переживших в Украине современную её оккупацию руснёй, подпутинскими свинособаками, наверняка найдутся в скором будущем свидетели, мемуаристы и писатели, которые расскажут миру подробности не менее, а куда более страшные.

По биографической версии 1902 года, дед Хаджи-Мурата собирал у себя мюридов, и юный отрок знал к 11-ти годам про необходимость священной войны с русскими. После зрелища экзекуции горцев «он весь дрожал от злобы и желания заставить русских свиней страдать так же, как они заставили страдать его единоверцев. С этой поры намерение Хаджи Мурата бежать в горы к мюридам [...] уже не могло быть более откладываемо» *(Там же. С. 552).*

В финальном варианте повести этого повествования, об истязании мусульман русской нечистью, свиноподобным начальником и его рабами, конечно же, нет: слишком не стыковались реалистичное повествование и естественное отвращение ребёнка к виденному, оставившему неизгладимое впечатление, с позднейшими, взрослого Хаджи-Мурата, эпизодами службы русским и почтения к властной элите — «сардарям» России. (Оно, это отвращение, как мы знаем, «откочевало» в другое произведение Толстого, рассказ 1903 г. «После бала».) Русские в финальном варианте чаще именуется собаками, нежели свиньями: и то, и другое, разумеется, по заслугам, и недаром защитники Украины в 2022 году, не делая выбора в сортах говна, назвали путинских оккупантов «свинособаками»!

Между тем, самый главный из имперских «сардарей», император Николай Павлович, каким весьма реалистично изобразил его в главе

XV повести Толстой — явно не из тех, кому мог бы, узнай его поближе, согласиться добровольно служить нравственно чистый, как детёныш перед Господом, человек Хаджи-Мурат.

Вот светлейший князь Александр Иванович Чернышёв, военный министр, 1 января 1852 года едет в отстроенный, для новых грехов, после великого очистительного, предрождественского пожара 1837 г. царский Зимний дворец — с докладом от Воронцова, из Тифлиса, о «выходе» к русским Хаджи-Мурата:

«Чернышёв не любил Воронцова и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышёв всё-таки *parvenu* [*фр.* выскочка], главное за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышёв пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышёву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что, по небрежности начальства, был горцами почти весь истреблён небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышёву только потому, что в это утро 1-го января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышёва, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышёва и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что, благодаря дурному расположению духа Николая, Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время» (35, 64 – 65).

В двух абзацах — полная картина того порочного устройства жизни, христиански осуждённого Толстым, при котором судьбу человека может решать интрига, случайность или настроение «сильных мира». Обращает внимание упоминание Толстым об одной из мрачных легенд, связанных с именем князя А. И. Чернышёва: его

«стараниями» на следствии по делу декабристов однофамилец его, Захар Григорьевич Чернышёв (1797 – 1862) был, с лишением прав состояния, приговорён к четырём годам каторги, а после неё — бессрочному поселению. Многие современники были уверены, что за приговором скрывалась интрига светлейшего князя. Декабрист Иван Дмитриевич Якушкин писал в воспоминаниях:

«Граф Чернышёв, отданный под суд, содержась в крепости и ни разу не быв призван в <Следственный> комитет, даже не получив ни одного письменного запроса, был приговорён в каторжную работу. Он со временем должен был получить в наследство довольно значительный майорат, установленный в их роде. Граф Чернышёв был единственный сын, и после лишения его всех прав и состояния мужская линия прекратилась в их семействе, и генерал Чернышёв, так усердно действовавший в комитете, воспользовался таким обстоятельством, предъявил свои требования на получение майората. Сенат, по рассмотрении этого дела, нашёл, что требования генерала Чернышёва не были основаны ни на малейшем праве...» (*Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 110 – 111*). Но благородный однофамилец-декабрист уже был приговорён, и был оставлен на каторге!

То есть, Николай I сознательно держит при себе людишек подлых, но полезных! Сколь нравственно ниже это существо «варвара» Шамия, с гадливостью «пожалевшего» Юсуфа, сына Хаджи-Мурата, предавшего отца и заискивавшего перед ним — заменив смертную казнь позорным ослеплением, «как он делает всем изменникам!» (35, 90).

«Хром» Николай Павлович и на блудливую ножку, отнюдь не стесняя себя обязательствами супруга. Толстой описывает одно из бессчётных «угощений» Николая в этом роде:

«Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства ещё, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провёл с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лёг на узкую, жёсткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, пол-

ные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек» (Там же. С. 68).

В новогоднее утро император помолился и вышел на прогулку — оказавшуюся не столь усладительной, как вечерний блуд:

«Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост и старательная вытяжка и отдавание чести с подчёркнуто-выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов! Ваше Императорское Величество.

— Молодец!

Ученик всё стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, Ваше Императорское Величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошёл дальше...» (Там же. С. 68 – 69).

Вот этот-то честный ответ будущего правоведа и испортил, в числе более давних воспоминаний, настроение императору перед встречей со своим военным министром. Сама встреча описана Толстым в ярких сатирических и обличительных красках:

«Первого он принял Чернышёва. Чернышёв тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышёва, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышёва было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников...

[...] Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.



Николай I.

Рис. Е. Лансере. 1912.

(В 1917 г. рисунок подвергался запрещению цензурой)

— Видно, у нас в России один только честный человек, — сказал он. Чернышёв тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, Ваше Величество, — сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию, — сказал Николай, взяв бумагу и переложив её на левую сторону стола. [...]

— Ну, что ещё? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа, — сказал Чернышёв и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как, — сказал Николай. — Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды, — сказал Чернышёв.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он признавал, что их не было.

[...] Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный

плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней, несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубке лесов и истребления продовольствия тоже себе. [...] Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышёв.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз и, когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанёс ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик, — отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им. [...] Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нём расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: *«Заслуживает смертной казни. Но, слава Богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить её. Провести 12 раз сквозь тысячу человек. Николай»*, подписал он с своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким, и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул её Чернышёву.

— Вот, — сказал он. — Прочти.

Чернышёв прочёл и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай.

“Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем”, подумал он.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семёновичу?

— Твёрдо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая. — Михаил Семёнович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю, — сказал Чернышёв и, встав, стал откланиваться» (*Там же*. С. 69 – 73).

«Николая Палкина» Толстой художник и Толстой-публицист относил к прямым и непосредственным виновникам военных преступлений, совершавшихся не только на Кавказе, но и в Польше, Венгрии, на бесчисленных учениях, смотрах, где засекались тысячи солдат. Царь олицетворял собой самые характерные черты самодержавного деспотизма. В дневнике писателя периода работы над «Хаджи-Муратом» можно найти такую запись: «Деспотизм производит войну и война поддерживает деспотизм. Те, которые хотят бороться с войной, должны бороться только с деспотизмом» (55, 45).

Назвав Николая I очевидным виновником казни Рылеева, Пестеля и других декабристов, виновником издевательств над поляками, Толстой говорит об императоре как о безбожном и жестоком существе, уверенном в своей рыцарской правдивости и честности, в том, что он, император, является мудрым правителем и благодетелем своего народа. Царь считает самым нужным и для себя, и для России

«не университеты, не журналы, не статьи, не науки, не учёных и поэтов и не просвещение, а дисциплину». «Из наук была только одна нужная наука, — подчёркивает Толстой, — наука военная, а из искусств весёлая музыка: марши, рыси и водевили» (35, 536).

В рукописных вариантах повести европейскому деспоту противопоставлен азиатский деспот — Шамиль, который, как и Николай I, единолично вершит судьбами подвластного ему народа.

Подчёркивая личную виновность императора Николая в самых крупных военных преступлениях его эпохи, Толстой одновременно ставит вопрос: «Но он ли один был виновен в этом?» Тут же следует недвусмысленный ответ: «Но стоит вспомнить про его жизнь, про его прошедшее, детство, молодость, для того, чтобы убедиться, что он не мог быть иным, как такой, какой он был. Вся жизнь Николая была приготовление к тому, что он сделался тем странным, ужасным существом, с извращёнными до такой степени умом и сердцем, что в нём не осталось ничего человеческого» (35, 549).

Перечисляя ряд русских монархов, правивших от Петра I до Николая, Толстой пишет: «Разве лучше был... лживый, сластолюбивый, жестокий фарисей, его “благословенный” брат, отцеубийца, посредством Аракчеева забивавший насмерть тысячи людей и говоривший, что он уложит трупами дорогу от Чудова до Петербурга, прежде чем согласится отступить от нелепой мысли военных поселений?.. Таковы же были все те распутные, глупые и безграмотные бабы, бабы и девки, которые царствовали до него. Таков же был... собственноручно для забавы рубивший головы стрельцам... Пётр, который представляется образцом для всех последующих царей» (35, 549 – 550). Личности российских монархов интересуют Толстого в различных аспектах, и, за малым исключением, ни в одной стороне их жизни и деятельности он не находит ни добра, ни простоты, ни правды.

Писатель снова подтверждает свой вывод: «И таков был Николай Палкин. Он и не мог быть иным. Вся жизнь его была приготовлением к этому» (35, 554).

Этих размышлений нет в окончательном тексте. Они, без сомнения, нарушили бы эпически «объективный» тон повествования, «холодность описания» — приём, использованный Толстым и в «Хаджи-Мурате».

Раздумья писателя над природой и последствиями деспотической власти вошли позднее в публицистическую статью «Единое на потребу» (с подзаголовком «О государственной власти»), начатую в конце 1903 года и оконченную в разгар русско-японской войны в апреле 1905 года. Деградация имперской России, политическая и

религиозно-нравственная, будет отнесена им к прямым причинам очередной разгоревшейся бойни.

В последнем варианте повести имеется другое. Тут на материале кавказской войны средствами искусства показаны последствия деспотического правления, механика практического осуществления николаевских военных предначертаний. Изображены также исполнители высочайшей воли, начиная от Чернышёва и Воронцова и кончая солдатами и офицерами, руками которых претворяются в жизнь принципы николаевской доктрины, предписывающей разорение жилищ горцев, уничтожение их продовольствия, проведение карательных экспедиций. Всем представителям этой многоступенчатой иерархии функционеров свойственно нечто общее: рабье послушание, безропотная, механическая исполнительность, нравственная тупость. Бесчеловечный смысл того дела, которому они служат, обесцвечивает и утилизирует их личности, внутренне выхолощивает их, превращая в бездумных и бездушных фанатиков-насильников.

Зловещая сущность деяний таких, например, верных слуг государя, как майор Петров, командир роты Бутлер и других, прикрыта внешне привлекательным камуфляжем. В облике майора читателю бросаются в глаза прежде всего добродушие, приветливость, компанейская общительность. Бодростью, спокойствием, весёлостью веет от всей фигуры Бутлера, переведённого из Петербурга на Кавказ. Молодой офицер радуется всему, что видит вокруг себя: отступлению горцев из аула, молодецкому виду своих солдат, их ухарской песне «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!», с которой отряд возвращается в крепость после удачного набега. Таков же и майор Петров, ближайший начальник Бутлера. Оба русских кацапа, палача просто-таки наслаждаются обществом друг друга:

«Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он <Бутлер> забыл теперь и про своё разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — всё это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомёта и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов кавказцев.

“То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!” — пели его песенники. Лошадь его весёлым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый, серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело.

Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды и уважение и здешних товарищей и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать своё поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошёл мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и тёмно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться» (35, 79).

Эти радование жизнью и легкомыслие молодых людей, справедливые, законные во всяких нормальных для человека условиях, подале от армии, войны и военщины — особенно омерзительны в день варварского набега русских на мирный горский аул. Но Толстой-писатель, реалист, в таких случаях не знает пощады к чувствам читателя... Всё тем же внешне «холодным», бесстрастным языком, увеличивающим мощь воздействия на читателя, Толстой повествует о том, что, после прихода в крепость, как и предвидел майор Петров, его жена накормила офицеров «сытым, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошёл к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошёл в свою комнатку и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под курчавую светлую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания» (35, 80).

Сон разума рождает чудовищ... Как раз за этой идилически мирной сценой в повести следует знаменитое описание аула, в исполнение «высочайшей» воли царя Николая Павловича разорённого солдатами добродушного Петрова и спящего «сном без сновидений» красавца Бутлера. Показаны страшные результаты их «трудов»:

«Аул, разорённый набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провёл ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьёй в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашёл свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галлерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезён мёртвым к мечети

на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубашке, открывавшей её старые, обвисшие груди, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушёл с родными копать могилу сыну. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишнёвые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчёлами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены ещё два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал её.

Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали своё положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями всё с такими трудами заведённое и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного» (35, 80 – 81)

Безумный «стратег» имп. Николай I, рядом черт напоминающий современного кремлёвского вора и палача В. В. Путина, достигнул, таким образом, целей, противоположных желаемым им: жестокостью разорения аулов он спланировал горское население в противостоянии Империи — под знамёна Шамиля! Так точно и Путин, воюя с Украиной, декларативно, ради уничтожения угрозы для России со стороны НАТО — «гениально» за 2022 – 2023 гг. усилил и приблизил этот

военный блок к своим же границам! Украина, как разрушенный Империей горский аул, защитит и восстановит себя, краше прежнего — а вот грешникам суждено гибнуть, гибнуть, гибнуть от собственного их, грешников, зла! Amen.

Думается, описание главы XVII – й «Хаджи-Мурата» могло бы служить иллюстрацией, нарисованной рукой писателя-христианина, к утверждениям тех апологетов войны, которые, подобно Мольтке, Ницше, Вогюэ, толковали, как мы помним, о божественности, святости войны и призывали войти в её какой-то там «дворец». Толстой, верный сполна своей севастопольской *правде*, не только вводит читателя в «дворец войны» и показывает её несвятой лик, но и создаёт картину, отмеченную изумительной выразительностью и соразмерностью деталей, целостностью общего впечатления.

Прямую связь это описание имеет и к естественному в наши дни отношению граждан Украины к участникам российской агрессии. Речь даже не о ненависти к военному противнику, а о гадливом отвращении, *моральной тошноте* от «диалога культур»: контрактных либо мобилизованных выблядков «русского мира», совершивших в 2022 году дичайшие, запредельно бесчеловечные преступления в дни, когда надеялись на лёгкую оккупацию Украины и гнусную победу — и граждан этого маленького, прекрасного, юного европейского государства, стремящегося, чтобы спасти *лучшее* в себе, и культурно, и политически отделить себя от обречённой бывшей метрополии давно издохшей Империи.

Нечто схожее запечатлевает нам и XVII – я глава «Хаджи-Мурата». Немало, разумеется, и различий: тот же Бутлер, например — всё же человек XIX столетия и своего, благородного и благовоспитанного, дворянского круга. Вряд ли его можно вообразить в роли насильника над женщиной или мародёра — как те оккупанты, кто в 2022 – 2023 годах вывозили из Украины не только краденые в чужих домах стиральные машинки и унитазы, но и обращённых ими, палачами, в сирот детей!

И всё же и Бутлер — хоть и своего изящного века, а такой же палач... и палач самый страшный и самый распространённый в «русском мире»: легкомысленный, часто и вовсе бездумный и без нравственного «якоря» в сознании — судя по тем огромным проигрышам в карты, которые он позволил себе, один из которых привёл его на Кавказ, а второй, под носом у Воронцова-старшего, совершён был прямо на службе... Вряд ли такое поведение «друга» одобрил бы, разобравшись в этой личности, Хаджи-Мурат. Своеобразной «копией» Бутлера в повести является Хан-Магома, легкомысленный и

неумный нукер Хаджи-Мурата. Антипод же Бутлера в повести, ощущимо — безвинная и беспомощная жертва войны, крестьянин по жизни и солдат поневоле Авдеев.

Безусловно, ваяя этот великолепный образ имперского «героя», единственной жертвы нелепой стычки рубщиков леса с горцами, Толстой вспоминал не только кавказский свой опыт, отразившийся в ранних повестях — «Набеге» и «Рубке леса», но и своего же Платона Каратаева, так же добровольного солдата из крестьянской семьи, и, быть может, такого же «добровольца поневоле», но из жизни ренальной — солдата Шабунина, расстрелянного в 1866 году по приговору военно-полевого суда, за которого Толстой, с ничтожным своим юридическим опытом, неудачно пытался вступить и спасти его.

Все они — и памятные Толстому из 1851 – 1853 гг. кавказские солдаты, и злосчастный Шабунин из 1866-го — умирали по Христу: без страха, смиренно, со свечой (как Авдеев в повести), с молитвой на устах, или, как Шабунин, грамотный ротный писарь — читая накануне расстрела Евангелие...

Казалось бы, смерть «варвара» Хаджи-Мурата совсем не похожа на то, как умирали русские солдаты, военные рабы тёти «родины»... но всегда не всё так просто у Толстого!

Хаджи-Мурат долгое время не знает ничего об уничтожении руснёй дружественного ему аула. Не знает до конца и об участии в этом деле Бутлера — которого, живя вынужденно под одной крышей с русскими, приближает к себе, делает своим «кунаком», другом: «...много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать» (35, 85). Если памятовать, что Хаджи-Мурат доверился Бутлеру, как другу — его роль в повести вполне сближается с ролью Иуды по отношению к Христу. «Друг» Бутлер, увлекаясь культурой, фольклором чеченцев и изображая по внешности такового — всё тот же, чуждый, хотя и хитрый, выщенок Империи... Судьба уберегла Хаджи-Мурата от того, чтобы узнать, до *какой* степени!

Но и без того «диалог культур», в котором он вынужденно участвует, вызывает в Хаджи-Мурате нарастающее отвращение. Он терпит русских не столько из-за единственного среди них, и то мнимого, друга, сколько ради надежды выручить у Шамиля, с их помощью, свою семью. Но «рабы Государевы», «благородная», служилая русня меж тем просто-напросто выполняет распоряжения «сверху», от военного министра и царя — и не собирается «держатъ слова», выполнять данных «дикому горцу» изустных обещаний. И Хаджи-Мурат, оскорблённый в лучших человеческих чувствах, убедившийся,

кстати, именно в собачьей (преданность царю!) сущности «русских собак» — уходит от них. Собаки, именно как собаки — оравой преследуют его с его «мюридами» (товарищами по оружию) и оравой же, в сотни против шестерых, с подлым страхом и огромным трудом, с потерями в своей поганой стае, уничтожают его...

Загнанный в угол предательством, которого, по наивности своего чистого сознания, не мог предвидеть, а более всего — спровоцированный естественным культурным, *моральным отвращением*, Хаджи-Мурат убивает русских солдат и, наконец, погибает и сам, до последней минуты цепляясь за жизнь... Как трофей, как высшую степень торжества демонстрировал офицер Каменев его отрубленную голову, «развозил по всем укреплениям, аулам, показывал» (35, 109). Толстой описывал эту «страшную» человеческую голову, и теперь, кажется, его не смущал, как когда-то в «Набеге», откровенный натурализм этой картины: жестокость в людях надо лечить горькими лекарствами. Но, как и в рукописях первого военного рассказа, вдруг пронзительной нотой начинала звучать тема детства: на мёртвом лице Хаджи-Мурата, «несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение» (Там же). Характерный штрих, который Толстой неоднократно подчёркивал в его живом портрете. «Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.



— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он». «Сильно выпивший» Иван Матвеевич «пьяными глазами долго смотрел» на голову.

«— А всё-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую. [...] Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил, — кричал Иван Матвеевич» (*Там же. С. 109 – 110*). Даже простой казак, для которого Хаджи-Мурат не был ни знакомым, ни собеседником, видимо, чем-то смущён: он «положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула». И только Марья Дмитриевна, единственная женщина в этой сцене, назвала вещи своим именем: «Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, — сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и всё» (*35, 110*).

«Живорезы» в устах доброй Марьи Дмитриевны — синоним для «кацапов»: мясников, живодёров, палачей...

Масштаб и системная организованность *ничего* не оправдывают. Никакая война не может и не должна оправдать *убийство*! В финальной версии повести, безусловно, превалирует именно такой, антивоенный, посыл — несмотря на то, что ещё в версии 1901 года, переработанной из черновых 1896 г., автор развивает «романтическую» линию влюблённости Марьи Дмитриевны в прекрасного аварца, и именно с этим чувством связывает напрямую её огорчение и досаду его жестоким убийством:

«Она часто вспоминала и говорила о нём, и Иван Матвеевич смеялся ей и при других, что она влюблена в Хаджи Мурата, и Марья Дмитриевна смеялась и краснела, когда это говорилось. Увидала она это лицо через месяц при следующих условиях». Следует схожее описание визита офицера Каменева. В мешке, как думает Марья Дмитриевна, гостинец для неё, арбузик — но это оказывается совсем не арбузик:

«Марья Дмитриевна посмотрела, узнала Хаджи Мурата и, ничего не сказав, повернулась и ушла к себе. Когда Иван Матвеевич вернулся, он застал Марью Дмитриевну в спальне. Она сидела у окна и смотрела перед собой.

— Маша! Где ты? Пойдём же, Каменева надо уложить. Слышала радость?

— Радость! Мерзкая ваша вся служба, все вы живорезы. Терпеть не могу. Не хочу, не хочу. Уеду к мамаше. Живорезы, разбойники.

— Да ведь ты знаешь, он бежать хотел. Убил человек пятнадцать.

— Не хочу жить с вами, уеду.

— Положим, что он глупо сделал, что показал тебе. Но всё-таки печалиться-то тут не об чем.

Но Марья Дмитриевна не слушала мужа и разбила его, а потом расплакалась. [...]

— Он добрый был. Вы говорите — “разбойник”. А я говорю добрый. И наверное знаю, и мне очень, очень жаль его. И гадкая, гадкая, скверная ваша вся служба.

— Да что же велишь делать, по головке их гладить?

— Уж я не знаю, только мерзкая ваша служба, и я уеду.

И действительно, как ни неприятно это было Ивану Матвеевичу, он, не прошло года, как вышел в отставку и уехал в Россию» (35, 294).

У этого варианта, кстати сказать, особая история — многое объясняющая. В Дневнике Толстого под 19 марта 1901 г. значится: «За всё это время ничего не писал, кроме обращения к царю и его помощникам, и кое-какие изменения, и всё скверные, в «Хаджи Мурате», за которого взялся не по желанию!» (54, 90).

Слова «взялся не по желанию» объясняются следующим образом: Софья Андреевна Толстая, жена писателя, состоя попечительницей одного московского детского приюта, устраивала благотворительный вечер. Для большего успеха ей хотелось включить в программу концерта художественное чтение чего-либо неопубликованного из писаний своего мужа. Толстой обычно отклонял такие просьбы, но на этот раз уступил. И до такой степени, что в текст ощутимо вкрались пацифистские и даже феминистские элементы: жена влияет на отношение мужа к военной службе — и так основательно, мощно, что тот уходит в отставку! Конечно же, угодив супруге, Толстой из позднейших вариантов повести клюкву сию начисто вымарал!

Жизнелюбивые и детские черты в художественном образе Хаджи-Мурата в повести Толстого имеют одним из источников воспоминания писателя о поездках летом 1871 г. на кумыс, в селение Каралык Самарской губернии, к башкирам. Его шурин Степан Андреевич Берс, сопровождавший его, вспоминал:

«На Каралыке Льва Николаевича больше всех развлекал шутник, худощавый, вертлявый и зажиточный башкирец Хаджи-Мурат, а русские его звали Михайлом Ивановичем. Он удивительно играл в шашки и обладал несомненным юмором. От плохого произношения русского языка шутки его делались ещё смешнее. Когда в игре в шашки требовалось обдумать несколько ходов вперёд, он значительно поднимал указательный палец ко лбу и приговаривал: “боль-

шой думать надо”. Это выражение заставляло смеяться всех окружающих, не исключая и башкир, и мы долго потом вспоминали его ещё в Ясной Поляне» (*Берс С. А. Воспоминания о графе Л.Н. Толстом. Смоленск, 1894. С. 54*).

«Думать надо», «подумать надо об этом» — несколько раз говорят в повести Хаджи-Мурат и другие горцы, тем самым отсылая нас к другому, исторически почти неизвестному, но очень хорошему человеку, тёзке великого аварца.



Смерть Хаджи-Мурата.
Иллюстрация Е. Лансере.

Важно то, что Хаджи-Мурат мучим не так, как умоляющий о милосердии татарин в рассказе «После бала». Он даже и гибнет — возлюбленным до конца фаворитом автора, Льва Николаевича, так и сохранившим, помимо неприятия своего войны, почтительное отношение к храбрости на войне. Гибнет в прелестный весенний день

(исторически это — 23 апреля (5 мая) 1852 года), под пение соловьёв и на хлебном поле... то есть, на рисовом, конечно, но ведь рис для многих народов Земли — тот же хлеб. И гибнет он подготовленным к страданиям и смерти, не молящим поганый «русский мир» о пощаде, как экзекуцируемый татарин («Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали...». — 34, 123), а так же, предав себя Богу, как был готов к смерти и как погиб Иисус Христос. Не напрасно, не случайно во дни очередного периода напряжённой работы над повестью, в Дневнике Толстого, среди записей на 23 сентября 1902 г., находим и такую:

«Говорят о том, что христианство есть учение слабости. Хорошо то учение слабости, основатель которого погиб мучеником на кресте, не изменяя себе, и которое насчитывает миллионы мучеников, единственных людей, смело смотревших в глаза злу и восстававших против него. И евреи, казнившие Христа, и теперешние государственники знают, какое это учение слабости и боятся его одного более всех революционеров. Они чутьём видят, что это — учение, под корень и верно разрушающее всё то устройство, на котором они держатся. Упрекать в слабости христианство всё равно, что на войне упрекать в слабости то войско, которое не идёт с кулаками на врага, а под огнём неприятеля, не отвечая ему, строит батареи и ставит на них пушки, которые наверное разобьют врага» (54, 139).

Православная, лжехристианская русня, служки дрянного своего царя, предают Хаджи-Мурата — вполне единосуцно предательству Иудой Христа. И они же гнусно, пёсией сворой, добивают его... Один из убийц, хорошо читателю известный по характеристике, данной выше, майор Петраков, погибает сам, и Толстой, снова без жалости к читателю, сообщает об этом кратко, вот так:

«Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к нему, и он, как рыба, всхлипывая, умирал» (35, 113).

Не так, как истекал в Небеса кровью князь Андрей Болконский, и не так, как (в легенде Толстого), гибнет Хаджи-Мурат: схватишись смертно за дерево, будто желая раствориться в природе, в Божьем мире — в Боге, в Котором живёт мир, Который — все мы, когда мирно и вместе... Даже не как Праскухин в «Севастополе в мае» — к смерти которого Толстой так же заставляет приглядеться читателя, как в случае со всеми «любимцами» из персонажей. Как животное? Даже и не это...

Как обречённая рыба — выловленная из среды своей жизни.

Вспоминается то значение, которое имела для Толстого в эти годы книга Петра Хельчицкого «Сеть веры», которую Толстой прочёл не по единственному изданию 1893 г., где текст Хельчицкого был дан в *изложении*, а в первоначальных, бесцензурных корректурных листах, добытых для него из хоронилиц Академии наук усилиями Н. Н. Страхова. Важнейшая мысль Петра Хельчицкого такова, что Христос-«рыбак» уловил словом Истины и удержал в «сетях» нового учения жизни, спас — лишь немногих. Сперва «сильные мира», элиты языческого и еврейского обществ, прорвали сеть и ушли — а вослед им, на погибель себе, ушли от Христа в мирское рабство и простецы. Так и храброго майора Петракова мир «уловил» в свои сети — и, радостного, легкомысленного, вдруг подвёл к смерти, и убил, но, будто смилостивясь под конец — не граблею такой же русской свинособаки, а дланью одного из покорных Всевышнему праведников и героев.

Именно *мужество* Христа и Хаджи-Мурата, *уверенно*, с верой живой, с преданностью Богу смотревших в глаза своих убийц, бесценна для Толстого-христианина, духовного воина... Как раз в дни писания сцены убиения аварского героя он получил письмо от очередного, ещё готовящегося к отказу от службы, призывника. Некто Николай Вениаминович Ченцов в письме от 20 сентября 1902 г. сообщил яснополянцу о своих колебаниях, вызванных предстоявшим призывом на военную службу. Как и многим другим до него, Толстой в ответном письме от 26 сентября посоветовал Ченцову не спешить с отказом — именно по причине нестойкости его веры. Надо приучить себя поступать только перед Богом и не загадывать о последствиях, об умозрительном будущем:

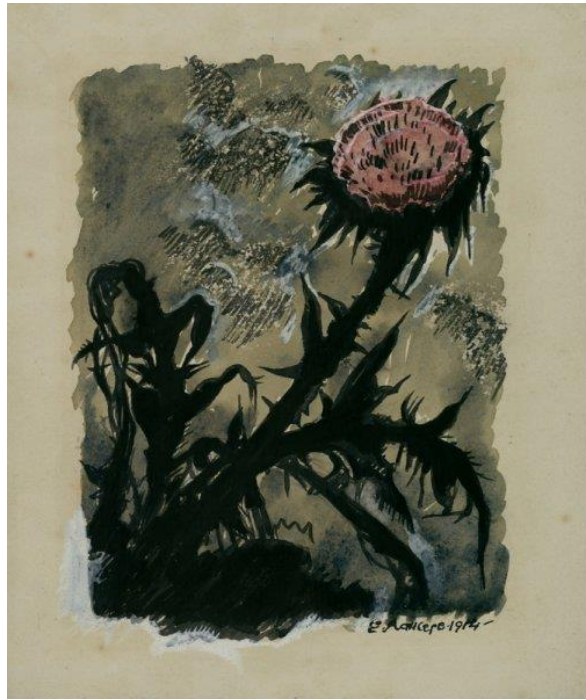
«Сознание преступности участия в убийстве может быть так сильно, что вы будете чувствовать невозможность согласиться на такое участие. Если же есть сомнение, колебание, то лучше поступить в солдаты, чем по одному рассуждению отказаться от военной службы и потом раскаяться в своём хорошем поступке. Такое раскаяние хуже всего. Оно извращает всё мировоззрение человека. И потому мой совет: если вы *можете* поступить на военную службу, поступайте.

[...] Представьте себе, что вы через сутки наверно умрёте, и спросите себя, что бы вы сделали в таких условиях: огорчите ли родителей своим отказом от военной службы, или, несмотря на огорчение родителей, всё-таки откажетесь.

И то, что вы решите в таких условиях, то и будет лучшим решением. Кроме того, советую вам помнить слова, сказанные Христом ученикам, когда он послал их: «И не думайте о том, что вы будете говорить,

когда вас поведут к судьям и правителям, дух Божий будет говорить в вас”. Надо только, чтобы дух Божий жил в нас. Надо разжигать его в себе. И тогда он, этот дух, скажет то, что должно» (73, 302 – 303).

Один из символов Христа — терние, терновый венец. И такой же “колючий” символ, стойкий репей на хлебном поле, напомнивший о Хаджи-Мурате старому офицеру Толстому, Толстому-духовному воину 1890 – 1900-х годов, обрамляет повествование о Хаджи-Мурате.



Сволочь тётя «родина», «родное» государство, знает, падла, чем тебя закрутить — чтобы ты оказался в войске, а то и на преступной войне... Надо быть, как репей, как поругаемый Иисус, как равнодушный к сладостям и прелестям развратного «русского мира» воин Хаджи-Мурат... Даже и без его физических сил. Но с упованием на Бога:

«Только деятельное, нравственное, духовное, глубокое и религиозное сознание придаёт жизни всё её достоинство и энергию. Оно делает неуязвимым и непобедимым. Землю можно победить только именем Неба.

[...] Только тогда бываешь сильнее всего, когда вполне бескорыстен, и мир у ног того, кого он не может обольстить.

Почему? Потому что дух властвует над материей, и мир принадлежит Богу.

“Мужайтесь, — сказал небесный голос, — Я победил мир”.

Боже, дай силы слабым, желающим доброго!» (42, 134).

В критике подчас можно встретить упрёк в адрес Толстого в том, что писатель в угоду своей нравственно-философской концепции истолковывает изображаемые в повести события и поведение своих героев в морально-этическом плане, упуская при этом социально-политический аспект (См. Родионов Н. Предисловие к кн.: Толстой Л. Н.. Полн. собр. соч. 35. С. VIII). Упрёк этот нельзя признать обоснованным. Говоря о политике, Толстой никогда не забывает о морали. Всё дело как раз в том и состоит, что он не отделяет мораль от политики. «Самая губительная ошибка, которая когда-либо была сделана в мире, – это отделение политической науки от нравственной» — это изречение П.-Б. Шелли было среди любимых у Толстого. Какова мораль общества, такова и политика его властных элит. Не наоборот. В повести нравственной высоте облика Хаджи-Мурата, естественности и простоте жизненного уклада горцев-тружеников писатель противопоставил никчёмность образа жизни представителей русского воинства — майора Петрова, Бутлера, генерала Козловского — с таким неотъемлемым атрибутом их служебного быта, как карты, кутежи, водка. Тем самым писатель не только оправдал и благословил антиколонизаторскую войну горских народов за свободу и независимость, но и осудил экспансионистскую политику русского царизма. Особое осуждение у писателя вызывает насильственный характер этой политики, а также главный инструмент её осуществления — царская армия, которую русское самодержавие на рубеже XIX – XX веков, т. е. в тот период, когда Толстой работал над своей повестью, начало усиленно готовить для новых военных авантюр.

Повесть «Хаджи-Мурат» — не только «лебединая песнь» Толстого-художника, но и вершина антивоенной мысли Льва Николаевича, в её выражении именно в художественном тексте. Мы видим, что Толстой, просветившись чистой, первоначальной верою Христа, избавился от иллюзий юности и молодости: от желаний оправдать и освятить вооружённое системное, военное насилие, совершавшееся в разное время казённо-имперской его родиной. То же самое искание правды, последование правде, заявленное в Севастопольском цикле — привело писателя к правдивой картине состояния российской армии, не утратившей актуальности и для нашего времени. Современный нам публицист А. Г. Невзоров пишет следующее: «Армия, совершающая глобальное, коллективное преступление- становится армией подонков и живёт по подонским правилам» (<https://t.me/nevzorovtv/8591>). И это всё — о том же, хотя захваты

земель, убийства и уничтожение природных богатств и инфраструктуры цивилизации совершаются в наши дни бандитами из России не на Кавказе, куда многие из них сунуться бы засрали, а в Украине. Но это всё — о том же... Метко и по-толстовски безжалостно!

«Хаджи-Мурат» — антивоенное художественное завещание Толстого всем нам. Повесть практически исчерпывает тему отношения Толстого к войне, выраженного именно в художественных текстах, и мы завершим её анализом маленькую, но самостоятельную — по уважению к достоинству персонажа, которому посвящена — предпоследнюю Главу нашей книги.



Глава Двенадцатая.
СТАРЧЕСТВО:
«СКАЗАТЬ НА ПРОЩАНИЕ...»
(Конец 1890-х – 1910 гг.)

Закончилось представление читателю главного антивоенного художественного сочинения Льва Николаевича Толстого позднего жизненного периода — повести «Хаджи-Мурат». Но в годы работы над ней продолжал звучать и голос Толстого-публициста и христианского проповедника. Условные хронологические рамки данной главы — от Гаагской конференции 1899 года, о которой на этих страницах было довольно сказано, до Стокгольмской 1909 года, в которой старец Лев намеревался принять активное участие. В эти временные рамки вошло несколько достойных внимания сюжетов, о которых мы и расскажем читателю в завершающей основной текст книги Главе Двенадцатой.

На рубеже веков Толстой оставался верующим христианином. Он всё меньше интересовался городскими, самообманными играми, которые устраивали не слишком понимавшие его, настоящие и мнимые, «союзники»: пацифисты, анархисты, деятели либеральной и революционной оппозиции, но всё так же прислушивался к известиям об одиночных и групповых отказах от обязательной военной службы по вере и совести. Как и прежде (например, как было в случае с Ван дер Веером), сам акт отказа для писателя и публициста был важнее одинаковости воззрений. Та самая «правильная храбрость», за отысканием которого, влекомым мирской ложью, отправился молодой Лев на Кавказ — нашлась через десятки лет старцем во Христе, в письмах отказников и известиях о них.

И всё же диалог продолжался — со всеми, кто хоть и не весьма основательно, но искренне выражал Льву Николаевичу своё единомыслие. Остановимся ниже лишь на некоторых образцах таких диалогов.

12. 1. КРУГ ОБЩЕНИЯ, ЖИВОЙ И ЭПИСТОЛЯРНЫЙ: АВТОРЫ КНИГ, ДРУЗЬЯ, ЕДИНОВЕРЦЫ, ОТКАЗНИКИ...

Круг знакомств Льва Николаевича, прежних и новых, условия и содержание общения, tête-à-tête и эпистолярного, в немалой степени были связаны именно с продолжающимся служением отче Льва как христианина Слову Божьей правды-Истины в обличение системно организованных людьми мира насилий, принуждений — включая насилие военное и принуждение к военной службе. Огромную лепту вносили здесь и субъективные пристрастия: склонность Толстого приукрашивать в своих представлениях, идеализировать личность собеседника, адресата или гостя, а тем более — служащего ему с искренним усердием единомышленника и друга, первейшим из которых с отдалённого уже 1883 года стал Владимир Григорьевич Чертков. На этой личности сходились не только линии общения с многими другими близкими людьми, но и интересы Толстого-писателя и Толстого-христианского исповедника, служителя Истины. Так, например, в письме около 17 марта к В. Г. Черткову Толстой упоминает беседу с «богатым лицом» (по предположению исследователей, с купцом и меценатом К. Т. Солдатенковым) о том, «как устроить за границей печатный орган, в котором печатались бы все дурные дела, совершаемые русским правительством»: «Я сказал, что обличение зла есть одно из проявлений христианской деятельности и что если бы лицо это и не желало вполне служить своими средствами делу религиозному, люди наших верований могли бы вести такую обличительную газету...» (88, 84). Толстой обсуждал с Чертковым в письмах такое бесцензурное книгоиздание, радуясь за сосланного глупым российским правительством за границу — в виде наказания! — друга и за себя. Из письма Черткову от 2 февраля 1898 г.:

«Знаю, какая это радость: точно из темноты и духоты выглянуть на свет и простор. Я же в обратном положении теперь — на низу волны. Вот этим хорошо единение, чтобы поднимать друг друга» (*Там же*. С. 76 – 77).

Толстого радостно духовно “подняла” тогда новая антивоенная статья В. Г. Черткова «Мир, мир... тогда как нет мира», критикующая деятельность международных пацифистских организаций — Толстой называет статью в этом письме «прекрасной» (*Там же*. С. 77).

«Прекрасного» в эпигонских опусах Черткова откровенно не много. Он цитирует антивоенные книги и статьи Толстого, но одновременно, в угоду новым помощникам и друзьям, английским социалистам и революционным эмигрантам из России, прибегает к несколько несвойственной Толстому фразеологии. Вот пример:

«Только тогда, когда сознание народов дорастёт до признания преимущества нравственного блага над материальным, и когда они перестанут оружием отстаивать свои интересы, — только тогда может прекратиться и усиление их вооружений. И прекратится оно, не вследствие конференций между *правлящими классами* о том, как бы поэкономичнее для государственной казны готовить людей убивать друг друга; а только вследствие того, что *рабочие массы*, составляющие ядро всякого войска, поймут наконец, какую глупую и скверную роль они играют, и просто-напросто откажутся учиться, по приказанию *господ*, резать своих братьев-людей» (*Чертков В. Мир! Мир!.. тогда как нет мира // Листки «Свободного слова». 1899. № 6. С. 10. Выделения в тексте наши. — Р. А.*).

Столь же неоригинальны и взятые у Толстого выводы публициста — впрочем, и преследующие только цель напоминания европейским читателям об Истине веры и о положении, по отношению к ней, в лжехристианском мире, а не оригинальности:

«...О теперешние блестящие манифестации в пользу мира, не будучи в состоянии привести ни к чему доброму, вместе с тем приносят большой вред не только в частности русскому царю и русскому народу, но и, вообще, делу мира и благу всего человечества, отсрочивая на более или менее продолжительное время окончательное признание людьми назревающей в их сознании истины о незаконности военной службы вообще. Я не могу не видеть, что, отвлекая внимание людей в ложную сторону и придавая фальшивый лоск добродетели одному из величайших зол нашего времени, производимая агитация тем самым укрепляет это зло, способствуя тому, что вместо благотворного стремления к полному воздержанию от него, люди с облегчённой совестью продолжают в нём участвовать, воображая при этом, что они наилучшим образом ему противодействуют.

Зло войны может на самом деле исчезнуть только тогда, когда, решившись безусловно воздержаться от всякого в нём участия, мы направим свои усилия к действительному осуществлению любви и согласия во всех своих взаимных отношениях, вместо того, чтобы

жить как теперь, поедая друг друга даже в пределах нашей собственной страны, — вместе с тем восторгаясь своими прекрасными рассуждениями о всеобщем мире» (Там же. С. 19).

Замечательно в этом же номере «Листков “Свободного слова”» письмо анархистки Элизабет Пикард с возражениями в адрес уже известного нашему читателю журналиста и публициста Уильяма Томаса Стэда. Стэд издавал в Англии антивоенный журнал с очень, очень толстовским названием «War against War» («Война войне»), но, не желая, вероятно, терять денежки и иную поддержку влиятельных подписчиков, вопреки известному ему мнению Толстого, превозносил до небес конференции мира и иные подобные пацифистские посиделки, и резко критиковал как одиночек отказников от военной службы, так и проповедь Льва Николаевича о непротивлении. Почти забытая в наши дни Элизабет Пикард, никогда и не встречавшаяся с Толстым, не видевшая, но вдумчиво прочитавшая его христианские писания, оказалась ближе Льву Николаевичу давнишнего его посетителя и знакомца. Вот что она отвечала Стэду в открытом письме (к сожалению, не датированном в перепечатке его «Листками» Черткова):

«Милостивый Государь,

Мне кажется, что Вы правы, утверждая, что в деле непротивления злу насилем нельзя логически остановиться на полпути. Но, стараясь высмеять заповедь *"не противься злу"*, Вы как будто забываете или не видите, что в ней, на самом деле, заключается единственное средство для побеждения зла. Человек, становящийся на эту почву непротивления злу злом, приобретает поддержку самых могущественных жизненных сил. Он сливается с высшей любовью; истина служит ему защитой; и смерть теряет для него свой ужас.

Когда Иисус отправлял семьдесят своих учеников проповедывать Царство Божие, то он было прежде всего велел им отказаться от всяких средств самозащиты, посылая их как "агнцов среди волков", и сказал им, "что ничто не повредит им".

Когда для самого Иисуса настало время встретить смерть, он в точности исполнил то, чему учил, объясняя при этом, что Царство его не от мира сего: "Если бы от мира сего было царство моё, то служители мои подвизались бы за меня, чтобы я не был предан Иудеям".

Позвольте мне, в виду всего этого, спросить вас, каким образом можете вы говорить о себе, как о человеке, желающем следовать примеру Христа, и вместе с тем прославлять "величие британского флота"? Возможно ли более вопиющее противоречие?

Критикуя Толстого, вы утверждаете, что, если б его принципы получили всеобщее распространение, то "общество" было бы разрушено, и порядок стал бы невозможен. Почему же так? Современный общественный порядок, называемый "государством", основанный на грубом насилии, несомненно разрушился бы; и хаос, господствующий теперь в более или менее скрытом виде, стал бы более явным; но среди его выросло бы настоящее общество, образовался бы настоящий порядок, который нельзя было бы разрушить, потому что он был бы "основан на камне".

Вы хвастаетесь тем, что можете обнаружить непоследовательность квакеров, и мне, как принадлежащей к их числу, стыдно за них. Существуют однако такие сторонники мира, непоследовательность которых вы не в состоянии обнаружить и привлечь которых к участию в вашей агитации вы не имеете возможности, так как вы только стараетесь применяться к обстоятельствам, а не служить добру, ради добра.

Вы всуе призываете имя Князя Мира и тем самым предаёте и унижаете как его самого, так и его учение» *(Там же. С. 23 – 24)*.

Прекрасно сказано! И всё-таки специфика европейских условий отдаляла многих, даже близких и многолетних единомышленников Толстого, от него — разводя по лагерям социализма, анархизма, мистицизма, атеизма, пацифизма... К последнему, как мы помним, сердечно и пожизненно принадлежала великолепная и пассионарная фрау Берта фон Зуттнер, знакомая Толстому по настойчивым письмам к нему и не дававшая ему забыть о себе ни в конце 1890-х, ни позднее. В письмах её 1898 – 1900 гг. мы находим сообщения о деятельности сторонников мира, возмущённый отклик на скандальное дело Дрейфуса, печатные обращения-протесты по поводу англо-бурской войны... По письмам видно, что фрау внимательно следила за всем, что сообщалось в печати о её кумире из России.

Берта фон Зуттнер восторженно приняла известие о том, что от имени русского царя было опубликовано послание, призывавшее правительства всех стран на мирную конференцию. Она тотчас же

(4 сентября 1898 года) написала Толстому, ожидая от него положительного отклика на «манифест царя». Мы помним, что Толстой расценивал царский манифест и весь шум вокруг последовавшей за ним Гаагской конференции как обман и лицемерие. Но Зуттнер наивно полагала, что Николай II чуть ли не проникся духом антимилитаристских писаний Толстого, что правители и культурные элиты разных стран могли бы многое сделать для всеобщего мира. Особенно её взволновало сообщение английской газеты «Daily Mail» от 17 января 1899 года о том, что царь, проезжая через Тулу, пожелал якобы встретиться с Толстым, обнимал его и спрашивал мнение о манифесте. Толстой не отвечал на настойчивые просьбы Берты Зуттнер высказать своё отношение к «русской инициативе», подтвердить газетные толки о встрече с царём.

Наконец, в письме 2 (14) августа 1901 г. Зуттнер выразила «огромную и искреннюю» радость о выздоровлении Толстого и сочувствие в связи с «безобразным эпизодом отлучения» (*Цит. по: Травушкин Н.С. Берта Зуттнер — корреспондент Л. Толстого // Русская литература. 1972. № 2. С. 150*). Толстой ответил 15 (28) августа очень обстоятельным письмом, которое было не только знаком учтивости, выражением благодарности за сочувствие, но в нём излагались и взгляды Толстого на вопросы, волновавшие австрийскую писательницу. При этом, обратим внимание, деликатно намекает, что баронесса — невнятная дура, которой не поможет и повторение прежде сказанного. Перевод с французского оригинала:

«Дорогая баронесса,

Очень вам благодарен за ваше доброе письмо. Мне было чрезвычайно приятно узнать, что вы сохраняете обо мне хорошее воспоминание.

Рискуя надоесть вам повторением того, что я говорил много раз в своих писаниях и о чём, мне кажется, я вам писал, не могу воздержаться, чтобы не сказать вам ещё раз, что чем дольше я живу и чем больше думаю над вопросом о войне, тем больше я убеждаюсь, что единственное решение вопроса — это отказ граждан быть солдатами. До тех пор пока каждый человек в возрасте 20, 21 года будет отказываться от своей религии — не только от христианства, но и от заповедей Моисея: *не убий*, и пока будет обещать убивать всех тех,

кого ему прикажет убить его начальник, даже своих братьев и родителей, как говорит при всяком случае этот болтливый и жестокий идиот, называемый германским императором, — до тех пор не прекратится война и будет становиться всё более и более жестокой, — такой, какой она делается в наше время.

Для того, чтобы не было войны, не надо ни конференций, ни обществ мира, а нужно только одно: восстановление истинной религии и, как следствие этого, восстановление достоинства человека.

Если бы самая малая часть энергии, которая тратится сейчас на статьи и на речи на конференциях и в обществах мира, употреблялась бы в школах и среди народа на уничтожение ложной религии и на распространение истинной, — войны скоро стали бы невозможными.

Ваша превосходная книга произвела огромное действие в смысле внушения ужаса к войне. Теперь следовало бы показать людям, что они сами производят всё зло войны, повинясь людям больше, чем Богу. Позволяю себе посоветовать вам посвятить себя этой работе, которая представляет единственное средство достигнуть той цели, которую вы преследуете.

Прося вас извинить меня за смелость, которую я беру на себя, прошу вас, сударыня, принять уверения в совершенном почтении и уважении» (73, 125 – 126).

Сама фон Зуттнер по-прежнему видела в отказе от военной службы единоверцев Льва Николаевича во Христе, а также сектантов: духоборов, менонитов, назаряев — лишь один из возможных путей борьбы против войны, и не самый важный. Она предпочитала путь массовой пропаганды через печать, конгрессы и общества мира. Этой теме она посвятила свой новый роман «Дети Марты» (1902) (в русском переводе он был издан под названием «В цепях»). Это было продолжение романа «Долой оружие!»; здесь показано, как сын Марты Тиллинг Рудольф Доцкий вступает на поприще борьбы против милитаризма и войны.

Конечно же, графоманка от пацифизма (или пацифистка в среде графоманов?) не преминула упомянуть в своей книжице и Льва Толстого. В дневнике Марты, простоватой и ограниченной, как сама баронесса фон Зуттнер (кстати, по замыслу автора, это автобиографический персонаж) читаем:

«С давних пор книги играли в моей жизни роль событий. Как действовали на меня, в моей юности, Бокль и Дарвин, и, ещё недавно, Толстой своим произведением „Царство Божие в вас“! Такие книги были в моих глазах не простыми научными и литературными явлениями, — это были факелы, внезапно загорающиеся и освещающие тёмную область, а держат их в руках люди, у которых душа светится...» (Фон-Зутнер, Б. В *цепях*. СПб., 1904. С. 106).

В другом месте рассказывается, что Рудольф, потерпев неудачу с основанием газеты и с избранием в палату, намерен организовать общество мира, обратиться к единомышленникам в разных странах: «В России... Туда я напишу Толстому. Кто создал такое произведение, как „Война и мир“, должен быть врагом насилия» (Там же. С. 77 – 78).

Неудовлетворённость фрау Берты последним к ней письмом Толстого, содержащим легко понятный намёк, что она дура, вылилась в полемику с ним в романе. На вопрос фрау Марты, можно ли считать указанное Толстым средство борьбы против войны единственным, друг её отвечает: «Я вообще не верю в единственные средства. Такое на тысячу ладов переплетённое, давно укоренившееся явление, как война, должно быть также на тысячу ладов атаковано с разных сторон, чтобы оно, наконец, поддалось, отступило...» (*Die Waffen nieder! Eine Lebensgeschichte. Von Bertha von Suttner. Fortsetzung: Martha's Kinder. Dresden, 1902. S. 34*).

Примечательно, что в русском издании заботами цензуры не оказалось ни отрывка из письма Толстого, ни последующего его обсуждения.

Сами эти возражения — довольно глупый пример несистемного, хотя и романтического, суждения о системном состоянии общества. Чтобы что-то негативное прервать в системе — надо, как раз, упорно повторять разрушительные удары по одной или немногим выбранным точкам. А «на тысячу ладов», «со всех сторон» можно заигрывать, комариными укусами, с милитаризмом хоть вечно! Вероятно, в этой бесконечной игре, успокаивающей интеллигентскую подленькую совесть, но не отводящей от народов угрозу новых войн, и заинтересованы, вплоть до наших дней, поколения городских либералов и пацифистов — сознательных пользователей, с детских лет, приятностей и выгод цивилизации, неотторжимой от организованного насилия людей над природой и друг над другом, необходимого для её поддержания и развития.

Всё же, несмотря на все глупость и малохудожественность, роман «Дети Марты» удостоился запрещения к ввозу в Россию Комитетом цензуры иностранной в августе 1902 года. В мотивировке запрещения сказано: «Герой этого нового романа известной проповедницы идеи мира ставит своей задачей не только борьбу против милитаризма, но и переустройство всех общественных отношений в духе христианства, проповедуемого Эгиди, Толстым и др. Один из виднейших представителей австрийской аристократии, он добровольно отказывается от майората, чтобы быть свободным от всяких обязательств к обществу, к которому он принадлежит, и принимается за проведение своих идей посредством печатного и устного слова. Корнем всего зла на земле он признаёт насилие, на котором, вопреки евангельским заветам, зиждется весь современный общественный строй. В то же время он, верный своим идеалам, осуждает революцию, признавая единственным путём к достижению евангельских идеалов на Земле проведение в сознание человечества истинных понятий о свободе и справедливости. На стр. 401 приведено также письмо графа Толстого, в котором он излагает средства к избавлению от милитаризма, а именно — отказ всех отбывать воинскую повинность...». Во всём этом цензура усматривала «явную враждебность к существующему ныне строю» (*Цит. по: Травушкин Н.С. Указ. соч. С. 151*).

После такого запрещения оригинала не мог без труда пройти через цензуру и русский перевод. Всё же роман «Дети Марты» дважды выходил в России (в 1903 году — в издании М. М. Ключкина, в 1904 году — в издании О. Н. Поповой). Письмо Толстого и любые упоминания о нём в обоих изданиях отсутствуют.

Следующий эпизод эпистолярного общения Льва Николаевича Толстого с австрийской своей мнимой единомышленницей относится уже к 1907 году. В 1907 году Берта фон Зуттнер возобновила прерванное ею на несколько лет участие в журнале сторонников мира «Die Friedenswarte». Политизированность её приобретает более чёткие прогерманские очертания — будучи направлена теперь не менее яростно против царской России, как ранее против Франции. В хронике событий, которую она вела в журнале, немало места уделяется сообщениям из России, тоном и содержанием сближающимся с агитацией революционной российской эмиграции: множатся очерки о «народной революционной борьбе», о «преступлениях царизма» и

под. Конечно, фрау Берта в курсе, что ближайший друг яснополянца Владимир Чертков, издававший бесцензурно книги Толстого, использовал знакомства, средства и типографские ресурсы подобных агитаторов — и надеялась поэтому на одобрение самого Толстого к её новому, обличающему Россию, поприщу. В публикациях она не гнушалась апеллировать к имени Льва Николаевича. Но требовалось его, хотя бы какое-то, но одобрение... 28 сентября (10 октября) 1907 г. Берта фон Зуттнер уж в который раз “забросила удочку” по своему кумира в России, написав ему такое послание:

«Дорогой и великий учитель.

Я только что прочла вашу статью «Не убий». Увы, вот уже шесть тысяч лет, как не могут понять этой простой заповеди. Однако, слова таких людей, как вы, слова убедительные и настойчивые, не могут не проникать в человеческие умы. Помните ли вы меня хоть немного, дорогой учитель? Взгляните на подпись и вспомните мой призыв “Долой оружие”, который, к сожалению, не дошёл до слуха многих. Я продолжаю и теперь писать книги, статьи и т. п. Изредка меня подкрепляют сочувствие и понимание. Чувствую, что торжество правды приближается. Хочу выпустить один номер “La Paix” (иллюстрированным), в котором будут помещены статьи наших великих современников, тех, кто ведёт за собой человечество. Напишите или продиктуйте, пожалуйста, хоть несколько строчек для этого номера. Очень прошу вас об этом. Форма безразлична. Пусть это будет просто ответом на моё письмо. Я часто думаю о вас, особенно за последние годы, которые принесли столько тяжёлых бедствий вашей стране; я думаю о том, что должны были вы пережить» (*Цит. по: Чистякова М. Указ. соч. С. 607*).

Это было последнее из писем Берты Зуттнер Толстому. На него русский писатель ответил очень убеждённо, обстоятельно, но... снова *на другом языке*, нежели тот, на котором могла и хотела говорить с ним немецкая политически активная баронесса. Он воспроизвёл для неё в письме своё понимание совершившейся в России внешней революции — как пролога к революции «истинной», духовной: в религиозно-нравственном руководстве жизнью, в религиозном непонимании большинства. Вот это письмо, ответ Берте фон Зуттнер от 7 (20) октября 1907 г. (перевод с французского):

«Милостивая государыня,

Чем старше я становлюсь, тем более убеждаюсь, что в деле, которому вы служите, час торжества постепенно приближается. Русская революция есть лишь частичное и дурное проявление великой внутренней всеобщей революции, которая происходит в идеях, руководящих христианским миром. Я чувствую приближение этой великой революции, которая должна будет совершенно переменить правительства у народов, а также их внешние отношения. Перемена эта естественно предполагает упразднение или, вернее, невозможность не только войны, но и всякого вида насилия. Если у меня будет время и возможность написать что-либо достойное появления в вашем сборнике, то я с удовольствием пошлю это вам.

Примите, милостивая государыня, уверения в моём совершенном уважении.

Лев Толстой» (77, 216).

«Выжать» хоть что-то, желанное ею, политически тенденциозное, из такого письма фрау Берта не могла — как бы ей ни хотелось. Всё же, сообщая в ноябре 1907 года о преступлениях карателей в Одессе, о погромах, чёрных сотнях и т. п., писательница с горечью говорит: «Напрасно взывает Толстой в последней своей брошюре „Не убий“. Как видно, пройдет ещё немало времени, пока будут услышаны эти уже шесть тысячелетий безответно звучащие слова. В качестве мирового закона — а так они мыслились от Моисея до Толстого — они ещё совершенно неведомы всем практикам от политики» (*Цит. по: Травушкин Н.С. Указ. соч. С. 151*).

Это последнее из писем Толстого к Берте Зуттнер нашло место (как, впрочем, и самое первое) в «Мемуарах» писательницы, завершённых ею к июлю 1908 года.

Наконец, в архиве Л. Н. Толстого хранится ещё телеграмма Берты Зуттнер из Вены от 2 сентября 1909 года: «Если приедете в Берлин, не сможете ли также приехать в Вену» (*Цит. по: Травушкин Н.С. Указ соч. С. 152*). Присылка этой телеграммы связана с тем, что в европейской печати сообщалось о возможности приезда Толстого с докладом, подготовленным для Стокгольмского (XVIII) международного конгресса мира. По всей вероятности, Берта фон Зуттнер предполагала воспользоваться случаем и организовать выступления Льва

Николаевича в Вене. Как известно, Толстой на этот конгресс соби-
рался, но намерение это не осуществилось, как и поездка в Берлин
для чтений, а доклад Толстого, в силу его радикальности, на кон-
грессе зачитан не был. Подробнее на этом сюжете мы остановимся
немногим позднее.

Ни о каком более глубоком понимании баронессой фон Зуттнер ре-
лигиозности Л. Н. Толстого, по крайней мере, до конца его жизни, не
приходится говорить. Тому подтверждение — высказывания её в
дни траура по великому писателю. Они опубликованы на страницах
«Die Friedenswarte» и вошли затем в книгу публицистики Берты Зут-
тнер.

«Толстого нет! — писала она. — В нём все мы, борцы за мир, в том
числе и те из нас, которым его радикальные требования и предло-
женные им пути кажутся неосуществимыми, чтим верховнослужи-
теля идеи мира. Заповедь „Не убий” никто, как он, не сумел понять
во всей её силе и простоте, никто, как он, не защищал её. Однако
жизнь, труд, смерть этого замечательного человека не есть предмет,
который можно „комментировать”. Множество томов, целые библио-
теки исследований будут созданы, и сам дух Толстого будет жить и
оказывать своё действие вплоть до отдалённого будущего» (Там же.
С. 153).

Далее писательница говорит, что со смертью Толстого, учителя жи-
вой, современной этики (каким она его воспринимает), ещё ярче об-
наруживается раскол мира на два лагеря. Есть друзья мира, есть и
недрузи. В русской думе, в немецком и австрийском рейхстагах
люди свободомыслящие и социалисты предложили отдать дань ува-
жения Толстому как провозвестнику мира и любви к человечеству,
а «истинно русские люди», клерикалы, реакционеры выступили про-
тив или вынуждены были молчать. Писательница с горечью отме-
чает, что в австрийском рейхстаге не решились официально почтить
славную память Толстого, тогда как это было сделано почти во всех
парламентах мира (Там же).

«Лагеря» третьего, недогматических, свободных христиан, к кото-
рому истинной принадлежал Лев Николаевич, Берта фон Зуттнер с
её пацифистствующими единомышленниками, конечно же, презри-
тельно «не заметила».

Приведём, по хронологии, примеры ещё нескольких «антивоенных» диалогов Льва Николаевича с современниками.

В начале февраля 1900 г. Толстой ответил письмом из Москвы Организационному комитету десятого международного мирного конгресса, проходившего в Париже, на такой же точно Всемирной выставке, как та, 1889 года, воспетая самим блистательным и остроумнейшим Мельхиором де Вогюэ, самое устройство которой, не говоря уже об особом военном отделе, Вогюэ признал свидетельством роковой неизбежности войн.

Обустроенную территорию выставки использовали, в период её работы, разнообразные общественные голодранцы, преимущественно интеллигентских кругов, закатывавшие на ней свои тематические посиделки. Отчего бы, до кучи, и не пацифисты? А им бы — Толстого, Толстого заполучить... для солидности. И вот 23 января (5 февраля) Оргкомитет пацифистского сборища шлёт Толстому, до кучи с другими потребными знаменитостями, циркулярное приглашение такого содержания:

«Организационным комитетом десятого международного мирного конгресса на нас возложена приятная обязанность просить Вас принять участие в Попечительном комитете конгресса. Как Вы, быть может, уже знаете, этот Конгресс будет иметь место в Париже, во дворце Конгрессов всемирной выставки с 30 сентября по 5 октября 1900 года. Проведение этой манифестации в пользу мира в конце Выставки будет до некоторой степени венчанием и логическим завершением праздника Труда и Мира, на который Париж сзывает весь мир. Очень важно, следовательно, чтобы мы сделали его возможно внушительнее по количеству и значительности делегатов всех наций, принимающих участие в выставке. Исходя из этой мысли, Организационный комитет решил поставить его под покровительство лиц, оказавших наиболее крупные заслуги идее мира. В надежде, что Вы согласитесь оказать нам поддержку Вашим именем, мы просим Вас, милостивый государь, принять уверение в нашем почтительнейшем уважении» (*Цит. по: 72, 298*).

Как и в ряде подобных ситуаций, пригласителей погубил *циркулярный* характер приглашения. Один и тот же текст был отправлен

весьма разным людям — в том числе и умным, не тщеславным, домоседам, как Толстой. Отказ последнего был предрешён (перевод с французского):

«Милостивая государыня,

Несмотря на моё искреннее желание принять участие в деле, которому вы служите, болезнь, от которой я недавно стал оправляться, не позволяет мне утомлять себя дальним путешествием и участвовать в заседаниях Конгресса.

Из своего уединения, где мне хочется закончить предпринятую работу, шлю пожелания, чтобы Всемирный конгресс 1900 г. двинул вперёд идею братства и мира» (*Там же. С. 297*).

Это не было отговоркой: Толстой болел и периодически чувствовал себя нехорошо ещё с ноября. Куда интереснее обращение его в ответ на циркулярный официоз, в французском оригинале письма: «Madame». Откуда узнал Толстой, что рассылку приглашений устроила именно «мадам», и кто она — осталось загадкой для исследователей. Как, кстати сказать, и факт отправки окончательной версии письма: до нас дошёл лишь черновик, не содержащий никаких ни редакторских, ни секретарских пояснений.

Значительно более повезло обращению к Толстому, от 1 (12) июля того же 1900 года, итальянца, студента-юриста из Мессины (Сицилия), уроженца Франции, *Жана Батиста Коко* (Jean Baptiste Coko). Тому нужно было от Толстого нечто значительно скромнейшее и легко осуществимое (пер. с французского):

«Граф,

Я хотел бы на родном мне языке выразить вам чувства благоговейной любви, так как только родной язык позволяет слову быть светочем души, точно так же, как душа является светочем божественной мысли. Граф, я живу, думая о благе человечества, я не склоняюсь ни перед могуществом силы, ни перед бесплодным блеском чванного богатства, и я проникся большой любовью к вам, посвятившему себя изучению вопроса всеобщего мира, вопроса, составляющего славу и

страдание уходящего столетия!! Вы так удивительно учите нас проводить в жизнь тот божественный закон социальной солидарности, который отдаёт богатство на служение нищете, науку на служение невежеству. Ваши писания являются неустанным протестом против того антиобщественного эгоизма, который именуется войной. Честь и слава вам! Счастливы удел тех, которые, как вы [...] достойны повторения божественных строк Мильтона: “Гори же всё более ярким и умиротворяющим блеском, внутреннее пламя души моей!”. А затем, прежде чем кончить письмо, я прошу вас об одной милости. Могу ли я на неё надеяться? Я убеждён, что вопрос всеобщего мира не может быть разрешён монархами Европы, а лишь при помощи всеобщего плебисцита, ибо “голос народа — голос Божий”. Но прежде, чем распространять эту мысль, я хотел бы услышать ваше мудрое мнение. [...] Граф, если вы, по вашей доброте, согласитесь удовлетворить моё горячее желание, это доставит мне большую радость, если же нет, то я прошу вас простить меня, ибо мною руководит лишь великая любовь к человечеству» (*Цит. по: 72, 420*).

Вряд ли бы Толстой почтил визитом Италию, пригласи его такой же пылкий юноша даже возглавить какой-нибудь Организационный комитет такого плебисцита. Но тут требовалось не многое: моральная поддержка, слово от безусловного авторитета... И Толстой не отказывает в нём Коко, ответив 12 августа из Ясной Поляны следующим (перевод):

«Всем сердцем одобряю идею плебисцита против войны. Я работаю изо всех моих сил над тем, чтобы результат всемирного плебисцита мог бы быть благоприятен для всеобщего мира» (*Там же*).

Здесь нам важна установка писателя и публициста на продолжение антивоенной темы: «работаю изо всех сил». К сожалению, в последующие годы свои коррективы в эту решимость внесут болезни и личные, семейные драмы в жизни Льва Николаевича.

В следующем, 1901-м, году уже тяжело болеющий Толстой отвечает 9 сентября на анкету, присланную ему парижским журналистом с итальянской фамилией, Пьетро Маццини (Мадзини). Особенно приятно, по всей вероятности, Толстому было вспомнить свою блистательную критику франко-русского союза, отношение к которому у него явно не изменилось к лучшему.

Приводим ниже, с огромным удовольствием, весь текст ответного письма Льва Николаевича (перевод с французского):

«Милостивый государь,

Мой ответ на ваш первый вопрос о том, *что думает русский народ о франко-русском союзе?* — следующий:

Русский народ, настоящий народ, не имеет ни малейшего понятия о существовании этого союза; но если бы даже он знал об этом союзе, я уверен, что так как все народы для него одинаково безразличны, то его здравый смысл, а также его чувство человечности указали бы ему, что этот исключительный союз с одним народом, предпочтительный перед всяким другим, не может иметь иной цели, как та, чтобы вовлечь его во вражду, а, быть может, и в войны с другими народами, и потому союз этот был бы ему в высшей степени неприятен.

На вопрос: *разделяет ли русский народ восторги французского народа?* — я думаю, что могу ответить, что не только русский народ не разделяет этого восторга (если этот энтузиазм существует на самом деле, в чём я сильно сомневаюсь), но если бы народ знал обо всём, что делается и говорится во Франции по поводу этого союза, то он испытал бы скорее чувство недоверия и антипатии к тому народу, который без всякого разумного основания начинает вдруг проявлять к нему внезапную и исключительную любовь.

Относительно вопроса: *каково значение этого союза для цивилизации вообще?* — думаю, я в праве предположить, что так как союз этот не может иметь другой цели, кроме войны, направленной против других народов, то влияние его не может не быть зловредным. Что касается значения этого союза для обоих национальностей, заключающих его, то ясно, что как в прошлом, так и в будущем он был и будет огромным злом для обоих народов. Французское правительство, пресса и вся та часть французского общества, которая восхваляет этот союз, уже пошли и будут принуждены идти дальше на ещё большие уступки и компромиссы против традиций свободного и гуманного народа для того, чтобы сделать вид или на самом деле быть согласными в намерениях и чувствах с правительством, наиболее деспотичным, отсталым и жестоким во всей Европе. И это было и будет большим ущербом для Франции. Между тем, в отношении России этот союз уже имел и будет иметь, если он продолжится, влияние ещё более пагубное. Со времени этого злополучного союза русское правительство, некогда стыдившееся мнения Европы и считавшееся с ним, теперь уже более не заботится о нём; чувствуя за собой

поддержку этой странной дружбы со стороны народа, считающегося наиболее цивилизованным в мире, оно шествует теперь, высоко подняв голову, среди своих друзей французов под звуки Марсельезы и раболепного гимна *Боже царя храни* (которые должны быть очень удивлены тем, что очутились рядом) и становится с каждым днём всё более реакционным, деспотичным и жестоким.

Так что этот странный и несчастный союз не может иметь, по моему мнению, другого влияния, кроме самого отрицательного, на благосостояние обоих народов, так же как и на цивилизацию вообще.

Примите, милостивый государь, уверения в моих лучших чувствах. Лев Толстой» (73, 138 – 139).

Даже как-то досадно становится, что какой-нибудь французский журналист не прислал Толстому такой анкеты тогда, в 1893-м, накануне напряжённой его работы над пространной статьёй «Христианство и патриотизм», направленной как раз против франко-русского военного союза. Вполне вероятно, что широкое распространение в европейской печати ответа Толстого избавило бы его от необходимости тратить огромные силы и время на это сочинение. И через полные восемь лет он мог только повторить главное, прежде сказанное в этой статье...

Безусловно, Толстой идеализирует здесь состояние сознания «настоящего народа» в России, его степень независимости от деструктивной военно-патриотической и иной пропаганды. Как будто не наступил ещё XX-й век, и на дворе не ранняя осень 1901-го, а всё то же, блаженной памяти, лето 1886 года, когда Толстой с поддержкой своего же бывшего ученика в яснополянской школе Прокофия Власова заставил опешить агитатора войны Поля Дерулета. О чём позднее, как мы помним, с удовольствием рассказал в главах VII и VIII статьи «Христианство и патриотизм». Жизнь между тем, с той поры, изломала обоих: и учителя, и ученика. А скорые события русско-японской войны уже совершенно красноречиво подтвердят Толстому его ошибку. По мере того, как возрастала чистота физическая, плотская, чистота сознания, как и половая, и прочая моральная — увы! с каждым годом уменьшались в «просвещавшемся» газетами и агитаторами народе. И только в сознании Толстого-христианина идеал нравственной и вероисповедной чистоты был неколебим.

Это пространное, но очень интересное письмо было перепечатано тогда же рядом иностранных газет — и, конечно же, замолчано в

России. В переводе на русский язык оно смогло быть напечатано в 1901 году только в бесцензурном, выходящем за границу, «Свободном слове» Владимира Черткова.

21 января 1902 г. Лев Николаевич получил письмо из Парижа от замечательного друга семьи, посетителя дома Толстых, выдающейся певицы Марии Николаевны Муромцевой (урожд. Климентова; 1857 – 1946). Светское письмо, само по себе малоинтересное, содержало, персонально для Льва Николаевича, вырезку из газеты «Le Matin» («Утро») от 16 (29) января 1902 г., с корреспонденцией из города Безансона под заглавием «Le canonnier gréviste» [«Забастовавший канонир»] подробно сообщается о состоявшемся 28 января н. с. 1902 года в гор. Безансоне заседании военного суда седьмого артиллерийского корпуса по делу канонира девятой батареи в Бельфорте Фредерика Жозефа Граслена (Grasselin Frédéric Joseph).

Простой французский крестьянин из провинции Жироманьи, округа Бельфорта, Граслен, будучи призван в ноябре 1901 года на военную службу, отказался, основываясь на христианском учении, «повиноваться» и исполнять воинские обязанности. На суде между прочим выяснилось, что одним из любимейших его писателей был Толстой. Суд приговорил Граслена к двум годам заключения в военной тюрьме.

Доктор Лев Бернардович Бертенсон (1850 – 1929), навестивший в тот день Толстого, получил возможность ознакомиться с заметкой.

Из воспоминаний Бертенсона:



Номер газеты «Le Matin» с заметкой о суде над Грасленом.

«Гр. Софья Андреевна, по поручению Л. Н., передала мне для прочтения № парижской газеты «Matin», с отчётом о судебном процессе одного французского солдата, который, веруя в основанное на заповеди “Не убий” учение Толстого, отказался от несения воинской службы и от повиновения своему начальству и за это был приговорён к двум годам тяжёлого тюремного заключения.

Я тотчас же, конечно, прочёл газету, и когда вернулся, как было условлено, к Л. Н., для производства медицинского исследования, он спросил меня: — Прочли «Matin»? Не правда ли, ужасно?! А каково мне сознавать себя виновником сурового и несправедливого приговора?! — Эти слова, произнесённые с большим волнением и со слезой в голосе, произвели на меня такое впечатление, что в первый момент я не мог ничего сказать» (*Бертенсон Л.Б. Страничка к воспоминаниям о Л.Н. Толстом // Сборник воспоминаний о Толстом. М., 1911. С. 86 – 87*). Деликатно отмолчавшись, умница еврей вернулся потом к своим прямым обязанностям: осмотру больного.

В календарном блокноте на 24 января Толстой высказывает пожелание написать письмо Граслену, но это намерение не было им осуществлено. Вообще сделать писатель тогда же мог немного — в том числе, и в связи с собственной болезнью, по поводу которой его и посещали в те дни доктора. Но В. Г. Черткову, для бесцензурной публикации, он, конечно, материал отправил. Об его деле и процессе см. в периодическом обозрении «Свободное слово», под ред. В. Г. Черткова, № 2, Christchurch, 1902, («Отказы от военной службы во Франции») и № 3 («Суд над Грасленом»). Повлияла ли как-то эта огласка на судьбу Граслена, остаётся невыясненным.

Приводим ниже подробности суда по изложению статьи «Le Matin» в № 3 «Свободного слова» за 1902 г.

«...Вводится под конвоем подсудимый — скромный и бесстрашный солдатик – крестьянин, который, очевидно, не подвержен внушениям окружающей его торжественной обстановки и военной угрозы. Он смотрит на всё окружающее совершенно спокойным взглядом, и на его бледном лице заметно лишь выражение воли и решимости.

Он садится лицом к суду, не обнаруживая ни малейшего волнения, рядом со своим адвокатом. Два часовые с ружьями становятся за ним. Председатель суда, полковник Крэтъен делает официальный

опрос, из которого публика узнаёт, что подсудимый родом из провинции Жироманьи округа Бельфорта, что его семья обитает в Тараре на Роне, что он по роду занятий земледелец и до настоящего призыва получил отсрочку по причине своей тщедушности. Затем. По прочтении обвинительного акта, начинается следующий замечательный допрос:

Вопрос: 18 ноября 1901 года, 4 дня спустя после вашего поступления на службу, вы отказались повиноваться вашему капитану, приказавшему вам открыть тарель пушки?

Ответ: Я не отказался, я сказал, что — не могу...

В. Почему вы не могли?

Молчание.

В. Вам прочли свод военных законов?

О. Да, полковник.

В. 10 ноября, на следующий день, вам было дано то же приказание; вы опять отказались исполнить его. И следующие за тем дни вы продолжаете стоять на том же. Вам прочли кодекс наказаний до пяти раз. Просьбы, угрозы, строгие выговоры не могли преодолеть вашего упорства. Почему вы так поступаете?

О. Иисус Христос сказал: „Не убий! Возлюбим друг друга!“ — Я не хотел причинять вреда никому.

В. Но открыть тарель — не значит повредить кому-либо.

Эти слова вызывают улыбки на лицах присутствующих.

О. Но после мне дали бы ружьё, а оно предназначено для убийства, всё равно как лемех у плуга предназначен для пахоты.

В. Наконец, вам не следовало рассуждать, когда вам приказывают.

О. Над моими начальниками — людьми, для меня есть Христос.

В. Христос не предписывает не подчиняться законам своей страны. <Однако, жить, разделяясь на разбойничьи гнёзда «государств», собирая войска, изготавливая оружие и воюя Христос тоже «не предписывает»! Для милитаризованного государства и его узников («граждан») война неизмеримо неизбежней, чем необходимость обороны силой для отдельного человека христианина. — *Р. А.*>

Затем председатель суда, переспросив его ещё раз о причинах отказа, — спрашивает его: что бы он сделал, если бы на него напал кто-нибудь?

<Обратим внимание! Некорректное, преднамеренное, рассчитанное на невежество молодого человека смешение разных уровней си-

стемности и степеней организации насилия. К такому примитивному варварству прибегают и в современной путинской России, возражая отказникам от участия в военной службе и войне. — Р. А. >

О. Я бы не отбивался.

В. Почему?

О. Чтобы не убить его.

В. Что же бы вы сделали?

О. Я бы спасался бегством. *(Взрыв смеха в публике).*

В. А если бы злодеи подожгли дом ваших родителей и пытались бы убить вашего отца, мать, братьев?

О. Я бы пытался им помешать.

В. Каким образом.

О. Не нанося им ударов.

В. Взглядом, что ли? Значит, вы не хотите воевать?

О. Не хочу.

В. Соглашаетесь ли вы по крайней мере подчиняться законам?

О. Не для убийства. Пусть меня заставит делать чтонибудь другое.

В. Будете ли вы теперь открывать тарели у пушек?

О. Я бы хотел обещать, но знаю, что не исполню. Я не могу исполнять этого. Это не неповиновение, это послушание моей совести.

В. Ваша совесть должна бы вам повелеть слушаться ваших начальников, как это делают все французы. <Некорректная, лживая апелляция к внушённому патриотизму. Инстинкт и потребность повиновения имманентны стайным животным, включая приматов и человека, а не нации. Чудо живой веры Христа освобождает человека из-под доминанты страхов и инстинктов животного. Увы! Не одни французы в ту секулярную эпоху отказались от веры! — Р. А. >

Допрос окончен. Во время ответов голос подсудимого несколько раз прерывался от волнения» *(А<нна> Ч<ерткова> (сост). Отказы от военной службы. Во Франции. Суд над Граслэном // Свободное слово. 1902. № 3. Стлб. 7).*

Волнение Толстого о ещё одном своём лъвёнке понятна: сам Толстой, на своей военной службе в артиллерии, не только охотно распоряжался зарядением орудий (через *тарели* — тыловые части), но и командовал стрельбу — не особенно задумываясь о тех, кого калечили и убивали пущенные снаряды. Но тревога эта Льва Николаевича, вероятнее всего, и не столь основательна — в применении именно к его духовным писаниям. По тексту статьи в «Le Matin» и

его изложению в «Свободном слове» ясно, что религиозные настроения Граслена были связаны с самостоятельным изучением евангелий. Ещё до призыва, когда Граслен работал управляющим торгового дома в Лионе, он стал известен мистическими настроениями и щедростью в отношении семей бедняков-рабочих: «странен, носился с Евангелием, проповедывал среди своих товарищей» (*Там же. Стлб. 7 – 8*). То есть, поступал буквально по предписанию Христа для своих учеников, для апостолов: странствовать (быть «странным» для мира, не уживаться нигде с ним) и проповедовать Евангелие. Отказ от ружейных учений — закономерное продолжение, но нигде сам Граслен не связывает его с влиянием именно книг Л. Н. Толстого. Отчего-то Лев Николаевич упустил из внимания, что его имя названо Грасленом в числе прочих, и более сильных, специфически «национальных», книжных влияний: Мопассан, Гюго, Ренан, Эркман-Шатриан... Тенденциозный уклон убеждённого противника военщины в таком выборе чтения безусловен, но, будь Лев Николаевич в те дни не болен, не расстроен в чувствах — он, вероятно, понял бы, что вина на нём за судьбу Граслена не более, чем на авторах евангелий или на тех двоих, которые писали под псевдонимом «Эркман-Шатриан». Кстати, в оригинальной речи этот псевдоним Граслен назвал на суде первым, до имени Толстого (см.: *Le cannonier greviste // Le Matin. 1902. Janvier 29. P. 1: <https://www.retronews.fr/journal/le-matin/29-jan-1902/66/163131/1>*).

Результат, впрочем, оказался тот же, как было и со многими безусловными толстовцами. «...Нельзя допустить, чтобы он истолковывал заповеди Евангелия иначе, чем служители его религии, более квалифицированные, чем он» — заявляет государственный обвинитель в своей самоуверенной, но халтурной речи (*Там же*). «Обвинительная речь правительственного комиссара... лишней раз только выказала несостоятельность защитников военного ремесла» — наивно прибавляет от себя А. К. Черткова в «Свободном слове» (*Свободное слово. 1902. № 3. Стлб. 8*). Наивно потому, что халтура эта в судебных речах — разве что моральное утешение для жертв таких судилищ и их близких в странах, куда более отдалённых от правосудия и демократии, чем Франция. Например, в фашиствующей путинской России 2010 – 2020-х годов, где, помимо фейкового приговора к призванному в армию и осуждающему военную службу и войну могут применить и любые меры воздействия, включая пытки!

Или вот ещё, из речи обвинителя Граслена, нечто весьма актуальное для России 2020-х: «Граслэн знал, что с него будут требовать в полку, если же он хотел избежать этого, он мог бы покинуть родину и отправиться в другую страну, которая более соответствовала бы его теориям. Долг суда положить конец подобным случаям» и т. д. *(Там же)*.

Обвинитель особенно подчеркнул, что Граслен (как и неведомый во Франции Ольховик) «увлёк» антивоенной проповедью ещё одного солдата, Дэressoля — осуждённого ранее Граслена на два года.

Наказание Граслену — те же два года военной тюрьмы...

Обвинитель проболтался в своей речи о насущном: Граслэн не был и на родине так одинок, каким его стремились выставить противники на суде и давно почивший щелкопёр в заметке «Le Matin». Очерк о Граслене в № 3 «Свободного слова» автор его, Анна Константиновна, жена В. Г. Черткова, завершает такими сведениями:

«Дело Граслэна вызвало большие толки во французских газетах. После него, как известно, были ещё случаи отказов в войсках, и имена самоотверженных героев — Граслэна, Дэressoля и, на днях, Субигу (вегетарианца) — пугают уже националистов. Они в негодовании называют этих бесстрашных людей “настоящими духоборами”, “последователями фантазий Толстого”, “анархистами” и пр., и призывают французское правительство к строжайшим мерам прекращения распространения этих “вредных и опасных” для государства идей. Этот переполох среди охранителей старого порядка даёт право всем, любящим истинную свободу, радоваться этому верному признаку “приближения конца” военного, а с ним и капиталистического владычества над народами» *(Там же)*.

В предыдущем, № 2 «Свободного слова» Анна Константиновна вспоминает Гутодье, призванного в 1895 г., который, благодаря влиятельной поддержке, сумел надломить в свою пользу военную машину и был переведён на службу в военный госпиталь *(А. Ч. Отказы от военной службы во Франции // Свободная мысль. 1902 № 2. Стлб. 15 – 16)*.

И здесь же приведена прекрасная, даже поэтичная, подробность об отказе Фредерика Жозефа Граслена:

«В газетах был приведён его разговор с полковым командиром, который, пытаясь разубедить его, сказал ему: “подумай, разве это не

безумие?! Вся Франция подчиняется закону о военной службе, что же можешь сделать ты — *один* против всех?!”

Крестьянский парень спокойно ответил: “Вы забываете, полковник, что одно хлебное зерно, падая в землю, даёт 20 на следующее лето”.

Его посадили сначала в холодный карцер на 8 дней, а потом в тюрьму и отдали под суд. Все солдаты 9-ой батареи находятся под сильным впечатлением его геройской простоты и силы воли» (*Там же. Стлб. 16*).

То есть, даже в батарее, к которой был приписан к службе Граслен, “зёрнышко” христианского понимания жизни, христианского естественного неприятия войны, военной службы, войск и правительств — едва не дало ростка, недостало лишь времени! В том же Бельфорте, в 35-м пехотном полку, отказался брать саблю и учиться убийству солдат Дэресоль. Военные власти “взяли за глотку” его родителей, деревенских простецов, заставив написать умоляющее, слезливое письмо — но Дэресоль остался презрительно непоколебим (*Там же. Стлб. 16 – 17*).

Журналист *Урбен Гойе* (1862 – 1951), рассказал о Граслене, взяв из других газет, в газете социалистов с “говорящим” названием: «L'Autogre». Там же он сообщает о судьбе ещё одного отказника — солдата Пети, приговорённого на три года за то, что «не хотел быть убийцей». «Такова действительно мораль нашего “прекрасного” общества. Торжествуют разбойники» — прибавляет от себя этот печально знаменитый автор «Протоколов сионских мудрецов».

Таков лжехристианский мир. Палачам и разбойникам тайно служат даже *как бы* «обличители» разбоя и убийств...

Но и это не повод становиться в ряды *военных* рабов и палачей!

«Ce n'est pas de l'insubordination, c'est la soumission à ma conscience» [«Это не неподчинение. Это подчинение моей совести»] — эти слова Граслена, сказанные на суде, хорошо бы помнить как современным отказникам, так и противникам отказов от военной службы по христианской совести.

В завершение статьи Анна Черткова пророчит: «Придёт время, когда “мир устанет в борьбе, захлебнётся в крови”, и тогда люди будущего вспомнят об этих — *мирных* героях духа и последуют *их* примеру!» (*Там же. Стлб. 18*).

Вспомнить о них просто так, без таких книг, как наша, не получится, а вот к схожим действиям, можно надеяться, приведёт разум.

* * * * *

Имидж всемирного антимилитаристского гуру не “приклеивался” к личности Толстого, а напоминания о нём — безусловно, утомило его в годы дряхления, последовавшие за смертными, тяжелейшими болезнями 1901 – 1902 гг. В 1903 г., например, хороший человек, хотя и анархист, парижанин Эмиль Жанвион (Émile Janvion; 1866 – 1927) был мысленно послан нахуй, когда, в письме от 23 июля (5 августа) просил Толстого написать статью для антимилитаристического журнала «L'Ennemi du peuple» [«Враг народа»].

Надо сказать, Толстой либо знал, либо чуял, кого посылать нахуй. Типчик Жанвион был столь же мутный, как и вышеупомянутый Урбен Гойе. На пути своём от анархо-синдикализма 1890-х к ультра-правому национал-синдикализму (прообразу фашизма) 1910-х он сошёлся на время и с антимилитаристами — прежде всего, в вопросе национализации земли и средств производства. Среди авторов его журнала “всплыл” тут же и Урбен Гойе, единомысленный с Жанвионом в вопросах антисемитизма. Название же журналу дал и написал множество публикаций, позволивших изданию держаться на плаву до 1904 года, писатель Жорж Дариен (Georges Darien, 1862 – 1921), известный единомышленник Л. Н. Толстого по вопросу теории Генри Джорджа о «едином налоге» на ценность земли. Конечно, Жанвиону хотелось заполучить в соавторы и самого Льва Толстого, с оригинальной антивоенной статьёй, но вот ведь облом: Лев Николаевич ответил ему 10 (23) августа кратким отказом (с французского):

«Милостивый государь,

Я только что получил первый номер “L'ennemi du peuple”. Нахожу, что номер составлен очень хорошо, и желаю вашему изданию большого успеха.

Я не могу сказать ничего нового по вопросу о средствах, которые могут уничтожить войну, и вследствие этого, к глубокому сожалению, не могу исполнить вашей просьбы» (74, 156 – 157).

То есть: пользуйся, дружок, тем, что уже есть — на новую работу ты меня не вдохновляешь... Это помимо того, что не было для неё и сил.

Такие же типичные отказы получали большинство домогателей к писателю и публицисту со всего мира.

* * * * *

Итак, Толстой после страшных болезней 1901 – 1902 гг. чувствовал себя вне сил и желания повторять отдельным адресатам то, что многажды, ещё до рождения на свет некоторых из них, было им против войн и военщины публично высказано. Вместе с тем он продолжал читать всё, что приходило в его руки по теме и планировать художественные и публицистические антивоенные писания, и, конечно же, создавать их. К 4 июля 1903 г. относится в Дневнике следующая запись: «Читал, как обучались солдаты. Как бы хорошо наивно рассказать это» (54, 181). «Наивно» значит здесь: *остранённо*, с непосредственностью дитя или иного чистого от мирской лжи человека, или очистившего себя христианина. К сожалению, такое намерение осуществлено писателем не было. Но в записях Дневника того же дня — свидетельство работы Толстого над гениальным «Хаджи-Муратом», которого он ваял к совершенству ещё целые годы...

* * * * *

Война напоминала о себе и из прошлого Толстого... При письме от 23 сентября 1903 г. Александр Владимирович Жиркевич (1857 – 1927), поэт, прозаик, публицист, военный юрист и общественный деятель, давний знакомый Толстого, прислал записанные им воспоминания старшего офицера лёгкой № 3 батареи 11-й артиллерийской бригады Юлиана Игнатьевича Одаховского (1823 – 1904?), служившего вместе с Толстым под Севастополем. Воспоминания Ю. И. Одаховского «На севастопольских бастионах» отличаются живым, непосредственным восприятием Толстого, захваченного в Севастополе военными, историческими событиями, и интересны своими бытовыми подробностями. Жиркевич опубликовал эти воспоминания вместе с полученными от Толстого заметками, в «Историческом вестнике» (1908, I, стр. 167 – 176).

Вот, в выдержках, то, что дошло до нас благодаря А. В. Жиркевичу, включая комментарии Льва Николаевича и необходимые примечания редактора уже советского переиздания этой публикации:

«В 1855 году, после Инкерманского дела, наша батарея (3-я лёгкая 11-й бригады), участвовавшая в этом деле, была помещена в Бельбеке (в 15 – 20 верстах от Севастополя) и стояла в резерве, когда

прибыл в неё граф Л. Н. Толстой, в чине поручика, с которым я тут лично познакомился впервые (раньше же я, как и другие офицеры, конечно, слышал о Толстом как писателе и читал его произведения). Командиром 3-й батареи был тогда капитан Филимонов...

[...] Стоянка в Бельбеке была очень скучная. Батарея в Инкерманском сражении понесла большой урон и стояла без дела. Каждый офицер имел свой барак, наскоро сколоченный из досок солдатами. Обедали все вместе, по обычаю, у командира батареи капитана Филимонова. Обилие свободного времени наталкивало на более близкое знакомство, сближало, и прибывший граф Толстой скоро сделался душой нашего небольшого кружка.

<Одаховский в другом случае рассказывал Жиркевичу о «беседах» Толстого. После одной из таких «бесед» «у графа Л. Н. Толстого возникла мысль, чтобы каждый из нас присутствовавших тут же рассказал про свои чувства в три момента — во время приготовления к бою с неприятелем, в самом бою и по окончании сражения. Мне первому пришлось поделиться впечатлениями с товарищами... Когда настала очередь графа Л. Н. Толстого описать свои боевые впечатления, то он, насколько помню, сказал, что чувствует страх в сражении, но что для него бой — картина, увлекающая его как любителя сильных ощущений» - *Примечание редактора.*>

Наружность Толстого была некрасивой; особенно его портили огромные, оттопыренные в стороны уши. Но говорил он хорошо, быстро, остроумно и увлекал всех слушателей беседами и спорами.

Толстой сражался часто с нами в карты, но постоянно проигрывал. Впрочем, игра была у него несерьёзная, “от нечего делать”, так как, кроме офицеров батареи, в ней никто не участвовал. Толстой по ночам играл в карты, днём же сидел в своём бараке один и писал: я заходил к нему в барак и часто заставлял его за литературной работой, но о работе этой с ним не заговаривал. После обеда у Филимонова Толстой обыкновенно затевал какие-либо игры, придумывал развлечения и шутки. Например, мы, по его почину, играли в игру “палта” (в роде “бабок”). Затем он же придумал особую игру: по очереди мы должны были становиться на одной ноге на один из колышков палатки, к которому прикреплялась палатка, и кто дольше мог простоять на колышке (назначалось известное число минут, по счету “раз, два, три”), тот получал выигрыш — пряники, апельсины и т. п. Становились “на пэ”, “на транспорт”, “на угол” и т. п. Толстой так умел увлечь всех в свои проказы, что даже неуклюжий, огромного

роста, командир батареи капитан Филимонов (занятый главным образом набиванием своих карманов на счёт лошадиного овса и сена) стоял на таком колышке наравне со всеми нами, а потом удивлялся, как это с ним, командиром батареи, могло случиться.

<В пометах на рукописи Толстой отрицал достоверность указанных эпизодов: «Ничего не было», «В первый раз слышу». Однако в дневнике Толстого встречаются записи, отчасти подтверждающие воспоминания Одаховского: «12 марта [1855 г.]. Утром написал около листа *Юности*, потом играл в бабки...» (47, 38). – *Примеч. ред.*>

Графа Толстого все очень полюбили за его характер. Он не был горд, а доступен, жил как хороший товарищ с офицерами, но с начальством вечно находился в оппозиции (хотя на Бельбеке у него больших столкновений не выходило), вечно нуждался в деньгах, спуская их в карты. Он говорил мне, что растратил всё своё состояние во время службы на Кавказе и получает субсидию от своей тётки графини Толстой.

По временам на Толстого находили минуты грусти, хандры: тогда он избегал нашего общества. Это бывало в то время, когда он начал у себя в бараке усиленно заниматься литературным писанием или получал деньги.

На Бельбеке мы простояли сравнительно недолго — с 24 октября по 27 марта, встретили там Новый год и приняли присягу. Затем нас двинули в Севастополь, осада которого была в полном ходу. Двенадцать орудий нашей батареи были распределены так: 4 орудия были поставлены на Язоновский редут; остальные 8 находилась в резерве, на Графской, на случай вылазок. Я и граф Толстой очутились в резерве... Офицеры батареи, в том числе и Толстой, разместились по отдельным квартирам, на Екатерининской улице, у главной Екатерининской пристани.

Скоро капитана Филимонова назначили на Северную сторону — командиром всех батарей Северной стороны, а я был назначен старшим над оставшимися орудиями, офицерами и людьми (нижними чинами). Продовольствие офицеров и людей батареи, таким образом, перешло ко мне; Филимонов же оставил за собою продовольствие батарейных лошадей 3-й батареи сеном и овсом (с целью получать по-прежнему доходы). На свои средства стал я кормить офицеров батареи (в этом отношении я не мог, конечно, сравняться с капитаном Филимоновым, у которого, как сказано выше, были свои «побочные доходы»). Ежедневно на обед в мою квартиру собирались

граф Толстой и другие, свободные от службы (вылазок, дежурства) офицеры, хотя редкий день мы могли сойтись все вместе. Эти обеды соединяли наше общество. Обеды отлично готовил мой денщик. После обеда начинались оживлённые беседы, споры, шутки. Приходили ко мне и посторонние офицеры, как, например, граф Тотлебен — тогда ещё простой инженерный подполковник. Граф Толстой и другие нападали на Тотлебена, критикуя построенные им и инженерами укрепления (например, Язоновский редут, находя, что он слишком выдвинут), а Тотлебен нападал на артиллеристов и, в свою очередь, критиковал их действия. Все подобные споры происходили в мирном, товарищеском тоне. Во время обедов рассказывались сева­стопольские новости, и граф Толстой собирал материал для своих будущих произведений. В квартире моей стоял рояль. Обыкновенно, после того как выпьем водочки и прилично закусим, граф Толстой садился за этот рояль — играл нам и пел шутовские песни, им же сочинённые, под аккомпанемент рояля, рассказывал анекдоты, читал нам сочинённые им в Севастополе на злобы дня и на начальство стихотворения, придумывал новые игры и забавы, рассказывал о своих похождениях. Вообще по-прежнему, как и в Бельбеке, он был душой нашего общества.

< Возражение Толстого по поводу этой части воспоминаний — «Рояля у Одаховского и ни у кого из офицеров не было. Стихотворений никаких, кроме песни «Как четвертого числа...», не сочинял» (ИВ, 1908, № 1, с. 169) — не совсем справедливо. Толстой писал Т. А. Ёргольской 7 мая 1855 г.: «У меня очень нарядная квартира, с форте­пьяно...» (59, с. 314, *перевод с франц.*) – *Ред.*>

Стоянка с батареей в резерве, видимо, томила графа Толстого: он часто, без разрешения начальства, отправлялся на вылазки с чужими отрядами, просто из любопытства, как любитель сильных ощущений, быть может, и для изучения быта солдат и войны, а потом рассказывал нам подробности дела, в котором участвовал.

Иногда Толстой куда-то пропадал — и только потом мы узнавали, что он или находился на вылазках как доброволец, или проигрывался в карты. < Помета Толстого: «Правда». – *Ред.*> И он нам каялся в своих грехах.

Часто Толстой давал товарищам лист бумаги, на котором были набросаны окончательные рифмы: мы должны были подбирать к ним остальные, начальные слова. Кончалось тем, что Толстой сам

подбирал их, иногда в очень нецензурном смысле. В таких шутках, в обществе Толстого, мы коротали послеобеденное время.

Стихи, которые я вам, Александр Владимирович, передал, все записаны со слов Толстого мною и офицерами батареи — в послеобеденные часы, в моей квартире. Стихотворение «Как четвёртого числа нас нелёгкая несла горы занимать» граф Толстой, сочинив в Севастополе, принёс нам и затем раз пять при мне читал его всем присутствующим. Иногда, записав с его слов стихотворения, мы показывали их Толстому, и он их исправлял, а затем они распространялись в военном обществе. Начальство знало о том, что шутовские солдатские песни (в которых были выставлены все генералы) пишет Толстой, но не трогало его. У меня было много стихов Толстого, даже им собственноручно написанных, но с либеральным содержанием: восстание 1863 года заставило меня из предосторожности сжечь их, о чём теперь жалею.

<Кроме песни «Как четвёртого числа...», по признанию Толстого, он принимал участие в сочинении песни «Как восьмого сентября...» (см. письмо Л. Н. Толстого М. Н. Милошевич от 18 мая 1904 г. — 75, 106). Обе песни имели широкое распространение в Крыму и вскоре были опубликованы Герценом в «Полярной звезде» (кн. III на 1857 г.). «Начальство» было недоволено тем, что Толстой сочинял сатирические песни. Он по этому поводу объяснялся с помощником начальника штаба А. А. Якиммахом (см. 47, 98). В письме С. Н. Толстому от 10 ноября 1856 г. Толстой сообщал: «... великий князь Михаил, узнав, что я будто бы сочинил песню, недоволен особенно тем, что будто бы я учил её солдат» (60, 107). В мемуарной литературе имеются свидетельства об участии Толстого в создании других сатирических стихотворений (см. Е. Бушканец. «Солдатские песни» Л. Толстого (1854—1855). — журнал «Русская литература», 1960, № 3). — *Ред.*>

В то время граф Толстой писал «Севастополь в августе» и «Севастополь в мае». [...]

Из посторонних, не батарейных офицеров бывали часто у графа Толстого и у меня (на обедах) штабной — князь Мещерский и штабной же, из штаба графа Остен-Сакена, Бакунин. <Брат М. А. Бакунина, автор патриотического воззвания к защитникам Севастополя, использованного Толстым в докладной записке главнокомандующему русскими войсками князю Горчакову. — Р. А.> Сестра Бакунина была сестрою милосердия, и я видел её впоследствии раненной

во время взрыва. Бакунин тоже — со слов графа Толстого — записывал его стихотворения.

Вскоре поневоле должны были прекратиться у меня общие обеды: во время одиннадцатидневной бомбардировки Севастополя шальная бомба влетела в мою квартиру и разнесла рояль, на котором играл Толстой, а также кухню. <Помета Толстого: «Не помню». — *Ред.*> К счастью, тогда никого в квартире не было.

В Севастополе начались у графа Толстого вечные столкновения с начальством. Это был человек, для которого много значило застегнуться на все пуговицы, застегнуть воротник мундира, человек, не признававший дисциплины и начальства. Всякое замечание старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дерзость или едкую, обидную шутку.

Так как граф Толстой прибыл с Кавказа, то начальник штаба всей артиллерии Севастополя генерал Крыжановский (впоследствии генерал-губернатор) назначил его командиром горной батареи. Назначение это было грубой ошибкой, так как Лев Николаевич не только имел мало понятия о службе, но никуда не годился как командир отдельной части: он нигде долго не служил, постоянно кочевал из части в часть и более был занят собой и своею литературой, чем службою.

<Это назначение произошло 15 мая 1855 г. 31 мая того же года Толстой записывал в дневнике: «Командование моё доставляет мне довольно много забот, особенно денежные счёты. Я решительно неспособен к практической деятельности; и ежели способен, то с большим трудом, которого не стоит прилагать, потому что карьера моя непрактическая» (47, 43). Как видим, помимо недоумения и обид Толстого, уличений мемуариста в неточностях, Одаховский прав во многом в оценке именно его личности. Ответственно распоряжаться и хозяйствовать в условиях войны у молодого Льва получалось ещё хуже, чем дома, в Ясной Поляне. — *Р. А.*>

[...] Насколько любили Льва Николаевича сослуживцы его, видно уже из того, что однажды у меня за обедом, на Екатерининской улице Севастополя, я при Толстом обратился к товарищам со словами: «Господа! дадим слово не играть с Толстым! Он вечно проигрывает. Жаль товарища!». Толстой же на это преспокойно ответил: «Я и в другом месте проиграюсь». И действительно, как только мы

перестали с ним играть, он стал уходить в город и играть с пехотными и кавалеристами, а после нам же рассказывал, как те его обыгрывали.

Толстой был бременем для батарейных командиров и поэтому вечно был свободен от службы: его никуда нельзя было командировать. В траншеи его не назначали; в минном деле он не участвовал. Кажется, за Севастополь у него не было ни одного боевого ордена, хотя во многих делах он участвовал как доброволец и был храбр. <Неточность. Толстой был награждён «за отличную храбрость и примерную стойкость, оказанные во время усиленного бомбардирования» Севастополя орденом Св. Анны четвёртой степени с надписью «За храбрость». – *Ред.*> В «аристократию» Толстой не лез, любил поговорить по душе, умно; недалёких товарищей, вроде Проценко, сторонился. С солдатами Толстой жил мало, и солдаты его мало знали. Но, бывало, у него хватит духа сказать солдату: «Что ты идёшь расстёгнутый?!» (Сам был либералом по этой части.) В обращении Лев Николаевич был ровен со всеми, хотя дружбы ни с кем не заводил; готов был поделиться последним с товарищами; любил выпить, но пьян никогда не был. Часто беседовал я с ним на разные темы: это был истинно русский человек; он любил свою веру и свой родной язык, но во всяком человеке прежде всего видел человека...»

(<http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/vs1/Vs1-059-.htm>).

Полагаем, довольно. Мы оставили в приведённых выше отрывках весь рассказ Одаховского о сатирических песнях, написанных Толстым — так как в своём месте специально не рассматривали этой темы. А песни, между тем, навредив военной карьере Толстого, составили часть его славы в народе как противника войн и военщины — хотя, при сочинении их, вряд ли задумывались как специально антивоенные.

Конечно, Толстой был ощутительно задет многими страницами мемуаров Ю. И. Одаховского. В сопровождающем возвращение рукописи письме к А. В. Жиркевичу от 6 октября 1903 г. он сообщает, что рукопись его «очень разочаровала»: «Удивительно, как он мог всё так забыть, но ещё удивительнее, что мог уверить себя, что было то, чего не было. [...] Очень сожалею, что вы напрасно потрудились, списывая эти воспоминания» (74, 199 – 200).

Одной из причин предвзятого отношения Толстого к этим воспоминаниям могло быть его прошлое нерасположение к Одаховскому и

его окружению. В дневниковой записи от 23 января 1855 г. даются резкие характеристики командиру батареи В. Филимонову и заодно Одаховскому: «... остальные офицеры под их влиянием и без направления. И я связан и даже завишу от этих людей!» (47, 35. См. также письмо Толстого С. Н. Толстому от 3 июля 1855 г. — 59, 321). Толстой, по-видимому, относил Одаховского к тем людям, которые, по его определению, «затрогивают» «задушевную сторону», «но не в такт и неприятно» (47, 50).

Именно такой, «не в такт и неприятно», оказалась для Льва Николаевича Толстого *очередная*, из числа связанных с тематикой войны, *встреча его с самим собой из прошлого*.

* * * * *

Через три дня после Жиркевича, 9 октября 1903 г., Лев Николаевич пишет ещё одно интересное письмо — *Александру Михайловичу Добролюбову* (1876 – лето или осень 1945). Александр Михайлович в 1890-х стал известен первоначально как мистически настроенный поэт-декадент, близкий остро ненавистному Толстому В. Я. Брюсову. Отец его — действительный статский советник, выслуживший дворянство, служил в Варшаве. После его смерти в 1892 г. Добролюбов переехал в Санкт-Петербург. Сочинял стихи ещё в школьные годы, после переезда увлёкся поэзией и стилем жизни западноевропейских символистов, особенно Бодлером, Верленом, Малларме, Метерлинком, Эдгаром По. Курил гашиш, и проповедуемый им культ смерти, по слухам, привёл его сотоварищей по университету к самоубийству, вследствие чего он сам был исключён.

Но уже в середине 1890-х гг. Добролюбов отрёкся от идей декадентства и «ушёл в народ». Степень возможного влияния на это решение именно духовных писаний Л. Н. Толстого достоверно исследователями не выяснена, и при том сомнительна. В крестьянской одежде, с посохом в руках А. М. Добролюбов бродил по северным деревням, записывая народные песни, заклинания, плачи, сказания. Известно, что он обращался за духовной поддержкой к ненавидевшему Л. Н. Толстого популярному гуру «чистого православия» Иоанну Кронштадтскому, ходил паломником в Троице-Сергиеву лавру и в Москву, а к концу 1898 г. отправился в монастырь на Соловецких островах, чтобы постричься в монахи.

В начале 1900-х гг. Александр Михайлович прекратил литературные занятия и поселился в Самарской губернии, где занялся земледельческим трудом. Он проповедовал опрощение, непротивление злу, основал религиозную секту «добролюбовцев» («братков»), близкую к молоканам. Вероучение секты было основано на идеях христианского анархизма. «Добролюбовцы» отказывались нести воинскую повинность и шли на страдания, связанные с этим отказом. В 1901 г. и сам Добролюбов был осуждён за «подстрекательство к уклонению от воинской службы», а в 1902 г. в Петербурге его обвинили в оскорблении святынь. Родные спасли Добролюбова от отбывания наказания, добившись психиатрической экспертизы, признавшей его человеком «не от мира сего».



Сбежав от родни и докторишек, Александр Михайлович продолжил своё исповедничество Христа «ногами», и, конечно же, завалился в гости к осязатому многими такими же неотмирными людьми товарищу, единомышленнику — Льву Николаевичу Толстому. Достоверно известно, что Добролюбов встречался с духовным авторитетом дважды: в сентябре 1903 г. и в июле 1906 г. Как писал Н. Н. Гусев, Добролюбов видел своё расхождение с Толстым в том, что «Лев Николаевич слишком большое значение придаёт разуму, а Добролюбов придаёт большое значение «глубоким внутренним ощущениям».

Лев Николаевич одобрил основу выраженной в этих словах мысли» (Гусев Н.Н. Два года с Л.Н. Толстым. М., 1973. С. 256). «Лев Толстой, — говорил Добролюбов, — всё хочет объяснить и понять холодным рассудком, он не признаёт чуда, не верит в его возможность. Но откровение выше разума, а потому мы должны стремиться достигнуть того состояния, при котором будет возможно откровение». В этом он безуспешно пытался убедить Толстого (Пругавин А. Новая секта // Речь. 1913. №3).

К поэтическому творчеству Добролюбова Толстой относился, конечно же, резко отрицательно.

Но во взглядах на чистоту человека моральную и умственную, на неприятие насилия войн и рабства военной службы — Добролюбов, похоже, оставался, в значительной степени, единомышленником Толстого до конца. Известно, что этот духовный бродяга срать хотел и срал на политические режимы, войны и революции, странствуя по коммуныцкому, новорабьему Совку-СССР так же, как в молодые годы — по Российской Империи. До 1923 г. он с последователями жил в Сибири (недалеко от Славгорода), в 1923 – 1925 близ Самары, занимаясь земляными работами, в 1925 – 1927 вёл кочевническую жизнь в Средней Азии. Покойно и мудро пронаблюдав, мирно трудясь, человечье безумие двух Мировых войн, Александр Михайлович Добролюбов отошёл ко Господу в 1945 году, не позднее тёплой осени, на территории Нагорного Карабаха, где работал в артели печником.

Самым близким учеником Добролюбова был Леонид Семёнов-Тянь-Шанский, сын помещика и внук знаменитого путешественника. Он окончил университет, ни политикой, ни религией не интересовался. Но 1905 год закружил и его. Семёнов примкнул к социал-демократам, потом перешёл к эсерам. Стал пропагандистом. Его судили. Тюрьма. Семёнов, отсидев срок, опять идёт к эсерам, и опять арест... Его призывают на военную службу, но Семёнов уже стал толстовцем. Он два года прослужил, отказываясь брать в руки оружие, офицерам говорил: *брат*. Его дважды заключали в знаменитую казанскую психушку. В камере было около пятидесяти сумасшедших. Познакомившись с Добролюбовым, бывший социал-демократ и эсер понял, что обрёл наконец истину. Он сразу принял все добролюбовские идеи и пошёл с ними по России. Добровольные нищие, эти люди сами обрекли себя на вечное искание абсолютной правды, божественного света (Кошель, П. Ушедший за истиной // Завтра. 2 сентября 1997 г. № 35 (196). - <http://zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/97/196/72.html>).

Вскоре после встречи с Толстым этот убеждённый враг насилия и рабства, которого поставить в вооружённый строй было бы тяжелее, чем дикого львёнка, в очередной раз оказался в тюрьме за пропаганду непротивления и за «безписьменность» (отказ от паспорта). В письме от 9 октября, в тюрьму, где содержался Добролюбов, Толстой пишет слова ободрения в поддержку ему и некоторым другим, известным ему в то время, отказникам:

«Пожалуйста, напишите мне подробнее о вашем положении и о вашем душевном состоянии. Судя по тому, что знаю о вас, вы должны перенести своё заключение радостно и плодотворно. Помогите вам в этом Бог. О Волкове я писал два раза и был очень обрадован письмом Сахарова, извещающего меня о том, что Волков признан душевно больным и передан в ведение гражданского начальства. О Хмелёве ничего не знаю и пока ничего сделать не могу. Нельзя ли узнать подробности о нём. Если можете, пожалуйста, пишите мне. Я полюбил вас» (74, 200).

О Хмелёве таки вправду сведений не уцелело, а вот Волков этот, упомянутый в письме Толстым — тип интересный. Месяцем ранее, 6 октября, Толстой писал о нём самому тогдашнему военному министру Куропаткину:

«Милостивый государь Алексей Николаевич,

Я несколько месяцев тому назад писал Вам о вахмистре Оренбургского войска Макаре Волкове, отказавшемся от ношения оружия. Дошло или не дошло моё письмо до Вас, я считаю своим долгом вновь обратиться к Вам с тою же просьбою.

Я думаю, что излишне доказывать всё несоответствие наказания дисциплинарного батальона с преступлением Волкова, вытекающим из религиозных побуждений, и естественное желание всякого человека облегчить его положение.

Если Вы можете это сделать, то я уверен, что Вы сделаете это истинно доброе дело. Волков находится в Оренбургском дисциплинарном батальоне.

С совершенным уважением остаюсь
готовый к услугам Лев Толстой» (74, 176 – 177).

Ответил Толстому 17 сентября 1903 г. товарищ военного министра Виктор Викторович Сахаров — тот самый, который сменит на посту министра обгаженного Куропаткина в первые месяцы русско-японской войны. Вместо дисциплинарного, Макар Волков был «приговорён», и на значительно меньший срок, конечно же, к сумасшедшему заведению — что в те варварские по отношению к отказникам времена всё же было огромным облегчением участи вахмистра во Христе.

* * * * *

В октябре – ноябре 1905 г. Л. Н. Толстой работает над статьёй «Три неправды» (от которых страдают «все народы»), одна из которых (помимо захвата у трудящихся земли и ограбления их налогами), конечно же — военная служба, «солдатчина»:

«Третья неправда в том, что правительство, затеяв какие-нибудь споры с другими правительствами, захватив чужие земли и не отдавши те, какие оно прежде захватило, или просто поссорившись с правительственными лицами другого государства, может во всякий час затеять войну и потребовать людей в войска и погнать их на убиения и убийства.

Мало того что правительство может всякую минуту оторвать рабочих людей от их семей и труда и послать их за тысячи вёрст на убийство, — что все правительства всегда и делают, — ещё и до начала войны правительства отрывают людей от работы, собирают их в войска и годами держат их в праздной, развратной жизни, обучая их убийству и тратя на эти приготовления большую часть тех денег, которые собирают с народа.

Неправда эта самая большая и жестокая, и явно противная христианскому закону. И пока будет эта неправда, не будут люди знать спокойной и доброй жизни» (36, 399 – 400).

Примечательно, что во второй черновой редакции этой неоконченной писателем статьи «солдатчина» становится на первое место, но, как и в первой редакции, характеризуется писателем и публицистом как «неправда самая большая и самая вредная и для телесного и для душевного блага людей» (Там же. С. 403).

Очевидно, у Толстого путаница. Всё же безземелие надо признать основой зла — даже по логике 2-й редакции черновика, где утверждается, что безземельный народ «живёт по городам на заводах и в прислугах», где «прислуживая богачам, все больше и больше отвывает от доброй жизни и развращается» (*Там же. С. 404*). Богатый землевладелец защитит себя профессиональным войском, но сам не позволит своему же правительству загонять себя в военное рабство. Туда прямая дорога, в естественный отбор среди зверюшек Дарвина — развратной сволочи, переполняющей крупные города... Хуйлобляди «русского мира», палачествующие и мародёрствующие в Украине выкорымыши и воспитаннички урбанизированной, с вымирающими деревнями и сёлами, России — просто великолепно попадают не то, что под это описание, а под результаты уже своеобразной «селекции» худших и гадчайших нравственно людей в этих городских условиях.

Главный способ избавления от всех трёх зол, по Толстому — религиозный, христианский: «в том, чтобы повиноваться Богу, а не повиноваться людям»:

«Для того чтобы достигнуть нашей ближайшей цели, надо только не повиноваться никакой власти человеческой, а жить так, как мы живём и вы живёте — не каждый порознь, а в мире, в общине, работая каждый для себя, но сходясь для обсуждения общественных и хозяйственных дел наших в сходки, и повиноваться только тому, в чем мы добровольно согласились, а во всех же делах правительства не участвовать.

Будем мы поступать так: не будем идти в солдаты, не будем добровольно давать податей, и само собой уничтожится правительство, то самое, которое собирает войско, заводит войны, обирает труды народа податями и удерживает захваченные земли за владельцами. А уничтожится правительство, то народу в каждой деревне, в каждом приходе легко будет устроиться так, чтобы не было ни солдатства, ни войн, ни податей, ни пошлин, ни земель, к которым бы не было доступу всему народу.

Для того чтобы не было нужды в солдатстве и войнах, нужно только устроить добрую, справедливую жизнь без податей и запретной земли, и тогда никто не придёт воевать с таким народом, а скорее придут учиться у таких людей жить свободно и без греха» (*Там же. С. 405 – 406*).

А что, если всё-таки “придут”, Лев Николаевич? А ведь обязательно придут: природа большинства гладкокожих полуфабрикатов эволюции, именующих себя «люди человеки», именно такова тысячи лет: ограбь труд другого, даже с «военным» риском... И выйдет «сказка про белого бычка»: ибо именно с необходимости обороны осёдлых поселений от множества грабителей и «пошло есть» (грабить и жрать, если точнее) не одно Государство Российское, но и все древние разбойничьи гнёзда, все государства.

«Вытянуть» земельный вопрос в середину статьи, в третью «позицию» Толстого вынудил замысел пропаганды в ней учения Генри Джорджа о «едином налоге» на ценность земли — которой и посвящена вторая половина первой редакции. Между тем, по отношению именно к «солдатству» всё гораздо логичнее оказалось в редакции Первой. И осуществимее, как понятно нам с «высот» XXI века. Сравним:

«Для того же, чтобы не было солдатства, нужно только одно: не принуждать другие народы жить под нашим русским законом и властью, а оставить и поляков, и немцев, и финляндцев, и грузин, и татар, и черкесов, и всех тех людей, которые теперь живут под русской властью, устраиваться жить каждому народу по-своему.

Не будем мы заставлять чужих людей жить под нашей властью, а будем сами мирно жить доброй жизнью, нам не нужно будет ни пушек, ни крепостей, ни солдат.

Те, кто властвуют, говорят, что без войска мы все пропадём и что все мы живы только потому, что есть войско. Но ведь все видят и знают, особенно теперь после японской войны, что это неправда. Нам не было и нет никакой нужды лезть в чужие дальние земли, в Китай, когда у нас земли девать некуда, и миллионы десятин лежат необработанными, и вся земля наша не устроена. А мы полезли куда нас никто не спрашивал и погубили тысячи миллионов денег, и сотни тысяч ни в чём не повинных людей убиты и изуродованы.

А если мы будем жить хорошо, никто нас не тронет. А только к нам придут и с нас пример брать будут» *(Там же. С. 401).*

В наши дни на Земле довольно счастливых стран, в которых нисколько не осуществилась утопия американского «экономиста с Библией» Генри Джорджа, которой так увлекался Толстой, но которые могут быть примером осуществления вполне посильной «заповеди»: живи сам по-людски, да дай жить другим!

Возвращение же к общинной жизни, охристианение её, Толстой на спаде революционных событий был вынужден признать, по крайней мере, довольно отдалённым идеалом. 1 февраля 1908 года секретарь Николай Николаевич Гусев записал суждение Толстого на тему того, что «мы делаемся городскими жителями»:

«Да, может быть, такое будущее предстоит человечеству. Всё, что делается в больших размерах, обходится дешевле. Но если действительно таково будущее человечества, то жалко этого деревенского простора, полей, лугов» (*Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1891 – 1910. М., 1960. С. 610*).

* * * * *

В годы Первой российской революции Толстой наблюдал над эволюцией военного рабства, или, иначе: деградацией армии, всё чаще, как он и предрекал в «Солдатской памятке», бросаемой, в виде карательных отрядов, против своих же соотечественников. Так, 21 января 1906 г. в № 10718 любимой газеты «Новое время», за 15 января, Лев Николаевич читает корреспонденцию из Феллина (Лифляндской губ.) о расстрелах без суда «взбунтовавшихся крестьян эстов» по приказу штаб-ротмистра драгунского полка барона фон Сиверса. На глазах многолюдной толпы в период с 9 по 11 января было расстреляно 70 человек. При расправе над ливонскими крестьянами полковник Корф «залпом убил двадцать двух и там же, перед войском, застрелился» (*Маковицкий Д.П. Яснополянские записки. Указ. Изд. Кн. 2. С. 24*).

14 марта в газете «Русь» Толстому вновь попала на глаза о расстреле карательным отрядом — на этот раз «железнодорожных служащих на станциях Уральской железной дороги, близ Москвы» (*Там же. С. 77*). Писатель Иван Фёдорович Наживин подтвердил, что эффект от этого насилия только обратный: в Москве и Финляндии готовятся вооружённые восстания, а в России в целом — распад. Как и многие молодые офицеры царской армии, Толстой относится к этой неизбежности с сочувствием и признаёт влияние в ней и своих публицистических писаний:

«Мальчишки, продающие “Солдатскую памятку”... они сильнее распространяют просвещение, чем попечители, университеты..» (*Там же*).

В разговоре 31 декабря 1908 г., с участием Н. Н. Гусева, по поводу запроса в Думе об угнетении поляков Толстой высказывает своё убеждение в том, что «мы накануне огромного переворота, в котором Государственная дума не будет играть никакой роли». Для борьбы с русским правительством «может быть только один из двух путей: или бомбы, или любовь» (*Гусев Н.Н. Летопись. 1891 – 1910. С. 657*).

* * * * *

Революция 1905 – 1907 гг. не оправдала надежд Толстого на освобождение народов России ни от земельного и податного, ни от солдатского рабства. 22 октября 1909 г. Толстой в особенно подавленном настроении провожает за деревню, вместе с их родными, ясно-полянских парней, захваченных тётей «родиной» в солдаты. При этом, по признанию в Дневнике, он «испытал одно из самых сильных впечатлений, поплакал»:

«Были проводы ребят, везомых в солдаты. Звуки большой гармонии — залихватски выделяет барыню, и толпа сопутствует, и голошение баб, матерей, сестёр, тёток. Идут к подводам на конце деревни и заходят в дома, где товарищи. Всех шестеро. Один женатый. Жена городская, нарядная женщина, с большими золотыми серьгами, с перетянутой талией, в модном, с кружевами, платье. Толпа, больше женщин и, как всегда, снующих оживлённых, милых ребятешек, девчонок. Мужики идут около или стоят у ворот с строгим, серьёзным выражением лиц. Слышны причитания — не разберёшь, что, но всхлипывания и истерический хохот. Многие плачут молча. Я разговорился с Василием Матвеевым, отцом уходящего женатого сына. Поговорили о водке. Он пьёт и курит. — «От скуки». — Подошёл Аниканов староста и маленький, старенький человечек. Я не узнал. Это был рыжий Прокофий <Власов>. Я стал, указывая на ребят, спрашивать, кто — кто? Гармония не переставала — заливалась, все идём, на ходу спрашиваю у старичка про высокого молодца, хорошо одетого, ловко, браво шагающего: — А этот чей? — «Мой», — и старичок захлюпал и разрыдался. И я тоже.

Гармония не переставая работала. <Как барабаны в «Войне и мире» и как водка: «работа» на опьянение, бездумие людей, над которыми совершается мерзость военного призыва. — Р. А.> Зашли к Василию,

он подносил водку, баба резала хлеб. Ребята чуть пригубливали. Вышли за деревню, постояли, простились. Ребята о чём-то посоветовались, потом подошли ко мне проститься, пожали руки. И опять я заплакал. Потом сел с Василием в телегу. Он дорогой льстил: “Умирайте здесь, на головах понесём”. Доехали до Емельяна. Никого, кроме ясенских, нету.

Я пошёл домой, встретил лошадь и приехал домой» (57, 157).

Впечатления от этой сцены, чувство беспомощности перед ней, после десятков лет антивоенного слова к современникам, Толстой выразил в очерке «Песни на деревне», датированном 8 ноября 1908 года, завершающемся такими строками:

«И только теперь, после этих двух слов Прокофия: “мой это”, я не одним рассудком, но всем существом своим почувствовал весь ужас того, что происходило передо мною в это памятное мне туманное утро. Всё то разрозненное, непонятное, странное, что я видел, — всё вдруг получило для меня простое, ясное и ужасное значение. Мне стало мучительно стыдно за то, что я смотрел на это, как на интересное зрелище. Я остановился и с сознанием совершённого дурного поступка вернулся домой.

И подумать, что всё это совершается теперь над тысячами, десятками тысяч людей по всей России и совершалось и будет долго ещё совершаться над этим кротким, мудрым, святым и так жестоко и коварно обманутым русским народом» (37, 18 – 19).

12. 2. ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА БЫТЬ УСЛЫШАНЫМ: ПАЦИФИСТЫ И СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

(Годы 1909 – 1910)

Сюжет этот — совершенно особенный для нашей темы. Возрастающие и развитие антивоенных воззрений писателя создаёт для исследователей ситуацию затруднения в определении хронологических рамок начала сознательного его протеста против лжи патриотизма и военного насилия. Если с годами юными и с начинающим писателем всё более-менее определённее, и это начало можно приурочить к публикации рассказа «Набег», то как раз с завершением антивоенных публичных выступлений всё неопределённее — прежде всего, по

той причине, что само акцентирование традиционным толстоведением внимания на «пацифизме Толстого» неверно и заводит в тупик: чем ближе старец Лев становился к возлюбленному им образу апостола Иоанна, проповедника любви — тем очевиднее должно бы быть пишущим о Толстом, что, несмотря на защиту отказников и протесты против принуждения их к службе, против милитаризации в технологиях и в головах — Толстой ощущал для себя пацифизм именно так, как должен ощущать, осознавать его последователь Христа: избыточным, нелепым, ненужным... Его «антивоенные» выступления всё труднее отделить от проповеди веры и любви: прежде сказанное против войны Толстой предпочитает повторять в связи с религиозной, христианской проповедью: в этом отношении, например, статья «Закон насилия и закон любви» возвращает читателей к универсализму слова «В чём моя вера?». Тем важнее для нас, дабы использовать шанс не раздуть сильно хотя бы эту, заключительную, главу нашей книги — остановить в самом завершении её внимание читателя на последнем значительном именно антивоенном выступлении Толстого-христианина и публициста. На наш взгляд, таковым был доклад Льва Николаевича, подготовленный для Конгресса мира в Стокгольме.

В начале июля 1909 г. председатель Организационного комитета XVIII международного мирного конгресса, назначенного на 14 (27) августа в Стокгольме, известил письмом Льва Николаевича об избрании его почётным членом конгресса и пригласил приехать на эти, уж точно последние в жизни Толстого, посиделки пацифистов. Неожиданно для окружающих и для самих организаторов конгресса Толстой решил принять приглашение. «Решил ехать в Штокгольм», — записывает он в Дневнике на 11 июля. Секретарь Толстого, Николай Николаевич Гусев, вспоминал:

«Я поеду, — сказал мне Лев Николаевич.

Сегодня же Лев Николаевич продиктовал мне письмо президенту конгресса, в котором говорит, что если только он будет иметь силы, то постарается сам быть на конгрессе; если же нет, то пришлёт то, что хотел бы сказать» (*Гусев Н.Н. Два года с Толстым. М., 1973 С. 271*).

Толстой ответил на приглашение письмом от 12 (25) июля (пер. с французского):

«Господин председатель,

Вопрос, который подлежит обсуждению конгресса, чрезвычайно важен и интересует меня в течение уже многих лет. Я постараюсь воспользоваться честью, которую мне оказали моим избранием, изложив то, что я имею сказать по данному вопросу перед столь исключительной аудиторией, как та, которая соберётся на конгрессе. Если силы мне позволят, я сделаю всё возможное, чтобы прибыть в Стокгольм к назначенному сроку: если же нет, я пришлю вам то, что хотел бы сказать, в надежде, что члены конгресса пожелают ознакомиться с моим мнением» (80, 23).

Примечательно, что, как и сам будущий Доклад Л. Н. Толстого в идейном его содержании, так и это даже, предваряющее поездку, письмо стали известны публике ещё до предполагаемого открытия в Стокгольме мирной конференции: стараниями журналиста Сергея Петровича Спиро (псевдоним: Сергеев; даты жизни не установлены) его текст, в русском переводе, был опубликован 2 августа в газете «Русское слово» (№ 177).

Немедленно Толстой принялся за составление доклада; 14 июля он набрасывает в Дневнике его программу:

«К Штокгольму: начать с того, чтобы прочесть статью, а потом новые письма отказывающихся, потом сказать, что всё, что говорилось здесь, очень хорошо, но похоже на то, что мы, имея каждый ключ для отпора дверей той палаты, в которую хотим взойти, просим тех, кто спрятались от нас за непроницаемой дверью, отворить её, а ключа не прилагаем к делу и учим этому и других. Главное, сказать, что корень всего — солдатство. Если мы берём и учим солдат убийству, то мы отрицаем всё, что мы можем сказать в пользу мира. Надо сказать всю правду: разве можно говорить о мире в столицах королей, императоров, главных начальников войск, которых мы уважаем так же, как французы уважают *m-g de Paris* <в *фр. яз.* метафорическое именование для палача. – *Р. А.*>. Перестанем лгать — и нас сейчас выгонят оттуда. Мы выражаем величайшее уважение начальникам солдатства, т. е. тех обманутых людей, которые нужны не столько для внешних врагов, сколько для удержания в покорности тех, кого мы насилуем» (57, 95 – 96).

Безусловно, Толстой знал, к кому едет — и что за Слово Божьей правды-Истины необходимо перед этой приглагоуренной, в костюмчиках, пацифистствующей аудиторией сказать, явно не рассчитывая на её симпатии и согласие!

Важно заметить, как здесь уже, в записи Дневника, и позднее, в черновиках Доклада, пересеклись две животрепещущие темы публицистических выступлений Толстого-христианина: война и смертная казнь.

20 июля 1909 г. Толстой записал в Дневнике:

«Сейчас для Штокгольма перечитывал и письмо к шведам и “Царство божие”. Всё как будто сказано. Не знаю, что ещё скажу. Кое-что думаю, что можно и должно. Видно будет. Читая же эти свои старые писанья, убедился, что теперешние мои писания хуже, слабее. <Как и всегда, когда уже устал повторять одно и то же бесконечным, похожим друг на друга недоумкам. — Р. А.> И, слава Богу, не огорчался этим. Напротив: буду воздерживаться от писания». 23 июля: «Диктовал заявление в конгресс мира (плохо очень)». 25 июля: «Потом начал писать для конгресса мира. Лучше, но слабо». 30 июля Толстой отмечает, что «закончил статью на конгресс». Однако, 1 августа он записывает: «Вечером прочёл вслух речь конгрессу — нехорошо. Нынче поправил. Лучше». 5 августа: «Вчера, 4-го, поправлял конгресс и, кажется, почти хорошо». В письме к В. Г. Черткову от 2 августа Толстой писал: «Я готовлю свой доклад, которым всё недоволен». Согласно дневниковым записям, Толстой начал работу над докладом 14 июля и закончил её в основном 30 июля, т. е. работал в течение двух недель. Несмотря на спешность работы, сохранилось значительное количество черновых рукописей, сопоставление которых с окончательным текстом доклада обнаруживает, что Толстой, работая очень напряжённо и ответственно, старался смягчать естественную резкость первоначальных редакций. Так, например, вычеркнут следующий абзац, снова сближающий антивоенный доклад Льва Николаевича с темой смертных казней:

«Человек молодой, здоровый, умный, свободный, ничем к этому не принуждаемый, из всех честных, чистых предстоящих ему деятельностей избирает военную и в знак своей принадлежности к этой профессии одевается в странную, пёструю одежду, навешивает себе через плечо орудие убийства и гордится этими знаками своей профессии (вроде того, как если бы палач в виде украшения носил бы на себе небольшую виселицу в знак своей деятельности и гордился

бы этим). Вся жизнь такого человека проходит в приготовлениях к убийству, в обучении убийству, в самых убийствах, и чем больше его участие в этих делах, тем он больше гордится, вроде того как во Франции гордится M-r de Paris своей должностью, и тем выше он поднимается в общественном мнении. Так это теперь. Но сознай люди ту простую истину, которую они все знают, но которая так скрыта от них, что не решаются высказать её и следовать ей, и тотчас же всё изменяется. Только признай люди то, чего нельзя не признать, что убийство всегда убийство и гадкое дело и что поэтому военное дело, всё посвящённое убийству, не может не быть дурным и позорным и что поэтому лучше всякая самая тяжёлая и грязная работа, чем деятельность, которая состоит только в приготовлении, поощрении и распоряжении убийствами» (38, 310).

Как только был закончен доклад, Толстой начал переводить его на французский язык, так как именно на этом языке он предполагал произносить доклад в Стокгольме. «Вчера переводил конгресс», — записывает он в дневнике 1 августа. 2 августа Д. П. Маковицкий записывает в своём дневнике: «Днём Л. Н. переводил по-французски и дополнял свой доклад “Съезду мира” в Стокгольме. Вечером просил Ивана Васильевича Денисенко помочь ему переводить, а Софье Андреевне предложил прочесть доклад на заседании съезда. Сказал, что на неё не будут грубо нападать (как на него). И кому же пристойнее прочесть, как не ей — жене» (*Маковицкий Д.П. Яснополяские записки. У Толстого. Указ. изд. Кн. 4. С. 27*).

К сожалению, у Софьи Андреевны Толстой, не разделявшей с супругом его чистой евангельской, Христовой веры, было своё воззрение на готовящуюся Толстого поездку к шведам и роль в ней мужа и собственную. Ниже мы вернёмся к этому сюжету, но скажем здесь же: возможно, и к лучшему, что в глазах чуждых, не желавших понять её мужа (она-то хоть понимала!) людей и существ она не сыграла этой дурацкой роли «русской Берты Зуттнер», «жены пацифиста», или чего-то подобного...

4 августа была получена телеграмма о том, что конгресс откладывается, и перевод доклада остался незаконченным. По наблюдению М. Чистяковой, сличившей тексты, «только первые абзацы доклада Толстой переводил с известной точностью; вскоре же перевод его обратился в самостоятельную творческую работу на французском языке, текстуально отличную от русского подлинника, некоторые абзацы

которой представляют собой возвращение к первоначальной, резкой по форме, редакции» (*Чистякова М. Толстой и европейские конгрессы мира // Литературное наследство. Том 37 – 38. Л.Н. Толстой. М., 1939. С. 610*). Например:

«Человек дома и занят своими делами. К нему приходят и говорят: вот тебе ружьё, иди и убей того человека, на которого я тебе укажу. Сомнительно, чтобы нашёлся один из тысячи, который, под самыми страшными угрозами, согласился бы совершить подобное убийство. Но тот же человек введён в состав полка. Его одевают, как тысячи людей, находящихся в тех же условиях, его заставляют ходить, бегать, прыгать через верёвку и спустя несколько месяцев, может быть, года, человек этот готов исполнять всё, что от него потребуют, и убивать всех, кого ему прикажут убивать. И вот эти то суеверия, обманы и внушения мы должны уничтожить» (38, 317).

Между тем, известие о решении Толстого принять личное участие в работах мирного конгресса в Стокгольме и слухи о новой статье, написанной им с этой целью, распространились с чрезвычайной быстротой и в России, и в прочем «цивилизованном» мире. Выше уже упомянутый Сергей Петрович Спиро, корреспондент газеты «Русское Слово», был откомандирован в Ясную Поляну для получения на этот предмет точных сведений. 30 июля он явился пред очи Льва... Мысленно послав нахуй навязчивого, уже знакомого ему газетчика (кстати, очень дотошного, но зато и правдивого, и уважавшего очень Толстого), Лев Николаевич подтвердил ему своё решение о шведах: «Это верно. Я получил от них приглашение приехать и избран ими почётным членом съезда. Доклад я пишу сейчас и ещё его не закончил». И далее, с «фирменной» толстовской откровенностью: «Если бы мой доклад был закончен, я бы дал его вашей газете, но вряд ли он мог бы быть у вас напечатан по цензурным условиям». Личное же участие его, как полагал Толстой, необходимо из-за резкости доклада: если его прочтёт равнодушная комитетская интеллигентская гнида, он уже точно не будет ни понят, ни принят (*Спиро С. П. Беседы с Л. Н. Толстым. М., 1911. С. 27 – 28. – <https://www.prlib.ru/item/903572>*).

Вероятно, Лев Николаевич был здесь недалёк от истины. Слухи о содержании доклада Толстого, проникнув из России и в европейскую печать, произвели сенсацию. Очкатые, очкастые и очковые интеллигентские, пацифистские крысы в Стокгольме очень всполошились. Восхваления по адресу «великого русского писателя», новые

разговоры о присуждении ему Нобелевской премии, о подготовке к его торжественной встрече прикрывали собой крайнюю тревогу и страх за то, как бы беспокойный гость своим выступлением не нарушил благопристойного течения конгресса.

В то же время, ошибочно преувеличивать значение этого страха перед словом Толстого. В том же интервью для Спиро Толстой указывает на главную помеху работе съезда, нежеланную тогда для него: «В Швеции теперь забастовка, а конгресс назначен на 14-е августа по нашему стилю. Вероятно, он будет отложен...» (*Там же*). Так впоследствии и получилось.

Решение Толстого о поездке в Стокгольм, возбуждавшее волнение в Европе, вызвало, вместе с тем, семейную драму в Ясной Поляне. Ещё 9 июля 1909 года Душан Петрович Маковицкий записал в своём дневнике: «После обеда Л. Н. сказал Софье Андреевне, что намеревается поехать в Стокгольм. Софья Андреевна отговаривала его с точки зрения его преклонного возраста, трудности перенесения мореплавания. Потом отнеслась двойственно и сама хочет ехать в Швецию. Вечером с Софьей Андреевной истерика: заперлась в комнате, никого не впускает; мы боялись, что отравилась» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 4. С. 13*).

Художник Иван Кириллович Пархоменко (1870 – 1940), гостивший в Ясной Поляне с 19 по 21 июля, в своих воспоминаниях пишет: «Софья Андреевна поделилась со мной своей тревогой по поводу намерения Льва Николаевича отправиться в Стокгольм на конгресс мира:

— Не знаю, как его и отговорить. Ведь плыть туда надо от Либавы, так как в Петербурге теперь холера и требуется от всех, кто едет в Швецию через Петербург, чтобы они выдержали на судне девятидневный карантин. Главное, чего я боюсь, так это качки, — он её не переносит» (*Цит. по: Чистякова М. Указ. соч. С. 611*).

Истерические состояния, однако, этим не объяснить. Были более глубокие причины для неприятия женой Толстого самой идеи поездки супруга в Швецию. Например, несогласие именно с религиозными, христианскими обоснованиями Толстым своей антивоенной позиции: самой Софье Толстой, урождённой Берс, москвичке и дочери лютеранина немца, был ближе именно европацифизм, либеральный, замешанный на протестантском переосмыслении церковно-христианской традиции, *не требовательный к личности*, к

повседневному образу жизни мнимого поклонника *мира* — то есть, лукавый, лживый. Сущностно антихристианский — от антихриста, отца лжи! Наиболее же глубокая причина коренилась в особенностях всегда тяжёлого ей самой характера жены писателя: в прочности и чувствительности тех «живых, трепетных нитей», которыми она связала себя с ним. В нежелании даже на время отпускать, давать свободу, терять контроль над любимым и самым близким человеком...

Была, наконец, и ещё одна возможна причина для изменения в эти дни поведения супруги Льва Николаевича — внешняя, не глубинная, но *очень* страшная в своих предпосылках, готовившая всему семейству Толстых главную катастрофу их жизни. На неё указывает не сильно симпатизировавший Софье Андреевне Толстой биограф Л. Н. Толстого, секретарь, друг и христианский единомышленник Николай Николаевич Гусев. Софья Андреевна незадолго до того, около 11 – 25 июня 1909 года, наводила справки о возможности, на основании давней, ещё от 21 мая 1883 г., доверенности от мужа на ведение имущественных дел, в том числе на издание его сочинений, продать это право третьему лицу. Ответено ей было самым неутешительным образом: письменная доверенность не предоставляла права собственности, равно как и полномочий на ведение судебных дел. Между тем Иван Васильевич Денисенко (1851 – 1916), муж племянницы Толстого, через которого Софья Андреевна наводила справки, около 14 июля пошептал об этом Льву Николаевичу, который тут же, в возмущении, пожелал составить «бумагу», в которой он мог бы объявить к общему сведению, что передаёт все свои произведения во всеобщее пользование. Об этом было скоро доведено до сведения Софьи Андреевны, у которой 18 июля последовал тяжёлый припадок. Угрожая мужу самоубийством, бедная Соничка потребовала полной передачи ей прав собственности на его сочинения. Лев Николаевич отказал ей. К 20 июля угроза лишиться семейного творческого наследства мужа и отца как-то связалась в возмущённом сознании любящей жены с его намерением ехать на конгресс мира в Швеции: резкое недовольство её в высказываниях касается теперь того и другого (*Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: В 2-х кн. М., 1960. Кн. 2. 1891 – 1910. С. 699 – 701*).

Иван Кириллович Пархоменко в своих записках отмечает тяжёлую атмосферу, царившую в семье в связи с настроением Софьи Андреевны.

Наконец, на исходе месяца разразилась буря.

«После обеда заговорил о поездке в Швецию, — записал Толстой в дневнике от 26 июля. — Поднялась страшная истерическая раздражённость. Хотела отравиться морфином, я вырвал из рук и бросил под лестницу. Я боролся. Но, когда лёг в постель, спокойно обдумал, решил отказаться от поездки. Пошёл и сказал ей. Она жалка, истинно жалею её. Но как поучительно» (57, 103).

Поучительность для Толстого-христианина описанной ситуации — в том, чтобы слушаться Христа, не связывая себя сердечными узами с родственными лишь по мирской жизни и по крови, а не по духу. Мысль Толстого о том, чтобы покинуть семейство, не оставляла его с середины 1880-х и превратилось в этот период в решение, которое крепло с каждым днём, и незадолго перед тем им совершена была одна из попыток к уходу. Софья Андреевна понимала, что, раз вырвавшись из-под её опеки, старец Лев может, воспользовавшись благоприятным случаем, уже не возвратиться к чуждым, духовно не близким людям — то есть, к семейке своей, к хищным, жадным в мамку, «берсятам» Сонички Берс (в замужестве Толстой), в оккупированную ими, давно отобранную у Толстого, Ясную Поляну. И потому, добившись от мужа отказа от поездки, она тотчас же предложила другой вариант (по внешности, как будто, заботясь лишь о нём, а не о себе): совместную поездку в Стокгольм.

«Пришла С. А., — пишет Толстой в дневнике от 2 августа, — объявила, что она поедет, но всё это, наверное, кончится смертью того или другого и бесчисленные трудности. Так что я никак уже в таких условиях не поеду» (Там же. С. 110).

В записях от 5 августа появился, позднее возмущивший до глубины души Софью Андреевну, образ Ксантиппы:

«Отчего Ксантиппы бывают особенно злы? А от того, что жене всегда приятно, почти нужно осуждать своего мужа. А когда муж Сократ или приближается к нему, то жена, не находя в нём явно дурного, осуждает в нём то, что хорошо. А осуждая хорошее, теряет la portion du bien et du mal [*фр.* понимание доброго и злого] — и становится всё ксантиппистее и ксантиппистее.

С. А. готовится к Штокгольму и, как только заговорит о нём, приходит в отчаяние. На моё предложение не ехать не обращается никакого внимания. Одно спасение: жить в настоящем и молчание» (57, 111).

Хорошее свидетельство того, что втайне Толстой справедливо придавал своей речи и поездке огромное, историческое значение и, в

угоду любящей супруге, буквально «по живому», с огромным внутренним сопротивлением, «отрезал» себя от Стокгольма!

Проект совместной с женой поездки в Стокгольм Толстой считал, по-видимому, нереальным и относился к нему отчасти юмористически. Вернёмся к записи от вечера 2 августа в дневнике Д. П. Маковицкого: «Софье Андреевне [Толстой] предложил прочесть доклад на заседании съезда. [...] Софья Андреевна ответила, что для этого надо хорошо одеться. Смех со стороны женщин и крик, как проявляется женщина в Софье Андреевне». Однако, «в 11 часов ночи уехала Марья Алексеевна [Маклакова] в Москву, за деньгами и туалетами для Софьи Андреевны на дорогу», и затянувшаяся шутка перестала наконец быть смешной:

«Софья Андреевна делает вид, что едет из-за Л. Н. в Стокгольм, чтобы он не ворчал всю жизнь на неё. И говорит, что он перестал с ней говорить, но что она не будет брать на себя обязанностей по дороге: ни еду готовить, ни билеты брать. Поедет “багажом”» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 4. С. 27 – 28*).

Ага! Тяжёлым чумоданом без ручки...

Неизвестно, как разрешилась бы сложная семейная ситуация в Ясной Поляне, если бы 4 августа не было получено известие о том, что конгресс, как и предсказал ему Толстой, был отложен аж на 1910 г., вследствие бессрочной забастовки рабочих в Швеции. «Я предоставляю всё судьбе. Я поездке не придаю особенного значения: в моём возрасте всё равно» — записал в этот день верный Маковицкий слова духовного учителя (*Там же. С. 30*). По всей видимости, Толстой желал внушить это и себе — молчаливо перебарывая в себе настоящее, и сильное, желание, как раз поехать на мирную конференцию! Он продолжал придавать большое значение для умонастроений и судеб мира своему публичному выступлению. За это косвенно говорит следующее обстоятельство. Некоторые газетчики, как можно было предвидеть, высказывали предположение, что одной из причин отсрочки конгресса явились опасения, вызванные предстоящим докладом Толстого и его появлением на конгрессе. Толстого это раздражало. Раздражение проявилось уже 6 августа в беседе о газетчиках и интеллигенции в целом с А. А. Стаховичем, привезшим в Ясную Поляну свежие газеты и сплетни:

«Интеллигенция — это презренная клика, которой через несколько десятилетий и помину не будет. Они <именно российская интеллигентская сволочь. — Р. А.> только повторяют то, что Европа сказала,

сами своим умом не думают. Я получаю письма от интеллигенции: одни глупости пишут, а нынче получил два письма от мужиков — полны смысла».

На возражения Стаховича, что Толстой сам интеллигент:

«Нет, я был офицером и орфографии не знаю. Я рад, что не интеллигент. Нет. [...] Зачем вы меня ругаете скверными словами? [...] 50 лет тому назад и раньше были декабристы, которые стыдились, что они крепостники. Теперь же интеллигенты не сознают греховности своего положения. Теперь 99 из 100 интеллигентов произошли из народа и сидят на его шее, пишут, изрекают слова, рассуждают. [...] Если я хочу православия, возьму катехизис, пойду к старцам. Если хочу болтовню, возьму газеты» (*Там же. С. 31*).

Наблюдая раздражение и горячность мужа, Софья Андреевна выразила уверенность, что ему, в любом случае, не дадут ничего прочесть в Стокгольме — «остановят» (*Там же. С. 32*). Сама она, при успокоительных известиях из Швеции, тоже сразу стала спокойнее...

Речь о городских щелкопёрах характерна, в том числе, и как дополняющее свидетельство для нас положительного, отчасти даже идеализирующего (помимо покаяний о военной службе ещё в «Исповеди»), отношения старца Льва к своей офицерской молодости и — по-прежнему — к декабристам. Но «болтуны» газетные задели его тоже нехило! Яснополянский Сократ имел основания и право придавать докладу своему немалое значение. И здесь же, в Дневнике Д. П. Маковицкого, в записях на 6 августа, мы находим свидетельства того, что он, на самом-то деле, с охоткой разделил «соображения» газетных сплетников! Вот это «скромное» признание духовного наставника преданному ученику — пощёптанное ему в глубоком секрете, в спальне, перед отходом ко сну:

«Я думаю, — это нескромно с моей стороны, — что в отложении конгресса играли роль не одни забастовки рабочих в Швеции, а и то, что я собирался приехать, и моё письмо к ним, и статья газеты (интервью Спиро в “Русском слове”). Побоялись приезда. “Как нам быть с ним?”. Прогнать нельзя. И отложили конгресс» (*Там же. С. 30*).

Но, раз вцепившись в близкую, хотя и по-своему понимаемую ей тему, интеллигентская свора не могла скоро переключить внимания со старца Льва на что-то, не столь лакомое. «Анархо-пацифистского» скандала в Стокгольме не случилось... А ведь как многим из них хотелось! Вскоре за описанными событиями, концертная дирекция

Жюля Закса (Concert-Direction Jules Sachs), устраивавшая в Берлине доклады видных общественных и научных деятелей, в письме от 17 августа (н. ст.) обратилась к Толстому с предложением приехать после Стокгольма в Берлин (!) и там прочитать свой доклад, написанный для Мирного конгресса, гарантируя ему полную свободу слова. Дирекция Жюль Закса предполагала устроить в Берлине десять вечеров с докладом Толстого и предлагала ему на благотворительные цели по 5 000 франков за выступление. Толстой продиктовал Д. П. Маковицкому ответ, переведённый последним на немецкий язык:

«Так как конгресс отложен, а я приготовил доклад, который хотел сделать бы известным, я рад воспользоваться вашим приглашением, хотя приехать не сам, а попросить одного из моих друзей и единомышленников прочесть его в вашем собрании» (*Цит. по: Там же. С. 36. Подлинник письма утрачен*).

«Друг и единомышленник» стоил дешевле, а шуму мог наделать тоже немало. Конечно же, Дирекция телеграммой от 31 августа н. ст. ответила согласием. Одновременно с этим она форсировала, через органы печати, рекламную кампанию, продолжавшую утверждать о готовящемся приезде в Берлин... самого Толстого. В связи с этим редакция газеты «Morgen Post» телеграфно запросила Толстого, соответствуют ли действительности сообщения «Concert Direction Jules Sachs». Толстой ответил телеграммой: «Не могу приехать лично в Берлин. Поручаю одному другу прочесть в зале собрания Закс мою речь, приготовленную для конгресса мира в Стокгольме» (80, 59).

Рукопись доклада Толстой отправил своему другу Альберту Шкарвану для перевода на немецкий язык. Его же Толстой просил войти в переговоры с давним знакомцем по переписке, писателем и журналистом, религиозным анархистом Эугеном (Ойгеном) Генрихом Шмитом, которому и хотел поручить чтение своего доклада. Шкарван в письме от 2 сентября н. ст., сообщая о различных затруднениях, возникающих в связи с замещительством, просил Толстого приехать лично в Берлин для чтения доклада. «О моём чтении статьи не может быть и речи, — отвечал Толстой в письме Шкарвану от 26 августа ст. ст. — Я слишком слаб, и потом статья слишком ничтожна, и мне неприятно, что Sachs делает такой fuss из этого» <Англ. идиома: «the fuss around puss» — досл. «суета вокруг кота», т. е. шум и суматоха из-за пустяков. — Р. А.> (*Там же. С. 70*). Шкарван сообщал, что Шмит, вполне основательно, опасается репрессий — и

предпочёл бы, чтобы Толстой подставил под них свою, а не его, Шмита, пушистую задницу — как хотелось бы и дирекции «Жюль-Закса» (*Там же. Комментарии*). В письме к В. Г. Черткову от 31 августа н. ст. он писал: «В Берлине хотят прочесть мой доклад штокгольмский и делают или хотят сделать из этого особенный шум. И мне это неприятно. Я думаю, что доклад этот не стоит того» (89, 142).

Наконец, вполне по-интеллигентски посравшись, Э. Г. Шмит в письме от 6 сентября (н. ст.) выразил-таки готовность прочесть доклад Толстого, даже считая это за «честь», но, про себя не теряя совершенно других надежд, просил его лично подтвердить ему своё желание. Толстой отвечал ему 11 сентября н. ст. (пер. с немецкого):

«Дорогой друг,

Я вам очень благодарен за готовность и настоящим прошу вас прочесть в Берлине мой доклад, предназначенный для Стокгольмской мирной конференции.

Я не писал вам об этом в предыдущем письме потому, что хотел раньше узнать ваш ответ Шкарвану» (80, 78).

Шмит всё же не терял надежды развязаться с поручением «друга», сохранив если не честь, то хотя бы задницу. Уже в следующем письме, от 11 (24) сентября, Шмит извещал Толстого, что начальник берлинской полиции не разрешает чтения доклада без предварительной цензуры в том случае, если он не будет читаться лично Толстым. Полиция затребовала от дирекции рукопись доклада для просмотра на предмет смягчения и удаления неприемлемых, с её точки зрения, мест, при том особенно предупредив, что всё, относящееся к военнообязанным, ни в коем случае пропущено не будет (*Гусев. Летопись. 1891 – 1910. С. 713*). Дирекция, через Шмита, запрашивала у Толстого разрешения на посылку рукописи на растерзание в полицию. Толстой ответил письмом от 5 октября н. ст. (с немецкого):

«Дорогой друг,

К сожалению, я не могу согласиться на предложение Закса. Я желаю, чтобы моя речь была или оглашена целиком, без купюр и изме-

нений, или совсем не опубликовывалась. Передайте это Заксу и извините меня, пожалуйста, что я доставляю вам так много бесполезных хлопот.

Ваш любящий друг Лев Толстой» (*Там же. С. 105*).

Узнав такое решение «любящего друга», трусишка Шмит, наверняка, выдохнул шумно и с облегчением: на таких условиях чтение в Берлине уже не могло состояться... и не состоялось!

Несколько позднее доклад этот, с разрешения Толстого, был прочтён (на французском языке) Н. Н. Ге на антимилитаристском конгрессе в Биенне в Швейцарии, а затем напечатан в журнале «La Voix du Peuple» и в переводе на немецкий язык — в журнале «Der Sozialist», Bern, 1909, № 20. Председатель студенческого союза в Гельсингфорсе, Аксели Ялмари Никула (Akseli Jalmari Nikula, 1884 – 1956), либерал-националист, впоследствии известный психиатр, в письме от 4 октября 1909 г. просил у Толстого разрешения на перевод этого доклада на финский язык. «Наш студенческий союз, — писал Никула, — разделяет идеи полного мира и был бы очень благодарен, если бы вы предоставили ему честь перевести и выпустить ваш доклад тотчас после того, как ваш друг Шмитт прочтёт его в Берлине» (*Цит. по: Чистякова М. Толстой и европейские конгрессы мира. С. 613*). «Чтение доклада в Берлине, — отвечал Толстой, — отменено вследствие препятствия со стороны полиции. Доклад же будет напечатан одновременно на разных языках. Очень рад буду, если он появится и по-фински» (80, 112).

По отношению к шведскому конгрессу судьба статьи Льва Николаевича оказалась предсказуемо печальной. Конгресс состоялся в следующем, 1910 году, но, воспользовавшись тем, что лично Толстой на него не приехал, организаторы исключили из регламента конференции её озвучение. Конечно же, это воскресило версию о «страхе» участников конференции перед выводами Л. Н. Толстого, попавшую, тоже предсказуемо, в «Биографию Л. Н. Толстого» авторства П. И. Бирюкова, в виде такой хрестоматийной сентенции:

«Статья Л. Н-ча, которую он послал на конгресс, была получена, но на конгрессе её не читали. Умеренная и благонамеренная среда пацифистов, собравшихся на конгресс, была скандализирована “выходкой” Л. Н-ча, считавшего, что для того, чтобы люди не воевали, — не должно быть войска. Это показалось им такую наивностью,

что, снисходительно улыбаясь и воздавая должное великому гению, они, пригласившие его на конгресс, не решились вслух объявить его мнение» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х тт. М., 1923. Т. 4. С. 191*).

Так или иначе, но доклад был впервые опубликован в 1910 году только в издании Русского народного университета в Лос-Анджелесе («Собрание статей по общественным вопросам за 1909 год»).

Настало время обратиться к самому тексту этого исторического выступления.

«Любезные братья, мы собрались здесь для того, чтобы бороться против войны» — так начинает Толстой своё выступление, уже этим обращением определяя настоящую степень близости к нему мнящих себя (и до сего дня!) «единомышленниками» пацифистов: вспомним, что обращения «Любезный брат» удостоился у Толстого в начале 1902 г. император Николай II. Толстой напоминает совести слушателей, что не они и им подобные, а трудовые народы их стран отдают войне «не только миллиарды рублей, талеров, франков, иенов, представляющих большую долю сбережений их труда, но самих себя, свои жизни» (38, 119). Следом, тут же указывая на нелепость стокгольмского сборища «десятка частных людей», намеревающихся победить так хорошо финансирующие и защищающие самих себя милитаристские правительства, памятующие, между прочим, «что то исключительное положение, в котором находятся они, т. е. люди, составляющие правительства, основано только на войске — войске, имеющем смысл и значение только тогда, когда есть война» (*Там же*).

В руках же немногих борцов может быть — только «одно, но зато могущественнейшее средство в мире — истина» (*Там же*). Которую, однако, следует высказывать, не по-интеллигентски и либерально, заигрывая с правительствами, обеспечивающими либеральным и пацифистствующим интеллигентам выгоды и приятности их положения в искусственной среде неотторжимой от государственности городской цивилизации, а — «всю, без всяких сделок, уступок и смягчений»:

«Истина эта во всём её значении в том, что за тысячи лет до нас сказано в законе, признаваемом нами Божьим, в двух словах: не убий, истина в том, что человек не может и не должен никогда, ни при каких условиях, ни под каким предлогом убивать другого» (*Там*

же. С. 120). Война при последовании сперва просвещёнными элитами, наставниками народа, этой Истине станет невозможной.

Прицелившись подобный образом, старый артиллерист Толстой, духовный воин Христа, бьёт уже прямой наводкой по хитрым головёшкам городской либерально-пацифистской сволочи:

«...Если мы, собравшиеся здесь на конгрессе мира, вместо того, чтобы ясно и определённо высказать эту истину, будем, обращаясь к правительствам, предлагать им разные меры для уменьшения зла войн или для того, чтобы они всё реже и реже возникали, то будем подобны людям, которые, имея в руках ключ от двери, ломались бы через стены» (*Там же*). Это прямое предательство интересов тех трудящихся народов, с трудов которых живёт, в том числе, и прикормленная с юных лет, казённо дипломированная, титулованная, всегда сытая, наряженная в костюмчики, собравшаяся на конгрессе либерально-пацифистская интеллигентская элита, составлявшая обыкновенный кворум всех подобных мирных конференций:

«Мы знаем, что все эти миллионы людей не имеют никакого желания убивать себе подобных, большей частью не знают даже того повода, по которому их заставляют делать это противное им дело, тяготятся своим положением подневольности и принуждения...» (*Там же*).

Игра в конгресс мира в описанных обстоятельствах нелепа и подла одновременно. Правительства, не умеющие удержать власть без насилий и войн, не захотят, распустив войска, самоуничтожиться. Они «будут с удовольствием слушать» пацифистский трёп, «зная, что такие рассуждения не только не уничтожат войну и не подорвут их власть, но ещё больше скроют от людей то, что им нужно скрыть для того, чтобы могли существовать и войска, и войны, и они сами, распоряжающиеся войсками» (*Там же. С. 120 – 121*).

Далее Лев Николаевич приводит обычные свои возражения на всегдашнюю же попытку прилепить к нему ярлык анархиста. Он напоминает смотрящим мимо Христа, с секуляризированными мозгами, «культурным» безбожникам о вере, «которую с особенным подчёркиванием исповедуют все люди, составляющие правительство», и которая несовместима «с составленными из христиан войсками, приготовляемыми к убийству» (*Там же. С. 121*). Пацифистам, уж если им столь мило изуверство, «светское» безбожие, надо, что было бы логично, довести до народа свою позицию — тем разрушив не только

тысячелетний обман оправдания войн ложным, извращённым церковниками христианством, но и всякую веру в народе в Бога и Христа. Так, чтобы осталась лишь армейская дисциплина, подчинение начальствующим выдрессированных рабов — залог военных побед. Пусть же научат народ истинной своей, либеральной и интеллигентской, подлой вере, научат «верить только тому, что будет повелено, включая и убийство, разными людьми, случайно, по наследству ставшими императорами, королями, или по разным интригам, по выборам ставшими президентами, депутатами палат и парламентов» (*Там же. С. 122*).

Но и этого нельзя публично высказать членам конгресса, не выйдя из своей поганоподлой роли. *Нет* для этой роли выхода, кроме виноватого преклонения «элитарных» головёшек перед Божьей правдой-Истиной:

«Сказать, что христианство запрещает убийство, не будет войска, не будет правительства. Сказать, что мы, правители, признаём законность убийства и отрицаем христианство, никто не захочет повиноваться такому правительству, основывающему свою власть на убийстве. Да и кроме того, если разрешается убийство на войне, то оно тем более должно быть разрешено для народа, отыскивающего своё право в революции» (*Там же*).

Толстой предлагает соборищу обнародовать «воззвание», в котором следует «ясно, открыто не только повторить ту истину, о том, что человек не должен убивать человека, но и разъяснить то, что никакие соображения не могут уничтожить для людей христианского мира обязательность этой истины»; «что война не есть, как это признаётся теперь большинством людей, какое-то особенно доброе, похвальное дело, а есть, как всякое убийство, гадкое и преступное дело, как для тех людей, которые свободно избирают военную деятельность, так и для тех, которые из страха наказания или из корыстных видов избирают её» (*Там же. С. 122*). В адрес военных начальников, всякого офицера в воззвании должна прозвучать мысль, что их деятельность «тем более преступная и постыдная, чем выше положение, занимаемое человеком в военном сословии» (*Там же. С. 123*). Народу же следует напомнить, что, подчиняясь призыву на военную службу, они выбирают служение делу «кесареву» во вред и зло Божьему делу в мире, идя, пусть и невольно, «и против своей веры, и против нравственности, и против здравого смысла», в особенности потому, что

«вступают в то самое сословие людей, которое лишает их их свободы и принуждает поступать в солдаты» (*Там же*).

И снова Толстой органично соединяет две темы, в прежние периоды эволюции его антивоенных воззрений бывшие разделёнными: войны и смертных казней, «палачества». И тем, и другим, военачальникам и их рабам, следует, по убеждениям Льва Николаевича, вменить простую истину, уже открывшуюся людям, освободившимся от «суеверия военного величия»: о том, что «военное дело и звание, несмотря на все усилия скрыть его истинное значение, — есть дело столь же и даже гораздо более постыдное, чем дело и звание палача, так как палач признаёт себя готовым убивать только людей, признанных вредными и преступниками, военный же человек обещается убивать и всех тех людей, которых только ему велют убивать, хотя бы это были и самые близкие ему и самые лучшие люди» (*Там же*).

Подчеркнём, что это всё-таки соображение *рассудка* Льва Николаевича, вовсе не свидетельствующее о том, что для *чувств* его «ремесло» палача, исполнителя смертных казней по судным приговорам, не осталось, как и было с молодых его лет, всё-таки более отвратительным, нежели «палачество» военно-армейское. О совершенно обратном же свидетельствует тот простой факт, что, даже в условиях продолжавшейся милитаризации Европы, военных тревог накануне уже предвидимой многими Первой мировой войны тема именно военная у Толстого-публициста ощутимо отходит с середины 1900-х на второй план, в сравнении с тематиками смертных казней и, разумеется, с евангельской, христианской проповедью «закона любви» и единения в Истине, в вере живой. И последнее в жизни публицистическое выступление Толстого, как известно — статья «Действительное средство», связанная так же с тематикой смертных казней — так же о необходимости просвещения людей словом Истины, несовместимой с оправданием казней, а не только о казнях.

Значение конгресса мира Толстой видит именно в слове Истины, которое, как ни мала лепта, приблизит, вкупе со множеством других таких же слов, постепенно общественное сознание «цивилизованного» лжехристианского мира к признанию и принятию нового, именно христианского отношения к военной службе и войнам. Не владея в свою эпоху знанием о саморазвитии и кризисных точках в развитии сложных систем, Толстой прибегает к всё же довольно точ-

ному “химическому” сравнению. И тут же, кстати, вспоминает сказочку, нецензурную и страшную для халтурных правителей и в нашем 2023-м году:

«Каждое такое усилие, каждое такое слово может быть тем толчком в переохлаждённой жидкости, который мгновенно претворяет всю жидкость в твёрдое тело. Почему наше теперешнее собрание не было бы этим усилием? Как в сказке Андерсена, когда царь шёл в торжественном шествии по улицам города и весь народ восхищался его прекрасной новой одеждой, одно слово ребёнка, сказавшего то, что все знали, но не высказывали, изменило всё. Он сказал: "На нём нет ничего", и внушение исчезло, и царю стало стыдно, и все люди, уверявшие себя, что они видят на царе прекрасную новую одежду, увидели, что он голый. То же надо сказать и нам, сказать то, что все знают, но только не решаются высказать, сказать, что как бы ни называли люди убийство, убийство всегда есть убийство, преступное, позорное дело. И стоит ясно, определённо и громко, как мы можем сделать это здесь, сказать это, и люди перестанут видеть то, что им казалось, что они видели, и увидят то, что действительно видят. Перестанут видеть: служение отечеству, геройство войны, военную славу, патриотизм, и увидят то, что есть: голое, преступное дело убийства. А если люди увидят это, то и сделается то же, что сделалось в сказке: тем, кто делает преступное дело, станет стыдно, а те, кто уверял себя, что они не видят преступности убийства, увидят его и перестанут быть убийцами» *(Там же. С. 124).*

Завершение речи Льва Николаевича стокгольмским политическим игрокам чем-то напоминает легендарное Галилеево «*Errur si tuove!*». Оно христиански смиренно, но и непреклонно перед лжами и насилием:

«Вот всё, что я хотел сказать. Очень буду сожалеть, если то, что я сказал, оскорбит, огорчит кого-либо и вызовет в нём недобрые чувства. Но мне, 80-летнему старику, всякую минуту ожидающему смерти, стыдно и преступно было бы не сказать всю истину, как я понимаю её, истину, которая, как я твёрдо верю, только одна может избавить человечество от неисчислимых претерпеваемых им бедствий, производимых войной» *(Там же. С. 125).*

Лично своим докладом Толстой не воспользовался, и, когда в июне 1910 г. Толстой получил новое приглашение на конгресс в Стокгольме, он, мысленно послав пригласителей нахуй, ответил кратким

и учтивым отказом. Доктор филологических наук Ж. Бергман (J. Bergman, ? – ?), секретарь XVIII Всеобщего конгресса мира в Стокгольме, писал 16 (29) мая:

«Господин граф,

По распоряжению организационного комитета международного мирного конгресса, созываемого на 1 – 6 будущего августа, имею высокую честь пригласить вас, г. граф, принять участие в этом конгрессе. Все расходы по вашему путешествию мы берём на свой счёт и выражаем надежду, что вы пожелаете прибыть и на этот год, точно так же, как имели это намерение в 1909 году».

1 (13) июня 1910 г. приглашение это повторил и председатель организационного комитета конгресса барон Карл Карлсон Бонде (Carl Carlson Bonde, 1850 – 1913).

В тот же день Толстой ответил обоим лицам кратким письмом одинакового содержания:

«Милостивый государь,

Состояние моего здоровья не позволит мне предпринять путешествие в Стокгольм, и потому искренне сожалею, что я не могу воспользоваться вашим любезным приглашением. Всё же надеюсь, если мне удастся, представить Стокгольмскому конгрессу доклад по вопросу о мире» (82, 56).

В связи с этой перепиской Толстой снова обращается к своему прошлогоднему докладу и, не перерабатывая его, пишет особую статью в виде добавления к нему, о которой упоминает в Дневнике от 19 июля: «Писал ядовитую статью в конгресс мира». Статья, датированная в последнем черновике 20-м июля, не была закончена Толстым и на конгресс не посылалась.

Начало этой незаконченной статьи включает в себе не только «ядовитость», но и много личной горечи, явившейся в результате целого ряда неудачных попыток апелляции не только к правительствам, но и к «просвещённому» буржуазному обществу Европы:

«Вы желаете, чтобы я участвовал в вашем собрании. Я как умел выразил мой взгляд на вопрос о мире в том докладе, который я приготовил для прошлогоднего конгресса. Доклад этот послан. Боюсь, од-

нако, что доклад этот не удовлетворит требованиям высокопросвещённых лиц, собравшихся на конгрессе. Не удовлетворит потому, что, сколько я мог заметить, на всех конгрессах мира мои взгляды, и не мои личные, а взгляды всех религиозных людей мира на этот вопрос, считаются под названием неопределённого нового слова антимилитаризма исключительным, случайным проявлением личных желаний и свойств некоторых людей и потому не имеющим серьёзного значения» (38, 419).

И далее чистый, евангельский христианин Толстой выводит формулу, разводящую его и его единомышленников с городской интеллигентщиной, либералами и пацифистами — жестоко, навсегда:

«Считаю выработку на конгрессах новых законов, обеспечивающих мир, бесполезным главное потому, что закон, несомненно обеспечивающий мир среди всего мира, закон, выраженный двумя словами “не убий”, известен всему миру и не может не быть известен и всем высоко просвещённым членам конгресса» (Там же).

В этом кредо сокрыто унижительное для «просвещённых» изуверов нашего лжехристианского мира обличение — в сознательном непоследовании Истине первоначального, евангельского учения Христа, которая долгие века от миллионов людей была сокрыта невежеством и церковными, поповскими перетолкованиями! Далее:

«Правда, что деятельность тех сотен людей, которые, следуя этому закону, отказываются от военной службы и подвергаются за это тяжёлым лишениям и страданиям, как мои друзья в России и в Европе (вчера только получил такое письмо от молодого шведа, готовящегося к отказу), не может интересовать высокопросвещённых членов конгресса, так как принадлежит к области антимилитаризма, я всё-таки думаю, что деятельность этих людей, не на словах, а на деле признающих закон *не убий* и потому ни в какой форме не принимающих участия в преступном деле убийства, одна только лучше всего удовлетворяет и требованиям каждой отдельной души, совести человека, а также и вернее всего служит и общему движению к добру и правде всего человечества, между прочим и той цели установления мира среди людей, которой заняты члены конгресса.

Вот это-то, любезные братья, мне, доживающему последние дни или часы моей жизни, и хотелось ещё раз повторить вам» (Там же. С. 419 – 420).

Заканчивается сохранившийся черновик краткой (слегка синтаксически корявой, но вполне понятной) формулировкой основного тезиса Толстого:

«... Нужны нам не союзы, не конгрессы, устраиваемые императорами и королями, главными начальниками войск, не рассуждения на этих конгрессах об устройстве жизни других людей, а только одно: исполнить в жизни тот известный нам и признаваемый нами закон любви к Богу и ближнему, который ни в каком случае не совместим с готовностью к убийству и самое убийство ближнего» (*Там же. С. 420*).

Если бы случилось тогда чудо, и все участники Конгресса сумели бы перестать лукавить, играть в сволочную либерально-интеллигентскую игру — они бы пожелали охотно выслушать это послание яснополянца, а выслушав, в молчаливом почтении бы разошлись, закрыв навсегда не только этот конгресс, но и все подобные посиделки! Но «любезные братья», конечно, не могли этого — как не мог послушать Толстого раб истории, «любезный брат» император Николай II в уже отдалённом 1902-м...

Заключительный тезис «Добавления к Докладу на конгрессе мира», установленный и разработанный Толстым с различной аргументацией во всех его высказываниях по вопросу европейского мира, с особенной яркостью и полнотой выражен в неопубликованном его письме к Джону Истгему, не отправленном адресату и сохранившемся в черновике. История его такова.

В апреле 1910 г. Толстой получил от действительного секретаря «Первого всеобщего конгресса рас» Джона А. Истгема циркулярное обращение:

«Милостивый государь,

При сем прилагаем номера «Outline» и «Launch». Мы будем очень рады, если вы сможете присутствовать на митинге в гостинице «Сесил» в Лондоне 18 следующего месяца. Но если это невыполнимо, то мы будем очень благодарны, если вы пришлёте нам несколько слов сочувствия для прочтения на собрании. Этот призыв к третьей-скому суду и миру должен был бы исходить от людей, стоящих за мир во всех странах.

Джон Истгем» (*Цит. по: Чистякова М. Указ. соч. С. 614*).

К письму прилагался печатный проспект «Первого всеобщего конгресса рас», открытие которого предполагалось в июле 1911 г. Затеянный английскими буржуазными политиками Первый всеобщий конгресс рас, маскируясь лицемерной фразой о единстве рас и мире, представлял собой попытку прикрытия и даже оправдания колонизаторской политики Британской империи.

Обращение Джона Истгема, весьма трафаретное по существу, вызвало чувство негодования у Толстого, ещё недавно относившегося, как мы помним, скептически, но всё же более сочувственно к начинаниям подобного рода. Он написал исключительное по резкости и силе ответное письмо Истгему (от 15 апреля 1910 г.):

«Получил ваш призыв прибыть или прислать слова поощрения и купон для ответа. Прочёл ваш план и не только не могу удержаться от желания высказать вам вызванные во мне чувства вашим призывом, не только не могу удержаться, но считаю своим долгом перед своей совестью и Богом высказать вам их.

Мне 82 года, я каждый день жду смерти, и потому прилично, учтиво лгать мне уже не приходится. Мало того, совесть требует сказать, насколько возможно громко, то, что я думаю о вашей забаве, — иначе не могу назвать вашу деятельность. Деятельность эта отвратительна, возмутительна.

Когда, во времена Наполеона I, военные люди гордились и хвалились теми убийствами, которые они совершали на войнах, они были святы в сравнении с вами и всеми членами подобных вашему обществ. Те люди, во 1-х, верили в то, что война должна быть; во 2-х, сами готовы были ради того, во что они верили, на жертву, раны, смерть. Вы же ни во что не верите и тем менее в тот мир, который вы, будто, проповедуете, и готовитесь только к тем тщеславным забавам, которые, одурманивая людей, должны привлечь их в ваш лагерь.

Мир! Заботы о мире англичан, с их Индией и всеми колониями, или немцев, французов, русских, не говорю уже об покорённых народах, с их классами богатых и бедных рабов, которые удерживаются в своём положении только войсками, с восхваляемым патриотизмом всех этих и властвующих и покорённых народов.

Говорить о мире и проповедывать его в нашем мире всё равно, что говорить о трезвости и проповедывать её в трактире или винной лавке, существующих только этим пьянством.

Пока есть отдельные народы и государства, не может не быть войны. Прекратиться война может только тогда, когда все люди будут, как Сократ, считать себя гражданами не отдельного народа, а всего мира, и будут, как Христос, считать братьями всех людей, и потому — столь же невозможным убивать или готовиться к убийству каких бы то ни было людей и при каких бы то ни было условиях, как невозможно убивать или готовиться к убийству при каких бы то ни было условиях своих детей или родителей.

Прекратиться сможет война только тем, что люди перестанут, как теперь, смеяться над религией, воображая себе какую-то христианскую религию, заключающуюся в вере в искупление и другие глупости, а когда точно поверят в вечный и единственный, всем известный, общий, один закон Бога, выраженный не одним Христом, но всеми мудрыми и святыми людьми мира, закон о том, что все люди братья и потому должны любить, а уже никак не убивать друг друга. А признают люди этот закон, и война кончится, кончится потому, что не будет солдат. Всё это так просто и ясно. Но именно потому, что это просто и ясно, неискренние люди, дорожащие своим ложным положением, не хотят видеть этого.

$2 \times 2 = 4$. Да, это правда, но ведь не в этом дело. Это ведь арифметика, но есть другие соображения. Человеку нельзя и не должно убивать ближнего! Кто же спорит с этим. Это правда. Но есть другие соображения — дипломатические, политические, так что отказываться от участия в убийстве не всегда целесообразно. Это будет антимилитаризм. А антимилитаризм нехорошо. А нужно совсем другое. И начинаются рассуждения... Стыдно и гадко. Простите меня. Знаю, что не надо было писать в таком раздражённом тоне, но не мог иначе. Простите» (81, 228 – 229).

Написав письмо Джону Истгэму, Толстой 15 апреля отправил его В. Г. Черткову, в котором просил Черткова перевести его и в том случае, если он найдёт его слишком резким, разорвать. На копии письма Толстого к Джону Истгэму, перепечатанной с черновика-автографа, рукой А. П. Сергеевского, работавшего в качестве секретаря Черткова, имеется надпись: «В. Г. Чертков, найдя, что письмо к Джону Истгэму действительно резко, написал другое письмо, как бы по поручению Льва Николаевича, и послал его Л. Н. А. Н. совершенно одобрил его и сам его отправил из Ясной Поляны. Своё же письмо он оставил непосланным» (Цит. по: 81, 230).

Можно усматривать в этом и деспотическое влияние В. Г. Черткова — возможно, отведшего толстовский гнев от какого-то своего английского мутного дружка. Но будем помнить, что такие эмоциональные письма или статьи Толстой, чаще всего, и писал вчерне, словно «для себя», приводя в порядок мысли и чувства, и не отправлял — как не отправил свой немилостивый, хотя и праведно-гневный удар и Джону Истгему. И даже, как видим, просил простить его в конце черновика — через расстояние... простить в одних лишь эмоциях своих.

Это смиренное, христианское «простите» в адрес справедливо избыточных им пацифистов — хотя Толстой ещё и не подозревал о том — стало и его долгожданным прощанием с попранием антивоенного витии, пытавшегося быть понятым хотя бы теми, кто *полагал* его своим союзником и единомышленником. Событийная канва ещё не прерывается и голос Толстого продолжает звучать. Но попытка личного участия в Конгрессе мира, унижительно пресечённая близкими людьми и подготовка доклада, унижительно же замолчанного многолетне идеализировавшимися «попутчиками» на *пути к миру во всём мире* — последнее из числа исторического, выдающегося, что было сделано Толстым именно под лозунгом, незримо сопровождавшим его всю жизнь: **НЕТ ВОЙНЕ!**

Ясная Поляна. 31 июля 2023 г.

ЗДЕСЬ КОНЕЦ ДВЕНАДЦАТОЙ, И ПОСЛЕДНЕЙ, ГЛАВЫ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бог есть то неограниченное Всё,
чего человек сознаёт себя ограниченной частью.
Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его
в веществе, времени и пространстве.

Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь)
соединяется в проявлениях (жизнями) других существ,
тем больше он существует.

Соединение этой своей жизни с жизнями других существ
совершается любовью.

Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек
проявляет Бога, тем больше истинно существует.

(Дневник. 31 октября 1910 г., 1 ч. 30 дня. Астапово)

Аще же согрешит к тебе брат твой,
иди и обличи его между тобою и тем едином:
аще тебе послушает, приобрёл еси брата твоего;
аще ли тебе не послушает, поими с собою еще единого или два,
да при устех двою или триех свидетелей станет всяк глагол:
аще же не послушает их, повеждь церкви:
аще же и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь.

(Мф. 18: 15 – 16)

Да избавит нас здесь читатель, прошедший, по этим страницам,
весь путь с Львом Николаевичем в эволюции его антивоенных воз-
зрений, от Заключения подробного и пространного. Мы считаем вы-
полненными задачи нашего монографического исследования, вклю-
чая главную: представления читателю этого развития воззрений
именно как пути к вере, к христианскому религиозному пониманию
жизни, и исповедничества открывшихся разуму писателя и старого
офицера евангельских истин.

Смысл жизни человека как дитя и работника Божия в мире —
жизнь и труд в воле Отца. Условия учения и самого сотворческого
труда — доверие Мастеру и Творцу и любовное единение детей

между собой. Страх, недоверие, озлобление, разделение, зависть, жадность и пр. — всё признаки недоверия Отцу, Богу и неверия в Христа, в учение о благе. И эти же проявления неверия, в их системной организации, порождают вооружённые орды и укрепленные места из дислокации с награбленной добычей. Городов, оружия, войск не может оттого быть между христианами — так как города, государства суть развитие тех же злокачественных, восходящих к первобытному зверству человека, отношений с миром и «другими». Как следствие, не может промежду христиан быть и типичных городских движух — каким от основания и является пацифизм.

Победа над войной для Толстого, для истинных христиан Христа, а не попов и богословов — в победе над иллюзией другого и в утверждении понимания, что мир и все мы равно живём в Боге, и не просто живём в Боге, а *единосущны* Ему. Всякий «другой» есть ты же.

С этим пониманием уходит из жизни князь Андрей Болконский в романе «Война и мир» — потому что автор его в 1860-х сам ещё не созрел для той истины, к которой подвёл, и «подтолкнул в спинку», возлюбленного своего персонажа. Та же точка зрения праведника Христова, уже значительно полнее вербализированная, открывается в 1877-м Константину Левину. Этому же осознанию всеединства в Отце посвящены не одни теоретические рассуждения старца Льва, но и некоторые художественные позднейшие его писания. Возьмём за образец рассказ-притчу «Ассирийский царь Ассархадон». Он заимствован Толстым из немецкого теософского журнала «Theosophischer Wegweiser» (№ 5 за 1903 г.) и иллюстрирует знаменитое индуистское «тат твам аси» (санскр. तत् त्वम् असि; англ. tat tvam asi: «ты есть это») — идею духовного родства душ и, как следствие, невозможность применения насилия по отношению к живому существу. Но нет религии выше истины, и тот же принцип мы находим и в христианстве — но не для индивидуальных духовных практик, а для жизни «большого общества», у христиан безгосударственного: общин и Церкви.

Асархадон (аккад. Ашшур-аха-иддин (Aššur-aha-iddina), букв. «Ашшур даровал брата»; библ. Асардан) — царь Ассирии, правил приблизительно в 680 — 669 годах до н. э. Савм он, как и покорённый им царь Лаилиэ, правитель одного из покорённых аравийских

племен — лица исторические. В 676 году до н. э. войска Асархаддона вторглись во владения аравийских арабов. Несколько правителей было убито, а их сокровища и статуи богов ассирийцы вывезли в Ниневию. Подлинный Лаилиэ, по всей видимости, пошёл на примирение с победителем: известно, что Асархаддон вернул ему статуи и земли, а также назначил своим ставленником.

В сказке всё значительно завлекательней. Асархаддон берёт Лаилиэ в плен и обдумывает для него способ казни. Ночью к нему является, миновав стражей, «с длинной седой бородой и кроткими глазами», который открывает ему подробности жизни и мышления обречённого пленника и доказывает, что нельзя уничтожить казнью вечную жизнь — ни в себе, ни в жертве — а мучая Лаилиэ, Асархаддон вредит больше самому себе.

Под чарами гостя, в купели, Асархаддону снится, что он Лаилиэ. Под влиянием лукавого или нерасчётливого советчика он затевает войну с Ассархаддоном и попадает в плен... В клетку, а скоро — и на место казни, с окровавленным колом... Нравоучение не заставляет себя ждать:

«— Понял ли ты теперь, — продолжает старец, — что Лаилиэ — это ты, и те воины, которых ты предал смерти — ты же. И не только воины, но и те звери, которых ты убивал на охоте и пожирал на своих пирах, были ты же. Ты думал, что жизнь только в тебе, но я сдёрнул с тебя покрывало обмана, и ты увидал, что, делая зло другим, ты делал его себе. Жизнь одна во всем, и ты проявляешь в себе только часть этой одной жизни. И только в этой одной части жизни, в себе, ты можешь улучшить или ухудшить, увеличить или уменьшить жизнь. Улучшить жизнь в себе ты можешь только тем, что будешь разрушать пределы, отделяющие твою жизнь от других существ, будешь считать другие существа собою — *любить их*. Уничтожить же жизнь в других существах не в твоей власти. Жизнь убитых тобою существ исчезла из твоих глаз, но не уничтожилась. Ты думал удлинить свою жизнь и укоротить жизнь других, но ты не можешь этого сделать. Для жизни нет ни времени, ни места. Жизнь мгновения и жизнь тысячи лет, и жизнь твоя и жизни всех видимых и невидимых существ мира равны. Жизнь уничтожить и изменить нельзя, потому что она одна только и есть. Всё остальное нам только кажется.

Сказав это, старец исчез» (34, 129 – 130).

Но тут же автор разумно указывает на ограничение для того, кого настигла подобная истина: «царь Асархадон велел отпустить Лаилиэ и всех пленных и прекратил казни» (Там же. С. 130). Но после этого отрёкся от царства в пользу взрослого сына, знаменитого Ашурбанипала (правление: 669 – 627 до н. э.) — которому отчего-то никакие старцы с воспитательными глюками не явились и который, как исторически достоверно известно, правил отнюдь не вегетариански.

Сам царь, отделившись от мирской обузы, удалился в пустыню — обдумать услышанное. «А потом он стал ходить в виде странника по городам и сёлам, проповедуя людям, что жизнь одна и что люди делают зло только себе, когда хотят делать зло другим существам» (Там же).

Величие мирской власти, альтернативы которой для людей древности не было — уводит от актуализации в твоей частной жизни великих и вечных истин.

То же самое касается, кстати сказать, величия личного — гения человеческого, например, как писателя, художника. Недаром сама идея отречения от «животной личности», христианских единения, общины и особенно церковности давались Толстому тяжело: он себя не мог представить равным с простецами, чувствуя и понимая особость своих, Свыше, даров и своего поприща. Приведённое нами в эпиграфе Заключения определение Бога — это для Толстого «конечный вывод мудрости земной», одна из последних, надиктованных с одра смерти в Астапово. Не совсем, как израненный, гибнущий князь Андрей: в 82 года, на библейском *пределе жизни*. Но «предельна» ли, до несовместимости с жизнью, сама истина об иллюзорности всех наших оснований для зависти, вражды и, конечно же, военного насилия?

Ведь в повседневной, реальной нашей жизни есть и ещё одно, и самое фатальное, ограничение в отождествлении себя и «другого», оговорённое даже Евангелием (см. второй эпиграф здесь же): своёвольное уклонение человека или общности от исполнения законов любви, единения и смиренной взаимности повседневных жертв, от *усилий братства и равенства*, дарующих наградой истинную свободу — не «индивида», а сочленов христовой Церкви. Очень показательно в этом отношении, что, вместе с другими двумя сказаниями, Толстой опубликовал «Царя» в 1903 г. в Варшаве, в благотворительном сборнике «Гилф» («Помощь»), выпущенном для сбора средств в помощь жертв кишинёвского погрома. В великолепном переводе на

идиш Шолом-Алейхема... Евреев трудно было «раскошелить» иначе — даже для этнически и религиозно «своих». И именно от евреев же в церковное лжехристианство перешёл «ветхий Адам» человеческой природы: те суеверия обособления территориального, этнического, «национального», обрядового и проч. — которые и в XXI столетии приводят на Земле к самым страшным войнам и даже геноциду. Эта зараза, в отличие от христианских нравственных табу, пережила на России даже десятилетия навязчивого атеизма — и современные подпутинские жадные мародёры, насильники над Украиной, убийцы (и одновременно подлые рабы тёти «родины») руководятся теми же суеверием и иллюзией разделения.

В связи с этим же, сознательным увёртыванием людей от истины о единстве всего разумного, и даже всего живого — стоят и городские движения, такие как феминизм или пацифизм. Внимание к последнему! По статистике, самые типичные и массовые жертвы, убитые или искалеченные в 2022 – 2023 гг. в Украине — это люди, которых соблазнили или погнали на убой, руководствуясь или их невежеством, простечеством, или беззащитным положением, или сочетанием того и другого. Типичный житель удалённого села, деревни, тем более из неблагополучной семьи, может до 18-20 лет не узнать даже ничего о пацифизме и об Альтернативной Гражданской Службе. И не сумеет отстоять свои права — так, как получится у благополучного жителя Москвы. А между тем эта сволочь, этот, отмазавшийся «по пацифизму», московский говнюк будет знать, понимать, что где-то, незримо для него, погибает за него лучшая, чистейшая, достойнейшая живая жизнь, но самоуверенно-презрительно относиться к обречённому ровеснику, угодившего по невежеству и отсутствию поддержки на войну — не то, что как к «другому», но и как к чужаку, почти врагу. Пацифизм и куцая светская мораль не научат его тому же, что он мог бы почерпнуть из Евангелий и от честных христианских воспитателей. Потом живёт этот европацифист дальше, и активно, для своей персоны, своих самки и помёта выщенок, своего «бизнеса» и т. д. — пользуется системным насилием полицаев, судилищ, тюрем, войска... при этом, скорее всего, уже хорошо понимая настоящие смыслы чистого, евангельского учения Христа... но не считаясь с ними! Паразит городской проживёт, пожрёт из городских супермаркетов, разгорится на свою самку похотью, и, наконец, выплодит и воспитает ещё худших паразитов, продолжение, единосущное в звере себе, самим собой любимому...

Детёнышей того же самого, пошлого и гнусенького, вида хомо сапиенс, и того же качества. Ещё и ещё таких же гавриков, как те, кто давно перенаселили собой Землю и ведут подлинную *войну* (в прямом, не метафорическом смысле!) не только друг с другом, в завуалированных формах торговли и всякой конкуренции, но и с другими видами живой природы — равными перед Богом в отнимаемом у них человечеством праве на жизнь!

А села, и без того вымирающего, из которого погнали на убой молодого, не испорченного паренька, могущего ещё стать честным работником — скоро не станет... Где для Христа *чужие*, где *свои*? Обреки Отец Бог Москву или Петербург очищению, как древние Содом и Гоморру — многих ли Спаситель вывел оттуда праведных?

Это самое страшное, самое неприятное Толстому из того, что приходилось признавать: сознательная до цинизма, часто и расчётливая, *преднамеренность зла* в человеке. Безверие загоняет в города. В городах же, в искусственной толпе, невозможно делается исполнение христианского закона как в отношении труда, так и в отношении ближних. И христианское неизбежно подменяется низшим, языческим и еврейским. А на гнилом этом фундаменте культивируются движухи, все якобы «за мир и равенство» — но уже всеми условиями, в которых они происходят в городах, указывающие на невозможность для их участников того и другого. Приятные игрища по правилам. Но без готовности той жертвы, на которую пошли некогда болгарин Шопов или русский учитель Дрожжин — над которыми, в заключении, издевались мундированные садисты, и Шопову подорвали здоровье, а Евдокима Дрожжина погубили до смерти. Городской же пригладурьш в путинской России, новоиспечённый «пацифист», не будет отправлен в сумасшедший дом или тюрьму, не уедет даже в ссылку в Сибирь — из родного Ленинграда или возлюбленной Москвы...

Как лучшие Львята отче Льва, так и всякий последовательный христианин, в отличие от холёного современного, подпутинского пацифиста, привык чувствовать жизнь — себя, и всехнюю, и всего живого, и мира в целом — в Боге, *жизнь вечную*, и оттого не побежит от таких страданий, не посчитает их злом. Именно эта *готовность жертвы ради познанного всеединства* делает прочными любые ан-

тивоенные усилия. Не только единожды, к жертве жизнью, а, главным образом — именно к христианской жертве: смиренной, в повседневных мелочах...

Без воспитанного *чувствования* древнего *tat tvam asi* такая смиренная, повседневная жертва делается невозможной, и... остаются лишь кабинетные писания, той или иной степени талантливости, да благие пожелания, да злая игра современных городских пацифистов в России, по поводу закона об АГС, пренебрегаемого в исполнении самой тётёй «родиной» — отмазывающих от службы «своих», кто может за себя постоять, кто имеет неформальную поддержку, и тем вероятнее, неизбежнее подставляющих под военное рабство тех, у кого знаний и возможностей, включая денежные, заведомо не достанет!

Пацифисты такие для Л. Н. Толстого, безусловно, были бы *чужими*, злонамеренно *внешними* по отношению к доступной им, но не признаваемой Истине учения Христа — по сравнению даже с любым честным молодым военным служащим, которыми старец Лев, получая эстетическое удовольствие, не без ностальгии любовался встречая на улицах Москвы или Тулы, на большой дороге... Любовался стройностью этих молодых человекообразных, смышлёных зверят, мундирами их, статью, и, конечно, тем самым, памятным по юности *молодечеством*, из которого, как бабочка из червя, возрастают безусловные ценности личных мужества, честности, храбрости — необходимые христианину для отстаивания права своего не отдавать Божьего кесарю! С того момента, когда казённое животное поймёт, что оно человек — дитя и работник Бога.

Но и пока не поняли, они всё же — *свои*. Пока влекутся не сознательно, а по примеру старших, по наторенной ими, старшими, дороге жизни. В них нет *злонамеренности отрицания* Истины. Собственный опыт военной службы помогал Толстому почувствовать этих ребят — собой же, на пройденном им этапе пути. Тем ценнее были для него те, кто быстрее сверстников проходил этот, в потенциале общий, путь, и снимал с себя мундир, отрекался от оружия — уже на ранних шагах. Понимал, что это *не его* стезя... и вообще не тот Путь Жизни, который был бы достоин человеческого звания.

В Заклучении книги хорошо бы охарактеризовать, повторяясь, хоть вкратце, и сами эти поприща отче Льва ко Христу: от ранних кавказских рассказов до «Хаджи-Мурата». От осознания себя, как

Лермонтов, «право имеющим», гением Слова, наиболее Божественного орудия... до столь тяжело дававшегося и в старости смирения перед Богом и Христом, отказа от уникальной, бесценной своей личности и от безусловных в миру прав гения. Тех самых, от которых, в известном письме, умолял его перед кончиной не отворачиваться коллега по перу, Иван Сергеевич Тургенев... Мы сознательно не делаем здесь этой дополнительной итоговой работы, оставляя Заключение максимально кратким, и выражая здесь авторское пожелание, чтобы читатель не ограничился знакомством со вступительной частью и Заключением нашей книги, а прошёл бы со Львом Николаевичем Толстым весь тот *путь к очевидности* единственного настоящего, неразрывно во Христе и в Истине, освобождения от угрозы и бедствий солдатского рабства и самых войн, который прошли мы, не спеша и радостно, за полные, не считая вынужденных перерывов, девять месяцев работы над ней.

Роман Алтухов.

Ясная Поляна – Тула.

9 сентября 2022 г. – 6 августа 2023 г.

К О Н Е Ц

